This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

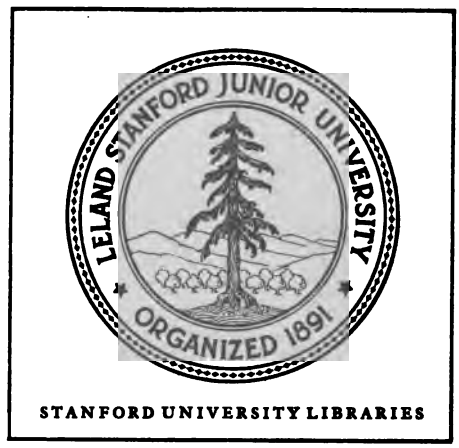
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

СОЧИНЕНІЯ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

Dobroliubov, N. A.

СОЧИНЕНІЯ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

ТОМЪ II.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе четвертое.
Л. Ф. ПАНТЕЛѢЕВА.
1885.

Ex T

PG 2933
D6
1885
v. 2

Въ типографіи В. Безобразова и Комп.
(Вас. Остр., 9 линія, № 45.)

ОГЛАВЛЕНІЕ II ТОМА.

Современникъ, 1858.

Стр.

Николай Владимірович Станкевичъ. (Переписка его и біографія, написанная П. В. Анненковымъ) № 4. 1

Органическое развитіе человѣка въ связи съ его умственной и нравственной дѣятельностью. (Органическое воспитаніе, соч. Шнелля. — Книга о здоровомъ и больномъ человѣкѣ, Бока (№ 5) 21

Френологія, соч. М. Волкова.—Отрывки изъ заграничныхъ писемъ, М. Волкова (№ 5) 47

Объ истинности понятій или достовѣрности человѣческихъ знаній, соч. А. Кусакова (№ 5). 54

Первые годы царствованія Петра Великаго. (Исторія царствованія Петра Великаго. Н. Устрялова. Три тома.) Три статьи:

Статья первая (№ 6). 58

Статья вторая (№ 7). 85

Статья третья (№ 8). 120

Стихотворенія Ю. Жадовской (№ 6). 173

Стихотворенія для дѣтей, соч. Б. Федорова (№ 6) 187

Мишура, комедія А. Потѣхина (№ 8) 190

Московскія элегіи, М. Дмитріева (№ 9). 210

Уличные листки (№ 9) 215

Русская цивилизація, сочиненная г. Жеребцовымъ. (Essai sur l'histoire de la civilisation en Russie, par Nicolas de Gérebtzoff.) Двѣ статьи:

Статья первая (№ 10) 226

Статья вторая (№ 11) 256

О нравственной стихіи въ поэзіи, соч. Ореста Миллера на степень магистра русской словесности (№ 10). 301

Стихотворенія А. Н. Плещеева (№ 10). 312

Буддизмъ, его догматы, исторія и литература, соч. В. Васильева.— Буддизмъ, разсматриваемый въ отношеніи къ послѣдователямъ его, обитающимъ въ Сибири. Соч. Нила, архіепископа Ярославскаго (№ 11). 321

Стр.

(Статья по поводу стихотвореній г. Розенгейма, напечатанная въ № 11-омъ, очень тѣсно связана съ «Свисткомъ», — въ ней въ первый разъ является Конрадъ Лиліеншвагеръ. Потому она помѣщена въ 4-мъ томѣ, вмѣстѣ съ «Свисткомъ».)
Пѣсни Беранже. Переводы В. Курочкина (№ 12) 334
Уголовное дѣло, комедія. — Бѣдный чиновникъ. Сцены изъ жизни чиновника, соч. К. С. Дьяконова (12) 349

Современникъ, 1859.

Литературныя мелочи прошлаго года. Двѣ статьи:
Статья первая (№ 1) 354
Статья вторая (№ 4) 382
Сочиненія А. Бѣшенцова въ прозѣ и стихахъ (№ 1) 413
О русскомъ государственномъ цвѣтѣ. Составилъ А. Языковъ (№ 1). 420
Исторія русской словесности. Лекціи Степана Шевырева, ординарнаго академика и профессора. Часть III (№ 2) . . . 423
(Статья о «разныхъ сочиненіяхъ» С. Аксакова, и статья о книгѣ «Рѣчи и отчетъ, читанные въ торжественномъ собраніи Московской Практической Академіи коммерческихъ наукъ»,— напечатанныя въ № 2-мъ, помѣщена въ 1-мъ томѣ.)
Путешествіе по Сѣверо-Американскимъ Штатамъ, Канадѣ и острову Кубѣ, А. Лакіера (№ 3) 432
Очерки и разсказы И. Т. Кокорева (№ 3). 454
Жизнь Ваньки Каина, имъ самимъ разсказанная. Новое изданіе, Григорія Книжника (№ 3) 459
Сочиненія В. Бѣлинскаго (№ 4) 463
Впечатлѣнія Украйны и Севастополя, А. Муравьева (№ 4) . . 465
Руководство къ наглядному изученію административнаго порядка теченія бумагъ въ Россіи (№ 4) 470
Что такое Обломовщина? (Обломовъ, романъ И. А. Гончарова) (№ 5) 472
Новый кодексъ русской практической мудрости. (Наука жизни, соч. Ефима Дыммана) (№ 6) 508
Исторія Австріи, соч. графа Майлата (№ 6) 522
Основные законы воспитанія, соч. Н. А. Миллеръ-Красовскаго (№ 6) 528
Мысли свѣтскаго человѣка о книгѣ «Описаніе сельскаго духовенства» (№ 6) 535
Описаніе болѣзни г-жи Артамоновой (№ 6) 540

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

ОПЕЧАТКИ.

		Напечатано.	*Должно быть.*
Стран.	93 (23 строка снизу)	Архангельствѣ,	Архангельскѣ,
»	144 (2 » »)	стемился	стремился
»	192 (3 » »)	Зайчиковъ	Зайчикова
»	217 (14 » сверху)	былъ	быть
»	309 (25 » »)	охладѣла	охладѣли
»	327 (22 » »)	ѳилософія	ѳеософія

1858.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМІРОВИЧЪ СТАНКЕВИЧЪ.

(Переписка его и біографія, написанная *П. В. Анненковымъ*. М. 1858.)

Еще въ 1846 г., въ біографіи Кольцова, Бѣлинскій писалъ о Станкевичѣ: «это былъ одинъ изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благоговѣйные и таинственные слухи о которыхъ переходятъ иногда и въ общество изъ кружка близкихъ къ нимъ людей». Бѣлинскій самъ принадлежалъ къ числу этихъ близкихъ людей, и уже одного упоминанія его было бы, конечно, достаточно для того, чтобы возбудить въ насъ желаніе узнать покороче личность, внушившую ему такія строки. Теперь, благодаря біографіи Станкевича, написанной г. Анненковымъ, и еще болѣе перепискѣ, изданной имъ же, это справедливое желаніе можетъ быть удовлетворено. Біографическій очеркъ Станкевича былъ еще раньше напечатанъ г. Анненковымъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ»; теперь онъ изданъ (въ сокращенномъ, впрочемъ, видѣ) отдѣльной книгой, вмѣстѣ съ перепискою Станкевича. Мы не будемъ здѣсь представлять извлеченія изъ фактовъ и мнѣній, находящихся въ книгѣ г. Анненкова: ихъ уже всѣ прочли, конечно, въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Мы не хотимъ излагать и содержанія переписки Станкевича, въ которой ясно отражается благородная, открытая, любящая душа его. Нѣтъ сомнѣнія, что большую часть писемъ Станкевича прочтутъ съ удовольствіемъ всѣ, кому дорого развитіе живыхъ идей и чистыхъ стремленій, происшедшее въ нашей литературѣ въ сороковыхъ годахъ и вышедшее преимущественно изъ того кружка, средоточіемъ котораго былъ Станкевичъ. Изданныя письма (большею частію къ Я. М. Н—ву, меньшею — къ Грановскому, и еще къ нѣсколькимъ лицамъ) не составляютъ, конечно, *всей* переписки Станкевича; но уже и изъ нихъ очень ясно видна степень того значенія, какое имѣлъ онъ

среди передовыхъ тогдашнихъ дѣятелей русской литературы. А это уже достаточно объясняетъ его права на вниманіе и память образованнаго русскаго общества, которое не мало обязано своимъ развитіемъ русской литературѣ, и особенно критикѣ, сороковыхъ годовъ.

Чтеніе переписки Станкевича такъ симпатично дѣйствовало на насъ, намъ такъ отрадно было наблюдать проявленія этого прекраснаго характера; личность писавшаго представлялась намъ, по этимъ письмамъ, такъ обаятельною, что мы считали переписку Станкевича окончательнымъ объясненіемъ и утвержденіемъ его правъ на вниманіе и сочувствіе образованнаго общества. Мы не думали, чтобъ нашлись люди, которые бы остались холодными и безстрастными предъ поэтическимъ обаяніемъ этого юноши и сурово потребовали бы у него еще иныхъ, болѣе осязательныхъ правъ на уваженіе и сочувствіе общества. Но, къ сожалѣнію, нашлись такіе люди и показали намъ возможность строгаго допроса, обращеннаго къ памяти человѣка, о которомъ съ любовью и уваженіемъ вспоминаютъ всѣ, кто только зналъ его. Мы слышали сужденіе о книгѣ, изданной г. Анненковымъ, выраженное въ такомъ тонѣ: «прочитавши ее до конца, надобно опять воротиться къ первой страницѣ, и спросить, вмѣстѣ съ біографомъ Станкевича: чѣмъ же имя этого юноши заслужило право на вниманіе общества и на снисходительное любопытство его»? Выражавшіе такое сужденіе не видѣли въ Станкевичѣ ничего, кромѣ того, что онъ былъ добрый человѣкъ, получившій хорошее воспитаніе и имѣвшій знакомство съ хорошими людьми, которымъ умѣлъ нравиться: что же за невидаль подобная личность? Мало ли кто имѣлъ хорошія знакомства!

Значитъ, все-таки неясно еще значеніе Станкевича, все-таки есть поводы не признавать его права... На это отрицаніе нельзя смотрѣть какъ на слѣдствіе какихъ-нибудь личныхъ интересовъ и страстей, подобное тому, что мы видѣли недавно въ униженіи заслугъ Грановскаго. Тамъ говорили воспоминанія друзей разнаго рода; многое сказалось въ жару спора, многое возбуждено было тѣмъ, что противникамъ Грановскаго показались слишкомъ неумѣренными восторги его поклонниковъ. Здѣсь ничего подобнаго нѣтъ и не было. О Станкевичѣ пишутъ и разсуждаютъ люди, лично его не знавшіе; споровъ никакихъ не было, даже и восторговъ почти не было. Если бы кто-нибудь сталъ превозносить Станкевича выше мѣры, сталъ бы увѣрять, что онъ былъ главою кружка, что отъ него заимствовано все, что было хорошаго у его друзей; если бы кто-нибудь сталъ приписывать великое, міровое значеніе его бесѣдамъ съ друзьями и возводить его въ геніи и благодѣтели человѣчества; тогда, конечно, было бы отчего въ отчаянье прійти и даже, пожалуй, ожесточиться. Но вѣдь этого никто не дѣлаетъ. Говорятъ просто: Станкевичъ былъ человѣкъ очень замѣчательный по своему свѣтлому уму, живой воспріимчивости и симпатичности

своей натуры. Его стремленія были возвышенны и идеальны, онъ искалъ все обобщить, во всемъ дойти до идеи, до начала знанія. Вся его молодая жизнь прошла въ мірѣ науки и искусства, которымъ онъ восторженно предавался, въ надеждѣ *приготовить* себя къ полезной дѣятельности. Около него собирался кругъ друзей, изъ которыхъ многіе сдѣлались потомъ извѣстными своею дѣятельностью. Всѣ они вспоминали и вспоминаютъ о немъ съ какой-то благоговѣйной любовью; лучшіе изъ нихъ говорятъ открыто, что многимъ ему обязаны и въ умственномъ, и въ нравственномъ отношеніи. Личность такого человѣка не должна быть забыта, хотя бы и для того, чтобы опредѣлить, чѣмъ могъ онъ дѣйствовать такъ обаятельно на своихъ друзей? Интересъ его біографіи возростаетъ, когда мы узнаемъ, что это обаяніе не заключалось просто въ мягкости характера и добродушіи, а имѣло гораздо лучшія основанія. Прочитавъ его переписку, узнавъ его жизнь, мы убѣждаемся, что онъ имѣлъ дѣйствительно благотворное значеніе въ кругу своихъ друзей, и что онъ замѣчателенъ самъ по себѣ, а не потому только, чтобы на него упалъ отблескъ славы кого-нибудь изъ нихъ.

Что тутъ преувеличеннаго? Что изъ этого можетъ отнять у Станкевича тотъ, кто не имѣетъ предъявить фактовъ, противорѣчащихъ заключеніямъ, сейчасъ переданнымъ нами? Кажется,—ничего. Но есть люди, отличающіеся весьма мрачнымъ взглядомъ на жизнь и вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то философской выспренностью. У нихъ своя точка зрѣнія на всѣ предметы, и они становятъ вопросъ такимъ образомъ.

«Станкевичъ, говорятъ они, все занимался наукой и искусствомъ: гдѣ же его ученые и литературные труды? Сдѣлалъ ли онъ хоть одно открытіе въ наукѣ, произвелъ ли хоть одно художественное chef-d'oeuvre. Даже просто, сдѣлалъ ли онъ хоть что-нибудь для науки? Нѣтъ? Такъ за что же уважать его? Онъ занимался наукой и искусствомъ потому, что находилъ въ нихъ наслажденіе, и это служитъ для него уже достаточной наградой. Станкевичъ любилъ и изучилъ философію: гдѣ же результаты его изученія? Трудился ли онъ для передачи другимъ своихъ взглядовъ, образовалъ ли какую-нибудь школу философіи? Нѣтъ? Такъ что намъ за дѣло до его философскихъ идей! Пусть ихъ остаются его субъективной принадлежностью и не разоблачаются передъ обществомъ: вѣдь онъ изучалъ философію для себя, а не для общества. Если же что и передалъ онъ другимъ, то безсознательно: а безсознательныя дѣйствія не подлежатъ никакому нравственному вмѣненію. Станкевичъ былъ добрый и симпатичный человѣкъ: какъ же это выражалось въ его жизни? Спѣшилъ ли онъ отыскивать несчастныхъ и помогать имъ, подавалъ ли нищимъ, дѣлился ли послѣднимъ съ неимущими, какъ это дѣлалъ, напримѣръ, И. И. Мартыновъ, переводчикъ греческихъ классиковъ? Объ этомъ мы не имѣемъ свѣдѣній; въ чемъ же выражалась доброта и высокая нравственность Станкевича? Неужели въ томъ только, что онъ

умѣлъ привязать къ себѣ своихъ друзей? Это еще небольшая заслуга. Станкевичъ имѣлъ благородныя и твердыя убѣжденія: какъ же они выразились въ жизни? Страдалъ ли онъ изъ-за нихъ, жертвовалъ ли имъ своимъ счастіемъ, подвергался ли клятвамъ, брани, огорченіямъ, лишеніямъ въ борьбѣ за свои убѣжденія? Нѣтъ? Такъ что же можетъ заставить насъ уважать его убѣжденія и его самого? Мы видимъ изъ всего, что Станкевичъ не былъ труженикомъ и мученикомъ идеи, а просто былъ эпикурейцемъ, хотя и не въ дурномъ значеніи этого слова. У него не было того качества, которое необходимо для общественнаго дѣятеля,—*самоотверженія*. Что онъ ни дѣлалъ, онъ во всемъ былъ дилеттантомъ и ни въ чемъ не являлся спеціалистомъ; во всемъ искалъ прежде всего удовлетворенія собственной потребности, собственнаго стремленія, и не думалъ обрекать себя на жертву для другихъ. Такой человѣкъ не имѣетъ правъ на общественное значеніе, какое имѣетъ, напримѣръ, И. И. Мартыновъ. Тотъ менѣе имѣетъ извѣстности, менѣе, можетъ быть, имѣлъ дарованій, чѣмъ Станкевичъ; но его права на благодарность потомства несомнѣнны, именно потому, что онъ всегда жертвовалъ собою для другихъ. Онъ учился — не какъ дилеттантъ, не потому, что его привлекала та или другая книжка, та или другая идейка, а потому всего болѣе, что хотѣлъ оправдать ожиданія и надежды своего начальника и благодѣтеля. Онъ занимался литературой, но не для собственнаго удовольствія, не по какому-нибудь безотчетному влеченію сердца, а съ сознательнымъ желаніемъ принести пользу согражданамъ, и главное, потому, что,—по собственному его выраженію, — литература была близка ему, «какъ чиновнику министерства просвѣщенія». Слѣдовательно—занятія литературныя были для него не удовольствіемъ, не забавой, а трудомъ, пожертвованіемъ, службою. Кромѣ того, онъ былъ и на дѣйствительной службѣ, а въ частной жизни полезенъ былъ тѣмъ, что помогалъ бѣднымъ. Вотъ какія права надобно имѣть на общественное значеніе, а не такія, какія предъявляются за Станкевича. Станкевичъ былъ прекрасный человѣкъ, но прекрасный для себя, а не для другихъ, не для общества. Онъ никогда не принуждалъ себя, не занимался тѣмъ, къ чему не чувствовалъ сердечнаго влеченія, не налагалъ на себя тяжелыхъ нравственныхъ веригъ, не жертвовалъ своей личностью для пользы общей. Онъ былъ эгоистъ, хотя и въ возвышенномъ смыслѣ. Все, совершенное имъ, было имъ совершено прежде всего *для себя*, а если потомъ и выходила польза для другихъ, то совершенно безъ всякихъ расчетовъ съ его стороны. Люди, развившіеся подъ его вліяніемъ, развились бы и безъ него; если бы они были неспособны къ развитію сами по себѣ, то и Станкевичъ ничего бы не могъ изъ нихъ сдѣлать: доказательство — то, что онъ не сдѣлалъ великаго поэта изъ Красова, точно такъ же, какъ не могъ всѣхъ своихъ друзей поставить на ту степень умственнаго развитія, до которой дошелъ Бѣлинскій. Нѣтъ,—и образованіе, и идеи герман-

ской философіи развились въ нашемъ обществѣ по естественному ходу образованія и развились бы независимо отъ Станкевича, если бы его никогда и не было на свѣтѣ».

Такой взглядъ не составляетъ исключительной принадлежности нѣсколькихъ лицъ; онъ очень свойственъ многимъ въ нашемъ образованномъ обществѣ. Извѣстно, что вообще о правахъ личности существуютъ два противоположные взгляда, оба ошибочные въ своихъ крайностяхъ. Одинъ, происходя отъ неуваженія къ личности вообще, отъ непониманія правъ каждаго человѣка, приводитъ къ неумѣренному, безразсудному поклоненію нѣсколькимъ исключительнымъ личностямъ. Такъ, на первой степени развитія невѣжественнаго народа, человѣкъ, пораженный необычайной силой или ловкостью какого-нибудь дикаго героя, забываетъ и свою личность, и личность своихъ ближнихъ и, вмѣстѣ со всѣми, признаетъ свое полное ничтожество предъ удивительнымъ богатыремъ и его безпредѣльную власть надъ собою. Такъ и въ обществѣ, еще мало свѣдущемъ и образованномъ, замѣчается особенная наклонность къ преклоненію передъ всѣмъ, что хоть немножко выходитъ изъ ряда обыкновенныхъ явленій. Чуть явится неглупый человѣкъ, о немъ кричатъ, что онъ геній; чуть выйдетъ недурное стихотвореніе, немедленно провозглашаютъ, что имъ могла бы гордиться всякая литература; чуть обнаружитъ человѣкъ кое-какія знанія, къ нему смѣло обращаются съ просьбой о разрѣшеніи всяческихъ вопросовъ, даже неразрѣшимыхъ. И передъ личностью, возбудившей общее благоговѣніе, все падаетъ во прахъ, все говоритъ: «бей меня, топчи, плюй на меня; — я съ радостью все отъ тебя снесу, потому что ты геній, потому что ты герой» — или что-нибудь другое въ этомъ родѣ. Такіе порывы смѣшны, конечно, и даже возмущаютъ душу, потому что въ нихъ выражается неуваженіе каждой отдѣльной личности къ самой себѣ. Охота къ восхваленію и преклоненію предъ такъ-называемыми *избранниками* судьбы, геніальными натурами — заслуживаетъ, конечно, обличенія и противодѣйствія. Такъ и было въ нашей литературѣ, когда послѣ необдуманнаго восхищенія фантазіями Кукольника, Тимоѳеева, послѣ благоговѣйнаго трепета предъ авторитетами Хераскова, Державина, и проч., явилась строгая критика, рѣшившаяся основательно опредѣлить мѣру ихъ достоинства. Начала, принятыя этой критикой, утвердились и доселѣ дѣйствуютъ при оцѣнкѣ литературныхъ произведеній. Но многіе изъ избранныхъ людей пустились теперь въ другую крайность: въ уничтоженіе вообще личностей. Важно общее теченіе дѣлъ, говорятъ они, важно развитіе народа и человѣчества, а не развитіе отдѣльныхъ личностей. Если личность занималась какой-нибудь спеціальностью и сдѣлала открытія, то объ этихъ открытіяхъ можно еще говорить, потому что они способствуютъ общему ходу развитія человѣчества. Но личность сама по себѣ не имѣетъ никакого значенія, и мы не должны обращать на нее вниманія. Такое разсужденіе показываетъ, по нашему

мнѣнію, только неумѣнье обращаться съ общими философскими положеніями, когда дѣло коснется примѣненія ихъ къ частнымъ случаямъ. Конечно, ходъ развитія человѣчества не измѣняется отъ личностей. Въ исторіи прогресса цѣлаго человѣчества не имѣютъ особеннаго значенія не только Станкевичи, но и Бѣлинскіе, и не только Бѣлинскіе, но и Байроны и Гёте; не будь ихъ — то, что сдѣлано ими, сдѣлали бы другіе. Не потому извѣстное направленіе является въ извѣстную эпоху, что такой-то геній принесъ его откуда-то съ другой планеты; а потому геній выражаетъ извѣстное направленіе, что элементы его уже выработались въ обществѣ и только выразились и осуществились въ одной личности болѣе, чѣмъ въ другихъ. Слѣдовательно, въ сферѣ отвлеченной мысли можно сколько угодно уничтожать личности, имѣя дѣло только съ идеями. Но не столь справедливо будетъ въ частныхъ случаяхъ, въ примѣненіяхъ къ дѣйствительной жизни, говорить, что такая-то и такая-то личность не заслуживаетъ уваженія, потому что черезъ 25 лѣтъ о ней останется одно воспоминаніе, а черезъ 250 — и того не будетъ. Подобное смѣшеніе общихъ теоретическихъ положеній съ точкой зрѣнія дѣйствительности можетъ повести къ весьма забавнымъ практическимъ послѣдствіямъ. Я, напримѣръ, знаю, что движеніе народонаселенія въ человѣчествѣ, и даже въ Россіи, и даже въ Н—ской губерніи вовсе не измѣнилось оттого, что въ городѣ Н. есть прекрасный докторъ, вылѣчившій многихъ трудно больныхъ. Но между тѣмъ я самъ живу въ городѣ Н., безпрестанно слышу благодарныя воспоминанія о немъ отъ людей, имъ вылѣченныхъ, и нахожу, что его уважаютъ даже люди, никогда не бывшіе больными. Неужели я поступлю справедливо и благоразумно, если начну всѣмъ этимъ людямъ доказывать, что докторъ не заслуживаетъ ни благодарности, ни уваженія, потому что человѣчество отъ него не выиграло, вылѣчилъ онъ немногихъ, да и тѣ, которыхъ вылѣчилъ, все-таки умрутъ же, и черезъ 50 — 60 лѣтъ ничего не останется отъ его дѣятельности? Кажется, въ этомъ случаѣ я былъ бы столько же несправедливъ, какъ и въ томъ, если бы я сталъ утверждать, что вопросъ объ увеличеніи народонаселенія на всемъ земномъ шарѣ рѣшительно зависитъ отъ дѣятельности доктора, живущаго въ городѣ Н.

Но на Станкевича, кромѣ его незначительности въ исторіи человѣчества, взводятъ еще другое обвиненіе, которое еще болѣе характеристично для нашего образованнаго общества и которое мы, поэтому, намѣрены разсмотрѣть подробнѣе. Говорятъ, что Станкевичъ не былъ труженикомъ, спеціалистомъ, что онъ не имѣлъ самоотверженія, и потому не имѣетъ правъ на значеніе общественное. Недавно мы слышали, какъ многіе голоса повторяли то же самое по поводу Грановскаго, доказывая, что онъ былъ не ученый, а артистъ. Теперь раздаются тѣ же возгласы противъ Станкевича. Отчего это? Причины этого, кажется, нельзя искать въ однихъ личныхъ пристрастіяхъ; должно быть какое-нибудь

основаніе, болѣе глубокое. Основаніе это должно заключаться въ самомъ взглядѣ на жизнь, который какъ-то составился въ нашемъ образованномъ обществѣ. Не такъ давно, одинъ изъ нашихъ даровитѣйшихъ писателей высказалъ прямо этотъ взглядъ, сказавши, что цѣль жизни не есть наслажденіе, а напротивъ есть вѣчный трудъ, вѣчная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противодѣйствуя своимъ желаніямъ, вслѣдствіе требованій нравственнаго долга. Въ этомъ взглядѣ есть сторона очень похвальная, именно — уваженіе къ требованіямъ нравственнаго долга. Но, съ другой стороны, взглядъ этотъ крайне печаленъ, потому что потребности человѣческой природы онъ прямо признаетъ противными требованіямъ долга; и слѣдовательно, принимающіе такой взглядъ признаются въ своей крайней испорченности и нравственной негодности. Это, кажется, ясно, и на основаніи этого взгляда не трудно рѣшить вопросъ о нравственномъ достоинствѣ Станкевича въ двухъ словахъ. Если жизнь должна быть рядомъ лишеній и страданій въ силу велѣній долга, такъ это вѣдь потому, что наши собственныя стремленія не сходятся съ требованіями долга. Слѣдовательно, не переноситъ такихъ лишеній и страданій — или тотъ, кто совсѣмъ не хочетъ знать велѣній долга и предается своимъ дурнымъ, безнравственнымъ наклонностямъ, или тотъ, у кого собственныя стремленія не отдаляются отъ нравственныхъ требованій. Теперь спрашивается: къ которому изъ этихъ двухъ разрядовъ отнести Станкевича? Никто не скажетъ, чтобъ онъ былъ дурнымъ человѣкомъ; слѣдовательно, отсутствіе страданій, внутренней борьбы и всякихъ душевныхъ мукъ происходило въ немъ просто отъ гармоніи его существа съ требованіями чистой нравственности. Надъ нимъ не имѣли силы грязныя побужденія, мелочные расчеты, двоедушныя отношенія; оттого во всемъ существѣ его, во всей его жизни замѣчается ясность и безмятежность, безъ раздвоенія съ самимъ собой, безъ насилованія естественныхъ стремленій.

Насъ плѣняетъ въ Станкевичѣ именно это постоянное согласіе съ самимъ собою, это спокойствіе и простота всѣхъ его дѣйствій. По всей вѣроятности, эти качества весьма сильно привлекали къ нему и друзей его. Изъ переписки Станкевича мы видимъ, что только въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ, для соблюденія свѣтскаго приличія, онъ принуждалъ себя къ скрытности и даже невинной лжи. Съ друзьями и этого, конечно, никогда не было. Станкевичъ занимался тѣмъ, чѣмъ ему хотѣлось, и говорилъ о своихъ занятіяхъ съ увлеченіемъ. Ни въ поступкахъ, ни въ мысляхъ своихъ онъ не видѣлъ ничего предосудительнаго и потому охотно передавалъ своимъ друзьямъ всѣ случаи своей жизни, всѣ свои мечты и планы. Всѣ его письма дышатъ полной, беззавѣтной откровенностью. А извѣстно, какъ сильно дѣйствуетъ простая, дружеская откровенность на молодое, благородное сердце. Друзья Станкевича могли быть увѣрены, что онъ не станетъ имъ льстить, не скроетъ своего мнѣнія, не побоится дать прямой, хотя бы и

непріятный, совѣтъ. У него не было этой малодушной совѣстливости, которая такъ часто заставляетъ насъ *щадить* людей, къ намъ близкихъ, изъ опасенія огорчить ихъ. Боязнь эта происходитъ у насъ, конечно, отъ недостатка довѣрія къ людямъ, даже близкимъ къ намъ, и отъ желанія удержать ихъ расположеніе. А между тѣмъ, мы все-таки выразимъ свое мнѣніе, свое неудовольствіе, — какимъ-нибудь косвеннымъ намекомъ, скажемъ его другимъ, — оно какъ-нибудь дойдетъ до нашего друга, и прежнее довѣріе между нами неизбѣжно рушится. У Станкевича не было подобной недовѣрчивости; онъ очень просто и спокойно говоритъ своимъ друзьямъ, одному: «зачѣмъ ты свои силы тратишь на пустяки»; — другому: «что ты не учишься по-нѣмецки, это тебѣ необходимо»;—третьему: «зачѣмъ ты расхваливаешь глупую книгу»?— четвертому: «мнѣ жаль, что болѣзнь тебя разслабила, и что ты теперь ничего не сдѣлаешь для людей». Подобныя замѣчанія кажутся очень легкими и естественными въ дружескихъ отношеніяхъ: но, право, не часто встрѣчаются друзья, которые могли бы даже такія вещи говорить прямо и просто. А между тѣмъ, какъ много неодолимаго обаянія заключается въ этой ясной искренности, основанной на взаимномъ довѣріи и уваженіи. Если она является въ человѣкѣ вслѣдствіе суровости характера, закаленной въ борьбѣ и опытѣ жизни, то она принимаетъ, по этому самому, нѣкоторый видъ грубости и брюзгливости, не всегда нравящейся, особенно самолюбивымъ людямъ. Но даже и эта стоическая, холодная искренность имѣетъ какую-то особенную силу и прелесть и сообщаетъ большое вліяніе на окружающихъ тому, кто ею обладаетъ. Тѣмъ сильнѣе было, конечно, обаяніе личности Станкевича, соединявшаго съ простотою и искренностью необыкновенную мягкость характера, силу чувства и способность увлекаться всѣмъ прекраснымъ.

Впрочемъ, не подумайте, что мы хотимъ выставлять Станкевича идеальнымъ совершенствомъ. Совсѣмъ нѣтъ; мы вовсе не хотимъ утверждать, что онъ сталъ въ своей жизни выше всѣхъ сомнѣній и противорѣчій, что внутренняя гармонія его существа никогда и ничѣмъ не нарушалась. И у него были минуты тяжелыхъ думъ, горькаго недовольства собою, вслѣдствіе неудовлетворенныхъ стремленій и неумѣнья слиться душою съ нѣкоторыми требованіями долга. Такъ, будучи еще двадцати одного года, онъ писалъ: «я не могу сказать, чтобъ я дѣйствовалъ противъ долга, но, кажется, я слишкомъ много давалъ воли эгоизму, и отъ этого былъ всегда недоволенъ собою. *Неискренность*—вотъ что еще мучило меня: das Schein у меня часто противоположно dem Seyn (особенно въ обществѣ), хотя и не изъ дурныхъ видовъ; а это даетъ дурное направленіе и рождаетъ опять недовольство самимъ собою» (стр. 89). Кто хочетъ видѣть во всемъ мрачную сторону, тотъ можетъ найти въ признаніи Станкевича подтвержденіе той мысли, что онъ былъ эгоистъ безъ твердаго характера. Но мы,

напротивъ, видимъ въ этихъ словахъ, какъ высоки были требованія Станкевича отъ самого себя, какъ тяжелы были для него даже малѣйшія уклоненія отъ сознаннаго имъ долга. Онъ недоволенъ собой даже за то, что въ обществѣ не всегда можетъ казаться тѣмъ, что онъ есть; онъ упрекаетъ себя въ эгоизмѣ; а между тѣмъ видно по всему, что Станкевичъ менѣе всего могъ быть лицемѣромъ и грубымъ эгоистомъ. Его доброе сердце не понимало себялюбимаго своекорыстія, не умѣло быть счастливымъ безъ другихъ. Въ одномъ письмѣ къ Н—ву онъ говоритъ, что внутреннее блаженство заключается въ самоотверженіи. Слѣдовательно, онъ понималъ самоотверженіе какъ удовлетвореніе потребности сердца, а не какъ формальное исполненіе какого-то внѣшняго, суроваго предписанія. Вообще, намъ кажется, что взглядъ на жизнь какъ на тяжелый, исполненный горестей, насильственный подвигъ,— взглядъ этотъ весьма высоко цѣнитъ формальную, внѣшнюю сторону дѣла. У насъ очень часто превозносятъ добродѣтельнаго человѣка тѣмъ восторженнѣе, чѣмъ болѣе онъ принуждаетъ себя къ добродѣтели. Но по нашему мнѣнію — холодные послѣдователи добродѣтели, исполняющіе предписанія долга только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь къ добру,— такіе люди не совсѣмъ достойны пламенныхъ восхваленій. Эти люди жалки сами по себѣ. Ихъ чувства постоянно представляютъ имъ счастіе не въ исполненіи долга, а въ нарушеніи его; но они жертвуютъ своимъ благомъ, какъ они его понимаютъ, отвлеченному принципу, который принимаютъ безъ внутренняго, сердечнаго участія. Поэтому они всегда несчастны отъ своей добродѣтели, жалуются на свои многотрудные подвиги и часто оканчиваютъ тѣмъ, что ожесточаются противъ всего на свѣтѣ. Въ нравственномъ отношеніи они стоятъ на очень низкой ступени: они не въ состояніи возвыситься до того, чтобы ощутить въ себѣ самихъ требованія долга и предаться имъ всѣмъ существомъ своимъ; они должны непремѣнно имѣть на себѣ какую-нибудь узду, чтобы обуздывать себя. Неужели же ихъ, только за то, что они трудятся надъ собою, можно поставить выше людей, которымъ этотъ трудъ не нуженъ? Неужели нравственное достоинство человѣка, чувствующаго сильное поползновеніе красть, но пересиливающаго себя потому, что кража запрещена закономъ, — выше нравственности того, у кого не рождается даже и мысли о присвоеніи чужого, уже не вслѣдствіе запрещенія закона, а просто по внутреннему отвращенію отъ кражи? Кажется, не того можно назвать человѣкомъ истинно-нравственнымъ, кто только терпитъ надъ собою велѣнія долга, какъ какое-то тяжелое иго, какъ «нравственныя вериги», а именно того, кто заботится слить требованія долга съ потребностями внутренняго существа своего, кто старается переработать ихъ въ свою плоть и кровь внутреннимъ процессомъ самосознанія и саморазвитія, такъ, чтобы они не только сдѣлались инстинктивно-необходимыми, но и составляли внутреннее наслажде-

ніе. Къ такому состоянію приближался или стремился Станкевичъ въ большей части своихъ поступковъ, и за это онъ достоинъ нашего уваженія, а не упрековъ.

Скажутъ, что въ подобномъ направленіи выражается очень сильно собственный эгоизмъ человѣка, и этому эгоизму какъ будто подчиняются всѣ другія, высшія чувствованія. Но мы спросимъ: кто же когда-нибудь могъ освободиться отъ дѣйствія эгоизма, и какое наше дѣйствіе не имѣетъ эгоизма своимъ главнымъ источникомъ? Мы всѣ ищемъ себѣ лучшаго, стараемся удовлетворить своимъ желаніямъ и потребностямъ, стараемся добиться счастія. Разница только въ томъ, кто какъ понимаетъ это счастье. Есть, конечно, грубые эгоисты, которыхъ взглядъ чрезвычайно узокъ и которые понимаютъ свое счастье въ грубыхъ наслажденіяхъ чувственности, въ уничиженіи предъ собою другихъ, и т. п. Но вѣдь есть эгоизмъ другого рода. Отецъ, радующійся успѣхамъ своихъ дѣтей,—тоже эгоистъ; гражданинъ, принимающій близко къ сердцу благо своихъ соотечественниковъ, — тоже эгоистъ: вѣдь все-таки *онъ*, именно *онъ* самъ чувствуетъ удовольствіе при этомъ, вѣдь онъ не отрекся отъ себя, радуясь радости другихъ. Даже если человѣкъ жертвуетъ чѣмъ-нибудь своимъ для другихъ, и тогда эгоизмъ не оставляетъ его. Онъ отдаетъ бѣдняку деньги, приготовленныя на прихоть: это значитъ, что онъ развился до того, что помощь бѣдняку доставляетъ ему больше удовольствія, нежели исполненіе прихотей. Но если онъ дѣлаетъ это не по влеченію сердца, а потому только, что слѣдуетъ предписанію долга? Въ этомъ случаѣ эгоизмъ скрывается глубже, потому что тутъ уже дѣйствіе—не свободное, а принужденное; но и здѣсь все-таки есть эгоизмъ. Почему-нибудь человѣкъ предпочитаетъ же предписаніе долга своему собственному влеченію. Если въ немъ нѣтъ любви, есть страхъ. Онъ опасается, что нарушеніе долга повлечетъ за собою наказаніе или какія-нибудь другія непріятныя послѣдствія; за исполненіе же онъ надѣется награды, доброй славы, и т. п. При внимательномъ разсмотрѣніи и окажется, что побужденіемъ дѣйствій формально-добродѣтельнаго человѣка служилъ эгоизмъ очень мелкій, называемый проще тщеславіемъ, малодушіемъ, и т. п. Право, хвалить за это нечего.

Въ жизни Станкевича есть, впрочемъ, одна сторона, подающая мрачно-практическимъ людямъ сильное оружіе противъ него и подобныхъ ему личностей. «Онъ не зналъ упорнаго труда, не былъ въ борьбѣ съ препятствіями и ничего не сдѣлалъ». Вотъ что говорятъ о немъ, и изъ этого выводятъ, что онъ по слабости характера и эпикурейскимъ наклонностямъ своимъ и не могъ ничего сдѣлать. Отвѣчать на это довольно мудрено, такъ какъ вообще мудрено говорить о томъ, что *бы* было, *кабы* не то было, что было. Но все-таки мы склоняемся скорѣе къ тому убѣжденію, что Станкевичъ способенъ былъ совершить много хорошаго: вспомнимъ, что онъ умеръ всего двадцати-семи лѣтъ. Приписать ему слабость

характера нѣтъ никакихъ основаній. Онъ не былъ вѣтренъ, занятія его искусствами, исторіей, потомъ философіей и исторіей шли ровно и послѣдовательно; въ мнѣніяхъ своихъ онъ постоянно былъ независимъ, какъ видно изъ отношеній его къ друзьямъ. Правда, что онъ не высказывался во внѣшней дѣятельности такъ обильно, какъ нѣкоторые другіе; но у него это было не вслѣдствіе безпечности или безсилія. Онъ много разъ въ своихъ письмахъ говоритъ о томъ, что къ плодотворной дѣятельности надобно хорошо приготовиться, и затѣмъ высказываетъ свои планы. Въ одномъ письмѣ онъ высказываетъ какъ бы программу своей дѣятельности. «Надобно или *дѣлать* добро,—говоритъ онъ,—или *приготовлять себя* къ дѣланію добра, совершенствовать себя въ нравственномъ отношеніи, и потомъ, чтобы добрыя намѣренія не остались безъ плода, совершенствовать себя въ умственномъ отношеніи». И эти слова не были пустой фразой: Станкевичъ исполнялъ на дѣлѣ свои предположенія, наблюдалъ за своимъ нравственнымъ совершенствованіемъ и учился. Въ этомъ періодѣ дѣятельности и заключалась его жизнь, слишкомъ рано прекратившаяся. Борьбы за свои идеи и тяжелыхъ столкновеній съ невѣжествомъ и неблагородствомъ онъ не испыталъ; но стоитъ ли жалѣть объ этомъ и можетъ ли это уменьшить степень нашего уваженія къ личности? Можетъ ли это уничтожить значеніе того нравственнаго развитія, какое выражается, напримѣръ, въ одномъ письмѣ Станкевича къ Грановскому, гдѣ онъ говоритъ, между прочимъ: «болѣе простора ему, болѣе любви сердцу—и всѣ эти сомнѣнія: какъ мнѣ быть? что мнѣ дѣлать? что изъ меня выйдетъ? — пойдутъ къ чорту. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы истина не пугала, надобно быть чище душою. Скажи человѣку, закоренѣлому въ эгоизмѣ: «ты—ничто!—вотъ до какой мысли достигнешь ты путемъ науки: счастіе, достойное человѣка, можетъ быть одно — самозабвеніе для другихъ; — награда за это одна — наслажденіе этимъ самозабвеніемъ», — и онъ опечалится, хотя бы въ самомъ дѣлѣ отъ юности своея соблюлъ всѣ законы чести и справедливости. А кто безкорыстно ищетъ истины, тотъ уже очищаетъ душу и приготовляетъ ее къ принятію божества». Не правда ли, что въ этихъ словахъ очень ясно выражается та идея высшаго эгоизма и то стремленіе слить свои влеченія съ требованіями добра и правды, о которыхъ говорили мы выше? Выраженіе однихъ этихъ стремленій въ жизни человѣка даетъ уже ему право на общее уваженіе, несмотря на то, терпѣлъ ли онъ страданія внѣшнія и выходилъ ли на борьбу со зломъ.

Да и зачѣмъ непремѣнно мѣрить достоинства человѣка количествомъ препятствій, встрѣчаемыхъ имъ? Зачѣмъ возводить къ идеалу то, что есть просто слѣдствіе неправильности общественныхъ отношеній? Разумѣется, человѣкъ, который попалъ въ игорный домъ и не играетъ, а даже другихъ уговариваетъ перестать, заслуживаетъ великаго уваженія. Но зачѣмъ же бранить того, кто вовсе не былъ въ игорномъ домѣ? Желать всѣмъ порядочнымъ

людямъ горя и страданій, по нашему мнѣнію, совершенно излишне; они безъ того слишкомъ часто подвергаются несчастьямъ всякаго рода. Разумѣется, фальшивое положеніе въ обществѣ — зрѣлище злоупотребленій, невѣжества и порока — тяжело дѣйствуетъ на всякую благородную натуру и вызываетъ ее на борьбу со зломъ. Ничего не можетъ быть почтеннѣе такой борьбы, и мы съ благоговѣніемъ смотримъ на страдальцевъ, вышедшихъ изъ нея чистыми. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, мы жалѣемъ этихъ страдальцевъ и никогда не рѣшимся бросить имъ холодное, фаталистическое: «такъ должно! таково назначеніе великихъ и благородныхъ людей»! Никогда не захотимъ мы обвинить человѣка за то только, что онъ не посвящаетъ себя враждебнымъ дѣйствіямъ противъ зла, а просто удаляется отъ него. Мы обвинимъ за равнодушіе къ низостямъ и пороку только того, у кого это равнодушіе проистекаетъ изъ трусости, корысти, и т. п., кто входитъ въ близкія соотношенія съ порокомъ и не возстаетъ на него, а потворствуетъ или даже самъ подчиняется ему, хотя наружно. Мы будемъ презирать того, кто бережетъ себя отъ борьбы, въ надеждѣ поживиться чѣмъ-нибудь отъ тѣхъ отношеній, къ которымъ чувствуетъ внутреннее отвращеніе, какъ къ несправедливымъ и преступнымъ. Но если человѣкъ просто удаляется отъ зла, не видя возможности уничтожить его, или не находя въ себѣ самомъ достаточно средствъ для этого, мы никогда не осмѣлимся порицать его и даже не откажемъ ему въ нашемъ уваженіи, если онъ заслуживаетъ его другими сторонами своей жизни.

Что Станкевичъ былъ менѣе полезенъ для общества, чѣмъ, напримѣръ, Бѣлинскій, — объ этомъ никто, конечно, спорить не будетъ. Въ этомъ сознавался самъ Станкевичъ, говоря о различіи своей натуры отъ натуры Бѣлинскаго. Онъ самъ не находилъ въ себѣ такихъ силъ для дѣятельной и упорной борьбы, какими обладалъ знаменитый критикъ нашъ. Въ одномъ письмѣ грустно говоритъ онъ о томъ, что Бѣлинскому нужно *примиреніе* съ счастіемъ жизни, а ему, напротивъ, *раздраженіе*, препятствія, потому что онъ по природѣ своей слишкомъ мягокъ и идеаленъ. Поэтому онъ даже сомнѣвается, ѣхать ли ему къ Б—мъ, все семейство которыхъ внушало ему чувство самаго чистаго, благоговѣйнаго уваженія и любви. Вотъ нѣсколько строкъ изъ этого письма.

«Я получилъ письмо отъ М. Б—на. Бѣлинскій отдыхаетъ у нихъ отъ своей скучной, одинокой жизни. Я увѣренъ, что эта поѣздка будетъ имѣть на него благодѣтельное вліяніе. Полный благородныхъ чувствъ, съ здравымъ, свободнымъ умомъ, добросовѣстный, онъ нуждается въ одномъ только: на опытѣ, не по однимъ понятіямъ, увидѣть *жизнь* въ благороднѣйшемъ ея смыслѣ; узнать нравственное счастіе, возможность гармоніи внутренняго міра съ внѣшнимъ, гармоніи, которая для него казалась недоступною до сихъ поръ, но которой онъ теперь вѣритъ. Семейство Б—хъ—идеалъ семейства. Можешь себѣ представить, какъ оно должно дѣйствовать на душу, которая не чужда искры Божіей: Намъ надобно туда ѣздить исправляться.... Но я—я боюсь испортиться. М. зоветъ меня, съ своимъ обыкновеннымъ прямодушіемъ, добротою: не знаю, поѣду ли? — Во мнѣ другой недостатокъ, противоположный недостатку Бѣлинскаго: я слишкомъ

вѣрю въ семейное счастіе, а иногда съ сердечной болью думаю, что это—одно возможное. Мнѣ надобно больше твердости, больше жестокости» (стр. 189).

Какъ натура по преимуществу созерцательная, Станкевичъ не могъ броситься въ практическую дѣятельность и произвести какой-нибудь переворотъ въ положеніи общества. Признавая это и зная, что онъ самъ въ этомъ признавался, мы уже не имѣемъ никакого права приставать къ нему съ назойливымъ допросомъ: «отчего ты не оставилъ никакихъ *положительныхъ*, вещественныхъ памятниковъ своего существованія; отчего ты не вступалъ въ борьбу, отчего ты не громилъ пороковъ, не терпѣлъ страданій отъ своихъ враговъ», и пр. Подобный допросъ имѣлъ бы еще смыслъ, если бы борьба, страданія, и т. п., были чѣмъ-нибудь обязательнымъ, необходимымъ для сохраненія чести и благородства человѣка. Но вѣдь, какъ мы уже замѣтили, борьба эта есть ненормальное явленіе, происходящее отъ фальшивыхъ отношеній, среди которыхъ живетъ общество. Указываютъ на примѣръ почти всѣхъ великихъ людей, которые являются намъ въ исторіи тружениками, страдальцами. Но если всмотрѣться пристальнѣе въ жизнь каждаго изъ этихъ страдальцевъ, то весьма немного найдется такихъ фанатиковъ, которые бы сами отыскивали страданія, бросаясь въ борьбу только для удовольствія борьбы. Большею частію, почти всегда, борьба эта является слѣдствіемъ обстоятельствъ, совершенно независимо и даже иногда противъ воли того, на кого должны обрушиться всѣ тяжелыя послѣдствія борьбы. Пора намъ убѣдиться въ томъ, что искать страданій и лишеній — дѣло неестественное для человѣка и поэтому не можетъ быть идеальнымъ, верховнымъ назначеніемъ человѣчества. Во что бы человѣкъ ни игралъ, онъ играетъ только до тѣхъ поръ, пока еще надѣется на выигрышъ; а надежда на выигрышъ — это вѣдь и есть желаніе лучшаго, стремленіе къ удовлетворенію своихъ потребностей, своего эгоизма въ томъ видѣ, въ какомъ онъ у каждаго образовался, смотря по степени его умственнаго и нравственнаго развитія. Романтическія фразы объ отреченіи отъ себя, о трудѣ для самаго труда или «для такой цѣли, которая съ нашей личностью *ничего общаго* не имѣетъ», — къ лицу были средневѣковому рыцарю печальнаго образа; но онѣ очень забавны въ устахъ образованнаго человѣка нашего времени. Станкевичъ очень хорошо понималъ всю нелѣпость насильственной натянутой добродѣтели, этого внутренняго лицемѣрія передъ самимъ собою. Въ немъ было слишкомъ много истинной честности и прямодушія, чтобъ онъ могъ поддаться подобному лицемѣрію. Онъ твердо сознавалъ, что человѣкъ не иначе можетъ удовлетвориться, какъ полнымъ согласіемъ съ самимъ собою, и что искать этого удовлетворенія и согласія всякій не только можетъ, но и долженъ. Если всякій предметъ въ природѣ имѣетъ право существовать прежде всего для себя, то неужели человѣкъ долженъ быть какимъ-то уродомъ въ созданіи, изгнанникомъ изъ общей гармоніи? Напротивъ, онъ выше другихъ

предметовъ, и потому воспріимчивость къ благу жизни въ немъ развита еще больше: низшіе предметы природы живутъ только въ себѣ, наслаждаются собою, — человѣкъ можетъ жить въ другихъ, наслаждаться чужою радостью, чужимъ счастьемъ. Если кто не чувствуетъ въ себѣ этой способности, значитъ, онъ еще мало развилъ въ себѣ истинно человѣческіе элементы, значитъ, животныя потребности слишкомъ сильно преобладаютъ въ немъ. «Что мнѣ за утѣшеніе пріобрѣсти сокровища, пить, ѣсть, — говоритъ Станкевичъ въ одномъ письмѣ: — эти животныя наслажденія ниже меня: а какое же наслажденіе остается еще кромѣ любви, жизни въ другихъ? Разумъ мой сознаетъ свою любящую природу въ этой мысли, — и то, что мы называемъ чувствомъ, есть полное одобрительное дѣйствіе нашего разумѣнія на весь организмъ». Вотъ въ чемъ заключался эпикуреизмъ Станкевича. Ясно, что при обстоятельствахъ, менѣе благопріятныхъ для спокойнаго саморазвитія и самосовершенствованія, при существованіи непосредственныхъ враждебныхъ столкновеній съ міромъ, Станкевичъ не побоялся бы оставить свои убѣжденія и дѣйствовать противъ злыхъ, въ пользу добрыхъ: въ этомъ онъ умѣлъ находить, какъ мы видимъ, *собственное* наслажденіе. Но обстоятельства расположились иначе: Станкевича не захватилъ круговоротъ борьбы здравыхъ идей съ шумно возставшими противъ нихъ предразсудками, и, право, не нужно жалѣть объ этомъ. Трудна эта борьба, и немногіе выходятъ изъ нея побѣдителями. Еще ничего, если человѣкъ сокрушится физически: тогда все-таки дѣло его остается правымъ, чистымъ и сильнымъ. Но чаще бываютъ нравственныя паденія, вредящія успѣху самаго дѣла. Немного найдется такихъ нравственно чистыхъ личностей, какъ Бѣлинскій, который, изъ своей продолжительной, упорной борьбы съ невѣжествомъ и зломъ, вышелъ сокрушенный физически, но нравственно ясный и свѣтлый, безъ всякаго пятна и укоризны. Были въ то же время и другіе люди, тоже имѣвшіе благородныя убѣжденія, тоже горячо кинувшіеся въ борьбу; но имена ихъ не сохранятся въ ряду именъ чистыхъ и безукоризненныхъ, хотя, можетъ быть, они были даже въ этомъ самомъ кружкѣ Станкевича. Можетъ быть, они въ свое время приносили даже и пользу, слѣдовательно имѣли общественное значеніе; но, по нашему мнѣнію, опредѣлять нравственное достоинство лица и, слѣдовательно, права его на общественное уваженіе по одному только количеству пользы, принесенной имъ, несправедливо. Это точно также односторонне, какъ и сужденіе о человѣкѣ по однимъ его намѣреніямъ и убѣжденіямъ: одно слишкомъ субъективно, другое совершенно объективно. Не нужно забывать, что польза отъ человѣческихъ дѣйствій не всегда происходитъ именно тамъ, гдѣ на нее расчитываютъ, и что не всегда люди расчитываютъ на общую пользу, когда обрабатываютъ то или другое полезное дѣльце. Иначе мы должны были бы вознести на верхъ общественнаго уваженія тѣ безобразныя, гаденькія личности, которыя въ простона-

родьи заклеймены названіемъ переметной сумы, а въ лучшемъ обществѣ именуются «дипломатами». Они бываютъ весьма полезны, когда видятъ, что по обстоятельствамъ имъ слѣдуетъ быть полезными. Когда они убѣдились, что можно выѣхать на безкорыстіи, — они преслѣдуютъ взятки; видя, что просвѣщеніе пошло въ ходъ, они кричатъ о святости науки, о любви къ знанію; догадавшись, что идеи гуманности и правды одолѣваютъ старыя начала угнетенія и лжи, они являются вездѣ защитниками слабыхъ, поборниками справедливости, и т. п. Но перемѣнись завтра обстоятельства, — они первые возстанутъ противъ того, что еще недавно защищали. Польза, сдѣланная ими, остается, но нравственное достоинство лица едва ли оттого возвышается и едва ли эти люди пріобрѣтаютъ право на общественное уваженіе.

Напротивъ, человѣкъ высоко-честный и нравственный въ своей жизни вполнѣ достоинъ уваженія общества именно за свою честность и нравственность. Пусть его жизнь не озарилась блескомъ какого-нибудь необыкновеннаго дѣянія на пользу общую, — все-таки его нравственное значеніе не потеряно. Даже натура чистосозерцательная, не проявившаяся въ энергической дѣятельности общественной, но нашедшая въ себѣ столько силъ, чтобы выработать убѣжденія для собственной жизни и жить не въ разладѣ съ этими убѣжденіями,—даже такая натура не остается безъ благотворнаго вліянія на общество, именно своей личностью. Мысль и чувство и сами по себѣ не лишены, конечно, высокаго реальнаго значенія; поэтому простая забота о развитіи въ себѣ чувства и мысли есть уже дѣятельность законная и небезполезная. Но польза ея увеличивается оттого, что видъ человѣка, высоко стоящаго въ нравственномъ и умственномъ отношеніи, обыкновенно дѣйствуетъ благотворно на окружающихъ, возвышаетъ и одушевляетъ ихъ. Есть, конечно, и всегда бывали люди, съ крайне утилитарными взглядами, Петры Ивановичи Адуевы средней руки, черствые и сухіе въ своей quasi-философской практичности, — люди, которыхъ не прошибешь указаніемъ на нравственную красоту и высокую степень умственнаго развитія. Такіе люди говорятъ: «э, помилуйте! все это эгоизмъ и дилеттантизмъ. Ну, скажите, какая польза отъ всѣхъ этихъ совершенствъ? По моему, — увлекается ли человѣкъ философскими вопросами, восхищается ли лучшими произведеніями искусства, или наслаждается пустыми романами, трактирнымъ органомъ и публичными гуляньями, — плоды такого наслажденія для общества будутъ одинаковы». Къ счастію, немного такихъ людей, способныхъ оставаться безчувственными при видѣ умственнаго и нравственнаго достоинства въ человѣкѣ. Бо́льшая часть людей не лишилась еще прекраснаго качества чувствовать благотворное вліяніе всякой приближающейся къ нимъ благородной и здраво развившейся личности.

Того, что нами сказано, достаточно уже было бы для объясненія правъ Станкевича на общественное вниманіе и уваженіе.

Но въ его перепискѣ и біографіи находятся факты, указывающіе *положительныя* его заслуги для общества, состоящія именно въ томъ вліяніи, какое имѣлъ онъ на людей, сдѣлавшихся весьма извѣстными въ русской литературѣ. Извѣстно, чѣмъ обязанъ Станкевичу Кольцовъ, встрѣтившій въ немъ перваго образованнаго, горячаго цѣнителя и постоянную поддержку и такъ живо выразившій печаль объ его утратѣ въ прекрасномъ стихотвореніи «Поминки», въ которомъ называетъ Станкевича «лучшимъ» въ кружкѣ друзей. Извѣстно также, какъ много поддерживалъ Станкевичъ Грановскаго въ его трудахъ, въ его сомнѣніяхъ. Объ этомъ предметѣ нечего говорить болѣе, какъ только привести слѣдующія слова изъ письма Грановскаго, писаннаго тотчасъ послѣ смерти Станкевича. «Никому на свѣтѣ не былъ я такъ много обязанъ: его вліяніе на меня было безконечно и благотворно. Этого, можетъ быть, кромѣ меня никто не знаетъ». Такое признаніе *Грановскаго* имѣетъ, конечно, большое значеніе при опредѣленіи общественныхъ заслугъ Станкевича. Правда, что и противъ значенія самого Грановскаго спорятъ *нѣкоторые*; но кто же эти нѣкоторые? г. В. Григорьевъ, покойная «Молва», да г. И. Л., недавно раскритиковавшій Станкевича въ одномъ изъ лучшихъ нашихъ журналовъ!...

Мы пропускаемъ здѣсь вліяніе Станкевича на Красова и на Ключникова, которые хотя и не были первоклассными художниками, но все же не могутъ быть названы бездарными. Напротивъ, у нихъ очень нерѣдко выражалась въ звучныхъ стихахъ живая мысль и искреннее, теплое чувство. Но мы не станемъ говорить объ этомъ вліяніи, чтобы нѣсколько долѣе остановиться на отношеніяхъ Станкевича къ Бѣлинскому. Ихъ не нужно искать въ письмахъ къ самому Бѣлинскому, которыхъ въ изданіи г. Анненкова напечатано всего два; о нихъ можно судить по всей перепискѣ Станкевича. Мы не скажемъ, что Бѣлинскій *заимствовалъ* свои мнѣнія до 1840 г. у Станкевича: это было бы слишкомъ много. Но несомнѣнно, что Станкевичъ дѣятельно участвовалъ въ выработкѣ тѣхъ сужденій и взглядовъ, которые потомъ такъ ярко и благотворно выразились въ критикѣ Бѣлинскаго. Мы не станемъ слѣдить здѣсь за развитіемъ общихъ философскихъ положеній, обсуждавшихся въ кружкѣ Станкевича и сдѣлавшихся потомъ надолго благотворнымъ источникомъ критики Бѣлинскаго. Здѣсь можно было бы найти много данныхъ для опредѣленія значенія Станкевича въ кругу его друзей; но мы уклоняемся отъ разсмотрѣнія этого вопроса отчасти потому, что оно завлекло бы насъ очень далеко, а, главнымъ образомъ, потому, что это дѣло изложено уже гораздо подробнѣе и лучше, нежели какъ мы могли бы это сдѣлать, въ одной изъ статей о критикѣ гоголевскаго періода литературы, помѣщавшихся въ «Современникѣ» 1856 года. Мы обратимъ здѣсь вниманіе на явленія болѣе частныя, касающіяся преимущественно тогдашнихъ литературныхъ явленій. Въ этомъ

случаѣ замѣчательно, что въ письмахъ Станкевича встрѣчаются большею частію *раньше* общія замѣтки и мнѣнія, которыя потомъ, послѣ небольшого промежутка времени, являются уже основательно и подробно развитыми въ статьяхъ Бѣлинскаго. Видно, что Бѣлинскій былъ наиболѣе энергическимъ представителемъ этого кружка; а можетъ быть онъ имѣлъ и болѣе матеріальной надобности высказывать въ печати убѣжденія, выработанныя имъ въ обществѣ друзей, которые мѣнялись своими идеями только между собою. Во всякомъ случаѣ очевидно что, при образованіи литературныхъ взглядовъ и сужденій въ кружкѣ друзей своихъ, Станкевичъ никогда не былъ лицемъ пассивнымъ и даже имѣлъ нѣкоторое вліяніе. Степени и подробностей этого вліянія, конечно, нельзя опредѣлить тому, кто не былъ самъ въ кружкѣ Станкевича; но что вліяніе было—свидѣтельствуютъ многія черты, сохранившіяся въ перепискѣ. Такъ, еще въ 1833 году, Станкевичъ высказываетъ въ письмахъ свои мысли о театрѣ и театральномъ искусствѣ, развитыя потомъ Бѣлинскимъ на нѣсколькихъ страницахъ «Литературныхъ мечтаній», напечатанныхъ въ «Молвѣ» 1834 г. Въ томъ же году, Станкевичъ высказываетъ свое мнѣніе объ игрѣ Мочалова и Каратыгина, и оно же выражается въ статьяхъ Бѣлинскаго, въ «Молвѣ» 1835 года, и даже позже въ «Наблюдателѣ».

Во всѣхъ письмахъ Станкевича, начиная съ 1834 года, постоянно выражается особенное увлеченіе Гофманомъ; съ тѣмъ же характеромъ является это увлеченіе и у Бѣлинскаго, особенно въ статьѣ о дѣтскихъ книгахъ въ «Отечеств. Запискахъ» 1840 г., № 3. Тотчасъ по выходѣ перваго № «Библіотеки для Чтенія» Станкевичъ писалъ (15 января 1834 г.) къ Я. М. Н—ву.

«Ты вѣрно читалъ кое-что изъ № 1 «Б. д. Ч.». Боже мой! что это? Такъ какъ это журналъ литературный, то, прочитавъ безжизненное стихотвореніе Пушкина и чуть живое Жуковскаго, я, чтобы видѣть направленіе его, взглянулъ въ отдѣленіе критики. Кажется, это подвизается Сенк. Онъ спрашиваетъ, напр., должно ли исторической драмѣ нарушать свидѣтельства исторіи? Воображеніе дѣйствуетъ, слѣдовательно исторія должна быть нарушена. Какая польза отъ исторіи? Исторія полезна однимъ только: она представляетъ примѣръ характеровъ для подражанія! А что толкуютъ о Кукольникѣ — бѣда! Великій Байронъ, великій Кукольникъ. Если К. не такъ слабъ душою, чтобы не обольститься лестью, то онъ долженъ негодовать; если онъ доволенъ—пропалъ поэтическій талантъ, который я въ немъ допускалъ» (стр. 83).

Не правда ли, что всѣ эти мысли хорошо знакомы намъ по критикамъ послѣдующаго времени? Даже фраза «великій Байронъ, великій Кукольникъ»! неоднократно повторялась потомъ, въ насмѣшку надъ слишкомъ рѣшительнымъ критикомъ. Но будемъ продолжать начатую параллель мнѣній Станкевича и Бѣлинскаго.

Въ концѣ 1834 г., Станкевичъ пишетъ о Тимофеевѣ, что онъ не считаетъ этого автора поэтомъ и даже вкуса не подозрѣваетъ въ немъ послѣ «мистеріи», помѣщенной въ «Библ. для Чтенія». Въ 1835 году, Бѣлинскій, съ своей обычной неумолимостью, высказалъ то же въ «Молвѣ», и вскорѣ потомъ Станкевичъ оправды-

ваетъ критика, говоря въ письмѣ къ Н—ву: «мнѣ кажется, что Бѣлинскій вовсе не былъ строгъ къ Тим-ву, хотя иногда, по раздражительности характера, онъ бываетъ черезчуръ бранчивъ».

Въ мартѣ 1835 г., Станкевичъ писалъ о Гоголѣ: «прочелъ одну повѣсть изъ Гоголева «Миргорода»,—это прелесть! («Старомодные помѣщики», такъ, кажется, она названа). Прочти! какъ здѣсь схвачено прекрасное чувство человѣческое въ пустой ничтожной жизни»!—Именно на этой мысли основанъ разборъ «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ», помѣщенный Бѣлинскимъ въ статьѣ его «О русской повѣсти и повѣстяхъ г. Гоголя», въ 7 и 8 (іюньскихъ) №№ «Телескопа».

Въ апрѣлѣ 1835 года, Станкевичъ извѣщаетъ Н—ва: «Надеждинъ, отъѣзжая за-границу, отдаетъ *намъ* «Телескопъ». *Постараемся* изъ него сдѣлать полезный журналъ,—хотя для иногородныхъ (прибавляетъ онъ). По крайней мѣрѣ, будетъ отпоръ Библіотекѣ и страннымъ критикамъ Ш. Какъ онъ мелоченъ сталъ»! (стр. 133). Въ началѣ іюня, Станкевичъ увѣдомляетъ своего пріятеля, что «Телескопъ» уже переданъ Бѣлинскому. «Я,—прибавляетъ онъ,—тратить времени на «Телескопъ» не стану, но въ каждое воскресенье мнѣ остается два-три часа свободныхъ, въ которые я могу заняться. Кромѣ того, мы всегда будемъ обществомъ *совѣщаться* о журналѣ». Тутъ же говорится, что «Наблюдатель» плохъ и что Ш. обманулъ ожиданія Станкевича и его друзей, — и оказался педантомъ. Изъ этого видно, какое близкое душевное участіе принималъ Станкевичъ въ изданіи «Телескопа» Бѣлинскимъ, и нѣтъ сомнѣнія, что онъ въ самомъ дѣлѣ много помогалъ ему своими совѣтами. По крайней мѣрѣ, на мнѣнія его о Ш. и «Московскомъ Наблюдателѣ» послѣдовалъ отголосокъ въ 9-й же книжкѣ «Телескопа», то есть черезъ два мѣсяца, а въ 5-й книжкѣ слѣдующаго года помѣщена была спеціальная статья Бѣлинскаго: «О критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ «Московскаго Наблюдателя», гдѣ много досталось ученому профессору Шев-ву.

Въ ноябрѣ 1835 г., писалъ Станкевичъ, что Бенедиктовъ не поэтъ, а фразеръ: «что стихъ, то фигура, ходули безпрестанныя. Бенедиктовъ блеститъ яркими, холодными фразами, звучными, но безсмысленными или натянутыми стихами. Наборъ словъ самыхъ звучныхъ, образовъ самыхъ яркихъ, сравненій самыхъ странныхъ—но души нѣтъ». Вслѣдъ за тѣмъ (въ XI-й книжкѣ «Телескопа») явилась статья Бѣлинскаго о стихотвореніяхъ Бенедиктова, великолѣпно развивавшая то же самое мнѣніе, котораго критикъ нашъ до конца держался. По поводу этой статьи, пріятель Станкевича сообщилъ ему слухи о томъ, будто бы удары, наносимые рукою Бѣлинскаго, направлены были Станкевичемъ, и послѣдній отвѣчалъ на это съ обычной своей искренностью: «не знаю откуда эти чудные слухи заходятъ въ Питеръ? Я—цензоръ Бѣлинскаго! Напротивъ, я самъ свои переводы, которыхъ два или три въ «Телескопѣ», подвергалъ цензорству Бѣлинскаго, въ отношеніи русской

грамоты, въ которой онъ знатокъ, а въ мнѣніяхъ всегда готовъ съ нимъ посовѣтоваться и очень часто послѣдовать его совѣтамъ. Конечно, его выходка неосторожна, но не болѣе; онъ хотѣлъ напасть на способъ составлять репутацію и оскорбилъ человѣческую сторону Бенедиктова. Я ему это скажу».

Въ 1837 г., Станкевичъ уѣхалъ за-границу, и литературныя сужденія въ его письмахъ попадаются рѣже. Поэтому и мы здѣсь остановимся. Сдѣлаемъ только еще выписку изъ одного письма Станкевича, заключающую въ себѣ его мнѣніе о народности. Вотъ что говоритъ онъ:

«Кто имѣетъ свой характеръ, тотъ отпечатываетъ его на всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ; создать характеръ, воспитать себя — можно только человѣческими началами. Выдумывать или сочинять характеръ народа изъ его старыхъ обычаевъ, старыхъ дѣйствій значитъ — хотѣть продлить для него время дѣтства: давайте ему общее человѣческое, и смотрите, что онъ способенъ принять, чего не достаетъ ему? Вотъ это угадайте, а поддерживать старое натяжками, квасным патріотизмомъ никуда не годится» (стр. 220)!.

Это самое мнѣніе, съ удивительной близостью даже къ способу изложенія, подробно и энергически развилъ Бѣлинскій въ статьяхъ своихъ о Руси до Петра, въ «Отеч. Запискахъ» 1841 г., т. е. слишкомъ черезъ три года послѣ письма Станкевича.

Мы не перебирали всѣхъ статей Бѣлинскаго и всѣхъ мнѣній, въ которыхъ онъ сходился съ своимъ другомъ. Мы называли только тѣ статьи, которыя мы могли припомнить, и которыя относятся къ частнымъ явленіямъ литературы. Но сходство частныхъ сужденій, по нашему мнѣнію, еще ярче рисуетъ связь, существующую между людьми, нежели согласіе въ общихъ истинахъ. Поэтому мы полагаемъ, что и представленныхъ фактовъ довольно уже для того, чтобы отнять у всякаго право сказать: между Бѣлинскимъ и Станкевичемъ не было взаимной зависимости другъ отъ друга! Чтобы говорить это, надобно не знать дѣятельности Бѣлинскаго до 1840 г., т. е. до смерти Станкевича.

Такимъ образомъ, кромѣ своей прекрасной, благородной личности, столь привлекательной въ самой себѣ, Станкевичъ имѣетъ еще и иныя права на общественное значеніе, какъ дѣятельный участникъ въ развитіи людей, которыми никогда не перестанетъ дорожить русская литература и русское общество. Имя его связано съ началомъ поэтической дѣятельности Кольцова, съ исторіей развитія Грановскаго и Бѣлинскаго: этого уже довольно для пріобрѣтенія нашего уваженія и признательной памяти.

Въ заключеніе нашей статьи, мы просимъ у читателей извиненія въ томъ, что наши замѣтки приняли форму нѣсколько полемическую. Трудно удержаться отъ этой формы, говоря о личности, подобной Станкевичу, въ виду тѣхъ понятій, какія обнаруживаются столь многими въ нашемъ обществѣ. У насъ еще недостаточно развито уваженіе къ нравственному достоинству отдѣль-

ныхъ личностей; у насъ еще нерѣдко можно слышать такое разсужденіе: «онъ мнѣ ничего худого не сдѣлалъ: могу ли я назвать его негодяемъ»? Или такое: «что мнѣ уважать его? мнѣ отъ него ни тепло, ни холодно!» Понятно, что люди съ такими понятіями (а этакихъ людей не мало) и удивлены, и раздражены тѣмъ, что имъ смѣютъ говорить объ общественномъ значеніи человѣка, который не только пирамиды не выстроилъ, Америки не открылъ, пороху не выдумалъ, но даже ни одного благотворительнаго бала не сдѣлалъ, даже ни одной толстой книги не сочинилъ. Поневолѣ приходится говорить о достоинствахъ человѣка, защищая его отъ близорукихъ и нелѣпыхъ обвиненій. Такой способъ изложенія для насъ самихъ очень непріятенъ и невыгоденъ вотъ въ какомъ отношеніи. Мы хотимъ удержать человѣка на той высотѣ, на которой стоитъ онъ и съ которой мелочная утилитарность хочетъ стащить его въ какую-то темную канаву, а намъ кричатъ: «вы его поднимаете на пьедесталъ, вы его хотите до облаковъ вознести! За что это? Какія его положительныя заслуги»? и пр. И выходитъ, какъ будто мы въ самомъ дѣлѣ ставимъ на пьедесталъ человѣка, особенно когда утилитарные враги начинаютъ утверждать, что они этого человѣка не трогали и въ канаву не тащили...

Но мы еще разъ готовы повторить то, что уже сказали въ началѣ статьи. Преувеличенныя похвалы Станкевичу намъ самимъ кажутся излишними и несправедливыми; сравнивать его съ Сократомъ, идеи котораго разнесены по свѣту нѣсколькими Платонами, намъ никогда не приходило въ голову. Да, сколько мы знаемъ, и никто изъ его друзей и приверженцевъ не дѣлалъ подобныхъ сравненій. Но, съ другой стороны, мы считаемъ крайне несправедливымъ и то отрицаніе, съ которымъ многіе относятся къ этой прекрасной, возвышенной личности. Говорятъ, что жизнь Станкевича прошла безплодно, что онъ даромъ растратилъ свои силы и не долженъ имѣть мѣста въ нашихъ воспоминаніяхъ; говорить это — значитъ обнаружить полное неуваженіе къ развитію индивидуальности человѣка и выразить претензію на абстрактное самоотреченіе, которое въ сущности есть не что иное, какъ обезличеніе. Кто признаетъ важность естественнаго, живого, свободнаго ея развитія, тотъ пойметъ и значеніе Станкевича, какъ въ самомъ себѣ, такъ и для общества. Мы, съ своей стороны, прибавимъ здѣсь одно: если бы во всякомъ обществѣ большинство состояло изъ людей, подобныхъ Станкевичу, то не было бы никакой необходимости ни въ этой пресловутой борьбѣ, ни въ мукахъ и страданіяхъ, на которыя такъ любятъ вызывать всѣхъ порядочныхъ людей люди слишкомъ утилитарные.

ОРГАНИЧЕСКОЕ РАЗВИТІЕ ЧЕЛОВѢКА

ВЪ СВЯЗИ СЪ ЕГО УМСТВЕННОЙ И НРАВСТВЕННОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

(**Органическое воспитаніе въ примѣненіи къ самообразованію и къ развитію здоровья питомцевъ.** *Сочиненіе* К. Ф. Шнелля. *Перев. съ нѣмецкаго* Ф. Бёмера. *Спб. 1857.* — **Книга о здоровомъ и больномъ человѣкѣ.** *Сочиненіе доктора* К. Е. Бока. *Перев. съ нѣмецкаго* І. Паульсона и Ф. Бёмера. *Спб. 1857, двѣ части.*)

Оба, названныя нами, сочиненія вышли въ русскомъ переводѣ уже довольно давно, но, кажется, не обратили на себя особеннаго вниманія русской публики. А между тѣмъ, это книги весьма замѣчательныя, и въ особенности для насъ, сбитыхъ съ толку выспренными теоріями ученыхъ педагоговъ, говорящихъ о духовномъ развитіи человѣка такія вещи, что просто волосъ дыбомъ становится. Такъ, Шнелль, не прибѣгая ни къ какимъ хитрымъ толкованіямъ, говоритъ просто-на-просто, что «верховною цѣлью воспитанія должно быть здоровье» (стр. 1). Этимъ опредѣленіемъ онъ начинаетъ свою книгу, имъ же ее оканчиваетъ, оно же строго проведено по всѣмъ отдѣламъ его сочиненія. Докторъ Бокъ также утверждаетъ, что важнѣе всего при воспитаніи заботиться о здоровьи и постоянномъ упражненіи всѣхъ чувствъ, приспособляя ихъ къ различнымъ впечатлѣніямъ (стр. 469).

Нѣтъ сомнѣнія, что опредѣленіе Шнелля, по своей крайней простотѣ, съ перваго же раза покажется понятнымъ для каждаго изъ читателей. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, несомнѣнно и то, что многіе поторопятся растолковать его въ смыслѣ очень ограниченномъ и, вслѣдствіе того, возстанутъ съ благонамѣренными насмѣшками противъ Бока и Шнелля, и тутъ же противъ насъ, признающихъ начала ихъ совершенно разумными. «Ваша идея, — язвительно ска-

жутъ намъ, — вовсе не нова; вы имѣете честь раздѣлять ее съ госпожей Простаковой, съ господиномъ Скотининымъ, съ родителями пана Халявскаго, изображеннаго Основьяненкомъ, и вообще со всѣми маменьками и папеньками, которые слово *воспитаніе* считаютъ однозначащимъ съ словомъ *откармливанье*. Къ сожалѣнію, ваша теорія *воспитанія для здоровья* находитъ еще многихъ представителей въ отживающемъ поколѣніи провинціальныхъ, степныхъ бабушекъ, тетушекъ, нянюшекъ, которыя встрѣчаютъ своего воспитанничка, пріѣхавшаго изъ университета, словами: «батюшка ты нашъ! какъ тебя тамъ измучили! Поѣхалъ — такъ любо посмотрѣть было; а теперь—спичка спичкой сталъ. Вотъ она, наука-то ваша проклятая»! Вашей идеѣ обрадуются всѣ балбесы, которые до 15 лѣтъ ничему не учатся, но за то — какъ яблочко румяны, потому что съ утра до ночи собакъ гоняютъ», и пр., и пр.

На всѣ эти возраженія мы можемъ отвѣтить просвѣщеннымъ нашимъ противникамъ, что не всякая болѣзнь изсушаетъ человѣка и не всякая толстота означаетъ здоровье. Мы просимъ вспомнить поэтическую жалобу толстаго труженика, который утверждаетъ: люди, дескать,

«По моей громадной толщинѣ
Заключаютъ ложно обо мнѣ», —

не зная,

«. . . . Что тотъ,
Кто счастливцемъ по виду слыветъ,
Далеко не такъ благополученъ,
Какъ румянъ и шаровидно тученъ».

Да, ошибка госпожи Простаковой съ братіей состояла не въ томъ, что они заботились о здоровьи дѣтей, а въ томъ, что не понимали, что такое здоровье. Матушка откармливаетъ своего Митрофанушку, а онъ, съѣвши на сонъ грядущій солонины ломтика три, да пирожковъ подовыхъ пять или шесть, — ляжетъ да и тоскуетъ цѣлую ночь, а поутру какъ шальной ходитъ... Развѣ это здоровье? Если здоровье состоитъ въ томъ, чтобы безпрепятственно совершались въ человѣкѣ отправленія растительной жизни и чтобы не было въ тѣлѣ постояннаго ощущенія какой-нибудь острой боли, то, пожалуй, можно согласиться, что всѣ толстые идіоты совершенно здоровы. Но, въ такомъ случаѣ, вѣдь и пораженнаго параличемъ надобно считать здоровымъ человѣкомъ, и одержимаго бѣлой горячкой — тоже здоровымъ. А между тѣмъ, и то и другое мы считаемъ болѣзнями, и даже весьма значительными. Мало этого, мы вѣдь признаемъ больнымъ или, по крайней мѣрѣ, не совершенно здоровымъ человѣка, подверженнаго безпрестаннымъ истерикамъ, спазмамъ, мигренямъ, всякаго рода нервнымъ разстройствамъ, и т. п. Уродства разнаго рода — глухоту, слѣпоту и т. д. тоже должно относить къ явленіямъ болѣзненнымъ.

Точно также къ болѣзнямъ слѣдуетъ относить и особыя, ненормальныя положенія, въ которыя впадаютъ иные люди, какъ, напримѣръ, спячку или апатію ко всему на свѣтѣ, совершенное безпамятство, всякія мономаніи, общее разслабленіе организма и невозможность сдѣлать надъ собой хотя малѣйшее усиліе, и т. п. Словомъ — подъ здоровьемъ нельзя разумѣть одно только наружное благосостояніе тѣла, а нужно понимать вообще естественное гармоническое развитіе всего организма и правильное совершеніе всѣхъ его отправленій.

Противъ этого опять можетъ быть возраженіе, и на этотъ разъ уже весьма основательное. Могутъ указать на низшій классъ народа, который физически бываетъ обыкновенно здоровѣе высшихъ классовъ; могутъ указать на дикарей, пользующихся отличнымъ здоровьемъ и громадной физической силой; а съ другой стороны — могутъ представить многихъ великихъ ученыхъ, поэтовъ, государственныхъ людей истощенныхъ, больныхъ и слабыхъ... Изъ этого сопоставленія можно вывести заключеніе такого рода, на первый взглядъ не лишенное своей основательности: «если все развитіе человѣка направлять только къ тому, чтобы онъ былъ здоровымъ, то придется взять за идеалъ ирокезовъ, которые, какъ говорятъ, не знаютъ никакихъ болѣзней, — и отвергнуть все значеніе великихъ людей, прославившихся умственной и нравственной дѣятельностью».

Возраженіе это, по внимательномъ его разсмотрѣніи, должно быть признано совершенно ничтожнымъ, по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, оно грѣшитъ тѣмъ, что беретъ для сличенія предметы не совершенно подъ одинаковыми условіями. Различіе племенъ и затѣмъ различіе занятій человѣка много имѣетъ вліянія на возможную степень его развитія во всѣхъ отношеніяхъ. Если бы можно было брать здоровье въ отвлеченности, то не нужно было бы даже къ людямъ обращаться, а прямо привести въ примѣръ животныхъ. На что вамъ еще организмъ крѣпче и здоровѣе, чѣмъ хоть, примѣрно, у слона или у льва, или даже у быка? Не даромъ же говорятъ у насъ: «здоровъ какъ быкъ.» Но у этихъ животныхъ самое строеніе организма не то, что у насъ, и потому мы оставляемъ ихъ въ покоѣ. Есть, пожалуй, червяки, которыхъ разрѣжешь пополамъ, такъ обѣ половинки и поползутъ въ разныя стороны, какъ не въ чемъ ни бывали; эти намъ не примѣръ. Точно такъ и ирокезы — не примѣръ для европейскихъ ученыхъ. Кромѣ того, нужно замѣтить, что болѣзненное состояніе вовсе не способствовало, конечно, полезнымъ открытіямъ и изысканіямъ, произведеннымъ этими учеными. Въ большей части случаевъ, болѣзнь вовсе не относилась къ тѣмъ органамъ, которые необходимы были для ихъ спеціальности (какъ исключеніе, можно бы привести Бетховена; но и у него поврежденіе слуховыхъ органовъ не было такъ сильно въ то время, когда онъ создавалъ лучшія свои творенія); мѣстное же пораженіе въ этомъ случаѣ не должно

быть принимаемо въ расчетъ. Конечно, Байронъ былъ хромъ, и это не помѣшало ему быть великимъ поэтомъ, точно такъ, какъ, напр., слабость зрѣнія не помѣшала многимъ другимъ быть великими учеными, философами и пр., но, конечно, всякій согласится, что наружное поврежденіе всего менѣе можно назвать болѣзнью организма. Съ другой же стороны, всякій признаетъ, что каждое болѣзненное ощущеніе въ тѣлѣ разстраиваетъ, хоть на минуту, нашу духовную дѣятельность, и что, слѣдовательно, если бы великіе ученые были совершенно здоровы, то сдѣлали бы еще больше, чѣмъ сколько сдѣлали они при своихъ немощахъ.

Говорятъ, что, напротивъ, иногда болѣзнь тѣла возбуждаетъ сильнѣе духовную дѣятельность. Примѣровъ приводятъ много. Указываютъ на нѣсколькихъ поэтовъ, почувствовавшихъ и открывшихъ міру силу своего таланта послѣ того, какъ они стали слѣпы. Тутъ, разумѣется, являются Гомеръ и Мильтонъ, тутъ приводятъ и стихи Пушкина русскому слѣпцу-поэту:

«Пѣвецъ, когда передъ тобой
Во мглѣ сокрылся міръ земной,
Мгновенно твой проснулся геній», и проч.

Указываютъ также на Игнатія Лойолу, во время болѣзни почувствовавшаго призваніе къ основанію ордена; на Магомета, въ припадкахъ падучей болѣзни слышавшаго призваніе Аллаха; на аскетовъ, которыхъ духовныя созерцанія происходили именно отъ истощенія ими плоти своей, и т. д. Примѣровъ на эту тему можно набрать тысячи: случаевъ, въ которыхъ обнаруживается антагонизмъ духовной и тѣлесной природы въ человѣкѣ, тоже насчитывается множество. Но во всемъ этомъ господствуетъ недоразумѣніе: сначала виною ему послужили грубые матеріалисты, а потомъ и мечтательные идеалисты, опровергая ихъ, впали въ ту же самую ошибку. Мы намѣрены объясниться на этотъ счетъ подробнѣе, считая объясненіе именно этого пункта самымъ необходимымъ для убѣжденія въ важности, какую имѣетъ здоровый организмъ,— не только для тѣлесной, но и для нравственной дѣятельности человѣка.

Начнемъ хоть съ того, что замѣчать антагонизмъ между предметами есть дѣло совершенно естественное и неизбѣжное при раскрытіи въ человѣкѣ сознанія. Пока мы не замѣчаемъ разницы между предметами, до тѣхъ поръ мы существуемъ безсознательно. Первый актъ сознанія состоитъ въ томъ, что мы отличаемъ себя отъ прочихъ предметовъ, существующихъ въ мірѣ. Уже въ этомъ отличеніи заключается и нѣкоторое противопоставленіе, и противопоставленіе это тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе самостоятельности признаемъ мы за своимъ существомъ. Сознавши себя какъ нѣчто отдѣльное отъ всего прочаго, человѣкъ необходимо долженъ прійти къ заключенію, что онъ имѣетъ право жить и дѣйствовать самъ по себѣ, отдѣльной и самостоятельной жизнью. Но на дѣлѣ онъ без-

престанно встрѣчаетъ непреодолимыя препятствія къ исполненію своихъ личныхъ стремленій и, сознавая свое безсиліе, но еще не сознавая ясно своей связи съ общими законами природы, ставитъ себя во враждебное отношеніе къ ней. Ему кажется, что въ природѣ есть какія-то силы, непріязненныя къ человѣку и вѣчно ему противоборствующія. Отсюда развивается мало-по-малу понятіе о темныхъ силахъ, постоянно вредящихъ человѣку. Между тѣмъ и благотворная сила природы не можетъ не быть замѣчена человѣкомъ, разъ уже отличившимъ себя отъ нея, и такимъ образомъ, вмѣстѣ съ понятіемъ о темной силѣ, является и сознаніе силы свѣтлой и доброй, покровительствующей человѣку. Вотъ начало того дуализма, который находимъ мы въ основаніи всѣхъ естественныхъ религій: Вишну и Шива, Ормуздъ и Ариманъ, Бѣлбогъ и Чернобогъ, и проч., и проч., служатъ олицетвореніемъ первоначальныхъ понятій человѣка о силахъ природы. Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, соразмѣрно съ пріобрѣтеніемъ большей опытности человѣчествомъ, общая идея распадается на множество частныхъ и примѣняется ко всякому отдѣльному явленію. Такимъ образомъ, являются понятія о противоборствѣ свѣта и мрака, тепла и холода, моря и суши, земли и языческаго неба, и т. д. Наконецъ, человѣкъ обращается отъ внѣшняго міра къ себѣ и въ своей собственной натурѣ тоже начинаетъ замѣчать борьбу какихъ-то противоположныхъ побужденій. Не умѣя еще возвыситься до идеи о всеобщемъ единствѣ и гармоніи, онъ и въ себѣ, какъ въ природѣ, предполагаетъ существованіе различныхъ, непріязненныхъ другъ другу, началъ. Доискиваясь, откуда взялись они, онъ, почти вполнѣ еще находящійся подъ вліяніемъ впечатлѣній внѣшняго міра, не задумывается приписать ихъ происхожденіе тѣмъ же враждебнымъ силамъ, какія замѣтилъ уже въ природѣ. Находя внутри себя какія-то неясныя стремленія, какое-то недовольство внѣшнимъ, онъ естественно заключаетъ, что внутри его есть какое-то особенное существо, высшее, нежели то, которое обнаруживается въ его внѣшней дѣятельности. Отсюда прямой выводъ, что въ человѣкѣ два враждебныхъ существа: одно происходящее отъ добраго начала, — внутреннее, высшее; другое, произведенное злою силою, внѣшнее, грубое, темное. Такимъ образомъ является то мрачное понятіе о тѣлѣ, какъ темницѣ души, которое существовало у дохристіанскихъ народовъ. Со временъ христіанства, древній дуализмъ понемногу начинаетъ исчезать и до нѣкоторой степени теряетъ свою силу въ общемъ сознаніи. Но старыя понятія жалко было бросить схоластическимъ мудрецамъ среднихъ вѣковъ, и они ухватились за дуализмъ, какъ за неистощимый источникъ діалектическихъ преній. Въ самомъ дѣлѣ, — когда все просто, естественно и гармонично, о чемъ тогда и спорить? Гораздо лучше, если будетъ два начала, двѣ силы, два противныхъ положенія, изъ которыхъ можно исходить, во всеоружіи софизмовъ, на поприще праздной діалектики. Эти-то премудрые схоластики и задержали общій здра-

вый смыслъ, которому, конечно, давно пора бы понять, что послѣдняя цѣль знанія — не борьба, а примиреніе, не противоположность, а единство. Средневѣковые ученые постарались отдѣлить душу отъ тѣла и, взглянувши на нее какъ на существо, совершенно ему чуждое, принялись потомъ отгадывать: какъ же это душа съ тѣломъ соединяется? Въ древности Аристотель тоже разсуждалъ объ этомъ: тому было, разумѣется, простительно. Онъ воображалъ себѣ, что тѣло есть матерія грубая, а душа — тоже матерія, только очень тонкая, и, слѣдовательно, вопросъ, поставленный имъ, можно понимать нѣкоторымъ образомъ въ химическомъ смыслѣ. Оттого-то и вышла у него хорошая теорія — *инфлюксусъ физикусъ*, для объясненія связи души съ тѣломъ... У средневѣковыхъ ученыхъ не могло существовать предположенія Аристотеля о матеріальности души. Всѣ они были христіане, большею частью духовные, всѣ вѣровали въ духовность и безсмертіе души, а между тѣмъ разсматривали вопросъ, который возможенъ былъ только при предположеніи Аристотеля. Какимъ способомъ духъ соединяется съ тѣломъ, спрашивали они, какое мѣсто занимаетъ онъ въ тѣлѣ? Посредствомъ какихъ связей передается душѣ боль, причиненная тѣлу? Какіе существуютъ проводники, передающіе тѣлу мысли и желанія воли?... Дѣлая всѣ эти вопросы, схоластики не понимали, что, считая душу идеальнымъ существомъ, механически вложеннымъ въ тѣло, они черезъ то сами впадаютъ въ грубѣйшій матеріализмъ. Если душа занимаетъ опредѣленное мѣстечко въ тѣлѣ, то, разумѣется, она матеріальна; если она какими-нибудь внѣшними связями соединяется съ тѣломъ,—опять то же неизбѣжное слѣдствіе. Къ этому заблужденію присоединялось еще другое, тоже языческое, — что тѣло состоитъ подъ вліяніемъ злой силы и отъ него приходитъ въ душу все нечистое. На основаніи этого разсужденія, средневѣковые аскеты превзошли даже тѣ жестокія и кровавыя истязанія, какія дѣлаютъ надъ собой индійцы въ своемъ религіозномъ изступленіи. Извѣстно, до какого безумія доходили бичующіеся въ своемъ усмиреніи плоти. Извѣстно и то, сколько колдуновъ и сколько несчастныхъ, такъ-называемыхъ «бѣснующихся», сожжено было тогда вслѣдствіе увѣренности, что въ тѣлѣ ихъ воцарился дьяволъ...

Въ наше время успѣхи естественныхъ наукъ, избавившіе насъ уже отъ многихъ предразсудковъ, дали намъ возможность составить болѣе здравый и простой взглядъ и на отношеніе между духовной и тѣлесной дѣятельностью человѣка. Антропологія доказала намъ ясно, что прежде всего — всѣ усилія наши представить себѣ отвлеченнаго духа безъ всякихъ матеріальныхъ свойствъ, или положительно опредѣлить, что̀ онъ такое въ своей сущности, всегда были и всегда останутся совершенно безплодными. Затѣмъ, наука объяснила, что всякая дѣятельность, обнаруженная человѣкомъ, лишь настолько и можетъ быть нами замѣчена, насколько обнаружилась она въ тѣлесныхъ, внѣшнихъ проявленіяхъ, и что, слѣ-

довательно, о дѣятельности души мы можемъ судить только по ея проявленію въ тѣлѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы узнали, что каждое изъ простыхъ веществъ, входящихъ въ составъ нашего тѣла, само по себѣ не имѣетъ жизни,— слѣдовательно жизненность, обнаруживаемая нами, зависитъ не отъ того или другого вещества, а отъ извѣстнаго соединенія всѣхъ ихъ. При такомъ точномъ дознаніи уже невозможно было оставаться въ грубомъ, слѣпомъ матеріализмѣ, считавшемъ душу какимъ-то кусочкомъ тончайшей, эфирной матеріи; тутъ уже нельзя было ставить вопросы объ органической жизни человѣка такъ, какъ ихъ ставили древніе языческіе философы и средневѣковые схоластики. Нуженъ былъ взглядъ болѣе широкій и болѣе ясный, нужно было привести къ единству то, что доселѣ намѣрено разъединялось; нужно было обобщить то, что представлялось до тѣхъ поръ какими-то отдѣльными, ничѣмъ не связанными частями. Въ этомъ возведеніи видимыхъ противорѣчій къ естественному единству—великая заслуга новѣйшей науки. Только новѣйшая наука отвергла схоластическое раздвоеніе человѣка и стала разсматривать его въ полномъ, неразрывномъ его составѣ, тѣлесномъ и духовномъ, не стараясь разобщать ихъ. Она увидѣла въ душѣ именно ту силу, которая проникаетъ собою и одушевляетъ весь тѣлесный составъ человѣка. На основаніи такого понятія, наука уже не разсматриваетъ нынѣ тѣлесныя дѣятельности отдѣльно отъ духовныхъ, и обратно. Напротивъ, во всѣхъ, самыхъ ничтожныхъ тѣлесныхъ явленіяхъ наука видитъ дѣйствіе той же силы, участвующей безсознательно въ кровотвореніи, пищевареніи, и пр., и достигающей высоты сознанія въ отправленіяхъ нервной системы и преимущественно мозга. Отличаясь простотою и вѣрностью фактамъ жизни, согласный съ высшимъ, христіанскимъ взглядомъ вообще на личность человѣка, какъ существа самостоятельно-индивидуальнаго, взглядъ истинной науки отличается еще однимъ преимуществомъ. Имъ несомнѣнно утверждается та истина, что душа не внѣшней связью соединяется съ тѣломъ, не случайно въ него положена, не уголокъ какой нибудь занимаетъ въ немъ, — а сливается съ нимъ необходимо, прочно и неразрывно, проникаетъ его все и повсюду, такъ что безъ нея, безъ этой силы одушевляющей, невозможно вообразить себѣ живой человѣческій организмъ, и наоборотъ.

Вникнувши въ этотъ взглядъ, немудрено понять, въ какомъ смыслѣ здоровье можетъ быть принимаемо за верховную цѣль развитія человѣка. Если всякая душевная дѣятельность непремѣнно проявляется во внѣшнихъ знакахъ и если орудіемъ ея проявленія служатъ непремѣнно органы нашего тѣла, то ясно, что для правильнаго проявленія душевной дѣятельности мы должны имѣть правильно-развитые, здоровые органы. При всемъ желаніи слушать хорошіе совѣты и видѣть добрые примѣры, человѣкъ слѣпой и глухой не можетъ исполнить своего желанія, такъ же, какъ безногій не можетъ ходить, нѣмой говорить, и т. п. Такъ точно, если

въ насъ разстроены нервы, мы не можемъ быть спокойны и терпѣливы; если поврежденъ мозгъ, не можемъ хорошо разсуждать, и т. п. Во всѣхъ этихъ случаяхъ мы нездоровы, хотя бы и не чувствовали острой тѣлесной боли. Равнымъ образомъ, нельзя назвать совершенно здоровымъ и того организма, въ которомъ одна какая-нибудь сторона развивается слишкомъ сильно, въ ущербъ другимъ. Такимъ образомъ, тотъ организмъ, въ которомъ развитіе мозговыхъ отправленій поглощаетъ собою всѣ другія, развивается ненормально, болѣзненно. Точно также ненормально и развитіе того организма, въ которомъ усиленной дѣятельностью мускуловъ ограничивается и заглушается развитіе нервной системы и особенно мозга. Въ этомъ отношеніи, слѣдовательно, какъ блѣдныя, истощенныя ученыя дѣти, такъ и дикари, обладающіе страшной физической силой, но грубые и необразованные, развиты одинаково односторонне, и односторонность эту можно назвать недостаткомъ полнаго здоровья организма. Недостатокъ этотъ, разумѣется, нисколько не мѣшаетъ правильной дѣятельности тѣхъ органовъ, которые хорошо развились, хотя онъ и мѣшаетъ водворенію полной гармоніи въ организмѣ. Оттого-то мы и видимъ всегда такъ много лихорадочнаго, судорожнаго въ дѣятельности энтузіастовъ, у которыхъ сила чувства и воображенія преобладаетъ надъ разсудкомъ. Оттого-то мы находимъ такую ограниченность, тусклость понятій у людей, всю жизнь посвятившихъ физическому труду; животно-здоровой организаціи недостаточно для человѣка: для него нужно здоровье человѣческое, здоровье, въ которомъ бы развитіе тѣла не мѣшало развитію души, а способствовало ему. Иначе является одностороннее, нездоровое развитіе, при которомъ, — совершенно естественно,—болѣзненное состояніе однихъ органовъ возбуждаетъ къ усиленной дѣятельности другіе. Собственно говоря, всякую болѣзнь можно опредѣлить именно какъ нарушеніе правильнаго отношенія между частицами, входящими въ составъ нашего организма. Слѣдовательно, тотъ, напр., фактъ, что при истощеніи тѣла отъ болѣзни усиливается дѣятельность воображенія, нисколько не противорѣчитъ общей гармоніи организма, а, напротивъ, подтверждаетъ ее. Давно уже замѣчено, что природа какъ бы старается вознаградить человѣка за недостатокъ однихъ органовъ бо́льшимъ совершенствомъ другихъ. Такъ, слѣпые бываютъ одарены хорошимъ слухомъ и осязаніемъ, напротивъ глухіе часто отличаются остротою зрѣнія, и т. п. Тоже самое должно произойти и въ дѣятельностяхъ, совершающихся при непосредственномъ участіи мозга. Онѣ могутъ развиваться тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе развиваются прочія дѣятельности. Такъ, лишеніе зрѣнія необходимо заставляетъ человѣка отказаться отъ нѣкоторыхъ общественныхъ занятій и, кромѣ того, отнимаетъ у него возможность пріобрѣтать новыя впечатлѣнія посредствомъ глазъ. Весьма естественно, что, находясь въ такомъ положеніи, человѣкъ болѣе обращается къ своему субъективному міру и занимается переработкою тѣхъ впечатлѣній, кото-

рыя были уже получены имъ прежде. Точно такъ и какой-нибудь Лойола могъ развивать въ своемъ воображеніи какіе угодно великіе планы, несмотря на слабость своего тѣла во время выздоровленія. Это фактъ весьма естественный; такъ, извѣстно, что ослабленіе тѣла, вслѣдствіе продолжительнаго голода, оканчивается бредомъ, и вообще бредъ всего чаще является въ болѣзняхъ, истощающихъ организмъ. Въ подобныхъ явленіяхъ мы должны видѣть скорѣе соотвѣтствіе, нежели антагонизмъ.

Смотря на человѣка какъ на одно цѣлое, нераздѣльное существо, какъ на истинный индивидуумъ, мы устраняемъ и тѣ безчисленныя противорѣчія, какія находятъ схоластики между тѣлесной и душевной дѣятельностью. Разумѣется, если разсѣкать человѣка на части, то непримиримыхъ противорѣчій можно найти бездну, какъ и во всемъ можно отыскивать ихъ при такомъ условіи. Что было бы, если бы мы вздумали искать, напр., въ какой части скрипки сидитъ звукъ, издаваемый ею,— въ струнахъ, или въ колышкахъ, или въ вырѣзкахъ ея, или въ самой доскѣ?... Къ какимъ забавнымъ разсужденіямъ привела бы насъ попытка рѣшить подобный вопросъ, невозможный по самой сущности дѣла! Нѣчто совершенно подобное случилось съ схоластиками, старавшимися противопоставить тѣло духу. Какимъ это образомъ, говорили они, душа наша можетъ радоваться, когда тѣло чувствуетъ боль? Какъ душа можетъ чувствовать холодъ, когда руки ощупываютъ предметъ теплый непосредственно послѣ горячаго? и т. д. Противорѣчія были безконечны и изъ нихъ схоластики, — безъ всякаго права, впрочемъ, — выводили заключеніе, довольно курьезное, именно: душа, дескать, въ человѣкѣ сама по себѣ, и тѣло само по себѣ; одна дѣйствуетъ по своимъ законамъ, а другое по своимъ, совершенно особеннымъ. Заключеніе это, какъ ни нелѣпо оно, долгое время принималось на-слово, пока результаты, добытые естественными науками, не помогли опредѣлить точнѣе органическую природу человѣка. Теперь уже никто не сомнѣвается въ томъ, что всѣ старанія провести разграничительную черту между духовными и тѣлесными отправленіями человѣка напрасны, и что наука человѣческая никогда этого достигнуть не можетъ. Безъ вещественнаго обнаруженія, мы не можемъ узнать о существованіи внутренней дѣятельности; а вещественное обнаруженіе происходитъ въ тѣлѣ; возможно ли же отдѣлять предметъ отъ его признаковъ, и что останется отъ предмета, если мы представленіе всѣхъ его признаковъ и свойствъ уничтожимъ? Совершенно простое и логичное объясненіе фактовъ видимаго антагонизма человѣческой природы происходитъ тогда, когда мы смотримъ на человѣка просто какъ на единый нераздѣльный организмъ. Тогда тотъ фактъ, напр., что мы иногда, смотря, не видимъ, объясняется совершенно просто. Актъ зрѣнія не состоитъ въ томъ только, чтобы видимый предметъ отразился въ нашемъ глазѣ; главное дѣло здѣсь въ томъ, чтобы нервъ зрѣнія былъ возбужденъ и передалъ въ мозгъ впе-

чатлѣніе предмета. Зрѣніе совершается не въ глазѣ, а въ мозгу, какъ и всѣ наши чувства; если перерѣзать, напр., глазной нервъ, то предметы будутъ отражаться въ глазѣ по-прежнему, а видѣть ихъ мы не будемъ. Поэтому вовсе ничего нѣтъ страннаго, что когда мы заняты какими-нибудь важными думами, т. е. когда въ мозгу совершается усиленная дѣятельность, то слабое раздраженіе зрительнаго нерва, чувствительное для насъ въ другихъ случаяхъ, дѣлается уже недостаточнымъ и не пробуждаетъ въ мозгу сознанія о себѣ. Но какъ скоро раздраженіе нерва дѣлается слишкомъ сильнымъ, то вниманіе наше немедленно отвлекается отъ предметовъ, о которыхъ мы думали, и обращается на предметъ, произведшій раздраженіе. Такимъ же естественнымъ образомъ объясняетъ физіологія и всѣ противорѣчія, придуманныя схоластиками, впавшими безъ собственнаго вѣдома въ слишкомъ грубый матеріализмъ.

Сдѣлавши эти предварительныя объясненія, мы полагаемъ, что въ читателяхъ уже не остается болѣе недоумѣній относительно того, что мы разумѣемъ подъ здоровымъ развитіемъ организма и почему придаемъ ему такую важность. Въ наше время, вообще, вошло въ обычай, съ голоса превыспренныхъ поэтовъ, жаловаться на матеріализмъ и практическое направленіе вѣка. Но намъ кажется, что гораздо съ бо́льшимъ правомъ врачи и физіологи упрекаютъ наше время въ одностороннемъ, недальномъ идеализмѣ. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, какъ презрительно смотримъ мы на тѣлесный трудъ, какъ мало обращаемъ вниманія на упражненіе тѣлесныхъ силъ. Мы любимъ, правда, красоту, ловкость, грацію; но и тутъ часто выражается наше презрѣніе къ простому, здоровому развитію организма. Въ лицахъ часто намъ нравится мечтательное, заоблачное выраженіе и блѣдный цвѣтъ, «тоски примѣта»; въ строеніи организма — талія, которую можно обхватить одной рукой; о маленькихъ ручкахъ и ножкахъ и говорить нечего. Этого, конечно, нельзя назвать положительно дурнымъ, нельзя утверждать, что большая нога непремѣнно лучше маленькой; но все-таки наше предпочтеніе, основываясь не на понятіи о симметричности развитія всѣхъ органовъ человѣка, а на какомъ-то безотчетномъ капризѣ, служитъ доказательствомъ односторонняго, ложнаго идеализма. Мускулистыя, сильно развитыя руки и ноги пробуждаютъ въ насъ мысль о физическомъ трудѣ, развивающемъ, какъ извѣстно, эти органы; и это намъ не нравится. Напротивъ, миніатюрныя, нѣжныя ручки свидѣтельствуютъ, что обладающій или обладающая ими не преданы грубому труду, а упражняются въ какой-нибудь высшей дѣятельности. Этого-то намъ и нужно... Искаженныя стремленія идеализма постоянно въ насъ проглядываютъ. Мы, напримѣръ, очень строги въ сужденіяхъ о поступкахъ другихъ людей и очень склонны требовать отъ каждаго, чтобы онъ былъ героемъ добродѣтели. Рѣдко обратимъ мы вниманіе на положеніе человѣка, на обстановку его быта, на разныя облегчающія обстоятельства; за то весьма часто мы, съ удивительнымъ

геройствомъ, говоримъ: «онъ солгалъ—этого довольно: я считаю его человѣкомъ безчестнымъ». Ну, не идеальный ли это образъ мыслей?... А наши удовольствія? Мы даемъ благотворительные балы, разыгрываемъ благотворительныя лотереи, составляемъ благородные спектакли, тоже благотворительные: можно ли не видѣть въ этомъ высокихъ стремленій, чуждыхъ матеріальнаго расчета? Мы восхищаемся всѣми искусствами и утверждаемъ, что звуки оперъ Верди, пейзажи Калама настраиваютъ насъ къ чему-то возвышенному, чистому, идеальному. На самомъ-то дѣлѣ, подъ всѣмъ этимъ скрывается, можетъ быть, просто пріятное удовлетвореніе слуха и глазъ, а можетъ быть даже и желаніе убить скуку; но вѣдь мы въ этомъ не признаемся, и тутъ-то и выражается наше стремленіе къ какому-то идеализму. Мы совѣстимся представить себѣ вещи, какъ онѣ есть: мы непремѣнно стараемся украсить, облагородить ихъ, и часто навязываемъ на себя такое бремя, котораго и снести не можемъ. Кто изъ насъ не старался иногда придать оттѣнокъ героизма, великодушія или тонкаго соображенія самому простому своему поступку, сдѣланному иногда совершенно случайно? Кто не убиралъ розовыми цвѣтами идеализма—простой, весьма понятной склонности къ женщинѣ? Кто изъ образованныхъ людей, наконецъ,— пошлемся на самихъ читателей,— не говорилъ съ увѣренностью, даже иногда съ восторгомъ, о Гомерѣ, о Шекспирѣ, пожалуй, о Бетховенѣ, о Рафаэлѣ и его мадоннѣ, и между тѣмъ многіе ли сами-то понимали, въ глубинѣ души своей, то, что говорили? Нѣтъ, что ни говорите, а желаніе поидеальничать въ насъ очень сильно; врачи и натуралисты «имѣютъ резонъ».

Но ни въ чемъ этотъ ложный и безплодный идеализмъ не выражается такъ ясно и не приноситъ столько вреда, какъ въ воспитаніи. Гдѣ нынѣ заботятся о примѣненіи воспитанія къ индивидуальному организму дѣтей? Гдѣ занимаются наглядным обученіемъ въ раннемъ дѣтскомъ возрастѣ? Кто ищетъ для своихъ дѣтей здороваго развитія организма болѣе, чѣмъ внушенія имъ всяческихъ, часто очень уродливыхъ, отвлеченностей? Въ старину любили откармливать дѣтей; нынѣ любятъ морить ихъ голодомъ, чтобъ они не ожирѣли и не отупѣли. Въ старину до пятнадцати лѣтъ не принимались за ученье, въ той мысли, что пусть, дескать, дитя побѣгаетъ, ученье-то еще не уйдетъ; нынѣ дѣтямъ не даютъ бѣгать, заставляя ихъ сидѣть смирно и учиться. Бывало спозаранку прогоняли дѣтей спать, чтобы не изнурились, и они просыпали половину сутокъ; теперь дѣтей заставляютъ сидѣть за урокомъ до тѣхъ поръ, пока отяжелѣвшая голова ихъ сама не упадетъ на столъ. Двухлѣтнему мальчику толкуютъ уже объ ученьи, а съ пяти лѣтъ, иногда и раньше, стараются уже вбить ему въ голову высокія идеи о его назначеніи — быть архитекторомъ, инженеромъ, генераломъ, правовѣдомъ, и т. п. Можетъ быть, въ этомъ скрывается матеріализмъ самый грубый; но только результаты его вовсе не благопріятны для тѣлеснаго здоровья и развитія дѣтей. Нынѣ

уже не рѣдкость встрѣтить мать, которая съ гордостью и тайнымъ самоуслажденіемъ разсказываетъ о томъ, какъ сынъ ея не спалъ ночи, потерялъ аппетитъ, похудѣлъ и высохъ, какъ спичка, — во время экзаменовъ. Хвалиться прилежаніемъ и любовью къ наукѣ дѣло чрезвычайно похвальное, — объ этомъ что и говорить; но все-таки жалко.

Въ дальнѣйшемъ ученьи тоже нельзя не замѣтить фальшиво-идеальнаго направленія, соединеннаго съ пренебреженіемъ къ органическому развитію дѣтей. Родители желаютъ, напримѣръ, чтобъ изъ сына ихъ произошелъ знаменитѣйшій полководецъ. Они понимаютъ, конечно, что этой цѣли не достигнутъ, если дитя умретъ, и вслѣдствіе этого стараются предохранить его отъ смерти, т. е. не пускаютъ бѣгать и рѣзвиться, берегутъ отъ простуды и сквознаго вѣтра, кутаютъ, держатъ на медицинской діэтѣ, и т. п. Ребенокъ, разумѣется, слабъ и нездоровъ, но отъ случайныхъ болѣзней оберегается, хотя и то не всегда. Приходитъ время ученья, и мальчику сейчасъ — геройскія внушенія и великіе историческіе примѣры. Слабость и малодушіе постыдны, внушаютъ ему; нужно всегдашнее мужество и присутствіе духа. Вотъ каковъ былъ Леонидъ Спартанскій, Александръ Македонскій, Юлій Цезарь, и пр. Вотъ какіе труды переносилъ Суворовъ; вотъ какимъ опасностямъ подвергался Наполеонъ; вотъ что сдѣлали Муцій Сцевола, Горацій Коклесъ, и пр., и пр. Достохвальныя качества и подвиги этихъ господъ, равно какъ и краснорѣчивыя внушенія родителей, производятъ сильное впечатлѣніе на ребенка. Онъ готовъ хоть сейчасъ итти на войну и совершать чудеса храбрости. Но *сейчасъ*, къ сожалѣнію, нельзя выйти на дворъ: вчера шелъ дождикъ, и потому еще сыро. Подражать Муцію Сцеволѣ мальчикъ тоже радъ бы; но его останавливаетъ воспоминаніе о томъ, какая суматоха поднялась на-дняхъ по всему дому, когда будущій герой, запечатывая письмо, капнулъ себѣ сургучомъ на пальчикъ. Онъ самъ ревѣлъ на цѣлую улицу, мать упала въ обморокъ, побѣжали за докторомъ, обвязали, уложили героя и два дня продержали въ постели. И видитъ мальчикъ, что быть Муціемъ Сцеволой нѣсколько затруднительно, и едва ли не напрасны всѣ высокія внушенія, которыя ему дѣлаютъ, стараясь дѣствовать *только* на духъ и совершенно презирая тѣло.

Такъ точно поступаютъ у насъ во всемъ, что касается развитія дѣтей. Особенно часто терпятъ отъ этого дѣти, которыхъ назначеніе — вообще учиться, быть *образованными* людьми. Съ ними начинаютъ съ того, что сажаютъ ихъ за книгу, и изъ книги заставляютъ ихъ выучиться тому, что слѣдовало бы узнать живьемъ, на дѣлѣ. Такъ, мальчикъ, живущій въ Петербургѣ, только уже начиная учиться разнымъ наукамъ, получаетъ свѣдѣнія о многомъ, что его окружаетъ. Изъ географіи узнаетъ онъ, что Петербургъ стоитъ на Невѣ, которая впадаетъ въ Финскій заливъ, образуя при этомъ нѣсколько острововъ; изъ исторіи знакомится онъ съ

Петербургской стороной, домикомъ Петра Великаго, и пр.; изъ естественной исторіи узнаетъ о существованіи гранита, и т. д. А подумайте, скоро ли еще, слѣдуя системѣ нашихъ учебниковъ, дойдешь до всѣхъ этихъ предметовъ? Немудрено, если случаются у насъ анекдоты, подобные недавно слышанному нами, который, ради его курьезности, приведемъ здѣсь. Мальчика, очень *образованнаго*, привезли въ гимназію; онъ выдержалъ экзаменъ прямо во второй классъ и остался жить у дядюшки. На другой день по отъѣздѣ родителей, онъ за обѣдомъ началъ жаловаться, что онъ ѣсть ничего не можетъ, потому что Трифонъ у дядюшки дурной, и что Трифона нужно высѣчь. Въ домѣ дядюшки никакого Трифона не было, и потому никто не могъ понять, чего мальчику нужно; а онъ никакъ не могъ объясниться, повторяя только одну брань и жалобы на Трифона. Такъ дѣло и осталось неразрѣшеннымъ. Но на другой день поднялась та же исторія, и тутъ только объяснилось, что деревенскій поваръ у родителей мальчика назывался Трифонъ, и *образованный* мальчикъ, приготовленный во второй классъ гимназіи, никогда не подумалъ о томъ, что такое Трифонъ, и не зналъ, что значитъ поваръ!

Все это очень ясно свидѣтельствуетъ о томъ, какъ мало распространено у насъ понятіе о необходимой связи органическихъ отправленій съ дѣйствіями внутреннихъ душевныхъ способностей. Мы вбиваемъ дѣтямъ въ голову огромнѣйшую массу разнородныхъ отвлеченныхъ понятій, совершенно имъ чуждыхъ, Богъ знаетъ кѣмъ и какъ выдуманныхъ и часто на дѣлѣ вовсе ненужныхъ, а между тѣмъ не хотимъ позаботиться о правильномъ, разумномъ воспитаніи тѣхъ органовъ, которые необходимы для того, чтобы умственная и нравственная дѣятельность могла совершаться правильно. Въ своихъ непрактическихъ — а можетъ быть и слишкомъ уже практическихъ — мечтаніяхъ мы забываемъ, что человѣческій организмъ имѣетъ свои физическія условія для каждой духовной дѣятельности, что нельзя говорить безъ языка, слушать безъ ушей, нельзя чувствовать и мыслить безъ мозга. Это послѣднее обстоятельство особенно часто упускается изъ виду, и потому у насъ вовсе не заботятся о томъ, чтобы дать правильное развитіе дѣятельности мозга при воспитаніи. А между тѣмъ, это-то и служитъ важнѣйшей помѣхой для достиженія успѣшныхъ результатовъ нашего воспитанія, безспорно очень умнаго и нравственнаго, но односторонняго въ своихъ средствахъ. Вотъ что говоритъ объ этомъ, между прочимъ, докторъ Бокъ, ученый, весьма извѣстный въ Германіи. «Слабость умственныхъ способностей и болѣзни мозга — говоритъ онъ — могутъ произойти не только вслѣдствіе природныхъ недостатковъ, но и вслѣдствіе дурного питанія мозга и чрезмѣрнаго умственнаго напряженія. Это послѣднее обстоятельство, съ его печальными послѣдствіями, особенно гибельно для дѣтей, которыхъ мозгъ еще слишкомъ мягокъ и недостаточно развитъ, чтобы переносить трудныя работы. А между тѣмъ, какъ часто

ихъ мучатъ отвлеченностями, вовсе недоступными ихъ возрасту и понятіямъ, какъ часто отъ хилыхъ, малокровныхъ дѣтей требуютъ успѣховъ въ наукахъ наравнѣ съ здоровыми дѣтьми! Прибавьте къ этому еще неправильный отдыхъ и несоотвѣтствующую дѣтскому возрасту пищу, и вы поймете, что ничто не можетъ быть вреднѣе этой умственной дрессировки»! (Бокъ, стр. 468.) Точно такое же мнѣніе находимъ мы и у Шнелля, автора другой книги, заглавіе которой выписано нами въ началѣ статьи. У него есть на этотъ счетъ вотъ какая тирада (стр. 162).

«Познанія добываются гораздо легче естественнымъ путемъ, чѣмъ искусственнымъ, т. е. чтеніемъ, изъ книгъ. Книга обременяетъ духъ чужимъ матеріаломъ, и потому часто не имѣетъ никакой пользы и разстраиваетъ здоровье духа. Болѣзни мозга (водяная и воспаленіе мозга), встрѣчаемыя у дѣтей перваго возраста, довольно часто происходятъ не столько отъ преждевременнаго ученья, сколько отъ дурной, неестественной методы преподаванія; оттого, что начинаютъ не наглядным преподаваніемъ, какъ бы слѣдовало, а набиваютъ голову формами, отвлеченностями, идеями, которыя впослѣдствіи, такъ сказать, приходятъ въ гніеніе и заражаютъ всю организацію мозга. И въ позднѣйшіе годы, поверхностное усвоеніе отвлеченныхъ формъ можетъ совершенно притупить воспріимчивость къ здоровымъ чувственнымъ впечатлѣніямъ, т. е. къ природѣ и жизни. Мы уже знаемъ, что отъ неполнаго или несовершеннаго воспріятія впечатлѣній органами внѣшнихъ чувствъ происходятъ фантазмы, т. е. субъективныя впечатлѣнія или обманы чувствъ. Точно такимъ же образомъ фантастическіе образы, создаваемые воображеніемъ и умомъ, происходятъ вслѣдствіе несовершеннаго усвоенія (переваривания) духомъ отвлеченныхъ формъ, или отъ недостаточности, неясности и слабости духовной пищи. Въ такомъ случаѣ умъ представляетъ себѣ не предметы, истинно существующіе во внѣшнемъ мірѣ, не существенность, а собственныя (субъективныя) произведенія фантазіи, бредни, мало-по-малу совершенно овладѣвающія умственными силами. И если число помѣшанныхъ и полупомѣшанныхъ людей, которыхъ умственное разстройство проявляется или необузданностью и своеволіемъ, или же рабскимъ, апатическимъ и безсмысленнымъ послушаніемъ, въ самомъ дѣлѣ со дня на день увеличивается, какъ утверждаютъ врачи-психологи, то это не есть историческое необходимое явленіе, вытекающее изъ современнаго порядка вещей, но результатъ духовной тунеядной жизни.»

Съ послѣднимъ замѣчаніемъ можно не согласиться, потому что самые недостатки воспитанія представляютъ, конечно, историческое явленіе, вытекающее изъ современнаго порядка вещей. Но негодованіе автора противъ отвлеченности воспитанія, господствующей въ наше время, вполнѣ справедливо. Во всѣхъ требованіяхъ и пріемахъ современнаго воспитанія обнаруживается полное презрѣніе къ органической жизни человѣка, какъ человѣка, а не какъ спеціальной машины для счетоводства, подвиговъ храбрости, строительства, геропзма честности, необъятной учености, и т. п. Набивая голову дѣтей отвлеченностями всякаго рода, мы, конечно, и этимъ возбуждаемъ дѣятельность ихъ мозга, но дѣятельность односторонюю и болѣзненную, именно потому, что мы не хотимъ обращать вниманія на связь отправленій мозга съ состояніемъ всего организма. Это обстоятельство оказываетъ самое неблагопріятное вліяніе на умственную и нравственную дѣятельность человѣка. Физіологія, непрерывнымъ рядомъ изслѣдованій и открытій послѣд-

няго времени, довольно ясно уже показала несомнѣнную связь нравственной жизни человѣка съ устройствомъ и развитіемъ мозга, и очень жаль, что наша образованная публика доселѣ такъ мало интересуется результатами, добытыми съ помощію естественныхъ наукъ. Имѣя это въ виду, мы и рѣшаемся представить здѣсь нѣсколько общеизвѣстныхъ фактовъ, относящихся къ нашему предмету.

Одинъ изъ извѣстнѣйшихъ натуралистовъ новаго времени, Молешоттъ, приведенъ былъ своими изысканіями къ прямому выводу, что мысль имѣетъ вліяніе на матеріальный составъ мозга, и обратно, составъ мозга на мысль. Выводъ этотъ развитъ имъ въ одномъ изъ его сочиненій съ нѣкоторыми подробностями, которыя мы считаемъ здѣсь излишними. Мы напомнимъ здѣсь читателямъ только положеніе, давно извѣстное изъ сравнительной анатоміи, — что въ непрерывной градаціи животныхъ, начиная отъ самыхъ низшихъ организмовъ и кончая человѣкомъ, количество мозга находится въ прямомъ отношеніи съ умственными способностями. У самыхъ низшихъ животныхъ нѣтъ настоящаго мозга, а только нервные узлы, представляющіе какіе-то зачатки мозга. Наименьшее количество мозга представляютъ земноводныя и рыбы; наибольшее—найдено у собакъ, слоновъ и обезьянъ, т. е. именно у тѣхъ животныхъ, которыя отличаются своей понятливостью. У человѣка же мозгу больше, чѣмъ у всѣхъ животныхъ. Количество мозга, конечно, разумѣется здѣсь относительное, сравнительно со всей массою тѣла, и кромѣ того — здѣсь не принимаются въ расчетъ тѣ части мозга, въ которыхъ заключаются центральные органы движенія и чувствованія. Такое же отношеніе умственныхъ способностей находится и къ составу и къ устройству мозга. Такъ, изслѣдованія Бибры доказали, что отправленія мыслительной способности въ животномъ тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ больше въ мозгу его жира и фосфора. По изслѣдованіямъ другого естествоиспытателя, понятливость и легкость мышленія находятся въ прямомъ отношеніи къ вѣсу мозга. Наблюденія Гушке доказали, что чѣмъ выше стоитъ животное въ умственномъ развитіи, тѣмъ извилистѣе и глубже у него изгибы мозговой поверхности, и тѣмъ менѣе они имѣютъ замѣтной для глазъ правильности и симметріи. Въ приложеніи къ человѣку, все это оправдывается совершеннѣйшимъ образомъ. Мозговой жиръ у него содержитъ болѣе значительное количество фосфора, чѣмъ у всѣхъ другихъ животныхъ; вѣсъ его больше, извилины глубже и своеобразнѣе. Различіе во всѣхъ этихъ отношеніяхъ замѣчается не только между человѣкомъ и животными, но даже и между людьми различныхъ племенъ, различнаго образа жизни, различнаго возраста и пола. Такъ, у новорожденныхъ дѣтей, жира въ мозгу сравнительно меньше, чѣмъ у взрослыхъ; вообще, дѣтскій мозгъ жиже, мягче, болѣе содержитъ въ себѣ бѣлаго вещества мозга, чѣмъ сѣраго, которое увеличивается уже впослѣдствіи, вмѣстѣ съ развитіемъ умственныхъ способностей. Фохтъ утверждаетъ, что раскры-

тіе умственныхъ способностей у дѣтей идетъ строго параллельно съ развитіемъ мозговыхъ полушарій. Вообще, вещество мозга продолжаетъ развиваться и увеличиваться у человѣка до 40—50 лѣтъ: въ старости же онъ начинаетъ уменьшаться, сжиматься, дѣлается тягучимъ и болѣе водянистымъ. Сообразно съ этимъ, замѣчается въ престарѣломъ возрастѣ ослабленіе памяти, быстрой и твердой сообразительности, и т. п.

То же самое отношеніе замѣчается и въ вѣсѣ мозга. Обыкновенный вѣсъ человѣческаго мозга — отъ 3 до $3^1/_2$ фунтовъ. Множество наблюденій показало, что мозгъ женщины вообще вѣситъ на $^1/_4$ — $^1/_6$ фунт. менѣе, чѣмъ мозгъ мужчины. Это совершенно согласно и съ умственнымъ развитіемъ: извѣстно, что (вслѣдствіе, вѣроятно, условій нашей цивилизаціи) у женщинъ разсудочная способность развита менѣе, чѣмъ у мужчинъ. Эта разница существуетъ также относительно вѣса мозга людей съ различными способностями. Такъ, мозгъ Кювье вѣсилъ болѣе 4 фунтовъ, а мозги нѣсколькихъ идіотовъ, взвѣшенные Тидеманомъ, имѣли вѣсу только отъ одного до двухъ фунтовъ.

О томъ, какъ различается черепъ негровъ и другихъ низшихъ племенъ человѣчества отъ черепа народовъ образованныхъ, мы полагаемъ излишнимъ распространяться. Кому не извѣстно странное развитіе верхней части черепа у этихъ племенъ, доходящее до того, что у нѣкоторыхъ, напримѣръ, у новоголландцевъ, почти вовсе нѣтъ верхнихъ частей мозга? И кому, вмѣстѣ съ тѣмъ, не извѣстно, что въ отношеніи къ развитію умственныхъ способностей эти племена стоятъ несравненно ниже народовъ кавказскаго племени?

Укажемъ еще на замѣчательные факты, показывающіе неразрывную связь, существующую между мозгомъ и умомъ или вообще духовной жизнью человѣка. Родъ занятій человѣка имѣетъ вліяніе на состояніе мозга. Умственная дѣятельность увеличиваетъ его объемъ и укрѣпляетъ его, подобно тому, какъ гимнастика укрѣпляетъ наши мускулы. По наблюденіямъ нѣкоторыхъ натуралистовъ, мозгъ людей ученыхъ, мыслителей и пр. бываетъ тверже, болѣе содержитъ сѣрой матеріи и имѣетъ болѣе изгибовъ. Вообще — у людей образованнаго класса замѣчаютъ большее развитіе передней части черепа, нежели у простолюдиновъ. Всякое умственное разстройство отражается на состояніи мозга. Показанія медиковъ, изслѣдовавшихъ трупы умалишенныхъ, доказываютъ, что поврежденія мозга непремѣнно являются при всякомъ помѣшательствѣ. Кромѣ того, много замѣчено несомнѣнныхъ случаевъ потери памяти при мѣстныхъ пораженіяхъ мозга, и — что особенно замѣчательно—часто терялась не вообще память, а только воспоминаніе о нѣкоторыхъ предметахъ. Нѣкоторые, напримѣръ, позабывали событія извѣстныхъ годовъ своей жизни, другіе забывали какой-нибудь изъ языковъ, имъ хорошо извѣстныхъ, иные переставали узна-

вать лица своихъ знакомыхъ, и т. п. Каждый изъ подобныхъ случаевъ былъ слѣдствіемъ мѣстнаго пораженія мозга.

Вообще, связь духовной дѣятельности съ отправленіями мозга признана несомнѣнною въ сочиненіяхъ всѣхъ лучшихъ и добросовѣстныхъ натуралистовъ. Валентинъ говоритъ, что если мы станемъ срѣзывать мозгъ у какого-нибудь изъ млекопитающихъ животныхъ, то проявленія его внутренней дѣятельности ослабѣваютъ по мѣрѣ того, какъ уменьшается количество мозга; когда же доходитъ при этомъ до такъ-называемыхъ мозговыхъ пещеръ, то животное погружается въ совершенную безчувственность. Положеніе это представляется совершенно очевиднымъ въ опытахъ Флурана, который у нѣкоторыхъ животныхъ, могущихъ переносить поврежденія мозга, срѣзывалъ мозгъ сверху пластами. Такимъ образомъ дѣлалъ онъ опыты надъ курами и, постепеннымъ срѣзываньемъ мозга, доводилъ ихъ до того, что у нихъ исчезало всякое проявленіе высшей жизненной дѣятельности. Онѣ теряли даже способность произвольнаго движенія и всякую воспріимчивость къ впечатлѣніямъ внѣшнихъ предметовъ. Но при этомъ жизнь ихъ не прекращалась; ее поддерживали искусственнымъ питаніемъ, и куры въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ продолжали прозябать такимъ образомъ, даже увеличиваясь въ вѣсѣ.

Послѣ всѣхъ этихъ фактовъ, нельзя не признать важности правильнаго развитія мозга для правильности самыхъ отправленій духовной дѣятельности. И такъ какъ человѣкъ превосходитъ животныхъ всего болѣе совершеннѣйшимъ устройствомъ мозга, то для него этотъ органъ духовной дѣятельности долженъ имѣть особенно важное значеніе. Въ этомъ случаѣ можно повторить слова доктора Бока (русск. переводъ, стр. 171): «только высшее и совершеннѣйшее развитіе мозга отличаетъ человѣка отъ животныхъ; недостатки же мозга, несовершенное развитіе или болѣзненное измѣненіе его болѣе или менѣе ослабляютъ сознаніе, способности духовныя и способность чувствовать и произвольно двигаться. Значительнѣйшіе недостатки мозга ставятъ человѣка иногда гораздо ниже животныхъ. Слѣдовательно, душа человѣческая прежде всего обусловливается здоровымъ мозгомъ».

Но для того, чтобъ мозгъ былъ здоровъ и развился правильно, необходимы нѣкоторыя особенныя условія. Въ организмѣ человѣка нѣтъ ни одной части, которая существовала бы сама по себѣ, безъ всякой связи съ другими частями; но ни одна изъ частей нашего тѣла не связана такъ существенно со всѣми остальными, какъ головной мозгъ. Не входя ни въ какія подробности, довольно сказать, что въ немъ сосредоточиваются нервы движенія и чувствованія. Понятно, поэтому, въ какой близкой связи находится дѣятельность мозга съ общимъ состояніемъ тѣла. Очевидно, что всякое измѣненіе въ организмѣ должно отражаться и на мозгѣ, если не въ мыслительной, то въ чувствовательной его части. Доселѣ еще физіологическія изслѣдованія не объяснили вполнѣ микроско-

ническое строеніе частицъ и химическій составъ мозга, и слѣдовательно нельзя еще сказать, какими именно матеріальными измѣненіями организма обусловливается та или другая сторона дѣятельности мозга. Тѣмъ не менѣе дознано уже достовѣрно, что, кромѣ охраненія мозга отъ поврежденій, для его развитія необходимы два главныя условія: *здоровое питаніе* и *правильное упражненіе*. Питаніе мозга производится изъ крови. Слѣдовательно, для правильнаго питанія его необходимо, чтобы въ организмѣ правильно совершалось кровотвореніе, кровообращеніе и кровоочищеніе. Примѣры того, что порча крови вредно дѣйствуетъ на правильность отправленія мозга, — нерѣдки. Такъ, напримѣръ, бываетъ при развитіи желчи, въ нервной горячкѣ, въ такъ-называемомъ собачьемъ бѣшенствѣ, и пр. Кромѣ питанія, для развитія мозга необходимо еще упражненіе, посредствомъ воспріятія внѣшнихъ впечатлѣній. «Здоровый мозгъ,—говоритъ докторъ Бокъ (стр. 171),—долженъ развить свои умственныя способности постепенно, съ помощію пяти чувствъ и внѣшнихъ впечатлѣній. На этомъ основывается весь процессъ воспитанія. Человѣкъ, котораго тотчасъ по рожденіи удалили бы совершенно отъ общества людей, не имѣлъ бы и слѣда человѣческаго разума; а окруженный, при тѣхъ же условіяхъ, одними животными, онъ непремѣнно усвоилъ бы себѣ всѣ ихъ привычки, разумѣется, настолько, насколько это позволяетъ человѣческая организація».

Наблюденія надъ исторіею духовнаго развитія человѣка несомнѣнно подтверждаютъ мнѣніе Бока, показывая, что чѣмъ менѣе внѣшнихъ впечатлѣній получалъ человѣкъ, тѣмъ менѣе, уже кругъ его понятій, а вслѣдствіе того — ограниченнѣе и способность сужденія. Противъ этого положенія возражаютъ многіе, утверждая, что понятія и сужденія существуютъ въ человѣкѣ при самомъ рожденіи и что иначе онъ ничѣмъ бы не отличался отъ животныхъ, имѣющихъ внѣшнія чувства столь же совершенныя, а иногда и лучшія, чѣмъ человѣкъ. Кромѣ того, говорятъ: если-бы всѣ понятія пріобрѣтались изъ внѣшняго міра, то дѣти, взрослыя подъ одними вліяніями, должны бы быть одинаково умными. Такое возраженіе совершенно неосновательно; при немъ упускается изъ виду то обстоятельство, что ощущеніе внѣшнихъ впечатлѣній совершается не въ самыхъ органахъ чувствъ, а въ мозгу; мозгъ же не одинаковъ у людей и животныхъ и даже допускаетъ нѣкоторое различіе въ различныхъ людяхъ. Что нѣкоторыя особенности въ строеніи тѣла, въ темпераментѣ, въ расположеніяхъ — переходятъ наслѣдственно отъ родителей къ дѣтямъ, это есть фактъ, еще необъяснимый для естествовѣдѣнія, но вполнѣ достовѣрный. Поэтому, часто одни и тѣ же впечатлѣнія дѣйствуютъ неодинаково на разныхъ людей. При этомъ, для сравненія, можно вспомнить замѣчательный фактъ, представляемый медициною. Лѣкарства, даваемыя больнымъ, дѣйствуютъ не на всѣ органы тѣла одинаково, а преимущественно на тѣ или другіе, для которыхъ они и назна-

чаются. Процессъ ихъ уподобленія организмомъ совершенно одинаковъ во всѣхъ случаяхъ: они входятъ въ кровь и вмѣстѣ съ нею разносятся по всему тѣлу. Но при этомъ обращеніи ихъ совершается, по нѣкоторымъ, иногда извѣстнымъ, а иногда и неизвѣстнымъ намъ, химическимъ законамъ, притяженіе ихъ къ той или другой части организма. Такимъ образомъ, можно полагать, что и въ дѣятельности мозга совершается воспріятіе однихъ впечатлѣній преимущественно предъ другими, и что тѣ впечатлѣнія, которыя проходятъ какъ бы незамѣтно чрезъ чувственные органы одного человѣка, производятъ сильное дѣйствіе на другого.

Что человѣкъ не изъ себя развиваетъ понятія, а получаетъ ихъ изъ внѣшняго міра, это несомнѣнно доказывается множествомъ наблюденій надъ людьми, находившимися въ какихъ-нибудь особенныхъ положеніяхъ. Такъ, напримѣръ, слѣпорожденные не имѣютъ никакого представленія о свѣтѣ и цвѣтахъ; глухіе отъ рожденія не могутъ составить себѣ понятія о музыкѣ. Люди, выросшіе въ лѣсахъ, въ обществѣ животныхъ, безъ соприкосновенія съ людьми, отличаются дикостью и неразвитостью понятій. Иногда эта неразвитость доходитъ почти до совершеннаго отсутствія всякихъ признаковъ разумности, какъ, напримѣръ, у извѣстнаго Каспара Гаузера, этой «неудачной попытки на разумное существованіе», по выраженію одного нѣмецкаго писателя.

То же самое подтверждается наблюденіями надъ дѣтьми, находящимися даже въ нормальномъ состояніи. Въ первое время жизни, младенецъ не имѣетъ сознательной дѣятельности. По мнѣнію физіологовъ, онъ даже не чувствуетъ ни боли, ни голода; онъ беретъ грудь матери, но совершенно безсознательно, механически, просто вслѣдствіе извѣстнаго физіологическаго процесса въ его нервахъ. Онъ кричитъ и возится, потому что нервы ощущенія, раздражаясь, передаютъ раздраженіе и нервамъ движенія. Примѣры подобнаго непроизвольнаго движенія обнаруживаются нерѣдко и въ трупахъ, и въ тѣлахъ растительнаго царства. Что же касается до сознанія, то его еще нѣтъ и не можетъ быть въ новорожденномъ дитяти. «Внѣшнія впечатлѣнія,—говоритъ Бокъ (стр. 506),—не производятъ въ младенцѣ ощущеній или боли, потому что органъ ощущенія и сознанія, т. е. мозгъ, еще неспособенъ къ дѣятельности. Крикъ дитяти происходитъ безъ всякаго сознанія, вслѣдствіе того, что раздраженные чувствительные нервы дѣйствуютъ на нервы органа голоса. Только впослѣдствіи, съ развитіемъ мозга, появляется сознаніе и ощущенія».

Какимъ образомъ, мало-по-малу, происходитъ развитіе сознательной жизни въ человѣкѣ, довольно подробно излагается въ книгѣ доктора Бока, на стр. 521—529. Мы считаемъ нелишнимъ представить здѣсь его главныя положенія.

Появленіе сознательности въ ребенкѣ начинается, по мнѣнію доктора Бока, довольно рано. «Къ сожалѣнію,—говоритъ онъ,—бо́льшая часть родителей думаетъ, что разумъ, т. е. способность мозга

чувствовать, мыслить и желать, является не въ младенческомъ возрастѣ, а гораздо позже; поэтому имъ и въ голову не приходитъ, что грудной ребенокъ нуждается уже въ правильномъ воспитаніи». Воспитаніе, предлагаемое докторомъ Бокомъ, вовсе, впрочемъ, не то отвлеченное воспитаніе, о которомъ у насъ хлопочутъ, а діэтическое. Сначала чувства новорожденнаго чрезвычайно тупы, такъ что въ первое время онъ не можетъ отличить даже молока матери отъ самыхъ горькихъ веществъ, и только привычка къ сладкому мало-по-малу научаетъ его различать сладкій и горькій вкусъ. Точно такъ же постепенно, вслѣдствіе привычки къ впечатлѣніямъ извѣстнаго рода, развиваются и всѣ остальныя чувства; слѣдовательно, въ это уже время легко произвесть въ ребенкѣ много привычекъ и потребностей, которыя могутъ впослѣдствіи укорениться въ немъ. Раньше всѣхъ чувствъ появляется у ребенка осязаніе въ губахъ, которыми онъ ищетъ грудь матери; затѣмъ развивается зрѣніе, слухъ, и т. д. Въ первый мѣсяцъ жизни, глаза дитяти совершенно недѣятельны, а потому и взглядъ у него совершенно безсмысленный и неопредѣленный. На пятой или шестой недѣлѣ ребенокъ начинаетъ уже всматриваться въ окружающіе предметы, вслѣдствіе чего въ мозгу его происходятъ первыя чувственныя впечатлѣнія, т. е. умственные образы, постепенно все болѣе проясняющіеся. Мало-по-малу они доходятъ до такой степени ясности, что могутъ представляться сознанію ребенка даже и тогда, когда самыхъ предметовъ нѣтъ предъ его глазами. Съ этого начинается дѣятельность способности представленій. Слухъ развивается параллельно съ зрѣніемъ, и оба органа въ развитіи своемъ помогаютъ другъ другу, такъ что, напримѣръ, впечатлѣніе, произведенное на слухъ, заставляетъ уже дитя открыть глаза и смотрѣть въ ту сторону, откуда выходитъ звукъ. На третьемъ мѣсяцѣ жизни, въ ребенкѣ уже появляется желаніе схватить видимый имъ предметъ; но при этомъ замѣчается въ немъ полное отсутствіе понятія о разстояніи и величинѣ, равно какъ и неумѣнье употреблять свои мускулы. Ребенокъ протягиваетъ ручонки обыкновенно *мимо* предмета, и если ему дадутъ что въ руки, то онъ не умѣетъ держать. Но мало-по-малу развивается въ немъ и осязаніе. Трехъ мѣсяцевъ дитя начинаетъ уже лепетать, или, какъ говорится, *гулить*. Если ребенокъ часто слышитъ одно и то же слово, соединяемое съ видомъ какого-нибудь предмета, то оба представленія — и названія, и самаго предмета — сближаются въ его головѣ, такъ что, при названіи вещи, онъ можетъ вспомнить ея видъ и понять, о чемъ идетъ рѣчь. Только связь между предметами и порядокъ дѣйствій остаются ему чужды; связная рѣчь совершенно непонятна для него. Въ это же время (т. е. пяти или шести мѣсяцевъ) ребенокъ научается различать ласковый тонъ рѣчи отъ сердитаго. Мѣсяца два спустя, въ немъ являются уже темныя представленія и о томъ, въ какомъ порядкѣ и для чего дѣлается то или другое. Достигши такой степени умственнаго раз-

витія, ребенокъ уже пытается самъ говорить; но это умѣнье дается ему раньше или позже, смотря по тому, какъ развиты у него органы движенія. Воля развивается позже всего, уже на второмъ году, когда дитя можетъ бѣгать безъ посторонней помощи, и когда имѣетъ уже запасъ впечатлѣній, достаточный для того, чтобы составлять собственныя сужденія и выводы. Изъ этого видно, какъ важны первыя впечатлѣнія, ложащіяся на мозгъ ребенка, для будущаго его характера и дѣятельности. Замѣчено, что дѣти, съ которыми мать или кормилица весело болтала и шутила въ первые мѣсяцы ихъ жизни, получаютъ нравъ добрый и веселый. Многія дѣти, которыхъ долго водили на помочахъ, не позволяя имъ ходить безъ посторонней помощи, навсегда сохраняютъ въ характерѣ нерѣшительность и недовѣріе къ своимъ силамъ. Дѣти, которыя въ первый годъ жизни привыкли только къ пріятнымъ ощущеніямъ, и отъ которыхъ при первомъ ихъ крикѣ удаляли все непріятное, съ большимъ трудомъ и впослѣдствіи переносятъ неудовольствія и злятся при малѣйшей неудачѣ. Бо̀льшая часть дѣтей, которыхъ *учатъ* говорить, т. е. натверживаютъ имъ слова, не показывая самаго предмета, обнаруживаютъ впослѣдствіи большую поверхность.

Еще большее значеніе имѣютъ внѣшнія впечатлѣнія для дитяти, вступившаго уже въ третій, четвертый годъ жизни. До этого времени, по мнѣнію Бока, можно еще допустить награды и наказанія, даже тѣлесныя, но вовсе не какъ разумную педагогическую мѣру, а единственно въ уваженіе того, что въ дитяти не развиты еще органы разумной дѣятельности и животная непосредственность преобладаетъ. Такъ, лѣнивая лошадь неутомимо ѣдетъ цѣлую дорогу, если впереди ея ѣдетъ возъ съ сѣномъ; такъ, ѣздокъ пришпориваетъ коня, чтобы онъ бѣжалъ скорѣе. Въ періодъ ранней, почти безсознательной жизни дитяти, награды и наказанія допускаются именно въ этомъ смыслѣ. Съ четвертаго года они становятся излишними и замѣняются убѣжденіемъ. По мнѣнію д-ра Бока (стр. 543), «ожиданіе обычной награды за благонравіе можетъ вселить въ дѣтей начала корыстолюбія, продажности, эгоизма». Наказанія, конечно, пугаютъ дѣтей, а «боязнь»—по словамъ Бока (стр. 550),—«есть начало трусости, криводушія и подлости». Съ пятаго и особенно шестого года необходимо пріучать дѣтей къ разсужденію и отчетливости во всемъ, что они дѣлаютъ. Поэтому, никогда не слѣдуетъ заставлять дѣтей дѣлать то, что превышаетъ ихъ понятія, и въ чемъ они не могутъ ясно убѣдиться при маленькомъ запасѣ своихъ знаній, почерпнутыхъ изъ наблюденія внѣшняго міра. Нужно сколько можно болѣе и правильнѣе упражнять внѣшнія чувства ребенка, чтобы увеличился запасъ впечатлѣній въ его мозгу, и тогда свѣтлые взгляды и сужденія о различныхъ отношеніяхъ предметовъ неизбѣжно явятся въ головѣ его сами собою. Набивая же голову ребенка разными понятіями, которыя выше его соображенія, мы производимъ только то, что

дитя не можетъ дать себѣ отчета въ своихъ ощущеніяхъ, не можетъ подчинить ихъ своей волѣ и освободиться отъ нихъ. «Многіе воспитатели,—говоритъ докторъ Бокъ,—конечно, думаютъ, что такого рода воспитаніе развиваетъ въ дѣтяхъ благородныя и возвышенныя чувства; но они ошибаются. На дѣлѣ выходитъ совсѣмъ другое, т. е. образуются не люди съ благородными чувствами, а сантиментальные фантазеры, совершенно негодные въ практической жизни и безполезные себѣ и другимъ» (стр. 551).

Нѣсколько данныхъ, приведенныхъ нами, могутъ, кажется, дать нѣкоторое понятіе о связи нервныхъ и мозговыхъ отправленій съ умственною дѣятельностью человѣка. Несомнѣнные факты ясно показываютъ намъ, что для правильнаго хода и обнаруженія нашей мысли необходимо намъ имѣть мозгъ здоровый и правильно развитый. Слѣдовательно, если мы хотимъ, чтобы *умственная* сторона существа нашего развивалась, то не должны оставлять безъ вниманія и физическаго развитія мозга.

Но читателю можетъ еще представляться вопросъ: «что же нужно дѣлать для *нравственнаго* развитія, на которое мозгъ долженъ имѣть вліяніе не прямое, а посредственное»? На этотъ счетъ мы привели уже мимоходомъ нѣсколько замѣтокъ доктора Бока; но здѣсь можемъ прибавить и еще нѣсколько соображеній. Они очень нехитры, и потому не будутъ продолжительны.

Если слѣдовать старинному (и доселѣ общепринятому) раздѣленію душевныхъ способностей человѣка, то кромѣ ума остается еще чувство и воля. Дѣятельность чувства относится обыкновенно къ сердцу и совершенно освобождается отъ мозга. Мнѣніе это нельзя назвать совершенно основательнымъ. Собственно говоря, сердце въ нашихъ чувствахъ и страстяхъ невиновато нисколько. Все, что мы привыкли приписывать сердцу, зарождается опять-таки все въ томъ же головномъ мозгѣ. Но отъ мозга идутъ къ сердцу особые *нервы сердца*, которые находятся въ связи со всѣми прочими нервами тѣла; поэтому, всякое, сколько-нибудь чувствительное, раздраженіе, гдѣ бы и отъ чего бы оно ни произошло, немедленно сообщается въ головномъ или спинномъ мозгѣ нервамъ сердца и производитъ усиленное его біеніе. Такъ какъ это біеніе для насъ легче замѣтить, чѣмъ дѣятельность мозговыхъ нервовъ, то мы и приписываемъ всякое чувство сердцу. Но что первоначальная причина всякаго чувства все-таки мозгъ, въ этомъ не трудно убѣдиться посредствомъ, напр., такого соображенія. Чувствованія возникаютъ въ насъ вслѣдствіе впечатлѣній, полученныхъ отъ предметовъ внѣшняго міра. Но впечатлѣнія эти только тогда могутъ быть нами сознаны, когда они подѣйствовали на мозгъ. Иначе мы будемъ смотрѣть на предметъ и не видѣть; перерѣзанный нервъ будетъ раздражаемъ всѣми возможными средствами, и мы не будемъ чувствовать боли, потому, что нервъ разобщенъ съ мозгомъ. Отсюда очевидно, что всякое чувство, прежде своего отраженія въ сердцѣ, должно явиться въ мозгу, какъ мысль, какъ

сознаніе впечатлѣнія, и уже оттуда подѣйствовать на организмъ и проявиться въ біеніи сердца. Слѣдовательно, на чувство надобно опять дѣйствовать посредствомъ мысли. Одни чувства развиваются въ насъ сильнѣе, чѣмъ другія; одни люди чувствуютъ иначе, нежели другіе, — все это такъ. Но причина такого различія вовсе не заключается въ развитіи сердца, этого полаго мускула, выгоняющаго кровь кверху. Причина находится по большей части въ различіи первоначальныхъ впечатлѣній, воспринятыхъ нашимъ мозгомъ. Если человѣкъ съ первыхъ дней дѣтства привыкъ, напримѣръ, слышать постоянно мелодическіе звуки, то естественно, что у него разовьется чувство музыкальное; если въ дѣтствѣ не привыкъ человѣкъ переносить непріятныхъ ощущеній, то понятно, что малѣйшая непріятность выводитъ его изъ себя; если въ ребенкѣ успѣшно старались задерживать свободную дѣятельность мысли, то неизбѣжно родится въ немъ чувство отвращенія къ умственной дѣятельности, и т. д. Вообще нужно сказать, что наши дурныя чувства происходятъ непремѣнно вслѣдствіе неполнаго, неправильнаго, или совершенно превратнаго воспріятія впечатлѣній мозгомъ. Какъ послѣ сильнаго звука мы уже не слышимъ посредственнаго, но довольно слышнаго звука, или какъ мы ничего не видимъ, внезапно перейдя отъ яркаго освѣщенія въ мѣсто, слабо освѣщенное, но все же довольно свѣтлое; такъ точно бываютъ подобныя неправильныя воспріятія, а вслѣдствіе того и чувства, и въ предметахъ, прямо относящихся къ нашей духовной дѣятельности. Человѣкъ, привыкшій постоянно получать похвалы, не радъ и даже досадуетъ, когда его хвалятъ меньше обыкновеннаго; тотъ, кто привыкъ къ праздной жизни и мало испытывалъ сильныхъ впечатлѣній, пугается ничтожнаго труда, какъ неисполнимаго; человѣкъ, издѣтства привыкшій къ воспріятіямъ сценъ грязныхъ и грубыхъ, наслаждается даже и въ пошломъ кругу, который хоть немножечко поопрятнѣе его прежняго общества. Такимъ образомъ всѣ, дурныя и хорошія, чувства и страсти наши находятся въ полной зависимости отъ степени развитія и отъ здоровья или нездоровья мозга. Развитіе симпатическихъ чувствованій вмѣстѣ съ образованностью и преобладаніе эгоистическихъ при невѣжествѣ — извѣстно всякому.

На основаніи этихъ данныхъ можно положительно сказать, что старанія многихъ воспитателей *дѣйствовать на сердце* дитяти, не внушая ему здравыхъ понятій, совершенно напрасны. Результатомъ подобнаго «дѣйствованія на сердце» бываетъ обыкновенно добродушіе по привычкѣ, при совершенной шаткости и безсиліи убѣжденій. Можно рѣшительно утверждать, что только та доброта и благородство чувствованій совершенно надежны и могутъ быть истинно полезны, которыя основаны на твердомъ убѣжденіи, на хорошо выработанной мысли. Иначе — нѣтъ никакого ручательства за нравственность человѣка съ *добрымъ* сердцемъ, а тѣмъ менѣе за

полезность его для другихъ: вспомнимъ, что «услужливый медвѣдь опаснѣе врага».

При воспитаніи, слѣдовательно, развитіе чувства является само собою, если только умственныя воспріятія правильны, послѣдовательны и ясны. У дѣтей часто можно замѣчать, какое удовольствіе доставляетъ имъ ясное сознаніе какого-нибудь новаго предмета, новой мысли. Какъ будто какой-то свѣтъ озаряетъ ихъ, глаза ихъ свѣтятся, все лицо какъ будто сіяетъ, они начинаютъ говорить отъ избытка чувства, составляютъ свои соображенія, планы, и т. д. Это значитъ, что мысль усвоена ими съ полнотою и ясностью, достаточною для того, чтобы возбудить въ нихъ внутреннее чувство,—и счастливъ учитель, который умѣетъ часто приводить своихъ учениковъ въ такое состояніе. Въ этомъ отношеніи г. Шнелль совершенно справедливо говоритъ (стр. 146): «при обученіи не нужно патетическихъ рѣчей, декламацій, и т. д., для того, чтобы мысль дѣйствовала и на чувство ученика. Всякое истинное преподаваніе само по себѣ доставляетъ богатый матеріалъ чувству, потому что познаніе просвѣтляетъ не только умъ, но и сердце, оживляя и радуя его. Познаніе и радость находятся въ ближайшемъ сродствѣ между собою».

Что касается до воли, то она еще болѣе, нежели чувство, зависитъ отъ впечатлѣній, производимыхъ на нашъ мозгъ внѣшнимъ міромъ. Въ наше время уже всякій понимаетъ, что абсолютная свобода воли для человѣка не существуетъ, и что онъ, какъ всѣ предметы природы, находится въ зависимости отъ ея вѣчныхъ законовъ. Кромѣ г. Берви, автора «Физіологическо-психологическаго взгляда», никто уже не можетъ нынѣ сказать, что человѣкъ существуетъ внѣ условій пространства и времени и можетъ по произволу измѣнять всеобщіе законы природы. Всякій понимаетъ, что человѣкъ не можетъ дѣлать все, что только захочетъ, слѣдовательно, свобода его есть свобода относительная, ограниченная. Кромѣ того, самое маленькое размышленіе можетъ убѣдить всякаго, что поступковъ, совершенно свободныхъ, которые бы ни отъ чего, кромѣ нашей воли, не зависѣли, никогда не бываетъ. Въ рѣшеніяхъ своихъ мы постоянно руководствуемся какими-нибудь чувствами или соображеніями. Предположить противное — значитъ допустить дѣйствіе безъ причины.

Собственно говоря, воли, какъ способности отдѣльной, самобытной, независимой отъ другихъ способностей, допустить невозможно. Всѣ ея дѣйствія обусловливаются и даже неизбѣжно производятся тѣмъ запасомъ знаній, какой скопился въ нашемъ мозгу, и той степенью раздражительности, какую имѣютъ наши нервы. Орудіемъ выполненія нашихъ желаній служатъ нервы движенія, идущіе отъ мозга ко всѣмъ мускуламъ. Поэтому степень развитія мускуловъ также обусловливаетъ нашу дѣятельность. Необходимо также, чтобы нервы мускуловъ были соединены съ мозгомъ; иначе

они не будутъ намъ повиноваться, и мы не въ состояніи будемъ произвести движенія.

Что желанія появляются сначала въ мозгу, доказательствомъ можетъ служить уже одно то, что желанія эти имѣютъ всегда какой-нибудь предметъ, какую-нибудь цѣль. Значитъ, для желанія нужно, чтобы предметъ произвелъ сначала впечатлѣніе на нашъ мозгъ, потому что нельзя же желать того, о чемъ не имѣешь никакого представленія. Далѣе нужно, чтобы впечатлѣніе предмета было пріятное, т. е. успокоительное, а не разрушительное для нашей натуры: какъ все въ мірѣ, человѣкъ стремится только къ тому, что соотвѣтствуетъ его натурѣ въ какомъ-нибудь отношеніи, и отвращается отъ того, что ей противно. Такимъ образомъ, такъ называемая свобода выбора — въ сущности означаетъ именно возможность, существующую въ нашемъ умѣ, сличить нѣсколько предметовъ и опредѣлить, какой изъ нихъ лучше. Здѣсь очень кстати припомнить извѣстный афоризмъ, что «всякій преступникъ есть прежде всего худой счетчикъ». Дѣйствительно, бо́льшая часть преступленій и безнравственныхъ поступковъ совершается по невѣжеству, по недостатку здравыхъ понятій о вещахъ, по неумѣнью сообразить настоящее положеніе дѣлъ и послѣдствія поступка; и только немногія безнравственныя дѣйствія совершаются вслѣдствіе твердаго, но ложнаго убѣжденія. Поэтому можно отличить легкомысленные проступки отъ заблужденій серьезныхъ. Нѣкоторые безнравственные люди оправдываютъ себя, считая свой образъ мыслей справедливымъ и соображая съ ними свои дѣйствія. Но такихъ не слишкомъ много. Бо́льшая часть людей совершаетъ проступки всякаго рода потому, что ни о чемъ собственно не имѣетъ опредѣленнаго понятія, а такъ-себѣ, колеблется между добромъ и зломъ. Хорошій стихъ нападетъ, такъ кажется, что вотъ это безнравственно; а другая минута придетъ, такъ, пожалуй, то же самое и нравственнымъ покажется. Хочетъ человѣкъ выпить рюмку ради стомаха и очень хорошо понимаетъ, что много пить не слѣдуетъ; но для компаніи онъ не откажется выпить еще одну, и другую рюмку, и тутъ уже понятія его совершенно переворачиваются. — Пока у человѣка есть деньги и нѣтъ ни въ чемъ нужды, онъ не захочетъ принять какой-нибудь благодарности, считая это безчестнымъ. Но тотъ же самый человѣкъ будетъ, пожалуй, даже напрашиваться на благодарность, ежели нужда горькая придавитъ его. Такъ, всѣ взяточники, обманщики, притѣснители мало-по-малу пріобрѣтаютъ привычку и достигаютъ нѣкотораго искусства въ своемъ дѣлѣ. Иногда вмѣстѣ съ практикою приходитъ и теоретическое убѣжденіе, съ нею сообразное. Но чаще всего нравственное убѣжденіе остается въ головѣ само по себѣ, въ отвлеченіи, а дѣла идутъ сами по себѣ. Все это — слѣдствіе того, что понятія о нравственности въ головахъ многихъ людей не вырабатываются самобытно, а западаютъ въ голову мимоходомъ, со словъ другихъ, въ то время, когда еще мы и не въ состояніи понять такихъ внуше-

ній. Понятія многихъ людей о нравственности можно сравнить съ нашими понятіями о вредѣ, напримѣръ, куренья табаку, питья чаю, кофе, и т. п. Мы всѣ слыхали что-то такое о вредѣ всего этого; но, вѣдь, мало ли что мы слыхали? Ясное и вѣрное сужденіе о томъ, вредны ли табакъ и чай, и въ какихъ случаяхъ вредны, — пріобрѣсти довольно трудно; поэтому мы и довольствуемся слухами, да и о тѣхъ часто забываемъ. Нельзя же за каждой папироской и за каждой чашкой чаю вспоминать медицинскія наставленія, которыя еще, можетъ быть, и несправедливы. Совершенно такъ же многіе забываютъ и о нравственности въ своихъ житейскихъ попеченіяхъ. Вообще произволъ, который столь многіе смѣшиваютъ съ истинной свободой, означаетъ, напротивъ, самую рабскую зависимость человѣка отъ перваго встрѣчнаго впечатлѣнія. Оттого-то дѣти, которыхъ всѣ прихоти безпрекословно исполнялись, несмотря на всю ихъ нелѣпость, — выростаютъ столь же мало нравстенно-свободными, какъ и тѣ дѣти, у которыхъ съ самаго начала жизни подавляемы были всѣ проявленія воли, т. е., всѣ попытки къ самостоятельному обсужденію предметовъ. Г. Шнелль совершенно справедливо говоритъ объ этомъ (стр. 222).

«Преимущественно должны мы предохранять себя и другихъ отъ произвола. Кто слѣпо слѣдуетъ минутному настроенію духа, кто въ своихъ поступкахъ руководствуется только произволомъ, не подчиняя свою волю высшей власти разума и справедливости, тотъ будетъ или слабымъ, безхарактернымъ человѣкомъ, или притѣснителемъ и тираномъ самого себя и другихъ, и это случается даже съ дѣтьми... Люди жестокіе, мучители человѣчества всѣ воспитываются такимъ образомъ. Это несчастнѣйшіе и опаснѣйшіе люди. Имъ нельзя довѣрять, хотя бы они сами проповѣдывали братство и законную гражданскую свободу; потому что произволъ, служащій рычагомъ всѣхъ ихъ поступковъ, есть также источникъ несправедливости, жестокости и злодѣйства».

Несомнѣнное вліяніе органическаго развитія на умственную и нравственную дѣятельность человѣка уже очень давно сдѣлалось предметомъ изслѣдованія натуралистовъ. Способъ и самая сущность этого вліянія со дня на день все болѣе объясняются новѣйшими физіологическими изслѣдованіями. Опираясь на эти изслѣдованія, мы уже смѣло можемъ сказать теперь, что естественное, правильное, здоровое развитіе всѣхъ силъ организма гораздо болѣе значитъ для умственной дѣятельности, нежели всевозможныя искусственныя внушенія. Здоровое же состояніе и нормальное развитіе мозга отражается и на чувствованіяхъ и желаніяхъ нашихъ сильнѣе и скорѣе, нежели всяческія нравоучительныя сентенціи и патетическія тирады, которыя мы заучиваемъ наизусть, большею частію безъ всякаго толку.

Указывая въ этой статьѣ на нѣкоторые результаты физіологическихъ изслѣдованій, мы вовсе не пускались ни въ какія объяснительныя подробности относительно строенія организма вообще, состава и устройства нашего мозга, нервной системы, и пр. Мы не хотѣли вводить этихъ подробностей въ статью нашу потому, что онѣ слишкомъ увеличили бы объемъ статьи, а между тѣмъ

все-таки не могли бы дать читателямъ, незнакомымъ съ анатоміей и физіологіей, совершенно яснаго понятія о строеніи всего нашего организма: такое понятіе можетъ быть почерпнуто не иначе, какъ изъ книги, спеціально посвященной этому предмету. Между тѣмъ, статья наша написана именно для людей, совершенно незнакомыхъ съ физіологіей; кто хоть сколько-нибудь занимался ею, тотъ не найдетъ здѣсь, вѣроятно, ни одного факта, ни одного положенія новаго... Но и для незнающихъ современнаго положенія физіологіи статья наша не можетъ показаться удовлетворительною, именно по отсутствію подробностей. Строгіе критики замѣтятъ, что, слѣдовательно, вся наша статья безполезна и написана совершенно напрасно. Предупреждая такое заключеніе, мы спѣшимъ оговориться, что вовсе не приписываемъ нашимъ замѣткамъ какого-нибудь особеннаго значенія. Единственная наша цѣль была — пробудить въ читателяхъ, совершенно чуждыхъ естественнымъ наукамъ, хотя нѣкоторый интересъ къ нимъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ обратить вниманіе публики на двѣ книги, весьма небезполезныя для перваго знакомства съ физіологіей и съ ходомъ человѣческаго развитія. Всѣ анатомическія и физіологическія подробности, которыхъ недостаетъ въ нашей статьѣ, читатель можетъ найти въ «Книгѣ о здоровомъ и больномъ человѣкѣ», доктора Бока, сочиненіи весьма простомъ и популярномъ. Примѣненіе же физіологическихъ началъ къ воспитанію можно найти въ сочиненіи Шнелля, который тоже излагаетъ много полезныхъ и справедливыхъ мыслей, хотя иногда и увлекается кое-какими мечтаніями, въ сущности вовсе не нужными для правильнаго органическаго развитія человѣка.

Френологія. Соч. *Матвѣя Волкова.* Спб. 1857.

Отрывки изъ заграничныхъ писемъ (1844 — 1848), *Матвѣя Волкова.* Спб. 1858.

Если судьба когда-нибудь приведетъ меня встрѣтиться съ г. М. Волковымъ, то я немедленно постараюсь уподобиться страусу, т. е. спрятать куда-нибудь подальше свою голову. Совѣтую и вамъ, читатель, дѣлать то же; иначе я не ручаюсь за вашу репутацію: г. Волковъ можетъ испортить ее на основаніи френологическаго разсмотрѣнія вашего черепа.

Дѣло вотъ въ чемъ: г. М. С. Волковъ занимается френологіею и издалъ курсъ ея. Курсъ этотъ доказываетъ, что г. Волковъ не принадлежитъ къ числу поверхностныхъ людей, для которыхъ френологія, хиромантія, астрологія—все едино-единственно. М. С. Вол-

ковъ приступаетъ къ френологіи съ пріемами истиннаго ученаго. Онъ спеціально занимается физіологіей мозга, путешествуетъ по разнымъ анатомическимъ музеямъ; разсматриваетъ и измѣряетъ черепа, издаетъ о толщинѣ черепа брошюру, отъ которой приходятъ въ восторгъ нѣмецкіе ученые, не отвергающіе френологіи, и пр., и пр. На всѣхъ частяхъ труда г. Волкова лежитъ печать глубокаго убѣжденія, добытаго учеными изслѣдованіями. Для желающихъ познакомиться съ строеніемъ мозга и убѣдиться въ его вліяніи на духовную дѣятельность человѣка — весьма полезно будетъ прочитать его книжку о френологіи и заграничныя письма, во многомъ ее дополняющія. Но... увы!... все это не защищаетъ г. Волкова отъ преслѣдованій и насмѣшекъ (конечно, невѣжественныхъ) со стороны тѣхъ, которые не хотятъ довѣрять френологіи. Разумѣется, г. Волкову это все равно: онъ знаетъ, что чрезъ сто лѣтъ френологія побѣдитъ, и ему смѣшно недовѣріе профановъ. Но — пусть извинитъ насъ г. Волковъ — мы сами, при всемъ уваженіи къ его ученымъ достоинствамъ, никакъ не можемъ убѣдиться въ великой важности френологіи, особенно когда г. Волковъ такъ преувеличиваетъ ея значеніе. Судите сами, читатели: не странны ли, не забавны ли факты, которые мы сейчасъ сообщимъ вамъ о френологахъ и френологіи? Судите.

Г. М. Волковъ одержимъ неодолимою страстью ощупывать чужіе черепа: въ этомъ отношеніи «Заграничныя письма» его доставляютъ много весьма интересныхъ данныхъ. Ѣдетъ ли онъ въ дилижансѣ, — онъ обращается къ своему спутнику: «позвольте ощупать вашъ черепъ». — Извольте. — И ощупавши, г. Волковъ выводитъ въ благодарность весьма основательно, какъ кажется, заключеніе, что у спутника его мало развитъ органъ *самоуважительности*, и сильно развитъ органъ *почтительности*, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Отправляется ли г. Волковъ въ Ватиканъ, онъ останавливается предъ бюстомъ Рафаэля, пораженный благоговѣніемъ — къ великому Галлю!... Г. Волковъ ощупалъ, видите, черепъ Рафаэля и нашелъ въ немъ особенное развитіе органовъ *цвѣтностности*, *образности и глазомѣрности*. Изъ этого ясно, что Рафаэль *френологически долженъ былъ* быть великимъ живописцемъ, и потому бюстъ Рафаэля дѣлаетъ честь не кому иному, какъ Галлю. Является г. Волковъ въ картинную галлерею,—онъ смотритъ, всѣ ли френологическіе органы на мѣстѣ поставлены, и страшно негодуетъ, что на какой-то картинѣ на головѣ Донъ-Кихота выскочилъ органъ *пріобрѣтательности*, которому не слѣдуетъ быть у него. Въ Зальцбургѣ поставлена статуя Моцарту, и у него въ рукѣ карандашъ. Почему не перо? спрашиваетъ г. Волковъ, смотря на статую, и отвѣчаетъ: потому что у нѣмцевъ слишкомъ развитъ органъ *осмотрительности*, требовавшій, чтобы вмѣстѣ съ перомъ была поставлена и чернильница, а чернильницы около статуи поставить было негдѣ... Слышитъ нашъ френологъ игру на скрипкѣ двухъ сестеръ Миланолло, и рѣшаетъ, что младшая играетъ лучше, рѣ-

шаетъ потому собственно, что органъ *звучностости* (№ 33) у нея обширнѣе. Флуранъ пишетъ опроверженіе противъ выводовъ френологіи; г. Волковъ, нимало не измѣняя себѣ, объясняетъ это тѣмъ что у Флурана не развитъ органъ *соображательности*. У французовъ произошла въ 1848 г. революція оттого, рѣшаетъ г. Волковъ, что у нихъ въ головѣ органы *разрушательности* и *противоборности* сильны, а органы *разсудка* и *благоволительности* — слабы.— Въ Англіи замѣчаетъ г. Волковъ уваженіе къ законамъ и, щупая черепа англичанъ, объясняетъ это тѣмъ, что у нихъ развитъ органъ *почтительности*. Словомъ — «Заграничныя письма» г. Волкова служатъ практическимъ дополненіемъ къ тому, что излагается въ его теоріи френологіи; ихъ слѣдовало бы назвать «Френологическими письмами о заграничной жизни».

«Френологія» г. Волкова особенно нравится намъ по своей простотѣ. Это настоящая азбука. Всѣ человѣческія способности и наклонности объяснены въ ней посредствомъ 37 №№, — только двумя знаками больше, чѣмъ въ русской азбукѣ. Исходитъ г. Волковъ изъ самаго простого положенія, которое давно уже принято всѣми физіологами, именно, — что «въ френологіи *нѣтъ и не можетъ быть ничего точнаго и математически опредѣленнаго*» (Френ., стр. 32). Положивши въ основаніе своей науки истину, столь несомнѣнную, г. Волковъ старается еще подтвердить ее тѣмъ, что все различіе нашей умственной и нравственной дѣятельности зависитъ отъ внутренняго сложенія мозга, его состава, объема, вѣса, расположенія частицъ и вида или фигуры мозга, и что наблюденіямъ френологовъ доступны только *видъ* и *объемъ*. Доселѣ спорили и противъ послѣдняго, утверждая, что по формѣ черепа нельзя судить о формѣ мозга. Но нынѣ г. Волковъ побѣдилъ своихъ противниковъ, сказавши, что «точныя измѣренія объема частей мозга— невозможны» (стр. 29), и что въ френологіи ничего точнаго искать не слѣдуетъ. Противники, разумѣется, должны умолкнуть, и такимъ образомъ наукѣ френологіи полагается г. Волковымъ твердое и незыблемое основаніе. Опираясь на это основаніе, г. Волковъ можетъ уже смѣло говорить, что френологія принадлежитъ къ наукамъ точнымъ, что она не то, что какая-нибудь *исторія*, которую до сихъ поръ нельзя назвать наукою (Загр. пис., стр. 464). На основаніи своихъ френологическихъ наблюденій, г. Волковъ можетъ произносить непогрѣшительныя сужденія не только объ отдѣльныхъ лицахъ, но даже о цѣлыхъ классахъ народа, о цѣлыхъ націяхъ, о всемъ человѣчествѣ наконецъ. Напр., по своимъ френологическимъ соображеніямъ, г. Волковъ вотъ что пишетъ изъ Франціи въ 1847 году (стр. 391): «хотите знать истинную правду о классѣ французскаго народа, который зовутъ пролетаріями? Вотъ она. Со времени уничтоженія внутреннихъ таможенъ, ремесленныхъ корпорацій, поземельной монополіи, старшихъ въ родѣ, и проч., тѣ только люди и семейства остаются въ постоянныхъ лишеніяхъ, которые принадлежатъ къ категоріи глупцовъ, безсильныхъ, небрежныхъ лѣ-

нивцевъ-невѣждъ, пьяницъ, и т. п.; ихъ-то и разумѣютъ нынѣ подъ названіемъ пролетаріевъ. Общій ихъ характеръ тотъ, что не имѣя, по собственной своей винѣ, способовъ къ существованію, они завидуютъ всякому, у кого что-нибудь есть въ карманѣ, и выдумываютъ клеветы на имущихъ, для оправданія своего желанія овладѣть чужимъ добромъ». Словомъ, говоря френологическимъ языкомъ г. Волкова, всѣ пролетаріи оттого бѣдны и несчастны, что у нихъ сильно развиты № 5 и 6 (противоборность и разрушительность), вмѣстѣ съ № 8 (пріобрѣтательность) и № А (питательность); но совершенно неразвиты № 9 (работность), № 13 и 14 (благоволительность и почтительность), равно какъ и 16 (совѣстливость). Съ френологической точки зрѣнія такое рѣшеніе не подлежитъ никакой апелляціи, и вотъ почему я постараюсь спрятать свою голову при встрѣчѣ съ г. Волковымъ. Что, если онъ меня, какъ человѣка небогатаго, тоже опредѣлитъ подобно французскому пролетарію, или, — что впрочемъ не столь ужасно, хотя и болѣе вѣроятно, — скажетъ обо мнѣ то же, что о Флуранѣ!...

Впрочемъ, утѣшимся: всѣ бѣдствія человѣчества исправлены будутъ френологіей. На это времени немного нужно: г. Волковъ требуетъ всего 100 лѣтъ, увѣряя, что тогда всѣ люди будутъ френологами и будутъ счастливы. Кто будетъ живъ тогда, тотъ увидитъ. А мы пока будемъ довольствоваться тѣми четырьмя главами книги г. Волкова, въ которыхъ излагается благодѣтельное вліяніе френологіи — 1) въ общественной повседневной жизни, 2) на науки и художества, 3) на правосудіе, 4) на улучшеніе человѣка вообще. Во всѣхъ отношеніяхъ польза френологіи, по изслѣдованіямъ г. Волкова, должна быть безпредѣльна. Такъ, выборъ людей можетъ быть дѣланъ безошибочно, съ помощью френологіи. Къ вамъ, напр., является человѣкъ наниматься въ услуженіе; у него хорошій аттестатъ, но это ничего не значитъ: хорошіе аттестаты часто даются потому, что у многихъ хозяевъ сильно развитъ органъ *благоволительности*. Гораздо надежнѣе будетъ, если вы, открывши френологическій атласъ, тотчасъ же тщательно ощупаете черепъ человѣка и опредѣлите, какіе органы особенно развиты у него. — Вы намѣрены сообщить какой-нибудь секретъ своему знакомому: не полагайтесь на его испытанную честность и скромность; основательнѣе поступите вы, если, прежде сообщенія секрета, отзовете вашего знакомаго въ сторону и скажете: позвольте мнѣ ощупать вашъ черепъ, мнѣ нужно узнать, достаточно ли развитъ у васъ № 7, т. е. органъ *скрытности*. — Вы хотите заказать портному платье: не спрашивайте, какой изъ нихъ лучше шьетъ, а просто идите, щупайте у каждаго портного черепъ и отыскивайте, въ достаточной ли степени развиты у него органы *работности, изящности* и *глазомѣрности*. Если осмотръ окажется удовлетворительнымъ, — смѣло надѣйтесь, что портной васъ не надуетъ и сошьетъ вамъ платье хорошо. — Вы нанимаете квартиру; ощупайте прежде всего черепъ хозяина, хозяйки и всѣхъ сосѣдей, чтобы

узнать, достаточно ли развита въ нихъ *домашность* и *дружелюбность*, или, напротивъ того, у нихъ сильны *противоборность* и *разрушательность*. Такъ совѣтуетъ г. Волковъ. Поступайте такъ, и вы почти не будете дѣлать ошибокъ въ жизни.

Но это все еще ничтожно въ сравненіи съ тѣми выгодами, какія можетъ доставить френологія въ государственномъ отношеніи. Г. Волковъ говоритъ: «выборъ въ должности во всѣхъ классахъ людей и во всѣхъ іерархіяхъ общества, безъ исключенія, значительно бы облегчился при помощи френологіи. Людямъ, находящимся во главѣ правительства, нужнѣе, чѣмъ кому-либо, оцѣнивать людей» (стр. 180). Поэтому, если вы, напр., выбираете человѣка въ какую-нибудь должность, то совѣтую вамъ непремѣнно поступать по правиламъ книжки г. Волкова. Преимущественно смотрите, на какой степени развитія находится органъ *пріобрѣтательности*, № 8, и затѣмъ — органъ *почтительности*. Примѣненіе системы г. Волкова особенно, по нашему мнѣнію, удобно было бы для дворянскихъ выборовъ: оно придало бы имъ нѣкоторую торжественность; каждый избиратель подходилъ бы медленнымъ шагомъ къ избираемому, важно ощупывалъ его голову и затѣмъ торжественно отходилъ и, смотря по результатамъ ощупыванія, клалъ бы шаръ — бѣлый или черный.

Но и это не все. Г. Волковъ выставляетъ также полезное вліяніе френологіи на науки и художества. Особенно важно будетъ вліяніе френологіи на исторію; оно, по словамъ г. Волкова, будетъ заключаться въ томъ, что сужденія объ историческихъ лицахъ будутъ уже основываться «не на поступкахъ ихъ, причины которыхъ всегда можно придумать въ пользу или невыгоду человѣка» (стр. 182), а на ощупываньи черепа различныхъ слѣпковъ и статуй. Тогда только, по мнѣнію г. Волкова, исторія и получитъ характеръ науки: ощупыванье череповъ объяснитъ всѣ загадочныя историческія явленія. Наприм., является сомнѣніе, былъ ли на свѣтѣ Гомеръ: — отыщите намъ только его черепъ, и г. Волковъ скажетъ вамъ положительно, не только — что онъ былъ, но даже каковъ онъ былъ, — развита ли у него была мѣстность, счетность, порядочность, любчивость, надѣянность, и т. п. Загадочное явленіе представляютъ, напр., въ нашей исторіи самозванцы: отошлите слѣпки съ ихъ головъ къ г. Волкову, и онъ все разрѣшитъ вамъ.

Статистика также не можетъ обойтись безъ френологіи. Недостаточно, наприм., сказать, что въ такой-то мѣстности заключено столько-то браковъ; нужно еще, при заключеніи брачныхъ контрактовъ, обращать вниманіе на развитіе у молодыхъ *любчивости* и *пріобрѣтательности*, чтобы отмѣчать въ статистическихъ таблицахъ, сколько браковъ заключено по любви и сколько по расчету. Не довольно сказать, что въ городѣ столько-то ремесленниковъ, которые производятъ столько-то; нужно еще прибавить, насколько развитъ у нихъ органъ *работности*. Только при такихъ данныхъ

статистика, по мнѣнію г. Волкова, пріобрѣтетъ значеніе *точной* науки.

Та же самая исторія съ медициною. По словамъ г. Волкова — не только въ болѣзняхъ мозга, но и «въ какихъ бы то ни было случаяхъ, относящихся къ здоровью, врачу необходима френологія». Если, напримѣръ, я страдаю разстройствомъ желудка, то врачъ пощупаетъ мой черепъ и узнаетъ, какъ развитъ у меня органъ питательности. Если онъ развитъ сильно, то врачъ справедливо замѣтитъ, что я *обкушался*; если же нѣтъ, — то онъ скажетъ, что я, примѣрно, простудился, и будетъ лѣчить меня отъ простуды. Отсюда очевидна «необходимость френологіи въ какомъ бы то ни было случаѣ, относящемся къ здоровью».

Въ скульптурѣ и живописи френологія столь же необходима, по слѣдующимъ причинамъ. Извѣстно, что для изображенія лицъ художники берутъ натурщиковъ и натурщицъ. Средство это крайне дурно, потому что безъ френологіи художники обыкновенно не умѣютъ, — да и не заботятся, — опредѣлить, имѣетъ ли натурщица въ надлежащей степени развитыми тѣ органы, которые френологически необходимы для изображаемаго лица. Напримѣръ, для изображенія Клеопатры можетъ быть взята натурщица, у которой недостаточно развиты органы *любчивости*, *самоуважательности*, *любохвалыности*, и пр.; вслѣдствіе этого — фигура, съ нея нарисованная, будетъ вовсе непохожа на Клеопатру. Гораздо лучше, слѣдуя правиламъ френологіи, художнику выбрать (или лучше самому сдѣлать — при френологіи, я думаю, и это возможно) какую-нибудь модель — и съ нея дѣлать всѣ фигуры, измѣняя только тѣ выпуклости черепа, которыя, по наукѣ френологіи, должны оттѣнять характеръ. Такъ, напримѣръ, модель Клеопатры можетъ служить и для Аспазіи, только съ бо̀льшимъ развитіемъ у послѣдней органовъ *изящности* и *словности* (№№ 19 и 33). Съ той же модели можно и Іоанну д'Аркъ рисовать, развивши у ней особенно органы *надъянности* (№ 17) и *чудесности* (№ 18).

Особеннаго вниманія заслуживаетъ глава, въ которой г. Волковъ говоритъ о вліяніи френологіи на правосудіе. «Правовѣдѣніе найдетъ въ френологіи драгоцѣнныя данныя для всего, что зависитъ отъ нравственной природы человѣка», говоритъ г. Волковъ (стр. 186). Дѣйствительно, нельзя не сознаться, что она могла бы чрезвычайно упростить судопроизводство. Найдено, напр., на дорогѣ мертвое тѣло, неизвѣстно кому принадлежащее. Сейчасъ — черепъ ему ощупать. Если органъ *самохранительности* развитъ слабо, — значитъ, само умерло мертвое тѣло, отъ неосторожности. Если же реченный органъ найденъ въ сильномъ развитіи, — ясно, что смерть приключилась насильственнымъ образомъ, и тогда собрать мужиковъ ближайшаго села и щупать всѣмъ имъ черепа. У кого всѣхъ сильнѣе развиты органы *разрушательности* и *противоборности* (№№ 5 и 6), того и тащи въ острогъ; его, значитъ,

грѣхъ. Если же будутъ при этомъ улики, — хотя бы и самыя явныя, — противъ другого, у котораго развиты органы *дружелюбности* (№ 4) и *благоволительности* (№ 13), — то, по мнѣнію г. Волкова, судья все-таки долженъ «удержаться отъ приговора». Дѣйствуя такимъ образомъ, френологически, — «онъ, — по словамъ г. Волкова, — избѣгнетъ случайныхъ несправедливостей, столь частыхъ въ лѣтописяхъ правосудія и столь прискорбныхъ для свойственнаго намъ чувства любви къ ближнему» (стр. 186).

Словомъ, какъ только водворится френологія, ни пороковъ, ни несправедливостей, ни бѣдствій не будетъ на свѣтѣ. Развѣ только во снѣ будутъ люди забавляться, производя другъ въ другѣ представленія разныхъ бѣдъ, посредствомъ надавливанія на тотъ или другой органъ, — подобно тому, какъ дѣлалъ френологъ Шефе надъ своими братьями. Г. Волковъ разсказываетъ, что Шефе однажды придавилъ своему спящему брату органы *чадолюбивости* (№ 2), *разрушательности* (№ 6) и *звучностности*, — и братъ его увидѣлъ во снѣ — *дѣтей, убиваемыхъ подъ музыку* (Загр. П., стр. 453)! Подобныя забавы будутъ, вѣроятно, съ пользою и удовольствіемъ занимать человѣчество, возрожденное френологіей.

Но ничто не можетъ сравниться съ той умилительной картиной, какую представитъ все человѣчество, когда признаетъ всю пользу и значеніе френологіи. Тогда всѣ примутся изучать недостатки и пороки собственнаго черепа, подѣлавши слѣпки съ собственныхъ головъ. «Въ этомъ изученіи, въ этомъ самопознаніи, френологія, — по словамъ г. Волкова, — представляетъ истинное сокровище для человѣка. Передъ слѣпкомъ собственной своей головы, человѣческому самолюбію нѣтъ убѣжища. Самолюбіе и самого себя увидитъ и оцѣнитъ въ осязательныхъ формахъ головы. И что, если бы каждый человѣкъ посвящалъ ежедневно по нѣскольку минутъ (отъ чего бы ужъ и не часовъ?) одинокой бесѣдѣ со слѣпкомъ съ своей головы, держа въ рукахъ курсъ френологіи? Какое бы вліяніе имѣлъ этотъ обычай на нравственное улучшеніе человѣчества»! (стр. 191).

Да, держать предъ собою слѣпокъ собственной головы будетъ весьма полезно для человѣчества, и надобно желать, чтобы всѣ люди поскорѣе завели этотъ прекрасный обычай. Мы даже увѣрены, что многіе уже начали полезное занятіе, предлагаемое г. Волковымъ. Въ этомъ убѣждаетъ насъ, между прочимъ, одинъ изъ рисунковъ г. Данилова, который, какъ извѣстно, очень вѣрно изображаетъ наше современное общество. Остроумный каррикатуристъ этотъ изобразилъ недавно господина, усатаго и завитого (что нѣсколько мѣшаетъ опредѣлить его френологически), который держитъ предъ собою ручное зеркальцо и (очевидно проникнутый идеями френологіи) возглашаетъ: «голова-ль моя, ты, головушка»!!

Объ истинности понятій или достовѣрности человѣческихъ знаній. Соч. *Алексѣя Кусакова.* Спб. 1858 г.

Френологіи я не вѣрю, — это уже положительно рѣшено; но относительно теоріи г. Кусакова я нахожусь еще въ недоумѣніи. Брошюра г. Кусакова написана очень убѣдительно, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ. Сущность брошюры, если передать ее въ вопросахъ и отвѣтахъ, имѣетъ слѣдующій видъ. Г. Кусаковъ спрашиваетъ меня (т. е. не лично меня, а вообще всякое я, понимаемое въ философскомъ смыслѣ): «знаете ли вы что-нибудь»? Я, не имѣя мудрости Сократа, чтобы отвѣтить: «знаю только то, что ничего не знаю», — отвѣчаю: «знаю». Г. Кусаковъ экзаменуетъ меня, вопрошая: «что вы знаете»?... Я, разумѣется, становлюсь втупикъ отъ внезапности вопроса и, запинаясь, отвѣчаю: «да мало ли что я знаю... многое знаю... Ну, знаю, напримѣръ... ну, напримѣръ, я знаю, что вотъ это — рука, и что рука эта мнѣ принадлежитъ». И я рѣшаюсь посмотрѣть въ глаза г. Кусакову, полагая, что удовлетворилъ его своимъ отвѣтомъ. Оказывается, однако, что это не такъ легко сдѣлать: г. Кусаковъ продолжаетъ экзаменъ: «а почему вы знаете, что это ваша рука? Можетъ быть это не рука, или рука, да не ваша»? — Какъ не моя? восклицаю я, пораженный ужасомъ.... «Очень просто, — возражаетъ г. Кусаковъ: — можетъ быть, она и не ваша.... Чѣмъ вы докажете, что она ваша, а не моя, напримѣръ»? Такая претензія на мою руку со стороны г. Кусакова поражаетъ уже меня окончательно; я смущаюсь, какъ могла бы смутиться отъ подобной претензіи только наивная, неопытная институтка. Въ самомъ дѣлѣ, какое философское доказательство можно привести на то, что моя рука — моя рука, а не г. Кусакова? Чѣмъ можно это доказать человѣку невѣрующему? Ему что ни скажешь, у него все одинъ отвѣтъ: а чѣмъ докажете? И пойдетъ безконечная исторія для отысканія начала всѣхъ началъ.... Такимъ образомъ, я рѣшительно разстроенъ, и г. Кусаковъ торжествуетъ надо мною и гордо указываетъ мнѣ на седьмую страницу своей брошюры, на которой сказано: «изъ этого видно, что почерпаемое человѣкомъ понятіе о какомъ-либо предметѣ внѣшняго міра никогда не можетъ быть истиннымъ». Я предаюсь совершенному отчаянію и жалобно обращаюсь къ г. Кусакову съ вопросомъ: «такъ какъ же, г. Кусаковъ, — наши познанія рѣшительно не могутъ быть истинны»? Но «Аѳанасій Ивановичъ, довольный уже тѣмъ, что напугалъ Пульхерію Ивановну, улыбается и весело покачивается на своемъ стулѣ». Г. Кусаковъ говоритъ мнѣ на той же страницѣ: «казалось бы послѣ этого, что для человѣка нѣтъ никакой возможности узнать истину; но заключеніе это, какъ мы увидимъ, неосновательно. Если человѣкъ не можетъ непосредственно почерпать изъ природы истиннаго о вещахъ понятія, то онъ можетъ достигать до познанія истины

чрезъ постепенное отрѣшеніе отъ заблужденій, въ которыя насъ вводятъ наружныя чувства. Этого отрѣшенія понятій отъ заблужденій человѣкъ достигаетъ чрезъ многократное наблюденіе предмета и разсматриваніе его съ разныхъ сторонъ». Другими словами: внѣшнія чувства не всегда заблуждаются, и хоть случается съ ними иногда такой грѣхъ, но вообще на нихъ можно положиться. Это положеніе меня успокоиваетъ, но не надолго: чрезъ нѣсколько страницъ г. Кусаковъ опять говоритъ, что рѣшительно всѣ предметы «производятъ на нашу душу впечатлѣніе, болѣе или менѣе несоотвѣтственное предмету, слѣдовательно, болѣе или менѣе ошибочное» (стр. 13). Я снова впадаю въ прежнее недоумѣніе и тоскливо восклицаю: «о г. Кусаковъ! повѣдайте же мнѣ, есть ли истина на свѣтѣ? Иначе я рѣшусь на отчаянную мѣру, — обращусь къ г. Гербелю: онъ поэтъ добрый и, вѣрно, по своему обѣщанію,

«Онъ разрѣшитъ мои печали,
Сомнѣнья вѣчныя мои».

Но г. Кусаковъ смягчается моими жалобами и великодушно объясняетъ, что истина возможна «при опредѣленіи высшихъ аксіомъ и построеніи на нихъ всѣхъ возможныхъ знаній» (стр. 9). Нѣкоторый свѣтъ начинаетъ озарять меня. «Высшія аксіомы, думаю я.... знаю теперь, на что онъ мѣтитъ: на непогрѣшимость всеобщаго разума»... Но, увы! г. Кусаковъ отнимаетъ у меня послѣдній слабый лучъ надежды, объявляя, что за аксіомы не могутъ быть приняты врожденныя идеи, будто бы производимыя внутренней дѣятельностью души, независимо отъ впечатлѣній внѣшняго міра (стр. 10). Слѣдовательно, высшія аксіомы г. Кусакова тоже должны быть произведеніемъ внѣшнихъ чувствъ, которыя онъ же самъ, непостижимый г. Кусаковъ, считаетъ столь обманчивыми и ненадежными. Тутъ ужъ я рѣшительно теряюсь и предаюсь въ волю г. Кусакова, который, пользуясь моимъ положеніемъ, начинаетъ объяснять мнѣ свою теорію. «Цѣль и назначеніе моей брошюры,—говоритъ онъ,—состоитъ въ опредѣленіи и ясномъ математическомъ выраженіи этой высшей аксіомы». Формула ея очень проста: $a = b \times c$. (Я ничего не понимаю.) Здѣсь *a* означаетъ дѣйствіе (продолжаетъ объяснять г. Кусаковъ), а *b* и *c* — предметы, дѣйствующіе другъ на друга. Такимъ образомъ, если двухъ подравшихся пріятелей изобразить — одного буквою *b*, а другого *c*, то въ результатѣ и будетъ *a*, дѣйствіе, т. е. — драка. Пріятели, пожалуй, могутъ и не драться, — результатъ все будетъ тотъ же: для формулы нужно только, чтобы сошлись два пріятеля *b* и *c*, а результатъ *a*, т. е. драка, самъ собою ужъ явится. Я какъ будто начинаю понимать мудрость г. Кусакова и интересуюсь знать, на чемъ же основана высшая аксіома, что $a = b \times c$. Оказывается слѣдующее. Мы чувствуемъ, что на насъ повсюду дѣйствуетъ что-то, отъ насъ отличное, внѣшнее, словомъ, — *не-я*. Отсюда мы заклю-

чаемъ, что кромѣ насъ существуетъ еще нѣчто, потому что иначе мы не могли бы ощущать никакого внѣшняго дѣйствія на наше *я*. Отсюда слѣдуетъ, что бытіе предметовъ сознается нами потому только, что они на насъ дѣйствуютъ и что, слѣдовательно, нѣтъ возможности представить предметъ безъ дѣйствія. Общій же законъ всякаго дѣйствія состоитъ въ томъ, что *дѣйствіе соразмѣрно причинамъ*; это мы можемъ утверждать потому, что, узнавая предметы только по ихъ дѣйствію на насъ, мы только по дѣйствію можемъ опредѣлить и величину и значеніе самихъ предметовъ. Все это очень основательно и ясно на первый взглядъ, и во всемъ этомъ я—какъ и всѣ, я думаю,—съ давнихъ поръ былъ убѣжденъ... до того времени, пока не прочиталъ брошюры г. Кусакова. Но, прочитавши брошюру, я уже на такую удочку не поддамся. Я самъ теперь сдѣлался скептикомъ, и самъ стану задавать вопросы г. Кусакову: «а чѣмъ вы, г. Кусаковъ, докажете, что эта аксіома ваша, а не моя, и не общая всѣмъ людямъ съ давнихъ поръ? Да и на какомъ основаніи утверждаете вы, г. Кусаковъ, что если предметъ на насъ дѣйствуетъ, то значитъ, что онъ существуетъ? Легко можетъ быть, что онъ дѣйствуетъ, а все-таки не существуетъ? Чѣмъ вы докажете, наконецъ, что предметы на насъ дѣйствуютъ? Можетъ быть, это только внѣшнія чувства васъ обманываютъ? На чемъ же вы вашу аксіому основываете? Нѣтъ, г. Кусаковъ, ваша аксіома, осмѣлюсь вамъ замѣтить, неосновательна. Въ отысканіи начала всѣхъ началъ вы меня не удовлетворите старой, избитой истиной, что нѣтъ дѣйствія безъ причины. Я хочу, чтобъ вы мнѣ эту самую причину-то отыскали, доказательства бы нашли.... Тогда я успокоюсь.... Иначе я все-таки буду васъ безпрестанно и безконечно допрашивать: отчего»?

Г. Кусаковъ, повидимому, теряется и говоритъ, что «это положеніе *не только не можетъ быть доказано, но даже не относится къ области ума*» (стр. 11). Я, въ свою очередь, торжествую и уже безъ всякаго благоговѣнія къ мудрости г. Кусакова выслушиваю дальнѣйшее его объясненіе о томъ, что «все существующее дѣйствуетъ, а всякое дѣйствіе совершается *отъ центра къ окружности*» (стр. 22). Во-первыхъ, я возглашаю: «чѣмъ докажете, г. Кусаковъ»? а во-вторыхъ, я спрашиваю: какого центра, какой окружности? Я, напр., ѣду изъ Архангельска въ Тамбовъ; дѣйствую ли я отъ центра Россіи къ ея окружности, или отъ моего собственнаго центра къ моей собственной окружности? Но опредѣлите же, гдѣ мой центръ и моя окружность? Съ центромъ тяжести что-ли совпадаетъ центръ, открытый г. Кусаковымъ, или онъ ни съ чѣмъ не совпадаетъ? Это, вѣдь, легко сказать: «вотъ, дескать, какая высшая аксіома, только она не можетъ быть доказана; а предметы, вслѣдствіе ея, дѣйствуютъ отъ центра къ окружности». Но сказать, не доказавши, еще ничего не значитъ, равно какъ ничего не значитъ и необъясненное положеніе. По аксіомѣ г. Кусакова, брошюра его дѣйствуетъ тоже отъ центра въ

окружности. Можетъ быть, это и такъ; но задача въ томъ, чтобы отыскать: гдѣ же именно центръ-то ея находится? А этого ни за что и не отыщешь, потому что г. Кусаковъ совершенный эксцентрикъ. Философіи, должно быть, онъ обучался; объ этомъ свидѣтельствуютъ фразы его, въ родѣ слѣдующей: «если бы мы захотѣли представить себѣ *я* и *не-я* нераздѣльно, то это представленіе всецѣлаго бытія, указывающее на самый высшій родъ, не было бы понятіемъ, а чувствомъ, и имѣло бы въ дополнительной сферѣ, называемой не-существомъ или небытіемъ, выраженіе мнимое, происшедшее отъ примѣненій общей формулы раздѣленія понятій на двѣ сферы къ такому предмету, который дополнительной сферы не имѣетъ и, по этой причинѣ, не относится болѣе къ предметамъ, о которыхъ можно имѣть понятіе» (стр. 12). Но философія, должно быть, не въ прокъ пошла г. Кусакову: онъ вызвался вести насъ куда-то и завелъ въ лабиринтъ, изъ котораго, кажется, и самъ не можетъ выбраться. Онъ знаетъ только одно, — что надо итти отъ центра къ окружности, но гдѣ центръ, гдѣ окружность, до этого ему ужъ рѣшительно нѣтъ никакого дѣла.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЦАРСТВОВАНІЯ

ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

(**Исторія царствованія Петра Великаго.** *Н. Устрялова.* Снб. 1858, три тома.)

«Петръ дѣйствовалъ совершенно въ духѣ народномъ, сближая свое отечество съ Европою и искореняя то, что внесли въ нее татары временно азіатскаго».

(Отеч. Зап. 1841 г. Критика.)

I.

Мы спѣшимъ представить нашимъ читателямъ отчетъ о сочиненіи г. Устрялова, хотя очень хорошо сознаемъ, что полная и основательная оцѣнка подобнаго сочиненія потребовала бы весьма продолжительнаго труда даже отъ ученаго, спеціально изучавшаго Петровскую эпоху. По всей вѣроятности, съ теченіемъ времени, и будутъ являться разныя дополненія или поясненія къ труду г. Устрялова со стороны нашихъ ученыхъ спеціалистовъ, дружными усиліями своими такъ усердно двигающихъ впередъ русскую науку. Мы же, съ своей стороны, вовсе не имѣемъ въ виду спеціальныхъ указаній на какія-либо частныя и мелкія подробности, недосказанныя или не совершенно выясненныя въ исторіи Петра Великаго. Мы хотимъ просто, воспользовавшись матеріаломъ, собраннымъ въ сочиненіи г. Устрялова, передать читателямъ главнѣйшіе результаты, добытые трудами почтеннаго историка. На это, думаемъ мы, даетъ намъ право самый характеръ и значеніе сочиненія г. Устрялова, которое такъ давно было ожидаемо русской публикой.

Исторія Петра, начало которой издано нынѣ г. Устряловымъ,

безспорно принадлежитъ къ числу сочиненій ученыхъ, сообщающихъ новыя данныя, говорящихъ новое слово о своемъ предметѣ. Обыкновенно у насъ такія сочиненія не подлежатъ не только общему суду, но даже и просто чтенію. Читатели, если и принимаются за нихъ, то никакъ не доходятъ далѣе второй страницы. Ученые авторы обвиняютъ за это читателей въ равнодушіи и пренебреженіи къ наукѣ, и ученые авторы, вѣроятно, правы, съ своей ученой точки зрѣнія. Но не совсѣмъ неправа и публика, съ точки зрѣнія просто образованной. Нѣтъ сомнѣнія, что образованному человѣку полезно знать, напр., въ 855-мъ или въ 857-мъ году изобрѣтена славянская азбука; полезно имѣть свѣдѣніе о томъ, читалъ ли Кириллъ Туровскій библію и были ли въ древней Руси люди, знавшіе по-испански; полезно знать и то, какъ слѣдуетъ перевести сомнительный аористъ въ Θукидидовой исторіи, — все это очень полезно... Но отсюда все-таки никакъ не слѣдуетъ, чтобы образованному человѣку необходимо было читать толстыя книги для разрѣшенія важныхъ и занимательныхъ вопросовъ, подобныхъ тѣмъ, которые мы сейчасъ придумали для примѣра. Слѣдовательно, нечего удивляться, нечего и винить публику въ невѣжествѣ, если она не читаетъ ни сочиненій, имѣющихъ спеціальную цѣль—движеніе науки впередъ—ни ученыхъ разборовъ, имѣющихъ въ виду ту же высокую цѣль. Потомство будетъ, конечно, справедливѣе, но большинство нашихъ современниковъ, къ сожалѣнію, совершенно равнодушно къ замѣчательнымъ успѣхамъ нашихъ ученыхъ. Оно какъ будто не замѣчаетъ ихъ и, кажется, ждетъ примѣненія микроскопа къ разсматриванію богатыхъ вкладовъ русскихъ ученыхъ въ общую сокровищницу науки.

При такомъ положеніи дѣлъ, весьма естественно образовалось между публикою и писателями безмолвное соглашеніе такого рода. Если является книга, трактующая объ ученыхъ предметахъ, то уже публика и понимаетъ, что это, вѣрно, написано, во-первыхъ, для движенія науки впередъ, а во-вторыхъ — для такого-то и такого-то спеціалиста (они всегда извѣстны наперечетъ). Спеціалисты, въ свою очередь, знаютъ, что это для нихъ писано, и принимаются за ученую критику, назначая ее для автора книги и для двухъ-трехъ своихъ собратій, изъ которыхъ одинъ сочинитъ, пожалуй, и замѣчанія на критику. Разумѣется, спеціалисты, споря о томъ, въ XI или въ XII вѣкѣ жилъ монахъ Іаковъ, представляютъ дѣло въ такомъ видѣ, какъ будто бы отъ него зависѣла развязка индійскаго возстанія, вопросъ аболиціонистовъ или отвращеніе кометы, которая снова, кажется, намѣрена угрожать землѣ въ этомъ году. Но публика не воображаетъ, что дѣло такъ важно, и споръ о разныхъ тонкостяхъ слога, хотя бы въ самой лѣтописи Нестора, не производитъ переворота въ общественныхъ интересахъ. Наука остается сама для себя, и ученые гордятся своими открытіями только въ кругу ученыхъ, оплакивая невѣжество публики, не умѣющей цѣнить ихъ.

Но оказывается, что публика знаетъ нѣсколько толкъ въ ученыхъ дѣлахъ и даже отличается въ этомъ отношеніи рѣдкимъ тактомъ. Она не знаетъ ученыхъ, разбирающихъ ханскіе ярлыки и сравнивающихъ разные списки сказанія о Мамаевомъ побоищѣ; но она всегда съ живымъ участіемъ привѣтствуетъ писателей, оказывающихъ дѣйствительныя услуги наукѣ. Сколько можемъ мы припомнить прежніе отзывы, г. Устряловъ не считался у насъ въ числѣ записныхъ ученыхъ. Всѣ отдавали справедливость его тщательности въ изданіи памятниковъ, краснорѣчію и плавности слога въ его учебникахъ, ловкости разсказа о событіяхъ новой русской исторіи; но отзывы о немъ, сколько мы знаемъ, вовсе не были таковы, какъ отзывы о разныхъ нашихъ ученыхъ, двигающихъ науку впередъ. А между тѣмъ, у насъ причисляется въ ученые всякій господинъ, открывшій хоть маленькій, хоть крошечный какой-нибудь фактецъ, хоть просто ошибочно поставленный годъ въ древнемъ спискѣ лѣтописи. Это, говорятъ, ученый, потому что онъ изучаетъ, и весьма основательно, историческіе источники и дѣлаетъ новыя соображенія, до него неизвѣстныя. По этой мѣркѣ г. Устряловъ долженъ стать теперь на недосягаемую высоту учености, потому что имъ открыты или объяснены не два-три ничтожные факта, а сотни подробностей, бросающихъ дѣйствительно новый свѣтъ на прежде извѣстныя историческія явленія. И, несмотря на то, публика не отвернулась отъ труда г. Устрялова, потому именно, что это есть въ самомъ дѣлѣ важный ученый трудъ. Успѣхъ книги г. Устрялова доказываетъ, что публика наша умѣетъ отличить массу,—хотя бы и очень тяжелую,—свѣжихъ, живыхъ свѣдѣній отъ столь же тяжелой массы ненужныхъ цитатъ и схоластическихъ тонкостей.

Эта увѣренность въ томъ, что новое сочиненіе г. Устрялова имѣетъ интересъ не только спеціально-ученый, но и общественный, даетъ намъ смѣлость говорить о немъ, хотя мы и не можемъ сдѣлать никакихъ поправокъ и дополненій къ труду г. Устрялова.

Матеріалъ, бывшій подъ руками у г. Устрялова, при составленіи исторіи Петра Великаго, былъ очень богатъ. Ни одинъ изъ предшествовавшихъ историковъ Петра не пользовался, конечно, такимъ обиліемъ источниковъ. Изъ «Введенія» (стр. LXXII) мы узнаемъ, что въ концѣ 1842 года автору открытъ былъ доступъ во всѣ архивы имперіи, а въ 1845 г. дозволено отправиться заграницу, для обозрѣнія архивовъ въ Вѣнѣ и Парижѣ. Нечего и говорить о печатныхъ источникахъ, которыми располагалъ г. Устряловъ и которыхъ количество также значительно. Г. Устряловъ не только воспользовался всѣми документами, изданными Миллеромъ, Голиковымъ, Бергомъ, и др., но даже *свѣрилъ* бо́льшую часть ихъ съ подлинниками, хранящимися въ разныхъ архивахъ и библіотекахъ, при чемъ открылъ не мало ошибокъ и искаженій въ печатныхъ изданіяхъ. Кромѣ того, онъ разсмотрѣлъ еще много такихъ матеріаловъ, которыми до него никто не пользовался. Такъ, имъ пересмотрѣны *кабинетныя бумаги* Петра Великаго, въ государ-

ственномъ архивѣ, заключающіяся въ двухъ отдѣленіяхъ, — одно изъ шестидесяти-семи, а другое изъ девяносто-пяти фоліантовъ. Въ первомъ изъ этихъ отдѣленій находятся: 1) матеріалы для исторіи Петра Великаго, собранные при жизни его,—выписки изъ подлиннаго дѣла о стрѣлецкомъ бунтѣ 1698 г., дѣло о мятежѣ Башкирскомъ въ 1708 г., документы о бунтѣ Булавинскомъ, вѣдомости о числѣ войскъ и орудій въ разное время, о каналахъ, заводахъ, фабрикахъ и пр., о дѣйствіяхъ въ шведскую войну, журналы походовъ и путешествій Петра Великаго, и пр.; кромѣ того, 2) собственноручныя черновыя бумаги Петра,— его ученическія тетради, проекты законовъ, указовъ, рескриптовъ, счеты, письма и пр. Во второмъ отдѣленіи собраны такъ-называемыя входящія бумаги, т. е. «все, что адресовано было на имя Петра, по всѣмъ частямъ управленія, отъ всѣхъ лицъ, которыя его окружали или рѣшались къ нему писать, отъ Меншикова и Шереметева до послѣдняго истопника». Г. Устряловъ справедливо замѣчаетъ, что эти письма могутъ отчасти замѣнить недостатокъ современныхъ мемуаровъ сподвижниковъ Петровыхъ.

Кромѣ того, г. Устряловымъ пересмотрѣны *дѣла дипломатическія* въ главномъ архивѣ, въ Москвѣ; *дѣла розыскныя и слѣдственныя*, какъ-то: дѣло о Шакловитомъ, дѣло о послѣднемъ стрѣлецкомъ бунтѣ 1698 г., дѣло о царевичѣ Алексѣѣ Петровичѣ, и пр.; *офиціальныя донесенія иностранныхъ пословъ и резидентовъ*, собранныя въ Парижѣ и Вѣнѣ. Изъ всѣхъ этихъ донесеній всего болѣе замѣчательны донесенія цесарскаго резидента, Отто Плейера, бывшаго въ Россіи отъ 1692 г. до 1718. Во все это время онъ, по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ, увѣдомлялъ самого цесаря о всемъ, что замѣчалъ онъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Наблюденія его, по отзыву г. Устрялова, чрезвычайно добросовѣстны и отчетливы.—Кромѣ того, г. Устряловъ пользовался подлинными записками Патрика Гордона и Галларта, изъ которыхъ только отрывки были прежде напечатаны, и то весьма *въ уродливомъ видѣ* [1]). Имѣя

---

[1]) До какой степени небрежно поступали прежде при печатаніи историческихъ сочиненій и документовъ, можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ, найденнымъ нами въ книгѣ г. Устрялова. Въ «Сѣверномъ Архивѣ» напечатанъ отрывокъ изъ современнаго русскаго перевода сочиненія Галларта: Historische Beschreibung des nordischen Krieges, — и всѣ собственныя имена до того изуродованы, что иныя трудно узнать. Одна фраза, вмѣсто: «послалъ князь Григорья Ѳедоровича *Долгорукаго* своего камергера» напечатана «князь Григорья Ѳедоровича *да другого* своего камергера». Въ заграничныхъ изданіяхъ русскія собственныя имена коверкались еще больше. Такъ, въ сочиненіи Нёвилл «Relation curieuse et nouvelle de Moscovie». A la Haye. 1699, — русскія имена пишутся, напр., такимъ образомъ: Kenas Jacob Seudrevick—князь Яковъ Ѳедоровичъ; Levanti Romanorrick ne Pleuvan—Леонтій Романовичъ Нешлюевъ; Alexis Samuelerrich — Алексѣй Михайловичъ! Забавна ошибка, къ которой подало поводъ такое искаженіе именъ. У Невиля есть фраза: quelque temps après *le czar Alexis Samuel Errich* se voyant moribond, le (т. е. Менезія) déclara gouverneur de jeune prince Pierre (черезъ нѣсколько времени, царь Алексѣй Ми-

подъ руками такую массу источниковъ, столь важныхъ и разнообразныхъ, г. Устряловъ дѣйствительно могъ довести свою Исторію до того, чтобы въ ней, какъ онъ самъ говоритъ («Введ.», стр. LXXXIII), «ни одного слова не было сказано на-угадъ, чтобы каждое изъ нихъ подтверждалось свидѣтельствомъ неоспоримымъ, по крайней мѣрѣ вѣроятнымъ».

Трудъ г. Устрялова тѣмъ замѣчательнѣе, что у своихъ предшественниковъ-историковъ онъ весьма мало могъ находить пособія въ своемъ дѣлѣ. Во «Введеніи» онъ перечисляетъ всѣхъ, почему-либо замѣчательныхъ писателей, составлявшихъ исторію Петра, и ни у кого не находитъ удовлетворительнаго изложенія. Въ томъ числѣ г. Устряловъ перечисляетъ и такія произведенія, которыя весьма мало извѣстны или и совсѣмъ неизвѣстны публикѣ. Такъ, во «Введеніи», сообщаются любопытныя подробности о томъ, какъ, послѣ слабыхъ трудовъ Ѳеофана Прокоповича и барона Гизена, составлялъ исторію кабинетъ-секретарь Макаровъ, котораго поправлялъ и передѣлывалъ самъ Петръ. Макарову поручено было собраніе матеріаловъ и черновая работа. Года въ четыре онъ составилъ исторію о войнѣ шведской и представилъ Петру; Петръ исправилъ ее, велѣлъ переписать и снова представить ему. Эта вторая редакція также была представлена ему и передѣлана имъ; тоже было съ третьей и четвертой редакціей. Немногія мѣста работы Макарова уцѣлѣли, по словамъ г. Устрялова, такъ что на это сочиненіе можно смотрѣть какъ на трудъ самого Петра. Сочиненіе это было издано кн. Щербатовымъ подъ заглавіемъ: «Журналъ или поденная записка Петра Великаго, съ 1698 г. даже до заключенія Нейштадтскаго мира». Но это изданіе прошло совершенно незамѣченнымъ, потому что Щербатовъ глухо только сказалъ, въ предисловіи, что «журналъ этотъ сочиненъ при кабинетѣ государя и правленъ его собственною рукою». Никто не зналъ, какое именно участіе принималъ Петръ въ составленіи этой исторіи, и потому на нее смотрѣли большею частію съ недовѣрчивостью. А между тѣмъ, трудъ Петра, по словамъ г. Устрялова, отличается строгой исторической истиной и безпристрастіемъ. Г. Устряловъ убѣдился въ этомъ, имѣвъ случай повѣрить всѣ его слова подлинными актами, доселѣ во множествѣ сохранившимися, и свидѣтельствомъ очевидцевъ, своихъ и чужеземныхъ. «Во всѣхъ случаяхъ, Петръ съ благородною откровенностью говоритъ о своихъ неудачахъ, не скрывая ни огромности потерь, ни важности ошибокъ, и въ то же время съ рѣдкою скромностью говоритъ о своихъ личныхъ подвигахъ» (стр. XXXVII). Эта черта должна бы служить урокомъ для многихъ историковъ, смѣшивающихъ исторію

хайловичъ, чувствуя приближеніе смерти, назначилъ его (Менезія) воспитателемъ юнаго царевича Петра). Изъ этого наши историки вывели, что у Петра былъ воспитателемъ какой-то Самуилъ Эрикъ!

съ панегирикомъ, и цвѣтами историческаго краснорѣчія замѣняющихъ историческую истину.

Къ сожалѣнію, послѣдующіе историки Петра не слѣдовали, въ изображеніи его дѣяній, собственному его примѣру,—одни по излишнему легковѣрію, другіе по желанію изукрасить простую истину событій. Къ числу первыхъ принадлежитъ Голиковъ и многіе изъ иностранныхъ историковъ Петра; въ числѣ послѣднихъ замѣчателенъ Крекшинъ, котораго наши *ученые* принимали, даже до нашихъ дней, за достовѣрный источникъ и авторитетъ [1]), но котораго г. Устряловъ, вслѣдъ за Татищевымъ, справедливо именуетъ *баснословцемъ*. Причину всѣхъ своихъ баснословныхъ выдумокъ Крекшинъ очень наивно высказываетъ въ предисловіи, изъ котораго г. Устряловъ приводитъ слѣдующія слова: «Азъ, рабъ того благочестиваго императора, мній всѣхъ, милость того на себѣ имѣлъ и дѣлъ блаженныхъ его нѣкоихъ самовидецъ быхъ; *того ради, по долгу рабства и любви, долженъ блаженныя дѣла его прославлять, а не образомъ исторіи писать дерзаю.* Не буди то въ дерзновеніе моему худоумію, яко недостойнъ отрѣшить и ремень сапога его». Послѣ такого признанія, дѣйствительно, трудно довѣрять Крекшину. Собственно говоря, нельзя строго винить его: мысль его не заключаетъ въ себѣ ничего необыкновеннаго. Всѣ мы немножко Крекшины въ своихъ научныхъ воззрѣніяхъ, т. е. всѣ основываемъ нерѣдко общія положенія на своихъ личныхъ понятіяхъ и даже предубѣжденіяхъ. Русскіе историки, доселѣ бывшіе, не составляютъ исключенія изъ этого общаго правила. Нерѣдко они приступаютъ къ изслѣдованію исторической истины съ заранѣе уже составленнымъ убѣжденіемъ. Они говорятъ себѣ: «*должно* оказаться *то-то*», и дѣйствительно оказывается то-то. Давно ли мы въ своихъ учебникахъ твердили, — а подростающее поколѣніе и теперь еще твердитъ, — фразы въ родѣ слѣдующей: «исторія всемірная *должна* говорить о Петрѣ, какъ объ исполинѣ среди всѣхъ мужей, признанныхъ ею великими; исторія русская *должна* вписать имя Петра въ свои скрижали съ благоговѣніемъ». А что говорится обыкновенно историками о важныхъ лицахъ, которыхъ исторія пишется еще при ихъ жизни,—объ этомъ и упоминать нечего. Но, несмотря на свое внутреннее сходство съ Крекшинымъ, многіе историки имѣютъ настолько такта (пожалуй назовите это хитростью или какъ-нибудь иначе), чтобы не объявлять о своихъ заднихъ мысляхъ во всеобщее свѣдѣніе. Оттого на нихъ и смотришь какъ-то довѣрчивѣе, чѣмъ на Крекшина, который такъ неловко, въ самомъ началѣ своей исторіи, отказывается отъ всякаго права на довѣріе читателей къ истинѣ его повѣствованія. Нельзя не порадоваться, что прошло уже у насъ время такихъ признаній

---

[1]) Напр., авторъ статьи: «Правленіе царевны Софіи», помѣщенной въ «Русск. Вѣстн.» 1856 г. и обратившей на себя вниманіе многихъ, ссылается на сказанія Крекшина, какъ на свидѣтельства вполнѣ надежныя и неоспоримыя.

въ историческихъ трудахъ. Признаемся, мы съ удовольствіемъ думали, какъ далеко ушла въ одно столѣтіе наша историческая наука, сравнивая съ забавной наивностью «новгородскаго баснословца» твердый и увѣренный голосъ современнаго историка, способный возбудить къ нему полное довѣріе. Вотъ что говоритъ г. Устряловъ въ концѣ своего «Введенія» (стр. LXXXVIII).

«Не смѣю и думать, чтобы мнѣ удалось написать исторію Петра, достойную его имени: но въ правѣ считаю себя сказать, что я вполнѣ понималъ всю святость добровольно принятой на себя обязанности быть его историкомъ. Онъ, неумолимо строгій къ себѣ и къ другимъ въ дѣлѣ истины, служилъ мнѣ руководителемъ. Самое тщательное изученіе фактовъ при помощи архивовъ, разборчивая повѣрка современныхъ сказаній, нелицепріятное безпристрастіе, добросовѣстное изложеніе всѣхъ подробностей историческихъ, какія только встрѣчались мнѣ не въ выдумкахъ компиляторовъ, а въ матеріалахъ достовѣрныхъ,— вотъ мои правила непреложныя. Могутъ найти въ моемъ сочиненіи недосмотры, неосновательные выводы, недостатки искусства, плана, слога, все, что угодно; но въ безотчетной довѣрчивости къ современнымъ сказаніямъ, не исключая самого Петра, тѣмъ менѣе въ умышленномъ искаженіи истины, не упрекнетъ меня никто.»

Такъ самъ г. Устряловъ опредѣляетъ намъ характеръ и значеніе своего труда, и мы не можемъ не признать справедливости этого опредѣленія. У своихъ предшественниковъ-историковъ онъ нашелъ, какъ мы уже сказали, весьма мало, почти ничего. Ему предстояло самому все повѣрять, сводить, соображать, распредѣлять, чтобы создать потомъ изъ всего этого стройный, живой разсказъ. Мы не скажемъ ничего преувеличеннаго, если замѣтимъ здѣсь, что для исторіи Петра г. Устряловъ сдѣлалъ то же самое, что Карамзинъ для нашей древней исторіи. Само собою разумѣется, что г. Устряловъ нашелъ для своего труда все-таки гораздо болѣе предшествовавшей подготовки, чѣмъ Карамзинъ. Но за то, вслѣдствіе этого обстоятельства, равно какъ и вслѣдствіе бо́льшаго обилія средствъ и бо́льшей ограниченности самаго предмета, трудъ г. Устрялова относительно полнѣе, нежели произведеніе историіографа. Въ существенныхъ же чертахъ оба они имѣютъ большое сходство между собою. Въ томъ и другомъ на первомъ планѣ является собраніе и повѣрка матеріаловъ, которые собственно и даютъ обоимъ произведеніямъ право на ученое значеніе. Читателей — и та и другая исторія привлекаютъ къ себѣ краснорѣчіемъ, плавностью слога, искусствомъ разсказа, живостью картинъ и описаній. Въ историко-литературномъ отношеніи то же сходство: Карамзинъ явился съ своей исторіей послѣ неудачныхъ попытокъ Елагина, Эмина, Богдановича, и пр.; г. Устряловъ является послѣ неудовлетворительныхъ исторій Петра, начинающихся съ Крекшина,—котораго, по цѣли его и по богатству вымысловъ, можно сравнить съ Елагинымъ,—послѣ Вольтера, Сегюра, Полевого... Карамзинъ имѣлъ предъ собою добросовѣстный сводъ лѣтописей Татищева и довольно смышленую исторію Щербатова; г. Устряловъ тоже имѣлъ вѣрный сводъ событій въ исторіи Ма-

карова, исправленной самимъ Петромъ, и нашелъ нѣкоторое пособіе въ хронологическомъ сборѣ фактовъ, находящемся въ «Дѣяніяхъ», Голикова. Даже по самымъ внѣшнимъ пріемамъ, по расположенію статей, примѣчаній и приложеній, по манерѣ изображенія частныхъ событій,—ни одна изъ историческихъ книгъ не напоминала намъ такъ живо Карамзина, какъ «Исторія Петра» г. Устрялова. Этотъ трудъ его достойно станетъ возлѣ творенія Карамзина, полный неоспоримыхъ достоинствъ, хотя, конечно, не чуждый и нѣкоторыхъ недостатковъ.

Слишкомъ долго было бы распространяться объ общихъ требованіяхъ, которыя налагаетъ на историка современное состояніе историческихъ знаній и вообще просвѣщенія. Мѣсто этимъ разсужденіямъ скорѣе въ учебникѣ, нежели въ журнальной статьѣ. Но мы не можемъ не вспомнить здѣсь одного условія, соблюденіе котораго необходимо для исторіи, имѣющей притязаніе на серьезное ученое значеніе. Это—идея объ отношеніи историческихъ событій къ характеру, положенію и степени развитія народа. Всякое историческое изложеніе, не одушевленное этой идеей, будетъ сборомъ случайныхъ фактовъ, можетъ быть и связанныхъ между собою, но оторванныхъ отъ всего окружающаго, отъ всего прошедшаго и будущаго. Такимъ образомъ, исторія самая живая и краснорѣчивая будетъ все-таки не болѣе, какъ прекрасно-сгруппированнымъ матеріаломъ, если въ основаніе ея не будетъ положена мысль объ участіи въ событіяхъ самого народа. Участіе это можетъ быть дѣятельное или страдательное, положительное или отрицательное,—но, во всякомъ случаѣ, оно не должно быть забыто исторіею. На него историкъ долженъ обращать главнымъ образомъ свое вниманіе не только въ общей исторіи, служащей изображеніемъ судьбы царствъ и народовъ, — но и въ исторіи частныхъ историческихъ дѣятелей, какъ бы ни казались они выше своего вѣка и народа. Безъ сомнѣнія, великіе историческіе преобразователи имѣютъ большое вліяніе на развитіе и ходъ историческихъ событій въ свое время и въ своемъ народѣ; но не нужно забывать, что прежде чѣмъ начнется ихъ вліяніе, сами они находятся подъ вліяніемъ понятій и нравовъ того времени и того общества, на которое потомъ начинаютъ они дѣйствовать силою своего генія. Въ исторіи Петра, можетъ быть, рѣзче, нежели гдѣ-нибудь, высказалось какъ будто полное отрѣшеніе отъ прошедшаго, полный и быстрый переворотъ волею одного человѣка, вопреки привычкамъ и инстинктамъ народнымъ. Участіе всего народа какъ будто стирается здѣсь предъ могуществомъ его повелителя, и потому здѣсь понятнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, допущеніе *исторической случайности* со стороны описателя дѣяній Петровыхъ. Тѣмъ не менѣе нужно сказать, что и здѣсь допущеніе этой случайности будетъ несправедливо. Если авторъ не намѣренъ входить въ разсмотрѣніе народной жизни, разсказывая дѣла своего героя; если онъ хочетъ представить историческаго дѣятеля одного на первомъ планѣ, а все остальное считаетъ

только принадлежностями второстепенными, аксессуарами, существенно не нужными; въ такомъ случаѣ онъ можетъ составить хорошую біографію своего героя, но никакъ не исторію. Исторія занимается людьми, даже и великими, только потому, что они имѣли важное значеніе для народа или для человѣчества. Слѣдовательно, главная задача исторіи великаго человѣка состоитъ въ томъ, чтобы показать, какъ умѣлъ онъ воспользоваться тѣми средствами, какія представлялись ему въ его время; какъ выразились въ немъ тѣ элементы живого развитія, какіе могъ онъ найти въ своемъ народѣ. Смотрѣть иначе значило бы придавать генію значеніе, невозможное для человѣка. Извѣстно всѣмъ и каждому, что человѣкъ не творитъ ничего новаго, а только перерабатываетъ существующее; значитъ, исторія приписываетъ человѣку невозможное, какъ скоро намѣренно уклоняется отъ своей прямой задачи: разсмотрѣть дѣятельность историческаго лица какъ результатъ взаимнаго отношенія между нимъ и тѣмъ живымъ матеріаломъ (если можно такъ выразиться о народѣ), который подвергался его вліянію. Невыполненіе этой задачи не замѣняется никакимъ краснорѣчіемъ, никакимъ обиліемъ фактовъ, относящихся къ изображаемому лицу. Значеніе великихъ историческихъ дѣятелей можно уподобить значенію дождя, который благотворно освѣжаетъ землю, но который, однако, составляется все-таки изъ испареній, поднимающихся съ той же земли. Простолюдину простительно думать, что дождь хранится въ небѣ въ какомъ-то особомъ резервуарѣ, и оттуда изливается въ извѣстныя времена, по какимъ-нибудь особеннымъ соображеніямъ; но такое объясненіе не должно имѣть претензіи на значеніе ученое и философское.

Къ сожалѣнію, историки никогда почти не избѣгаютъ страннаго увлеченія личностями, въ ущербъ исторической необходимости. Вмѣстѣ съ тѣмъ сильно выказывается во всѣхъ исторіяхъ пренебреженіе къ народной жизни, въ пользу какихъ-нибудь исключительныхъ интересовъ. Такъ, напримѣръ, у самого Карамзина мы находимъ, что вся исторія народа пожертвована строгому и послѣдовательному проведенію одной идеи—объ образованіи и развитіи государства россійскаго. И самое развитіе этого государства вовсе не представляется вытекающимъ изъ условій народной жизни, а является какимъ-то, чуть не административнымъ, дѣломъ нѣсколькихъ лицъ. Народная жизнь исчезаетъ среди подвиговъ государственныхъ войнъ, междоусобій, личныхъ интересовъ князей, и пр., и только въ концѣ тома помѣщается иногда глава «о состояніи Россіи». Но и тутъ больше толкуется о наслѣдственныхъ правахъ удѣльныхъ князей, о славѣ Россіи между иноземными державами, и т. п., нежели объ интересахъ, прямо касающихся народа.

Нельзя сказать, чтобы трудъ г. Устрялова совершенно чуждъ былъ той общей исторической идеи, о которой мы говорили; но все-таки очевидно, что не она положена въ основаніе «Исторіи

Петра». Авторъ посмотрѣлъ на свой трудъ болѣе съ біографической, нежели съ общеисторической точки зрѣнія. Оттого изъ «Исторіи» его вышла весьма живая картина дѣяній Петровыхъ, весьма полное собраніе фактовъ, относящихся къ лицу Петра и къ положенію придворныхъ партій, окружавшихъ его во время дѣтства и отрочества, нелицепріятное изложеніе государственныхъ событій времени Петра; но истинной исторіи, во всей обширности ея философскаго и прагматическаго значенія, нельзя видѣть въ нынѣ изданныхъ томахъ «Исторіи Петра Великаго». Правда, что авторъ еще не дошелъ до той эпохи, когда Петръ является во всемъ блескѣ своей преобразовательной дѣятельности, которою сталъ онъ въ непосредственныя отношенія къ народу. Въ первомъ томѣ «Исторіи» г. Устрялова изложено господство царевны Софіи, во второмъ—потѣшные и азовскіе походы, въ третьемъ—путешествія Петра по Европѣ и разрывъ съ Швеціею. Но и эти событія были бы, конечно, изложены иначе, если бы авторъ не руководствовался по преимуществу біографическимъ интересомъ и мыслью о государственномъ значеніи Петра для возвышенія славы Россіи,— а захотѣлъ бы придать своему труду болѣе широкое значеніе. Чего искалъ авторъ въ другихъ историкахъ и чего требовалъ отъ самого себя, — можно видѣть изъ двухъ мѣстъ его «Введенія». Исчисливъ историковъ Петра, онъ говоритъ въ заключеніе: «трудно самому невзыскательному любителю исторіи удовольствоваться подобными сочиненіями о такомъ государѣ, какъ Петръ Великій. Еще труднѣе положиться на нихъ строгому изслѣдователю, который желалъ бы видѣть Петра въ истинномъ, безукрашенномъ видѣ, и при томъ во всей полнотѣ его величія» (стр. LI). Въ концѣ же «Введенія» (стр. LXXXVII), опредѣляя значеніе собственнаго труда, авторъ говоритъ: «я старался изобразить Петра въ такомъ видѣ, какъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, не скрывая его слабостей, не приписывая ему небывалыхъ достоинствъ, вмѣстѣ съ тѣмъ во всей полнотѣ его несомнѣннаго величія». Изъ сравненія обоихъ мѣстъ очевидно, что самъ авторъ смотритъ на свое произведеніе какъ на трудъ преимущественно біографическій, оставляя въ сторонѣ всѣ высшія философско-историческія соображенія.

Мы указываемъ на это вовсе не съ тѣмъ, чтобы сдѣлать упрекъ г. Устрялову, а единственно для того, чтобы опредѣлить, чего можно требовать отъ его исторіи и съ какой точки зрѣнія смотрѣть на нее, согласно съ идеей самого автора. Мы очень хорошо понимаемъ, что отъ русскаго историка, изображающаго событія новой русской исторіи, начиная съ Петра, невозможно еще требовать ничего болѣе фактической вѣрности и полноты. Мы еще не можемъ въ своихъ историческихъ изысканіяхъ отрѣшиться отъ интересовъ этого прошедшаго, такъ близкаго къ намъ и такъ постоянно, хоть иногда и незамѣтно, присутствующаго въ большей части явленій настоящаго. Намъ трудно, почти невозможно, избрать для какого-либо сочиненія правильную и независимую точку зрѣнія

на событія нашей новѣйшей исторіи, именно потому, что они и въ жизни современнаго намъ общества еще продолжаются во многомъ, еще не составляютъ прошедшаго, совершенно законченнаго для насъ. Поэтому, если бы и могла гдѣ-нибудь явиться строго соображенная, прагматическая исторія новыхъ временъ Россіи, то это было бы не болѣе, какъ утѣшительнымъ исключеніемъ изъ общей массы нашихъ историческихъ трудовъ. Вообще же говоря, авторъ можетъ давать себѣ задачу, какую ему угодно, и нельзя нападать на него за то, что онъ не избралъ для разрѣшенія другой, высшей и обширнѣйшей задачи. Критика указываетъ, что̀ именно предполагалъ сдѣлать авторъ, и затѣмъ смотритъ уже на то, какъ выполненіе соотвѣтствуетъ намѣренію. Разсуждая такимъ образомъ, нельзя не назвать трудъ г. Устрялова весьма замѣчательнымъ явленіемъ въ нашей литературѣ, и, вѣроятно, даже спеціалисты ученые, занимающіеся русской исторіей, немного найдутъ въ «Исторіи Петра» такихъ мѣстъ, которыя можно бы было упрекнуть въ неосновательности, въ недостовѣрности или несправедливости. Повторимъ еще разъ: то, что сдѣлано г. Устряловымъ для исторіи Петра, по собранію матеріаловъ и по обработкѣ ихъ, можно сравнить только съ тѣмъ, что сдѣлано Карамзинымъ для нашей древней исторіи.

Указывая на біографическій характеръ «Исторіи Петра», мы были бы несправедливы, если бы не остановились на первой главѣ «Введенія» г. Устрялова, въ которой онъ говоритъ о старой допетровской Руси. Эта глава именно показываетъ, что авторъ не вовсе чуждъ общей исторической идеи, о которой мы говорили; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней же находится очевидное доказательство того, какъ трудно современному русскому историку дойти до сущности, до основныхъ началъ во многихъ явленіяхъ нашей новой исторіи. Авторъ съ самаго начала выставляетъ два противоположныя мнѣнія о Петрѣ: одно—общее, выраженное въ офиціальномъ актѣ поднесенія Петру императорскаго титула; другое — мнѣніе защитниковъ старой Россіи, которыхъ представителемъ является Карамзинъ. Первое выражается въ словахъ акта, что «единымъ руковожденіемъ Петра мы изъ тьмы ничтожества и невѣдѣнія вступили на театръ славы и присоединились къ образованнымъ государствамъ Европы». Сущность второго состоитъ въ томъ, что и до Петра Россія «въ нѣдрахъ своихъ заключала обильные источники силы и благоденствія, обнаруживала очевидное стремленіе къ благоустройству и образованію, знакомилась, сближалась съ Европою, и хотя медленно, но твердымъ и вѣрнымъ шагомъ подвигалась къ той же цѣли, къ которой такъ насильственно увлекъ ее Петръ Великій, не пощадивъ ни нравовъ, ни обычаевъ, ни основныхъ началъ народности» («Введ.», стр. XIV). Приводя оба эти мнѣнія, г. Устряловъ пытается рѣшить: что же была Россія до Петра, необходимъ ли былъ для нея переворотъ?—и для этого разсматриваетъ *свѣтлую* и *темную* стороны до-петровской Россіи.

Въ томъ и въ другомъ случаѣ онъ представляетъ *факты*, сопровождая ихъ нѣкоторыми общими замѣчаніями. Но сопоставленіе этихъ *свѣтлыхъ* и *темныхъ* фактовъ далеко не разъясняетъ намъ историческаго положенія древней Руси и даетъ много основаній не принимать той точки зрѣнія, которую представляетъ намъ г. Устряловъ. Говоря о свѣтлой сторонѣ Руси до Петра, онъ начинаетъ съ того, что издавна всѣ иноземцы удивлялись обширному пространству Россіи, обилію естественныхъ произведеній, безграничной преданности всѣхъ сословій государю, пышности двора, многочисленности войска; но при этомъ считали Русь державою нестройною, необразованною и малосильною. «Но чужеземный взоръ — замѣчаетъ г. Устряловъ — не могъ замѣтить въ ней ни зрѣлаго, самобытнаго развитія государственныхъ элементовъ, ни изумительнаго согласія ихъ, которое служитъ основою могущества гражданскихъ обществъ и не можетъ быть замѣнено никакими выгодами естественнаго положенія, даже успѣхами образованности». Затѣмъ авторъ «Исторіи Петра Великаго» подробно развиваетъ свою мысль, показывая, въ какой степени развиты были у насъ основные государственные элементы, служащіе основою могущества и благоденствія гражданскихъ обществъ. Оказывается, что они были развиты какъ нельзя лучше и что въ этомъ отношеніи Россія стояла несравненно выше западной Европы. Мы не станемъ пока говорить, какіе именно элементы разумѣетъ г. Устряловъ подъ именемъ *основныхъ*, и перейдемъ къ *темной* сторонѣ, указанной имъ же. Разсмотрѣніе этой темной стороны приводитъ его къ заключенію, что «нигдѣ положеніе дѣлъ не представляло столь грустной и печальной картины, какъ въ нашемъ отечествѣ» (стр. XXII), и что «Россія, *не взирая на благотворное развитіе основныхъ элементовъ своихъ*, далеко не достигла той цѣли, къ которой стремились всѣ государства европейскія и которая состоитъ въ надежной безопасности извнѣ и внутри, въ дѣятельномъ развитіи нравственныхъ, умственныхъ и промышленныхъ силъ, въ знаніи, искусствѣ, въ смягченіи дикой животной природы, однимъ словомъ — въ томъ, что украшаетъ и облагороживаетъ человѣка» (стр XXV). Если такъ, то всякій въ правѣ спросить: что же это значитъ, что при совершенномъ и благотворномъ развитіи основныхъ элементовъ возможно было подобное, крайне печальное, положеніе дѣлъ? «Стародавняя Россія заключала въ нѣдрахъ своихъ главныя начала государственнаго благоустройства», говоритъ г. Устряловъ, и вслѣдъ затѣмъ приводитъ факты, доказывающіе крайнее разстройство. «Россія не уступала ни одному благоустроенному государству въ томъ, что составляетъ главную пружину благоденствія общественнаго», — говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, и тотчасъ же, въ собственномъ изложеніи, доказываетъ намъ «тягостное положеніе Россіи», бѣдствія, недовольство, ропотъ народа, и прочее. «Въ Россіи было зрѣлое развитіе элементовъ, служащихъ основою государственнаго могущества», утверждаетъ также г. Устряловъ

въ третьемъ мѣстѣ, и самъ же излагаетъ потомъ такіе факты, послѣ которыхъ не можетъ не воскликнуть: «можемъ ли послѣ сего гордиться тогдашнимъ политическимъ могуществомъ»? (стр. XXIII). Виною всѣхъ этихъ противорѣчій не опрометчивость автора; напротивъ, онъ очень осмотрителенъ въ своихъ сужденіяхъ. Всему виною здѣсь весьма обыкновенное въ нашихъ историческихъ сочиненіяхъ смѣшеніе двухъ точекъ зрѣнія: государственной и собственно-народной. Всякому мыслящему человѣку понятно, что между этими точками зрѣнія очень много общаго и что смѣшать ихъ вовсе немудрено. Повидимому, не зачѣмъ и различать ихъ: государство пріобрѣтаетъ новыя средства,—народъ богатѣетъ; государство принуждено выдержать невыгодную войну,—весь народъ чувствуетъ на себѣ ея тяжесть; въ государствѣ улучшается законодательство, — народу лучше жить становится, и т. д. Такъ бы, конечно, и должно быть, если бы интересы государства и народа всегда были нераздѣльны и тожественны. Но часто мы видимъ въ исторіи, что или государственные интересы вовсе не сходятся съ интересами народныхъ массъ, или между государствомъ и народомъ являются посредники — въ родѣ какихъ-нибудь сатраповъ, мытарей, и т. п., — не имѣющіе, конечно, силы унизить величіе своего государства, но имѣющіе возможность разрушить благоденствіе народа. Оттого результатъ воззрѣнія государственнаго бываетъ въ исторіи чрезвычайно различенъ отъ результата воззрѣнія народнаго. Первое воззрѣніе заключаетъ въ себѣ болѣе отвлеченности и формальности; оно опирается на то, что должно было бы развиться и существовать; оно беретъ систему, но не хочетъ знать ея примѣненій, разбираетъ анатомическій скелетъ государственнаго устройства, не думая о физіологическихъ отправленіяхъ живого народнаго организма. Вотъ почему и *свѣтлая* сторона древней Руси у г. Устрялова такъ богата общими положеніями и не представляетъ почти ни одного факта, тогда какъ *темная* состоитъ исключительно изъ указаній на факты народной жизни. Тамъ разбирается у него государственная система, а здѣсь берется во вниманіе народная жизнь. Г. Устряловъ не даетъ преимущества ни той, ни другой сторонѣ предмета, и даже, какъ видно, не совсѣмъ ясно различаетъ ихъ. Оттого и выходятъ противорѣчія въ его сужденіяхъ. Доказывая разстройство народной жизни, онъ тѣмъ самымъ доказываетъ несостоятельность и самой государственной системы, тѣмъ болѣе, что бѣдственное положеніе народа имѣло, по собственному сознанію историка, печальное вліяніе и на государственную славу Россіи. Словомъ — *темная* сторона опровергаетъ все, что сказано историкомъ о *свѣтлой*. Чтобы еще болѣе убѣдиться въ этомъ, всмотримся въ нѣкоторыя подробности.

Посмотримъ сначала на общій выводъ, который дѣлаетъ г. Устряловъ изъ обозрѣнія *свѣтлой* стороны Россіи. Вотъ его заключеніе (стр. XXI).

«Такимъ образомъ, стародавняя Россія заключала въ нѣдрахъ своихъ глав-

ныя начала государственнаго благоустройства: она имѣла правленіе крѣпкое, единодержавное, заботливо охранявшее неприкосновенность закона; церковь въ наилучшихъ отношеніяхъ къ міру и къ верховной власти, опредѣленную въ правахъ и обязанностяхъ своихъ служителей; дворянство знаменитое, блестящее, не уступавшее никакому другому доблестью и заслугами; законы, сообразные духу народному, самобытные, освященные опытомъ, мудростію вѣковъ. Единство вѣры, языка, управленія, скрѣпляло всѣ части ея въ одно цѣлое, въ одну могущественную державу, готовую по первому мановенію царя возстать на своихъ враговъ.»

Казалось бы, чего же лучше? Самъ историкъ, начертавши эту великолѣпную картину древней Руси, не могъ удержаться отъ вопросительнаго восклицанія: «чего же недоставало ей»? Но на дѣлѣ оказалось совсѣмъ не то: древней Руси недоставало того, чтобы государственные элементы сдѣлались въ ней народными. Надѣемся, что мысль наша пояснится слѣдующимъ рядомъ параллельныхъ выписокъ изъ книги г. Устрялова, приводимыхъ нами уже безъ всякихъ замѣчаній.

(Стр. XIX.) «Правительственная система наша выражала ясную идею правительства о необходимости закона тверлаго, неприкосновеннаго, о водвореніи доброй нравственности, о возможномъ облегченіи народа, о защитѣ чести его и достоянія».

«Былъ у насъ свой государственный совѣтъ (Большая Дума), составленный изъ вельможъ, убѣленныхъ сѣдинами, умудренныхъ опытностью: они собирались почти ежедневно въ царскихъ палатахъ, для сужденія о дѣлахъ государственныхъ, и каждый изъ нихъ могъ говорить предъ Государемъ свободно и откровенно» (стр. XXI). «Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Москва обязана своимъ величіемъ сколько генію своихъ государей, столько и дальновидной мудрости ихъ совѣтниковъ».

«Подъ главнымъ надзоромъ приказовъ состояли исполнители велѣній правительства, областные воеводы, судьи, сборщики податей. окладчики, дозорщики и другіе чины, обязанные дѣйствовать согласно съ данными имъ наказами или инструкціями, въ которыхъ правительство равно заботилось и о государственныхъ интересахъ, и о выгодахъ народныхъ».

(Стр. XX.) «Предъ закономъ были всѣ равны: онъ не различалъ вельможи отъ простолюдина въ случаѣ преступленія; судъ для всѣхъ былъ равенъ».

«У насъ было дворянство многочисленное и блестящее, которое не уступало въ знатности и благородствѣ происхожденія ни одному европейскому».

(Стр. XXIV.) «Пытки составляли необходимую принадлежность розыска по дѣламъ уголовнымъ и преступленіямъ государственнымъ. Столь же ненавистный, столь же безчеловѣчный правежъ отдавалъ бѣдныхъ должниковъ въ жертву немилосердныхъ заимодавцевъ».

(Стр. XXV.) «Грамота была доступна весьма немногимъ: еще въ исходѣ XVII столѣтія не каждый царедворецъ умѣлъ подписать свое имя. Грубое невѣжество, господствуя въ высшихъ и низшихъ слояхъ общества, разливало тлетворный ядъ свой на нравы и обычаи, которые представляли странную смѣсь добрыхъ качествъ, свойственныхъ русскому народу, съ предразсудками, суевѣріемъ, даже съ отвратительными пороками».

(Стр. XXIII.) «Областные воеводы, сосредоточивая въ лицѣ своемъ право суда гражданскаго и уголовнаго, сборъ податей, земскую полицію, нарядъ войска, съ одной стороны не имѣли возможности выполнить столь разнородныя обязанности, съ другой же находили множество случаевъ къ удовлетворенію безаконнаго корыстолюбія».

(Стр. XXIII.) «Въ подробностяхъ управленія господствовало вообще тягостное самовластіе и безсовѣстное лихоимство».

(Стр. XXIV.) «Кнутъ не щадилъ даже знатныхъ дворянъ».

«Каждый владѣлецъ земли, по первому царскому указу, долженъ былъ непремѣнно лично явиться на сборъ воинскій съ опредѣленнымъ числомъ людей ратныхъ; иначе терялъ свое помѣстье. Въ старину, русскій дворянинъ не могъ сказать, что въ его волѣ служить и не служить: онъ служилъ Царю и царству до гроба, до послѣднихъ силъ, и своими заслугами облагораживалъ дѣтей, внуковъ, правнуковъ, которые гордились службою предковъ, какъ доблестью семейною, родовою».

(Стр. XXI.) «У насъ была своя высшая аристократія, гордая, недоступная, неизмѣнная въ своихъ правилахъ, которыя переходили изъ рода въ родъ».

(Стр. XXIV.) «Ратныя ополченія наши представляли многочисленную, но нестройную громаду малоопытныхъ помѣщиковъ и сельскихъ обывателей, оторванныхъ отъ плуга и вооруженныхъ чѣмъ попало: обязанные сами заботиться о своемъ продовольствіи во время похода, они равно опустошали и свою, и чужую землю, или гибли отъ голода».

(Стр. XXIX.) «Мы коснѣли въ старыхъ понятіяхъ, которыя переходили изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ, мы спесиво и съ презрѣніемъ смотрѣли на все чужое, иноземное, ненавидѣли все новое».

Всякій видитъ, что параллельныя выписки, сдѣланныя нами изъ какихъ-нибудь десяти страницъ «Введенія» въ «Исторію Петра», противорѣчатъ другъ другу и взаимно другъ друга уничтожаютъ. Но странно было бы думать, что авторъ «Исторіи Петра» не замѣтилъ самъ, прежде всѣхъ, этихъ противорѣчій. Напротивъ, — онъ, повидимому, съ тѣмъ и выставлялъ ихъ, чтобы показать разладъ дѣйствительнаго хода дѣлъ древней Руси съ тѣмъ, что должно бы быть по закону. И вотъ здѣсь-то и выказывается вполнѣ недостаточность въ исторіи исключительно-государственной точки зрѣнія, принятой авторомъ. По анатомическому изслѣдованію формъ государственнаго скелета — все, кажется, въ порядкѣ, общая система составлена стройно и строго; но въ живой народной жизни оказываются такія раны, такія болѣзни, такой хаосъ, который ясно показываетъ, что и въ самой сущности организма есть гдѣ-то поврежденіе, препятствующее правильности физіологическихъ отправленій, что и въ самой системѣ недостаетъ какихъ-то основаній. Что же хорошаго, въ самомъ дѣлѣ, если въ отвлеченныхъ созерцаніяхъ все представляется прекраснымъ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ все никуда не годится? Когда невѣжество и суевѣріе господствовало во всѣхъ слояхъ общества, какъ низшихъ, такъ и высшихъ, то мало утѣшенія подаетъ существованіе совѣта старцевъ, умудренныхъ, и пр. Если самовластіе и лихоимство господствовали *«въ подробностяхъ управленія»*, то немного выигрывалъ народъ русскій отъ того, что у насъ были «законы, сообразные духу народному, самобытные», и пр. Если дружины русскія, составлявшія нестройную громаду, во время похода умѣли только грабить и опустошать свою землю, наравнѣ съ чужой, то, по всей вѣроятности, не великое добро для земли русской было и отъ того, что «всѣ части ея были скрѣплены въ одну стройную державу, готовую возстать на враговъ по первому мановенію», и пр. Готовность еще не значитъ успѣшное испол-

неніе, и возможность не всегда превращается въ дѣйствительность. Равнымъ образомъ, не большое благо было, конечно, и въ дворянствѣ блестящемъ, ознаменованномъ «знатностью и благородствомъ происхожденія», когда «кнутъ не щадилъ даже и знатныхъ дворянъ». Изъ всѣхъ этихъ фактовъ очевидно одно заключеніе: что государственная точка зрѣнія не всегда бываетъ совершенно вѣрна въ отношеніи къ фактамъ народной жизни, и потому въ исторіи должна уступить имъ первое мѣсто. Иначе — самыя справедливыя положенія теряютъ свою силу и получаютъ значеніе развѣ только условное и очень непрочное. Чтобы яснѣе показать это, а вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы представить читателямъ нѣкоторые факты изъ первыхъ томовъ «Исторіи Петра» г. Устрялова, мы намѣрены сдѣлать въ этой статьѣ нѣсколько краткихъ указаній на то состояніе, въ какомъ находилась Русь предъ началомъ правленія Петра.

Съ государственной точки зрѣнія, болѣе или менѣе внѣшней и формальной, положеніе Руси въ это время было блестящее. Такъ, по крайней мѣрѣ, можно заключить изъ словъ нашихъ историковъ, напр., учебникъ г. Устрялова (ч. I, стр. 317) выражается объ этомъ такимъ образомъ: «мудрый Алексѣй оставилъ своимъ преемникамъ государство сильное, благоустроенное, съ явнымъ перевѣсомъ надъ опаснѣйшею соперницею, Польшею, со всѣми средствами къ господству надъ европейскимъ сѣверомъ, уважаемое на западѣ, грозное на востокѣ и югѣ». Въ этихъ словахъ ясно выражается мнѣніе о полномъ благосостояніи Россіи, какъ внѣшнемъ, такъ и внутреннемъ, во времена предъ-петровскія. Повидимому, при общемъ благоустройствѣ, невозможны были никакія неудовольствія и волненія внутреннія; тѣмъ менѣе можно было предполагать цѣлый рядъ неудачъ внѣшнихъ. Казалось, благоденствіе должно было водвориться въ государствѣ прочно и невозмутимо; въ народѣ должно было утвердиться довольство; съ каждымъ годомъ все должно было улучшаться и совершенствоваться силою внутренняго, самобытнаго развитія; не предстояло, повидимому, ни малѣйшей нужды въ уклоненіи отъ прежняго пути; тѣмъ менѣе могла представляться надобность въ какихъ-нибудь преобразованіяхъ. Такъ именно и говорятъ приверженцы старой Руси, такъ говорилъ Карамзинъ, то же заставляетъ думать обозрѣніе *свѣтлой* стороны древней Руси, сдѣланное г. Устряловымъ. Но не то говорятъ факты, представляемые имъ же въ первомъ томѣ «Исторіи Петра». Изъ нихъ, напротивъ, видно, что древняя Русь, истощая всѣ свои силы для поддержанія стараго порядка, выказывала, однако, только совершенное свое безсиліе и не могла ничего сдѣлать, кромѣ временнаго поддержанія внѣшней формы. Наружно, по уставамъ и бумагамъ, все казалось, если не совершенно стройнымъ и правильнымъ, то, по крайней мѣрѣ, стремящимся къ благоустройству и правдѣ. Но внутри все было разстроено, искажено, перепутано, лишено всякой чести и справедливости. Все было натя-

нуто до того, что нужно было — или разомъ выйти изъ старой колеи и броситься на новую дорогу, или ждать страшнаго, безпорядочнаго взрыва, предвѣстіемъ котораго служило все царствованіе Алексѣя Михайловича.

Царь Алексѣй Михайловичъ много заботился объ улучшеніи внутренняго положенія Россіи. Въ его царствованіе принято было много мѣръ законодательныхъ и административныхъ, обѣщавшихъ содѣйствовать упроченію народнаго благоденствія. Одно уже изданіе «Уложенія» могло быть названо благодѣяніемъ, при неопредѣленности судопроизводства старинной Руси. Кромѣ того, изданныя потомъ постановленія, разные отдѣльные уставы, дополненія къ «Уложенію» доказывали постоянную заботу царя объ улучшеніи юридическихъ отношеній. Отмѣненіе внутреннихъ таможенъ, офиціальное поощреніе разныхъ отраслей промышленности, учрежденіе почтъ, стараніе образовать регулярныя войска, попытка завести флотъ, — все это остается памятникомъ постоянныхъ усилій царя привести въ лучшій видъ теченіе дѣлъ въ его государствѣ. Но, при всемъ доброжелательствѣ своемъ, Алексѣй Михайловичъ имѣлъ весьма мало успѣха въ своихъ начинаніяхъ. Онъ былъ царемъ русскимъ въ трудное время; новые, чужіе элементы отвсюду пробивались на смѣну отжившей старины, которая не имѣла за себя ничего, кромѣ привычки и невѣжества. Роль правителя въ этомъ случаѣ была опредѣлена: ему слѣдовало стать во главѣ движенія, чтобы спасти народъ отъ тѣхъ бѣдствій, въ которыя вовлекло его столкновеніе новыхъ началъ съ невѣжественной рутиной старыхъ бояръ. Для этой цѣли ему нужно было овладѣть общимъ движеніемъ и направить его къ добру, сколько возможно, ставши во главѣ тѣхъ, которые шли къ свѣту. Но это рѣшеніе, столь простое теперь, не было легкимъ тогда. Въ то время требовались необыкновенныя способности умственныя, чтобы вѣрно угадать и опредѣлить силу и значеніе новыхъ элементовъ, вторгавшихся въ народную жизнь; требовалась и чрезвычайная сила характера, чтобы твердо ступить на новую дорогу и неуклонно итти по ней. И то и другое нашлось у Петра; но не было ни того ни другого въ предшествующія ему правленія. Царствованіе Алексѣя Михайловича, безспорно, стремилось къ какому-то совершенствованію, общій характеръ его законодательства запечатлѣнъ любовью къ истинѣ и добру; правительство хотѣло улучшеній разумныхъ, видѣло необходимость исправить многое. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣ его распоряженія были всегда только полумѣрами, отзывались нерѣшительностью и робостью. Видно, что еще не постигали того, до какой степени необходима для древней Руси коренная реформа, уже давно приготовлявшаяся въ народной жизни. Алексѣй Михайловичъ, конечно, могъ бы замѣтить броженіе, бывшее въ народѣ, и могъ бы имъ воспользоваться для блага государства, подобно Петру, но у него не было той рѣшимости, той дѣятельной и упорной энергіи, какою обладалъ его сынъ. Поэтому онъ допустилъ

обольстить себя своимъ вельможамъ и позволилъ себѣ повѣрить ихъ увѣреніямъ, что все хорошо. Морозовъ, Милославскій, Никонъ, Хитрово, поперемѣнно одинъ за другимъ, владѣли умомъ царя. Мейерберъ пишетъ, что «добрый Алексѣй находится совершенно въ осадѣ у своихъ вельможъ и любимцевъ, такъ что никому нѣтъ къ нему доступа. А эти любимцы скрываютъ отъ него и вопли угнетенныхъ ими, и нужды царства, и пораженія войскъ русскихъ; если же не скрываютъ, то представляютъ все въ такомъ видѣ, какъ это нужно для ихъ цѣлей» (см. Мейербера, стр. 87). Коллинсъ говоритъ еще больше; онъ утверждаетъ, что «царя Алексѣя Михайловича можно было бы поставить въ числѣ самыхъ добрыхъ и мудрыхъ правителей, если бы всѣ его благія намѣренія не направлялись къ злу боярами и шпіонами, которые, подобно густому облаку, окружаютъ его» (Колл., стр. 13). Такъ говорятъ иноземцы; такъ говорилъ и народъ. Во время бунта Разина былъ слухъ въ народѣ, что къ Степану Тимоѳеевичу бѣжалъ, дескать, царевичъ Алексѣй, по желанію самого царя, за тѣмъ, чтобы съ помощью Разина перебить всѣхъ бояръ, которые окружаютъ его и отъ которыхъ онъ не знаетъ какъ отдѣлаться. Свидѣтельство объ этомъ сохранилось въ актахъ. (См. Акты Арх. Эксп. т. IV, стр. 239).

Народъ никакъ не хотѣлъ приписывать самому Алексѣю Михайловичу что-нибудь дурное и твердо вѣрилъ, что всѣ тягостныя для него мѣры суть произведеніе коварныхъ бояръ, окружающихъ царя. Такъ, дѣйствительно, и было; но народу отъ этого не было легче, и мѣра терпѣнія его истощилась. «Общее неудовольствіе сословій,—говоритъ самъ г. Устряловъ въ своемъ «Введеніи» (стр. XXVII),—замѣтное въ послѣдніе годы царствованія Михаила Ѳеодоровича, разразилось, по воцареніи сына его, страшнымъ бунтомъ въ Москвѣ, Новгородѣ, Псковѣ и другихъ городахъ. Вскорѣ послѣ того вспыхнулъ бунтъ Коломенскій; тамъ поднялся на Дону Разинъ; тутъ взволновалась Малороссія. Даже мирная обитель Соловецкая возмутилась». Въ самомъ дѣлѣ, грустно становится и за Россію, и за добраго царя, когда читаешь, какими презрѣнными интригами люди, окружающіе его, парализовали его добрыя намѣренія и раздражали народъ. Такъ, напр., первый мятежъ московскій—чѣмъ онъ былъ вызванъ? Тѣмъ, что Морозовъ и Милославскій постарались объ увеличеніи нѣкоторыхъ налоговъ да поставили на всѣ теплыя мѣста своихъ родственниковъ, которые не только обирали просителей, но еще дѣлали имъ при этомъ всевозможныя грубости. Сначала неудовольствіе было глухо и не выходило изъ предѣловъ законности: много челобитныхъ подано было на имя государя, только онѣ не доходили до него. Тогда народъ нашелъ случай окружить царя на площади (въ концѣ мая 1648 г.) и смиренно умолялъ его удалить своихъ ненасытныхъ и неправедныхъ совѣтниковъ. Царь обѣщалъ самъ разсмотрѣть дѣло и наказать виноватыхъ; народъ, полный радостнаго довѣрія къ его слову, съ восторгомъ выслушалъ его рѣшеніе и, точно въ вели-

кій праздникъ, бѣжалъ за царемъ съ торжественными кликами до самыхъ кремлевскихъ воротъ. Но это свѣтлое, радостное настроеніе народа было потревожено клевретами Милюславскаго и Морозова, которые вздумали ругать и даже бить тѣхъ, которые жаловались царю. Народная сила приняла другое направленіе: разграблены были домы временщиковъ, растерзаны нѣкоторые изъ ихъ родственниковъ, ихъ самихъ потребовалъ народъ для казни. И тутъ-то во всей силѣ явилось великодушіе Алексѣя и приверженность къ нему народа, доказавшая, что между царемъ и народомъ до сихъ поръ собственно не было ничего, кромѣ недоразумѣнія. Все волненіе было прекращено тѣмъ, что удалены отъ должностей виновные въ притѣсненіяхъ народа и что царь явился самъ къ народу на площадь и просилъ его забыть проступки Морозова, въ уваженіе тѣхъ услугъ, какія оказалъ онъ государю. Та же сцена народной преданности повторилась теперь: народъ, бросившись на колѣни, воскликнулъ: «пусть будетъ, что угодно Богу и тебѣ, государь; мы всѣ дѣти твои»! И все было успокоено въ Москвѣ, потому что всѣ остались довольны справедливостью и великодушіемъ царя.

Но, исправивши дѣло въ Москвѣ, не подумали о томъ, чтобы удалить поводы къ волненіямъ въ другихъ мѣстахъ, и вскорѣ поднялся народъ во Псковѣ и Новгородѣ и избилъ многихъ ненавистныхъ ему чиновниковъ, а потомъ писалъ, что дѣлалъ такъ «къ великому государю радѣніемъ». Алексѣй Михайловичъ видѣлъ откуда происходитъ бѣда, старался самъ входить въ дѣла болѣе прежняго, довѣрять любимцамъ менѣе; но не могъ онъ совершенно освободиться отъ старыхъ преданій, не пошелъ путемъ реформъ, а хотѣлъ поправить дѣло путемъ непримѣтныхъ, постепенныхъ улучшеній, хотѣлъ достигнуть цѣли полумѣрами, понемножку подвигая дѣло. Возстаніе Разина, волненія въ Малороссіи, безуспѣшная война съ Польшей и Швеціей, исторія Никона и образованіе раскольничьихъ сектъ служили ему отвѣтомъ. Онъ долженъ былъ убѣдиться, что не можетъ, при мягкости своего характера и при обычной древнимъ Московскимъ государямъ отчужденности отъ народа, разрѣшить великіе вопросы, которые задавала ему народная жизнь. Разрѣшить эти вопросы суждено было энергическому Петру.

Да, Петръ разрѣшилъ вопросы, давно уже заданные правительству самою жизнью народной, — вотъ его значеніе, вотъ его заслуги. Напрасно приверженцы старой Руси утверждаютъ, что то, что внесено въ нашу жизнь Петромъ, было совершенно несообразно съ ходомъ историческаго развитія русскаго народа и противно народнымъ интересамъ. Обширныя преобразованія, противныя народному характеру и естественному ходу исторіи, если и удаются на первый разъ, то не бываютъ прочны. Преобразованія же Петра давно уже сдѣлались у насъ достояніемъ народной жизни, и это одно уже должно заставить насъ смотрѣть на Петра, какъ

на великаго историческаго дѣятеля, понявшаго и осуществившаго дѣйствительныя потребности своего времени и народа, а не какъ на какой-то внезапный скачекъ въ нашей исторіи, ничѣмъ не связанный съ предыдущимъ развитіемъ народа. Этотъ послѣдній взглядъ, раздѣляемый многими, происходитъ, конечно, оттого, что у насъ часто обращаютъ вниманіе преимущественно на внѣшнія формы жизни и управленія, въ которыхъ Петръ, дѣйствительно, произвелъ рѣзкое измѣненіе. Но если всмотрѣться въ сущность того, что скрывается подъ этими формами, то окажется, что переходъ вовсе не такъ рѣзокъ, съ той и съ другой стороны,—т. е. что во время предъ Петромъ въ насъ не было такого страшнаго отвращенія отъ всего европейскаго, а теперь — нѣтъ такого совершеннаго отреченія отъ всего азіатскаго, какое намъ обыкновенно приписываютъ. Словомъ — внимательное разсмотрѣніе историческихъ событій и внутренняго состоянія Россіи въ XVII столѣтіи можетъ доказать, что Петръ, рядомъ энергическихъ правительственныхъ реформъ, спасъ Россію отъ насильственнаго переворота, котораго начало оказалось уже въ волненіяхъ народныхъ при Алексѣѣ Михайловичѣ и въ бунтахъ стрѣлецкихъ.

И до Петра было у насъ сближеніе съ Европою, были заимствованія отъ иноземцевъ, были нововведенія. Но все это дѣлалось робко, какъ бы случайно, безъ всякаго плана, безъ строго-опредѣленной идеи. Въ общемъ признаніи превосходства иностранцевъ и въ необходимости пользоваться ихъ услугами—равно были убѣждены какъ правительство, такъ и народъ. Но далѣе, въ опредѣленіи того, что именно заимствовать у иноземцевъ, правительство не сходилось съ народомъ до временъ Петра. Предшественники Петра полагали возможнымъ пользоваться услугами иностранцевъ, ничего отъ нихъ не заимствуя для народной жизни, не перенимая ни ихъ нравовъ и обычаевъ, ни образованія. Такъ, со временъ Бориса Годунова у насъ постоянно увеличивалось число иностранныхъ офицеровъ при войскѣ; при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ наняты были иноземные полки и сдѣлана попытка устройства русскихъ полковъ по иноземному образцу; при Алексѣѣ Михайловичѣ число иноземцевъ особенно увеличилось: въ одномъ 1661 г., по разысканіямъ г. Устрялова (т. I, стр. 181), выѣхало въ Россію до 400 человѣкъ. Бо̀льшая часть иноземныхъ офицеровъ была вызываема за тѣмъ, чтобъ обучать русскія войска «иноземному строю». Въ послѣдній годъ жизни Ѳеодора Алексѣевича у насъ было уже 63 полка, образованныхъ по иностранному образцу (т. I, стр. 184). Но все э̀то, по сознанію самого же г. Устрялова («Введ.», стр. XXIX), «нисколько не измѣнило нашей системы войны: мы ополчались по прежнему, сражались по старинѣ, нестройными массами, и царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ откровенно сознался земскому собору, что даже турки превосходили насъ въ воинскомъ искусствѣ». Отчего происходили такіе странные, на первый взглядъ, результаты? От-то̀го, разумѣется, что военное искусство, точно такъ же, какъ и все

другое, не можетъ быть усовершенствовано *сепаратно*, безъ всякаго отношенія къ другимъ предметамъ управленія и жизни народной. Петръ Великій, по собственному признанію въ одномъ приказѣ, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, также имѣлъ въ виду прежде всего воинское образованіе, но онъ понялъ связь его со всѣми другими частями государственнаго устройства. Предшественники его не понимали этой связи и думали улучшить ратное дѣло въ Россіи, вовсе не касаясь другихъ сторонъ государственнаго управленія и предполагая, что совершенство ратнаго строя можетъ все поддержать и поможетъ имъ возвеличить Россію, даже при отсутствіи всякихъ другихъ совершенствъ. Но оказалось совершенно противное; какъ ни бились иноземные офицеры и полковники, а древняя Русь не только не достигла, съ ихъ помощью, величія предъ врагами, но и просто воинскаго искусства-то не пріобрѣла. Объясненіе этого замѣчательнаго факта заключается именно въ томъ обстоятельствѣ, что военное искусство хотѣли у насъ развить совершенно одиноко, не думая, въ связи съ нимъ, ни о какомъ другомъ развитіи. Вотъ что находимъ по этому поводу въ книгѣ г. Устрялова:

«Въ сущности, русское войско при царевнѣ Софіи немногимъ отличалось отъ ратныхъ ополченій временъ Годунова и Іоанна Грознаго: названіе рейтаръ, копейщиковъ, драгунъ, солдатъ, также нѣкоторая перемѣна оружія по иностраннымъ образцамъ, самое раздѣленіе на полки и роты, подъ начальствомъ иностранныхъ полковниковъ, ротмистровъ и капитановъ — ничто не могло переродить старыхъ воиновъ Руси: по прежнему они остались тѣми же дворянами, боярскими дѣтьми, городовыми казаками, вообще землевладѣльцами, разныхъ названій болѣе или менѣе обширныхъ помѣстьевъ, отъ 800 дворовъ до 5 четвертей земли, — какими были за сто лѣтъ предъ симъ, по прежнему бо́льшую часть года проживали въ деревняхъ и дворахъ, разсѣянныхъ по волостямъ и станамъ, хлопоча болѣе о насущномъ хлѣбѣ, о домашнемъ хозяйствѣ, о прокормленіи себя и семейства, чѣмъ о военной службѣ. Карабинъ и сабля спокойно по цѣлымъ мѣсяцамъ висѣли на стѣнѣ, покрываясь ржавчиной; воинъ-помѣщикъ возился съ сохою, мололъ муку, или ѣздилъ по ярмаркамъ и торговалъ, чѣмъ могъ. Собрать ихъ въ походъ было столь же трудно, какъ и прежде: не взирая на самые строгіе указы, тысячи дворянъ, рейтаръ, солдатъ сказывались въ *нѣтъхъ*; самые иноземцы, бездомные капитаны, голодною и жадною толпою приходившіе въ Россію, заживались въ пожалованныхъ имъ помѣстьяхъ и до того облѣнивались, что нерѣдко досиживались въ своей деревнѣ до третьяго *нѣта*, поплачиваясь за каждый *нѣтъ* своею спиною подъ батожьемъ; послѣ третьяго *нѣтъ* ихъ обыкновенно выгоняли за-границу (сотни примѣровъ можно найти въ разборныхъ книгахъ съ 1671 г. по 1700)» (т. I, стр. 187—8).

Изъ этого ясно, что присутствіе военныхъ иностранцевъ въ Россіи гораздо болѣе дѣйствовало на характеръ и образъ жизни ихъ самихъ, нежели на развитіе нашего военнаго искусства. Иностранцы эти составляли у насъ до Петра какое-то государство въ государствѣ, совершенно особое общество, ничѣмъ не связанное съ Россіей, кромѣ офиціальныхъ отношеній: жили себѣ всѣ они кучкой, въ Нѣмецкой Слободѣ, ходили въ свои *кирхи*, судились въ «Иноземномъ Приказѣ», слѣдовали своимъ обычаямъ, роднились между собою, не смѣшиваясь съ русскими, презираемые высшей

боярскою знатью, служа предметомъ ненависти духовенства. Ихъ допускали и даже звали въ Россію такъ, какъ теперь допускаютъ и даже ищутъ иностранныхъ фокусниковъ, камердинеровъ, парикмахеровъ, и пр. Но отношенія къ нимъ были именно въ томъ родѣ, что ты, дескать, на меня работай,—это мнѣ нужно,—но въ мои отношенія не суй своего носа и фамильярничать со мной не смѣй. Г. Устряловъ замѣчаетъ (т. II, стр. 117), что «рѣдкій сановникъ, даже изъ средняго круга, не говоря о высшемъ, водилъ хлѣбъ-соль съ обывателями Нѣмецкой Слободы. Служилые иноземцы самыхъ отличныхъ достоинствъ и заслугъ, не взирая на ихъ генеральскіе чины, на раны и подвиги, никогда не могли стать на ряду съ русскими. Никогда наши государи не приглашали ихъ къ своему столу, не допускали ихъ въ царскую думу; они знали только свои полки и ходили, куда прикажетъ Разрядъ. Въ жалованныхъ войскамъ грамотахъ, по окончаніи походовъ, иноземные генералы и полковники упоминались ниже городовыхъ дворянъ, жильцовъ и дѣтей боярскихъ; при торжественныхъ выходахъ они занимали мѣсто ниже гостей и купцовъ».

Такія же точно отношенія русское правительство до Петра наблюдало и съ другими иноземцами, не военными. Такъ, со временъ Михаила Ѳеодоровича у насъ при дворѣ были постоянно иностранные врачи, но никто не подумалъ перенять отъ нихъ медицинскія свѣдѣнія. Были у насъ издавна пушкари, инженеры иноземные, но они дѣлали свое дѣло, не передавая своего искусства русскимъ. Являлись и промышленники всякаго рода; но они только пользовались возможными выгодами, такъ что русскіе даже жаловались на притѣсненія отъ нихъ. Явился, напримѣръ, у насъ *бараборецъ* (гамбургецъ) Марселисъ, съ голландцемъ Акамою, выхлопоталъ позволеніе отыскивать руду по всей Россіи и вскорѣ основалъ Ведменскій желѣзный заводъ; и заводъ этотъ около 50 лѣтъ оставался въ исключительномъ владѣніи его дома. Англійскіе и голландскіе торговцы получали разныя льготы и привилегіи въ Россіи, но не оживляли нашей торговли своимъ участіемъ. Всѣ эти факты убѣждаютъ насъ, что тогдашнимъ административнымъ и правительственнымъ дѣятелямъ, дѣйствительно, чуждо было, по выраженію г. Устрялова («Введ.», стр. XXVIII), «то, чѣмъ европейскіе народы справедливо гордятся предъ обитателями другихъ частей свѣта,—внутреннее стремленіе къ лучшему, совершеннѣйшему, самобытное развитіе своихъ силъ умственныхъ и промышленныхъ, ясное сознаніе необходимости образованія народнаго». Да, отсутствіе этого сознанія ясно во всѣхъ нашихъ отношеніяхъ къ иноземцамъ, въ до-петровское время.

Еще болѣе противодѣйствовало иноземцамъ духовенство XVII вѣка. Въ IX приложеніи къ первому тому «Исторіи Петра Великаго» напечатано завѣщаніе патріарха Іоакима, въ которомъ онъ настоятельно требуетъ, чтобы иноземцы лишены были начальства

въ русскихъ войскахъ. Вотъ извлеченіе, какое приводитъ изъ этого завѣщанія г. Устряловъ въ текстѣ своей исторіи (т. II, стр. 115, 116).

«Молю ихъ царское пресвѣтлое величество благочестивыхъ царей, и предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ заповѣдываю, да возбранятъ проклятымъ еретикамъ иновѣрцамъ начальствовать въ ихъ государскихъ полкахъ надъ своими людьми, но да велятъ отставить ихъ, враговъ христіанскихъ, отъ полковыхъ дѣлъ всесовершенно, потому что иновѣрцы съ нами, православными христіанами, въ вѣрѣ не единомысленны, въ преданіяхъ отеческихъ несогласны, церкви, матери нашей, чужды: какая же можетъ быть помощь отъ нихъ, проклятыхъ еретиковъ, православному воинству? Токмо гнѣвъ Божій наводятъ! Православные христіане, по чину и обычаю церковному, молятся Богу; а они спятъ, еретики, и свои мерзкія дѣла исполняютъ. Христіане, чествуя пречистую Дѣву Богородицу, просятъ ее, небесную заступницу, и всѣхъ святыхъ о помощи; еретики же, не почитая ни Богоматери, ни угодниковъ Божіихъ, ни святыхъ иконъ, смѣются и ругаются христіанскому благочестію. Христіане постятся, они никогда: *ихъ же Богъ — чрево*, по слову апостольскому. Хотя и съ полками ходятъ, да Бога съ ними нѣтъ: какая же можетъ быть отъ нихъ польза

«Развѣ нѣтъ въ благочестивой царской державѣ своихъ военачальниковъ? Мало ли у насъ людей, искусныхъ въ ратоборствѣ и полковомъ устроеніи? И прежде, въ древнихъ лѣтахъ, и въ нашей памяти, иновѣрцы предводительствовали россійскими полками: какая же была отъ нихъ польза? Никакой. Явно, что они—враги Богу, пречистой Богородицѣ и святой церкви. Христіане православные болѣе за вѣру и Церковь Божію, нежели за отечество и домы свои, не щадя жизни, на браняхъ души свои полагаютъ; а они, еретики, о томъ и не думаютъ!.. Дивлюсь я царскимъ палатнымъ совѣтникамъ и правителямъ, которые бывали въ чужихъ краяхъ на посольствахъ, развѣ не видѣли они, что въ каждомъ государствѣ есть свои нравы, обычаи, одежды, что людямъ иной вѣры тамъ никакихъ достоинствъ не даютъ, и чужеземцамъ молитвенныхъ храмовъ строить не дозволяютъ? Есть ли гдѣ въ нѣмецкихъ земляхъ благочестивыя вѣры церковь? Нѣтъ ни одной! А здѣсь—чего и не бывало, то еретикамъ дозволено: строятъ себѣ, для еретическихъ, проклятыхъ сборищъ, мольбищныя храмины, въ которыхъ благочестивыхъ людей злобно клянутъ и лаютъ идолопоклонниками и безбожниками».

Еще рѣшительнѣе духовенство сопротивлялось вторженію иноземныхъ обычаевъ въ русскую жизнь. Грозныя проклятія постигали тѣхъ, которые перенимали разные нѣмецкіе обряды и моды. Для примѣра довольно указать на одинъ изъ самыхъ невинныхъ обычаевъ — бритье бороды. Еще патріархъ Филаретъ возставалъ противъ брившихъ бороды, потомъ Іосифъ и, наконецъ, патріархъ Адріанъ въ своемъ окружномъ посланіи, писанномъ уже въ первые годы единодержавія Петра. (См. Ист. Петра, т. III, стр. 193, 194.)

Въ посланіи этомъ выражается частію вообще духъ того времени, частію же личный характеръ Адріана, отличавшагося приверженностью къ старинѣ столько же, какъ и предшественникъ его, патріархъ Іоакимъ. Но независимо отъ этого, въ его посланіи находимъ мы свидѣтельство о томъ, что обычай брить бороды начался въ Россіи со временъ самозванцевъ и съ тѣхъ поръ, несмотря на многія запрещенія, постоянно распространялся до временъ царя Алексѣя Михайловича.

Вообще, изъ разсмотрѣнія множества фактовъ, относящихся

къ внутреннему состоянію Россіи предъ Петромъ, оказывается несомнѣнно, что сближеніе съ иноземцами и заимствованіе отъ нихъ обычаевъ мало-по-малу являлось въ народѣ, вовсе не вслѣдствіе административныхъ мѣръ, а просто само собою, по естественному ходу событій и жизни народной. Высшая администрація, какъ духовная, такъ и свѣтская, усиливалась, напротивъ того, отвратить народъ отъ иноземныхъ обычаевъ, стараясь представить ихъ беззаконными и нелѣпыми. Немудрено при этомъ, что въ народѣ долгое время обнаруживалось недовѣріе и презрѣніе къ иностранцамъ, въ особенности по тому случаю, что иностранцы часто получали въ Россіи выгоды и относительный почетъ за такія дѣла, пользы которыхъ народъ еще не понималъ или не признавалъ. Такъ, вооружался онъ противъ иностранныхъ докторовъ, ученыхъ, особенно астрономовъ, которыхъ считалъ колдунами. Недовѣріе иногда переходило въ ненависть, и тогда народъ преслѣдовалъ бусурмановъ, такъ что правительство должно было въ этихъ случаяхъ неоднократно издавать особые указы для защиты иноземцевъ отъ обидъ и оскорбленій. Но при всемъ томъ, вліяніе иностранцевъ было сильнѣе на народъ, нежели на администрацію. Не говоря о другихъ сторонахъ жизни народной, при Алексѣѣ Михайловичѣ стали бояться вліянія иностранцевъ даже въ религіозномъ отношеніи. Въ «Уложеніи» (глава XXII, ст. 24) есть статья, въ которой говорится, что если бусурманъ обратитъ русскаго человѣка въ свою вѣру, то бусурмана того, «по сыску казнить: сжечь огнемъ безъ всякаго милосердія». Изъ того же опасенія происходило, по свидѣтельству Кошихина, затрудненіе въ поѣздкѣ за-границу, если бы кто захотѣлъ изъ русскихъ людей. Въ «Уложеніи» есть, правда, статья, говорящая, что «кому случится ѣхать изъ Московскаго государства, для торговаго промыслу или иного для какого своего дѣла, въ иное государство, которое государство съ Московскимъ государствомъ мирно,—и тому на Москвѣ бити челомъ государю, а въ городѣхъ воеводамъ о проѣзжей грамотѣ, а безъ проѣзжей грамоты ему не ѣздити. А въ городѣхъ воеводамъ давати имъ проѣзжія грамоты безъ всякаго задержанія» (гл. VI, ст. I). Но, вѣроятно, много было какихъ-нибудь затрудненій въ этомъ случаѣ, потому, что Кошихинъ говоритъ, что кромѣ какъ по царскому указу да по торговымъ дѣламъ, никто не ѣздитъ за-границу: *«не поволено!»* А не поволено потому, что опасались, по свидѣтельству Кошихина, что «узнавъ тамошнихъ государствъ вѣру и обычаи, начали бъ свою вѣру отмѣнять и приставать къ инымъ». Да и за тѣхъ, которые ѣздятъ для торговли, собирали, по словамъ Кошихина, «по знатныхъ нарочитыхъ людяхъ поручныя записи, за крѣпкими поруками» (Коших., стр. 41). Если же кто вздумалъ бы съѣздить заграницу безъ проѣзжей грамоты, и это бы открылось, то его, пытавши, казнили смертію, въ случаѣ когда бы открылось, что онъ ѣздилъ «для какого дурна»; когда же оказалось бы, что онъ ѣздилъ дѣйствительно для торговли, то его били только кнутомъ,

«чтобы инымъ неповадно было» («Улож.,» VI, 4). Ясно, что вообще за-границу отпускали неохотно, а между тѣмъ были люди, понимавшіе, что намъ необходимо учиться у нѣмцевъ: одинъ голосъ Кошихина, самъ по себѣ уже, можетъ служить доказательствомъ.

Само собою разумѣется, что важность истиннаго образованія не съ разу была понята русскими, и что съ перваго раза имъ бросились въ глаза внѣшнія формы европейской жизни, а не то, что было тамъ выработано въ продолженіе вѣковъ, для истиннаго образованія и облагороженія человѣка. Многіе обвиняютъ Петра Великаго въ томъ, что онъ внесъ въ Русь только внѣшность европейской образованности; но это вина вовсе не Петра. Мудрено было требовать отъ русскихъ XVII вѣка, чтобы они принялись усвоивать себѣ существенные плоды иноземныхъ знаній и искусствъ, не обративъ вниманія на внѣшность и не заимствовавъ ничего дурного и безполезнаго, вмѣстѣ съ полезнымъ и необходимымъ. Мы имѣемъ нѣсколько фактовъ, свидѣтельствующихъ, что русскіе и до Петра принимались уже подражать иностранцамъ и подражать именно во внѣшности. Начинается это съ самаго двора. При Алексѣѣ Михайловичѣ являются у насъ нѣмецкіе комедіанты, играющіе на органахъ, въ трубы трубящіе, балансирующіе на канатахъ и представляющіе разныя *дѣйства*. Чтобы смотрѣть на это потѣшное зрѣлище, бояре, окольничіе, думные дворяне, и пр., нарочно должны были ѣхать изъ Москвы въ Преображенское. Мало того: Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ заставилъ дворовыхъ людей своихъ учиться потѣшному искусству у заморскихъ комедіантовъ; а не заставилъ же учиться чему-нибудь другому, у другихъ иноземцевъ, бывшихъ въ Москвѣ, — медицинѣ, напр., или хоть бы инженерному искусству...

То же самое было и въ народѣ. Несмотря на запрещенія правительства и особенно духовенства, иноземныя моды распространялись и утверждались. Изъ обличеній Адріана видно, что при немъ въ Москвѣ уже не рѣдкостью былъ обычай брить бороду. Появлялась уже и иноземная одежда: сохранился разсказъ о боринѣ Никитѣ Ивановичѣ Романовѣ, который не только самъ одѣвался, но и прислугу свою одѣвалъ въ нѣмецкія одежды, и у котораго взялъ и сжегъ ихъ патріархъ Никонъ. Кромѣ того, сохранился указъ о «неношеніи платья и нестриженіи волосъ по иноземному обычаю», данный уже въ послѣдній годъ царствованія Алексѣя Михайловича. Въ немъ объявляется (Полн. Собр. Зак. № 607, 6 авг. 1675 г.): «стольникамъ, и стряпчимъ, и дворянамъ московскимъ, и жильцамъ указалъ великій государь свой государевъ указъ сказать, — чтобъ они иноземскихъ нѣмецкихъ и иныхъ извычаевъ не перенимали, волосовъ у себя на головѣ не постригали, такожь и платья, кафтановъ и шапокъ, съ иноземскихъ образцовъ не носили, а людемъ своимъ потому жь носить не велѣли. А будетъ кто впредь учнетъ волосы подстригать и платье носить съ иноземскаго образца, или такое жь платье объявится на людяхъ ихъ: и тѣмъ

отъ великаго государя быть въ опалѣ, и изъ вышнихъ чиновъ написаны будутъ въ нижніе чины». Не очевидно ли проявляется въ этомъ стараніе задержать распространеніе иноземной моды?

Но особенно сильно возставали постановленія до-петровскія противъ табаку, и однако, по свидѣтельству иноземцевъ, употребленіе табаку было особенно распространено между русскими въ концѣ XVII в. Гюи-Мьежъ, бывшій у насъ посланникомъ около этого времени, говоритъ, что «русскіе готовы все сдѣлать и все отдать за табакъ». Между тѣмъ, законъ страшно вооружался противъ табаку, до самыхъ временъ Петра. «Уложеніе» (глава XXV, ст. 11, сл.) повторяетъ указъ Михаила Ѳеодоровича, которымъ «на Москвѣ и въ городѣхъ о табакѣ заказъ учиненъ крѣпкой подъ смертной казнью, чтобъ нигдѣ русскіе люди и иноземцы всякіе табаку у себя не держали и не пили, и табакомъ не торговали. А кто русскіе люди и иноземцы табакъ учнутъ держати, или табакомъ учнутъ торговати, и тѣхъ продавцовъ и купцовъ велѣно имати и присылати въ Новую Четверть, и за то тѣмъ людямъ чинити наказанье большое безъ пощады, подъ смертною казнью, и дворы ихъ и животы имая продавать, а деньги имати въ государеву казну». Въ слѣдующихъ статьяхъ говорится, что нужно пытать тѣхъ, у кого окажется табакъ, чтобы узнать, отъ кого они его получили; а затѣмъ пытать и тѣхъ, на кого они укажутъ. Если же кто скажетъ, что табакъ имъ найденъ, или къ нему подкинутъ, то его пытать; если подъ пыткою станетъ говорить все одно и тоже, то его «свобожати *безпенно*», — только «за табачную находку *бити кнутомъ на козлѣ*» (ст. 14). «А которые стрѣльцы, и гулящіе, и всякіе люди съ табакомъ будутъ въ приводѣ дважды или трожды, и тѣхъ людей пытати, и не одинова, и бити кнутомъ на козлѣ или по торгомъ; а за многіе приводы у такихъ людей пороти ноздри и носы рѣзати, а послѣ пытокъ и наказанья ссылати въ дальніе городы, гдѣ государь укажетъ, чтобъ на то смотря инымъ такъ неповадно было дѣлати» (ст. 16).

Въ 1661 г., іюня 3, подтверждено было запрещеніе о табакѣ «подъ казнью и подъ большою заповѣдью: что велятъ имъ чинить *жестокое* наказаніе и пени велятъ на нихъ имать денежныя большія» (П. С. З. т. I, № 299). Самъ указъ угрожаетъ *жестокою* казнью: какая казнь могла считаться жестокою въ то время, когда отсѣченіе руки и обѣихъ ногъ было только облегченіемъ прежней казни смертной (П. С. З. № 510), когда били кнутомъ невьянскаго приказчика за то, что онъ не далъ подводъ, недалеко отъ Тобольска, царскимъ сокольникамъ, которые по этому должны были нанять себѣ подводы за 40 алтынъ (Акт. Истор. т. IV, № 64). И несмотря на всѣ эти жестокія казни, употребленіе табаку распространялось. Правы ли же раскольники, укоряя Петра въ потворствѣ *табачникамъ*, за то, что онъ дозволилъ вольный провозъ и продажу табаку, и даже велѣлъ отвести въ Москвѣ *палаты* для торга имъ? (Полн. Собр. Зак. т. III, № 1570). Онъ поступилъ просто, какъ мудрый администраторъ: видя, что нѣтъ средствъ отвратить

контрабанду, даже казнью и «пороньемъ ноздрей», онъ дозволилъ ввозъ запрещеннаго зелья и, такимъ образомъ, сдѣлалъ изъ него, по крайней мѣрѣ, статью государственнаго дохода...

Но мы оставляемъ до слѣдующей статьи обозрѣніе того, что сдѣлалъ Петръ и какъ онъ отнесся къ старой партіи, встрѣтившей его съ самаго начала противодѣйствіемъ всѣмъ его намѣреніямъ. Теперь же мы повторимъ только, что преобразованія Петра не должны быть разсматриваемы иначе, какъ въ связи съ развитіемъ народныхъ стремленій. И если когда-нибудь будущій историкъ Петра возьмется за свой трудъ именно съ этой мыслью, то онъ, конечно, представитъ намъ въ совершенно ясномъ свѣтѣ многія явленія народной жизни, о которыхъ мы теперь едва имѣемъ слабое понятіе. Множество матеріаловъ, собранныхъ или указанныхъ нынѣ г. Устряловымъ, могутъ значительно облегчить работу будущаго изслѣдователя. Тогда только и можетъ составиться истинная *исторія* царствованія Петра, во всей силѣ и обширности ученаго ея значенія, а не біографія историческаго лица, съ изложеніемъ событій, имѣющихъ отношеніе къ этому лицу. Тогда объяснится въ подробностяхъ многое, о чемъ теперь мы можемъ судить только вообще. Къ сожалѣнію, до сихъ поръ исторія писалась преимущественно въ смыслѣ внѣшне-государственномъ, такъ что о внутренней жизни народа мы имѣемъ только отрывочныя свѣдѣнія, да и тѣми дорожили до сихъ поръ очень мало. Но стоитъ разъ обратиться исторіи на этотъ путь, стоитъ разъ сознать, что въ общемъ ходѣ исторіи самое большое участіе приходится на долю народа, и только весьма малая доля остается для отдѣльныхъ личностей,—и тогда историческія свѣдѣнія о явленіяхъ внутренней жизни народа будутъ имѣть гораздо болѣе цѣны для изслѣдователей и, можетъ быть, измѣнятъ многія изъ доселѣ господствовавшихъ историческихъ воззрѣній. Можетъ быть, этотъ живой взглядъ будетъ обращенъ со временемъ и на исторію древней Руси. Предшественники Петра старались поддерживать старину, и, видя зло, думали поправить его, починивая кое-гдѣ старую систему. Несмотря на то, старая система все падала, все становилась хуже, все болѣе и болѣе возбуждала негодованіе народа, который чувствовалъ необходимость новаго, но не зналъ, гдѣ и какъ его искать. По незнанію своему, онъ, разумѣется, перенималъ всякую дрянь. Его преслѣдовали и казнили за это, но не измѣняли условій народной жизни, не давали возможности перенимать хорошее. Разладъ стараго съ новымъ дѣлался все ощутительнѣе, и лишенное яснаго сознанія, не имѣя никакихъ опредѣленныхъ цѣлей, безъ знанія и безъ руководителя, это стремленіе къ новому и негодованіе противъ непоправимой старины могло бы сдѣлаться источникомъ долгихъ бѣдствій для государства, при дальнѣйшемъ упорствѣ старинной партіи. Но Петръ понялъ потребности и истинное положеніе народа, понялъ негодность прежней системы и рѣшительно ступилъ на новую дорогу. Переворотъ, совершенный *имъ, былъ* быстръ, но не былъ насильственъ.

II.

Нововведенія Петра не были насильственнымъ переворотомъ въ самой сущности русской жизни; напротивъ, многія изъ нихъ были вызваны дѣйствительными нуждами и стремленіями народа и вытекали очень естественно изъ хода историческихъ событій древней Руси. Эта мысль, составившая содержаніе нашей прошедшей статьи, ожидаетъ еще обширной фактической разработки; но мы не сомнѣваемся, что чѣмъ болѣе станемъ мы сводить факты народной жизни за вторую половину XVII и первую четверть XVIII в., тѣмъ яснѣе будетъ выказываться соотвѣтствіе между ними, вмѣсто представляющагося на первый разъ противорѣчія. Кромѣ мысли объ общихъ законахъ историческаго развитія, въ естественной законности Петровской реформы насъ можетъ убѣдить еще одно соображеніе, относящееся къ лицу самого Петра. Петръ, по своему воспитанію и по кореннымъ убѣжденіямъ, принадлежалъ своему времени и народу; онъ не былъ въ нашей исторіи явленіемъ внѣшнимъ и чуждымъ. Петровскія преобразованія никакъ нельзя сравнивать съ такими явленіями, какъ, напр., обновленіе древняго римскаго міра черезъ внесеніе въ него новыхъ элементовъ изъ германскихъ народностей. Петръ не внесъ чуждыхъ принциповъ въ тѣ элементы государственнаго устройства, которые г. Устряловъ называетъ *основными*; онъ даже не могъ ихъ коснуться, при всей рѣшимости своего характера, именно потому, что такое коренное измѣненіе не было выработано въ народномъ сознаніи. Какъ ни высоко сталъ Петръ своимъ умомъ и характеромъ надъ древнею Русью, но все же онъ вышелъ, если не изъ народа, то, по крайней мѣрѣ, изъ среды того самаго общества, которое долженъ былъ преобразовать. Мысль преобразованія, приведенная имъ въ исполненіе, была, слѣдовательно, доступна этому обществу и могла проявляться въ различныхъ его членахъ, хотя не въ такой степени развитія, какъ въ пылкой, энергической натурѣ Петра. Въ этомъ отношеніи весьма любопытно было бы прослѣдить тѣ вліянія, которымъ подвергался Петръ въ своемъ семействѣ и въ обществѣ приближенныхъ людей, во время своего дѣтства и первой юности. Здѣсь біографическій интересъ не лишенъ былъ бы и обще-историческаго характера, показывая степень развитія и направленіе стремленій того общества, которое произвело необыкновенную натуру преобразователя. Разумѣется, въ историческомъ отношеніи неважны сами по себѣ мелочи домашней жизни государственнаго человѣка; но въ иныхъ случаяхъ эти мелочи являются намъ какъ ближайшіе поводы важныхъ событій историческихъ, т. е., по общественной пословицѣ, какъ «малыя причины великихъ слѣдствій».

Пословица эта, въ высшемъ историческомъ смыслѣ, есть, конечно, не что иное, какъ несправедливая пошлость; но она не лишена основательности, если относить ее не къ *причинамъ*, а къ ближайшимъ *поводамъ* событій. Конечно, довольно забавно слышать, что хоть бы, напр., причиною спасенія Рима отъ галловъ были гуси; но все-таки (признавая фактъ справедливымъ) нельзя не согласиться, что именно гуси пробудили спавшихъ римскихъ воиновъ. Такъ точно и семейныя отношенія государственныхъ лицъ, хотя въ сущности не могутъ быть истинными причинами историческихъ событій, но во многихъ случаяхъ служатъ ближайшимъ ихъ поводомъ. Это бываетъ именно тогда, когда, по ходу историческаго развитія народа, выдвигаются изъ общей массы нѣкоторыя фамиліи и лица, въ полное распоряженіе которыхъ переходитъ судьба народа. Такъ, напр., въ самомъ началѣ римской имперіи исторія указываетъ намъ на семейныя огорченія Августа, какъ на причины того, что въ послѣдніе годы своего управленія онъ не могъ отвратить тѣхъ бѣдствій, которымъ Римъ подвергся тогда извнѣ и внутри. Если хотите, это справедливо: забота о своей дочери очень разстраивала Августа и много мѣшала ему въ распоряженіяхъ на пользу Рима. Но въ самомъ-то дѣлѣ—какое же соотношеніе между исторіей дѣвицы Ливіи и паденіемъ Римской имперіи? Упадокъ Рима начался гораздо раньше; самыя событія, бывшія слѣдствіемъ Актійской битвы, были уже результатами упадка народной доблести въ Римѣ, и если бъ дѣвицы Ливіи не было на свѣтѣ и Августъ наслаждался высочайшимъ семейнымъ благополучіемъ, — римская исторія не измѣнила бы своего хода. При всемъ томъ, семейныя отношенія Августа входятъ въ исторію, потому что при немъ Римъ находился уже въ такомъ положеніи, что домашнія дѣла одного лица имѣли для него большое значеніе и могли служить поводомъ важныхъ государственныхъ событій. Большею частію мы видимъ въ исторіи народы и царства, въ которыхъ весьма важное вліяніе имѣютъ частныя отношенія отдѣльныхъ личностей, выдвинутыхъ впередъ ходомъ исторіи. Наша исторія не составляетъ въ этомъ случаѣ исключенія, и вотъ почему мы сказали, что прослѣдить семейныя и общественныя вліянія на Петра, въ его дѣтскіе и юношескіе годы, было бы любопытно не только въ біографическомъ, но и въ обще-историческомъ отношеніи.

Къ сожалѣнію, свѣдѣнія о первыхъ годахъ жизни Петра совершенно неудовлетворительны. Даже исторія г. Устрялова, несмотря на свой преимущественно біографическій характеръ, почти ничего не даетъ въ этомъ отношеніи. Извѣстія о Петрѣ, хотя сколько-нибудь подробныя и достовѣрныя, начинаются только съ шестнадцатаго года его возраста. Анекдоты, какіе до сихъ поръ разсказывали о дѣтствѣ Петра, отвергнуты г. Устряловымъ, какъ не имѣющіе историческаго основанія. Такъ, прежде всего онъ отвергаетъ и признаетъ нелѣпымъ гороскопъ Петра, будто бы со-

ставленный Симеономъ Полоцкимъ и Димитріемъ Ростовскимъ, по теченію свѣтилъ небесныхъ. Въ прошедшемъ столѣтіи всѣ ему вѣрили безусловно; въ нынѣшнемъ—возникли уже глубокомысленныя сомнѣнія въ томъ, чтобы Симеонъ и Димитрій могли дѣйствительно угадывать по звѣздамъ судьбу человѣка. Но самый фактъ предсказанія оставался неприкосновеннымъ. Полевой хотѣлъ объяснить его тѣмъ, что «надежда народа лелѣяла колыбель Петра своими предсказаніями». Подобнымъ образомъ недавно объяснялъ этотъ фактъ г. Щебальскій, въ статьѣ своей о правленіи царевны Софіи, обратившей на себя общее вниманіе и отличающейся обиліемъ ошибокъ. Въ подтвержденіе факта предсказанія ссылается г. Щебальскій на переписку Гревія и Гейнзія относительно этого предмета. Переписка эта указана Штелиномъ, *профессоромъ аллегоріи* (какъ его удачно называетъ г. Устряловъ), который обнародовалъ даже вполнѣ письмо Гревія, въ которомъ онъ писалъ къ Гейнзію въ Москву, что сообщенныя имъ астрологическія знаменія повѣрены утрехтскими учеными и признаны справедливыми. Къ сожалѣнію, по изслѣдованіямъ г. Устрялова, оказалось, что Гейнзій выѣхалъ изъ Москвы за два года до рожденія Петра, и былъ въ Бременѣ въ то время, когда наши историки находятъ его въ Москвѣ «въ перепискѣ съ Гревіемъ». Письмо, обнародованное Штелиномъ, составляетъ, по всей вѣроятности, имъ же самимъ сочиненную аллегорію, чего отъ него, какъ отъ профессора аллегоріи, и ожидать слѣдовало. Исторія же о гороскопѣ, составленномъ Симеономъ и Димитріемъ, изобрѣтена «баснословцемъ» Крекшинымъ: ни въ рукописяхъ, ни въ печатныхъ сочиненіяхъ Симеона такого предсказанія нѣтъ; что же касается до Димитрія, то онъ вовсе и не былъ въ Москвѣ при рожденіи Петра; предсказаніе явно извлечено изъ событій уже совершившихся и составлено по смерти Петра.

Столь же неосновательными оказались и другіе разсказы о дѣтствѣ Петра, напр., о томъ, какъ, ради его храбрости, заведенъ былъ особый *Петровъ* полкъ въ зеленомъ мундирѣ, и Петръ, еще трехлѣтній младенецъ, назначенъ былъ его полковникомъ; какъ Петръ боялся воды и преодолѣвалъ свою боязнь; какъ онъ, будучи десяти лѣтъ, являлся предъ сонмищемъ раскольниковъ и грозно препирался съ ними, и пр. Все это большею частію баснословіе Крекшина; въ самомъ же дѣлѣ, по признанію г. Устрялова, «до пятнадцати-лѣтняго возраста Петра мы не имѣемъ никакихъ средствъ слѣдить за постепеннымъ развитіемъ его душевныхъ способностей и можемъ только догадываться, какое вліяніе на его юность могли имѣть люди и событія» (т. I, стр. 10).

Самою естественною и справедливою представляется историку догадка, что воспитаніе Петра было таково же, какъ и другихъ царевичей въ древней Руси. Г. Устряловъ говоритъ, что, по всей вѣроятности, и Петра воспитали такъ же, какъ, по разсказу Кошихина, обыкновенно воспитывали тогда дѣтей царскихъ. А Ко-

шихинъ говоритъ объ этомъ вотъ что: «какъ царевичъ будетъ лѣтъ пяти, и къ нему приставятъ для береженія и наученія боярина, честью великаго, тиха и разумна, а къ нему придадутъ товарища, окольничаго, или думнаго человѣка; также изъ боярскихъ дѣтей выбираютъ въ слуги и въ стольники такихъ же младыхъ, что и царевичъ. А какъ приспѣетъ время учити того царевича грамотѣ, и въ учители выбираютъ учительныхъ людей, тихихъ и не бражниковъ; а писать учить выбираютъ изъ посольскихъ подьячихъ; а инымъ языкомъ, латинскому, греческаго, нѣмецкаго, и нѣкоторыхъ, кромѣ русскаго, наученія въ Россійскомъ государствѣ не бываетъ... А до 15 лѣтъ и больши царевича, кромѣ тѣхъ людей, которые къ нему уставлены, и кромѣ бояръ и ближнихъ людей, видѣти никто не можетъ (таковый бо есть обычай), а по 15 лѣтѣхъ укажутъ его всѣмъ людямъ, какъ ходитъ со отцомъ своимъ въ церковь и на потѣхи; а какъ увѣдаютъ люди, что ужъ его объявили, и изо многихъ городовъ люди на дивовище ѣздятъ смотрити его нарочно» (Кош. I, 28). Слова Кошихина вполнѣ оправдываются тѣмъ, что извѣстно о первоначальномъ воспитаніи Петра. До пяти лѣтъ онъ былъ на рукахъ кормилицы и мамокъ, потомъ къ нему опредѣлены были дядьками двое Стрѣшневыхъ, одинъ бояринъ, другой думный дворянинъ. Учителемъ Петра былъ Зотовъ, подьячій приказа Большого прихода. При воспитаніи своемъ, Петръ также имѣлъ и «младыхъ сверстниковъ» изъ дѣтей боярскихъ; изъ нихъ навѣрное извѣстны, впрочемъ, только двое: Григорій Лукинъ и Екимъ Воронинъ, оба убитые въ первомъ азовскомъ походѣ.

До сихъ поръ господствовало мнѣніе, что любовь къ европейскимъ обычаямъ и мысль о преобразованіи Россіи внушилъ Петру Лефортъ. Карамзинъ, не одобряя вообще Петровской реформы, составилъ даже весьма краснорѣчивое и весьма категорическое изложеніе того, какимъ образомъ Петръ задумалъ реформу, при посредствѣ Лефорта. «Къ несчастію,—говоритъ онъ,—сей государь, худо воспитанный, окруженный людьми молодыми, узналъ и полюбилъ женевца Лефорта, который отъ бѣдности заѣхалъ въ Москву, и весьма естественно находя русскіе обычаи для него странными, говорилъ ему объ нихъ съ презрѣніемъ, а все европейское возвышалъ до небесъ: вольныя общества Нѣмецкой Слободы, пріятныя для необузданной молодости, довершили Лефортово дѣло, и пылкій монархъ, съ разгоряченнымъ воображеніемъ, увидѣвъ Европу, захотѣлъ сдѣлать Россію Голландіею». Выраженія Карамзина очень рѣшительны, какъ будто бы выведенныя изъ несомнѣнныхъ фактовъ. Но г. Устряловъ опровергаетъ мнѣніе о томъ, что Лефортъ воспиталъ Петра, доказывая достовѣрными фактами и свидѣтельствами, что Петръ сблизился съ Лефортомъ не ранѣе 1689 г., въ Троицкой лаврѣ, куда Лефортъ явился къ нему одинъ изъ первыхъ. Въ числѣ доказательствъ мнѣнія г. Устрялова, особенно любопытно открытое имъ свидѣтельство самого Петра о началѣ своего ученія. Свидѣтельство это находится въ «историческомъ извѣстіи

о началѣ морского дѣла въ Россіи», писанномъ рукою Петра и сохранившемся въ кабинетныхъ бумагахъ его. Петръ разсказываетъ здѣсь, что князь Яковъ Долгорукій, предъ отправленіемъ своимъ въ посольство во Францію, сказалъ какъ-то, что у него былъ «такой инструментъ, которымъ можно было брать дистанціи, не доходя до того мѣста». Петръ хотѣлъ увидѣть этотъ инструментъ, но Долгорукій сказалъ, что его у него украли. Петръ просилъ его купить, «между другими вещами», и такой инструментъ во Франціи. Долгорукій привезъ Петру «астролябію да кокоръ или готовальню съ циркулями и прочимъ». Петръ разумѣется, не зналъ, какъ употреблять ихъ и «объявилъ дохтуру Захару фонъ-деръ-Гульсту, что не знаетъ ли онъ? который сказалъ, что онъ не знаетъ, но сыщетъ такого, кто знаетъ», и въ скоромъ времени отыскалъ Франца Тиммермана. У этого-то Тиммермана Петръ, уже шестнадцати-лѣтній юноша, принялся учиться ариѳметикѣ, геометріи, фортификаціи. «Итакъ, сей Францъ, — говоритъ Петръ, — сталъ при дворѣ быть безпрестанно и въ компаніяхъ съ нами».

Нѣсколько времени спустя, Петръ, гуляя съ Тиммерманомъ въ Измайловѣ, увидѣлъ между старыми вещами въ амбарахъ ботикъ, и на вопросъ, что это за судно, получилъ въ отвѣтъ отъ Тиммермана, что «то ботъ англійскій». «Я спросилъ: гдѣ его употребляютъ? Онъ сказалъ, что при корабляхъ для ѣзды и возки. Я паки спросилъ: какое преимущество имѣетъ предъ нашими судами? (понеже видѣлъ его образомъ и крѣпостью лучше нашихъ). Онъ мнѣ сказалъ, что онъ ходитъ на парусахъ не только что по вѣтру, но и противъ вѣтра; которое слово меня въ великое удивленіе привело и якобы неимовѣрно. Потомъ я его паки спросилъ: есть ли такой человѣкъ, который бы его починилъ и сей ходъ мнѣ показалъ? Онъ сказалъ мнѣ, что есть. То я съ великою радостію услыша, велѣлъ его сыскать» (Истор. Петра, т. II, стр. 25). Тиммерманъ представилъ Петру Карштена Бранта; ботъ былъ починенъ, и Петръ плавалъ на немъ по Яузѣ, потомъ на Просяномъ пруду, на Переяславскомъ озерѣ, и наконецъ на Кубенскомъ. Между тѣмъ, въ царскомъ семействѣ приготовлялись событія, угрожавшія опасностью Петру, но кончившіяся паденіемъ Софіи. Съ этого-то времени начинается и сближеніе Петра съ Лефортомъ.

Приводя разсказъ Петра о началѣ его ученія, г. Устряловъ справедливо замѣчаетъ, что если бы Лефортъ былъ тогда при Петрѣ, то отчего же бы не обратиться ему къ Лефорту съ своими разспросами? Кромѣ того, мудрено было бы думать, что Лефортъ, находясь постоянно при царевичѣ, не могъ научить его даже первымъ началамъ ариѳметики и географіи. А между тѣмъ, разсказъ Петра и сохранившіяся учебныя тетради его ясно показываютъ, что онъ сталъ учиться ариѳметикѣ только съ тѣхъ поръ, какъ ему отыскали Франца Тиммермана. Изъ этого г. Устряловъ выводитъ заключеніе, что «на первоначальное развитіе душевныхъ способностей Петра, на его думы, планы, занятія, *по крайней мѣрѣ*

до семнадцати-лѣтняго возраста, прославленный женевецъ не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія» (т II, стр. 21).

Во всемъ этомъ намъ представляется неразрѣшеннымъ одинъ вопросъ, весьма, кажется, существенный: каковы были эти «*думы*, *планы*, *занятія*» Петра до семнадцати-лѣтняго возраста? Г. Устряловъ полагаетъ, что въ душу Петра уже заронилась до этого времени «глубокая дума, которой онъ остался вѣренъ до гроба», что геній его уже пробудился, что въ головѣ его сами собою являлись уже мысли о преобразованіи. Все это очень можетъ быть; но мы должны сказать, что мнѣніе г. Устрялова болѣе опирается на его личныхъ соображеніяхъ, нежели на несомнѣнныхъ фактахъ. Факты, представленные имъ, недостаточны «для нашего времени, требующаго отъ бытописателей строгаго отчета въ каждомъ ихъ словѣ» (т. I, стр. 3). Изъ того, что извѣстно о ходѣ ученья Петра подъ руководствомъ Тиммермана, очевидно, конечно, что Петръ обладалъ живою и страстною натурой и замѣчательными умственными способностями; но каковы были его *думы* и *планы* въ это время, мы не можемъ сказать положительно. Мы не можемъ принять за историческій фактъ, напр., слѣдующихъ мыслей г. Устрялова (т. II, стр. 26).

«Много было въ жизни Петра минутъ свѣтлыхъ и прекрасныхъ, ознаменованныхъ творческою силою его генія; но та минута, когда онъ, шестнадцатилѣтній юноша, вперилъ вдохновенный взоръ въ полусгнившій ботъ, около полвѣка валявшійся въ дѣдовскомъ сараѣ, между всякимъ хламомъ, въ пыли, въ грязи, безъ мачты, безъ парусовъ, и въ умѣ его мелькнула, какъ молнія, мысль о русскомъ флотѣ,—принадлежитъ къ самымъ лучезарнымъ. Она ждетъ кисти или рѣзца художника съ могучимъ талантомъ, способнымъ изобразить то, что происходило въ эту минуту въ душѣ Петра и чего не въ силахъ разсказать бытописатель».

Отдавая полную справедливость краснорѣчію и изяществу слога въ выписанномъ отрывкѣ, мы считаемъ, однакоже, обязанностью замѣтить, что онъ болѣе отличается возвышенной мечтательностью, нежели строгой вѣрностью историческимъ даннымъ. Мы привели выше разсказъ самого Петра объ этой минутѣ, которую г. Устряловъ называетъ «одной изъ самыхъ лучезарныхъ». Петръ разсказываетъ очень просто, что увидѣлъ онъ, во время прогулки, судно особаго устройства, спросилъ, чѣмъ же оно отличается, и, узнавъ, что оно ходитъ на парусахъ противъ вѣтра, удивился и пожелалъ посмотрѣть, какъ это происходитъ такая странность. Для того и найденъ былъ мастеръ, который починилъ ботъ и показалъ Петру ходъ его. Все происшествіе имѣетъ въ разсказѣ Петра весьма обыкновенный и естественный характеръ. Ни о впереніи вдохновеннаго взора, ни о «мысли, блеснувшей какъ молнія», ни о «лучезарности минуты» Петръ не говоритъ ни слова, и мы считаемъ себя въ правѣ не полагаться въ этомъ случаѣ на фразы г. Устрялова, какъ не имѣющія за себя ручательства въ историческихъ извѣстіяхъ [1]).

---

[1]) Достоинства труда г. Устрялова такъ велики и несомнѣнны, что намъ

Такимъ образомъ, до открытія впредь новыхъ достовѣрныхъ свѣдѣній о юности Петра, мы должны считать еще неразрѣшеннымъ вопросъ о томъ, задумалъ ли Петръ самъ собою свои великіе планы, ранѣе, чѣмъ узналъ Лефорта, даже ранѣе, чѣмъ сталъ учиться ариѳметикѣ у Тиммермана (такъ думаетъ г. Устряловъ); или эти *планы* появились уже впослѣдствіи времени, при вліяніи Лефорта и другихъ иноземцевъ (какъ полагалъ Карамзинъ). До сихъ поръ послѣднее мнѣніе кажется намъ вѣроятнѣе, и мы находимъ подтвержденіе его даже въ тѣхъ самыхъ фактахъ, которые г. Устряловъ приводитъ для доказательства того, что не Лефортъ былъ воспитателемъ Петра. Представимъ здѣсь нѣкоторыя соображенія.

Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукій возвратился въ Москву изъ посольства 15 мая, 1688 г. Онъ привезъ Петру астролябію, которую царевичъ показывалъ Гульсту, а тотъ *въ скоромъ времени* отыскалъ Тиммермана, у котораго Петръ началъ учиться. Чтобы дать понятіе о томъ, каково было предыдущее воспитаніе Петра, мы приведемъ здѣсь, изъ приложеній ко II-му тому «Исторіи» г. Устрялова, начало учебныхъ тетрадей, писанныхъ Петромъ подъ руководствомъ Тиммермана. Не выписываемъ ариѳметической задачи, которою онѣ начинаются; но приводимъ текстъ объясненія самыхъ правилъ.

АДИЦОЕ.

«буде хочешъ роныя смѣты скоко нибу въмѣсте сложи чтоі буде ітыстафъ хо 1000 хо 100 хо 10 іопъто недума хомногое число напере холалое токо что правая сторона была равъна а въ выклатъкѣ стафъ тѣ слова которыя свехъ десяку на Пъриме гдѣ 17 [7] гдѣ 18 [8] гдѣ 13 [3] гдѣ 14 [4] адесяки стафь точьками только точьки прилага ктому слову которое хочешъ счита а будекоторое слововоне свехъ десяку при*ри*лучися ітостафъ беточьки» (Т. II, стр. 434).

не хотѣлось бы встрѣчать рядомъ съ ними даже малѣйшихъ недостатковъ изложенія. Вотъ почему насъ поражаютъ особенно-непріятно нѣкоторыя фразы, по мѣстамъ допущенныя г. Устряловымъ, для украшенія простыхъ фактовъ. Такъ, напр., г. Устряловъ разсказываетъ, что слушая разсказъ объ астролябіи, «державный отрокъ *трепещетъ*; изумленный и обрадованный, онъ хочетъ видѣть дивную вещь», и проч. (т. II, стр. 20). Такая манера разсказа непріятно напоминаетъ ламартиновскій способъ сочиненія исторіи. Въ этомъ случаѣ Карамзинъ былъ осторожнѣе: при всей своей наклонности къ поэтизированію исторіи, онъ никогда не увлекался до изображенія тайныхъ думъ и ощущеній историческихъ лицъ. Онъ довольствовалъ свое краспорѣчіе тѣмъ, что говорилъ: «къ сожалѣнію, лѣтописцы не могли проникнуть во внутренность души Іоанна»; или: «одинъ Богъ знаетъ, что происходило въ это время въ мрачной душѣ Годунова», и т. п. Нельзя не сознаться, что этотъ историческій пріемъ имѣетъ свои достоинства.

Петръ писалъ это будучи уже шестнадцати лѣтъ. Указывая на эти тетради, г. Устряловъ самъ признается, что онѣ ясно свидѣтельствуютъ, какъ небрежно было воспитаніе Петра. Шестнадцати лѣтъ начинаетъ онъ учиться сложенію, которое называетъ *адицое*; правописанія у него нѣтъ никакого; мало того, г. Устряловъ свидѣтельствуетъ, что тетради эти писаны рукою нетвердою, очевидно непривычною, и даетъ замѣтить, что Петръ въ это время едва могъ еще, съ очевиднымъ трудомъ, выводить буквы (стр. 19). Признавая необыкновенную силу способностей Петра, удивляясь быстротѣ успѣховъ его въ ученьи, мы должны, однако, замѣтить, что отъ обученія сложенію далеко еще до преобразовательныхъ *плановъ*. Безъ всякаго сомнѣнія, уже и въ это время Петръ мечталъ о будущемъ и составлялъ дѣтскія предположенія о томъ, что онъ совершитъ; но подобныя мечты непремѣнно бываютъ у всякаго дитяти, одареннаго пылкою натурою, и ихъ нельзя называть *глубокою думою*, опредѣляющею направленіе цѣлой жизни, или серьезнымъ *планомъ* будущихъ дѣйствій. Мечты эти такъ и остаются мечтами, пока въ основаніи ихъ нѣтъ положительнаго знанія и серьезнаго изслѣдованія предмета, на который мечты эти обращаются. А насколько было положительныхъ знаній у Петра въ это время, достаточно показываютъ факты, открытые самимъ же г. Устряловымъ.

Можно бы предположить, что Петръ, какъ натура высшая, геніальная, успѣлъ совершено развиться въ тотъ годъ, который отдѣляетъ начало его ученья (положимъ, съ іюня 1688 г.) отъ сближенія съ Лефортомъ (въ августѣ 1689). Но историческіе факты не совершенно благопріятствуютъ и этому предположенію. Изъ нихъ видно, что въ Петрѣ уже пробудились въ это время какія-то неопредѣленныя стремленія и что къ семнадцати годамъ у него сложился уже тотъ дѣятельный могучій характеръ, та энергія, не знавшая препятствій, которая отличала его впослѣдствіи. Но мы не можемъ сказать на основаніи историческихъ данныхъ, чтобы этотъ мощный характеръ уже въ то время поставилъ себѣ опредѣленную цѣль, къ которой долженъ былъ стремиться неуклонно. Первыя *потѣхи* Петра, сухопутныя и водяныя, носятъ на себѣ болѣе отпечатокъ юношескихъ увлеченій, отпечатокъ *потѣхъ*, нежели «глубокихъ думъ и плановъ». Мы не находимъ никакой надобности пріискивать глубокомысленныя, геніальныя цѣли и основанія тому, что само по себѣ было очень просто. «Исторія Петра,— скажемъ словами г. Устрялова (т. II, стр. 333), — такъ обильна дѣлами и свойствами истинно великими, что прикрасы ему ненужны».

Живая, страстная пылкость и стремительная рѣшительность характера Петра не допускала его долго останавливаться надъ теоретическими частностями и составлять хладнокровныя, медленныя соображенія будущихъ дѣйствій и ихъ отдаленныхъ послѣдствій. Это была натура вовсе не созерцательная, а по преимуществу дѣятельная. Для него все заключалось въ практическомъ

примѣненіи, а до того, что на практикѣ неудобно, ему не было никакого дѣла. Въ юности его мы видимъ это особенно въ отношеніяхъ его къ своимъ наставникамъ. Тиммерманъ, по замѣчанію г. Устрялова, былъ математикомъ далеко не первоклассным. Онъ ошибался даже въ простомъ умноженіи, какъ видно изъ задачъ, писанныхъ его рукою въ учебныхъ тетрадяхъ Петра. Можно представить поэтому степень его знаній въ высшихъ частяхъ математики. Но Петру мало было надобности до этого. Ему нужно было, чтобъ Тиммерманъ научилъ его, какъ употреблять астролябію и вычислять, при какихъ условіяхъ и въ какомъ разстояніи бомба можетъ упасть на данную точку. Тиммерманъ, — худо ли, хорошо ли, могъ что-нибудь сказать на этотъ счетъ, и ученику его было довольно: онъ тотчасъ же началъ примѣнять наставленія учителя къ своимъ потѣшнымъ занятіямъ. До самаго путешествія своего за-границу Петръ не видѣлъ въ Тиммерманѣ того, что открываетъ историкъ, именно, что «какъ способности, такъ и свѣдѣнія его были очень ограничены» («Ист. П.», т. II, стр. 120). Во время потѣшныхъ походовъ, Тиммерманъ составлялъ планы потѣшныхъ крѣпостей и руководилъ при осадѣ ихъ земляными работами. Мало того, Петръ не усомнился поручить ему инженерныя работы даже при первой осадѣ Азова, гдѣ уже дѣло было не шуточное. И тутъ-то Тиммерманъ показалъ себя: взрывы заложенныхъ имъ минъ вредили нашимъ же войскамъ. Несмотря на то, онъ успѣлъ потомъ выпросить у Петра исключительную привилегію завести въ Архангельствѣ, въ свою пользу, верфь для купеческихъ кораблей, а въ Москвѣ—фабрику парусныхъ полотенъ, для поставки ихъ въ казну.

Карштенъ Брантъ, первый наставникъ Петра въ кораблестроеніи, также не былъ, конечно, посвященъ слишкомъ глубоко въ теорію морского и корабельнаго дѣла. Онъ былъ простой матросъ и имѣлъ званіе «товарища корабельнаго пушкаря» на кораблѣ «Орелъ», строившемся при Алексѣѣ Михайловичѣ. Во время отысканія бота, Брантъ занимался въ Москвѣ столярной работой. Несмотря на все это, Петръ долго держалъ его при себѣ, какъ главнаго корабельнаго мастера, и подъ его руководствомъ строились яхты и фрегаты на Плещеевомъ озерѣ еще въ 1691 году. Матросами и корабельными *мостильщиками* (плотниками) на этихъ судахъ были у Петра тѣ же потѣшные солдаты, которые служили ему въ первыхъ его упражненіяхъ въ ратномъ сухопутномъ дѣлѣ и въ фортификаціи.

Ничего не извѣстно о томъ, кто руководилъ потѣшными упражненіями Петра. Сначала, вѣроятно, и не было никого, по замѣчанію г. Устрялова, потому что потѣхи дѣйствительно служили Петру только забавою, и достаточно было одного надзора дядекъ. Но съ 1687 г., когда уже сформировались полки Преображенскій и Семеновскій, упражненія эти приняли болѣе правильный характеръ и нуждались, конечно, въ руководителѣ. Видно, впрочемъ, что и ратное ученье не слишкомъ удачно шло въ первое время, осо-

бенно въ *артиллерномъ* дѣлѣ. Въ 1690 г., въ первый Семеновскій походъ, маневры ведены были такъ неискусно, что одинъ изъ *горшковъ*, начиненныхъ горючими веществами, лопнулъ близъ Петра; взрывомъ опалило ему лицо и переранило стоявшихъ подлѣ него офицеровъ, что, по всей вѣроятности, вовсе не входило въ планъ маневровъ (т. II, стр. 135). Петръ былъ послѣ этого боленъ, и маневры возобновились только черезъ три мѣсяца. На этотъ разъ пострадалъ генералъ Гордонъ: неловкій выстрѣлъ повредилъ ему ногу выше колѣна, а порохомъ обожгло лицо такъ, что онъ съ недѣлю пролежалъ въ постелѣ. Второй Семеновскій походъ (въ окт. 1691 г.) также не обошелся безъ ранъ и увѣчья, по словамъ г. Устрялова; а ближній стольникъ, князь Иванъ Дмитріевичъ Долгорукій «заплатилъ даже жизнію за *зоинскій* танецъ», по выраженію Гордона; жестоко раненый въ правую руку, онъ умеръ на 9-й день (Устр. т. II, стр. 140). Подобныя же трагическія исторіи нерѣдко происходили въ первое время и на увеселительныхъ фейерверкахъ, которые любилъ устраивать Петръ. Такъ, при первомъ фейерверкѣ, сожженномъ на масляницѣ, 26 февр. 1690 года, — пяти-фунтовая ракета, не разрядившись въ воздухѣ, упала на голову какого-то дворянина, который тутъ же испустилъ духъ; въ 1691 г., при фейерверкѣ 27 января, взрывомъ состава изуродовало Гордонова зятя, капитана Страсбурга, обожгло Франца Тиммермана и до смерти убило троихъ работниковъ (Устр. II, 133).

Такое положеніе дѣлъ вовсе не свидѣтельствуетъ, по нашему мнѣнію, о томъ, чтобы Лефорту уже вовсе ничего не оставалось дѣлать для образованія Петра въ то время, какъ они познакомились. Довольство такими мастерами и учеными, какъ Брантъ и Тиммерманъ, доказываетъ, что геніальный отрокъ не дошелъ еще въ это время до той точки, съ которой должны были открыться ему ихъ ограниченность и неспособность. Да и не могъ онъ дойти до этого, при той обстановкѣ, въ которой находился до низверженія Софіи. Вспомнимъ, что и такого человѣка, какъ Тиммерманъ съ трудомъ могли отыскать для Петра; вспомнимъ, что первый учитель Петра, Зотовъ, избранный къ нему изъ подьячихъ, вѣроятно какъ *лучшій* человѣкъ, едва могъ научить его грамотѣ и не могъ пріучить къ орѳографіи, какая тогда была принята; примемъ въ соображеніе, что и Карштенъ Брантъ былъ выписанъ въ Россію при Алексѣѣ Михайловичѣ для участія въ постройкѣ корабля, какъ для такого дѣла, къ которому способныхъ людей у насъ въ то время не находилось. Весьма естественно поэтому, что Петръ, привыкшій мѣрить степень образованія и искусства людей по Голицынымъ и Шакловитымъ, Зотовымъ и Стрѣшневымъ, съ почтительнымъ изумленіемъ смотрѣлъ на такихъ искусниковъ и знатоковъ, какъ Брантъ, Тиммерманъ и др. Хотя онъ и чувствовалъ, можетъ быть, съ самаго начала, свое умственное превосходство надъ ними, но вмѣстѣ съ этимъ онъ не могъ не видѣть и того, что они много могутъ принести ему пользы, могутъ научить

его многому, чего онъ никогда не узналъ бы отъ окружавшихъ его русскихъ бояръ. И онъ учился, — съ увлеченіемъ, со страстью; новый міръ знаній, открывшійся передъ нимъ, поглощалъ все его вниманіе. Мысли его тотчасъ же обращались къ ближайшимъ практическимъ примѣненіямъ того, что имъ узнано. Онъ немедленно хотѣлъ производить примѣрныя сраженія съ порохомъ, и устраивать земляныя укрѣпленія по правиламъ фортификаціи, и имѣть хоть какія-нибудь суда, чтобы плавать хоть по своимъ озерамъ. У него не было долгихъ сборовъ, подобныхъ тѣмъ, съ какими приступали, напр., къ постройкѣ «Орла» при Алексѣѣ Михайловичѣ. Трудно предполагать, чтобъ могли у него въ это время, — время ученья и практическихъ упражненій, — являться дальновидныя и глубокія государственныя предначертанія. По всей вѣроятности, во время знакомства съ Лефортомъ, стремленія Петра еще не были ясно опредѣлены, и многое бродило въ его душѣ въ видѣ смутныхъ мечтаній, а не строго обдуманныхъ и сознанныхъ плановъ. Годъ предыдущаго ученья у Тиммермана и практическихъ занятій подъ руководствомъ Бранта могъ только способствовать полному раскрытію необычайной любознательности отрока, могъ пробудить въ немъ множество вопросовъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, внушить, что рѣшенія этихъ вопросовъ нужно ждать отъ иноземцевъ. Съ такимъ настроеніемъ могъ онъ перейти подъ вліяніе Лефорта. Что вліяніе это было велико, не отвергаетъ и г. Устряловъ. Первые учители Петра исчезаютъ въ скоромъ времени изъ его исторіи, и онъ не обращаетъ на нихъ вниманія, какъ скоро находитъ, кѣмъ замѣнить ихъ; только Зотовъ играетъ въ его близкомъ кругу довольно комическую роль князя-папы. Лефортъ, напротивъ того, до конца своей жизни остается другомъ и совѣтникомъ Петра. Назначеніе его начальникомъ «великаго посольства» въ 1697 г. показываетъ, до какой степени полагался на него царь.

Такимъ образомъ мы полагаемъ, что доказательства г. Устрялова, противъ вліянія Лефорта на развитіе Петра, нельзя считать вполнѣ удовлетворительными. Поправка, сдѣланная имъ на основаніи открытыхъ имъ фактовъ, касается времени, а не сущности дѣла. Въ этомъ почти соглашается самъ г. Устряловъ, когда возражаетъ противъ Перри, сказавшаго, что «Лефортъ находился при Петрѣ съ 12-лѣтняго возраста царя, бесѣдовалъ съ нимъ о странахъ западной Европы, о тамошнемъ устройствѣ войскъ морскихъ и сухопутныхъ, о торговлѣ, которую западные народы производятъ во всемъ свѣтѣ посредствомъ мореплаванія и обогащаются ею». Приводя это извѣстіе Перри, г. Устряловъ говоритъ (т. II, стр. 325). «Не споримъ, что обо всемъ этомъ говорилъ Лефортъ Петру, когда государь удостоилъ его своею дружбою, но не съ 12-лѣтняго возраста, а гораздо послѣ. Самъ Перри свидѣтельствуетъ, что Лефорта узналъ Петръ только съ того времени, когда удалился онъ въ Троицкую лавру, спасаясь отъ властолюбивой сестры. Но, мало знакомый съ исторіею стрѣлецкихъ мятежей, онъ отнесъ къ

одному году (1683) и майское кровопролитіе 1682 г., и бунтъ стрѣльцовъ послѣ казни Хованскаго, и заговоръ Шакловитаго, и паденіе Софіи. Все слито въ одно происшествіе. Компиляторы, не разобравъ дѣла и не вникнувъ, что Петру при удаленіи Софіи было не 12, а 17 лѣтъ, протрубили въ потомствѣ объ участіи Лефорта въ первоначальномъ образованіи Петра». Значитъ, все дѣло только въ томъ, съ 12 или съ 17 лѣтъ Петръ сталъ слушать разсказы и совѣты Лефорта. Для прежнихъ историковъ это былъ вопросъ крайне трудный: они не могли себѣ представить, чтобы настоящее порядочное образованіе Петра началось только на семнадцатомъ году его жизни. Вотъ, вѣроятно, и причина, почему они непремѣнно хотѣли видѣть Лефорта при Петрѣ сколько возможно ранѣе. Но теперь, когда самъ же г. Устряловъ открылъ, на какой степени стояло образованіе Петра до 1688 г., — теперь ничто не препятствуетъ намъ признать «дѣятельное участіе Лефорта въ настроеніи Петра ко всему, что его впослѣдствіи прославило» (Устр. т. II, стр. 21).

Признавая это участіе, мы, впрочемъ, не даемъ ему особенно важнаго значенія въ исторіи Петра. Лефортъ могъ воспламенять любознательность Петра, могъ возбуждать въ немъ новыя стремленія, могъ сообщать нѣкоторыя понятія, до того неизвѣстныя царю. Но едва ли могъ удовлетворить пытливости Петра, едва ли могъ всегда разрѣшать вопросы, рождавшіеся въ его умѣ, едва ли могъ сообщить особенную опредѣлительность самымъ его стремленіямъ. Послѣднее видно уже и изъ того, что самая энергическая, постоянная дѣятельность Петра, во все время жизни Лефорта, посвящаема была морскому дѣлу, а Лефортъ не только не понималъ, но и не любилъ какъ морскихъ, такъ и вообще всѣхъ воинскихъ занятій. При первой осадѣ Азова ему стало скучно, и онъ старался какъ-нибудь поскорѣе покончить дѣло, чтобы возвратиться въ Москву, къ своимъ обыкновеннымъ удовольствіямъ. Послѣ взятія Азова, когда Петръ искалъ мѣста для гавани и трудился надъ укрѣпленіями, Лефортъ не могъ дождаться его и впередъ всѣхъ ускакалъ въ Москву, хотя ему, какъ *адмиралу*, и не мѣшало бы позаботиться о мѣстѣ для рождавшагося флота, порученнаго его смотрѣнію. Вообще, современники Лефорта нехорошо отзываются о его воинскихъ и морскихъ познаніяхъ. Александръ Гордонъ говоритъ, что «онъ почти ничего не разумѣлъ ни на морѣ, ни на сушѣ, но царская милость все замѣнила». Перри также свидѣтельствуетъ: «царскій любимецъ Лефортъ, который ничего не понималъ на морѣ, объявленъ былъ адмираломъ». Такіе отзывы давали полное право г. Устрялову выразиться о Лефортѣ, что «удовольствія веселой жизни, дружеская попойка съ разгульными друзьями, пиры по нѣсколько дней сряду, съ танцами, съ музыкой, были для него, кажется, привлекательнѣе славы ратныхъ подвиговъ» (II, 122). «Петръ полюбилъ его за беззаботную веселость, плѣнительную послѣ тяжкихъ трудовъ, за природную остроту ума, доброе

сердце, ловкость, смѣлость, а болѣе всего за откровенную правдивость и рѣдкое въ то время безкорыстіе, добродѣтели великія въ глазахъ монарха, ненавидѣвшаго криводушіе и себялюбіе. Долго помнилъ онъ Лефорта и по смерти его, тоскуя по немъ, какъ по веселомъ товарищѣ пріятельскихъ бесѣдъ, незамѣнимомъ въ искусствѣ устроить пиръ на славу».

Но если Лефортъ имѣлъ достоинства только веселаго собесѣдника, то и другіе изъ первыхъ сотрудниковъ Петра не отличались особенно блестящими талантами. Генералъ Гордонъ, изучившій военное искусство, по словамъ г. Устрялова, едва ли лучше Лефорта, постоянно, однако, жалуется на безтолковость и небрежность другихъ начальниковъ. Дѣйствія ихъ подъ Азовомъ даже и ему казались нелѣпыми: «все шло такъ безпорядочно и небрежно,— говоритъ онъ объ осадѣ Азова,—что мы какъ будто шутили, вовсе не думая о важности дѣла» (Устр. т. II, стр. 238). Дѣйствія бояръ-правителей и другихъ людей, удостоенныхъ довѣренности Петра, при открытіи стрѣлецкаго бунта, во время путешествія Петра заграницей, доказали, что администраторы Петра были не лучше военачальниковъ. Между стрѣльцами разнесся слухъ о смерти Петра за-границей, и правители не знали, что дѣлать отъ испуга. Самъ Петръ писалъ по этому случаю къ Ромодановскому: «зѣло мнѣ печально и досадно на тебя, для чего ты сего дѣла въ розыскъ не вступилъ? Богъ тебя судитъ! Не такъ было говорено на загородномъ дворѣ въ сѣняхъ. Для чего и Автамона (Головина) взялъ, что не для этого? А буде думаете, что мы пропали (для того, что почты задержались) и для того, боясь, и въ дѣло не вступаешь: воистину, скорѣе бы почты вѣсть была; только слава Богу, ни одинъ не умеръ, всѣ живы. Я не знаю, откуды на васъ такой страхъ бабій!... Неколи ничего ожидать съ такою трусостью»! Въ томъ же родѣ писалъ онъ къ Виніусу: «я было надѣялся, что ты станешь всѣмъ разсуждать бывалостью своею и отъ мнѣнія отводить; а ты самъ предводитель имъ въ яму! Потому всѣ думаютъ, что коли-де кто бывалъ, такъ боится того, то уже конечно такъ» (Устр. т. III, стр. 439 — 440). Правда, что на этотъ разъ самые приближенные люди царя находились съ нимъ въ путешествіи; но и они были не лучше другихъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ поведеніе ихъ во время болѣзни Петра, въ 1692 году. Какъ только болѣзнь сдѣлалась опасною, любимцы Петра пришли въ ужасъ, уже предвидя владычество Софіи и ожидая ссылки и казни; болѣе близкія къ Петру лица, Лефортъ, князь Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ, Апраксинъ, Плещеевъ, на всякій случай запаслись лошадьми, въ намѣреніи бѣжать изъ Москвы (Устр. II, стр. 144). Очевидно, что всѣ они только и держались Петромъ, и потому совершенно справедливо заключеніе, сдѣланное г. Устряловымъ послѣ исчисленія всѣхъ людей, бывшихъ первыми сотрудниками и любимцами Петра. «Такова была любимая *компанія* Петрова, — говоритъ краснорѣчивый историкъ, — чудная смѣсь на-

ціи, вѣръ, языковъ, лѣтъ, знаній, пестрая толпа людей, не замѣчательныхъ ни талантами, ни образованіемъ, даже преданности не всегда безукоризненной, и можно ручаться, что всѣ они, за исключеніемъ двухъ-трехъ, при всякихъ другихъ обстоятельствахъ остались бы незамѣтными для потомства. Петръ озарилъ ихъ своею славою, какъ яркое свѣтило бросаетъ лучи на своихъ спутниковъ, и имена ихъ сіяютъ въ скрижаляхъ исторіи» (II, 129).

Очевидно, что для всякой другой натуры общество людей, подобныхъ тѣмъ, которые окружали Петра, мало принесло бы пользы. Очевидно, что въ самомъ Петрѣ заключались условія, необходимыя для развитія и направленія той силы, которую умѣлъ онъ выказать впослѣдствіи. Въ самомъ дѣлѣ — во всей исторіи Петра мы видимъ, что съ каждымъ годомъ прибавляется у него масса знаній, опытность и зрѣлость мысли, расширяется кругъ зрѣнія, сознательнѣе проявляется опредѣленная цѣль дѣйствій: но что касается энергіи его воли, рѣшимости характера, мы находимъ ихъ уже почти вполнѣ сложившимися съ самаго начала его юношескихъ дѣйствій. Въ непремѣнномъ желаніи посмотрѣть хоть украдкой, тайно отъ матери, на Плещеево озеро, и потомъ построить тамъ суда, во что бы то ни стало, хоть какія-нибудь, только бы поскорѣе,— въ этомъ юношескомъ стремленіи таится та же сила, которая впослѣдствіи выразилась въ назначеніи *кумпанствъ* для сооруженія флота въ полтора года, и потомъ въ цѣломъ годѣ неутомимой работы на голландскихъ верфяхъ. Люди не могутъ такъ закалить характера человѣка; это дается отъ природы и образуется событіями. Событія и воспитали въ Петрѣ природную живость и энергію его натуры; событія же до извѣстной степени опредѣлили и его отношенія къ древней Руси, съ ея предразсудками, грубостью и невѣжествомъ. Положительныхъ фактовъ, доказывающихъ это вліяніе событій на развитіе Петра, прежде чѣмъ онъ узналъ начала правильнаго образованія, весьма мало. Но стоитъ всмотрѣться въ характеръ явленій, окружавшихъ дѣтство и юность Петра, чтобъ не сомнѣваться въ силѣ этого вліянія.

На четвертомъ году Петръ лишился отца, и съ этого времени сдѣлался предметомъ крамольной ненависти одной изъ придворныхъ партій. Приверженцы его матери вздумали уговаривать Алексѣя Михайловича, чтобы онъ назначилъ своимъ преемникомъ трехлѣтняго Петра, обошедши двоихъ старшихъ сыновей отъ перваго брака. Главою этого замысла былъ Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ, изъ дома котораго взялъ царь свою супругу, и который со времени женитьбы царя постоянно находился во враждѣ съ большею частію прочихъ бояръ. Трудно повѣрить, чтобы Матвѣевъ дѣлалъ это изъ безкорыстнаго и прозорливаго желанія добра для Россіи, потому будто бы, что,—какъ свидѣтельствуетъ Таннеръ,— «Петра считали способнѣе къ правленію, чѣмъ Ѳеодора». Угадать эту способность въ трехлѣтнемъ младенцѣ мудрено было бы и для людей, болѣе проницательныхъ, чѣмъ тогдашніе царедворцы. Го-

раздо вѣроятнѣе свидѣтельство Залусскаго, что, «до совершенно-лѣтія царя, Матвѣевъ думалъ самъ управлять государствомъ и, такимъ образомъ, дѣйствовалъ въ пользу матери, а еще болѣе въ свою собственную» (Устр. т. I, стр. 263) [1]). Замыселъ его не удался, и Петръ невинно понесъ на себѣ нелюбовь брата и отчужденіе отъ царствующей семьи и всѣхъ ея приверженцевъ. Оставаясь, по малолѣтству своему, на попеченіи дядекъ (Стрѣшневыхъ), очень любившихъ его, и подъ надзоромъ матери, не любившей отпускать его далеко отъ себя, даже когда ему было уже 17 лѣтъ,—Петръ не могъ не слышать ихъ жалобъ и неудовольствій не могъ не знать ихъ враждебныхъ отношеній къ лицамъ, окружавшимъ царя. Безъ всякаго сомнѣнія, ни Нарышкины, ни Стрѣшневы не могли внушить Петру недовольства стариною; но отъ нихъ слышалъ онъ, безъ сомнѣнія, многое о непригожихъ дѣлахъ Милославскихъ, Куракиныхъ, Хитрово, и пр. Многіе недостатки боярства, которые при другихъ обстоятельствахъ могли бы пройти незамѣченными или даже понравиться царственному отроку, теперь должны были представляться ему въ крайне мрачномъ видѣ, потому что если не онъ самъ, то близкіе къ нему, терпѣли отъ нихъ. Воспоминаніе о ссылкѣ Матвѣева не должно было исчезнуть между Нарышкиными, а при этомъ воспоминаніи нерѣдко обращалось, конечно, вниманіе и на невѣжество бояръ, обвинившихъ Матвѣева въ чернокнижіи, и на то, какъ они обманываютъ добродушнаго Ѳеодора, и на то, какъ сами пользуются своими мѣстами, взводя, между тѣмъ, обвиненіе въ лихоимствѣ на Матвѣева, и т. п. Извѣстно, какъ вѣрно умныя дѣти угадываютъ отношенія, существующія между лицами, ихъ окружающими. Извѣстно и то, какъ часто они переносятъ на цѣлый разрядъ предметовъ то, что узнаютъ обо одномъ изъ нихъ. Немудрено, поэтому, что онъ съ самаго начала раскрытія своего сознанія сталъ уже получать не слишкомъ выгодное понятіе о существовавшемъ тогда порядкѣ вещей. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно то, что онъ не сблизился, не сроднился съ этимъ порядкомъ, потому что всегда былъ отъ него въ отчужденіи, живя вмѣстѣ съ матерью въ Преображенскомъ, далеко отъ дворскихъ интригъ. Уже это одно было для него счастіемъ и

---

[1]) Г. Устряловъ не принимаетъ свидѣтельствъ ни Таннера, ни Залусскаго, на томъ основаніи, что Матвѣевъ оставался въ прежнихъ должностяхъ около полугода по воцареніи Ѳеодора и что въ замыслѣ о возведеніи Петра на престолъ его не обвиняли, и онъ не оправдывался. Но полугодовая отсрочка ссылки Матвѣева ничего не доказываетъ: слабый Ѳеодоръ, огорченный потерею отца, могъ въ первое время не позаботиться о немедленномъ возмездіи своему недоброхоту. Что же касается до молчанія обвинительныхъ актовъ, то весьма естественно, кажется, что Ѳеодоръ и его совѣтники не хотѣли объявлять по судамъ и приказамъ семейной распри царя съ мачихою и братомъ. Гдѣ же и когда бывалъ обычай обнародывать придворныя комнатныя интриги? Довольно и того, что Матвѣевъ былъ сосланъ, и что ни мачиху, ни ея родственниковъ, Ѳеодоръ, по словамъ самого же г. Устрялова, во все время своего правленія *не жаловалъ*.

должно было предохранить его отъ многихъ заблужденій и дурныхъ привычекъ, бывшихъ неизбѣжными при тогдашнемъ придворномъ воспитаніи. Правда, что Петръ, какъ мы видѣли, ничему не учился; но у него не отбивалась все-таки охота къ ученью. У него не было дѣльныхъ занятій, но дѣтская энергія его не притуплялась и не отбивалась. Мы можемъ безъ всякаго сомнѣнія утверждать, что подъ надзоромъ матери, воспитанной Матвѣевымъ, эманципированнымъ человѣкомъ того времени Петръ былъ гораздо менѣе стѣсненъ и гораздо менѣе могъ набраться всякихъ предразсудковъ, нежели среди знатныхъ лицъ, окружавшихъ престолъ его брата.

Мы видѣли въ прошедшей статьѣ, что новыя, иноземныя начала уже входили въ русскую жизнь и до Петра; но тутъ же мы сказали, что высшее боярство тогдашнее, царскіе совѣтчики, люди, дававшіе направленіе дѣламъ собственно-государственнымъ, менѣе всего увлекались этими началами. Они-то именно, по выраженію г. Устрялова, «коснѣли въ старыхъ понятіяхъ, которыя переходили изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ; спесиво и съ презрѣніемъ смотрѣли на все чужое, иноземное; ненавидѣли все новое и въ какомъ-то чудномъ самозабвеніи воображали, что православный россіянинъ есть совершеннѣйшій гражданинъ въ мірѣ, а святая Русь—первое государство» (Устр. т. I. «Введ.», XXIX). Только предъ волею царя смирялась ихъ невѣжественная спесь. Призывалъ ихъ Алексѣй Михайловичъ на комедіи смотрѣть,—и смотрѣли; одѣлся Ѳеодоръ Алексѣевичъ въ польское платье,—и придворные одѣлись (см. Берха, «Царств. Ѳеод. Алекс.»); велѣлъ мѣстничество уничтожить,—и уничтожили. Но за то, не сдержанные царской волей, они безобразно и дико проявляли свое невѣжество и спесь. Суевѣріе господствовало въ страшныхъ размѣрахъ и служило нерѣдко орудіемъ жестокихъ несправедливостей и преступленій. Такъ, еще при царѣ Михаилѣ, пострадалъ Илья Даниловичъ Милославскій по обвиненію его въ томъ, что онъ владѣлъ какимъ-то волшебнымъ перстнемъ; у него отняли имѣніе и самого долго держали подъ стражею. Подобное же обвиненіе было употреблено партіею Милославскихъ, какъ средство для отвращенія Алексѣя Михайловича отъ женитьбы на дочери Рафа Всеволожскаго: невѣстѣ, уже выбранной царемъ, такъ туго зачесали волосы, что она упала въ обморокъ въ присутствіи царя, и вслѣдствіе того на нее донесли, что она страждетъ черною немочью, а отца обвинили въ колдовствѣ, за что онъ со всей семьей и отправленъ былъ въ ссылку. Подобнымъ образомъ Семенъ Лукьяновичъ Стрѣшневъ, дядя Алексѣя Михайловича, лишенъ былъ боярскаго сана и сосланъ въ Вологду, по обвиненію въ чародѣйствѣ. Такъ и на самого Матвѣева доносили, что онъ чародѣй и знаетъ тайную силу травъ,—тогда еще, какъ только Алексѣй Михайловичъ объявилъ свое намѣреніе жениться на его воспитанницѣ (Уст. I, стр. 6). Въ то время онъ успѣлъ оправдаться; но при Ѳеодорѣ снова обвиняли его въ сно-

шеніяхъ съ нечистыми духами, по доносу какого-то раба, и допрашивали о лѣчебникѣ, писанномъ цыфирью, и о какой-то *черной* книгѣ. Слѣдствіемъ розыска была ссылка въ Пустозерскій острогъ! Во время перваго стрѣлецкаго бунта, докторъ фонъ-Гаденъ схваченъ былъ, какъ волшебникъ, потому что у него нашлись сушеныя змѣи (т. I, стр. 39). Василій Васильевичъ Голицынъ пыталъ дворянина Бунакова, который, идя съ нимъ, вдругъ упалъ на землю отъ болѣзни, называемой *утихомъ*, и по существовавшему повѣрью взялъ въ платокъ земли съ того мѣста, гдѣ онъ упалъ. Голицынъ, испугавшись, билъ челомъ въ Земскій приказъ, что Бунаковъ «*вымалъ у него слѣдъ*»; Бунакова пытали (см. Желябуж., въ изд. Сахар., стр. 22). Тотъ же самый Голицынъ, увидавъ благосклонность Софіи къ Шакловитому, призвалъ одного изъ своихъ крестьянъ, слывшаго знахаремъ, и бралъ у него коренья, которые и клалъ «*для приворожденія*» въ кушанье царевны; а потомъ, чтобы не было проносу отъ колдуна, Голицынъ велѣлъ его сжечь въ банѣ (Устр. т. II, стр. 48). Сама Софія вѣрила волхвамъ и прорицателямъ и совѣтовалась съ ними, всего чаще черезъ посредство Сильвестра Медвѣдева, который также въ нихъ вѣровалъ. Такъ, между прочимъ, довѣрялись они одному польскому пройдохѣ, Митькѣ Силину, который и князя Голицына пользовалъ и нашелъ въ немъ одну болѣзнь: «что онъ любитъ *чужбину*, а жены своей не любитъ». Такъ точно, уже при паденіи Софіи, Медвѣдевъ совѣтовался съ волхвомъ Васильемъ Иконниковымъ, который увѣрялъ, что «самимъ сатаною владѣетъ», и что если царевна дастъ ему 5000 червонцевъ, то все будетъ попрежнему (Устр. II, 68). Старшія сестры Петра всѣ, по свидѣтельству историка, постоянно были окружены ханжами и юродивыми; первая супруга его, Евдокія, также выказывала большую «наклонность къ видѣніямъ и пророчествамъ» (II, 119). Даже бояре, приверженные къ Петру, не возвышались надъ предразсудками своего времени, какъ видно изъ приводимаго г. Устряловымъ (т. II, стр. 347—50) разыскнаго дѣла о стольникѣ Безобразовѣ, 1689 г. Безобразовъ этотъ «старичишка дряхлый, увѣчный, почти оглохшій и ослѣпшій» (по его словамъ *въ* челобитной) отправленъ былъ, послѣ 47-лѣтней службы, воеводою въ крѣпость Терки. Доѣхавъ до Нижняго, онъ послалъ челобитную къ царямъ о дозволеніи ему возвратиться въ Москву или хоть остаться въ Казани. Крѣпостные люди его, Персидскій и Ивановъ, обокрали старика, бѣжали отъ него и явились въ Москву съ извѣтомъ, что Безобразовъ — 1) имѣлъ сношенія съ Шакловитымъ, 2) на пути къ Нижнему и въ Нижнемъ призывалъ къ себѣ разныхъ ворожей и вѣдуновъ, изъ которыхъ одинъ «накупился напустить по вѣтру тоску на царя Петра и мать его, чтобы они сдѣлались къ Безобразову добры и воротили его въ Москву». Какъ ни важно было тогда первое обстоятельство—знакомство съ Шакловитымъ, но волшебство болѣе испугало бояръ, и въ разыскномъ дѣлѣ все вниманіе слѣдователей обращено именно на этотъ пунктъ.

Захватили нѣсколько вѣдуновъ, оговоренныхъ доносчиками, допрашивали ихъ подъ пыткою, равно какъ и самого Безобразова, вынудили, разумѣется, признаніе и приговорили: Безобразову отсѣчь голову, жену его сослать по смерть въ Тихвинскій Введенскій монастырь, двухъ главныхъ вѣдуновъ—Коновалова и Бобыля—сжечь въ срубѣ, прочихъ вѣдуновъ нещадно бить кнутомъ на козлѣ... Но и этимъ слѣдователи не были успокоены; около двухъ лѣтъ послѣ того производились розыски въ Коломнѣ, Касимовѣ, Переяславлѣ-Рязанскомъ и Нижнемъ-Новгородѣ. Одинъ вѣдунъ оговорилъ другого, другой третьяго. Воеводамъ предписано: разспрашивать «про все накрѣпко; а буде учнутъ запираться, пытать». «Воеводскіе розыски были ужасны,—прибавляетъ г. Устряловъ (стр. 350):—сысканные вѣдуны и ворожеи *подыманы* были при допросахъ по нѣскольку разъ *со встряскою*. Нѣкоторые изъ оговоренныхъ винились въ ворожбѣ на бобахъ, на водѣ, на деньгахъ; другіе, при всѣхъ истязаніяхъ, ни въ чемъ не сознавались и умирали подъ пыткою или въ тюрьмѣ, до разрѣшенія дѣла». Подобнымъ же усердіемъ отличились бояре, когда пришлось имъ разбирать лжепророчество бродяги Кульмана, появившагося въ Москвѣ въ послѣднее время правленія Софіи. Толкуя всякій вздоръ, проповѣдуя о какихъ-то видѣніяхъ, бывшихъ ему, сочиняя свой особенный религіозный кодексъ, Ruhl-Psalter, какъ онъ назвалъ, этотъ полоумный нѣмецъ имѣлъ однако же столько смысла, чтобы сказать при допросѣ: «меня послалъ въ Москву духъ для проповѣданія моихъ видѣній; если же вы не хотите меня слушать, то позвольте мнѣ удалиться». Но бояре не поддались на такое убѣжденіе; они распорядились проще: «еретика Кульмана, съ его богомерзкими книгами, за прелестное ученіе, сжечь всенародно». И сожгли... (Устр. т. II, стр. 113). Такимъ образомъ все, что могъ встрѣтить Петръ около своего брата и вообще при дворѣ, погружено было тогда въ грубѣйшее суевѣріе, нисколько не возвышаясь въ этомъ случаѣ надъ простонародьемъ. Чтобы не приводить частныхъ примѣровъ и показать, до какой степени волшебство и чернокнижіе вошло въ древней Руси въ рядъ ординарныхъ, юридически-опредѣленныхъ преступленій,—укажемъ на *повальное* свидѣтельство Кошихина: «а бываютъ мужескому полу смертныя и всякія казни: головы отсѣкаютъ за убійства смертныя и за иныя злыя дѣла, вѣшаютъ за убійства жь и за иныя злыя дѣла, жгутъ живого за богохульство, за церковную татьбу, за содомское дѣло, за *волховство*, за *чернокнижество*, за книжное преложеніе, кто учнетъ вновь толковать воровски противъ апостоловъ и пророковъ и св. отцовъ. А смертныя казни женскому полу бываютъ: за богохульство и за церковную татьбу, за содомское дѣло жгутъ живыхъ, за *чаровство* и за убійство отсѣкаютъ головы», и пр. (Кош. VII, 33). Таковы были понятія о высшихъ силахъ у тѣхъ людей, отъ которыхъ такъ счастливо удаленъ былъ Петръ во время своего дѣтства.

Не лучше были и общія нравственныя понятія. О заслугахъ,

о личномъ достоинствѣ никто и не думалъ; гордились только знатностью рода, мѣстническими счетами. Несмотря на неоднократные указы, что за мѣстничество быть «въ наказаньи, разореньи и ссылкѣ, безъ всякаго милосердія и пощады», счеты породою не только не переставали, но доходили до страшныхъ размѣровъ, все болѣе теряя и тотъ смыслъ, какой былъ въ нихъ прежде, и все болѣе привязываясь къ мелочамъ и внѣшности. Доходило до того, что одинъ бояринъ билъ челомъ на другого за то, что тотъ за столомъ «смотрѣлъ на него звѣрообразно». Даже послѣ сожженія разрядныхъ списковъ, прежняя спесь еще долго оставалась въ боярахъ. Такъ, передъ первымъ крымскимъ походомъ царедворцы пришли въ негодованіе, когда Голицынъ распредѣлилъ ихъ по ротамъ, такъ что стольникамъ пришлось писаться ниже стряпчихъ и жильцовъ. Во главѣ недовольныхъ были тогда: князь Борисъ Долгорукій, князь Юрій Щербатый, Дмитріевъ и Масальскій. Въ ознаменованіе своего неудовольствія, они явились на смотръ въ траурныхъ одеждахъ, на коняхъ подъ черными попонами, — что суевѣрный Голицынъ принялъ даже за зловѣщее пророчество (Устр. т. I, стр. 196). Мало того, при самомъ Петрѣ, въ первые годы его правленія, извѣстны *родовыя* перебранки самыхъ приближенныхъ къ нему людей. Такъ, въ 1691 г., по извѣстію Желябужскаго, князь Яковъ Ѳеодоровичъ Долгорукій во дворцѣ побранился съ княземъ Борисомъ Алексѣевичемъ Голицынымъ; «называлъ онъ Голицына измѣнничьимъ *правнукомъ*, что *при Растригѣ прадѣдъ* его въ яузскихъ воротахъ былъ проповѣдникомъ». Въ 1693 г., въ домѣ боярина П. В. Шереметьева, поссорились князь М. Г. Ромодановскій и бояринъ А. С. Шеинъ, при многочисленномъ собраніи бояръ. Ромодановскій безчестилъ Шеина всячески, билъ, даже хотѣлъ рѣзать ножемъ, называя прадѣда его (Мих. Бор. Шеина) измѣнникомъ, а его измѣнничьимъ *внукомъ*. Шеинъ, съ своей стороны, по жалобѣ Ромодановскаго, называлъ его *малороднымъ* и худымъ князишкомъ; отца же его, Григорья Григорьевича—неслугою... (Устр. т. II, стр. 346). Видно, что мѣстничество не умерло въ сердцахъ боярскихъ съ уничтоженіемъ разрядныхъ списковъ. Къ счастью, Петръ удаленъ былъ въ дѣтствѣ своемъ отъ этой родословной спеси. Нарышкины были люди не родословные и, по всей вѣроятности, при Ѳеодорѣ и при владычествѣ Софіи не слишкомъ были уважаемы высшимъ боярствомъ. Значитъ, Петръ не только не могъ напитаться ядомъ этой тлетворной атмосферы, но даже долженъ былъ получить къ ней отвращеніе. Всякое проявленіе высокомѣрія и дерзости боярской, начиная отъ колкихъ выходокъ царской няньки, злобной боярыни Хитрово, до посягательствъ Шакловитаго, говорившаго, что нечего смотрѣть на Наталью Кирилловну: «она прежде ничѣмъ была, въ лаптяхъ ходила»,—всякое подобное проявленіе, сдѣлавшись извѣстнымъ Петру, должно было возбуждать въ немъ горькія чувства и тяжелыя мысли. А, конечно, очень многое не могло скрыться отъ него, да, вѣро-

ятно, и не старались скрывать. Въ немъ партія Нарышкиныхъ видѣла свою надежду, свое торжество, и потому незачѣмъ было ей щадить передъ нимъ враговъ своихъ. Часто, находясь вмѣстѣ съ матерью, онъ могъ слышать многое, что передавалось ей въ разговорахъ, и что она сама говорила. Весьма естественно развилось въ немъ чувство отвращенія къ спеси и чванству старинныхъ бояръ, и здравыя понятія о достоинствѣ заслугъ и трудовъ,—столь простыя и близкія человѣку, не исказившему природнаго смысла,— очень легко, конечно, могли овладѣть его умомъ. Въ своей послѣдующей дѣятельности, онъ постоянно доказывалъ, что не дорожитъ *породою*, возвышая и приближая къ себѣ людей всѣхъ званій.

Этого недостаточно: Петръ, выросши на свободѣ и привыкши запросто обращаться съ своими сверстниками, и самъ не могъ слишкомъ дорожить той величавой торжественностью, съ которой являлись обыкновенно народу его предшественники. Даже Ѳеодоръ не отступалъ въ этомъ случаѣ отъ древняго обычая. Таннеръ разсказываетъ, какъ очевидецъ, что когда Ѳеодоръ Алексѣевичъ ѣздилъ куда-нибудь, то впереди кареты бѣжали два скорохода, крича встрѣчнымъ въ городѣ, чтобы они прятались, а на полѣ или въ другомъ мѣстѣ, гдѣ спрятаться было негдѣ, — чтобы падали на землю... (см. Берха, Царств. Ѳеод. Алекс. Ч. I, стр. 63). Петръ, какъ мы знаемъ, держалъ себя совершенно просто со всѣми и не только запросто показывался народу, но готовъ былъ разсуждать о чемъ угодно, со всякимъ матросомъ, плотникомъ, кузнецомъ. Не легко было бы ему привыкнуть къ этому, если бы онъ прошелъ всю мудреную школу тогдашняго дворскаго этикета, приличнаго тогдашнему царевичу. Но живая натура не поддалась этому этикету съ самаго начала: обстоятельства доставили ему возможность вырости на свободѣ, а знакомство съ нѣмцами довершило торжество его стремленій надъ старинною рутиной придворныхъ обычаевъ и боярской неподвижности [1]).

---

[1]) Изъ дѣтства Петра г. Устряловъ приводитъ два случая, какъ совершенно достовѣрные, въ доказательство пылкости и стремительности его натуры, выразившихся уже и въ дѣтской его рѣзвости и живости. Первый случай разсказываетъ Лизенъ, бывшій секретаремъ цесарскаго посольства въ Москвѣ, въ послѣдній годъ жизни Алексѣя Михайловича. Когда послы представлялись царю, царица, мать Петра, по обыкновенію не могшая присутствовать при аудіенціи, смотрѣла на пріемъ пословъ изъ-за двери сосѣдняго покоя. Петръ, еще трехлѣтній мальчикъ, былъ тутъ же при матери: вѣроятно, ему наскучило смотрѣть изъ-за двери и показалось страннымъ, что ему нельзя войти туда, гдѣ другіе: онъ распахнулъ двери настежь и этимъ, замѣчаетъ Лизенъ, далъ возможность посламъ увидѣть московскую государыню (Устр. Т. I, стр. 10). Другой случай записанъ Кемпферомъ въ своихъ запискахъ. Это было въ 1683 г., тоже при представленіи пословъ; Петру было тогда уже одиннадцать лѣтъ. Онъ сидѣлъ на тронѣ, вмѣстѣ съ братомъ — Іоанномъ. «Старшій братъ, надвинувъ шапку на глаза, съ потупленнымъ взоромъ, никого не видя, сидѣлъ почти неподвижно; младшій—смотрѣлъ на всѣхъ съ открытымъ, прелестнымъ лицомъ, на которомъ, при обращеніи къ нему рѣчи, безпрестанно играла кровь юношества. Дивная красота его, говоритъ Кемпферъ, плѣняла всѣхъ предстоявшихъ, а живость его

Самыя удовольствія, бывшія при дворѣ предшественниковъ Петра, не успѣли привиться къ нему. Онъ не любилъ соколиной охоты, не любилъ проводить цѣлые дни, забавляясь шутами и дураками. Между тѣмъ, царь Алексѣй Михайловичъ самъ сочинилъ «*Урядникъ*», въ которомъ изложилъ чинъ охоты; охота была при немъ дѣломъ высокой важности, дѣломъ государственнымъ. При немъ посылали особыхъ, нарочитыхъ людей, для сокольей и кречетьей ловли, даже до Тобольска. Столь важное значеніе имѣла въ то время охота! Но Петръ не имѣлъ къ ней пристрастія, точно также, какъ и къ музыкѣ, которая тоже введена была при дворѣ Алексѣя Михайловича. Онъ признался въ этомъ курфирстинѣ ганноверской, съ которой видѣлся въ Коппенбургѣ, во время своего путешествія, въ 1697 г. «Я болѣе всего люблю плавать по морямъ, спускать фейерверки, строить корабли», сказалъ онъ, и далъ принцессѣ пощупать свои руки, загрубѣвшія отъ работы (Устр. Т. III, стр. 58).

Шутовъ Петръ еще держалъ при себѣ, но при немъ они играли уже не ту роль, что прежде; они рѣзали бороды приближеннымъ боярамъ, да подсмѣивались надъ стариной. Прежніе шуты, напротивъ, служили почти всегда праздною потѣхою, и «царское *жалованье*» къ нимъ было сообразно съ этимъ ихъ назначеніемъ. Въ сочиненіи Берха, о царствованіи Ѳеодора Алексѣевича, помѣщены два указа о спѣвакѣ Григорьѣ и о дуракѣ Тарасѣ (прилож. XIII и XIV); въ одномъ говорится: «Великій государь-царь и Великій князь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ указалъ — спѣвакѣ Григорью Воробьеву сдѣлать рукавицы суконныя, кармазиновыя». Въ другомъ, съ такими же величаніями, заключается приказъ о томъ, чтобы сшить дураку Тарасу кафтанъ суконный; и мѣрка его опредѣлена подробно... Впрочемъ, иногда шуты получали «жалованье» и побольше: такъ, при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, шуту Чердынцу Бухонину пожалованъ былъ *Печерскій волокъ*...

Потѣха шутами и дураками не нужна была Петру уже и потому, что онъ нашелъ возможность лучшаго веселья, открывши свободный входъ въ общество женщинѣ. Запертая въ своемъ теремѣ, не видя свѣта, не зная никакихъ развлеченій, русская дѣвушка, подъ родительскимъ надзоромъ, и потомъ женщина, подъ властью мужа, не могла не роптать на свою грустную участь. Свидѣтельство этого слышится въ нашихъ народныхъ пѣсняхъ.

приводила въ замѣшательство степенныхъ сановниковъ московскихъ. Когда посланникъ подалъ вѣрющую грамоту и оба царя должны были встать въ одно время, чтобы спросить о королевскомъ здоровьи, младшій не далъ времени дядькамъ приподнять себя и брата, какъ требовалось этикетомъ, быстро всталъ съ своего мѣста, самъ приподнялъ царскую шапку и бѣгло заговорилъ обычный привѣтъ: «его королевское величество, братъ нашъ Королусъ свейскій поздорову-ль?» Петру было тогда съ небольшимъ одиннадцать лѣтъ; но Кемпферу онъ показался не менѣе шестнадцати лѣтъ» (Устр. Т. II, стр. 1, 2).

Но болѣе всѣхъ испытывали все горе затворничества дочери царя. Объ ихъ положеніи очень хорошо говоритъ Кошихинъ въ 25 статьѣ первой главы своей книги. Но его выраженія могутъ показаться не совсѣмъ изящными для тонкаго вкуса современныхъ читателей, и потому мы приведемъ его замѣчанія не въ подлинникѣ, а въ изящномъ и краснорѣчивомъ перифразѣ, какой сдѣлалъ изъ нихъ г. Устряловъ (т. I, стр. 25).

«Никакой монастырь не могъ быть скромнѣе и благочестивѣе царскихъ теремовъ, гдѣ въ глубокомъ уединеньи, частію въ молитвѣ и постѣ, частію въ занятіяхъ рукодѣліемъ и въ невинныхъ забавахъ съ сѣнными дѣвушками, проводили дни благовѣрныя царевны, дочери Михаила и Алексѣя. Никогда постороній взоръ не проникалъ въ ихъ хоромы; только патріархъ и ближніе сродники царицы могли имѣть къ нимъ доступъ. Самые врачи приглашались развѣ въ случаѣ тяжкаго недуга, и не должны видѣть лица больной царевны. Въ церковь онѣ выходили скрытыми переходами и становились въ такомъ мѣстѣ, гдѣ были никѣмъ не зримы. Если же отправлялись во святыя обители внѣ дворца, для молитвы, или въ окрестныя дворцовыя села, что случалось, впрочемъ, рѣдко, то выѣзжали въ колымагахъ и рыдванахъ, отвсюду закрытыхъ, съ завѣшанными тафтою стеклами. Не было при дворѣ ни одного праздника или торжества, на которое являлись бы царевны. Только погребеніе отца или матери вызывало ихъ изъ терема: онѣ шли за гробомъ въ непроницаемыхъ покрывалахъ. Народъ зналъ ихъ единственно по имени, возглашаемому въ церквахъ при многолѣтіи царскому дому, также по щедрымъ милостынямъ, которыя онѣ приказывали раздавать нищимъ. Ни одна изъ нихъ не испытала радостей любви, и всѣ онѣ умирали безбрачными, большею частію въ лѣтахъ преклонныхъ. Выходить царевнамъ за подданныхъ запрещалъ обычай; выдавать ихъ за принцевъ иноземныхъ мѣшали многія обстоятельства [1]), въ особенности различіе вѣроисповѣданій».

Подобную жизнь вели вообще дѣвушки въ древней Руси, исключая, разумѣется, того обстоятельства, что для нихъ предстояло впереди замужество. Но и въ замужествѣ затворничество не прекращалось, и въ кругу мужчинъ могли быть только женщины, уже отверженныя отъ общества, о существованіи которыхъ въ древней Руси, совершенно независимо отъ Нѣмецкой Слободы, разсказываетъ Таннеръ. Онъ говоритъ, что видѣлъ «на рынкѣ, въ Китаѣ городѣ, многихъ женщинъ, которыя были нарумянены, набѣлены и держали во рту бирюзовые перстни. На вопросъ, что это значитъ, отвѣчали мнѣ, что женщины эти торгуютъ своими прелестями» (см. у Берха, Царств. Ѳеод. Ал., стр. 68). Очевидно, что этотъ разрядъ женщинъ еще болѣе унижалъ положеніе женщины въ древней Руси, и судьба ея вообще была невесела.

Нѣтъ сомнѣнія, что и Петръ, воспитывавшійся долго на женскихъ рукахъ, слыхалъ грустныя жалобы своей матери и сестеръ; а примѣръ Софіи долженъ былъ доказать ему, какія странныя и и грустныя явленія возможны, когда развитіе и жизнь женщины принуждены итти неестественнымъ путемъ. Если въ Петрѣ, до

---

[1]) Кошихинъ прибавляетъ, между прочимъ: «да и для того, что иныхъ государствъ языка и политики не знаютъ».

знакомства съ жизнью иноземцевъ въ Нѣмецкой Слободѣ, и не было мысли объ измѣненіи общественнаго положенія женщины въ Россіи,—то, по крайней мѣрѣ, въ немъ не могла развиться и особенная любовь къ ея заключенному, *тюремному* положенію въ древней Руси.

Небезызвѣстны, конечно, были Петру, еще отроку, и другія общественныя отношенія, не проявлявшіяся, можетъ быть, прямо при дворѣ, но тѣмъ не менѣе дававшія всему управленію какой-то особенный отпечатокъ нестройности, неурядицы, ненадежности. Военныя дѣйствія, напр., производились около этого времени далеко отъ Москвы, въ краяхъ пограничныхъ; тѣмъ не менѣе, до правительства доходили извѣстія о *непорядкахъ* въ войскѣ, и непорядки эти гласно и всенародно выставлялись на видъ при началѣ каждаго новаго похода. Въ 1677 г., созывая воиновъ и посылая ихъ въ походъ, Ѳеодоръ Алексѣевичъ писалъ: «Вѣдомо намъ учинилось, что изъ васъ многіе сами, и люди ваши, идучи дорогою, въ селахъ и деревняхъ, и на поляхъ, и на сѣнокосахъ, уѣздныхъ людей били и грабили, и что кому надобно, то у нихъ отнималось безденежно, и во многихъ мѣстахъ луга лошадьми вытомчили и хлѣбъ потравили». Послѣ исчисленія всякихъ обидъ, чинимыхъ жителямъ отъ ратныхъ людей, дается имъ совѣтъ впредь того не дѣлать, подъ страхомъ наказанія. (См. Берха, Царств. Ѳеод. Алекс., прилож. XIX). Подобный же указъ данъ былъ и предъ первымъ крымскимъ походомъ. Кромѣ того, важною статьей въ старинныхъ походахъ русскихъ были *нѣмчики*: въ первомъ крымскомъ походѣ, въ стотысячномъ войскѣ Голицына ихъ оказалось болѣе 1300. Многіе являлись на смотръ, но потомъ отставали на походѣ. Такъ, въ полку Гордона на смотру Бутырскомъ было 894 человѣка; а въ Ахтырку пришло только 789 (Устр. Т. I, стр. 195). Даже не имѣя никакихъ положительныхъ свидѣтельствъ, можно сообразить, что Петру не могло быть неизвѣстнымъ подобное положеніе дѣлъ, и что оно не могло ему нравиться. Это мы должны предположить уже и потому, что съ десяти лѣтъ Петръ, вмѣстѣ съ Іоанномъ, величался царемъ всея Руси; онъ принималъ пословъ, именемъ его писались указы, на его имя подавались челобитныя и донесенія. Если онъ не интересовался самъ по себѣ этими дѣлами, то его мать, родственники и приверженцы должны были стараться обратить на нихъ его вниманіе. Но, кромѣ этого, весьма естественнаго соображенія, на то, что Петру отчасти извѣстны были текущія дѣла, указываютъ нѣкоторыя сохранившіяся свидѣтельства. Съ 1686 г., т. е. съ четырнадцатилѣтняго возраста. Петръ внушаетъ уже страхъ Софіи, и она старается, по возможности, преслѣдовать даже тѣхъ, на которыхъ обращалась его благосклонность. Вообще—Петръ былъ центромъ, около котораго сосредоточивалась борьба двухъ партій. Приверженцы Софіи смотрѣли на него, какъ на главную помѣху въ ихъ дѣйствіяхъ; противники царевны возлагали на него всѣ свои надежды. Кромѣ родствен-

никовъ царицы, въ числѣ первыхъ явныхъ приверженцевъ Петра замѣчательны: князь Михаилъ Алегуковичъ Черкасскій и князь Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ. На нихъ также обращено было вниманіе враговъ Петра. Князь Василій Васильевичъ Голицынъ особенно боялся князя Черкасскаго, который не боялся открыто порицать не только его, но и Софію. Во время перваго крымскаго похода, Голицынъ неоднократно писалъ къ Шакловитому, съ безпокойствомъ освѣдомляясь, что этотъ «*пріятель* о немъ глаголетъ». Въ одномъ письмѣ онъ умоляетъ Шакловитаго смотрѣть за Черкасскимъ «недреманнымъ окомъ», «*отбивать* его хотя бъ патріархомъ или царевною Анною Михайловной, или Татьяной Михайловной». Въ другомъ письмѣ онъ спрашиваетъ: «пожалуй, отпиши, нѣтъ ли какихъ дьявольскихъ препонъ *отъ тѣхъ?*» (Устр. Т. I, стр. 341). По всей вѣроятности, подъ *тѣми* разумѣется опять партія Петра.

Съ своей стороны, приверженцы Петра также слѣдили за людьми и старались отыскивать и представлять Петру людей надежныхъ и имъ благопріятныхъ. Что представленія Петру разныхъ лицъ были дѣломъ обыкновеннымъ и что за ними зорко слѣдили приверженцы обѣихъ партій, видно изъ слѣдующей выписки изъ письма Шакловитаго къ Голицыну во время перваго крымскаго похода: «Сего жъ числа, послѣ часовъ были у государя у руки новгородцы, которые ѣдутъ на службу; и какъ ихъ изволилъ жаловать государь царь Петръ Алексѣевичъ въ то время подступя, нарочно вставъ съ лавки, Черкасскій объявилъ тихимъ голосомъ князь Василья Путятина; прикажи, государь мой, въ полку присмотрѣть, каковъ онъ тамъ будетъ» (Устр. т. I, прил. VII, стр. 356). Изъ этого видно, что официальныя представленія государю совершались въ то время предъ Петромъ, но частный доступъ къ нему для лицъ постороннихъ былъ, вѣроятно, не совсѣмъ удобенъ. Иначе не зачѣмъ было бы князю Черкасскому, при торжественномъ отпускѣ, *тихимъ голосомъ*, рекомендовать ему Путятина. Князь могъ, конечно, знать, что такая рекомендація обратитъ на Путятина непріязненное вниманіе противной партіи, и постарался бы, конечно, частнымъ образомъ представить его Петру. Но Софія, какъ видно, боялась расширенія круга Петровыхъ приверженцевъ и всячески затрудняла доступъ къ нему. Это, между прочимъ, доказывается показаніемъ стольника Григорья Языкова (въ разыскномъ дѣлѣ о Шакловитомъ). Языковъ этотъ какъ-то выразилъ неудовольствіе, что государское имя царя Петра Алексѣевича видимъ, а бить челомъ ему ни о чемъ не смѣемъ». За это Шакловитый подвергъ Языкова жестокой пыткѣ и потомъ выслалъ изъ Москвы, съ строжайшимъ указомъ, подъ смертною казнью, никому не говорить, куда его приводили и о чемъ разспрашивали .. Подобнымъ образомъ пыталъ Шакловитый татарина Обраима Долокодзина, разспрашивая, для чего бывалъ онъ у Кирилла Полуектовича Нарышкина и у князя Бориса Алексѣевича Голицына (Устр. Т. II, стр. 38).

Видно, что опасно было приближаться даже къ любимцамъ Петра во время владычества Софіи.

Очевидно, однакожъ, что нельзя было усмотрѣть за всѣми, и, преслѣдуя всѣхъ подозрѣваемыхъ въ приверженности къ Петру, Софія только еще болѣе ожесточала противную партію, которая очень откровенно и свободно, въ присутствіи Петра, выказывала въ Преображенскомъ свою непріязнь къ правительницѣ и ея партіи. Еще въ апрѣлѣ 1686 г., когда Петру не было и четырнадцати лѣтъ, и Софія «учала писаться вмѣстѣ съ братьями самодержицею», Наталья Кирилловна съ негодованіемъ говорила теткамъ и старшимъ сестрамъ Софіи: «для чего учала она писаться съ великими государями обще? У насъ люди есть, и того дѣла не покинутъ». Петру, безъ сомнѣнія, объяснено было тогда же это обстоятельство, хотя возможность гласно протестовать противъ него представлялась только черезъ три года. Въ 1689 г., Петръ писалъ къ брату изъ Троицкой Лавры: «какъ сестра наша, царевна Софія Алексѣевна, государствомъ нашимъ учала владѣть своею волею, и въ томъ владѣніи что явилось особамъ нашимъ противное, и народу тягость, и *наше терпѣніе*, о томъ тебѣ, государь, извѣстно... А теперь, государь братецъ, настоитъ время нашимъ обѣимъ особамъ Богомъ врученное намъ царствіе править самимъ, понеже пришли есми въ мѣру возраста своего [1]), а третьему зазорному лицу, сестрѣ нашей (Ц. С. А.) съ нашими двумя мужескими особами въ титлахъ и въ расправѣ дѣлъ быти не изволяемъ; на то бъ и твоя бъ государя моего брата воля склонилася, потому, что стала она въ дѣла вступать и въ титлахъ писаться собою безъ нашего изволенія» (Устр. II, 78). Петръ упоминаетъ здѣсь о своемъ *терпѣніи*, конечно, не безъ основанія. Ясно, что онъ давно уже смотрѣлъ съ горькимъ чувствомъ на самовластіе сестры. Вообще, въ Преображенскомъ противъ нея говорилось много дурного. Изъ разыскнаго дѣла о Шакловитомъ оказалось, что постельницы Натальи Кирилловны переносили Софіи враждебныя рѣчи царицы и ея братьевъ. Онѣ извѣщали Софію, что «въ комнатѣ ихъ говорятъ про нее непристойныя и бранныя слова и здравія ей не желаютъ, а пуще всѣхъ Левъ Нарышкинъ и князь Борисъ». Шакловитый, утѣшая при этомъ Софію, говорилъ ей: «чѣмъ тебѣ, государыня, не быть, лучше царицу известь». То же говорилъ и Василій Голицынъ: «для чего и прежде,—сказалъ онъ,—не уходили ее, вмѣстѣ съ братьями? Ничего бы теперь не было» Можетъ быть, что эти рѣчи обратно переносимы были кѣмъ-нибудь къ Нарышкинымъ и еще болѣе воспламеняли ихъ ненависть. Все это Петръ долженъ былъ терпѣть, и въ этомъ терпѣніи болѣе и болѣе закалялся его энергическій, неутомимый ха-

---

[1]) Петръ, очевидно, говоритъ здѣсь объ одномъ себѣ, потому что Іоаннъ родился въ 1666 г., слѣд. ему было уже 16 лѣтъ при смерти Ѳеодора, а теперь было уже 23 года.

рактеръ. Характеръ этотъ проявился уже почти вполнѣ сложившимся вскорѣ послѣ перваго крымскаго похода, въ ссорѣ съ Софіей. Послѣ второго же похода произошелъ рѣшительный разрывъ, показавшій, что Петръ лучше, можетъ быть, чѣмъ сама Софія, зналъ и понималъ весь ходъ крымскихъ походовъ и уже рѣшился ясно и открыто опредѣлить свои отношенія — какъ къ сестрѣ, такъ и къ вельможамъ-любимцамъ ея, Голицыну и Шакловитому. Съ этого времени могучая воля Петра является главнымъ двигателемъ послѣдующихъ происшествій.

Но важнѣйшее событіе Петровой юности, нѣсколько разъ отзывавшееся ему и впослѣдствіи и имѣвшее, безъ сомнѣнія, самое сильное вліяніе на развитіе его характера, было возстаніе стрѣльцовъ. Намъ нѣтъ надобности разсказывать здѣсь это кровавое событіе, столько десятковъ разъ уже разсказанное въ разныхъ исторіяхъ, служившее предметомъ столькихъ разсужденій и соображеній и, наконецъ, сдѣлавшееся такъ общеизвѣстнымъ. Мы упомянемъ только о нѣкоторыхъ чертахъ его, которыя, по нашему мнѣнію, должны были служить къ развитію нѣкоторыхъ сторонъ характера Петра.

Извѣстно, что царевна Софія похвалила и наградила стрѣльцовъ за ихъ буйства, которыя она назвала *побіеніемъ за домъ Пресвятыя Богородицы*. Понятно, какое впечатлѣніе должно было это произвести на Петра. Правда, «мы не знаемъ,—какъ говоритъ г. Устряловъ,—съ какими чувствами смотрѣлъ Петръ на страшное зрѣлище, на гибель дядей, на слезы и отчаяніе матери, на преступныя дѣйствія сестры, готовой все принести въ жертву своему властолюбію» (Устр. т. I, стр. 45). Но за то мы знаемъ, какъ смотрѣла на все событіе партія приверженцевъ Петровыхъ, по минованіи перваго страха. Конечно, Петру были сообщены тѣ же воззрѣнія, которыя, хотя и были, конечно, односторонни и пристрастны, но не могли не быть имъ приняты, потому что согласны были съ его собственными, личными впечатлѣніями. Мы имѣемъ, между прочимъ, два описанія перваго стрѣлецкаго мятежа, весьма рѣзко отличающіяся между собою. Одно составлено Матвѣевымъ, котораго отецъ убитъ былъ стрѣльцами, другое — Медвѣдевымъ, сторонникомъ Софіи. Параллельно сличать ихъ разсказъ чрезвычайно любопытно. Оба они стрѣльцовъ не оправдываютъ. Но во взглядѣ на причины, породившія событіе, оба автора далеко расходятся, и историку нужно много проницательности и безпристрастія, чтобы изъ ихъ противорѣчащихъ показаній вывести заключеніе безукоризненно-вѣрное. Къ сожалѣнію, изложеніе этого событія въ сочиненіи г. Устрялова не удовлетворило насъ. Онъ слишкомъ много далъ вѣсу сказаніямъ Матвѣева и мало обратилъ вниманія на Медвѣдева, который уже и потому заслуживаетъ особеннаго вниманія, что подробно и обстоятельно разсказываетъ о началѣ дѣла, изложенномъ у Матвѣева очень кратко и неопредѣлительно. Притомъ же, сказанія Медвѣдева о причинахъ бунта со-

вершенно согласны съ донесеніемъ датскаго резидента, Бутенанта фонъ-Розенбуша, напечатаннымъ у г. Устрялова въ VI приложеніи къ первому тому исторіи Петра (стр. 330—346). Матвѣевъ, какъ и вся партія, противная Софіи, видитъ въ бунтѣ стрѣльцовъ не болѣе, какъ интригу Ивана Михайловича Милославскаго, котораго онъ поэтому и называетъ *скорпіономъ*, заразившимъ ядомъ своимъ все войско стрѣлецкое. Въ этомъ же родѣ разсказываетъ и г. Устряловъ, представляя, разумѣется, Милославскаго орудіемъ Софіи (т. I, стр. 28—31). «Софія,—говоритъ онъ,—хотѣла вырвать кормило правленія изъ рукъ ненавистной мачихи. Въ замыслѣ своемъ она открылась Милославскому, который указалъ ей на стрѣльцовъ и далъ совѣтъ возмутить ихъ. Рѣшено было разгласить въ стрѣлецкихъ слободахъ разныя клеветы на Нарышкиныхъ, и тѣмъ подвигнуть ихъ къ бунту. Такъ и сдѣлали: въ стрѣлецкихъ слободахъ молва смѣнялась молвою, одна другой зловѣщѣе. Наконецъ, разнесся слухъ, что Нарышкины задушили царевича. Мятежъ вспыхнулъ». Въ такомъ видѣ представляется дѣло стрѣльцовъ современному историку, который мало придаетъ значенія предыдущимъ обстоятельствамъ. Тѣмъ естественнѣе было партіи, сдѣлавшейся жертвою кроваваго возстанія, не видѣть въ немъ ничего, кромѣ интригъ Софіи и ея приверженцевъ. Въ стрѣльцахъ всѣ, близкіе къ Петру, видѣли своихъ личныхъ враговъ, видѣли злодѣевъ, готовыхъ на все по первому слову враждебной имъ партіи. То же чувство успѣло запасть и въ душу Петра, и оно, можетъ быть, вызвало его на потѣшныя игры, сдѣлавшіяся началомъ образованія у насъ регулярнаго войска. Чувство это выражалось потомъ въ недовѣріи къ стрѣльцамъ, въ разсылкѣ ихъ изъ Москвы на границы и въ отдаленные города и, наконецъ, въ ужасномъ стрѣлецкомъ розыскѣ 1698 года. Ничто не могло измѣнить мнѣнія Петра о стрѣльцахъ, ничто не могло уничтожить въ немъ убѣжденія, что это—опасные крамольники, своевольные злодѣи, готовые всякую минуту поднять знамя бунта. Много лѣтъ спустя, готовясь уже уничтожить стрѣльцовъ (въ 1698 году), Петръ вспоминалъ, что это все—«сѣмя Ивана Михайловича (Милославскаго) растетъ» (Устр., т. III, стр. 145): такъ сильны въ немъ были впечатлѣнія дѣтскихъ лѣтъ, такъ глубоко хоронилось въ душѣ его убѣжденіе, что виною всего была крамола Милославскаго!

Но событія, слѣдовавшія за первымъ стрѣлецкимъ бунтомъ, до 1698 года, должны были показать Петру, что крамола Милославскаго была только случайнымъ обстоятельствомъ, которое пришлось стрѣльцамъ очень кстати и безъ котораго, однакожъ, они поступили бы точно также. Само собою разумѣется, что отъ этого открытія не могло и не должно было исчезнуть въ Петрѣ чувство отвращенія къ стрѣлецкой крамолѣ. Тѣмъ не менѣе, при разъясненіи дѣла, не могло не возникнуть въ душѣ Петра другое чувство, болѣе широкое и сильное: это — отвращеніе отъ всего порядка дѣлъ, производившаго такія явленія, какъ мятежъ стрѣлец-

кій. Что мятежъ этотъ не былъ просто произведеніемъ Софіи и Милославскаго, а зародился гораздо ранѣе, вслѣдствіе обстоятельствъ совершенно другого рода, въ этомъ Петръ не могъ не убѣдиться послѣдующими событіями и розысками, въ разное время произведенными о стрѣльцахъ. Изъ розысковъ этихъ, равно какъ изъ правительственныхъ актовъ того времени и изъ описанія Медвѣдева, оказывается слѣдующее.

Стрѣльцы составляли лучшее московское войско въ продолженіе цѣлаго столѣтія. Со временъ Бориса Годунова, ихъ подвиги безпрестанно упоминаются въ описаніяхъ дѣлъ ратныхъ. Мало того— во все предыдущее время они отличались непоколебимой вѣрностью престолу и отвращеніемъ отъ всякихъ своевольныхъ дѣйствій. Г. Устряловъ говоритъ о нихъ: «среди смутъ и неустройствъ XVII в., московскіе стрѣльцы содѣйствовали правительству къ возстановленію порядка: они смирили бунтующую чернь въ селѣ Коломенскомъ, подавили мятежъ войска на берегахъ Семи и вмѣстѣ съ другими ратными людьми нанесли рѣшительное пораженіе Разину подъ Симбирскомъ; а два полка московскихъ стрѣльцовъ, бывшіе въ Астрахани, при разгромѣ ея злодѣемъ, хотѣли лучше погибнуть, чѣмъ пристать къ его сообщникамъ, и погибли» (Т. I, стр. 21). Такая вѣрность, доходившая до самоотверженія, была необходимою и естественною оплатою со стороны стрѣльцовъ за тѣ преимущества и привилегіи, какими они постоянно пользовались. Имъ давалось отъ казны оружіе и одежда, тогда какъ помѣстные владѣльцы съ своими людьми должны были снаряжаться въ походъ на собственномъ иждивеніи. Кромѣ того, стрѣльцамъ производилось отъ казны жалованье. Сверхъ этого—имъ дозволялось заниматься торговлею и различными промыслами, при чемъ они также освобождены были отъ нѣкоторыхъ повинностей. Суду они подлежали только въ своемъ приказѣ, исключая случаевъ воровства и разбоя. Замѣтимъ при этомъ, что стрѣльцы въ концѣ XVII вѣка были большею частію дѣти стрѣльцовъ же; слѣдовательно, права и привилегіи ихъ имѣли уже въ это время видъ какъ бы наслѣдственный. Изъ постороннихъ людей поступали въ стрѣльцы люди вольные, по своей охотѣ, и за каждаго охотника обыкновенно ручался какой-нибудь старый стрѣлецъ. Ясно изъ этого, что стрѣльцы должны были дорожить своей службой и всѣми силами стоять за тотъ порядокъ вещей, при которомъ они могли пользоваться такими удобствами. Точно также очевидно и то, что съ разстройствомъ этого порядка постепенно должна была разстраиваться и вѣрность стрѣльцовъ. До нихъ дошло дѣло позже, чѣмъ до другихъ, но дошло, наконецъ, и до нихъ; тогда они и возстали. Г. Устряловъ, кажется, самъ признаетъ это, хотя и не проводитъ послѣдовательно въ своемъ изложеніи перваго стрѣлецкаго бунта. Мы видѣли выше, что онъ слишкомъ много приписываетъ Софіи и Милославскому; тѣмъ не менѣе, за нѣсколько страницъ раньше, онъ дѣлаетъ слѣдующія, большею частію вполнѣ справедливыя замѣчанія.

«Первою, главною виною зла было всеобщее разслабленіе гражданскаго порядка, обнаружившееся съ половины XVII в. неоднократными бунтами. Не взирая на всю заботливость государей изъ дома Романовыхъ утвердить и обезпечить права и преимущества подданныхъ силою закона, во всѣхъ частяхъ тогдашняго управленія свирѣпствовала общая зараза—безсовѣстное корыстолюбіе. Народъ постоянно роптalъ на лихоимство, неправосудіе и жестокосердіе лицъ, облеченныхъ властію. Самые ближніе царскіе совѣтники не избѣгали нареканій. Общія жалобы и сѣтованія въ особенности усилились въ царствованіе Ѳеодора Алексѣевича. Въ Москвѣ только и говорили о неправдахъ и обидахъ. Стрѣльцы роптали громче другихъ. Издавна дарованное имъ право торговли, съ значительными преимуществами предъ людьми посадскими, поставило ихъ въ положеніе, несообразное съ званіемъ воиновъ, и повлекло за собою неминуемое разслабленіе воинскаго порядка: пустившись въ промыслы, которыми пріобрѣтали значительныя богатства, они думали только о корысти, нерадиво исполняли свои прямыя обязанности, тяготились службою, и самыя справедливыя мѣры строгости считали жестокимъ для себя притѣсненіемъ. Тѣмъ нестерпимѣе было для нихъ наглое насиліе, явное корыстолюбіе, которое, *по всей вѣроятности* (!), и имъ не давало пощады» (т. I, стр. 21—22).

Факты, разсказанные самимъ г. Устряловымъ, не позволяютъ сомнѣваться, что стрѣльцы не *по всей вѣроятности*, а дѣйствительно терпѣли отъ насилія и корыстолюбія тогдашнихъ правителей. Сначала стрѣльцы только роптали на обиды, имъ причиняемыя; потомъ ропотъ ихъ принялъ характеръ жалобы и угрозы. Еще при царѣ Ѳеодорѣ, незадолго до его кончины (въ апрѣлѣ 1682 г.), стрѣльцы одного полка били челомъ на своего полковника, Семена Грибоѣдова «въ несправедливомъ порабощеніи и немилостивомъ мучительствѣ». Главныя обвиненія были тѣ, что Грибоѣдовъ не доплачивалъ стрѣльцамъ жалованья и заставлялъ ихъ строить для него загородный домъ, не увольняя отъ работы даже на свѣтлую недѣлю. Челобитную эту принялъ дьякъ Павелъ Языковъ и велѣлъ принесшему ее стрѣльцу прійти за отвѣтомъ на другой день. Представляя эту жалобу князю Долгорукому, управлявшему тогда Стрѣлецкимъ приказомъ, Языковъ сказалъ, что челобитная принесена пьянымъ стрѣльцомъ, который притомъ бранился и грозилъ. Долгорукій велѣлъ высѣчь стрѣльца кнутомъ, «чтобы другимъ неповадно было и чтобы впредь были всегда полковникамъ отъ того страха въ покорепіи тяжкомъ», по замѣчанію Медвѣдева. «О неразумнаго и бѣдственнаго совѣта,—прибавляетъ этотъ писатель:—яко неправеднымъ паче хощутъ народъ удержати страхомъ, нежели праведною любовію»! (Медв., у Туманск. VI, 54). Къ этому г. Устряловъ, основываясь на «реляціи» датскаго резидента, прибавляетъ слѣдующія подробности. Стрѣльца, принесшаго просьбу, дѣйствительно взяли, отвели къ съѣзжей избѣ и тамъ, въ толпѣ собравшихся стрѣльцовъ, объявили приговоръ, и приказные служители готовились тутъ же исполнить его. Стрѣлецъ закричалъ толпѣ: «просьбу я подавалъ съ вашего согласія; зачѣмъ же вы допускаете ругаться надо мною»? Воззваніе имѣло свое дѣйствіе: стрѣльцы отняли своего товарища, при чемъ побили приказныхъ служителей и добирались до самаго дьяка, который успѣлъ однако ускакать. На другой день, во всѣхъ стрѣлецкихъ полкахъ обнаружилось силь-

ное волненіе. Отъ 16 полковъ (всѣхъ было тогда въ Москвѣ 19) написали челобитныя одного содержанія и хотѣли подать ихъ самому Ѳеодору. Но въ это самое время Ѳеодоръ умеръ (27 апрѣля 1682 г.).

Извѣстно, что стрѣльцы нимало не препятствовали нареченію Петра царемъ, не обнаружили никакихъ враждебныхъ расположеній къ новому правительству и безпрекословно присягнули, вмѣстѣ съ другими. Ясно, что они ничего болѣе не замышляли, какъ только отыскать въ высшемъ правосудіи защиту противъ своихъ полковниковъ. На третій день по воцареніи Петра, къ его дворцу пришла толпа стрѣльцовъ съ тою же челобитною, которую хотѣли подать Ѳеодору Алексѣевичу. Въ челобитной было длинное исчисленіе обидъ, причиненныхъ стрѣльцамъ полковниками и даже низшими начальниками. «Они,—говорилось въ челобитной,—стрѣльцамъ налоги и обиды, и всякія тѣсности чинили и приметывались къ нимъ для взятковъ своихъ и для работы, и били жестокими побоями, и на ихъ стрѣлецкихъ земляхъ построили загородные огороды, и всякія овощи и сѣмена на тѣхъ огородахъ покупать имъ велѣли на сборныя деньги; и для строенія и работы на тѣ свои загородные огороды ихъ и дѣтей ихъ посылали работать; и мельницы дѣлать, и лѣсъ чистить, и сѣно косить, и дровъ сѣчь и къ Москвѣ на ихъ стрѣлецкихъ подводахъ возить заставливали... и для тѣхъ своихъ работъ велѣли имъ покупать лошадей неволею, бивъ батоги; и кафтаны цвѣтные съ золотыми нашивками, и шапки бархатныя, и сапоги желтые неволею же дѣлать имъ велѣли. А изъ государскаго жалованья вычитали у нихъ многія деньги и хлѣбъ, и съ стѣнныхъ и прибылыхъ карауловъ по 40 и по 50 человѣкъ спускали и имали за то съ человѣка по 4 и по 5 алтынъ, и по 2 гривны, и больше, а съ недѣльныхъ по 10 алтынъ, и по 4 гривны, и по полтинѣ; жалованье же, какое на тѣ караулы шло, себѣ брали; а къ себѣ на дворъ, кромѣ денщиковъ, многихъ брали въ караулъ и работу работать». Все это стрѣльцы хотѣли *доправить*, и для того представили при челобитной даже счетъ недоплаченнаго жалованья. Кромѣ того, стрѣльцы требовали, чтобы полковники были отставлены и выданы имъ головою для правежа. Положеніе новаго правительства въ этомъ случаѣ едва ли было слишкомъ затруднительно. Челобитная была написана обдуманно и спокойно; стрѣльцы обращались къ правительству съ полнымъ довѣріемъ, требуя только правосудія; фактовъ въ челобитной было представлено такъ много, и выставлены они были такъ опредѣлительно, что разыскать ихъ было нетрудно. Правительство Нарышкиныхъ могло въ это время удовлетворить справедливымъ требованіямъ стрѣльцовъ, не роняя своего достоинства, не выказывая своей слабости. Но оно не сумѣло поддержать себя. Испуганное криками нѣкоторыхъ стрѣльцовъ, что въ случаѣ отказа они пойдутъ и сами перебьютъ своихъ полковниковъ, — правительство согласилось на требованія челобитчиковъ, не предоставивши себѣ

даже права изслѣдовать дѣло. Но, дѣлая это пожертвованіе, не умѣли и его сдѣлать вполнѣ: не выдали полковниковъ стрѣльцамъ въ слободы на полную волю, какъ тѣ требовали, а приняли дѣло расправы съ полковниками на себя. Патріархъ и другія духовныя лица уговорили стрѣльцовъ сдѣлать эту уступку, стрѣльцы согласились: видно, что довѣріе къ новому правительству еще не было потеряно. Но и этимъ благопріятнымъ обстоятельствомъ не умѣли воспользоваться: вмѣсто того, чтобы положить мѣру наказанія каждому полковнику по дѣламъ его, сообразившись предварительно съ требованіями стрѣльцовъ, имъ самимъ позволили распоряжаться при правежѣ. Въ теченіе восьми дней, полковниковъ били батогами ежедневно часа по два, до уплаты предъявленныхъ на нихъ счетовъ. Съ иныхъ взыскано было до 2000 рублей или червонныхъ. «Все дѣлалось именемъ правительства,—замѣчаетъ очевидецъ (датскій резидентъ),—но волею стрѣльцовъ: они толпились на площади, предъ приказомъ, и распоряжались какъ судьи; правежъ прекращался только тогда, когда они кричали: довольно! Иные полковники, на которыхъ они болѣе злобились, были наказываемы по два раза въ день». При всемъ томъ, стрѣльцы, какъ видно, не были вполнѣ довольны этимъ оборотомъ дѣла: въ то время, какъ одни расправлялись на площади передъ Разрядомъ съ полковниками, другіе принялись въ своихъ слободахъ за пятисотенныхъ и сотниковъ, которыхъ подозрѣвали въ единомысліи съ полковниками: ихъ сбрасывали съ каланчей, съ криками: любо! любо!... Князь Долгорукій,—тотъ самый, который хотѣлъ высѣчь кнутомъ стрѣльца, принесшаго общую челобитную въ приказъ,—старался теперь укротить стрѣльцовъ. Весьма естественно, что ему отвѣчали бранью и угрозами. Умы уже были раздражены, и, можетъ быть, правительству нужно было уже тогда сдѣлать что-нибудь побольше того, чѣмъ наказать полковниковъ, которые притѣсняли стрѣльцовъ. Напр., мы видимъ, что начальникъ Стрѣлецкаго приказа, князь Долгорукій, управлявшій имъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ, не былъ любимъ стрѣльцами и не умѣлъ съ ними обходиться; однакоже онъ остался на своемъ мѣстѣ и во время мятежа былъ убитъ.

Вмѣсто того, чтобы позаботиться объ отвращеніи общаго бѣдствія, Нарышкины въ это опасное время хлопотали только о себѣ. Въ самомъ разгарѣ стрѣлецкой расправы съ полковниками, Нарышкины забирали себѣ важныя мѣста въ государствѣ. Бояринъ Иванъ Языковъ отставленъ былъ отъ должности оружейничаго, и на мѣсто его опредѣленъ Иванъ Кирилловичъ Нарышкинъ, имѣвшій тогда всего 22 года отъ роду и отличавшійся чрезмѣрной пылкостью и рѣзкостью. Два брата Лихачевы были отставлены отъ должностей комнатнаго стольника и кравчаго, и вмѣсто нихъ назначены стольникомъ Аѳанасій Кирилловичъ Нарышкинъ, а кравчимъ — Кириллъ Алексѣевичъ Нарышкинъ. Стрѣльцы, не чуждые также родословныхъ интересовъ, негодовали на слишкомъ быстрое возвышеніе Нарышкиныхъ, не бывшихъ доселѣ въ числѣ родослов-

ной знати. Но главной причиной ихъ ропота было, вѣроятно, опасеніе, что родственники Нарышкиныхъ, забравши себѣ всю власть, станутъ ихъ притѣснять, какъ въ памятное тогда еще время первыхъ лѣтъ царствованія Алексѣя Михайловича притѣсняли народъ родственники Морозова и Милославскаго. Личный характеръ Ивана Нарышкина подтверждалъ подобныя опасенія: не даромъ же про него распустили басню, будто онъ надѣвалъ корону и хотѣлъ задушить царевича Іоанна. Басня была нелѣпа, но, выдумывая ее, старались же, конечно, о томъ, чтобъ она подходила къ его характеру: это было необходимо, чтобы сохранить хоть какое-нибудь правдоподобіе.

Со времени возвышенія Нарышкиныхъ и начинаются сношенія стрѣльцовъ съ приверженцами Софіи и сенсаціи въ пользу Іоанна, будто бы обойденнаго въ престолонаслѣдіи [1]). Еще болѣе стрѣльцы были раздражены и, можетъ быть, отчасти испуганы, когда Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ, призванный въ Москву изъ ссылки, какъ лучшая опора новаго правительства, сталъ упрекать его за излишнее послабленіе стрѣльцамъ и предсказывать, что данная имъ воля не поведетъ къ добру. Стрѣльцы тотчасъ узнали его рѣчи и еще съ тѣмъ прибавленіемъ, что, по совѣту Матвѣева, намѣрены произвести строгій розыскъ между стрѣльцами, главныхъ заводчиковъ казнить, а прочихъ разослать въ дальніе города. Черезъ три дня послѣ прибытія Матвѣева въ Москву, вспыхнулъ бунтъ — противъ Нарышкиныхъ. Стрѣльцамъ сказали, что они убили царевича Іоанна, и сами хотятъ властвовать. Вслѣдствіе этого, стрѣльцы бросились ко дворцу, чтобы удостовѣриться въ справедливости слуха. Увидавши, что царевичъ живъ, они успокоились и требовали только, чтобъ выдали имъ Ивана Нарышкина, надѣвавшаго царскую корону. Но и на этотъ счетъ умѣли успокоить ихъ Артамонъ Сергѣичъ Матвѣевъ и патріархъ. Стрѣльцы притихли, очевидно, не зная, что дѣлать. Въ эту-то критическую минуту оказалась величавая спесь одного изъ бояръ московскихъ. Князь Михаилъ Долгорукій (сынъ того, который хотѣлъ кнутовать стрѣльца, принесшаго челобитную), вздумалъ воспользоваться нерѣшительностью стрѣльцовъ и *пугнуть* ихъ. Онъ грозно крикнулъ на нихъ, повелѣвая немедленно удалиться. Но результатъ вышелъ совершенно противный его ожиданіямъ: стрѣльцы бросились на него и подняли его на копья. Вслѣдъ затѣмъ умертвили Матвѣева [2]), и потомъ началось кровопролитіе, котораго мы не хотимъ разсказывать.

---

[1]) Матвѣевъ говоритъ, правда, что это началось еще раньше; но ему можно и не вѣрить. Вѣдь сказалъ же онъ, что жалобы стрѣльцовъ на своихъ полковниковъ были ложныя: «подъ нѣкоторыми *ложными своими вымыслами, якобы* (!) за учиненныя имъ стрѣльцамъ отъ командировъ ихъ тягости и обиды и нападки, стали уже самихъ полковниковъ всемѣрно уничижать и ругать» (Туман. VI, 14).

[2]) Матвѣевъ (сынъ) въ описаніи мятежа говоритъ также, что прибытія Артамона Сергѣевича только и ждали стрѣльцы, руководимые Софіей, для начатія

Нѣтъ сомнѣнія, что истинныя начала стрѣлецкаго мятежа Петръ понялъ уже впослѣдствіи. Въ первое же время онъ не могъ его приписывать ничему иному, кромѣ злобы и властолюбія своей сестры. Враждебнаго чувства къ ней не могъ побѣдить онъ и впослѣдствіи, когда при открытіи третьяго стрѣлецкаго бунта онъ настойчиво доискивался ея соучастія въ этомъ дѣлѣ. Ужасная строгость, выказанная имъ въ то время въ отношеніи къ виновнымъ стрѣльцамъ, также была не чужда, конечно, между прочимъ, и кровавыхъ воспоминаній дѣтскихъ годовъ. Но если даже Петръ и до конца жизни не избавился отъ мысли, что единственно Софія была виновницей бунта, все-же происшествія этого времени должны были открыть ему многое относительно внутренняго управленія древней Руси. Одна стрѣлецкая челобитная, по простотѣ своей понятная малому ребенку и, тѣмъ не менѣе, заключающая въ себѣ факты возмутительные для человѣка даже очень *бывалаго*, — одна эта челобитная многому могла научить Петра и не могла не подѣйствовать на его дѣятельную, страстную натуру. Хоть смутно, хоть безсознательно, но уже съ этого времени онъ долженъ былъ почувствовать, что начала управленія древней Руси оказываются вовсе несостоятельными въ дѣлѣ народнаго благоденствія. Дальнѣйшій ходъ событій долженъ былъ все болѣе и болѣе убѣждать его въ этомъ.

Чтобы убѣдиться въ томъ, какъ ничтожны всѣ частныя усилія пробудить волненіе, котораго нѣтъ въ массѣ, Петру стоило привести себѣ на мысль всю исторію паденія Софіи. Тутъ уже замыслы царевны на погибель брата и на возмущеніе стрѣльцовъ несомнѣнны. Она находилась при этомъ въ самомъ лучшемъ положеніи, какое только возможно; Петръ же—въ самомъ неблагопріятномъ. Она была уже нѣсколько лѣтъ правительницею государства; важнѣйшіе государственные сановники — Голицынъ, Шакловитый, самъ патріархъ (до послѣдняго времени) были къ ней въ отношеніяхъ весьма дружественныхъ; стрѣльцы были ей преданы, какъ всегда; въ рукахъ ея были награды, почести, деньги и вмѣстѣ съ тѣмъ пытки и казни. Съ другой стороны, Петръ уже началъ досаждать многимъ своими потѣшными, и по милости слуховъ, распущенныхъ сестрою, многіе полагали, что его, дѣйствительно, «*съ ума споили*» (Устр., т. II, стр. 53). Хитрости и обманы употреблялись царевною

бунта: именемъ Матвѣева начинался кровавый списокъ людей, обреченныхъ на смерть Софіею. Трудно съ этимъ показаніемъ согласить то, что Матвѣеву, тотчасъ по прибытіи его, всѣ стрѣльцы поднесли хлѣбъ-соль; кромѣ того, мудрено себѣ представить, чтобы стрѣльцы, имѣвшіе Матвѣева въ заголовкѣ кроваваго списка, позволили ему уговаривать себя въ самую рѣшительную минуту. Неужели и смѣлыхъ злодѣевъ не было между людьми, выбранными Софіею? Или они скрывались назади, а впереди стояли люди, чуть не допустившіе Матвѣева разослать ихъ мирно по домамъ? Надо замѣтить, что Матвѣевъ сходилъ къ нимъ съ краснаго крыльца за рѣшетку, очень долго говорилъ съ ними и «*стыдилъ ихъ въ нелѣпомъ заблужденіи*» (Устр., т. I, стр. 32).

и ея клевретами такіе, какихъ и подобія не было при первомъ стрѣлецкомъ бунтѣ. Цѣлыхъ два года систематически дѣйствовалъ на стрѣльцовъ Шакловитый, распуская ужасныя вѣсти про Нарышкиныхъ и про опасность, которая грозитъ стрѣльцамъ. Мало того, не ограничиваясь словами, употребили въ дѣло другое орудіе для озлобленія стрѣльцовъ противъ рода Нарышкиныхъ. Подьячій Шошинъ, одинъ изъ самыхъ близкихъ повѣренныхъ Софіи, нарядившись въ бѣлый атласный кафтанъ и боярскую шапку, подъ именемъ боярина Льва Кирилловича Нарышкина, въ іюлѣ 1688 г., ѣздилъ по ночамъ по Земляному городу съ нѣсколькими сообщниками, также переряженными, и до полусмерти билъ обухами и кистенями караульныхъ стрѣльцовъ при Мясницкихъ и Покровскихъ воротахъ. При этомъ онъ приговаривалъ: «заплачу я вамъ за смерть братьевъ моихъ! Не то еще вамъ будетъ!» а сообщники его говорили: «полно бить, Левъ Кирилловичъ: и такъ уже умретъ». На другой день избитые стрѣльцы приходили въ Стрѣлецкій приказъ жаловаться. Шакловитый самъ осматривалъ ихъ раны и, съ видомъ состраданія къ стрѣльцамъ, повторялъ свою любимую поговорку о Нарышкиныхъ: «будутъ и васъ таскать за ноги» (Устр., т. II, стр. 43).

Но и это, столь энергическое, средство не помогло Софіи поднять стрѣльцовъ. Она прибѣгла къ другимъ мотивамъ. Нѣкоторые изъ сообщниковъ ея старались заманить стрѣльцовъ надеждою грабежа и богатой поживы. Такъ, одинъ изъ нихъ, Гладкій, открыто говорилъ: «нынѣ терните, да ѣшьте въ долгъ; будетъ ярмарка, станемъ боярскіе домы и торговыхъ людей лавки грабить и сносить въ дуваны. А на Рязанскомъ подворьѣ, я знаю, у боярина Бутурлина есть 60 цѣпей гремячихъ серебряныхъ; мы ихъ раздѣлимъ между собою, а остальное отдадимъ на церковныя главы». И это осталось безъ дѣйствія. Софія хотѣла найти поддержку въ расколѣ; ея сообщники говорили противъ патріарха, хотѣли возвести на патріаршій престолъ Сильвестра Медвѣдева, увѣряя, что «нынѣ, де, завелись въ церкви новые учители», но рѣшительно никакія ухищренія не помогали. Царевна рѣшилась дѣйствовать прямѣе, и уже сама лично, призывая стрѣльцовъ, говорила имъ: «долго ль намъ терпѣть? Ужъ житья нашего не стало отъ Бориса Голицына да отъ Льва Нарышкина. Царя Петра они съ ума споили; брата Іоанна ставятъ ни во что, комнату его дровами закидали: меня называютъ дѣвкою, какъ будто я и не дочь царя Алексѣя Михайловича; князю Василью Васильевичу (Голицыну) хотятъ голову отрубить, — а онъ добра много сдѣлалъ: польскій миръ учинилъ; съ Дону выдачи бѣглыхъ не было, а его промысломъ и съ Дону выдаютъ. Радѣла я всячинѣ, а они все изъ рукъ тащатъ. Мочно ли на васъ надѣяться? Надобны ль мы вамъ? А буде не надобны, мы пойдемъ себѣ съ братомъ гдѣ кельи искать». Такія искусныя рѣчи заключались всегда подачкою стрѣльцамъ, нерѣдко по 25 р. на человѣка. Стрѣльцы отвѣчали обыкновенно, что они

готовы служить своей государынѣ: что она повелитъ, то и сдѣлаютъ. Но когда разъ предложили имъ перебить Петровыхъ приверженцевъ, то они отвѣтили: «буде до кого какое дѣло есть, пусть думный дьякъ скажетъ царскій указъ, того возьмемъ; а безъ указу дѣлать не станемъ, хоть многажды бей въ набатъ». Наконецъ, когда уже дѣло подходило къ концу, Софія объявила, что головы отрубитъ тѣмъ, кто задумаетъ бѣжать къ Троицѣ, и потомъ, призвавъ стрѣльцовъ, говорила: «обѣщаю вамъ новыя милости и награды, если докажете свою вѣрность и не станете мѣшаться въ мои дѣла. Но горе непослушнымъ и мятежникамъ! Вы можете бѣжать къ Троицѣ (гдѣ былъ Петръ), но помните, что здѣсь останутся ваши жены и дѣти» (Устр. Т. II, стр. 71). И, несмотря на все это, Софія была оставлена: всѣ побѣжали къ Троицѣ, всѣ спѣшили изъявить Петру свою покорность. Отчего зависѣло такое неимовѣрное различіе въ настроеніи умовъ и въ направленіи дѣятельности у стрѣльцовъ въ эти недолгіе промежутки времени, — мы не беремся здѣсь рѣшить. Но какъ бы то ни было, сличеніе этихъ двухъ годовъ—1682 и 1689,—ясно показываетъ, что первый бунтъ стрѣлецкій былъ только направленъ Софіею, а не произведенъ ею. Да и вообще не можетъ одинъ — или даже и нѣсколько человѣкъ — произвести въ массахъ волненіе, къ которому онѣ не приготовлены, которое не бродитъ уже въ умахъ ихъ, вслѣдствіе фактовъ прошедшей жизни.

Всѣ изложенныя нами явленія, проходившія передъ глазами Петра во время его дѣтскихъ и юношескихъ годовъ. не совсѣмъ удобны были для того, чтобы внушить ему особенную любовь къ преданіямъ, обычаямъ и всему порядку вещей въ древней Руси. Долго онъ, разумѣется, не сознавалъ, что именно дурно въ древней Руси и чего именно нужно ей, тѣмъ не менѣе, чувство недовольства этимъ порядкомъ вещей зародилось у него весьма рано. Въ первое время недовольство это оставалось, конечно, въ предѣлахъ личныхъ отношеній; потомъ приняло оно и болѣе обширные размѣры, послуживши первымъ шагомъ къ преобразовательной дѣятельности. Сама жизнь постоянно воспитывала Петра, безъ всякаго посторонняго руководства; сама жизнь вызывала его на противодѣйствіе старому порядку, такъ какъ вызывала она и всѣхъ другихъ. Но другіе — или предавались жалкой, тупой апатіи, отворачиваясь отъ всего живого и свѣжаго, или растрачивались на мелочи, выписывая комедіантовъ изъ Нѣметчины да обучая полки на иноземный манеръ. Петръ не поддался ни тому, ни другому. Онъ взросъ среди тревогъ, смутъ и крамолъ; не разъ приходилось ему видѣть кровь и слышать стоны близкихъ ему людей; онъ видѣлъ умерщвленіе своихъ дядей, трепеталъ за жизнь матери, нѣсколько разъ долженъ былъ опасаться за свою собственную; не одинъ разъ онъ видѣлъ власть отнимаемою изъ рукъ его происками хитрой сестры. Много вытерпѣло это сердце, многихъ ужасовъ и гадостей насмотрѣлся онъ въ раннюю пору жизни; но за то закалился этотъ характеръ,

окрѣпло это сердце, и проницательнѣе сдѣлался этотъ взглядъ, нежели взглядъ людей, принадлежавшихъ до-петровской Руси и во всю жизнь не переживших того, что пришлось пережить Петру до 17-лѣтняго возраста.

Въ слѣдующей статьѣ мы постараемся представить очеркъ перваго времени самостоятельной дѣятельности Петра, его первые, еще не широкіе и не совсѣмъ вѣрные шаги на поприщѣ преобразованій, до 1700 года, на которомъ пока прерывается повѣствованіе г. Устрялова.

III.

Событія, волновавшія Россію во время дѣтства и ранней юности Петра, закалили его характеръ и благопріятствовали отреченію его отъ многихъ предразсудковъ древней Руси. Но событія эти еще недостаточны были для того, чтобы развить въ душѣ Петра опредѣленную идею преобразованія, въ какомъ нуждалась тогда Россія. Оттого въ первоначальной дѣятельности его мы не видимъ строгаго послѣдованія заранѣе обдуманному и глубоко-соображенному плану. Видно стремленіе къ чему-то *другому*, *новому*, видно недовольство существующимъ порядкомъ, видна жажда дѣятельности въ молодомъ государѣ и во всемъ, что ближайшимъ образомъ окружаетъ его. Но замѣтно и то, что ни у кого еще, ни даже у самаго Петра, не сложилось въ это время опредѣленнаго идеала, къ осуществленію котораго нужно было стремиться. Даже конечная цѣль преобразованій — дать бо̀льшій просторъ развитію естественныхъ силъ народа, какъ вещественныхъ, такъ и нравственныхъ, — даже самая цѣль эта не была никѣмъ ясно сознаваема во время преобразованія Петра. Многія подробности фактовъ, находящіяся въ «Исторіи Петра» г. Устрялова, явно указываютъ на это, и свидѣтельство фактовъ довольно легко объясняется и подтверждается нѣкоторыми соображеніями. Изложимъ сначала эти соображенія, и потомъ перейдемъ къ фактамъ.

При изученіи исторіи великихъ людей, мы обыкновенно впадаемъ въ маленькую иллюзію, мѣшающую ясности нашего взгляда. Мы почти никогда не умѣемъ ясно различить отдѣльныхъ моментовъ въ жизни историческаго лица и представляемъ его себѣ въ полномъ блескѣ его чрезвычайныхъ качествъ и дѣяній, въ томъ видѣ, какъ онъ сдѣлался достояніемъ исторіи. При этомъ, къ достоинствамъ или недостаткамъ лица мы часто относимъ не только самыя его дѣйствія, но и послѣдствія этихъ дѣйствій, можетъ быть вовсе не зависѣвшія отъ его воли. Великій полководецъ началъ

войну, расчитывая только необходимые и самые вѣрные шансы; но во время самой войны произошли благопріятныя обстоятельства, на которыя онъ не расчитывалъ и которыми, однако, умѣлъ воспользоваться. Мы охотно вѣримъ, что полководецъ заранѣе предвидѣлъ эти обстоятельства, вводилъ ихъ въ свой расчетъ, располагалъ по нимъ свои дѣйствія,—и отъ такого соображенія величіе полководца чрезмѣрно увеличивается въ нашихъ глазахъ. Искусный правитель, по очень естественному чувству, старался расширить кругъ своей власти и унизить власть своихъ соперниковъ; мы находимъ въ этихъ дѣйствіяхъ глубокую и ясно-сознанную мысль о централизаціи государства и прославляемъ необычайную дальновидность и мудрость правителя. Другой правитель издалъ законъ, имѣвшій черезъ сто или двѣсти лѣтъ огромное вліяніе на состояніе цѣлаго государства; мы и это позднее вліяніе относимъ къ генію правителя, который, по нашимъ предположеніямъ, совершенно ясно понималъ всѣ слѣдствія, какія въ будущемъ должны произойти отъ его закона, и т. п. Во всѣхъ такого рода случаяхъ мы смѣшиваемъ результаты съ самымъ дѣломъ, и сдѣланный нами логическій выводъ навязываемъ самымъ фактамъ. Въ старые годы такъ точно судили о великихъ людяхъ въ области поэзіи. Послѣ разбора, напримѣръ, всѣхъ произведеній поэта, опредѣливши ихъ господствующій характеръ, говорили, что поэтъ задалъ себѣ и всю свою жизнь развивалъ такія-то и такія-то темы. Нынѣ, въ эстетическихъ разборахъ оставили такую манеру, убѣдившись, что произвольной преднамѣренности въ характерѣ и цѣлой жизни человѣка быть не можетъ. Въ произведеніяхъ поэта, художника отражаются впечатлѣнія его жизни, и характеръ ихъ опредѣляется тѣми фактами, изъ которыхъ составилось его существованіе. Онъ не дѣйствуетъ по заданной программѣ, составленной для него съ дѣтства на цѣлую жизнь, а слѣдуетъ за живымъ теченіемъ событій, отражая въ себѣ недостатки и достоинства, скорби и радости своего общества и времени. Такъ теперь смотрятъ на великихъ дѣятелей въ области поэзіи. Къ сожалѣнію, этотъ взглядъ рѣдко примѣняется къ великимъ дѣятелямъ исторіи, хотя здѣсь онъ еще умѣстнѣе, нежели въ эстетикѣ. Мы до сихъ поръ, по старой привычкѣ, разсмотрѣвши всю дѣятельность историческаго мужа, со всѣми ея безчисленными послѣдствіями, тотчасъ же проникаемся мыслью, что всѣ выведенныя нами послѣдствія вѣрно и положительно были имъ самимъ расчитаны. Вслѣдъ за тѣмъ, мы начинаемъ безмѣрно прославлять его, если слѣдствія эти намъ кажутся хорошими, или безъ милосердія порицать, если они намъ почему-нибудь не нравятся. А между тѣмъ, и то и другое неосновательно, или, по крайней мѣрѣ, преувеличено съ нашей стороны. Будущее никогда не бываетъ намъ столь ясно, какъ прошедшее, точно такъ же какъ прошедшее, въ свою очередь, никогда не имѣетъ надъ нами той силы, какую имѣетъ настоящее. Поэтому, всякій современный дѣятель гораздо яснѣе понимаетъ отношеніе своихъ дѣй-

ствій къ прошедшимъ фактамъ, на которыхъ они основаны, нежели къ отдаленнымъ послѣдствіямъ въ будущемъ. Но и прошедшее служитъ для него не какъ указатель того необходимаго историческаго преемства, въ которомъ давно явившіяся причины связываются съ далекими, имѣющими явиться, послѣдствіями. Такое преемство изучается только въ исторіи, когда и причины и дѣйствія уже совершились въ извѣстномъ кругѣ явленій. Для современнаго же дѣятеля прошедшее служитъ возбужденіемъ лишь настолько, насколько оно еще существуетъ въ настоящемъ, мѣшая или благопріятствуя ему. Не тогда измѣняется извѣстная мѣра, установленіе, вообще положеніе вещей, когда геніальный умъ сообразитъ, что оно можетъ повести къ дурнымъ послѣдствіямъ черезъ нѣсколько столѣтій, такъ какъ повело къ нимъ за нѣсколько вѣковъ предъ тѣмъ. Нѣтъ, оно измѣняется тогда, когда уже дѣлается несоотвѣтствующимъ настоящему положенію вещей, когда неблагопріятное его вліяніе уже не нѣкоторыми только предвидится, а дѣлается ощутительнымъ для большинства. Въ это-то время и являются энергическіе дѣятели, становящіеся тотчасъ во главѣ движенія и придающіе ему стройность и единство. Они одни замѣтны намъ въ историческомъ разсказѣ, и для невнимательнаго взора представляются единственными и первоначальными виновниками событій, происшедшихъ при ихъ участіи. Но болѣе внимательное разсмотрѣніе открываетъ всегда, что исторія въ своемъ ходѣ совершенно независима отъ произвола частныхъ лицъ, что путь ея опредѣляется свойствомъ самыхъ событій, а вовсе не программою, составленною тѣмъ или другимъ историческимъ дѣятелемъ. Напротивъ, дѣятельность всѣхъ историческихъ лицъ развивается не иначе, какъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ, предшествовавшихъ появленію ихъ на историческомъ поприщѣ и сопровождавшихъ его. Поэтому, приписывать замѣчательнымъ двигателямъ исторіи ясное сознаніе отдаленныхъ послѣдствій ихъ дѣйствій, или всѣ самыя мелкія и частныя ихъ дѣянія подчинять одной господствующей идеѣ, представителями которой они являются во всей своей жизни, дѣлать это— значитъ ставить частный произволъ выше, чѣмъ неизбѣжная связь и послѣдовательность историческихъ явленій. Мало того—это значитъ, дѣтски повергаясь ницъ предъ великими людьми, совершенно забывать, что они все-таки люди и, слѣдовательно, подвержены общей всѣмъ людямъ ограниченности силъ и знаній. Мы забываемъ это, когда приписываемъ человѣку основательное соображеніе и знаніе того, о чемъ онъ могъ развѣ только смутно догадываться. Заоблачное вдохновеніе, внезапное наитіе, предсказаніе, ясновидѣніе относится, какъ извѣстно, къ области фокусниковъ. Въ самомъ же дѣлѣ, какъ бы человѣкъ ни былъ уменъ и геніаленъ, онъ можетъ производить свои соображенія только на основаніи данныхъ, имѣющихся у него подъ руками. Поэтому, всѣ великіе планы, высокія идеи, сложные замыслы ограничиваются обыкновенно достиженіемъ *ближайшей* цѣли. Когда эта цѣль достигнута,

тогда уже начинается дальнѣйшее развитіе идеи: планы расширяются, прежняя цѣль въ свою очередь становится основаніемъ точкой отправленія для новыхъ цѣлей, и т. д. Но чѣмъ далѣе въ будущее простирается замыселъ, чѣмъ болѣе долженъ онъ опираться на событіяхъ еще не совершившихся, а только задуманныхъ, тѣмъ глубже уходитъ онъ изъ міра дѣйствительности въ область фантазіи. Всякій историческій дѣятель хорошо чувствуетъ это, и всякій естественно старается остерегаться отъ этихъ воздушныхъ замковъ. Вотъ почему намъ кажется, что необъятныя, міровыя соображенія, привязываемыя къ каждому, самому простому поступку великаго человѣка, ставятъ его въ какое-то странное, неестественное положеніе. Это, если хотите, поднимаетъ его на высоту, недосягаемую для обыкновенныхъ смертныхъ, и придаетъ ему какой-то чудный, сверхъестественный блескъ. Но это же самое отнимаетъ у него простое, человѣческое величіе, дѣлая его чѣмъ-то сказочнымъ, непостижимымъ для ума человѣческаго. Такъ фантастическія сказанія о богатырскихъ подвигахъ разныхъ героевъ, возвышая ихъ надъ обыкновенными людьми, чрезъ то самое уничтожаютъ истинную человѣческую сторону ихъ доблести. Въ исторіи, подобныя преувеличенія дѣлаются сказкой, въ настоящей дѣйствительности они ведутъ къ шарлатанству и фокусничеству. Фокусы эти озадачиваютъ невѣждъ, но не обманываютъ человѣка образованнаго. Какъ бы ни было велико искусство доктора, но если онъ станетъ вамъ предсказывать, на основаніи медицинскихъ соображеній, сколько лѣтъ проживутъ дѣти, которыхъ вы надѣетесь имѣть, то вы, конечно, не слишкомъ-то повѣрите... Такъ точно не повѣрите вы садовнику, который, посадивши дерево, станетъ утверждать, что онъ знаетъ, сколько на будущій годъ будетъ листьевъ на этомъ деревѣ. Такъ точно не вѣрятъ люди и историческому дѣятелю, который убѣждаетъ ихъ принять такое-то рѣшеніе, во имя благихъ послѣдствій, какія должны произойти изъ него по прошествіи столѣтій. Только тогда человѣкъ можетъ заставить людей сдѣлать что-нибудь, когда онъ является какъ бы воплощеніемъ общей мысли, олицетвореніемъ той потребности, какая выработалась уже предшествующими событіями. Потребности эти, какъ извѣстно, никогда не заходятъ слишкомъ далеко въ будущее и часто ограничиваются одной настоящей минутой. Таковъ, болѣе или менѣе, долженъ быть и дѣятель историческій, служащій представителемъ общаго движенія. Болѣе отдаленныя потребности, которыхъ еще не чувствуетъ масса, могутъ быть поняты и обсужены теоретиками и философами, стоящими обыкновенно внѣ движенія настоящей минуты. Но за то подобные люди и не являются обыкновенно въ исторіи, какъ великіе двигатели событій своего времени. Ихъ оцѣниваютъ потомъ, когда идеи ихъ подтверждаются фактами и дѣлаются современными, т. е. соотвѣтствующими сознанію большинства. Практическіе же дѣятели, которыхъ прославляетъ исторія, обыкновенно потому и имѣютъ успѣхъ, что твердо и прямо

идутъ къ *ближайшей цѣли*, видимой для всѣхъ, предоставляя *конечную* цѣль дальнѣйшему теченію событій.

Высказать эти соображенія мы сочли необходимымъ для того, чтобы предупредить недоумѣніе, которое многіе обнаруживаютъ, находя въ книгѣ г. Устрялова ясныя доказательства того, что Петръ, начиная свою преобразовательную дѣятельность, далеко не былъ проникнутъ опредѣленными и обширными преобразовательными идеями. До сихъ поръ намъ обыкновенно рисовали Петра реторическими красками, заимствованными изъ похвальнаго слова ему, сочиненнаго Ломоносовымъ. Петръ представлялся намъ въ сверхъестественномъ, невозможномъ величіи какого-то полубога, а не великаго человѣка, и мы привыкли соединять возвышенныя идеи, мировые замыслы со всѣми, самыми простыми и случайными его поступками. Намъ казалось, что уже съ колыбели Петръ замыслилъ преобразованіе Россіи; что потѣшными началъ онъ играть для того, чтобы приготовить въ Россіи побѣдоносное регулярное войско; что ботикъ велѣлъ починить, проникнутый идеею о сооруженіи флота; что онъ дружился съ Лефортомъ и ѣздилъ въ Нѣмецкую Слободу за тѣмъ, что съ раннихъ лѣтъ замыслилъ «вдвинуть Россію въ систему европейскихъ государствъ». Мало того, мы старались до сихъ поръ придавать особенное, какое-то мистическое значеніе всякому дѣйствію Петра, доводя до смѣшной точности мысль, что *вся жизнь* Петра была посвящена заботѣ о благѣ его подданныхъ. Онъ ѣздилъ въ одноколкѣ, съ однимъ денщикомъ: мы сейчасъ находимъ, что онъ дѣлалъ это, желая предостеречь свой народъ отъ роскоши. Онъ работалъ топоромъ: мы говоримъ, что онъ руководился при этомъ мыслью показать подданнымъ примѣръ трудолюбія. Онъ выковалъ полосу желѣза: намъ кажется, что онъ сдѣлалъ это потому единственно, что хотѣлъ поощрить развитіе національной промышленности... Все это хорошо придумывать теперь, и все это отчасти справедливо въ своихъ послѣдствіяхъ: простота Петра дѣйствительно нанесла ударъ боярской роскоши, его примѣръ дѣйствительно имѣлъ вліяніе на окружающихъ. Но чрезвычайно странно предполагать, будто Петръ заранѣе придумывалъ себѣ: «попробую я выковать полосу желѣза; отъ этого, вѣроятно, промышленность въ государствѣ разовьется». Такого рода выдумки приличны развѣ тому, кто ни къ чему, болѣе серьезному, неспособенъ. Что же касается до Петра, то нѣтъ надобности видѣть въ каждомъ его поступкѣ плодъ заранѣе заданной теоремы. Мы уже имѣли случай замѣтить въ прошедшей статьѣ, что Петръ былъ натура по преимуществу дѣятельная, а не созерцательная. Въ его дѣлахъ выражалась прямо его живая, пылкая натура, а не государственная программа. Если уже въ государственныхъ внѣшнихъ дѣлахъ онъ не могъ удерживать своихъ стремленій и, совершенно вопреки всѣмъ правиламъ этикета, самъ первый пріѣзжалъ къ послу, котораго ждалъ (см. Устр., т. III, стр. 374), то тѣмъ болѣе проявлялась, конечно, эта пылкость и нетерпѣливость въ дѣ-

лахъ частныхъ и менѣе важныхъ. Ничего нѣтъ легче для біографа, какъ увлечься страстнотью натуры необыкновеннаго человѣка и приписать вдохновенію высокой мысли, глубокимъ соображеніямъ, и т. п., то, что было простымъ слѣдствіемъ этой страстности. Въ этомъ нѣтъ даже ничего дурного, но все-таки это несправедливо и, по нашему мнѣнію, можетъ вредить правильности взгляда на историческое лицо. Мы видѣли уже выше, какъ г. Устряловъ увлекся, сказавши, что, при видѣ ботика, у Петра, какъ молнія, блеснула мысль о преобразованіи Россіи. Видѣли и другое увлеченіе, вслѣдствіе котораго г. Устряловъ полагаетъ, что еще до 17-лѣтняго возраста, до знакомства съ Лефортомъ, въ душѣ Петра уже совершенно сложились геніальные планы будущей дѣятельности. Мы имѣли случай замѣтить въ прошедшей статьѣ, что такія предположенія не имѣютъ историческаго основанія. Теперь, въ продолженіи нашей статьи мы увидимъ, что и послѣ знакомства съ Лефортомъ, послѣ низверженія Софіи, Петръ не вдругъ принялся за преобразованія, а задумывалъ ихъ постепенно, шагъ за шагомъ, по мѣрѣ пріобрѣтенія новыхъ знаній и расширенія собственнаго круга зрѣнія. Факты, свидѣтельствующіе объ этомъ, представляетъ намъ самъ г. Устряловъ.

Самое первое и несомнѣнное, что всѣми выставляется въ исторіи Петра, это—привязанность его къ иноземному, желаніе сблизить Россію съ Европой. Когда же развилась въ немъ эта любовь къ иноземцамъ и въ какой мѣрѣ она овладѣла его душою при началѣ его правленія? Съ дѣтскихъ лѣтъ—утверждали доселѣ источники, полагавшіе, что Петръ въ дѣтствѣ сошелся съ Лефортомъ. Нынѣ г. Устряловъ опровергъ мнѣніе, что Петръ развивался въ дѣтствѣ подъ вліяніемъ Лефорта, и потому начало глубокихъ замысловъ Петра, касательно сближенія Россіи съ Европою, должно быть отнесено къ времени нѣсколько позднѣйшему. Впрочемъ, самъ г. Устряловъ говоритъ объ этомъ весьма неопредѣлительно, и скорѣе можно думать, что и онъ еще въ дѣтскихъ годахъ Петра находитъ уже геніальный замыселъ, выраженіемъ котораго явилась вся жизнь Петра. Такъ думать заставляютъ насъ слѣдующія выраженія, найденныя нами у г. Устрялова. «Внезапно, какъ будто изъ непроницаемой мглы, явился Петръ предъ взорами изумленнаго потомства, съ несомнѣнными признаками какой-то великой, хотя еще не совсѣмъ ясной мысли... На величественномъ челѣ Петра, какъ только исторія озаритъ его своимъ яркимъ свѣтомъ (этимъ тропомъ г. Устряловъ хочетъ сказать: съ тѣхъ поръ, какъ начинаются первыя извѣстія о жизни Петра), нельзя не замѣтить глубокой думы, уже заронившейся въ душу великаго царя, думы, которой впослѣдствіи онъ остался вѣренъ до гроба» (Устр., т. II, стр. 6 и 7). Краснорѣчіе этихъ выраженій дѣлаетъ честь г. Устрялову; но мы, къ сожалѣнію, не совсѣмъ хорошо могли выразумѣть, о какой именно «великой думѣ» говоритъ здѣсь краснорѣчивый историкъ. Если онъ разумѣетъ здѣсь общую мысль преобразованія

государства, то онъ очевидно увлекается собственнымъ краснорѣчіемъ, забывая о фактахъ. Если онъ имѣетъ въ виду частное проявленіе общей идеи преобразованія, т. е. сближеніе съ иноземцами для наученія отъ нихъ, то и въ этомъ случаѣ, какъ увидимъ, въ жертву краснорѣчію нужно будетъ принести факты. Если, наконецъ, подъ глубокой думой, которой Петръ остался вѣренъ до гроба, краснорѣчивый историкъ разумѣетъ страсть Петра къ военному и морскому дѣлу, ранѣе другихъ у него развившуюся, то и эта страсть въ Петрѣ-юношѣ не произвела еще тѣхъ замысловъ, которые дѣйствительно можно бы назвать глубокой думой. Мы увидимъ, что создать, какъ регулярное войско, такъ и флотъ, Петръ думалъ уже впослѣдствіи. Вотъ факты, находящіеся въ книгѣ г. Устрялова. Начнемъ съ отношеній Петра къ иноземцамъ, въ первое время его правленія.

Астролябію, привезенную княземъ Долгорукимъ, Петръ показалъ Гульсту, Гульстъ отрекомендовалъ ему Тиммермана, Тиммерманъ отыскалъ Карштена Бранта, Брантъ познакомилъ царя съ Кортомъ. Въ Троицкой лаврѣ Петръ узналъ Лефорта и Патрика Гордона, чрезъ Гордона сдѣлались ему извѣстны Мегденъ и Виніусъ, чрезъ Виніуса—Кревстъ, и т. д. Вскорѣ Петръ является окруженный иноземцами, и вотъ видимое основаніе той мысли, что усвоеніе Россіи европейскихъ нравовъ и обычаевъ съ самаго начала правленія Петра было его задушевною мыслью. Но такъ-ли это? Всмотритесь въ положеніе дѣлъ. Тотчасъ по низверженіи Софіи, Петръ смѣняетъ сановниковъ, занимавшихъ при ней важнѣйшія мѣста въ государствѣ. Кто-же назначается на ихъ мѣсто? Нарышкины, Лопухины, Стрѣшневы, Ромодановскіе, Голицыны, Долгорукіе и пр., т. е. родственники царя, его дядьки, друзья, и все именитые бояре русскіе. Никто изъ иноземцевъ не занялъ важнаго мѣста; они всѣ остались при своихъ полкахъ, какъ это заведено было уже изстари. Мало того—Петръ очень мало показалъ участія къ иноземцамъ, когда противная партія воздвигла на нихъ гоненіе въ началѣ его царствованія. Въ первые дни его правленія сожженъ былъ въ Москвѣ еретикъ Кульманъ. Вслѣдъ за тѣмъ изданъ былъ указъ не впускать въ Россію ни одного иноземца безъ царскаго повелѣнія (Устр., II, стр. 111). Въ началѣ 1689 г., Софія особымъ манифестомъ призывала въ Россію французскихъ эмигрантовъ протестантскаго исповѣданія, изгнанныхъ Людовикомъ XIV; въ концѣ того-же года Петръ обнародовалъ указъ, стѣснительный для всѣхъ пріѣзжающихъ иноземцевъ. Всѣмъ пограничнымъ воеводамъ приказано было: пріѣзжихъ изъ-за рубежа иностранцевъ разспрашивать накрѣпко, изъ какой они земли, какого чина, къ кому и для чего ѣдутъ, кто ихъ въ Москвѣ знаетъ, бывали ль въ Россіи прежде, имѣютъ-ли отъ своихъ правительствъ свидѣтельства и проѣзжіе листы. Отобравъ всѣ эти свѣдѣнія, слѣдовало доносить обо всемъ въ Москву и ждать царскаго указа; а безъ указа никого изъ-за рубежа въ Россію отнюдь не допускать (П. С. З. III,

№ 1358). Спрашивается: могъ-ли бы состояться такой указъ, если бы Петръ уже рѣшилъ въ умѣ своемъ, какую роль иноземцы должны играть въ его царствованіе? Могутъ сказать, что Петръ уступилъ въ этомъ случаѣ требованіямъ противной партіи; но менѣе, нежели въ чемъ-нибудь, можно обвинить Петра въ излишней податливости и уступчивости. Энергія его характера сложилась весьма рано, и твердая рѣшимость, не знающая преградъ, обнаруживается и въ юныхъ лѣтахъ его столь же ярко, какъ и въ зрѣломъ возрастѣ. Нѣтъ, если онъ согласился издать указъ, затруднявшій иностранцамъ доступъ въ Россію, то именно потому, что въ умѣ его еще не опредѣлилась тогда идея объ отношеніи его къ иноземцамъ. Петръ любилъ Лефорта, Тиммермана, Бранта, и пр., любилъ тѣхъ иноземцевъ, съ которыми случилось ему познакомиться въ Нѣмецкой Слободѣ; но онъ вовсе не думалъ въ то время обобщать этого чувства, распространяя его на всѣхъ иноземцевъ. Брантъ былъ для него дорогъ, какъ человѣкъ, умѣющій построить яхту; Лефортъ служилъ для него образцомъ веселаго собесѣдника и хорошаго разсказчика, но вовсе не представителемъ европейскихъ началъ. Любя и уважая своихъ друзей *изъ нѣмцевъ*, Петръ любилъ и уважалъ *ихъ лично*, мало заботясь о томъ, какія начала представляли они собою. Это видно изъ того, что Петръ допустилъ покушеніе стѣснить свободу исповѣданія обывателей Нѣмецкой Слободы (Устр., II, стр. 114); видно и изъ оригинальнаго способа, которымъ онъ вознаградилъ Гордона за одно публичное оскорбленіе. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ г. Устряловъ.

«Гордонъ, приглашенный къ торжественному столу (28 февр. 1690 г.), по случаю празднованія рожденія царевича Алексѣя Петровича, долженъ былъ удалиться изъ дворца, по настоятельному требованію первосвятителя (патр. Іоакима), который объявилъ рѣшительно, что иноземцамъ при такихъ случаяхъ быть неприлично, — безъ сомнѣнія къ немалой досадѣ Петра. На другой день, царь утѣшилъ оскорбленнаго генерала роскошнымъ пиромъ и дружеской бесѣдою въ одномъ изъ загородныхъ дворцовъ».

Не ясно ли, что во всей этой исторіи интересъ Петра ограничивается пока личностью Гордона? Онъ пока не стоитъ за то, прилично или нѣтъ иноземцамъ быть при царскихъ торжественныхъ пиршествахъ: онъ уступаетъ голосу, требующему, чтобы иноземецъ удалился, и только на другой день, по дружбѣ къ этому иноземцу, хочетъ вознаградить его за полученное неудовольствіе.

Можно бы предположить, что уступчивость Петра происходила единственно отъ его уваженія къ патріарху Іоакиму. Но, во всякомъ случаѣ, эта уступчивость должна была тяготить его, и онъ, конечно, постарался бы воспользоваться всякимъ случаемъ, чтобы отъ нея избавиться. Между тѣмъ, мы видимъ, что по смерти Іоакима (въ мартѣ 1690 г.) Петръ хотя и желалъ назначить на его мѣсто Маркелла, пастыря кроткаго и снисходительнаго къ иновѣрцамъ, но не слишкомъ настаивалъ на своемъ выборѣ. Согласно

съ желаніемъ царицы Наталіи Кирилловны, патріархомъ назначенъ былъ Адріанъ «единоравный совѣтникъ и задушевный другъ покойному патріарху», по выраженію г. Устрялова (т. II, стр. 118), тотъ самый, которому принадлежитъ грозное обличительное посланіе противъ брадобритія, упомянутое нами въ первой статьѣ.

Вообще, въ первое время любовь Петра къ иноземцамъ ограничивалась, кажется, тѣснымъ кругомъ личностей, окружавшихъ его, и не имѣла въ основаніи своемъ какихъ нибудь дальнѣйшихъ соображеній. Нѣсколько болѣе общее значеніе получаетъ она съ тѣхъ поръ, какъ Петръ съѣздилъ (уже въ 1693 г.) въ Архангельскъ и посмотрѣлъ голландскіе и гамбургскіе корабли. Настоящій же государственный смыслъ принимаетъ она только послѣ перваго азовскаго похода, когда Петръ, наученный неудачнымъ опытомъ, начинаетъ нетерпѣливо вызывать въ Россію заграничныхъ инженеровъ, артиллеристовъ, корабельныхъ мастеровъ и капитановъ, и пр. Это началось съ 1696 г., и въ томъ же году назначены были русскіе молодые люди за-границу, и рѣшена поѣздка самого царя. Здѣсь уже видно дѣйствительное, обдуманное убѣжденіе, что намъ нужно учиться у Европы, заимствовать для Россіи полезныя знанія и искусства иностранцевъ. Но чтобы почувствовать и опредѣленно сознать это намѣреніе, Петру недостаточно было. какъ видно, ни однихъ разсказовъ Лефорта, ни какого-то внезапнаго таинственнаго прозрѣнія, которое хотятъ приписать ему нѣкоторые историки. Дѣло было просто: опытъ нѣсколькихъ лѣтъ показалъ ему негодность наличныхъ средствъ, существовавшихъ тогда въ Россіи; близкіе къ нему иноземцы указали ему, гдѣ можно искать другихъ, лучшихъ средствъ; онъ же нашелъ въ себѣ столько характера, чтобы посвятить послѣдующую часть своей дѣятельности на ревностное отысканіе и усвоеніе этихъ средствъ и на уничтоженіе того, что при нихъ оказалось негоднымъ. Петръ сдѣлалъ то, на что никто до него не смѣлъ рѣшиться, хотя и до него, конечно, понимали необходимость многаго, введеннаго имъ.

Что въ первое время своего царствованія Петръ еще не имѣлъ опредѣленной рѣшимости вообще касательно образа своихъ дѣйствій, доказываетъ его бездѣйствіе въ первыя пять лѣтъ правленія до азовскихъ походовъ. Мы знаемъ, что Петръ не любилъ медлить ни въ чемъ; какъ скоро онъ ставилъ себѣ какую-нибудь цѣль для дѣйствій, онъ шелъ къ этой цѣли быстро и неуклонно. Никакія постороннія занятія и развлеченія, никакія внѣшнія преграды не могли заставить его отказаться отъ своей мысли, какъ скоро она овладѣвала его душою. Поэтому, бездѣйствіе Петра до азовскихъ походовъ можно объяснить не иначе, какъ только отсутствіемъ такой, ясно сознанной мысли, неимѣніемъ въ виду опредѣленной цѣли. По ясному и прямому свидѣтельству историка (Устр. II, стр. 133), «первыя пять лѣтъ царствованія Петра протекли въ военныхъ экзерциціяхъ, въ маневрахъ на сушѣ и на водѣ, въ фейерверкахъ и веселыхъ пирахъ. Въ это время не было

издано *ни одного* замѣчательнаго закона, не было сдѣлано *ни одного* важнаго распоряженія *ни по одной* отрасли общественнаго благоустройства». Въ подтвержденіе словъ своихъ, г. Устряловъ приводитъ, изъ Полнаго Собранія Законовъ, важнѣйшія законодательныя и правительственныя распоряженія за пять лѣтъ, 1690—1694, и между этими *важнѣйшими* постановленіями мы находимъ нѣсколько простыхъ подтвержденій прежнихъ законовъ. Вообще же, о степени ихъ важности можно судить по тому, что въ числѣ ихъ находятся, напр., такія распоряженія: о незасѣданіи въ приказахъ съ 24 декабря по 8 января; о клейменіи преступниковъ, подвергшихся вторичному наказанію и ссылкѣ, буквою *В;* о запрещеніи извозчикамъ стоять въ Кремлѣ съ лошадьми, и пр. (II, стр. 356—357).

Правда, что Петръ и въ это время не оставался въ праздности. Напротивъ, онъ самъ съ удовольствіемъ упоминаетъ не разъ въ своихъ письмахъ, что онъ трудится неутомимо. Еще въ 1689 г. онъ писалъ къ матери изъ Переяславля: «сынишка твой, *въ работѣ пребывающій*, Петрушка, благословенія прошу» (Устр. II, стр. 401). Въ 1695 году, онъ писалъ къ Ромодановскому, изъ похода подъ Азовъ: «чаемъ за ваши многія и теплыя молитвы, вашимъ посланіемъ, а *нашими трудами и кровьми*, оное совершить». Въ томъ же году изъ-подъ Азова писалъ онъ Виніусу: «въ марсовомъ ярмѣ непрестанно труждаемся» (II, стр. 420). Въ одномъ письмѣ къ Ромодановскому говоритъ онъ, что не писалъ долго потому, «что былъ въ непрестанныхъ трудахъ». Въ 1696 г. изъ Воронежа Петръ писалъ Стрѣшневу: «а мы, по приказу Божію къ прадѣду нашему Адаму, въ потѣ лица своего ѣдимъ хлѣбъ свой». Въ это время Петръ уже трудился надъ сооруженіемъ флота, и очевидно, что своей работѣ онъ уже придавалъ смыслъ гораздо важнѣйшій, нежели значеніе простой потѣхи. Это понимали и окружающіе его, не только онъ самъ. Въ отвѣтъ на письмо Петра о прадѣдѣ Адамѣ, Стрѣшневъ отвѣчалъ: «пишетъ ваша милость, что пребываете по приказанію Божію къ прадѣду нашему Адаму, въ потѣ лица своего кушаете хлѣбъ свой: и то вѣдаемъ, что празденъ николи, а всегда трудолюбно быть имѣешь, *и то не для себя, а для всѣхъ православныхъ христіанъ*» (стр. 423). Но повторяемъ — мысль о томъ, что Петръ трудится для блага общаго, является опредѣленнымъ образомъ, какъ у его приверженцевъ, такъ и у него самого, только со времени азовскаго похода. Даже самая лесть царедворцевъ, которой не могло не быть и при Петрѣ, становится отважнѣе и размашистѣе только съ этого времени. По взятіи Азова, Ромодановскій писалъ уже къ Петру такимъ образомъ: «вѣмъ, что паче многихъ въ трудехъ ты, господине, пребываешь и намъ желаемое исполняешь, и по всему твоему дѣлу мнилъ тя быть подобна многимъ: вѣрою къ Богу, яко Петра, мудростію — яко Соломона, силою — яко Самсона, славою — яко Давида, а паче, что лучшее въ людехъ, чрезъ многія науки изобрѣтается и чрезъ про-

должныи дни снискательства ихъ, то въ тебѣ, господине, чрезъ малое исканіе все то является, во всякомъ полномъ исправномъ томъ видѣ» (Устр., прилож. къ II тому, II, 65). Такимъ языкомъ не рѣшались говорить съ Петромъ до азовскаго похода даже придворные его времени. Видно и они понимали, что еще не время придавать занятіямъ Петра государственное значеніе... Тѣмъ страннѣе было бы, если бы позднѣйшій историкъ сталъ находить въ нихъ глубокія идеи и намѣренія для блага государства. Такъ можно было разсуждать только до тѣхъ поръ, пока факты скрывались подъ спудомъ и не были достаточно разъяснены. Теперь матеріалы, обнародованные г. Устряловымъ, несомнѣнно доказываютъ, что труды первыхъ лѣтъ правленія Петрова, большею частію механическіе и потѣшные, служили для него особымъ родомъ развлеченія, любимымъ упражненіемъ и только; ими онъ, по собственному выраженію, *тѣшилъ охоту* свою. Притомъ же, труды эти нерѣдко смѣнялись различными увеселеніями и отдыхами въ кругу друзей. О характерѣ этихъ увеселеній даетъ понятіе слѣдующее описаніе, представленное г. Устряловымъ (т. II, стр. 131, 132).

«Бывали дни, когда Петръ покидалъ всѣ свои работы и съ товарищами своихъ трудовъ предавался шумному веселію. Онъ зазывалъ свою компанію обыкновенно къ Лефорту, которому впослѣдствіи выстроилъ великолѣпныя палаты на берегу Яузы, иногда ко Льву Кирилловичу Нарышкину въ Фили, къ князю Борису Алексѣевичу Голицыну, къ Петру Васильевичу Шереметеву, къ генералу Гордону, и веселился далеко за полночь, съ музыкою, танцами, нерѣдко при залпѣ орудій, разставленныхъ вокругъ дома, гдѣ пировала царская компанія.

«Предсѣдателемъ пиршества всегда былъ прежній учитель царя, думный дьякъ Никита Моисеевичъ Зотовъ, прозванный «князь-папою, патріархомъ пресбургскимъ, яузскимъ и всего Кокуя». Онъ строго наблюдалъ за исправнымъ осушеніемъ кубковъ и собственнымъ примѣромъ поощрялъ собесѣдниковъ къ бою съ Ивашкою-Хмѣльницкимъ, врагомъ невидимымъ, но лукавымъ и опаснымъ, проявлявшимъ свою силу тѣмъ, что одни изъ гостей засыпали на мѣстѣ и ночевали у хозяина, другіе съ трудомъ добирались до своихъ домовъ, и, какъ напримѣръ Гордонъ, едва въ трое сутокъ могли оправиться.

«Здравъ и невредимъ бывалъ одинъ царь, котораго на другой день восходящее солнце находило уже за работою. Онъ былъ душею пирующихъ, придумывалъ замысловатыя потѣхи, обходился со всѣми запросто, дружелюбно, не сердился за прекословіе; но не любилъ ни упорнаго противорѣчія, ни упорной лести; въ особенности не терпѣлъ, если хвалили невѣжество, порицали науку, искусство, или его друзей, и часто одно досадное или неумѣстное слово воспламеняло его такимъ гнѣвомъ, что среди самаго жаркаго разгула собесѣдники умолкали и приходили въ трепетъ. Въ подобныхъ случаяхъ одинъ Лефортъ могъ успокоить взволнованнаго царя. Чрезъ нѣсколько минутъ мрачное чело его прояснялось, гроза утихала, и всѣ принимались за круговую чашу, при громѣ орудій, потрясавшемъ палаты пирующихъ.

«Особенно весело проводилъ онъ святки и масляницу. На святкахъ, сопровождаемый всею компаніею своею, человѣкъ до 80 и болѣе, подъ именемъ славильщиковъ, онъ посѣщалъ бояръ, генераловъ, богатыхъ купцовъ, славилъ Христа, принималъ дары и веселился по нѣскольку дней сряду. На масляницѣ непремѣнно спускалъ блестящіе фейерверки, которые всегда самъ устраивалъ, собственными руками изготовляя на потѣшномъ дворѣ ракеты, звѣзды, колеса, шутихи, огненныя картины».

Г. Устряловъ весьма неопредѣленно говоритъ о томъ, какъ

часто совершались празднества, обѣды и прочія увеселенія Петра: «*бывали дни*», говоритъ онъ, и это выраженіе какъ будто намекаетъ на то, что такіе дни бывали не часто. Однакоже дальнѣйшее изложеніе г. Устрялова ясно показываетъ, что все пятилѣтіе, 1690—1694 г., было почти непрерывнымъ рядомъ военныхъ и морскихъ потѣхъ, сопровождавшихся обыкновенно торжественными увеселеніями. Петръ принялъ правленіе въ октябрѣ 1689 г. Въ январѣ и февралѣ 1690 г., по свидѣтельству Гордона, онъ уже спускалъ фейерверки; съ весны начались военныя потѣхи и маневры, при которыхъ, между прочимъ, Петръ былъ опаленъ взрывомъ какой-то гранаты. Лѣто пролежалъ онъ больной, осенью возобновилъ маневры, а зимой опять работалъ надъ фейерверками къ Рождеству и масляницѣ. Весна и лѣто 1691 г. посвящены были маневрамъ и приготовленію къ примѣрной битвѣ, которая и разыграна была въ октябрѣ и заключена веселымъ пиромъ. Осень и зиму Петръ разъѣзжалъ изъ Москвы къ Переяславлю-Залѣсскому, гдѣ строились у него новыя суда. Съ весны 1692 г. принялся онъ за спускъ этихъ судовъ и, не довольствуясь присутствіемъ при этомъ торжествѣ своей любимой компаніи, призвалъ въ Переяславль и царицъ: мать и жену свою. Въ августѣ прибыли онѣ сюда изъ Москвы, и 14-го августа былъ обѣдъ на адмиральскомъ кораблѣ съ церемоніею. Чрезъ недѣлю потомъ праздновали спускъ корабля, и тутъ уже начались непрерывныя пиршества. Царица Наталья Кирилловна отпраздновала здѣсь день своего тезоименитства и уже въ началѣ сентября отправилась въ Москву, — не совсѣмъ однакожъ здоровая. Петръ оставался еще нѣкоторое время въ Переяславлѣ, потомъ возвратился въ Москву, и самъ захворалъ кровавымъ поносомъ, «отъ чрезмѣрныхъ трудовъ и, вѣроятно, отъ излишнихъ пиршествъ», по замѣчанію историка (т. II, стр. 144). Болѣзнь его продолжалась до Рождества и возбудила серьезныя опасенія. Тутъ-то именно нѣкоторые изъ любимцевъ Петра запаслись лошадьми, чтобы при первомъ извѣстіи о смерти его бѣжать изъ Москвы. «Но провидѣніе сохранило Петра для Россіи», продолжаетъ его историкъ. «Около Рождества онъ сталъ поправляться и въ концѣ января, еще не совсѣмъ впрочемъ здоровый, разъѣзжалъ по городу, созывая гостей, въ званіи шафера, на свадьбу нѣмецкаго золотыхъ дѣлъ мастера, распоряжался на свадебномъ пиру и безпрестанно потчевалъ гостей напитками; самъ однако же пилъ мало». На масляницѣ Петръ, по обыкновенію, спустилъ фейерверкъ, имъ самимъ изготовленный, и заключилъ его «роскошнымъ ужиномъ, который продолжался до трехъ часовъ пополуночи». Весну 1693 г. Петръ провелъ въ кораблестроеніи, въ іюлѣ отправился въ Архангельскъ. Здѣсь прожилъ онъ до половины сентября, поджидая прихода иноземныхъ кораблей, плавая въ Бѣломъ морѣ и знакомясь съ иноземцами, жившими въ Архангельскѣ. Г. Устряловъ говоритъ, что Петръ въ Архангельскѣ «охотно принималъ приглашенія иностранныхъ купцовъ и корабельныхъ капитановъ

на обѣды и вечеринки и съ особеннымъ удовольствіемъ проводилъ у нихъ время за кубками вина заморскаго, разспрашивая о житьѣ-бытьѣ на ихъ родинѣ» (Устр., т. II, стр. 158). Посѣщалъ онъ также и архіепископа архангельскаго Аѳанасія, съ которымъ, по свидѣтельству «Двинскихъ Записокъ», разсуждалъ также «о плаваніи по морямъ и рѣкамъ, кораблями и другими судами, со многимъ искусствомъ». Въ октябрѣ 1693 г., Петръ возвратился въ Москву и занялся приготовленіями къ новому морскому походу въ Бѣлое море, назначенному слѣдующею весною. «А между тѣмъ весело и шумно проводилъ вечера въ кругу своей компаніи, нерѣдко далеко за полночь (Гордонъ: 5 ноября 1693 г. веселились у Лефорта до 6 часовъ утра), пировалъ на свадьбахъ въ Нѣмецкой Слободѣ у офицеровъ, купцовъ, разнаго званія мастеровъ» (т. II, стр. 160).

Въ январѣ 1694 г. скончалась мать Петра. Смерть ея сильно поразила Петра, и горесть его была столь же порывиста, какъ и всѣ его ощущенія и стремленія. «Трое сутокъ онъ тосковалъ и горько плакалъ; въ четвертыя былъ уже спокойнѣе, провелъ вечеръ у друга своего Лефорта съ компаніею; въ слѣдующій день—тоже, и принялся за дѣла». Весною онъ рѣшился опять отправиться въ Архангельскъ, и заранѣе писалъ туда къ Апраксину, прося его, между прочимъ, «пива не забыть». Отправился онъ туда въ апрѣлѣ, «послѣ прощальнаго обѣда, даннаго Лефортомъ, и на которомъ пропировали *отъ полудня до полуночи*». Изъ Архангельска ѣздилъ онъ въ іюнѣ — поклониться мощамъ соловецкихъ чудотворцевъ, и на пути чуть не былъ разбитъ бурею. Вслѣдствіе этого — возвращеніе его изъ столь опаснаго путешествія было празднуемо въ Архангельскѣ нѣсколько дней веселыми пирами. «Сначала пригласилъ къ себѣ Петра на обѣдъ со всею компаніею капитанъ англійскаго корабля, при чемъ, по словамъ Гордона, не щадили ни вина, ни пороха. Черезъ день потомъ, Петръ былъ на именинномъ пирѣ у Тихона Никитича Стрѣшнева; отъ него отправился на яхту *Св. Петръ*, назначенную въ тотъ же день для контръ-адмирала Гордона и, повеселившись у него на новосельи, вечеръ и всю ночь до двухъ часовъ утра провелъ у адмирала; а въ слѣдующій день былъ на большомъ пиру у воеводы Ѳ. М. Апраксина». Вскорѣ потомъ, Петръ праздновалъ день своего ангела (29 іюня); обѣденный столъ былъ въ царскихъ палатахъ, а вечеръ провелъ Петръ у англійскаго капитана, Джона Греймса, который угостилъ гостей своихъ на славу. Черезъ нѣсколько дней потомъ праздновали спускъ новаго корабля; тутъ угощалъ всѣхъ веселымъ и продолжительнымъ пиромъ вице-адмиралъ Бутурлинъ. Спустя десять дней потомъ, торжествовали прибытіе голландскаго фрегата. «Торжество было неописанное; вся *компанія* собралась на корабль и веселилась на немъ долго». Въ самый разгулъ пиршества, прибавляетъ г. Устряловъ, Петръ хотѣлъ подѣлиться радостью съ своими отсутствующими товарищами, и кратко извѣстилъ ихъ письмомъ о прибытіи фрегата. «Пространнѣе буду писать въ настоящей почтѣ»,

заключаетъ Петръ это письмо; «а нынѣ обвеселяся, неудобно пространно писать, паче же и нельзя: понеже при такихъ случаяхъ всегда Бахусъ почитается, который своими листьями заслоняетъ очи хотящимъ пространно писати». По возвращеніи изъ Архангельска, Петръ опять *тѣшился* въ Москвѣ кожуховскимъ походомъ, который, по обычаю, заключенъ былъ большимъ пиромъ. Это было въ октябрѣ 1694 г. Вскорѣ послѣ того задуманъ былъ азовскій походъ, и потѣхи Петра уступили мѣсто дѣйствительнымъ, серьезнымъ трудамъ и военному опыту.

Мы сдѣлали это коротенькое извлеченіе изъ нѣсколькихъ главъ второго тома г. Устрялова, чтобы показать, чѣмъ наполнено было это пятилѣтіе, въ теченіе котораго историкъ замѣчаетъ полное отсутствіе государственной дѣятельности въ молодомъ царѣ. Послѣ нашего извлеченія, для читателей понятнѣе будетъ и слѣдующее замѣчаніе, сдѣланное г. Устряловымъ относительно бездѣйствія Петра въ это время. «Очевидно,— говоритъ онъ,— царь, еще мало опытный въ искусствѣ государственнаго управленія, *исключительно преданный задушевнымъ мыслямъ своимъ*, предоставилъ дѣла обычному теченію въ приказахъ и едва ли находилъ время для продолжительныхъ совѣщаній съ своими боярами; нерѣдко онъ слушалъ и рѣшалъ министерскіе доклады на пушечномъ дворѣ» (II, стр. 133).

Замѣтимъ, что здѣсь, подъ *задушевными мыслями* Петра, разумѣются, конечно, не государственныя идеи преобразованія, а страсть къ военному и особенно къ морскому дѣлу. Страсть къ морю дѣйствительно является въ это время у Петра уже въ сильной степени развитія. Для нея онъ позабывалъ все, ей онъ отдавался съ тѣмъ увлеченіемъ и пылкостью, которыя вообще отличали его стремительную натуру. Безпрестанно ѣздилъ онъ въ Переяславль, и даже въ Москвѣ работалъ надъ судами. На спускъ корабля призвалъ онъ изъ Москвы мать и жену; смотрѣть на корабли отправился онъ въ Архангельскъ. И уже оттуда ничѣмъ нельзя было его выманить. Напрасно мать посылала ему письмо за письмомъ, прося поскорѣе возвратиться. «Прошу у тебя, свѣта своего,—писала она,— помилуй родшую тя,—какъ тебѣ, радость моя, возможно, пріѣзжай къ намъ, не мѣшкавъ»...—«Сотвори, свѣтъ мой, надо мною милость, пріѣзжай къ намъ, батюшка мой, не замѣшкавъ. Ей-ей, свѣтъ мой, велика мнѣ печаль, что тебя, свѣта-радости не вижу».—Петръ не внималъ мольбамъ скорбящей матери, непремѣнно хотѣлъ дождаться кораблей и отвѣчалъ ей успокоеніями, въ родѣ слѣдующаго: «О единомъ милости прошу: чего для изволишь печалиться обо мнѣ? Изволила ты писать, что предала меня въ паству Матери Божіей; и такого пастыря имѣючи, почто печаловать»? Столь же равнодушенъ былъ Петръ въ это время и къ другимъ обстоятельствамъ, выходящимъ изъ круга морского и военнаго дѣла. Такъ, въ 1694 г., въ Архангельскѣ, получивши извѣстіе о томъ, что въ Москвѣ много было пожаровъ въ отсутствіе царя, Петръ отвѣтное письмо

свое начинаетъ извѣстіемъ о новомъ кораблѣ, который спущенъ и «марсовымъ ладаномъ окуренъ; въ томъ же куреніи и Бахусъ припочтенъ былъ довольно. О, сколь нахалчивъ вашъ Вулканусъ»! продолжаетъ онъ потомъ.—«Не довольствуется вами, на сушѣ пребывающими, но и здѣсь, на Нептунусову державу дерзнулъ, и едва не всѣ суда, въ Кончукорьи лежащія, къ ярмонкѣ съ товары всѣ пожегъ; обаче чрезъ наши труды весьма разоренъ»... Шутливый тонъ письма показываетъ, что, подъ вліяніемъ радостнаго впечатлѣнія отъ спуска корабля, Петръ вовсе не принялъ къ сердцу извѣстія о московскихъ пожарахъ. Онъ и упоминаетъ о нихъ какъ будто только для сближенія миѳологическихъ именъ, разсѣянныхъ въ его письмѣ.

Но и этого мало: предаваясь своей страсти къ кораблямъ, Петръ готовъ былъ пожертвовать для нея даже серьезными политическими интересами... Такъ, въ началѣ 1692 г., онъ, съ 16-ю учениками своими, отправился въ Переяславль и, заложивши тамъ корабль, не хотѣлъ возвратиться въ Москву даже для торжественнаго пріема персидскаго посланника. Министры его, Левъ Кирилловичъ Нарышкинъ и князь Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ, нарочно должны были ѣхать въ Переяславль, чтобы убѣдить Петра въ необходимости обычной аудіенціи, для избѣжанія ссоры съ шахомъ. Петръ поѣхалъ въ Москву, но черезъ два дня послѣ пріема посла опять ускакалъ къ своимъ кораблямъ (Устр., II, стр. 142).

Немудрено, поэтому, что въ дѣлахъ внѣшнихъ историкъ замѣчаетъ то же бездѣйствіе, какъ и во внутреннихъ. Постоянная опасность Россіи со стороны крымскихъ татаръ не возбуждала ни малѣйшаго вниманія Петра. «Вопреки настоятельнымъ требованіямъ польскаго короля,—говоритъ г. Устряловъ,—подкрѣпляемымъ просьбами цесаря, Петръ тщательно уклонялся отъ рѣшительныхъ предпріятій противъ крымскихъ татаръ, не взирая на то, что, озлобленные походами князя Голицына, они не давали намъ покоя ни зимою ни лѣтомъ, и довольствовался только охраненіемъ южныхъ границъ, поручивъ защиту ихъ Бѣлгородскому разряду, подъ начальствомъ боярина Бориса Петровича Шереметева» (II, стр. 133). Мало того, Петръ даже почти соглашался примириться на условіяхъ Бахчисарайскаго договора, и только условіе о платежѣ ежегодной дани хану его удерживало (Устр., II, стр. 219). А между тѣмъ вспомнимъ, какъ онъ былъ разгнѣванъ на Голицына за неудачу крымскихъ походовъ.

Г. Устряловъ полагаетъ, что «главною виною нерѣшительности Петра въ этомъ случаѣ было намѣреніе его прежде всего изучить военное искусство во всѣхъ видахъ его, чтобы тѣмъ надежнѣе вступить съ врагами въ борьбу на морѣ и на сушѣ» (т. II, стр. 190). Но едва ли можно принять это объясненіе во всей его обширности. Безъ всякаго сомнѣнія, Петръ, какъ и всякій человѣкъ съ здравымъ смысломъ, понималъ, что войско нужно для войны. Нужна замѣчательная степень тупоумія для того, чтобы полагать, что

войско составляетъ лишь блестящую, парадную игрушку, которую война можетъ только испортить. Петръ, конечно, этого не думалъ. При всемъ томъ, сказать, будто онъ пять лѣтъ не обращалъ вниманія на внѣшнія государственныя отношенія *намѣренно*, имѣя въ виду приготовленіе хорошаго войска для борьбы съ врагомъ, — сказать это, по нашему мнѣнію, нѣтъ никакого историческаго основанія. Мало того, желая такою оговоркою какъ бы прикрыть временное бездѣйствіе Петра, мы тѣмъ самымъ оказали бы плохую услугу защищаемому дѣлу. Послѣдствія показали, что въ теченіе времени, отъ 1690 до 1695 г., для образованія войска и даже для развитія морского дѣла въ Россіи сдѣлано было весьма мало, почти ничего не сдѣлано. Если бы Петръ заботился объ этомъ, и заботился до того, что пренебрегалъ изъ-за этого важнѣйшими дипломатическими отношеніями, то неужели бы онъ допустилъ столько неисправностей и недостатковъ, сколько ихъ обнаружилось при азовскомъ походѣ, первомъ серьезномъ дѣлѣ, предпринятомъ Петромъ? Мы видимъ впослѣдствіи, какъ Петръ умѣетъ входить во все, обо всемъ заботиться, все предусматривать и устраивать заранѣе въ тѣхъ дѣлахъ, на которыя онъ уже рѣшился. Ничего похожаго не встрѣчаемъ мы до азовскихъ походовъ. Видно, что до этого времени военныя занятія и потѣхи Петра на морѣ и сухомъ пути были еще только *личною* его страстью, съ которою не соединялось пока никакихъ опредѣленныхъ замысловъ. Самъ Петръ нигдѣ ни одного намека не дѣлаетъ на то, чтобы онъ уже имѣлъ въ виду государственныя цѣли, упражняясь въ строеніи кораблей, изготовленіи фейерверковъ и учрежденіи примѣрныхъ битвъ. «Нѣсколько лѣтъ *исполнялъ я охоту свою* на озерѣ Переяславскомъ,— пишетъ онъ въ предисловіи къ Морскому Регламенту,—но потомъ оно мало показалось; то ѣздилъ на Кубенское; но оное ради мелкости не показалось. Тогда сталъ проситься у матери, чтобы видѣть море. Она не пускала сначала, но потомъ, *видя великое мое желаніе и неотмѣнную охоту*, и нехотя позволила». Послѣ того, насмотрѣвшись на голландскіе и англійскіе корабли, Петръ, по собственнымъ словамъ его, всю мысль свою уклонилъ для строенія флота, и «*когда за обиды татарскія учинилась осада Азова, и потомъ оный счастливо взятъ*, по неизмѣнному своему желанію не стерпѣлъ долго думать о томъ—скоро за дѣло принялся» (Устр. т. II, прил. I, стр. 400). Ясно, что первая мысль о флотѣ мелькнула у Петра только при видѣ иностранныхъ кораблей въ Бѣломъ морѣ, т. е. въ сентябрѣ 1693 года. Окончательно же опредѣлилась она послѣ похода подъ Азовъ. До тѣхъ поръ это была просто *охота* къ мореплаванію, не имѣвшая въ виду ничего, кромѣ бо̀льшаго и бо̀льшаго простора себѣ.

Тоже надобно сказать и про сухопутное военное дѣло. Петръ самъ ясно засвидѣтельствовалъ въ письмѣ къ Апраксину предъ азовскимъ походомъ, что потѣшныя занятія были для него просто игрою. «Хотя въ ту пору, какъ осенью, — пишетъ онъ, — въ про-

долженіе пяти недѣль трудились мы подъ Кожуховымъ въ Марсовой потѣхѣ,—*ничего, кромѣ игры, на умѣ не было*, однакожъ эта игра стала предвѣстникомъ настоящаго дѣла» (Устр. II, стр. 219). Невозможно прямѣе и рѣзче опровергнуть всѣ возгласы, которые дѣлаются опрометчивыми панегиристами о великихъ замыслахъ и планахъ, какіе Петръ соединялъ будто съ потѣшнымн занятіями. «*Ничего, кромѣ игры, у меня на умѣ не было*», говоритъ онъ имъ просто и строго, въ полномъ сознаніи, что для дѣлъ его не нужно льстивыхъ украшеній, придуманныхъ досужимъ воображеніемъ. Когда онъ занятъ *игрою*, онъ не боится признаться въ этомъ: настанетъ у него время и для серьезнаго дѣла. Въ это-то время и игра обратится для него на пользу, которой онъ прежде и самъ не предполагалъ.

Но и независимо отъ признанія самого Петра, мы имѣемъ фактическое свидѣтельство касательно состоянія военнаго дѣла въ Россіи подъ конецъ перваго пятилѣтія Петрова царствованія. Свидѣтельство это представляется намъ въ первомъ азовскомъ походѣ. Походъ этотъ предпринятъ былъ безъ дальнихъ разсужденій. Совѣщаніе о немъ происходило на Пушечномъ дворѣ. Петръ, предъ началомъ похода, выражался о немъ въ письмѣ къ Апраксину такимъ образомъ: «шутили подъ Кожуховымъ, а теперь подъ Азовъ играть ѣдемъ». Съ собою Петръ взялъ 31,000 войска, состоявшаго изъ новыхъ полковъ и изъ стрѣльцовъ московскихъ, а на Крымъ, по его повелѣнію, «поднялась огромная масса ратныхъ людей, наиболѣе конныхъ, стариннаго московскаго устройства, въ числѣ 120,000 человѣкъ». Подъ Азовъ впередъ всѣхъ отправили Гордона съ стрѣльцами сухимъ путемъ. Расчитывали, что дойдетъ онъ въ три недѣли; но состояніе дорогъ было таково, что путь продолжался два мѣсяца. Черезъ сѣверный Донецъ нужно было, напримѣръ, построить мостъ для переправы войска; онъ былъ изготовленъ весьма нескоро «по лѣности, непослушанію и нерасторопности стрѣльцовъ», какъ замѣчаетъ Гордонъ. Самъ Петръ отправился водою съ Лефортомъ и Головинымъ. Отъ самой Москвы плыли на судахъ по Москвѣ и Окѣ; путь этотъ былъ не совсѣмъ удаченъ. Во время плаванія погода была бурная, а суда оказались никуда негодными, да и кормчіе—тоже. Нѣсколько разъ садились они на мель и многія такъ повредились, что едва могли дойти до Нижняго. Плаваніе такъ было безпорядочно, что иныя суда, по словамъ самого Петра, тремя днями отстали, да и то *въ силу пришли*. Все это было отъ небреженія глупыхъ кормщиковъ, «а такихъ была большая половина въ караванѣ», прибавляетъ Петръ (т. II, стр. 410). Дальнѣйшій походъ былъ совершенъ не лучше. Отъ Царицына войска шли степью, съ необыкновенными затрудненіями. Изнуренные уже солдаты должны были трое сутокъ везти на себѣ орудія, снаряды и тяжести, потому что при войскѣ находилось не болѣе 500 конныхъ и вовсе не было ни артиллерійскихъ, ни обозныхъ лошадей. Къ довершенію всего, въ Паншинѣ (казачій

городокъ) обнаружился недостатокъ продовольствія, «отъ неисправности московскихъ подрядчиковъ, которые вовсе не заботились о своевременной поставкѣ запасовъ; соли не было ни фунта» (Устр. II, стр. 230).

Съ такими-то приключеніями добрались кое-какъ до Азова. Здѣсь Петръ расположился, «на молитвахъ святыхъ апостолъ, яко на камени утвердяся», по его выраженію. Но уже при самомъ расположеніи войска оказалось, какъ оно еще плохо. Едва только Гордонъ съ своею дивизіею успѣлъ занять назначенное ему возвышеніе, какъ турки открыли огонь и бросились на нашу конницу, которая тотчасъ-же обратилась въ бѣгство, впрочемъ, была поддержана пѣхотою. Историкъ прибавляетъ: «летѣвшія ядра такъ испугали людей командныхъ и даже полковниковъ, что они просили своего генерала укрѣпиться шанцами». Гордонъ съ трудомъ удерживалъ людей отъ малодушнаго бѣгства. Въ такомъ положеніи три дня дожидался онъ прибытія на позицію дивизій Лефорта и Головина. Что-же ихъ задержало? То, что у нихъ не было повозокъ и телѣгъ, и потому, чтобы они могли подняться, нужно было привезти имъ повозки изъ Гордонова лагеря, что посреди многочисленной непріятельской конницы исполнить было довольно затруднительно.

Петръ и Гордонъ дѣйствовали неутомимо, казаки отличались храбростью. Послѣдніе много подвинули впередъ дѣло осады, овладѣвши двумя турецкими каланчами, въ трехъ верстахъ выше Азова, на обоихъ берегахъ Дона. Но масса войска не стала оттого лучше. На другой день послѣ взятія каланчей, турки привели въ ужасъ русскихъ, напавъ на нихъ въ то время, какъ они *отдыхали послѣ обѣда*,—«обычай, которому мы не измѣняли ни дома, ни въ станѣ военномъ», по замѣчанію историка. Гордонъ пишетъ при этомъ: «стрѣльцы и солдаты, испуганные нападеніемъ, разсѣялись по полю въ паническомъ страхѣ, какого я въ жизнь мою не видывалъ». Слѣдствіемъ этого страха было занятіе турками нашего редута, который, впрочемъ, потомъ отбитъ былъ новыми подоспѣвшими полками. Гордонъ предлагалъ много мѣръ для лучшаго успѣха осады, но его не слушали и поступали такъ, что все какъ будто-бы шутили. Даже и на дѣлѣ оставляли Гордона безъ подкрѣпленія, такъ что однажды часть отряда Гордона спасена была только внезапнымъ отступленіемъ чѣмъ-то обманутыхъ турокъ. «Это неожиданное отступленіе,—замѣчаетъ Гордонъ,—спасло насъ отъ большой бѣды: отрядъ нашъ, бывшій на другой сторонѣ, не имѣлъ никакой защиты, кромѣ рогатокъ». Наши генералы замѣтно скучали и трусили ратнаго дѣла. Въ концѣ іюля они посылали даже письмо къ пашѣ, пытаясь склонить его къ сдачѣ города предложеніемъ ему «*выгодныхъ условій*», неизвѣстно какихъ... Паша не согласился.

Наскучивъ осадой и потерявъ надежду склонить пашу *выгодными условіями*, заговорили о штурмѣ. Гордонъ много спорилъ,

доказывая, что штурмъ предпринимать еще рано. Его не послушали; самъ Петръ рѣшился на штурмъ. Кликнули охотниковъ, обѣщая рядовымъ по 10 рублей за каждое взятое орудіе, офицерамъ — особое награжденіе. Вызвалось 2500 охотниковъ изъ казаковъ. Въ полкахъ-же, солдатскихъ и стрѣлецкихъ — *охотниковъ не оказалось*. Въ подкрѣпленіе охотникамъ назначено было по 1500 человѣкъ изъ каждой дивизіи. Между охотниками мало было офицеровъ, да и тѣ были — или по неопытности слишкомъ самонадѣянны, или очень унылы. На приступъ отправились безъ лѣстницъ и фашинъ. Во время самого приступа, колонна стрѣльцовъ, назначенная въ помощь штурмующимъ, расположилась въ садахъ и спокойно смотрѣла на усилія своихъ товарищей. Оттого приступъ, конечно, не удался. Русскіе въ четырехъ полкахъ потеряли 1500 человѣкъ; уронъ турокъ простирался только до 200...

Послѣ неудачнаго приступа снова принялись за осадныя работы. Но онѣ шли крайне плохо. Въ особенности у Лефорта ничего не было сдѣлано, вслѣдствіе его беззаботности и неискусства инженеровъ. Лефортъ вовсе не заботился даже объ устройствѣ коммуникаціонныхъ линій съ лагеремъ Гордона, для взаимной обороны. Минныя галлереи, начатыя имъ, непріятели открывали и разрушали. Гордонъ также повредилъ собственныя работы, взрывая непріятельскую контръ-мину. Въ дивизіи Головина, молодой инженеръ (кажется, Адамъ Вейде) объявилъ, что онъ подрылся подъ самый флангъ бастіона, и что нужно сдѣлать взрывъ. Военный совѣтъ рѣшилъ: взорвать подкопъ, и какъ скоро обрушится крѣпостная стѣна, занять проломъ ближайшими войсками. Взорвали подкопъ. «Бревна, доски, каменья взлетѣли на воздухъ и всею тяжестью обрушились на наши траншеи, гдѣ перебили 30 человѣкъ, въ томъ числѣ двухъ полковниковъ и одного подполковника, да человѣкъ сотню изувѣчили. Стѣна же крѣпостная осталась невредимою».

Какъ послѣднее средство, хотѣли испытать еще приступъ, и для бо̀льшаго успѣха рѣшились начать штурмъ тотчасъ по взрывѣ минъ, заложенныхъ противъ крѣпости, въ самомъ центрѣ. Приступъ назначенъ былъ общій со всѣхъ сторонъ, съ сухого пути и съ Дона. Напрасно Гордонъ толковалъ о безполезности нападенія съ рѣчной стороны, приводя весьма основательныя соображенія; его не послушали, и на его возраженія отвѣчали какими-то темными надеждами. При самомъ распредѣленіи войскъ для атаки сдѣлали странную ошибку. Казаковъ, уже столько разъ показавшихъ свое мужество, оставили для защиты лагеря отъ предполагаемаго нападенія татаръ изъ степи, а на приступъ повели солдатъ и стрѣльцовъ, которые и тутъ показали, разумѣется, не больше храбрости, чѣмъ прежде. Второй штурмъ окончился такъ, какъ и слѣдовало ожидать. Взрывомъ минъ повредило часть бастіона, но едва ли не бо̀льшій вредъ нанесло самимъ русскимъ. «Взлетѣвшіе на воздухъ камни обрушились, какъ и прежде, на наши аппроши,

гдѣ задавили полковника Бана, нѣсколько офицеровъ, много нижнихъ чиновъ и до 100 человѣкъ переранили». На приступъ шли опять безъ лѣстницъ; весь бой шелъ вяло и неединодушно. Отрядъ Лефорта, которому велѣно было развлекать силы непріятеля нападеніемъ на укрѣпленія, ближайшія къ атакуемымъ главными силами, подошелъ къ нимъ и, видя, что тутъ нѣтъ пролома и даже ровъ не засыпанъ, счелъ за лучшее присоединиться къ Гордоновымъ стрѣльцамъ, шедшимъ въ проломъ стѣны. Прочія же войска ограничивались однимъ видомъ нападенія и ждали, когда другіе проложатъ имъ путь въ городъ. Замѣтивъ это, турки всѣ свои силы сосредоточили у пролома, прогнали солдатъ съ валу, потомъ выпустили на русскихъ 400 яростныхъ янычаръ. Стрѣльцы, при видѣ ихъ, тотчасъ же побѣжали, не дожидаясь нападенія, и остановились на внѣшней части вала, откуда скоро были опрокинуты въ ровъ. Гордонъ ударилъ отбой... Второй и третій приступъ были столь же безуспѣшны. Солдаты шли неохотно и не умѣли держаться противъ непріятеля. Потерявши множество народу, принуждены были наконецъ отказаться отъ всякой надежды завладѣть Азовомъ на этотъ разъ. Черезъ день послѣ второго штурма рѣшено было снять осаду Азова. Трофеи наши на этотъ разъ состояли въ одномъ турецкомъ значкѣ да въ одной желѣзной пушкѣ.

Отступленіе совершилось съ бѣдствіями и затрудненіями еще худшими, чѣмъ первый путь до Азова. Въ степи безпрестанно тревожила отступавшихъ татарская конница, и Гордонъ, бывшій въ аррьергардѣ, едва могъ сохранять хоть какой-нибудь порядокъ въ своихъ полкахъ. Одинъ полкъ, бывшій подъ начальствомъ Сверта, отсталъ; татары напали на него, разбили совершенно и взяли въ плѣнъ самого полковника съ нѣсколькими знаменами. Весь аррьергардъ пришелъ отъ этого въ большое смущеніе; поддержалъ порядокъ одинъ Бутырскій полкъ. За Черкаскомъ непріятель болѣе не преслѣдовалъ отступающихъ; но тутъ начались морозы и вьюги. Войска шли безлюдной и обгорѣлой степью; люди и лошади гибли отъ голода и холода. Чрезъ мѣсяцъ послѣ удаленія арміи, проѣзжалъ по слѣдамъ ея Плейеръ, цесарскій посланникъ, и онъ говоритъ, что не могъ видѣть безъ содроганія множества труповъ, разбросанныхъ на пространствѣ 800 верстъ и пожираемыхъ волками... Чрезъ два мѣсяца, уже въ концѣ ноября, полки вступили въ Москву, впрочемъ, съ торжествомъ. Въ знакъ побѣды, конечно, «предъ царскимъ сиклитомъ вели турченина, руки назадъ; у руки по цѣпи большой, вели два человѣка». Этимъ жалкимъ подобіемъ побѣднаго тріумфа Петръ отдавалъ еще послѣднюю дань своимъ прежнимъ потѣхамъ. Но на *такомъ* тріумфѣ онъ не могъ успокоиться.

Азовскія неудачи многому научили Петра, на многое заставили его смотрѣть совсѣмъ иными глазами. Онъ не могъ не замѣтить недостаточности и легкомысленности того, чему прежде предавался

съ страстнымъ увлеченіемъ. Походъ подъ Азовъ былъ отчасти также плодомъ увлеченія, пробою воинской игры съ настоящимъ непріятелемъ. Но проба эта обошлась дорого и была рѣшительно неудачна. Причиною неудачъ было именно то, что до начала войны не позаботились ни о чемъ, что необходимо было для успѣха. Ни о средствахъ сообщенія, ни о продовольствіи, ни объ артиллерійскихъ и инженерныхъ принадлежностяхъ, ни о способныхъ офицерахъ, ни о внушеніи воинскаго духа всему войску, ни о порядочномъ устройствѣ полковъ, — ни о чемъ не подумали. Съ перваго шага до послѣдняго, во всемъ обнаруживалось крайнее неустройство, безпорядокъ, слабость, невѣжественныя ошибки. Петръ не могъ не видѣть тутъ, что нужны перемѣны быстрыя и рѣшительныя, для того, чтобы сдѣлать что-нибудь для Россіи. Онъ долженъ былъ понять теперь, что успѣхи и неуспѣхи военные не отъ ловкаго маневрированья зависятъ, а что для нихъ нужно и кое-что другое. Эта мысль на каждомъ шагу должна была еще болѣе преслѣдовать его при азовскихъ неудачахъ. Ее должны были еще болѣе усиливать и извѣстія, получавшіяся изъ Бѣлгородской арміи. Ему писали, что «промысла подъ Казыкерманомъ чинить невозможно, затѣмъ, что съ денежнымъ жалованьемъ не бывали, и деньги всѣ вышли, да ружья мало». Далѣе объясняли Петру, что Шереметевъ жаловался на недостатокъ «ломовыхъ пушекъ», т. е. осадной артиллеріи, и что тѣ пушки велѣно ему дать изъ Кіева, но онъ пишетъ, что взять ихъ неколи, время изпоздалось». Всѣ подобныя извѣстія ясно указывали Петру на необходимость образовать правильную военную администрацію и заботиться о средствахъ для войны еще болѣе, нежели о храбрости въ битвахъ. Онъ понялъ это, и съ тѣхъ поръ образъ дѣятельности его замѣтно измѣняется. Нельзя сказать, чтобы Петръ въ это время вполнѣ уже обнялъ всѣ отрасли государственнаго управленія, вполнѣ и ясно созналъ все, что необходимо было сдѣлать для благоденствія и славы Россіи; но, по крайней мѣрѣ относительно военнаго дѣла, взглядъ Петра значительно уяснился и расширился послѣ перваго азовскаго похода. И тутъ-то мы видимъ, какая разница между дѣятельностію Петра, когда она направлена къ какой-нибудь опредѣленной цѣли, какъ теперь, — и между его же дѣятельностью, когда она вызвана просто его личными увлеченіями, безъ всякихъ дальнѣйшихъ плановъ, какъ было съ воинскими и морскими потѣхами Петра до азовскихъ походовъ. Въ тѣхъ потѣхахъ онъ только изучалъ технику самыхъ простыхъ и незначительныхъ работъ, и физическими трудами, съ перемежкой увеселеній и пиршествъ, какъ будто заглушалъ ту безмѣрную жажду дѣятельности, которая томила его душу, не находя себѣ достойнаго предмета для удовлетворенія. Оттого-то онъ и не приготовилъ ничего для успѣшной войны, что не зналъ и не думалъ, что выйдетъ изъ его потѣхъ. Если бы онъ въ самомъ дѣлѣ потому только и съ турками, и съ поляками не хотѣлъ вступать въ рѣшительные пере-

говоры, что хотѣлъ прежде приготовиться къ войнѣ, то, безъ сомнѣнія, онъ дѣйствительно и приготовился бы къ ней въ теченіе пяти лѣтъ, отъ 1690 до 1694 г. А между тѣмъ мы видимъ, что приготовлено ничего не было, и что въ полгода, прошедшіе отъ перваго азовскаго похода до второго, сдѣлано было больше, нежели въ тѣ пять лѣтъ. Такимъ образомъ и здѣсь ясно становится, какъ Петръ увлекаемъ былъ силою событій, какъ онъ постепенно вразумляемъ былъ фактами, совершавшимися предъ его глазами, и какъ его стремленія раскрывались и расширялись все болѣе и болѣе, по мѣрѣ того, какъ явленія жизни указывали ему на новыя государственныя потребности, которымъ нужно было удовлетворить. Рѣшимость удовлетворить этимъ потребностямъ, во что бы то ни стало, и составляетъ главную его заслугу. Не нужно, впрочемъ, думать, чтобы Петръ разомъ, однимъ геніальнымъ воззрѣніемъ охватилъ всѣ отрасли государственной дѣятельности и тотчасъ же послѣ азовскаго похода составилъ полный планъ преобразованія. Вовсе нѣтъ. Мы видимъ, что, оставляя пока въ сторонѣ многіе важнѣйшіе государственные вопросы и настоятельныя потребности Россіи, Петръ обратился на этотъ разъ только еще къ тому, что всего прямѣе и непосредственнѣе связано было съ предыдущими событіями и что всего болѣе согласовалось съ его собственными, личными наклонностями. Прежде всего Петръ обратилъ вниманіе на то, что могло способствовать усовершенствованію военнаго дѣла и созданію морской силы нашей. Опирать всю силу государства на войскѣ было свойственно тому времени, когда высшія понятія о благѣ и величіи народовъ не были еще выработаны. Поэтому, нисколько неудивительно, что и Петръ прежде всего позаботился о войскѣ, оставивъ на это время безъ вниманія другіе интересы страны. Еще понятнѣе забота Петра о флотѣ, такъ какъ мы знаемъ, что страсть къ морю была одною изъ сильнѣйшихъ и постояннѣйшихъ страстей его. Мысли свои вообще о военной силѣ очень ясно высказалъ Петръ нѣсколько позже, въ указѣ о призывѣ иноземцевъ въ Россію, 1702 г. Въ указѣ этомъ Петръ говоритъ, что всегда старался «о поспѣшествованіи народной пользы, и для того заводилъ разныя перемѣны и новости». Перечисливши нѣкоторыя изъ новыхъ учрежденій и мѣръ, указъ продолжаетъ слѣдующимъ образомъ. «Но понеже мы опасаемся, что такія, учиненныя нами расположенія несовсѣмъ достигли такого совершенства, какъ мы желаемъ, и слѣдовательно подданные наши еще не могутъ пользоваться плодами трудовъ нашихъ въ безмятежномъ спокойствіи, — того ради помышляли мы и о другихъ еще способахъ», и пр. «Для исполненія полезныхъ такихъ намѣреній, мы *паче всего* старались о томъ, чтобы военный нашъ штатъ, *яко подпору и ограду государства нашего*, какъ возможно наилучше учредить, дабы арміи наши составлялись изъ людей, *знающихъ воинскія дѣла и хранящихъ добрый порядокъ и дисциплину*»... (см. Туман. Зап. ч. II, стр. 186—190). Таковы были предположе-

доказывая, что штурмъ предпринимать еще рано. Его не послушали; самъ Петръ рѣшился на штурмъ. Кликнули охотниковъ, обѣщая рядовымъ по 10 рублей за каждое взятое орудіе, офицерамъ — особое награжденіе. Вызвалось 2500 охотниковъ изъ казаковъ. Въ полкахъ-же, солдатскихъ и стрѣлецкихъ — *охотниковъ не оказалось*. Въ подкрѣпленіе охотникамъ назначено было по 1500 человѣкъ изъ каждой дивизіи. Между охотниками мало было офицеровъ, да и тѣ были — или по неопытности слишкомъ самонадѣянны, или очень унылы. На приступъ отправились безъ лѣстницъ и фашинъ. Во время самого приступа, колонна стрѣльцовъ, назначенная въ помощь штурмующимъ, расположилась въ садахъ и спокойно смотрѣла на усилія своихъ товарищей. Оттого приступъ, конечно, не удался. Русскіе въ четырехъ полкахъ потеряли 1500 человѣкъ; уронъ турокъ простирался только до 200...

Послѣ неудачнаго приступа снова принялись за осадныя работы. Но онѣ шли крайне плохо. Въ особенности у Лефорта ничего не было сдѣлано, вслѣдствіе его беззаботности и неискусства инженеровъ. Лефортъ вовсе не заботился даже объ устройствѣ коммуникаціонныхъ линій съ лагеремъ Гордона, для взаимной обороны. Минныя галлереи, начатыя имъ, непріятели открывали и разрушали. Гордонъ также повредилъ собственныя работы, взрывая непріятельскую контръ-мину. Въ дивизіи Головина, молодой инженеръ (кажется, Адамъ Вейде) объявилъ, что онъ подрылся подъ самый флангъ бастіона, и что нужно сдѣлать взрывъ. Военный совѣтъ рѣшилъ: взорвать подкопъ, и какъ скоро обрушится крѣпостная стѣна, занять проломъ ближайшими войсками. Взорвали подкопъ. «Бревна, доски, каменья взлетѣли на воздухъ и всею тяжестью обрушились на наши траншеи, гдѣ перебили 30 человѣкъ, въ томъ числѣ двухъ полковниковъ и одного подполковника, да человѣкъ сотню изувѣчили. Стѣна же крѣпостная осталась невредимою».

Какъ послѣднее средство, хотѣли испытать еще приступъ, и для бо̀льшаго успѣха рѣшились начать штурмъ тотчасъ по взрывѣ минъ, заложенныхъ противъ крѣпости, въ самомъ центрѣ. Приступъ назначенъ былъ общій со всѣхъ сторонъ, съ сухого пути и съ Дона. Напрасно Гордонъ толковалъ о безполезности нападенія съ рѣчной стороны, приводя весьма основательныя соображенія; его не послушали, и на его возраженія отвѣчали какими-то темными надеждами. При самомъ распредѣленіи войскъ для атаки сдѣлали странную ошибку. Казаковъ, уже столько разъ показавшихъ свое мужество, оставили для защиты лагеря отъ предполагаемаго нападенія татаръ изъ степи, а на приступъ повели солдатъ и стрѣльцовъ, которые и тутъ показали, разумѣется, не больше храбрости, чѣмъ прежде. Второй штурмъ окончился такъ, какъ и слѣдовало ожидать. Взрывомъ минъ повредило часть бастіона, но едва ли не бо̀льшій вредъ нанесло самимъ русскимъ. «Взлетѣвшіе на воздухъ камни обрушились, какъ и прежде, на наши аппроши,

гдѣ задавили полковника Бана, нѣсколько офицеровъ, много нижнихъ чиновъ и до 100 человѣкъ переранили». На приступъ шли опять безъ лѣстницъ; весь бой шелъ вяло и неединодушно. Отрядъ Лефорта, которому велѣно было развлекать силы непріятеля нападеніемъ на укрѣпленія, ближайшія къ атакуемымъ главными силами, подошелъ къ нимъ и, видя, что тутъ нѣтъ пролома и даже ровъ не засыпанъ, счелъ за лучшее присоединиться къ Гордоновымъ стрѣльцамъ, шедшимъ въ проломъ стѣны. Прочія же войска ограничивались однимъ видомъ нападенія и ждали, когда другіе проложатъ имъ путь въ городъ. Замѣтивъ это, турки всѣ свои силы сосредоточили у пролома, прогнали солдатъ съ валу, потомъ выпустили на русскихъ 400 яростныхъ янычаръ. Стрѣльцы, при видѣ ихъ, тотчасъ же побѣжали, не дожидаясь нападенія, и остановились на внѣшней части вала, откуда скоро были опрокинуты въ ровъ. Гордонъ ударилъ отбой... Второй и третій приступъ были столь же безуспѣшны. Солдаты шли неохотно и не умѣли держаться противъ непріятеля. Потерявши множество народу, принуждены были наконецъ отказаться отъ всякой надежды завладѣть Азовомъ на этотъ разъ. Черезъ день послѣ второго штурма рѣшено было снять осаду Азова. Трофеи наши на этотъ разъ состояли въ одномъ турецкомъ значкѣ да въ одной желѣзной пушкѣ.

Отступленіе совершилось съ бѣдствіями и затрудненіями еще худшими, чѣмъ первый путь до Азова. Въ степи безпрестанно тревожила отступавшихъ татарская конница, и Гордонъ, бывшій въ арьергардѣ, едва могъ сохранять хоть какой-нибудь порядокъ въ своихъ полкахъ. Одинъ полкъ, бывшій подъ начальствомъ Сверта, отсталъ; татары напали на него, разбили совершенно и взяли въ плѣнъ самого полковника съ нѣсколькими знаменами. Весь арьергардъ пришелъ отъ этого въ большое смущеніе; поддержалъ порядокъ одинъ Бутырскій полкъ. За Черкаскомъ непріятель болѣе не преслѣдовалъ отступающихъ; но тутъ начались морозы и вьюги. Войска шли безлюдной и обгорѣлой степью; люди и лошади гибли отъ голода и холода. Чрезъ мѣсяцъ послѣ удаленія арміи, проѣзжалъ по слѣдамъ ея Плейеръ, цесарскій посланникъ, и онъ говоритъ, что не могъ видѣть безъ содроганія множества труповъ, разбросанныхъ на пространствѣ 800 верстъ и пожираемыхъ волками... Чрезъ два мѣсяца, уже въ концѣ ноября, полки вступили въ Москву, впрочемъ, съ торжествомъ. Въ знакъ побѣды, конечно, «предъ царскимъ сигклитомъ вели турченина, руки назадъ; у руки по цѣни большой, вели два человѣка». Этимъ жалкимъ подобіемъ побѣднаго тріумфа Петръ отдавалъ еще послѣднюю дань своимъ прежнимъ потѣхамъ. Но на *такомъ* тріумфѣ онъ не могъ успокоиться.

Азовскія неудачи многому научили Петра, на многое заставили его смотрѣть совсѣмъ иными глазами. Онъ не могъ не замѣтить недостаточности и легкомысленности того, чему прежде предавался

съ страстнымъ увлеченіемъ. Походъ подъ Азовъ былъ отчасти также плодомъ увлеченія, пробою воинской игры съ настоящимъ непріятелемъ. Но проба эта обошлась дорого и была рѣшительно неудачна. Причиною неудачъ было именно то, что до начала войны не позаботились ни о чемъ, что необходимо было для успѣха. Ни о средствахъ сообщенія, ни о продовольствіи, ни объ артиллерійскихъ и инженерныхъ принадлежностяхъ, ни о способныхъ офицерахъ, ни о внушеніи воинскаго духа всему войску, ни о порядочномъ устройствѣ полковъ, — ни о чемъ не подумали. Съ перваго шага до послѣдняго, во всемъ обнаруживалось крайнее неустройство, безпорядокъ, слабость, невѣжественныя ошибки. Петръ не могъ не видѣть тутъ, что нужны перемѣны быстрыя и рѣшительныя, для того, чтобы сдѣлать что-нибудь для Россіи. Онъ долженъ былъ понять теперь, что успѣхи и неуспѣхи военные не отъ ловкаго маневрированья зависятъ, а что для нихъ нужно и кое-что другое. Эта мысль на каждомъ шагу должна была еще болѣе преслѣдовать его при азовскихъ неудачахъ. Ее должны были еще болѣе усиливать и извѣстія, получавшіяся изъ Бѣлгородской арміи. Ему писали, что «промысла подъ Казыкерманомъ чинить невозможно, затѣмъ, что съ денежнымъ жалованьемъ не бывали, и деньги всѣ вышли, да ружья мало». Далѣе объясняли Петру, что Шереметевъ жаловался на недостатокъ «ломовыхъ пушекъ», т. е. осадной артиллеріи, и что тѣ пушки велѣно ему дать изъ Кіева, но онъ пишетъ, что взять ихъ неколи, время изпоздалось». Всѣ подобныя извѣстія ясно указывали Петру на необходимость образовать правильную военную администрацію и заботиться о средствахъ для войны еще болѣе, нежели о храбрости въ битвахъ. Онъ понялъ это, и съ тѣхъ поръ образъ дѣятельности его замѣтно измѣняется. Нельзя сказать, чтобы Петръ въ это время вполнѣ уже обнялъ всѣ отрасли государственнаго управленія, вполнѣ и ясно сознялъ все, что необходимо было сдѣлать для благоденствія и славы Россіи; но, по крайней мѣрѣ относительно военнаго дѣла, взглядъ Петра значительно уяснился и расширился послѣ перваго азовскаго похода. И тутъ-то мы видимъ, какая разница между дѣятельностію Петра, когда она направлена къ какой-нибудь опредѣленной цѣли, какъ теперь, — и между его же дѣятельностью, когда она вызвана просто его личными увлеченіями, безъ всякихъ дальнѣйшихъ плановъ, какъ было съ воинскими и морскими потѣхами Петра до азовскихъ походовъ. Въ тѣхъ потѣхахъ онъ только изучалъ технику самыхъ простыхъ и незначительныхъ работъ, и физическими трудами, съ перемежкой увеселеній и пиршествъ, какъ будто заглушалъ ту безмѣрную жажду дѣятельности, которая томила его душу, не находя себѣ достойнаго предмета для удовлетворенія. Оттого-то онъ и не приготовилъ ничего для успѣшной войны, что не зналъ и не думалъ, что выйдетъ изъ его потѣхъ. Если бы онъ въ самомъ дѣлѣ потому только и съ турками, и съ поляками не хотѣлъ вступать въ рѣшительные пере-

говоры, что хотѣлъ прежде приготовиться къ войнѣ, то, безъ сомнѣнія, онъ дѣйствительно и приготовился бы къ ней въ теченіе пяти лѣтъ, отъ 1690 до 1694 г. А между тѣмъ мы видимъ, что приготовлено ничего не было, и что въ полгода, прошедшіе отъ перваго азовскаго похода до второго, сдѣлано было больше, нежели въ тѣ пять лѣтъ. Такимъ образомъ и здѣсь ясно становится, какъ Петръ увлекаемъ былъ силою событій, какъ онъ постепенно вразумляемъ былъ фактами, совершавшимися предъ его глазами, и какъ его стремленія раскрывались и расширялись все болѣе и болѣе, по мѣрѣ того, какъ явленія жизни указывали ему на новыя государственныя потребности, которымъ нужно было удовлетворить. Рѣшимость удовлетворить этимъ потребностямъ, во что бы то ни стало, и составляетъ главную его заслугу. Не нужно, впрочемъ, думать, чтобы Петръ разомъ, однимъ геніальнымъ воззрѣніемъ охватилъ всѣ отрасли государственной дѣятельности и тотчасъ же послѣ азовскаго похода составилъ полный планъ преобразованія. Вовсе нѣтъ. Мы видимъ, что, оставляя пока въ сторонѣ многіе важнѣйшіе государственные вопросы и настоятельныя потребности Россіи, Петръ обратился на этотъ разъ только еще къ тому, что всего прямѣе и непосредственнѣе связано было съ предыдущими событіями и что всего болѣе согласовалось съ его собственными, личными наклонностями. Прежде всего Петръ обратилъ вниманіе на то, что могло способствовать усовершенствованію военнаго дѣла и созданію морской силы нашей. Опирать всю силу государства на войскѣ было свойственно тому времени, когда высшія понятія о благѣ и величіи народовъ не были еще выработаны. Поэтому, нисколько неудивительно, что и Петръ прежде всего позаботился о войскѣ, оставивъ на это время безъ вниманія другіе интересы страны. Еще понятнѣе забота Петра о флотѣ, такъ какъ мы знаемъ, что страсть къ морю была одною изъ сильнѣйшихъ и постояннѣйшихъ страстей его. Мысли свои вообще о военной силѣ очень ясно высказалъ Петръ нѣсколько позже, въ указѣ о призывѣ иноземцевъ въ Россію, 1702 г. Въ указѣ этомъ Петръ говоритъ, что всегда старался «о поспѣшествованіи народной пользы, и для того заводилъ разныя перемѣны и новости». Перечисливши нѣкоторыя изъ новыхъ учрежденій и мѣръ, указъ продолжаетъ слѣдующимъ образомъ. «Но понеже мы опасаемся, что такія, учиненныя нами расположенія несовсѣмъ достигли такого совершенства, какъ мы желаемъ, и слѣдовательно подданные наши еще не могутъ пользоваться плодами трудовъ нашихъ въ безмятежномъ спокойствіи, — того ради помышляли мы и о другихъ еще способахъ», и пр. «Для исполненія полезныхъ такихъ намѣреній, мы *паче всего* старались о томъ, чтобы военный нашъ штатъ, *яко подпору и ограду государства нашего*, какъ возможно наилучше учредить, дабы арміи наши составлялись изъ людей, *знающихъ воинскія дѣла и хранящихъ добрый порядокъ и дисциплинъ*»... (см. Туман. Зап. ч. II, стр. 186—190). Таковы были предположе-

нія и мнѣнія Петра даже въ 1702 году. Опорою государства считаетъ онъ войско, и потому *паче всего* заботится о немъ; въ войскѣ же болѣе ничего не требуетъ, какъ знаніе воинскихъ дѣлъ, добрый порядокъ и дисциплинъ. Учрежденіе войска съ такими качествами считаетъ онъ *лучшимъ* средствомъ для огражденія государства и для поддержанія въ немъ благоденствія. Эта мысль не исчезла въ Петрѣ до конца его жизни, но съ теченіемъ времени она потеряла для него часть своего преобладающаго значенія. Рядомъ съ нею, мало-по-малу возникли въ душѣ Петра мысли и о важномъ значеніи другихъ отраслей государственнаго управленія. Не переставая заботиться о войскѣ и флотѣ, онъ въ послѣдующее время много обращаетъ также вниманія и на развитіе промышленности въ государствѣ, на финансовыя отношенія, на лучшее устройство гражданскихъ учрежденій; — заводитъ училища, задумываетъ академію наукъ, учреждаетъ синодъ, и пр. Но теперь пока, пораженный несовершенствомъ войска, онъ почти исключительно занятъ дѣлами военными и въ особенности сооруженіемъ военнаго флота. На возвратномъ пути изъ перваго азовскаго похода, изъ степи, близъ береговъ Айдара, Петръ послалъ уже грамоту къ цесарю римскому, съ извѣстіемъ, что онъ ополчался на враговъ христіанства, но главной ихъ крѣпости взять не могъ, по недостатку оружія, снарядовъ, а всего болѣе искусныхъ инженеровъ. Поэтому Петръ просилъ цесаря отпустить въ Россію нѣсколько искусныхъ инженеровъ и минеровъ. О томъ же писано было потомъ и къ курфирсту Бранденбургскому. Къ королю же польскому Петръ обратился съ требованіемъ, на основаніи союзнаго договора,—одновременныхъ и рѣшительныхъ дѣйствій противъ непріятеля. Это уже показывало, что Петръ теперь не *играть* ѣдетъ подъ Азовъ, а задумываетъ серьезное дѣло. И дѣйствительно, 22 ноября 1695 года Петръ возвратился въ Москву изъ-подъ Азова, 27-го вновь сказана ратнымъ людямъ служба подъ Азовъ, а 30-го Петръ писалъ къ двинскому воеводѣ Апраксину, чтобъ всѣхъ корабельныхъ плотниковъ немедленно прислать изъ Архангельска въ Воронежъ. «По возвращеніи *отъ невзятія* Азова,—пишетъ онъ,—съ консиліи генераловъ указано мнѣ къ будущей войнѣ дѣлать галеи, для чего удобно мню быть шхиптиммерманамъ (корабельнымъ плотникамъ) всѣмъ отъ васъ сюды: понеже они сіе зимнее время туне будутъ препровождать, а здѣсь тѣмъ временемъ великую пользу къ войнѣ учинить; а кормъ и за труды заплата будетъ довольная, и ко времени отшествія кораблей (т. е. ко времени открытія навигаціи въ Архангельскѣ) возвращены будутъ безъ задержанія, и тѣмъ ихъ обнадежь, и подводы дай, и на дорогу кормъ». Въ этомъ письмѣ особенно замѣчательна серьезная, обдуманная заботливость Петра о томъ, чтобы людямъ, которыхъ вызывалъ онъ, было удобно и выгодно отправиться въ Воронежъ.

Самое комплектованіе войска происходило теперь не такъ, какъ прежде. 13 декабря кликнули кличъ въ Москвѣ, чтобы поступали

на службу ратную охочіе люди всякаго чина. «Охотниковъ нашлось не мало,—говоритъ историкъ,—особенно въ господскихъ дворняхъ, наполненныхъ сотнями холоповъ праздныхъ и голодныхъ. Крѣпостные люди толпами стекались въ Преображенское и записывались—частію въ солдаты, частію въ стрѣльцы. Женъ и дѣтей ихъ отбирали отъ господъ и селили ихъ въ Преображенскомъ» (т. II, стр. 261). Кромѣ того, Петръ потребовалъ присылки войскъ отъ Малороссійскаго гетмана и изъ Бѣлгородской арміи. Надъ всѣмъ войскомъ назначенъ былъ одинъ главнокомандующій, чего не было въ первомъ походѣ и что много мѣшало единству дѣйствій. Въ декабрѣ же, сдѣлавши распоряженіе о заготовленіи матеріаловъ для постройки судовъ въ Воронежѣ, Петръ занялся формированіемъ *морского регимента*, который и составился изъ 4000 человѣкъ, частію вновь набранныхъ, частію переведенныхъ изъ Семеновскаго и Преображенскаго полковъ. Начиная съ марта мѣсяца, Петръ занялся уже почти исключительно постройкою судовъ.

Г. Устряловъ свидѣтельствуетъ, что и въ это время Петръ «еще не думалъ о постройкѣ фрегатовъ и линейныхъ кораблей, вопреки разсказамъ позднѣйшихъ историковъ. Желанія его ограничивались гребною флотиліею, галеасами, галерами, каторгами, брандерами» (II, стр. 259). Значитъ, и здѣсь у Петра была только *ближайшая* цѣль: соорудить флотилію, чтобы запереть Азовъ съ моря. Опредѣленная мысль о флотѣ, какъ «краеугольномъ камнѣ могущества Россіи и лучшемъ средствѣ открыть Россіи путь въ Европу», явилась еще позднѣе. Флотилія Петра состояла теперь изъ 30 военныхъ судовъ, сооруженныхъ подъ его надзоромъ и при его непосредственномъ участіи, въ теченіе марта мѣсяца 1696 года. Къ половинѣ апрѣля подошли въ Воронежъ войска изъ Москвы, а черезъ мѣсяцъ Петръ былъ уже подъ Азовомъ. Здѣсь, съ перваго же шага Петръ могъ замѣтить, что турки робѣютъ на морѣ и что на галеры его смотрятъ не безъ страха. Немудрено, что это, какъ предполагаетъ г. Устряловъ, убѣдило Петра въ пользѣ и надобности построить флотъ, который могъ бы плавать по волнамъ не только азовскимъ, но и черномо́рскимъ. Впослѣдствіи мы видимъ, что, при переговорахъ съ турками, Петръ очень добивался дозволенія русскимъ кораблямъ свободнаго плаванія по Черному морю.

Подъ Азовомъ дѣла на этотъ разъ шли гораздо лучше, хотя до прибытія цесарскихъ инженеровъ мы умѣли только повреждать строенія въ городѣ нашими бомбами и ничего не могли сдѣлать укрѣпленіямъ. Бывали и въ самыхъ битвахъ не совсѣмъ удачныя попытки, какъ, напр., 24 іюня, когда русскіе, отразивъ татаръ, бросились ихъ преслѣдовать, по словамъ самого Петра, «прадѣдовскимъ обычаемъ, не принявъ себѣ оборонителя воинскаго строю», и оттого потерпѣли значительный уронъ. Но все же теперь было ужъ далеко не то, что въ первой осадѣ. Только искусство вести осадныя работы намъ не давалось, несмотря даже на присутствіе

пріѣзжихъ бранденбургцевъ, которые оказались артиллеристами и были искусны только въ метаніи бомбъ. Не зная, что дѣлать, спросили самихъ солдатъ и стрѣльцовъ, какъ имъ кажется лучше овладѣть Азовомъ. Они сказали, что нужно сдѣлать высокій земляной валъ, привалить его къ валу непріятельскому и, засыпавъ ровъ, сбить турокъ съ крѣпостныхъ стѣнъ. «Какъ ни странно было это предложеніе, напоминавшее осаду Херсона великимъ княземъ Владиміромъ въ X столѣтіи,—замѣчаетъ г. Устряловъ (II, стр. 285),—однакоже царскій совѣтъ принялъ эту мысль, а Гордонъ даже съ жаромъ ухватился за нее... Принялись строить валъ, и болѣе двухъ недѣль постоянно по ночамъ работали надъ нимъ по 15,000 человѣкъ... Само собою разумѣется, что работы эти не обходились безъ значительныхъ потерь для насъ, а пользы пока приносили мало. Наконецъ, пріѣхали 11 іюля цесарскіе инженеры, подивились громадности работъ нашихъ, но не ожидали отъ нихъ особеннаго успѣха, а болѣе надѣялись на подкопы и батареи. Они дали совѣты, какъ вести мины, какъ ставить батареи, и вскорѣ мѣткіе выстрѣлы ихъ разрушили палисады, которые тщетно старался разбить Гордонъ. На ночь 12 іюля русскіе солдаты могли уже занять оставленный турками угловой бастіонъ; черезъ недѣлю турки не могли болѣе выдерживать нашей пальбы и заговорили о сдачѣ. На другой день рѣшена была капитуляція. Турецкое войско выпущено съ оружіемъ. Петръ занялъ Азовъ, предположилъ построить новыя укрѣпленія для него, потомъ отправился отыскивать въ Азовскомъ морѣ мѣсто, удобное для гавани будущаго флота русскаго. Мѣсто это нашлось близъ Таганрога. Вскорѣ потомъ, войска пошли назадъ, и черезъ два мѣсяца, 30 сентября, вступили въ Москву съ торжественнѣйшимъ тріумфомъ. Черезъ мѣсяцъ потомъ (въ началѣ ноября) рѣшено было Петромъ устройство *кумпанствъ* для изготовленія кораблей, къ апрѣлю 1698 года. Въ томъ же мѣсяцѣ, «многое число благородныхъ послалъ Петръ въ Голландію и иныя государства учиться архитектуры и управленія корабельнаго» (Устр. II, стр. 315). Въ началѣ же слѣдующаго мѣсяца назначено было и великое посольство въ Европу, при которомъ отправился и самъ Петръ съ волонтерами, имѣвшими цѣлью — изученіе морского дѣла. Такъ дѣйствовалъ Петръ, когда одушевляла его опредѣленная, ясно сознанная идея. Ничто не могло остановить его, ничто не могло отвлечь отъ задуманнаго плана. Онъ не любилъ долго думать, раздумывать и откладывать, не любилъ взвѣшивать трудности и препятствія; онъ если ужъ рѣшился, то шелъ до конца, не смотря ни на что... «Не стерпѣлъ долго думать, скоро за дѣло принялся», можно повторить о всѣхъ его предпріятіяхъ.

И вотъ въ этомъ-то твердомъ и неотступномъ преслѣдованіи своихъ цѣлей выражается преимущественно величіе Петра. Преобразовательные замыслы раждались постепенно одинъ за другимъ, сами собою, именно потому, что Петръ неуклонно стемился къ непремѣнному исполненію каждаго задуманнаго имъ предпріятія. Онъ

непремѣнно хотѣлъ преодолѣть, устранить или уничтожить все, что могло мѣшать ему на его дорогѣ, и воспользоваться всѣмъ, что могло способствовать осуществленію его идей. Такимъ образомъ, преобразованія и нововведенія были неизбѣжны по самому характеру дѣятельности Петра. Онъ приходилъ къ нимъ и тогда, когда не имѣлъ далекихъ замысловъ. Такъ и въ путешествіи за границу напрасно стали бы искать великихъ и дальновидныхъ замысловъ политическихъ. Цѣлью путешествія было ни больше, ни меньше, какъ изученіе корабельнаго дѣла. Г. Устряловъ такъ говоритъ объ этомъ:

«Не безотчетная страсть къ иноземному, воспламененная Лефортомъ и разгульною жизнію Нѣмецкой Слободы, какъ говорятъ одни писатели; не обширное, давно обдуманное намѣреніе, по внушенію того же любимца, «оставить царство, чтобы научиться лучше царствовать» и преобразовать Россію по образцу государствъ европейскихъ, какъ пишутъ другіе историки; а собственное убѣжденіе, плодъ свѣтлой, геніальной мысли, что краеугольнымъ камнемъ политическому могуществу Россіи долженъ быть флотъ, увлекало Петра въ чужія земли, чтобы съ товарищами трудовъ, съ цвѣтомъ русскаго дворянства, изучить искусство многосложное, многотрудное, едва знакомое приходившимъ въ Россію иноземцамъ по одному навыку, безъ всякихъ началъ теоретическихъ, искусство кораблестроенія и мореплаванія. Не думалъ, конечно, любознательный царь ограничить тѣмъ своего всеобъемлющаго любопытства: ничто полезное, удобопримѣнимое къ русскому народу не могло укрыться отъ его орлинаго взора; но твердое, глубокое изученіе кораблестроенія и мореплаванія, во всѣхъ видахъ, отъ ловкой сноровки плотника до геометрической точности мастера, отъ смѣтливости штурмана до распорядительности адмирала, вотъ истинная цѣль путешествія Петра» (Устр., т. III, стр. 10—11).

Свойственное г. Устрялову краснорѣчіе въ этомъ случаѣ затемняетъ нѣсколько простую сущность дѣла; но добраться до нея не трудно при помощи фактовъ и нѣкоторыхъ замѣтокъ, представленныхъ самимъ-же г. Устряловымъ. Изъ этихъ фактовъ очевидно одно: что вопреки общему мнѣнію, какъ замѣчаетъ самъ-же историкъ въ другомъ мѣстѣ (т. III, стр. 179), Петръ искалъ за-границею единственно средствъ ввести и утвердить въ Россіи морское дѣло, *едва-ли помышляя* тогда о преобразованіи своего государства по примѣру государствъ западныхъ. Мы даже можемъ сказать прямо: «*вовсе не помышляя*»—основываясь на словахъ самого Петра въ предисловіи къ морскому регламенту. Вотъ эти слова, писанныя въ рукописи не самимъ Петромъ, но его рукою поправленныя и дополненныя. «Дабы то (т. е. строеніе кораблей) вѣчно утвердилось въ Россіи, умыслилъ искусство дѣла того ввесть въ народъ свой, и того ради многое число людей благородныхъ послалъ въ Голландію и иныя государства учиться архитектуры и управленія корабельнаго. И что дивнѣйше, — *аки бы устыдился монархъ остаться отъ подданныхъ своихъ въ ономъ искусствѣ и самъ воспріялъ маршъ въ Голландію*, и въ Амстердамѣ, на Остъиндской верфи, вдавъ себя съ прочими волонтерами своими въ наученіе корабельной архитектуры, въ краткое время въ ономъ совершился, что подобало доброму плотнику знать, и своими тру-

дами и мастерствомъ новый корабль построилъ и на воду спустилъ» (Устр., т. II, стр. 400). Вотъ какое объясненіе даетъ своему путешествію самъ Петръ: ему какъ будто совѣстно стало, что подданные изучатъ то, чего онъ самъ не знаетъ, и онъ самъ отправился учиться. Въ этомъ обнаруживается высокое стремленіе, но только стремленіе не государственное, а чисто личное, проистекавшее не изъ зрѣло-обдуманныхъ замысловъ и плановъ, а изъ стремительной, нетерпѣливой натуры Петра. Онъ просто «не стерпѣлъ долго думать» и ждать, пока посланные имъ люди воротятся изъ-за-границы съ новыми свѣдѣніями и поведутъ, какъ слѣдуетъ, дѣло строенія кораблей. Увлекаемый своей страстью къ морскому дѣлу, преданный одной мысли, которая мѣшала ему спокойно заниматься другими вопросами, онъ, не долго думая, рѣшился самъ *вдать себя* въ дѣло, къ которому стремились всѣ его помышленія. Все остальное отодвинулось для него далеко на второй планъ. Вотъ почему мы думаемъ, что не только о преобразованіи государства, по образцу европейскихъ, Петръ въ это время еще не думалъ, но даже и мысль «о краеугольномъ камнѣ политическаго могущества Россіи» была для него, по крайней мѣрѣ, не главною побудительною причиною путешествія. Самое отдаленное, самое послѣднее соображеніе Петра въ это время не простиралось, кажется, далѣе возможности успѣшно воевать съ турками. Такъ, по крайней мѣрѣ, заставляетъ думать одно письмо его къ патріарху изъ Амстердама, въ которомъ онъ говоритъ: «мы въ Нидерландахъ, въ городѣ Амстердамѣ, благодатію Божіею и вашими молитвами, при добромъ состояніи живы, и послѣдуя слову Божію, бывшему къ праотцу Адаму, трудимся; что чинимъ не отъ нужды, но добраго ради пріобрѣтенія морского пути, дабы, искусясь совершенно, могли, возвратясь, противъ враговъ имени Іисуса Христа побѣдителями, а христіанъ, тамо будущихъ, свободителями, благодатію его быть. Чего до послѣдняго издыханія желать не престану» (Устр., т. III, стр. 74). Мысль о войнѣ съ турками выражается не разъ и въ другихъ письмахъ Петра, и въ самыхъ переговорахъ, которые великое посольство вело съ разными дворами. Но такая мысль была обычна нашей политикѣ издавна и не составляла какого-нибудь чрезвычайнаго, громаднаго замысла. Что-же касается до того, какія надежды и предположенія основывалъ Петръ на удачномъ окончаніи войны турецкой,—это нигдѣ имъ не высказано, и исторія ничего рѣшительнаго на этотъ счетъ сказать не можетъ. Составлять великіе, геніальные проекты *заднимъ числомъ* вовсе не трудно для историка; но нужно, чтобы они имѣли положительное, фактическое основаніе; а этого-то и нѣтъ въ настоящемъ случаѣ. Есть, правда, свидѣтельство Шафирова, 1716 г., въ «Разсужденіи о причинахъ шведской войны», относительно общей цѣли путешествія Петра; но и это свидѣтельство нужно признать запоздалымъ. Шафировъ говоритъ, что Петръ «побужденъ былъ острымъ и отъ натуры просвѣщеннымъ своимъ разумомъ и новожелательствомъ

видѣть европейскія политизованныя государства, которыхъ ни онъ, ни предки его, ради необыкновенія въ томъ по прежнимъ обычаямъ, не видали, дабы притомъ получа искусство очевидное, потомъ, по прикладу оныхъ, свои пространныя государства, какъ въ политическихъ, такъ и въ воинскихъ и прочихъ поведеніяхъ учредить могъ, такожь и своимъ прикладомъ подданныхъ своихъ къ путешествію въ чужіе краи и воспріятію добрыхъ нравовъ и къ обученію потребныхъ къ тому языковъ возбудить». Но на такое широкое объясненіе г. Устряловъ справедливо замѣчаетъ, что такъ легко было писать Шафирову черезъ 18 лѣтъ послѣ путешествія Петра, когда уже многія полезныя перемѣны были совершены. При этомъ историкъ высказываетъ слѣдующее, вполнѣ справедливое убѣжденіе: «мысль преобразовать государство родилась въ умѣ Петра уже за-границею, но *она еще долго оставалась неясною, неопредѣленною, и государственное устройство измѣнялось постепенно, въ продолженіе всего царствованія Петрова, по указанію опыта*» (т. III, стр. 402). Если эту постепенность историкъ проведетъ въ продолженіи своего труда болѣе послѣдовательно, чѣмъ это видимъ въ изданныхъ нынѣ томахъ, то послѣдующіе томы исторіи Петра составятъ явленіе весьма замѣчательное...

Что Петръ, отправляясь за-границу, удовлетворялъ просто собственной личной потребности, не руководствуясь въ этомъ дѣлѣ никакими высшими государственными соображеніями, это ясно видно изъ исторіи всей его дѣятельности за-границей и особенно въ Голландіи. Мы не станемъ передавать, въ подтвержденіе этой мысли, всего подробнаго разсказа г. Устрялова, но укажемъ на нѣкоторыя частности. Предъ отправленіемъ *великаго посольства*, Петръ составилъ записку въ 12-ти пунктахъ о томъ, что̀ главнымъ образомъ должны имѣть въ виду послы во время путешествія за-границей. Собственноручная записка эта напечатана у г. Устрялова (т. III, стр. 8—10), и въ ней ни о чемъ болѣе не говорится, какъ о пріисканіи искусныхъ морскихъ офицеровъ, боцмановъ, матросовъ, всякаго званія корабельныхъ мастеровъ, о закупкѣ оружія и разныхъ припасовъ для флота. Чтобы показать, до какихъ подробностей въ этомъ отношеніи доходилъ Петръ, приведемъ слѣдующія статьи изъ двухъ послѣднихъ пунктовъ. «Купить гарусу на знамены, на вымпелы, на флюгели, бѣлаго, синяго, краснаго, аршинъ 1000 или 900, всякаго цвѣта поровну, а буде не дорогъ, и больше. Усовъ китовыхъ на флюгели 15, корки на затычки пушекъ 100 фунтовъ, а буде дешева 200 или 300; краски желтой, также и иныхъ, числомъ на 15 фрегатовъ; пилъ, которыми вдоль трутъ, 100, а которыми поперекъ—30, по образцамъ». Такая обстоятельность инструкціи ясно показываетъ, къ чему стремились въ это время всѣ мысли Петра, особенно если мы вспомнимъ, что ни по одному изъ другихъ предметовъ подобной инструкціи не было дано, между тѣмъ какъ по другимъ-то предметамъ онѣ были, вѣроятно, гораздо нужнѣе для пословъ. Еще болѣе выказываются

настоящія побужденія путешествія въ самой жизни Петра за-границей и въ письмахъ его оттуда. По расчету времени, изъ полуторагодового срока путешествія Петра, приходится 9 мѣсяцевъ работъ на верфяхъ въ Голландіи и Англіи, пять мѣсяцевъ на переѣзды и четыре на остановки въ разныхъ городахъ, особенно въ Вѣнѣ, Кёнигсбергѣ и Пилау, по случаю дѣлъ турецкихъ и польскихъ. Очевидно поэтому, что главную роль во всемъ путешествіи играютъ работы на верфяхъ; все остальное дѣлается только какъ-бы мимоходомъ и между прочимъ. Работы такъ занимаютъ Петра, что онъ часто не находитъ даже времени отвѣчать на письма и донесенія своихъ бояръ. Утомительные физическіе труды требовали или продолжительнаго отдыха, или хорошаго подкрѣпленія. Иногда Петръ дозволялъ себѣ и первое, отлучаясь съ работъ и разъѣзжая водою по окрестностямъ; но чаще прибѣгалъ къ второму средству, веселясь съ своими товарищами. Въ октябрѣ, 1697 г., онъ писалъ къ Виніусу, чтобы тотъ не тревожился, долго не получая писемъ, «потому что иное за недосугомъ, а иное за отлучкою, а иное за Хмѣльницкимъ не исправишь» (Устр., III, стр. 428). Чему-же учился Петръ, чѣмъ онъ занятъ былъ главнымъ образомъ на амстердамской верфи? Онъ исполнялъ всѣ обязанности плотника: обтесывалъ бревна и доски, прилаживалъ корабельныя снасти, исполнялъ всѣ приказанія своего мастера. Около полугода работалъ Петръ въ Голландіи и все научался только тому, «что подобало доброму плотнику знать», по его собственнымъ словамъ. Уже въ концѣ этого времени захотѣлъ онъ учиться у своего мастера «препорціи корабельной». Ну тутъ оказалось, что «въ Голландіи нѣтъ на сіе мастерство совершенства геометрическимъ образомъ, но точію нѣкоторыя принципіи, прочее-же съ долговременной практики». Петръ былъ, разумѣется, крайне недоволенъ, открывши это обстоятельство, котораго онъ никакъ не ожидалъ. «Тогда зѣло ему стало противно, что такой дальній путь для сего воспріялъ, а желаемаго конца не достигъ». Чрезъ нѣсколько дней Петръ узналъ, что настоящую корабельную науку можно изучить въ Англіи, и вскорѣ отправился туда. Здѣсь слишкомъ два мѣсяца изучалъ онъ англійскую систему постройки судовъ, и впослѣдствіи говорилъ: «навсегда-бы остался я только плотникомъ (у Перри — Bungler, плохой работникъ, пачкунъ), если бы не поучился у англичанъ» (Устр., т. III, стр. 108). Голландскими же судостроителями Петръ былъ такъ недоволенъ, что въ декабрѣ 1697 г., еще до пріѣзда своего въ Лондонъ, послалъ въ Москву приказъ — всѣхъ работавшихъ въ Россіи голландскихъ мастеровъ подчинить надзору и руководству мастеровъ датскихъ и венеціанскихъ. Окольничій Протасьевъ отвѣчалъ на это, между прочимъ, слѣдующимъ извѣстіемъ, выражающимъ довольно ясно его наивное изумленіе, при полученіи неожиданнаго приказа Петра: «а я заложилъ было въ недавнемъ времени казенный корабль тѣмъ же голландскимъ размѣромъ, и *нынѣ слыша о такой ихъ глупости*, что они, гол-

ландцы, въ размѣрѣ силы не знаютъ, велѣлъ имъ то судно покинуть, до пріѣзда отъ вашей милости мастеровъ» (Устр., т. III, стр. 91). Итакъ, если мы представимъ себѣ даже только то, что Петръ работалъ въ Голландіи, воодушевляемый идеею выучиться здѣсь строенію кораблей, для созданія могущественнаго флота, то и тогда время, проведенное имъ на амстердамской верфи, надобно будетъ считать почти потеряннымъ. Петръ самъ ясно выражаетъ, что не стоило за этимъ ѣздить въ Голландію: что голландцы не умѣютъ строить судовъ, что имъ нельзя даже поручить управленіе работами, не только ихъ брать въ наставники и образцы по части кораблестроенія. Слѣдовательно, въ полгода своего пребыванія въ Голландіи, Петръ учился только плотничьей техникѣ корабельнаго дѣла. При мысли объ этомъ, необходимо каждому долженъ представиться вопросъ: необходимо-ли было Петру, для сооруженія флота въ Россіи, самому выучиться въ совершенствѣ обтесывать бревна, вытачивать блоки, прилаживать доски, и пр.? И если этой необходимости не представлялось, то сообразно ли было съ характеромъ Петра — такъ долго останавливаться на ненужныхъ мелочахъ и частностяхъ, когда его уже неудержимо увлекали соображенія и замыслы обширные и ясно имъ опредѣленные? Мы думаемъ, что нѣтъ. Вѣдь Петръ не вздумалъ же, напр., предъ вторымъ азовскимъ походомъ изучать всѣ тонкости инженернаго и артиллерійскаго искусства, не посвятилъ цѣлые годы на изученіе металлургіи, когда обратилъ вниманіе на горнозаводское дѣло, не сталъ учиться самъ шить солдатскіе кафтаны и шляпы, когда заводилъ регулярное войско съ новой обмундировкой. А умѣнье обтесывать бревна, конечно, нисколько не важнѣе для созданія флота, чѣмъ умѣнье шить солдатскія шинели — для учрежденія войска съ новой обмундировкой. Поэтому мы, кажется, приписали бы Петру слишкомъ много мелочности, если бы предположили, что онъ могъ останавливаться такъ долго и такъ внимательно надъ предметами, столь ничтожными, имѣя въ виду высшіе интересы. Можно бы еще подумать, что Петръ оставался въ Голландіи единственно вслѣдствіе ошибочнаго мнѣнія объ искусствѣ голландцевъ. Но ошибка не могла бы продолжаться такъ долго, если бы Петръ искалъ въ Голландіи именно того, о чемъ говорятъ его историки. Чрезъ недѣлю работы, онъ бы непремѣнно потребовалъ отъ голландскихъ мастеровъ тѣхъ свѣдѣній, которыя должны были составлять главный предметъ исканій Петра и въ которыхъ голландцы оказались такъ плохи. А между тѣмъ мы видимъ, что Петръ четыре мѣсяца слишкомъ работалъ какъ плотникъ, вовсе, повидимому, не думая спрашивать своихъ учителей о главныхъ началахъ кораблестроенія. Это обстоятельство въ Петрѣ такъ странно, такъ несообразно съ пылкимъ, нетерпѣливымъ характеромъ, съ его стремительной любознательностью, такъ противно его обычаю—прямо и быстро слѣдовать къ достиженію своей цѣли, не обращая вниманія на постороннія обстоятельства,—что пребы-

ваніе Петра въ Голландіи только и можетъ быть объяснено отсутствіемъ еще опредѣленныхъ идей и цѣлей относительно самаго флота. Петръ въ этомъ случаѣ увлекся своей страстью къ работѣ корабельнаго плотника, страстью, которая въ это время была въ немъ еще сильнѣе всякихъ отдаленныхъ соображеній. О силѣ ея свидѣтельствуетъ, между прочимъ, и то, съ какимъ нетерпѣніемъ Петръ рвался къ работѣ. Онъ узналъ, что компанія остъ-индская рѣшила заложить новый фрегатъ для упражненій царя, — въ то время, какъ былъ на торжественномъ обѣдѣ. Узнавши это, онъ немедленно хотѣлъ приняться за дѣло; съ трудомъ уговорили его подождать конца пиршества и фейерверка, приготовленнаго въ честь его. Но едва погасли послѣдніе огни, какъ Петръ сталъ собираться въ Саардамъ, гдѣ оставлены были его инструменты. Напрасно представляли ему опасность ночного плаванія, — онъ ничего не слушалъ, и въ 11 часовъ ночи уѣхалъ. Въ часъ пополуночи былъ онъ въ Саардамѣ, уложилъ свои инструменты, рано утромъ воротился въ Амстердамъ и принялся за работу. Такъ неудержимо сильна была въ душѣ его страсть къ кораблестроенію!... И страсть эта, несомнѣнная и доказанная фактически, нисколько не уменьшаетъ величіе дѣлъ Петровыхъ, если мы даже признаемъ ее побудительною причиною нѣкоторыхъ изъ нихъ, считавшихся прежде плодами какихъ-то государственныхъ соображеній. Повторимъ здѣсь, что для исторіи не столько важно то, что задумывалъ историческій дѣятель, какъ то, что онъ совершилъ. Августъ покровительствовалъ поэзіи потому, что онъ самъ писалъ трагедіи; и тѣмъ не менѣе его время было золотымъ вѣкомъ римской литературы. Ришелье постоянно мечталъ о литературной славѣ, окружалъ себя толпою ласкателей, даже не безъ участія личныхъ литературныхъ видовъ основалъ Французскую академію; но все-таки правленіе Ришелье было временемъ славы для Франціи, и Французская академія осталась однимъ изъ лучшихъ памятниковъ его правленія. Фридрихъ Вильгельмъ устраивалъ войско по страсти къ парадамъ и рослымъ солдатамъ, и, однакоже, набранное имъ войско дало его сыну возможность основать величіе Пруссіи. Да и вообще, если мы допускаемъ во всѣхъ великихъ людяхъ исторіи особенныя, личныя страсти, если мы понимаемъ въ Августѣ охоту къ стихотворству, въ Фридрихѣ — къ игрѣ на флейтѣ, въ Наполеонѣ—къ шахматамъ, то отчего же не допустимъ мы въ Петрѣ пристрастія къ токарной и плотничьей работѣ, особенно корабельной, какъ отчасти удовлетворявшей собою и его страсть къ морю? Кажется, въ этомъ не будетъ ничего страннаго и неестественнаго, а между тѣмъ только это объясненіе сдѣлаетъ намъ вполнѣ понятнымъ полугодовое пребываніе Петра въ Голландію.

То же самое отсутствіе необычайныхъ соображеній оказывается и въ incognito Петра, которое выставлялось какимъ-то непостижимымъ чудомъ у прежнихъ историковъ. Г. Устряловъ очень просто объясняетъ его желаніемъ Петра избавиться отъ церемоній и эти-

кетовъ придворныхъ, которые всегда были для него утомительны. Но при томъ онъ вовсе не хотѣлъ лишаться тѣхъ преимуществъ, которыя доставлялъ ему въ путешествіи высокій санъ его. По крайней мѣрѣ, это ясно обнаруживается въ немъ послѣ непріятностей, которыя онъ потерпѣлъ въ Ригѣ. Вначалѣ, дѣйствительно, Петръ хотѣлъ строго хранить свое incognito, и, чтобы въ Европѣ не узнали его, употребилъ даже мѣру, позволительную развѣ только при тогдашнемъ состояніи понятій о правахъ частныхъ лицъ: онъ повелѣлъ распечатывать всѣ письма, отправляемыя изъ Москвы заграницу черезъ установленную почту, и задерживать тѣ, въ которыхъ было хоть слово о путешествіи царя! (Устр., т. III, стр. 17). Но, на самомъ дѣлѣ, русскій дворъ требовалъ отъ шведскаго короля объясненій, зачѣмъ Дальбергъ не оказалъ должныхъ почестей царю московскому, бывшему въ великомъ посольствѣ? Дальбергъ, простодушно принявшій, кажется, incognito царя совершенно буквально, отвѣчалъ,—не безъ основаній съ своей точки зрѣнія,—слѣдующимъ оправданіемъ: «мы не показывали и виду, что намъ извѣстно о присутствіи царя, изъ опасенія навлечь его неудовольствіе; въ свитѣ никто не смѣлъ говорить о немъ, подъ страхомъ смертной казни». Противъ этого г. Устряловъ замѣчаетъ: «жалкое оправданіе! Строгое incognito не мѣшало герцогу курляндскому, курфирсту бранденбургскому, супругѣ его, курфирстинѣ ганноверской, высоко-мочнымъ штатамъ нидерландскимъ, королю англійскому, императору римскому, самой цесаревнѣ,—оказывать Петру все вниманіе, какого заслуживалъ онъ и по своему сану, и по личнымъ качествамъ» (Устр., т. III, стр. 29). Дѣйствительно, Дальбергъ оказался недогадливымъ; но едва ли догадливѣе его были и тѣ историки, которые слишкомъ строго, à la lettre, принимали incognito Петра. Любопытно, между прочимъ, какъ incognito Петра открылось въ Саардамѣ. Здѣсь всѣ обстоятельства обнаруживаютъ, что Петръ даже и не хотѣлъ оставаться для всѣхъ неизвѣстнымъ, а хотѣлъ только, чтобы всѣ показывали, что онъ имъ неизвѣстенъ. По прибытіи въ Саардамъ, Петръ купилъ однажды сливъ, положилъ ихъ въ шляпу и ѣлъ дорогой. На одной плотинѣ пристала къ нему толпа мальчишекъ, и Петру пришла охота подразнить ихъ; однимъ изъ нихъ онъ далъ сливъ, другимъ не далъ, и забавлялся, по словамъ очевидца, радостью первыхъ и неудовольствіемъ вторыхъ (Устр., т. III, стр. 66). Неполучившіе сливъ, въ досадѣ, начали бросать въ него грязью и даже каменьями; Петръ укрылся отъ нихъ въ одной гостиницѣ и съ гнѣвомъ велѣлъ позвать бургомистра. Въ тотъ же день обнародовано было объявленіе, чтобъ никто, подъ опасеніемъ жестокаго наказанія, не смѣлъ оскорблять знатныхъ иностранцевъ, хотящихъ остаться неизвѣстными; въ тотъ же день поставлена была стража на мосту, ведущемъ къ тому дому, гдѣ жилъ царь, потому что онъ жаловался на толпы, стекавшіяся смотрѣть на него. Чрезъ нѣсколько дней толпа окружила его на берегу; Петръ разсердился и далъ крѣпкую пощечину одному гол-

ландцу, стоявшему ближе другихъ и глазѣвшему на него... Все это очень мало, конечно, могло согласоваться съ incognito и скорѣе всего обнаруживало голландцамъ, кто такой появился между ними.

Вообще, простотѣ жизни и безцеремонности обращенія Петра напрасно придаютъ видъ какой-то намѣренности и расчитанной подготовленности. Мы видѣли въ прошедшей статьѣ, что къ этой простотѣ подготовило Петра его воспитаніе, удалившее его съ малыхъ лѣтъ отъ придворнаго этикета и развившее въ немъ природную живость и стремительность характера. Для русскихъ того времени казалось, конечно, необыкновеннымъ и чуднымъ, что монархъ ихъ появляется между ними запросто, какъ обыкновенный смертный, не окруженный тѣмъ азіатскимъ великолѣпіемъ, съ какимъ постоянно являлись его предшественники. И не только для русскихъ, для всѣхъ тогдашнихъ народовъ Европы было необычайно это явленіе. Они всѣ привыкли представлять себѣ царя московитскаго въ какомъ-то недоступномъ, таинственномъ величіи, на высотѣ, недосягаемой для подданныхъ; и вдругъ они съ изумленіемъ видятъ московитскаго царя въ такой простотѣ, до какой не нисходилъ ни одинъ даже изъ *ихъ* европейскихъ королей. И вотъ, изъ этого-то изумленія, проистекло множество толковъ, старавшихся объяснить простоту Петра различными, болѣе или менѣе великими и геніальными побужденіями. То говорили, что онъ хотѣлъ этимъ уничтожить боярскую спесь и нанести послѣдній ударъ мѣстничеству; то утверждали, что чрезъ это онъ хотѣлъ лучше вызнать всѣ нужды своего царства; то придумывали даже, что причиною этого было глубокое смиреніе царя, равнявшаго себя съ послѣднимъ изъ подданныхъ и желавшаго возвышаться надъ ними только своимъ трудолюбіемъ и заслугами. Всего болѣе странно и противно историческимъ фактамъ послѣднее предположеніе, дѣлающее Петра изъ царя московскаго какимъ-то идеальнымъ философомъ. Смиренно сознать ничтожность всѣхъ привилегій, даваемыхъ происхожденіемъ и случаемъ, понять, что всякій человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, возвышается только трудомъ и личными заслугами, убѣдиться въ этомъ теоретически и постоянно примѣнять свое убѣжденіе на практикѣ есть, конечно, дѣло великое. Но какъ бы ни было прекрасно подобное убѣжденіе, оно можетъ проявиться скорѣе въ дѣятельности какого-нибудь бездомнаго Діогена, безцеремонно обходящагося съ Александромъ, нежели въ жизни самодержавнаго правителя обширнаго государства. Петръ никогда не былъ такимъ отчаяннымъ теоретикомъ, чтобы предварительно искать принциповъ для своихъ дѣйствій въ отвлеченныхъ идеяхъ о правахъ человѣчества и достоинствѣ личности. И если бы уже дѣйствительно онъ выработалъ себѣ то идеально смиренное убѣжденіе, которое ему приписываютъ, то у него, безъ всякаго сомнѣнія, достало бы характера на то, чтобы остаться ему вѣрнымъ до конца и провести его до самыхъ крайнихъ послѣдствій, хотя бы для этого нужно было отказаться отъ всей своей власти и могу-

щества. Но въ томъ-то и дѣло, что дѣйствія Петра и въ этомъ случаѣ, какъ во множествѣ другихъ, не были заданы отвлеченными принципами, а проистекали прямо и непосредственно изъ его живой натуры. Ему просто казались стѣснительны, тяжелы формы азіатскаго великолѣпія, господствовавшія при дворѣ его предковъ; ему неловко было подчиняться этому обременительному этикету, и онъ не сталъ подчиняться. Для него это было такъ же просто, естественно и незначительно, какъ и необычное до тѣхъ поръ знакомство съ нѣмцами, и огненныя потѣхи, и водяныя прогулки, съ которыхъ началась его страсть къ морскому дѣлу. Для него все это какъ будто бы такъ непремѣнно и слѣдовало, по непосредственному ходу его воспитанія и развитія, а вовсе не по стремленію осуществить какіе-то отдаленные, исполинскіе замыслы, и не вслѣдствіе философскихъ убѣжденій въ тѣхъ или другихъ отвлеченныхъ принципахъ. Вся исторія Петра показываетъ, что онъ вовсе не думалъ никогда предаваться чисто теоретическимъ созерцаніямъ и не жертвовалъ имъ ни одною минутою практически полезной дѣятельности, ни однимъ сильнымъ стремленіемъ своей страстной натуры. Отъ стремленій этихъ онъ никогда не отказывался и требовалъ имъ полнаго простора и удовлетворенія, не смотря на всю простоту и снисходительность, которыя выказывалъ въ обращеніи съ окружающими. Онъ сбросилъ старинныя, отжившія формы, какими облекалась высшая власть до него; но сущность дѣла осталась и при немъ та же, въ этомъ отношеніи. Въ матросской куркѣ, съ топоромъ въ рукѣ, онъ такъ же грозно и властно держалъ свое царство, какъ и его предшественники, облеченные въ порфиру и возсѣдавшіе на золотомъ тронѣ, со скипетромъ въ рукахъ. Горе было тому дерзкому, который, среди веселаго пиршества, осмѣлился бы забыться предъ Петромъ: мгновенно предъ нимъ являлся — не веселый собесѣдникъ, а грозный монархъ, имѣющій надъ нимъ власть жизни и смерти. Петръ позволялъ много своимъ друзьямъ, но тѣмъ опаснѣе было выходить изъ предѣловъ его дозволенія. Въ минуты гнѣва онъ не стѣснялся ничѣмъ, и такова была сила страха, наводимаго имъ, что въ такія минуты, по приведенному нами выше свидѣтельству г. Устрялова, «даже среди самаго жаркаго разгула собесѣдники умолкали и приходили въ трепетъ» (т. II, стр. 132). Та же самая нетерпѣливость и стремительность постоянно проявляется въ Петрѣ и во время его путешествія. Даже самое incognito въ этомъ отношеніи мало озабочивало его, какъ видно, напр., изъ исторіи съ мальчишками въ Саардамѣ и съ голландцемъ, получившимъ пощечину.

Такимъ образомъ вся, доселѣ разсмотрѣнная нами по изложенію г. Устрялова, дѣятельность Петра доказываетъ, что это была натура сильная, необыкновенная, но что, вопреки существующему мнѣнію, не рано проявились въ ней обширные государственные замыслы и планы преобразованій. Да и въ то время, когда уже явились эти планы, они вовсе не имѣли того характера всеобщ-

ности и безпредѣльности, какой имъ приписывали нѣкоторые историки. Не всѣ части управленія были обняты вдругъ, не всѣ преобразованія задуманы разомъ въ стройной системѣ, съ яснымъ распредѣленіемъ, что вотъ нужно начать съ того-то, а затѣмъ пойдетъ вотъ это и это. Повторимъ еще разъ, что подобныя распредѣленія хороши и удобны для мыслителя, составляющаго проектъ; но рѣдко удается руководиться ими настоящему, практическому дѣятелю. Тѣмъ болѣе трудно было составлять для себя подобныя системы Петру, который и по натурѣ своей не былъ расположенъ къ этимъ долгимъ думамъ, да и въ такомъ положеніи находился, что опредѣленіе заранѣе программы дѣйствій могло только затруднять его.

Въ сущности, впрочемъ, простое сравненіе тогдашнихъ русскихъ порядковъ съ тѣмъ, что Петръ имѣлъ случай увидать за-границей, могло послужить ему довольно яснымъ указаніемъ, на что отнынѣ должна быть устремлена его дѣятельность. Собственно теоретическая задача была здѣсь чрезвычайно проста. Что нужно многое передѣлать и многое ввести вновь, это понимали и до Петра, и въ самой Россіи. Изъ людей же, знавшихъ европейскій порядокъ дѣлъ, всякій могъ указать Петру на главнѣйшія нужды русскаго царства, требовавшія немедленнаго удовлетворенія. Особенно-хитрыхъ соображеній тутъ не нужно было; нужна была геніальная рѣшимость, непоколебимая твердость воли въ борьбѣ съ препятствіями, неизмѣнное намѣреніе вести дѣло до конца. Именно этихъ-то свойствъ характера и недоставало предшественникамъ Петра, которые, однако, понимали необходимость многаго, сдѣланнаго впослѣдствіи Петромъ. Еще при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ поняло наше правительство, что нужно русскимъ учиться у иноземцевъ ратному строю, и вызывало иноземныхъ офицеровъ; при немъ же артиллерійскіе снаряды и людей, способныхъ распоряжаться съ ними, выписывали изъ-за-границы. Нужду во флотѣ чувствовалъ и Алексѣй Михайловичъ, построившій даже и корабль, при помощи иностранныхъ мастеровъ. Торговля съ иноземцами велась издавна, и еще Флетчеръ писалъ, что «цари русскіе видятъ въ этой торговлѣ средство обогащенія для казны», (см. Кар., т. X, стр. 146). О торговлѣ заграничной, и именно морской, думали у насъ многіе, какъ видно, напр., изъ предисловія къ ариѳметикѣ, относимой Карамзинымъ къ 1635 г. Въ предисловіи исчисляются разныя пользы ариѳметики, чтобы приманить къ занятію ею; между прочимъ говорится: «по сей мудрости гости *по государствамъ торгуютъ*, и во всякихъ товарѣхъ и въ торгѣхъ силу знаютъ, и во всякихъ вѣсѣхъ, и въ мѣрахъ, и въ земномъ верстаніи, и *въ морскомъ теченіи* зѣло искусни, и счетъ изъ всякаго числа перечню знаютъ» (см. Кар., прим. 437 къ IX т.). Что для флота и для торговли намъ нужно было море, это понимали даже турки, такъ твердо и неуступчиво въ переговорахъ съ нами отстаивавшіе исключительно для себя черноморское плаваніе. Необходимость распространить въ народѣ

просвѣщеніе, и именно на европейскій манеръ, чувствовали у насъ, начиная съ Іоанна Грознаго, посылавшаго русскихъ учиться за-границу, и особенно со времени Бориса Годунова, снарядившаго за-границу цѣлую экспедицію молодыхъ людей для наученья, думавшаго основать университетъ, и для того вызывавшаго ученыхъ изъ-за-границы. Въ послѣдующія царствованія мы не видимъ продолженія его замысловъ; но мысль учиться у нѣмцевъ тѣмъ не менѣе бродила въ общемъ сознаніи. Кошихинъ съ негодованіемъ говоритъ о томъ, что бояре русскіе боятся посылать дѣтей своихъ «для науки въ иноземныя государства» (Кош. IV, 24). Даже въ вещахъ, менѣе важныхъ въ государственномъ смыслѣ, имѣвшихъ болѣе частное значеніе, Петръ имѣлъ предшественниковъ, робкими полумѣрами медленно начинавшихъ то, что онъ совершилъ быстро и рѣшительно. Такъ, напр., ослабленіе строгаго заключенія женщины въ терему мы видимъ уже при Алексѣѣ Михайловичѣ; вскорѣ потомъ, громкое фактическое провозглашеніе правъ ея сдѣлано Софіею. Такъ точно, введеніе нѣмецкой одежды уже допущено было Ѳеодоромъ, который самъ надѣлъ *польское* платье. Введеніе разныхъ общественныхъ удовольствій, взятыхъ отъ нѣмцевъ, началось также при Алексѣѣ Михайловичѣ. Но дѣло состояло въ томъ, чтобы начавши кончить, или, по крайней мѣрѣ, продолжать быстро и рѣшительно. На это недоставало энергіи ни у кого, кромѣ Петра. При первой неудачной попыткѣ, предшественники Петра падали духомъ и не смѣли продолжать своихъ усилій; иногда не рѣшались даже и на первую попытку, устрашенные представлявшимися затрудненіями. Такъ, Алексѣй Михайловичъ пересталъ думать о флотѣ, когда сожженъ былъ Разинымъ первый корабль, имъ построенный. Такъ Годуновъ оставилъ мысль объ учрежденіи университета съ иностранными учителями только потому, что, какъ говоритъ Карамзинъ (т. XI, стр. 53), «духовенство представило ему, что Россія благоденствуетъ въ мирѣ единствомъ закона и языка; что разность языковъ можетъ произвести и разность въ мысляхъ, опасную для церкви». Онъ же отказался и отъ продолженія посылки молодыхъ людей за-границу оттого, что первая посылка оказалась неудачною. Петръ былъ не таковъ; его ничто не могло отклонить отъ того, на что онъ однажды рѣшился. Крѣпкая воля его умѣла преодолѣвать всѣ препятствія. Въ этомъ свойствѣ характера Петра всего болѣе выражается его величіе: въ такомъ именно характерѣ и нуждалась Россія того времени.

Отецъ Петра, Алексѣй Михайловичъ, отличался добротою души и любовью ко благу своихъ подданныхъ. Но онъ не имѣлъ столько энергіи, чтобы совершенно избавиться отъ вліянія дурныхъ людей, которые окружали его и обращали во зло его благія намѣренія. Преемникъ его, Ѳеодоръ, былъ человѣкъ больной и слабый характеромъ, рѣшительно не имѣвшій возможности предпринять упорную борьбу съ старымъ порядкомъ, котораго онъ тоже не одобрялъ. Вслѣдствіе этого, въ управленіи не было единства и твер-

дости. Правительство само видѣло, что дѣла идутъ дурно, и не могло энергически защищать существующій порядокъ дѣлъ, противъ возникавшаго повсюду ропота и недовольства. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, оно не рѣшалось предпринять рѣшительной борьбы съ стариной и ея приверженцами. Ограничивались только кое-какими мѣрами противъ злоупотребленій, уже слишкомъ громко вопіявшихъ. Но этого было мало, потому что начало злоупотребленій скрывалось въ самой сущности тогдашняго порядка дѣлъ, въ недостаткѣ свободнаго развитія народныхъ силъ, въ неразвитости и развращенности людей, которымъ ввѣрены были начальство, судъ и расправа, въ общемъ недостаткѣ образованія по всѣмъ частямъ. Измѣнить такое положеніе дѣлъ нельзя было однимъ указомъ, запрещавшимъ лихоимство, или мѣстничество, или своевольное разореніе собственной страны въ военное время, — подъ опасеніемъ жестокой казни. Нужно было нанести злу ударъ болѣе смѣлый и рѣшительный, мѣрами болѣе общими и глубокими. Но вотъ на это-то и не стало силъ ни у кого изъ Петровыхъ предшественниковъ. Имѣя, конечно, въ виду, благо своего народа, они постоянно обнаруживали самыя полезныя и благородныя стремленія; но эти стремленія, обнаруживавшія ихъ прекрасную душу, рѣдко приводимы были въ исполненіе такъ, какъ бы они желали. Сами они не могли непосредственно наблюдать за исполненіемъ, потому что, по обычаю до-петровской Руси, стояли въ недоступномъ отдаленіи отъ народа; окружавшіе же ихъ люди пользовались своею силою и вліяніемъ для своихъ корыстныхъ цѣлей. Эти люди многое представляли доброму Алексѣю не въ томъ видѣ, какъ бы слѣдовало, и умѣли отклонять его отъ многихъ прекрасныхъ намѣреній, клонившихся въ пользу народа. Это зловредное вліяніе высшихъ бояръ такъ было явно, что оно не могло укрыться даже отъ народа. Во время бунта Разина распространенъ былъ слухъ, будто на Донъ бѣжалъ царевичъ Алексѣй, съ порученіемъ отъ самого царя къ Донскимъ казакамъ, чтобы они помогли ему избавиться отъ коварныхъ бояръ. Слухъ этотъ многихъ привлекалъ къ мятежнику, значитъ народъ зналъ тягость боярскаго вліянія. Только добрый царь, заботясь о благѣ подданныхъ, не подозрѣвалъ, что въ своихъ любимцахъ имѣетъ самыхъ опасныхъ враговъ своихъ полезныхъ предначертаній. Вслѣдствіе этого, дѣла шли все хуже и хуже, глухое неудовольствіе стало разражаться открытыми возстаніями, внутреннія безпорядки увеличивались съ каждымъ годомъ. Непродолжительное царствованіе Ѳеодора ничего не могло поправить, и когда Петръ принялъ правленіе въ свои руки, положеніе Россіи представлялось въ слѣдующемъ видѣ.

Извнѣ Россія была унижена: она потерпѣла много неудачъ въ дѣлахъ съ поляками, платила хераджъ, по нашему *поминки*, крымскому хану, потеряла земли при Финскомъ заливѣ, упустила изъ рукъ своихъ цѣлую половину Малороссіи, добровольно подчинившейся. Крымскіе походы князя Голицына, возвеличеннаго Софіею,

еще болѣе обезславили русское оружіе и заставили смѣяться надъ нами поляковъ, турокъ и нѣмцевъ. Если разобрать причины этого, то оказывается, конечно, что виною всего были неустройства внутреннія. Военное искусство стояло на самой низкой степени. Были призываемы иноземцы, чтобъ учить русскіе полки иноземному строю; но это дѣлалось какъ-то случайно и небрежно. Очень часто оказывалось, что пріѣзжіе иноземцы или сами ничего не смыслили, или не хотѣли ничего дѣлать и даже во время похода сказывались «*въ нѣтѣхъ*». Войска потеряли всякій воинскій духъ, не будучи одушевляемы никакимъ сильнымъ чувствомъ, не имѣя никакихъ ясныхъ понятій даже о своихъ обязанностяхъ. Это доказали крымскіе походы Голицына, и даже позже азовскіе походы самого Петра. Артиллерійскаго и инженернаго дѣла не зналъ никто, до такой степени, что и Тиммерманъ, проводившій мины во вредъ нашимъ же войскамъ, считался знатокомъ. Флота, военнаго или торговаго, не было вовсе; не было даже порядочныхъ судовъ и кормщиковъ, которые бы умѣли перевозить по рѣкамъ. Торговля заграничная была вся въ рукахъ иностранцевъ, и русскіе купцы терпѣли только невыгоды отъ ихъ монополій. Государственные доходы были невелики; вслѣдствіе множества неустройствъ и безпорядковъ, бывшихъ при Алексѣѣ Михайловичѣ и при Софіи, вездѣ накопились недоимки, права владѣнія перепутаны и сдѣлались спорными. Указы 1683 г., о возобновленіи крѣпостныхъ актовъ, истребленныхъ въ майскій мятежъ въ Холопьемъ приказѣ, о возвращеніи владѣльцамъ холопей, насильно вынудившихъ у нихъ отпускныя во время мятежа, о сыскѣ бѣглыхъ крестьянъ, о возобновленіи писцовыхъ книгъ, и пр., — всѣ эти указы мало, какъ кажется, принесли пользы. Безпорядки продолжались, ничего нельзя было разобрать, казна истощалась; уже во время путешествія Петра за-границей, по замѣчанію историка, «финансы наши были такъ скудны, что едва могли удовлетворять самымъ необходимымъ потребностямъ» (Устрял., т. III, стр. 86). Вся администрація отличалась невѣжествомъ и развращенностью. Не только ничего не дѣлали для успокоенія умовъ, но еще, какъ бы нарочно, изыскивали средства дразнить ихъ. Извѣстно, что произошло при Алексѣѣ Михайловичѣ отъ самовластія и лихоимства чиновниковъ, поставленныхъ подъ покровительствомъ Морозова и Милославскаго; извѣстно также, какія слѣдствія имѣлъ выпускъ мѣдной монеты и корыстный оборотъ, сдѣланный при этомъ богатыми боярами. Въ прошедшей статьѣ мы видѣли, какими несправедливостями и насиліями стрѣлецкихъ начальниковъ подготовленъ былъ первый стрѣлецкій бунтъ. Столь же замѣчательна ревность бояръ къ раздраженію умовъ въ раскольникахъ, принесшая столь горькіе плоды впослѣдствіи. Мы не касались этого предмета въ нашихъ статьяхъ, стараясь слѣдить только за тѣми событіями изъ временъ отрочества Петра, которыя имѣли замѣтное вліяніе на его развитіе. Но при общемъ взглядѣ на состояніе Россіи того времени, необходимо

обратить вниманіе и на тогдашнее положеніе раскольниковъ, ярко обрисовывающее степень образованности и гуманности тогдашней администраціи. Удерживаясь отъ всякихъ собственныхъ сужденій на этотъ счетъ, мы позволяемъ себѣ только выписать одну страницу изъ перваго тома «Исторіи Петра», г. Устрялова (т. I, стр. 100).

«Принятыя царевною мѣры къ искорененію главнаго зла, раскола, только содѣйствовали къ его усиленію. Послѣ мятежа Никиты Пустосвята, повелѣно было: раскольниковъ отыскивать во всемъ государствѣ и, по мѣрѣ вины, однихъ предавать суду духовному, другихъ—суду градскому, какъ преступниковъ государственныхъ. Года черезъ два послѣ того, состоялись и указныя статьи о расправѣ съ ними: упорствующихъ въ заблужденіи предписано пытать жестокими муками, чтобы вывѣдать ихъ учителей, и, если не отстанутъ отъ раскола, жечь въ срубахъ, а пещелъ развѣять; жечь въ срубахъ велѣно и тѣхъ, которые перекрещиваютъ младенцевъ или людей взрослыхъ, именуя первое крещеніе неправымъ; наказаніе кнутомъ и ссылкою угрожало всякому, кто укрывалъ раскольниковъ или, зная объ нихъ, не доносилъ. Такимъ образомъ, воздвигнуто было гоненіе повсемѣстное; оно принесло горькіе плоды; изувѣры ожесточились болѣе прежняго; многочисленными вооруженными толпами нападали на монастыри, цѣлые мѣсяцы отбивались отъ царскихъ войскъ; наконецъ, доведенные до крайности, гибли въ пламени зажженныхъ ими церквей.... Грустно читать подобныя событія, и тѣмъ виновнѣе кажутся тогдашніе законодатели, что, безъ всякаго милосердія преслѣдуя несчастныя заблужденія ума и совѣсти, сами они платили дань нелѣпымъ предразсудкамъ: главный изъ нихъ, первый совѣтникъ и наперсникъ царевны, князь Голицынъ, вѣрилъ въ волшебство и чародѣйство»...

Вмѣстѣ съ невѣжествомъ и жестокостью, господствовало повсюду казнокрадство и подкупность, ставившія ни во что всякую вѣру и заклинательство, по выраженію Кошихина. Въ военномъ управленіи — начальники удерживали у подчиненныхъ жалованье, употребляли ихъ на свои работы, заставляли дѣлать на свой счетъ вещи, которыя положено было давать изъ казны, и пр. Въ гражданскихъ судахъ можно было всего достичь подкупомъ, и трудно было отыскать честнаго человѣка. Такъ, напр., Протасьевъ, котораго Петръ сдѣлалъ было главнымъ распорядителемъ сооруженія флота, оказался страшнымъ взяточникомъ (Устр., т. II, стр. 307). Лучшій изъ пословъ дипломатовъ въ первое время правленія Петра, Емельянъ Украинцевъ, также былъ извѣстный взяточникъ. Улики въ лихоимствѣ даже ближнихъ людей Петра бывали и впослѣдствіи, и постоянно приводили его въ страшный гнѣвъ. Но общая зараза была такова, что даже Петръ не могъ искоренить ея. Она обнаруживалась не только во внутреннихъ дѣлахъ, но и во внѣшнихъ отношеніяхъ съ иными государствами. Подкупъ замѣнялъ и воинскую храбрость, и дипломатическія способности. Вспомнимъ, что русскіе подъ Азовомъ пытались склонить пашу къ сдачѣ города *выгодными предложеніями*; при Прутѣ, уже гораздо позже, употреблено было то же средство. Польскій посланникъ Нефимоновъ, бывшій тамъ при избраніи короля, въ 1696 г., доносилъ Петру, что нужно послать въ Польшу, по примѣру цесаря, «полномочнаго посла съ довольнымъ количествомъ денегъ на презенты; поляки же пуще денегъ любятъ московскіе соболи» (Устр., т. III, стр. 17).

Вся вообще жизнь была въ тогдашней Руси болѣе удовлетвореніемъ животной, грубо-чувственной сторонѣ человѣка, нежели высшимъ его интересамъ. Низшіе классы народа находились въ бѣдности, исходомъ изъ которой было пьянство и разбой. Высшее сословіе погружено было въ грубую спесь и роскошь, состоявшую въ бездѣйствіи, жирномъ и хмельномъ столѣ, да въ размашистомъ разгулѣ, нерѣдко доходившемъ даже до степени разбоя. Записки Желябужскаго представляютъ не мало примѣровъ, что князья и бояре бывали захватываемы на разбоѣ. Какова была степень умственнаго и нравственнаго развитія высшихъ сословій, это мы видѣли уже въ прошедшей статьѣ. Въ чемъ проходила ихъ домашняя жизнь, можно видѣть изъ Кошихина. Не лишенную интереса черту представляетъ, въ книгѣ г. Устрялова, исчисленіе питій и яствъ, отпускавшихся царевнѣ Софіи, когда она была въ *заточеніи* въ Новодѣвичьемъ монастырѣ (т. III, стр. 156). «Ей, съ нѣсколькими ея прислужницами, выдавалось *ежедневно*: по ведру меду приказнаго и пива мартовскаго, по 2 ведра браги (а для праздниковъ Рождества Христова и Свѣтлаго Воскресенья — по ведру водки коричневой и по 5 кружекъ водки анисовой), по 4 стерляди паровыхъ, по 6 стерлядей ушныхъ, по 2 щуки колодки, по лещу, по 3 язя, по 30 окуней и карасей, по 2 звена бѣлой рыбицы, по 2 наряда икры зернистой, по 2 наряда сельдей, по 4 блюда просольной стерлядины, по звену бѣлужины, съ соразмѣрнымъ количествомъ хлѣба бѣлаго, зеленаго, красносельскаго, папошниковъ, саекъ, калачей, пышекъ, пироговъ, левашниковъ, караваевъ, орѣховаго масла и пряныхъ зелій, въ томъ числѣ въ годъ: полпуда сахару кенарскаго, пудъ средняго, по 4 фунта леденца бѣлаго и краснаго, по 4 фунта леденцовъ раженыхъ, по 3 фунта конфетъ, и т. п.». На что было опредѣлять для царевны такую пропасть съѣстныхъ вещей, и особенно пива и браги, это ужъ объясняется только особенностями тогдашней жизни. За то хлѣбосольствомъ и славились московскіе бояре, и спесивы были неимовѣрно своимъ богатствомъ и породою, хотя самые породистые изъ нихъ часто, по словамъ Кошихина, сидѣли въ царскомъ совѣтѣ «брады свои уставя и ничего не отвѣщая, понеже царь жаловалъ многихъ бояръ не по разуму ихъ, но по великой породѣ, и многіе изъ нихъ грамотѣ не ученые и не студерованые» (Коших., гл. II, стр. 5).

Этакихъ-то *нестудерованныхъ* людей приходилось Петру поставить лицомъ къ лицу передъ Европою, для которой такъ просто и естественно, уже и въ это время, казалось многое, чего никакъ не могли сообразить русскіе царедворцы. Познакомясь съ чужеземцами и научившись отъ нихъ, Петръ далеко ушелъ отъ своихъ бояръ, проникнутыхъ своекорыстіемъ, спесью и рутиною. За-границей смотрѣли на Россію какъ на великую *возможность* чего-то, хотя и понимали, что въ настоящемъ она еще ничего не значила предъ Европою. Это убѣжденіе легко сообщилось и Петру; ему предстояло теперь подвинуть возможность къ дѣйствительности. Извнѣ, это

казалось чрезвычайно легкимъ. Вотъ какимъ языкомъ говорилъ съ Петромъ польскій уполномоченный, Карловичъ, въ 1699 г., вызывая его на войну съ Швеціею (Устр., т. III, стр. 333).

«Отъ его царскаго величества зависитъ (писалъ онъ въ меморіалѣ, представленномъ Петру) извлечь необъятныя выгоды, достигнуть всемірной славы, завести цвѣтущую торговлю съ Голландіею, Англіею, Испаніею, Португаліею, со всѣми сѣверными, западными и южными странами Европы, а что всего важнѣе, и чего ни одинъ государь не въ состояніи былъ сдѣлать, открыть черезъ Россію торговый путь между востокомъ и западомъ, съ исключительнымъ правомъ на всѣ выгоды. Этимъ средствомъ его царское величество войдетъ въ ближайшія связи съ первыми монархами христіанскими, пріобрѣтетъ значеніе и вѣсъ въ общихъ дѣлахъ Европы, учредитъ грозный флотъ и, поставивъ Россію на степень третьей морской державы, принудитъ французскаго короля отказаться отъ мечты о французской монархіи, чѣмъ, скорѣе нежели покореніемъ турокъ и татаръ, прославится во всемъ свѣтѣ. Если же, по открытіи войны за испанское наслѣдство или по другому поводу, пошлетъ на помощь Англіи и Голландіи 10, 20 тысячъ войска съ значительнымъ флотомъ, союзники станутъ смотрѣть на его царское величество съ особеннымъ почтеніемъ; а москвитяне, между тѣмъ, на чужой счетъ выучатся военному искусству и потомъ, не нуждаясь болѣе въ иностранныхъ офицерахъ, съ наилучшимъ успѣхомъ поведутъ войну съ турками и татарами. Прочія выгоды лучше всего взвѣситъ высокій умъ его царскаго величества».

Подобныя мысли во времена Петра могли быть новы для русскихъ царедворцевъ, но въ Европѣ такой взглядъ на Россію существовалъ издавна, разумѣется, за исключеніемъ нѣсколькихъ громкихъ гиперболъ, которыя позволилъ себѣ Карловичъ, сообразно своей цѣли. Петръ, во время путешествія своего по Европѣ, не могъ не увидѣть, какое значеніе придается среди Европы Русскому Царству его географическимъ положеніемъ и огромнымъ единоплеменнымъ населеніемъ. Понятіе это не чуждо было и предшественникамъ Петра, какъ видно изъ нѣкоторыхъ дипломатическихъ актовъ; но у правителей, бывшихъ до Петра, недоставало рѣшимости пользоваться, какъ было должно, своимъ положеніемъ. Они какъ будто сознавались постоянно, что у нихъ сила есть, да воли нѣтъ. Напротивъ того Петръ, съ дѣтскихъ лѣтъ принужденный видѣть разстройства и безпорядки въ своемъ царствѣ, чувствовалъ болѣе другихъ, что сила-то, находящаяся въ его рукахъ, не столько велика, какъ кажется, но за то у него была твердая воля употребить въ дѣло по крайней мѣрѣ ту силу, какая есть. Онъ и употребилъ ее въ дѣло, несмотря на всѣ препятствія, противопоставленныя ему невѣжествомъ и лѣнью. Не надѣясь на дѣйствительность убѣжденій, Петръ часто дѣйствовалъ силою, увлекаемый своей страстной нетерпѣливой натурой. Онъ самъ за все брался, за всѣмъ смотрѣлъ и все толкалъ впередъ, потому что онъ не могъ вытерпѣть, пока его помощники собираются съ своимъ «московскимъ тотчасомъ». Часто даже ему вовсе не за кого было взяться; случалось, что люди, на которыхъ онъ всего болѣе надѣялся, только портили дѣло имъ порученное. Петръ не унывалъ духомъ, но гнѣвъ его разражался на плохихъ исполнителяхъ.

Здѣсь, кстати, можемъ мы привести случай, характеризующій исполнителей Петровыхъ намѣреній и, вмѣстѣ съ тѣмъ, показывающій, какъ далеко отстояла наша политическая мудрость того времени отъ дипломатическихъ видовъ европейскихъ, образецъ которыхъ мы видѣли въ меморіалѣ Карловича. Случай этотъ былъ во время второго азовскаго похода, слѣдовательно, всего за три года до посольства Карловича. Въ этомъ походѣ, какъ извѣстно, Петръ долго ждалъ прибытія цесарскихъ инженеровъ, опоздавшихъ нѣсколькими мѣсяцами. На вопросъ о причинѣ замедленія, инженеры отвѣчали, что въ Вѣнѣ никакъ не ожидали такого ранняго похода русскихъ войскъ, и что русскій посланникъ при цесарскомъ дворѣ, Кузьма Нефимоновъ, ничего имъ не говорилъ, и самъ ничего не зналъ о ходѣ военныхъ дѣйствій. Оказалось, что Украинцевъ, управлявшій тогда Посольскимъ приказомъ, не сообщалъ Нефимонову никакихъ извѣстій изъ арміи, *опасаясь, чтобы тотъ не разгласилъ ихъ!...* Петръ былъ крайне раздосадованъ такимъ страннымъ разсужденіемъ и тотчасъ написалъ слѣдующее оригинальное письмо къ Виніусу, шурину Украинцева. «Зѣло досадилъ мнѣ своякъ твой, что Кузьму (Нефимонова) держитъ безъ вѣдомости о войнѣ нашей. И не стыдъ ли? о чемъ ни спросятъ, ничего не знаетъ... А съ такимъ великимъ дѣломъ посланъ (для заключенія союзнаго трактата)!... Въ цыдулкахъ Микитѣ Моисеевичу о польскихъ дѣлахъ пишетъ (Украинцевъ), которыя не нужны, что надобетъ дѣлать; а цесарскую сторону, гдѣ надежда союза, позабылъ. А пишетъ такъ: «для того о войскахъ не даемъ вѣдать, чтобъ Кузьма лишняго не разсѣялъ». Разсудилъ! Есть ли сенсъ его въ здоровьи? Въ государственномъ повѣрено, а что всѣ вѣдаютъ, — закрыто! Только скажи ему, что чего онъ не допишетъ на бумагѣ, то я допишу ему на спинѣ» (Устр., т. II, стр. 430). Таковы были лучшіе представители древней Руси, предназначенные къ исполненію плановъ Петра, въ виду Европы, въ это время по политическимъ обстоятельствамъ обратившей на Россію болѣе зоркое вниманіе, чѣмъ когда-нибудь. Хорошъ этотъ дальновидный и осторожный начальникъ нашего Посольскаго приказа, когда поставить его соображенія рядомъ, напр., съ смѣлыми и обширными предначертаніями Паткуля, часть которыхъ заключается въ меморіалѣ Карловича!... Что было Петру дѣлать съ такими людьми кромѣ того, чѣмъ онъ заключилъ письмо свое? Никакая доброта сердца, никакая благонамѣренность, никакая прозорливость теоретическая, не помогли бы Петру, если бы у него не было этого могучаго характера, высказывавшагося часто неровно, порывисто, бурно, но всегда подвигавшаго дѣло впередъ рѣшительнымъ, смѣлымъ толчкомъ. Рано высказался въ Петрѣ этотъ характеръ, сложившійся въ буряхъ первыхъ лѣтъ его жизни; рано примѣтили всѣ, что Петръ не будетъ дѣлать дѣло въ половину, если примется за дѣло, и Петръ скоро сдѣлался представителемъ и двигателемъ новыхъ стремленій, издавна бродившихъ въ народѣ и не находившихъ себѣ

удовлетворенія. Все, что было недовольно старымъ порядкомъ, съ надеждою обратило взоры свои на Петра и радостно пошло за нимъ, увидавши, что на знамени его написана та же ненависть къ закоренѣлому злу, та же борьба съ отжившей стариной, та же любовь къ свѣту образованія, которая смутно таилась и въ народномъ сознаніи. Съ другой стороны, представители стараго порядка вещей, при всей своей грубости и невѣжествѣ, тоже догадались, что Петръ не слишкомъ-то будетъ ихъ жаловать, и присмирѣли, видя по характеру Петра, что онъ шутить не любитъ. И вотъ Петръ является въ нашей исторіи, какъ олицетвореніе народныхъ потребностей и стремленій, какъ личность, сосредоточившая въ себѣ тѣ желанія и тѣ силы, которыя по частямъ разсѣяны были въ массѣ народной. Вотъ тайна постояннаго успѣха, сопровождавшаго его предпріятія, несмотря на всѣ препятствія, поставляемыя невѣжествомъ и своекорыстіемъ старинной партіи, и вотъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, разгадка того, почему Петръ мало тогда обратилъ вниманія на главнѣйшія условія народнаго благоденствія, — на распространеніе просвѣщенія между всѣми классами народа и на средства свободнаго, безпрепятственнаго развитія всѣхъ производительныхъ силъ страны. Понятно, что Петръ, если и хотѣлъ этимъ заняться, то не могъ преимущественно на этомъ настаивать: прошедшее народа не подготовило еще тогда достаточно данныхъ для того, чтобы стремленіе къ истинному, серьезному образованію и къ улучшенію экономическихъ отношеній могли сильно и дѣятельно проявляться въ массѣ. Нужно еще было прежде раскрыть хорошенько глаза тогдашней массѣ, посмотрѣть на другихъ, убѣдиться, что есть на свѣтѣ просвѣщеніе и правильно опредѣленныя бытовыя отношенія, отличныя отъ нашихъ, а потомъ уже приниматься ихъ усвоивать, по мѣрѣ умѣнья и силы. Поэтому-то вся дѣятельность Петра и клонилась именно къ возможности сближенія Россіи съ Европою. Петръ, можетъ быть, дѣлалъ много, самъ вовсе не имѣя въ виду этой цѣли; но такой результатъ выходилъ уже самъ собою, по естественному порядку вещей. Петръ былъ сильнымъ двигателемъ; направленіе же движенія было не отъ него... оно задавалось, какъ всегда и вездѣ, ходомъ исторіи.

Но величіе Петра, какъ могучаго двигателя событій въ данномъ направленіи, поистинѣ изумительно. Съ перваго дня своего царствованія, онъ становится одинъ главою движенія и сокрушаетъ все на пути своемъ. Министры и любимцы сестры его справедливо пришлись не по душѣ ему: онъ всѣхъ ихъ въ одинъ день отрѣшилъ и посадилъ на ихъ мѣста своихъ друзей и приверженцевъ. Но эти новые сановники были большею частію также приверженцами старины, придерживались боярской спеси, мѣстническихъ счетовъ, азіатскихъ церемоній, грубыхъ предразсудковъ. Даже послѣ преобразованій Петровыхъ, незадолго до Ништадскаго мира, иные изъ нихъ вздыхали еще по московской старинѣ (Устр.,

т. II, стр. 101). Они во многомъ не могли понимать Петра, уже учившагося у Тиммермана и Бранта, и на многое не могли ему дать отвѣта. Скучая ихъ неподвижностью и крайней ограниченностью, Петръ сошелся съ земляками Тиммермана и Бранта, и вскорѣ Лефортъ и Гордонъ дѣлаются его лучшими друзьями, общество Нѣмецкой Слободы—любимымъ обществомъ. Въ разсказахъ иноземцевъ, въ наукѣ военной и морской открывается для Петра новый міръ, и онъ пять лѣтъ все осматривается въ этомъ мірѣ, какъ бы пробуя силы и забывая все остальное для любимыхъ занятій, которыя пока занимаютъ его лично. Но вотъ онъ серьезно хочетъ попробовать, каковы бываютъ эти забавы не въ шуточномъ, а въ настоящемъ дѣлѣ, и идетъ подъ Азовъ. Это предпріятіе почти не имѣетъ еще государственнаго характера, но оно пробудило геній Петра къ государственной дѣятельности. Онъ увидѣлъ, что суда плохи, войска плохи, распоряженія плохи; увидѣлъ, что и его пріятели-иноземцы тоже крайне плохи. Тутъ бы, казалось, торжество противной партіи, ея нареканія и зловѣщія предсказанія, оправдывались. Одни говорили царю, что Богъ его наказываетъ за любовь къ еретикамъ; другіе увѣряли, что *по старинѣ* дѣйствительно лучше было, чѣмъ по этимъ иноземнымъ хитростямъ; третьи толковали, что иноземцы всѣ—негодяи и измѣнники, и потому ихъ всѣхъ надо казнить или прогнать. На все это были доказательства и улики явныя: и суда, ими выстроенныя, шли плохо, и войска, ими обученныя, не выдерживали битвы, и мины, ими заложенныя, взрывались на нашу погибель; были, наконецъ, и дѣйствительные измѣнники изъ иноземцевъ, перебѣжавшіе отъ насъ къ туркамъ. Явно, что отъ иноземцевъ все зло, или, по крайней мѣрѣ, добра-то ужъ нѣтъ никакого... Но Петръ ничего знать не хочетъ, онъ разсуждаетъ иначе. Вся бѣда въ томъ, говоритъ онъ, что иноземцевъ мало и что они плохи; надобно вызвать побольше да получше. И, вслѣдъ затѣмъ, онъ посылаетъ грамоты въ разныя государства, чтобы ему прислали искусныхъ людей... Имъ поручаетъ онъ инженерныя работы, отдаетъ въ ихъ вѣденіе артиллерію, задаетъ имъ строить флотъ. Необходимость флота указана была также азовскимъ походомъ; Петръ, и безъ того преданный страсти къ мореплаванію, съ жаромъ принимается за постройку флота. Но на флотъ нужны деньги, а финансы истощены; флотъ надобно построить ужъ порядочно, а пріѣзжіе мастера еще Богъвѣсть каковы; для флота нужно море, а у насъ его нѣтъ. Какъ тутъ быть? Всякаго взяло бы раздумье, всякій бы, кажется, отступился отъ своей мысли, увидѣвши препятствія непреодолимыя. Но Петра трудно было устрашить большими затрудненіями; а на такіе пустяки онъ не хотѣлъ и вниманія обращать. Финансы истощены? А кумпанства на что же? Въ ноябрѣ, 1696 г., Петръ приказалъ, чтобы владѣльцы и вотчинники—духовные съ 8000 крестьянскихъ дворовъ, а свѣтскіе съ 10,000—выстроили по кораблю къ апрѣлю 1698 года, а люди торговые, всѣ вмѣстѣ, къ тому же сроку, чтобы

изготовили 12 бомбардирскихъ судовъ. Вотъ и дѣло съ концомъ. А кто не захочетъ строить или окажется неисправнымъ, у того деревни отбирать, того лишать животовъ и дворовъ. И поспѣли корабли черезъ 16 мѣсяцевъ... Да еще больше поспѣло, чѣмъ нужно было сначала. Черезъ годъ, Петръ нашелъ, что мало выйдетъ, если выстроится по кораблю съ каждаго кумпанства; вышелъ указъ, чтобы выстроили еще по кораблю съ каждыхъ двухъ кумпанствъ. И выстроили... Иноземные мастера сомнительны? Петръ разсылаетъ грамоты по всѣмъ государствамъ, чтобы ему прислали *лучшихъ*, *искусныхъ* мастеровъ; и, чтобы имѣть собственное понятіе объ ихъ работѣ, посылаетъ русскихъ за-границу учиться морскому дѣлу, да и самъ ѣдетъ вслѣдъ за ними же. Моря нѣтъ? Петръ посылаетъ въ Константинополь Украинцева—добиваться плаванія на Черномъ морѣ. А неудалось это, такъ мы потянулись въ другую сторону—за Балтійскимъ.

Такъ точно Петръ поступилъ и съ выборомъ своихъ сотрудниковъ. Въ почетныхъ старикахъ, выбранныхъ прежде, оказалось мало энергіи и мало сочувствія съ Петромъ. Петръ принялся искать другихъ, во всѣхъ слояхъ общества; и въ свитѣ посольства, отправившагося съ нимъ за-границу, мы находимъ уже имена Петра Шафирова и Александра Меншикова (Устр., т. III, стр. 572). Скажутъ: «значитъ, были же при Петрѣ люди, которые были способны дѣятельно и умно помогать ему». Да когда же не бываетъ такихъ людей? Вспомнимъ справедливое замѣчаніе Карамзина: «полководцы, министры, законодатели не родятся въ такое или такое царствованіе, но единственно избираются. Чтобы избрать, надобно угадать; угадываютъ же людей только великіе люди, — и слуги Петровы удивительнымъ образомъ помогали ему на ратномъ полѣ, въ сенатѣ, въ кабинетѣ» (Кар., о древн. и нов. Рос., стр. XLV, Эйнерл.). Прибавимъ къ этому, что иногда самое избраніе бываетъ не столько затруднительно, сколько его осуществленіе, и въ этомъ отношеніи едва ли чье положеніе бывало затруднительнѣе Петрова. Чтобы поставить избранныхъ имъ людей на ту степень, которой они были достойны, ему нужно было разрушить тысячи препятствій. Прежде всего—это были люди незнатные, люди безвѣстнаго происхожденія, значитъ, возвышеніе ихъ оскорбляло родовую спесь, и въ служебныхъ отношеніяхъ съ ними легко могли откликнуться мѣстническіе счеты. Кромѣ того, это были все люди молодые. Возвышая ихъ и поручая имъ важныя дѣла, Петръ рѣшительно шелъ наперекоръ стародавнему обычаю, по которому старость считалась достаточнымъ ручательствомъ за умъ и знанія человѣка, а молодость осуждалась на то, чтобы быть *во посылочкахъ* у стариковъ. Къ этому еще нужно прибавить, что новые избранники Петра были всею душею за новизну противъ старины, и тѣмъ болѣе должны были раздражать противъ себя сановитыхъ и породистыхъ бояръ, съ презрѣніемъ смотрѣвшихъ на все, что не было украшено сѣдинами и вѣковою знатностью рода. Тѣмъ ужаснѣе было негодова-

ніе ихъ, когда между избранниками царя являлись иноземцы. Тутъ уже и суевѣріе съ патріотизмомъ являлось имъ на помощь; тутъ они самый народъ думали видѣть на своей сторонѣ. Но Петръ не испугался ихъ дряхлаго негодованія и смѣло продолжалъ итти по своему пути, «не обращая вниманія,—какъ говоритъ г. Устряловъ,—на замѣтную досаду почтенныхъ сѣдинами и преданностью бояръ, на строгія нравоученія всѣми чтимаго патріарха, на суевѣрный ужасъ народа, не слушая ни нѣжныхъ пеней матери, ни упрековъ жены, еще любимой» (т. II, стр. 119). И не только ихъ словъ и ропота не послушалъ Петръ, онъ не смутился даже отъ проявленія неудовольствія, возставшаго вооруженной силой. За двѣ недѣли предъ отправленіемъ Петра въ путешествіе, открылся заговоръ Соковнина и Цыклера. Петръ казнилъ ихъ и главныхъ ихъ сообщниковъ надъ гробомъ Ивана Михайловича Милославскаго, вырытаго изъ земли; поставилъ на Красной площади каменный столбъ съ желѣзными спицами, на которыхъ воткнуты были головы казненныхъ, тогда какъ вокругъ разложены были трупы ихъ въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ; разослалъ въ заточеніе по дальнимъ городамъ родственниковъ ихъ, и черезъ двѣ недѣли все-таки отправился за-границу. Во время его отсутствія произошло новое возстаніе, болѣе возбужденное, кажется, неблагоразуміемъ, а можетъ быть даже и дѣйствительными притѣсненіями начальниковъ, нежели какими-нибудь опредѣленными замыслами въ пользу старины. Въ мартѣ, 1698 г., явилось въ Москвѣ 175 стрѣльцовъ, бѣжавшихъ изъ полковъ, бывшихъ на литовской границѣ. Они жаловались на безкормицу и притѣсненія; бояре велѣли имъ возвратиться въ полки до 3-го апрѣля. Но въ этотъ день оказалось предъ боярами уже 400 человѣкъ, требовавшихъ льготъ и послабленій и отказывавшихся итти въ полки. Ихъ выпроводили насильно. Узнавъ объ этомъ, Петръ выговаривалъ Ромодановскому, зачѣмъ онъ «сего дѣла въ розыскъ не вступилъ». Дѣйствительно, отпущенные или, лучше сказать *посланные* въ полки свои, бѣглые стрѣльцы возмутили остальныхъ, и въ іюнѣ открылся уже настоящій бунтъ: стрѣльцы шли къ Москвѣ. Они ни въ чемъ не успѣли; ихъ скоро смирили: 130 человѣкъ повѣсили, 140 били кнутомъ и сослали, до 2000 разослали по разнымъ городамъ въ тюрьмы (Устр., т. III, стр. 178). Но Петръ былъ этимъ недоволенъ. Ему нужно было до конца истребить все, что могло еще быть опаснымъ противодѣйствіемъ его стремленіямъ. Онъ вспомнилъ ужасы первыхъ лѣтъ своей жизни, вспомнилъ, что стрѣльцы были приверженцами и орудіемъ сестры его, и онъ рѣшился, тотчасъ по возвращеніи изъ-за границы, съ корнемъ вырвать это зло, не дававшее ему покоя. На стрѣльцахъ, которыхъ считалъ онъ въ этомъ случаѣ представителями противной партіи и сообщниками которыхъ считалъ всѣхъ своихъ недоброхотовъ, начиная съ сестеръ и жены,—на нихъ рѣшился онъ показать страшный, жестокій примѣръ того, какъ онъ карастъ своихъ противниковъ. «Я допрошу

ихъ построже вашего»—сказалъ онъ Гордону,—и дѣйствительно, въ сентябрѣ и октябрѣ 1698 г., произведенъ былъ безпощадный розыскъ, подробности котораго, сообщенныя г. Устряловымъ (т. III, стр. 201—245), должны привести въ ужасъ читателей нашего времени. Тысячи стрѣльцовъ и людей, оговоренныхъ ими, ежедневно по нѣсколько часовъ пытаны были, въ нѣсколькихъ застѣнкахъ, о причинахъ и цѣляхъ бунта. Всѣ сначала съ изумительнымъ героизмомъ запирались, и при очныхъ ставкахъ, и при *подъемѣ*, *встряскѣ*, и подъ всѣми пытками, даже *подъ огнемъ*. Многіе умирали подъ пыткою, ничего не сказавъ, кромѣ одного: что шли къ Москвѣ съ голоду и отъ притѣсненій начальства, да еще по слуху, что государь за границей померъ. Но отъ Петра не легко было отдѣлаться. Онъ не жалѣлъ пытокъ, не отступалъ ни передъ какими средствами, призывалъ къ допросу даже сестеръ своихъ. Самъ написалъ онъ допросные пункты, въ которыхъ именно спрашивалъ: не призывала ли стрѣльцовъ къ Москвѣ Софія, не было ли отъ нея письма, не хотѣли ли посадить ее на царство? Послѣ такого прямого постановленія вопроса, запирающихся было уже меньше; многіе сознавались, но какъ-то глухо и неопредѣлительно, какъ будто сами не понимали хорошенько, въ чемъ они сознаются. Одинъ разсказывалъ, наконецъ, цѣлую исторію полученія письма отъ Софіи (не подтвержденную, впрочемъ, дальнѣйшимъ розыскомъ), и дальнѣйшій розыскъ былъ обращенъ особенно на это обстоятельство. Признаніе въ государственныхъ замыслахъ и въ возмущеніи по наущеніямъ Софіи было наконецъ высказано значительною частью стрѣльцовъ [1]). Начались казни. Число казненныхъ простиралось, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, до 4000. По словамъ г. Устрялова, «Красная площадь была покрыта обезглавленными тѣлами; стѣны Бѣлаго и Земляного города унизаны были повѣшанными» (III, 237). Черезъ нѣсколько времени свезли изъ Москвы и сложили у разныхъ дорогъ 1068 труповъ. Кромѣ того, множество народа было сослано. Не довольствуясь этимъ и желая совершенно уничтожить непокорныхъ, Петръ рѣшился, по собственному его выраженію, *скасовать* все стрѣлецкое войско. Въ 1699 г. стрѣльцы обращены были въ посадскіе; ихъ запрещено было принимать въ

---

[1]) Боясь излишнихъ распространеній, мы не рѣшаемся здѣсь касаться подробностей розыска. Но весьма любопытно было бы сдѣлать этотъ розыскъ предметомъ юридическаго изслѣдованія, съ цѣлью разрѣшить вопросъ: долженъ ли историкъ придать болѣе вѣры первоначальному запирательству стрѣльцовъ или послѣднимъ ихъ показаніямъ, вынужденнымъ жестокою пыткою. Съ одной стороны, если запирательство и молчаніе стрѣльцовъ были умышленны, а не происходили вслѣдствіе того, что они дѣйствительно ничего не знали и ничего не могли говорить,—въ такомъ случаѣ каждый изъ нихъ превосходитъ въ героизмѣ Муція Сцеволу и Регула. Съ другой же стороны—извѣстно, что признанія, сдѣланныя подъ пыткою, нельзя считать слишкомъ надежными. Разсмотрѣвши все розыскное дѣло, сохранившееся въ цѣлости, въ настоящее время можно, вѣроятно, сдѣлать заключеніе болѣе безпристрастное и спокойное, нежели какое было возможно во время самого розыска.

военную службу и велѣно ссылать на каторгу тѣхъ, кто изъ нихъ запишется въ солдаты, утаивъ, что былъ прежде стрѣльцомъ.

Такъ дѣйствовалъ Петръ противъ тѣхъ, которые осмѣливались возставать противъ его предпріятій или обнаруживали сочувствіе къ его противникамъ. Не могъ бы, конечно, такой образъ дѣйствій увѣнчаться успѣхомъ, если бы Петръ во всей своей дѣятельности не былъ представителемъ начала новаго движенія, которое поборало уже отживавшую старину. Вспомнимъ, какое гибельное ожесточеніе, какія несчастныя послѣдствія возбуждали обыкновенно даже гораздо меньшія строгости его предшественниковъ. Но Петръ, предаваясь влеченію своего непреклоннаго, неумолимаго характера, чувствовалъ свою силу. Оттого онъ прямо и смѣло объявлялъ свои требованія, грозно и безъ всякихъ обиняковъ назначалъ заранѣе наказаніе непослушнымъ. Послѣ возвращенія изъ-за-границы, имѣя въ виду болѣе широкіе и опредѣленные замыслы, чѣмъ прежде, онъ сталъ дѣйствовать тѣмъ съ большею рѣшительностью, что составилъ уже въ это время въ умѣ своемъ извѣстные идеалы нѣкоторыхъ предметовъ по видѣннымъ имъ за-границею образцамъ. Такъ, тотчасъ по возвращеніи вмѣстѣ съ опытнымъ и искуснымъ морякомъ Крейсомъ, онъ нашелъ, что суда, выстроенныя кумпанствами, были неудовлетворительны. У однихъ нужно было усилить вооруженіе и оснастку, другія—исправить въ самомъ корпусѣ, а иныя—и совершенно передѣлать, потому что одни оказались слишкомъ валкими, а другія и вовсе неспособными къ ходу (Устр., т. III, стр. 249). Немедленно приказано было тѣмъ же *кумпанствамъ* позаботиться объ исправленіи всего, что нужно, подъ наблюденіемъ англійскихъ мастеровъ. Теперь флотъ былъ нуженъ Петру *настоятельно*, потому что наша дипломатія оказалась весьма плохою на переговорахъ при цесарскомъ дворѣ, и русскимъ предстояла война съ турками, съ которыми всѣ остальные союзники наши помирились отдѣльно, оставивъ насъ не при чемъ. Петръ не боялся войны; онъ даже хотѣлъ ея и, безъ сомнѣнія, не оказалъ бы большой уступчивости передъ турками, если бы замыслы Паткуля противъ Швеціи не вызвали Сѣверной войны, отклонившей вниманіе Петра на сѣверъ.

Работая надъ устройствомъ флота, теперь уже не какъ плотникъ, а какъ адмиралъ и распорядитель, Петръ сталъ теперь гораздо больше вниманія обращать и на другія части государственнаго устройства. Такъ, онъ, по предложенію Курбатова, взявшаго свою мысль съ заграничныхъ примѣровъ, учредилъ *гербовую* бумагу, въ видахъ увеличенія государственныхъ доходовъ и вмѣстѣ уменьшенія ябеды. Въ финансовыхъ видахъ также преобразованъ, въ 1699 г., порядокъ въ сборѣ окладныхъ податей, таможенныхъ и питейныхъ сборовъ, при чемъ устроена особенная *бурмистерская палата*, и окладныя подати возвышены вдвое. Несмотря на это возвышеніе подати, новый порядокъ былъ всѣми принятъ съ радостью, потому что, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ указъ

самого Петра (30 янв. 1699 г.), промышленное сословіе до тѣхъ поръ было «безотвѣтною жертвою наглаго самоуправства и безсовѣстнаго лихоимства, такъ что отъ приказныхъ волокитъ, отъ воеводскихъ налоговъ и взятокъ, люди торговые пришли въ крайнее разореніе, многіе торговъ и промысловъ отбыли, податей платить были не въ силахъ, и государственная казна терпѣла ущербъ немалый, вслѣдствіе недоимки окладныхъ доходовъ и недобора торговыхъ пошлинъ. Между тѣмъ примѣръ Голландіи,—прибавляетъ г. Устряловъ, говоря объ этомъ указѣ (III, стр. 260),—удостовѣрялъ царя, что въ благосостояніи промышленнаго сословія заключался одинъ изъ главныхъ источниковъ государственнаго богатства, и что промыслы могутъ процвѣтать только при свободномъ, самостоятельномъ развитіи ихъ, безъ вмѣшательства сторонныхъ властей, тягостнаго во всякое время, тѣмъ болѣе при тогдашнемъ порядкѣ дѣлъ въ Россіи». Весьма вѣроятно, что примѣръ Голландіи былъ однимъ изъ побужденій при устройствѣ бурмистерской палаты, хоть и нельзя сказать, чтобы Петръ въ это время уже вполнѣ ясно сознавалъ, какое значеніе имѣетъ вмѣшательство посторонннихъ властей для процвѣтанія промышленности и, слѣдовательно, для благосостоянія государства, какъ вездѣ, такъ особенно у насъ въ Россіи. По крайнѣй мѣрѣ на преобразованіе этихъ *властей* Петръ не обратилъ еще теперь своего вниманія.

Вліяніе путешествія за-границей раньше всего проявилось у Петра желаніемъ преобразовать формы нѣкоторыхъ общественныхъ отношеній. Петръ видѣлъ, что въ иныхъ государствахъ жизнь идетъ иначе, чѣмъ у насъ, и ему, конечно, понравилась простота и безцеремонность отношеній между мужчинами и женщинами на Западѣ, радушныя семейныя бесѣды, веселыя общественныя развлеченія, при постоянномъ участіи женщины. Петръ захотѣлъ ввести то же самое и въ Россіи, и для того, чтобы приблизить русскихъ къ европейцамъ и по внѣшнему виду, прежде всего позаботился объ измѣненіи ихъ наружности. Ему казалось это ничтожнымъ дѣломъ послѣ всего, въ чемъ уже проявилась его сила. Онъ даже началъ дѣло съ простой шутки, думая, что люди, не подорожившіе своими средствами для постройки флота, видѣвшіе превосходство иностранцевъ въ разныхъ знаніяхъ и искусствахъ, отрекшіеся, по волѣ царя, отъ своей величавой, неподвижной спеси, прогулявшіеся за-границу или слышавшіе подробные разсказы очевидцевъ о чужихъ земляхъ,—что люди эти не постоятъ уже за кафтанъ и бороду. Но оказалось, что сопротивленіе въ этомъ случаѣ было болѣе упорно, чѣмъ въ другихъ случаяхъ: отживавшая старина, теряя свои привилегіи, хотѣла, по крайней мѣрѣ, удержать внѣшніе значки и за нихъ вступилась больше, нежели за самую сущность дѣла. Кесарь Ромодановскій, услыхавъ, что бояринъ Головинъ явился при Вѣнскомъ дворѣ безъ бороды, воскликнулъ: «не хочу вѣрить, чтобы Головинъ дошелъ до такого безумія». Патріархъ писалъ, что «надъ брадобрійцами не подобаетъ быти ни

христіанскому погребенію, ни въ церковныхъ молитвахъ поминовенію» (Устр., т. III, стр. 194). Мало того, по свидѣтельству историка (т. III, стр. 196), «неразумные попы тайными внушеніями поддерживали суевѣрный ужасъ черни и даже осмѣливались въ своихъ приходахъ дерзко осуждать государя. Такъ, въ городѣ Романовѣ, попъ Викула, на Святой недѣлѣ обходя съ образами Троицкую слободу, въ домѣ солдата Кокорева не допустилъ его ко св. кресту, называлъ врагомъ и басурманомъ за то, что онъ былъ съ выстриженною бородою. Когда же Кокоревъ въ оправданіе свое сказалъ: «нынѣ въ Москвѣ бояре и князи бороду бреютъ, по волѣ царя»,—Викула изрыгнулъ хулу и на государя». Вообще, ни одно изъ прежнихъ требованій Петра не возбудило столько ропота и явнаго неудовольствія, какъ повелѣніе — брить бороду. Но Петръ уже разъ рѣшилъ, что — бороду долой, и сбить его съ этого пункта было невозможно. Онъ хотѣлъ, чтобы русскіе и по наружности не были противны нѣмцамъ, а «чѣмъ упорнѣе берегли русскіе свою бороду, тѣмъ ненавистнѣе, по словамъ историка, была она Петру, какъ символъ закоснѣлыхъ предразсудковъ, какъ вывѣска спесиваго невѣжества, какъ вѣчная преграда къ дружелюбному сближенію съ иноземцами, къ заимствованію отъ нихъ всего полезнаго». Рѣшеніе свое насчетъ бороды Петръ, по обычаю своему, привелъ въ исполненіе немедленно. Это происходило на первый разъ довольно комическимъ образомъ, — доказательство, что Петръ сначала все дѣло думалъ покончить очень легко. На другой день по пріѣздѣ его въ Москву изъ-за границы, явились къ нему знатнѣйшіе бояре для поздравленія. Петръ очень ласково принялъ ихъ, цѣловалъ, обнималъ, разговаривалъ съ ними и тутъ же, къ неописанному изумленію предстоявшихъ, то тому, то другому обрѣзывалъ бороды. Прежде всѣхъ подверглись этой горестной операціи—самъ *кесарь* Ромодановскій и *генералиссимусъ* — Шеинъ, за ними и остальные, кромѣ Стрѣшнева и Черкасскаго, пощаженныхъ царемъ. Дней черезъ пять та же исторія повторилась на пиру у Шеина; тутъ уже бороды рѣзалъ царскій шутъ. Чрезъ три дня потомъ, на пиръ къ Лефорту бояре явились уже безбородые. «Пылкій царь,—говоритъ г. Устряловъ,—не хотѣлъ видѣть бородачей вокругъ себя, ни при дворѣ, ни въ войскѣ, ни на верфяхъ. Бояре, царедворцы, люди ратные, корабельные плотники должны были уступить непреклонной волѣ царя». Вскорѣ установлена была бородовая пошлина, распространенная и на людей посадскихъ и даже на крестьянъ. И на этотъ разъ, вопреки ожиданіямъ и желаніямъ приверженцевъ старины, все обошлось спокойно и благополучно: возстаній нигдѣ не было. Народу грустно было разставаться съ стародавнимъ обычаемъ; но сожалѣніе о немъ не могло имѣть серьезнаго характера, потому что въ самомъ обычаѣ не заключалось никакой разумной жизненной потребности.

То же было и съ старинной русской одеждой, на которую Петръ въ это время воздвигъ гоненіе. Пребываніе за-границей и тутъ

не осталось безъ вліянія на Петра, заставивъ его окончательно разлюбить русскую одежду, которой онъ, по замѣчанію г. Устрялова, «и прежде не жаловалъ, наиболѣе потому, что длиннополые ферязи, опашни, охобни съ двухъ-аршинными рукавами, мѣшали ему лазить на мачты, рубить топоромъ, маршировать съ солдатами, однимъ словомъ—нисколько не согласовались съ его живою, быстрою, неутомимою дѣятельностью» (т. III, стр. 199). Но главное побужденіе было здѣсь — желаніе сблизить русскихъ съ иностранцами. Петръ былъ убѣжденъ, что старинный костюмъ будетъ помѣхою для этого сближенія, и рѣшился распорядиться съ ферязями и кафтанами такъ же, какъ съ бородою. «Сначала онъ на веселыхъ пирахъ отрѣзывалъ длинные рукава у царедворцевъ и не хотѣлъ видѣть у себя терлишниковъ, такъ же, какъ и бородачей. Вскорѣ потомъ построилъ онъ нѣмецкую обмундировку для вновь заведеннаго регулярнаго войска; а затѣмъ издалъ строгій указъ, чтобы къ празднику Богоявленія, и уже не позже какъ къ масленицѣ 1700 г., всѣ бояре, царедворцы, люди служилые, приказные и торговые нарядились въ венгерское и нѣмецкое платье. То же было указано и боярынямъ, имѣвшимъ пріѣздъ ко двору. Вскорѣ это распоряженіе распространено и на купчихъ, стрѣльчихъ, солдатокъ, попадей и дьяконицъ» (Устр. т. III, стр. 350).

Въ то же время Петръ измѣнилъ прежнюю монетную систему нашу, отличавшуюся большими неудобствами. Мысль объ этомъ тоже явилась у Петра за-границей, и именно въ Лондонѣ, гдѣ онъ неоднократно посѣщалъ монетный дворъ. До Петра, монета у насъ была чрезвычайно безобразна и неправильна, такъ что весьма легко было поддѣлывать и обрѣзывать ее, отчего фальшивые монетчики и процвѣтали въ древней Руси, несмотря на строжайшіе законы, обращенные противъ нихъ. Петръ этому горю помогъ другимъ средствомъ; онъ сталъ чеканить монету лучше, и поддѣлокъ стало меньше. Другое горе состояло въ томъ, что единственной ходячей монетой въ это время были серебряныя копѣйки. Отъ этого, съ одной стороны, вслѣдствіе рѣшительнаго отсутствія золотой и крупной серебряной монеты, правительство встрѣчало немаловажныя затрудненія въ своихъ финансовыхъ оборотахъ, особенно заграничныхъ; съ другой стороны, отъ недостатка мелкой размѣнной монеты много терпѣлъ бѣдный классъ народа (Устр. III, стр. 353). Петръ рѣшился пустить въ ходъ мѣдную монету, копѣйки, денежки и полушки, несмотря на то, что подобная попытка при Алексѣѣ Михайловичѣ имѣла очень печальныя послѣдствія. Вслѣдъ за тѣмъ начали чеканить и червонцы, серебряные полтинники, полуполтинники и, наконецъ, рублевики. Всѣ они тотчасъ вошли въ общее употребленіе по цѣнѣ, назначенной правительствомъ.

Не столь быстры и рѣшительны были дѣйствія Петра по двумъ другимъ важнѣйшимъ отраслямъ государственнаго устройства: по изданію кодекса законовъ и принятію мѣръ къ образованію на-

родному. Мысль объ этихъ предметахъ была у Петра, какъ видно изъ того, что въ февралѣ 1700 г. онъ повелѣлъ учредить въ Москвѣ коммиссію для составленія новаго уложенія и что, въ бесѣдѣ съ Адріаномъ, изъявлялъ намѣреніе преобразовать Славяно-греко-латинскую академію въ родѣ университета. Но очевидно, что Петръ не былъ слишкомъ занятъ этимъ и скоро отклонилъ свою мысль отъ коммиссіи и академіи къ своимъ любимымъ занятіямъ. Коммиссія, въ четырнадцать лѣтъ, успѣла разсмотрѣть только три первыя главы уложенія, а мысль объ учрежденіи школъ и академіи ограничилась на дѣлѣ основаніемъ навигаціонной школы. Вскорѣ вниманіе царя было надолго отвлечено отъ внутреннихъ дѣлъ войною съ Карломъ; но, конечно, не этому случайному обстоятельству нужно приписать невнимательность Петра къ коммиссіи законовъ и къ учрежденію школъ. Мы видѣли его характеръ, его энергію въ исполненіи самыхъ трудныхъ предпріятій. Онъ могъ уже и въ это время повелѣть и самъ приняться за дѣло; могъ призвать изъ-за-границы учителей, какъ призвалъ корабельныхъ мастеровъ; могъ выстроить училища, гимназіи, университеты, какъ выстроилъ флотъ; завести музеи, библіотеки, какъ завелъ регулярное войско... Но есть предѣлы человѣческому могуществу. Петръ могъ привести въ движеніе тѣ силы своего народа, которыя готовы были двинуться; но онъ не могъ вызвать ранѣе срока тѣхъ силъ, которыя еще были такъ слабы, что неспособны были къ движенію. Какъ человѣкъ, осуществившій въ своей волѣ потребности и стремленія народа, Петръ инстинктивно имѣлъ тотъ *тактъ*, который отличаетъ подобныхъ ему историческихъ дѣятелей отъ непризванныхъ фанатиковъ, часто принимающихъ мечты своего разстроеннаго воображенія за истинныя потребности вѣка и народа, принимающихся за безплодное дѣло не по своимъ силамъ. Петръ чувствовалъ, что силъ его станетъ на многое, но онъ зналъ и мѣру своимъ силамъ. Онъ пришелъ къ жатвѣ подготовленной вѣками и понялъ, что онъ можетъ пожать эти зерна, оставленныя безъ вниманія его предшественниками. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ зналъ, что сила *производящая* здѣсь все таки эта почва, на которой ему предстояла жатва. Онъ могъ болѣе или менѣе быстро и удачно пожать и собрать все, что произросло на ней; но по своему произволу заставить расти зерна онъ не могъ. Нужно было ихъ сначала посѣять, и онъ сѣялъ то, что могъ. Но что могъ онъ посѣять въ то время на полѣ гражданскаго законодательства и народнаго просвѣщенія въ Россіи? По необходимости посѣвъ былъ скуденъ, и вотъ почему Петръ выказывалъ такъ мало энергіи въ своихъ предпріятіяхъ по этой части. Народъ былъ мало готовъ на это, а Петръ былъ представителемъ своего народа; могъ ли же онъ глубоко проникнуться тѣмъ, что еще не было глубокой и настоятельной потребностью для самого народнаго сознанія?

Война шведская отвлекла Петра отъ мыслей законодательства и просвѣщенія, указавъ ему поприще болѣе близкое къ его по-

стиховъ, попадаются же изрѣдка и книжки, въ которыхъ замѣтно присутствіе истинной поэзіи. Къ числу такихъ рѣдкихъ исключеній принадлежитъ книжка стихотвореній г-жи Жадовской.

Болѣе десяти лѣтъ уже г-жа Жадовская печатала свои стихотворенія въ разныхъ московскихъ изданіяхъ: въ «Московскомъ Городскомъ Листкѣ», въ «Московскомъ Сборникѣ», въ «Москвитянинѣ». Любители поэзіи прочитывали ихъ большею частію съ удовольствіемъ; но въ публикѣ имя г-жи Жадовской было весьма мало извѣстно, всего болѣе, вѣроятно, потому, что журналы, въ которыхъ она почти исключительно печатала свои произведенія, не имѣли большого круга читателей. Въ послѣднее время, г-жа Жадовская обратила на себя вниманіе публики замѣчательнымъ романомъ «Въ сторонѣ отъ большого свѣта», помѣщенномъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ»; но о стихотвореніяхъ ея все-таки знали немногіе. Теперь стихотворенія эти, въ довольно значительномъ числѣ (CXIX пьесъ), собраны авторомъ и напечатаны отдѣльной книжкой. Не знаемъ, будутъ ли они имѣть успѣхъ; вѣроятнѣе, что нѣтъ, потому что стихи г-жи Жадовской не имѣютъ внѣшнихъ достоинствъ, рѣзко бросающихся въ глаза. Но мы, нимало не задумываясь, рѣшаемся причислить эту книжку стихотвореній къ лучшимъ явленіямъ нашей поэтической литературы послѣдняго времени. Предполагая, что читателямъ нашимъ мало извѣстны стихотворныя произведенія г-жи Жадовской, мы считаемъ себя въ правѣ нѣсколько распространиться о нихъ.

Стихъ г-жи Жадовской, какъ сказали мы, не отличается внѣшней отдѣлкой, такъ поражающей насъ въ произведеніяхъ новѣйшихъ поэтовъ. Риѳма часто измѣняетъ ей, иногда выходятъ стихи неловкіе, незвучные, отзывающіеся прозой. Но мы признаемся, что даже эти прозаическіе стихи ея намъ нравятся, и что именно многіе изъ нихъ произвели на насъ сильное впечатлѣніе своею простотою и задушевностью. Задушевность, полная искренность чувства и спокойная простота его выраженія — вотъ главныя достоинства стихотвореній г-жи Жадовской. Настроеніе чувствъ ея грустное; главные мотивы ея—задумчивое созерцаніе природы, сознаніе одиночества въ мірѣ, воспоминаніе о былomъ, когда-то свѣтломъ, счастливомъ, но безвозвратномъ прошедшемъ. «Какіе прекрасные предлоги для того, чтобы наговорить множество высокопарныхъ фразъ»,—думаетъ читатель. Да, на эти неистощимыя, хотя уже порядкомъ исчерпанныя темы, вѣроятно, много чувствительныхъ вещей могъ бы написать человѣкъ, не имѣющій ни капли чувства, но читавшій *стишки* и старинные романы или обучавшійся реторикѣ. Въ особенности женщина, которая вздумаетъ писать о своемъ одиночествѣ въ мірѣ, о былomъ счастьи, о былой любви, — какія великолѣпныя краски можетъ найти она! То можетъ она подниматься выше облака ходячаго, утопать въ эѳирѣ, одѣваться лучами зари благодатной и милостиво появляться взорамъ смертныхъ, какъ —

«Ангелъ дня, предвѣстникъ свѣта,
Ликъ надежды, взоръ привѣта».

То можетъ она опускаться до земли и, съ глубокимъ сознаніемъ своего безсилія, восхитительно жаловаться на то, что она слабое твореніе, сосудъ, такъ сказать, скудельный. Или еще можетъ она вдругъ явиться недоступной, холодной и гордой,

«Уединиться въ хладное величье,
Въ неумолимость душу заковать».

Или же — можетъ представиться страстной до послѣднихъ предѣловъ возможности, ожидающею

«. . . Паликара молодого
Со страстью пламенной въ очахъ»,

и при этомъ «благоухающею и трепещущею отъ упоенья и тоски». А какое разнообразіе положеній, какое безчисленное множество оттѣнковъ и степеней можетъ еще она придумать! И все это будетъ — надобно полагать — очень хорошо: сердца воспламенять будетъ!...

Но г-жа Жадовская не воспользовалась ни однимъ изъ этихъ благопріятныхъ эффектовъ. Она сумѣла найти поэзію въ своей душѣ, въ своемъ чувствѣ, и передаетъ свои впечатлѣнія, мысли и ощущенія совершенно просто и спокойно, какъ вещи очень обыкновенныя, но дорогія ей лично. Это именно уваженіе къ своимъ чувствамъ, безъ всякой претензіи на возведеніе ихъ въ идеалъ всемірный, и составляетъ прелесть стихотвореній г-жи Жадовской. Мы читаемъ и перечитываемъ ихъ съ тѣмъ же чувствомъ, съ какимъ смотримъ на человѣка, скромно и со слезами на глазахъ показывающаго медальонъ, письмо или завѣтный прощальный даръ кого-нибудь, милаго его сердцу. Между тѣмъ, многіе изъ другихъ поэтовъ, разсказывающихъ о своихъ чувствахъ и помыслахъ, очень часто напоминаютъ намъ пышныхъ богачей, самодовольно показывающихъ намъ длинную галлерею, набитую посредственными портретами ихъ вымышленныхъ предковъ.

Г-жа Жадовская дорожитъ своими грустными воспоминаніями; тяжелыя чувства сердца дѣйствительно составляютъ для нея святыню, которую она боится осквернить напыщенной фразой, ложнымъ эффектомъ. Она, очевидно, не хочетъ щеголять своей печалью

«И гной душевныхъ ранъ надменно выставлять
На диво черни простодушной».

Она скорѣе даже боится говорить о своихъ страданіяхъ; она молчала бы о нихъ, если бъ могла, но сердце, противъ воли, рвется наружу, хочетъ высказаться. Именно, сердце видно въ каждомъ стихотвореніи г-жи Жадовской; въ каждомъ стихотвореніи ясно, что оно не фраза, а чувство, что оно прожито, а не при-

думано. Въ созданіи почти каждаго стихотворенія, какъ будто чувствуешь тотъ таинственный процессъ мысли и ея выраженія, который такъ поэтически изображенъ г-жею Жадовской въ пьесѣ, начинающей собою ея книжку.

«Лучшій перлъ таится
Въ глубинѣ морской;
Зрѣетъ мысль святая
Въ глубинѣ души.
Надо сильной бурѣ
Море взволновать,
Чтобъ оно въ бореньи
Выбросило перлъ;
Надо сильно чувству
Душу потрясти,
Чтобъ она, въ восторгѣ,
Выразила мысль».

Этотъ восторгъ, въ который приходитъ душа, потрясенная чувствомъ, чтобы выразить святую мысль, зрѣющую въ душевной глубинѣ, составляетъ неотъемлемое достоинство всѣхъ или, по крайней мѣрѣ, почти всѣхъ стихотвореній г-жи Жадовской.

Въ нѣкоторыхъ изъ ея стихотвореній этотъ восторгъ, это святое чувство ясны для всякаго, самаго холоднаго и разсѣяннаго человѣка; въ другихъ — они болѣе скрыты; въ иныхъ, наконецъ, трудно, почти невозможно ихъ отыскать человѣку, который самъ не былъ въ такомъ же положеніи, не прожилъ и не перечувствовалъ того же, о чемъ говоритъ поэтъ. Такихъ стихотвореній довольно много, и, вѣроятно, немногіе поймутъ и оцѣнятъ ихъ. Это трудно для многихъ, отчасти уже и потому, что г-жа Жадовская такъ сдержанно говоритъ о своемъ горѣ и страданіяхъ, такъ робко упоминаетъ о нихъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ боится разлить предъ людьми эту чашу, которую должна она хранить. Такъ говоритъ она въ одной пьесѣ:

«Не зови меня бестрастной
И холодной не зови,
У меня въ душѣ есть много
И страданій, и любви.
Проходя передъ толпою,
Сердце я хочу закрыть
Равнодушіемъ наружнымъ,
Чтобъ себѣ не измѣнить.
Такъ идетъ предъ господиномъ,
Затая невольный страхъ,
Рабъ, ступая осторожно,
Съ чашей полною въ рукахъ».

Во многихъ пьесахъ высказывается это горькое, затаенное страданье, дѣйствующее на душу несравненно больнѣе, чѣмъ раздѣленная печаль, но непонятное для человѣка не страдавшаго, которому нужно, чтобы поэтъ увлекъ его силою и яркостью жи-

вого изображенія, а не простымъ намекомъ. Такимъ образомъ, для многихъ останутся непонятны и чужды стихотворенія г-жи Жадовской именно потому, что она не любитъ пространно описывать свои чувства. Такъ и въ жизни не привлекаютъ участія людей душевныя страданья, прикрытыя наружнымъ спокойствіемъ. За то, если ужъ кто пойметъ эти страданья, тотъ будетъ сочувствовать имъ несравненно больше, чѣмъ всякому многорѣчивому горю. Но рѣдко, рѣдко встрѣчаются такія сочувствующія души, и особенно страдающій человѣкъ рѣдко находитъ ихъ. Кто чувствовалъ эту скорбь одиночества среди людей, тотъ оцѣнитъ эти простые стихи г-жи Жадовской.

«Куда сложить тяжелый грузъ души?
Кому повѣдать скорбь, гнетущую мнѣ сердце?
Вокругъ меня людей знакомыхъ много,
И многіе меня бы стали слушать;
Но гдѣ найду я теплое участье?
Гдѣ душу обрѣту, съ сочувствіемъ отраднымъ,
Которая со мной всѣ радости и горе
Понять и раздѣлить могла бы непритворно»?

Тяжело человѣку съ живой, любящей душей въ этой людской пустынѣ; среди нея вяло и медленно тянется жизнь, и можно понять ту грусть, которою полны эти стихи:

«Я плачу все о томъ, что сердце увядаетъ,
Что леденитъ его холодный свѣтъ....
. . . Я плачу и о томъ, что скучною машиной
Между людей я тихо прохожу;
Я плачу и о томъ, что въ мірѣ ни единой
Родной души себѣ не нахожу».

Не подумайте, чтобъ это была сантиментальность, желаніе выставить себя непонятою, непризнанною, и т. п. Нѣтъ, въ стихотвореніяхъ Жадовской видна дѣйствительная грусть, и, сколько мы можемъ догадываться по нѣкоторымъ пьесамъ, грусть эта происходитъ изъ источника болѣе глубокаго, нежели какія-нибудь мечтательныя или личныя раздраженія. Ея сердце, ея умъ, дѣйствительно, наполнены горькими думами, которыхъ не хочетъ или не умѣетъ раздѣлять современное общество. Ея стремленія, ея требованія слишкомъ обширны и высоки, и немудрено, что многіе бѣгутъ отъ поэтическаго призыва души страдающей не только за себя, но и за другихъ, и съ увлеченіемъ говорящей:

«Говорятъ, придетъ пора,
Будетъ легче человѣку,
Много пользы и добра
Свѣтитъ будущему вѣку»!..

Что имъ, этимъ толпамъ людей, холодныхъ и расчетливыхъ, до того будущаго, которое принесетъ много добра человѣку! До того ли имъ!

«Безстрастны, суетны и вялы,
Безъ пользы для страны родной,
Они, лѣниво и устало,
Идутъ избитою тропой...
. ...Для ихъ души одна потреба—
Чтобъ сытымъ быть, покойно спать...
За то не дастся имъ отъ неба
Призваній высшихъ благодать».

Это сознаніе пустоты и ничтожности окружающаго свѣта составляетъ уже не гремушку самолюбія, не капризъ сердца, а дѣйствительное страданіе, которое можетъ понять всякій мыслящій человѣкъ. Прочтите хоть это стихотвореніе:

«Нѣтъ, никогда поклонничествомъ низкимъ
Я покровительства и славы не куплю,
И лести я ни дальнимъ и ни близкимъ
Изъ устъ моихъ постыдно не пролью.
Предъ тѣмъ, что я всегда глубоко презирала,
Предъ чѣмъ порой дрожатъ достойные—увы!
Предъ знатью гордою, предъ роскошью нахала
Я не склоню свободной головы.
Пройду своимъ путемъ, хоть горестно, но честно,
Любя свою страну, любя родной народъ,
И, можетъ быть, къ моей могилѣ неизвѣстной
Бѣднякъ иль другъ со вздохомъ подойдетъ.
На то, что скажетъ онъ, на то, о чемъ помыслитъ
Я, вѣрно, отзовусь безсмертною душой...
Нѣтъ, вѣрьте, лживый свѣтъ не знаетъ и не смыслитъ,
Какое счастье быть всегда самимъ собой»!

Скажите, сантиментальность ли это? призрачныя ли это страданія? Нѣтъ, ничего не можетъ быть существеннѣе этого горя, которое приводитъ человѣка къ поэтической мечтѣ, что онъ найдетъ, наконецъ, сочувствіе — послѣ смерти... Нѣтъ этого сочувствія при жизни, и нечего добиваться его отъ людей, нечего раскрывать имъ свои душевныя раны. Надо удалить свое сердце отъ житейскаго шума, надо очистить себя отъ мелочей людскихъ и остаться наединѣ съ своей душой, съ ея воспоминаніями и горемъ, — вотъ къ чему приходитъ поэтъ, хранящій святыню души своей. Онъ говоритъ:

«Не святотатствуй, не грѣши
Во храмѣ собственной души.
Повѣрь, молиться невозможно
При кликахъ суетныхъ и ложныхъ
Пустыхъ, ничтожныхъ торгашей.
Средь пошлыхъ сплетенъ и рѣчей.
Очисти храмъ бичомъ познанья,
Всю эту ветошь изгони,
Тогда предъ алтаремъ признанья
Съ мольбой колѣна преклони»....

Поэтическая душа вѣрна своему рѣшенію: она не повергаетъ своей тоски на судъ людей. Она, улыбаясь, слушаетъ пустой разговоръ, когда на сердцѣ тяжело и грустно.

«Какъ часто слушаю ничтожный разговоръ
Съ участіемъ притворнымъ я и ложнымъ!
Вниманье полное изображаетъ взоръ,
Но мысли далеко и на сердцѣ тревожно...
Какъ часто я смѣюсь, тогда какъ изъ очей
Готовы слезы жаркія катиться»...

Скрытность эта тоже тяжела.

«О, какъ трудно, грустно и обидно
Мнѣ скрывать всю боль сердечныхъ ранъ»,

восклицаетъ г-жа Жадовская въ одномъ стихотвореніи. Она даже не надѣется на свою твердость, она спрашиваетъ себя:

«Какъ-то справлюсь я съ моею ролью?
Какъ-то слезы, горе утаю?
Какъ-то скрою отъ людей и свѣта
Я печаль душевную мою»?

И какою-то безотрадно-грустною покорностью судьбѣ звучитъ отвѣтъ ея на этотъ вопросъ:

«Ничего, немножко только воли,
И исчезнутъ слезы на глазахъ,
Ничего.... еще одно усилье, —
И мелькнетъ улыбка на устахъ»!...

«Но что же за причина страданія? Что тревожитъ сердце поэта среди веселаго общества»?—Мало ли бываетъ причинъ страданья, читатель? Нашъ міръ—не блаженный эдемъ, и не мало горя выпадаетъ на долю людей, умѣвшихъ отличить добро отъ зла. Скажите, развѣ не законная причина страданья, напримѣръ, такая мысль:

«Чѣмъ ярче шумный пиръ, бесѣда веселѣй,
Тѣмъ на душѣ твоей печальной тяжелѣй,
Язвительнѣе боль сердечнаго недуга,
И голосъ дальняго, оставленнаго друга
Мнѣ внятнѣй слышится. Ахъ, блѣдный и худой,
Я вижу образъ твой, измученный нуждой!
Среди довольныхъ лицъ, средь гула ликованья,
Онъ мнѣ является съ печатію страданья,
Оставленной на немъ безплодною борьбой
Съ врагами, бѣдностью и самою судьбой!
Быть можетъ, въ этотъ часъ, когда за ужинъ пышный
Иду я, средь другихъ, моей стопой неслышной,
Ты, голоденъ и слабъ, въ отчаяньи нѣмомъ,
Лежишь одинъ, въ слезахъ, на чердакѣ глухомъ;
А я тебѣ помочь не въ силахъ и не властна!
И, полная тоски глубокой и безгласной,
Я никну головой, не слыша ничего,
Подъ гнетомъ тайнаго унынья моего,
Средь этой вѣтреной себялюбивой знати,
Готовая рыдать неловко и некстати»...

Много подобныхъ горькихъ мыслей можетъ таиться подъ наружнымъ спокойствіемъ, среди безумнаго свѣтскаго веселья, гдѣ нѣтъ родной души, которая могла бы откликнуться на тайное внутреннее горе. Все въ этомъ свѣтѣ заставляетъ сердце сжиматься и скрывать свои раны, все вѣетъ такимъ непривѣтнымъ равнодушіемъ. Что за дѣло людямъ, стремящимся по дорогѣ веселья, до израненнаго путника, лежащаго при пути? —

«Ихъ много мимо шло... но что жъ? никто изъ нихъ
Не думалъ облегчить тяжелыхъ ранъ моихъ;
Иной бы и желалъ, да вдаль его манила
Житейской суеты губительная сила;
Иныхъ пугалъ видъ ранъ и мой тяжелый стонъ»....

Но найдется же, наконецъ, хоть одна душа, которая почувствуетъ состраданіе къ несчастному; найдется этотъ ближній, котораго напрасно ждетъ страдалецъ въ толпѣ мимоходящихъ людей. И нашлась одна такая душа, нашлось это участіе для страдальца.

«И вотъ, пришелъ одинъ, склонился надо мной,
И слезы мнѣ отеръ спасительной рукой.
Онъ былъ невѣдомъ мнѣ, но полнъ святой любовью;
Текущею изъ ранъ не погнушался кровью...
Онъ взялъ меня съ собой и помогалъ мнѣ самъ,
И лилъ на раны мнѣ цѣлительный бальзамъ».

Надолго остается въ душѣ страдальца образъ этого ближняго-утѣшителя. Легко можетъ случиться, что простое ощущеніе благодарности превратится въ чувство болѣе глубокое и вызоветъ взаимное чувство. Тогда, что бы ни случилось, но сердце бѣднаго труженика, отверженнаго свѣтомъ, сохранитъ навсегда тихое и свѣтлое, — хотя и грустное, можетъ быть, — воспоминаніе о томъ, въ комъ хоть однажды встрѣтило оно теплое, родное участье. На людей, имѣющихъ подобныя воспоминанія или умѣющихъ понимать ихъ, должны сильно подѣйствовать нѣкоторыя изъ стихотвореній г-жи Жадовской. Намъ кажется, напр., что къ жизни многихъ можетъ быть примѣнено прекрасное описаніе, составляющее вторую половину стихотворенія: «Никто не виноватъ». Мы рѣшаемся выписать вполнѣ это стихотвореніе.

«Никто изъ насъ, никто не виноватъ,
Ни ты, ни я: судьба ужъ такъ рѣшила!
Судьба страшна, всесильна, говорятъ;
Она и насъ съ тобою разлучила.
Не виноватъ, мой другъ, не виноватъ и ты,
Что на душѣ твоей любовь остыла;
И я не виновата, что мечты
Безумной юности такъ долго сохранила,
Что свѣтятся онѣ отрадно предо мной,
Повсюду слѣдуютъ за мной неотразимо,
И что надъ этой грустной пустотой
Горитъ любовь звѣздой неугасимой...

Ахъ, эта жизнь своею тишиной
Меня томитъ, какъ страшное видѣнье!
Какъ будто смерть летаетъ надо мной....
Желанна буря мнѣ, какъ грѣшнику спасенье.
Вотъ что теперь на память мнѣ пришло
Изъ дѣтства дней, почти забытыхъ мною:
Поляну помню я; на ней росло
Цвѣтовъ такъ много, яркою весною;
Но не весенніе душистые цвѣты
Меня туда, ребенка, привлекали.
Среди поляны той два дерева стояли,
И сладостно шептали ихъ листы,
И мѣрно вѣтви ихъ зеленыя кивали.
Они росли одно къ другому близко; но
Никакъ коснуться не могли другъ друга, —
Знать было такъ судьбою суждено.
Вотъ, поднялась однажды туча съ юга
И близилась. Въ молчаніи ждала
Ее усталая природа. Торопливо
Летали птицы; спряталась пчела;
Замолкъ деревьевъ разговоръ шумливый...
И грянулъ громъ, и полилъ дождь ручьемъ.
Я видѣла, какъ бурный вихорь жадно
Моихъ любимцевъ охватилъ,—какъ послѣ,
Сомкнувъ ихъ вѣтви, вырвалъ безпощадно
Онъ съ корнемъ одного и бросилъ далеко...
Съ тѣхъ поръ всегда малюткѣ мнѣ казалось,
Что уцѣлѣвшее страдаетъ глубоко,
Что утромъ не росой, слезами обливалось;
Что счастіе его навѣкъ отравлено,
Что, бѣдное, все бури ждетъ оно»....

Мы выписали это стихотвореніе, между прочимъ, и для того, что въ немъ довольно ярко выступаетъ одинъ изъ недостатковъ, который, вѣроятно, всегда много мѣшалъ и будетъ мѣшать блестящему успѣху стихотвореній г-жи Жадовской. Это—недостатокъ отдѣлки, небрежность и шероховатость стиха. По нашему мнѣнію, недостатокъ этотъ не мѣшаетъ быть стихотворенію прекраснымъ и истинно-поэтическимъ; но все-таки и мы признаемся, что лучше бы было, если бы среди риѳмованныхъ стиховъ не встрѣчалось стиха безъ риѳмы; если бы стихъ не оканчивался на *но* въ риѳму—*суждено*; если бы союзы *ужъ*, *вотъ* и др. употреблялись съ большею осторожностью, и пр. Мы такъ привыкли теперь къ совершенной гладкости и плавности стиха, что малѣйшая шероховатость производитъ на насъ уже непріятное впечатлѣніе. А въ стихахъ г-жи Жадовской небрежность отдѣлки доходитъ до того, что иногда даже ударенія ставятся довольно произвольно. Это обстоятельство весьма важно для нашего стиха, котораго вся звучность основана на удареніяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, читатели замѣтятъ въ приведенномъ стихотвореніи ту, подходящую къ прозѣ, простоту выраженія, которая составляетъ особенность стиха г-жи Жадовской. Перечтите описаніе приближенія бури: тутъ нѣтъ *живописныхъ* выраженій, въ родѣ тѣхъ, которыми пріобрѣли себѣ славу нѣкоторые изъ на-

шихъ поэтовъ. Нѣтъ тутъ ни «дымящихся небесъ», ни «молніи бразды, разсыпающейся огнемъ пурпурнымъ по тучамъ бурнымъ», ни «клубящейся мглы»,—все совершенно просто. При переложеніи этого описанія въ прозу не было бы надобности измѣнять ни одного выраженія. Намъ это кажется большимъ достоинствомъ; но многіе въ этомъ спокойствіи и простотѣ описанія видятъ недостатокъ *объективности* въ талантѣ г-жи Жадовской. Для нея явленія природы, говорятъ они, сами по себѣ не имѣютъ никакого значенія: ее привлекаетъ не красота или величіе этихъ явленій, а то, что они имѣютъ извѣстный характеръ, соотвѣтствующій внутреннему настроенію ея духа. Замѣчаніе это справедливо, но, по нашему мнѣнію, оно прилагается, въ большей или меньшей степени, ко всякому поэту. Совершенно объективныхъ поэтовъ быть не можетъ; совершенно-объективны могутъ быть только математическія выкладки да разныя свѣдѣнія изъ натуральной исторіи, статистики, и т. п. Въ поэзіи вопросъ можетъ быть только о бо́льшей или меньшей степени субъективности, и намъ кажется, что различіе этихъ степеней само по себѣ не можетъ служить доказательствомъ ни недостатка, ни силы поэтическаго таланта. Если хорошо восхищаться бархатомъ луговъ и запахомъ черемухи младой, если весело отдыхать подъ липою густою и смотрѣть, какъ облаками разукрасилася даль, или стоять неподвижно, въ далекія звѣзды вглядясь; то отчего же не будетъ столько же хорошо — прислушиваться къ внутреннимъ движеніямъ собственной души, передавать субъективную жизнь своего сердца? Вамъ могутъ нравиться пейзажи, но это не мѣшаетъ мнѣ любить жанристовъ или портретную живопись. Что же касается до того, что талантъ г-жи Жадовской не въ пейзажахъ, это, мы полагаемъ, успѣли уже замѣтить читатели даже изъ тѣхъ выписокъ, которыя мы привели.

Любовь къ природѣ, наслажденія красотами ея вовсе не чужды таланту г-жи Жадовской. Но, если можно такъ выразиться, природа служитъ для нея только средствомъ для возбужденія тѣхъ или другихъ мыслей и воспоминаній. Возьмите любое стихотвореніе, — въ каждомъ вы это замѣтите.

«Я все хочу разслушать,
Что говорятъ онѣ,
Вѣтвистыя березы
Въ полночной тишинѣ»...

Повсюду тишина; природа засыпаетъ
И звѣзды въ высотѣ такъ сладостно горятъ!
Заря на западѣ далекомъ потухаетъ;
По небу облачка едва-едва скользятъ.
О, пусть моя душа больная насладится
Такою же отрадной тишиной, и пр.....

Опять спокойно надо мной
Сіяютъ небеса,

И безотчетною слезой
Блестятъ мои глаза, и пр.

Вечеръ.... этотъ вечеръ
Чудной нѣгой дышетъ...
Золотой зарею
Ярко западъ пышетъ.
Наклонивъ головки
Розы сладко дремлютъ...
Но любовь и горе
Душу мнѣ объемлютъ.
О погибшемъ счастьи
Я въ тиши тоскую», и пр.

Сама г-жа Жадовская хорошо сознаетъ особенность своего настроенія, и это сознаніе выразилось въ прекрасномъ стихотвореніи ея «На пѣснь соловья». Она говоритъ въ немъ, что не можетъ беззаботно наслаждаться этой пѣснью:

«Подъ звукъ твоей чудесной трели
Воспоминанья мнѣ запѣли
Иную пѣснь, въ тиши ночной:
Звучитъ та пѣснь тоской и мукой,
Разбитой страстью и разлукой,
И безнадежностью глухой».

Вотъ заключительные стихи этой пьесы, объясняющіе субъективность поэта:

«Когда душа летитъ надъ бездной,
Что ей краса лазури звѣздной
И страстной пѣсни переливъ?
Они на днѣ ея, глубоко,
Возбудятъ лишь одинъ жестокій,
Нѣмой отчаянья порывъ»....

Особенность и сила субъективнаго таланта г-жи Жадовской состоитъ именно въ томъ, что она не подчиняется безусловно внѣшнимъ впечатлѣніямъ природы, а умѣетъ перерабатывать ихъ, согласно съ своимъ внутреннимъ настроеніемъ. О ней нельзя сказать, чтобъ она вовсе не обращала вниманія на природу; нѣтъ, она любитъ ее, постоянно обращается къ ней въ своей поэтической грусти, въ своемъ отчужденіи отъ свѣта. Но природа не въ силахъ покорить ея сердце, измѣнить ея постоянное настроеніе; она только видоизмѣняетъ это настроеніе, придавая ему бо́льшій или меньшій оттѣнокъ грусти или успокоенія, твердости или покорности судьбѣ. Но и то часто дѣлается безъ содѣйствія окружающей обстановки, по одному внутреннему увлеченію. То овладѣваетъ вдругъ душою поэтическая грусть объ умершей подругѣ:

«Все мнѣ кажется, что душно
Въ тѣсномъ гробѣ ей лежать;
Все мнѣ мнится: тяжело ей
Быть засыпанной землей,
И неловко, и темно ей
Подъ богатой пеленой»....

То мысль объ отсутствующемъ другѣ тяготитъ ее, то посѣщаетъ ее грустная мечта о любимомъ человѣкѣ, умершемъ вдали, не понявъ любви, обращенной къ нему. Теперь, — мечтаетъ поэтъ, —

«Можетъ быть, все ясно
Стало для него,
Какъ любила страстно
Одного его;
И чего живому
Не могла сказать —
Мертвецу нѣмому
Суждено понять»....

Иногда въ поэтическихъ думахъ своихъ, поэтъ нарочно будитъ свое сердце воспоминаніями, заставляя его снова переживать нѣкоторыя тяжелыя мгновенія прежней жизни. Въ примѣръ мы можемъ указать на превосходное стихотвореніе «Пробужденіе сердца», заключающее въ себѣ цѣлую драму и навѣвающее на читателя, имѣющаго хоть какія-нибудь воспоминанія, невольную, сладостно-грустную тревогу. Грустно задумывались мы надъ этимъ стихотвореніемъ, читая его, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ «Москвитянинѣ»; то же впечатлѣніе испытали мы и теперь, перечитывая его. Мы его не выписываемъ здѣсь единственно потому, что оно довольно длинно, а мы и безъ того уже сдѣлали много выписокъ.

Но мы не можемъ удержаться, чтобъ не выписать нѣсколькихъ небольшихъ стихотвореній, въ которыхъ выражается то отношеніе, въ какомъ находится субъективное настроеніе таланта г-жи Жадовской къ явленіямъ внѣшняго міра. Вотъ минута изъ тихой, звѣздной ночи:

«Чудная минута!
Будто счастья жду я...
И мечты слетаютъ,
Нѣжа и чаруя,
Какъ на чувства сердце
Въ этотъ мигъ ни скупо!
Я готова плакать,
Какъ это ни глупо....
Что жъ? никто не видитъ...
Лейтесь, слезы, смѣло!
Мѣсяцу съ звѣздами
Что до васъ за дѣло»!...

Вотъ какъ дѣйствуетъ на поэта осеннее время:

«Тихо я бреду одна по саду:
Подъ ногами желтый листъ хруститъ,
Осень льетъ предзимнюю прохладу,
О прошедшемъ лѣтѣ говоритъ.
Говоритъ увядшими цвѣтами,
Грустнымъ видомъ выжатыхъ полей,
И холодными, сырыми вечерами, —
Всей печальной прелестью своей.
Такъ тоска душѣ напоминаетъ

О потерѣ лучшихъ дней,
Обо всемъ, чего не возвращаетъ
Эта жизнь—жестокій чародѣй»!

А вотъ вамъ и впечатлѣніе жаркаго и свѣтлаго лѣтняго дня:

«Лѣтній полдень страстнымъ зноемъ
Землю пышную томитъ;
Небо чистое покоемъ
Безграничности горитъ.
Ищу прохладной тѣни...
Да, какъ жизнь ни хороша,—
Жаждетъ отдыха и лѣни
Утомленная душа.
Пусть деревья зеленѣютъ
Подъ дыханьемъ теплоты;
Пусть плоды на солнцѣ зрѣютъ,
Распускаются цвѣты...
Солнца лучъ цвѣтокъ увядшій
Къ жизни вновь не возвратитъ,
Преждевременно упадшій
Съ древа плодъ не возраститъ»...

Не правда ли, что, при всемъ различіи этихъ впечатлѣній, надъ ними господствуетъ одно общее чувство, неразлучное съ душою поэта? Это же самое чувство замѣтно даже и въ тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя, по формѣ своего выраженія, представляются чисто объективными и предметомъ которыхъ служатъ уже не внутреннія ощущенія, а предметы совершенно внѣшніе. Мы приведемъ два изъ нихъ. Одно изъ нихъ возбуждено взглядомъ на ниву.

«Нива моя, нива,
Нива золотая!
Зрѣешь ты на солнцѣ,
Колосъ наливая.
По тебѣ отъ вѣтру,
Словно въ синемъ морѣ,
Волны такъ и ходятъ,
Ходятъ на просторѣ.
Надъ тобою съ пѣсней
Жаворонокъ вьется;
Надъ тобой и туча
Грозно пронесется.
Зрѣешь ты и спѣешь,
Колосъ наливая,
О людскихъ заботахъ
Ничего не зная.
Унеси ты, вѣтеръ,
Тучу градовую!
Сбереги намъ, Боже,
Ниву трудовую»!...

Другое стихотвореніе также относится къ сельскому быту, но гораздо грустнѣе предыдущаго.

«Грустная картина!
Облакомъ густымъ

Вьется изъ овина
За деревней дымъ.
Не завидна мѣстность:
Скудная земля,
Плоская окрестность,
Выжаты поля.
Все какъ бы въ туманѣ,
Все какъ будто спитъ...
Въ худенькомъ кафтанѣ
Мужичекъ стоитъ,
Головой качаетъ:
Умолотъ плохой,
Думаетъ-гадаетъ,
Какъ то быть зимой?...
Такъ вся жизнь проходитъ
Съ горемъ пополамъ,
Такъ и смерть приходитъ,
Съ ней—конецъ трудамъ.
Причаститъ больного
Деревенскій попъ,
Принесутъ сосновый
Отъ сосѣда гробъ;
Отпоютъ уныло....
И старуха мать
Долго надъ могилой
Будетъ причитать».

Однакоже — довольно выписокъ. Если выписывать все хорошее, то намъ пришлось бы переписать значительную долю стихотвореній г-жи Жадовской. Пьесы, приведенныя нами, могутъ впрочемъ дать довольно полное понятіе о характерѣ ея таланта. Онъ не отличается ни особеннымъ разнообразіемъ, ни могуществомъ, ни роскошью; но онъ силенъ своей задушевностью и рѣшительнымъ отсутствіемъ всякой аффектаціи. Это — находка въ нашей современной поэзіи, такъ пріучившей насъ къ благозвучному пустозвонству, къ изумительной скачкѣ другъ чрезъ друга пышныхъ образовъ и міровыхъ идей, выхваченныхъ изъ школьныхъ тетрадокъ, къ головоломнымъ порывамъ, о которыхъ вовсе не вѣдаетъ сердце. Средь этой безотрадной доморощенной философіи съ риѳмами, выражающейся въ какихъ-то образахъ суздальской живописи, казались намъ весьма замѣчательными даже тѣ стихотворенія, въ которыхъ безъ особенныхъ вычуръ и претензій говорилось хоть о томъ, что лѣтній вечеръ тихъ и ясенъ, или что теплымъ вѣтромъ потянуло, или, наконецъ, хоть о томъ, что пахнетъ сѣномъ надъ лугами. Послѣ этого странно было бы намъ не замѣтить звуковъ простой, безъискусственной поэзіи, раскрывающей передъ нами внутренній міръ человѣка, посвящающей насъ въ тайны дѣйствительнаго сердечнаго горя, въ тайны страданья, доступнаго всякой душѣ, для которой мысль и чувство дороги, какъ святѣйшее достояніе человѣка.

«Но—скажутъ многіе благоразумные судьи,—что намъ за дѣло до того, какъ груститъ г-жа Жадовская? У насъ и своей грусти много; поэзія могла бы и не трудиться прибавлять намъ еще свое

горе». Что сказать на такое умствованіе, и нужно ли говорить что-нибудь? Нѣтъ, читатель, напрасно было бы говорить съ тѣмъ, кого собственное горе ожесточаетъ противъ горя другихъ; напрасно было бы пробуждать человѣческія чувства въ томъ, кто все человѣчество заключаетъ только въ самомъ себѣ. Онъ отвернется отъ всѣхъ нашихъ убѣжденій, какъ отвернется и отъ произведеній подобныхъ стихотвореніямъ г-жи Жадовской. Для подобныхъ людей нужны *великолѣпныя* стихотворенія, подобныя твореніямъ г. Бенедиктова и графини Евдокіи Растопчиной.

Стихотворенія для дѣтей отъ младшаго до старшаго возраста, расположенныя въ двадцати двухъ отдѣлахъ. Сочиненіе *Б. Федорова*. Спб. 1858. 2 части.

Дѣти, разумѣется, должны итти за взрослыми: у взрослыхъ книжки стихотвореній десятками проявляются; надобно и дѣтямъ дать стихотворенія. Г. Борисъ Федоровъ позаботился о томъ, чтобъ надѣлить дѣтей всякими стихотвореніями, и произвелъ ихъ — пятьсотъ (*ихъ*, т. е. стихотвореній, а не дѣтей). Такая плодовитость поистинѣ изумительна! Не менѣе изумительно и разнообразіе дѣтскаго таланта г. Федорова. Онъ пишетъ: басни для дѣтей, Эзоповы басни, картины природы, молитвы дѣтей, семейные разговоры, дѣтскіе привѣты, дѣтскія игры и забавы, шарады, омонимы, повѣсти и разсказы для дѣтей, историческіе анекдоты, отечественныя воспоминанія, наконецъ, стихи на разные случаи. У г. Федорова на все есть стихи: ни одинъ цвѣточекъ не ушелъ изъ-подъ его стихотворнаго пера; всякую птичку описалъ онъ въ стихахъ; полководцевъ русскихъ поднялъ на ноги, философовъ древнихъ потревожилъ, — ничто не ускользнуло отъ него,

«На все онъ отвѣтилъ стихами своими,
Что даже не проситъ отвѣта».

Но мы не удивились бы до такой степени разнообразію таланта г. Федорова, если бы въ немъ не проявлялась, вмѣстѣ съ тѣмъ, непостижимая предупредительность. Не говоря уже о дѣтскихъ играхъ, урокахъ, и пр., г. Федоровъ предвидѣлъ почти всѣ возможные случаи семейной жизни, и на каждый написалъ стихотвореніе. Напр., можетъ случиться, что дѣдушка вашихъ дѣтей ослѣпнетъ; какой тогда «*привѣтъ*» сказать ему? г. Борисъ Федоровъ сочинилъ два привѣта дѣтей дѣдушкѣ, потерявшему зрѣніе. Можетъ случиться, что вы возвращаетесь изъ похода, и дѣти должны васъ

встрѣтить: что они вамъ скажутъ? г. Федоровъ и на этотъ случай сочинилъ два дѣтскихъ привѣта родителю, возвращающемуся изъ похода. Кромѣ того, онъ сочинилъ отдѣльныя стихотворенія для поздравленій съ праздникомъ, съ новымъ годомъ, съ ангеломъ, при поднесеніи вѣнка, прописи, васильковъ, дѣтскихъ трудовъ, и пр. Неоцѣненная услуга для дѣтей! Какъ бы хорошо было, если бы наши «поэты для взрослыхъ» тоже послѣдовали примѣру г. Федорова и сочинили бы для родителей-то поздравительные стишки къ нужнымъ лицамъ! Право, лучше бы было, чѣмъ пересмѣивать-то все. А то, что хорошаго: только разладъ въ общественной жизни выходитъ. Пока мы малы, такъ держатъ насъ нравственно, — стишки г. Федорова даютъ учить, поздравленія заученныя говорить родителямъ, и пр. А какъ выростемъ, такъ тутъ и пойдетъ фанаберія всякая: тутъ ужъ не то что поздравительные стишки знатной особѣ поднести, а просто расписаться въ пріемной на листочкѣ, такъ и то иной разъ не каждый праздникъ исполняемъ... Къ чему же тогда и въ дѣтствѣ учили насъ? Зачѣмъ и маленькимъ давали поздравительные стишки заучивать? Не съ тѣмъ ли дѣлали все это, чтобъ приготовить изъ насъ скромныхъ и почтительныхъ гражданъ? А вотъ вамъ и успѣхи!... Да и какихъ же успѣховъ ждать, когда ужъ нынче во всѣхъ школахъ хрестоматія Галахова употребляется, въ которой нѣтъ ни одного поздравительнаго стихотворенія, — хоть бы для образца, — и даже никакого стихотворенія г. Федорова нѣтъ, а помѣщены, — стыдно сказать, а грѣхъ утаить, — отрывки изъ Гоголя, который, какъ извѣстно, смѣялся надъ всѣмъ этимъ. Да и вся литература-то за нимъ пошла. Поди теперь, замани нашихъ поэтовъ, чтобъ они благонравные стишки написали! Хоть прибей,—не напишутъ! Въ надзвѣздный эѳиръ всѣ ударились,—оттого и вѣтеръ въ головѣ ходитъ. Впрочемъ, *желающіе* изъ родителей могутъ утѣшиться: стихи г. Федорова и для нихъ годятся. Переставивши одно, много два слова, легко можно ихъ обратить, вмѣсто родителей, къ какому угодно лицу. Вотъ, напр., поздравленіе маменькѣ съ новымъ годомъ. Съ измѣненіемъ двухъ словъ, оно можетъ имѣть слѣдующій, весьма, кажется, приличный видъ:

«Я съ новымъ годомъ поздравленье
Вамъ, генералъ, принесть спѣшу,
И чувствъ сердечныхъ выраженье,
Какъ даръ любви, принять прошу.
Въ сей день всегда одно и то же
Намъ говорятъ, лаская насъ;
Но поздравленій всѣхъ дороже—
Поцѣловать въ плечо мнѣ васъ».

«Поздравленіе дѣдушкѣ со днемъ ангела или рожденія» можетъ быть обращено къ какой угодно особѣ, при измѣненіи одного только слова. Вотъ оно:

«Къ вамъ, начальникъ, [1]) мы стремимся
Подъ хранительную сѣнь,
И душевно веселимся,
Что послалъ намъ Богъ сей день!
Боже вѣчный, милосердый!
Богъ отрады и любви!
Вѣкъ его продли, Всещедрый!
Дни его благослови!
Добродѣтельную старость
Подкрѣпи для счастья намъ;
Пусть онъ, видя нашу радость,
Съ нами радуется самъ»!

Когда войдутъ въ повсемѣстное употребленіе стихотворенія г. Федорова, посмотрите, какъ подвинется общественная нравственность!

Кромѣ поздравленій, г. Федоровъ сообщаетъ дѣтямъ и полезныя свѣдѣнія въ стихахъ. Напримѣръ, у него есть цѣлая ботаника съ риѳмами. «Васильки», «Иванъ да Марья», «Лимонъ», «Гортензія», «Ясминъ», «Клубника», «Душистый горошекъ», — да и пошелъ; каждое стихотвореніе носитъ названіе цвѣтка, и всѣхъ-то до пятидесяти. Положимъ, что они всѣ другъ на друга очень похожи, во всѣхъ говорится все больше о цвѣтѣ да объ ароматѣ; но все-таки пятьдесятъ штукъ стихотвореній изъ ботаники — это не шутка!... Попотѣешь за ними порядочно, хоть какой будь плодовитый поэтъ... А все вѣдь для того, чтобы научить дѣтей, что есть на свѣтѣ лимонъ да клубника.

Мало того: патріотическія чувствованія вдыхаетъ въ дѣтей г. Федоровъ, и для того заставляетъ ихъ пѣть «Пѣсню Уральцевъ», «Казацкую славу», и т. п. За то миленькій Сережа, идеалъ благонравнаго мальчика, и восклицаетъ у него (ч. I, стр. 122):

«Хочу гвардейцемъ быть иль молодцомъ гусаромъ,
Иль съ пикой казакомъ лихимъ»!...

Что касается нравственности, то полагаемъ, нечего и говорить о совершенствахъ ея въ стихотвореніяхъ г. Федорова. Для показанія ея достаточно выписать... что бы выписать?... Ну хоть оглавленіе второго отдѣла второй части.

«Галлерея дѣтскихъ портретовъ: прилежный Николенька, лѣнивая Катенька, попечительный Юрій, безпечный Левушка, бережливая Наденька, неряха Юленька, воздержный Яшенька, лакомка Параша, умная Лизанька, плакса Митюша, шалунья Таня, благоразумная Дуняша, благонравный Алеша, негодяй Павлуша,

---

[1]) Г. Федоровъ замѣчаетъ, при нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ, что нарицательныя слова могутъ, въ случаѣ надобности, быть замѣнены собственными, напримѣръ: вмѣсто дочери можетъ быть Сашенька, Катенька, и пр. Такъ и мы замѣтимъ, что здѣсь, вмѣсто, начальникъ, можно поставить, напримѣръ, Петръ Юрьичъ, Илъ Карпычъ, или измѣнить такъ: къ вамъ, Степанъ Ильичъ, стремимся; или: Сидоръ Карпычъ! къ вамъ стремимся, и т. п.

благочестивая Оленька, легкомысленная Машенька, баловень Ванюша, маленькій живописецъ Васенька, милосердая Эмилія, жестокій Андрюша».

Не правда ли, какія плутарховскія пары! И какая превосходная система: изображать порокъ рядомъ съ противоположною ему добродѣтелью! Считаемъ ненужнымъ замѣчать, что добродѣтель, конечно, вездѣ награждается, а порокъ достойно наказывается г. Федоровымъ.

Цѣна за пятьсотъ стихотвореній г. Федорова—два рубля! Необыкновенно дешево! Покупайте, имѣя въ виду особенно то, что поздравленія дѣтскія могутъ пригодиться и взрослымъ,—для нужныхъ особъ.

Мишура. Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ. *Алексѣя Потѣхина.* Москва. 1858.

Комедія г. Потѣхина не получила такой популярности, какою пользуются комедіи г. Львова, и объ этомъ нельзя не пожалѣть. Предметъ ихъ имѣетъ много общаго; но тогда какъ г. Львовъ довольствуется легкою пародіею, г. Потѣхинъ представляетъ намъ комедію, имѣющую серьезное значеніе. Если бы мы хотѣли подражать строгимъ критикамъ г. Львова, мы могли бы прежде всего вскинуться и на г. Потѣхина, зачѣмъ онъ идеаломъ безкорыстія представляетъ намъ негоднаго человѣка. Но мы пока этого не сдѣлаемъ, а просто сообщимъ читателямъ, что героемъ пьесы г. Потѣхина является Владиміръ Васильевичъ Пустозеровъ, совѣтникъ губернскаго правленія, обладающій безкорыстіемъ дѣйствительно идеальнымъ. Не брать взятокъ—въ этомъ поставляетъ онъ идеалъ всѣхъ человѣческихъ совершенствъ; брать взятки — это значитъ быть человѣкомъ безнравственнымъ, гадкимъ, безчестнымъ въ самой послѣдней степени. Каковы бы ни были всѣ остальныя качества человѣка, взявшаго взятку, онъ достоинъ каторги; каковы бы ни были всѣ остальныя качества человѣка безкорыстнаго, онъ не можетъ не быть человѣкомъ превосходнымъ, дѣлающимъ честь человѣческому роду. Вотъ весь кодексъ убѣжденій Пустозерова. Убѣжденія эти, какъ видите, поставлены твердо и рѣшительно, и во всей пьесѣ онъ ихъ поддерживаетъ на дѣлѣ. При всемъ томъ мы признаемся, что давно ужъ, при чтеніи русскихъ беллетристическихъ произведеній, ни къ одному герою ихъ не чувствовали мы такого возмущающаго сердце омерзѣнія, какъ къ этому Пустозерову. Всѣ эти подьячіе старыхъ временъ, Порфиріи Петровичи и другіе взяточники гг. Щедрина и Печерскаго, и, съ другой стороны, всѣ эти пошлые фразеры, въ родѣ Надимова

и Фролова,—ничто въ сравненіи съ безкорыстнымъ на дѣлѣ Пустозеровымъ... Здѣсь всѣ краски порочности и пошлости такъ густо и ярко наложены, что мы даже прямо можемъ сказать въ этомъ случаѣ, что авторъ *хотѣлъ* вывести негодяемъ этого безкорыстнаго человѣка. На это намекаетъ и самое названіе комедіи: Мишура. Съ перваго явленія до послѣдняго, съ каждымъ словомъ Пустозерова, отвращеніе къ нему читателя увеличивается и подъ конецъ доходитъ до какого-то нервическаго раздраженія. Это уже не случайность, это расчетъ таланта. И, по нашему мнѣнію, въ развитіи характера Пустозерова, г. Потѣхинъ высказалъ замѣчательное мастерство. Такъ какъ вся интрига пьесы вертится около этого лица, то мы, не разсказывая предварительно ея содержанія, прямо и займемся этимъ характеромъ.

Начинается дѣйствіе въ кабинетѣ Пустозерова, убранномъ съ претензіями, но довольно бѣдно. Между разными утварями комнаты, нужно замѣтить множество ни на что ненужныхъ бездѣлушекъ и литографированныя картинки, изображающія полуобнаженныхъ женщинъ въ разныхъ положеніяхъ. Предъ вами уже начинаетъ рисоваться человѣкъ, нѣсколько чувственный, мелочный, съ претензіями, склонный къ свѣтскому фатовству, но удерживаемый, повидимому, чувствомъ долга, потому что не предается вполнѣ своимъ наклонностямъ, а живетъ *бѣдно*,—значитъ, взятокъ не беретъ. Съ первыхъ же словъ своихъ онъ не замедлитъ оправдать впечатлѣнія, производимаго его кабинетомъ. Слуга его Андрей, нѣсколько глуповатый и необтесанный парень, входитъ и поздравляетъ Пустозерова съ днемъ рожденія. Пустозеровъ говоритъ, что это глупость, деревенщина, *патріархальность*, и прогоняетъ Андрея. Оставшись одинъ, онъ занимается созерцаніемъ въ зеркало своей особы и, между прочимъ, разсуждаетъ: «въ двадцать семь лѣтъ—совѣтникъ губернскаго правленія... не дурно!... А хотѣлъ бы я для сегодняшняго дня назвать Дашеньку моею». Вы ожидаете, что Дашенька его невѣста, но ошибаетесь жестоко... Вы увидите потомъ, что для него значитъ — *назвать своею*... Далѣе, бросая взглядъ на кипу бумагъ, лежащихъ на столѣ, Пустозеровъ держитъ про себя слѣдующую рѣчь: «экъ ихъ сколько! Есть ли человѣческая возможность все это прочитать... и за 900 цѣлковыхъ жалованья!... Высокое наслажденіе чувствовать себя безкорыстнымъ; для этого чувства я готовъ все перенести, готовъ умереть; но и существовать на 900 цѣлковыхъ, въ пору самой пылкой молодости... поставленному на видъ у цѣлой губерніи, развитому и образованному человѣку; видѣть безпрестанно возможность обогатиться и отталкивать постоянно всѣ соблазны съ презрѣніемъ: это не послѣдній подвигъ»!

Монологъ этотъ рисуетъ намъ Пустозерова во всей низости его безкорыстія. Во-первыхъ, онъ жалуется, онъ сожалѣетъ о своемъ безкорыстіи и тѣмъ уже приближаетъ себя къ пошлости Фролова. Затѣмъ онъ высказываетъ, что служба для него все-таки важна,

какъ средство обогащенія. Онъ говоритъ, что за 900 цѣлковыхъ не стоитъ читать всѣхъ этихъ бумагъ, значитъ, онъ служитъ не для пользы, а для жалованья. И во имя чего этотъ господинъ такъ утвердился на своемъ безкорыстіи? Есть ли у него то внутреннее благородство, которое заставляетъ человѣка чувствовать инстинктивное, естественное отвращеніе къ взяткѣ, какъ и ко всякому воровству? Нѣтъ; изъ словъ его видно, что ему дорого стоитъ обуздать въ себѣ стремленіе къ воровству; онъ только сдерживаетъ свои влеченія отвлеченнымъ принципомъ и гордится этимъ... гордится тѣмъ, что не крадетъ!...

Второе явленіе представляетъ критическую минуту, долженствующую показать во всемъ блескѣ этого чиновника, безкорыстнаго по принципу. Пустозеровъ назначенъ на слѣдствіе, для открытія злоупотребленій по винному откупу, и къ нему является повѣренный одного изъ откупщиковъ, съ толстымъ пакетомъ. На вопросъ Пустозерова: что это такое? повѣренный отвѣчаетъ: «сумма, достойная вашего высокоблагородія». Безкорыстный Пустозеровъ приходитъ, разумѣется, въ ярость и кричитъ: «такъ твой хозяинъ надѣется подкупить меня, купить у меня правду и *долгъ службы?* Да какъ ты осмѣлился, *борода*, какъ осмѣлился твой мерзавецъ хозяинъ подумать подкупить чиновника, *которому довѣряетъ губернаторъ, о безкорыстіи и неподкупности котораго знаетъ вся губернія?*» Затѣмъ, Пустозеровъ хочетъ упрятать повѣреннаго въ полицію и посылаетъ Андрея за квартальнымъ; въ это время повѣренный скрывается. Оставшись одинъ, Пустозеровъ не можетъ не сказать себѣ молодца за свой поступокъ. «А соблазнъ былъ не малъ,—говоритъ онъ,—пакетъ порядочный... знали, къ кому шли». «О, какъ бы можно было обирать этихъ мошенниковъ, если бы захотѣлъ», прибавляетъ онъ съ горечью... Размышленія его прерываются приходомъ Потапа Егорыча Зайчикова, секретаря градской думы въ уѣздномъ городѣ. Наслышавшись о благородствѣ Пустозерова и о томъ, что губернаторъ ему довѣряетъ, старикъ Зайчиковъ проситъ заступиться за него предъ губернаторомъ. Сначала Пустозеровъ говоритъ старику о сынѣ его, который служитъ въ губернскомъ правленіи очень хорошо, только иногда позволяетъ себѣ нѣкоторыя выходки: «то изъ присутствія уйдетъ прежде времени, то не явится вечеромъ... подъ тѣмъ предлогомъ, что дѣло свое сдѣлалъ... Да, вѣдь, порядокъ нарушаетъ... Ну, и формы не соблюдаетъ иногда даже умышленно... конечно, смѣшно, что какой-нибудь столоначальникъ разсуждаетъ объ установленномъ и уже существующемъ порядкѣ, а между тѣмъ это можетъ повредить его служебной карьерѣ». Вотъ и понятія безкорыстнаго человѣка о долгѣ и цѣли службы высказались предъ нами... Не правда-ли, это прибавляетъ довольно рѣзкую черту къ его характеру? Далѣе, Пустозеровъ спрашиваетъ Зайчиковъ, сколько у него дѣтей и узнаетъ, что шестеро, кромѣ старшаго; узнаетъ и то, что жалованья въ годъ Зайчиковъ получаетъ 85 рублей серебромъ съ ко-

пѣйками. Наконецъ доходитъ и до объясненія просьбы Зайчикова. Объясненіе это довольно оригинально, и мы его выпишемъ.

«Какъ изволили ихъ превосходительство (говоритъ Зайчиковъ) въ послѣдній разъ на ревизію ѣздить... изволили поѣхать инкогнито, никто ничего не зналъ; пріѣхали вдругъ въ нашъ городишко, и прямо по присутственнымъ мѣстамъ. Я только что успѣлъ сбѣгать домой, мундиришко натянуть, перепхался совсѣмъ по старости лѣтъ, а они ужъ и къ намъ пожаловали. Изволили войти и прямо на меня оборотились, а я и отъ попыховъ-то, и отъ страху, что наслышился объ ихней строгости, духу не могу перевести, даже языкъ къ гортани присохъ, въ горлѣ стѣсненіе сдѣлалось. Посмотрѣли на меня и спрашиваютъ: «ты секретарь»? Только я голосомъ знакъ подалъ, а языкъ даже не проговорилъ и ихняго чина не произнесъ. Посмотрѣли этакъ на меня и на мундиришко мой, а онъ ужъ, правда, старенекъ же былъ, да и спрашиваютъ «сколько лѣтъ у тебя мундиру?» И опять я не могъ дать отвѣта: мну, мну языкомъ, не говоритъ. Тутъ опять посмотрѣли на меня ихъ превосходительство и изволили сказать: и «видно, говорятъ, у кого совѣсть-то нечиста». Пошли въ присутственную комнату, не понравилось убранство. «Кто, спрашиваютъ, канцелярскую сумму расходуетъ»? Голова отвѣчаетъ, что секретарь. Стали они тутъ на меня гнѣваться, что канцелярскую сумму будто бы себѣ въ карманъ кладу, а велика она — извольте справиться: только бы на бумагу да на свѣчи стало; нынче же бланки и книги съ печатными заголовками приказано имѣть: откуда тутъ на убранство взять?... Мнѣ бы все это изъяснить, а ужасть меня обуяла: языкъ точно деревянный. Тутъ стали ревизію производить, а у меня за два послѣднихъ дня и журналовъ не выведено, потому—общество у насъ маленькое, дѣловъ никакихъ не было... Конечно, для порядку слѣдовало бы поверстать изъ другихъ день, да вѣдь не знали и ничего не слыхали, что скоро будетъ ревизія. Такъ этимъ разогорчились ихъ превосходительство, что все ужъ стало не по нихъ: въ архивѣ порядокъ не понравился, у одного служащаго сапоги худые на ногахъ усмотрѣли, спросили меня, который мнѣ годъ; на бѣду языкъ проговорилъ, что 65 лѣтъ, и это имъ обидно показалось, зачѣмъ до такихъ лѣтъ службу продолжаю, что хотя разуму я и лишился, но въ лихоимствѣ будто бы и купцовъ обирать понятіе не потерялъ. Конечно, противъ ихъ превосходительства я къ сердцу этихъ словъ принять не осмѣлился, потому что заслужилъ, хотя и не чувствую себя въ томъ виновнымъ, какъ предъ истиннымъ Богомъ говорю; но полагалъ, что ихъ превосходительство погнѣваются да и разсудить изволятъ, не думалъ того, что вдругъ меня постигло: вмѣстѣ съ распоряженіями по ревизіи пришло отъ ихъ превосходительства предписаніе, чтобы я немедленно подалъ въ отставку. Войдите въ мое положеніе, ваше высокоблагородіе, на васъ однихъ надежда».

Этотъ разсказъ показался намъ очень типичнымъ. Какъ ярко рисуется въ немъ этотъ забитый, покорный добрякъ, ни о чемъ не смѣвшій думать самостоятельно, не имѣвшій никогда ни одного высшаго интереса въ жизни, ограничившій себя своей узенькой и грязноватой сферой, добрый человѣкъ по привычкѣ, взяточникъ по привычкѣ, благоговѣющій предъ губернской властью—по привычкѣ!.. Онъ сознаетъ себя виноватымъ, что *для порядка* не вывелъ въ журналѣ дѣлъ, когда дѣлъ не было, но оправдываетъ себя тѣмъ, что вѣдь онъ *не зналъ, что ревизія будетъ*... Сколько безсознательной, но горькой ироніи слышится въ этихъ словахъ его, и какой смиренный, но мрачный, вопіющій протестъ представляетъ онъ своимъ несвязнымъ разсказомъ противъ *ихъ превосходительства*, карающаго лихоимство въ образѣ стараго секретаря градской думы! Слова Зайчикова вполнѣ выказываютъ его и должны пробудить состраданіе къ его добродушной глупости во всякомъ порядочномъ

человѣкѣ. Но не такъ принимаетъ ихъ Пустозеровъ. Когда Зайчиковъ проситъ его о защитѣ предъ губернаторомъ, онъ спрашиваетъ: «такъ вы считаете генерала несправедливымъ»? Отвѣтъ, разумѣется, такой: «осмѣлюсь-ли я только подумать»!... Затѣмъ Пустозеровъ составляетъ слѣдующій силлогизмъ: «значитъ, вы хотите, чтобъ я покривилъ душой, прося губернатора измѣнить правильное распоряженіе»? Зайчиковъ говоритъ, что онъ проситъ только милости, потому что иначе ему существовать нельзя. Пустозеровъ возражаетъ, что, во-первыхъ — служба не богадѣльня, а во-вторыхъ, старикъ выслужилъ пенсію, равную жалованью, слѣдовательно, если на жалованьи жилъ, то и на пенсіи можетъ жить. Старикъ, конечно, признается, что онъ получалъ доходы, хотя никому не оказывалъ притязанія, бралъ, что принесутъ, какъ милостыню. «Купцы меня безъ души любятъ,—говоритъ онъ,—а если бъ я отъ нихъ не получалъ, такъ не то что въ университетѣ сына содержать, а и грамотѣ-то дѣтей не на что было бы выучить». Стоикъ нашъ вопрошаетъ очень рѣшительно: «и гораздо-бы лучше вамъ было оставить ихъ неучами, нежели образовывать на незаконно-нажитыя деньги. Всякій чиновникъ долженъ жить на тѣ средства, которыя ему дало правительство, а тотъ, который позволяетъ себѣ побочные доходы, не можетъ быть терпимъ на службѣ». Зайчиковъ продолжаетъ умолять о защитѣ и пощадѣ; непоколебимый герой отвѣчаетъ, что хлопотать за взяточника съ его стороны было бы низко. Зайчиковъ, истощивъ всѣ просьбы, обѣщается *благодарить*. Пустозеровъ приходитъ въ бѣшенство... Зайчиковъ бросается на колѣни, съ мольбой о пощадѣ. Оскорбленный этимъ въ своихъ человѣческихъ чувствахъ, Пустозеровъ презрительно говоритъ: «дворянинъ — на колѣняхъ!... не позорьте своего званія... Это гнусно»... и прогоняетъ отъ себя старика.

Мы нарочно остановились подольше на этой сценѣ, рѣзко выказывающей, какъ много сухости, эгоизма, безчеловѣчія въ этомъ идеалѣ безкорыстія; какъ много мелочности и формальности въ самыхъ его понятіяхъ о долгѣ. Въ этомъ разговорѣ, гдѣ онъ, собственно говоря, правъ и добродѣтеленъ, гдѣ онъ и умомъ, и честностью, и своими понятіями, кажется, далеко превосходитъ Зайчикова, ничье человѣческое сочувствіе, однакоже, не обратится, вѣроятно, къ нему. Напротивъ, онъ представляется намъ гнусенъ и низокъ даже предъ этимъ жалкимъ Зайчиковымъ.

По уходѣ старика, являются частный приставъ и секретарь правленія. Частному поручаетъ онъ отыскать повѣреннаго, предлагавшаго взятку, а съ секретаремъ, Анисимомъ Ѳедоровичемъ, толкуетъ о дѣлахъ и, между прочимъ, о томъ, что вице-губернаторъ не соглашается на преданіе суду двухъ исправниковъ за медленность въ очищеніи недоимокъ. Секретарь говоритъ, что за это суду-то предавать собственно и нельзя по настоящему; но Пустозеровъ заставляетъ его замолчать, говоря, что ужъ тутъ толковать нечего, — это генералъ приказалъ: «генералъ непремѣнно хочетъ,

чтобы всѣ недоимки къ новому году были очищены, во что бы то ни стало». При этомъ случаѣ онъ ругаетъ вице-губернатора и обѣщаетъ секретаря защищать противъ него, въ случаѣ надобности. Секретарь уходитъ; вслѣдъ за нимъ является помѣщикъ Золотаревъ. Встрѣтившись съ секретаремъ, онъ начинаетъ разговоръ съ него и замѣчаетъ, что это великій мошенникъ. Оказывается, что Пустозеровъ объ этомъ знаетъ, и что даже губернаторъ хотѣлъ выгнать Анисима Ѳедоровича. «Но я замѣтилъ,—говоритъ Пустозеровъ,—что онъ отличный дѣлецъ, и упросилъ губернатора оставить его; онъ можетъ быть очень полезенъ для службы, только его надобно держать въ рукахъ». Въ этомъ объясненіи безкорыстный герой нашъ оказывается не совсѣмъ вѣрнымъ своему принципу; но мы скоро увидимъ, что у него на этотъ разъ были особенныя побудительныя причины такой непослѣдовательности. Теперь же пока онъ опять является героемъ, потому что Золотаревъ пріѣхалъ просить его опять за откупщика, съ которымъ онъ въ долѣ въ откупѣ. Пустозеровъ не соглашается ни подъ какимъ видомъ—ни замять дѣло, ни даже передать его другому слѣдователю, хотя Золотаревъ оказывается діалектикомъ очень ловкимъ. Разговоръ прерывается пріѣздомъ къ Пустозерову его дяди и тетки, у которыхъ онъ воспитывался, которыхъ звалъ отцомъ и матерью, но которыхъ теперь стыдится, какъ степняковъ, дикихъ и необразованныхъ. Ничего не подозрѣвая, они лѣзутъ къ нему въ объятія, грубо хохочутъ, безцеремонно рекомендуются гостю и начинаютъ сообщать нѣкоторыя подробности своего домашняго быта. Пустозеровъ, въ крайнемъ смущеніи, извиняется предъ Золотаревымъ: онъ опозоренъ, уничтоженъ, онъ не знаетъ, какъ-бы смыть это страшное пятно, которымъ заклеймила его любезность родственниковъ. Золотаревъ, смекнувъ въ чемъ дѣло, говоритъ ему: «вполнѣ понимаю ваше положеніе и, если угодно, оставлю для одного себя тайною вашу радость. Но какъ же ваше согласіе»? Полный душевнаго смятенія, Пустозеровъ немедленно соглашается передать дѣло другому слѣдователю и, проводивъ Золотарева, начинаетъ говорить грубости дядѣ и теткѣ. Тѣ оскорблены и объявляютъ ему, что пріѣхали было съ радостной вѣстью о полученіи, вмѣстѣ съ нимъ, въ раздѣлъ наслѣдства отъ тетушки, и что свою часть хотѣли ему отдать, но что теперь ужъ онъ отъ нихъ ничего не увидитъ. Пустозеровъ пораженъ; онъ уже называетъ тетушку—маменькой, какъ бывало, онъ хочетъ удержать ее съ дядей; но они оставляютъ его. Онъ бѣжитъ вслѣдъ за ними, восклицая: «что за несчастіе! А въ городѣ-то что будутъ говорить»!

Здѣсь кончается первое дѣйствіе, обрисовывающее, какъ намъ кажется, очень ярко характеръ Пустозерова и заставляющее ожидать отъ него всевозможныхъ низостей въ продолженіе пьесы. Но для читателя не ясна еще нить завязки всей пьесы, еще не видно, къ чему идетъ весь этотъ очеркъ. Предметовъ, на которыхъ пробуется и высказывается Пустозеровъ, такъ много, всѣ они подо-

браны случайно и почти ничѣмъ между собою не связаны; который же изъ нихъ будетъ развитъ и проведенъ въ дальнѣйшемъ ходѣ комедіи? Судя по первому акту, читатель въ правѣ думать, что завязка заключается въ дѣлѣ откупщика, такъ какъ имъ занята бо́льшая половина этого акта. Но второе дѣйствіе показываетъ не то. Дѣло объ откупщикѣ остается постороннимъ, незначащимъ эпизодомъ въ пьесѣ и, нужно полагать, искусственно введено авторомъ только для того, чтобы дать случай сразу выказаться безкорыстію Пустозерова. Искусственный пріемъ этотъ нѣсколько вредитъ общему впечатлѣнію, потому что въ слѣдующихъ актахъ читатель все ждетъ: что же дѣло объ откупщикѣ? И ничего не дождется.

Второе дѣйствіе происходитъ у секретаря — Анисима Ѳедоровича. Начинается оно разговоромъ секретаря съ Пурпуровымъ, становымъ приставомъ, котораго Пустозеровъ хочетъ отдать подъ судъ, по жалобѣ мѣщанки Петровой на медленность производства слѣдствія о покражѣ у ней имущества на 25 рублей. Становой приставъ далеко не является здѣсь въ томъ блескѣ могущества и великаго значенія для человѣчества, какъ является онъ въ устахъ несравненнаго Фролова. Онъ пріѣхалъ къ секретарю съ просьбой, нельзя ли какъ-нибудь удалить нерасположеніе къ нему Пустозерова. Нерасположеніе это считаетъ онъ слѣдствіемъ мести исправника, котораго начальство считаетъ, по его словамъ, безкорыстнымъ за то, что онъ раскольникамъ не потакаетъ. А онъ, между тѣмъ, «пріѣдетъ въ какой-нибудь раскольничій домъ въ ночное время съ обыскомъ, перепугаетъ всѣхъ,—одна старуха даже чрезъ этотъ испугъ смерть получила,—обретъ тамъ всѣ книги и образа запрещенные, да и говоритъ: вотъ, говоритъ, коли хотите, чтобы все оставилъ и не открывалъ, такъ деньги давайте, и напишу, что ничего не нашелъ. Тѣ, извѣстно: бери, что хочешь, только ихъ святости не тронь. Такъ онъ деньги-то возьметъ, а образа-то и книги все-таки представитъ». Начальство хвалитъ за такое рвеніе по службѣ, но Пурпуровъ считаетъ такой образъ дѣйствій — низостью. Анисимъ Ѳедоровичъ, кажется, тоже думаетъ, хотя и завидуетъ такой отважности и твердости души исправника. Онъ видитъ, что это выгодно, но у него на такую штуку духу *не хватитъ*, что, впрочемъ, не мѣшаетъ ему признавать исправника ловкимъ и умнымъ человѣкомъ. На замѣчаніе Пурпурова, что раскольниковъ преслѣдовать, дѣйствительно, полезно, онъ говоритъ: «выгодную статью дѣлаетъ для нашего брата чиновника: кто хочетъ—получай деньги, а кто не хочетъ денегъ—чины. А кто половчѣе да поумнѣе, такъ тотъ и деньги и чины получать можетъ, какъ нашъ исправникъ». Вслѣдствіе такихъ разсужденій, Анисимъ Ѳедоровичъ, какъ самое вѣрное средство—поставить себя на видъ у начальства съ хорошей стороны—рекомендуетъ Пурпурову отыскать гдѣ-нибудь и представить раскольниковъ, и особенно, если можно, какую нибудь старую дѣвку начетчицу. Нужно подкара-

улить ихъ во время сходки, оцѣпить, схватить, представить, со всѣмъ, что найдется; можно даже выдумать новую секту, а ее, какъ главную сектантку... Становой схватывается съ жаромъ за эту мысль и, дѣйствительно, черезъ недѣлю представляетъ раскольницу, съ книгами и образами. Пустозеровъ сознается (въ третьемъ актѣ), что ошибался въ немъ... Разговоръ секретаря съ становымъ, вовсе не относящійся къ ходу пьесы и довольно длинный, пробѣгается, однако, съ любопытствомъ, потому что онъ раскрываетъ предъ нами домашнія сдѣлки двухъ чиновныхъ властей. Становой и подличаетъ, и пускается въ откровенности, и подкупаетъ секретаря. Между прочими разсказами, становой выражаетъ свое profession de foi, относительно своихъ служебныхъ обязанностей. Онъ, видите ли, находится, какъ и всякій становой, въ зависимости отъ помѣщиковъ, и долженъ имъ представляться, являться по ихъ требованію, охранять ихъ интересы, и т. п., все, что дѣлаетъ каждый становой, не исключая идеальнаго Андрея Фролова, если припомнитъ читатель. Что же касается до страннаго требованія, недавно возникшаго отъ высшихъ властей, на счетъ огражденія мужиковъ, то на этотъ счетъ становой ничего не можетъ сдѣлать, потому, во-первыхъ, что ихъ въ стану 27 тысячъ, а во-вторыхъ, потому, что черезъ это надо войти въ противорѣчіе съ другими интересами, а это становому не по силамъ. Да Пурпуровъ и не понимаетъ надобности такого противорѣчія, подобно пресловутому Фролову. Онъ говоритъ:

«Надъ мужикомъ какая нужна распорядительность? Чтобы онъ былъ тихъ, покоренъ, не возмечталъ о себѣ, кулакъ да плеть нужна на него... Коли въ строгости онъ содержится, не даетъ ему становой потачки, вотъ и порядокъ въ стану, вотъ и распорядительность вся, чтобы онъ голоса не смѣлъ подать, потому — зналъ бы, что онъ есть мужикъ.... А вотъ у кого должно спросить начальство, распорядителенъ ли я?—у помѣщика. Становой постановленъ для огражденія помѣщиковъ, у нихъ и спросите про меня, такъ ужъ я знаю, что ни одинъ на меня не пожалуется. Кто усмирилъ въ самомъ началѣ возмущеніе крестьянъ противъ помѣщика Летаева? я! Кто отыскалъ троихъ бѣглыхъ дворовыхъ людей помѣщика Отрубкина? я!... Кто поймалъ воровъ, что обокрали полковника Шапина? я же, вѣдь.... Такъ развѣ это не распорядительность? Да на меня теперь ни одинъ господинъ не пожалуется, чтобы я не занялся, не приказалъ при себѣ отодрать послѣдняго лакеишку, котораго пришлютъ ко мнѣ для наказанія.... Такъ вотъ бы на что должно было начальство обратить вниманіе.... Какъ еще служить — не знаю».

Въ разговорѣ съ Пурпуровымъ развертывается и характеръ Анисима Ѳедоровича; онъ беретъ взятки съ станового, научаетъ его, какъ надуть начальство раскольниками, обнаруживаетъ полное знакомство со всѣми плутнями подьячества и выражаетъ неудовольствіе новымъ безкорыстнымъ направленіемъ. Но вслѣдъ за тѣмъ оказывается, что онъ — нѣжный отецъ, всѣмъ готовый пожертвовать для счастія единственной дочери. Дочь эта — не кто иная, какъ *Дашенька*, которую Пустозеровъ хотѣлъ бы *назвать своею*... Она же составляетъ и причину, почему Анисимъ Ѳедоро-

вичъ, по просьбѣ Пустозерова, удержался на своемъ мѣстѣ. Проводивъ Пурпурова, секретарь разговариваетъ съ дочерью о Пустозеровѣ. Содержаніе разговора вотъ какое. «Не довѣряй ему очень: ты дѣвушка умная, должна понять, что онъ ходитъ сюда такъ часто не для меня, а для тебя... Ну, и пусть ходитъ: отъ этого моя служба зависитъ... Только смотри, чтобы больше ничего не было... Онъ нашимъ не будетъ. Если бы мы и захотѣли этого, такъ онъ не захочетъ; ну, и будь осторожна. Намъ бы только провести время, пока онъ здѣсь служитъ; а вѣдь его, разумѣется, скоро въ Петербургъ переведутъ»... При этихъ словахъ Дашенька блѣднѣетъ и говоритъ отцу: «ну, а что, если я привыкну къ нему, да такъ, что умру безъ него»? Анисимъ Ѳедоровичъ пугается и говоритъ, что не съ тѣмъ заставляетъ ее ласкать Пустозерова... что дочь для него дороже всего... «А если что у тебя на душѣ, ты лучше скажи мнѣ... Я и службу брошу, и его прогоню», восклицаетъ онъ. Но дочь успокоиваетъ его, увѣряя, что пошутила, и онъ снова проситъ ее быть любезной съ Владиміромъ Васильевичемъ Пустозеровымъ.

Читатель видитъ, что Анисимъ Ѳедоровичъ, при всей своей опытности въ приказномъ плутовствѣ, принадлежитъ еще къ числу мелкихъ мошенниковъ и что человѣческія чувства не совершенно заглохли въ немъ. Онъ вовсе не торгуетъ своей дочерью, онъ пугается даже при мысли о серьезныхъ послѣдствіяхъ сношеній Пустозерова съ Дашей. Сближая ихъ, онъ просто употребляетъ военную хитрость; поведеніе свое въ этомъ случаѣ, какъ оно ни мерзко, онъ считаетъ такъ... шалостью, шуткой, очень позволительной. Онъ, при всемъ своемъ плутовствѣ, не постигаетъ, какой видъ получаютъ эти шутки у господъ Пустозеровыхъ.

Пустозеровъ является къ Анисиму Ѳедоровичу и, между прочимъ, сообщаетъ ему копію съ завѣщанія своей тетки о раздѣлѣ наслѣдства. При этомъ онъ говоритъ: «кажется мнѣ, воля умершей незаконна, и имѣніе не можетъ быть раздѣлено, а должно слѣдовать мнѣ одному». Анисимъ Ѳедоровичъ обѣщаетъ разсмотрѣть эту бумагу и уходитъ въ правленіе, для вечернихъ занятій; Пустозеровъ остается съ Дашенькой. Онъ объясняется съ ней очень смѣло и безцеремонно, какъ будто продолжая давно начатое и часто повторяемое объясненіе въ любви, съ требованіемъ отвѣта. Дашенька уклоняется отъ объясненій; онъ объявляетъ, что скоро уѣдетъ навсегда; она блѣднѣетъ, но говоритъ ему только: «счастливый путь». Ни малѣйшаго внутренняго одушевленія, ни слѣда страсти не проявляется въ Пустозеровѣ; видно только мелкое самолюбіе человѣка пустого и чувственнаго. Онъ играетъ словами, позволяетъ себѣ вольности, нагло пристаетъ съ прямымъ вопросомъ; любите ли вы меня, и послѣ уклончивыхъ отвѣтовъ нѣсколько разъ повторяетъ его, а потомъ, тотчасъ преспокойно говоритъ, что три дня, въ которые не видалъ Дашеньку, онъ провелъ очень весело въ обществѣ молоденькой и хорошенькой вдовушки. Объясне-

ніе *влюбленныхъ* прерывается приходомъ Зайчикова-сына, котораго Пустозеровъ встрѣчаетъ вопросомъ: какъ онъ зашелъ сюда?—«Да той же самой дорогой, что и вы, Владиміръ Васильевичъ», отвѣчаетъ Зайчиковъ. — «Отчего вы не въ правленіи»? — «Да нечего дѣлать тамъ»... Пустозеровъ начинаетъ читать Зайчикову наставленія; Дашенька прерываетъ его и говоритъ, что Зайчиковъ пишетъ повѣсть и уже читалъ ей нѣсколько главъ, которыя ей очень нравятся. Пустозеровъ оскорбляется и начинаетъ говорить колкости Зайчикову и Дашенькѣ. Зайчиковъ отвѣчаетъ запальчиво, резонерствуетъ и рисуетъ поведеніе Пустозерова въ слѣдующихъ чертахъ отрицательнымъ образомъ. «Я желалъ бы,—говоритъ онъ,—чтобы въ людяхъ, облеченныхъ властію, было побольше сердца, чтобы они умѣли отличать настоящее зло отъ кажущагося, чтобы умѣли цѣнить людей, которые служатъ сорокъ лѣтъ, никого не обижая, не притѣсняя, окруженные любовью и довѣріемъ всѣхъ близкихъ къ нимъ людей, чтобы не пускали по-міру цѣлую семью за то только, что глава, ее вскормившій, выросъ и воспитался на иныхъ убѣжденіяхъ, а умѣли бы оцѣнить въ немъ настоящую честность, хотя и не согласную въ формахъ съ ихъ собственною». Ясно, что Зайчиковъ упрекаетъ Владиміра Васильевича за своего отца; но герой сей невозмутимъ въ величіи своихъ безкорыстныхъ принциповъ. Онъ совѣтуетъ Зайчикову не совать своего носа въ распоряженія высшихъ, чтобы самому не быть выгнаннымъ. Зайчиковъ ссорится съ нимъ и уходитъ. Дашенька выражаетъ свое сожалѣніе, что Пустозеровъ такъ съ нимъ обходится, и влюбленный герой нашъ вдругъ проникается нравственнымъ чувствомъ, говоря, что понимаетъ ея отношенія съ Зайчиковымъ и только удивляется, какъ можетъ отецъ смотрѣть на это равнодушно.—«Да развѣ тутъ есть что-нибудь непозволительное»?—съ изумленіемъ спрашиваетъ Дашенька. «О помилуйте,—насмѣшливо отвѣчаетъ онъ:—возвышенныя, высокія чувства... Что же иное можетъ питать душу поэтовъ»... Въ заключеніе своихъ колкостей, онъ объявляетъ Дашенькѣ отставку, какъ объявляютъ наемному лакею: «вы не умѣли цѣнить меня, вы меня дурачили, предпочли мнѣ перваго встрѣчнаго мальчишку... Ну, такъ прощайте»... Въ это время входитъ Анисимъ Ѳедоровичъ съ извѣстіемъ, что дѣло по завѣщанію можно повернуть въ пользу Пустозерова. Онъ сухо отвѣчаетъ: «хорошо-съ»! и грозно уходитъ. Анисимъ Ѳедоровичъ спрашиваетъ дочь, за что онъ разсердился; та говоритъ: «не знаю». Отецъ горько упрекаетъ ее и съ отчаяніемъ восклицаетъ: «ахъ, Дарья, Дарья! что теперь будетъ»!..

Безпокойство его оправдалось. Въ началѣ третьяго акта онъ бранитъ дочь за всѣ непріятности, какія, по ея милости, долженъ теперь выносить отъ Пустозерова. «Бывало,—говоритъ,—на все сквозь пальцы смотрѣлъ, а теперь каждое присутствіе непріятности да выговоры. А все изъ-за твоего каприза». Дашенькѣ только тутъ вполнѣ объясняется, что она служила ширмами для взяточниче-

ства отца. Но открытіе этого обстоятельства только сильнѣе пробуждаетъ ея любовь. Она говоритъ себѣ: «такъ онъ это для меня держалъ моего отца на службѣ... онъ, безкорыстный и благородный! А я еще сомнѣваюсь въ его любви ко мнѣ»!.. Заключеніе это, если хотите, не дѣлаетъ чести ея чувствамъ; но что же дѣлать? Нельзя назвать его невозможнымъ. Дашенька пугается только одного: что, если *онъ* подумаетъ, что и она въ заговорѣ съ отцомъ и только нарочно кокетничала съ нимъ? Это ужасно для ея любящаго сердца... Въ этихъ размышленіяхъ застаетъ ее Зайчиковъ, и между ними происходитъ объясненіе. Онъ открывается ей, что ее любитъ, и что знаетъ ея любовь къ Пустозерову, но что это человѣкъ скверный, недостойный, что онъ и ее ищетъ только для удовлетворенія своего самолюбія, что онъ ухаживаетъ за пожилой вдовой, что изъ мести преслѣдуетъ и отца Дашеньки и самого Зайчикова, и пр. Дашенька ничего не хочетъ слышать и на все отвѣчаетъ, что она ненавидитъ и презираетъ тѣхъ, кто говоритъ дурно про ея милаго. Ихъ объясненіе застаетъ Анисимъ Ѳедоровичъ и прогоняетъ Зайчикова, который тутъ же, кстати, объявляетъ, что завтра подаетъ въ отставку. Затѣмъ Анисимъ Ѳедоровичъ объясняетъ дочери, что онъ чуть не на колѣняхъ просилъ прощенья у Владиміра Васильевича, и что тотъ обѣщался сегодня опять къ нимъ пріѣхать. Повторивши дочери, чтобъ она была любезна, Анисимъ Ѳедоровичъ уходитъ.

Заставши Дашеньку одну, Пустозеровъ начинаетъ разговоръ, какъ побѣдитель; онъ улыбается и говоритъ такъ, что въ немъ просвѣчиваетъ какое-то животное сознаніе силы, какая-то кошачья игра съ мышью. Начинаетъ онъ насмѣшками надъ любовью Дашеньки къ Зайчикову и доводитъ ее до слезъ и до напоминанія ему о томъ, что онъ недавно еще увѣрялъ ее въ любви. На это напоминаніе онъ отвѣчаетъ: «да, я не отказываюсь отъ словъ, но... быть соперникомъ Зайчикова — не могу; быть игрушкой вашего каприза — тоже не могу. Это не моя роль». Она проситъ у него прощенія и признается въ своей любви...

Въ четвертомъ актѣ—Пустозеровъ собирается въ Петербургъ. Матрена, горничная Дашеньки, разсуждаетъ объ этомъ съ Андреемъ, въ квартирѣ Владиміра Васильевича.—«Такъ, значитъ, наша барышня,—говоритъ она,—такъ и останется... не при чемъ»?... Андрей отвѣчаетъ: «вамъ лучше знать, при чемъ останется», и оба смѣются. «А молодецъ... ловокъ! дѣльцо свое обдѣлалъ», замѣчаетъ Матрена, и они продолжаютъ сальничать насчетъ обманутой дѣвушки. Вскорѣ является самъ Пустозеровъ и велитъ Андрею поскорѣе укладываться. «Убраться бы отсюда поскорѣе,—говоритъ онъ самъ съ собой.—Надоѣлъ мнѣ проклятый городишко. Одного жаль, Дотею (такъ зоветъ онъ Дашеньку). Ну, что дѣлать: сама виновата... Такой страстной натурѣ, какъ ея, нельзя не поддаться... Тутъ никто бы не устоялъ. Жениться на ней? А карьера, а служба, а общественная польза, для которой живу? Тесть — взя-

точникъ... Нѣтъ, это невозможно!... (задумывается). Э, да утѣшится... поплачетъ и перестанетъ... Тотъ же Зайчиковъ женится (съ усмѣшкой). Безсмертнымъ писателямъ всего приличнѣе поправлять ошибки смертныхъ людей... (Ходитъ насвистывая). А жаль ея, бѣдняжку... Взялъ бы съ собой, если бъ не пугали послѣдствія».

Эти омерзительныя разсужденія прерываются Золотаревымъ, тѣмъ самымъ помѣщикомъ, который просилъ Пустозерова о слѣдствіи въ первомъ актѣ. Золотаревъ пріѣхалъ проститься съ нимъ, и оказывается, что Пустозеровъ получилъ мѣсто въ Петербургѣ по его ходатайству. Владиміръ Васильевичъ благодаритъ его, но Золотаревъ возражаетъ. «Помилуйте, что за благодарности: я только уплатилъ вамъ мой долгъ. Вы исполнили мою просьбу, слѣдовательно, дали мнѣ взаймы; я сдѣлалъ для васъ, слѣдовательно, расплатился; затѣмъ мы квитъ, и другъ другу ничѣмъ не обязаны». Это—прямое объясненіе, что мѣсто, выхлопотанное для Пустозерова, замѣняетъ взятку, отъ которой онъ отказался; но онъ не замѣчаетъ или не хочетъ замѣчать этого и съ улыбкою отвѣчаетъ на объясненіе Золотарева: «ваша философія проста и удобопонятна». Проводивъ Золотарева, Владиміръ Васильевичъ говоритъ самъ себѣ: «онъ правъ совершенно. Если бы всѣ разсуждали такъ, какъ онъ, то безкорыстіе и честность на службѣ никогда бы не оставались невознагражденными, какъ это иногда случается».

На этомъ успокоительномъ размышленіи безкорыстнаго человѣка могла бы и окончиться комедія. Но авторъ хотѣлъ до дна исчерпать гадость этого человѣка, хотѣлъ казнить его до конца, безъ всякой пощады, и онъ прибавилъ страшную сцену, служащую какимъ-то саркастическимъ апоѳеозомъ чувственнаго эгоизма, выставляющую пошлость и подлость человѣка въ какомъ-то сатанински-безобразномъ величіи. Къ Пустозерову является Дашенька, ушедшая вечеромъ, тихонько отъ отца, чтобъ удержать любимаго человѣка или уѣхать съ нимъ. Она объявляетъ прямо и просто, что не можетъ остаться безъ него. А онъ отвѣчаетъ ей: «послушай, душа моя, ты не понимаешь жизни. Какъ мнѣ взять тебя? Ну, узнаетъ твой отецъ, вступится: я могу испортить карьеру, потерять службу». Затѣмъ онъ, не слушая ея моленій, старается ее поскорѣе выпроводить. «Дома,—говоритъ,—тебя хватятся, *ты погубишь себя*».—«Я давно уже погибла», грустно отвѣчаетъ она на эту предупредительную заботливость. Тутъ, нежданно, врывается въ комнату Зайчиковъ, выпивши. Дашенька прячется за ширмы, Пустозеровъ старается выпроводить Зайчикова. Но тотъ, въ изступленіи, схватываетъ его за руку и начинаетъ декламировать ему анаѳему. Происходитъ слѣдующая сцена.

Зайчиковъ. Погоди, герой честности и безкорыстія, ты долженъ выслушать меня; я пришелъ сказать тебѣ спасибо за то, что ты чуть не убилъ моего отца, разорилъ мою семью, помѣшалъ мнѣ быть ей полезнымъ, почти выжилъ и меня изъ службы.... Вѣдь отецъ пѣшкомъ притащился сюда, узнавши,

что я вышелъ въ отставку; онъ меня винитъ въ этомъ, называетъ сыномъ неблагодарнымъ.... Стой.... Еще это не все. Ты держалъ при себѣ извѣстнаго взяточника секретаря, а для чего? Для того, чтобы соблазнить его дочь, прекрасное, чистое созданіе. И ты достигъ этого, подлецъ: я все знаю. Страхомъ изгнанія изъ службы, ты заставлялъ отца потворствовать вашимъ отношеніямъ. Ты увлекъ, ты погубилъ ее, неопытную.

Дашенька (выходя изъ-за ширмъ, быстро подходитъ къ Владиміру Васильевичу и обнимаетъ его). Вы врете: онъ ни въ чемъ не виноватъ, я сама полюбила его.

Зайчиковъ (отскакивая въ изумленіи). Дарья Анисимовна, вы ли это? Гдѣ вы? Онъ задавилъ въ васъ—и стыдъ и совѣсть.

Дашенька. Васъ никто не проситъ быть моимъ защитникомъ и принимать во мнѣ участіе; вамъ давно сказано, что я не люблю васъ, ненавижу, я люблю только его одного. Чего вамъ еще нужно?

Зайчиковъ (въ изступленіи). Га! Такъ пришло время мести: пришло время наказать этого мерзавца и вашего отца, который жертвуетъ дочерью изъ корыстныхъ цѣлей... Оставайтесь же здѣсь, я сейчасъ приведу сюда вашего отца. (Убѣгаетъ).

Владиміръ Васильевичъ. Ахъ, Дарьюшка! Боже мой, что за несчастіе! Уходите домой поскорѣе.... ради Бога! Андрей, готовы ли лошади?

Андрей (изъ дверей). Лошади у крыльца!

Владиміръ Васильевичъ. Выноси чемоданы проворнѣй. Живо... Доротея... Уйдете ли вы? Чего вы еще дожидаетесь?

Дашенька. Такъ развѣ ты и теперь не возьмешь меня?

Владиміръ Васильевичъ. Да развѣ ты не понимаешь, что это невозможно? Чего ты хочешь? Чтобы погоня что ли была за нами, скандалъ сдѣлать? Что это такое? Это невыносимо.

Андрей. Пожалуйте. Готово.

Владиміръ Васильевичъ. Ну, прощай, ради Бога, прощай. Я скоро опять пріѣду.

Дашенька (на колѣняхъ). Вольдемаръ, не оставляй меня. Подумай, что со мной будетъ (обнимаетъ его колѣни).

Владиміръ Васильевичъ (освобождаясь). Боже мой! говорятъ, это невозможно. Ты просто сумасшедшая. Или уходи скорѣе, или оставайся здѣсь. Я уѣду. Что это такое? Вотъ адъ! Вотъ казнь! (Идетъ къ дверямъ.)

Дашенька (ломаетъ руки). Пусть же мое проклятіе преслѣдуетъ тебя всю жизнь, на каждомъ шагу.... Господи.... (Всплескиваетъ руками, рыдаетъ и преклоняется къ полу.)

Владиміръ Васильевичъ (пріостанавливается у дверей, оглядывается на Дашеньку). Я столько же страдаю, какъ и ты, а наслаждались мы равно. (Машетъ рукой и уходитъ.)

(Черезъ нѣсколько минутъ слышенъ звонъ колокольчика.)

Дашенька (вздрагиваетъ и подымается на ноги). Уѣхалъ... Все кончено. (Медленно, пошатываясь, идетъ къ дверямъ.)

Такова заключительная сцена пьесы. Не знаемъ, съ какимъ чувствомъ прочтутъ ее читатели, но въ насъ она возбудила такое тяжелое, ожесточенное чувство раздраженія, отъ котораго мы долго не могли освободиться. Надобно отдать честь автору: онъ умѣлъ соединить въ своемъ героѣ столько гадостей, самыхъ ужасныхъ и отвратительныхъ, что при одномъ воспоминаніи о немъ душу воротитъ. Говорить о немъ хладнокровно нѣтъ ни малѣйшей возможности.

Уже по одному развитію этого характера, на которое мы почти исключительно обращали вниманіе при пересказѣ содержанія пьесы, читатели видятъ, что пьеса г. Потѣхина есть произведеніе замѣ-

чательное по своей силѣ. Но сила ея только и заключается въ развитіи характера Пустозерова до послѣднихъ степеней возможной для человѣка мерзости. Вся же вообще комедія отличается значительными недостатками.

Мы прослѣдили всю пьесу очень подробно, не пропустивъ почти ни одного явленія, и сдѣлали это потому, что «Мишура», хотя и помѣщена была въ «Русскомъ Вѣстникѣ», столь распространенномъ въ публикѣ, но какъ-то мало обратила на себя общее вниманіе и вскорѣ по своемъ появленіи была забыта. Теперь, при отдѣльномъ изданіи ея, мы сочли своей обязанностью напомнить о ней читателямъ и, чтобы не утруждать ихъ память, рѣшились сначала прослѣдить весь ходъ пьесы. Сдѣлавши это, мы можемъ сократить дальнѣйшій разборъ ея и ограничиться бѣглымъ указаніемъ ея недостатковъ. Главный недостатокъ ея въ художественномъ отношеніи, конечно, тотъ, что она вся поставлена на пружинкахъ, которыя авторъ произвольно приводитъ въ движеніе, чтобы выказать ту или другую сторону характера своего героя. Каждая сцена, взятая отдѣльно, очень умно, рѣзко и драматично составлена; но множество сценъ не имѣютъ ничего общаго съ ходомъ всей комедіи. Зачѣмъ, напримѣръ, дядя и тетка являются въ первомъ актѣ? Зачѣмъ становой — во второмъ? Зачѣмъ длинный разговоръ Дашеньки съ Матреной—въ третьемъ? Ихъ можно выкинуть, и пьеса все-таки можетъ итти своимъ чередомъ; только одной пошлостью и подлостью будетъ меньше въ характерѣ Пустозерова. Можно даже весь первый актъ выкинуть и начать пьесу съ третьяго явленія второго акта. Прибавкою нѣсколькихъ строкъ въ послѣдующихъ сценахъ, можно замѣнить все, что высказано впереди существенно-необходимаго для пьесы. Только характеръ Пустозерова не обрисуется такъ ярко. Для этого-то характера и *сочинены* всѣ предыдущія сцены. Онѣ плохо вяжутся между собой и не вытекаютъ ни изъ какой разумной необходимости. Точно такъ, какъ можно выкинуть первый актъ, можно и еще прибавить впереди одинъ актъ, въ которомъ собрать новыя доказательства низости Пустозерова. И эти новыя сцены могутъ быть связаны съ ходомъ комедіи, не меньше, по крайней мѣрѣ, какъ и явленіе повѣреннаго отъ откупа, помѣщика Золотарева, дяди съ теткой и станового пристава. Какое участіе въ пьесѣ принимаютъ всѣ эти лица? Золотаревъ, правда, выхлопатываетъ мѣсто Пустозерову, въ отплату за его услугу и, такимъ образомъ, дѣлается виновникомъ развязки, т. е. удаленія Владиміра Васильевича въ Петербургъ. Но вѣдь и это опять случайность, вполнѣ зависѣвшая отъ воли автора. Пустозеровъ такой господинъ, что онъ давно мѣтитъ въ Петербургъ, и онъ легко могъ получить тамъ мѣсто и безъ ходатайства Золотарева. Но тогда бы не было этой *взятки*, которую Пустозеровъ беретъ отъ Золотарева. Для того, чтобъ вывести это, прибавлено нѣсколько лишнихъ сценъ къ пьесѣ. Вообще, ходъ ея сочиненъ на заданную тему. Всѣ дѣйствующія лица приходятъ, говорятъ, ухо-

дятъ, безъ всякой собственной, разумной необходимости, за тѣмъ лишь, чтобы дать высказаться Пустозерову. Анисимъ Ѳедоровичъ безпрестанно убѣгаетъ въ правленіе,—чтобы дать Пустозерову высказать читателямъ характеръ своихъ отношеній съ Дашенькой,— и чрезъ пять минутъ возвращается, чтобы прекратить ихъ разговоръ и высказать Пустозерова съ служебной точки зрѣнія. Зайчиковъ-отецъ за тѣмъ является, чтобъ показать мелочность, узость и безчувственный эгоизмъ Пустозерова, хотя ему и не слѣдъ было итти съ просьбой къ этому человѣку: онъ могъ узнать о немъ отъ сына, который, какъ видно, хорошо его понимаетъ. Зайчиковъ-сынъ нарочно спѣшитъ къ окончанію дѣла и некстати явиться къ Дашенькѣ, когда ея отецъ сидитъ въ правленіи, для того, чтобы опять-таки дать случай выказаться Пустозерову. Не говоримъ уже о дядѣ и о становомъ, которые самымъ существованіемъ своимъ обязаны желанію автора—во что бы ни стало ошельмовать Пустозерова со всѣхъ концовъ. Признаемся, цѣли своей онъ достигъ, но достигъ, какъ діалектикъ, какъ моралистъ, какъ юридическій обвинитель, но не какъ художникъ.

Самый характеръ Пустозерова развитъ, дѣйствительно, съ замѣчательнымъ искусствомъ. Каждое слово его и каждое слово о немъ расчитано въ пьесѣ изумительно-ловко. Нашъ пересказъ не могъ, разумѣется, передать читателямъ всей гнусности Пустозерова въ такой силѣ, какъ она является въ самой пьесѣ; и при самомъ чтеніи комедіи гнусность эта все еще не является такъ живо и сильно, какъ она выкажется на сценѣ, въ игрѣ даровитаго актера. Но, признавая за г. Потѣхинымъ мастерство исполненія, мы опять-таки должны замѣтить, что мастерство это, по нашему мнѣнію, ограничивается діалектическимъ процессомъ. Выдумать огромную помойную яму, изъ которой бы съ самымъ отвратительнымъ зловоніемъ выглядывали всевозможныя гадости современной общественной жизни,—кромѣ только *взятки*, въ самомъ тѣснѣйшемъ значеніи этого слова,—и олицетворить эту помойную яму въ образѣ Пустозерова, вотъ чего, повидимому, хотѣлъ авторъ, и этого онъ достигъ. Мелочность, претензіи, фатовство, эгоизмъ самый грубый, служебная формалистика, наглая надменность, сухость сердца, любостяжаніе (въ дѣлѣ о наслѣдствѣ), неблагодарность, жалкое честолюбіе, сладострастіе, отсутствіе всякихъ понятій о правдѣ, чести и совѣсти, наконецъ мерзость выше всякаго названія, выказанная въ послѣдней сценѣ,—вотъ что представляется намъ въ лицѣ Пустозерова, и представляется очень ловко. Но намъ кажется, что такой характеръ ложенъ въ самомъ своемъ основаніи. Подобное соединеніе всѣхъ пороковъ и гадостей слишкомъ ужъ идеально; оно невозможно на дѣлѣ. По нѣкоторымъ словамъ Зайчикова (который, повидимому, является Правднымъ или Стародумомъ всей пьесы) можно подумать, что авторъ хотѣлъ изобразить въ своемъ героѣ эгоиста, который водится только разсудочными, формальными убѣжденіями, у котораго все головное, а не сердечное. Отъ этого

и проистекаютъ всѣ его гадости. Въ большей части сценъ, Пустозеровъ, дѣйствительно, является такимъ, и при этомъ очень удачно рисуется то обстоятельство, что его и разсудокъ-то плохъ, и понятія-то узки и поверхностны. Онъ отвергаетъ взятки, но принимаетъ ходатайство Золотарева; онъ преслѣдуетъ взяточниковъ, но держитъ при себѣ Анисима Ѳедоровича, который говоритъ въ одномъ мѣстѣ, что онъ Пустозерова и весь его доходъ къ рукамъ прибралъ; онъ хвастается безкорыстіемъ, и добивается наслѣдства, такъ какъ ему кажется, что воля умершей незаконна; онъ говоритъ о долгѣ службы и тутъ же выражаетъ, что о законѣ толковать нечего, когда генералъ приказалъ; вообще, онъ хлопочетъ не о дѣлѣ, а о формѣ. Такой господинъ, отчасти глуповатый и оттого непослѣдовательный, очень естественъ и нерѣдко встрѣчается. Но такое отсутствіе всякаго стыда, всякой совѣсти, всякаго увлеченія сердечнаго — вотъ что мудрено въ человѣкѣ. Мы даже считаемъ это невозможнымъ. Хоть бы въ любви-то увлекся этотъ человѣкъ, мы бы все таки нашли въ немъ хоть что нибудь человѣческое... Но нѣтъ, онъ холоденъ и безчувственъ, онъ только скотски хочетъ овладѣть своей жертвой и тѣшитъ ею свое самолюбіе. На другой же день послѣ встрѣчи съ Зайчиковымъ — онъ начинаетъ тѣснить и его, и отца Дашеньки; скажите, неужели до такой степени можетъ простираться нахальство эгоизма? Вѣдь у всякаго человѣка есть же хоть крошка совѣстливости; ну сдѣлаетъ зло да ужъ не такъ же круто и нагло... А послѣдняя его выходка о Зайчиковѣ, какъ безсмертномъ писателѣ, и фраза о наслажденіи, брошенная на прощанье Дашенькѣ?! Нѣтъ, воля ваша—до такого развратнаго цинизма, до такого отрицанія всякаго чувства не могъ дойти даже Пустозеровъ въ эту минуту... Вѣдь все-таки же онъ воспитывался у добрыхъ и простыхъ людей, учился въ университетѣ, вынесъ оттуда отвращеніе къ взяткамъ. Возможно ли, чтобъ это убѣжденіе до такой степени одиноко и безплодно запало въ его душу?

И въ этого человѣка, въ такого, какимъ онъ представленъ у г. Потѣхина, страстно влюблена Дашенька. Что такое Дашенька, мы не умѣемъ опредѣлить хорошенько по комедіи г. Потѣхина. Самъ Пустозеровъ называетъ ее страстной натурой, отецъ — умной дѣвушкой, Матрена—скрытной, Зайчиковъ—невиннымъ и чистымъ созданіемъ, становой Пурпуровъ — насмѣшницей. Въ самомъ дѣлѣ— она является то веселой и откровенной, то насмѣшливой и сдержанной, то страстной и порывистой. Какимъ психологическимъ процессомъ могла развиться въ ней такая страстная, беззавѣтная, отчаянная любовь къ Пустозерову, авторъ не объясняетъ, и мы не можемъ этого постигнуть. Можно еще понять любовь страстной дѣвушки къ разбойнику, бреттеру, шулеру, ко всему, въ чемъ, по крайней мѣрѣ, проявляется сила, въ чемъ видно необузданное увлеченіе. Но нельзя понять любви къ такому мелкому, сухому, безжизненному существу, какъ Пустозеровъ. Мы не смѣемъ утверждать, что чувство это неестественно въ Дашенькѣ, признаваясь,

что мы незнакомы съ тайнами женскаго сердца, и въ особенности сердца провинціальныхъ русскихъ барышень. Но мы полагаемъ, что читательницы согласятся съ нами, если мы скажемъ, что, во-первыхъ, любовь Дашеньки не дѣлаетъ ей чести, и во-вторыхъ, что подобная любовь, во всякомъ случаѣ, есть явленіе исключительное, а послѣдняя ея сцена — очень мелодраматична.

Зайчиковъ былъ бы достойнѣе, чѣмъ Пустозеровъ, любви Дашеньки; но и онъ, по нашему мнѣнію, не представляетъ образца порядочнаго человѣка съ такъ-называемымъ *либеральнымъ* направленіемъ. Авторъ замѣтно старался выставить его лучше, нежели онъ есть на дѣлѣ. Въ сущности — это не больше, какъ человѣкъ, въ которомъ не перебродились еще кое-какія противорѣчія общественной жизни съ теоріями, которыя онъ принялъ для себя. И вотъ онъ пускается въ колкости съ Пустозеровымъ, въ мелочныя придирки, намѣренное фанфаронство отступленіями отъ принятаго порядка; надѣяться на него нечего, потому что онъ изъ-за оскорбленнаго самолюбія выходитъ въ отставку для того, чтобы потомъ спиться съ кругу,— и главное потому, что онъ собирается мстить позоромъ любимой имъ дѣвушкѣ за то, что недостойный человѣкъ соблазнилъ ее... Изъ этакихъ людей проку не бываетъ.....

Изъ остальныхъ характеровъ пьесы обрисованы лучше другихъ Анисимъ Ѳедоровичъ, Зайчиковъ-отецъ и становой Пурпуровъ. О нихъ мы говорили.

Спросимъ теперь: въ чемъ скрывается основаніе, причина этой страшной діалектики, поражающей всѣми безславіями человѣка *безкорыстнаго*, т. е. не берущаго взятокъ? Вѣдь, какъ хотите, а окончательный выводъ, поражающій читателя по прочтеніи пьесы, будетъ такой: «такъ вотъ онъ, этотъ герой честности и безкорыстія! Вотъ онъ каковъ! Нѣтъ, ужъ Анисимъ Ѳедоровичъ все таки лучше». Какъ хотите, а здѣсь поражается безкорыстіе, и мы даже слышали обвиненія противъ г. Потѣхина за то, что онъ своей комедіей даетъ оружіе защиты для взяточниковъ. Обвиненія эти тѣмъ сильнѣе, что, дѣйствительно, бо́льшая часть гнусностей Пустозерова тѣсно связана съ тѣмъ, что онъ взятокъ не беретъ. Въ комедіи г. Потѣхина можно прибавить и убавить многое, потому что она собрана и сплочена механически, но прибавить Пустозерову одну новую черту—взяточничество—нельзя: тогда комедія уничтожается. Слѣдовательно, нельзя отказать въ нѣкоторой долѣ справедливости людямъ, которые выводятъ изъ пьесы такое заключеніе: «положимъ, что взятки брать нехорошо; но удаляться взятокъ, не имѣя при томъ высшаго благородства въ душѣ, еще хуже». И отсюда иные пойдутъ дальше, до убѣжденія, что взятки «зло еще не такъ большой руки», — убѣжденія, въ практическихъ отношеніяхъ не весьма благодѣтельнаго.

При чемъ же, значитъ, осталась наша недавняя литература, съ своими грозными обличеніями противъ взятокъ, съ своимъ крестовымъ походомъ на плутни подьячества? Не прошло двухъ

лѣтъ, и ей говорятъ: «что вы о пустякахъ хлопочете? Смотрите, вотъ гдѣ настоящее зло: Пустозеровъ, а не Зайчиковъ-отецъ, и даже не Анисимъ Ѳедоровичъ—настоящій бичъ современнаго общества»... И наша юридическая литература пала, замолкла, какъ будто призналась въ своемъ безсиліи и мелочности, или какъ будто сдѣлала свое дѣло... Говорятъ, литература служитъ отраженіемъ общества... Припомнивъ это, подумаешь, что двухлѣтнія усилія нѣсколькихъ борцовъ окончательно изгнали изъ русскаго общества заразу подкупности, что она кроется только въ иныхъ закоснѣлыхъ старичкахъ, да и то едва смѣетъ выглядывать на Божій свѣтъ. Вмѣсто взяточниковъ, появились у насъ чиновники неподкупные, забывающіе все для безкорыстія. Наступила, значитъ, пора карать пороки и этихъ неподкупныхъ чиновниковъ; а пороковъ у нихъ не мало... Но — увы! литераторы обольщаются, приписывая своимъ твореніямъ слишкомъ большое вліяніе. Имъ еще не мало осталось дѣла, и напрасно они воображаютъ, что ужъ сдѣлано довольно.

«Долгъ свершенъ! Пророкъ молчитъ»!

Такъ, кажется, восклицаютъ они съ поэтомъ. Но зачѣмъ же онъ молчитъ? Никакого резону нѣтъ ему молчать. Пусть его кричитъ себѣ, кричитъ громче, до тѣхъ поръ, пока не будетъ услышанъ. Г. Потѣхинъ не виноватъ, что представилъ намъ безкорыстнаго мерзавца; идея, положенная имъ въ основаніе его пьесы, гораздо глубже и важнѣе, нежели идеи юридическихъ разказчиковъ, обличающихъ взятки. Винить его за то, что онъ избралъ такой предметъ, невозможно. Если изъ этой пьесы выведетъ кто-нибудь дурное заключеніе, то ужъ виноватъ будетъ не онъ, а, во-первыхъ, тупоуміе выводящаго, во-вторыхъ, вы же, господа обличители взятокъ, замолкшіе такъ не во́-время и не умѣющіе дать публикѣ противоядія отъ личности Пустозерова. Вы себя оправдываете тѣмъ, что васъ уже не слушаютъ, что вы уже надоѣли публикѣ. Да знаете ли, отчего васъ не слушаютъ? Оттого, что вы кричите тихо, вяло, слабо. Вы вѣдь, надобно вамъ сказать, хотя и истинные пророки, но находитесь въ положеніи пророковъ Вааловыхъ. Кого вы имѣете въ виду при вашихъ крикахъ, къ кому вы ихъ адресуете? Вѣдь ужъ, конечно, не къ тѣмъ невиннымъ и полнымъ благородства юношамъ, которые и безъ того полны отвращенія ко всему, что казнится въ вашихъ разсказахъ. Ужъ, конечно, вы имѣете въ виду прошибить своими очерками людей, далеко зашедшихъ на пути, который вы хотите уничтожить. Этихъ людей, стоящихъ на высотѣ порока, не такъ-то легко прошибить: они плохо слышатъ вашъ голосъ, удаленные отъ васъ своими *важными* житейскими заботами. А они-то и составляютъ для васъ Ваала. Кричите же громче, кричите дольше, чтобы Ваалъ вашъ услышалъ васъ... Можетъ быть, онъ спитъ? такъ разбудите его, и потомъ опять и опять кричите. Кто знаетъ, можетъ быть,

и добьетесь чего нибудь. А если нѣтъ, такъ будьте увѣрены, что вслѣдъ за вами явится Илія Ѳесвитянинъ, носящій въ сердцѣ другого бога, бога правды и силы, и тогда, по его смѣлому самоувѣренному воззванію, низойдетъ съ неба на землю огонь, пожирающій зло и, вслѣдъ за нимъ, благотворный дождь на засохшую почву.

Нѣтъ, мы не обвинимъ г. Потѣхина за то, что онъ преслѣдуетъ безкорыстіе, лишенное всякихъ достоинствъ. Но мы замѣтимъ у него еще одинъ недостатокъ, касающійся сущности пьесы,— это недостатокъ *смѣха*. Не внѣшнее качество составляетъ этотъ смѣхъ, а всю сущность дѣла въ этомъ случаѣ. Вѣдь, г. Потѣхинъ писалъ комедію и выбралъ для нее лица, весьма комическія. Пустозеровъ, съ своимъ узенькимъ взглядомъ, формалистикой, фанфаронствомъ, съ отсутствіемъ всякихъ сердечныхъ увлеченій и съ дикими противорѣчіями словъ и дѣла,— этотъ господинъ — лицо въ высшей степени комическое. Анисимъ Ѳедоровичъ, такъ ловко пользующійся доходами Пустозерова и такъ неловко играющій огнемъ своей дочери — тоже отлично идетъ для комедіи. Сама Дашенька, вѣдь, лицо комическое. Да, мы рѣшаемся сказать это, несмотря на то, что у насъ сердце не разъ повернулось за нее въ сценахъ послѣдняго акта. Она любитъ Пустозерова; но что же въ немъ можетъ любить она? Не должна ли въ нашихъ глазахъ ронять ее любовь къ подобному человѣку, тѣмъ болѣе, что возлѣ него стоитъ Зайчиковъ, который все ужъ получше? Вѣдь мы же забавляемся человѣкомъ, который съ страстью поетъ водевильные куплетцы и ненавидитъ оперу, который въ восторгѣ отъ Марлинскаго и знать не хочетъ... ни хоть Лажечникова. Такъ и въ этомъ случаѣ. Въ сущности, положеніе Дашеньки очень удобно для комедіи, гораздо удобнѣе, нежели положеніе Софьи въ «Горѣ отъ ума». Отчего же мы смѣемся надъ Софьей Павловной въ ея мечтахъ о Молчалинѣ, который проводитъ съ ней цѣлыя ночи, вздыхая изъ глубины души и не позволяя себѣ ни слова вольнаго, а надъ Дашенькой не смѣемся, когда она разсуждаетъ о благородствѣ Пустозеровѣ и предается ему? Отчего ни самъ Пустозеровъ, ни даже Анисимъ Ѳедоровичъ не смѣшны для насъ въ комедіи г. Потѣхина? Вина этого, намъ кажется, лежитъ не только на талантѣ г. Потѣхина, но и на самомъ обществѣ нашемъ. Вѣдь Пустозеровъ намъ страшенъ; вѣдь мы не можемъ презирать его какъ Молчалина, Хлестакова и прочихъ; вѣдь мы не можемъ стать выше его настолько, чтобы совершенно заглушить въ себѣ ненависть къ нему и оставить мѣсто только для смѣха. И вотъ отчего мы не умѣемъ смѣяться надъ нимъ. Оттого это, что, можетъ быть, сегодня же вы найдете подобнаго Пустозерова въ одномъ изъ своихъ школьныхъ товарищей, изъ бывшихъ друзей своихъ;— оттого, что завтра, можетъ быть, вы будете подъ вліяніемъ этого человѣка и, будучи правы передъ нимъ, по законной формѣ будете имъ осуждены: будучи близки къ нему, вдругъ будете нахально

отвергнуты; — оттого, что этотъ человѣкъ грозитъ вамъ стать смраднымъ и мрачнымъ препятствіемъ на вашей дорогѣ всякій разъ, какъ вы захотите сдѣлать добро; — оттого, что окружающіе васъ его хвалятъ, начальство возвышаетъ, ваша жена, сестра, дочь влюбляются въ него. Онъ возмущаетъ самыя святыя ваши чувства, самыя чистыя убѣжденія, и на самомъ дѣлѣ онъ опасенъ для нихъ. Можно ли смѣяться надъ нимъ послѣ этого? Можно; но для этого надо найти въ себѣ столько героизма, чтобы презирать и осмѣивать все общество, которое его принимаетъ и одобряетъ.

Но, съ другой стороны, виноватъ и самъ г. Потѣхинъ. Онъ воспиталъ въ душѣ своей чувство желчной ненависти къ тѣмъ гадостямъ, которыя вывелъ въ своей комедіи, и подумалъ, что этого достаточно. Оттого комедія вышла горяча, благородна, рѣзка, но превратилась въ мелодраму. Самое комическое мѣсто въ ней составляетъ разсказъ старика Зайчикова, выписанный нами выше. Остальное какъ-то сурово и мрачно дѣйствуетъ на душу читателя. Недурно, пожалуй, и это; но все-таки главное впечатлѣніе пьесы — нервическое негодованіе, которое не можетъ быть такъ постоянно присуще нашей душѣ, какъ чувство ровнаго, спокойнаго презрѣнія и отвращенія, являющееся послѣ смѣха, напримѣръ, надъ героями Гоголя. Что, если бы Пустозеровъ, не теряя всей своей гадости, былъ выставленъ притомъ въ комическомъ свѣтѣ? Что, если бы вся пьеса, вмѣсто сдержанно-озлобленнаго тона, ведена была въ тонѣ комическомъ? Какое бы великолѣпное произведеніе имѣли мы, и какой бы страшный ударъ былъ нанесенъ этимъ всѣмъ Пустозеровымъ, которые теперь не узнаютъ себя въ лицѣ героя пьесы г. Потѣхина, имѣющемъ, дѣйствительно, нѣсколько пасквильный оттѣнокъ... Какъ сдѣлать это, мы не умѣемъ сказать, да и едва ли можно разсказать это, не показавши на дѣлѣ. Гоголь обладалъ тайной такого смѣха, и въ этомъ онъ поставлялъ величіе своего таланта. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, какъ забавны всѣ эти Чичиковы, Ноздревы, Сквозники-Дмухановскіе, и пр., и пр. Но меньше ли оттого вы ихъ презираете? Расплывается ли въ вашемъ смѣхѣ хоть одна изъ гадостей этихъ лицъ? нѣтъ, напротивъ, — этимъ смѣхомъ вы ихъ только конфузите какъ-то, такъ что смущенныя и сжавшіяся фигуры ихъ такъ навсегда и остаются въ вашемъ воображеніи, какъ бы скованными во всей своей отвратительности. Для того, чтобы *такимъ образомъ* представить негодяевъ и мерзавцевъ, подобныхъ Пустозерову, нужно стать не только выше ихъ, но и выше тѣхъ, между кѣмъ они имѣютъ успѣхъ, и даже выше всякой ненависти, всякаго раздраженія противъ тѣхъ и другихъ. Возвышеніе до этой нравственной степени составляетъ первое и необходимое условіе для комическаго таланта. Безъ него можно сочинить великолѣпную сатиру, желчный пасквиль, рядъ раздирательныхъ сценъ, потрясающую диссертацію въ лицахъ, — но нельзя создать истинной комедіи. А дѣлая лица, подобныя

Пустозерову, и положенія, подобныя любви Дашеньки, предметомъ серьезныхъ драмъ, мы только дѣлаемъ слишкомъ много чести этимъ негодяямъ и слишкомъ мало—всему современному нашему обществу.

Московскія элегіи. *М. Дмитріева.* Москва. 1858.

Извѣстно, что Москва — сердце Россіи, и потому «Московскія элегіи» должны на всю Россію навести неописанное уныніе: какъ же можетъ быть иначе съ страною, когда ея *сердце* опечалено и ударилось въ элегіи! Намъ невыразимо жаль бѣдную Россію! Что это вздумалось ея *сердцу* такъ опечалиться? Вѣдь это явленіе крайне мудреное... Элегіи въ Москвѣ! въ добродушной, патріархальной, бѣлокаменной, гостепріимной, златоглавой Москвѣ! въ Москвѣ, про которую Пушкинъ сказалъ:

«Москва! Какъ много въ этомъ звукѣ
Для сердца русскаго слилось»;

— про которую графиня Евдокія Ростопчина пѣла:

«Ай люли! Ай люли!
Здравствуй, матушка Москва
Бѣлокаменная»! (стих. т. II, стр. 442);

а полковникъ Скалозубъ прибавилъ:

«Дистанція огромнаго размѣра».

Въ этой самой Москвѣ, вдругъ, ни съ того ни съ сего, появляются элегіи! Да что же съ тобой, матушка, попритчилось? Съ чего на тебя такая тоска напала? Кто на тебя этакую напасть напустилъ? Скажи намъ, наша родная, хлѣбосольная, златоглавая... Кажется, и царь-пушка, и царь-колоколъ, и Иванъ Великій, и всѣ сороковъ сороковъ твоихъ при тебѣ остаются неприкосновенны. О чемъ же печалиться? Утѣшься, матушка, успокойся, родимая, утри свои слезы горькія. Посмотри-ка на своего братца меньшого, — какъ онъ-то потѣшается: каждый Божій день является у него новый Демокритъ съ новымъ смѣхомъ. А у тебя тамъ какой-то плаксивый Гераклитъ явился. Цѣлыхъ 50 элегій сочинилъ г. М. Дмитріевъ... Недобрый человѣкъ, этотъ г. М. Дмитріевъ! Вздумалъ же, вѣдь, нагнать тоску на цѣлую Россію, опечаливши сердце ея, помѣстивши цѣлую Москву въ элегію!... Въ предисловіи говоритъ онъ, что хотѣлъ представить характеристику Москвы и даже намѣренъ былъ назвать свои элегіи: «Москва и москвичи»; да только—les beaux esprits se rencontrent!—названіе это прежде него употреблено было Загоскинымъ. Что же тутъ элегическаго,—спра-

шиваемъ мы: о чемъ же сокрушается г. Дмитріевъ, изображая Москву, добродушную, первопрестольную, всегда отличавшуюся болѣе хлѣбосольнымъ, нежели элегическимъ настроеніемъ? Вопросы эти разрѣшаются только ближайшимъ знакомствомъ съ книжкою г. Дмитріева.

Знакомство это привело насъ къ слѣдующему убѣжденію. Добродушный поэтъ дошелъ, послѣ горькаго опыта жизни, до самаго отчаяннаго скептицизма: ему представляется, по временамъ, что *Москвы нѣтъ*... т. е. она есть, но только въ его воспоминаніяхъ,— реальнаго же бытія не имѣетъ. Это убѣжденіе такъ крѣпко въ головѣ и сердцѣ поэта, что уже ничѣмъ нельзя разрушить его... Напрасно вы станете ему показывать на народныя гулянья, на пиры, сплетни, кремлевскія стѣны, карты, Марьину рощу, визиты и другія принадлежности московской жизни: ничто на него не дѣйствуетъ освѣжающимъ образомъ. Очи его остаются омрачены туманомъ невѣрія, и онъ, въ отвѣтъ на всѣ ваши указанія, только повторяетъ съ сокрушеніемъ сердца: «нѣтъ, это не Москва! Какая же это Москва! Развѣ Москва такая бываетъ! Нѣтъ, вотъ какъ я помню Москву,—до француза,—такъ то была настоящая Москва; а это что такое? Даже подобія Москвы не имѣетъ». И вслѣдъ за тѣмъ принимается напѣвать элегію о томъ, зачѣмъ Москва не Москва. Вотъ вамъ и объясненіе того страннаго обстоятельства, какимъ образомъ въ Москвѣ могла явиться книжка элегій.

Сопоставленіе прежней Москвы съ тѣмъ, что нынѣ называютъ Москвою и во что г. М. Дмитріевъ не вѣруетъ, не лишено нѣкоторыхъ любопытныхъ чертъ. Нѣсколько такихъ чертъ мы представимъ читателямъ.

Москва, настоящая Москва, не нынѣшняя – призрачная—съ малолѣтства по гробъ жизни пировать и угощать любила. Г. М. Дмитріевъ представляетъ ея угощенія въ различныхъ фазахъ ея развитія. Онъ вопрошаетъ.

«Знаете ль, русскіе люди, давно ли Москва молодая
Въ первый разъ, какъ боярыня, русскихъ князей угощала?
Въ тысяча во сто сорокъ седьмомъ, — москвичамъ ли не помнить?
Марта двадцать осьмого, сынъ Мономаха Георгій
Въ ней Святослава встрѣчалъ: знать, Москва угощать ужъ любила»!

Много времени протекло съ тѣхъ поръ, но не измѣнился чудный обычай московскій у нашихъ предковъ. Часто они собирались, и тогда —

«Въ кубкахъ чеканныхъ гостямъ со льду меды подавали;
Чашникъ носилъ, а хозяинъ за нимъ, и кланялся въ поясъ....
Чудные нравы! Сядутъ за столъ: пироги и похлебки!
Гуси, куря, что съ подливкой, что верчено, пряжено, съ лукомъ!
Полъ-осетра подъ разсоломъ, полъ-осетра съ огурцами,
Разные сырники, съ медомъ аладья, кисель подъ шафраномъ;
Вотъ и хозяйка выходитъ сама, и потчуетъ водкой»...

Прошло и съ тѣхъ поръ много времени. Многое измѣнилось, не не измѣнился чудный обычай московскій до нашихъ временъ. Г. М. Дмитріевъ помнитъ самъ пиры отцовъ, когда сбирались родные къ старшему въ родѣ, въ день именинъ, или въ праздникъ, какъ тамъ все было чинно и смирно за длинными столами,

«Все по порядку, и чинно разносятся вкусныя блюда.
Послѣ жаркого обносятъ бокалъ, и всѣ поздравляютъ».

Многіе увѣряютъ, что подобные обычаи и нынѣ сохранились на Москвѣ во всей первобытной чистотѣ своей; но г. Дмитріевъ не хочетъ вѣрить этому. Онъ видя не видитъ, и въ современной Москвѣ осмѣиваетъ, преслѣдуетъ съ ожесточеніемъ то, чѣмъ благоговѣйно восхищается въ своихъ предкахъ. Нынче не то, говоритъ онъ. Конечно, и нынче пьютъ и ѣдятъ, да развѣ такъ, какъ прежде? Во-первыхъ — пряжено, верчено, съ лукомъ—и въ поминѣ нѣтъ; а во-вторыхъ—теперь ужъ всякая дрянь пьетъ и ѣстъ, что уже совершенно противно тому, что было прежде. Вотъ, напримѣръ, какой-то маленькій человѣкъ живетъ въ предмѣстьи; кажется, не бояринъ, а между тѣмъ пьетъ и ѣстъ себѣ преспокойно,—точно какая чиновная птица,—и въ усъ себѣ не дуетъ. Счастливецъ, съ горечью восклицаетъ поетъ.

«Есть же счастливые люди, которымъ день нечего дѣлать;
Спится всю ночь напролетъ, и на завтра — другое сегодня!
Чая вечерняго часъ имъ какъ будто какое-то дѣло:
Чинно на блюдцо всегда льютъ напитокъ они благородный,
Чинно подставятъ пять пальцевъ и снизу подъ донышко держатъ»...

Въ этой тонкой ироніи такъ и слышится слезное воспоминаніе о временахъ предковъ, пившихъ не изъ чашекъ, а изъ чаръ и бокаловъ, и вовсе не знавшихъ чаю.

Но особенное негодованіе г. М. Дмитріева возбуждаютъ купцы. Вообразите, въ нынѣшней Москвѣ даже купцы осмѣливаются ѣсть и пить, сколько ихъ душѣ угодно. Это ужъ ни на что не похоже, и г. М. Дмитріевъ восклицаетъ съ озлобленіемъ:

«Что за народъ! Безъ ѣды и безъ чванства имъ нѣтъ и гулянья!
Въ рощу поѣдутъ — везутъ пироги, самоваръ и варенье!
Ходятъ — жуютъ; поприсядутъ — покушаютъ снова!
Точно природа изъ всѣхъ имъ даровъ отпустила лишь брюхо»...

Въ самомъ дѣлѣ досадно. Всякая дрянь туда же ѣсть хочетъ. Другое дѣло наши предки; тѣ, по крайней мѣрѣ, боярствомъ заслужили право ѣсть и пить...

Другая прекрасная сторона древняго московскаго быта, — до Француза,—состояла въ уваженіи къ роду и вообще къ старшимъ. Картины, рисуемыя на эту тему г. М. Дмитріевымъ, поистинѣ умилительны! Онъ вспомнилъ о своей молодости.

«Просты сердцами мы были, какъ дѣти; а добрые старцы,
Наши наставники, были у насъ, какъ отцы, благосклонны;
Но, какъ отцы, насъ съ собой не равняли, намъ руку не жали!
Мы уважали ихъ, мы ихъ любили; но и боялись!
Насъ не боялись за то старики: мы не судьи имъ были»!

Начинаемъ проникаться сочувствіемъ къ жалобамъ г. М. Дмитріева. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, не жалѣть старцу о томъ времени, когда старики молодымъ руки не жали, и когда молодые боялись старцевъ и не смѣли судить о нихъ! И чѣмъ же замѣнилось все это? Безчинствомъ, непочтительностью къ старшимъ и даже роднымъ!

«Нынче не то! Собираются, гдѣ веселѣе! Нѣтъ старшихъ,
Нѣтъ молодыхъ; всѣ равны, и слабѣютъ семейныя связи!
Нуженъ, — ему и почетъ; а не нуженъ — умри, и не вспомнятъ!
Кто въ сюртукѣ, кто во фракѣ; этотъ въ пальто мѣшковатомъ;
Тотъ, какъ французъ, съ бородой; а рядомъ — въ звѣздѣ заслуженной».

Предметъ, поистинѣ достойный плачевнѣйшей элегіи; только лучше было бы, если бы начало послѣдняго стиха замѣнено было слѣдующими словами: тотъ, *какъ нашъ предокъ*, съ брадой... и пр.

Бывало и праздники проводили иначе, и г. М. Дмитріева преслѣдуетъ на каждомъ шагу воспоминаніе о старинныхъ порядкахъ. Такъ—24 іюня 1846 г.—онъ сочинилъ внезапно элегію о томъ, что Свѣтлое воскресенье мы не такъ проводимъ, какъ слѣдуетъ. Элегія начинается такъ.

«Вотъ замолчали ужъ раннихъ обѣденъ прерывные звоны.
Къ позднимъ торжественно, громко звонятъ, и народъ пѣшеходовъ
Въ храмы опять; а ужъ мы, лишь отъ раннихъ, давно разговѣлись»!...
и т. д.

Описаніе это такъ живо, что невольно подумаешь, что оно написано въ самый день праздника; только 24-е іюня, подписанное внизу элегіи, разочаровываетъ васъ, напоминая, что Пасха никогда не бываетъ въ іюнѣ. Но за то, тѣмъ большее удивленіе возбуждается въ читателѣ къ творческой фантазіи г. М. Дмитріева, который, отвергнувши реальность нынѣшней Москвы, уже не хочетъ ограничивать себя никакими условіями пространства и времени.

Выхваляя прежнюю, прадѣдовскую Москву, г. М. Дмитріевъ замѣчаетъ, что прадѣды наши, бывало, только на третій день праздника ѣздили въ гости, и то,—*къ кому же?*

«Къ старшему въ родѣ, потомъ къ кумовьямъ, да къ роднымъ попочетнѣй».

Нынѣ вовсе не то: нѣтъ «наслѣдственнаго почета къ горю и опыту старшихъ».

«Кто жъ замѣнилъ стариковъ? Кто взялъ въ обществѣ власть надъ умами?
Первый крикунъ безъ стыда или выходецъ родомъ безвѣстный!
Что тутъ до связей семей, гдѣ иной радъ забыть и о родѣ»?

Нынче ужъ случается, что и отецъ ищетъ покровительства сына,—прибавляетъ г. М. Дмитріевъ, желая выразить всю великость современнаго развращенія нравовъ. Въ самомъ дѣлѣ, чего ужъ ждать отъ такого общества, гдѣ сынъ можетъ опередить отца или племянникъ дядю въ общественномъ значеніи! Плакать надо о такомъ обществѣ горючими слезами, какъ и дѣлаетъ г. Дмитріевъ.

Но этого недостаточно, что въ Москвѣ ужъ не находитъ нынѣ г. М. Дмитріевъ господъ Фамусовыхъ, говорящихъ:

«Нѣтъ, я передъ родней, гдѣ встрѣтится, ползкомъ», и пр.

Этого мало: поэтъ находитъ въ современной Москвѣ еще болѣе тяжкое преступленіе, — неуваженіе къ поэтамъ, состоящее въ томъ, что ихъ признаютъ людьми, а не *чѣмъ-то* высшимъ, какъ въ старину. За такое вольнодумство поэтъ упрекаетъ нынѣшнюю Москву въ слѣдующихъ кроткихъ воспоминаніяхъ о старомъ.

«Музы тогда еще не были согнаны съ холмовъ Парнаса;
Феба и ихъ имена призывались еще въ пѣснопѣньяхъ!
Жрецъ опасался ихъ слухъ оскорбить неразумною пѣснью!
Даръ пѣснопѣнья былъ всѣми уваженъ, какъ данный отъ Бога;
Люди считали поэта — высшимъ, чѣмъ прочіе люди»!

И все это прошло! *Феба и музъ имена* не призываются болѣе; *пѣснопѣній* не слышно, *жрецы* музы исчезли и замѣнились простыми смертными, которые, хоть и имѣютъ поэтическій талантъ, но—увы! все-таки пьютъ, ѣдятъ, спятъ, и пр., какъ и всѣ люди. Ужасно!

И наука теперь ужъ не такова, какъ прежде. Бывало, во храмѣ науки, въ торжественный день, по словамъ г. М. Дмитріева:

«Хоръ прогремитъ, и всходилъ Мерзляковъ на каѳедру, и оду,
Пышную оду громко читалъ, или похвальное слово»!

А теперь, вмѣсто пышныхъ одъ, читаются рѣчи въ прозѣ, да и тѣ не имѣютъ даже характера похвальныхъ словъ. Прежде еще г. Шевыревъ поддерживалъ храмъ науки, сочиняя и оды, и панегирики; но теперь—о роковой ударъ!—и его не стало! Всѣ заняты теперь существенными потребностями жизни, стемятся къ положительнымъ знаніямъ, къ интересамъ дѣйствительности, или, говоря элегическимъ языкомъ г. М. Дмитріева,

«Грубый житейскій лишь бытъ устремляетъ ихъ жадныя очи»!

А въ прежнее время поэты, по увѣренію московскаго Гераклита, приближали людей къ первобытному состоянію человѣка. Г. Дмитріевъ восклицаетъ даже въ одной элегіи:

«Странная мысль мнѣ пришла! Первобытный языкъ человѣка
Не былъ ли мѣрный языкъ, обрѣтенный поэтами снова»?

Точно, странныя мысли приходятъ иногда въ голову г. М. Дмитріеву!

Но всего болѣе огорченъ поэтъ нашъ тѣмъ, что въ нынѣшней Москвѣ нѣтъ болѣе сплетенъ. Чудною, задушевною грустью вѣетъ 37-я элегія: «Молва и спетни».

«Добрая наша Москва! говорятъ, что на старости любишь
Сплетни ты слушать, молву распускать...
...Нѣтъ, то ужъ время прошло, и молва отъ тебя не исходитъ!
Нѣтъ! ты на старости любишь только спросить да послушать»!

Это всего печальнѣе, печальнѣе даже тѣхъ горестныхъ обстоятельствъ, что купцы и поэты пьютъ и ѣдятъ, и что бородатые славянофилы, подобно французамъ, садятся въ гостиной рядомъ съ звѣздой заслуженной... Во всемъ можно утѣшиться, но нельзя довольно наплакаться о томъ, что прошло ужъ то время, когда Москва занималась сплетнями и распускала молву.

Впрочемъ, необходимо прибавить въ заключеніе, что всѣ сѣтованія г. М. Дмитріева относятся къ 1845—1847 гг. Онъ самъ проситъ принять это во вниманіе, потому что, по его словамъ, «съ тѣхъ поръ, какъ писаны эти элегіи, многое измѣнилось въ Москвѣ, особенно въ убѣжденіяхъ и направленіи многихъ мнѣній». За убѣжденія и направленіе мы не можемъ ручаться; но, по крайней мѣрѣ, относительно послѣдняго предмета сожалѣній г. М. Дмитріева, дѣйствительно, произошла въ недавнее время перемѣна рѣшительная и несомнѣнная. Въ прошломъ году, отъ Москвы *исходила* «Молва», и если въ нынѣшнемъ она прекратилась, то, можетъ быть, замѣнилась *сплетнями*. Поэтъ можетъ, значитъ, утѣшиться.

Уличные листки. Бардадымъ, Безсонница, Безструнная балалайка, Весельчакъ, Всякая всячина, Говорунъ, Дядя шутъ гороховый, Ералашъ, Картинки съ натуры, Литература въ ходу, Моимъ трутнямъ совѣтъ, Муха, Народное разгулье на петербургскихъ островахъ, Новѣйшіе юмористическіе разсказы, Ороскопъ кота, Потѣха, Правда въ стихахъ и прозѣ, Пустозвонъ, Пустомеля, Раекъ, Рододендронъ, Смѣхъ, Смѣхъ и горе, Сплетни, Сплетникъ, Фантазёръ, Фонарь, Шутникъ, Щелчекъ, Юмористъ.

Итого — 30 штукъ!

Между тѣмъ, какъ Москва сѣтуетъ и плачетъ въ лицѣ своего Гераклита, г. М. Дмитріева, въ Петербургѣ каждый день появляются новые Демокриты, потѣшающіе серьезную столицу своей веселостью, юморомъ, шутками и всякой всячиной. И Петербургъ

рѣшительно потѣшается, — въ каждой гостиницѣ, въ каждой мелочной лавочкѣ, на каждомъ перекресткѣ. Одно время эпидемія на смѣхъ была такъ сильна, что серьезныхъ людей останавливали на улицѣ и приставали къ нимъ съ ножемъ къ горлу: смѣйся, да и только. Я самъ видѣлъ, какъ одного почтеннаго горбатаго чиновника, бѣжавшаго въ департаментъ съ портфелемъ подъ мышкой и, повидимому, съ очень мрачными мыслями, остановилъ вдругъ на Невскомъ проспектѣ ловкій господинъ, запустившій руку въ карманъ пальто почтеннаго чиновника. «Что это, что это значитъ?» забормоталъ испуганный чиновникъ. — «Пять копѣекъ-съ»,—развязно отвѣчалъ ловкій господинъ, указывая на листокъ «Смѣха», торчавшій уже изъ кармана горбатаго чиновника. Бѣднякъ, застигнутый врасплохъ, остановился, разинувъ ротъ, но не будучи въ состояніи произнести ни одного слова; съ видомъ отчаянія и покорности судьбѣ, взглянулъ онъ на «Смѣхъ», медленно вынулъ изъ кармана пятачекъ и молча подалъ его развязному господину, съ такою печальною, убитою гримасой, что на него смотрѣть было жалко. Но развязный господинъ былъ, повидимому, слишкомъ веселъ для того, чтобы проникнуться чувствомъ состраданія; онъ жадно схватилъ пятачекъ, проговорилъ съ улыбкою: «точно такъ-съ», и исчезъ.

Изъ этого разсказа иногородные читатели могутъ заключить, что если бы Петербургъ и имѣлъ твердое намѣреніе удаляться отъ смѣха, то нѣтъ ему для этого ни малѣйшаго способа. Смѣхъ сдѣлался, въ нѣкоторомъ случаѣ, священнѣйшею, хотя и тяжкою, его обязанностью; смѣхъ есть для него не забава, не естественное проявленіе веселости, а долгъ человѣколюбія и благотворительности. Издатели листковъ большею частію сами объявляютъ съ благородной откровенностью, что всѣ ихъ претензіи ограничиваются *малою толикою пятачковъ*, на бѣдность, или, какъ иные изъ нихъ выражаются, *на голые зубы*. Иные изъ нихъ стараются разжалобить публику, и для этого выдѣлываютъ разныя смѣшныя гримасы. Напр., «Смѣхъ и горе» не назначилъ даже цѣны себѣ, а, надѣя на доброту покупателей, провозгласилъ: «что пожалуете». Ввер первой страницы этого листка напечатано: «Покупатель кладе въ кассу *Горя* что ему угодно, *для утѣшенія издателя*». Ока лось, что кто-то опустилъ въ *кассу Горя* (при магазинѣ Кра нинникова) какія-то *крупныя* деньги, и вотъ, во второмъ выпу «Смѣха и горя» издатель пишетъ: «Русское *спасибо* публикѣ! шелся одинъ и покупатель-меценатъ! Не одни копѣйки, пятач гривенники опущены были въ *кассу* Горя... Что стоитъ бо опустить нѣсколько рублей серебромъ? Но какъ замѣтить ему ный листокъ, который вывѣсили на окошкѣ книжнаго мага Захочетъ ли онъ отказаться отъ нѣкоторыхъ удовольствій какой-нибудь прихоти для этого листка?... У насъ многіе л благотворить втайнѣ, и мы высоко цѣнимъ эту добродѣт Это объясненіе, похожее на жалостный вопль салонницы, уж

много говоритъ о характерѣ всего предпріятія. Но благородная откровенность издателя простирается еще далѣе. Онъ безцеремонно разсказываетъ слѣдующій случай. «Одинъ покупатель-благотворитель, опуская гривенникъ, спрашиваетъ хозяина книжнаго магазина, П. Крашенинникова (тамъ только и есть *касса* Горя): «а что, это бѣдный человѣкъ, который издаетъ «Смѣхъ и горе»? По всему видно было, что покупатель привыкъ благотворить. Хозяинъ замялся и не зналъ, что сказать; можетъ быть, и оттого. что въ магазинѣ сидѣлъ издатель. Бѣдный, онъ сказать не хотѣлъ, потому что это значило бы почти просить у покупателя милостыни, богатый тоже, потому что онъ знаетъ, что издатель небогатъ. И потому онъ сказалъ почти: и да и нѣтъ». Изъ этого разсказа, выписаннаго нами даже безъ измѣненія пунктуаціи, читатели могутъ видѣть, каковъ долженъ былъ юморъ листка, издаваемаго при столь плачевныхъ обстоятельствахъ.

Если «Смѣхъ и горе» старается возбудить въ покупателяхъ состраданіе и расчитываетъ на ихъ чувствительное сердце, то другіе листки стремятся къ достиженію своей цѣли, дѣйствуя ex abrupto, по-ноздревски, обрушиваясь на читателя быстрымъ потокомъ сильныхъ выраженій. Вотъ какъ объясняется, напр., на первой страницѣ своей «Безсонница»: «да вы, милостивый государь, пожалуй, и не читайте, только пятачекъ серебра намъ за экземплярчикъ отдайте».... Слѣдовательно, *главная цѣль «Безсонницы», чтобы соиздателямъ на голые зубы малую толику пятачковъ пріобрѣсти* (хоть и мѣдными — они не погнѣваются). Такая безцеремонность намъ, впрочемъ, нравится: хоть то хорошо, что не лицемѣрствуетъ человѣкъ, напрямки валяетъ-себѣ, что ему требуется....

Бо́льшая часть другихъ листковъ выказываетъ тѣ же корыстолюбивыя стремленія, хотя въ тонѣ, болѣе или менѣе, умѣренномъ. Всѣ они стараются, повидимому, подражать «Весельчаку», начавшему свое «знаменитое и всему свѣту извѣстное» (какъ писали о дѣвицѣ Пастранѣ) объявленіе деликатнымъ извиненіемъ: «извините, почтеннѣйшіе читатели, что я, не имѣя чести васъ знать, сую руку къ вамъ въ карманъ». Издатели листковъ вообразили, что стоитъ имъ отлить такую же пулю, и карманы покупщиковъ мгновенно отверзутся предъ нимп. И, кажется, сначала заклинаніе это дѣйствительно имѣло силу; но потомъ, въ скоромъ времени потеряло ее, вслѣдствіе неумѣренно-частаго повторенія.

Сами листки, впрочемъ, сознаютъ по временамъ, что «совать руку въ чужой карманъ» не совсѣмъ благовидно. «Сплетникъ» выразился на этотъ счетъ даже очень строго. «Дѣйствительно, почтенная публика, — восклицаетъ онъ, — литература въ настоящее время . *не что* иное, какъ промыселъ достать себѣ кусокъ хлѣба. Отчего же, развѣ добывать себѣ кусокъ хлѣба постыдно? спросите вы. *Ни чуть*; но гдѣ же тутъ добросовѣстность? Гдѣ *ихъ* назначеніе? Гдѣ юморъ? Смѣшить писатель-временщикъ не въ состояніи;

цѣль—пятачки, въ которыхъ всѣ въ настоящее время нуждаются!» И самъ, повидимому, сконфуженный такимъ возвышеннымъ, благороднымъ обличеніемъ, «Сплетникъ» тутъ же возглашаетъ: «покупай, покупай, публика, «Сплетника», вѣдь удивительно дешево!»...

Такимъ образомъ, по принципу, изъявленному самими издателями, литературная сторона во всѣхъ веселыхъ листкахъ этихъ должна исчезать предъ торговою. Но, по извѣстнымъ началамъ ученыхъ экономистовъ, торговые интересы, при обширной конкуренціи, непремѣнно должны способствовать совершенству фабрикаціи. Литературныя достоинства листковъ должны возрастать по мѣрѣ того, какъ конкуренція увеличивается, хотя бы издатели ничего не имѣли въ виду, кромѣ сбыта своихъ продуктовъ. Такъ бы, конечно, слѣдовало ожидать; но, къ сожалѣнію, начала политической экономіи оказываются рѣшительно неприложимы въ настоящемъ случаѣ. Вопреки ея соображеніямъ, листки, появлявшіеся одинъ за другимъ, не только не совершенствовались, а становились все нелѣпѣе и скучнѣе. «Фантазёръ», появившійся, по времени, кажется двадцатымъ, изумителенъ по своей нелѣпости и тупости; а «Бардадымъ», одинъ изъ послѣднихъ листковъ, превосходитъ пошлостью и бездарностью все, что только можно вообразить. Это обстоятельство, столь неблагопріятное для приложенія у насъ экономическихъ теорій, можетъ быть, какъ намъ кажется, объяснено особеннымъ характеромъ тѣхъ сдѣлокъ, посредствомъ которыхъ всякій старается у насъ пріобрѣсти себѣ и увеличить свои выгоды. Это—характеръ Щукина двора, гдѣ всякій сбываетъ свой товаръ на томъ основаніи, что у другихъ все дороже и хуже. Вамъ никогда не скажутъ на Щукиномъ дворѣ, что торгуемая вами вещь стоитъ запрошенной цѣны потому-то и потому-то, не прибавивши къ этому, что у другихъ вы дешевле не купите, а между тѣмъ другіе васъ надуютъ, дадутъ гнилого, лежалаго, стараго, линючаго, и т. п. Въ этомъ выражается одна изъ особенностей всего нашего общества, во всѣхъ его классахъ; это — желаніе подставить ногу другому для того, чтобы самому опередить его. Ясно, что при такой системѣ конкуренція ни для кого не можетъ быть особенно благодѣтельна. Но такая конкуренція не требуетъ большихъ трудовъ, знаній и достоинствъ, поэтому она очень сильно распространена у насъ между многими, вслѣдствіе недостатка дѣйствительныхъ знаній, искусства и трудолюбія. Къ такой системѣ *охаиванья* чужого, для восхваленія себя, прибѣгли и наши юмористы-издатели. Нѣкоторые листки почти сплошь наполнены тонкими намеками на своихъ собратій, и если вы не слѣдили за всѣми листками, то вы, конечно, ничего не поймете изъ этихъ намековъ. Грубая брань и тупыя насмѣшки, направленныя противъ собратовъ, никому неизвѣстныхъ и ничѣмъ незамѣчательныхъ, — вотъ чѣмъ думаютъ веселить издатели листковъ свою публику. Главный ихъ непріятель, ихъ bête noire — это «Весельчакъ»; о немъ отзываются листки то съ ожесточеніемъ, то съ пренебреженіемъ, но

всегда желчно и непріязненно. «Весельчакъ», съ своей стороны, не вытерпѣлъ нападеній, хотя между этими маленькими звѣрками онъ и представляетъ довольно большое животное (онъ выходитъ каждую недѣлю, по листу, тогда какъ изъ другихъ листковъ только «Смѣха» вышло пять выпусковъ въ полъ-листа, а другіе ограничивались тремя-двумя, и всего чаще *однимъ* выпускомъ). Онъ счелъ, вѣроятно, не безопаснымъ молчать, и поражалъ своихъ противниковъ *стихами* крайне жалкаго свойства. Впрочемъ, можетъ быть, въ «Весельчакѣ» были и остроумные стихи, и статьи, дѣйствительно веселыя. Мы не можемъ говорить о «Весельчакѣ» съ полной увѣренностью, потому что болѣе половины нумеровъ его не видали. Странную судьбу, въ самомъ дѣлѣ, имѣетъ этотъ «Весельчакъ». Повидимому, онъ распространенъ страшно: въ трактирахъ онъ есть столь же необходимая принадлежность, какъ «Полицейскія Вѣдомости»; на станціяхъ желѣзной дороги — сотни экземпляровъ послѣдняго нумера «Весельчака» красуются вмѣстѣ съ «Пріятнымъ собесѣдникомъ», г. Булгарина, «Атакой женскихъ сердецъ», г. Ѳедорова и «Предубѣжденіемъ», г. Львова. Изъ книжнаго магазина присылаютъ вамъ книги: онѣ завернуты въ листокъ «Весельчака»; въ него же обернутъ вамъ въ лавкѣ папиросы, свѣчи, и т. п. На лоткѣ разносчика, подъ яблоками или апельсинами, разостланъ опять «Весельчакъ». И, несмотря на такой *избытокъ* экземпляровъ «Весельчака», ничего нѣтъ труднѣе, какъ достать полный экземпляръ его, съ начала изданія. Мы не подписывались на «Весельчакъ», и потому обращались за нимъ къ нѣсколькимъ изъ его подписчиковъ: оказывалось обыкновенно, что на лицо состоитъ или одинъ послѣдній нумеръ, или нѣсколько первыхъ нумеровъ... Такъ мы и не могли добиться полнаго собранія листковъ «Весельчака», чтобы разсмотрѣть его въ подробностяхъ. Замѣтили мы только одно: что новая редакція (г. Львова) сильно ожесточена противъ старой (Барона Брамбеуса). Прежняя редакція возбудила негодованіе всего литературнаго круга тѣмъ, что пустилась въ остроуміе слишкомъ уже грубое, аляповатое, площадное. Но этой-то грубости остротъ и площадной сальности выходокъ она и была одолжена своимъ успѣхомъ въ массѣ читателей извѣстнаго разряда. Повидимому, «Весельчакъ» на нихъ и расчитывалъ, и, несмотря на всю его пошлость, можно было надѣяться, что онъ, подъ покровомъ шутовства и гаерства, пожалуй что-нибудь и не совсѣмъ праздное и нелѣпое выскажетъ своимъ простодушнымъ читателямъ. Но по смерти Барона Брамбеуса, редакція перешла къ г. Львову, который рѣшился придать «Весельчаку» другой колоритъ. Попытка была, впрочемъ, если судить по нѣкоторымъ нумерамъ, бывшимъ у насъ въ рукахъ, не совсѣмъ удачна. «Весельчакъ» поднялся на ходули, и, избѣгая прежняго остроумія, не умѣлъ избѣжать прежней грубости. Вышло то, что въ немъ остались топорныя замашки, а острота исчезла. Явленіемъ литературнымъ «Весельчакъ» все-таки не сдѣлался.

Чтобы доказать свое полное отреченіе отъ прежней редакціи, г. Львовъ, подъ собственной фамиліей, помѣщаетъ теперь въ «Весельчакѣ», біографію Ивана Ивановича Хлопотенко-Хохотунова-Пустяковскаго, отъ имени котораго написано было объявленіе о «Весельчакѣ», такъ заманившее его публику. Возможности появленія этой біографіи мы даже не понимаемъ. Положимъ, что г. Пустяковскій не существуетъ на свѣтѣ, это вымышленное лицо, миѳъ; но, вѣдь, его имя красуется въ «Объявленіи» «Весельчака»; если это не настоящая фамилія, то псевдонимъ чей-нибудь, и псевдонимъ, тѣсно связанный съ прежней редакціей «Весельчака». А между тѣмъ, г. Львовъ написалъ на него пасквиль, въ которомъ весьма неприлично касается его частной жизни... Положимъ, что нареканія, изложенныя въ этой біографіи, никому въ литературѣ повредить не могутъ; но что, если г. Пустяковскій или тотъ авторъ объявленія, которому принадлежитъ этотъ псевдонимъ, обратится къ г. Львову, уже не какъ къ литератору (между литераторами такія продѣлки невозможны), а просто какъ къ человѣку, пятнающему безъ всякаго права его частную жизнь, и потребуетъ у него отчета въ его словахъ? Мы не знаемъ, можетъ быть «Весельчакъ» расчитываетъ на то, что г. Пустяковскій, принесшій ему столько подписчиковъ своимъ остроуміемъ, не захочетъ уже теперь съ нимъ связываться; во всякомъ случаѣ, мы находимъ, что ожесточеніе новой редакціи противъ старой доводитъ ее до неблагоразумія и даже неприличія.

Воюя съ прежней редакціей, «Весельчакъ» нападаетъ также съ яростью на «Атеней» и «Современникъ». Это, впрочемъ, только въ послѣднее время, послѣ того, какъ въ нихъ напечатаны были разборы комедіи г. Львова «Предубѣжденіе». Нападенія эти не могутъ принести особеннаго удовольствія *записнымъ* читателямъ «Весельчака»; но для *посторонней* публики они могутъ быть довольно забавны, по крайней мѣрѣ въ той степени, какъ моська, лающая на слона.

Изъ другихъ листковъ, «Смѣхъ» всѣхъ ближе подходитъ къ «Весельчаку» по своему тону. Онъ, напр., остервенился противъ самого «Весельчака», который, по его словамъ, надулъ его: обѣщалъ веселить, да и не веселитъ, — и за то отдѣлываетъ его вотъ какимъ манеромъ: «хохочемъ-то мы и теперь ужъ повеселѣе его, хошь онъ и кричитъ про себя во все горло: я-де, я, я настоящій весельчакъ. А коли настоящій весельчакъ, такъ и веди себя на чистоту, по-весельчаковски, а не умничай такъ высокоумно и не вытягивай свою фізіомордію (!!) такъ длинно, что, право, такъ вотъ руки и чешутся... то есть, просто, такъ вотъ зудомъ и зудятъ»... За такое, чисто-русское остроуміе «Смѣхъ» пріобрѣлъ, кажется, еще бо́льшую популярность, чѣмъ «Весельчакъ»: его разошлось 13,000 экземпляровъ. По крайней мѣрѣ такъ объявлено было въ «Сплетникѣ».

За то и досталось же «Смѣху», вмѣстѣ съ «Весельчакомъ»,

отъ другихъ листковъ, особенно пока листки эти не успѣли еще перебраниться между собою. Но вскорѣ пошли они одинъ на другого, и вышла кутерьма неописанная. Возьмешь листокъ и, съ перваго слова, встрѣчаешь брань на кого-то; но на кого, за что, почему и для чего — остается неизвѣстно. Наконецъ, сообразишь, что это относится къ другому листку, и только удивишься, для какихъ пошлостей можетъ иногда служить литература въ рукахъ нѣкоторыхъ господъ. Сами листки нерѣдко обращали на себя вниманіе въ этомъ отношеніи и какъ будто каялись. Такъ, «Пустозвонъ», наполнившій два первыхъ выпуска своими вялыми и многорѣчивыми нападеніями на «Весельчака», въ третьемъ—внезапно образумился, когда самого его отдѣлали въ листкѣ «Смѣхъ и горе». Полный справедливаго негодованія, онъ воскликнулъ: «кому доставитъ удовольствіе читать чуть-чуть что не руганье двухъ или трехъ лицъ? Кому этотъ вздоръ интересенъ? Къ тому же, если кто пожелаетъ читать вздоръ, то купитъ Смѣхъ (безъ горя) или меня, Пустозвона, а не вздорный листокъ Смѣхъ и горе».

На «Пустозвонъ» грозно возсталъ за то г. Ижицынъ, авторъ двухъ стихотвореній, одинаково пошлыхъ и безграмотныхъ: «Ороскопъ кота» и «Моимъ трутнямъ совѣтъ». На кого направлено первое, мы не могли добиться; въ немъ говорится о какомъ-то кривомъ котѣ, котораго слѣдуетъ сослать въ Ботанибей, а потомъ «за полюса-звѣзду повѣсить», а къ хвосту ему привѣсить колоколъ. Изъ всего этого выходитъ акростихъ: «колокольщику петля готова». О безграмотности этого «Ороскопа» замѣчено было вскользь въ «Иллюстраціи», и Ижицынъ сочинилъ, въ отвѣтъ на это замѣчаніе, новый иллюстрированный акростихъ: «*обезьянамъ трезвона*». На этотъ разъ мы поняли, въ чемъ дѣло: нелѣпость эта направлена была противъ «Пустозвона», который выставилъ обезьяну и попугая въ виньеткѣ своего изданія, «какъ эмблему подражанія и болтовни», по его собственному объясненію. Г. Ижицынъ, обращаясь къ «Пустозвону» (который онъ — вѣрно ради стиха — называетъ трезвономъ), вспоминаетъ и свой «Ороскопъ», но такъ замысловато, что мы не беремся объяснять отношенія между этими двумя явленіями. Судите сами, можно ли что понять изъ такихъ стиховъ:

«Трутень прихотливый,
Рѣзвый балагуръ,
Ежикъ ты болтливый
Звонко фальшишь: чуръ!
Внемли же совѣту
«Ороскопъ»: не твой!
Не брани жъ по свѣту
Астролога бой»!

Ни одной запятой мы не перемѣнили въ этихъ стихахъ. Есть ли возможность отыскать въ нихъ хоть малѣйшій слѣдъ здраваго смысла?

За стихами слѣдуетъ ругательство на «Иллюстрацію», и рису-

нокъ, изображающій какое-то дикое соединеніе разнородныхъ предметовъ, съ странными подписями. Тутъ васька-котъ, пишущій что-то, надъ нимъ петля, вверху полярная звѣзда, внизу колоколъ, еще ниже—обезьяны. Видно, господинъ Ижицынъ хотѣлъ представить въ лицахъ свой «Ороскопъ кота».

И неужели все это противъ невиннаго «Пустозвона» за его невинную виньетку? Нѣтъ, тутъ, вѣроятно, есть другая цѣль, и она объясняется подписью внизу листка: цѣна 10 коп. сер. Очевидно, что это не совсѣмъ добросовѣстная спекуляція на карманъ ближняго. Видно; авторъ «Ороскопа» и «Совѣта» находится въ обстоятельствахъ еще болѣе разстроенныхъ, чѣмъ безцеремонный издатель «Безсонницы», и менѣе расчитываетъ на сострадательное сочувствіе публики, чѣмъ издатель «Смѣха и горя». Вотъ онъ и хватилъ: «цѣна 10 коп.», вмѣсто обычнаго пятачка!... [1]).

Есть, впрочемъ, и безкорыстныя изданія въ числѣ этихъ листковъ. Къ числу ихъ относимъ мы «Правду въ стихахъ и прозѣ», г. Гр. Н—а. Что хуже у г. Гр. Н—а, стихи или проза, рѣшить трудно;

---

[1]) (По связи съ этими строками, здѣсь надобно помѣстить библіографическую статью, найденную нами въ бумагахъ Н. А. Добролюбова и написанную за мѣсяцъ до напечатанія статьи объ уличныхъ листкахъ.)

Прим. издателя.

Басня. Ороскопъ кота. Акростихъ. Спб. 1858.

Недавно въ книжныхъ лавкахъ появился печатный листокъ, въ видѣ какой-то прокламаціи, съ тройнымъ заглавіемъ: «Басня. Ороскопъ кота. Акростихъ». Въ баснѣ этой, сочиненной довольно безграмотно какимъ-то господиномъ Ижицынымъ, очевидно не литераторомъ, говорится, что какой-то «желчный и *кривой* котъ-васька забрался въ Альбіонъ, придумалъ ломать родной край», и для этого «приставъ къ мадзиновскимъ рядамъ, сталъ щипать и рвать лежанку, на которой спалъ, и онучки съ тертымъ полушубкомъ, и весь тотъ соръ (т. е. лежанку и онучки) издавалъ въ журналѣ». Но вдругъ, говоритъ авторъ басни-акростиха, г. Ижицынъ, у бриттовъ является alien bill, смыслъ котораго, по понятію г. Ижицына, состоитъ въ томъ, чтобы ловить кота-ваську, отправить Ясневельможнаго кота и вора въ Ботанибей и велѣть

...За полюса-звѣзду повѣсить,
А колоколъ коту къ хвосту привѣсить.

Послѣ этого, по мнѣнію г. Ижицына, мыши, крысы и педанты не будутъ ужъ попадать въ арестанты.

Изъ акростиха выходятъ слова: колокольщику петля готова И Ч С Н.

Все это крайне изумило насъ. Что это за кривой котъ, издающій въ Альбіонѣ лежанку съ онучами и полушубкомъ? Отчего этотъ котъ названъ въ акростихѣ колокольщикомъ? Откуда взято толкованіе alien bill'я? Что разумѣется подъ мышами, которыхъ брали подъ арестъ? Зачѣмъ педанты присоединены къ мышамъ и крысамъ? Что общаго у кривого кота съ рядами Мадзини? Что за таинство сокрыто въ заключительныхъ словахъ акростиха: И Ч С Н? Зачѣмъ вообще напечатана эта басня, и какой смыслъ соединяется съ нею въ головѣ г. Ижицына? Для чего продаетъ онъ ее по гривеннику? Неужели послѣдній вопросъ служитъ вмѣстѣ и отвѣтомъ на то, зачѣмъ явилась басня? Или тутъ выражается какая-нибудь личная, темная непріязнь, которой не имѣетъ права знать русская публика? Тогда для чего ей знать и ругательства г. Ижицына.

но его направленіе, по крайней мѣрѣ, безкорыстно. Въ предисловіи онъ бранитъ литераторовъ за то, что они обличаютъ чужіе пороки, а о своихъ собственныхъ не думаютъ: а въ концѣ превозноситъ г. Кокорева, должно быть, какъ человѣка, подающаго примѣръ обличенія собственныхъ пороковъ. Впрочемъ, статейка о г. Кокоревѣ отличается тончайшей и деликатнѣйшей ироніей, которую даже можно бы принять за чистую монету, если бы похвалы не были слишкомъ ужъ преувеличены. Къ статейкѣ этой приготовляютъ читателя стихи: «На отъѣздъ спекулянта», въ которыхъ поэтъ провожаетъ спекулянта на воды за-границу и между прочимъ говоритъ:

«Но нельзя ли захлебнуться
И къ намъ больше не вернуться?
Много бъ одолжилъ.
Ты вѣдь намъ теперь не нуженъ,
Весь разгаданъ, обнаруженъ:
Для кармана жилъ»!

Послѣ стиховъ слѣдуетъ статейка: «Что дѣлаютъ русскіе люди за-границей?» Въ статейкѣ этой говорится съ изумленіемъ объ одномъ необыкновенномъ явленіи, именно, что «русскій человѣкъ, вышедшій изъ простонародья, не получившій никакого школьнаго образованія, занимавшійся прежде исключительно торговыми оборотами», вдругъ написалъ политико-экономическое сочиненіе объ Англіи, Франціи, Бельгіи и Пруссіи, изучивъ эти страны въ четыре мѣсяца своего путешествія по нимъ. Это тѣмъ болѣе изумительно, говоритъ авторъ, что въ политико-экономическихъ трудахъ особенно нужно серьезное изученіе и совершенное знакомство съ предметомъ. Но что же вышло? Въ европейскихъ и русскихъ журналахъ расхвалили скороспѣлое произведеніе русскаго самоучки; въ доказательство приводятся авторомъ выписки изъ Nord'a, гдѣ и было помѣщено расхваливаемое произведеніе. Поставивши вопросъ такъ лукаво, авторъ съ не меньшимъ лукавствомъ заключаетъ свой панегирикъ: «что же это значитъ? Это значитъ, читатель, что посреди насъ явился свѣтлый и обширный умъ, насквозь проникающій предметъ изслѣдованія и въ то же время обнимающій его со всѣхъ сторонъ; для умовъ подобнаго свойства врожденный инстинктъ замѣняетъ лѣта долгаго изученія, и богатство безошибочныхъ идей создаетъ новое, своеобразное, мѣткое, всѣмъ понятное, неотразимо-увлекающее слово. Это значитъ, что къ незабвеннымъ именамъ Посошкова и Кошихина должны мы присоединить отнынѣ имя Кокорева. Но уважаемый современникъ нашъ больше намъ по душѣ, нежели его предшественники: въ груди его бьется не только русское, но и вполнѣ христіанское сердце».

Не совсѣмъ грамотно,—но чрезвычайно зло!.. Признаемся, не поздоровится отъ этихъ похвалъ...

Мы увѣрены, что направленіе г. Гр. Н—а совершенно безкорыстно.

До сихъ поръ занимались мы болѣе нравственной стороной *листковъ*; можетъ быть, потребуютъ отъ насъ и оцѣнки литературной ихъ стороны. Но намъ, право, совѣстно говорить о нихъ, какъ о явленіяхъ литературныхъ. Ихъ анекдоты стары или безтолковы, ихъ остроты тупы или неприличны, ихъ разсужденія нелѣпы или пошлы, ихъ очерки бездарны. Соединеніе всего этого нагоняетъ тоску невыносимую; а полемическія выходки листковъ другъ противъ друга возбуждаютъ даже отвращеніе. Онѣ-то окончательно и опошлили теперь этотъ, только-что возникшій у насъ, родъ. А если бы вести ихъ мало-мальски порядочно, родъ этотъ могъ бы утвердиться и оказывать не малое пособіе серьезной литературѣ. Журналы выписываются немногими, серьезныя книги еще меньше распространены въ публикѣ; къ газетамъ у насъ тоже какъ-то плохо привыкаютъ. При такомъ положеніи дѣлъ, летучіе листки могли бы сдѣлаться лучшими проводниками здравыхъ понятій въ тѣ слои общества, которые чуждаются серьезной литературы. Подъ покровомъ шутки можно бы здѣсь высказывать очень многое. Къ сожалѣнію, никто изъ издателей листковъ этимъ не воспользовался. Если кто и обнаруживалъ какія-нибудь стремленія, то развѣ стремленіе къ сальностямъ. Въ этомъ родѣ особенно отличались «Сплетни», *великосвѣтское* изданіе, обладающее весьма посредственнымъ остроумiемъ и разсказывающее исторіи въ родѣ анекдота о ночномъ подкинутіи взрослаго мальчика въ постель молодой женщины, и т. п.

Одинъ только недурной анекдотъ нашли мы въ «Рододендронѣ» (листокъ этотъ, вмѣстѣ съ «Пустомелею», получше другихъ), и для образца мы даже выпишемъ его. Онъ называется: «Образецъ послушанія».

«Начальникомъ единственнаго учебнаго заведенія въ одномъ изъ германскихъ княжествъ сдѣланъ былъ, по волѣ владѣтельнаго князя, отставной генералиссимусъ всѣхъ военныхъ силъ (военныя силы княжества были незначительны). Учебное заведеніе имѣло ботаническій садъ. Новый начальникъ началъ съ того, что велѣлъ разставить всѣ растенія по росту. Въ то время, какъ растенія разставлялись подъ собственнымъ его наблюденіемъ, явился инспекторъ и принесъ жалобу на одного молодого человѣка, который оказался до крайности непослушнымъ. Начальникъ позвалъ молодого человѣка къ себѣ, долго доказывалъ ему, что послушаніе есть добродѣтель, и наконецъ прибавилъ: берите съ меня примѣръ. Мнѣ Фердинандъ LIX [1]), дѣдъ настоящаго князя, приказалъ сдѣлаться солдатомъ, — и я сдѣлался. Преемникъ его, Фридрихъ CXXVIII приказалъ мнѣ быть генераломъ, — и я генералъ. Наконецъ, Фридрихъ CXXIX сказалъ, что я долженъ быть ученымъ, и я, какъ видите, исправляю должность ученаго (онъ показалъ на растенія). А если бы я оказался непослушнымъ, что бы вышло»?

За этого послушнаго генералиссимуса «Рододендронъ» непремѣнно попалъ бы въ образцы лучшихъ произведеній поэзіи у г. Ореста Миллера, о которомъ мы еще будемъ имѣть удовольствіе

[1]) Въ княжествѣ, о которомъ идетъ рѣчь (оно уже не существуетъ) правителями въ теченіе многихъ столѣтій были только Фердинанды и Фридрихи.

говорить съ читателями. Здѣсь такъ ярко отразился нравственный идеалъ нашего ученаго моралиста. Жаль, что онъ издалъ свою диссертацію, не дождавшись появленія «Рододендрона».

Приведемъ, пожалуй, образцы остроумія и изъ другихъ листковъ.

«По случившемуся случайному случаю, продается новый фракъ, безъ подкладки, на воротникѣ 33 заплатки».

«Однажды спросили слугу, у котораго умеръ кривой господинъ: тяжелою ли смертью умеръ его господинъ.

«— Ахъ, нѣтъ, — отвѣчалъ онъ: — закрылъ одинъ только глазъ».

Это изъ «Безструнной балалайки»; а вотъ острота изъ «Шута гороховаго»:

«Бутылку хорошаго вина можно назвать увеличительнымъ стекломъ удовольствія и уменьшительнымъ печали».

Вотъ также остроуміе г. П. Новикова, сочинителя «Новѣйшихъ юмористическихъ разсказовъ»:

«Гдѣ можно получить практику легкаго обмана по части торговой? — Въ толкучемъ рынкѣ».

«Гдѣ можно видѣть небывалыхъ звѣрей? — Во снѣ».

«Гдѣ даютъ деньги даромъ? — Не знаю».

Вотъ изъ «Фантазёра» анекдотъ: «Страны свѣта»:

«Спросилъ на экзаменѣ голубчика, купеческаго купчика, учитель, юношеского ума творитель: «сколько частей свѣта». На вопросъ этотъ, юноша былъ въ скукѣ, вовсе не думая объ наукѣ, отвѣчалъ: четыре Адмиралтейскихъ, Выборгская, Петербургская, и т. д.»

И вотъ все почти въ этомъ родѣ. Безграмотно, безсмысленно, съ какими-то дикими прибаутками, съ претензіями, безъ всякаго признака хоть какого-нибудь убѣжденія, хоть какой-нибудь идеи. Жаль бѣдныхъ читателей, которымъ, по степени ихъ образованности, недоступна *настоящая* наша литература, и которые подобными пошлостями должны удовлетворять свою любовь къ чтенію. А много такихъ читателей...

Мы слышали, что Москва, несмотря на горькія сѣтованія своего Гераклита, тоже собирается взяться за юмористическія изданія. Подождемъ, не будутъ ли они получше петербургскихъ.

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ,

СОЧИНЕННАЯ Г. ЖЕРЕБЦОВЫМЪ.

(**Essai sur l'histoire de la civilisation en Russie**, *par Nicolas de Gérebtzoff. Paris*, 1858. Два тома.)

Луна обыкновенно дѣлается въ
Гамбургѣ, и прескверно дѣлается.
Гоголь («Записки сумасшедшаго»).

I.

Сочиненіе г. Жеребцова объ исторіи цивилизаціи въ Россіи представляетъ собою явленіе весьма замѣчательное. Оно назначено авторомъ въ руководство иностранцамъ, которые желали бы имѣть истинное и полное понятіе о Россіи, — объ ея исторіи, нравахъ, просвѣщеніи, законодательствѣ, вообще о томъ, какъ наше отечество развивалось и какой степени достигло въ своемъ развитіи. Все это почтенный авторъ старается объяснить Европѣ въ двухъ толстыхъ томахъ (1200 страницъ) своего сочиненія. Такой объемъ необходимъ былъ потому, что г. Жеребцовъ обращаетъ рѣчь свою къ людямъ, которыхъ невѣжество относительно Россіи до того велико, что съ ними нельзя ограничиться легкимъ очеркомъ, а надобно прочесть имъ цѣлый курсъ. Въ предисловіи къ своей книгѣ, г. Жеребцовъ говоритъ, что, «въ своихъ продолжительныхъ путешествіяхъ по всѣмъ частямъ Европы, онъ былъ поражаемъ тѣмъ невѣдѣніемъ, какое тамъ обнаруживаетъ бо́льшая часть людей даже образованныхъ, относительно Россіи, не только древней, но и новой». Для оправданія своего невѣжества, европейцы говорили, что Россія слишкомъ далеко отъ нихъ находится, а книгъ для ея изученія у нихъ нѣтъ. Есть только Гакстгаузенъ и Карамзинъ: но Гакстгаузенъ неполонъ, а Карамзинъ слишкомъ обширенъ; всѣ же другія сочиненія не внушаютъ къ себѣ довѣрія. «Я рѣшился попы-

таться пополнить этотъ пробѣлъ», говоритъ г. Жеребцовъ, и плодомъ этого рѣшенія былъ «Опытъ объ исторіи цивилизаціи въ Россіи».

Имѣя въ виду наставленіе Европы, г. Жеребцовъ естественно долженъ былъ писать по-французски. «Но я не могъ мыслить и чувствовать иначе, какъ по-русски,—замѣчаетъ онъ,—и потому въ стилѣ моемъ остался, можетъ быть, отпечатокъ иностраннаго происхожденія». Дѣйствительно, стиль г. Жеребцова не далеко ушелъ отъ стиля той дамы, которая писала о своей горничной: «j'ai la laissée sur la liberté, parce qu'elle a bien marchée derrière mes enfants». Но это, по нашему мнѣнію, послѣднее дѣло въ книгѣ: французы на этотъ счетъ очень снисходительны, какъ извѣстно; нѣмцы, пожалуй, и не замѣтятъ, а англичане если и замѣтятъ, такъ не обратятъ вниманія. Главное — было бы содержаніе любопытно. А какъ же не быть любопытнымъ содержанію такой книги, какъ сочиненіе г. Жеребцова. Предметъ его чрезвычайно интересенъ, въ особенности для иностранцевъ, ничего не знающихъ о Россіи. Объемъ его позволялъ автору коснуться всѣхъ сторонъ развитія древней и новой Руси, систематически провести свои воззрѣнія на русскую цивилизацію, представить въ стройной картинѣ то положеніе, въ какое наконецъ приведено наше отечество въ настоящее время непрерывнымъ ходомъ своего историческаго развитія. Все это—предметы чрезвычайно интересные, и иностранцы, не знающіе автора, могли ожидать, что найдутъ въ его книгѣ вполнѣ основательное и безпристрастное изложеніе всего, что касается судебъ Россіи, тѣмъ болѣе, что сочиненіе г. Жеребцова является при обстоятельствахъ чрезвычайно благопріятныхъ. Эти благопріятныя обстоятельства, по нашему мнѣнію, состоятъ въ слѣдующемъ.

Во-первыхъ — г. Жеребцовъ издаетъ свой опытъ въ 1858 году, вскорѣ послѣ восточной войны, парижскаго мира и прочихъ обстоятельствъ, оживившихъ наши международныя отношенія и установившихъ у насъ нѣсколько новыя отношенія къ Западу. Теперь прошло для насъ время безтолковаго, слѣпого подражанія *всему* иностранному; прошло и время безполезнаго, надутаго хвастовства своими, будто бы исключительными, національными достоинствами. Прошло и для иностранцевъ время надменнаго презрѣнія ко *всему* русскому, равно какъ и то время, когда они боялись русскаго государства, какъ скопища дикихъ варваровъ, готовыхъ остановить всякій прогрессъ, преградить путь всякой живой идеѣ. Въ восточной войнѣ мы сходились съ ними *на чистоту* и подъ конецъ рѣшились признаться въ превосходствѣ ихъ цивилизаціи, въ томъ, что намъ нужно многому еще учиться у нихъ. И какъ только кончилась война, мы и принялись за дѣло: тысячи народа хлынули за-границу, внѣшняя торговля усилилась съ пониженіемъ тарифа, иностранцы явились къ намъ строить желѣзныя дороги, отъ насъ поѣхали молодые люди въ иностранные университеты, въ литера-

турѣ явились цѣлыя періодическія изданія, посвященныя переводамъ замѣчательнѣйшихъ иностранныхъ произведеній, въ университетахъ предполагаются курсы общей литературы, англійскаго и французскаго судопроизводства, и пр. Рядомъ съ этимъ, и въ литературѣ, и въ жизни, возвышаются голоса противъ злоупотребленій, издавна вошедшихъ въ нашъ бытъ; слышатся жалобы на нашу отсталость, апатію; преслѣдуется и выставляется на общій позоръ наше домашнее зло. Такая минута, какъ намъ кажется, чрезвычайно благопріятна для того, чтобы привлечь общее вниманіе и любопытство представленіемъ полной и вѣрной картины русскаго развитія. Безъ ложнаго стыда, безъ робкихъ обиняковъ, безъ пропусковъ и умолчаній могъ авторъ говорить обо всемъ, что задерживало или ускоряло ходъ русскаго развитія. Отбросивъ національные предразсудки и ложно-патріотическую гордость, могъ онъ признать все, чѣмъ обязана Россія другимъ народамъ и чего еще недостаетъ ей въ сравненіи съ ними. Онъ могъ спокойно и безпристрастно оцѣнить теперь тѣ начала и идеи, которыми опредѣлялся ходъ русскаго развитія; могъ откровенно и съ очевидною ясностью представить всѣ обстоятельства, доведшія Россію до того состоянія, въ какомъ застала ее восточная война, и котораго неудобства во многихъ отношеніяхъ мы сами провозгласили открыто и громко. Такая задача давалась автору потребностями минуты, въ которую онъ пишетъ, и, надо признаться, что въ эту именно минуту исполненіе такой задачи было бы легче, чѣмъ когда-нибудь, и вмѣстѣ съ тѣмъ имѣло бы болѣе значенія, чѣмъ во всякое другое время.

Другое обстоятельство, благопріятствовавшее автору «Опыта исторіи цивилизаціи въ Россіи», было то, что онъ писалъ свою книгу для Европы и издалъ въ Европѣ; авторъ, пишущій о Россіи въ самой Россіи, невольно поддается всегда чувству нѣкотораго пристрастія въ пользу того, что его окружаетъ, что ему такъ близко и такъ съ нимъ связано различными отношеніями. Повидимому, наши слова несправедливы именно въ настоящее время, когда вся литература наша не только не допускаетъ сладенькихъ восхваленій, а напротивъ отличается жестокими обличеніями всего дурного, что есть у насъ. Но, несмотря на всю разительность этого факта, мы признаемъ рѣшительно несомнѣннымъ присутствіе пристрастія къ своему родному, даже въ обличительной нашей литературѣ послѣдняго времени. Не говоримъ о лирическихъ мѣстахъ въ самыхъ мрачныхъ произведеніяхъ; не говоримъ ни о герояхъ добродѣтели, которыхъ, какъ умѣютъ, стараются выводить наши авторы, ни о счастливыхъ развязкахъ, въ которыхъ порокъ достойно наказывается... Упомянемъ только объ одномъ, весьма характеристическомъ обстоятельствѣ: до сихъ поръ всѣ литературныя произведенія, написанныя въ такъ-называемомъ отрицательномъ духѣ, имѣли характеръ частный и касались большею частію мелочей. Видно въ этихъ произведеніяхъ, что у автора накопилось

много желчи, что онъ многое видѣлъ и многое могъ бы поразсказать. Но какъ только берется онъ за перо, чтобы повѣдать обществу результаты своихъ думъ и опытовъ, духъ родины начинаетъ невидимо носиться надъ нимъ; сердце его невольно смягчается, и онъ ограничивается пустячками, какъ бы опасаясь тревожить раны болѣе глубокія, которыхъ боль должна же отозваться на немъ самомъ. Такимъ образомъ, самое порицаніе часто парализуется у насъ, вслѣдствіе вліянія чувства, совершенно противоположнаго. Напротивъ того, диѳирамбы наши нерѣдко доходятъ до чудовищныхъ размѣровъ. Безпрестанно читаешь въ русскихъ книгахъ и даже въ нѣкоторыхъ журналахъ: — то «Бѣлорусскій край щедро надѣленъ всѣми дарами природы»; то «въ русскихъ деревняхъ между крестьянками сплошь да рядомъ встрѣтишь такихъ красавицъ, какія и въ Италіи чрезвычайно рѣдки»; то «довольныя сердца русскаго народа такъ сильно бьются, что бой ихъ заглушаетъ звуки колоколовъ московскихъ». И все это кажется такъ естественнымъ, такъ обыкновеннымъ, что никто и не замѣчаетъ оригинальности подобныхъ выходокъ. За то, напротивъ, на человѣка, который рѣшится сказать, что, напримѣръ, возможно въ Россіи существованіе важныхъ особъ, смѣшивающихъ собственныя выгоды съ казеннымъ интересомъ, — на такого человѣка тотчасъ возстанутъ его друзья и недруги цѣлымъ хоромъ: ты, дескать, честь отечества пятнаешь. Бѣдный авторъ ужъ и совсѣмъ сконфузится. Иной разъ и сказалъ бы что-нибудь, и именно изъ желанія добра сказалъ бы, — да испугается: а что, дескать, если это вотъ такому-то моему пріятелю не понравится, или вотъ такой-то благодѣтель за это разсердится?... И пропала для общества полезная правда добраго человѣка, связаннаго условіями и приличіями этого же самаго общества.

Совсѣмъ не въ такомъ положеніи находится авторъ, пишущій о Россіи въ отдаленіи отъ своего отечества. Его взглядъ можетъ быть шире, глубже и самостоятельнѣе. На мелочи онъ не станетъ обращать вниманіе, потому что издали и не видны мелочи. Возвысившись надъ всѣми личностями, онъ тѣмъ свободнѣе и безпристрастнѣе можетъ разобрать самую сущность дѣла. Избавленный отъ разныхъ мелочныхъ житейскихъ отношеній и помѣхъ, часто задерживающихъ не только дѣло, но и слово,—онъ можетъ высказывать свои мнѣнія и взгляды прямо, откровенно, не стѣсняясь никакими личными отношеніями. Положеніе поистинѣ завидное и какъ нельзя болѣе благопріятное для писателя, желающаго принести дѣйствительную пользу!...

Есть еще одна сторона, благопріятно располагающая будущихъ читателей къ автору книги о Россіи, выходящей въ настоящее время въ Европѣ. Это—свойство самой публики, для которой книга назначается. Предполагается обыкновенно, что объемистое сочиненіе о Россіи возьметъ въ руки въ Европѣ человѣкъ образован-

съ другими. Потребность эта еще болѣе развивается безпредѣльными услугами и помощью всякаго рода, необходимо оказываемыми ребенку отъ старшихъ. На нихъ-то и обращается прежде всего то чувство любви, которое естественно находится въ натурѣ каждаго человѣка и которое, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, должно обнять собою все человѣчество. Небольшой переходъ нуженъ отсюда, чтобы перенести ту же любовь и на тѣ предметы, тѣ привычки, понятія, и т. п., которыя принадлежатъ любимымъ людямъ. Отсюда и происходитъ та прелесть, которую сохраняютъ надъ многими до конца жизни —

«Поля, холмы родные,
Родного неба милый свѣтъ,
Знакомые потоки,
Златыя игры первыхъ лѣтъ
И первыхъ лѣтъ уроки».

Порицать за это чувство нельзя и взрослаго человѣка, если только онъ остается въ предѣлахъ чувства и не принимается резонировать. Обнаруживать посягательство на мою субъективную жизнь никто не имѣетъ права. Кто можетъ упрекнуть меня за то, что во мнѣ пробуждаются свѣтлыя воспоминанія дѣтства при видѣ стола, покрытаго ярославской набивной скатертью, на которомъ стоитъ шипящій самоваръ, — или при звукахъ сантиментальной пѣсни: «Выду ль я на рѣченьку», съ акомпаниментомъ гитары? Я могу быть смѣшонъ для васъ, если эти предметы производятъ на меня болѣе сильное впечатлѣніе, нежели какое бы слѣдовало по вашему мнѣнію; но даже и насмѣшка съ вашей стороны будетъ негуманна въ томъ случаѣ, когда я скромно предаюсь своему субъективному настроенію, никого не тревожа. Другое дѣло, если я начну навязываться другимъ съ своими чувствами, начну требовать, чтобы всѣ окружающіе раздѣляли ихъ. Тогда уже всякій имѣетъ полное право осуждать меня и смѣяться надъ моими фантазіями, потому что онѣ получаютъ объективное значеніе, подлежащее общему суду. Когда я предъявляю претензію, чтобы и другіе чувствовали то, что я, тогда признаю уже, слѣдовательно, что предметъ, возбудившій во мнѣ тѣ или другія чувства, дѣйствительно способенъ ихъ возбуждать самъ по себѣ, а не по случайнымъ отношеніямъ, исключительно для меня только имѣющимъ значеніе. А признавая это, я уже выражаю мнѣніе, съ которымъ другіе могутъ не согласиться и за которое могутъ признать меня идіотомъ. Если я захочу, напримѣръ, чтобы другіе непремѣнно восхищались нелѣпой пѣсней, пріятной мнѣ по воспоминаніямъ дѣтства, то я обнаружу этимъ, что не признаю ея нелѣпости, а вижу въ ней дѣйствительныя достоинства. За это, разумѣется, и признаютъ меня человѣкомъ, не имѣющимъ эстетическаго вкуса,— чего не могутъ сказать обо мнѣ только на томъ основаніи, что мнѣ лично бываетъ пріятно слышать эту пѣсню. У каждаго человѣка, на какой бы степени развитія ни стоялъ онъ, всегда оста-

ются кое-какія привычки, пристрастія, воспоминанія, отъ которыхъ сердце его не можетъ совершенно освободиться, хотя разсудкомъ своимъ онъ и понимаетъ ихъ нелѣпость. Этотъ маленькій разладъ внутри человѣка неизбѣженъ по слабости человѣческой натуры, и на него не слѣдуетъ смотрѣть слишкомъ строго, пока онъ не выражается во внѣшней дѣятельности человѣка. Но когда онъ обнаруживается съ претензіей на то, чтобъ дѣтскія грезы и другими были принимаемы за истину, тогда его нужно изобличать и преслѣдовать. И при этомъ изобличеніи мы уже имѣемъ полнѣйшее право сказать, не обинуясь, что господинъ, выказавшій подобныя претензіи, тупоуменъ, а самыя претензіи его вредны, такъ какъ въ нихъ заключается попытка привить и другимъ свое тупоуміе.

Обращаясь теперь къ тому, что обыкновенно разумѣется у насъ подъ именемъ патріотизма, мы можемъ приложить и къ нему многое изъ того, что сказали вообще о впечатлѣніяхъ дѣтства. Въ первомъ своемъ проявленіи, патріотизмъ даже и не имѣетъ другой формы, кромѣ пристрастія къ полямъ, холмамъ роднымъ, златымъ играмъ первыхъ лѣтъ, и пр. Но довольно скоро онъ формируется болѣе опредѣленнымъ образомъ, заключая въ себѣ всѣ понятія историческія и гражданственныя, какія только успѣваетъ пріобрѣсти ребенокъ. Патріотизмъ этомъ отличается, до извѣстной поры, полною и безграничною преданностью *всему своему*, — будетъ ли это хорошее или дурное—все равно. Причина такого безразличія заключается въ томъ, что дитя еще и не понимаетъ хорошенько разницы между дурнымъ и хорошимъ, потому что мало имѣетъ, или не имѣетъ вовсе предметовъ для сравненія. Не имѣя понятій о другихъ городахъ, какъ можетъ ребенокъ изъявлять недовольство устройствомъ своего города? Живя непосредственною жизнью, руководствуясь во всемъ единственно желаніемъ расширить, сколько возможно, предѣлы собственнаго эгоизма, связавши его съ эгоизмомъ другихъ,—ребенокъ восхищается всѣмъ, что онъ можетъ, въ какомъ бы то ни было смыслѣ, назвать *своимъ*. При дальнѣйшемъ развитіи, когда взглядъ его расширяется съ пріобрѣтеніемъ новыхъ понятій, начинается работа различенія хорошихъ и дурныхъ сторонъ въ предметѣ, прежде казавшемся вполнѣ совершеннымъ. Такимъ образомъ, переходя постепенно отъ одного къ другому, человѣкъ отрѣшается отъ безусловнаго пристрастія и пріобрѣтаетъ вѣрный взглядъ сначала на свое родное семейство, на свое село, свой уѣздъ, потомъ на всю губернію, на другую, третью губернію, на столицу, и т. д. Въ результатѣ выходитъ наконецъ отрѣшеніе отъ предразсудковъ мѣстности или увлеченіе только тѣмъ, что уже составляетъ общія народныя или государственныя черты. Но человѣкъ, нормальнымъ образомъ развивающійся, не можетъ остановиться и на этой степени выраженія патріотизма. Онъ сознаетъ, что его чувства къ родинѣ, при всей своей силѣ и живости, не имѣютъ еще той разумной ясности, которая дается только изуче-

ніемъ дѣла въ связи со всѣми однородными явленіями. Такимъ образомъ, отъ идеи своего народа и государства, человѣкъ, не останавливающійся въ своемъ развитіи, возвышается посредствомъ изученія чужихъ народностей до идеи народа и государства вообще, и, наконецъ, постигаетъ отвлеченную идею человѣчества, такъ что въ каждомъ человѣкѣ, представляющемся ему, видитъ прежде всего человѣка, а не нѣмца, поляка, жида, русскаго, и пр. На этой степени развитія въ человѣкѣ необходимо должно исчезнуть то, что было дѣтскаго, мечтательнаго въ его патріотизмѣ, что возбуждало только ребяческія фантазіи, несообразныя съ дѣйствительностью и здравымъ смысломъ. Всѣ исключительныя предилекціи, всѣ утопическія мечтанія о высшемъ предназначеніи одной націи къ тому-то, другой — къ тому-то, всѣ національные перекоры о взаимныхъ преимуществахъ исчезаютъ въ мысли человѣка, правильно и вполнѣ развившагося. Для него уже не существуютъ вопросы, въ родѣ: кичливый ляхъ иль вѣрный россъ? и пр. Германское, или славянское племя будетъ выше въ исторіи послѣдующихъ вѣковъ? и т. п. Подобныя выходки онъ уже считаетъ фразерствомъ и забавляется ими, въ родѣ того, какъ забавляемся мы, напримѣръ, перекорами Москвы съ Петербургомъ, возобновляемыми время отъ времени въ нашей юной литературѣ. Но изъ этого теоретическаго равнодушія и безразличія къ землячеству, вовсе не нужно заключать, чтобы высшее развитіе человѣка дѣлало его неспособнымъ къ патріотизму. Напротивъ, оно только и можетъ сдѣлать человѣка настоящимъ, дѣйствительнымъ патріотомъ, — и вотъ какимъ образомъ.

Получивъ понятіе объ общемъ, т. е. о постоянныхъ законахъ, по которымъ идетъ исторія народовъ, расширивъ свое міросозерцаніе до пониманія общихъ нуждъ и потребностей человѣчества, образованный человѣкъ чувствуетъ непремѣнное желаніе перенести свои теоретическіе взгляды и убѣжденія въ сферу практической дѣятельности. Но кругъ дѣятельности человѣка, равно какъ и его силы и самыя желанія не могутъ простираться на весь міръ одинаково, и потому онъ долженъ избрать себѣ какой-нибудь частный, ограниченный кругъ, и въ немъ прилагать свои общія убѣжденія. Этотъ кругъ всего скорѣе, всего естественнѣе будетъ—отечество. Мы больше сроднились съ нимъ, больше его знаемъ и, вслѣдствіе того, болѣе ему сочувствуемъ. И сочувствіе это вовсе не является въ ущербъ любви и уваженію къ другимъ народностямъ; нѣтъ, оно есть простое слѣдствіе болѣе близкаго знакомства съ однимъ, чѣмъ съ другими. Мы читаемъ преспокойно въ газетахъ, что въ такой-то стшбкѣ убито столько-то; но то же извѣстіе производитъ на насъ сильнѣйшее впечатлѣніе, если намъ знакомы нѣкоторые изъ убитыхъ; и оно же можетъ повергнуть насъ въ глубокую горесть, ежели въ числѣ убитыхъ находится нашъ лучшій другъ. Мы горюемъ о немъ, вовсе однакоже не думая, что другіе были хуже его и недостойны нашей горести. Если бы мы сошлись съ

ними, то, можетъ быть, плакали бы о нихъ еще больше; но судьба не свела насъ съ ними, а всѣхъ чужихъ покойниковъ не оплачешь. То же самое и съ патріотизмомъ; мы болѣе сочувствуемъ своему отечеству, потому что болѣе знаемъ его нужды, лучше можемъ судить о его положеніи, сильнѣе связаны съ нимъ воспоминаніями общихъ интересовъ и стремленій и, наконецъ, чувствуемъ себя болѣе способными быть полезными для него, нежели для другой страны. Такимъ образомъ, въ человѣкѣ порядочномъ патріотизмъ есть не что иное, какъ желаніе трудиться на пользу своей страны, и происходитъ не отъ чего другого, какъ отъ желанія дѣлать добро, — сколько возможно больше и сколько возможно лучше. И потому-то никто не можетъ упрекать замѣчательныхъ дѣятелей, если они переносятъ свою дѣятельность изъ одной страны въ другую, находя, что они могутъ быть тамъ полезнѣе, нежели на своей родинѣ. Джонъ Лоу осуществилъ свои финансовыя теоріи во Франціи, Лафайетъ участвовалъ въ американской войнѣ, Байронъ сражался за грековъ: кто же упрекнетъ ихъ за это въ недостаткѣ патріотизма? Очень естественно, что одинъ искалъ себѣ среды, гдѣ бы удобнѣе примѣнить свои планы, другіе поспѣшали туда, гдѣ было болѣе опасности. Патріотизмъ живой, дѣятельный именно и отличается тѣмъ, что онъ исключаетъ всякую международную вражду, и человѣкъ, одушевленный такимъ патріотизмомъ, готовъ трудиться для всего человѣчества, если только можетъ быть ему полезенъ. Ограниченіе своей дѣятельности въ предѣлахъ своей страны является у него вслѣдствіе сознанія, что здѣсь именно его настоящее мѣсто, на которомъ онъ можетъ быть наиболѣе полезенъ. Оттого-то настоящій патріотъ терпѣть не можетъ хвастливыхъ и восторженныхъ восклицаній о своемъ народѣ; оттого-то онъ смотритъ презрительно на тѣхъ, которые стараются опредѣлить грани разъединенія между племенами. Настоящій патріотизмъ, какъ частное проявленіе любви къ человѣчеству, не уживается съ непріязнью къ отдаленнымъ народностямъ; а какъ проявленіе живое и дѣятельное, онъ не терпитъ ни малѣйшаго реторизма, всегда какъ-то напоминающаго трупъ, надъ которымъ произносятъ надгробную рѣчь. Понимая патріотизмъ такимъ образомъ, мы поймемъ, отчего онъ развивается съ особенною силою въ тѣхъ странахъ, гдѣ каждой личности представляется бо́льшая возможность приносить сознательно пользу обществу и участвовать въ его предпріятіяхъ. Мы часто жалуемся, что у насъ слабо развитъ патріотизмъ; это оттого, что дѣятельность массы отдѣльныхъ лицъ у насъ почти совершенно разъединена съ общимъ теченіемъ дѣлъ, и, слѣдовательно, кругъ интересовъ каждаго необходимо мельчаетъ. Скажите вашему извозчику, что мы завоевали Амуръ: онъ сначала даже и не пойметъ васъ. Растолкуйте ему, какое значеніе имѣетъ это для страны: онъ согласится съ вами, но все-таки вашъ разсказъ не произведетъ на него сильнаго впечатлѣнія. Что ему, въ самомъ дѣлѣ, за надобность до Амура? Какое отношеніе къ нему

можетъ имѣть при-амурскій край? Его гораздо болѣе занимаетъ соображеніе о томъ, прибавите ли вы ему, сдѣлавши конецъ, пятакъ серебра, или заплатите по таксѣ... Не таково развитіе патріотизма, напримѣръ, въ Англіи, гдѣ общественныя пріобрѣтенія и неудачи принимаются массою съ такимъ участіемъ, какъ будто дѣло идетъ о личныхъ интересахъ каждаго. Тамъ не безплодно звучатъ слова объ общемъ благѣ, о пользахъ страны, потому что и на самомъ дѣлѣ каждый принимаетъ участіе въ общественныхъ интересахъ, понимая связь ихъ съ своими собственными. За общее тамъ вступаются люди въ томъ смыслѣ, что не желаютъ видѣть присвоенія кѣмъ-либо частицы чужого, т. е. интересы *всего вообще* охраняются не иначе, какъ посредствомъ охраненія интересовъ *каждаго изъ всѣхъ*. Естественно при этомъ, что каждый интересуется общими дѣлами, и что фраза о славѣ націи, о величіи государства не увлекаетъ тамъ людей, если она не согласна съ дѣйствительными ихъ интересами. За то и личные интересы не могутъ получить такого исключительнаго преобладанія, чтобы прійти въ полное разобщеніе съ общими выгодами. Англичанинъ или американецъ, не крича о томъ, что его, напримѣръ, служебная дѣятельность необходима для поддержанія государства и для блага народа,—никогда, однако, не продастъ своего служебнаго долга ради личной выгоды: это запрещается ему чувствомъ его патріотизма. Совершенно противное тому, по разсказамъ путешественниковъ, происходитъ, напримѣръ, въ Австріи, гдѣ обиліе патріотическихъ фразъ не мѣшаетъ еще большему обилію всякаго рода преступленій противъ блага отечества. Это ужъ во всякомъ случаѣ—не патріотизмъ, что бы ни говорили и что бы ни писали австрійскія газеты. Настоящій патріотизмъ выше всѣхъ личныхъ отношеній и интересовъ и находится въ тѣснѣйшей связи съ любовью къ человѣчеству. Образецъ проявленія его можно указать, напримѣръ, въ англичанахъ, которые, едва только утихъ взрывъ перваго негодованія на индійскую рѣзню, принялись доказывать, что они сами виноваты, что нужно измѣнить систему управленія въ Индіи, и, наконецъ, рѣшились покончить съ Остъ-индской компаніей. Другой образецъ можно, пожалуй, видѣть у сѣверо-американцевъ, гдѣ высшіе сановники живутъ почти въ бѣдности, не смѣя и подумать истратить для себя хоть одинъ грошъ изъ огромныхъ общественныхъ суммъ, находящихся у нихъ въ рукахъ, и гдѣ даже *бѣлый домикъ* президента ничѣмъ не отличается отъ жилища гражданина средняго состоянія. Вотъ это патріотизмъ!...

Совершенно другіе результаты представляетъ псевдо-патріотизмъ, иногда съ удивительнымъ безстыдствомъ прикрывающійся именемъ истинной любви къ отечеству. Онъ совершенно противоположенъ настоящему патріотизму. Тотъ есть ограниченіе общей любви къ человѣчеству; этотъ, напротивъ, есть расширеніе, до возможной степени, неразумной любви къ себѣ и къ своему, и потому часто граничитъ съ человѣконенавидѣніемъ. Тотъ является

вслѣдствіе разумнаго опредѣленія своихъ отношеній къ міру и вслѣдствіе сознательнаго выбора частной дѣятельности; этотъ же является въ недорослѣхъ, не добившихся до разумныхъ опредѣленій, не умѣющихъ понять своего мѣста въ мірѣ и старающихся хоть какъ-нибудь и куда-нибудь пристроиться, чтобы носить по возможности почетное званіе и тунеядствовать. Проявленія подобнаго патріотизма замѣчаются уже и въ дѣтскомъ возрастѣ, если дѣти получаютъ ложное развитіе. Такъ, патріотизмъ, соединенный съ человѣконенавидѣніемъ, обыкновенно выражается въ нихъ какою-то безтолковой воинственностью, желаніемъ рѣзать и бить непріятелей во славу своего отечества, между тѣмъ какъ воинственный мальчишка и не понимаетъ еще, что такое отечество и кто его непріятели. Та же самая исключительность, соединенная съ сознаніемъ собственнаго безсилія, видна въ патріотическихъ и корнораціонныхъ спорахъ мальчишекъ, когда они поступятъ въ школу. Если въ школѣ есть мальчишки разныхъ національностей, то непремѣнно они начнутъ хвалиться другъ передъ другомъ и выказывать непріязненныя расположенія, которыя пропадаютъ только по мѣрѣ бо̀льшаго развитія мальчиковъ. Тутъ же имѣетъ мѣсто другое явленіе, весьма близко сюда подходящее: мальчики перекоряются другъ съ другомъ, хвастаясь, что одинъ былъ въ такомъ-то пансіонѣ, другой учился у такого-то, третій бралъ уроки у такихъ-то учителей, и т. п. Всѣ эти споры имѣютъ одинъ источникъ: мальчику хочется чѣмъ-нибудь похвалиться насчетъ своего ученья; но самъ онъ слишкомъ слабъ и ничтоженъ, чтобы лучами ихъ славы озарить себя самого. Замѣчательно, что чѣмъ умнѣе и дѣятельнѣе мальчикъ, тѣмъ скорѣе пропадаетъ у него охота хвастаться своими прежними учителями. Черезъ нѣсколько времени общаго пребыванія въ одной школѣ, такая охота только и остается уже у самыхъ пустыхъ и безнадежныхъ лѣнтяевъ. Подобное этому явленіе представляли старинные слуги, типъ которыхъ столько разъ былъ уже изображаемъ въ нашихъ романахъ и повѣстяхъ. Не находя въ себѣ никакого собственнаго, личнаго значенія, не видя возможности опереться въ чемъ-нибудь на самихъ себя, потерявши благородный эгоизмъ самобытной личности, но будучи одержимы мелочнымъ и грубымъ самолюбіемъ, они постоянно старались придавать себѣ важности непомѣрнымъ превозношеніемъ своихъ господъ. И замѣчательно, что ихъ диѳирамбы своимъ барамъ, составленные чисто съ холопской точки зрѣнія, обыкновенно имѣли характеръ, не слишкомъ рекомендующій превозносимыхъ господъ въ глазахъ человѣка порядочнаго. Но старый слуга не подозрѣвалъ этого: онъ разсказывалъ съ необычайной наивностью похожденія своего барина, съ убѣжденіемъ въ ихъ безукоризненномъ величіи и съ мыслью, что вотъ, дескать, смотрите на насъ,— какимъ господамъ мы принадлежали!...

Люди, входящіе въ подобную роль — неопытнаго, заносчиваго школьника или престарѣлаго, недальняго слуги,— обнаруживаютъ,

конечно, весьма низкую степень развитія, нравственнаго и умственнаго. Подобно этому и псевдо-патріоты, фразисто расписывающіе свою любовь къ милому, славному, великому отечеству, доказываютъ только, что имъ кромѣ фразъ нечѣмъ заняться. Ихъ развитіе не такъ высоко, чтобы понять значеніе своей родины въ средѣ другихъ народовъ; ихъ чувства не такъ сильны, чтобы выразиться въ практической дѣятельности; ихъ личность не столько самобытна, чтобы въ собственныхъ силахъ искать правъ на какое-нибудь значеніе. И вотъ эти нравственные недоросли, эти рабски-лѣнивыя и рабски-подлыя натуры дѣлаются паразитами какого-нибудь громкаго имени, чтобы его величіемъ наполнить собственную пустоту. Нерѣдко это громкое имя бываетъ—отечество, родина, народность, и тутъ уже не бываетъ конца цвѣтистымъ фразамъ и реторическимъ изображеніямъ, лишеннымъ всякаго внутренняго смысла. На дѣлѣ, разумѣется, не бываетъ у этихъ господъ и слѣдовъ патріотизма, такъ неутомимо возвѣщаемаго ими на словахъ. Они готовы эксплоатировать, сколько возможно, своего соотечественника, не меньше, если еще не больше, чѣмъ иностранца; готовы также легко обмануть его, погубить ради своихъ личныхъ видовъ, готовы сдѣлать всякую гадость, вредную обществу, вредную, пожалуй, цѣлой странѣ, но выгодную для нихъ лично... Если имъ достанется возможность показать свою власть хоть на маленькомъ клочкѣ земли въ своемъ отечествѣ, они на этомъ клочкѣ будутъ распоряжаться, какъ въ завоеванной землѣ... А о славѣ и величіи отечества все-таки будутъ кричать... И оттого они—псевдо-патріоты!...

Наведенные на эти замѣчанія «Опытомъ объ исторіи русской цивилизаціи», мы однакоже высказали ихъ вовсе не съ тѣмъ, чтобы примѣнять къ г. Жеребцову что-нибудь изъ того, что нами сказано о патріотизмѣ. Распространяясь объ этомъ предметѣ, мы имѣли въ виду только вотъ какую цѣль. Въ продолженіе нашей статьи намъ неоднократно придется указывать на мнѣнія г. Жеребцова, внушенныя ему, очевидно, его патріотическими чувствами. Чтобы не надоѣдать читателямъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ же разсужденій по поводу ихъ, мы и рѣшились высказать предварительно и разомъ наше понятіе о разныхъ родахъ патріотизма или того, что нерѣдко скрывается подъ этимъ именемъ. Послѣ этого мы уже считаемъ возможнымъ избавить себя отъ подробныхъ объясненій по поводу разныхъ мнѣній г. Жеребцова. Мы станемъ только указывать ихъ, и читатели, надѣемся, сами уже легко поймутъ, къ какому разряду отнести патріотизмъ «Опыта объ исторіи цивилизаціи въ Россіи».

Прежде, чѣмъ мы раскроемъ нѣкоторыя подробности взгляда автора на русскую цивилизацію, мы считаемъ нужнымъ обратить вниманіе на его понятія о цивилизаціи вообще. Въ этомъ случаѣ г. Жеребцовъ имѣлъ себѣ прекрасный образецъ въ Гизо, котораго первая лекція о цивилизаціи во Франціи посвящена общимъ взглядамъ, такъ же какъ и введеніе г. Жеребцова. Но г. Жеребцовъ

отвращается всего, что можетъ напомнить Западъ; онъ хлопочетъ о народномъ воззрѣніи, и потому постарался сочинить свое собственное опредѣленіе цивилизаціи и элементовъ, ее составляющихъ. Вышло, дѣйствительно, что-то непохожее ни на Гизо и ни на какого мыслителя, но въ дальнѣйшемъ приложеніи *чего-то* авторъ не выдержалъ, сбился и съѣхалъ опять-таки на того же Гизо. Не вытанцовывается какъ-то наша самобытность, да и только. Для читателей, позабывшихъ опредѣленіе Гизо, мы можемъ привести страницу изъ его первой лекціи; а потомъ обратимся къ г. Жеребцову.

«Мнѣ кажется,—говоритъ Гизо,—что, по общему понятію, цивилизація состоитъ существенно изъ двухъ явленій: развитія соціальнаго и интеллектуальнаго, т. е. изъ улучшенія внѣшняго положенія общества и изъ совершенствованія внутренней природы человѣка, его личности, словомъ, изъ развитія стороны общественной и чисто-человѣческой.

«Но мало сказать, что цивилизація состоитъ изъ этихъ двухъ явленій; надо прибавить, что для ея совершенства необходима совокупность ихъ, ближайшее и одновременное соединеніе, взаимное дѣйствіе одного на другое. Хотя и случается, что иногда они разрозниваются, и—то общественныя усовершенствованія, то внутреннее развитіе отдѣльныхъ лицъ идетъ скорѣе и дальше,—но тѣмъ не менѣе оба явленія не могутъ обойтись совсѣмъ другъ безъ друга: они взаимно возбуждаются и производятся одно другимъ, рано или поздно. Если они долго идутъ порознь, и соединеніе ихъ наступаетъ не скоро, то душою наблюдателя овладѣваетъ ощущеніе какой-то тягостной пустоты, какого-то уныніе, какъ будто вамъ чего-то недостаетъ. Когда видишь въ народѣ огромныя улучшенія общественныя, огромные успѣхи матеріальнаго благосостоянія, не сопровождаемые внутреннимъ развитіемъ человѣка и соразмѣрными успѣхами ума, то всѣ общественныя улучшенія кажутся ненадежными, непонятными, даже почти незаконными. Спрашиваешь себя: какими идеями произведено, чѣмъ оправдывается это улучшеніе, съ какими принципами оно связано? Хочется увѣрять себя, что оно не ограничится нѣсколькими поколѣніями, какимъ-нибудь клочкомъ земли, что оно сообщится далѣе, распространится, сдѣлается достояніемъ народовъ. Но какимъ образомъ общественное улучшеніе можетъ сообщиться другимъ и распространиться, если тутъ нѣтъ общей идеи, если доктрина невозможна? Вѣдь только идеи перепрыгиваютъ пространства, переплываютъ моря и повсюду бываютъ непремѣнно поняты и приняты. Такова ужъ натура человѣка, что онъ не можетъ понять громаднаго развитія матеріальной силы безъ участія силы моральной, которая должна къ ней присоединиться и управлять ею. Какъ будто что-то низкое выражается въ самомъ благосостояніи матеріальномъ, если оно не приноситъ другихъ плодовъ, кромѣ этого самаго благосостоянія, если

оно не возвышаетъ ума человѣка въ уровень съ его внѣшнимъ положеніемъ.

«За то, если блеснетъ иногда и необычайное развитіе умственное, не ведя за собою никакихъ общественныхъ улучшеній, и это заставляетъ удивляться и безпокоиться. Какъ будто видишь прекрасное дерево, не приносящее плодовъ, или солнце, не грѣющее и не дѣйствующее плодотворно на почву. Чувствуется нѣкотораго рода пренебреженіе къ идеямъ, которыя столь безплодны, что не въ состояніи овладѣть міромъ матеріальнымъ. Мало того, является наконецъ сомнѣніе въ ихъ разумной законности, въ истинѣ; является поползновеніе считать ихъ химерами, такъ какъ онѣ оказываются безсильными и не имѣютъ власти надъ внѣшнимъ положеніемъ человѣка. Такъ сильно въ человѣкѣ сознаніе того, что онъ долженъ переносить идеи въ дѣйствительность, передѣлывать міръ и управлять имъ сообразно съ тѣми истинами, которыя онъ понялъ и созналъ. Такимъ образомъ, два великіе элемента цивилизаціи,—развитіе соціальное и интеллектуальное,—тѣсно связаны одинъ съ другимъ, и совершенство цивилизаціи зависитъ не просто отъ ихъ соединенія, но отъ ихъ соотвѣтствія, отъ тѣхъ размѣровъ легкости и скорости, съ какими они вызываются и производятся одинъ другимъ».

Когда смотришь на развитіе народовъ естественно съ исторической точки зрѣнія, то опредѣленіе Гизо кажется почти совершенно удовлетворительнымъ. Оно очень широко захватываетъ исторію народовъ и очень опредѣлительно выражаетъ собою общее стремленіе нашего времени возводить факты къ идеямъ, а идеи призывать на окончательный судъ и повѣрку фактами. Въ одномъ можно упрекнуть Гизо: онъ слишкомъ рѣзко отдѣляетъ моральную силу отъ матеріальной, какъ будто сила находится гдѣ-то отдѣльно отъ матеріи, а не въ ней самой. Впрочемъ, въ сущности мысль Гизо можетъ имѣть слѣдующій смыслъ. Бываетъ, что общественныя улучшенія, которыя должны быть результатомъ извѣстной степени развитія народа, появляются въ немъ тогда, когда онъ еще не достигъ до этой степени развитія. Такимъ образомъ, какъ будто нѣтъ нравственной основы для матеріальнаго благосостоянія, и она дѣйствительно можетъ не быть въ самомъ этомъ обществѣ, а быть принесена извнѣ, и въ такомъ случаѣ само видимое благосостояніе общества угрожаетъ непрочностью. Въ такомъ смыслѣ — положеніе Гизо представляется вполнѣ вѣрнымъ.

Но г. Жеребцовъ не опровергъ и не дополнилъ того, что можетъ подать поводъ къ возраженіямъ у Гизо. Напротивъ, съ тѣмъ, что моральная сила есть нѣчто совершенно особое, вовсе не находящееся въ матеріальныхъ предметахъ, а навязываемое имъ извнѣ, — съ этимъ онъ вполнѣ согласенъ. Опредѣленіе цивилизаціи, сдѣланное у Гизо, не могло понравиться ему по другой причинѣ. По мнѣнію г. Жеребцова, идеи, управлявшія исторіей

Россіи, начала, по которымъ народъ нашъ развивался, были всегда высоки, непреложны и благотворны, начиная отъ новгородскихъ славянъ и отъ князя Владиміра кіевскаго. Но общественныя улучшенія вводились въ странѣ очень медленно (этого не можетъ не сознать авторъ) и вовсе не соотвѣтствовали этой высокой степени развитія, на которой отдѣльныя лица стояли у насъ уже въ самыя древнія времена. Такъ продолжалось много столѣтій, и слѣдовательно, если бы ужъ признать положеніе Гизо, то пришлось бы идеи, управлявшія развитіемъ древней Руси, сравнить съ негрѣющимъ солнцемъ и признать безплодными, немощными относительно общественнаго благосостоянія. А г. Жеребцовъ никакъ не хочетъ признать этого; онъ, напротивъ, начала древней Руси ставитъ даже въ примѣръ для нынѣшней. — Слѣдовало, значитъ, сочинить собственное, народное опредѣленіе цивилизаціи, въ которомъ бы идеи и умственное развитіе человѣка были сами по себѣ, а общественное благосостояніе — само по себѣ. Г. Жеребцовъ и сочинилъ такое опредѣленіе, въ которомъ превзошелъ самого себя, и изъ котораго онъ ясно могъ вывесть, что идеи, господствовавшія въ древней Руси, вовсе и *не должны* были способствовать общественнымъ улучшеніямъ и матеріальному благосостоянію. Вотъ его опредѣленіе.

«Совершенная цивилизація состоитъ, по нашему мнѣнію, въ высшемъ развитіи умственныхъ и нравственныхъ способностей всѣхъ лицъ, составляющихъ націю, — въ развитіи, приспособленномъ къ возможно большему благу всѣхъ и каждаго».

Опредѣленіе это, какъ видите, сдѣлано съ совершенно иной точки зрѣнія, нежели опредѣленіе Гизо. Здѣсь нѣтъ рѣчи объ общественномъ, матеріальномъ благосостояніи, а упоминается вообще о какомъ-то *благѣ*. Въ чемъ состоитъ это благо по мнѣнію автора, — трудно понять, не прочитавъ его книги. Такимъ образомъ, опредѣленіе страдаетъ неопредѣленностью и принадлежитъ къ числу общихъ мѣстъ, тѣмъ болѣе, что и «развитіе умственныхъ и нравственныхъ способностей» представляетъ у г. Жеребцова фразу, лишенную опредѣленнаго содержанія. Что онъ разумѣетъ подъ нравственными способностями? Въ чемъ полагаетъ ихъ развитіе? Это остается вопросомъ, который всякимъ можетъ быть рѣшаемъ по своему. Г. Орестъ Миллеръ полагаетъ, напримѣръ, что высшее нравственное развитіе состоитъ въ приниженіи своей личности и, если возможно, даже въ совершенномъ отреченіи отъ нея. Можетъ быть, и г. Жеребцовъ близокъ къ подобному взгляду. Тогда — въ чемъ же, по его мнѣнію, будетъ состоять цивилизація?

Слѣдя далѣе за г. Жеребцовымъ, мы находимъ, что онъ предъявляетъ слѣдующія положенія. «Для полнаго развитія человѣка и цѣлаго народа необходимы,—говоритъ онъ,—хорошее знаніе предметовъ, умѣнье хорошо мыслить о нихъ и любовь къ общему благу». Такимъ образомъ цивилизація состоитъ, по выраженію г. Жеребцова, въ томъ, чтобы каждый *хорошо зналъ*, *хорошо мыслилъ* и

хорошо хотѣлъ. По нашему мнѣнію, совершенство мышленія зависитъ непремѣнно отъ обилія и качества данныхъ, находящихся въ головѣ человѣка, и раздѣлять эти двѣ вещи довольно трудно, особенно когда понимать подъ знаніемъ не поверхностное, внѣшнее свѣдѣніе о фактѣ, а внутреннее серьезное проникновеніе имъ, — какъ и понимаетъ самъ г. Жеребцовъ. Но для него ничего не значитъ поставить мышленіе и знаніе въ совершеннѣйшей отдѣльности другъ отъ друга, — не только въ отдѣльномъ человѣкѣ, но даже и въ цѣломъ народѣ. По его мнѣнію, есть народы, которые много знаютъ, но разсуждаютъ плохо, — и есть другіе народы, которые знаютъ мало, но за то разсуждаютъ отлично. Въ образецъ послѣднихъ, г. Жеребцовъ, къ немалому удивленію нашему, приводитъ — Англію! Онъ увѣряетъ, что у англичанъ разсудочныя способности очень развиты и дѣйствуютъ весьма правильно, — *несмотря на недостатокъ знаній!* «Это ужъ зависитъ отъ врожденнаго расположенія народа къ разсужденію» (raisonnement), замѣчаетъ онъ. Это объясненіе показалось намъ чрезвычайно похожимъ на слова свахи въ «Женитьбѣ» Гоголя: «что жъ дѣлать, это ужъ такъ ему Богъ далъ, что ни скажетъ слово, то совретъ. Онъ-то и самъ не радъ, да уже не можетъ, чтобы не прилгнуть: такая ужъ на то воля Божія». Такъ и англичане несчастные: ужъ и сами не рады, а не могутъ, чтобы не разсуждать; такая ужъ на то воля Божія!...

Мнѣніе автора, о недостаткѣ знаній въ Англіи, относится, впрочемъ, къ низшему классу народа. Въ аристократіи онъ признаетъ достаточныя познанія. Но по собственнымъ понятіямъ г. Жеребцова, народу вовсе и не нужно знать больше того, что онъ знаетъ и что нужно для исполненія имъ разныхъ его работъ. Такъ долженъ полагать г. Жеребцовъ, судя по тому, что онъ говоритъ о высшей степени знанія, которую называетъ *усвоеніемъ* (assimiliation), и о томъ, когда знаніе это бываетъ истинно полезнымъ. Усвоеннымъ знаніемъ называетъ онъ то, которое не остается просто въ памяти, а переходитъ въ убѣжденіе, въ жизнь, и ведетъ къ дальнѣйшимъ выводамъ и открытіямъ. О пользѣ знанія говоритъ онъ вотъ что: «чтобы распространеніе знаній было полезно и благотворно, нужно слѣдующее существенное условіе: знанія должны быть распредѣлены въ народѣ такъ, чтобы каждый могъ всю массу своихъ знаній прилагать на дѣлѣ, въ сферѣ своихъ практическихъ занятій, — и наоборотъ, чтобы всякій хорошо зналъ то, что можетъ приложить съ пользою для себя и для общества на практикѣ». Мы, разумѣется, не можемъ вполнѣ согласиться съ такимъ требованіемъ, потому что изъ него можетъ вытекать, напримѣръ, вопросъ: зачѣмъ мужику грамота, которой онъ не можетъ ввести въ кругъ своихъ практическихъ занятій? или вопросъ: зачѣмъ дворянину учиться географіи, когда извозчики есть?.. и т. п. Вообще, въ разныхъ опредѣленіяхъ и мнѣніяхъ г. Жеребцова видна крайняя незрѣлость мысли и шаткость его убѣжденій, происходящая,

можетъ быть, отъ непривычки къ разсужденіямъ о предметахъ отвлеченныхъ, а можетъ быть—и отъ той же причины, по которой у г. Жеребцова англичане разсуждаютъ такъ отлично... Въ настоящемъ случаѣ мы находимъ, что онъ ужъ слишкомъ увлекся мыслью о практической приложимости знаній,—опасаясь, вѣроятно, того, чтобы при бо́льшемъ развитіи просвѣщенія каждый не сталъ разсуждать больше, чѣмъ сколько ему дозволяетъ его званіе и состояніе. А между тѣмъ, тотъ же г. Жеребцовъ въ другихъ мѣстахъ выражаетъ пренебреженіе къ практическимъ улучшеніямъ и хлопочетъ почти исключительно о высокомъ развитіи умственныхъ и нравственныхъ силъ. Съ этой-то точки зрѣнія онъ и хотѣлъ упрекнуть Англію, заимствовавши свой упрекъ у Гизо, который говоритъ, что сторона чисто интеллектуальная,—развитіе человѣка—гораздо слабѣе въ Англіи, чѣмъ соціальная сторона,—развитіе гражданина. Г. Жеребцовъ не сообразилъ, что, избравъ другую точку зрѣнія, надобно ужъ и проводить ее иначе, и принимался повторять объ Англіи мысли Гизо. Но у Гизо ясно отдѣлено интеллектуальное и соціальное развитіе; а г. Жеребцовъ скомкалъ это въ одно—распространеніе знаній, да еще сказалъ, что приложимость (т. е. развитіе соціальное) принадлежитъ высшей степени знанія (т. е. интеллектуальнаго); а потомъ принялся упрекать Англію въ недостаткѣ знаній. Въ путаницѣ, образовавшейся отъ смѣшенія чужихъ идей съ народнымъ воззрѣніемъ, г. Жеребцовъ и не замѣтилъ, что если въ чемъ нельзя упрекать Англію, такъ это именно въ недостаткѣ знаній, приложимыхъ въ практической дѣятельности.

Но этимъ г. Жеребцовъ не довольствуется. Онъ взводитъ на Англію еще обвиненіе *въ недостаткѣ любви къ общему благу*, и здѣсь, опять перефразируя мысли Гизо объ интеллектуальномъ развитіи и скрашивая ихъ милыми возгласами о самоотверженіи, любви ко врагамъ и т. п. Въ объясненіе того, отчего въ Англіи такъ сильна нелюбовь къ общему благу, г. Жеребцовъ приводитъ двѣ причины. Первая состоитъ въ недостаткѣ благочестія истинно-христіанскаго и евангельскаго, которое мы не беремся ни оправдывать, ни объяснять. Вторая причина заключается «въ превосходствѣ положенія, занимаемаго страною, и въ ея политической силѣ, препятствующей въ ней развитію чувствъ смиренія и братства». Силою какихъ умозаключеній дошелъ г. Жеребцовъ до подобныхъ мыслей, мы опять объяснить не можемъ. По всей вѣроятности, русское народное воззрѣніе много участвовало въ его изумительной логикѣ.

Продолжая свое обозрѣніе, г. Жеребцовъ переходитъ къ Франціи. Къ этой странѣ онъ очень не благоволитъ. Знанія здѣсь распространены больше, чѣмъ въ Англіи; но за то степень усвоенія ихъ меньше. (А ужъ и въ Англіи-то г. Жеребцовъ находитъ мало его въ народѣ.) Притомъ, знанія распредѣлены не такъ, какъ бы хотѣлось г. Жеребцову. Люди пріобрѣтаютъ тамъ много знаній, которыхъ не къ чему приложить; вслѣдствіе этого многіе

пускаются въ дурные разговоры или въ злостныя (méchant) писанія. Оттого часто и революціи происходятъ во Франціи. Этому помогаетъ еще и неосновательность французскаго разсудка, происходящая оттого, что онъ знаетъ много лишняго и пускается разсуждать о предметахъ чуждыхъ ему, какъ будто о самыхъ близкихъ. Но особенно гибельно для Франціи отсутствіе въ ней любви къ общему благу. При мысли объ этомъ, г. Жеребцовъ приходитъ даже въ несвойственное ему раздраженіе и сначала поражаетъ послѣдніе годы прошлаго столѣтія, называя ихъ *злополучными* (néfastes), затѣмъ говоритъ, что «напрасно Бурбоны, по возвращеніи своемъ, хотѣли дѣйствовать съ французами, какъ съ народомъ, не совсѣмъ еще потерявшимъ чувства вѣры и благочестія, и что напрасно хотѣли вывести французовъ на дорогу нравственности, бывшей для нихъ противною»... Г. Жеребцовъ такъ вооруженъ противъ Франціи, что даже и въ теперешнемъ ея состояніи не хочетъ надъ нею сжалиться и признать ее цивилизованною, говоря, что въ ней слишкомъ развитъ *личный интересъ*. Въ этомъ случаѣ, г. Жеребцовъ строже, чѣмъ самъ Наполеонъ III, еще недавно признавшій торжественно, что французскій народъ есть peuple éminemment catholique, monarchique et soldat», слѣдовательно, весьма цивилизованный. Ни одного изъ этихъ качествъ г. Жеребцовъ не признаетъ во французахъ и, вслѣдствіе того, ставитъ ихъ весьма низко въ отношеніи къ цивилизаціи. За одно только хвалитъ ихъ нашъ мыслитель, — за патріотизмъ. «Одно нравственное чувство,—говоритъ онъ,—сохранившееся въ этой націи, къ чести французовъ, есть общее стремленіе къ славѣ своей страны»... Не мѣшало бы прибавить, что это чувство особенно сильно развито въ гасконцахъ.

Къ Германіи всего болѣе лежитъ сердце автора. Тамъ находитъ онъ и повсюдное распространеніе знаній, и вѣрность, основательность разсудка, и любовь къ общему благу, развитую въ большей степени, чѣмъ гдѣ-либо. О недостаткѣ приложимости теоретическихъ знаній нѣмцевъ упоминаетъ онъ слегка, въ особенности напирая на ихъ любовь къ общему благу. Въ Германіи протестанской, говоритъ онъ, общая нравственность основывается на убѣжденіяхъ философскихъ, получающихъ свою силу отъ принциповъ евангельскихъ; въ Германіи же католической, наоборотъ, нравственность основана прямо на религіи, подкрѣпляемой и убѣжденіями философскими. Такимъ образомъ, результатъ выходитъ въ обоихъ случаяхъ одинъ и тотъ же, и вотъ вамъ легкое примиреніе протестантства и католицизма!.. Впрочемъ, мы все-таки должны замѣтить, что г. Жеребцовъ уже слишкомъ рѣшительно поступилъ, позволивъ себѣ сдѣлать такого рода повальный отзывъ о цѣлой Германіи. Читая этотъ отзывъ, такъ и представляешь французскаго туриста, который пишетъ о Россіи: «русскій народъ очень любитъ французскій языкъ и старается безпрестанно говорить на немъ. Вся Россія достигла высокой степени умственнаго развитія, потому

что всѣ тамъ умѣли съ перваго раза оцѣнить мои достоинства, и принимали каждое мое слово съ живѣйшимъ энтузіазмомъ» и пр.

Вотъ такова степень цивилизаціи главнѣйшихъ народовъ Европы; теперь сравнимъ съ ними Россію, — говоритъ г. Жеребцовъ, и, вслѣдъ затѣмъ, приступаетъ къ изложенію исторіи русской цивилизаціи. Изложеніе это составлено способомъ довольно легкимъ. Всю исторію Россіи г. Жеребцовъ раздѣлилъ, разумѣется, на два отдѣла — древній и новый. Въ первомъ томѣ излагается древняя исторія до Петра; во второмъ—новая, отъ Петра до нашихъ временъ. Древняя исторія раздѣлена на четыре періода: до христіанскій, отъ христіанства до монголовъ, монгольскій и періодъ царей. Обозрѣнія собственно историческія весьма коротки и скомпилированы большею частію изъ Карамзина. Изъ Карамзина же извлечены почти всѣ свѣдѣнія, излагаемыя въ главахъ о внутреннемъ состояніи Россіи въ разные періоды, — по слѣдующимъ рубрикамъ: законодательство, администрація, просвѣщеніе, нравственность, литература, искусства, промышленность и торговля. Такимъ же способомъ составлено обозрѣніе новой исторіи Россіи; но здѣсь уже не было для г. Жеребцова руководящей нити, въ родѣ «Исторіи Карамзина», и потому фактическихъ ошибокъ здѣсь сравнительно больше. За то объясненіе фактовъ и общій взглядъ на развитіе Россіи—совершенно одинаково ошибочны, узки и странны,—какъ въ первой такъ и во второй части «Опыта» г. Жеребцова. Мы предоставляемъ себѣ въ слѣдующей статьѣ прослѣдить взгляды автора на различныя эпохи русской исторіи и указать его частныя ошибки и увлеченіи. Въ сущности, конечно, этого бы и не стоило дѣлать; но г. Жеребцовъ объявляетъ себя въ своей книгѣ представителемъ цѣлой партіи, извѣстной у насъ подъ именемъ славянофиловъ, а въ его «Опытѣ» называемой «le vieux parti russe». Относительно знаній и силы убѣжденія, это, правда, представитель довольно плохой; но за то онъ очень полно выразилъ мнѣнія своей партіи, систематически провелъ ихъ по всей русской исторіи и весьма откровенно высказалъ тѣ начала, которымъ, по его мнѣнію, долженъ слѣдовать русскій народъ въ своемъ развитіи. Указаніемъ его общихъ взглядовъ мы и заключимъ пока эту статью, съ тѣмъ чтобы въ слѣдующей прослѣдить ихъ развитіе въ частностяхъ. Полагаемъ, что для нашихъ читателей вовсе нѣтъ надобности итти въ этомъ случаѣ отъ анализа фактовъ къ синтезу идей, какъ полагаетъ это необходимымъ г. Жеребцовъ для *своихъ* европейскихъ читателей. Исторія наша извѣстна намъ болѣе или менѣе, слѣдовательно, высшіе взгляды г. Жеребцова могутъ быть понятны. А между тѣмъ, общій взглядъ автора на русскую цивилизацію недурно поставить здѣсь рядомъ съ его воззрѣніемъ на цивилизацію другихъ народовъ Европы.

Слѣдуя своему ученію о трехъ элементахъ цивилизаціи, г. Жеребцовъ, въ заключеніи своего «Опыта», даетъ намъ опредѣленіе того, въ какомъ положеніи эти три элемента находятся въ рус-

скомъ народѣ. *Любовь къ общему благу*, признаваемая у него главнымъ изъ элементовъ, приводитъ его въ восхищеніе высокой степенью своего развитія. Великія добродѣтели находитъ г. Жеребцовъ въ русскомъ народѣ: вѣрность православію, набожность, покорность и сострадательность. Добродѣтели эти помрачаются только ничтожнѣйшими, по его мнѣнію, пороками: лукавствомъ, недостаткомъ твердости, лѣностью и наклонностью къ чужому. Но и эти ничтожные пороки извиняются тѣмъ, что они явились вслѣдствіе монгольскаго владычества. Одно только безпокоитъ нѣсколько г. Жеребцова: то, что чѣмъ выше подниматься отъ народа, тѣмъ нравственность болѣе слабѣетъ. Обстоятельство, дѣйствительно, ужасное; мы вполнѣ это понимаемъ и придаемъ этому такое значеніе, что рѣшаемся привести здѣсь въ переводѣ слова самого г. Жеребцова, опасаясь измѣнить что-нибудь въ начертанной имъ картинѣ (т. II, стр. 584 и сл.).

«Нравственность разныхъ сословій въ Россіи находится въ обратномъ отношеніи къ общественной іерархіи. Высшій классъ общества, не сохранивши съ народомъ никакой связи въ идеяхъ, обычаяхъ, вѣрованіяхъ и нравственности, стоитъ совершенно отдѣльно, какъ будто особое племя. Онъ создалъ для себя собственную исторію и свой особенный ходъ нравственнаго развитія, совершившагося въ немъ послѣ реформы. Люди этого класса начали съ отреченія отъ всѣхъ глубокихъ вѣрованій православнаго христіанства, которыми отличались ихъ предки. Они пытались замѣнить ихъ философскими убѣжденіями, взятыми изъ французскихъ писателей XVIII вѣка. Но въ этомъ умственномъ фейерверкѣ они не нашли твердаго основанія нравственности и погнались за нравственными наслажденіями низшаго сорта, удовлетворяя себя властолюбіемъ, чванствомъ, лестью окружающихъ, роскошью жизни и, такимъ образомъ, стараясь наполнить искусственно ту пустоту, которую произвело въ душѣ ихъ отсутствіе религіозныхъ чувствъ—спокойствія и надежды.

Въ этихъ-то нравственныхъ переворотахъ прошелъ весь XVIII вѣкъ и начало XIX. Идя отъ высшихъ, эти гибельныя стремленія проникали мало помалу во всѣ слои дворянства (*toutes les couches de la noblesse*). Чинолюбіе овладѣло всѣми, потому что съ чиномъ все можно было удовлетворить: честолюбіе удовлетворялось полученіемъ многихъ чиновъ; чванство также находило удовлетвореніе, потому что низшій чиномъ обыкновенно прислуживался къ тому, кто имѣлъ чинъ побольше; наконецъ, по чинамъ занимали мѣста болѣе или менѣе выгодныя, дававшія возможность роскоши, этого единственнаго выраженія превосходства въ обществѣ глубоко матеріалистическомъ. Не прошедши чрезъ школу рыцарства, высшій классъ общества въ Россіи имѣлъ только искусственное и поверхностное понятіе о чести. Это чувство никогда не проникало въ глубину убѣжденій всего этого класса и очень слабо замѣняло идею долга, основанную на вѣрѣ религіозно-нравственной. Начала философіи полковника Вейсса не были столь сильною уздою для страстей, какою была для нихъ боязнь грѣха. Мысль — оставить честный слѣдъ своего существованія, провозглашенная моралистами XVIII вѣка, не была столько привлекательна, какъ надежда вѣчной награды за добродѣтель,—надежда, составляющая основаніе христіанской вѣры.

Страсти разнообразились по мѣрѣ утонченности въ матеріальныхъ наслажденіяхъ; узда, ихъ сдерживавшая, ослаблялась съ измѣненіемъ горячей и энергической вѣры въ міръ будущій — на слабую и ничтожную мысль о честномъ существованіи временномъ. При этомъ нравственность того класса общества, который подвергся дѣйствію этого измѣненія, необходимо должна была пасть. Распутство и продажность въ общественныхъ должностяхъ были послѣдствіями этого нравственнаго переворота.

Всѣ начали чувствовать тяжесть этихъ недостатковъ, и появилась сатира

Сначала она поражала членовъ низшаго дворянства, потомъ брала себѣ предметы изъ средняго слоя этого сословія: и нынѣ мы видимъ, что она дерзаетъ (*risque*), время отъ времени, задѣвать даже высшее дворянство (*sommités nobiliaires*) своимъ благодѣтельнымъ остріемъ. Результаты были благотворны: всѣ примѣтили существованіе нравственнаго безобразія въ обществѣ.

NB. Вынужденные нашимъ предметомъ разсмотрѣть нравственное состояніе дворянства, мы должны были быть строгими въ нашей оцѣнкѣ, потому что, имѣя честь сами принадлежать къ этому дворянству, мы не хотѣли заслужить упрека въ пристрастіи къ нашему собственному сословію. Тѣмъ не менѣе справедливость заставляетъ насъ сказать, что русское дворянство можетъ представить великое множество личностей, достойныхъ всякаго уваженія и всякаго почтенія, и что только по причинѣ слишкомъ огромнаго количества фамилій, составляющихъ это сословіе, и по различію степеней образованія между ними, общее заключеніе постоянно выходитъ въ ихъ невыгоду».

По этой страницѣ, и въ особенности по примѣчанію, читатели наши могутъ судить, до какой степени откровененъ и безпристрастенъ г. Жеребцовъ. Мы ничего не въ состояніи прибавить къ этой выпискѣ, да полагаемъ, что это и не нужно: тутъ весь г. Жеребцовъ — съ своими началами, тенденціями, логикой, свѣдѣніями, способомъ выраженія, и пр. Можно только замѣтить еще, что не всегда г. Жеребцовъ выражается такъ смѣло и рѣзко, какъ въ приведенной выпискѣ: здѣсь онъ особенно хотѣлъ показать себя, потому что «не хотѣлъ заслужить упрека въ пристрастіи».

Оставляя, впрочемъ, въ сторонѣ самого автора, будемъ слѣдить далѣе за его идеями. Любовь къ общему благу онъ признаетъ весьма сильною въ народѣ и только высшій классъ общества считаетъ удалившимся отъ этой любви, по причинѣ заражанія его философскими началами полковника Вейсса. Что касается до исчисленныхъ г. Жеребцовымъ пороковъ народа, то онъ считаетъ ихъ неважными, а нѣкоторые признаетъ даже большими достоинствами. Напримѣръ, съ особеннымъ сочувствіемъ говоритъ онъ о томъ, что въ народѣ нашемъ не считается безчестнымъ тѣлесное наказаніе, и что ругательство или тюремное заключеніе считается гораздо хуже. «Основаніе такого понятія, говоритъ г. Жеребцовъ, — религіозное: вѣрующій простолюдинъ никакъ не можетъ допустить, чтобы могло быть безславнымъ пятномъ тѣлесное наказаніе, которому подвергался самъ Спаситель рода человѣческаго; онъ вѣруетъ, что словесная обида поражаетъ безсмертную часть человѣка, тогда какъ ударъ производитъ страданіе только въ низшей части нашего существа». Послѣ этого убѣдительнаго объясненія, г. Жеребцовъ обращается даже съ упрекомъ къ тѣмъ, которые осмѣлились говорить о равнодушіи русскихъ къ тѣлесному наказанію безъ надлежащаго уваженія къ этому прекрасному качеству. Затѣмъ, г. Жеребцовъ справедливо заключаетъ, что Россія *хочетъ хорошо*, veut bien. И прекрасно!..

За то, относительно распространенія знаній въ Россіи, г. Жеребцовъ сознается, что эта часть у насъ еще слаба. Разумѣется, виновниками этого признаются Батый и Петръ Великій: такъ ужъ выходитъ по народному воззрѣнію!.. Но мы не будемъ на этомъ

останавливаться, оставляя всю историческую часть до слѣдующей статьи. Здѣсь представимъ только догматическія положенія г. Жеребцова, относящіяся къ настоящему и отчасти къ будущему Россіи. Относительно знаній, по мнѣнію автора «Опыта», Россія въ настоящее время достигла уже той зрѣлости труда, при которой дальнѣйшіе успѣхи нужно уже будетъ считать не годами, а мѣсяцами. Г. Жеребцовъ не сомнѣвается, что въ самое короткое время Россія выработаетъ даже *избытокъ* знанія, который можетъ потомъ удѣлить на воздѣлываніе общечеловѣческой науки (стр. 614). Въ особенности поддерживаетъ такую надежду характеристика славянскаго ума, сочиненная г. Жеребцовымъ. «Славянинъ вообще,— говоритъ онъ (стр. 547),—обладаетъ особенной способностью пріобрѣтать познанія обширныя и разнообразныя. Глубокое знаніе какой-нибудь одной части не поглощаетъ его совершенно; онъ всегда находитъ въ себѣ довольно способности для изученія и другихъ частей, болѣе или менѣе различныхъ между собою, а иногда даже и совершенно разнородныхъ. *Славянинъ, по натурѣ своей, энциклопедистъ; это—олицетворенный эклектизмъ*». И вслѣдъ за этимъ, черезъ двѣ страницы, г. Жеребцовъ восклицаетъ: «вотъ что, по нашему мнѣнію, должно понимать подъ именемъ *народности въ наукѣ*, провозглашенной старою русскою партіей и навлекшей на нее столько насмѣшекъ со стороны приверженцевъ космополитизма» (стр. 550). Мы ничего не скажемъ относительно достоинства логики, какую обнаруживаетъ въ этомъ случаѣ г. Жеребцовъ, а замѣтимъ только, что онъ обнаруживаетъ въ этомъ случаѣ нѣкоторый manque de savoir. Совершенно вопреки его предположеніямъ, мнѣніе о томъ, что народность русская состоитъ въ эклектизмѣ, въ подражательности, — было провозглашено именно однимъ изъ приверженцевъ космополитизма. Какъ слишкомъ ужъ оригинальное, оно не нашло защитниковъ въ своей партіи, а отъ старой руской партіи заслужило насмѣшки, да вѣдь какія!.. Если бы г. Жеребцовъ зналъ ихъ, онъ ни за что бы не высказалъ своего мнѣнія о томъ, что подъ именемъ народности въ наукѣ нужно разумѣть славянскій эклектизмъ.

Впрочемъ, славянофилы пощадили бы, по всей вѣроятности, г. Жеребцова за то, что онъ написалъ о будущей народной наукѣ, между прочимъ, слѣдующее: «Славянинъ упроститъ приложеніе знанія къ пользамъ человѣчества и обобщитъ это приложеніе. Въ наукахъ историческихъ, политическихъ и философскихъ, роль славянорусса состоитъ въ *облагонравленіи* (moralisation) этихъ наукъ. Онъ сумѣетъ придать имъ этотъ характеръ нравственной пользы, этотъ религіозный духъ, который возвыситъ и очиститъ человѣка, вмѣсто того, чтобы развратить его и погрузить въ міръ матеріальный, безъ будущности и безъ совершенствованія».

Соглашаясь, что въ Россіи еще мало распространены знанія, г. Жеребцовъ не придаетъ, впрочемъ, большого значенія этому обстоятельству: онъ находитъ, что русскіе и безъ науки умны.

Способности ихъ такъ велики, что и не зная ничего, они могутъ разсуждать отлично. Въ подтвержденіе такого сверхъ-естественнаго феномена стоитъ только, по мнѣнію г. Жеребцова, привести Юстиніана и Кокорева (стр. 552). Юстиніанъ, какъ извѣстно, былъ славянинъ и назывался прежде Управдою. Извѣстно и то, что онъ былъ великій императоръ и что не получилъ никакого школьнаго образованія. Прокопій свидѣтельствуетъ даже, что онъ едва умѣлъ подписывать свое имя. «А между тѣмъ, восклицаетъ г. Жеребцовъ, идеи его управляютъ міромъ вотъ уже 1300 лѣтъ»! И затѣмъ онъ продолжаетъ: «эта способность славянъ не выродилась и въ наше время. Знаменитый Кокоревъ (le fameux Kokoreff), съ такой выгодной стороны показавшій себя Европѣ своими письмами о русской торговлѣ, которыя отличаются оригинальными взглядами и нѣкоторыми глубокими соображеніями, есть дитя народа, и его школьное образованіе ограничивается курсомъ элементарной школы». Такимъ образомъ, Юстиніанъ и Кокоревъ могутъ совершенно утѣшить всякаго, кто вздумалъ бы огорчиться недостаточнымъ распространеніемъ знаній въ Россіи. На основаніи этихъ великихъ примѣровъ и нѣкоторыхъ соображеній, столько же поразительныхъ и оригинальныхъ, г. Жеребцовъ произноситъ слѣдующій приговоръ о мыслительныхъ способностяхъ русскаго народа. «Итакъ, русскій народъ щедро одаренъ умственными способностями, чтобы быть въ состояніи *хорошо мыслить*. Исторически онъ воспитанъ такъ, что могъ развиться и усовершенствоваться въ этомъ второмъ элементѣ цивилизаціи и *соперничать* съ другими народами, которые считаютъ себя совершенно цивилизованными. Мы не говоримъ: *превзойти*, потому что русскіе скорѣе скромны, чѣмъ самонадѣяны».

Таковы общія идеи автора, таковы его взгляды и желанія. Мы не знаемъ, нужно ли доказывать ихъ несостоятельность предъ судомъ здраваго смысла и ихъ полное несоотвѣтствіе съ дѣйствительностью. Шаткость понятій автора и безпрерывныя противорѣчія его сужденій, замѣтныя даже для самаго невнимательнаго читателя, могли бы насъ избавить отъ этого. Но мы вспомнимъ опять, что г. Жеребцовъ представляетъ, — плохо, правда, но все-таки представляетъ,—мнѣнія цѣлой партіи. Поэтому сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній относительно взгляда на русскую цивилизацію, который такъ неудачно и неловко высказанъ г. Жеребцовымъ, но который въ существенныхъ чертахъ своихъ принимается тою партіею, къ которой авторъ «Опыта» самъ себя причисляетъ. Мы не примемъ на себя труда ронять автора, который такъ нетвердъ на ногахъ, что и самъ по себѣ безпрестанно спотыкается и падаетъ на пути своихъ умозрѣній. Мы оставимъ въ покоѣ и полковника Вейсса, какъ развратителя нашего дворянства, и народный характеръ, состоящій въ эклектизмѣ, и сравненіе Юстиніана съ Кокоревымъ, и сочувствіе къ тѣлесному наказанію, столь наивно выраженное; мы не коснемся собственной логики г. Жеребцова,

пройдемъ молчаніемъ тѣ качества, какія выразилъ онъ въ характеристикѣ недостатковъ высшаго сословія въ Россіи и въ примѣчаніи къ этой характеристикѣ. Оставимъ все это: навѣрное, не много найдется читателей, которые бы сами не поняли, откуда проистекаютъ и къ чему ведутъ соображенія г. Жеребцова, и навѣрное никто не сочтетъ ихъ справедливыми. Поэтому, мы обратимъ вниманіе на общія черты взгляда г. Жеребцова, не касаясь личныхъ его ошибокъ.

Во взглядѣ этомъ прежде всего поражаетъ насъ искусственная точка зрѣнія. Берутся свои отвлеченные принципы, и подъ нихъ подводится живое народное развитіе. Совершенно произвольно ставятся общія начала, дѣлается искусственная классификація, насильственно раздѣляется то, чего нельзя раздѣлять, соединяется то, что не имѣетъ между собою ни малѣйшей связи. Вовсе не думаютъ взглянуть прямо и просто на современное положеніе народа и на его историческое развитіе, съ тѣмъ, чтобы представить картину того, что имъ сдѣлано для усвоенія общечеловѣческихъ идей и знаній, для примѣненія ихъ къ своему быту, или что имъ самимъ создано полезнаго для человѣчества. Нѣтъ, прежде всего ставятъ надъ народомъ собственныя условныя идейки, и затѣмъ смотрятъ только на то, въ какой степени удовлетворяетъ онъ этимъ идейкамъ. И какой мертвечиной схоластики вѣетъ отъ самыхъ идеекъ этихъ! Какъ будто можно не шутя отдѣлять въ народномъ развитіи знаніе отъ мышленія и мышленіе отъ стремленія къ общему благу! Какъ будто есть возможность серьезно искать общаго блага, когда не умѣешь порядочно разсуждать, и будто можно хорошо разсуждать, не имѣя нужныхъ свѣдѣній, не зная того, о чемъ хочешь разсуждать. Вѣдь это можно въ насмѣшку повторять слова щедринской талантливой натуры, что «русскій человѣкъ безъ науки всѣ науки прошелъ»; въ насмѣшку можно сказать, что г. Кокоревъ, не имѣя никакихъ познаній, внезапно написалъ геніальное сочиненіе о предметѣ, который отъ другихъ обыкновенно требуетъ продолжительныхъ занятій и серьезнаго изученія. Не въ шутку этого говорить нельзя и объ отдѣльномъ человѣкѣ, не только-что о цѣлой націи. Въ развитіи народовъ и всего человѣчества — сами принципы, признаваемые главнѣйшими двигателями исторіи, зависятъ несомнѣнно отъ того, въ какомъ положеніи находятся, въ ту или другую эпоху, человѣческія познанія о мірѣ. Сужденіе о предметѣ, мнѣніе необходимо связывается съ каждымъ знаніемъ. Невозможно представить себѣ предмета, который бы я зналъ и о которомъ бы у меня не было никакого сужденія въ головѣ. Сужденіе мое можетъ быть невѣрно или нетвердо, робко; но и это опять будетъ зависѣть отъ недостаточнаго знанія всѣхъ сторонъ предмета. Если же я знаю предметъ такъ основательно и ясно, что, въ немъ уже не остается для меня ничего незнакомаго или непонятнаго, то заключеніе мое о немъ непремѣнно будетъ отличаться тою же рѣшительностью и ясностью. Да вѣдь самый процессъ усвое-

нія знаній заключаетъ въ себѣ и разсудочную дѣятельность, т. е. составленіе сужденій и умозаключеній. Извѣстно, даже изъ начальныхъ основаній логики, что только посредствомъ силлогизма можно составить понятіе о предметѣ; а силлогизмъ опять основывается на посылкахъ, которыхъ вѣрность зависитъ отъ большей или меньшей правильности данныхъ; для правильности же данныхъ нужно знать предметъ, къ которому они относятся, и т. д. И это, столь неразрывное въ своемъ единствѣ, органически-цѣлое явленіе хотятъ намъ представить какъ двѣ вещи, совершенно отдѣльныя, изъ которыхъ одна легко можетъ обойтись безъ другой. Хотятъ увѣрить насъ, что можетъ быть народъ, набивающій себя познаніями, безъ умѣнья мыслить, и можетъ быть другой народъ, предающійся мысли, безъ знаній. Да вѣдь что же составляетъ матеріалъ мысли, какъ не познаніе внѣшнихъ предметовъ? Возможна ли же мысль безъ предмета; не будетъ ли она тогда чѣмъ-то непостижимымъ, лишеннымъ всякой формы и содержанія? Вѣдь защищать возможность такой безпредметной и безформенной мысли рѣшительно значитъ утверждать, что можно сдѣлать что-нибудь изъ ничего!..

Но раздѣляющіе знаніе отъ мышленія говорятъ, что не всѣ люди одарены одинаковой способностью комбинировать тѣ данныя, которыя имъ представляются, и что отсюда-то и происходитъ разнообразіе выводовъ, какіе дѣлаются различными людьми объ однихъ и тѣхъ же предметахъ. Съ этой точки зрѣнія, говорятъ они, и можно разсматривать разныя личности и разныя народности совершенно отдѣльно по каждому изъ двухъ пунктовъ; знанія могутъ быть у человѣка въ извѣстномъ объемѣ и порядкѣ, но умѣнье распоряжаться ими можетъ быть развито совершенно несоотвѣтственнымъ образомъ. Справедливость факта этого можно признать; но если и можно придавать ему какое нибудь значеніе, то во всякомъ случаѣ скорѣе относительно отдѣльныхъ лицъ, нежели цѣлаго народа. Въ значительной массѣ людей не такъ легко можетъ произойти наплывъ невыработанныхъ и противорѣчащихъ знаній, ставящихъ втупикъ силу мыслящую, какъ въ одномъ человѣкѣ; въ цѣломъ же народѣ рѣшительно невозможно это, потому что непонятое или неясно понятое однимъ непремѣнно будетъ здѣсь уясняться и повѣряться другимъ. Если можетъ быть существенное различіе между народами въ умственномъ отношеніи, такъ это въ обиліи и характерѣ самыхъ знаній, успѣвшихъ войти въ сознаніе народа. Знанія эти, завися отъ разнообразія мѣстныхъ предметовъ, могутъ, конечно, значительно различаться у разныхъ народовъ, производя разницу въ характерѣ народа, относительно его пылкости или холодности, стремительности или медленности, и т. п. Разнообразіе же въ мыслительной способности можетъ состоять и здѣсь только въ томъ, что о предметахъ чуждыхъ, менѣе извѣстныхъ, сужденія составляются медленнѣе и съ меньшей основательностью, чѣмъ о явленіяхъ близкихъ и всѣмъ хорошо знакомыхъ.

Все это такъ просто и ясно, что мы не считаемъ нужнымъ даже подтверждать это примѣрами и болѣе пространными разсужденіями. Но даже если различіе въ умственныхъ способностяхъ разныхъ народовъ и признать фактомъ справедливымъ, и тогда все-таки этого различія нельзя принять за исходную точку для взгляда на развитіе цивилизаціи. Народныя различія вообще зависятъ всего болѣе отъ историческихъ обстоятельствъ развитія народа. Въ особенности же это можно сказать о чисто интеллектуальномъ развитіи. Всякое различіе въ этомъ отношеніи должно быть признаваемо слѣдствіемъ цивилизаціи, а не коренною ея причиною. Не потому, въ самомъ дѣлѣ, англичане отличаются практическими приложеніями знаній, что таковы ужъ искони врожденныя ихъ свойства, «такъ ужъ имъ это Богъ далъ»; а напротивъ — эти самыя свойства явились у англичанъ въ продолженіе вѣковъ, вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ ихъ историческаго развитія. Такъ точно — не потому русскіе до сихъ поръ подражали Западу, что ужъ такая у славянъ природа эклектическая, а просто потому, что къ подражанію велъ ихъ весь ходъ русской цивилизаціи. Такимъ образомъ, если ужъ и можно обращать вниманіе на народныя различія съ этой стороны, то не иначе, какъ въ строгой, послѣдовательной, неразрывной связи разсматривая внѣшнее распространеніе знаній и внутреннюю ихъ обработку въ сознаніи народа. Раздѣлять эти двѣ вещи можно было бы еще тогда, когда бы авторъ объявилъ, что подъ знаніемъ вообще онъ разумѣетъ все, что только когда-либо коснулось слуха народа, хотя бы и не оставивъ въ сознаніи его ни малѣйшаго слѣда. Но можно ли называть это знаніемъ, можно ли подобное знаніе принимать какъ одинъ изъ элементовъ цивилизаціи? Нѣтъ, очевидно, тутъ разумѣется знаніе живое, ясное, глубоко-проникшее въ сознаніе, сдѣлавшееся убѣжденіемъ и правиломъ жизни. И вдругъ—такое знаніе хотятъ разсматривать отдѣльно отъ умственныхъ способностей!..

Еще болѣе странною представляется намъ ошибка, какую дѣлаютъ добрые люди, толкуя о третьемъ элементѣ ихъ цивилизаціи,—о любви къ общему благу, независимо отъ знаній и умственнаго развитія народа. Намъ представляется прежде всего страшная неопредѣленность въ этомъ выраженіи: любовь къ общему благу. Каждый можетъ толковать его по-своему. Затѣмъ, мы не понимаемъ, какая же *нелюбовь* къ общему благу можетъ быть въ цѣломъ народѣ? Безъ всякаго сомнѣнія, каждый народъ вообще хочетъ себѣ добра и старается его достигнуть, когда дѣйствуетъ свободно, всей массой, не стѣсняемый посторонними препятствіями. Если же его дѣйствія стѣсняются кѣмъ-нибудь и направляются не къ добру, то отвѣтственность за это, какъ за дѣйствіе несвободное, снимается съ народа и переносится на тѣ лица, которыя его стѣсняютъ. Когда же можетъ быть случай, чтобъ народъ *весь* выразилъ нелюбовь къ общему благу? Въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ попадаетъ на ложный и вредный путь развитія? Но тутъ

надобно видѣть ошибку, недостатокъ вѣрныхъ знаній, а все-таки не отвращеніе отъ общаго блага. Очевидно, что люди, отыскивающіе въ народахъ развитіе любви къ общему благу, берутъ уже здѣсь не массу народа, а отдѣльныя личности. Много имъ встрѣтилось въ народѣ лицъ, подающихъ милостыню: значитъ, любовь къ общему благу развита. Много нашлось людей, ищущихъ только собственной выгоды: стало быть, любовь къ общему благу развита слабо. Что можетъ быть наивнѣе такого заключенія? Ничего никому не доказывая, оно можетъ служить только большему обнаруженію несостоятельности мнѣнія о любви къ общему благу, какъ о чемъ-то реальномъ, особо и самостоятельно существующемъ въ народѣ. Заключеніе о различіи въ народахъ этой любви основывается очевидно на томъ, что въ одномъ народѣ менѣе людей, ищущихъ собственнаго, личнаго блага, а въ другомъ—болѣе. Но вѣдь это совершенно несправедливо. Всѣ люди, во всѣ времена, во всѣхъ народахъ, искали и ищутъ собственнаго блага; оно есть неизбѣжный и единственный стимулъ каждаго свободнаго дѣйствія человѣческаго. Разница только въ томъ, кто какъ понимаетъ это благо, въ чемъ видитъ удовлетвореніе своего эгоизма. Есть эгоисты грубые, которыхъ взглядъ чрезвычайно узокъ и которые понимаютъ свое благо въ лѣни, въ чувственности, въ уничиженіи предъ собою другихъ, и т. п. Но есть эгоисты и другого рода. Ихъ дѣйствія можно производить изъ безкорыстной любви къ общему благу, но въ сущности и у нихъ первое побужденіе — эгоизмъ. Отецъ, радующійся успѣху своихъ дѣтей, гражданинъ, принимающій близко къ сердцу благо своихъ соотечественниковъ — тоже эгоисты: вѣдь все-таки *они*, *они сами*, чувствуютъ удовольствіе при этомъ, вѣдь они не отрекаются отъ себя, радуясь радости другихъ. Даже когда человѣкъ жертвуетъ чѣмъ-нибудь своимъ для другихъ,—эгоизмъ и тутъ не оставляетъ его. Онъ отдаетъ бѣдняку деньги приготовленныя на прихоть: это значитъ, что онъ развился до того, что помощь бѣдняку доставляетъ ему больше удовольствія, нежели исполненіе прихотей. Но если онъ дѣлаетъ это не по влеченію сердца, а по предписанію долга, повелѣвающаго любовь къ общему благу? Въ этомъ случаѣ эгоизмъ скрывается глубже, потому что здѣсь уже дѣйствіе не свободное, а принужденное; но и тутъ есть эгоизмъ. По чему-нибудь человѣкъ предпочитаетъ же предписаніе долга своему внутреннему влеченію. Если въ немъ нѣтъ любви, то есть страхъ: онъ опасается, что нарушеніе долга повлечетъ за собою наказаніе или какія-нибудь другія непріятныя послѣдствія; за исполненіе же онъ надѣется награды, доброй славы, и т. п. Такимъ образомъ, любовь къ общему благу (въ которой иные могутъ видѣть и самоотверженіе, и обезличеніе человѣка) есть, по нашему мнѣнію, не что иное, какъ благороднѣйшее проявленіе личнаго эгоизма. Когда человѣкъ до того развился, что не можетъ понять своего личнаго блага внѣ блага общаго, когда онъ при этомъ ясно понимаетъ свое мѣсто въ обществѣ, свою

связь съ нимъ и отношенія ко всему окружающему, тогда только можно признать въ немъ дѣйствительную, серьозную, а не реторическую любовь къ общему благу. Ясно, слѣдовательно, что для значительнаго развитія въ обществѣ этого качества нужно высокое умственное развитіе всѣхъ его членовъ, нужно много живыхъ и здравыхъ понятій, не головныхъ только, но проникшихъ въ самое сердце, перешедшихъ въ практическую дѣятельность, переработанныхъ въ плоть и кровь человѣка. Не случайные порывы, не призрачныя стремленія, развившіяся по чужимъ фантазіямъ, а именно масса такихъ выработанныхъ знаній, проникшихъ въ народъ, управляетъ ходомъ исторіи человѣчества. До сихъ поръ подобныхъ знаній еще весьма мало выработано людьми, да и тѣ, которыя выработаны, рѣдко проникали во всю массу народа. Оттого до сихъ поръ исторія народовъ представляетъ въ своемъ ходѣ нѣкотораго рода путаницу: одни постоянно спятъ, потому что хоть и имѣютъ нѣкоторыя знанія, но не выработали ихъ до степени сердечныхъ, практическихъ убѣжденій; другіе не возвысили еще своего эгоизма надъ инстинктами хищной природы и хотятъ удовлетворить себя притѣсненіемъ другихъ; третьи, не понимая настоящаго, переносятъ свой эгоизмъ на будущее: четвертые, не понимая самихъ себя, тѣшатъ свой эгоизмъ помѣщеніемъ себя подъ чужой покровъ, и т. д. Непониманіе того, въ чемъ находится настоящее благо, и стараніе отыскать его тамъ, гдѣ его нѣтъ и не можетъ быть,—вотъ до сихъ поръ главный двигатель всемірной исторіи.

Какъ же это у насъ-то такъ сильно развилась любовь къ общему благу? — спросимъ мы г. Жеребцова съ братіею. Откуда ей было взяться у насъ, если знанія у насъ распространены такъ мало, по собственному сознанію автора «Опыта»,—сознанію, вполнѣ согласному съ дѣйствительностью? Или г. Жеребцовъ и всѣ, признающіе справедливость его мнѣнія, понимаютъ подъ любовью къ общему благу что-нибудь другое, а не то, что слѣдуетъ; или въ ихъ сужденіи находится явное и грубое противорѣчіе. Чтобы *понять общее благо*, нужно много основательныхъ и твердыхъ знаній объ отношеніи человѣка къ обществу и ко всему внѣшнему міру; чтобы *полюбить* общее благо, нужно воспитать въ себѣ эти здравыя понятія, довести ихъ до степени сердечныхъ, глубочайшихъ убѣжденій, слить ихъ съ собственнымъ существомъ своимъ. Но и этого еще мало отдѣльному человѣку для того, чтобы по идеѣ любви къ общему благу *расположить всю свою дѣятельность*. Тутъ уже силы одного человѣка ничтожны: нужно, чтобы большинство общества прониклось тѣми же убѣжденіями, достигло такой же степени развитія. Тогда только можно сказать объ обществѣ, что въ немъ, дѣйствительно, распространена истинная любовь къ общему благу. Но сказать это объ обществѣ, въ которомъ самъ же признаешь недостатокъ распространенія даже элементарныхъ свѣдѣній, значитъ сказать горькую насмѣшку...

Намъ могутъ замѣтить, что предъявляемыя нами требованія

никогда и нигдѣ еще не были выполняемы. Мы это знаемъ и не хотимъ указывать русскому обществу какіе-нибудь идеалы въ современныхъ европейскихъ государствахъ. Но мы не думаемъ, чтобъ этимъ уничтожалась истина нашихъ словъ. Мы ставимъ мѣрку: пусть никто не дорось до нея, все-таки по ней можно судить объ относительномъ ростѣ каждаго. А по фантастической чертѣ, проведенной г. Жеребцовымъ въ воздухѣ, ни о чемъ нельзя судить.

Мы предвидимъ, впрочемъ, что приверженцы взгляда, излагаемаго г. Жеребцовымъ, скажутъ намъ, что любовь къ добру есть чувство врожденное человѣку и отъ знанія не зависитъ. Мы готовы согласиться съ этимъ, потому что сами опредѣляемъ природный эгоизмъ человѣка стремленіемъ къ возможно-большему добру. Но тутъ, какъ на зло, непремѣнно является неотвязный вопросъ: въ чемъ же добро-то? Для разрѣшенія этого вопроса опять таки неизбѣжно знаніе. А какъ быть, ежели его нѣтъ?

На вопросъ этотъ мы находимъ положительный отвѣтъ, относительно древней Руси, и въ книгѣ г. Жеребцова и во всѣхъ твореніяхъ славянофиловъ. Они увѣряютъ, что вопросы о томъ, что̀ добро и что̀ худо, были еще издавна въ древней Руси разрѣшены Византіею. Отъ Византіи пришла къ намъ образованность, оттуда получили мы и готовое рѣшеніе вопросовъ о добрѣ и злѣ. Въ теченіе вѣковъ—византійскія убѣжденія проникли въ массу народа, срослись съ существомъ его и въ практической дѣятельности выразились избыткомъ любви къ общему благу. Это мнѣніе есть одинъ изъ основныхъ пунктовъ славянофильскаго ученія. Но мы позволяемъ себѣ совершенно иначе думать о вліяніи на русскій народъ греческой образованности. Не говоримъ о томъ, было ли оно благодѣтельно тамъ, куда успѣло проникнуть; но мы знаемъ, что оно весьма мало проникло въ народъ, не вошло въ его убѣжденія, не одушевило его въ практической дѣятельности, а только наложило на него нѣкоторыя свои формы. Въ слѣдующей статьѣ мы будемъ имѣть случай показать, какъ мало благодѣтельнаго значенія имѣло византійское вліяніе въ историческомъ развитіи Руси; теперь же замѣтимъ только, что, видно, слабо оно дѣйствовало въ сердцахъ русскихъ, когда не могло противостоять волѣ одного человѣка, да и то напавшаго на него не прямо, а очень и очень косвенно, при реформѣ государственной. Лично для г. Жеребцова мы, пожалуй, прибавимъ еще слѣдующее замѣчаніе: очень, видно, слабо было византійское вліяніе въ русскихъ сердцахъ, когда оно уступило даже вліянію «заразительной» философіи полковника Вейсса!...

Что касается вопроса, въ какой мѣрѣ въ настоящее время любовь къ общему благу распространена въ обществѣ и народѣ русскомъ, объ этомъ мы ужъ и говорить не рѣшаемся послѣ всего, что на этотъ счетъ было писано гг. Щедринымъ, Печерскимъ, Селивановымъ, Елагинымъ, и пр. Собственнымъ примѣромъ эти писатели доказали, что любовь къ общей пользѣ доходитъ въ нѣко-

торыхъ представителяхъ русскаго общества до самоотверженія; объективная же сторона ихъ дѣятельности показала, что самоотверженіе русскаго народа доходитъ, дѣйствительно, до крайнихъ предѣловъ, даже до глупости. Наши соображенія относительно этого предмета покажутся слишкомъ слабыми, послѣ прекрасныхъ этюдовъ названныхъ нами писателей. Впрочемъ, еще прежде ихъ весьма краснорѣчиво и убѣдительно говорилъ объ этомъ извѣстный своимъ самоотверженіемъ для пользы общей, Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій, словами котораго мы и покончимъ пока съ этимъ вопросомъ и съ настоящей статьей. «Иной городничій, конечно, радѣлъ бы о своихъ выгодахъ. Но вѣрите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь: Господи Боже Ты мой, какъ бы такъ устроить, чтобы начальство увидѣло мою ревность и было довольно. Наградитъ ли оно или нѣтъ,—конечно, въ его волѣ,— по крайней мѣрѣ я буду спокоенъ въ сердцѣ. Когда въ городѣ во всемъ порядокъ, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяницъ мало... то чего жъ мнѣ больше? Ей-ей, и почестей никакихъ не хочу. Оно, конечно, заманчиво... но предъ добродѣтелью все прахъ и суета»!...

II.

Мы начали первую статью нашу о г. Жеребцовѣ указаніемъ на тѣ обстоятельства, которыя поставляли автора въ особенно благопріятное положеніе при изданіи его книги. Теперь, приступая къ разбору нѣкоторыхъ частностей сочиненія г. Жеребцова, мы должны прежде всего замѣтить, что ни однимъ изъ этихъ обстоятельствъ онъ не умѣлъ или не хотѣлъ воспользоваться. Онъ какъ-будто позабылъ, что пишетъ въ Европѣ, что издаетъ свою книгу для европейскихъ читателей, не совсѣмъ привыкшихъ къ тѣмъ понятіямъ, которыя такъ обыкновенны и естественны кажутся у насъ. Увлеченный тѣми патріотическими стремленіями, о которыхъ такъ много распространялись мы въ прошедшей статьѣ, г. Жеребцовъ не избѣжалъ громкихъ фразъ и реторическихъ изображеній, которыми, конечно, никого теперь не обманешь въ Европѣ. Мало того, въ порывѣ патріотическаго усердія, г. Жеребцовъ наговорилъ о любезномъ отечествѣ не мало такихъ вещей, которыя,— совершенно незаслуженно, — бросаютъ на любезное отечество не совсѣмъ хорошую тѣнь, хотя авторъ, разсказывая всѣ эти вещи, имѣлъ въ виду единственно превознесеніе означеннаго любезнаго отечества. Все это произошло оттого, что г. Жеребцовъ слишкомъ уже понадѣялся на то, что Европа ничего не знаетъ о Россіи и что, слѣдовательно, ей можно разсказывать все, что угодно. Но оче-

видно, что такая надежда автора слишкомъ преувеличена, и, кромѣ того, онъ совершенно напрасно позабылъ о томъ, что если европейскіе читатели не знаютъ исторіи и образованности русской, то все же они знакомы хоть съ *какой-нибудь* исторіей и имѣютъ хоть *какую-нибудь* образованность. Смотря на всю Европу съ высоты своего славянскаго величія, г. Жеребцовъ рѣшительно не хочетъ признать этого и поступаетъ съ своими читателями такъ, какъ-будто бы они не имѣли ни малѣйшаго понятія — не только объ исторіи и образованности, но даже о самыхъ простыхъ логическихъ построеніяхъ; какъ-будто бы они лишены были не только всякихъ познаній, но даже и здраваго смысла. Столь ложныя отношенія автора къ своимъ читателямъ служатъ источникомъ множества забавныхъ ошибокъ и ложныхъ положеній, наполняющихъ книгу г. Жеребцова. Трудно отыскать хотя одну страницу въ его историческихъ обозрѣніяхъ, на которой бы не было самыхъ грубыхъ недосмотровъ, самыхъ произвольныхъ толкованій, самыхъ поразительныхъ невѣрностей даже въ простомъ изложеніи фактовъ. И все это соединяется съ рѣзкою самоувѣренностью тона, доходящею до того, что личныя, ни на чемъ не основанныя догадки автора высказываются какъ аксіомы, какъ факты несомнѣнно доказанные! Удивительно, невѣроятно казалось намъ фантастическое произведеніе русскаго патріота барона Розена, утверждавшаго, что Россія должна гордиться скиѳскимъ царемъ Мидіасомъ, затмившимъ Александра Македонскаго, и что «преобладательный скиѳскій элементъ» особенно ярко выразился у насъ въ Святославѣ, Петрѣ Великомъ и Суворовѣ. Изумителенъ и непонятенъ былъ намъ г. Вельтманъ, доказывавшій, что славянскія государства процвѣтали уже задолго до троянской войны, и что Борисъ Годуновъ былъ дядя царя Ѳедора Ивановича. Страненъ и забавенъ былъ для насъ извѣстный ученый, изъ патріотизма восхищавшійся тѣмъ, что «не жаденъ русскій народъ, не завистливъ»—ибо, «летаетъ вокругъ него птица— онъ не бьетъ ее, плаваетъ рыба — онъ не ловитъ ее и довольствуется скудною и даже нездоровою пищею». Но всѣ эти патріоты и ученые должны уничтожиться предъ патріотизмомъ и ученостью г. Жеребцова: онъ такъ далеко простеръ историческое невѣдѣніе и отсутствіе правильности и добросовѣстности въ выводахъ, что ученыя натяжки гг. Розена, Вельтмана, Шевырева и пр. кажутся просто невинной шалостью въ сравненіи съ его умствованіями и изобрѣтенными имъ фактами. На нашихъ доморощенныхъ ученыхъ можно было смотрѣть съ кроткимъ умиленіемъ: они вѣдь просто забавлялись, шалили для собственнаго удовольствія... Притомъ же ихъ фантастическія бредни если и выходили иногда изъ предѣловъ приличія, дозволяемаго здравымъ смысломъ, то могли, по крайней мѣрѣ, быть извинены тѣмъ, что авторы не церемонятся показываться отечественной публикѣ совершенно по-домашнему,— небритые, немытые, неодѣтые. Но нѣтъ этого оправданія для человѣка, который рѣшается показать себя и Россію Европѣ, который реко-

мендуется наставникомъ и просвѣтителемъ европейской публики. Онъ не можетъ представлять своимъ читателямъ голыя фразы; онъ долженъ запастись хоть какими-нибудь знаніями, хоть немножко промыть себѣ очи и привести въ порядокъ свои разбросанныя мысли. Въ противномъ случаѣ, авторъ показываетъ величайшее неуваженіе не только къ своимъ читателямъ, но и къ тому предмету, о которомъ берется разсуждать.

Предметъ г. Жеребцова, Россія и ходъ ея развитія, вовсе не такъ ничтоженъ, чтобы можно было приниматься за него, не давши себѣ труда усвоить даже элементарныя свѣдѣнія о внѣшнихъ фактахъ, не говоря уже о ихъ внутреннемъ значеніи и связи. Намъ совѣстно было бы постоянно слѣдить за г. Жеребцовымъ въ его промахахъ, выдумкахъ и искаженіяхъ фактовъ русской исторіи, и мы надѣемся, что читатель этого отъ насъ не потребуетъ. Но нельзя же не дать нѣсколькихъ образчиковъ того, до какой степени простирается небрежность и невѣдѣніе автора, и мы рѣшаемся исполнить эту прискорбную обязанность, чтобы не стали насъ обвинять въ голословности нашего отзыва.

Выбирать у г. Жеребцова не изъ чего: все равно, куда ни загляни. Поэтому мы и начнемъ съ самаго начала, — съ основанія Руси. Тутъ ли ужъ, кажется, не легко автору соблюсти вѣрность и основательность въ краткомъ изложеніи событій? Сколько объ этомъ было у насъ писано, сколько источниковъ подъ руками, какъ разъяснены взглядъ на эпоху! Посмотрите же, какъ хорошо г. Жеребцовъ всѣмъ этимъ воспользовался.

Т. I. Стр. 50. «Сподвижники Рюрика носили титулъ *князя*, если были его родственники, или *мужа*, если не были изъ его фамиліи».

Откуда взято такое положительное свѣдѣніе? Неужели, перенося его изъ позднѣйшаго періода ко временамъ Рюрика, авторъ не сообразилъ, что слова *мужъ* и *князь* не могли быть занесены въ Русь варягомъ Рюрикомъ, что они гораздо ранѣе существовали въ славянскихъ нарѣчіяхъ, безъ всякаго отношенія къ родословному древу Рюрика, и что во времена Рюрика и Олега лѣтописи упоминаютъ князей, которые вовсе не должны были приходиться роднею Рюрику. Олегъ требуетъ съ грековъ «уклады на русскіе городы, по тѣмъ бо городомъ сѣдяху князья, подъ Ольгомъ суще». Игоревы послы говорятъ, что они посланы «отъ Игоря, Ольги и отъ всякоя княжья»... Не хочетъ ли г. Жеребцовъ представить родословное древо этой «всякой княжьи»? Ему, кажется, очень хочется, чтобы «всякое княжье» не могло происходить иначе, какъ отъ Рюрика.

Стр. 50. «Рюрикъ послалъ двухъ изъ своихъ мужей, Аскольда и Дира, чтобы они *его именемъ* заняли городъ Кіевъ».

Сравните это хоть съ разсказомъ Карамзина, который говоритъ: «Аскольдъ и Диръ, *можетъ быть недовольные* Рюрикомъ, отправились искать счастія»... Въ примѣчаніи же Карамзинъ прибавля-

етъ: «у насъ есть *новѣйшая сказка* о началѣ Кіева, въ коей авторъ пишетъ, что Аскольдъ и Диръ, отправленные Олегомъ послами въ Царьградъ, увидѣли на пути Кіевъ», и пр.— Очевидно, что г. Жеребцову понравилась эта сказка, и онъ ее еще измѣнилъ по-своему для того, чтобы изобразить Аскольда и Дира ослушниками великаго князя и оправдать поступокъ съ ними Олега.

Стр. 51. «*Узнавъ о неудачѣ* предпріятія Аскольда и Дира противъ Царяграда, *Олегъ подумалъ*, что ему легко теперь овладѣть Кіевомъ. Съ этою цѣлью, онъ пошелъ на Смоленскъ», и пр....

Увлекшись мыслью о дипломатической мудрости Олега, г. Жеребцовъ не сообразилъ, что походъ Аскольда и Дира на Царьградъ былъ въ 866 г., еще при Рюрикѣ, и что Олегово княженіе начинается, по лѣтописямъ, только съ 879 г., походъ же на Смоленскъ и Кіевъ относится къ 882 г. Выходитъ, что Олегъ-то 16 лѣтъ думалъ воспользоваться неудачею Аскольда и Дира: плохая дипломатія!

Стр. 52. «Подошедши къ Кіеву, Олегъ послалъ Аскольду и Диру приглашеніе — *явиться къ нему въ станъ, для привѣтствія князя Игоря*, съ которымъ онъ отправлялся въ Константинополь».

Спрашивается: зачѣмъ г. Жеребцовъ, разсказывая извѣстное преданіе, искажаетъ его и не хочетъ сказать, что Олегъ обманулъ Аскольда и Дира, назвавшись купцомъ и не помянувъ объ Игорѣ?...

Стр. 52. «Олегъ сдѣлалъ Кіевъ своею столицею. Можетъ быть, мятежный духъ новгородцевъ и ихъ постоянныя республиканскія стремленія имѣли вліяніе на такое рѣшеніе Олега».

Какое разумное объясненіе! Какъ оно вытекаетъ изъ характера первыхъ князей русскихъ! И какая честь для мудраго и храбраго Олега, что онъ бѣжалъ отъ своего народа, опасаясь его либеральныхъ наклонностей!...

Стр. 53. «Олегъ прибилъ къ воротамъ Царяграда *щитъ Игоря*, съ изображеніемъ всадника».

Не понравилось г. Жеребцову извѣстіе, что Олегъ прибилъ *свой* щитъ къ воротамъ Царяграда; онъ и сочинилъ *Игоревъ* щитъ, да еще и *съ изображеніемъ всадника*. Послѣднее извѣстіе взято, конечно, изъ Стрыйковскаго, который говоритъ, что *самъ видѣлъ* щитъ на Галатскихъ воротахъ, съ изображеніемъ св. Георгія. Такое свидѣтельство не могло не прельстить г. Жеребцова; какъ же не прельститься, — у Олега на щитѣ изображенъ св. Георгій, и греки отъ Олега до Стрыйковскаго любуются вражескимъ трофеемъ на воротахъ своей столицы!... Можно ли не воспользоваться такимъ великолѣпнымъ извѣстіемъ? Можно ли за него не чувствовать симпатіи къ Стрыйковскому, который, между прочимъ, сообщаетъ и такія извѣстія, что Добрыня (Никитичъ) былъ женщина!...

Стр. 54. «Договоръ Олега заключенъ былъ 15 сент. 912 г.».

Умѣетъ авторъ читать лѣтописи! Тамъ сказано: «мѣсяца сентября въ 2, а въ недѣлю 15, въ лѣто созданія міру 6420».

Стр. 55. «Бо́льшая часть этихъ законовъ (изложенныхъ въ договорѣ Олега) имѣла силу въ Новгородѣ еще до пришествія норманновъ, и по нимъ-то хотѣли управляться новгородцы, призывая къ себѣ князей на княженіе».

На чемъ основалъ авторъ такое рѣшительное сужденіе? Не на томъ ли, что новгородцы часто брали съ князей обѣщаніе держать ихъ «по льготнымъ грамотамъ Ярославовымъ»? Можетъ быть, онъ полагаетъ, что Ярославъ былъ въ Новгородѣ до пришествія норманновъ?

Стр. 55. «Въ 941 г., *воспользовавшись несчастной войною* имперіи съ болгарами, Игорь пошелъ на грековъ».

Удивительно, какъ неудачно г. Жеребцовъ навязываетъ князьямъ русскимъ дипломатическія соображенія. Дѣйствительно, Симеонъ болгарскій велъ войну съ императоромъ Романомъ, но только это было въ 929 г. Игорь опоздалъ 12-ю годами у г. Жеребцова; въ 941 г., когда онъ пошелъ на грековъ, то, по извѣстіямъ нашихъ лѣтописей, «послаша Болгаре вѣсть ко царю, яко идутъ Русь на Царьградъ».

Стр. 56. «Игорь обязался давать *каждому* изъ своихъ подданныхъ, отправляющемуся во владѣнія императора, *письменный паспортъ*, въ которомъ прописывалась цѣль путешествія и свидѣтельствовались мирныя намѣренія путешественника».

Такой смыслъ придаетъ г. Жеребцовъ статьѣ договора, гдѣ говорится о *гостяхъ и послахъ*: «Иже *посылаеми* бываютъ отъ нихъ *сли и гостье*, да приносятъ грамоту, пишюче сице: яко послахъ корабль селько. И отъ тѣхъ да увѣмы и мы, яко съ миромъ приходятъ». Кажется, это не совсѣмъ то, что выводитъ г. Жеребцовъ.

Стр. 56. «Игорь въ этомъ году началъ новую войну съ древлянами, чтобы заставить ихъ увеличить количество платимой ими дани. Получивши дань, онъ отослалъ ее въ Кіевъ, вмѣстѣ съ частію своей дружины; *но* (что значитъ здѣсь *но?*) древляне, будучи раздражены и пользуясь изнеможеніемъ его войска, напали на него и его убили».

Какъ скромно разсказываетъ г. Жеребцовъ похожденія Игоря! Иностранцы могутъ повѣрить ему; но мы ему напомнимъ простодушный разсказъ лѣтописи, не лишенный своего рода занимательности. «Въ лѣто 6453 рекоша дружина Игореви: отроци Свѣнелжи изодѣлися суть оружіемъ и порты, а мы нази; поиди, княже, съ нами въ дань, да и ты добудеши, и мы. Послуша ихъ Игорь, иде въ Дерева въ дань, и примышляше къ первой дани, насиляще имъ, и мужи его; возъемавъ дань, поиде въ градъ свой. Идущю же ему вспять, размысливъ рече дружинѣ своей: «идите съ данью домови, а я возвращюся, похожю и еще». Пусти дружину свою домови, съ маломъ же дружины возвратися, желая больша имѣнья.

Слышавше же Древляне, яко опять идетъ, сдумавше съ княземъ своимъ Маломъ: «аще ся ввадить волкъ въ овцы, то выносить все стадо, аще не убьютъ его; тако и се, аще не убьемъ его, то вся насъ погубить», послаша къ нему, глаголюще: «почто идеши опять? Поималъ еси всю дань». И не послуша ихъ Игорь, и вышедши изъ града изъ Коростеня, Древляне убиша Игоря и дружину его». Вотъ какъ происходило дѣло, по сказанію лѣтописи. Напрасно г. Жеребцовъ въ своемъ разсказѣ совершенно измѣнилъ характеръ происшествія. Краткость его историческихъ очерковъ не можетъ служить ему оправданіемъ.

На стр. 56 — 57 находится разсказъ о воробьяхъ и голубяхъ, посредствомъ которыхъ Ольга сожгла Коростень, и ни слова не говорится о послахъ древлянскихъ къ Ольгѣ. Видно, что авторъ счелъ разсказъ о послахъ баснею, а воробьевъ принялъ за чистую монету. По крайней мѣрѣ, преданіе о воробьяхъ разсказано у г. Жеребцова тономъ глубочайшей увѣренности въ исторической истинѣ событія!

Стр. 58. «Ольга обходила свои области, проповѣдуя евангеліе».

Какъ легко г. Жеребцовъ выдумываетъ историческіе факты — для красоты слога!... И каково читателямъ, когда такія выдумки, искаженія и грубыя ошибки попадаются на каждой страницѣ, а всѣхъ страницъ около 1200!... Намъ надоѣло уже слѣдить за промахами г. Жеребцова; вѣроятно, и читателямъ тоже. Поэтому мы прекращаемъ свои замѣчанія, которыя могли бы тянуться въ безконечность, потому что небрежность и недобросовѣстность поражаютъ читателя на каждомъ шагу въ «Опытѣ объ исторіи цивилизаціи въ Россіи». Самыя элементарныя свѣдѣнія, излагаемыя въ каждомъ учебникѣ, повидимому, вовсе неизвѣстны автору. Онъ увѣряетъ, напр., что по смерти Владиміра Русь раздѣлена была на 13 удѣльныхъ княжествъ, такъ какъ у Владиміра было 12 сыновей, а 13-ый—усыновленный Святополкъ. Между тѣмъ, о двухъ сыновьяхъ Владиміра прямо говоритъ лѣтопись, что они умерли прежде отца, а о трехъ нѣтъ свѣдѣній, даны ли имъ удѣлы, и, кромѣ того, Святополкъ вездѣ входитъ въ счетъ 12 сыновъ Владиміра... Смѣло утверждаетъ г. Жеребцовъ, что Святополкъ убилъ своихъ братьевъ: Бориса, Глѣба и *Владиміра*; между тѣмъ извѣстно, что убитъ былъ Святославъ, а сына Владиміра вовсе и не было у Владиміра 1-го; — развѣ это былъ тотъ роковой *тринадцатый*, котораго сочинилъ г. Жеребцовъ. «Не ранѣе 1033 г. Ярославъ успѣлъ изгнать Святополка изъ Кіева», положительно утверждаетъ г. Жеребцовъ; между тѣмъ, въ самомъ краткомъ учебникѣ русской исторіи вы найдете, что бѣгство и смерть Святополка относится къ 1019 г. И съ такою-то тщательностью составлена вся книга!... Небрежность автора можетъ равняться только его самоувѣренности и хвастливости...

Правда, приближаясь къ новымъ временамъ, г. Жеребцовъ ста-

новится нѣсколько осторожнѣе въ своихъ сужденіяхъ. Такъ, напр., онъ удерживается отъ всякихъ заключеній относительно смерти царевича Димитрія и говоритъ о Годуновѣ, что «историческое безпристрастіе налагаетъ на насъ обязанность не позорить память геніальнаго человѣка, взводя на него преступленіе, которое было ему приписываемо особенно потому, что оно ему именно принесло выгоду» (т. I, стр. 229). Равнымъ образомъ, говоря объ отреченіи отъ простола Петра III, г. Жеребцовъ весьма благоразумно замѣчаетъ слѣдующее, насчетъ извѣстнаго мнѣнія о смерти Петра.

«Спустя нѣсколько дней послѣ своего отреченія, котораго актъ былъ написанъ весь его собственною рукою, онъ скончался, какъ говорятъ, отъ геморроидальной колики. Нѣкоторые, основываясь на современныхъ запискахъ, говорятъ, будто онъ былъ отравленъ; но гдѣ доказательства? Мы имѣемъ объ этомъ только современные разсказы, имѣвшіе основаніемъ единственно слухъ, ходившій въ обществѣ; но должно ли вѣрить слухамъ, какіе ходятъ въ народѣ во время подобныхъ переворотовъ? По крайней мѣрѣ они не даютъ намъ права пятнать обвиненіемъ въ ужасномъ преступленіи память геніальной женщины, великой государыни» (т. II, стр. 39).

Нельзя не признать этого замѣчанія г. Жеребцова весьма благоразумнымъ, нельзя на этотъ разъ не отдать чести его осторожности въ историческихъ сужденіяхъ. Но, къ сожалѣнію, онъ весьма рѣдко соблюдаетъ эту осторожность; большею частію онъ не церемонится съ фактами и безпрестанно выдумываетъ то происшествія, то произвольныя объясненія ихъ причинъ и слѣдствій. То скажетъ, что Святославъ передъ смертью намѣренъ былъ произвести гоненіе на христіанъ въ Россіи, приписывая неудачу своей послѣдней войны гнѣву боговъ за терпимость его къ христіанамъ... То откроетъ, что въ жизни Владиміра отразилось вліяніе Ольги, которая была его воспитательницей (хорошо было бы вліяніе: Владиміръ до христіанства отличился братоубійствомъ и нѣсколькими сотнями наложницъ!)... То сочинитъ, что Владиміръ потому не принялъ вѣры римско-католической, что уже предвидѣлъ на Западѣ возможность Григорія VII... И такія фантастическія вещи являются у г. Жеребцова не только въ изложеніи событій глубокой древности, а даже и въ разсказѣ о временахъ болѣе новыхъ. Онъ, напр., преспокойно увѣряетъ, что за царемъ Ѳеодоромъ Ивановичемъ была *княгиня* Ирина Годунова, что при Ѳеодорѣ утверждено было владычество Россіи надъ Грузіею *и всѣми горными племенами Кавказа*. Изобрѣтенія подобнаго рода ничего не стоятъ для г. Жеребцова...

Впрочемъ мы опять вовлеклись въ указаніе фактическихъ ошибокъ г. Жеребцова; между тѣмъ продолжать это указаніе мы вовсе не желаемъ,—сколько изъ опасенія надоѣсть читателямъ, столько же и по личному отвращенію къ подобной работѣ, которая намъ кажется странною и даже совершенно непозволительною въ приложеніи къ такой книгѣ, какъ сочиненіе г. Жеребцова. Есть люди, которые ужасно любятъ дѣлать замѣтки о чужихъ ошибкахъ, гдѣ

бы онѣ ни находились и какого бы рода ни были. Услышатъ ли они нѣмца, плохо говорящаго по-русски,—останавливаютъ и поправляютъ его на каждомъ словѣ; заглянутъ ли въ карты къ плохому игроку, — тотчасъ начинаютъ выходить изъ себя, критикуя каждый ходъ его; найдутъ ли тетрадку пошленькихъ стишковъ, переписанныхъ безграмотнымъ писаремъ, — немедленно примутся читать ее, преслѣдуя на каждомъ шагу неправильное употребленіе запятыхъ и буквы *ъ*. Дѣлая это, они бываютъ необычайно довольны собой. Да и какъ же иначе? Съ одной стороны, имъ тутъ представляется случай выказать собственныя познанія, насколько ихъ хватитъ; съ другой—они своими замѣчаніями все-таки оказываютъ услугу обществу, потому что ихъ поправки, если и не выучатъ нѣмца хорошо говорить по-русски, то, по крайней мѣрѣ, докажутъ слушателямъ, что дѣйствительно нѣмецъ говоритъ неправильно. Подобныхъ людей много является повсюду; есть они и въ литературѣ. Имъ мы и предоставимъ подобное перечисленіе всѣхъ ошибокъ г. Жеребцова; они вѣрно не пропустятъ ничего, что замѣтитъ и поправить позволитъ имъ состояніе ихъ собственныхъ познаній. Вѣроятно найдутся и читатели, которые будутъ очень довольны трудолюбіемъ усердныхъ поправщиковъ. Что касается до насъ, то мы не питаемъ особеннаго сочувствія къ подобнымъ критикамъ. Они напоминаютъ отчасти чтеніе плохой корректуры, а еще болѣе—человѣка, который идетъ съ вами по болоту и при каждомъ шагѣ кричитъ: «здѣсь вязко, здѣсь топко, здѣсь грязно, здѣсь трясина, здѣсь болото, здѣсь увязнуть можно!» Нельзя сказать, чтобъ всѣ эти восклицанія были несправедливы, но — безполезны они и надоѣдаютъ очень ужъ скоро. И всего забавнѣе то, что вѣдь этотъ человѣкъ, кричащій о топкости болота, какъ бы въ предостереженіе вамъ, обыкновенно самъ не знаетъ болота, по которому идетъ, и чуть-чуть успѣетъ ступить на твердое мѣстечко, тотчасъ и увѣдомляетъ, что тутъ ужъ нѣтъ болота, что тутъ безопасно. А вы тутъ-то и провалитесь... И выходитъ, что лучше бы было, если бъ вашъ руководитель не выкрикивалъ своего мнѣнія о болотѣ при каждомъ вашемъ шагѣ, а просто предупредилъ бы васъ, что вамъ предстоитъ итти черезъ болото и что слѣдуетъ при этомъ быть осторожнѣе. Такой образъ дѣйствія избираемъ и мы въ отношеніи къ «Опыту исторіи цивилизаціи къ Россіи». Конечно, мы не думаемъ предостерегать «европейскихъ читателей», для которыхъ писалъ г. Жеребцовъ; но мы полагаемъ, что его книга (уже появившаяся въ продажѣ въ Петербургѣ) легко можетъ попасть въ руки и русскимъ читателямъ. Въ прошедшей статьѣ мы объяснили обстоятельства, которыя могутъ заинтересовать русскихъ читателей въ пользу книги г. Жеребцова, прежде чѣмъ они успѣютъ узнать ея сущность. Прибавимъ къ этому, что до сихъ поръ значительная часть *образованнаго* русскаго общества читаетъ охотнѣе по-французски, чѣмъ по-русски и, слѣдовательно, примется за «Опытъ» г. Жеребцова скорѣе, чѣмъ хоть, напр., за вышедшую

на дняхъ книгу г. Лешкова «Русскій народъ и государство», хотя г. Лешковъ и не уступитъ въ патріотизмѣ г. Жеребцову. Имѣя это въ виду, мы не считаемъ лишнимъ предупредить читателей, что «Опытъ исторіи цивилизаціи въ Россіи» дѣйствительно можно уподобить топкой трясинѣ, въ которой ежеминутно можно погрязнуть въ тинѣ лжи, выдумокъ, безобразныхъ искаженій и произвольныхъ толкованій фактовъ. Затѣмъ, для совершенной очистки собственной совѣсти, мы представляемъ читателямъ источникъ, изъ котораго можно почерпнуть опроверженіе главныхъ историческихъ ошибокъ г. Жеребцова. Этотъ источникъ — «Краткое начертаніе русской исторіи», г. Устрялова, изданное для приходскихъ училищъ; этого источника очень достаточно. Указавши на него, мы считаемъ возможнымъ избавить себя отъ мрачной обязанности составлять перечень фактическихъ погрѣшностей г. Жеребцова.

Гораздо болѣе интереса представляетъ для насъ другая задача: уловить тѣ начала, которыми руководился авторъ въ своей книгѣ, прослѣдить ту систему мнѣній, которой онъ слѣдовалъ, изобразить тенденціи, для выраженія которыхъ послужила ему исторія русской цивилизаціи. Мы уже коснулись въ первой статьѣ взглядовъ автора на современную цивилизацію въ Европѣ и въ Россіи; не мѣшаетъ разсмотрѣть и то, путемъ какихъ историческихъ выводовъ дошелъ авторъ до своихъ оригинальныхъ заключеній. Не мѣшаетъ это и потому, что изложеніе взглядовъ и пріемовъ г. Жеребцова можетъ показать, какія понятія возможны еще у насъ даже между людьми, принадлежащими къ образованному классу общества, путешествовавшими по разнымъ странамъ Европы, читавшими и узнавшими кое-что,—хотя и поверхностно,— и умѣющими написать по французски два толстыхъ тома о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе. Но кромѣ этого спеціальнаго интереса, взгляды г. Жеребцова имѣютъ и болѣе общее значеніе: мы уже имѣли случай замѣтить, что мнѣнія, излагаемыя имъ, близко подходятъ къ системѣ взглядовъ цѣлой партіи, къ которой г. Жеребцовъ самъ причисляетъ себя. Общія положенія г. Жеребцова не имъ выдуманы; ему лично принадлежатъ только ошибки и неумѣнье развить эти положенія. Вотъ почему мы и оставляемъ въ сторонѣ его личные промахи и рѣшаемся обратиться къ тому, что является въ книгѣ его не по ошибкѣ и невѣдѣнію, а намѣренно, вслѣдствіе принциповъ, принятыхъ авторомъ.

Противодѣйствіе ложной идеѣ, старающейся утвердиться посредствомъ ложнаго толкованія фактовъ, составляетъ, по нашему мнѣнію, одну изъ важнѣйшихъ обязанностей современной критики. Ложь, облекающаяся покровомъ научнаго, серьезнаго изложенія и нѣсколькими блестками либеральныхъ тенденцій, всегда и вездѣ опасна; но особенную опасность представляетъ она въ наше время у насъ. Мы только-что успѣли еще понять превосходство мысли и науки предъ грубою силой и потому рвемся неудержимо ко всему, что имѣетъ хотя видъ чего то мыслящаго, хотя только

претензію на разумность. Мы такъ разучились разсуждать, что теперь готовы, разинувъ ротъ, слушать всякое разсужденіе и приходить отъ него въ восторгъ только потому, что это все-таки резонное разсужденіе, а не безсмысленно-заданный урокъ, который мы должны безсмысленно выучить. Понятно, что въ такомъ состояніи мы безпрестанно подвергаемся опасности сдѣлаться жертвою ловкаго шарлатана, который вздумаетъ *заговорить* насъ. Такъ, при первомъ вступленіи въ жизнь, попадаются въ сѣти мошенниковъ неопытные юноши, которыхъ все воспитаніе строго сообразовалось съ однимъ великимъ принципомъ: «не разсуждать».

Полное, грубое невѣжество, презирающее мысль и правду, вовсе не опасно въ наше время: надъ нимъ уже всякій смѣется, зная, что время преобладанія грубой силы прошло невозвратно. Сами противники знанія и прогресса очень хорошо понимаютъ это и стараются достигать своихъ цѣлей, прибѣгая къ помощи того же знанія, которое они такъ не любятъ. Такимъ образомъ, знаніе становится въ ихъ рукахъ орудіемъ ихъ личныхъ стремленій; истина признается тамъ только, гдѣ она удовлетворяетъ ихъ вкусу, согласна съ ихъ выгодами. Собственно говоря, имъ до истины и дѣла нѣтъ; имъ нужно только какъ-нибудь порезоннѣе вывести свои результаты, заранѣе уже готовые, — и это очень часто имъ удается, благодаря тому, что для человѣка вообще очень трудно бываетъ отрѣшиться отъ личныхъ пристрастій и искать только истины.

Особенно легко впасть и ввести другихъ въ заблужденіе при изслѣдованіяхъ историческихъ. Исторія представляетъ собою то же разнообразіе, отрывочность и смѣшанность разныхъ элементовъ, какія представляются намъ и въ самой жизни. Поэтому здѣсь — чего хочешь, того просишь: можно найти данныя для подтвержденія какой угодно теоріи. И даже уличить въ неправдѣ трудно, потому что итоги фактовъ не подведены окончательно и группировка ихъ въ нашихъ книжкахъ довольно еще безхарактерна. Невольно соблазняется даже самый добросовѣстный изслѣдователь и объясняетъ факты по тѣмъ философскимъ убѣжденіямъ, какія уже составились у него въ головѣ. Трудно найти человѣка, который бы занимался историческими изысканіями, вовсе не предполагая, что̀ изъ нихъ выйдетъ — опроверженіе ли его убѣжденій или подтвержденіе ихъ. Чтобы достигнуть этого, надобно стать выше всѣхъ человѣческихъ пристрастій. Можно, конечно, желать этого; но нельзя слишкомъ строго требовать отъ всякаго, занимающагося исторіею.

За то можно отъ каждаго требовать, по крайней мѣрѣ, добросовѣстности предъ самимъ собою. Пусть человѣкъ приступитъ къ своимъ занятіямъ не вполнѣ свободный отъ извѣстныхъ идей, заранѣе имъ усвоенныхъ; пусть у него вначалѣ будетъ даже желаніе разработать факты именно для подтвержденія этихъ идей. Но пусть онъ не простираетъ пристрастія къ своимъ идеямъ до того, чтобы

для нихъ искажать факты и прибѣгать къ обману. Какъ бы ни былъ человѣкъ ослѣпленъ пристрастіемъ, но въ глубинѣ его сознанія всегда остается еще нѣкоторое чувство истины, которое можетъ вывести его на прямую дорогу. Даже мать, желающая превознести и возвеличить дѣтей своихъ, можетъ быть приведена къ убѣжденію въ ихъ негодности, если ей безпрестанно будутъ представляться факты, свидѣтельствующіе объ ихъ дурномъ поведеніи. Тѣмъ скорѣе можетъ и долженъ понять истину ученый, видя, что факты вовсе не благопріятствуютъ убѣжденіямъ, составленнымъ имъ заранѣе. Если человѣкъ признаетъ факты и все-таки упорствуетъ въ томъ, что этими фактами опровергается, это уже явный признакъ нѣкотораго помѣшательства или природнаго идіотства. Въ примѣръ подобнаго упорства мы можемъ привести анекдотъ, недавно слышанный нами. Одинъ ученый хотѣлъ какимъ-то особеннымъ способомъ добыть калійную соль. Опыты его не удались: *что-то* такое получилось, но въ этомъ *чемъ-то* калія вовсе не было. Тѣмъ не менѣе, ученый остался въ полномъ убѣжденіи, что добытое имъ что-то было — именно калійная соль; онъ былъ очень доволенъ и разсказывалъ о результатахъ своихъ опытовъ такимъ образомъ: «я наконецъ успѣлъ добыть калійную соль; и замѣчательно, что эта соль вовсе не содержитъ въ себѣ калія»! Такого рода упрямцы безвредны: помѣшательство ихъ обыкновенно бываетъ кротко и простодушно. Но настоящую язву общества составляютъ упрямцы другого рода,—недобросовѣстные. Эти поступаютъ обыкновенно такъ: если имъ представляется пять фактовъ,— одинъ въ пользу ихъ мнѣнія, одинъ сомнительный и три противъ нихъ, то они послѣдніе три бросятъ, сомнительный передѣлаютъ на свой ладъ и съ особеннымъ ожесточеніемъ налягутъ на тотъ одинъ, который для нихъ выгоденъ. Съ этакими господами нечего уже дѣлать: ихъ не урезонишь, потому что они не хотятъ убѣжденія, не хотятъ правды, а видятъ и знаютъ только то, что имъ выгодно. Такого рода обращеніе съ наукою дѣйствительно неблагородно и заслуживаетъ того, чтобы быть выведеннымъ на чистую воду. И само собою разумѣется, что вывести его можно не простымъ пересмотромъ частныхъ погрѣшностей, а показаніемъ того, какъ различныя неправды изслѣдователя цѣпляются за одну главную ложь, положенную имъ въ основаніе своихъ изысканій.

Обращаясь къ г. Жеребцову, мы считаемъ необходимымъ отдѣлить въ его мнѣніяхъ двѣ тенденціи: одну общую и наружную, которой онъ старается щегольнуть явно, и другую личную, болѣе глубокую, которую онъ тщательно, хотя и не совѣмъ искусно, старается прикрыть. Сначала изложимъ мнѣнія автора, которыя онъ самъ *хочетъ* поставить на видъ.

Общая система мнѣній, которую избралъ г. Жеребцовъ орудіемъ для своихъ задушевныхъ цѣлей, не отличается особенной новостью и оригинальностью. Она представляетъ довольно монотонныя варіаціи того глубокомысленнаго замѣчанія, которое по-

ставлено эпиграфомъ нашей статьи. Авторъ силится вездѣ провести ту мысль, что всѣ бѣдствія Россіи происходятъ оттого, что она заимствовала отъ Запада цивилизацію, которая тамъ дѣлается прескверно. Чтобы убѣдиться въ этомъ, довольно прочитать оглавленіе того отдѣла, въ которомъ г. Жеребцовъ представляетъ «résumé analytique» всей своей книги. Вотъ, напримѣръ, какимъ образомъ резюмируетъ онъ русскую исторію:

«Благочестіе и общинное устройство были основаніями общественнаго развитія въ Россіи. — Подражаніе Западу всегда было пагубно для этого развитія.— Международныя сношенія новгородцевъ.—Феодальныя идеи Рюрика, перенесенныя въ Кіевъ.—Христіанство, пришедшее изъ Константинополя. — Различіе направленій въ развитіи Европы и Россіи.—Двѣ общественныя основы приходятъ въ Россію изъ Константинополя и изъ Новгорода. — Россія спасаетъ Европу отъ нашествія монголовъ. — Во время монгольскаго ига религія спасаетъ народность.—Она господствуетъ надъ государственной властью.—Религіозное значеніе царской власти.—Патріархальный и религіозный характеръ нравовъ. — Вліяніе западныхъ идей произвело погибель патріарха Никона.—Реформа Петра Великаго. — Ея характеръ и форма. — Ограниченіе вліянія церкви.— Матеріальное развитіе идетъ по пути усовершенствованій. — Высшій классъ развращается. — Императоръ Николай производитъ возвратъ къ народности и православію. — Распространеніе добрыхъ идей въ обществѣ. — Русская партія. — Купцы и мѣщане. — Народъ».

То же самое отвращеніе къ Западу ясно выражается, напр., и въ оглавленіи слѣдующей статьи, въ которой г. Жеребцовъ излагаетъ общій взглядъ на исторію распространенія знаній въ Россіи. Вотъ какіе моменты опредѣляетъ онъ (Т. II, стр. 530):

«Знаніе въ древней Руси.—Характеръ этого знанія. — Общее уваженіе къ людямъ образованнымъ.—Слѣдствіе реформы Петра. — Народу нѣтъ болѣе времени для пріобрѣтенія знаній. — Утрата стремленія къ образованію. — Новое обнаруженіе этого стремленія въ продолженіе царствованія Николая. — Польза соединить пріобрѣтеніе познаній съ нравственнымъ воспитаніемъ».

Эти заголовки достаточно уже показываютъ сущность взгляда автора на историческія событія въ Россіи. Для желающихъ знать подробности развитія этого взгляда, сообщимъ слѣдующія мысли г. Жеребцова.

Исторія Руси начинается въ Новгородѣ, который еще задолго до IX вѣка находился въ цвѣтущемъ состояніи и простиралъ свое вліяніе отъ Финляндіи за Кіевъ и отъ Двины до Оки (т. I, стр. 40). Благосостояніемъ своимъ онъ обязанъ былъ тому, что сѣверные славяне не были вовлечены въ общее движеніе гунновъ, устремившихся на Западъ Европы, и вслѣдствіе того избѣгли близкихъ столкновеній съ Западомъ (т. II, 503). Такимъ образомъ, въ то время, когда на Западѣ происходили сцены варварства, славяне работали для своего нравственнаго и общественнаго развитія и имѣли полную возможность достичь замѣчательнаго совершенства въ политическомъ и въ общественномъ своемъ устройствѣ. Но, къ несчастію, новгородцы не были совершенно изолированы отъ Запада; ихъ торговыя дѣла заставляли имѣть сношенія съ западными

народами. При этихъ сношеніяхъ они наслышались о силѣ и храбрости норманновъ и, какъ народъ торговый, призвали ихъ, чтобы тѣ служили для Новгорода чѣмъ-то въ родѣ наемнаго войска (I, 97). Между тѣмъ, Рюрикъ принесъ съ собой въ Русь феодальныя понятія и законодательныя идеи, почерпнутыя изъ капитуляріевъ Карла Великаго. Новгородцы увидѣли, что дѣло плохо; произошло возстаніе противъ иноземнаго вліянія, подъ предводительствомъ Вадима. Но варяги одолѣли, и съ тѣхъ поръ «феодальные сеньёры и грубые норманны раздавили своей тяжелой и стѣснительной властью цвѣтущую республику новгородскую; послѣ шести-вѣковой непрестанной борьбы съ неправо-захваченной властью (contre un pouvoir usurpateur), она потеряла наконецъ свою вольность и сдѣлалась простою провинціею московской» (II, 505). Изъ Новгорода феодальныя идеи перешли и въ Кіевъ, съ Олегомъ. Къ счастію, сношенія съ Константинополемъ указали русскимъ князьямъ иной образецъ государственнаго устройства: тамъ видѣли они власть единую и неограниченную; примѣръ этотъ ослабилъ феодальныя ихъ стремленія. Такимъ образомъ, вмѣсто настоящаго феодализма у насъ явилась удѣльная система. Всѣ бѣдствія, причиненныя ею, должно приписать тому, что мы не уберегліись отъ вліянія Запада. Принятіе христіанства изъ Константинополя, отдаливши насъ отъ Запада, могло бы, конечно, благодѣтельно подѣйствовать и въ этомъ отношеніи. Но, къ несчастію, Владиміръ имѣлъ сношенія съ западными государями—Стефаномъ венгерскимъ, Болеславомъ III богемскимъ и Болеславомъ I польскимъ. Эти весьма гибельныя (bien funestes) сношенія поддержали во Владимірѣ феодальную идею, хотя, съ другой стороны, его увлекала чисто-славянская идея о правѣ и связяхъ родовыхъ (du droit et des liens de race). Стараясь соединить эти двѣ идеи, и Владиміръ принялъ систему удѣловъ (I, 73). Гибельныя слѣдствія этой системы не препятствовали, впрочемъ, развитію цивилизаціи въ древней Руси, потому что сношенія съ Западомъ вскорѣ прекратились, и Русь развивалась самобытно. Въ Европѣ развивались знанія и улучшался матеріальный бытъ, при постепенномъ развращеніи нравовъ; въ Россіи же сохранялась чистота вѣры и нравственности, при чемъ она не отставала и на пути просвѣщенія, утверждая его на религіозныхъ основаніяхъ. Съ другой стороны—въ Европѣ и королевская власть, и значеніе народа были унижены феодалами; въ Россіи же всѣ власти были уравновѣшены (II, 507). Благодаря этимъ нравственнымъ условіямъ, Русь могла безвредно вынести всѣ бѣдствія удѣльныхъ междоусобій. Тѣ же условія помогли ей вынести и монгольское иго. Собственно говоря, Русь могла бы соединиться съ монголами и итти на Европу, которая также неизбѣжно сдѣлалась бы добычею варваровъ. Но, одушевленные славянской отвагой и христіанской ревностью, русскіе сочли безчестнымъ союзъ съ нечестивыми монголами, и приняли на себя тѣ удары, которые назначались монголами для западной Европы. Такъ

мстила Русь Западу за все то зло, какое отъ него потерпѣла!.. Впрочемъ, самое владычество монголовъ, предохранивъ Россію отъ близкихъ столкновеній съ Западомъ, принесло ей великую пользу: оно развило въ русскихъ духъ благочестія. Религіозное чувство сдѣлалось особенно сильнымъ и всеобщимъ, и въ это-то время основана бо̀льшая часть русскихъ монастырей (I, 156). Сила этого чувства вполнѣ сохранилась и по сверженіи ига, и подъ вліяніемъ именно восточнаго православія утверждалась русская монархія въ періодъ царей. Объ этомъ мы приведемъ въ точности собственныя слова г. Жеребцова.

«Правительство составляло полу-патріаршество теократическое: цари долженствовали быть жаркими поборниками православія, одушевленными христіанской любовью къ своимъ подданнымъ; ихъ нравственность долженствовала быть безукоризненна. Это самое и обезпечивало для нихъ христіанскую покорность ихъ подданныхъ, во всемъ, что только не касалось православной вѣры. Самъ Иванъ IV, во время самыхъ ужасныхъ своихъ жестокостей, не осмѣливался предаваться сластолюбію, слѣдуя своимъ наклонностямъ. Единственное нарушеніе каноническихъ правилъ, которое онъ себѣ позволилъ, состояло въ томъ, что онъ семь разъ женился, то во вдовствѣ, то отъ живыхъ женъ. Но и это дѣлалъ онъ не иначе, какъ оградивши себя разрѣшеніемъ восточныхъ патріарховъ, митрополитовъ или соборовъ. Только исполняя всѣ церковные обряды и строго соблюдая всѣ посты, могъ онъ сохранить свою неограниченную власть. Народъ его боялся и не любилъ, но почиталъ, какъ помазанника Божія, посланнаго небомъ въ наказаніе, для очищенія вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеній каждаго» (II, 510).

Во все это время образованность въ Россіи, на время задержанная монголами, развивалась съ необыкновеннымъ успѣхомъ. Образованность народа въ Россіи, въ періодъ царей, до Петра, была гораздо выше, нежели во всѣхъ другихъ странахъ Европы (II, 531). Въ особенности распространено было знаніе началъ христіанской нравственности. Вообще, русскіе мало обращали вниманія на развитіе матеріальныхъ удобствъ жизни, а заботились болѣе о нравственномъ совершенствѣ, занимаясь ученіемъ вѣры, священной исторіей и житіями людей, которые могли служить образцами благочестія. Законодательство развивалось во все это время, основываясь на изученіи отечественной исторіи (II, 533). Для занятій науками у всѣхъ были средства и время. Это доказывается тѣмъ, что въ Новгородѣ, Москвѣ и, *слѣдовательно*, во всѣхъ торговыхъ городахъ, равно какъ у князей, царей, бояръ и всѣхъ поземельныхъ собственниковъ, у купцовъ и всѣхъ почти свободныхъ сословій были несмѣтныя богатства. Это скопленіе богатства было слѣдствіемъ простой и воздержной жизни русскихъ, которые немного требовали для своего домашняго обихода, и, *слѣдовательно*, большую часть своего времени могли посвящать на чтеніе книгъ (II, 532). Въ то же время, уваженіе къ образованности было очень велико. Это доказывается тѣмъ, что уже въ древности существовала пословица: «ученье свѣтъ, а неученье тьма», и что неграмотные называли себя: мы люди *темные* (II, 531).

Такимъ образомъ все шло прекрасно до тѣхъ поръ, пока Петръ опять не ввелъ насъ въ сношенія съ зловреднымъ Западомъ. Собственно говоря, Петрова реформа даже и за успѣхъ свой должна все-таки благодарить предыдущее развитіе Руси. Предшествовавшая Петру гармонія между правительствомъ и народомъ, основанная на православіи, произвела въ народѣ полное довѣріе къ своимъ правителямъ, и только это довѣріе произвело то, что Петръ могъ совершить свои преобразованія безъ открытой оппозиціи. Но Петръ не былъ въ гармоніи съ народомъ. Онъ подружился съ неправославными нѣмцами, жилъ долго въ Голландіи, странѣ протестантской, и вслѣдствіе того пренебрегъ тѣми началами, на которыхъ постоянно утверждалась народность русская. Онъ уничтожилъ патріаршество, какъ помѣху своему произволу, и учредилъ синодъ; онъ оставилъ безъ вниманія духовное образованіе и началъ заводить свѣтскія школы; онъ обратилъ особенныя заботы свои на матеріальныя улучшенія въ странѣ, и далъ возможность водвориться безнравственности въ высшемъ обществѣ, съ котораго онъ началъ свою реформу. Послѣ него зло быстро стало распространяться и усиливаться: въ высшемъ классѣ общества перестали исполняться церковные обряды; появилось множество знатныхъ господъ и госпожъ, зараженныхъ полковникомъ Вейссомъ; все пошло на иностранный манеръ (II, 518). За высшимъ обществомъ потянулось среднее и, разумѣется, заразилось еще болѣе. Такое положеніе дѣлъ продолжалось цѣлое столѣтіе, до тѣхъ поръ, пока не было воздвигнуто новое знамя русскаго развитія, съ надписью: *православіе, самодержавіе и народность*! (II, 78). Сообразно съ этими началами, въ послѣднюю четверть вѣка преобразовано было все народное образованіе. Нужно было, чтобы юношество пріобрѣтало знанія обширныя и разнообразныя, но имѣющія официальный характеръ. Хотѣли, чтобы съ самаго начала нѣжнаго возраста дѣти привыкли къ строгому порядку, субординаціи и подчиненію своей воли волѣ начальства. Не допуская, подобно Ликургу, необходимости семейныхъ нѣжностей, старались сдѣлать воспитаніе какъ можно болѣе общественнымъ, а не семейнымъ. Закрытыя учебныя заведенія необычайно размножились; каждая спеціальная отрасль знаній имѣла свое училище. И вездѣ образованіе опиралось на началахъ строго-народныхъ (II, 179). При такомъ толчкѣ, данномъ обществу, все понеслось по дорогѣ прогресса, съ быстротою локомотива (II, 519). Законодательство, администрація, литература, науки, искусства, торговля и промышленность, — все оказало безмѣрные успѣхи въ послѣднюю четверть вѣка. Только еще любовь къ общему благу не успѣла совершенно овладѣть обществомъ, потому что зло, произведенное въ этомъ отношеніи реформою Петра, слишкомъ глубоко укоренилось. До Петра, всѣ условія общественной жизни Руси необычайно способствовали развитію въ ней любви къ общему благу. Если бы Петръ не измѣнилъ направленія русской цивилизаціи, то этотъ главный элементъ ея

развился бы превосходно. Но Петръ отвергъ народныя начала, и зло овладѣло обществомъ. Впрочемъ, въ послѣднюю четверть вѣка и въ этотъ отношеніи русское общество далеко подвинулось, благодаря началамъ православія и народности, столь энергически провозглашеннымъ въ это время (II, 520).

Самое лучшее доказательство того, что общество обращается теперь къ православію и народности, представляетъ «m-r le chambellan» Муравьевъ, который есть въ одно и то же время превосходный писатель и искренній и благочестивый христіанинъ и свѣтскій человѣкъ. Одаренный природнымъ краснорѣчіемъ и проникнутый истинами, которыя онъ исповѣдуетъ, онъ не боится возвѣщать и защищать ихъ въ многолюдныхъ собраніяхъ, имъ посѣщаемыхъ, и предъ многочисленными посѣтителями его собственнаго салона. Истины, имъ исповѣдуемыя и развиваемыя, оспариваются слушателями, но наконецъ проникаютъ въ ихъ убѣжденія. Эти новые адепты сами потомъ слѣдуютъ примѣру шамбеляна Муравьева, и такимъ образомъ религіозныя идеи распространяются въ обществѣ, единственно силой своей истинности. Это, какъ видите, повтореніе философическихъ французскихъ салоновъ XVIII вѣка, только въ другомъ духѣ: тамъ разрушали, а здѣсь созидаютъ. Честь же и слава этому доброму христіанину! Сѣмена, посѣянныя въ обществѣ его словомъ, уже принесли и еще принесутъ благотворные плоды для нашего любезнаго отечества». (II, 521).

Выпискою изъ сочиненія г. Жеребцова этого знаменательнаго явленія можно и заключить изложеніе системы, принятой авторомъ во взглядѣ на русскую исторію. Прибавлять къ нему, кажется, нечего: онъ говоритъ самъ за себя. Мы старались въ нашемъ изложеніи какъ можно ближе держаться поддлинныхъ словъ автора, стараясь только удалять его частныя фактическія ошибки и противорѣчія. Дѣлать замѣчанія на отдѣльныя мысли автора мы не станемъ, потому что иначе мы обнаружили бы недовѣріе къ здравому смыслу читателей. Но мы не можемъ удержаться, чтобы не высказать своего глубокаго сожалѣнія о главной тенденціи автора, которой дѣйствительно нельзя не назвать жалкою. Согласно со многими изъ славянофиловъ, г. Жеребцовъ полагаетъ, что русскій народъ находился на пути къ прогрессу и уже стоялъ на высокой степени совершенства нравственнаго и умственнаго, когда Петръ внезапно измѣнилъ направленіе русской цивилизаціи и произвелъ на цѣлое столѣтіе застой и даже отступленіе назадъ въ развитіи истинно-народномъ. Утверждая это, г. Жеребцовъ вовсе не думаетъ унижать народъ русскій; напротивъ — онъ, во всей книгѣ, отстаиваетъ народность, силится превознести все русское. А между тѣмъ, какое унизительное понятіе о цѣломъ народѣ сообщаетъ онъ читателю, который вздумалъ бы повѣрить всему, что говоритъ онъ о реформѣ Петра. Вѣдь, конечно, между читателями г. Жеребцова весьма немного найдется такихъ, которые бы не знали, что исторія народовъ зависитъ въ своемъ ходѣ отъ нѣко-

торыхъ законовъ, болѣе общихъ, нежели произволъ отдѣльныхъ личностей. Зная это, всякій, кому можетъ попасться въ руки книга г. Жеребцова, думаетъ конечно, о реформѣ Петра, какъ о явленіи совершенно законномъ и естественномъ, вызванномъ исторической необходимостью, обусловленномъ самимъ предшествующимъ развитіемъ древней Руси. Но что долженъ читатель подумать о русскомъ народѣ и о всей русской исторіи, если онъ повѣритъ г. Жеребцову, что Русь измѣнила своей народности и мгновенно приняла новыя начала цивилизаціи, уступая произволу одного человѣка? Никогда ни одинъ народъ, ни въ древней, ни въ новой исторіи, не дѣлалъ такихъ внезапныхъ отреченій отъ своей народности, вслѣдствіе воли одной личности. Что же за народъ эти русскіе, такъ безтолково-податливые? И что это за развитіе древней Руси, успѣвшее довести народъ до такой эластичности? Человѣка, мѣняющаго свои воззрѣнія изъ угожденія первому встрѣчному, мы признаемъ дряннымъ, подлымъ не имѣющимъ никакихъ убѣжденій. Женщину, уступающую первому требованію перваго ловкаго мужчины, мы называемъ дамою легкаго поведенія. Если такъ судимъ мы объ отдѣльныхъ личностяхъ, то что же сказать о цѣломъ народѣ? Г. Жеребцовъ замѣчаетъ, что народъ и не принялъ реформы Петра, а приняло только высшее общество. Но, въ такомъ случаѣ, что же это было за общество? Значитъ, оно было хуже народа; отчего же оно было *высшее*, отчего управляло народомъ? Стало быть, въ древней Руси были совершенно ненормальныя отношенія между классами общества: худшее стояло на высотѣ, а лучшее попиралось ногами? Въ такомъ случаѣ, гдѣ же то совершенство, та гармонія общественнаго развитія, которою славянофилы такъ восхищаются въ до-петровской Руси? И если дѣйствительно народъ былъ такъ проникнутъ своими началами, которыя ему славянофилы навязываютъ, то какъ могъ онъ терпѣть уклоненіе высшаго общества отъ этихъ началъ? Г. Жеребцовъ объясняетъ это тѣмъ, что все предшествующее время развило въ народѣ *довѣріе* къ высшимъ. Но, значитъ, это довѣріе было слѣпо и неразумно, когда оно могло довести народъ до того, что онъ смотрѣлъ равнодушно на уклоненіе отъ самыхъ коренныхъ началъ своей народности. И зачѣмъ же, въ такомъ случаѣ, самъ г. Жеребцовъ объясняетъ паденіе Лжедимитрія тѣмъ, что онъ не уважалъ русской народности, не соблюдалъ постовъ, не ходилъ въ баню, и пр.? Развѣ Петръ менѣе нарушалъ русскую народность, по мнѣнію г. Жеребцова съ славянофилами? Или пресловутое *довѣріе* ихъ явилось въ народѣ только въ промежутокъ времени между самозванцами и Петромъ? Какъ вся исторія-то идетъ у г. Жеребцова по щучьему велѣнью! Но Петръ, говорятъ, былъ царь законный, а Лжедимитрій — сомнительный. Однако же и противъ Петра были бунты и покушенія на его жизнь. Да Петръ и дѣлалъ не то, что Лжедимитрій... Говорятъ, что преобразованія Петра не касались непосредственно народа, захватили только высшее общество. Но измѣненіе адми-

нистраціи простиралось и на народъ; переложеніе податей съ сохи на душу, рекрутская повинность—прямо относились къ народной массѣ. Мало того—г. Жеребцовъ приписываетъ Петру самое установленіе крѣпостного права; кого же это касалось, какъ не народа? И будто все это могло совершиться внезапно, ex abrupto, по выраженію г. Жеребцова, безъ всякихъ отношеній къ предъидущему развитію Россіи? Нѣтъ, это было бы ужъ слишкомъ нелѣпо. Признавая реформы Петра произвольными, сдѣланными наперекоръ естественному ходу историческаго развитія Руси, г. Жеребцовъ съ братіею невольно обнаруживаютъ презрѣніе къ русскому народу, невѣріе въ его внутреннія силы. Это презрѣніе, находящееся въ основѣ историческихъ взглядовъ г. Жеребцова, не прикроютъ реторическія фразы о величіи и славѣ Россіи, обильно разсыпанныя во всемъ «Опытѣ». Исторія русскаго развитія, представленная г. Жеребцовымъ такъ, какъ мы изложили выше, произведетъ на каждаго образованнаго читателя такое впечатлѣніе, что ему

«Захочется сказать великому народу:
«Ты жалкій и пустой народъ!»

Къ счастію, положенія г. Жеребцова совершенно ложны, съ начала до конца, и едва ли могутъ ввести въ заблужденіе читателя, имѣющаго хоть какое-нибудь понятіе о естественномъ ходѣ исторіи. Только крайнее невѣжество можетъ считать реформы Петра случайнымъ слѣдствіемъ прихотливаго произвола этого человѣка. Человѣкъ мыслящій не можетъ не видѣть въ нихъ естественнаго послѣдствія предыдущей исторіи Россіи. Если онѣ были приняты народомъ безъ прекословія и разсужденія, даже со всѣми несовершенствами, какія въ нихъ были, — такъ и это опять обусловливалось характеромъ историческаго развитія Руси до Петра. Развитіе это было такъ скудно и слабо, начала, приводящія въ восторгъ г. Жеребцова, такъ мало проникли въ сознаніе массъ, что народу ничего не стоило принять новое направленіе, имѣвшее то преимущество предъ старымъ, что заключало въ себѣ зародышъ жизни и движенія, а не застоя и смерти. Все это должно быть извѣстно всякому мало-мальски образованному человѣку, и удивительно, что г. Жеребцовъ не знаетъ этого или не хочетъ знать, и предполагаетъ, что пышными фразами можно читателямъ отвести глаза отъ такихъ ясныхъ и простыхъ вещей.

Изъ основного противорѣчія, указаннаго нами во взглядѣ г. Жеребцова, очевидно уже, что онъ, несмотря на объявленіе себя ревностнымъ патріотомъ и защитникомъ народности, вовсе не думалъ о народѣ русскомъ, сочиняя свои воззрѣнія. Народъ для него, какъ видно, дѣло не важное; онъ не боится унизить и оклеветать народъ своими оригинальными соображеніями. Главное дѣло для него состоитъ въ томъ, чтобы отстоять начала, которыми опредѣлялось развитіе древней Руси. Но чѣмъ же милы ему эти

начала? Что сдѣлалъ ему Западъ, и отчего онъ съ такимъ суевѣрнымъ благоговѣніемъ обращается къ Востоку? Да и дѣйствительно ли начала народности, хотя бы и ложно понятой, заставляютъ г. Жеребцова порицать и уничтожать все послѣ-петровское развитіе Руси до послѣдняго тридцатилѣтія, ознаменованнаго возвратомъ къ народности и православію? Судя по всему характеру труда г. Жеребцова, мы думаемъ, что нѣтъ. Мы готовы представить на это нѣсколько доказательствъ изъ книги г. Жеребцова.

Во всемъ своемъ трудѣ онъ безпрестанно уклоняется отъ мысли, которую принялъ въ основаніе своихъ взглядовъ. Половина страницъ всей книги написана *такъ только*, для того, чтобы что-нибудь написать и чтобы книга вышла потолще. Въ очеркѣ древней исторіи повторяются сказки, о походѣ Олега и мести Ольги, да выдумки «Степенной книги». Въ очеркахъ литературы, науки, законодательства, администраціи — перечисляются заглавія книгъ, названія разныхъ властей и должностей, главы судебниковъ, и т. п., безъ всякой даже попытки заглянуть въ самую жизнь народа, съ которымъ имѣли дѣло эти власти, книги и судебники. Да и самыя перечисленія дѣлаются крайне забавно, обнаруживая полное невниманіе автора къ тому дѣлу, за которое онъ взялся. Напримѣръ, онъ говоритъ о путешествіяхъ русскихъ ко святымъ мѣстамъ, и, чтобы дать понятіе о богатствѣ этой отрасли русской литературы въ періодъ отъ сверженія монгольскаго ига до Петра (1480 — 1689), перечисляетъ путешествія, которыхъ описанія сохранились. Чтобы показать, какъ нелѣпо и наобумъ составлено это перечисленіе, не нужно никакихъ замѣчаній: мы приведемъ его, только поставивши въ скобкахъ *годы* путешествій, поставленныхъ рядомъ у г. Жеребцова. «Путешествія по святымъ мѣстамъ: Трифона Коробейникова (1583), Василія Гагары (1634), Іоны (1651), Арсенія Лелунскаго (никогда такого не бывало), Антонія архіепископа (1200), монаха Льва (мы не знаемъ такого), Стефана Новгородца (1350), діакона Игнатія» (1389) (т. I, стр. 449). Каковы свѣдѣнія автора о характеризуемой имъ эпохѣ? Конецъ XII вѣка онъ прихватываетъ для характеристики періода послѣ-монгольскаго. Не говоримъ ужъ о томъ, что за важное значеніе имѣютъ имена этихъ путешественниковъ для уразумѣнія хода и характера русской цивилизаціи. Г. Жеребцовъ постоянно вращается въ кругу подобныхъ мелочей, особенно въ новой исторіи Руси. Тутъ онъ упоминаетъ и о томъ, что г. Ѳеофилъ Толстой сочинилъ нѣсколько прелестныхъ романсовъ (II, 393); и о томъ, что Наполеонъ III далъ орденъ Айвазовскому (372); и о томъ, что г. Лакіеръ сочинилъ книгу о геральдикѣ (322); и о томъ, что въ губернскомъ правленіи (въ переводѣ г. Жеребцова—la régence du gouvernement) три совѣтника и одинъ асессоръ; и о томъ, что апрѣльская книжка «Отечественныхъ Записокъ» (у г. Жеребцова le Contemporain) очень толста, и т. д. Само собою разумѣется, что даже и эти мелкія свѣдѣнія перепутаны и искажены въ книгѣ, какъ видно даже изъ

указанныхъ нами примѣровъ [1]). И между тѣмъ, авторъ излагаетъ подобные факты даже не мимоходомъ, не кратко, а очень обстоятельно, не отдѣляя ихъ отъ вещей дѣйствительно важныхъ. Странно, напр., въ исторіи цивилизаціи встрѣтить подробный разсказъ объ

---

[1]) Чрезвычайно забавно читать глубокомысленныя замѣчанія г. Жеребцова о русской журналистикѣ и между прочимъ о «Современникѣ» и «Отечественныхъ Запискахъ», и вслѣдъ за тѣмъ видѣть, что авторъ не умѣетъ или не хочетъ даже различить эти два журнала. Вотъ оглавленіе апрѣльской книжки «Современника», говоритъ онъ, и—перепечатываетъ на трехъ страницахъ (304—306) оглавленіе «Отечественныхъ Записокъ»! Кстати замѣтимъ здѣсь еще ошибку г. Жеребцова, касающуюся «Современника». Онъ говоритъ: «общество молодыхъ литераторовъ купило журналъ Свиньина «Отечественныя Записки» (*le Mémorial National*), и редакція его была поручена гг. Краевскому и Панаеву» (стр. 301). Это несправедливо: г. Панаевъ никогда не былъ редакторомъ «Отечественныхъ Записокъ», хотя и находился въ весьма близкихъ отношеніяхъ къ ихъ редакціи въ первые годы ихъ существованія. Не можемъ не замѣтить также ложности мысли г. Жеребцова, будто бы «Отечественныя Записки» въ сороковыхъ годахъ, при Бѣлинскомъ, издавались «въ ущербъ вѣрѣ, народности и даже патріотизму» (стр. 302). Это грубая клевета: русская публика знаетъ, какъ благородно было направленіе Бѣлинскаго, какой любовью къ Россіи дышатъ всѣ статьи его. Конечно, патріотизмъ «Отечественныхъ Записокъ» не выражался въ такихъ пышныхъ и безплодныхъ возгласахъ, какъ напр. въ книгѣ г. Жеребцова. Но никто не можетъ упрекнуть «Отечественныя Записки» времени Бѣлинскаго въ отсутствіи того благороднаго, дѣятельнаго, истиннаго патріотизма, о которомъ говорили мы въ прошедшей статьѣ. Мы съ глубокимъ негодованіемъ и отвращеніемъ отмѣчаемъ здѣсь эту клевету на одного изъ лучшихъ двигателей современнаго развитія русскаго общества! *Да будетъ стыдно господину Николаю Жеребцову!*

Можетъ быть, клевета г. Жеребцова произошла *по невѣдѣнію*, которое онъ такъ часто обнаруживаетъ въ своей книгѣ. Но говорить о томъ, чего не знаешь, считается признакомъ неосновательности и пустоты даже тогда когда ложныя сужденія безвредны и никого не хотятъ очернить. А если они посягаютъ на репутацію другого, то уже означаютъ нѣчто гораздо худшее, чѣмъ пустая неосновательность. Не мѣшало бы г. Жеребцову быть нѣсколько поосмотрительнѣе, особенно въ отношеніи къ литературѣ. А онъ съ нею-то и не церемонится. Онъ, напр., вотъ какъ соединяетъ имена русскихъ поэтовъ: Дмитріевъ, Батюшковъ, Грибоѣдовъ, князь Вяземскій, Марлинскій, Лермонтовъ, Хомяковъ и Майковъ!!! (II, 261). И болѣе о Лермонтовѣ ни слова!... Въ числѣ романистовъ — Булгаринъ и Загоскинъ и нѣтъ Лажечникова! (II, 278). Сахаровъ и Калачовъ— отмѣчены, какъ издатели русскихъ пословицъ (I, 190). Между натуралистами изображены такіе, какъ напр. гг. Горяниновъ, Глуховъ, графъ Кайзерлингъ, и не упомянуты, напр., гг. Брандъ, Рулье, Сѣверцовъ, Савельевъ и др. Подборъ замѣчательныхъ дѣятелей въ наукахъ историческихъ и нравственныхъ сдѣланъ такъ дико, что его нельзя даже приписать невѣдѣнію, и потому мы говоримъ о немъ далѣе. Теперь же, какъ вѣнецъ подвиговъ г. Жеребцова въ небрежности и самоувѣренной безцеремонности съ литературой, приведемъ слѣдующій фактъ. Каждому изъ нашихъ читателей памятно, конечно, знаменитое «*слышу*», которымъ Тарасъ Бульба у Гоголя отвѣчаетъ на предсмертный вопль казнимаго сына. Г. Жеребцовъ, разсказывая содержаніе Тараса Бульбы, вотъ какъ передаетъ это «*слышу*!» «При каждомъ оборотѣ колеса Тарасъ чувствуетъ на себѣ всѣ муки казнимаго сына, наконецъ, не могши болѣе выдержать, онъ издаетъ крикъ: «хорошо, сынъ мой!» Остапъ передъ смертью узнаетъ голосъ своего отца и отвѣчаетъ: «отецъ, я тебя слышу» (II, 284). Къ этому факту прибавлять нечего: онъ свидѣтельствуетъ въ одно время и о томъ, какъ г. Жеребцовъ *знаетъ* русскую литературу, и о томъ, какъ онъ *понимаетъ* ея явленія.

улучшеніи конскихъ породъ. Фактъ этотъ, конечно, имѣетъ важное значеніе въ своемъ мѣстѣ, но для чего же вносить его въ исторію цивилизаціи? А между тѣмъ, г. Жеребцовъ вотъ съ какою обстоятельностью разсказываетъ о немъ на стр. 187-й II тома своей книги.

«Было одно время, когда императоръ Николай обратилъ особенную заботливость (*sa sollicitude particulière*) на улучшеніе породъ лошадей въ имперіи. Онъ выбралъ для этой цѣли человѣка, который всю свою жизнь служилъ въ кавалеріи и имѣлъ репутацію одного изъ отличнѣйшихъ знатоковъ по этой части, графа Левашева. Онъ поручилъ ему устройство конскихъ заводовъ и повелѣлъ принять всѣ необходимыя мѣры особенно для улучшенія туземныхъ породъ. Чтобы придать болѣе значенія (*plus d'importance*) этой новой отрасли администраціи, императоръ Николай возвысилъ ее на степень особаго министерства; Графъ Левашевъ сдѣлалъ много распоряженій, весьма полезныхъ; но по смерти его это особенное министерство было присоединено къ министерству государственныхъ имуществъ, какъ отдѣльный его департаментъ».

Не менѣе странно встрѣчать въ «Опытѣ исторіи цивилизаціи» генеалогическія подробности о частныхъ лицахъ. Какое значеніе для цивилизаціи русской имѣло, напр., то, что «въ 1286 г., въ Черниговѣ, былъ бояринъ Бяконтъ, который имѣлъ въ супружествѣ одну изъ дочерей Александра Невскаго» (семейное преданіе рода Жеребцовыхъ), что «отъ этого супружества произошло пять сыновей: Элевѳерій, Ѳеофанъ, Матвѣй, Константинъ и Александръ», и что «отъ Ѳеофана пошелъ родъ Жеребцовыхъ, отъ Матвѣя — Игнатьевыхъ» и пр. (I, 168). Кто можетъ ожидать, что въ исторіи русской цивилизаціи встрѣтитъ фамильныя преданія рода Жеребцовыхъ и подробности объ улучшеніи въ Россіи коннозаводства? Какія идеи, какія соображенія руководили г. Жеребцовымъ при подборѣ фактовъ, подобныхъ вышеприведеннымъ? Неужели и тутъ надо видѣть основную мысль его—отстоять древнюю русскую народность восточную отъ тлетворнаго вліянія Запада?

Нѣтъ, прочитавши сочиненіе г. Жеребцова, невольно приходишь къ мысли, что и самыя начала, защитникомъ которыхъ онъ выступилъ, вовсе не такъ близки душѣ его, какъ онъ старается показать. Если бы въ самомъ дѣлѣ славянофильскія теоріи безкорыстно занимали его, то онъ постарался бы обработать и провести ихъ хоть немножко потщательнѣе. А то вѣдь мало того, что онъ слишкомъ часто уклоняется отъ нихъ,—онъ впадаетъ въ безпрерывныя противорѣчія съ собственными воззрѣніями. Напримѣръ, онъ постоянно увѣряетъ, что образованность древней Руси достигала весьма высокой степени во всей массѣ народа, и что, между прочимъ, знаніе чужихъ языковъ не было рѣдкостью, такъ какъ еще отецъ Владиміра Мономаха говорилъ на пяти языкахъ. И между тѣмъ, объясняя, почему Петръ давалъ своимъ учрежденіямъ иностранныя названія, г. Жеребцовъ говоритъ: «можетъ быть, онъ дѣлалъ это изъ желанія показать своимъ подданнымъ, что онъ знаетъ много языковъ; это придавало въ то время блескъ знанія и тѣмъ самымъ увеличивало довѣріе къ человѣку, до такой

степени образованному» (II, 103). Что сказалъ бы на такое объясненіе почтенный г. Сухомлиновъ, авторъ извѣстной статьи о языкознаніи въ древней Руси?

Другой примѣръ. Во всей книгѣ проводится параллели между Европой и Россіей и оказывается, что во всѣ времена, до Петра, цивилизація Россіи была выше цивилизаціи европейской. Начинается съ того, что Новгородъ былъ цвѣтущей и сильной республикой «въ ту печальную эпоху, когда въ Европѣ римская цивилизація гибла въ пламени и въ потокахъ крови» (I, 49). Въ монгольскій періодъ у насъ сохранился «священный огонь любви къ знаніямъ, вѣра и чистая нравственность, а въ народахъ Европы господствовали невѣжество и неразвитость умственныхъ способностей, нравственное униженіе и готовность поддаться всякому, кто польститъ грубымъ наклонностямъ» (I, 208). Послѣ монголовъ то же самое. Законодательство и администрація представляли въ Европѣ безобразную и непонятную смѣсь, а у насъ все было организовано чрезвычайно стройно; каждая часть управленія была опредѣлена правильно; каждая частность распредѣлена по приказамъ, и пр. (I, 335). Знанія были распространены у насъ больше, чѣмъ въ Европѣ (I, 420). О нравственности нечего и говорить. И вдругъ, послѣ всего этого, въ концѣ книги г. Жеребцовъ какимъ-то манеромъ вычисляетъ, что новые народы Европы для развитія цивилизаціи имѣли тысячу лѣтъ впередъ противъ насъ (II, 622). Какъ онъ эту тысячу высчиталъ, мы не умѣли сообразить. Но главное,—къ чему было ее высчитывать, ежели мы шли все наравнѣ съ Европой? Очевидно, что г. Жеребцовъ хотѣлъ какъ-то вывернуться и оправдать запоздалость Руси, и при этомъ совсѣмъ позабылъ свои параллели. Такъ точно позабылъ онъ ихъ, сознаваясь при изложеніи дѣлъ Петра, что до него у насъ мало было училищъ, и что всѣ власти были нѣсколько перемѣшаны.

Вообще видно, что г. Жеребцовъ не употребляетъ большихъ усилій логики для поддержанія своихъ идей. Онъ, напр., хочетъ доказать, что, во весь періодъ царей, русскій народъ очень сильно двигался впередъ, а въ Европѣ былъ застой. Для доказательства онъ употребляетъ слѣдующій способъ. Иванъ III, говоритъ онъ, былъ современникомъ Людовика XI, а Петръ — Людовика XIV. Въ промежутокъ этого времени у насъ утверждалось общественное устройство на религіозно-нравственныхъ основаніяхъ; а въ Европѣ народъ былъ въ дремотѣ, ничего не дѣлалъ, и только абсолютизмъ утверждался все болѣе и болѣе. Знанія умножались: но умственныя силы находились въ застоѣ, а нравственность падала (I, 514—515). Положимъ, что кто нибудь и повѣритъ въ этомъ г. Жеребцову; но какіе же результаты представляетъ онъ самъ далѣе? Послѣ Ивана III былъ у насъ Иванъ IV, а во время абсолютизма Людовика XIV у насъ утвердился абсолютизмъ Петра I. Гдѣ же благодѣтельныя слѣдствія нашего древняго развитія? Попали мы на ту же дорогу, какъ и Европа, съ той только разницей, что она во время борьбы

королей съ феодалами организовала городскія общины, пріобрѣла парламенты, произвела реформацію, а древняя Русь растеряла и свои земскіе соборы, и боярскую думу; и произвела только раскольниковъ. Параллель эта прямо бросается въ глаза всякому, а г. Жеребцовъ хочетъ изъ нея извлечь какія-то выгоды для древней Руси... Куда ужъ!..

Но есть же какая нибудь причина, почему г. Жеребцовъ стоитъ за древнюю Русь, хотя и не умѣетъ этого сдѣлать и даже не можетъ, какъ слѣдуетъ, понять того дѣла, которое берется защищать? Конечно, причина есть; но она, по нашему мнѣнію, вовсе не заключается въ простодушной любви къ народу, которому въ древней Руси было будто бы лучше и привольнѣе, чѣмъ нынѣ. Мы убѣждены, что г. Жеребцову въ древней Руси нравится собственно одна сторона: родовыя отношенія. Онъ вездѣ съ особеннымъ умиленіемъ говоритъ о томъ, какъ почитается у славянъ родоначальникъ фамиліи, какъ старика называютъ дѣдушкой, какъ роды связаны между собою, и проч. Самую народность онъ защищаетъ на томъ основаніи, что испоконъ-вѣку есть на свѣтѣ разныя породы людей, различной пробы, и что вотъ славянская порода удалась при ея созданіи лучше, нежели всѣ другія, чѣмъ мы и должны гордиться. Такимъ образомъ, *народность* г. Жеребцова можно назвать *генеалогическою*. При этомъ становится совершенно понятною его любовь къ древней Руси и ненависть къ реформѣ Петра; эта любовь и ненависть тоже—*генеалогическія*. Родъ, порода, происхожденіе — вотъ слова, возбуждающія умиленіе г. Жеребцова; вотъ его задушевная идея, прикрытая любовью къ народности. Какъ скоро это открывается, все становится яснымъ. Ясно, почему бѣдствія удѣльной системы произвелъ г. Жеребцовъ не изъ родовыхъ отношеній, а изъ феодальныхъ идей. Ясно, почему всѣхъ славянскихъ князей считаетъ онъ родственниками варяга Рюрика. Ясно, почему онъ придаетъ такую важность для исторіи цивилизаціи фамильнымъ преданіямъ рода Жеребцовыхъ. Ясно даже и то, почему заняло его улучшеніе породъ лошадей въ Россійской имперіи. Вездѣ порода и порода... Къ ней пристрастенъ г. Жеребцовъ, отъ нея старается онъ отклонить всякое нареканіе, всякое подозрѣніе. Этимъ объясняется, между прочимъ, и то, почему, рисуя картину нравовъ древней Руси и изображая тогдашнюю общественную іерархію, онъ ни единаго слова не говоритъ о смѣшныхъ и гадкихъ проявленіяхъ мѣстничества. Понятно становится и то, почему г. Жеребцовъ вооружается противъ *литературныхъ пролетаріевъ*, которые, по его мнѣнію, вовсе неспособны къ возвышеннымъ чувствованіямъ, а умѣютъ говорить только фразы. Понятенъ для насъ и тотъ подборъ ученыхъ историковъ, юристовъ, и пр., какой сдѣлалъ г. Жеребцовъ, говоря о русской литературѣ и наукѣ. Мы нисколько не удивляемся теперь, что онъ превознесъ предъ Европою г. Морошкина, г. Никиту Крылова, г. Василья Григорьева, г. Шевырева, и т. п., и не удостоилъ упомянуть *Грановскаго* (!),

Кудрявцева, Ешевскаго, Бабста, Забѣлина и пр. О Кавелинѣ только упомянуто, что онъ юристъ, между гг. Баршевымъ и Поповымъ. На г. Чичерина сдѣланъ только намекъ, при опредѣленіи достоинствъ г. Никиты Крылова, «*недавно отличившагося* (dernièrement il s'est distingué) опроверженіемъ одной диссертаціи» (стр. 321). Все это совершенно понятно, когда знаешь, что всѣ люди, пройденные презрительнымъ молчаніемъ у г. Жеребцова, весьма мало придаютъ цѣны генеалогическимъ привилегіямъ, которымъ покланяется г. Жеребцовъ. Какъ, право, хорошо, когда поймешь наконецъ настоящую точку зрѣнія: все понятно, рѣшительно все!

Чтобы для читателей не оставалось уже никакого сомнѣнія на счетъ задушевной, тайной тенденціи, руководящей г. Жеребцовымъ, мы выпишемъ нѣсколько мыслей его о русской аристократіи изъ двухъ мѣстъ его книги.

Первое мѣсто находится въ первомъ томѣ, на стр. 271, гдѣ г. Жеребцовъ разбираетъ общественную іерархію древней Руси.

«Служилые люди раздѣлялись на двѣ категоріи: *родословные роды* и *неродословные роды*. Въ первой заключались всѣ княжескія фамиліи, происходящія отъ удѣльныхъ князей, и также фамиліи иностранныхъ пришельцевъ, вступавшихъ въ службу московскихъ князей и которыхъ родословная начиналась словами: и былъ мужъ честный, и пр. Во второй категоріи заключались всѣ остальныя фамиліи служилыхъ людей»...

Затѣмъ объясняется, что быть вписаннымъ въ родословныя книги значило больше, чѣмъ получить княжескій титулъ. Многіе *мурзы* татарскіе получили право называться князьями, а въ родословныя книги все-таки не попали. Далѣе авторъ продолжаетъ:

«Фамиліи, принадлежавшія къ категоріи родословныхъ, пользовались огромными привилегіями; онѣ во всемъ имѣли преимущество предъ неродословными, до такой степени, что тѣмъ даже запрещено было соперничать въ чемъ нибудь съ фамиліями родословными. Послѣ уничтоженія разрядовъ при Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, родословные роды все-таки сохранили значительныя привилегіи. Члены этихъ фамилій несравненно скорѣе подвигались въ службѣ, нежели члены фамилій неродословныхъ. Положимъ, что это было слѣдствіе политическаго значенія этихъ родовъ и слѣдствіе протекціи, какую они оказывали своимъ собратьямъ; но право судиться по особымъ законамъ (le droit d'être jugés d'après les lois privilégiées) и изъятіе отъ всякаго рода судебныхъ пошлинъ суть привилегіи, всегда и вездѣ составляющія принадлежность собственно такъ-называемой знати, аристократіи.

«Какъ доказательство, что право вписываться въ родословную книгу было наслѣдственное, и, слѣдовательно, поистинѣ дворянское и аристократическое, мы скажемъ, что до Петра Великаго ни одинъ изъ государей не вознаграждалъ службу подданныхъ пожалованіемъ этого права, а это пожалованіе было единственнымъ средствомъ получить дворянскія привилегіи. Слѣдовательно, эти государи смо-

трѣли на вписываніе въ родословную книгу, какъ на привилегію самаго рожденія, которой они не могли даровать» (I, 271—273).

Другое мѣсто, не оставляющее никакого сомнѣнія о причинахъ непріязненнаго взгляда г. Жеребцова на Петрову реформу, находится во второмъ томѣ (стр. 71 и слѣд.), гдѣ г. Жеребцовъ разсуждалъ о зловредности чина.

«Получая чинъ, всякій пріобрѣталъ дворянскія права. Главныя преимущества дворянства состояли въ правѣ владѣть населенными помѣстьями и вступать въ службу, т. е. имѣть возможность пріобрѣтать чины. Петръ, чтобы доказать, что дворянство дается не рожденіемъ, а службою, взялъ на Московской площади маленькаго пирожника, Меншикова, и сдѣлалъ его своимъ денщикомъ, полковникомъ, генераломъ, свѣтлѣйшимъ княземъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы доказать, что дворянство можно давать и не за военныя или гражданскія заслуги, онъ далъ дворянство простому кузнецу, Акиѳію Демидову.

«Введя свой табель о рангахъ, Петръ уничтожилъ всякое различіе въ правахъ между древними родословными дворянами и вновь произведенными. Въ то же время, производя въ дворяне всѣхъ жильцовъ, дѣтей боярскихъ и однодворцевъ, добровольно вступившихъ въ службу, онъ безмѣрно увеличилъ число членовъ *этого* дворянства, и еще болѣе усилилъ его, давая возможность достичь дворянства, посредствомъ чина, каждому рекруту и каждому писцу.

«Такой порядокъ вещей естественно ввелъ въ благородное сословіе массу лицъ и фамилій, отличавшихся грубостью нравовъ, поистинѣ плачевною. Порядочныя фамиліи (les familles comme il faut), сдѣлавшись по своимъ правамъ равными этой массѣ, болѣе или менѣе перемѣшались съ нею и мало по малу утратили отличительное чувство дворянина, выражающееся въ словахъ: noblesse oblige.

«Дворянство, составленное изъ огромнаго количества фамилій, стоявшихъ на самыхъ различныхъ степеняхъ образованія, — начиная отъ бояръ и оканчивая дѣтьми боярскими, которые были простыми солдатами или крестьянами, — дворянство это не имѣло другихъ правъ, кромѣ права владѣть крестьянами (droit de la possession d'esclaves). Но за то они обречены были на постоянную службу, въ которой и члены древнихъ фамилій, такъ же точно, какъ и новопожалованные дворяне, подвержены были тѣлесному наказанію. Эта мѣра была, можетъ быть, необходима для новопроизведенныхъ въ это дворянство; но она не могла не быть унизительною для древнихъ родословныхъ дворянъ, нравственно уничиженныхъ этимъ смѣшеніемъ, и при этомъ еще принуждаемыхъ къ скороспѣлой цивилизаціи, такъ какъ истинная цивилизація была несовмѣстима съ тѣмъ общественнымъ положеніемъ, въ какое они были поставлены» (II, 71, 79).

Кажется, довольно для того, чтобы убѣдиться, въ чемъ состоятъ задушевныя стремленія г. Жеребцова, и какія начала прикры-

ваются въ его книгѣ разглагольствіями о народности, православіи, и т. п. Мы не знаемъ, отчего произошло у г. Жеребцова столь сильное стремленіе къ генеалогическимъ отличіямъ. Но вообще говоря, подъ покровъ геральдики, генеалогіи, родственныхъ связей и всякаго рода протекцій прибѣгаютъ обыкновенно люди, лишенные внутренней возможности опереться на свои собственныя силы, на свое личное достоинство. Дряхлые старички приходятъ въ восторгъ, смотря на своихъ дѣтей, племянниковъ, внуковъ, и воображая, что всѣ они будутъ великими людьми; глупыя дѣти хвалятся обыкновенно значеніемъ своихъ отцовъ, родственниковъ, учителей, и т. п. Между взрослыми же людьми встрѣчаются иногда такіе, въ которыхъ неразуміе дѣтства соединяется съ старческой дряхлостью; эти съ одинаковымъ безразсудствомъ и наивностью восхищаются и наслѣдственными привилегіями рода, и великой будущностью страны, находящейся въ младенческомъ состояніи. Не стоило бы долго толковать съ этими престарѣлыми дѣтьми, если бы, къ несчастью, ихъ иллюзіи не вводили въ заблужденіе другихъ, хотя тоже не совсѣмъ взрослыхъ, но, по крайней мѣрѣ, и не совсѣмъ еще одряхлѣвшихъ людей. Изъ желанія предупредить хоть сколько нибудь возможность подобныхъ заблужденій, мы взялись за разборъ книги г. Жеребцова, и изъ того же желанія рѣшаемся теперь прибавить еще нѣсколько словъ относительно главной тенденціи, въ ней обнаруженной.

Со времени Крылова, на всю Россію опозорившаго надменныхъ потомковъ славныхъ римскихъ гусей, у насъ нѣтъ надобности распространяться о томъ, что защита привилегій породы смѣшна и постыдна. Тѣмъ не менѣе часто слышатся выходки противъ какого-то демократическаго направленія, противопоставляемаго аристократіи. По нашему мнѣнію, всѣ подобныя выходки лишены всякаго существеннаго смысла. Что за аристократы, что за демократы, что за различіе породъ въ одномъ народѣ, въ одномъ племени? Совѣстно обращаться за цитатой къ нашему же писателю, излагавшему свои идеи за полтора вѣка до насъ; но какъ не вспомнить при этихъ выходкахъ слова Кантемира:

«Адамъ дворянъ не родилъ, но одному сыну
Жребій былъ копать садъ, пасть другому скотину;
Ной въ ковчегѣ съ собою спасъ все себѣ равныхъ,
Простыхъ земледѣтелей, нравами лишь славныхъ».

Конечно, борьба аристократіи съ демократіей составляетъ все содержаніе исторіи; но мы слишкомъ бы плохо ее поняли, если бы вздумали ограничить ее одними генеалогическими интересами. Въ основаніи этой борьбы всегда скрывалось другое обстоятельство, гораздо болѣе существенное, нежели отвлеченныя теоріи о породѣ и о наслѣдственномъ различіи крови въ людяхъ благородныхъ и неблагородныхъ. Массы народныя всегда чувствовали, хотя смутно и какъ бы инстинктивно, то, что находится теперь въ сознаніи

людей образованныхъ и порядочныхъ. Въ глазахъ истинно образованнаго человѣка нѣтъ аристократовъ и демократовъ, нѣтъ бояръ и смердовъ, браминовъ и парій, а есть только *люди трудящіеся* и *дармоѣды*. Уничтоженіе дармоѣдовъ и возвеличеніе труда — вотъ постоянная тенденція исторіи. По степени бо́льшаго или меньшаго уваженія къ труду и по умѣнью оцѣнивать трудъ болѣе или менѣе соотвѣтственно его истинной цѣнности — можно узнать степень цивилизаціи народа. Степень возможности и распространенія дармоѣдства въ народѣ можетъ служить безошибочнымъ указателемъ большей или меньшей недостаточности его цивилизаціи. Съ этой точки зрѣнія, не генеалогическія преданія и не внѣшняя стройность государственной организаціи должны занимать историка народной образованности. Гораздо болѣе заслуживаютъ его вниманія, съ одной стороны, права рабочихъ классовъ, а съ другой — дармоѣдство во всѣхъ его видахъ,— въ печальномъ ли *табу* океанійскихъ дикарей, въ индійскомъ ли браминствѣ, въ персидскомъ ли сатрапствѣ, римскомъ патриціанствѣ, средневѣковой десятинѣ и феодализмѣ; или въ современныхъ откупахъ, взяточничествѣ, казнокрадствѣ, прихлебательствѣ, служебномъ бездѣльничествѣ, крѣпостномъ правѣ, денежныхъ бракахъ, дамахъ-камеліяхъ и другихъ подобныхъ явленіяхъ, которыхъ еще не касалась даже сатира. При разсмотрѣніи всего этого выкажутся и степень распространенія знаній въ народѣ, и степень его нравственной силы. Нигдѣ дармоѣдство не исчезло, но оно постепенно вездѣ уменьшается съ развитіемъ образованности. Трудъ считается презрѣннымъ у народовъ невѣжественныхъ, у которыхъ грабежъ служитъ болѣе почетнымъ средствомъ пріобрѣтенія, нежели работа. Трудъ не получилъ надлежащаго значенія во всемъ древнемъ мірѣ, дошедшемъ только до того, чтобы признать *нѣкоторые* труды приличными лучшимъ классамъ общества, а все остальное предоставить рабамъ. Самъ Платонъ, сочиняя свою республику, призналъ въ ней необходимымъ рабское сословіе, которое бы занималось физическими работами, чтобы доставить все нужное высшимъ сословіямъ, — правительственному и воинскому. Въ среднихъ вѣкахъ,—не говоря о феодализмѣ, — лучшими людьми провозглашены были artes liberales, т. е. только умственныя занятія признаны приличными свободнымъ людямъ; на остальныя работы смотрѣли съ презрѣніемъ. Въ новой исторіи совершилось признаніе всякаго труда. Но до сихъ поръ ни одна страна еще не достигла до умѣнья правильно оцѣнивать трудъ, вполнѣ соотвѣтственно его полезности. Часто пользуются почетомъ занятія вовсе непроизводительныя и пренебрегаются труды, въ высшей степени полезные. Дармоѣдство теперь прячется, правда, подъ покровомъ капитала и разныхъ коммерческихъ предпріятій, но тѣмъ не менѣе оно существуетъ вездѣ, эксплоатируя и придавливая бѣдныхъ тружениковъ, которыхъ трудъ не оцѣняется съ достаточной справедливостью. Ясно, что все это происходитъ именно оттого, что количество знаній, распространенныхъ

въ массахъ, еще слишкомъ ничтожно, чтобы сообщить имъ правильное понятіе о сравнительномъ достоинствѣ предметовъ и о различныхъ отношеніяхъ между ними. Оттого-то, отвергши и заклеймивши грабежъ подъ его собственнымъ именемъ, новые народы все-таки не могутъ еще распознать того же самаго грабежа, когда онъ скрывается дармоѣдами подъ различными вымышленными именами. Правда, теперь самые размѣры грабежа ужъ не тѣ, что были прежде; современные Лукуллы и Вителліи ничего не значатъ въ сравненіи съ древними. Но все-таки существуютъ маленькіе Лукуллики, и нѣтъ сомнѣнія, что они эксплоатируютъ много народа. Роскошь, съ этой точки зрѣнія, составляетъ дѣйствительно одно изъ главныхъ проявленій общественной безнравственности, но только вовсе не потому, что она разнѣживаетъ, разслабляетъ человѣка, отводитъ его мысли отъ возвышенныхъ идей къ матеріальнымъ наслажденіямъ, и т. п. Вовсе нѣтъ,— она есть признакъ соціальной безнравственности, потому что указываетъ на то печальное положеніе общества, при которомъ кровь и потъ многихъ тружениковъ должны тратиться для содержанія одного дармоѣда.

Смотря на дѣло такимъ образомъ, мы удивляемся, какъ можетъ г. Жеребцовъ смотрѣть съ пренебреженіемъ на промышленные успѣхи Россіи со временъ Петра и какъ можетъ онъ восхищаться великолѣпіемъ и обиліемъ досуга у древнихъ бояръ московскихъ!

Впрочемъ, пора уже разстаться намъ съ г. Жеребцовымъ. Читатели изъ нашей статьи, надѣемся, успѣли уже познакомиться съ нимъ настолько, чтобы не желать продолженія этого знакомства. Поэтому, оставляя въ покоѣ его книгу, мы намѣрены теперь исполнить обѣщаніе, данное нами въ прошлой статьѣ: сдѣлать нѣсколько замѣчаній относительно самыхъ началъ, которыя навязываются древней Руси ея защитниками, и которыя оказываются такъ несостоятельными предъ судомъ исторіи и здраваго смысла.

Образованность древней Руси развивалась съ самыхъ древнихъ временъ подъ вліяніемъ христіанства. Этого никто не отвергаетъ и не можетъ отвергать. Но защитники древней Руси, разсматривая вліяніе христіанства, представляютъ дѣло въ какомъ-то особенномъ свѣтѣ. Они, во-первыхъ, приписываютъ его почему-то древней Руси преимущественно предъ новою; во-вторыхъ, кромѣ христіанства примѣшиваютъ еще къ дѣлу Византію и Востокъ, въ противоположность Западу; въ-третьихъ, формальное принятіе вѣры смѣшиваютъ съ дѣйствительнымъ водвореніемъ ея началъ въ сердцахъ народа. Все это весьма мало имѣетъ основаній въ дѣйствительности. Конечно, съ распространеніемъ въ Россіи западноевропейской образованности, ослабѣли многія вѣрованія, бывшія слишкомъ твердыми въ Руси. Нарушеніе постовъ и нѣкоторыхъ обрядовъ не считается теперь рѣдкостью, какъ прежде, и это, конечно, нехорошо. Но надобно же отдать справедливость и новому

времени хоть въ томъ, что при распространеніи новыхъ научныхъ понятій исчезаютъ или ослабѣваютъ многія суевѣрія и грубые обычаи, которыми полна была Русь древняя. И если сравнивать въ этомъ отношеніи старинное время съ новымъ, то старинѣ никакъ нельзя отдать преимущества. Ежели нынѣ вѣрованія нерѣдко затемняются блескомъ кичливаго ума, набравшагося свѣтскихъ знаній, то въ древности эти вѣрованія страдали отъ примѣси суевѣрій и грубыхъ предразсудковъ. Нынѣ мѣшаютъ вѣрѣ философскія воззрѣнія, а тогда мѣшало язычество:—какая же выгода отъ этого различія для древней Руси? Равнымъ образомъ, какая была сладость для народа отъ связей съ Византіею, независимо отъ живительной силы самого христіанства, не измѣняющейся отъ мѣстныхъ и частныхъ отличій? Византія только сообщила Россіи педантизмъ и мертвенную формалистику, которую она усвоила себѣ гораздо ранѣе, нежели началось господство схоластики на Западѣ. Оттого мертвая буква постоянно занимала русскихъ книжниковъ, какъ бы вовсе не чувствовавшихъ потребности въ живомъ вѣяніи духа. Какъ на доказательство образованности, указываютъ часто на множество списковъ книгъ церковныхъ, существовавшее въ древней Руси. Но безобразныя искаженія въ этихъ спискахъ, извѣстныя изъ исторіи исправленія книгъ, именно доказываютъ, что переписка была весьма часто безсмысленна. Слѣдовательно, обиліе списковъ (если и допустить, что оно было такъ велико, какъ предполагаютъ нѣкоторые) можетъ быть важно только развѣ для исторіи каллиграфіи, а никакъ не для исторіи образованности народа. То же вліяніе византійскаго педантизма видимъ мы и въ самыхъ расколахъ русскихъ: значительная часть ихъ произошла изъ-за внѣшнихъ формальностей. И въ то время, когда въ Европѣ общее умственное движеніе возбуждено было реформаціей, у насъ все спорило о нѣсколькихъ словахъ и фразахъ, искаженныхъ въ книгѣ безграмотными и безтолковыми переписчиками. Подавляя насъ своимъ педантизмомъ въ теоріи, чему же могла Византія IX вѣка научить насъ на практикѣ? Льстивость, хитрость и вѣроломство были отличительными, объявленными качествами грековъ, современныхъ образованію русскаго государства. Русскіе до принятія христіанства ѣздили въ Константинополь продавать тамъ рабовъ; при византійскомъ дворѣ они видѣли пышность и роскошь, которыя дразнили ихъ. Все это не слишкомъ благотворно могло дѣйствовать на нравы древней Руси.

Безъ всякаго сомнѣнія, принятіе христіанства при Владимірѣ много смягчило и улучшило нравы. Но это необходимо должно было итти постепенно, а византійскій формализмъ не только не содѣйствовалъ улучшенію народной нравственности, но даже какъ будто пренебрегалъ имъ, обращая все свое вниманіе на внѣшность. Оттого-то мы и видимъ, что общественная нравственность въ древней Руси постоянно была въ состояніи весьма печальномъ. Не

рѣшаясь пускаться въ подробныя изысканія, мы приведемъ здѣсь лишь нѣсколько замѣтокъ на этотъ счетъ изъ наиболѣе извѣстныхъ и уважаемыхъ у насъ источниковъ.

«Купель христіанская, освятивъ душу Владиміра, не могла вдругъ очистить народныхъ нравовъ», говоритъ Карамзинъ (I, 154). Ту же мысль подробнѣе развиваетъ г. Соловьевъ въ слѣдующихъ словахъ. «Понятно, что древнее языческое общество не вдругъ уступило новой власти свои права, что оно боролось съ нею, и боролось долго; долго, какъ увидимъ, христіане только по имени не хотѣли допускать новую власть вмѣшиваться въ свои семейныя дѣла; долго требованія христіанства имѣли силу только въ верхнихъ слояхъ общества и съ трудомъ проникали внизъ, въ массу, гдѣ язычество жило еще на дѣлѣ, въ своихъ обычаяхъ. Вслѣдствіе родового быта у восточныхъ славянъ не могло развиться общественное богослуженіе, не могло развиться жреческое сословіе; не имѣя ничего противопоставить христіанству, язычество легко должно было уступить ему общественное мѣсто; но, будучи религіею рода, семьи, дома, оно на долго осталось здѣсь. Язычникъ русскій, не имѣя ни храма, ни жрецовъ, безъ сопротивленія допустилъ строиться новымъ для него храмамъ, оставаясь въ то же время съ прежнимъ храмомъ—домомъ, съ прежнимъ жрецомъ—отцомъ семейства, съ прежними *законными обѣдами*, съ прежними жертвами у колодца, въ рощѣ. Борьба, вражда древняго языческаго общества противъ вліянія новой религіи и ея служителей выразилась въ суевѣрныхъ примѣтахъ, теперь безсмысленныхъ, но имѣвшихъ смыслъ въ первые вѣка христіанства на Руси: такъ, появленіе служителя новой религіи закоренѣлый язычникъ считалъ для себя враждебнымъ, зловѣщимъ, потому что это появленіе служило знакомъ къ прекращенію нравственныхъ безпорядковъ, къ подчиненію его грубаго произвола нравственно-религіозному закону» (Сол. Ист. Р. I, 291).

Замѣчанія г. Соловьева совершенно объясняютъ, какое значеніе нужно придавать свѣдѣніямъ о распространеніи церквей, монастырей, и т. п., въ древней Руси. Очевидно, что это распространеніе никакъ не можетъ служить мѣриломъ того, какъ глубоко правила новой вѣры проникли въ сердца народа. Къ этому можно прибавить замѣтку г. Соловьева и о томъ, что самыя извѣстія о содержаніи церквей щедротами великихъ князей могутъ указывать на недостаточность усердія новообращенныхъ прихожанъ.

Нельзя не замѣтить, что даже замѣчаніе г. Соловьева о томъ, что «въ верхнихъ слояхъ общества новая вѣра скоро получила силу», требуетъ значительныхъ ограниченій. Множество фактовъ говоритъ противъ него. Добрыня и Путята, крестившіе новгородцевъ огнемъ и мечемъ, конечно, не были проникнуты началами любви христіанской. Ярославъ, поднявшій оружіе противъ отца, обманувшій и избившій новгородцевъ, поступалъ, конечно, противно христіанской нравственности. Святополкъ, избившій братъ-

евъ, представляетъ ужасное явленіе среди новообращеннаго народа, въ которомъ однакоже нашлось много пособниковъ для исполненія кровожадныхъ замысловъ этого князя. Междоусобія Изяслава, Всеволода и послѣдующихъ князей, вѣроломство Олега Святославича, осѣпленіе Василька тотчасъ послѣ мирнаго съѣзда князей и крестнаго цѣлованія, кровавая вражда Олеговичей и Мономаховичей,—вотъ явленія, наполняющія весь до-монгольскій періодъ нашей исторіи; видно ли изъ нихъ, что кроткое вліяніе новой вѣры глубоко проникло въ сердца князей русскихъ? А подобныхъ явленій не мало можно отыскать и въ послѣдующей исторіи Руси.

И не только частные факты доказываютъ, что язычество долгое время было сильно у насъ даже въ верхнихъ слояхъ общества; то же самое видно изъ законодательства. Многія статьи Ярославовой «Правды» носятъ на себѣ несомнѣнные признаки языческаго происхожденія. Не забудемъ, что въ ней узаконяется родовая месть, и холопъ признается вещью.

Общественная нравственность была въ весьма печальномъ состояніи во весь до-петровскій періодъ. При Владимірѣ царствовали по всей Руси грабежи и убійства; по принятіи христіанства, Владиміръ изъ человѣколюбія не хотѣлъ казнить разбойниковъ, а бралъ только *виры*, и разбои умножились, такъ что сами епископы должны были просить его, чтобъ онъ опять принялся казнить (П. С. Л. I, 54). Въ уставѣ о церковныхъ судахъ, приписываемомъ Ярославу, находится изложеніе безчисленнаго множества самыхъ тонкихъ подраздѣленій любодѣянія, съ опредѣленіемъ за него денежныхъ штрафовъ (Карамз. II, пр. 108). Митрополитъ Іоаннъ писалъ въ концѣ XI вѣка: «О, горе вамъ, яко имя мое васъ ради хулу пріимаетъ во языцѣхъ! Иже въ монастырехъ часто пиры творятъ, сзываютъ мужи вкупѣ и жены, и въ тѣхъ пирѣхъ другъ другу пресѣваютъ, кто лучшій творитъ пиръ» (Кар. II, пр. 158). О нравахъ XII вѣка свидѣтельствуетъ Несторъ, говоря въ лѣтописи, что мы только словомъ называемся христіане, а живемъ *поганьскы*. «Видимъ бо игрища утолочена, и людій много множество, яко упихати начнутъ другъ друга, позоры дѣюще отъ бѣса замышленнаго дѣла, а церкви стоятъ; егда же бываетъ годъ молитвы, мало ихъ обрѣтается въ церкви» (Полн. соб. лѣт. I, 72). Изъ XIII вѣка можно привести отрывокъ одного поученія Серапіона. «Много разъ бесѣдовалъ я съ вами, желая отвратить васъ отъ худыхъ навыковъ; но не вижу въ васъ никакой перемѣны. Разбойникъ ли кто изъ васъ, — не отстаетъ отъ разбоя; воръ ли кто,—не пропуститъ случая украсть; имѣетъ ли кто ненависть къ ближнему,—не имѣетъ покоя отъ вражды; обижаетъ ли кто другого, захватывая чужое,—не насыщается грабежемъ; лихоимецъ ли кто,—не перестаетъ брать мзду» (Обз. дух. лит. Филар. 50). Въ началѣ XIV вѣка митрополитъ Петръ въ окружномъ посланіи запрещаетъ духовенству заниматься торговлей и давать деньги въ

ростъ (тамъ же, 67). Въ началѣ XV вѣка Фотій, вслѣдствіе нѣкоторыхъ безпорядковъ, писалъ посланіе къ новгородскому духовенству, предписывая, что «въ которомъ монастырѣ живутъ черницы, тамъ не должны жить черницы, — и гдѣ будутъ жить черницы, тамъ избрать священниковъ съ женами, а вдоваго попа тамъ не должно быть» (тамъ же, 88). Еще черезъ столѣтіе, одинъ священникъ, Георгій, представлялъ собору 1503 г. «Господа священноначальники! Недуховно управляются вѣрные люди: надзираете за церковью по обычаю земныхъ властителей, чрезъ бояръ, дворецкихъ, тіуновъ, недѣльщиковъ, подводчиковъ, и это для своего прибытка, а не по сану святительства» (тамъ же, 113). Такого рода разнообразныя обличенія обращались весьма нерѣдко даже и къ лицамъ духовнымъ; что же говорить о мірскихъ людяхъ? Карамзинъ отзывается, что въ монгольскій періодъ вообще «отечество наше походило болѣе на темный лѣсъ, нежели на государство; сила казалась правомъ; кто могъ, грабилъ,—не только чужіе, но и свои; не было безопасности ни въ пути, ни дома; татьба сдѣлалась общею язвою собственности» (V, 217). По сверженіи монгольскаго ига, нравственное состояніе общества не много улучшилось. Объ этомъ можемъ судить по извѣстіямъ иностранцевъ и по нѣкоторымъ русскимъ сочиненіямъ того времени. Заключеніе выводится очень неблагопріятное: праздность, пьянство, обманъ, воровство, грабежъ, лихоимство, роскошь высшихъ классовъ, безправіе и нищета низшихъ, — вотъ черты, приводимыя у Карамзина (VII, глава 4; X, глава 4), котораго никто не назоветъ противникомъ древней Руси. Надѣемся, всякій согласится, что общество, въ которомъ господствуютъ подобные пороки, не совсѣмъ удобно превозносить за глубокое проникновеніе нравственными началами христіанства. Вліянія византійскаго тутъ, конечно, отрицать нельзя; но едва ли стоитъ тщеславиться его проникновеніемъ въ русскую народность.

Истинныя начала Христовой вѣры не только не отражались долгое время въ народной нравственности, но даже и понимаемы то были дурно и слабо. Во весь до-петровскій періодъ въ нашей духовной литературѣ не прерываются обличенія противъ суевѣрій, сохраненныхъ народомъ отъ временъ язычества. Несторъ съ негодованіемъ говоритъ о суевѣрахъ, боящихся встрѣчи со священникомъ, съ монахомъ и со свиньею (Лавр. лѣт. 1067 г., стр. 73), а между тѣмъ самъ онъ, несмотря на свою значительную по тогдашнему времени образованность, безпрестанно обнаруживаетъ собственное суевѣріе. То его смущаютъ знаменія небесныя, то уродъ, вытащенный изъ рѣки, кажется зловѣщимъ признакомъ, то злобный характеръ князя объясняется волшебной повязкой, которую носилъ онъ отъ рожденія, и т. д. Древнѣйшій письменный памятникъ нашей поэзіи—Слово о полку Игоревѣ, конца XII в.,—отличается совершенно языческимъ характеромъ. Въ XIII и даже XIV в. сохранялось еще языческое богослуженіе во многихъ мѣстахъ. Объ этомъ есть сви-

дѣтельство въ Паисіевскомъ Сборникѣ. Нѣсколько ранѣе этого времени есть свидѣтельство (въ Словѣ Христолюбца), о томъ, что язычество долго держалось даже въ образованныхъ слояхъ общества. Христолюбецъ говоритъ, что много есть христіанъ, «двовѣрно живущихъ, вѣрующихъ и въ Перуна, и въ Хорса, и въ Мокошь, и въ Сима, и въ Ргла, и въ Вилы... «Огневи ся молять, зовуще его Сварожицемъ, и чесновитокъ богомъ творять... Не токмо же се творять невѣжи, но и вѣжи, попове и книжники» (Фил. Обз. Дух. Лит. 48). Какую роль волшебство и чародѣйство постоянно играли въ древней Руси, не только въ простомъ народѣ, но даже при дворѣ и среди самого духовенства,—извѣстно, конечно, всѣмъ и каждому. Стоглавъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, что даже нѣкоторые черницы пользовались суевѣріемъ народа, такъ какъ въ это время, хотя и воздвигалось множество новыхъ храмовъ, но истиннаго усердія къ вѣрѣ не было, а дѣлалось это единственно по тщеславію. Вообще—постановленія Стоглаваго Собора даютъ много весьма грустныхъ свидѣтельствъ о духовномъ состояніи Руси въ половинѣ XVI в. Мы не хотимъ пріискивать самыхъ мрачныхъ его обличеній, а просто приведемъ тѣ изъ нихъ, которыя указываются у Карамзина (IX, 271—272), вовсе не желавшаго выбирать только худшее. «Да никто изъ князей, вельможъ и всѣхъ добрыхъ христіанъ не входитъ въ церковь съ главою покровенною, въ тафьяхъ мусульманскихъ. Да не вносятъ въ алтарь ни пива, ни меду, ни хлѣба, кромѣ просфоръ. Да уничтожится во вѣки нелѣпый обычай возлагать на престолъ такъ называемыя сорочки, въ коихъ родятся младенцы... Злоупотребленія и соблазны губятъ нравы духовенства. Что видимъ въ монастыряхъ? Люди ищутъ въ нихъ не спасенья души, а тѣлеснаго покоя и наслажденій. Архимандриты, игумены не знаютъ братской трапезы, угощая свѣтскихъ друзей въ своихъ келіяхъ. Иноки держатъ у себя отроковъ и юношей; принимаютъ безъ стыда женъ и дѣвицъ, разоряютъ села монастырскія. Обители, богатыя землями и доходами, не стыдятся требовать милостыни отъ государя: впредь да не стужаютъ ему. Милосердіе христіанское устроило во многихъ мѣстахъ богадѣльни для недужныхъ и престарѣлыхъ, а злоупотребленіе ввело въ оныя молодыхъ и здоровыхъ тунеядцевъ. Многіе иноки, черницы, міряне, хвалясь какими-то сверхъестественными сновидѣніями и пророчествомъ, скитаются изъ мѣста въ мѣсто съ святыми иконами, и требуютъ денегъ для сооруженія церквей, непристойно, безчинно, къ удивленію иноземцевъ... Духовенство обязано искоренять языческія и всяческія гнусныя обыкновенія. Напримѣръ, когда истецъ съ отвѣтчикомъ готовятся къ бою, тогда являются волхвы, смотрятъ на звѣзды и проч. Легковѣрные держатъ у себя книги аристотелевскія, звѣздочетныя, зодіаки, альманахи, исполненные еретической мудрости. Наканунѣ Иванова дня люди сходятся ночью, пьютъ, играютъ, пляшутъ цѣлыя сутки; такъ же безумствуютъ и наканунѣ Рождества Христова, Василія

Великаго и Богоявленія. Въ субботу Троицкую плачутъ, вопятъ и глумятъ на кладбищахъ, прыгаютъ, бьютъ въ ладоши, поютъ сатанинскія пѣсни. Въ утро великаго четверга палятъ солому и кличутъ мертвыхъ; а священники въ сей день кладутъ соль у престола и лечатъ ею недужныхъ. Лживые пророки бѣгаютъ изъ села въ село, нагіе, босые, съ распущенными волосами; трясутся, падаютъ на землю, баснословятъ о явленіяхъ св. Анастасіи и св. Пятницы. Ватаги скомороховъ, человѣкъ до ста, скитаются по деревнямъ, объѣдаютъ, опиваютъ земледѣльцевъ, даже грабятъ путешественниковъ на дорогахъ. Дѣти боярскія толпятся въ корчмахъ, играютъ зернью, разоряются. Мужчины и женщины моются въ однѣхъ баняхъ, куда самые иноки, самыя инокини ходить не стыдятся. На торгахъ продаютъ зайцевъ, утокъ, тетеревей удавленныхъ; ѣдятъ кровь или колбасы, вопреки уставу соборовъ вселенскихъ; слѣдуя латинскому обычаю, бреютъ бороду, подстригаютъ усы, носятъ одежду иноземную, клянутся во лжи именемъ Божіимъ и сквернословятъ; наконецъ,—что всего мерзостнѣе и за что Богъ казнитъ христіанъ войнами, гладомъ, язвою,—впадаютъ въ грѣхъ содомскій» (Кар. IX, 271—273, прим. 822—831). Такой картины нравовъ (при всей смѣшанности понятій, господствующей въ самомъ обличеніи), конечно, никто не назоветъ отрадною; а нужно прибавить, что Карамзинъ еще значительно смягчилъ многія выраженія Стоглавника... Пусть же судитъ по этому безпристрастный читатель, до какой степени одушевлено было русское общество тѣми высокими нравственными началами, которыя должны были сдѣлаться ему извѣстными,—и формально были извѣстны,—со времени Владиміра.

Другое прекрасное явленіе древней Руси, способствовавшее прочному ея развитію и преуспѣянію, указываютъ въ патріархальности ея общественнаго устройства. «Все было гармонично, все оживлялось однимъ духомъ, во всемъ была простота и радушіе, говорятъ поклонники древней Руси. Древнюю Русь нужно представлять себѣ огромною нравственною равниною: не было у нея ни лицъ, ни сословій, которыя бы рѣзко выдѣлялись изъ массы, подлежавшей общему уровню. Но эта равнина была подвижна, жива, растуща. Все въ ней сливалось въ удивительной гармоніи. Государственная власть соотвѣтствовала потребностямъ народа; въ своихъ дѣйствіяхъ она опиралась на дружину, совѣтъ старцевъ, думу боярскую, городское вѣче, — и ими уравновѣшивались ея опредѣленія съ волею народа. Высшее сословіе, — бояре служили органами, въ которыхъ воплощалось все лучшее, выработанное народной жизнью и требовавшее распространенія въ массахъ. Ихъ привилегіи были основаны не на чинахъ и почестяхъ, а на самомъ существенномъ изъ правъ — правѣ рожденія, и всѣ почитали это право священнымъ и ненарушимымъ. Они не были связаны обязательной службой, но участвовали въ дѣлахъ правленія изъ любви къ общему благу. Въ то же время господствовали въ Россіи обще-

ственность и всенародность; судъ и расправа были словесные и короткіе; всенародность суда обусловливала его честность. Права сословій выросли изъ самой жизни; просвѣщеніе срослось съ народомъ. Все это вело къ консерватизму, который, однакоже, не былъ застоемъ, а плавнымъ движеніемъ цѣлаго океана волнъ. Столь восхитительное общественное устройство отражалось и на жизни семейной: тишина, скромность, цѣломудріе, нѣжная покорность старшимъ составляли ея отличительныя качества; въ то же время гостепріимство и радушіе украшали семьянина въ его отношеніяхъ ко всѣмъ членамъ общества».

Такъ воспѣваютъ древне-русскую патріархальность многіе ея поклонники. Они утѣшаются прекраснымъ ея изображеніемъ и находятъ, повидимому, весьма удобнымъ пробовать на себѣ слова поэта:

«Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь».

Они дѣйствительно готовы проливать слезы умиленія надъ вымышленной ими гармоніей всѣхъ силъ и явленій древней Руси. Можетъ быть, это и хорошо и даже полезно для забвенія всѣхъ современныхъ золъ; можетъ быть, мы и сами были бы довольны, если бы нашли возможность сочинять для себя такого рода утѣшенія. Но, къ несчастію, не всякому дается такая пылкая фантазія, какъ напр. гг. Розену, Вельтману, Классену и имъ подобнымъ лицамъ, у которыхъ небывалые факты исторіи такъ и снуютъ въ головѣ, точно фантастическіе призраки въ сказкахъ Гофмана. При всѣхъ нашихъ усиліяхъ, мы никакъ не можемъ вообразить древнюю Русь столь прекрасною и блаженною, какъ бы намъ хотѣлось, если факты дѣйствительности говорятъ противное. А факты говорятъ вотъ что.

Настоящая государственная власть въ древней Россіи не существовала, по крайней мѣрѣ, до возвышенія государства Московскаго. Древніе князья называли Русь своею *отчиною* и, дѣйствительно, какъ доказалъ недавно г. Чичеринъ, владѣли ею скорѣе по вотчинному, нежели по государственному праву. По утвержденіи же Московскаго государства, — одна уже возможность такой личности, какъ Иванъ Грозный, заставляетъ отказаться отъ обольщенія относительно силы и значенія думы боярской или какого бы то ни было *уравновѣшивающаго* вліянія.

Сословія древней Руси вовсе не представляются въ такой гармоніи, какъ хотятъ насъ увѣрить. Боярство отличалось спесью предъ низшими (которая однакоже не исключала раболѣпства), и безобразными ссорами межъ своими. Мѣстническіе расчеты и бывавшія при нихъ продѣлки — извѣстны всякому. Отношеніе бояръ къ сельскому населенію видно изъ свидѣтельства Кошихина, который говоритъ, что бояре держатъ при себѣ людей 100 и даже 1000, и что нѣкоторыхъ изъ нихъ посылаютъ въ вотчины свои

щаемся за цитатами къ Карамзину, какъ приверженцу до-петровской Руси. Извѣстно, что онъ, въ своемъ сочиненіи «О древней и новой Россіи», не только восхищался временемъ царей Михаила и Алексѣя, но даже и всѣмъ московскимъ періодомъ. Онъ говоритъ, что «политическая система государей московскихъ заслуживала удивленіе своею мудростію, имѣя цѣлію одно благоденствіе народа», и что «народъ, избавленный князьями московскими отъ бѣдствій внутренняго междоусобія и внѣшняго ига, не жалѣлъ о своихъ древнихъ вѣчахъ и сановникахъ; довольный дѣйствіемъ, не спорилъ о правахъ. Одни бояре, столь нѣкогда величавые въ удѣльныхъ господствахъ, роптали на строгость самодержавія; но бѣгство или казнь ихъ свидѣтельствовали твердость онаго» (Кар. Эйнерл. Прил., стр. XLII). Очевидно, что Карамзинъ былъ вполнѣ доволенъ положеніемъ дѣлъ въ древнемъ Московскомъ государствѣ. Но при своей добросовѣстности онъ не считалъ удобнымъ скрывать или искажать, подобно г. Жеребцову, печальные факты внутренняго быта, представлявшіеся ему въ источникахъ.

Высшее боярство, поставленное въ такихъ *выгодныхъ* отношеніяхъ къ народу, и само не было, однако же, въ древней Руси вполнѣ обезпечено въ своихъ гражданскихъ правахъ. Бояре не ходили пѣшкомъ, не хотѣли знаться съ купцами и мѣщанами, требовали, чтобы никто не смѣлъ въѣхать къ нимъ на дворъ, а чтобъ всѣ оставляли лошадей у воротъ; но это не спасало ихъ отъ многихъ вещей, довольно унизительныхъ. Мы уже не говоримъ о разныхъ обрядахъ и обязанностяхъ придворной службы древне-русской, описанныхъ у Котошихина. Укажемъ только на то, что даже высшіе бояре не изъяты были отъ тѣлеснаго наказанія. Вліяніе ли это татарщины, или національное произрастеніе (какъ можно подумать, судя по тому, что есть рьяные защитники и почитатели его, въ родѣ г. Жеребцова и князя В. Черкасскаго, недавно прославившагося требованіемъ восьмнадцати (18) ударовъ, въ «Сельскомъ Благоустройствѣ»),—во всякомъ случаѣ кнутъ, плети, батоги были весьма знакомы спинамъ спесивыхъ бояръ древней Руси. Раскройте дѣла о мѣстничествѣ, акты, разрядныя книги; посмотрите записки Желябужскаго,— васъ изумитъ щедрость, съ какою тѣлесное наказаніе разсыпалось всѣмъ и каждому. При этомъ нужно замѣтить, что напрасно воображаютъ нѣкоторые и то, будто бы въ древней Руси не было обязательной службы для высшаго сословія. Говоря это, разумѣютъ обыкновенно военную службу, упрекая Петра за то, что онъ насильно забиралъ дворянъ въ армію. Но обязательность военной службы для дворянъ была постоянно признаваема въ Московскомъ государствѣ; разница только въ томъ, что войска регулярнаго не было, а слѣдовательно и служба была не регулярна. Но за то, въ случаѣ надобности, требовалось, чтобы дворяне немедленно являлись на службу; если же они не шли, то записывались *нѣтчиками* и строго наказывались. Еще задолго до Петра являются въ правительственныхъ распоряженіяхъ весьма суровыя упо-

минанія объ этихъ нѣтчикахъ. Вотъ, напримѣръ, распоряженіе, записанное въ разрядной книгѣ 7123 года (Врем. 1849 г. Ч. I, стр. 7). «А которые (дворяне и дѣти боярскіе) учнутъ ослушаться и съ ними на государеву службу не поѣдутъ, и тѣхъ бить батоги и въ тюрьму сажать... И имъ тѣхъ городовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, велѣти имая приведчи къ себѣ и бить велѣть по торгомъ кнутомъ и сажать въ тюрьму; а изъ тюрьмы выимая велѣти ихъ давать на крѣпкія поруки съ записьми, что имъ быти съ ними на государевѣ службѣ; и отписывать помѣстья и приказывать беречь до государева указу, и отписныхъ помѣстій крестьянамъ слушать ихъ ни въ чемъ не велѣть». — Нужно замѣтить, что такое распоряженіе сдѣлано въ 1615 г., когда только-что воцарился кроткій Михаилъ послѣ кровавыхъ смутъ времени самозванцевъ и междуцарствія...

Судоустройство и судопроизводство, администрація и законодательство также находились у насъ до Петра вовсе не въ такомъ блистательномъ состояніи, какъ нѣкоторые хотятъ увѣрить. Самые законы древней Руси не всегда были хорошо соображены съ нуждами народа. Сначало византійское право явилось у насъ ни къ селу ни къ городу, совершенно внезапно. Затѣмъ татарскія отношенія не остались безъ вліянія на законодательство. Вообще, съ XI в. до Ивана III, мы, по замѣчанію Карамзина, «не подвинулись впередъ въ гражданскомъ законодательствѣ, но, кажется, отступили назадъ къ первобытному невѣжеству народовъ въ сей важной части государственнаго благоустройства» (Кар. V, 228). Тутъ же историкъ замѣчаетъ, что отсутствіе письменныхъ постоянныхъ правилъ суда зависѣло оттого, что князья «судили народъ по необходимости и для собственнаго прибытка» и потому старались избирать кратчайшій и простѣйшій способъ рѣшенія тяжебъ... Съ изданіемъ «Судебниковъ» 1450 и 1550 гг. и еще болѣе по составленіи «Уложенія» судопроизводство должно было опредѣлиться нѣсколько лучше. Но все-таки въ немъ оставалась достаточная доля неопредѣленности, для того, чтобы можно было запутать всякое дѣло. Рѣшительное смѣшеніе судебныхъ и административныхъ властей много помогало этому; а всеобщая безнравственность дѣлала безсильною всякую попытку водворить правду въ судахъ. Уже при сынѣ Ярослава, Всеволодѣ (въ концѣ XI в.), по извѣстію лѣтописи, «начаша тіуни грабити, людій продавати, князю не вѣдущу» (П. С. Л. I, 93). Подъ 1038 г. лѣтописецъ замѣчаетъ о жителяхъ прибрежій Сулы (посульцахъ), что имъ была отъ посадниковъ такая же пагуба, какъ отъ половцевъ (Л. I, 133). У князя Игоря Ольговича (1146 г.) кіевляне просили правосудія, жалуясь на тіуновъ предыдущаго князя. Игорь далъ обѣщаніе смѣнить хищниковъ, но не исполнилъ своего слова, и кіевляне призвали на княженіе Изяслава (Кар. II, 123). На Андрея Боголюбскаго было неудовольствіе народа за лихоимство судей; по убіеніи его самого (1174 г.), бросились къ посадникамъ, тіунамъ, «и домы ихъ пограбиша,

а самихъ избиша, дѣтцкые и мечники избиша, а домы ихъ пограбиша,—не вѣдуче глаголемаго: идѣже законъ, ту и обидъ много», наивно прибавляетъ лѣтописецъ (Л. I, 157). Въ XIII столѣтіи читаемъ жестокія обличенія противъ неправосудія и мздоимства въ словахъ Кирилла митрополита. Въ одномъ изъ нихъ говорится: «иже бо безъ правды тивунъ, когождо осудивъ, продастъ и тѣми кунами купитъ собѣ ясти и пити, и одѣяніе собѣ, и вамъ тѣми кунами купятъ обѣды, и пиры творятъ: се, якоже рекохомъ, вдали есте стадо Христово татемъ и разбойникомъ» (см. Фил. Обз. Дух. Лит. 59). Въ словѣ Даніила Заточника (XIII в.) говорится: «не держи села, близь княжаго села, ибо тіунъ его — какъ огонь палящій, а рядовичи его — какъ искры. Если отъ огня и убережешься, то искръ ужъ никакъ не устережешься». Вообще, въ XIII и XIV в., по замѣчанію Карамзина, само законодательство наше было таково, что вело къ злоупотребленіямъ: ни въ чемъ не было твердыхъ основаній, все зависѣло отъ произвола (Кар. V, 226). Съ XV вѣка идетъ уже безпрерывный рядъ свидѣтельствъ о неправосудіи и взяточничествѣ дьяковъ и подьячихъ. Разсказываютъ, что однажды Василій Ивановичъ призвалъ къ себѣ судью, уличеннаго въ взяткѣ, и вздумалъ строго допрашивать. Судья не смѣшался и привелъ въ свое оправданіе то, что, по его мнѣнію, всегда богатаго должно оправдать скорѣе, чѣмъ бѣднаго, такъ какъ богатый менѣе имѣетъ надобности совершать преступленія (Кар. VII, 123). Въ XVI в., когда явилось строгое преслѣдованіе взяточничества закономъ, подьячіе выдумали спекуляцію на народное благочестіе: челобитчики, «входя къ судьѣ, должны были класть деньги передъ образами, будто бы на свѣчку» (Кар. X, 141). Эта выдумка была наконецъ запрещена указомъ; но не рѣшались никакими указами уничтожить подарки судьямъ передъ праздниками, сдѣлавшіеся въ это время уже священнымъ обычаемъ. Судейскіе нравы XVII столѣтія извѣстны всѣмъ по сказаніямъ Котошихина, такъ часто приводимымъ въ историческихъ изысканіяхъ о Россіи предъ-петровскаго времени. Какія продѣлки употреблялись въ судахъ, можно видѣть изъ нѣсколькихъ замѣтокъ Желябужскаго. Напримѣръ, Петръ Кикинъ пытанъ на Вяткѣ за то, что *подписался было подъ руку* думнаго дьяка, Емельяна Украинцева. — Ѳедосій Хвощинскій битъ кнутомъ за то, что онъ своровалъ, — *на порожнемъ листѣ составилъ было запись*. Князь Петръ Кропоткинъ битъ кнутомъ за то, что онъ въ дѣлѣ своровалъ,—*выскребъ и приписалъ своею рукою* (стр. 7). Дмитрій Камынинъ битъ кнутомъ за то, что *выскребъ въ Помѣстномъ приказѣ*, въ межѣ съ патріархомъ (стр. 9). Леонтій Кривцовъ пытанъ за то, что онъ выскребъ въ дѣлѣ. Пытанъ дьякъ Иванъ Шакинъ, — съ подьячимъ *своровали въ дѣлѣ въ приказѣ Холопьяго суда*.—Битъ батогами Григорій Языковъ за то, что онъ своровалъ съ площаднымъ подьячимъ, съ Яковомъ Алексѣевымъ,— *въ записи написали заднимъ числомъ за пятнадцать лѣтъ* (стр. 13). Ѳедоръ Дашковъ, поѣхавшій-было служить польскому

королю, «пойманъ на рубежѣ и привезенъ въ Смоленскъ и разспрашиванъ; а въ разспросѣ онъ передъ стольникомъ и воеводою, передъ княземъ Борисомъ Ѳеодоровичемъ Долгорукимъ, сказалъ, и въ томъ своемъ отъѣздѣ повинился. А изъ Смоленска присланъ скованъ къ Москвѣ, въ Посольскій приказъ; *а изъ Посольскаго приказа освобожденъ для того, что онъ далъ Емельяну Украинцеву двѣсти золотыхъ*» (23)... и пр., и пр...

Вотъ какого рода продѣлки совершались въ древней Руси; вотъ до какой виртуозности доходили эти простодушные, патріархальные тіуны, дьяки и подьячіе, которыми такъ восхищаются славянофилы, подобные г. Жеребцову.

Но, по крайней мѣрѣ, семейная жизнь вознаграждала въ древней Руси за всѣ общественныя несовершенства. Тамъ царствовалъ миръ и любовь, тамъ была покорность женъ мужьямъ, благоговѣніе дѣтей предъ родителями, домовитость хозяйки, стыдливость и цѣломудріе дѣвицъ, страхъ Божій и чистая любовь къ людямъ. Златоверхій теремъ, дружеская бесѣда, патріархальное хлѣбосольство, идиллическое препровожденіе времени въ кругу семейства и ближайшихъ родныхъ... какъ все это прелестно и заманчиво!... Зачѣмъ Петръ разрушилъ все это своими балами и ассамблеями, общественными потѣхами, иноземными манерами и обычаями, оторвавшими древнюю русскую семью отъ семейной жизни?... Теперь негдѣ намъ найти пріютъ и отдыхъ отъ разнаго рода общественныхъ невзгодъ, одолѣвающихъ насъ: въ собственномъ семейномъ быту каждый находитъ теперь то же самое общество, отъ котораго онъ хотѣлъ бы бѣжать. О, какъ вожделѣнны для насъ эти убѣжища стариннаго россіянина, съ ихъ теремами и свѣтлицами, съ доброй, цѣломудренной женой и покорными дѣтьми, съ медами и наливками!

Но, увы! и съ этой иллюзіей придется разстаться. Мудрено сказать, кто первый и съ какого резону вообразилъ, что въ древней Руси господствовала такая простота и чистота семейной жизни; еще мудренѣе оставаться теперь въ этомъ заблужденіи послѣ всего, что уже было писано о древней Руси. Мы, пожалуй, не станемъ приводить деликатныхъ ночныхъ похожденій Чурила Пленковича; не станемъ говорить о томъ, какъ Тугаринъ невѣжливо велъ себя за столомъ князя Владиміра, кладя руку за пазуху великой княгинѣ; не обратимъ вниманія даже на то, какъ эта княгиня, въ отсутствіе мужа, привлекаетъ къ себѣ въ спальню статнаго молодца, начальника каликъ перехожіихъ. Все это разсказывается въ народныхъ пѣсняхъ, сложенныхъ про Владиміра, и можетъ быть не болѣе, какъ слѣдствіемъ языческаго пониманія вещей. Не будемъ вообще говорить о семейной жизни до монголовъ; во все это время бытъ народный оставался, очевидно, языческимъ. Въ концѣ XII в., по свидѣтельству «Церковнаго Правила» митрополита Іоанна, народъ полагалъ, что церковное вѣнчанье нужно только князьямъ да боярамъ. «Русская Правда» указываетъ на обычай держать ра-

бынь наложницами (Русск. Дост., ч. I, стр. 54). Лѣтописи свидѣтельствуютъ о князьяхъ, явно державшихъ наложницъ въ XI и XII в. Въ «Вопрошаніяхъ Кириковыхъ» (XII в.) находится довольно наивный вопросъ: «а оже, владыко, и друзіи наложници водятъ явѣ и дѣтя родятъ, яко съ своею; и друзи съ многыми отай водятъ: которое луче»? (Пам. Рос. Слов., 187). Оставимъ эти времена, оставимъ и печальный монгольскій періодъ, и перейдемъ прямо къ XV вѣку, ко времени оживленія Руси при возвышеніи Московскаго княжества. Что находимъ мы здѣсь, по лѣтописямъ, законодательнымъ актамъ и памятникамъ литературы? Увы, то же, рѣшительно то же самое, только въ нѣсколькихъ измѣненныхъ формахъ. О наложницахъ въ это время уже упоминается менѣе; но безпрестанно говорится о насильственномъ постриженіи женъ, прогнанныхъ мужьями или убѣжавшихъ отъ нихъ, о четвертомъ, пятомъ, шестомъ, седьмомъ бракѣ, о прелюбодѣяніяхъ, насильствахъ надъ рабами, и т. п. Въ половинѣ XV вѣка, митрополитъ Іона обличалъ даже вятчанъ за вступленіе въ *десятый* бракъ (А. Ист. I, 498. Ср. I, 67, 141, 161. 491, 498). Отношенія жены къ мужу были таковы, что онъ могъ ее отдавать, продавать, закладывать, предавать въ рабство. Законы не постановляли этого, но въ актахъ находятся свидѣтельства, что это было, и, слѣдовательно, самое положеніе женщины допускало подобное явленіе. Въ одной грамотѣ начала XVII в. пишется: «А иные многіе служилые люди, которыхъ воеводы и приказные люди посылаютъ къ Москвѣ и въ иные города для дѣлъ, жены свои въ деньгахъ закладываютъ у своей братьи, у служилыхъ же, и у всякихъ людей на сроки; и отдаютъ тѣхъ своихъ женъ въ закладъ мужи ихъ сами, и тѣ люди, у которыхъ онѣ бываютъ въ закладѣ, съ ними до сроку, покамѣста которыя жены мужъ не выкупитъ, блудъ творятъ беззазорно; а какъ тѣхъ женъ на сроки не выкупятъ, и они ихъ продаютъ на воровство же и въ работу всякимъ людямъ, не боясь праведнаго суда Божія» (Рум. Грам. III, 246). Этакого обращенія не одобряли и древне-русскіе законы. Но, тѣмъ не менѣе, они подтверждали своимъ авторитетомъ тотъ фактъ, что жена находится въ полной зависимости отъ мужа. Въ указѣ Ивана IV, 1557 г., запрещается мужу быть душеприказчикомъ жены, на томъ основаніи, что жена въ его волѣ: — «что ей велитъ писати, то и пишетъ» (А. И. I. 257). А какъ достигалось такое послушаніе жены, можно видѣть изъ нѣкоторыхъ главъ творенія, въ которомъ ярко отразился семейный идеалъ древней Руси, — изъ Домостроя. Обязанности идеальной жены, по Домострою, состояли въ томъ, чтобы все въ домѣ «вымыть, и вытереть, и выскресть, и высушить, и положить въ чистомъ мѣстѣ»; чтобы «отай отъ мужа не ѣсть и не пить», во всемъ ссылаться, какъ велитъ мужъ, «въ бесѣдахъ дурныхъ, и пересмѣшныхъ, и блудныхъ рѣчей не слушать, и самой не бесѣдовати о томъ»; «беречь остатки и обрѣзки», «смотрѣть за слугами, чтобы они работали, не пили и не шатались».

«Пытанъ Володимеръ Ѳедоровъ, сынъ Замыцкой, въ подговорѣ дѣвокъ, по язычной молвкѣ Филипа Дивова» (13). «Приведены въ Стрѣлецкій приказъ Трофимъ да Данила Ларіоновы съ дѣвкою, въ блудномъ дѣлѣ его жены, въ застѣнокъ, и они повинились въ застѣнкѣ въ блудномъ дѣлѣ. А сказали: что они съ дѣвкою блудно жили. Одному учинено наказанье предъ Стрѣлецкимъ приказомъ, вмѣсто кнута битъ батоги; а другого отослали въ Патріаршій приказъ, для того, что онъ холостой» (стр. 22). А «на Царицынѣ битъ кнутомъ нещадно Иванъ Петровъ, сынъ Бартеневъ, за то, что бралъ взятки; такъ же бралъ женокъ и дѣвокъ на постелю» (стр. 53). Можно повернуть дѣло такъ, что наказаніе кнутомъ за подобныя преступленія скорѣе говоритъ о чистотѣ нравственности въ обществѣ, нежели о его развращеніи. Но вѣдь это такъ случилось, что попались эти люди; а что ихъ били кнутомъ, такъ это вовсе не диковинка: кого же не били кнутомъ въ древней Руси? Но не всегда же попадались подъ судъ люди, любившіе пожуировать тогда. Въ Актахъ Юридическихъ, изданныхъ г. Калачовымъ (т. I, 555), помѣщено духовное завѣщаніе одного почтеннаго отца семейства, который говоритъ, что онъ «рабъ есть грѣху, наипаче же всѣхъ блудному», отпускаетъ на волю нѣсколькихъ женщинъ, жившихъ у него въ домѣ, и въ заключеніе проситъ у всѣхъ прощенія. Умилительный тонъ его просьбы можетъ растрогать поклонниковъ древней Руси: «такъ же и сиротъ моихъ, которые мнѣ служили, мужей ихъ и женъ, и вдовъ, и дѣтей, чѣмъ будетъ оскорбилъ во своей кручинѣ, боемъ по винѣ и не по винѣ, и къ женамъ ихъ и ко вдовамъ насильствомъ, дѣвственнымъ растленьемъ, а иныхъ есми грѣхомъ своимъ и смерти предалъ; согрѣшилъ во всемъ, и передъ ними виноватъ». Если вы скажете, что и это исключительный случай, то придется для васъ сдѣлать выписку изъ Домостроя, гдѣ говорится, чтобы слуги хорошо жили съ женами, и «чтобы жены ихъ бабъ бы не слушали, кои на зло потворяютъ младыя жены, сирѣчь которыя сваживаютъ съ чужими мужьями, и наипаче ихъ учатъ красти, и бл...., и всему злу. И много слышахъ отъ бабъ потворенныхъ, которыя бѣгаютъ покрадши государя и государыню (господина и госпожу) со многимъ имѣніемъ, жонки и дѣвки съ чужими мужики. И егда возьметъ у нея съ чѣмъ сбѣжала, и ее убьетъ или въ воду посадитъ, а имѣніе твое изгинетъ. Аще ли ти невѣрно мнится о таковыхъ бабахъ, то како въ домъ твой прійти мужику незнаему? Или женка и дѣвка по воду пойдутъ, или платье мыть, и съ мужикомъ начнутъ говорити? Аще и знаемъ будетъ, онѣ же срамятся съ нимъ и созрѣтися, занеже съ мужикомъ, а не съ своимъ мужемъ говорити; а бабѣ всегда ей время говорити тишкомъ о каковомъ дѣлѣ. Учинится она торговкою, и пришедъ и пытаетъ у нихъ: «надобѣ ли вамъ то или иное? Или государынѣ вашей»? И онѣ у нея пытаютъ: есть ли то? и она жъ молвитъ: «есть». И онѣ, дѣвки и женки молодыя:—дай, мы покажемъ государынѣ. И она же отмолвится: «дала есмь то и то женѣ

доброй, того и того»; и скажетъ человѣка добраго же, еще и по имени; а все лжетъ. «И язъ, кунка, иду да у нея возьму, и къ вамъ принесу». И онѣ ей призапретятъ: «принеси къ намъ до обѣда же, или какъ вечерню поютъ». Баба же молвитъ: «у, кунки, знаю, какъ къ вамъ прійти: то вы государя блюдетеся». И отойдетъ отъ нихъ; и нейдетъ къ нимъ день или два; по дни жь, по другомъ, къ двору жь къ нимъ нейдетъ, и стережетъ ихъ, какъ пойдутъ на рѣку по воду или платья мыти. Баба же пойдетъ, рекше, мимо; онѣ же ее скличутъ и молвятъ ей: «о чемъ къ намъ не бывала и не принесла, что хотѣла принести»? Баба же къ нимъ удивится вельми и молвитъ: «вчера и третьево дни была есми у тое и у тое жены добрыя,—и мужа имя скажетъ; и у нихъ былъ пиръ: и она, кормилица, меня не отпустила; и ночевала есми у нея съ ея служками и дѣвками; а тамо есмь и не поспѣла ходити; меня жалуютъ многія жены добрыя». И онѣ жь ей молвятъ: «принеси же къ намъ»! и съ запрещеніемъ великимъ... Да не плету много! Сими дѣлы бабы опознаваются съ женками и съ дѣвками служащими. И начнетъ съ ними отай баба, съ нею же опознаваются, невозбранно стояти и говорити, на рѣкѣ и встрѣчу. Аще и государь осмотритъ,—онѣ же съ женой, а не съ мужчиною стоятъ. И потомъ начнетъ къ нимъ и ко двору приходити; онѣ же опознаваютъ ее и съ государынею своею. Горе мнѣ! Вси есми прельщени отъ общаго врага дьявола; нашимъ оружіемъ побѣждени бываемъ. Дерзну рещи: блаженная Ѳеодора Александрійская, не отъ жены ли прельщена, ложе мужа своего не сохрани?» (Домостр. глава 22, стр. 35).

Или и этого изображенія еще не довольно? Такъ загляните въ Кошихина (глава XIII, стр. 118 — 125). Онъ изображаетъ очень подробно и откровенно всю процедуру женитьбы въ старинной Руси, заставившую его воскликнуть изъ глубины души, что «нигдѣ во всемъ свѣтѣ такого на дѣвки обманства нѣтъ, яко въ Московскомъ государствѣ»...

А послѣ Кошихина можете, пожалуй, доставить себѣ утѣшеніе чтеніемъ сочиненія г. Жеребцова. Оно дѣйствительно забавно покажется послѣ тѣхъ мрачныхъ впечатлѣній, какіе вы выносите изъ чтенія источниковъ.

Итакъ, въ древней Руси ничего не было хорошаго? спросятъ насъ въ заключеніе. Отчего же не быть, отвѣтимъ мы: вѣроятно что-нибудь,—а можетъ быть и очень многое, — было хорошо. Мы вѣдь вовсе не хотѣли доказать подборомъ фактовъ, приведенныхъ нами, что *только* такіе факты и были возможны въ древней Руси. Мы подобрали ихъ только для того, чтобы показать, что *и такіе* факты бывали, да и нерѣдко... Да и много ли мы подобрали-то? Можно ли по этому сдѣлать рѣшительное заключеніе о *всей* жизни, о *всѣхъ* сторонахъ ея? Конечно, нельзя, и мы вовсе не стремились къ этому. Намъ нужно было только представить оборотную сторону медали, такъ спесиво показываемой писателями, подобными г. Жеребцову.

Мы и показали ее, сколько успѣли. Форму общаго очерка, а не отдѣльныхъ, отрывочныхъ замѣтокъ на г. Жеребцова, мы выбрали потому, что хотѣли обратить свое опроверженіе не лично на г. Жеребцова, котораго книга ужъ слишкомъ нелѣпа, а вообще на тѣ мнѣнія о древней Руси, которыхъ онъ считаетъ себя поборникомъ. Признаемся, возиться непосредственно съ «Опытомъ» г. Жеребцова было бы для насъ слишкомъ утомительно и непріятно, хотя мы и знаемъ, что наши замѣчанія и цитаты чрезвычайно много выиграли бы въ своей яркости и силѣ, если бы сопоставлены были съ восхитительными фантазіями г. Жеребцова.

Тогда мы могли бы избѣжать и упрека въ односторонности, которому, вѣроятно, подвергнемся теперь. Тогда наши замѣчанія имѣли бы просто видъ ограниченія тѣхъ положеній, которыя самоувѣренно и восторженно высказываетъ г. Жеребцовъ. Теперь, напротивъ, могутъ сказать, что мы составляли свой очеркъ, руководимые одностороннею непріязнью къ старинѣ и пристрастіемъ къ новой Руси. Конечно, отчасти упрекъ этотъ будетъ и справедливъ: само собою разумѣется, что мы могли быть односторонни въ своихъ замѣткахъ. Мы взяли на себя роль обвинителя древнерусскаго развитія, и мы выставляли только-то, что служитъ къ его обвиненію. Но и при этомъ мы остались все-таки менѣе односторонни, чѣмъ безусловные хвалители до-петровской Руси. Мы по крайней мѣрѣ не дѣлали двухъ вещей, которыя они дѣлаютъ: 1) не обращали въ обвиненіе того, что должно служить къ похвалѣ, и 2) называя дурнымъ одинъ предметъ, не восхищались безусловно другимъ, искусственно ему противопоставленнымъ. Признавая живую и непосредственную связь древней Руси съ новою, мы вовсе не восторгаемся новымъ, потому только, что оно не старое. Давно уже прошло время школьныхъ контраверсій на темы: какой возрастъ всѣхъ счастливѣе? Какое время дня пріятнѣе? Что лучше— утопиться или повѣситься? страдать чахоткой или аневризмомъ? и т. п. Пора-бы кинуть и эти, давно всѣмъ надоѣвшія контраверсіи о томъ, что благороднѣе и пріятнѣе *мшелоимство* или взяточничество, *ръзоиманіе* или ростовщичество, *скаканіе и клопотаніе* или танцы, и т. п. Увѣрьтесь же наконецъ, что все это забавное школьничество, пустой споръ о словахъ и формахъ, а не о дѣлѣ. Въ сущности, наша исторія никогда не обрывалась и не могла оборваться. Какъ ни крутъ и рѣзокъ кажется переворотъ, произведенный въ нашей исторіи реформою Петра, но если всмотрѣться въ него пристальнѣе, то окажется, что онъ вовсе не такъ окончательно порѣшилъ съ древнею Русью, какъ воображаетъ, съ глубокимъ прискорбіемъ, бо́льшая часть славянофиловъ... Древняя Русь не могла внезапно исчезнуть вмѣстѣ съ обритыми бородами. Она вовсе не такъ далека отъ насъ, чтобъ представлять ее намъ какимъ-то раемъ земнымъ, населеннымъ чуть-ли не ангелами. Повѣрьте—

«И прежде плакалъ человѣкъ,
И прежде кровь лилась рѣкою».

И послѣ насъ—опять будетъ плакать человѣкъ, и кровь будетъ литься. Что же дѣлать? Отъ этого грустнаго обстоятельства не спасешься допотопными иллюзіями. Дѣйствительность напомнитъ о себѣ и покажетъ, что рѣшительно не стоитъ убиваться изъ-за того, ежели въ древности бояре въ думѣ «сидѣли, брады свои уставя», а нынѣ чиновники въ разныхъ мѣстахъ сидятъ, вовсе бородъ не имѣя... Вѣдь они и безъ бородъ такъ же точно *думаютъ*, и точно такъ же *дѣло дѣлаютъ*, какъ прежде дѣлали съ бородами. О чемъ же хлопотать-то? Вѣдь форма рѣшительно ничего не значитъ. Разсаживать ли гостей по мѣстническимъ счетамъ, или по табели о рангахъ, и то и другое равно скучно. Сходиться ли съ мужчинами *отай*, черезъ бабъ, или въявь, самимъ по себѣ,—и то и другое равно пріятно. Отдадимъ же древней Руси справедливость хотя въ томъ, что она ни чуть не хуже, чѣмъ новая, умѣла внести скуку во всѣ офиціальныя отношенія и умѣла изыскивать средства для пользованія запрещенными пріятностями жизни; зачѣмъ такъ отодвигаться отъ нашихъ предковъ, смотря въ уменьшительное стеклышко на ихъ жизнь, со всѣми ея пороками и слабостями? Посмотримъ на нихъ простыми глазами, и не будемъ смущаться, если они окажутся ближе къ намъ, нежели мы хотѣли бы. Неужели мы позволимъ себѣ испугаться, что черезъ это сократится длина нашей генеалогіи? Пора бы ужъ намъ, кажется, смотрѣть на это равнодушно и, оставивши предковъ въ покоѣ, подумать нѣсколько серьезно о томъ, на что мы сами то годны. Для поддержки же генеалогическихъ тенденцій всегда найдутся люди, подобные г. Николаю Жеребцову.

О нравственной стихіи въ поэзіи на основаніи историческихъ данныхъ. По поводу вопроса о современномъ направленіи русской литературы. Сочиненіе *Ореста Миллера* на степень магистра русской словесности. Спб. 1858.

Книжонка не стоитъ серьезнаго разбора, и мы хотѣли было промолчать о ней, какъ молчали мы о «Правдѣ о мужчинѣ и женщинѣ», «Печатной правдѣ», «Минутахъ уединенныхъ размышленій», «Сонникахъ», «Оракулахъ» и тому подобныхъ безтолковыхъ издѣліяхъ писальнаго мастерства. Разборы подобныхъ книгъ составляютъ подвигъ, и подвигъ весьма неблагодарный. Нужно ихъ уничтожить, а для этого надо слѣдить за ними изъ строки въ строку, потому что каждая строка въ нихъ заключаетъ въ себѣ

непремѣнно—или ложь, или чепуху. Недавно въ «Русскомъ Вѣстникѣ» совершилъ такой подвигъ надъ «Печатной правдой» г. Жемчужниковъ. Разборъ его превосходенъ, но за то онъ вышелъ гораздо обширнѣе самой книжонки, для которой написанъ. Къ счастію еще книжонка была не велика, и предметъ ея въ высшей степени интересенъ и важенъ теперь для всей русской публики. Но что прикажете дѣлать съ длинной диссертаціей, на 300 страницахъ убористаго шрифта, толкующей о нравственной стихіи въ поэзіи? Неужели цѣлую книжку «Современника» посвятить серьезному ея разбору,—неужели опять пускаться въ разсужденія объ элементарныхъ понятіяхъ, о которыхъ «ужъ сколько разъ твердили міру», но которыхъ все-таки не могъ понять авторъ диссертаціи? И для кого все это? Вѣдь навѣрное тѣ, которые не съ первой страницы бросятъ книжонку эту, какъ бездарную пошлость, навѣрное тѣ не станутъ читать журнальныхъ критикъ, а если какъ нибудь и прочтутъ, то ужъ ни за что не убѣдятся. Такъ, читатели, восхищающіеся «Битвою русскихъ съ кабардинцами» и «Гуакомъ или непреоборимою вѣрностью»,—не убѣдятся въ ихъ пошлости никакимъ громоноснымъ разборомъ; такъ публика извѣстнаго разряда не убѣдилась въ нелѣпости «Чиновника» даже послѣ разбора г. Павлова, и «Чиновникъ» до сихъ поръ даже модная пьеса для благородныхъ спектаклей. Для издѣлій, подобныхъ «Нравственной стихіи», «Чиновнику» и Гуаку», существуютъ особые классы читателей, не имѣющіе ничего общаго съ кругомъ людей, читающихъ журналы. Поэтому разбирать въ журналѣ «Правду о мужчинѣ и женщинѣ» и «Нравственную стихію» мы считали совершенно безплоднымъ и излишнимъ трудомъ.

Но изданіе г. Ореста Миллера представляетъ одну сторону, заставляющую обратить на него нѣкоторое вниманіе. На заглавномъ листкѣ книги стоятъ слова: на степень магистра русской словесности, слѣдовательно, это не есть просто книжная спекуляція, расчитанная только на карманы покупщиковъ. Претензіи г. Ореста Миллера идутъ дальше. Онъ хочетъ вступить въ привилегированно-ученое сословіе и, какъ видно, имѣетъ намѣреніе не шутя пропагандировать свои понятія о поэзіи и нравственности. Нѣтъ ничего мудренаго, что онъ будетъ когда нибудь ex officio поучать россійское юношество въ гимназіи или (чего на свѣтѣ не бываетъ!) даже гдѣ нибудь и выше. Это обстоятельство и заставляетъ насъ отмѣтить книгу г. Ореста Миллера въ нашей библіографіи, — не за тѣмъ, чтобъ наставить автора (онъ уже не станетъ слушать наставленій, хотя и сильно въ нихъ нуждается, судя по его книгѣ), — но для того, чтобы предостеречь юношей, предъ которыми произведеніе г. Ореста Миллера можетъ явиться подъ прикрытіемъ наставническаго авторитета. Такихъ юношей не мало существуетъ до сихъ поръ въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, благодаря милой методѣ воспитанія, доселѣ еще не выведшейся во многихъ мѣстахъ. Конечныя цѣли и результаты этой методы

самому мальчику, когда онъ, переставши, по лѣтамъ своимъ, быть мальчикомъ, все-таки — не только самъ сохраняетъ прежнія, жалкія привычки и понятія, но еще навязываетъ и другимъ. По глупости и молодушію онъ становится врагомъ всякаго свободнаго порыва, всякаго самостоятельнаго развитія, становится гасильщикомъ свѣтлыхъ идей, какъ скоро онѣ не согласны съ извѣстными убѣжденьицами, извнѣ заброшенными въ его душу... Тутъ уже долгъ всякаго честнаго человѣка — преслѣдовать неразумнаго гасильщика, отгонять его отъ того свѣта, который онъ можетъ потушить смрадомъ гнилыхъ своихъ теорій. Желая предостеречь юношей отъ возможности невольно сдѣлаться нѣкогда подобными гасильщиками, мы рѣшаемся обратиться къ нимъ съ нѣсколькими замѣчаніями относительно сочиненія «О нравственной стихіи въ поэзіи».

Мы скажемъ этимъ юношамъ вотъ что.

Господа! Не читайте сочиненія «О нравственной стихіи въ поэзіи». Не читайте — не потому, чтобы теоріи автора были ужъ слишкомъ опасны и заразительны (нѣтъ, онѣ крайне слабы и шатки: это и вы сами можете замѣтить), а потому, что трата времени на прочтеніе этой диссертаціи есть трата самая безплодная и скучная, какую только можно вообразить. Если вы хотите изъ сочиненія г. Ореста Миллера узнать что нибудь о поэзіи,—ничего не узнаете. Онъ разсматриваетъ поэтическія произведенія единственно со стороны поведенія лицъ, выведенныхъ въ нихъ. Вишну у индійцевъ въ поэмахъ былъ, — говоритъ, — нравственъ, хотя и не совсѣмъ, потому что не былъ христіаниномъ; а Шива, индійскій дьяволъ, былъ лукавъ и золъ. Вслѣдствіе этого — богу Вишну г. Орестъ Миллеръ ставитъ въ поведеніи 4, а Шивѣ — 0. Затѣмъ, та же исторія повторяется съ героями Иліады и Одиссеи, греческихъ трагедій и комедій, римскихъ комедій, съ рыцарями средне-вѣковыхъ поэмъ и съ главнѣйшими лицами Шекспира. Этимъ прописываніемъ аттестатовъ все дѣло и ограничивается. Ни эстетическихъ, ни историческихъ соображеній — никакихъ. Отъ эстетики г. Орестъ Миллеръ едва-ли не дальше, чѣмъ извѣстный амфитріонъ-музыкантъ, въ баснѣ Крылова. Напр., говоря о представленіи боговъ въ индійской и греческой поэзіи, г. Орестъ Миллеръ отдаетъ преимущество индійской: правда, индійскіе боги безобразны, даже отвратительны, сознается онъ, но за то они гораздо нравственнѣе (стр. 9 и сл.). Это значитъ:

«Они немножечко дерутъ,
За то ужъ въ ротъ хмельного не берутъ,
И всѣ съ прекраснымъ поведеньемъ».

Отъ исторіи авторъ еще далѣе. Каковы, напр., должны быть историческія знанія и понятія человѣка, утверждающаго, что у грековъ не могло быть комедіи характеровъ, *вслѣдствіе ихъ религіознаго взгляда*, подчинявшаго свободу человѣка дѣйствію судьбы,

и что истинная комедія могла явиться только подъ вліяніемъ христіанства! (стр. 84). Всего забавнѣе при этомъ то, что въ Иліадѣ и Одиссеѣ самъ г. Орестъ Миллеръ находитъ характеры, хорошо развитые и выдержанные. Въ комедіи же, по его мнѣнію, характеровъ не могло быть у грековъ, потому что они, не просвѣщенные свѣтомъ откровенія, не понимали происхожденія зла въ мірѣ. Мы же теперь знаемъ, что зло въ мірѣ произошло отъ паденія Адамова, и поэтому — можемъ писать хорошія комедіи характеровъ!!! Все это можно прочитать на страницѣ 84-й, въ книгѣ г. Ореста Миллера. Мы нарочно указываемъ страницу, чтобы кто нибудь не заподозрилъ насъ въ умышленномъ сочиненіи подобной мистической логики. Да нарочно, впрочемъ, этого ни за что и не выдумаешь, хоть пять лѣтъ сиди.

Каковы историческія понятія автора, можно видѣть также изъ другого примѣра. Онъ полагаетъ, на стр. 96, что походы Александра Македонскаго происходили собственно на тотъ конецъ, *чтобы приготовить людей къ общечеловѣческой поэзіи христіанства*»! Вашъ юный умъ (мы все говоримъ съ юношами) не постигаетъ связи между Александромъ Македонскимъ и общечеловѣческой поэзіей христіанства; но г. Орестъ Миллеръ — глубокій логикъ. Вотъ какъ онъ проводитъ свою мысль. Провидѣніе хотѣло сблизить отдѣльные народы, чтобъ облегчить распространеніе между ними христіанства. Для этого оно послало на землю македонскаго героя, внушило ему итти на персовъ и мысль построить Александрію; въ Александріи развилась ученость, имѣвшая вліяніе на Римъ, а назначеніе Рима, по мнѣнію г. Ореста Миллера, именно въ томъ и состояло, «чтобы сблизить и слить всѣ народности древняго міра въ одно»... Ясно ли теперь? Если нѣтъ, то г. Орестъ Миллеръ поведетъ васъ дальше, укажетъ на великое переселеніе народовъ, на крестовые походы, и заключитъ, что все это произошло для того, чтобъ произвести поэзію, смѣшанную изъ разныхъ элементовъ, но «общую всей Европѣ». Правда, наивно замѣчаетъ онъ при этомъ, «единство ея было *единство смѣси* (!), но это была уже переходная ступень къ поэзіи *органически единой*, къ общечеловѣческой поэзіи христіанства» (стр. 97 — 98). Вы видите, скромные юноши, до чего доводитъ желаніе дѣлать общіе выводы съ чужихъ словъ, безъ всякаго знанія и пониманія исторіи: можно договориться до того, что сочинишь *единство смѣси!* Единство смѣси! Единство смѣси, составляющее переходъ къ органическому единству! За эту фразу г. Орестъ Миллеръ не умретъ въ лѣтописяхъ русскаго языка... Предъ этимъ *единствомъ смѣси* совершенно стирается знаменитая нѣкогда фраза объ *энергіи слабости*... Единство смѣси у г. Ореста Миллера тѣмъ болѣе замѣчательно, что можетъ служить необыкновенно мѣткой характеристикой собственнаго труда его. Скажите только, что г. Орестъ Миллеръ находитъ въ средневѣковой поэзіи *единство смѣси*, и неглупый человѣкъ тотчасъ смекнетъ, какого рода явленіе представляетъ диссертація г. Ореста Миллера.

Много подобныхъ казусовъ въ сочиненіи г. Ореста Миллера «О нравственной стихіи въ поэзіи», и напрасно было бы ихъ подбирать и пересчитывать: имъ счету нѣтъ. Посмотримъ лучше, изъ чего онъ хлопочетъ. На заглавномъ листкѣ стоитъ, между прочимъ, заманчивое объявленіе, что сочиненіе это написано «по поводу вопроса о современномъ направленіи русской литературы». Вы, можетъ быть, и полагаете, что авторъ хотѣлъ показать на основаніи историческихъ данныхъ, насколько и какъ именно въ поэзіи отражается состояніе общественной нравственности и, слѣдовательно, до какой степени поэтическія произведенія могутъ служить для физіологіи общества. Съ этой точки зрѣнія вы ожидали, можетъ быть, живыхъ и любопытныхъ замѣтокъ о современномъ *общественномъ* направленіи русской литературы. Но вы горько ошиблись бы, если бъ принялись съ этой мыслью читать произведеніе г. Ореста Миллера. О русской литературѣ въ ней вовсе нѣтъ рѣчи, да и объ иностранныхъ литературахъ не много говорится. Самыя важныя эпохи, въ которыя поэзія имѣла самое ближайшее отношеніе къ обществу, пройдены совершеннымъ молчаніемъ. Г. Орестъ Миллеръ не удостоилъ обратить вниманія ни на французскихъ трагиковъ, ни на Мольера, ни на Шенье, ни на Вольтера и Руссо, ни на Шиллера и Гёте, ни на Байрона, ни на Гейне. Не говоримъ уже о томъ, что пропущены такія явленія, какъ Мильтонъ, Вальтеръ-Скоттъ, Мицкевичъ, вся новѣйшая европейская литература, выразившаяся въ романѣ и повѣсти. Не говоримъ о томъ, что въ своей книгѣ г. Орестъ Миллеръ совершенно оставилъ въ сторонѣ лирическую поэзію и изъ всѣхъ лирическихъ поэтовъ говоритъ только объ одномъ Анакреонѣ; а кажется, чего бы лучше воспользоваться лирикой для опредѣленія нравственныхъ идеаловъ, которые г. Орестъ Миллеръ рѣшился искать въ поэзіи разныхъ народовъ. Не говоримъ и о томъ, что авторъ сочиненія «О нравственной стихіи въ поэзіи» не далъ ни однимъ намекомъ почувствовать, что ему даже извѣстно существованіе поэзіи еврейской!.. Все это изумительно, дико, невѣроятно... Думаешь, на чемъ же, наконецъ, авторъ рѣшился опереть свои положенія, изъ чего дѣлалъ свои выводы? Развѣ классическая поэзія, рыцарскія поэмы и Шекспиръ достаточны для того, чтобы дать понятіе о томъ, какимъ образомъ нравственные идеалы воплощались въ поэзіи разныхъ народовъ? Развѣ можно при этомъ даже ограничиться разборомъ однихъ лучшихъ произведеній? Развѣ не можетъ легко случиться, что тотъ нравственный идеалъ, котораго г. Орестъ Миллеръ не находитъ у Горація, окажется въ трагедіяхъ, извѣстныхъ подъ именемъ Сенеки, или въ поэмѣ Эннія? Развѣ не можетъ быть, что тѣ нравственныя начала, которыя г. Орестъ Миллеръ признаетъ невозможными у грековъ, потому что они были язычники, найдутся у кого нибудь въ китайской поэзіи? И что это за манера разбирать поэтическія произведенія на основаніи заранѣе составленной та-

блички добродѣтелей и пороковъ. Г. Орестъ Миллеръ разложилъ весь кодексъ добродѣтелей на нѣсколько кучекъ и, читая, напр., Иліаду, раскладываетъ по этимъ кучкамъ разные факты, находящіеся въ ней. Кучка первая, положимъ, воздержность въ пищѣ; есть ли она у Гомеровыхъ героевъ? Нѣтъ, — въ доказательство слѣдуютъ факты пьянства и обжорства изъ Иліады. Кучка вторая — цѣломудріе; обладаютъ ли имъ Гомеровы греки? Нѣтъ, — слѣдуютъ любовныя похожденія боговъ. Кучка третья—непамятозлобіе; оно есть ли у Гомера? Тоже нѣтъ,—доказательство то, что вся Иліада основана на гнѣвѣ Ахилла... и т. д. Какое нужно терпѣнье, какое умѣнье сузить и ограничить себя до того, чтобы уяснить сколько нибудь понятіе о поэзіи и ея значеніи? Но вѣдь этого нельзя достигнуть такимъ мозаическимъ подборомъ разныхъ крохъ изъ нѣсколькихъ поэмъ и драмъ, какимъ ограничился г. Орестъ Миллеръ. Для этого вѣдь надобно — не по десятку поэтическихъ произведеній составить свои заключенія, и не размѣщеніемъ фактовъ по кучкамъ доказывать свои выводы: для этого надобно имѣть хотя нѣкоторое понятіе о смыслѣ цѣлой литературы и объ ея отношеніи къ жизни у каждаго народа. Г. Орестъ Миллеръ ничѣмъ не обнаружилъ, что онъ имѣетъ объ этомъ хоть какое-нибудь понятіе хоть въ какой нибудь литературѣ. Что-же хотѣлъ онъ, что имѣлъ въ виду?

Вы поставлены въ глубокое недоумѣніе, молодые неопытные читатели, не понимающіе, какъ можно рѣшиться сочинить цѣлую длинную диссертацію при такой бѣдности данныхъ. Но мы разрѣшимъ вамъ загадку. У г. Ореста Миллера, очевидно,—

«Умыселъ другой тутъ былъ».....

Онъ заговорилъ о поэзіи не ради поэзіи, а ради нравственности. Ему нужно было доказать нѣкоторыя идейки относительно нравственнаго значенія человѣческихъ поступковъ; вотъ онъ и вздумалъ прибѣгнуть для этого къ поэзіи. Извѣстно, что поэзія, какъ отраженіе жизни, разнообразна, какъ сама жизнь; поэтому нетрудно найти въ ней факты, подтверждающіе самыя разнородныя воззрѣнія. Если разсматривать поэзію во всемъ обширномъ ея объемѣ, какъ она являлась у разныхъ народовъ, то, конечно, и въ ней, какъ въ самой жизни, окажутся вѣчные, постоянные законы, которымъ она подчинялась въ своемъ послѣдовательномъ развитіи. Законы эти будутъ, разумѣется, законы жизни, дѣйствительности. Но г. Оресту Миллеру не нужно дѣйствительности; оттого онъ и не береть поэзіи *всѣхъ* народовъ, оттого и не разсматриваетъ *всѣхъ* замѣчательныхъ поэтическихъ произведеній, оттого и тѣ, которыя разсматриваетъ, не разбираетъ въ ихъ общности, а только дѣлаетъ произвольную выборку фактовъ, какіе ему нужны. А факты нужны ему были для подтвержденія слѣдующей теоріи. Поэзія есть небесное наитіе, что то высшее, божественное; она есть чудная, непонятная *быль*, не существующая въ дѣйствитель

номъ мірѣ, но «ясно говорящая человѣку о томъ, какого онъ высокаго рода». Какъ имѣющая высшее происхожденіе, поэзія выше дѣйствительной жизни, представляя такіе идеалы, которые въ жизни не являются. Поэтому, изученіе поэзіи необходимо для сохраненія чистоты сердца и возвышенныхъ вѣрованій среди жизненной низкой прозы. «Оно особенно необходимо въ наше время, когда преимущественное развитіе такъ называемыхъ *естественныхъ* и *реальныхъ* наукъ, приковывая все вниманіе человѣка къ матеріи, по близорукости, свойственной уму, доводитъ человѣка до того, что онъ наконецъ во всемъ видитъ одну матерію и ею ограничиваетъ свое собственное существо» (стр. 2). (Развитіе естественныхъ наукъ по близорукости... доводитъ—какъ складно!). Такія мысли и такимъ образомъ высказываетъ г. Орестъ Миллеръ въ самомъ началѣ своего сочиненія, и главная цѣль всего труда его — противодѣйствіе *реальному*, естественному направленію и развитіе *номинальныхъ* понятій и *сверхъестественныхъ* взглядовъ. Въ этомъ онъ очень близко сходится съ профессоромъ В. Берви, о «психологико-физіологическихъ» взглядахъ котораго мы говорили нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ. Кому изъ этихъ двухъ поборниковъ сверхъестественныхъ теорій отдать преимущество, мы затрудняемся; можемъ поставить на видъ молодымъ читателямъ только одно: сочиненіе г. В. Берви вдесятеро короче, чѣмъ твореніе г. Ореста Миллера, слѣдовательно, все-таки менѣе ужасно.

Прилагая свой взглядъ о происхожденіи и сущности поэзіи къ отдѣльнымъ заявленіямъ, г. Орестъ Миллеръ утверждаетъ слѣдующее.

Человѣческая природа исказилась послѣ грѣхопаденія Адама, и чѣмъ дольше жило человѣчество, тѣмъ больше она искажалась. Сообразно съ этимъ и поэзія все падала, въ нравственномъ отношеніи, ниже и ниже, до христіанства, которое, возстановивши падшую природу человѣка, возвысило и его поэзію, такъ что въ поэзіи Шекспира проявился уже полнѣйшій идеалъ нравственнаго совершенства. Сообразно съ этимъ, г. Орестъ Миллеръ чрезвычайно восхваляетъ поэзію индійскую, въ которой «живо еще было не совсѣмъ затерявшееся наслѣдіе той первоначальной поры человѣчества, когда ему доступно было непосредственное «откровеніе» (стр. 8), и въ которой сохранялось «ясное воспоминаніе о лучшемъ состояніи, къ какому былъ предназначенъ человѣкъ,—о состояніи неизмѣннаго блаженства, безбѣдственнаго наслажденія прочными благами; воспоминаніе о томъ паденіи, которое низвергло человѣка въ сферу измѣнчивости и несчастій,—воспоминаніе, мѣшавшее наслаждаться удѣлѣвшими, неудовлетворительными для человѣка благами уже и древнему индійцу, которому блага эти все-таки даны были въ бо́льшемъ количествѣ и въ лучшемъ качествѣ, нежели нынѣшнему больному и кратковѣчному человѣку» (стр. 26). Въ индійской поэзіи г. Орестъ Миллеръ находитъ «вѣковѣчные идеалы нравственности, которые всегда и вездѣ будутъ

возбуждать полное сочувствіе». Приведши въ примѣръ одно мѣсто изъ Наля, гдѣ Дамаянти заклинаніемъ убиваетъ охотника, спасшаго ее отъ смерти и воспламенившагося къ ней страстью, г. Орестъ Миллеръ восклицаетъ въ движеніи дѣтскаго восторга: «какая чудная поэзія мысли! Отыщите что нибудь подобное ей во всей греческой поэзіи: тамъ уже вы не найдете этого. Отчего? Оттого, что народъ возрастомъ старше: что, живя въ пору, болѣе отдаленную отъ первоначальнаго состоянія, онъ уже болѣе привыкъ къ разочаровывающимъ опытамъ; что отъ опыта померкла вѣра въ возможность такой силы нравственности, которая въ состояніи однимъ словомъ убить святотатца» (стр. 32). На этомъ основаніи г. Орестъ Миллеръ бичуетъ и казнитъ греческую поэзію немилосердно. Ея изящная простота и достоинство не останавливаютъ и не смягчаютъ нашего строгаго моралиста. Какъ учитель Чичикова «прикрикивалъ на своихъ учениковъ: способности и дарованья — это все вздоръ. Я смотрю только на поведенье... я поставлю полные баллы во всѣхъ наукахъ тому, кто аза въ глаза не знаетъ, да ведетъ себя похвально»... такъ точно г. Орестъ Миллеръ прикрикиваетъ на всѣхъ героевъ Гомера, на полубоговъ и боговъ, на самого Зевса,— за ихъ непохвальное поведеніе. Онъ замѣчаетъ, что греческая образованность носила въ себѣ тучное сѣмя внутренней порчи, и хотя не отрицаетъ красоты и привлекательности, даже возвышенности греческой поэзіи,—но все это покрываетъ грознымъ приговоромъ, что въ Греціи «самыя священныя природныя чувства сердца охладѣла, исказились, похудѣли», и только христіанство «могло влить въ нихъ новый жаръ и озарить свѣтомъ истиннаго убѣжденія» (стр. 90). Все это оттого, что у грековъ сильно развито было вольнодумство и «умъ слишкомъ рѣзко предъявилъ свои права». Въ индійской поэзіи, говоритъ г. Орестъ Миллеръ, господствуетъ начало самоотверженія; въ ней личность стирается въ общемъ; вслѣдствіе этого, г. Орестъ Миллеръ признаетъ ее «поэзіею благородныхъ инстинктовъ, еще ничѣмъ не подавленныхъ, потому что человѣкъ еще юнъ». Напротивъ, въ греческой поэзіи онъ находитъ развитымъ «*начало личной самостоятельности*», и это противное г. Оресту Миллеру начало вызываетъ его на ожесточенную борьбу съ безнравственностью грековъ, вытекающею изъ этого начала. «Въ Греціи,—говоритъ онъ,—гдѣ человѣчество достигло уже поры мужества, видимъ мы большую степень развитія ума; умъ этотъ рѣшается наложить власть свою на священные инстинкты сердца, и такъ какъ умъ человѣка – умъ падшій, то онъ обдаетъ ихъ холодомъ... Въ Греціи всѣ стремленія человѣка прилѣпились исключительно къ землѣ; даже вся религія устремилась къ тому, чтобы безусловнымъ выполненіемъ всякаго велѣнія боговъ оградить себя противъ превратностей счастія, закрѣпить за собою земныя блага, такъ неохотно и ревниво уступаемыя человѣку богами. Греки умѣли извлечь изъ земного нашего удѣла все, что только можно было извлечь изъ него пріятнаго; умѣли сохранить разумную мѣру среди

земныхъ наслажденій, но и остановились на этой ступени. Свѣтлый взглядъ грековъ на жизнь былъ не болѣе, какъ самообольщеніе, чтобы превратить свѣтлый взглядъ въ мрачный?—По мнѣнію г. Ореста Миллера, необходимо было для этого христіанство. «Загадка жизни, этой борьбы сладкаго и горькаго,—по словамъ г. Ореста Миллера,—была разгадана для человѣка христіанствомъ. Оно сказало ему, что жизнь сама по себѣ прекрасна, но не прекрасна потому, что человѣкъ палъ; оно показало ему, что паденіе человѣка есть корень всѣхъ горечей и превратностей жизни». Ясно, что отсюда долженъ былъ развиться весьма печальный взглядъ на міръ, въ противоположность греческому. Но, «чтобы стать выше всѣхъ этихъ бѣдъ, чтобы умѣть быть счастливымъ, несмотря на всю ихъ тяжесть, христіанство дало человѣку вѣрное средство: оно благословило его на борьбу съ грѣхомъ и въ награду обѣщало міръ душевный, неотъемлемый и среди всѣхъ треволненій міра земного. Оно указало человѣку въ высь, на его небесную родину, которой должна принадлежать лучшая сторона его бытія» (стр. 89—91). Примѣняя эти прекрасныя мысли къ поэзіи, г. Орестъ Миллеръ находитъ, что у новыхъ христіанскихъ народовъ «поэзія вдругъ совлеклась всего плотского и нечистаго и, расправивъ свои крылья, унеслась далеко-далеко отъ земли на небо» (стр. 93). Въ этомъ и полагаетъ онъ главное преимущество новой поэзіи предъ поэзіей классическою.

Для человѣка, сколько нибудь опытнаго въ дѣлѣ нравственно-психологическихъ изысканій, ясно уже изъ того, что мы до сихъ поръ сказали,—чего добивается г. Орестъ Миллеръ въ своей диссертаціи и представителемъ какихъ идей онъ является. Но для неопытныхъ юношей мы готовы прибавить еще нѣсколько поясненій. Видите ли, въ чемъ дѣло, милыя дѣти (наши объясненія могутъ пригодиться и дѣтямъ). Г. Орестъ Миллеръ, намѣреваясь сдѣлаться наставникомъ человѣчества, желаетъ положить въ сердцахъ дѣтей прочныя начала отреченія отъ своей личности и поклоненія чужому авторитету. Для наставника всегда вѣдь такъ удобно имѣть дѣло съ учениками, склонными покланяться чужому авторитету. Для достиженія своей цѣли, г. Орестъ Миллеръ и старается въ своей диссертаціи восхвалять начала самоотверженія и преслѣдовать начало личной самостоятельности. Онъ допускаетъ, правда, и это послѣднее начало, и даже въ началѣ своей диссертаціи (стр. 2) прямо объявляетъ, что нравственность состоитъ въ исполненіи человѣкомъ своего назначенія, а назначеніе человѣка — въ сохраненіи своей личной самостоятельности. Но не обольщайтесь, о юноши, столь положительнымъ утвержденіемъ. Есть у людей ужасное оружіе, которымъ уничтожаются самыя непреложныя истины, затемняются самыя ясныя убѣжденія. Бойтесь этого оружія, милыя дѣти: оно очень опасно для незнающихъ его силы. Оружіе это — рутинная софистика, смѣшная для взрослыхъ, но все-таки еще могущая вредить дѣтямъ. Ею пользуется и

г. Орестъ Миллеръ, можетъ быть, даже и противъ своей воли, и даже безъ собственнаго вѣдома. Сказавши, что назначеніе человѣка состоитъ въ сохраненіи личной самостоятельности, онъ тотчасъ же прибавляетъ, что, впрочемъ, сохранять свою личность человѣкъ долженъ не для чего иного, какъ для подчиненія ея другимъ, доходящаго до полнаго отверженія самого себя. Въ этомъ то подчиненіи заключается для него вся нравственная задача человѣческой жизни. Ясно ли теперь, милыя дѣти, нравоученіе, какое вытекаетъ изъ диссертаціи г. Ореста Миллера? Не надѣйся на себя, смиряйся, послушествуй старшимъ, и благо тебѣ будетъ: вотъ мораль его. Но, чтобы отказаться отъ своей личности, нужно не имѣть сильныхъ страстей, нужно себя сузить, ограничить, обезсилить, сколько возможно. Этого требуетъ г. Орестъ Миллеръ. «Сильно предаваться страсти,—говоритъ онъ,—значитъ ублажать свое я, которое все объято этой страстью. Для грека тутъ была сила характера, для насъ—это слабость его, а сила характера — въ самоотверженіи, въ умѣньи покорить свою страсть нравственному закону» (стр. 51). Далѣе г. Орестъ Миллеръ утверждаетъ, что сильная страсть нехороша даже и тогда, когда она совершенно согласна съ нравственнымъ закономъ: онъ все-таки находитъ въ этомъ *крайность добра*, а истинную нравственность полагаетъ только «во взаимно-ограниченіи разныхъ добродѣтелей» (стр. 125), и даже сущностью христіанства считаетъ какую-то «мудрую гуманную *середину*, которая одно правило ограничиваетъ другимъ, одну добродѣтель умѣряетъ другой» (стр. 159). Словомъ сказать, *умѣренность и аккуратность*—вотъ въ чемъ заключается нравственный идеалъ г. Ореста Миллера. Онъ съ грустью сознается, что въ дѣйствительности мудрено сыскать людей, которыхъ вся жизнь и нравственность заключалась бы въ этихъ качествахъ; сознается и въ томъ, что трудно человѣку съ сильной душой почувствовать внутреннее влеченіе къ подобной нравственности. Но за то тѣмъ съ бо́льшимъ восторгомъ привѣтствуетъ онъ въ поэзіи тѣ личности, въ которыхъ идеалъ его проявлялся такъ или иначе. Такъ, въ рыцарѣ Фульконѣ онъ видитъ *отрадный идеалъ истинно христіанской доблести*—за то, что Фульконъ, ненавидящій войну и любящій миръ, идетъ однако въ сраженіе по приказу своего дяди и отличается въ битвѣ храбростью. «Лицо такого рода,—замѣчаетъ г. Орестъ Миллеръ, — идеалъ, который могъ быть созданъ только поэзіей: трудно предположить, чтобы въ дѣйствительности того времени могли быть лица, даже нѣсколько похожія на послѣднюю черту, т. е. люди, способные не любить войну и въ то же время быть храбрыми на войнѣ — по долгу» (стр. 154). Мораль этого слѣдующая: подчиненіе себя чужой волѣ гораздо выше всѣхъ нравственныхъ убѣжденій: если ты отвращаешься убійства и грабежа, но получаешь повелѣніе убивать и грабить, то долгъ твой выполнить повелѣніе. Тогда ты будешь идеаломъ доблести, похожимъ на Фулькона.

Таковы нравственныя понятія, защитникомъ которыхъ выступаетъ г. Орестъ Миллеръ въ своемъ сочиненіи «О нравственной стихіи въ поэзіи». Вы видите, любезные юноши, какъ вредны и ложны его понятія, видите, до какого преступнаго и унизительнаго положенія могутъ довести они человѣка, который предается имъ. Берегитесь же увлекаться подобными идеями. Сохраните же свою личную самостоятельность противъ всякаго авторитета, сохраните свою внутреннюю нравственность противъ всякихъ внѣшнихъ внушеній, противъ всего, что насильственно захотятъ навязать вамъ подъ ложнымъ названіемъ *долга*. Старайтесь не входить въ разладъ съ собою и сохранить всю чистоту души, какою васъ надѣлила природа. Не вѣрьте, что нравственность состоитъ въ отреченіи отъ своей воли и ума, какъ силится увѣрить г. Орестъ Миллеръ, и знайте, что, напротивъ, всякій, кто поступаетъ противъ внутренняго своего убѣжденія, поступаетъ безчестно и подло, — всякій, потерявшій силу свободнаго самостоятельнаго дѣйствія, есть жалкая дрянь и тряпка, и только напрасно позоритъ свое существованіе.

Стихотворенія *А. Н. Плещеева.* Спб. 1858.

Какое-то внутреннее, тяжелое горе, грустное утомленіе жизнью, печаль о несбывшихся надеждахъ—вотъ характеръ большей части изданныхъ нынѣ стихотвореній г. Плещеева. Съ перваго взгляда тутъ не представляется ничего необыкновеннаго: кто не былъ разочарованъ горькимъ опытомъ жизни, кто не сожалѣлъ о пылкихъ мечтахъ юности? Это сдѣлалось даже обычною пошлою темою бездарныхъ стихотворцевъ, къ которымъ обращался еще Лермонтовъ съ этими жесткими стихами:

«Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ?
На что намъ знать твои волненья,
Надежды глупыя первоначальныхъ лѣтъ,
Разсудка злыя сожалѣнья»?

Но, присматриваясь ближе къ содержанію стихотвореній г. Плещеева, мы найдемъ, что характеръ его сожалѣній не совсѣмъ одинаковъ съ жалобными стонами плаксивыхъ піитъ прежняго времени. У тѣхъ и надежды-то были такого рода, что до нихъ именно никому дѣла не было. Обыкновенно надѣялись они на то, что встрѣтятъ сочувственную женскую душу, которая ихъ полюбитъ и будетъ любить страстно и вѣчно; надѣялись они также и на то, что вотъ, можетъ быть, дождутся они времени, когда весна цѣлый годъ будетъ продолжаться: розы не будутъ увядать, молодость будетъ вѣчно сохранять свою пылкость и свѣжесть, что луна вступитъ съ ними въ дружескія отношенія, и т. п. Лѣтъ въ двадцать

піиты начинали уже разочаровываться, жаловались на измѣны любимыхъ женщинъ, сѣтовали о кратковременности цвѣтенія розы, и пр. Со стороны, разумѣется, смѣшно и скучно было слушать ихъ... Нельзя сказать того же о сожалѣніяхъ, которымъ предается г. Плещеевъ. Его надежды также были, можетъ быть, безразсудны: но все-таки онѣ относились уже не къ розѣ, дѣвѣ и лунѣ, онѣ касались жизни общества и имѣли право на его вниманіе. Поэтому и грусть поэта о неисполненіи его надеждъ не лишена, по нашему мнѣнію, общаго значенія и даетъ стихотвореніямъ г. Плещеева право на упоминаніе въ будущей исторіи русской литературы, даже совершенно независимо отъ степени таланта, съ которымъ въ нихъ выражается эта грусть и эти надежды.

Въ исторіи нашей поэзіи, начиная съ Пушкина, есть одинъ грустный фактъ, который еще ждетъ себѣ полнаго объясненія въ будущемъ. Все, что было замѣчательнаго въ нашей поэтической литературѣ послѣднихъ сорока лѣтъ, подверглось вліянію этого грустнаго факта. Онъ состоитъ въ томъ, что конецъ дѣятельности каждаго, сколько нибудь замѣчательнаго поэта, ознаменовывается сознаніемъ собственнаго разслабленія и сожалѣніемъ о напрасно растраченныхъ силахъ молодости. Такое сознаніе сообщаетъ какой-то мрачный, безобразный колоритъ всей дѣятельности поэта, и мракъ этой безотрадности съ каждымъ годомъ все болѣе сгущается. И тѣмъ безотраднѣе дѣйствуетъ онъ на душу внимательнаго читателя, что въ начальной дѣятельности поэта всегда замѣтны смѣлые порывы, широкія мечты, благороднѣйшія сильныя стремленія. Насъ невольно увлекаетъ поэтъ силою своего вдохновенія, особенно если талантъ его имѣетъ сколько-нибудь примѣтные размѣры; намъ самимъ хочется, чтобы эти мечты сбылись, эти порывы нашли возможность осуществиться въ практической дѣятельности. И когда поэтъ начинаетъ свое безотрадное признаніе, свою тоскливую похоронную пѣснь о невозвратно-потерянныхъ надеждахъ и напрасно растраченныхъ силахъ, у насъ самихъ холодъ пробѣгаетъ по тѣлу и будто что-то отрывается отъ сердца. А между тѣмъ, нѣтъ ни одного замѣчательнаго русскаго поэта послѣдняго времени, который бы остался совершенно свободенъ отъ этого мрачнаго настроенія, который бы не принялся заживо хоронить себя. Съ какими смѣлыми и гордыми надеждами Пушкинъ выступалъ на литературное поприще! Какъ много горячаго, молодого увлеченія было въ тѣ годы, когда еще душу его волновали —

«Негодованье, сожалѣнье,
Ко благу чистая любовь»....

И все пропало. Въ одинъ изъ послѣднихъ годовъ своей жизни онъ съ грустью признавался, что въ сердцѣ его, смиренномъ бурями, настала лѣнь и тишина. А сколько тяжелаго уныния, какого-то сдавленнаго, покорнаго горя, напр., въ этихъ стихахъ, также относящихся къ поздней порѣ Пушкинской дѣятельности:

«Подъ бурями судьбы жестокой,
Увялъ цвѣтущій мой вѣнецъ.
Живу печальный, одинокій,
И жду, придетъ ли мой конецъ»...

Правда, что Пушкинъ, при всей громадности своего поэтическаго таланта, не былъ человѣкомъ серьезно проникнутымъ убѣжденіями, которыя проявлялись въ немъ въ ту пору, «когда ему были новы всѣ впечатлѣнья бытія». Бурямъ судьбы жестокой немудрено было сломить этотъ характеръ, не отличавшійся глубиною и силою. Но вотъ другой примѣръ — Лермонтовъ. Этого ужъ нельзя упрекнуть въ недостаткѣ энергіи и твердости; а между тѣмъ и онъ писалъ подъ конецъ жизни почти то же, что Пушкинъ.

«И тьмой, и холодомъ объята,
Душа усталая моя.
Какъ ранній плодъ, лишенный сока,
Она увяла въ буряхъ рока,
Подъ знойнымъ солнцемъ бытія».

Тѣмъ же кончилъ и Кольцовъ, эта здоровая, могучая личность, силою своего ума и таланта сама открывшая для себя новый міръ знаній и поэтическихъ думъ. Еще неокрѣпшій въ своемъ поэтическомъ талантѣ, но гордый молодою силою воли, онъ говорилъ о злой судьбѣ при началѣ своего поприща:

«Предъ ней душою не унижусь,
Въ мечтахъ не разувѣрюсь я...
Могильной тѣнью въ прахъ низринусь,
Но скорби не отдамъ себя»...

Но и его сломила судьба, и не задолго до своей смерти онъ грустно сознавался:

«Въ душѣ страсти огонь
Разгонялся не разъ,
Но въ безплодной тоскѣ
Онъ сгорѣлъ и погасъ....

Только тѣшилась мной
Злая вѣдьма судьба,
Только силу мою
Сокрушила борьба»....

Судьба, рокъ, судьба!... Вотъ слова, въ безвыходной тоскѣ повторяемыя каждымъ изъ нашихъ замѣчательныхъ поэтовъ. Что это? Безсиліе ли отдѣльныхъ личностей предъ силою враждебной имъ судьбы? Но если оно такъ неизбѣжно и такъ велико даже въ людяхъ, которые такъ щедро надѣлены отъ природы, которыхъ мы считаемъ лучшими между нами, то въ какомъ видѣ это безсиліе должно представляться во всей остальной массѣ?... Или, напротивъ, это вопль энергической, дѣйствительно сильной натуры, подавляемой гнетомъ враждебныхъ обстоятельствъ? Въ такомъ

случаѣ — каковы же должны быть эти обстоятельства, когда они такъ необходимо, фатально, такъ безобразно сламываютъ самыя благородныя и сильныя личности?... Тяжело становится на душѣ, когда припомнишь исторію этихъ личностей. Зачѣмъ боролись и страдали бѣдные труженики? Зачѣмъ ихъ борьба была такъ безплодна, и зачѣмъ эти тысячи и милліоны людей, окружавшихъ ихъ, такъ холодно, безучастно смотрѣли на ихъ внутреннія страданія, такъ легко дали имъ пасть подъ гнетомъ судьбы?

Какъ грустна исторія этого невольнаго паденія, изображенная, однимъ изъ такихъ тружениковъ:

«Мы въ жизнь вошли съ прекраснымъ упованьемъ,
Мы въ жизнь вошли съ неробкою душой,
Съ желаньемъ истины, добра желаньемъ,
Любовью, съ поэтической мечтой;
И съ жизнью рано мы въ борьбу вступили,
И юныхъ силъ мы въ битвѣ не щадили.
Но мы вокругъ не встрѣтили участья,
И лучшія надежды и мечты,
Какъ листья средь осенняго ненастья,
Попадали, и сухи и желты»...

Такая точно исторія выражается и въ стихотвореніяхъ г. Плещеева. Мы не говоримъ о силѣ таланта, въ которой онъ не можетъ, конечно, быть сравниваемъ съ названными намп выше поэтами; но мы указываемъ здѣсь только на аналогическія обстоятельства внутренняго развитія у разныхъ нашихъ поэтовъ, не только большихъ, но и маленькихъ. Въ этомъ отношеніи и на дарованіи г. Плещеева легла та же печать горькаго сознанія своего безсилія предъ судьбою, тотъ же колоритъ «болѣзненной тоски и безотрадныхъ думъ», послѣдовавшихъ за пылкими, гордыми мечтами юности. Мы помнимъ книжечку стихотвореній г. Плещеева, изданныхъ лѣтъ 12 тому назадъ. Въ нихъ было много неопредѣленнаго, слабаго, незрѣлаго; но въ числѣ тѣхъ же стихотвореній былъ этотъ смѣлый призывъ, полный такой вѣры въ себя, вѣры въ людей, вѣры въ лучшую будущность.

«Друзья! дадимъ другъ другу руки
И вмѣстѣ двинемся впередъ,
И пусть, подъ знаменемъ науки,
Союзъ нашъ крѣпнетъ и растетъ...

Не сотворимъ себѣ кумира
Ни на землѣ, ни въ небесахъ.
За всѣ дары и блага міра
Мы не падемъ предъ нимъ во прахъ.

Жрецовъ грѣха и лжи мы будемъ
Глаголомъ истины карать
И спящихъ мы отъ сна разбудимъ
И поведемъ за ратью рать.

Пусть намъ звѣздою путеводной
Святая истина горитъ,
И вѣрьте, голосъ благородный
Не даромъ въ мірѣ прозвучитъ».

Эта чистая увѣренность, такъ твердо выраженная, этотъ братскій призывъ къ союзу — не во имя разгульныхъ пировъ и удалыхъ подвиговъ, а именно подъ знаменемъ науки, это благородное рѣшеніе не творить себѣ кумировъ — обѣщали многое. Они обличали въ авторѣ, если не замѣчательное поэтическое дарованіе, то, по крайней мѣрѣ, энергическое рѣшеніе посвятить свою литературную дѣятельность на честное служеніе общественной пользѣ. Но послѣ изданія своихъ стихотвореній, г. Плещеевъ замолкъ. Прошли годы, и ни однимъ стихомъ онъ не напомнилъ о себѣ русской публикѣ. Наконецъ, въ 1856 году, снова появился онъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», съ робостью новичка печатая свои стихотворенія подъ неполной фамиліей А. П—ва. Многіе читатели узнали знакомый голосъ и радушно приняли «старыя пѣсни на новый ладъ», какъ назвалъ г. Плещеевъ свои стихи, печатая ихъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Теперь, наконецъ, рѣшился онъ издать ихъ и отдѣльной книжкой. Въ ней уже нѣтъ тѣхъ мощныхъ призывовъ, тѣхъ гордыхъ увлеченій, тѣхъ, отчасти безразсудныхъ, надеждъ, съ которыми такъ смѣло выступалъ онъ на свое литературное поприще. Съ нимъ произошло то же грустное явленіе, о которомъ мы говорили выше. Изданная нынѣ книжка грустно начинается стихотвореніемъ «Раздумье», въ которомъ поражаютъ читателя слѣдующіе стихи:

«Не вижу я вокругъ отраднаго разсвѣта!
Повсюду ночь да ночь, куда ни бросишь взоръ.
Исчезли безъ слѣда мои младыя лѣта,
Какъ въ зимнихъ небесахъ сверкнувшій метеоръ.

Какъ мало радостей они мнѣ подарили,
Какъ скоро свѣтлыя разсѣялись мечты!
Морозы ранніе безжалостно побили
Безпечной юности любимые цвѣты.

И чистыхъ помысловъ, и жаркихъ упованій,
На жизненномъ пути растратилъ много я;
Но средь неравныхъ битвъ, средь тяжкихъ испытаній
Что жъ обрѣла взамѣнъ всѣхъ грезъ душа моя?

Увы! лишь жалкое въ себѣ разувѣренье,
Да убѣжденіе въ безплодности борьбы,
Да мысль, что ни одно правдивое стремленье
Ждать не должно себѣ пощады у судьбы»...

Въ этихъ стихахъ читатель можетъ видѣть выраженіе того настроенія, которое господствуетъ во всей книжкѣ стихотвореній г. Плещеева. Оно проявляется въ разныхъ видахъ: то въ горькомъ укорѣ враждебному року, то въ грустномъ воспоминаніи о прошедшемъ, то въ глухомъ стонѣ настоящаго, внутренняго горя,

то, наконецъ, въ печальной иронiи надъ своими погибшими мечтами. Изъ сорока стихотворенiй, напечатанныхъ въ книжкѣ, въ тридцати навѣрное найдется скорбь больной души, усталой и убитой тревогами жизни, желанiе пріобрѣсти новыя силы, чтобы освободиться отъ гнета судьбы и отъ мрака, покрывавшаго умъ поэта...

Въ одномъ стихотворенiи онъ говоритъ:

«Запуганъ мракомъ ночи я,
И въ немъ я ощупью блуждаю;
Ищу въ свѣтильникъ свой огня,
И гдѣ обрѣсть его — не знаю».

Въ другомъ:

«Какъ часто у судьбы я допросить хотѣлъ,
Какую пристань мнѣ она готовитъ...
Зачѣмъ неравный бой достался мнѣ въ удѣлъ,
Зачѣмъ она моимъ надеждамъ прекословитъ...
Отвѣта не было»...

Въ третьемъ:

«Подстрекнула жизнь лукаво
На неравный бой меня,
И въ бою томъ я потратилъ
Много страсти и огня.

Только людямъ на потѣху
Скоро выбился изъ силъ,
И осталось мнѣ сознанье,
Что я немощенъ и хилъ»...

Воспоминанiя прошлаго служатъ для автора постояннымъ источникомъ грустныхъ сожалѣнiй. Сравненiе прежней свѣжести и энергiи, прежняго огня и самоувѣренности съ наступившимъ потомъ равнодушiемъ и покорнымъ отчаянiемъ — служитъ для г. Плещеева мотивомъ многихъ грустныхъ стихотворенiй. Вотъ, напр., какъ рисуется автору его прошедшее въ стихотворенiи «Странникъ»:

«Была пора, я въ сердцѣ молодомъ
Кипѣла страсть, не знавшая преградъ;
На каждый бой съ безтрепетнымъ челомъ
Я гордо шелъ, весеннимъ грозамъ радъ.
Была пора, огонь горѣлъ въ крови,
И думалъ я, что пѣснь моя была сильна,
Что правды лучъ, что лучъ святой любви
Зажжетъ въ сердцахъ озлобленныхъ она.
Гдѣ жъ силы тѣ, отвага прежнихъ лѣтъ?
Сгубила все неравная борьба.
И пустота — безплодной жизни слѣдъ —
Ждетъ неизбѣжная, какъ древняя судьба».

Дойти до пустоты послѣ возвышенныхъ надеждъ и благородныхъ порывовъ — ужасно. Мы не думаемъ, чтобъ на самомъ дѣлѣ

могъ быть доведенъ до такого состоянія, единственно силою обстоятельствъ, человѣкъ, въ которомъ чистыя убѣжденія не были праздною игрою разгоряченнаго воображенія, прихотью опрометчивой юности. Нѣтъ, при всей враждебности обстоятельствъ, человѣкъ найдетъ чѣмъ наполнить свое существованіе, если въ душѣ его есть не только крѣпость характера, но и сила убѣжденій. Крѣпость можетъ поколебаться и пасть; но убѣжденіе останется и всегда поддержитъ человѣка, какъ въ борьбѣ съ рокомъ, такъ и среди житейской пустоты. Его-то долженъ хранить поэтъ при всѣхъ обманахъ тяжелаго опыта жизни. Оно можетъ не спасти отъ внѣшнихъ униженій, можетъ остаться безсильно въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требуется героизмъ характера, но оно не дастъ человѣку унизиться внутренно и, всегда указывая ему правый путь, дастъ ему силы на дорогу, по крайней мѣрѣ, тамъ, гдѣ выборъ пути не влечетъ за собою конечной гибели. Человѣка, не разошедшагося съ своими убѣжденіями, нельзя еще считать погибшимъ: пока онъ знаетъ, что идетъ поневолѣ не своей дорогой и пока въ душѣ тяготится этимъ, еще нѣтъ сомнѣнія, что онъ при первой возможности воротится на путь чести и добра. Но за то какъ страшно положеніе человѣка, поставляемаго въ постоянную необходимость итти противъ себя и сознающаго, что онъ не можетъ выполнить въ жизни тѣхъ идеальныхъ требованій, которыя ставитъ для самого себя. Тутъ именно и является самое отчаянное, самое мучительное страданіе для человѣка, проникнутаго благородными стремленіями. Страданіе подобнаго рода недурно выражено въ слѣдующемъ стихотвореніи г. Плещеева:

«О, если бъ знали вы, друзья моей весны,
Прекрасныхъ грезъ моихъ, порывовъ благородныхъ,—
Какой мучительной тоской отравлены
Проходятъ дни мои въ сомнѣніяхъ безплодныхъ!

Былое предо мной, какъ призракъ, возстаетъ,
И тайный голосъ мнѣ твердитъ укоръ правдивый:
Чего убить не могъ суровый жизни гнетъ,
Зарылъ я въ землю самъ! Зарылъ, какъ рабъ лѣнивый...

Душѣ была дана любовь отъ Бога въ даръ,
И отличать зло добро отъ зла умѣнье;
На что же тратилъ я священный сердца жаръ?
Упорно ль къ цѣли шелъ во имя убѣжденья?

Я заключалъ не разъ со зломъ постыдный миръ,
Я пренебрегъ труда спасительной дорогой.
Не простиралъ руки тому, кто нагъ и сиръ,
И оставался глухъ къ призывамъ правды строгой.

О, больно, больно мнѣ... Скорбитъ душа моя,
Казнитъ палачъ меня неумолимый—совѣсть
И въ книгѣ прошлаго читаю я съ стыдомъ
Погибшей безъ слѣда, безплодной жизни повѣсть.

Мы привели это стихотвореніе потому, что въ немъ довольно удачно опредѣляется, съ какой именно стороны грозитъ человѣку нравственная гибель, при враждебныхъ обстоятельствахъ внѣшнихъ, среди пошлости окружающей жизни. Не столько велика опасность, что задохнешься въ смраду этой одуряющей атмосферы, сколько страшно то, что привыкнешь къ этому смраду и будешь, какъ и другіе, ходить цѣлый вѣкъ одуреннымъ. Отъ этой послѣдней опасности ничто не спасетъ васъ, кромѣ свѣтлаго и сильнаго убѣжденія: вы будете задыхаться въ атмосферѣ гнили, грязи и мертвечины; но вѣяніе живой, чистой мысли все-таки будетъ для васъ освѣжать нѣсколько эту удушливую атмосферу. Вы, по крайней мѣрѣ, не одурѣете и съ радостью ударитесь бѣжать, какъ скоро представится вамъ возможность выбраться на чистый воздухъ, и для васъ вовсе не будетъ служить позоромъ то, что вы нѣкоторое время дышали дурнымъ воздухомъ, хоть конечно ваши легкія все-таки за это поплатятся.—Что же дѣлать? Если бы внѣшнія опасности и бѣды производили въ насъ только временную наружную боль, нисколько не отражаясь на внутреннемъ состояніи организма, тогда бы ихъ и бояться было нечего... Главное-то горе въ томъ состоитъ, что внѣшнія обстоятельства искажаютъ насъ самихъ и часто дѣлаютъ ни къ чему негодными. Хорошо еще, если въ насъ остается хоть воспріимчивость къ вѣянію жизни, хоть желаніе возрожденья. Эта именно воспріимчивость, это желаніе—замѣтны повсюду въ стихотвореніяхъ г. Плещеева. А при такомъ расположеніи души можно еще утѣшиться въ томъ, о чемъ сожалѣетъ поэтъ, т. е. что принужденъ былъ не разъ мириться со зломъ и зарывать въ землю талантъ, которому нельзя было найти употребленіе.

Нельзя, однакоже, не пожалѣть о томъ, что сила обстоятельствъ не дала развиться въ г. Плещеевѣ убѣжденіямъ вполнѣ опредѣленнымъ и ровнымъ, — *цѣльнымъ*, какъ говорятъ. Со вниманіемъ перечитывая его стихотворенія, нельзя въ нихъ не замѣтить слѣдовъ какого-то раздумья, какой-то внутренней борьбы, слѣдствія потрясенной и еще не успѣвшей снова установиться мысли. Поэтъ постоянно жалуется на то, что его надежды разбиты, мечты обмануты, что онъ самъ сталъ немощенъ и хилъ. Но въ то же время онъ не можетъ уберечь себя отъ новыхъ обольщеній, и все какъ будто предается мечтѣ, что для него настанетъ вторая юность, а для человѣчества новый золотой вѣкъ. Эти странныя мечты и надежды парализуютъ ту сторону таланта, которая у г. Плещеева наиболѣе сильна, потому что наиболѣе искренна. Въ своемъ прошедшемъ г. Плещеевъ можетъ найти много страстныхъ и мощныхъ мотивовъ, способныхъ увлечь человѣка съ душою. Въ своихъ воспоминаніяхъ, въ своей тоскѣ, въ самой боли раздраженнаго сердца, поэтъ найдетъ предметы для многихъ пѣсенъ. И если къ этимъ пѣснямъ не примѣшается фальшивый звукъ ребяческихъ смѣшныхъ надеждъ и увлеченій,—то пѣсни его польются

звонкимъ, стремительнымъ, широкимъ потокомъ. Мы говоримъ это въ полномъ убѣжденіи, что г. Плещеевъ не утратилъ той силы мысли и стиха, какая проявлялась въ нѣкоторыхъ изъ первыхъ стихотвореній, между тѣмъ, какъ безпечность золотыхъ сновъ юности онъ ужъ потерялъ невозвратно. Объ этомъ ясно свидѣтельствуютъ его стихотворенія. Вездѣ, гдѣ хочетъ онъ поидеальничать, гдѣ пускается въ оптимизмъ, выражаетъ юношескія надежды и желанія, — вездѣ впадаетъ онъ въ реторику, въ звонкія фразы, вычурныя сравненія, самый стихъ становится какъ-то мягокъ и вялъ. Въ доказательство стоитъ перечитать стихотворенія: «Трудились бѣдные»... «Не говорите, что напрасно»... «Была пора, своихъ сыновъ», и т. п. Вотъ, напр., окончаніе стихотворенія «Была пора».

«Не страшенъ намъ и новый врагъ,
И съ нимъ отчизна совладаетъ—
Смотрите: ужъ рѣдѣетъ мракъ,
Ужъ свѣтъ отвсюду проникаетъ,
И содрогаясь чуетъ зло,
Что торжество его прошло»...

Не правда ли, что это прозаично, какъ модно-современное стихотвореніе Бенедиктова, и стихъ тянется такъ лѣниво и вяло, точно будто въ какой-нибудь заказной одѣ прошлаго столѣтія...

Во многихъ стихотвореніяхъ г. Плещеевъ ищетъ «тропы, затерянной имъ». Онъ молитъ,

«Да упадетъ завѣса съ глазъ,
Да прочь идутъ сомнѣнья муки;
Внезапнымъ свѣтомъ озаренъ,
Отъ лжи мой умъ да отрѣшится,
И вмѣстѣ съ сердцемъ да стремится
Постигнуть истины законъ».

Это показываетъ опять, что онъ еще стоитъ на распутьи двухъ дорогъ и не знаетъ, которая изъ нихъ ведетъ къ истинѣ. Конечно, не мы рѣшимся быть въ этомъ случаѣ наставниками г. Плещеева, но его собственный опытъ долженъ бы показать ему несостоятельность сладостныхъ мечтаній, которыми онъ старается утѣшить себя. Не въ нихъ истина: они искажаютъ, украшаютъ и подслащаютъ голую дѣйствительность; не въ нихъ и красота: какая же красота въ мыльномъ пузырѣ, надутомъ глупенькимъ ребенкомъ? Г. Плещеевъ самъ это чувствуетъ; опытъ жизни, конечно, коснулся его уже настолько, чтобы не давать ему безмятежно восхищаться мыльными пузырями. Онъ самъ говоритъ—

«О, если бъ я, отъ дней тревогъ
Переходя къ надеждѣ новой,
Страницу мрачную былого
Изъ книги жизни вырвать могъ!

О, если бъ могъ я заглушить
Укоръ, что часто шепчетъ совѣсть?

Но нѣтъ! Безплодной жизни повѣсть
Слезами горькими не смыть»!

Вотъ видите ли? Слезами даже, и то не смыть, такъ ужъ можно ли скрасить мыльными пузырями? Зачѣмъ же попусту насиловать свой умъ и свой талантъ?

Хорошо мечтать въ тѣ дни, когда еще «намъ новы впечатлѣнья бытія»; хорошо надѣяться въ ту пору, когда еще не пришла пора практической дѣятельности... Но что за охота взрослому человѣку тратить свое воображеніе и драгоцѣнное время на мечты о томъ, какъ вотъ придетъ нянюшка, погладитъ его по головкѣ и дастъ гостинца?... Да и можно ли спокойно предаться такимъ мечтамъ? Сейчасъ зашелестятъ съ суровымъ неудовольствіемъ какія нибудь невзначай задѣтыя нами вѣтки и презрительно спросятъ насъ, какъ въ стихотвореніи Гейне, переводомъ котораго оканчивается книжка г. Плещеева.

«Что тебѣ надо, безумецъ,
Съ глупой мечтою твоей»?

Буддизмъ, его догматы, исторія и литература. Часть первая. Общее обозрѣніе. Сочиненіе *В. Васильева*, профессора китайскаго языка при Императорскомъ С.-Петербургскомъ университетѣ. Спб. 1857.

Буддизмъ, разсматриваемый въ отношеніи къ послѣдователямъ его, обитающимъ въ Сибири. Сочиненія *Нила*, архіепископа ярославскаго. Спб. 1858.

Первыя нравственно религіозныя понятія у каждаго народа слагаются обыкновенно подъ вліяніемъ поражающихъ явленій природы. Необразованный умъ, будучи не въ состояніи объяснить ихъ путемъ естественнымъ, вдается въ самыя нелѣпыя толкованія, приписывая все дѣйствію какой-то сверхъестественной силы [1]). Вмѣстѣ

[1]) Такъ, по понятіямъ буддистовъ, сокрушительные громы и молніи происходятъ иногда отъ раздраженнаго Будды, иногда находятся въ тѣсной связи съ войною, которую ведутъ между собою добрые и злые духи, а иногда громъ есть не что иное, какъ звукъ чудовищнаго барабана, въ который бьетъ злой духъ Асури, гнѣваясь на людей и стараясь воспрепятствовать дождю пролиться на землю. Подобнымъ же образомъ объясняются землетрясенія, бури, и пр. (См. Будд. Арх. Нила, ст. о небесныхъ тѣлахъ и явленіяхъ, въ мірѣ нашемъ происходящихъ.)

съ безотчетнымъ страхомъ возникаетъ мысль о жертвахъ, какъ средствахъ умилостивленія разгнѣваннаго божества. Мало-по-малу жертвенники превращаются въ храмы, а самыя жертвоприношенія въ довольно сложныя церемоніи, съ таинственнымъ значеніемъ. Жрецы изъ обыкновенныхъ смертныхъ дѣлаются посредниками между божествомъ и людьми, самовластно распоряжаются свободою боязливыхъ невѣждъ, прикрывая собственный произволъ волею боговъ; предписываютъ правила морали, составляютъ цѣлую нравственно-религіозную систему, которой народъ держится до тѣхъ поръ, пока наплывъ новыхъ понятій не поколеблетъ дряхлыхъ основъ ея. Переворотъ въ религіозно-нравственныхъ убѣжденіяхъ ознаменовывается обыкновенно явленіемъ мудраго проповѣдника, который возвѣщаетъ новыя правила жизни, поражая всѣхъ возвышенностью своей морали, необычайнымъ терпѣніемъ въ борьбѣ съ закоснѣлымъ невѣжествомъ и суевѣріемъ, и т. п. Послѣдователи его составляютъ новую систему ученія, присоединяя къ рѣчамъ проповѣдника свои собственныя мудрованія. Проходятъ столѣтія; лицо преобразователя покрывается таинственнымъ мракомъ; благоговѣніе возводитъ его въ рядъ неземныхъ существъ и дѣлаетъ его предметомъ набожнаго поклоненія. Вмѣстѣ съ тѣмъ является цѣлый рядъ обязанностей и обрядовыхъ дѣйствій собственно въ отношеніи къ боготворимому лицу.

Такова въ общихъ чертахъ и исторія буддизма. Если въ буддійскихъ священныхъ книгахъ мы не находимъ никакихъ извѣстій о началѣ религіозныхъ понятій у народовъ Средней Азіи, то это еще не даетъ права думать, что первыя начала религіи возникли у нихъ при другихъ какихъ-нибудь условіяхъ, помимо невѣжества и дѣтскаго страха. Притомъ, странно было бы искать первыхъ извѣстій о началѣ вѣры въ священныхъ книгахъ какого бы то ни было народа, точно такъ же, какъ странно было бы требовать отъ каждаго изъ насъ, чтобы онъ разсказалъ о своемъ рожденіи и первыхъ дняхъ дѣтства. Да если бы какое нибудь темное преданіе и сохранило свѣдѣнія объ истинномъ происхожденіи религіи у того или другого, то дальновидные жрецы никакъ не внесли бы ихъ въ свои священныя книги, потому что правдивый разсказъ могъ бы подорвать уваженіе къ вѣрѣ или, по крайней мѣрѣ, породить сомнѣніе въ поколѣніи болѣе зрѣломъ.

Въ буддійскихъ священныхъ книгахъ мы мало встрѣчаемъ извѣстій даже вообще о состояніи язычества у народовъ Средней Азіи до появленія Шакъямуни. Почти всѣ сказанія буддійскихъ писателей сосредоточиваются около этого лица и не заходятъ далѣе времени его появленія. Позднѣйшіе буддисты обратили даже это временное явленіе (явленіе такого учителя, каковъ Шакъямуни) въ исконный догматъ своей вѣры, не допускающій даже и мысли о томъ, что когда либо существовала религія, отличная отъ той, которую проповѣдывалъ этотъ учитель. Они утверждаютъ, что даже прежде появленія міра въ настоящемъ его устройствѣ

то же самое ученіе исповѣдывали обитатели міровъ предшествовавшихъ, что Будда отъ вѣчности воплощался, и что Шакъямуни есть одинъ изъ безчисленнаго множества Буддъ, явившихся и имѣющихъ явиться въ мірѣ.

Шакъямуни [1]) или Шегемуни—лицо невымышленное. Онъ происходилъ изъ царскаго рода Шакъя, имѣвшаго владѣнія неподалеку отъ Непала. Что же касается до исторіи его жизни, то она полна вымысловъ и различными легендами передается различно. Хинаяническія, т. е. древнѣйшія легенды, ближе къ правдоподобію, чѣмъ легенды махаяническія, позднѣйшія, въ которыхъ лицо основателя буддизма погружено въ глубокій мистицизмъ и совершенно потеряло уже всякую связь съ исторіей. Сводя въ одно цѣлое всѣ хинаяническія легенды, мы получаемъ слѣдующія свѣдѣнія о жизни буддійскаго учителя. Рожденіе Шакъямуни, какъ лица, выходящаго изъ-подъ уровня простыхъ смертныхъ, по понятіямъ его послѣдователей, не могло быть обыкновеннымъ, и индійская фантазія украсила его чудесами. Въ первые годы своей земной жизни, Шакъямуни получаетъ различныя предсказанія, учится наукамъ и искусствамъ и превосходитъ всѣхъ своихъ сверстниковъ и родныхъ обширными знаніями и необычайнымъ умомъ (Будд. Васил., ч. I, стр. 9). Послѣ женитьбы, Шакъямуни скоро убѣждается въ ничтожествѣ всего земного и, подъ вліяніемъ этого убѣжденія, покидаетъ свою родину, жену, бросаетъ великолѣпное платье, обриваетъ себѣ голову и отправляется къ анахоретамъ, съ цѣлію отысканія у нихъ истиннаго пути къ счастію, но скоро оставляетъ ихъ, находя неудовлетворительными ихъ мысли и образъ жизни, и рѣшается самъ искать себѣ дороги. Онъ поселяется на берегахъ рѣки Нираджаны, гдѣ шесть лѣтъ проводитъ въ строгомъ подвижничествѣ и созерцаніи. Наконецъ, когда онъ увидѣлъ, что и это ни къ чему не ведетъ, оставляетъ свое уединеніе, обмывается, принимаетъ пищу, и, отойдя нѣсколько шаговъ, прозрѣваетъ и дѣлается Буддой. Послѣ этого Шакъямуни выступаетъ на проповѣдь, ходитъ изъ мѣста въ мѣсто, творитъ чудеса, и ученіемъ *о четырехъ истинахъ* пріобрѣтаетъ себѣ многихъ послѣдователей, въ томъ числѣ и царей (Будд. Вас., ч. I, стр. 13). Но какъ человѣкъ, одаренный высшимъ даромъ пророчества, онъ въ то же время съ скорбію предрекаетъ имѣющія впослѣдствіи произойти раздѣленія и раздоры въ основанномъ имъ религіозномъ обществѣ (Будд. Вас., ч. I, стр. 21). Между обращенными нѣкоторые были особенно близки къ Буддѣ и составляли общество его учениковъ. Изъ нихъ двое были болѣе другихъ любимы имъ, и впослѣдствіи ревностно подвизались въ дѣлѣ распространенія буддизма. Въ числѣ учениковъ находились и родственники Будды (Будд. Вас., ч. I, стр. 24).

---

[1]) Шакъямуни, т. е. отшельникъ изъ рода Шакъя. Время рожденія его точно неизвѣстно. По китайскимъ сказаніямъ, онъ родился въ 1027 г. до Р. Х.

Кромѣ этихъ событій изъ жизни основателя буддизма, согласно передаваемыхъ почти всѣми хинаяническими легендами, нѣкоторыя изъ нихъ приписываютъ ему множество другихъ дѣяній, въ которыхъ гораздо менѣе правдоподобія. Такъ, по извѣстіямъ этихъ легендъ, Будда нисходитъ во адъ, возносится на небо, и т. п. Что касается до смерти Будды, то всѣ легенды согласны въ томъ, что онъ умеръ и тѣмъ прекратилъ свое стихійное существованіе.

Такова земная жизнь Будды, по сказаніямъ хинаяническихъ легендъ. Махаянисты пошли еще далѣе въ дѣлѣ вымысловъ. Они учатъ, что не Шакъямуни возвысился до Будды, а что Будда снизошелъ на землю и воплотился въ Шакъямуни. Равнымъ образомъ они иначе смотрятъ и на смерть Будды. Допуская, что онъ, совершивъ свое дѣло на землѣ, оставилъ міръ и погрузился въ безмолвный покой, махаянисты въ то же время вѣруютъ, что Будда и теперь имѣетъ нѣчто въ родѣ скандъ, тончайшее тѣло (Будд. Вас., ч. I, стр. 12). Мистики не остановились и на этомъ. Они думаютъ, что не одинъ только Шакъямуни сдѣлался Буддой, но что и прежде него былъ безконечный рядъ Буддъ въ различныхъ мірахъ, и что всѣ Будды проповѣдывали то же самое ученіе, которое проповѣдывалъ и Шакъямуни — что и послѣ него будутъ являться Будды до самаго скончанія міра, и что Майтрея, будущій Будда, намѣстникъ Шакъямуни, теперь находится въ званіи Бодисатвы и ждетъ своей очереди, и что онъ не разъ пособлялъ ученикамъ своего предшественника въ объясненіи его ученія.

По смерти Будды, ученики его собрались на соборъ въ Магадѣ, на которомъ составленъ былъ краткій символъ буддійской вѣры (Будд. Вас., ч. I, стр. 37). Общество буддистовъ стало быстро распространяться въ различныхъ странахъ, находя добровольный и радушный пріемъ у жителей. Но вскорѣ, согласно предсказанію самого учителя, стали возникать ереси, вслѣдствіе произвольнаго толкованія нѣкоторыхъ пунктовъ ученія. Нужно было уничтожить возникшія недоумѣнія. Для этого собрано было нѣсколько соборовъ. На этихъ соборахъ судили еретиковъ, разбирали противорѣчія въ мнѣніяхъ и, наконецъ, составили новый обширнѣйшій символъ вѣры (Будд. Вас., ч. I, стр. 34).

Такая заботливость ближайшихъ послѣдователей Будды, о сохраненіи единства вѣры, не могла, впрочемъ, совершенно уничтожить раздѣленія въ ихъ религіозномъ обществѣ. Она соединила только 18 школъ, образовавшихся во время первыхъ споровъ, въ двѣ религіозно-философскія секты: вайбашиковъ и саутрантиковъ. Въ настоящее время буддизмъ дѣлится на двѣ секты: фоистовъ и ламъ. Первая удержалась въ Китаѣ, а послѣдняя въ Индіи, Тибетѣ и Монголіи. Различіе между ними состоитъ въ томъ, что одна изъ нихъ имѣетъ іерархію, а другая нѣтъ.

Изложивъ въ общихъ чертахъ біографію Шакъямуни и судьбу

его ученія, обратимся теперь къ разсмотрѣнію главнѣйшихъ чертъ буддійской догматики и морали [1]).

При всей темнотѣ и неопредѣленности, которыми отличается буддійскій священный кодексъ, видно, что буддистъ вѣритъ въ существованіе верховнаго начала, которому міръ обязанъ бытіемъ своимъ. Это существо—Будда въ его отвлеченіи, и ему-то придаются эпитеты безначальнаго и вѣчнаго, творца всего видимаго и невидимаго, источника жизни и начальной причины всякаго бытія. Желая проявить свои совершенства въ тваряхъ и подѣлиться съ ними своимъ блаженствомъ, онъ сотворилъ сначала множество горнихъ, невещественныхъ міровъ, извѣстныхъ подъ именемъ Нирваны, и населилъ ихъ высшими существами; а затѣмъ приступилъ къ творенію видимаго міра, употребивъ началомъ для него райскій цвѣтокъ. Этотъ міръ предназначилъ онъ въ жилище существамъ менѣе совершеннымъ. Положивъ основаніе вселенной, всевышній погрузился въ покой, предоставивъ дѣло дальнѣйшаго устройства міра двумъ геніямъ — Манджушири и Аріоболо, которые родились изъ свѣта его праваго глаза. Творческая сила перваго изъ нихъ образовала въ пустыхъ пространствахъ вселенной густое облако; пролившійся изъ него дождь произвелъ водную сферу, поверхность которой мало-по-малу отвердѣла и превратилась въ материкъ. Но эта первоначальная земля была пуста и безобразна. Тогда дунулъ бурный духъ сансары — и внезапно явились на лицѣ земли моря, горы и растенія.

Первыми обитателями видимаго міра были тенгерины. Духи эти были сначала невинны и блаженны. Но они скоро утратили свои первобытныя совершенства, употребивъ въ пищу для себя такія вещества, которыя не соотвѣтствовали ихъ духовной природѣ, и сдѣлались рабами грубой чувственности. Такое поведеніе ихъ не могло, разумѣется, укрыться отъ всевидящаго ока Будды. Онъ приказалъ Аріоболо посмотрѣть, что дѣлается на землѣ, и этотъ геній съ горестью увидѣлъ, что духи, какъ снѣгъ, падали съ высоты своего величія, увлекаемые злосчастнымъ рокомъ. Чтобы обуздать своевольныхъ тенгериновъ, всевышній испустилъ изъ своего тѣла шесть свѣтовъ, изъ которыхъ произошли шесть правителей и наставниковъ, и имъ поручена была власть надъ падшими духами. А такъ какъ огрубѣлая натура послѣднихъ требовала уже новыхъ условій для жизни, то прежде всего положено было дать бытіе внѣшнему свѣту, вслѣдствіе чего явились на тверди небесной солнце, луна и звѣзды. Несчастные тенгерины, для достиженія прежняго блаженнаго состоянія, должны были вступить теперь на путь перерожденій и переселеній.

Чтобы восполнить пустоту, образовавшуюся на землѣ послѣ паденія тенгериновъ, Будда произвелъ изъ свѣта лѣвой ладони своей новое существо — Бодисатву и назвалъ его Мандзой. Такъ какъ

[1]) Свѣдѣнія объ этомъ мы будемъ заимствовать изъ сочиненія арх. Нила.

Мандза долженъ былъ принять на себя важную обязанность — быть споспѣшникомъ боговъ въ распространеніи человѣческаго рода, то ему надлежало подвергнуться предварительному испытанію. И вотъ, по указанію Будды, онъ отправляется въ сѣверныя страны и тамъ проводитъ пустынническую жизнь среди безмолвія дѣвственной природы. Испытаніе начинается тѣмъ, что къ нему приходитъ дѣва горъ, Ракчиса, и проситъ его быть ея супругомъ. Эта неожиданность изумила Мандзу, но не поколебала его твердаго духа. Не желая нарушить убашинскаго обѣта, онъ даже не обратилъ вниманія на невѣдомую посѣтительницу. Ракчиса, видя, что всѣ старанія ея обольстить пустынника остаются напрасными, прибѣгла къ страшнымъ угрозамъ. Семь сутокъ провелъ Мандза въ тяжкомъ испытаніи. Наконецъ онъ отправился къ Буддѣ и повѣдалъ ему свое горе. Будда нашелъ, что домогательство Ракчисы не противорѣчитъ его великимъ планамъ, и благословилъ брачный союзъ первой въ мірѣ четы. Мандза получилъ при этомъ нѣкоторыя обѣтованія. Но этимъ еще не кончилось испытаніе. Дѣти Мандзы съ каждымъ днемъ становились развратнѣе; Ракчиса свирѣпствовала, какъ самая лютая фурія и грозила сдѣлаться бичемъ своего семейства. Мандза вынужденъ былъ бѣжать отъ нея въ другую пустыню, взявъ съ собою дѣтей. Къ этимъ несчастіямъ скоро присоединилось новое: семейство его, увеличившись до четырехъ сотъ душъ, не находя средствъ пропитанія, готовилось сдѣлаться жертвою голодной смерти. Такое положеніе заставило Мандзу снова обратиться къ Буддѣ. Будда успокоилъ его, объявивъ, что испытаніе его теперь кончено и что ему остается только терпѣливо ожидать исполненія данныхъ ему обѣщаній. Вмѣстѣ съ этимъ улучшился и матеріальный бытъ его. Мандза пребылъ вѣренъ Богу до конца своей жизни и спокойно переселился въ обѣтованную Нирвану. Потомки его мало-по-малу стали освобождаться отъ грубыхъ пороковъ, и наконецъ на землѣ насталъ золотой вѣкъ. Это время ознаменовано было явленіемъ мудраго наставника — хубилгана и избраніемъ царей. Первая династія была Загарвадоновъ. Люди наслаждались счастіемъ въ это блаженное время. Особенно это можно сказать о царствованіи пятаго Загарвадона. Этотъ царь имѣлъ тысячу женъ, украшенныхъ всѣми добродѣтелями и въ особенности отличавшихся гостепріимствомъ. Каждый странникъ находилъ въ домѣ ихъ радушный пріемъ. Одно только обстоятельство омрачало счастіе Загарвадона: онъ не имѣлъ дѣтей. И вотъ однажды заходитъ въ царскій дворецъ бѣдный странникъ. Гостепріимныя жены Загарвадоновы принимаютъ его радушно и надѣляютъ щедро милостынею. Странникъ узнаетъ отъ нихъ, что онѣ бездѣтны, и предсказываетъ, что у каждой изъ нихъ скоро родится сынъ. При этомъ предсказаніи онъ плюнулъ на землю, велѣлъ имъ смѣшать происшедшее отъ этого броніе съ землею, прибавить къ нему мазинтосо (родъ масла), приготовить опрѣсноки и съѣсть каждой по одному. Черезъ годъ предсказаніе странника исполнилось. Вскорѣ

послѣ этого Загарвадонъ получилъ откровеніе, что принятый имъ странникъ былъ не кто иной, какъ самъ Будда. Дѣти Загарвадона были такъ же добродѣтельны, какъ и отецъ ихъ, и, по волѣ Будды, за свои совершенства возведены были на степень боговъ міроправителей. Они должны преемственно править міромъ по нѣсколько тысячелѣтій, и въ теченіе этого періода времени міръ долженъ попеременно то клониться къ упадку, то обновляться, пока наконецъ онъ совсѣмъ не разрушится. Это событіе случится при послѣднемъ изъ міроправителей—Очирвани. Кончинѣ міра будутъ предшествовать всѣ ужасы нравственнаго нестроенія и страшныя знаменія. «На небѣ явятся сперва два солнца, потомъ четыре, напослѣдокъ шестнадцать солнцевъ. Растенія и животныя отъ невыносимаго жара погибнутъ, рѣки и даже моря изсохнутъ, земля представитъ изъ себя раскаленную печь, а горы станутъ дышать пламенемъ. Сила этихъ явленій сдѣлается чувствительною и для золотой лягушки, этого знаменитаго существа, находящагося подъ Сумберомъ и охватывающаго землю. Животное, замѣтивъ оскудѣніе потребной для него влаги, принуждено будетъ оставить теперешнее свое положеніе и оборотиться deorsum. Съ такимъ оборотомъ — увы! весь міръ пойдетъ вверхъ дномъ» (Будд. Арх. Нила, стр. 43—44).

Таково историко-догматическое ученіе буддистовъ о мірѣ. При обзорѣ его, мы уже имѣли случай касаться и буддійской философіи; въ дополненіе къ сказанному нами прибавимъ еще нѣсколько словъ.

Буддисты, признавая существованіе единаго Бога, какъ основной причины всего существующаго и верховнаго правителя вселенной, въ то же время допускаютъ множество низшихъ боговъ, которые различаются по степенямъ, составляя собою небесную іерархію. Къ самой высшей степени принадлежатъ боги вѣнца. Первое мѣсто между ними занимаетъ всесильный Абида или Будда; прочіе четыре Будды, принадлежащіе къ этой степени, суть только какъ бы приближенные Абиды, и хотя превосходятъ боговъ всѣхъ другихъ степеней, но въ то же время далеко уступаютъ верховному властителю; они не имѣютъ даже всѣхъ божескихъ совершенствъ, которыя совмѣщаются въ одномъ только Абидѣ. Вторую степень занимаютъ боги міроправители. Нѣкоторые изъ этихъ боговъ уже приходили и правили вселенной, а нѣкоторые еще имѣютъ прійти. Пришедшихъ боговъ считается семь, и всѣ они пользуются преимущественнымъ почтеніемъ предъ богами, имѣющими прійти. Въ настоящую эпоху правитъ міромъ Шакъямуни. Къ этому же разряду принадлежатъ и боги покровители человѣческаго рода, хотя по своимъ божескимъ совершенствамъ они стоятъ нѣсколько ниже боговъ міроправителей. Наконецъ, къ третьей степени относятся боги болѣе грозные, чѣмъ благотворные для человѣка. Посредниками между богами и людьми служатъ тенгерины, или духи всѣхъ міровъ, странъ и мѣстъ, исключая впрочемъ тѣхъ, которые принадлежатъ къ разряду падшихъ и составляютъ темное царство.

Добрые духи рисуются въ воображеніи буддиста благодѣтельными существами, хранителями человѣка отъ враждебныхъ дѣйствій злыхъ духовъ и его ближайшими помощниками и ходатаями. Сюда же должно отнести и тѣхъ людей, которые своею святою жизнію стяжали высшія совершенства и переселились въ блаженную Нирвану или даже проходятъ еще длинный рядъ перерожденій.

Переходимъ къ нравственному ученію буддистовъ. Излагая біографію основателя буддизма, мы уже видѣли, что онъ принадлежалъ къ числу отшельниковъ, аскетовъ. Этого же аскетизма онъ требовалъ и отъ своихъ послѣдователей; основанное имъ общество есть не что иное, какъ монашествующее братство, члены котораго связаны между собою общимъ обѣтомъ отреченія отъ міра. Вся буддійская мораль опирается на слѣдующихъ основаніяхъ.

Высочайшее счастіе, которымъ наслаждаются боги и котораго отчасти могутъ достигать и смертныя существа, состоитъ въ совершеннѣйшемъ покоѣ, который не допускаетъ даже и мысли о какой бы-то ни было дѣятельности. Самая Нирвана, къ которой стремится буддистъ, есть не что иное, какъ мѣсто полнаго безмолвія. Этого блаженнаго состоянія человѣкъ можетъ достигнуть только путемъ многихъ перерожденій и переселеній, а пока онъ существуетъ въ своемъ первоначальномъ видѣ, вся обязанность его состоитъ въ томъ, чтобы мало-по-малу отрѣшаться отъ мучительныхъ узъ жизни или такъ-называемой сансары. Понятно, что при такомъ воззрѣніи первоначальнаго буддиста на цѣль человѣческой жизни не могло быть даже и помину о добродѣтели, которая, съ одной стороны, предполагаетъ дѣятельность, а съ другой— внѣшній предметъ, на который обращается эта дѣятельность. Поступающій въ новое общество не обязывался дѣлать что-нибудь доброе; онъ давалъ только обѣтъ — не дѣлать того или другого. Позднѣйшіе буддисты, развивая все болѣе и болѣе это ученіе, пришли, наконецъ, къ той мысли, что міръ не потому долженъ быть предметомъ отверженія, что онъ мучителенъ, а потому, что онъ пустъ и что въ немъ нѣтъ ни одного предмета, на которомъ умъ нашъ могъ бы сосредоточиться и успокоиться. Поэтому нужно возноситься умомъ въ высшую область, въ область чистаго разума, и тамъ искать успокоенія. Но чтобы быть способнымъ къ этимъ высшимъ созерцаніямъ, для этого необходимо напередъ очистить свое духовное око и пріобрѣсти высшій навыкъ къ самоуглубленію. А для этого недостаточно уже только удерживаться отъ всего дурного: необходимо имѣть положительныя умственныя и нравственныя совершенства. Такимъ образомъ, буддисты незамѣтно пришли къ убѣжденію въ необходимости добродѣтели. Это убѣжденіе должно было подвинуть впередъ буддійскую мораль и сообщить ей болѣе жизненности. Теперь въ первый разъ уяснились отношенія человѣка къ обществу. Прежній буддистъ не обязывался помогать ближнему, да и не имѣлъ ничего, что бы онъ могъ дать ему; равнымъ образомъ и самъ старался по возможности ничего

не принимать отъ другихъ, кромѣ необходимаго подаянія. Настоящій буддистъ, напротивъ того, ничего не щадитъ для ближняго; онъ готовъ пожертвовать не только имуществомъ, но даже жизнію, лишь бы сдѣлать ему добро. Новѣйшій буддизмъ гордится уже не однимъ человѣколюбіемъ; онъ созидаетъ ученіе о *любви* и *милосердіи* и поставляетъ ихъ отличительнымъ характеромъ своихъ послѣдователей (Будд. Вас., ч. 1, стр. 124).

Всѣ нравственныя обязанности, которыя буддизмъ налагаетъ на своего послѣдователя, подводятся подъ три главныя категоріи: обязанности въ отношеніи къ богамъ, обязанности къ людямъ и ко всѣмъ живущимъ въ мірѣ тварямъ и, наконецъ, обязанности къ самому себѣ. Въ отношеніи къ богамъ, буддизмъ предписываетъ слѣдующія правила: о богахъ должно разсуждать съ благоговѣніемъ и вмѣстѣ со всѣми разумными тварями воздавать имъ хвалу, «прославляя ихъ не только устами, но и дѣлами». «Должно помнить, что боги суть чистыя существа, а потому, кто хочетъ быть угоденъ имъ, тотъ долженъ блюсти въ чистотѣ свой духъ и тѣло». «Тѣмъ болѣе должна быть чиста самая жертва, приносимая богамъ, а дѣйствія жертвователя благопристойны». «Должно надѣяться на боговъ, потому что ихъ покровительство превыше всѣхъ покрововъ». Въ отношеніи къ ближнему и тварямъ, желай другимъ благопріятныхъ перерожденій, какъ желаешь ихъ себѣ; береги жизнь всѣхъ тварей; повинуйся властямъ; «собственныя вины обличай, а о чужихъ храни глубокое молчаніе; оскорбленія переноси съ терпѣніемъ; неистовствующихъ укрощай благоразуміемъ; болящихъ утѣшай, къ несчастнымъ будь сострадателенъ; бѣднымъ помогай; согрѣшающихъ вразумляй благими совѣтами; всѣмъ служи, какъ служитъ рабъ своему господину, и другихъ правъ въ жизни не ищи». Буддизмъ предписываетъ даже любовь ко врагамъ; по крайней мѣрѣ, діанчи, при вступленіи въ званіе анахоретовъ, даютъ обѣтъ— и самыхъ лютыхъ враговъ считать своими друзьями. Обязанности къ самому себѣ: «всячески бодрствуй надъ собою, чтобъ не дать въ себѣ мѣста дѣйствіямъ, омрачающимъ душу или тѣло; смотри на себя какъ на сосудъ нечистый, сокрушенный и отверженный, и не только добрыя дѣла, но и самую мысль о добрѣ приписывай помощи вышней; дѣломъ, словомъ и мыслію воздерживайся отъ грѣха и насаждай въ себѣ добродѣтель, чтобы такимъ образомъ, мало-по-малу, перейти изъ грѣховнаго состоянія въ состояніе свободы; а для этого непрестанно помышляй о богахъ и помни, что гдѣ бы ни находился, ты всегда предъ очами ихъ; всѣ заботы и попеченія направляй къ достиженію наивысшаго совершенства».

Грѣхи раздѣляются на три разряда: смертные, близкіе къ смертнымъ и черные грѣхи. Грѣхи смертные: богохульство, отцеубійство, убійство праведника, дерзость противъ перерожденцевъ, «разлученіе другъ отъ друга тѣхъ, которые, посвятивъ жизнь свою на служеніе Богу, связали себя взаимными священными обѣтами». Грѣхи близкіе къ смертнымъ: разореніе святилища, отнятіе у бла-

гочестиваго человѣка средствъ къ дѣланію добра, кощунство надъ людьми духовнаго сана, разстройство въ дѣлѣ совершенія священныхъ обрядовъ вѣры, отнятіе у пустынника послѣдняго куска хлѣба. Черные грѣхи: умерщвленіе животнаго, присвоеніе чужого, порабощеніе грубой чувственности, ложь, сплетничество, осужденіе, злорѣчіе, зломысліе, зависть, презорство.

Взвѣшивая человѣческія дѣйствія, буддизмъ принимаетъ во вниманіе различныя обстоятельства, при которыхъ они совершены, и ихъ цѣль, а равно субъектъ и объектъ, и, соображаясь съ ихъ относительной важностью, опредѣляетъ за нихъ мѣру возмездія. Вообще же, отъ добраго дѣла онъ требуетъ всѣхъ условій нравственнаго добра, а чтобы дѣлу быть худымъ, считаетъ достаточнымъ и того, если одно какое-нибудь условіе дурно.

Буддизмъ, предписывая своимъ послѣдователямъ различныя правила нравственности и указывая имъ на высокую цѣль, къ которой каждый долженъ стремиться, съ точностью опредѣляетъ и самый путь, которому человѣкъ долженъ слѣдовать при постепенномъ восхожденіи на предназначенную для него высоту. Всѣхъ степеней нравственнаго совершенства буддисты насчитываютъ шесть. Находясь на первой изъ нихъ, человѣкъ сознаетъ свою нравственную порчу и нужду въ исправленіи, но не имѣетъ еще въ себѣ достаточно силы, чтобы противостоять злу. Вступивъ на вторую степень, онъ уже не увлекается болѣе прелестями міра и оплакиваетъ житейскую суету. Къ третьей степени принадлежатъ тѣ, которые, совершивъ съ успѣхомъ путь житейскаго странствованія, опять возвратились на землю, для дальнѣйшаго самоусовершенствованія и споспѣшествованія въ томъ другимъ. Достигшіе слѣдующей степени исполнили уже всѣ нравственныя обязанности и, оставаясь на землѣ, съ наслажденіемъ предаются мудрости и благочестію. Возвысившіеся до пятой степени торжествуютъ полную побѣду надъ зломъ и проникаютъ въ таинства природы; а взошедшіе на послѣднюю степень видятъ предъ собою отверстыми врата номовъ, вводятся въ міръ чудесъ и перерождаются въ существа одной натуры съ Буддами.

Чтобы облегчить для человѣка восхожденіе на такую высоту, буддизмъ даетъ ему вспомогательныя средства. Эти средства двоякаго рода: обыкновенныя и чрезвычайныя. Къ первымъ принадлежатъ: молитва, чтеніе священныхъ книгъ, постъ и удаленіе отъ міра. Къ чрезвычайнымъ средствамъ относятся таинства. Кромѣ обыкновенныхъ молитвъ, которыя читаются и поются при богослуженіи, равно какъ и тѣхъ, которыя составлены на особые случаи въ жизни, у буддистовъ есть еще молитва, состоящая изъ шести таинственныхъ словъ (*ом*, *ма*, *ни*, *бад*, *ме*, *хом*), истекшихъ изъ устъ Абиды при устроеніи судебъ міра. Эта молитва должна непрестанно быть въ сердцѣ и устахъ истиннаго ревнителя благочестія. Для облегченія молитвенныхъ подвиговъ, у буддистовъ существуетъ особая религіозная принадлежность—*курду*. Это не что

иное, какъ шести-сторонній цилиндръ, вращающійся на оси. Цилиндръ этотъ обвивается сколько можно болѣе бумажными свитками, на которыхъ тысячу разъ повторяются однѣ и тѣ же молитвы, а въ центръ цилиндра вставляются иногда священныя книги. Буддисты думаютъ, что достаточно одного оборота курду, чтобы замѣнить трудъ чтенія этихъ книгъ и тысяче-кратное повтореніе написанныхъ молитвъ. Кромѣ молитвы и чтенія св. книгъ, средствомъ къ нравственному преуспѣянію служитъ постъ. Буддизмъ обязываетъ своихъ послѣдователей поститься по крайней мѣрѣ однажды въ годъ, соблюдая при этомъ особо-установленныя, весьма строгія правила. Съ постомъ соединяется обыкновенно раскаяніе во грѣхахъ; но исповѣдь предъ священникомъ не считается обязательною, хотя и не возбраняется. Дѣвственницамъ и удаляющимся отъ міра, кромѣ самаго строгаго поста, предписываются еще нѣкоторые другіе способы умерщвленія плоти.

Счастлива та душа, которая воспользовалась всѣми этими средствами и съ успѣхомъ прошла жизненное поприще: ее ожидаетъ впереди неисчерпаемое блаженство въ высшихъ предѣлахъ міра. Но кто пренебрегалъ на землѣ своимъ нравственнымъ очищеніемъ и необузданно предавался страстямъ, тотъ снизойдетъ въ темное царство Чойжила, чтобы терпѣть тамъ почти-нескончаемыя муки.

Понятія буддистовъ о загробной жизни весьма интересны, и уже по одному этому мы никакъ не можемъ не коснуться ихъ.

Въ часъ разлуки съ тѣломъ, душа человѣческая видитъ уже предъ собою сонмъ духовъ, изъ которыхъ одни грозны, а другіе свѣтлы и прелестны. Эти духи тотчасъ препровождаютъ ее на судъ къ Номун-хану, который тщательно разбираетъ всю ея земную жизнь. Судъ продолжается сорокъ дней. Въ заключеніе Номунханъ ставитъ подсудимую предъ зеркаломъ, въ которомъ отражаются всѣ и самыя сокровенныя ея свойства. По окончаніи всего этого онъ произноситъ приговоръ, опредѣляющій всю послѣдующую ея судьбу. Въ удѣлъ закоснѣлымъ грѣшникамъ достается адъ. Онъ находится въ центрѣ земли и состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣленій, изъ которыхъ самое главное—геенна, предназначенная для учинившихъ смертные грѣхи. «Она наполнена расплавленнымъ чугуномъ, и въ этой-то массѣ носятся грѣшники, то погружаясь до дна, то всплывая на поверхность. При каждомъ погруженіи тѣла ихъ сгараютъ до костей, а съ каждымъ всплывомъ возрождаются опять для новыхъ мученій. Продолжительность этихъ мученій опредѣляется мѣрою, содержащею 8 куб. саженъ гунжита, зерна котораго вынимаются изъ сосуда чрезъ сто лѣтъ по одному» (Будд. Арх. Нила, стр. 209). Для тѣхъ же людей, которые не учинили тяжкихъ грѣховъ и виновны въ однѣхъ только слабостяхъ, предназначены мытарства. Здѣсь распоряжаются стихійные духи. Они проводятъ ввѣренную имъ душу изъ одного мытарства въ другое, подвергая ее всякаго рода коварствамъ и обольщеніямъ и въ этомъ томленіи держатъ ее до тѣхъ поръ,

пока она не погрузится въ мертвое безчувствіе, отъ котораго воскресаетъ уже совершенно чистою и устремляется въ міръ перерожденій. Прошелъ рядъ перерожденій, душа вводится въ царство Сукавади. Обновленную душу встрѣчаютъ здѣсь радостными кликами служебные духи и приводятъ ее къ возсѣдающему на престолѣ Буддѣ, который утѣшаетъ ее и назначаетъ ей мѣсто сообразное съ ея достоинствомъ.

Покончивъ съ нравственно-догматическимъ ученіемъ, скажемъ нѣсколько словъ объ обрядовой части буддизма.

Совершителями священныхъ обрядовъ у буддистовъ, какъ и вездѣ, являются жрецы. Они составляютъ собою цѣлую іерархію, во главѣ которой стоятъ Далай-лама и Баньченъ-богдо. Къ прочимъ членамъ ламской іерархіи принадлежатъ: убаши, ховаракъ, гецулъ, гелунъ, ширету, бандида-хамбо, шаваранъ, хубилганъ и хутукту. Убаши занимаютъ средину между клириками и мірянами. Они не служатъ въ капищѣ, но все-таки принимаютъ посвященіе и новое имя. Какъ слабые и неопытные, они состоятъ обыкновенно подъ надзоромъ пожилыхъ ламъ. Убаши не что иное, какъ послушники. Должность причетниковъ исправляютъ ховараки или баньди. Гецулъ, по служебному значенію, равняется съ діакономъ (Будд. Арх. Нила, стр. 70—72). Ему дается помощникъ quasi иподіаконъ. Въ старину бывали и діаконіссы, но теперь это не допускается. Гелуны вполнѣ соотвѣтствуютъ нашимъ священникамъ. Начальникъ капища называется ширету. Для почета, при богослуженіи онъ имѣетъ прислужниковъ. Ширету имѣетъ право посвящать во всѣ низшія званія. Это лицо походитъ на нашихъ архіереевъ. Бандида-хамбо занимаетъ самое высшее мѣсто между духовными лицами изъ разряда смертныхъ. За нимъ начинаются уже перерожденцы. Они живутъ между людьми для того только, чтобы исполнять предопредѣленія высшихъ существъ. Всѣ эти лица имѣютъ свое особое посвященіе. Посвященіе въ низшія степени совершается обыкновенно слѣдующимъ образомъ: посвящаемый, при входѣ въ капище, кладетъ три земные поклона передъ идолами, затѣмъ подводится къ ширету, становится на колѣни и произноситъ обѣты подъ прикрытіемъ священной одежды ширету. Послѣ этого обряда, ему вручаютъ четки, поясъ и другія принадлежности облаченія. Наконецъ совершается постриженіе и новопоставленному дается новое имя. Онъ тотчасъ же причисляется къ какому-нибудь капищу, если только онъ не убаши, и начинаетъ отправлять священныя службы. Службы въ капищѣ совершаются три раза въ день: утромъ, въ полдень и вечеромъ, и состоятъ изъ чтенія священныхъ книгъ и молитвъ, пѣнія и жертвоприношенія. На утренней и вечерней службѣ, кромѣ обыкновенныхъ жертвоприношеній, приносится еще мандза—жертва за живыхъ и умершихъ. Утренняя служба, сверхъ того, имѣетъ еще что-то въ родѣ вступленія или приготовленія къ службамъ дня. Приготовленіе это совершается обыкновенно такъ: по пробытіи въ харонгу, готовящіеся

къ служенію жрецы, облекшись въ священныя одежды, отправляются: въ предшествіи ширету, къ капищу, читая мысленно молитву. Достигнувъ капища, они останавливаются на крыльцѣ и трижды произносятъ монотонно: «многомилостивый Господи, отверзи намъ двери», и пр. (Будд. Арх. Нила, стр. 115). Затѣмъ передъ ними гебгой отворяетъ дверь, и они входятъ въ капище. Этимъ оканчивается приготовленіе къ службѣ. У буддистовъ каждому дню усвоены особыя чтенія и пѣнія, но обряды всегда одни и тѣ же. Кромѣ обрядовыхъ дѣйствій, входящихъ въ составъ постоянныхъ службъ, совершаемыхъ въ капищахъ, есть еще обряды, приспособленные къ разнымъ случаямъ человѣческой жизни и совершаемые внѣ капищъ. Къ такимъ обрядамъ принадлежатъ: миланторъ или молитва, читаемая надъ младенцемъ въ третій день послѣ его рожденія, брачные обряды, призывъ души или заклинаніе, произносимое противъ демона, овладѣвшаго душою человѣка, искупъ жизни или духовное уврачеваніе одержимаго тяжкою болѣзнію и, наконецъ, проводы души или обрядъ погребенія. Всѣ эти дѣйствія весьма интересны, но мы не имѣемъ времени останавливаться на каждомъ изъ нихъ, и скажемъ только два слова о послѣднемъ, какъ самомъ важномъ. Тотчасъ по смерти, покойника одѣваютъ въ приличную одежду и кладутъ его на правый бокъ, закрывъ лицо хадакомъ. Уложивъ мертвеца, зажигаютъ предъ нимъ курительныя свѣчи и принимаются за чтеніе молитвенной книги Дзотбо, которое и продолжается до ближайшаго изъ счастливыхъ дней. Въ этотъ день бываетъ выносъ покойника. Во время шествія къ мѣсту могилы, провожающіе читаютъ мысленно молитву. Затѣмъ совершается рытье, освященье могилы и самое отпѣванье. При этомъ читается множество молитвъ и заунывно поется стихъ: «божественный Абида! по милости своей наставь на путь усопшаго: ибо у тебя одного мѣсто успокоенія» (Будд. Арх. Нила, стр. 47). Покойникъ полагается въ могилѣ лицомъ на западъ. «За погребеніемъ слѣдуетъ длинный рядъ поминокъ и жертвоприношеній. У зажиточныхъ людей исправляются они въ теченіе 49 дней, поутру, въ полдень и вечеромъ. А люди съ малымъ состояніемъ обязаны исполнить поминовеніе, по крайней мѣрѣ, три раза: въ 3-й, 7-й и 49 день».

Этимъ мы оканчиваемъ обозрѣніе буддизма. Нельзя не сознаться, что и въ догматахъ, и въ нравственномъ ученіи, въ самыхъ обрядахъ, онъ имѣетъ много сходнаго съ христіанскимъ ученіемъ. Но это обстоятельство не должно нисколько смущать насъ: напротивъ, мы должны радоваться этому, въ томъ убѣжденіи, что на болѣе подготовленной почвѣ легче и скорѣе можетъ приняться сѣмя истиннаго слова Божія... Тѣмъ болѣе мы должны радоваться этому, такъ какъ и въ предѣлахъ нашего отечества мы имѣемъ послѣдователей ламайской вѣры, которыхъ теперешнія понятія могутъ облегчить нашему духовенству распространеніе между ними христіанства.

Пѣсни Беранже. Переводы *Василія Курочкина*. Спб. 1858. Два изданія.

Пѣсни Беранже. *Некрасова, Полежаева, Цыганова*, барона *Дельвига, Бенедиктова, А. Пушкина, Кольцова, Языкова, Батюшкова, Л. Мея*. Москва. 1858.

Беранже понравился русской публикѣ, наконецъ, получившей возможность хотя отчасти узнать его изъ многочисленныхъ переводовъ, помѣщавшихся въ послѣднее время въ журналахъ. Г. Курочкинъ успѣлъ даже составить себѣ извѣстность своими прекрасными переводами пѣсенъ Беранже. Первое изданіе его переводовъ, вышедшее въ началѣ нынѣшняго года, разошлось очень скоро, и теперь г. Курочкинъ является съ новымъ изданіемъ, въ которомъ къ прежнимъ стихотвореніямъ прибавилъ еще десять пѣсенъ, переведенныхъ имъ изъ посмертнаго изданія Беранже. Оба изданія г. Курочкина очень изящны, при обоихъ приложенъ очень хорошо сдѣланный портретъ французскаго поэта. Въ началѣ второго изданія переводчикъ перепечаталъ свое стихотвореніе на смерть Беранже, представляющее довольно удачную характеристику нѣкоторыхъ сторонъ его таланта. Нѣтъ сомнѣнія, что и второе изданіе «пѣсенъ Беранже» будетъ имѣть такой же успѣхъ, какой имѣло первое.

Что Беранже получилъ уже нѣкоторую популярность въ русской публикѣ, это доказываетъ, между прочимъ, книжка, заглавіе которой мы выписали рядомъ съ переводами г. Курочкина. Книжка составлена не то чтобъ совершенно ужъ дурно; но ея заглавный листъ на оберткѣ бьетъ на спекуляцію. На оберткѣ книжки вовсе нѣтъ перечисленія именъ, которое находится въ заглавіи, напечатанномъ внутри книжки, а просто напечатано крупнымъ шрифтомъ «Пѣсни Беранже», и потомъ мелко прибавлены слова: «и пр.». Этихъ словъ съ перваго раза легко не замѣтить, и мы видѣли нѣсколькихъ человѣкъ, которые были обмануты заглавнымъ листкомъ и принимали книжку за сборникъ пѣсенъ Беранже. Между тѣмъ, въ ней всего 16 пѣсенъ изъ Беранже, въ переводахъ г. Курочкина и Д. Ленскаго. Остальныя 70 пѣсенъ взяты изъ разныхъ русскихъ писателей, и въ число этихъ пѣсенъ попали, напр., «Пѣсня о вѣщемъ Олегѣ», Пушкина, «Пѣснь барда во время владычества татаръ надъ Россіею», Языкова, и т. п. Составитель книжки, очевидно, не признаетъ того, что пѣсня пѣснѣ рознь, а полагаетъ, что ежели ужъ пѣсня, такъ и тискай ее въ пѣсенникъ... Назвался, дескать, груздемъ, такъ полѣзай въ кузовъ... Подобныя соображенія, вѣроятно, руководили издателемъ при помѣщеніи въ его книжкѣ нѣкоторыхъ стихотвореній Батюшкова, Дельвига, Языкова. Но вотъ для чего мы уже рѣшительно не можемъ пріискать никакихъ резоновъ, это—напечатаніе въ сборникѣ отмѣнно длиннаго

нравоучительнаго стихотворенія г. Бенедиктова: «Посѣщеніе правды». Оно заняло въ книжкѣ 21 страницу; даже прочесть-то такую пучину резонерства не у всякаго духу достанетъ; неужели же хватитъ у кого-нибуть груди и горла на то, чтобы пропѣть все это?

Мы упомянули объ этой книжкѣ единственно для того, чтобы предостеречь тѣхъ, которые захотятъ пріобрѣсти пѣсни Беранже, отъ смѣшенія «Пѣсенъ Беранже» просто, *безъ прочаго*. Теперь же мы обратимся къ переводамъ г. Курочкина и постараемся показать, насколько вѣрное и полное понятіе сообщаютъ они русскимъ читателямъ о характерѣ поэзіи Беранже.

До послѣдняго времени, у насъ люди, не читающіе по-французски, имѣли очень смутное понятіе о Беранже. Знали, что Беранже сочиняетъ хорошія пѣсни, но этимъ всѣ свѣдѣнія и ограничивались. Переводовъ этихъ пѣсенъ почти не было; а если и появлялись они, то всегда, по какой то странной случайности, выборъ переводчиковъ падалъ на самыя невинныя вещи Беранже, и печатались эти переводы, тоже по какой-то особенной скромности, съ невиннымъ изъясненіемъ: *съ французскаю*, а иногда и вовсе безъ изъясненія. А въ то же время — офранцуженная молодежь высшихъ классовъ, въ родѣ графа Нулина, и банальные старички, желавшіе молодиться, считали обязанностью быть знакомыми:

«Съ *bons-mots* французскаго двора,
Съ послѣдней пѣсней Беранжера»...

Понятно, что вниманіе такихъ читателей и чтителей привлекалось почти исключительно тѣмъ, что было въ Беранже фривольнаго и скандалезнаго. Перечитывали, списывали и знали наизусть нѣкоторыя нескромныя пьесы, въ родѣ «La bacchante», «Le bon pape», «Les reliques», «Le vieux célibataire», «Le bon Dieu», и т. п., не обращая вниманія на другія пьесы, въ которыхъ талантъ Беранже выказывался шире и серьезнѣе. Такимъ образомъ, знакомясь съ Беранже кое-какъ, изподтишка и невполнѣ, у насъ многіе узнали именно тѣ его пьесы, которыя возбуждали особенное негодованіе строгихъ блюстителей общественной нравственности и порядка. До послѣдняго времени многіе считали у насъ Беранже не болѣе, какъ фривольнымъ пѣвцомъ гризетокъ и вина и отчасти политическимъ памфлетистомъ. Только недавно, съ появленіемъ въ русскихъ переводахъ многихъ пѣсенъ Беранже и нѣсколькихъ статеекъ о немъ въ русскихъ журналахъ, это мнѣніе стало измѣняться и уступать мѣсто болѣе правильнымъ понятіямъ. И въ этомъ случаѣ, заслуга перваго и до сихъ поръ лучшаго ознакомленія русской публики съ Беранже принадлежитъ безспорно г. Курочкину.

Въ коротенькомъ предисловіи къ первому изданію своихъ переводовъ, г. Курочкинъ говоритъ, между прочимъ, о своемъ предположеніи «представить современемъ характеристику Беранже, — поэта и человѣка, какъ его понимаютъ лучшіе люди въ Европѣ».

Нельзя не пожелать, чтобъ г. Курочкинъ поскорѣе исполнилъ свое намѣреніе. Беранже — одна изъ лучшихъ поэтическихъ личностей современной Европы, и между тѣмъ до сихъ поръ его значеніе опредѣлено вполнѣ хорошо, кажется, только имъ самимъ. У самихъ французовъ нерѣдко раздаются странные и кривые толки аристарховъ объ ихъ національномъ поэтѣ. Недавно попалась намъ въ Revue des deux Mondes, начала нынѣшняго года, статья: «Послѣднее слово о Беранже», написанная г. Монтегю по поводу автобіографіи Беранже. Статья эта разбираетъ политическія тенденціи поэта, и худо скрытое негодованіе орлеаниста противъ демократа прорывается въ ней на каждой страницѣ. Выставляя свою критическую проницательность, г. Монтегю говоритъ, что онъ всегда былъ убѣжденъ въ отсутствіи твердыхъ политическихъ началъ у Беранже, и не безъ удовольствія прибавляетъ, что чтеніе автобіографіи подтвердило его увѣренность. Особенное недовольство характеромъ Беранже выказываетъ г. Монтегю, разрушая «упорныя иллюзіи тѣхъ, которые видятъ въ Беранже республиканца, приписываютъ ему политическія пристрастія и смотрятъ на него, какъ на защитника свободы». Ничего подобнаго не было, съ негодованіемъ говоритъ г. Монтегю: для Беранже было рѣшительно все равно, королевство или республика, тотъ или другой образъ правленія. Онъ писалъ, правда, смѣлыя пѣсни противъ Бурбоновъ, онъ не любилъ Реставраціи; но это не потому, что Реставрація и Бурбоны были ретроградны, а потому только, что это были Реставрація и Бурбоны. Въ сущности, Беранже былъ наполеонистъ, и нерѣдко даже болѣе наполеонистъ, чѣмъ самъ Наполеонъ. Онъ старается показать, будто весь вѣкъ былъ вѣренъ республиканскимъ идеямъ; но въ самомъ дѣлѣ республика была для него только холодною, законною супругою; въ душѣ же его пылала другая страсть, гораздо болѣе пылкая... Въ такомъ родѣ разсуждаетъ г. Монтегю и заключаетъ свои разсужденія слѣдующими словами: «каково бы ни было въ будущемъ сужденіе публики о Беранже, приметъ ли она его политическія идеи или отвергнетъ ихъ, мы очень счастливы, что поэтъ самъ позаботился (въ своей біографіи) доказать истину, которая многихъ смущаетъ и съ которою многіе не хотятъ согласиться; именно, что демократъ не всегда есть сугубый (doublé) либералъ». Читая подобныя замѣчанія, изложенныя въ тонѣ худо-сдержанной ироніи, только удивляешься узости взгляда, который критикъ не только усвоилъ себѣ, но еще навязываетъ и Беранже. Намъ, разумѣется, нѣтъ никакого дѣла до того, какихъ именно политическихъ мнѣній и до какой степени безукоризненно держался Беранже, и мы не имѣемъ ни малѣйшей претензіи защищать французскаго поэта отъ нападеній французскаго критика. Но нельзя не замѣтить того, какъ высоко, послѣ всѣхъ этихъ обвиненій, становится Беранже надъ близорукими либералами, подобными г. Монтегю. Для нихъ очень важна форма; для нихъ, главное дѣло въ игрѣ словъ, выражающихъ по большей

части отвлеченныя понятія. Они никакъ не могутъ понять равнодушія человѣка, напр., къ какимъ-нибудь измѣненіямъ въ формѣ правленія; не могутъ простить, если кто съ холодностію приметъ какія-нибудь либеральныя фразы или новыя формы учрежденій. Они никакъ не могутъ дорости до взгляда человѣка, который ищетъ только существеннаго добра, мало обращая вниманія на внѣшнюю форму, въ которой оно можетъ проявиться. Беранже, судя по его пѣснямъ и по его собственнымъ признаніямъ, былъ именно одинъ изъ немногихъ людей, обладающихъ такимъ высшимъ гуманнымъ взглядомъ. Очень можетъ быть, что онъ и не выработалъ своихъ воззрѣній съ послѣдовательностью и строгостью теоретика; но онъ ясно сознавалъ и сильно чувствовалъ ихъ инстинктомъ своей благородной натуры. Инстинктъ этотъ далеко возвышался надъ мелкими интересами враждебныхъ партій; онъ всею силою своей направлялся въ одну сторону—къ достиженію блага народнаго. Кто болѣе дѣлалъ или даже только желалъ, обѣщалъ сдѣлать для народа, кто пріобрѣталъ народную любовь, къ тому стремились и симпатіи поэта. Такимъ образомъ онъ, дѣйствительно, не былъ ни республиканцемъ, ни роялистомъ, ни либераломъ, ни наполеоновцемъ: онъ стоялъ выше всѣхъ ихъ, на высотѣ своей чистой, поэтической любви къ народному благу. «Le peuple c'est ma muse», говоритъ онъ самъ, и едва ли можно лучше выразить въ коротких словахъ характеръ всей его поэзіи. Въ этой-то симпатіи къ народу и заключается причина необыкновенной популярности Беранже; этимъ-то отличается онъ отъ эфемерныхъ памфлетистовъ, сочиняющихъ зажигательные политическіе стихи, вызванные потребностью минуты и интересомъ партіи. Тѣхъ обыкновенно бросаютъ и забываютъ черезъ нѣсколько дней послѣ ихъ появленія, а Беранже читаютъ и перечитываютъ даже тѣ, которымъ совершенно чужды и событія, и тенденціи, вызвавшія ту или другую изъ его пѣсенъ. Это потому, что всякій порядочный человѣкъ необходимо сходится съ Беранже въ одномъ главномъ мотивѣ его пѣсенъ — въ любви къ народному благу. Самъ Беранже сознается въ предисловіи къ одному изъ изданій своихъ пѣсенъ, что по мѣрѣ того, какъ онъ мужалъ, вниманіе его все болѣе и болѣе отвлекалось отъ вопросовъ политическихъ къ явленіямъ чисто-соціальнаго характера. «Предположивши установленнымъ какой-нибудь правительственный принципъ,—говоритъ онъ,—естественно чувствуешь въ умѣ потребность примѣненія его ко благу возможно бо́льшаго числа людей. Благо человѣчества было думою всей моей жизни, и, безъ сомнѣнія, я обязанъ этимъ состоянію, въ которомъ я родился (читателямъ, конечно, извѣстно, что Беранже происходилъ изъ простого званія; дѣдъ его былъ портной), и практическому воспитанію, которое тамъ получилъ. Конечно, не простому пѣсеннику рѣшать важные вопросы общественныхъ улучшеній. Но, къ счастію, много нашлось людей молодыхъ и смѣлыхъ, просвѣщенныхъ и пылкихъ, которые такъ уяснили и упростили эти

вопросы, что сдѣлали ихъ доступными самому простому взгляду. Мнѣ отрадно было, что нѣкоторыя изъ моихъ пѣсенъ могли доказать этимъ людямъ мою симпатію къ ихъ благороднымъ предпріятіямъ».

Такимъ образомъ, самъ Беранже представляетъ намъ свою поэзію дѣломъ служенія народной пользѣ. Чтобъ видѣть, какъ понималъ онъ это служеніе, приведемъ изъ того же предисловія нѣкоторыя мысли, относящіяся къ содержанію и характеру его пѣсенъ. «Любовь къ отечеству и любовь къ независимости,—говоритъ онъ,—составляютъ два главные предмета моихъ пѣсенъ, и я старался говорить о нихъ языкомъ, понятнымъ народу. Вѣдь эти предметы не такія важныя особы, чтобъ ужъ не могли спуститься до народа. Напротивъ, съ тѣхъ поръ какъ народъ, съ прошлаго вѣка, сталъ принимать сознательное участіе въ политическихъ событіяхъ, его понятія возвысились и облагородились. Теперь уже и въ пѣснѣ ему не довольно одного только вина, разгула, безтолковой веселости: это можетъ составлять только рамку, въ которой должна быть выставлена картина, заключающая какую-нибудь серьезную идею. Смѣясь только надъ обманутыми мужьями да надъ корыстолюбивыми чиновниками, нельзя уже получить полнаго успѣха и среди рабочаго класса; для народа нужно уже побольше. Оттого и назначеніе пѣсни народной теперь должно быть выше и чище. Мало даже того, чтобы она нравилась только простому народу: она должна проникнуть и высшіе классы, чтобы и въ нихъ пробудить участіе къ горестямъ и страданіямъ народа!» И пѣсни Беранже, дѣйствительно, выполняли это высокое и святое назначеніе. Онъ сдѣлался популярнымъ поэтомъ не только во Франціи, но и въ странахъ, далекихъ отъ его отечества.

Зная о своей популярности, Беранже, въ томъ же предисловіи, скромно говоритъ, что великіе поэты Франціи, конечно, легко затмили бы его извѣстность, если бы они не пренебрегали «спуститься иногда съ высотъ стараго Пинда, который немножко ужъ слишкомъ аристократиченъ для духа нашего языка. Имъ бы надобно было отказаться отъ нѣкоторой части ихъ великолѣпныхъ фразъ. Къ сожалѣнію, мы, по старой укоренившейся привычкѣ, до сихъ поръ смотримъ на народъ съ какимъ-то предубѣжденіемъ. Онъ все представляется намъ грубой толпой, неспособной къ возвышеннымъ, благороднымъ и нѣжнымъ ощущеніямъ. А между тѣмъ, напротивъ,—въ нашемъ обществѣ всѣ эти чувства развиты гораздо меньше. Если еще есть въ мірѣ поэзія, то ее нужно искать среди народа. Да, надобно трудиться для него, надобно вдохновляться имъ; но для этого надобно знать его и сочувствовать ему. А то иногда мы, пожалуй, и беремся за народные предметы, для того чтобы заслужить себѣ хвалу; но мы поступаемъ тутъ подобно тѣмъ богачамъ, которые, желая удивить народъ, бросаютъ ему на голову гнилое мясо и заливаютъ его разбавленнымъ виномъ. Посмотрите хоть на нашихъ живописцевъ: они никогда не представляютъ лицъ

простого народа, даже въ историческихъ картинахъ. Это, по ихъ мнѣнію, могло бы повредить изяществу и нарушить эффектъ. Но народъ не имѣлъ ли бы полнаго права сказать тѣмъ, которые такъ его трактуютъ: «развѣ я виноватъ въ томъ, что я такъ жалко выродился, что черты мои искажены нищетою, а иногда и порокомъ? Но въ этихъ блѣдныхъ истощенныхъ чертахъ горѣлъ когда-то энтузіазмъ отваги и свободы! Но подъ этими лохмотьями течетъ кровь, которую проливалъ я за васъ, при первомъ призывѣ отечества. Изобразите меня въ ту минуту, когда я умираю за васъ. Тогда черты мои прекрасны!» И этотъ народъ былъ правъ, говоря такимъ образомъ».

Всѣ эти мысли не составляютъ у Беранже отвлеченнаго воззрѣнія; онѣ составляютъ результатъ и содержаніе всей его жизни, всей его поэтической дѣятельности. Во всѣхъ его пѣсняхъ любовь къ родинѣ сливается съ любовью къ народу; онъ справедливо и гордо презираетъ тѣ мишурныя фразы о какой-то отвлеченной любви къ величію родной страны, подъ которыми обыкновенно укрывается своекорыстіе или сухость сердца. Онъ съ насмѣшкою отзывается о тѣхъ мнимыхъ преимуществахъ и благахъ, къ которымъ такъ многіе стремятся. Нельзя не видѣть глубокой мысли въ той иронiи, съ какою онъ перечисляетъ всѣ эти блага, напр., въ стихотвореніи «Conseil aux Belges».

Любовь къ народу постоянно одушевляла Беранже. Она руководила имъ постоянно во всѣхъ взглядахъ на политическія событія и на знаменитыя личности. Это выразилъ онъ, когда говорилъ Шатобріану, въ 1831 г. «Служи народу, этому благородному народу, полному великихъ даровъ»...

«Ne sers que lui...
Sa cause est sainte. Il souffre; et tout grand homme
Auprès du peuple est l'envoyé de Dieu [1])

Гуманное чувство самой чистой и справедливой любви къ народу и къ его благу дѣйствительному, а не нарицательному только, выражается во всѣхъ почти пѣсняхъ Беранже. Даже если онъ воспѣваетъ предметы, повидимому, чуждые народу, и это происходитъ отъ его особеннаго взгляда на предметъ, благопріятнаго для народа. Такъ, часто упрекали его за то, что онъ воспѣваетъ Наполеона съ слишкомъ большимъ жаромъ. Объясненіе этого находимъ отчасти опять въ его предисловіи, гдѣ онъ упоминаетъ о Наполеонѣ и о послѣдующихъ политическихъ дѣятеляхъ. Вотъ смыслъ его словъ.

«Я съ энтузіазмомъ удивлялся генію Наполеона, потому что онъ былъ обожаемъ народомъ, видѣвшимъ въ немъ представителя побѣдоноснаго равенства (le représentant de l'égalité victorieuse).

[1]) Не служи ничему, кромѣ него. Его дѣло свято; онъ страдаетъ, и всякій великій человѣкъ есть посланникъ Божій для блага народа.

Но это не мѣшало мнѣ съ ужасомъ видѣть возрастающій деспотизмъ императора. При его паденіи я сожалѣлъ только о бѣдствіяхъ отечества. Къ Бурбонамъ я былъ безразличенъ: но я надѣялся, что при ихъ слабости легко будутъ возстановлены нѣкоторыя народныя льготы. Что касается до народа, *отъ котораго я никогда не отдѣлялся*, то мнѣ казалось, что, послѣ ужасной развязки столь продолжительныхъ войнъ, и онъ былъ не противъ правителей, которыхъ для него отыскали. Но скоро иллюзіи разрумянились; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ самые близорукіе увидѣли, что надѣяться нечего. Возвратился Наполеонъ съ Эльбы, но во время «Ста дней» я уже не увлекался общимъ энтузіазмомъ: я видѣлъ, что Наполеонъ не можетъ править ко благу народа. Тогда сложилъ я пѣсню «Политика Лизы» и въ ней выразилъ свои опасенія: больше этого расправить крылья я тогда не могъ»...

Пьеса эта, полная легкаго юмора, заключаетъ въ себѣ дѣйствительно очень ясные намеки на владычество Наполеона. Напр., вотъ одинъ куплетъ этой пѣсни:

«Combien les belles et les princes
Aiment l'abus d'un grand pouvoir!
Combien d'amants et de provinces
Poussés enfin au désespoir!
Crains que la révolte ennemie
Dans ton boudoir ne trouve accès;
Lise, abjure la tyrannie,
Pour le bonheur de tes sujets» [1].

Конецъ этой пѣсни также представляетъ примѣненіе къ тогдашнимъ обстоятельствамъ Франціи и Наполеона, какъ понималъ его Беранже. «Лиза,—умоляетъ поэтъ,—сдѣлайся доброй властительницей, уважай нашу свободу. Укрась чело свое розами, собранными любовью, и сохрани надолго свой вѣнокъ (couronne) для блага тебѣ подвластныхъ».

Вотъ въ какихъ пѣсняхъ выражался, когда нужно было, наполеонизмъ поэта, и вотъ какое значеніе имѣли иногда стихи его, обращенные къ Лизетѣ. Немудрено, что они быстро расходились и выучивались во всей Франціи.

«При новомъ возвращеніи Бурбоновъ,—продолжаетъ Беранже,—я былъ убѣжденъ, что они ничего не сдѣлаютъ для народа. Но въ самомъ народѣ я сначала не видѣлъ такого убѣжденія, и потому постоянно наблюдалъ его положеніе и чувства при всякомъ новомъ событіи. Его впечатлѣнія и настроенія опредѣлили роль, которую выполнилъ я въ тогдашней оппозиціи. Народъ — это моя муза».

---

[1] Какъ любятъ красавицы и властители злоупотреблять своей огромной властью! Сколько любовниковъ и областей доводятъ они наконецъ до отчаянія! Бойся, чтобы враждебное возстаніе не произошло въ твоемъ будуарѣ! Лиза, откажись отъ своей тиранніи, для блага тебѣ подвластныхъ.

Такъ писалъ Беранже 25 лѣтъ тому назадъ (въ 1833 г.). Тотъ же самый взглядъ выражалъ онъ чрезъ десять лѣтъ (въ 1842 г.) при новомъ изданіи своихъ пѣсенъ. Тогда онъ писалъ между прочимъ: «наши партіи слабы, ничтожны; отсутствіе твердыхъ убѣжденій и раздоры ихъ внушаютъ къ нимъ пренебреженіе. И теперь народъ, вразумленный зрѣлищемъ нашихъ мѣщанскихъ и жадныхъ честолюбій, разочарованный въ большей части людей, бывшихъ его кумирами, *настоящій народъ, для котораго и съ которымъ я пѣлъ*, обреченный на то, чтобъ ничему болѣе не вѣрить и ничего не любить, онъ теперь держится совершенно въ сторонѣ отъ политическихъ эволюцій, какъ безстрастный жюри, который однако произнесетъ когда-нибудь окончательное рѣшеніе долгихъ споровъ нашей задорной эпохи».

Сдѣланныя нами извлеченія изъ двухъ предисловій Беранже выражаютъ, кажется, довольно ясно сущность его общихъ воззрѣній на дѣятельность политическихъ партій и его понятія о значеніи собственнаго его таланта. Кто знаетъ пѣсни Беранже, тотъ, конечно, согласится, что бо́льшая часть ихъ не противорѣчитъ этимъ воззрѣніямъ. Многіе упрекали Беранже за его излишнее пристрастіе къ Наполеону; другіе возставали противъ слишкомъ легкаго взгляда его на любовь и вообще на женщинъ. Но относительно Наполеона Беранже признается въ своей автобіографіи, что энтузіазмъ къ нему раздѣлялъ съ цѣлой націей, пока не увидѣлъ, что императоръ посягаетъ на многія права и на благосостояніе народа. Въ Наполеонѣ долгое время Беранже видѣлъ не просто властителя, а геніальнаго представителя народа. Въ одномъ мѣстѣ своего предисловія онъ выражается о Наполеонѣ такимъ образомъ: «величайшій поэтъ новыхъ и можетъ быть всѣхъ временъ, Наполеонъ, когда только онъ отступалъ отъ подражанія старымъ монархическимъ формамъ, смотрѣлъ на народъ такъ, какъ должны были бы смотрѣть всѣ наши лучшіе поэты и артисты. Онъ умѣлъ понять, до какой высоты могутъ достигнуть инстинкты массы, если только умѣть возбуждать ихъ. Можно подумать, что именно для удовлетворенія этимъ инстинктамъ онъ столько волновалъ міръ». Конечно, Беранже ошибался, увлеченія его были ложны; но все-таки нельзя не сказать, что источникъ этихъ увлеченій никакъ не заслуживаетъ порицанія.

Что касается до фривольности нѣкоторыхъ пѣсенъ Беранже, то онъ самъ очень справедливо замѣчаетъ, что вѣдь онѣ не назначались имъ въ руководство при воспитаніи молодыхъ дѣвицъ. «Притомъ же,—говоритъ онъ,—эти пѣсни, внушенныя безумными порывами молодости, были чрезвычайно хорошимъ подспорьемъ для другихъ пѣсенъ, въ которыхъ развивались идеи болѣе серьезныя и важныя. Безъ этой легкой и фривольной веселости, и серьезныя пѣсни не пошли бы такъ далеко, не спустились бы такъ близко къ народу, и даже *не поднялись бы такъ высоко*: пусть не оскорбится этимъ деликатность свѣтскихъ салоновъ».

Но независимо отъ этого оправданія, нужно сказать, что бо́льшая часть пѣсенъ, въ которыхъ женщина трактуется слишкомъ, повидимому, легкомысленно, представляетъ скорѣе очерки нравовъ, нежели личныя убѣжденія Беранже. У него есть пѣсни, проникнутыя высокимъ паѳосомъ любви. Если у него представляется старушка, говорящая своимъ внучкамъ:

«Э, дѣтки, женскій нашъ удѣлъ:
Ужъ если бабушки палили,
Такъ вамъ и Богъ велѣлъ»...

За то есть у него и другая старушка, которая является до конца жизни вѣрною памяти своего друга, любящею его пѣсни, гордою тѣмъ, что другъ ея никогда въ жизни не дѣлалъ ничего безчестнаго. Съ этой подругой раздѣлялъ онъ благороднѣйшія свои стремленія, свои возвышеннѣйшія чувства; она внимала не только изліяніемъ его любви къ ней, но и пѣснямъ, вызваннымъ любовью къ народу. Въ стихотвореніи «La bonne vieille» есть между прочимъ куплетъ, почему-то пропущенный въ переводѣ г. Курочкина и заключающій въ себѣ напоминаніе объ этихъ пѣсняхъ. Поэтъ говоритъ:

«Vous qne j'appris à pleurer sur la France,
Dites surtout aux fils des nouveaux preux,
Que j'ai chanté la gloire et l'espérance,
Pour consoler mon pays malheureux».

Правда, что въ большей части эротическихъ пѣсенъ Беранже рисуется вѣтренная Лизета, и припѣвъ: «vive la grisette»! идетъ ко многимъ изъ этихъ пѣсенъ. Но въ самой легкости, съ которою поэтъ уступаетъ другимъ сердце своей Лизеты, едва ли можно видѣть только вѣтренность и неспособность къ сильной страсти. Тутъ есть характеристическая черта болѣе глубокая, появляющаяся, кромѣ Беранже, еще въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Гейне. Это уваженіе къ свободѣ выбора въ женщинѣ и вполнѣ гуманное признаніе того, какъ нелѣпы и безсовѣстны всякаго рода принудительныя мѣры въ отношеніи къ женскому сердцу. Беранже, какъ истинный поэтъ и порядочный человѣкъ, не могъ унизиться до того, чтобы позволить себѣ презирать и ненавидѣть женщину за то только, что она, переставши любить одного, отдалась другому. Онъ зналъ, что это въ порядкѣ вещей, и не могъ трактовать женскія чувства и увлеченія съ точки зрѣнія какого-нибудь Малекъ-Аделя или пушкинскаго Алеко. Онъ понималъ, что, теряя любовь женщины, можно обвинять только самого себя за неумѣнье сохранить эту любовь; о женщинѣ же можно только сожалѣть, если новая любовь ея обращается на предметъ недостойный, и стараться извлечь ее изъ ложнаго положенія, въ которое она попадаетъ. Гнѣвъ, ненависть, насильственныя мѣры, формальныя стѣсненія, бѣшеные порывы—обнаружатъ только или слабость ха-

рактера, или узость понятій и недостатокъ гуманности. Точно такъ же негуманно и превратно къ увлекшейся женщинѣ; и истинная поэзія, сколько мы можемъ припомнить себѣ, постоянно находила для нихъ не голосъ осужденія, а звуки примиренія и любви. Въ этомъ отношеніи, на насъ всегда производили сильное впечатлѣніе два стихотворенія Гейне составляющія собственно одно цѣлое и выражающія это примиреніе съ особенной простотою. Мы кстати приведемъ ихъ здѣсь въ переводѣ, который находится у насъ подъ руками и который не былъ еще напечатанъ.

I.

«На бѣлую грудь твою, другъ мой,
Припавши своей головой,
Въ біеніи сердца подслушалъ
Я тайну души молодой.

Къ намъ въ городъ вступаютъ гусары...
Чу! слышенъ ихъ музыки звукъ...
И завтра меня ты покинешь,
Всѣмъ сердцемъ любимый мой другъ!

Пусть завтра меня ты покинешь...
Но нынче еще ты моя,
И нынче въ объятіяхъ милой
Вдвойнѣ хочу счастливъ быть я»...

II.

«Отъ насъ выступаютъ гусары.
Чу! слышенъ ихъ музыки звукъ...
И съ розовымъ пышнымъ букетомъ
Къ тебѣ прихожу я, мой другъ.

Здѣсь дикое было хозяйство:
Толпа и погромъ боевой...
И даже, мой другъ, въ твоемъ сердцѣ
Большой былъ военный постой»...

Во многихъ изъ пѣсенъ Беранже находимъ мы тотъ же основной мотивъ, какъ и въ этихъ стихахъ Гейне, только у французскаго поэта чувство его выражается съ большей легкостью и игривостью, даже—можемъ сказать—съ нѣкоторымъ легкомысліемъ и небрежностью, и уже безъ всякаго оттѣнка грусти, которая такъ неразлучна съ ироніею Гейне.

Указавши нѣсколько чертъ для характеристики поэзіи Беранже, обратимся теперь къ переводамъ г. Курочкина. Прежде всего обратимъ вниманіе на выборъ пьесъ. Всѣхъ ихъ теперь напечатано въ книжкѣ г. Курочкина 48, — количество, достаточное для того, чтобы дать довольно полное понятіе о поэтѣ, какъ со стороны внѣшней формы, такъ и относительно содержанія.

Нельзя сказать, чтобъ эти пьесы были самыми яркими и сильными изъ беранжеровскихъ пѣсенъ; но по большей части выборъ

г. Курочкина довольно удачень. По крайней мѣрѣ, половина изъ напечатанныхъ имъ переводовъ содержитъ въ себѣ пѣсни очень характеристичныя. Назовемъ, напр., «Тоска по родинѣ», «Бѣднягачудакъ», «Добрая фея», «Добрый знакомый», «Орангутанги», «Нѣтъ, ты не Лизета», «Кукольная комедія», «Старый капралъ», «Веселость», «Гусаръ». Въ «Пѣсни труда» хорошъ refrain.

«Слава святому труду!
Бѣдность и трудъ
Честно живутъ,
Съ дружбой, съ любовью въ ладу.
Слава святому труду»!

Припѣвъ этотъ сочиненъ г. Курочкинымъ; но намъ кажется, что въ своемъ родѣ онъ не хуже припѣва подлинника:

«Les gueux, les gueux,
Sont les gens heureux;
Ils s'aiment entre eux.
Vivent les gueux»!

Вообще о г. Курочкинѣ напрасно думаютъ, что онъ переводитъ чрезвычайно близко къ буквѣ подлинника. Онъ нерѣдко уклоняется отъ словъ французской пѣсни и даетъ мысли Беранже свой самостоятельный оборотъ. Иногда эти обороты очень удаются переводчику; но надо признаться, что чаще они ослабляютъ силу беранжеровскаго стиха. Это особенно бываетъ тогда, когда г. Курочкинъ принимается, по непонятной для насъ робости, *смягчать* рѣзкія выраженія поэта. Представимъ нѣсколько примѣровъ.

Въ пѣсни странника, г. Курочкинъ до того смягчилъ жалобы ожесточеннаго путника, что въ переводѣ едва остается намекъ на то, что выражается въ пѣснѣ Беранже. Съ самыхъ первыхъ словъ старика смыслъ подлинника измѣненъ. Тамъ говорится, что рокъ несправедливъ, но не вѣчно же онъ преслѣдуетъ бѣдами,—

«Le sort est injuste, sans doute,
Mais il n'est pas toujours rigoureux».

А г. Курочкинъ перевелъ это стихами:

«Пусть злые люди къ людямъ строги,
Отецъ небесный справедливъ».

Точно такія измѣненія сдѣланы въ переводѣ всей пьесы. Даже самые сильные стихи перевода:

«И если въ небѣ торжествуетъ
Свѣтъ вѣчной правды — для чего?
Зачѣмъ? Когда не существуетъ
Ни злыхъ, ни добрыхъ для него»?

и эти стихи все еще слишкомъ слабы, слишкомъ смягчены, въ

сравненіи съ силою основной мысли подлинника. Впрочемъ, въ большей части подобныхъ случаевъ мы не обвиняемъ г. Курочкина: его переводъ назначался для русской публики и потому, кромѣ личнаго искусства переводчика, требовалъ еще соблюденія нѣкоторыхъ другихъ условій, не существовавшихъ для французскаго поэта.

Вообще переводы г. Курочкина кажутся для русскаго читателя хороши, сильны, свободны, если ихъ не сравнивать съ подлинникомъ. Но сравненіе, разумѣется, тотчасъ даетъ видѣть, какъ трудно еще современному русскому поэту возвыситься до той силы и свободы выраженія, какою обладаетъ Беранже. Вотъ, напримѣръ, куплетъ изъ пѣсни «Соловьи».

«Улетайте далеко, далеко
Отъ рабовъ, къ вашимъ пѣснямъ глухихъ,
Заковавшихся съ цѣлью жестокой,
Заковать въ тѣ же цѣпи другихъ.
Пусть поетъ гимны лести голодной
Хоръ корыстью измученныхъ слугъ...
Я, какъ вы, распѣваю свободно...
Соловьи, услаждайте мой слухъ»...

Повидимому, стихи эти очень сильно и очень ясно выражаютъ идею; но сравните съ ними тотъ же куплетъ по-французски, и вы увидите, что въ послѣднихъ четырехъ стихахъ допущена неопредѣленность, которой нѣтъ въ подлинникѣ.

Вотъ этотъ куплетъ по-французски:

«Vous qui redoutez l'esclavage,
Ah, refusez vos tendres airs
A ces nobles qui, d'âge en âge,
Pour en donner portent des fers.
Tandis qu'ils veillent en silence,
Debout, auprès du lit d'un roi,
C'est la liberté que j'encense:
Doux rossignols, chantez pour moi».

Подобное смягченіе находимъ въ нѣкоторыхъ стихахъ пьесы «Мое призваніе». Напримѣръ, стихи—

«Le char de l'opulence
L'éclabousse en passant;
J'éprouve l'insolence
Du riche et du puissant;
De leur morgue tranchante
Rien ne nous garantit»,

переведены у г. Курочкина слѣдующими стихами:

Мнѣ наглымъ блескомъ жжетъ
Глаза богачъ спесивый;
Гнететъ меня, гнететъ
Вельможа горделивый;

И злоба и порокъ
Кишатъ передо мною».

Въ первыхъ стихахъ является *наглый блескъ* вмѣсто *брызговъ грязи*; въ послѣднихъ поставлена безцвѣтная и даже тривіальная фраза, вмѣсто сильнаго и рѣзкаго выраженія «отъ ихъ наглой надменности ничего не ограждаетъ насъ».

Еще чувствительнѣе измѣненіе смысла въ переводѣ стиховъ—

«La liberté m'enchante,
Mais j'ai grand appétit»,

стихами—

«Въ оковахъ изнемогъ
Измученный, больной».

Здѣсь въ переводѣ нѣтъ даже тѣни подлинника, не сохранено даже ни малѣйшаго намека на мысль, заключающуюся во французскихъ стихахъ.

Нѣкоторые изъ переводовъ г. Курочкина представляютъ просто передѣлки Беранже, не всегда удачныя. Напримѣръ, въ стихотвореніи «Еслибъ я былъ птичкой!» есть у г. Курочкина слѣдующій куплетъ:

«Чуя въ воздухѣ страданья
И потоки слезъ,
Я бы на берегъ изгнанья
Мира вѣсть принесъ.
Царь Саулъ бы, въ звукахъ хора,
Духъ унынья и раздора
И свой гнѣвъ забылъ.
Я леталъ бы скоро — скоро,
Если бъ птичкой былъ».

Кто въ этомъ куплетѣ узнаетъ слѣдующіе стихи подлинника?

«Puis, voulant rendre sensible
Un roi, qui fuirait l'ennui,
Sur un olivier paisible
J'irais chanter près de lui.
Puis j'irais jusqu'où s'abrite
Quelque famille proscrite,
Porter de l'arbre un rameau.
Je volerais vite, vite, vite,
Si j'étais petit oiseau».

Въ этой же пьесѣ есть у Беранже стихи:

«Puis j'irais charmer l'ermite,
Qui, sans vendre l'eau bénite,
Donne au pauvre son manteau».

У г. Курочкина эти стихи измѣнены, не совсѣмъ удачно, такимъ образомъ:

«Гдѣ пустынникъ, въ чащѣ бора,
Не спуская съ неба взора,
Братьевъ не забылъ».

Въ нѣкоторыхъ пьесахъ г. Курочкинъ совершенно напрасно вставлялъ въ пьесу Беранже нѣкоторые руссизмы. Особенно неловко вышло это въ пьесѣ: «Кукольная комедія». Начинается эта пѣсня тѣмъ, что

«Шелъ нѣкогда корабль изъ Африки далекой;
На рынокъ негровъ везъ британецъ капитанъ».

Капитанъ этотъ вздумалъ забавлять негровъ маріонетками, и въ маріонеткахъ вдругъ является у г. Курочкина Петрушка, а потомъ

«Къ Петрушкѣ будочникъ откуда ни явись»...

Въ подлинникѣ, конечно, вмѣсто Петрушки polichinel, а вмѣсто будочника monsieur le commissaire. Вся пьеса у Беранже выдержана превосходно; г. Курочкинъ испортилъ ее своею передѣлкою. Просто перевести ее было бы гораздо лучше; особенно надобно замѣтить это о заключительныхъ стихахъ, съ которыми, несмотря на всѣ старанія, г. Курочкинъ никакъ не могъ справиться.

Иногда не совсѣмъ выдерживается въ переводѣ характеръ подлинника. Напримѣръ, всѣми замѣченный у насъ переводъ пьесы «Le sénateur» (у г. Курочкина «Добрый знакомый») испорченъ нѣсколькими неудачными отклоненіями и особенно концомъ. Въ подлинникѣ мужъ является до конца простодушнымъ, довѣрчивымъ человѣкомъ, и ни однимъ словомъ не выказываетъ, чтобъ у него въ душѣ были подозрѣнія. Въ переводѣ тонкія черты подлинника замѣнены болѣе крупными и отчасти грубоватыми, такъ что мужъ довольно ясно уже является низкимъ подлецомъ, завѣдомо продающимъ свою жену. Напр., въ подлинникѣ говорится: «если меня послѣ обѣда задержитъ дома дурная погода, онъ обязательно предлагаетъ мнѣ воспользоваться его экипажемъ». У г. Курочкина же графъ безцеремонно выживаетъ изъ дому мужа.

«А что за тонкость обращенья!
Пріѣдетъ вечеромъ, сидитъ...
«Что вы все дома, безъ движенья!
«Вамъ нужно воздухъ», — говоритъ.
Погода, графъ, весьма дурная...
«Да мы карету вамъ дадимъ».

Далѣе, въ подлинникѣ разсказывается: «Разъ вечеромъ онъ увезъ насъ къ себѣ въ деревню. Тамъ онъ запоилъ меня шампанскимъ, такъ что ужъ Розѣ пришлось спать одной... Но мнѣ отвели, божусь, лучшую постель во всемъ домѣ». Исторію эту у г. Курочкина мужъ разсказываетъ съ краткостью, нѣсколько подозрительною:

«Жена уснула въ спальнѣ дамской,
Я — въ лучшей комнатѣ мужской»...

Такое же впечатлѣніе производятъ въ слѣдующемъ куплетѣ стихи перевода:

«Крестить назвался непремѣнно,
Когда Господь мнѣ сына далъ».

Въ подлинникѣ не онъ назвался, а самъ отецъ его позвалъ въ крестные отцы.

Но всего хуже конецъ. Въ подлинникѣ онъ имѣетъ такой видъ: «я съ нимъ за панибрата и шучу съ нимъ очень смѣло. Разъ я до того расшутился, что сказалъ ему за дессертомъ: «а вѣдь знаете что,—я увѣренъ, что многіе думаютъ, будто вы мнѣ рога приставляете». Шутка эта окончательно рисуетъ передъ нами этого добродушнаго и слѣпого мужа. Что же сдѣлалъ изъ нея г. Курочкинъ? Вотъ какъ перевелъ онъ послѣдній куплетъ:

«А какъ онъ милъ, когда онъ въ духѣ!
Вѣдь я за рюмкою вина
Хватилъ однажды: «ходятъ слухи,
Что будто. графъ... моя жена...
Графъ, говорю, пріобрѣтая...
Трудясь... я долженъ быть слѣпымъ»...
Да ослѣпитъ и честь такая!
Вѣдь я червякъ въ сравненьи съ нимъ».

Очевидно, что здѣсь мужъ является уже не тѣмъ, чѣмъ онъ представляется у Беранже, и измѣненіе, по нашему мнѣнію, сдѣлано не въ пользу перевода. Русскіе читатели могутъ убѣдиться въ этомъ даже сравненіемъ перевода г. Курочкина съ переводомъ г. Д. Ленскаго.

Впрочемъ, мы должны замѣтить, что такія уклоненія отъ существеннаго смысла подлинника г. Курочкинъ позволяетъ себѣ довольно рѣдко. Большею частію переводы его вѣрно воспроизводятъ то общее впечатлѣніе, какое оставляется въ читателѣ пьесою Беранже. Есть у г. Курочкина нѣсколько пьесъ, переведенныхъ необыкновенно удачно; даже рефрены очень хорошо удаются ему. Довольно указать на извѣстную всѣмъ пьесу «Какъ яблочко румянъ», чтобы дать понятіе о той ловкости и легкости стиха, какою владѣетъ г. Курочкинъ. Какъ переводчикъ Беранже, г. Курочкинъ пріобрѣлъ уже извѣстность въ публикѣ, и извѣстность эта вполнѣ заслужена. Если онъ и не возвышается иногда до силы и граціи беранжеровскаго стиха, то это отчасти неизбѣжно во всякомъ переводѣ, а отчасти даже могло и не зависѣть прямо отъ таланта переводчика, а быть слѣдствіемъ другихъ условій, въ которыхъ онъ вовсе не виноватъ. Во всякомъ случаѣ, не говоря уже о томъ, что г. Курочкинъ лучшій у насъ переводчикъ Беранже, надобно сказать, что переводы его принадлежатъ къ числу лучшихъ поэтическихъ переводовъ, существующихъ въ русской литературѣ.

Уголовное дѣло. Комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ. Спб. 1858.

Бѣдный чиновникъ. Сцены изъ жизни чиновника. Соч. *К. С. Дьяконова*. Спб 1858.

«Въ настоящее время, когда въ нашемъ отечествѣ поднято столько важныхъ вопросовъ. когда на служеніе общественному благу вызываются всѣ живыя силы народа, когда все въ Россіи стремится къ свѣту и гласности,—въ настоящее время истинный патріотъ не можетъ видѣть безъ радостнаго трепета сердца и безъ благодарныхъ слезъ въ очахъ, блистающихъ святымъ пламенемъ высокой любви къ отечеству, — не можетъ истинный патріотъ и ревнитель общаго блага видѣть равнодушно высокоблагородныя исчадія гражданъ-литераторовъ, съ пламенникомъ обличенія шествующихъ въ мрачные углы и на грязныя лѣстницы низшихъ судебныхъ инстанцій и сырыхъ квартиръ мелкихъ чиновниковъ, съ чистою, святою и плодотворною цѣлію — словомъ энергическаго и правдиваго обличенія пробить грубую кору невѣжества и корысти, покрывающую въ нашемъ отечествѣ жрецовъ правосудія, служащихъ въ низшихъ судебныхъ инстанціяхъ, освѣтить грознымъ факеломъ сатиры темныя дѣянія волостныхъ писарей, будочниковъ, становыхъ, магистратскихъ секретарей и даже иногда отставныхъ столоначальниковъ палаты, пробудить въ сихъ очерствѣвшихъ и ожесточенныхъ въ заблужденіи, но тѣмъ не менѣе не вполнѣ утратившихъ свою человѣческую природу; существахъ горестное сознаніе своихъ пороковъ и слезное въ нихъ раскаяніе, чтобы такимъ образомъ содѣйствовать общему великому дѣлу народнаго преуспѣянія, совершающагося столь видимо и быстро во всѣхъ концахъ нашего обширнаго отечества, нашей родной Руси, которая, по глубоко-знаменательному и прекрасному выраженію нашей лѣтописи, этого превосходнаго литературнаго памятника, изслѣдованнаго г. Сухомлиновымъ,—велика и обильна, и чтобы доказать, что и молодая литература наша, этотъ великій двигатель общественнаго развитія, не остается праздною зрительницею народнаго движенія въ настоящее время, когда всѣ живыя силы народа вызваны на служеніе общественному благу, когда все въ Россіи неудержимо стремится къ свѣту и гласности».

Таково начало критической статьи, недавно присланной намъ по поводу двухъ, названныхъ нами, комедій. Нѣкоторымъ изъ читателей, наиболѣе взыскательнымъ, можетъ быть покажется, что начало это нѣсколько длинно. Мы этого не находимъ: продолженіе несравненно длиннѣе, но мы не безъ душевнаго удовольствія прочитали его. Не смѣемъ представить нашимъ читателямъ всей

статьи, ибо мы не увѣрены, что она нигдѣ не была напечатана (намъ все кажется, что мы не такъ давно читали ее, и даже ни одинъ разъ, въ какомъ-нибудь изъ лучшихъ нашихъ журналовъ; по крайней мѣрѣ, начало ея намъ очень знакомо). Но не можемъ удержаться, чтобы не разсказать вкратцѣ ея содержаніе. Статья состоитъ изъ трехъ отдѣловъ и заключенія. Вслѣдъ за великолѣпнымъ, достойнымъ самого Ломоносова, періодомъ, приведеннымъ нами, слѣдуетъ первый отдѣлъ, объясняющій, что истинный патріотъ не можетъ безъ благодарнаго трепета сердечнаго видѣть плодотворныя произведенія писателей-обличителей, содѣйствующихъ дѣлу общественнаго преуспѣянія. Далѣе, во второмъ отдѣлѣ, говорится, что литература благородно ведетъ себя въ настоящее время, когда въ нашемъ отечествѣ возбуждено такъ много общественныхъ вопросовъ, когда всѣ живыя силы государства вызываются на служеніе общему благу, и все стремится къ правдѣ и свѣту. Въ третьемъ отдѣлѣ авторъ утверждаетъ, что не можетъ истинный патріотъ взирать безъ умиленія на исчадія истинныхъ гражданъ-литераторовъ, разоблачающихъ ложь и преслѣдующихъ неправду съ пламенникомъ обличенія. Въ заключеніи развивается весьма новая и смѣлая мысль, что нельзя не признать высокаго значенія въ трудахъ писателей, содѣйствующихъ общему преуспѣянію въ настоящее время, когда въ нашемъ отечествѣ поднято такъ много общественныхъ вопросовъ, когда вызваны къ плодотворной дѣятельности всѣ живыя силы народа, и все стремится къ правдѣ, гласности, свѣту и преуспѣянію.

Статейка намъ очень понравилась. Она написана бойко, горячо, благородно. Видно, что авторъ хорошо изучилъ предметъ, о которомъ говоритъ; видно также, что онъ одушевленъ истиннымъ желаніемъ общаго блага. Мы непремѣнно бы ее напечатали, несмотря на длинноту (она составила бы страницъ 250), если бъ не проклятая увѣренность, что мы гдѣ-то уже читали ее въ русскихъ журналахъ или газетахъ.

Впрочемъ, надо замѣтить, что статейка еще не кончена, и въ ней ни слова не говорится о комедіяхъ, по поводу которыхъ она написана. Надобно полагать, что во второй половинѣ статьи авторъ приложитъ къ этимъ произведеніямъ общія воззрѣнія, высказанныя имъ съ такимъ жаромъ и краснорѣчіемъ въ первой половинѣ. Безъ сомнѣнія, конецъ будетъ соотвѣтствовать началу по изяществу слога и свѣжести мысли. Какъ только получимъ мы вторую половину этой замѣчательной критики, то не замедлимъ подѣлиться ею съ нашими читателями. Теперь же ограничимся пока нѣсколькими бѣглыми замѣтками о названныхъ нами комедіяхъ, сознаваясь заранѣе, что наши собственныя мысли должны показаться слишкомъ блѣдными и прозаическими предъ тѣми изящными и высокими воззрѣніями, которыя мы сейчасъ представляли читателямъ изъ статьи неизвѣстнаго автора.

По нашему личному мнѣнію, лучшее употребленіе, какое можно

бы сдѣлать изъ этихъ комедій, относится къ области нѣсколько спеціальной, а именно: взяточники и всякіе герои, оскорбленные г. Щедринымъ, могли бы воспользоваться этими комедіями, какъ превосходнымъ орудіемъ мщенія своему обличителю. Дѣло это могло бы весьма просто совершиться слѣдующимъ образомъ. Взяточники и всякіе герои могли бы сочинить прошеніе къ Аполлону о томъ, чтобы онъ обязалъ г. Щедрина подпискою: прочитать «Уголовное дѣло» и «Бѣднаго чиновника». Аполлонъ, конечно, не согласился бы сначала на столь крутую мѣру; но ему можно было бы поставить на видъ, что г. Щедринъ долженъ быть признанъ, такъ сказать, первымъ виновникомъ появленія въ свѣтъ «Уголовнаго дѣла» и «Бѣднаго чиновника», ибо первый подалъ поводъ къ сочиненію подобныхъ благонамѣренностей. Тогда добродушный Аполлонъ согласился бы, и посмотрѣли бы мы, кто изъ даровитыхъ писателей рѣшился бы, послѣ такого опыта, на писаніе благонамѣренныхъ произведеній!...

Но увы! г. Щедринъ знать не хочетъ о плачевныхъ послѣдствіяхъ своей блестящей литературной дѣятельности, и за все про все должны расплачиваться мы!... Гдѣ жъ тутъ справедливость! А дѣлать нечего, надобно читать.

Да, мы прочитали «Уголовное дѣло» и «Бѣднаго чиновника». Мы прочитали ихъ, заинтересованные въ ихъ пользу великолѣпною критическою статьею, выпискою изъ которой начали мы свою рецензію. Мы всегда причисляли себя къ числу истинныхъ патріотовъ и потому полагали, что слезы умиленія непремѣнно появятся въ глазахъ нашихъ при чтеніи сихъ комедій, одушевленныхъ идеями истинно благородными. Но, къ несчастію, наши ожиданія не сбылись. Съ такою мрачною, глухою, непроницаемою бездарностью, какою пресыщены обѣ комедіи, мы не желаемъ вамъ встрѣчаться, читатель, никогда въ вашей жизни. Если бы на мнѣ не лежала въ нѣкоторомъ родѣ священная обязанность «вамъ сказать, чего не надобно читать», то увѣряю васъ,—пусть бы сама философія, сама мудрость, сама добродѣтель воплотилась въ героевъ «Уголовнаго дѣла» или «Бѣднаго чиновника», заговорила ихъ языкомъ и приняла ихъ ужимки, я бы бѣжалъ, бѣжалъ, позорно бѣжалъ, и отъ мудрости и отъ добродѣтели. Богъ съ ними! Лучше весь вѣкъ прожить безъ мудрости и добродѣтели, не зная ни «Дѣла», ни «Чиновника», нежели преисполниться добродѣтелью и мудростью изъ этихъ комедій. Не будь у меня знакомства съ мудростью, добродѣтелью и «Бѣднымъ чиновникомъ», и услышь я разсказъ о выгнанномъ изъ службы 40-лѣтнемъ титулярномъ совѣтникѣ, которому предлагаютъ жениться на прелестной дѣвушкѣ, съ условіемъ получить за ней 30 тысячъ и потомъ оставить ее въ покоѣ,—выслушавъ этотъ разсказъ, я нисколько не удивился бы, не пришелъ въ бѣшеное волненіе, а просто сказалъ бы: «не по чину, братъ, берешь»... Тѣмъ бы дѣло и кончилось. Но я прочиталъ «Бѣднаго чиновника», котораго все содержаніе именно въ такомъ

казусѣ и состоитъ, я пропитался правилами мудрости и добродѣтели и долженъ выслушать отъ г. Синицына, бѣднаго чиновника, титулярнаго совѣтника, нѣсколько тирадъ, подобныхъ, напр., слѣдующей.

«Нѣтъ, господа, это ужъ слишкомъ; такъ шутить съ человѣкомъ — безчестно!... Неужели вы не придумали ничего лучшаго? неужели въ васъ нѣтъ ни капли состраданія? О! клянусь вамъ, я не заслуживаю подобнаго униженія. Вы не знаете, какъ больно это слышать тому, кто старался только о пользѣ общей и ни въ чемъ не запятналъ свою честь! Тридцать тысячъ! въ моемъ положеніи, какое ужасное обольщеніе! Вы хотѣли этимъ прельстить мое самолюбіе, вы думали, что бѣдный чиновникъ согласится на всякое постыдное предложеніе — для пріобрѣтенія денегъ? Какъ жестоко вы ошиблись! Вы забыли, господа, что честь для меня дороже всего на свѣтѣ. Я готовъ перенести всю пытку нищеты, всѣ несчастія, которыми надѣлятъ насъ судьба; но согласиться на подобное дѣло — никогда! У меня нѣтъ никакихъ надеждъ облегчить свое положеніе и я долженъ въ потѣ лица добывать себѣ хлѣбъ; но я знаю, что трудовая копѣйка дороже мнѣ этихъ тысячъ, что съ ней я проживу спокойно, безъ угрызеній совѣсти и не буду краснѣть за себя... Я отказываюсь отъ нихъ, мнѣ ничего не надо... у меня останется честь, а она дороже всѣхъ сокровищъ въ мірѣ».

Какія прекрасныя, нравственныя мысли! восклицаю я, напоенный правилами мудрости и добродѣтели. Но не скрою: мнѣ скучно, тошно, сонъ меня клонитъ, глаза слипаются, и я радъ, когда, послѣ всѣхъ этихъ разглагольствій, г. Синицынъ говоритъ, наконецъ, на послѣдней страницѣ: «женюсь»! Слѣдовало бы зарыдать надъ этимъ роковымъ «женюсь». Я это очень хорошо понимаю; но тѣмъ не менѣе я радъ... что же прикажете дѣлать? Я ужъ сказалъ, что отъ всякой мудрости и добродѣтели отступишься, только бы отдѣлаться отъ «Бѣднаго чиновника».

Такое же впечатлѣніе производится «Уголовнымъ дѣломъ»: совершенно всякій куражъ отнимается. Дѣло это, видите, поднято частнымъ приставомъ, въ отсутствіе городничаго, о томъ, что одинъ купеческій сынъ изувѣчилъ маркера, остригши ему волосы и бороду, которые тотъ проигралъ ему на бильярдѣ. Съ купца, разумѣется, частный взялъ взятку, а городничій пріѣхалъ — захотѣлъ другую, и затянули дѣло на четыре мѣсяца; исписали бумаги цѣлую гору, а когда пришло къ рѣшенію, оказалось, что у маркера волосы совсѣмъ уже отросли и хлопотать не о чемъ. Частный не хочетъ угомониться и говоритъ: «какъ, помилуйте, вѣдь маркеръ все-таки былъ обиженъ»? Но городничій возражаетъ: «былъ да сплылъ; а при этомъ случаѣ я тебя узналъ, молодецъ; и хоть я-то опростоволосился, а ужъ завтра же тебя спущу долой». «За что же», вопрошаетъ частный. «Такъ, за волосы», отвѣчаетъ городничій. Остроуміе, видите, одолѣло всѣхъ въ «Уголовномъ дѣлѣ». «Ты что мелешь? аль съ похмѣлья»?—«А все съ головы началось, стало быть, чисто уголовное». Это остроты частнаго. «Вышла драка, цырюльникъ оплошалъ, и не онъ, а ему пустили кровь»,—острота будочника. «Ужъ ты мнѣ все съ твоими матеріями: сама ты сухая матерія»,—острота городничаго. «Вотъ оно (дѣло о маркерѣ Гаврилѣ);

ухъ какъ выросло, руки такъ и обломило; каково же должно быть бѣдному Гаврилѣ его нести»! Это ужъ острится секретарь полиціи. Словомъ—всѣ прикосновенные къ дѣлу, наипаче же служащіе въ полиціи, остряки безпардонные. Купецъ же Бровкинъ приправляетъ свою рѣчь сентенціями, съ прибавкою: «какъ у казака Луганскаго сказано». Поострить, впрочемъ, и онъ не упускаетъ случая, и даже въ этомъ отношеніи можетъ поравняться съ будочникомъ, хотя и далеко отстаетъ отъ частнаго съ городничимъ.

Человѣкъ съ крѣпкими нервами можетъ вынести всѣ эти полицейскія остроты и остаться въ добромъ здоровьи. Но ежели «Уголовное дѣло» попадется, по несчастью, въ руки человѣку слабонервному и имѣющему чувствительное сердце, то бѣда, просто! Ему не остается ничего болѣе, какъ заливаться, при чтеніи этой комедіи, горькими слезами, думая: Господи Боже мой! Неужели правила мудрости и гражданской доблести должны въ нашемъ отечествѣ пропагандироваться съ помощію подобныхъ остротъ и съ такимъ ущербомъ для здраваго смысла!?

1859.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ МЕЛОЧИ ПРОШЛАГО ГОДА.

I.

Притворной нѣжности не требуй отъ меня.
Баратынскій.

«Опять за мелочи!... И вѣрно опять съ какой-нибудь покостной цѣлью»!—воскликнетъ солидный читатель, увидавъ заглавіе нашей статьи, — и съ сердцемъ перекинетъ нѣсколько страницъ, чтобы добраться до чего-нибудь болѣе грандіознаго...

Остановитесь, читатель: ваши поиски будутъ напрасны. «Современникъ» давно уже не имѣетъ никакой грандіозности, къ великому прискорбію многихъ суровыхъ аристарховъ литературы. Нѣсколько разъ уже, съ нѣкоторой печальной торжественностью. но не безъ тайнаго злорадства, объявляли они, что «Современникъ» ниспалъ съ пьедестала, на которомъ будто бы стоялъ прежде, что онъ потерялъ благородное благоговѣніе къ наукѣ, зоветъ прекрасное мечтою, презираетъ вдохновенье, не вѣритъ любви, свободѣ, на жизнь насмѣшливо глядитъ, словомъ—не имѣетъ никакихъ убѣжденій и способенъ только къ глумленію. Тѣми или другими словами, съ бо́льшимъ или меньшимъ прикрытіемъ и приличіемъ, все это много разъ было напечатано, по поводу разныхъ статей «Современника», преимущественно критическихъ. Мы считали излишнимъ и неудобнымъ оправдываться отъ всѣхъ частныхъ обвиненій противъ насъ, потому что они обыкновенно имѣли слѣдующій видъ: нѣкій господинъ пишетъ посредственную книжку, статейку или стишки о ничтожномъ предметѣ; мы говоримъ, что книжка или статейка посредственна, а предметъ ничтоженъ; авторъ статейки, или его друзья, или поклонники и единомышленники, — возстаютъ на насъ, провозглашая, что статейка прево-

сходна, а предметъ—грандіозенъ, «Современникъ» же оттого сдѣлалъ неблагопріятный или холодный отзывъ,—

«Что онъ не вѣдаетъ святыни,
Что онъ не помнитъ благостыни,
Что онъ не любитъ ничего,
Что кровь готовъ онъ лить, какъ воду,
Что презираетъ онъ свободу,
Что нѣтъ отчизны для него»...

Опровергать подобныя нападенія значило бы опять повторять господину, сочинившему посредственную статейку о ничтожномъ предметѣ, — что статейка его посредственна, а предметъ ничтоженъ, и что тѣмъ болѣе онъ заслуживаетъ порицанія и насмѣшекъ, чѣмъ выше возноситъ чело свое, озаренное мелкими думами о ничтожномъ предметѣ. Но кто полагаетъ, что повторенія вещей столь назидательныхъ могутъ быть веселы и легки, тотъ жестоко ошибается: ничего скучнѣе ихъ не можетъ быть для человѣка, у котораго есть хоть двѣ мысли въ головѣ, и потому люди, поставленныя обстоятельствами въ необходимость продалбливать безпрестанно такія повторенія, достойны искренняго сожалѣнія всякаго благомыслящаго человѣка. И тѣмъ болѣе слѣдуетъ пожалѣть ихъ, что всѣ ихъ тягостные труды обыкновенно оказываются напрасными. Вѣдь ни одного господина нельзя увѣрить, что надъ нимъ смѣются не потому, чтобъ ужъ въ самомъ дѣлѣ «*ничего* во всей природѣ благословить не хотѣли», а просто потому, что *его-то* благословлять не за что, *онъ-то* смѣшонъ съ своими заносчивыми возгласами о разныхъ ничтожностяхъ. Нѣтъ, каждый изъ подобныхъ господъ готовъ жизнію пожертвовать за сохраненіе величія того, что ему кажется великимъ, и ничѣмъ не убѣдится въ своей мелочности. Всѣ они подобны мышамъ на кораблѣ, открывшимъ страшную течь и пророчившимъ гибель всему кораблю. «Помилуйте, страшная течь, — вода мнѣ до самаго рыла дошла», увѣряетъ всѣхъ подругъ своихъ крыса, пользующаяся авторитетомъ, и партія мышей рѣшается заблаговременно спасаться вплавь и бросается въ море, чтобы показать свой героизмъ и дальновидную предусмотрительность... Туда имъ и дорога, конечно.

Исторія дальновидныхъ мышей нѣсколько разъ повторялась въ русской литературѣ, только въ обратную сторону. Наши писатели никогда не доходили до того, чтобы броситься въ море, проповѣдуя гибель кораблю (на то они люди, а не мыши); совершенно напротивъ: во время опаснаго плаванія въ открытомъ морѣ, они, увидавъ на волнахъ щепочку, брошенную съ ихъ корабля, не разъ подымали радостный вопль, что берегъ близко... Кто раньше подымалъ этотъ крикъ, тотъ и привлекалъ къ себѣ общее благодарное вниманіе; кто прибавлялъ тутъ же полезные совѣты, какъ избавиться прибрежныхъ мелей и подводныхъ камней, на того смотрѣли съ благоговѣніемъ; а кто наставлялъ плавателей, какъ имъ воспользоваться всѣмъ, что найдутъ на предполагаемомъ берегу,

тотъ мгновенно пріобрѣталъ себѣ титло генія и великаго человѣка.

На нашу долю ни разу, кажется, не выпало подобнаго удовольствія и чести, и вслѣдствіе того мы подверглись многимъ нареканіямъ... Въ самомъ дѣлѣ, для многихъ долженъ былъ показаться страннымъ холодный и насмѣшливый тонъ, обращенный на тѣ предметы, которые въ большинствѣ возбуждаютъ неистовый восторгъ и благоговѣйное поклоненіе. Уже нѣсколько лѣтъ всѣ наши журналы и газеты трубятъ, что мгновенно, какъ бы по манію волшебства, Россія вскочила со сна и во всю мочь побѣжала по дорогѣ прогресса, такъ что ее теперь даже съ собаками не догонишь... Нѣсколько лѣтъ уже каждая статейка, претендующая на современное значеніе, непремѣнно начинается у насъ словами: «*въ настоящее время, когда поднято столько общественныхъ вопросовъ*», и т. д., слѣдуетъ изложеніе вопросовъ. Нѣсколько лѣтъ уже русская литература льстила обществу, увѣряя, что въ немъ теперь пробудилось самосознаніе, раскаяніе въ своихъ порокахъ, стремленіе къ совершенствованію; а русское общество похваливало литературу за то, что она такъ старается вызолотить горькія пилюли, которыя, наконецъ, заставила его принимать прошедшая его жизнь. Лесть и самообольщеніе — таковы были главныя качества *современности* въ литературныхъ явленіяхъ послѣдняго времени. Странно сказать это о литературѣ въ то время, когда она изъ кожи лѣзла, по собственному признанію, *преслѣдуя* и *обличая*, *карая и вырывая съ корнемъ* всякое зло и непотребство на землѣ русской. Но всмотритесь пристальнѣе въ характеръ этихъ обличеній,— вы безъ особеннаго труда замѣтите въ нихъ нѣжность неслыханную, доходящую до приторности, равняющуюся развѣ только нѣжности, обнаруженной во взаимныхъ отношеніяхъ тѣхъ достойныхъ друзей, одинъ изъ которыхъ у Гоголя мечтаетъ о томъ, какъ «высшее начальство, узнавъ объ ихъ дружбѣ, пожаловало ихъ генералами». «Конечно, это плохо, это гадко, безумно, отвратительно», — говорятъ всѣ обличители, не скупясь на сильные эпитеты,—и вы думаете: вотъ молодцы-то, вотъ энергическіе-то дѣятели!... Погодите немножко: это въ нихъ говоритъ Собакевичъ; но Маниловъ не замедлитъ вступить въ свои права, и у нихъ тотчасъ явится и мостикъ черезъ рѣчку, и огромнѣйшій домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что оттуда можно видѣть даже Москву.

— Конечно, чиновники берутъ взятки, но вѣдь это единственно отъ недостаточности жалованья; прибавьте жалованья, и взятокъ не будетъ въ Россіи... Невозможно же допустить предположеніе, чтобы взятки брали и тѣ чиновники, которые, по своему чину и мѣсту служенія, получаютъ хорошіе оклады. Нѣтъ, какъ можно: вся язва взяточничества ограничивается чиновниками низшихъ судебныхъ инстанцій, получающими ничтожное жалованье.

— Просвѣщеніе плохо подвигается,—правда. Но вѣдь вся бѣда въ томъ только, что въ гимназіяхъ учителя и учебники плохи.

знакомый позорилъ историка русской цивилизаціи. Мы сдѣлали какое-то замѣчаніе, направленное къ тому, чтобы удержать нѣсколько его порывы. Но онъ возразилъ намъ,—какъ бы вы думали?—слѣдующимъ образомъ: «нѣтъ, ужъ вы г. Жеребцова не защищайте (а мы и не думали защищать). Нѣтъ, такъ писать нельзя... Это не годится... Нѣтъ, какъ же это можно? Помилуйте, что же это будетъ? Онъ говоритъ, что Батый проходилъ черезъ Калугу, тогда какъ Калуга дѣлается извѣстною въ нашей исторіи только съ 1389 г. На что же это похоже? Ну, скажи бы онъ, что Батый проходилъ черезъ Калужскую губернію, черезъ тѣ мѣста, гдѣ нынѣ Калуга, это было бы другое дѣло. А то вдругъ Калугу выдумалъ за полтораста лѣтъ до ея существованія. Это совершенно напоминаетъ того городничаго, который велѣлъ пожарной командѣ быть всегда на мѣстѣ пожара за полчаса до появленія пламени... Ха-ха .. Но безъ всякихъ шутокъ, — видно, что г. Жеребцовъ писалъ, не справляясь съ Карамзинымъ, потому что въ Исторіи Карамзина есть свѣдѣнія о Калугѣ. Это и повредило всему дѣлу. А загляни г. Жеребцовъ въ Карамзина, онъ, разумѣется, при своей любви къ родинѣ, при своихъ обширныхъ знаніяхъ и при своемъ свѣтломъ взглядѣ, могъ бы написать отличную вещь».

Почти всѣ наши обличители заканчиваютъ свои суровыя рѣчи подобнымъ образомъ. Но это еще зло не такъ большой руки въ сравненіи съ тѣмъ, что говорится многими, и самими обличителями въ томъ числѣ, во славу нашего времени, нашего общества, нашихъ успѣховъ на всевозможныхъ поприщахъ. Тутъ ужъ идетъ совершеннѣйшая маниловщина.

Кто-нибудь напишетъ въ повѣсти: «меня обокрали неизвѣстные люди», — сейчасъ поднимаются крики о томъ, что у насъ процвѣтаетъ гласность.

Сдѣлаютъ ученое открытіе, что отъ увеличенія налога на соль она не подешевѣетъ: начинаютъ съ благоговѣніемъ повторять, что наука идетъ у насъ впередъ исполинскими шагами.

Сказалъ кто-то новую мысль, что жидъ — человѣкъ, а не скотина, и ничто человѣческое ему не чуждо: тотчасъ въ трубы трубить начали, что у насъ гуманность на высшей степени развитія (исключая только нѣкоторыя презрѣнныя личности).

Напишетъ кто-нибудь, что дурно дѣлали наши мелкіе чиновники, когда взятки брали: мгновенно поднимается оглушительный вопль, что у насъ общественное сознаніе пробудилось.

Явится статейка, доказывающая, что не слѣдуетъ заставлять людей совершенно даромъ на насъ работать, а нужно только стараться нанять ихъ какъ можно дешевле: всѣ въ восхищеніи и кричатъ, что общечеловѣческія начала у насъ превосходно выработались.

И не довольствуясь тѣмъ, что мы теперь такъ хороши, наши Маниловы начинаютъ торжественно разсуждать о томъ, какъ хороши мы были и прежде (т. е. не въ недавнее время, а въ древ-

ности, *въ прежнее прежде*), и о томъ, какая великая будущность насъ всегда ожидала и ожидаетъ. Одни дѣлаютъ это простодушно, въ полномъ сознаніи, что о великой будущности именно и кстати потолковать по тому случаю, что мы понимаемъ теперь вредъ взяточничества, крѣпостного права, и т. п. Другіе же поддакиваютъ этому, вовсе не по простодушію, а по тому же самому чувству, по которому Чичиковъ поддакивалъ Манилову. Немудрено, что въ нашей литературѣ безпрестанно повторяется знаменитая сцена, въ которой Маниловъ представляетъ Чичикову дѣтей своихъ. «Какой, душенька, у насъ самый лучшій городъ»?—Петербургъ.—«А другой»?—Москва.—Литературные Маниловы и Чичиковы приходятъ въ восхищеніе. «У этого ребенка будутъ замѣчательныя способности»,—провозглашаетъ Чичиковъ.—«О, вы еще не знаете его,—восклицаетъ Маниловъ:—у него чрезвычайно много остроумія: чуть замѣтитъ какую-нибудь букашку, козявку, сейчасъ побѣжитъ за ней слѣдомъ и тотчасъ обратитъ вниманіе»... Я его прочу по дипломатической части,—заключаетъ литературный Маниловъ, любуясь великими способностями русскаго человѣка и не замѣчая, что съ нимъ еще надо безпрестанно дѣлать то же, что произвелъ лакей съ Ѳемистоклюсомъ Маниловымъ, въ то самое мгновеніе, какъ отецъ спрашивалъ мальчика, — хочетъ ли онъ быть посланникомъ?

Смотрѣть на подобныхъ господъ серьезно—значитъ оскорблять собственный здравый смыслъ. Но, тѣмъ не менѣе, они могутъ еще ввести въ заблужденіе неопытныхъ юношей, если не восторженностью своихъ похвалъ, то рѣшительностью и рѣзкостью своихъ порицаній, хотя въ сущности очень неопредѣленныхъ и ни на что прямо не направленныхъ. Поэтому-то и нельзя ихъ оставлять уже вовсе безъ вниманія; нельзя отъ нихъ отходить молча, смѣривши ихъ только обидно-презрительнымъ взглядомъ. Приходится по необходимости толковать съ ними, и иногда довольно пространно, при чемъ, разумѣется, самому становится и досадно, и смѣшно, и даже по большей части — болѣе смѣшно, нежели досадно. Такое расположеніе духа само собою отражается, конечно, и въ томъ тонѣ, какимъ говоримъ мы о многихъ предметахъ, возбуждающихъ въ другихъ людяхъ самыя возвышенныя чувствованія...

«Но что же это за странный разладъ въ людяхъ, которые, повидимому, сходятся между собою какъ нельзя болѣе въ общихъ стремленіяхъ? Вы хотите правды и права, и въ этомъ не расходится съ вами никто изъ людей, имѣющихъ честное имя въ литературѣ. Вы отвращаетесь зла и тьмы, и въ этомъ отвращеніи никто изъ благонамѣренныхъ литераторовъ, конечно, вамъ не уступитъ. Зачѣмъ же смѣяться надъ тѣми, въ чьей благонамѣренности и благородствѣ вы не сомнѣваетесь? Зачѣмъ выставлять въ смѣшномъ видѣ то, что можетъ, хотя сколько-нибудь, способствовать достиженію тѣхъ-же цѣлей, къ которымъ вы сами стремитесь? Не значитъ ли это вредить великому дѣлу народнаго образованія и

развитія, которому служитъ литература? Не будетъ ли униженіемъ для всей литературы, если вы станете называть вздоромъ и мелочью то, чѣмъ дорожатъ и восхищаются многіе изъ почтенныхъ и умныхъ ея дѣятелей»?

На всѣ эти вопросы мы должны дать отвѣтъ, по возможности, серьезный и опредѣлительный. Соблюсти нѣкоторую серьезность побуждаетъ насъ не самый предметъ (которому очень мало нужды до того, какимъ тономъ говорятъ о немъ), а благодарное уваженіе къ прошедшимъ заслугамъ именно тѣхъ лицъ, которыя нынѣ такимъ комическимъ образомъ умѣютъ тратить столько благороднаго жара на всякія мелочи. Если вы идете по грязному переулку съ своимъ пріятелемъ, не смотря себѣ подъ ноги, и вдругъ пріятель предупреждаетъ васъ: «берегитесь, здѣсь лужа»; если вы спасаетесь его предостереженіемъ отъ непріятнаго погруженія въ грязь и потомъ цѣлую недѣлю,—куда ни придете,—слышите восторженные разсказы вашего пріятеля о томъ, какъ онъ спасъ васъ отъ потопленія: то, конечно, вамъ забавенъ паѳосъ пріятеля и умиленіе его слушателей; но все же чувство благодарности удерживаетъ васъ отъ саркастическихъ выходокъ противъ восторженнаго спасителя вашего, и вы ограничиваетесь легкимъ смѣхомъ, котораго не можете удержать, а потомъ стараетесь (если есть возможность) серьезно уговорить пріятеля—не компрометировать себя излишнею восторженностью... Такъ и мы поступимъ въ настоящемъ случаѣ.

Мы никогда не осмѣлились бы поставить свои личныя убѣжденія выше мнѣній почтенныхъ особъ, пользующихся издавна авторитетомъ, если бы мы считали свои убѣжденія только собственной, личной нашей принадлежностью. Не говоря о скромности и недовѣрчивости къ себѣ (служащихъ, какъ извѣстно, украшеніемъ юности и не мѣшающихъ ни въ какомъ возрастѣ),—въ насъ достало бы столько благоразумія, чтобъ не проповѣдывать въ пустынѣ собственныя фантазіи, и столько добросовѣстности, чтобы не ломаться предъ публикою въ надеждѣ привлечь ея вниманіе своей эксцентричностью. Нѣтъ, мы говорили и говоримъ, не обращая вниманія на старые авторитеты, потому единственно, что считаемъ свои мнѣнія отголоскомъ того живого слова, которое ясно и твердо произносится молодою жизнью нашего общества. Можетъ быть, мы ошибаемся, считая себя способными къ правильному истолкованію живыхъ, свѣжихъ стремленій русской жизни; время рѣшитъ это. Но, во всякомъ случаѣ, мы не ошибемся, ежели скажемъ, что стремленія молодыхъ и живыхъ людей русскаго общества гораздо выше того, чѣмъ обольщалась въ послѣднее время наша литература. Мы рѣшаемся изложить нашу мысль нѣсколько подробнѣе и опредѣленнѣе (сколько это возможно, разумѣется, безъ нарушенія должнаго почтенія къ литературнымъ и другимъ авторитетамъ).

Нѣсколько разъ уже приходилось намъ говорить объ отношеніи литературы къ дѣйствительности. Мы постоянно выражали

убѣжденіе, что литература служитъ отраженіемъ жизни, а не жизнь слагается по литературнымъ программамъ. Никогда и нигдѣ литературные дѣятели не сходили съ эѳирныхъ пространствъ и не приносили съ собою новыхъ началъ, независимыхъ отъ дѣйствительной жизни; все, что произвелъ когда-либо человѣческій умъ, все это дано опытомъ жизни. Литература постоянно отражаетъ тѣ идеи, которыя бродятъ въ обществѣ, и большій или меньшій успѣхъ писателя можетъ служить мѣркою того, насколько онъ умѣлъ въ себѣ выразить общественные интересы и стремленія. Разсуждая такимъ образомъ, мы должны были бы безусловно преклониться предъ недавними успѣхами нашей литературы и признать, что она представляетъ самое вѣрное и совершенное отраженіе всѣхъ интересовъ русской жизни. Послѣ такого признанія не могло бы уже быть и рѣчи о мелочности литературы. Но, серьезно оцѣнивши этотъ успѣхъ, мы пришли къ заключенію, что онъ былъ весьма незначителенъ и представлялъ чрезвычайно обманчивое зрѣлище. Чтобы оцѣнить значеніе того, что называютъ успѣхомъ въ литературѣ, надо непремѣнно разсмотрѣть, *между кѣмъ* пріобрѣтенъ этотъ успѣхъ и *какъ долго* онъ продолжался или могъ продолжаться. Въ этомъ отношеніи, большая часть данныхъ будетъ не въ пользу литературныхъ успѣховъ послѣдняго времени. Собственно говоря, всякій писатель имѣетъ гдѣ-нибудь успѣхъ: есть сочинители лакейскихъ поздравленій съ новымъ годомъ, пользующіеся успѣхомъ въ передникъ; есть творцы пышныхъ одъ на иллюминаціи и другіе случаи,—творцы, любезно принимаемые иногда и важными барами; есть авторы, производящіе разныя «pièces de circonstance» для домашнихъ спектаклей и обожаемые даже въ свѣтскихъ салонахъ; есть писатели, возбуждающіе интересъ въ мірѣ чиновничьемъ; есть другіе, служащіе любимцами офицеровъ; есть третьи, о которыхъ мечтаютъ провинціальныя барышни... Чѣмъ же эти кружки увлекаются въ своихъ любимцахъ? Конечно, не талантомъ, не истиною поэзіи, которыя для всѣхъ одинаковы, а тѣмъ, что въ писателѣ соотвѣтствуетъ ихъ собственнымъ понятіямъ, стремленіямъ и воззрѣніямъ на жизнь. Лучшіе писатели оттого имъ и непонятны или не нравятся, что стоятъ выше ихъ пониманія. Оттого-то самый шумный и блестящій успѣхъ и выпадаетъ всегда на долю – не самаго талантливаго, а самаго близкаго къ сегодняшнимъ, насущнымъ интересамъ толпы. Но съ паденіемъ или удовлетвореніемъ этихъ интересовъ исчезаетъ и успѣхъ писателя, пользовавшагося ими для своихъ произведеній. Прочный же успѣхъ остается только за тѣми явленіями, которыя захватываютъ вопросы далекаго будущаго, или въ которыхъ есть высшій, общечеловѣческій интересъ, независимый отъ частныхъ, гражданскихъ и политическихъ соображеній. Только писатель, умѣющій достойнымъ образомъ выразить въ своихъ произведеніяхъ чистоту и силу этихъ высшихъ идей и ощущеній, умѣющій сдѣлаться понятнымъ всякому человѣку, несмотря на различіе временъ и народностей,

остается надолго памятнымъ міру, потому что постоянно пробуждаетъ въ человѣкѣ сочувствіе къ тому, чему онъ не можетъ не сочувствовать, не переставая быть человѣкомъ. Бо̀льшая или меньшая доля *такого* успѣха выпадаетъ непремѣнно на долю всякаго талантливаго произведенія; но то, что въ немъ *останется*, принадлежитъ таланту, о сущности и значеніи котораго мы здѣсь не станемъ распространяться. Мы должны говорить здѣсь о значеніи идей, развиваемыхъ писателемъ и пріобрѣтающихъ ему временное сочувствіе общества. Въ исторіи же развитія идей мы постоянно видимъ повтореніе одной и той же слѣдующей исторіи. Жизнь, въ своемъ непрерывномъ развитіи, набирала множество фактовъ, ставила множество вопросовъ; люди присматривались къ нимъ съ разныхъ сторонъ, выяснили кое-что, но все-таки не могли справиться со всею громадою накопившагося матеріала; наконецъ, являлся человѣкъ, который умѣлъ присмотрѣться къ дѣлу со всѣхъ сторонъ, придавалъ предметамъ разбросаннымъ и отчасти искаверканнымъ прежними изслѣдователями ихъ естественный видъ и предъ всѣми разъяснялъ то, что доселѣ казалось темнымъ. Люди болѣе умные тотчасъ же обыкновенно схватывали эти объясненія геніальнаго человѣка, и отъ нихъ уже начинали свои дальнѣйшія изслѣдованія. Люди болѣе глупые, напротивъ, долго еще оставались при прежнихъ односторонніхъ и нескладныхъ воззрѣніяхъ и принимали новыя только тогда, когда уже большинство явно къ нимъ склонялось, или какія-нибудь внѣшнія обстоятельства слишкомъ уже настоятельно вынуждали уступку новымъ началамъ. Мало-по-малу, однако, старое воззрѣніе исчезало совсѣмъ и замѣнялось новымъ. Но пока продолжался процессъ водворенія новыхъ началъ въ цѣлой массѣ людей, жизнь шла своимъ чередомъ и возбуждала опять другіе вопросы, давала опять новый матеріалъ для разработки. Прежніе умные люди большею частію уже не существовали въ то время, какъ эти новыя потребности приходили въ силу; да и тѣ, которые остались, всѣ заняты были хлопотами объ окончательномъ водвореніи *своихъ* началъ, изъ-за которыхъ они съ молодыхъ лѣтъ трудились и боролись; о новыхъ вопросахъ они мало заботились, да и не имѣли довольно силъ для того, чтобы разрѣшить ихъ. Поэтому, прежніе умные люди, въ виду новыхъ требованій новаго времени, оставались большею частію безучастными зрителями и, всѣ усилія употребляя къ поддержанію старыхъ началъ, смотрѣли на новые вопросы даже нѣсколько презрительно. Глупые же люди, послѣ всѣхъ принявшіе тѣ начала, которыя теперь стали уже старыми, даже вовсе и не понимали, чтобъ могли существовать еще какія то другія требованія, кромѣ тѣхъ, какія разрѣшились для нихъ въ ученіи, недавно ими принятомъ. Вслѣдствіе того, они принимались даже преслѣдовать новое движеніе дѣлаясь, какъ всѣ новички, фанатиками тѣхъ воззрѣній, противъ которыхъ сами такъ недавно враждовали. Но, разумѣется, событі брали свое: новые факты образовывали новыя общественныя отно

шенія и приводили людей къ новому пересмотру прежнихъ системъ, прежнихъ фактовъ и отношеній. Все молодое, безъ труда, съ малолѣтства усвоившее систему господствующихъ воззрѣній, чувствовало, разумѣется, желаніе и свѣжія силы для дальнѣйшей работы; вновь накопленные факты давали обильный матеріалъ, и молодое поколѣніе принималось работать надъ новыми данными, еще робко, ощупью, но уже съ предчувствіемъ новаго свѣта, который прольется на ихъ начинанія при появленіи новаго геніальнаго ума.

Такова общая исторія вопросовъ науки и искусства при переходѣ ихъ изъ поколѣнія въ поколѣніе. Степень развитія умныхъ людей въ началѣ каждаго періода даетъ мѣрку будущаго развитія массъ въ концѣ того же періода. Люди, идущіе въ уровень съ жизнью и умѣющіе наблюдать и понимать ея движеніе, всегда забѣгаютъ нѣсколько впередъ, а за ними слѣдуетъ и толпа, которая понимаетъ жизнь уже по чужимъ объясненіямъ и, такимъ образомъ, все протверживаетъ зады. Этимъ-то процессомъ развитія массъ и объясняется жизненность и долговѣчность всего талантливаго: сначала только умные люди поймутъ и скажутъ, что это хорошо, толпа же повѣритъ имъ на-слово; а потомъ и толпа, по мѣрѣ своего развитія, все сознательнѣе и яснѣе станетъ убѣждаться, что это дѣйствительно хорошо... до тѣхъ поръ, пока не наступитъ новый періодъ цивилизаціи. Этимъ же объясняется и то обстоятельство, о которомъ мы упомянули выше: что всякій авторъ, какъ бы онъ ни былъ пошлъ, все-таки имѣетъ успѣхъ въ какомъ-нибудь кружкѣ и даже приноситъ своего рода пользу. «Нѣтъ на свѣтѣ такого дурака, который бы не возбуждалъ къ себѣ удивленія въ какомъ-нибудь другомъ, еще большемъ дуракѣ».—говорится въ одной изъ сатиръ Буало, и ни къ чему эти слова не могутъ быть такъ справедливо примѣнены, какъ къ литературѣ. Дѣйствительно,—самый глупый изъ пишущихъ людей можетъ навѣрное расчитывать, что найдутся люди, которымъ и онъ можетъ сообщить и объяснить кое-что: онъ отсталъ, но за нимъ все-таки еще остается кто-нибудь еще болѣе отсталый... Доказательства мы видимъ каждый день. Стоитъ только вспомнить, что до сихъ поръ нѣсколько тысячъ человѣкъ въ Россіи постоянно читаютъ фельетоны «Сѣверной Пчелы», или что «Весельчакъ», просуществовавши цѣлый годъ, объявляетъ подписку и на слѣдующій... Стало быть, есть же и въ нихъ вещи, для кого-нибудь поучительныя и интересныя... Да и гдѣ же ихъ нѣтъ!... Въ одномъ лакейскомъ поздравленіи мы когда-то читали стихи:

«Дай Богъ вамъ счастья и здоровья,
Любви и тишины въ семьѣ»...

Для скольких изъ господъ, принимающихъ эти поздравленія вмѣстѣ съ афишами,—мысль «о любви и тишинѣ въ семьѣ» должна была показаться новою и оригинальною!..

Читатель можетъ спросить насъ: «зачѣмъ мы ввели это пространное, утомительное и крайне неновое разсужденіе въ статью, которая должна трактовать о литературныхъ мелочахъ прошлаго года»? За тѣмъ, — отвѣтимъ мы читателю, — что намъ нужно было нѣсколько общихъ положеній для вывода, представляемаго нами нѣсколько строкъ ниже. Мы указали на то, что новыя воззрѣнія, выработанныя изъ фактовъ, накопившихся въ теченіе извѣстнаго періода, сначала бываютъ достояніемъ немногихъ и только мало-по-малу переходятъ въ массы; когда этотъ переходъ идей совершился, тогда уже настало, значитъ, начало новаго періода: новыя потребности образовались, новые вопросы выработались и привлекаютъ къ себѣ вниманіе людей, идущихъ впередъ; прежнія идеи и стремленія подбираются уже только людьми отсталыми и остановившимися.—Припомнивъ это, мы представляемъ читателю слѣдующій выводъ, который онъ можетъ уже прямо приложить къ русской литературѣ послѣдняго времени: «когда какое-нибудь литературное явленіе мгновенно пріобрѣтаетъ чрезвычайное сочувствіе массы публики, это значитъ, что публика уже прежде того приняла и сознала идеи, выраженіе которыхъ является теперь въ литературѣ; тутъ уже большинство читателей обращается съ любопытствомъ къ литературѣ, потому что ожидаетъ отъ нея обстоятельнаго разъясненія и дальнѣйшей разработки вопросовъ, давно поставленныхъ самой жизнью. Если же это любопытство охладѣваетъ столько же быстро, какъ и возникло, — это значитъ, что публика увидѣла, какъ она обманывалась въ силахъ наличныхъ литературныхъ дѣятелей, предположивши ихъ способными къ разрѣшенію такихъ вопросовъ жизни, которые имъ далеко не по плечу»...

Какъ видите, выводъ прямо приводитъ насъ къ «литературнымъ мелочамъ». Извѣстно всѣмъ и каждому, что сатирико-полицейская и поздравительно-экономическая литература наша страшно уже надоѣла публикѣ въ прошедшемъ году. Между тѣмъ, фуроръ, возбужденный ею во всей публикѣ, имѣетъ теперь не болѣе трехъ лѣтъ отъ роду... Слѣдовательно, заключеніе, приведенное нами выше, вполнѣ примѣняется къ нашей литературѣ послѣдняго времени. Провозгласивши начала, всею публикою давно въ безмолвномъ соглашеніи признанныя, она возбудила къ себѣ сочувствіе.— но вмѣстѣ съ тѣмъ внушила и надежды на что-то большее и высшее; до сихъ поръ надежды эти не исполнены, и литература *обмелѣла* въ глазахъ лучшей части публики.

Выставляя этотъ фактъ, мы не откажемся его объяснить и подтвердить примѣрами. Но сначала считаемъ нужнымъ изложить причины, отъ которыхъ, по нашему мнѣнію, зависѣлъ этотъ мелочной, мизерный характеръ, обнаруженный литературою въ послѣднее время.

По нашему крайнему разумѣнію, причина здѣсь заключается не въ самой литературѣ, а опять-таки въ обществѣ, котораго отра-

женіемъ она служитъ [1]). Общество само виновато въ томъ грустномъ и ненормальномъ явленіи, что литераторы явились предъ нимъ вдругъ — не передовыми людьми, не смѣлыми вождями прогресса, какъ всегда и вездѣ они бывали, а людьми болѣе или менѣе отсталыми, робкими и безсильными. Доказать наше обвиненіе не трудно: стоитъ припомнить нѣкоторыя черты изъ прошедшаго времени, могущія служить объясненіемъ тогдашнихъ отношеній общества къ литературѣ.

Извѣстно, что очень немногіе изъ литературныхъ дѣятелей, сдѣлавшихся особенно замѣтными въ послѣднее время, принадлежатъ собственно нынѣшнему времени. Почти всѣ они выработались гораздо прежде, подъ вліяніемъ литературныхъ преданій другого періода, начало котораго совпадаетъ въ исторіи... впрочемъ, что намъ до исторіи: читатели сами ее должны знать... будемъ говорить только о литературѣ. Въ литературѣ начало этого періода совпадаетъ со временемъ основанія «Московскаго Телеграфа»; жизненность его оканчивается со смертью Бѣлинскаго; а за тѣмъ идетъ какой-то летаргическій сонъ, прерываемый только библіографическимъ храпомъ и патріотическими грезами; окончаніемъ этого періода можно положить то время, въ которое скончалъ свое земное поприще незабвенный въ лѣтописяхъ русской журналистики «Москвитянинъ». Схоронивши сіе тяжеловѣсное и скучное созданіе, литераторы, бродившіе потерянные со времени смерти Бѣлинскаго, какъ будто пришли въ себя и повѣстили довольно громко на всю Русь православную, — что они живы и здоровы. Русь имъ обрадовалась, и они принялись, какъ старые знакомые, съ ней разговаривать и разсуждать, стали ей «сказки сказывати и давати ей поученьица»... Слово ихъ было произносимо *со властію*, съ сознаніемъ собственнаго достоинства, и молодое поколѣніе съ трогательною робостью прислушивалось къ мудрымъ рѣчамъ ихъ, едва осмѣливаясь дѣлать почтительные вопросы и уже вовсе не смѣя обнаруживать никакихъ сомнѣній. При малѣйшемъ равнодушіи молодежи къ поученіямъ зрѣлыхъ мудрецовъ, въ ихъ глазахъ и губахъ появлялось выраженіе, въ которомъ ясенъ былъ презрительный вызовъ: «вы, нынѣшніе, — ну-тко»!... При такомъ вызовѣ *нынѣшніе*, разумѣется, поджимали хвостъ и съеживались, не дерзая мѣрить свои силы съ могучими бойцами, уже испытанными въ жизненной борьбѣ... Поле словесной битвы постоянно оставалось такимъ образомъ за людьми зрѣлыми, разумными и опытными; молодое поколѣніе обычнымъ путемъ вступило въ свои права — наслаждаться поученіями старшихъ.

Но увы! — столь отрадный порядокъ вещей продолжался недолго! Очень скоро зрѣлые мудрецы выказали всѣ наличныя силы,

---

[1]) Читатель замѣтилъ, конечно, что слово «литература» мы употребляемъ не въ смыслѣ беллетристики, а въ самомъ обширномъ значеніи, разумѣя тутъ и поэзію, и науку собственно, и публицистику, и т. д.

сколько было у нихъ, — и оказалось, что они не могутъ стать въ уровень съ современными потребностями. Юноши, доселѣ занимавшіеся вмѣстѣ съ зрѣлыми мудрецами пораженіемъ семидесятилѣтнихъ старцевъ, рѣшились теперь перенести свою критику и на людей пятидесяти и даже сорока лѣтъ. Исторія о томъ, какъ и отчего все это произошло, не лишена занимательности, и мы когда-нибудь, при удобномъ случаѣ, займемся подробнымъ ея изложеніемъ, а теперь разскажемъ только вкратцѣ ея содержаніе.

Въ гласныхъ проявленіяхъ общественной жизни Россіи въ послѣднюю четверть вѣка произошло обстоятельство, довольно замѣчательное по своей странности: въ этихъ проявленіяхъ почти нисколько не отражалась внутренняя работа жизни. По газетамъ, по отчетамъ, по статистическимъ выводамъ, по офиціальнымъ свѣдѣніямъ журналовъ, издаваемыхъ разными вѣдомствами, по историческимъ изслѣдованіямъ Ѳаддея Булгарина, по реторикѣ и философіи академика Ивана Давыдова, по одамъ графа Хвостова—можно видѣть только одно: что «все обстоитъ благополучно». Между тѣмъ на дѣлѣ далеко не все обстояло такъ благополучно, какъ можно было подумать, судя по офиціальнымъ рапортамъ. Это хорошо знали и рѣшились прямо сказать нѣкоторые благородные и энергическіе люди, желавшіе, чтобы жизнь нашла свое отраженіе въ печатномъ словѣ всѣми своими сторонами, хорошими и худыми, и всѣми своими стремленіями, близкими и далекими. Изобразителемъ этихъ сторонъ явился Гоголь, истолкователемъ этихъ стремленій — Бѣлинскій; около нихъ группировалось нѣсколько десятковъ талантливыхъ личностей. Всѣ они дружно принялись за свое дѣло и явились предъ обществомъ дѣйствительно передовыми людьми, руководителями общественнаго развитія. Большинство, поклонявшееся тогда глубокомыслію барона Брамбеуса, учености Греча и Ив. Давыдова, патріотическимъ драмамъ Кукольника, и т. д., туго поддавалось на убѣжденія энергическихъ дѣятелей гоголевской партіи; но, одушевляемые Бѣлинскимъ и лучшими изъ друзей его, эти люди неутомимо продолжали свое дѣло. Успѣхъ ихъ былъ великъ въ обществѣ: къ концу жизни Бѣлинскаго они рѣшительно овладѣли сочувствіемъ публики; ихъ идеи и стремленія сдѣлались господствующими въ журналистикѣ; приверженцы философіи Булгарина и Давыдова, литературныхъ мнѣній Ушакова и Шевырева, поэзіи Ѳедора Глинки и барона Розена — были ими заклеймены и загнаны на задній дворъ литературы. Русское печатное слово дѣйствительно шло къ тому, чтобы сдѣлаться вѣрнымъ и живымъ выраженіемъ русской жизни. Но въ 1848 году Бѣлинскій умеръ; многіе изъ его друзей и послѣдователей разсѣялись въ разныя стороны; Гоголь въ то же время рѣзко обозначилъ перемѣну своего направленія, и начатое дѣло остановилось при самомъ началѣ. Литература потянулась какъ-то сонно и вяло; новыхъ органовъ литературныхъ не являлось, да и старые-то едва-едва плелись, мурлыча читателямъ какія-то сказочки; о живыхъ вопросахъ вовсе перестали говорить; появились

какія-то библіографическія стремленія въ наукѣ; прежніе дѣятели замолкли или стали выть по-волчьи. Люди, писавшіе прежде о Мальтусѣ и пауперизмѣ, принялись за сочиненіе библіографическихъ статеекъ о какихъ-нибудь журналахъ прошлаго столѣтія; писатели, поднимавшіе прежде важные философскіе вопросы, смиренно низошли до изложенія какихъ-нибудь правилъ грамматики или реторики; люди, отличавшіеся прежде смѣлостью общихъ историческихъ выводовъ, принялись разсматривать «значеніе кочерги, исторію ухвата». Забитая прежде литературная дрянь и мелюзга подняла голову и «вылѣзшія изъ щелей мошки и букашки» опять начали ползать и пищать, не боясь уже быть растоптанными. Лучшіе дѣятели недавняго времени махнули тогда рукой и рѣшились хранить гробовое молчанье, если само общество не потребуетъ отъ нихъ слова. Но общество оказалось совершенно равнодушнымъ къ литературѣ: ему какъ будто и дѣла не было до того, что объ немъ и для него пишется. Пока говорили,— оно слушало, перестали говорить, — оно перестало слушать. Внезапный перерывъ рѣчи не произвелъ на него, повидимому, никакого впечатлѣнія. Ни сожалѣнія, ни упрека, ни просьбы о продолженіи рѣчи—ничего не заявила русская публика. Естественно, что такая холодность очень дурно подѣйствовала на литературныхъ дѣятелей, и это отразилось и отражается до сихъ поръ на ихъ возобновленной дѣятельности. Они подумали,—и не безъ основанія, – что въ обществѣ не поняты или не приняты тѣ идеи, которыя они проповѣдывали, тѣ интересы, которымъ они служили. Имъ показалось, что общество не только неспособно итти впередъ по указанному ими направленію, но еще не можетъ остановиться даже и на томъ, до чего они успѣли довести его, – а непремѣнно поворотитъ назадъ, повинуясь силѣ противнаго вѣтра. И вслѣдствіе именно этого убѣжденія въ вѣтренности общества, литературные дѣятели наши выказали столько слабости и мелочности при возобновленіи своей дѣятельности. Когда общество опять потребовало отъ нихъ слова, они сочли нужнымъ начать сначала и говорить даже не о томъ, на чемъ остановились послѣ Бѣлинскаго, а о томъ, о чемъ толковали при началѣ своей дѣятельности, когда еще въ силѣ были мнѣнія академиковъ Давыдова и Шевырева, когда еще принималось серьезно диѳирамбическое краснорѣчіе профессоровъ Устрялова и Морошкина, когда даже фельетоны «Сѣверной Пчелы» требовали еще серьезныхъ и горячихъ опроверженій. Если это скучно и безполезно для нынѣшней публики, то она терпитъ только достойное наказаніе за то, что ввела въ ошибку литераторовъ. Почему, въ самомъ дѣлѣ, могли они знать о степени развитія своихъ читателей, когда эти читатели ни голоса не подали никогда въ ободреніе упадавшей литературы? По дѣломъ, теперь и терпятъ скуку за свою невнимательность!...

Впрочемъ нельзя совершенно оправдать и литераторовъ. Вина ихъ состоитъ въ недогадливости; а недогадливость происходитъ

оттого, что они слишкомъ книжно и слишкомъ гордо взглянули на свое призваніе. Они сочли себя чѣмъ-то высшимъ и подумали, что жизнь безъ нихъ обойтись уже вовсе не можетъ: если они поговорятъ, такъ и сдѣлается что-нибудь, а не поговорятъ, — ничего не будетъ. Утвердившись въ такомъ отвлеченномъ и высокопарномъ убѣжденіи, они и не догадались, что жизнь все-таки идетъ своимъ чередомъ, все-таки заявляетъ свои требованія, вырабатываетъ новыя понятія, ставитъ новые вопросы и представляетъ данныя для ихъ разрѣшенія. Они ожидали встрѣтить теперь то же, что было за двадцать лѣтъ назадъ; но ихъ ожиданія оправдались только вполовину. Ихъ сверстники, бодрые юноши двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, дѣйствительно остановились на томъ, что имъ говорили тогдашніе литературные дѣятели; даже больше — они утратили, вмѣстѣ съ первою молодостью, часть тѣхъ убѣжденій, которыя прежде горячо принимали къ сердцу. Чтобы подѣйствовать на ихъ зрѣлую апатію, въ самомъ дѣлѣ надо было опять начинать съ элементарныхъ понятій и входить во всѣ мелочи, такъ какъ нельзя было положиться на нихъ въ томъ, что они умѣютъ понимать эти мелочи какъ слѣдуетъ. И вотъ пошли повторенія задовъ, пошли контраверсіи о разныхъ предметахъ — ясныхъ и безспорныхъ или мелкихъ и пошлыхъ. Съ пылкой энергіей, свободнымъ и рѣшительнымъ языкомъ заговорили зрѣлые мужи литературные, и съ нервыхъ же словъ заслужили рукоплесканія молодежи и негодованіе своихъ сверстниковъ и старшихъ себя. Ходъ дѣла былъ совершенно понятенъ; въ послѣднія десять лѣтъ русской молодежи какъ-то особенно усердно вперяемъ былъ страхъ и трепетъ передъ старшими. Молодость, разумѣется, и тогда брала свое, и юноши исподтишка подсмѣивались надъ старшими, но вслухъ говорить не смѣли. И вдругъ они увидѣли, что люди почтенные, сами до нѣкоторой степени *старшіе*, подсмѣиваются надъ разными ветеранами и бросаютъ камень осужденія въ тѣхъ, кто къ нимъ подслуживается. Юношамъ это очень понравилось; они почувствовали сердечное влеченіе къ зрѣлымъ людямъ, такъ рѣзко отвергающимъ ненавистный принципъ безотвѣтственности младшаго передъ старшимъ; стали съ почтеніемъ прислушиваться къ ихъ мудрымъ рѣчамъ, увидѣли, что они говорятъ хорошія вещи о правдѣ, чести, просвѣщеніи, и т. п.,—и рѣшили, что, несмотря на свой почтенный возрастъ, зрѣлые мудрецы принадлежатъ къ *новому* времени, что они составляютъ одно съ *новымъ* поколѣніемъ, а отъ стараго бѣгутъ, какъ отъ заразы. Еще не имѣя собственнаго знамени, молодежь примкнула къ благородной фалангѣ людей, хотя и много старшихъ возрастомъ, но юныхъ по своимъ идеямъ и стремленіямъ. Между двумя поколѣніями заключенъ былъ, безмолвно и сердечно, крѣпкій союзъ противъ третьяго поколѣнія, отжившаго, парализованнаго, охладѣвшаго, но все еще мѣшавшаго общему довольству и спокойствію, пугавшаго новую жизнь своимъ полумертвымъ тѣломъ, похожимъ на трупъ, заживо разлагающійся и смердящій.

Но не прошло и года, какъ молодые люди увидѣли непрочность и безполезность своего союза съ зрѣлыми мудрецами. Во всей пожилой фалангѣ оказалось очень немного именъ, которыя можно бы было поставить во главѣ новаго движенія. Бо́льшая часть прежнихъ дѣятелей, давно уже потерявшая возможность гласнаго выраженія идей и стремленій, совершенно отчаялась въ теченіе этого времени въ дальнѣйшемъ прогрессѣ общества, перестала слѣдить за жизненнымъ движеніемъ событій, сложила руки и осталась въ пассивномъ созерцаніи до тѣхъ поръ, пока сила событій опять не вызвала ихъ къ дѣятельности. Естественно, что они теперь почувствовали себя какъ-то не въ своей тарелкѣ и не знали, что имъ дѣлать и говорить. Начали они съ того, что стали пробовать и разминать свой языкъ, желая убѣдиться, что онъ не разучился произносить человѣческіе звуки. На первый разъ принялись болтать о томъ, что говорить лучше, чѣмъ молчать; потомъ разсказывали о своемъ недавнемъ снѣ и выражали радость о своемъ пробужденіи; затѣмъ, жалѣли, что послѣ долгаго сна голова у нихъ не свѣжа, и доказывали, что ненужно спать слишкомъ долго; послѣ того, оглядѣвшись кругомъ себя, замѣчали, что уже день наступилъ и что днемъ нужно работать; далѣе утверждали, что ненужно заставлять людей работать ночью и что работа во тьмѣ прилична только ворамъ и мошенникамъ, и т. д. Долго неопытная молодежь рукоплескала заговорившимъ пожилымъ мудрецамъ, какъ рукоплещутъ въ театрѣ выходу любимаго актера зрители, заранѣе убѣжденные, что онъ отлично сыграетъ свою роль. Но съ каждымъ словомъ почтенныхъ дѣятелей все яснѣе обозначалось ихъ безсиліе, съ каждымъ новымъ выходомъ журнальныхъ книжекъ все слабѣлъ энтузіазмъ молодежи и тѣхъ дѣятелей прежней партіи, которые умѣли понять ея стремленія. Возложивши свои надежды на лучшихъ людей предшествующаго поколѣнія, молодежь увидѣла себя въ положеніи больного человѣка, который обратился за излѣченіемъ къ прославленному доктору, уже лѣтъ за двадцать до того оставившему практику. Вы ожидаете, что онъ пропишетъ вамъ рецептъ или, по крайней мѣрѣ, дастъ совѣтъ, предпишетъ діэту; но докторъ пришелъ, потолковалъ о своихъ медицинскихъ познаніяхъ и удалился. Вы ждете, что будетъ дальше.

Черезъ мѣсяцъ является докторъ съ извѣстіемъ: ваше здоровье разстроено.

Еще черезъ мѣсяцъ новое свѣдѣніе: цвѣтъ вашего языка и біеніе пульса доказываютъ, что ваше здоровье не совсѣмъ въ порядкѣ.

Еще черезъ мѣсяцъ: больные люди должны лѣчиться; исторія медицины представляетъ много тому доказательствъ.

Черезъ два мѣсяца: вамъ непремѣнно слѣдуетъ лѣчиться.

Еще черезъ два мѣсяца: для того, чтобы вылѣчиться, вамъ надобно бросить дурныхъ докторовъ и обратиться къ хорошему.

Черезъ мѣсяцъ: хорошаго доктора трудно залучить къ себѣ;

но если дать хорошія деньги, то и хорошій докторъ придетъ къ вамъ.

Черезъ два мѣсяца: при лѣченіи слѣдуетъ наблюдать діэту, предписанную не дурнымъ, а хорошимъ докторомъ.

Черезъ три мѣсяца: діэта должна быть сообразна съ характеромъ болѣзни.

Черезъ два мѣсяца: способъ лѣченія также долженъ быть принятъ въ соображеніе при назначеніи діэты.

Черезъ мѣсяцъ: болѣзнь входитъ пудами, а выходитъ золотниками.

Еще черезъ мѣсяцъ: чтобъ сохранить свое здоровье, надобно вести себя осторожнѣе.

Еще черезъ мѣсяцъ: не надобно допускать вредныхъ внѣшнихъ вліяній, отъ которыхъ можетъ страдать ваше здоровье.

Черезъ два мѣсяца: вы больны оттого, что не береглись...

И такъ далѣе, и такъ далѣе...

Цѣлые годы проходятъ въ мудрыхъ разсужденіяхъ, которыя вамъ одинаково знакомы и при болѣзни вашей, и въ здоровомъ состояніи. Вы можете въ это время двадцать разъ выздоровѣть, опять захворать, объѣсться, опиться, на смерть залѣчить себя, а прославленный докторъ, давно оставившій практику, все съ прежнимъ самодовольствіемъ будетъ сообщать вамъ глубокіе афоризмы, въ родѣ вышеприведенныхъ... Поневолѣ вы отъ него отступитесь.

Такъ точно живая и свѣжая часть русскаго общества нашла необходимымъ отказаться отъ почтенныхъ и умныхъ фразеровъ, вызвавшихся подобнымъ образомъ лѣчить общественныя раны земли русской. Эти бѣдняки потерялись отъ радости, когда увидѣли, что есть люди, готовые принять ихъ лѣченіе. Какъ бы не смѣя вѣрить своему благополучію, они сочли нужнымъ предварительно пуститься въ разсужденія, убѣдить людей въ пользѣ медицины, наставить ихъ относительно значенія діэты, и, привыкши видѣть себя забытыми, загнанными, отвыкшими отъ практической медицины, отставшіе врачи не могли удержаться, чтобы не вознаградить себя за бездѣйствіе разглагольствіями и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ не излить желчи на дурныхъ врачей, которые отстранили отъ дѣлъ *ихъ*, хорошихъ докторовъ. Въ такихъ-то занятіяхъ и заключалась вся практика нашихъ общественныхъ врачей изъ зрѣлыхъ мудрецовъ; ни облегченія для больныхъ, ни наученія для молодыхъ врачей не оказывалось отъ нихъ ни малѣйшаго.

Прошло еще нѣсколько времени терпѣливаго ожиданія, и открылось новое обстоятельство, почти отнявшее у молодежи послѣднюю надежду на мудрую партію пожилыхъ дѣятелей. Оказалось, что они не умѣютъ заглянуть въ глубь общественной среды, не понимаютъ сущности новыхъ потребностей и стоятъ все на томъ, что толковалось двадцать лѣтъ тому назадъ. Теперь уже всякій гимназистъ, всякій кадетъ, семинаристъ—понимаютъ многія вещи,

бывшія тогда доступными только лучшимъ изъ профессоровъ; а они и теперь говорятъ объ этихъ вещахъ съ важностью и съ азартомъ, какъ о предметахъ высшаго философскаго разумѣнія.

Тогда, напр., кто говорилъ объ освобожденіи крестьянъ, тотъ считался образцомъ всѣхъ добродѣтелей и чуть не геніемъ: они и теперь было задумали примѣнить въ своихъ сужденіяхъ тотъ же тонъ и ту же мѣрку... Всѣ засмѣялись надъ ними, потому что въ современномъ обществѣ считается уже позоромъ до послѣдней степени, если кто-нибудь осмѣлится заговорить противъ освобожденія. Да никто ужъ и не осмѣливается.

Въ прежнее время цѣлыми годами ожесточенныхъ битвъ нужно было критикѣ Бѣлинскаго отстаивать право литературы обличать жизненныя пошлости. Нынѣ никто относительно этого права не имѣетъ ни малѣйшаго сомнѣнія; а дѣятели прошедшей эпохи опять выступаютъ съ трескучими фразами о пользѣ и правахъ обличительной литературы.

Во время ихъ молодости только-что изданъ былъ «Сводъ Законовъ», и всѣ надѣялись, что послѣ его изданія уже невозможны будутъ судебныя проволочки и взятки: Ѳаддей Булгаринъ, юмористъ en vogue тогдашняго времени, сочинилъ даже «Плачъ подьячаго Взяткина по изданіи «Свода Законовъ», и «Плачъ» его былъ встрѣченъ съ восторгомъ большинствомъ читающей публики. Но и въ то время были дальновидные, горячіе и смѣлые люди, рѣшившіеся предполагать, что и послѣ изданія «Свода Законовъ» взятки и крючкотворство еще возможны отчасти... Нынѣ, по прошествіи тридцати лѣтъ, весь русскій людъ горькимъ опытомъ убѣдился, что взятки и при «Сводѣ» возможны, и очень возможны... А прежніе дѣятели и теперь продолжаютъ говорить объ этомъ съ важностью, какъ о какомъ-то новомъ открытіи, и даже соблюдаютъ большую сдержанность и умѣренность въ выраженіяхъ, какъ бы боясь поразить публику громадностью своего открытія.

Двадцать лѣтъ тому назадъ, патріотизмъ не умѣли отдѣлять отъ camaraderie, и кто осмѣливался говорить, что патріотизмъ не состоитъ въ томъ, чтобы выставлять только свои достоинства и покрывать недостатки, тотъ считался человѣкомъ крайнихъ мнѣній и необыкновенно свѣтлой головой. Теперь уже рѣдко можно встрѣтить въ публикѣ подобное смѣшеніе понятій, столь различныхъ; а почтенные дѣятели прежней эпохи и теперь продолжаютъ самодовольно декламировать, что истинная любовь къ отечеству не щадитъ его недостатковъ, и пр.

Въ прежнее время образованіе спеціальное, съ цѣлью приготовленія чиновниковъ, лѣкарей, офицеровъ, и т. д., стояло на первомъ планѣ; до необходимости общаго образованія додумывались только немногіе умы, далеко опередившіе свой вѣкъ... Они возставали тогда, сколько могли, противъ исключительнаго развитія спеціальнаго образованія; но тогда ихъ не слушали: спеціальныя школы распространялись, общее образованіе было въ загонѣ, въ

пренебреженіи. Лѣтъ двадцать пять прошло съ тѣхъ поръ; почти исключительное развитіе спеціальныхъ училищъ принесло свои грустные плоды: явились медики, искусные только въ утайкѣ госпитальныхъ суммъ, инженеры, умѣвшіе тратить казенныя деньги на постройку небывалыхъ мостовъ, офицеры, помышлявшіе только о полученіи роты, чтобы поправить свои обстоятельства, и т. д., и т. д. На дѣлѣ всѣ убѣдились, что въ воспитаніи нужно принять другое направленіе. Одинъ изъ почтенныхъ людей очень умно и рѣшительно высказалъ общее стремленіе и сдѣлалъ нѣсколько практическихъ указаній на существующій порядокъ вещей, и вдругъ, между пожилыми мудрецами, поднялось радостное волненіе; теперь, видите ли, уже *открыто и доказано*, что общее образованіе важнѣе спеціальнаго!... Отъ такого открытія они пришли въ неописанный восторгъ и года два по нѣсколько разъ въ мѣсяцъ шевелили фразу: «прежде всего надо воспитать человѣка, а потомъ уже сапожника» и что-то въ этомъ родѣ.. Въ простотѣ души они полагали, что говорятъ новость, не подозрѣвая, что теперь уже рѣдкій сапожникъ и рѣдкій *человѣкъ* (въ *барскомъ* значеніи) не знаютъ этой новости.

Вообще, въ пору цвѣтущей молодости литературныхъ дѣятелей, отличавшихся въ послѣднее время, не было многихъ вещей, которыя нынѣ существуютъ какъ явленія весьма обыкновенныя. Не было ни желѣзныхъ дорогъ, ни рѣчного пароходства, ни электрическихъ телеграфовъ, ни газоваго освѣщенія, ни акціонерныхъ компаній; не говорили печатно ни о капиталѣ и кредитѣ, ни объ администраціи и магистратурѣ, ни о правительственныхъ и общественныхъ реформахъ и переворотахъ, совершавшихся въ Европѣ въ послѣдніе полвѣка. Но въ продолженіе того времени, какъ литераторы тридцатыхъ годовъ спали и бредили библіографіей или, отъ нечего дѣлать, наблюдали свой собственный жизненный процессъ, — общество успѣло познакомиться со всѣми этими предметами. Успѣли подрости и новые люди, которые, мало интересуясь изображеніемъ «Исторіи одного женскаго сердца», «Слабаго сердца», «Бѣды отъ нѣжнаго сердца», «Сердца съ перегородками», равно какъ и разсужденіями «О религіозно-языческомъ значеніи избы славянина», «О значеніи именъ Лютицы и Вильцы», «О значеніи слова баянъ», и т. п. [1]),— перечитывали Бѣлинскаго и немногихъ изъ друзей его, да почитывали и иностранныя книжки. Такимъ образомъ, несмотря на молчаніе русской литературы, молодая живая часть общества не переставала развиваться и постоянно старалась итти въ уровень съ современными требованіями. Этого-то и не сообразили почтенные люди, вновь выступившіе нынѣ на литературное поприще, послѣ десятилѣтняго молчанія. Ихъ дѣло было очень просто: осмотрѣться вокругъ себя и стать на точку

[1]) Все это — подлинныя заглавія литературныхъ и ученыхъ произведеній, печатанныхъ въ послѣднее десятилѣтіе.

зрѣнія настоящаго, чтобы отсюда уже отправиться дальше. Но въ томъ-то и дѣло, что умѣнье скоро и ловко оріентироваться во всякомъ положеніи теряется людьми въ извѣстныя лѣта и при извѣстныхъ обстоятельствахъ, да и вообще противорѣчитъ маниловскому характеру. Молодой человѣкъ, кое-что видавшій и знающій и не имѣющій маниловскаго элемента въ характерѣ, если застанетъ меня, напр., хоть за чтеніемъ «Всеобщей Исторіи» г. Зуева, то прямо скажетъ: «зачѣмъ это вы такую дрянь читаете? Развѣ вы не знаете другихъ руководствъ исторіи, которыя гораздо лучше»? — Напротивъ, человѣкъ почтенныхъ лѣтъ, да еще съ нѣкоторой маниловщиной въ характерѣ, въ томъ же самомъ случаѣ сочтетъ долгомъ сначала похвалить мою любознательность, распространиться о пользѣ чтенія книгъ вообще и историческихъ въ особенности, замѣтить, что исторія есть въ нѣкоторомъ родѣ священная книга народовъ, и т. п., и только ужъ послѣ долгихъ объясненій рѣшится намекнуть, что, впрочемъ, о книгѣ г. Зуева нельзя сказать, чтобы послѣ нея ничего уже болѣе желать не оставалось. Совершенно подобнымъ образомъ поступили литературные Маниловы со всѣми попавшими имъ подъ руку общественными вопросами. Ну вотъ, напримѣръ, желѣзныя дороги. Чего бы, кажется, проще: у насъ желѣзныхъ дорогъ мало; надобно больше выстроить; гдѣ, какъ и на какія средства ихъ строить?— Нѣтъ, они принялись толковать о томъ, что и полезны-то желѣзныя дороги, и ѣздить-то по нимъ скорѣе, и жаль, что ихъ прежде-то у насъ не было, и слава Богу, что теперь поняли ихъ важность-то, и вліяніе-то ихъ велико во всѣхъ отношеніяхъ, и лошадей-то для нихъ не нужно... Но тутъ возникъ споръ: одни утверждали, что нужно, другіе — что нѣтъ. И пошла безконечная исторія о томъ, что Россія находится въ особенныхъ сельско-хозяйственныхъ условіяхъ, что она — шестая (теперь слѣдовало бы ужъ говорить — *седьмая*) часть свѣта, что ее ожидаетъ великая будущность. И пошла писать губернія.

Такъ или почти такъ поднимались и разрѣшались у насъ всѣ общественные вопросы послѣдняго времени. На людей свѣжихъ, привыкшихъ отзываться на требованія жизни дѣломъ, а не фразой, все это дѣйствовало очень неблагопріятно. Они не могли довольно надивиться наивнымъ добрякамъ, до слезъ восхищавшимся, напр., провозглашеніемъ той мысли, что въ судахъ должна быть правда. — Ну, конечно — должна; что же объ этомъ толковать?... «Нѣтъ, какъ можно: вы поймите, какъ высокъ смыслъ этой фразы, какъ неизмѣримо-благотворны будутъ для Россіи ея послѣдствія, ежели она будетъ исполнена! Правда въ судахъ! Вѣдь это значитъ, что преступники будутъ достойно наказываемы, а невинные будутъ находить себѣ оправданіе на судѣ! Значитъ, безъ вины никого не осудятъ; судьи будутъ справедливы, преступленія не будутъ избѣгать законнаго возмездія!... Какое великое благо выйдетъ изъ этого для всей страны! И возможно ли допустить со-

мнѣніе, что праведный судъ полезенъ въ странѣ, въ которой устраиваются желѣзныя дороги и пароходное движеніе, поощряется промышленная дѣятельность, всѣ живыя силы народа вызываются на свободный, полезный трудъ», и пр., и пр.

И подобныя разсужденія у почтенныхъ добряковъ безпрестанно на языкѣ, по поводу всякаго офицера, прошедшаго въ фуражкѣ по Невскому, всякаго юнкера, проѣхавшаго на извозчикѣ, всякаго студента, отпустившаго бакенбарды, даже всякаго франтика съ бородкой. Они — точно слѣпорожденные, внезапно прозрѣвшіе въ мутный октябрьскій день, на пути изъ какого-нибудь Глухого переулка въ какое-нибудь Козье-Болото; ихъ спрашиваютъ: знаютъ-ли они дорогу, куда имъ нужно итти? — а они отвѣчаютъ: «ахъ, какъ солнце хорошо свѣтитъ!... какая безграничная даль открывается передъ нами»!... На первый разъ, изъ состраданія къ нимъ, можно пропустить безъ вниманія ихъ забавныя рѣчи. Но нельзя же удержаться отъ смѣха, ежели они начнутъ еще резонировать, говоря, напр., такимъ образомъ: «какое великолѣпное свѣтило — это солнце! Какой лучезарный свѣтъ изливаетъ оно на землю! Вы должны благодарить судьбу, что это солнце возсіяло надъ вами! Вы были погружены въ мрачную ночь, но возсіяло оно, и все для васъ освѣтилось. По наукѣ извѣстно, что всѣ предметы дѣлаются видимыми намъ только тогда, когда лучи, отражающіеся отъ нихъ, достигаютъ сѣтчатой оболочки нашего глаза. Такимъ образомъ, свѣтъ не менѣе необходимъ для зрѣнія, какъ и самый глазъ» и т. п.

Разумѣется, нельзя отрицать справедливости подобныхъ разсужденій и даже ихъ новости и полезности для кого-нибудь: «chaque sot trouve toujours un plus sot, qui l'admire...» Но скажите, Богаради, на какихъ читателей расчитываетъ литература, пробавляющаяся подобными разсужденіями?...

На кого бы она ни расчитывала и сколько бы ни находила себѣ поклонниковъ, мы смѣло можемъ утверждать одно: она не привлечетъ теперь симпатіи тѣхъ, кому, по естественному закону исторіи, принадлежитъ будущее. Мы не поклонники ученія о безусловной и регулярной преемственности поколѣній; но, вдумываясь въ настоящее и въ близкое прошедшее, мы не можемъ не замѣтить, что характеръ новаго поколѣнія нашего долженъ дать ему въ событіяхъ совсѣмъ другую роль, нежели какую имѣло предыдущее. Люди *того* поколѣнія проникнуты были высокими, но нѣсколько отвлеченными стремленіями. Они стремились къ истинѣ, желали добра, ихъ плѣняло все прекрасное; но выше всего былъ для нихъ *принципъ*. *Принципомъ* же называли общую философскую идею, которую признавали основаніемъ всей своей логики и морали. Страшной мукой сомнѣнья и отрицанья купили они свой принципъ и никогда не могли освободиться отъ его давящаго, мертвящаго вліянія. Что-то пантеистическое было у нихъ въ признаніи принципа: жизнь была для нихъ служеніемъ принципу, че-

ловѣкъ—рабомъ принципа; всякій поступокъ, не соображенный съ принципомъ, считался преступленіемъ. Отвлекшись такимъ образомъ отъ дѣйствительной жизни и обрекши себя на служеніе принципу, они не умѣли вѣрно расчитывать свои силы и взяли на себя гораздо больше, чѣмъ сколько могли сдѣлать. Немногіе только умѣли, подобно Бѣлинскому, слить самихъ себя съ своимъ принципомъ и такимъ образомъ придать ему жизненность. У Бѣлинскаго внѣшній, отвлеченный принципъ превратился въ его внутреннюю, жизненную потребность: проповѣдывать свои идеи было для него столько же необходимо, какъ ѣсть и пить. Но немногіе могли дойти до такого сліянія своей личности съ философскимъ принципомъ. Бо́льшая часть осталась только при разсудочномъ пониманіи принципа и потому вѣчно насиловали себя на такія вещи, которыя были имъ вовсе не по натурѣ и не по нраву. Отсюда вѣчно фальшивое положеніе, вѣчное недовольство собой, вѣчное ободреніе и расшевеливанье себя громкими фразами и вѣчныя неудачи въ практической дѣятельности. Отлично владѣя отвлеченной логикой, они вовсе не знали логики жизни, и потому считали ужасно легкимъ все, что легко выводилось посредствомъ силлогизмовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ ужасно мертвили всю жизнь, стараясь втиснуть ее въ свои логическія формы. Можетъ быть, они и отстали бы отъ всего этого, если бы успѣли исподволь присмотрѣться къ ровному ходу жизни. Но судьба поступила съ ними безжалостно: она круто перевернула многихъ изъ нихъ испытаніями всякаго рода, общими и частными, и они утвердились въ убѣжденіи, что жизнь беззаконна и нелѣпа, а только принципъ истиненъ и законенъ. Они ринулись было въ борьбу за принципъ, но проиграли одну битву, другую, третью, четвертую,—и увидѣли, что бороться долѣе невозможно. Тяжелое недовольство осталось затѣмъ у нихъ въ душѣ. Но и оно не было цѣльнымъ, могучимъ и дѣятельнымъ, такъ какъ они сами не были цѣльными людьми. Они состояли изъ двухъ, плохо спаянныхъ между собою началъ: страсти и принципа. Рѣдко принципъ разливался по всему ихъ существу съ силою страсти, и они всячески старались надуть себя, подогрѣвая фразами свои холодныя отвлеченности; еще рѣже жизненная страсть возводима была ими на степень принципа. Обыкновенно же принципъ былъ самъ по себѣ, а страсть сама по себѣ. Такъ произошло и здѣсь: принципъ, витая въ высшихъ сферахъ духовнаго разумѣнія, остался превыше всѣхъ обидъ и неудачъ; страсть же негодованія ограничилась низшею сферою житейскихъ отношеній, до которыхъ они почти никогда не умѣли проводить своихъ философскихъ началъ. Мало-по-малу они вошли въ свою пассивную роль и изъ всего прежняго сохранили только юношескую восторженность да наклонность потолковать съ хорошимъ человѣкомъ о пріятномъ обращеніи и помечтать о мостикѣ черезъ рѣчку. Съ этими-то милыми качествами и съ совершеннымъ неумѣньемъ присматриваться къ дѣйствительной жизни и понимать ея требованія и задачи—и высту-

пили они въ недавнее время снова на поприще литературы. Мгновенное привлеченіе къ себѣ симпатій общества и замѣчательно быстрое обнаруженіе своего безсилія были естественными послѣдствіями самой сущности того характера, какой получило большинство ихъ, вслѣдствіе вліянія обстоятельствъ, тяготѣвшихъ надъ цѣлымъ ихъ поколѣніемъ.

Разумѣется, были и есть въ этомъ поколѣніи люди, которые вовсе не подходятъ подъ общую норму, нами указанную. Таковъ былъ Бѣлинскій; таковы были еще пять-шесть человѣкъ, умѣвшихъ довести въ себѣ отвлеченный философскій принципъ до реальной жизненности и истинной, глубокой страстности. Это люди высшаго разбора, предъ которыми съ изумленіемъ преклонится всякое поколѣніе. Кромѣ ихъ были и другіе сильные люди, умѣвшіе на всю жизнь сохранить «святое недовольство» и рѣшившіеся продолжать свою борьбу съ обстоятельствами до истощенія послѣднихъ силъ. Эти люди почерпнули жизненный опытъ въ своей непрерывной борьбѣ и умѣли его переработать силою своей мысли; поэтому они всегда стояли въ уровень съ событіями, и какъ только явилась имъ опять возможность дѣйствовать, они радушно и вполнѣ сознательно подали руку молодому поколѣнію. Они доселѣ сохранили свѣжесть и молодость силъ, доселѣ остались людьми будущаго, и даже гораздо больше, нежели многіе изъ дѣйствительно молодыхъ людей нашего времени...

Есть въ предыдущемъ поколѣніи и другія исключенія изъ опредѣленной нами нормы. Это, напр., тѣ, суровые прежде, мудрецы, которые поняли наконецъ, что надо искать источникъ мудрости въ самой жизни, и вслѣдствіе того сдѣлались въ сорокъ лѣтъ шалунами, жуирами и стали совершать подвиги, приличные только двадцатилѣтнимъ юношамъ —да, если правду сказать, такъ и тѣмъ неприличные. Но объ исключеніяхъ такого рода распространяться не стоитъ.

Совсѣмъ не такъ отнеслось къ вопросамъ жизни молодое поколѣніе (разумѣемъ хорошихъ его представителей). Отъ пожилыхъ людей обыкновенно разсыпаются ему упреки въ холодности, черствости, безстрастіи. Говорятъ, что нынѣшніе люди измельчали, стали неспособны къ высокимъ стремленіямъ, къ благороднымъ увлеченіямъ страсти. Все это, можетъ быть, чрезвычайно справедливо въ отношеніи ко многимъ, даже къ большинству нынѣшнихъ молодыхъ людей; мы ихъ вовсе не думаемъ — ни возвышать, ни даже оправдывать. Намъ это вовсе не нужно, потому что названіе молодого поколѣнія мы не ограничиваемъ теперешними юношами, а распространяемъ его и на тѣхъ, которые находятся еще въ пеленкахъ. Молодые люди, уже заявившіе себя на жизненномъ поприщѣ, принадлежатъ большею частію еще къ промежуточному времени. Ихъ еще смущаетъ принципъ, а между тѣмъ жизнь уже сильнѣе предъявляетъ надъ ними свои права, нежели надъ людьми прошлаго поколѣнія; оттого они часто и шатаются въ обѣ сто-

роны и ничему не могутъ отдаться всей силой души. Но за ними, и отчасти среди нихъ, виднѣется уже другой общественный типъ, типъ людей реальныхъ, съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ. Благодаря трудамъ прошедшаго поколѣнія, *принципъ* достался этимъ людямъ уже не съ такимъ трудомъ, какъ ихъ предшественникамъ, и потому они не столь исключительно привязали себя къ нему, имѣя возможность и силы повѣрять его и соразмѣрять съ жизнью. Осмотрѣвшись вокругъ себя, они, вмѣсто всѣхъ туманныхъ абстракцій и призраковъ прошедшихъ поколѣній, увидѣли въ мірѣ только *человѣка*, настоящаго человѣка, состоящаго изъ плоти и крови, съ его дѣйствительными, а не фантастическими отношеніями ко всему внѣшнему міру. Они въ самомъ дѣлѣ стали мельче, если хотите, и потеряли ту стремительную страстность, которою отличалось прошлое поколѣніе; но за то они гораздо тверже и жизненнѣе. Не говоримъ о фанатикахъ, которые всегда были и будутъ какъ исключеніе; но въ общей своей массѣ, молодые люди нынѣшняго поколѣнія отличаются спокойствіемъ и тихою твердостью. Это происходитъ въ нихъ прежде всего, разумѣется, оттого, что нервы еще не успѣли разстроиться. Но есть и другая причина: они спустились изъ безграничныхъ сферъ абсолютной мысли и стали въ ближайшее соприкосновеніе съ дѣйствительной жизнью. Отвлеченныя понятія замѣнились у нихъ живыми представленіями, подробности частныхъ фактовъ обрисовались ярче и отняли много силы у общихъ опредѣленій. Люди новаго времени не только поняли, но и прочувствовали, что абсолютнаго въ мірѣ ничего нѣтъ, а все имѣетъ только относительное значеніе. Оттого для нихъ невозможно увлеченіе тенденціями, подобными, напр., слѣдующимъ: «pereat mundus et fiat justitia»; «лучше умереть, нежели солгать хоть разъ въ жизни»; «лучше убить свое сердце, чѣмъ измѣнить хоть однажды долгу супружескому, или сыновнему, или гражданскому», и т. д. Все это для нихъ слишкомъ абстрактно и слишкомъ мало имѣетъ значенія. На первомъ планѣ всегда стоитъ у нихъ человѣкъ и его прямое, существенное благо; эта точка зрѣнія отражается во всѣхъ ихъ поступкахъ и сужденіяхъ. Сознаніе своего кровнаго, живого родства съ человѣчествомъ, полное разумѣніе солидарности всѣхъ человѣческихъ отношеній между собою — вотъ тѣ внутренніе возбудители, которые занимаютъ у нихъ мѣсто *принципа*. Ихъ послѣдняя цѣль — не совершенная. рабская вѣрность отвлеченнымъ высшимъ идеямъ, а принесеніе возможно большей пользы человѣчеству; въ ихъ сужденіяхъ люди возвышаются не по тому, сколько было въ нихъ сокрыто великихъ силъ и талантовъ, а по тому, сколько они желали и умѣли сдѣлать пользы человѣчеству; не тѣ событія обращаютъ на себя особое ихъ вниманіе, которыя имѣютъ характеръ грандіозный или патетическій, а тѣ, которыя сколько-нибудь подвинули благосостояніе массъ человѣчества. Такимъ образомъ, стремленія людей новыхъ, ставши гораздо ближе къ жизни

и къ людямъ, естественно принимаютъ характеръ болѣе мягкій, осторожный, болѣе щадящій, нежели бьющій. Немудрено, разумѣется, проскакать во всю конскую прыть по чистому полю; но ежели вамъ скажутъ, что на дорогѣ въ разныхъ мѣстахъ лежатъ и спятъ ваши братья, которыхъ вы можете растоптать, то, конечно, вы поѣдете нѣсколько осторожнѣе. Руководясь *только* принципомъ, требовавшимъ скорѣйшаго прибытія къ цѣли, можно бы, конечно, сказать: «а кто имъ велитъ спать на дорогѣ? Сами виноваты, если будутъ растоптаны»! Но человѣкъ новыхъ стремленій отвѣчаетъ на такое замѣчаніе: «разумѣется, они глупы, что спятъ на дорогѣ и мѣшаютъ свободной ѣздѣ, но что же дѣлать, если они такъ глупы? Надобно надъ ними остановиться, пробудить и вразумить ихъ; а ежели не послушаютъ, то придется силою оттащить въ сторону отъ проѣзжей дороги». Такъ обыкновенно и поступаютъ эти люди; мудрено ли же, что въ нихъ не замѣтно той стремительности, какая отличала людей, руководившихся только принципомъ?

Кромѣ всего этого, прибавилась у молодыхъ поколѣній и опытность, которой такъ недоставало прежнимъ. Люди новаго времени приняли отъ своихъ предшественниковъ ихъ убѣжденія, какъ готовое наслѣдіе; но тутъ же они приняли и жизненный урокъ ихъ, состоящій въ томъ, что *надрываніе* себя вовсе не есть доказательство великой души, а просто признакъ нервнаго разстройства. Прежніе молодые люди постоянно ставили себя въ положеніе шахматнаго игрока, который желаетъ сдѣлать своему противнику знаменитый *трехъ-ходовый матъ*. Всѣмъ игрокамъ этотъ матъ извѣстенъ и носитъ у нихъ даже названіе «казеннаго»; слѣдовательно, обмануть имъ кого бы то ни было довольно трудно. Но неопытные новички въ шахматахъ все-таки на него иногда расчитываютъ и съ первыхъ же ходовъ разстраиваютъ свою игру. Нынѣшніе молодые люди считаютъ нелѣпымъ фарсомъ даже удачу этого рода; они хотятъ вести правильную, серьезную игру, и потому считаютъ вовсе ненужнымъ съ перваго же разу выводить слона и ферезь, чтобы на третьемъ ходѣ дать шахъ и матъ королю. Они навѣрное расчитываютъ, что это только повредитъ ихъ игрѣ, и потому подвигаются понемножку, заранѣе обдумавъ планъ аттаки и безпрестанно слѣдя за всѣми движеніями противника. Они также добьются своего шаха и мата; но ихъ образъ дѣйствій вѣрнѣе, хотя вначалѣ игра и не представляетъ ничего блестящаго и поразительнаго.

Вообще, молодое дѣйствующее поколѣніе нашего времени не умѣетъ блестѣть и шумѣть. Въ его голосѣ, кажется, нѣтъ кричащихъ нотъ, хотя и есть звуки очень сильные и твердые. Даже въ гнѣвѣ оно не кричитъ; тѣмъ менѣе возможенъ для него порывистый крикъ радости или умиленія. За это его упрекаютъ обыкновенно въ безстрастіи и безчувственности, и упрекаютъ несправедливо. Дѣло очень просто объясняется его взглядомъ на ходъ

событій и на свои отношенія къ нимъ. Признавая неизмѣнные законы историческаго развитія, люди нынѣшняго поколѣнія не возлагаютъ на себя несбыточныхъ надеждъ, не думаютъ, что они могутъ по произволу передѣлать исторію, не считаютъ себя избавленными отъ вліянія обстоятельствъ. Такимъ образомъ, ясное сознаніе своего положенія не допускаетъ ихъ входить въ азартъ и убиваться изъ пустяковъ. Но въ то же время они вовсе не впадаютъ въ апатію и безчувственность, потому что сознаютъ и свое значеніе. Они смотрятъ на себя какъ на одно изъ колесъ машины, какъ на одно изъ обстоятельствъ, управляющихъ ходомъ міровыхъ событій. Такъ какъ всѣ міровыя обстоятельства находятся въ связи и нѣкоторомъ взаимномъ подчиненіи, то и они подчиняются необходимости, силѣ вещей; но внѣ этого подчиненія—они никакимъ кумирамъ не поклонятся, они отстаиваютъ самостоятельность и полноправность своихъ дѣйствій противъ всѣхъ случайно возникающихъ претензій. Предоставляя другимъ кричать, гнѣваться, плакать и прыгать, они дѣлаютъ свое дѣло ровно и спокойно, плачутъ и прыгаютъ когда приводитъ къ этому сила событій, но не дѣлаютъ ни одного лишняго движенія по своему капризу, а если и сдѣлаютъ что лишнее, то не гордятся этимъ, а прямо сознаются, что сдѣлали лишнее. Они—актеры, хорошо вошедшіе въ свою роль житейской комедіи; они дѣлаютъ то, чего требуетъ роль, и не выходятъ изъ нея, несмотря на всѣ бѣснованья, хлопанье, свистъ и стукъ партера... Пусть праздные зрители бѣсятся: актеру нѣтъ надобности покрывать ихъ крикъ своимъ голосомъ. Онъ переждетъ немного; потомъ опять станетъ продолжать роль: стихнутъ же они наконецъ, если хотятъ его слушать.

Мы, однако, занесли такую аллегорію, что не знаемъ, какъ и добраться обратнымъ путемъ до литературныхъ мелочей... Чтобы не сдѣлать одного изъ тѣхъ смѣшныхъ прыжковъ, которыхъ возможность отрицали въ молодомъ поколѣніи, мы рѣшаемся оставить самый разборъ мелочей до слѣдующаго мѣсяца. Теперь же мы прибавимъ лишь нѣсколько словъ въ оправданіе длины нашихъ разсужденій. Мы хотѣли откровенно и серьезно объясниться съ людьми, которыхъ мы уважаемъ, но надъ маленькими слабостями которыхъ не можемъ не посмѣяться. Вотъ почему мы сочли нужнымъ такъ пространно и обстоятельно изложить наши понятія о различіи, какое мы дѣлаемъ между прошлымъ и нынѣшнимъ поколѣніемъ. Послѣ нашихъ объясненій должно быть понятно, кажется, почему наши собственныя симпатіи обращены къ будущему, а не къ прошедшему, и почему намъ и всей молодой, свѣжей публикѣ кажутся такъ мелки и смѣшны декламаціи пожилыхъ мудрецовъ объ общественныхъ язвахъ, адвокатурѣ, свободѣ слова, и т. д., и т. д. Во многомъ сходясь съ пожилыми мудрецами, молодое общество не сходится съ ними въ основномъ тонѣ: оно желаетъ вести серьезную рѣчь объ адвокатурѣ, гласности, и пр., но только считая ихъ не болѣе, какъ *средствами*, при которыхъ можно

прійти къ другимъ высшимъ цѣлямъ. Пожилые мудрецы, напротивъ, разсуждаютъ о нихъ такъ, какъ будто видятъ въ нихъ *цѣль*, далѣе которой ничего уже не остается... И вотъ отчего всѣ ихъ возгласы такъ забавны, всѣ ихъ стремленія такъ поражаютъ своей мелкостью и близорукостью...

Въ слѣдующей статьѣ мы укажемъ нѣкоторыя подробности того, какимъ образомъ до сихъ поръ умѣла литература наша отнестись къ вопросамъ, заданнымъ ей жизнью. Теперь же пока представимъ читателямъ только «résumé» прекрасныхъ мыслей, въ послѣднее время постоянно высказывавшихся въ нашей литературѣ. Вотъ каковы были эти мысли и вотъ какъ онѣ высказывались.

«Въ настоящее время, полное радостныхъ и благодатныхъ надеждъ, когда отрадно восходитъ на нашемъ гражданскомъ горизонтѣ прекрасная заря свѣтлаго будущаго, когда мудрыя предначинанія повсюду представляютъ новые залоги народнаго благоденствія, — каждый день, каждый часъ, каждое мгновеніе этого великаго движенія имѣетъ глубоко-знаменательный смыслъ въ великой книгѣ великихъ судебъ нашего великаго отечества, нашей родной Россіи. Неизгладимыми чертами высѣчено будетъ настоящее время на нерукотворныхъ скрижаляхъ исторіи. Какъ бы по манію волшебнаго жезла, мгновенно пробудился русскій исполинъ и, стряхнувъ съ себя дремотную лѣнь, успѣлъ съ быстротою, безпримѣрною въ исторіи вѣковъ и народовъ, совершить то, чего только тяжкими вѣковыми усиліями могъ достигнуть дряхлѣющій Западъ. Едва только кончилась безпримѣрная въ лѣтописяхъ міра борьба, въ которой русская доблесть и вѣрность стояла противъ соединенныхъ усилій могущественныхъ державъ Запада, вспомоществуемыхъ наукою, искусствомъ, богатствомъ средствъ, опытностью на моряхъ и всею ихъ военною и гражданскою организаціей,—едва кончилась эта внѣшняя борьба подъ русскою Троею— Севастополемъ, — какъ началась новая борьба — внутренняя — съ пороками и злоупотребленіями, скрывавшимися доселѣ подъ покровомъ тайны въ стѣнахъ канцелярій и во мракѣ судейскихъ архивовъ. Грозный бичъ сатиры поразилъ освященное давностію зло, пламенникъ карающаго обличенія озарилъ яркимъ свѣтомъ все злое и недостойное. Общественное сознаніе пробудилось; всякій принесъ свою лепту на общее дѣло, всякій напрягалъ свои силы для пораженія гидры гражданскихъ злоупотребленій, и заслуженный успѣхъ доблестныхъ дѣятелей, явившихся глашатаями правды и добра, ясно доказалъ зрѣлость нашей общественной среды и ея горячее сочувствіе ко всѣмъ духовнымъ интересамъ народа. Общество, въ самыхъ дремлющихъ его слояхъ, получило могущественный нравственный толчекъ, и усиленная умственная дѣятельность, воспрянувъ отъ долгаго сна, закипѣла на всемъ необъятномъ пространствѣ Россіи: всѣ живыя силы народа устремились на служеніе великому дѣлу родного просвѣщенія и совершенствованія. Въ то же время усвоеніе Россіею плодовъ европейской ци-

вилизаціи открыло ей новую арену для полезной и разумной дѣятельности въ сферѣ промышленнаго развитія и матеріальныхъ улучшеній. Въ то самое время, какъ «Морской Сборникъ» поднялъ вопросъ о воспитаніи, и Пироговъ произнесъ великія слова: «нужно воспитать человѣка»,—въ то время, какъ университеты настежь распахнули двери свои для жаждущихъ истины, въ то время, какъ умственное движеніе въ литературѣ, преслѣдуя титаническую работу человѣческой мысли въ Европѣ, содѣйствовало развитію здравыхъ понятій и разрѣшенію общественныхъ вопросовъ: — въ это самое время сѣть желѣзныхъ дорогъ готовилась уже покрыть Россію во всѣхъ направленіяхъ и начать новую эру въ исторіи ея путей сообщенія; свободная торговля получила могущественное развитіе съ пониженіемъ тарифа; потянулась къ намъ вереница купеческихъ кораблей и обозовъ; встрепенулись и зашумѣли наши фабрики; пришли въ обращеніе капиталы; тучныя нивы и благословенная почва нашей родины нашли лучшій сбытъ своимъ богатымъ произведеніямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, положено прочное основаніе многимъ общественнымъ реформамъ, многимъ благотворнымъ нововведеніямъ, подъ эгидою которыхъ должно развиваться, зрѣть и возрастать народное благоденствіе. Теперь уже снимаются съ народа оковы и открывается ему широкое поприще свободнаго труда; всюду водружается знамя гласности; въ опредѣленныхъ размѣрахъ допущена свобода печатнаго слова, какъ благороднаго выраженія общественнаго мнѣнія; заговорили о магистратурѣ и адвокатурѣ; высказано нѣсколько теплыхъ словъ о преобразованіи полиціи, провозвѣщенъ недалекій конецъ прежней системы питейныхъ откуповъ... Съ гордымъ благоговѣніемъ (если можно такъ выразиться), оглядываешься назадъ — и нѣмѣешь мыслію предъ величіемъ пути, пройденнаго нами въ послѣдніе три года, предъ необъятной громадностью всего, чего успѣло коснуться въ это время вѣяніе новой жизни. И все это—только еще начатки! Каково же будетъ совершеніе»!..

Мы не скажемъ читателю, откуда извлекли эту тираду; но, вѣрно, каждый изъ современныхъ литературныхъ дѣятелей, прочитавъ ее, признается, что тутъ и его «хоть капля меду есть»...

II.

— Я уже мигаю Лукьяну Ѳедосѣевичу, чтобъ онъ козырялъ, — нѣтъ... А, вѣдь, тутъ только козырни, — валетъ мой пикъ и беретъ...

— Позвольте, Иванъ Петровичъ, — валетъ не беретъ.

Гоголь.

Колоссальная фраза, выработанная въ послѣдніе годы нашими публицистами и приведенная нами въ концѣ прошедшей статьи, составляетъ еще не самую темную сторону современной литературы. Оттого наша первая статья имѣла еще характеръ довольно веселый. Но теперь, возобновляя свои воспоминанія о прошломъ годѣ, чтобы выставить на видъ нѣсколько литературныхъ мелочей, мы уже не чувствуемъ прежней веселости: намъ приходится говорить о фактахъ довольно мрачныхъ.

Прежде всего должны мы отмѣтить главную ложь, въ которой литература наша проявила мелочность. Ложь эта состоитъ въ высокомъ мнѣніи литературы о томъ, что она сдѣлала. Почитаешь журнальныя статейки, такъ иногда и въ самомъ дѣлѣ подумаешь, что литература у насъ — сила, что она и вопросы подымаетъ, и общественнымъ мнѣніемъ ворочаетъ... А на дѣлѣ ничего этого нѣтъ и не бывало: литература у насъ постоянно, за самыми ничтожными исключеніями, до настоящей минуты, шла не впереди, а позади общества. Говоря это, мы вовсе не имѣемъ въ виду той теоріи, по которой литература должна непремѣнно похищать съ неба огонь, подобно Прометею, и сообщать его людямъ. Нѣтъ, мы просто разумѣемъ литературу, какъ выраженіе общества и народа, и въ этомъ смыслѣ наши требованія отъ нея очень не велики. Потребности общественныя возникаютъ вслѣдствіе извѣстныхъ жизненныхъ фактовъ; толпа долго смотритъ на эти факты, не осмысливая ихъ значенія. Тутъ-то и есть настоящая работа для литературы. Люди умные, люди пишущіе стараются схватить на-лету первый проблескъ новыхъ потребностей, стараются подмѣтить, собрать, разъяснить факты, въ которыхъ заключается зародышъ новаго движенія, дать ему должное направленіе, указать его прямыя послѣдствія. Послѣ такого разсмотрѣнія идей въ литературѣ, онѣ становятся сознательнымъ достояніемъ массы и уже легко и правильно могутъ выражаться въ административной дѣятельности государства и въ нравственномъ направленіи частныхъ лицъ. Такъ обыкновенно и дѣлается въ литературахъ болѣе развитыхъ; по журнальнымъ возгласамъ можно бы было подумать, что такъ и у насъ дѣлалось въ послѣднее время. Но журнальные возгласы совершенно несправед-

ливы въ своей надменности. Просматривая журналы наши за послѣдніе годы, вы ясно увидите, что наши общественныя потребности и стремленія прежде находили себѣ выраженіе въ административной и частной экономической дѣятельности, а потомъ уже (и нерѣдко—долго спустя) переходили въ литературу. Изъ всѣхъ вопросовъ, занимавшихъ наше общество въ послѣднее время, мы не знаемъ ни одного, который дѣйствительно былъ бы *поднятъ* литературою; не говоримъ уже о томъ, что ни одинъ не былъ ею разрѣшенъ. И въ этомъ, самомъ по себѣ, нѣтъ еще ничего дурного: юной литературѣ, какъ и всякому юношѣ, прилична скромность. Многимъ (и намъ въ томъ числѣ) даже очень пріятно было видѣть, съ какою робкою осторожностью приступали наши писатели ко всякому новому предмету, какъ боязливо осматривались, не зная, хорошо ли будутъ приняты ихъ слова, какъ взвѣшивали и размѣривали свою рѣчь, приберегая себѣ лазейку на всякій случай. Мы радовались образцовой умѣренности и аккуратности нашей литературы, и очень хорошо понимали ея причину. Мы понимали, что тамъ, гдѣ литература есть занятіе кружковъ и гдѣ она назначается лишь для нѣсколькихъ избранныхъ, называемыхъ образованнымъ обществомъ, тамъ она не можетъ быть вполнѣ увѣренной въ себѣ. Въ томъ, что касается отдѣльныхъ кружковъ и исключительныхъ надобностей образованнаго класса, она еще можетъ возвышать свой голосъ. Но чуть только вопросы расширятся, чуть дѣло коснется народныхъ интересовъ, литература тотчасъ конфузится и не знаетъ, что ей дѣлать, потому что она не изъ народа вышла и кровно съ нимъ не связана. Въ этихъ случаяхъ она по необходимости ждетъ, пока общественное мнѣніе ясно выскажется или пока государственная власть вмѣшается въ дѣло. Тогда уже и писатели рѣшатся раскрыть ротъ. Все это совершенно естественно и понятно, и мы не стали бы упрекать нашу литературу за ея отсталость, если бы она сама сознавала свое безсиліе, свою юность и свое подчиненное, а не руководящее положеніе въ обществѣ. Но публицисты наши гордятся чѣмъ-то; они полагаютъ, что въ литературѣ есть какая-то иниціатива. Поэтому мы находимъ нужнымъ представить имъ нѣсколько фактовъ для смиренія ихъ гордости. Для этого далеко ходить нечего: стоитъ только перебрать важнѣйшіе вопросы, занимавшіе нашу литературу въ послѣднее время.

Первый изъ общественныхъ вопросовъ, вызвавшихъ толки въ нашей литературѣ, былъ, сколько мы помнимъ, вопросъ о желѣзныхъ дорогахъ. Но какъ вы думаете — съ чего началось дѣло? Совѣстно сказать: съ Times'а. Первое, что ободрило наши журналы писать о желѣзныхъ дорогахъ, было сообщеніе напечатаннаго въ Times'ѣ извѣстія о Рижско-Динабургской желѣзной дорогѣ. Это было въ началѣ 1856 г. Оказалось, что Рижско-Динабургская дорога была разрѣшена еще въ 1853 г., а въ сентябрѣ 1855 г. уже учрежденъ былъ комитетъ вообще для опредѣленія условій относительно сооруженія желѣзныхъ дорогъ Россіи частными ком-

паніями. Дѣло Рижской дороги пріостановлено было войною; но какъ только миръ былъ заключенъ, немедленно явилось на лондонской биржѣ объявленіе объ акціяхъ Рижско-Динабургской желѣзной дороги. Узнавши объ этомъ, и наши журналы начали толковать о желѣзныхъ дорогахъ; но и тутъ едва ли не ранѣе всѣхъ приняли участіе въ дѣлѣ офиціальные журналы — Путей Сообщенія и Министерства Государственныхъ Имуществъ. По крайней мѣрѣ, одна изъ первыхъ статей по этому предмету была «О пользѣ желѣзныхъ дорогъ для перевозки земледѣльческихъ произведеній», помѣщенная въ № 1 Журнала Министерства Государственныхъ Имуществъ, 1856 г. Прочіе же журналы уже спустя нѣсколько мѣсяцевъ принялись разсуждать объ этомъ и расходились только къ концу года, когда правительственнымъ образомъ рѣшалось дѣло о постройкѣ у насъ новыхъ дорогъ иностраннымъ обществомъ, которое и утверждено въ январѣ 1857 г. Какъ видите, вопросъ о желѣзныхъ дорогахъ довольно поздно сдѣлался достояніемъ литературы. Странно, почти необъяснимо, что даже о такой простой и невинной вещи, какъ желѣзныя дороги, литература не догадалась заговорить прежде, чѣмъ постройка ихъ рѣшена была правительственнымъ образомъ; но эта недогадливость или робость литературы—фактъ несомнѣнный. Всякій, кто читаетъ журналы наши не со вчерашняго дня, припомнитъ, что до 1856 г. литература ограничивалась на этотъ счетъ только тонкими намеками, что намъ нужны хорошіе пути сообщенія и что желѣзныя дороги суть хорошіе пути сообщенія.

Одновременно съ вопросомъ о желѣзныхъ дорогахъ, поднялся въ литературѣ вопросъ о воспитаніи. Вопросъ этотъ такъ общъ, что и въ прежнее время нельзя было не говорить о немъ, и, дѣйствительно, даже въ самое глухое время нашей литературы, нерѣдко появлялись у насъ книжки и статейки: «О задачахъ педагогики, какъ науки», «О воспитаніи дѣтей въ духѣ христіанскаго благочестія», «Объ обязанности дѣтей почитать родителей», и т. п. Но съ 1856 г. разсужденія о воспитаніи отличались нѣсколько особеннымъ характеромъ. Въ нихъ проводились слѣдующія главныя мысли: «общее образованіе важнѣе спеціальнаго; нужно, главнымъ образомъ, внушать дѣтямъ честныя стремленія и здравыя понятія о жизни, а техника всякаго рода, формальности и дисциплина суть дѣло второстепенное; въ раннемъ возрастѣ жизни важно семейное воспитаніе, и потому жизнь въ закрытыхъ заведеніяхъ вредно дѣйствуетъ на развитіе дѣтей; воспитатели и начальники учебныхъ заведеній должны знать свое дѣло и заботиться не объ одной чистотѣ зданій и соблюденіи формы воспитанниками». Всѣ эти высокія, хотя далеко не новыя, истины безпрестанно пересыпались, разумѣется, не менѣе основательными разсужденіями о томъ, что просвѣщеніе лучше невѣжества, что умѣнье танцовать и маршировать не составляетъ еще истинной образованности, и т. п. Все это было прекрасно; но кто же поднялъ этотъ важный вопросъ,

кто обратилъ на него общее вниманіе? Всѣ помнятъ, что дѣло началось съ «Морского Сборника», офиціальнаго журнала, не случайно, а намѣренно выдвинувшаго на первый планъ статьи о воспитаніи, печатно просившаго присылать ему такія статьи отвсюду. Статья г. Бема о воспитаніи помѣщена была въ 1 № «Морского Сборника» за 1856 г., и долго послѣ того журнальныя статьи по этому предмету писались «По поводу статьи г. Бема», до тѣхъ поръ, пока не явилась въ «Морскомъ же Сборникѣ» статья г. Пирогова; тогда стали писать: «По поводу Вопросовъ Жизни» и начинать словами: «въ настоящее время, когда вопросъ о воспитаніи поднятъ «Морскимъ Сборникомъ» и когда Пироговъ высказалъ столь ясный взглядъ на значеніе образованія», и пр. Значитъ, и тутъ нельзя сказать, чтобы иниціатива дана была литературой собственно. Но заслуга ея представится еще менѣе значительною, когда мы прослѣдимъ ее параллельно съ административными распоряженіями по учебнымъ вѣдомствамъ. Извѣстно, что вопросъ объ общемъ и спеціальномъ образованіи разрѣшенъ былъ правительственнымъ образомъ въ пользу общаго образованія, еще въ половинѣ 1855. Экстерны въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, преобразованіе артиллерійской и инженерной академій, предположеніе объ уничтоженіи низшихъ классовъ въ нѣкоторыхъ корпусахъ—сдѣланы были раньше, нежели хоть одинъ голосъ поднялся въ литературѣ противъ спеціальнаго образованія. Печатать объ этомъ статьи стали уже тогда, когда вопросъ былъ значительно выясненъ не только въ общественномъ сознаніи, но даже и въ административныхъ распоряженіяхъ. Такъ было и во всемъ, относящемся къ воспитанію и образованію.

Въ ноябрѣ 1855 г. разрѣшенъ былъ пріемъ неограниченнаго числа студентовъ въ университетъ; вслѣдствіе этого, въ 1856 году, увеличилось количество университетскихъ студентовъ, и когда обнародованъ былъ отчетъ Министерства Просвѣщенія за этотъ годъ, то въ литературѣ появилось нѣсколько замѣтокъ о пользѣ возможно бо́льшаго расширенія университетскаго образованія...

Въ декабрѣ 1855 года учреждены были особые попечители въ тѣхъ округахъ, гдѣ прежде эта должность соединена была съ генералъ-губернаторскою. Въ февралѣ 1856 г. повелѣно назначать въ гражданскихъ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ воспитателей не изъ военныхъ. Въ мартѣ отмѣнено преподаваніе военныхъ наукъ въ гимназіяхъ и университетахъ. Всѣ эти мѣры вызывали сочувствіе литературныхъ дѣятелей, и они, обыкновенно выждавши нѣсколько мѣсяцевъ, считали долгомъ высказать свое мнѣніе о пользѣ того, что сдѣлано. Такимъ образомъ, въ продолженіе 1857 года (отчасти и въ 1856 г., но очень мало) было высказано много дѣльныхъ мыслей о томъ, что начальникъ училища не есть только администраторъ, что воспитатель долженъ смотрѣть не за одной только выправкой воспитанниковъ, и пр.

То же самое было и во всѣхъ другихъ частностяхъ. Въ поло-

винѣ 1856 г. стали говорить о необходимости общенія нашего съ Европой. Сначала это говорилось довольно неопредѣленно, въ общихъ чертахъ, мимоходомъ, по поводу споровъ съ «Русскою Бесѣдой» о народности, потомъ прямѣе высказали, что намъ теперь нужно заимствовать многое отъ просвѣщеннаго Запада; наконецъ, какъ-то въ концѣ года, кажется по поводу статьи г. Григорьева о Грановскомъ, рѣшительно было высказано, что молодымъ ученымъ нашимъ полезно ѣздить учиться за-границу. Но это говорилось уже въ концѣ года, между тѣмъ какъ посылка молодыхъ людей за-границу была разрѣшена правительствомъ еще въ мартѣ.

Въ прошломъ году, по части просвѣщенія были въ ходу у насъ особенно два вопроса: объ измѣненіяхъ учебной части въ университетахъ и гимназіяхъ и о женскихъ школахъ. Что же, сама ли литература додумалась наконецъ до этихъ вопросовъ? Вовсе нѣтъ. Первая статья г. Бунге объ университетахъ, послѣ которой литература приняла въ вопросѣ нѣсколько живое участіе, напечатана въ «Русскомъ Вѣстникѣ», въ апрѣлѣ прошлаго года; а правительственное опредѣленіе, о необходимости преобразованій въ университетахъ и гимназіяхъ, составилось еще въ 1856 году! Преимущественно съ этой цѣлью учрежденъ, въ маѣ 1855 г., ученый комитетъ при главномъ правленіи училищъ, и въ отчетѣ министра просвѣщенія за 1856 г. указываются уже многіе недостатки учебной части и мѣры къ ихъ исправленію. Съ женскими училищами то же самое. Въ концѣ 1857 г. въ первый разъ заговорили о женскихъ институтахъ и вообще объ образованіи дѣвицъ средняго сословія; во все теченіе прошлаго года продолжались статьи объ этомъ предметѣ, преимущественно по поводу вновь открываемыхъ женскихъ училищъ. Нельзя не сказать, что и тутъ литература наша опоздала. Еще въ отчетѣ министра просвѣщенія, за 1856 г., мы читали, что такъ какъ «лица средняго состоянія, особенно въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, лишены возможности дать дочерямъ своимъ даже скромное образованіе», то министерство и составило «предположеніе объ открытіи школъ для дѣвицъ въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ и въ большихъ селеніяхъ». Вслѣдъ за этимъ предположеніемъ приступлено было тогда же и къ «соображеніямъ объ устройствѣ таковыхъ школъ на первый разъ въ губернскихъ городахъ, по мѣрѣ способовъ, какіе могутъ къ тому представиться». Въ прошломъ году предположенія перешли уже въ дѣйствительность; основано было много женскихъ открытыхъ школъ, не только правительствомъ, но даже и частными лицами. А литература только-что начала говорить о ихъ пользѣ и надобности!

Не менѣе жалкая роль выпала на долю литературы и въ толкахъ объ экономическихъ улучшеніяхъ. Первое пробужденіе у насъ экономическихъ интересовъ выразилось въ спорахъ о свободѣ торговли. Первая статья о ней явилась въ апрѣлѣ 1856 г., подъ заглавіемъ «О внѣшней торговлѣ». Статья эта не была самостоятельнымъ голосомъ русскаго журнала, въ которомъ явилась: въ ней

передавались данныя изъ книги Тенгоборскаго (собиравшаго свѣдѣнія *официальнымъ* образомъ), съ замѣчаніями г. Вернадскаго, явившагося поборникомъ свободы торговли. Но все-таки, читая статью, можно было подумать, что вотъ возбуждается вопросъ новый и важный, долженствующій войти въ общественное сознаніе и побудить къ чему-нибудь государственную дѣятельность. Такъ нѣкоторые и подумали, и вслѣдствіе того возстали на г. Вернадскаго, какъ на человѣка не любящаго отечество и противящагося властямъ, которыя будто бы и не думаютъ о свободѣ торговли. Но г. Вернадскій блистательно оправдался отъ всѣхъ обвиненій. Въ отвѣтѣ своемъ противникамъ онъ привелъ до 20 статей изъ Свода Законовъ, изъ которыхъ видно, что отстраненіе стѣсненій во внѣшней торговлѣ постоянно было въ видахъ правительства; кромѣ того, онъ сослался на пониженіе тарифа въ 1850 и 1854 г., указалъ на нѣсколько частныхъ постановленій о пониженіи пошлинъ, намекнулъ даже на то, что готовится новый тарифъ, еще болѣе пониженный; словомъ, доказалъ, что онъ въ своей статьѣ повторялъ только то, что уже давно рѣшено правительственнымъ образомъ. И дѣйствительно: отвѣтъ г. Вернадскаго появился въ началѣ іюня 1856, и въ началѣ того же іюня объявлено было повелѣніе о новомъ пересмотрѣ тарифа.

То же было съ внутренней торговлей и промышленностью. Когда въ обществѣ не только почувствовалась потребность новаго промышленнаго движенія, но даже и формулировалась она въ различныхъ предпріятіяхъ и компаніяхъ, тогда и въ журналахъ явились статьи о промышленныхъ предпріятіяхъ, о биржевыхъ операціяхъ, и пр. Ранѣе же окончанія войны, послѣ которой оживилась наша промышленность, и объ этомъ ничего не было писано... А между тѣмъ нельзя сказать, чтобъ въ публикѣ и раньше того не было сочувствія къ вопросамъ промышленности: въ послѣдніе три года страсть къ акціямъ, по увѣреніямъ нѣкоторыхъ, дошла у насъ до ажіотажа; въ акціонерныхъ компаніяхъ теперь уже обращается до 500 милліоновъ капитала; неужели же все это и родилось и выросло только съ 1856 года?...

При такомъ безсиліи литературы, даже въ интересахъ частной дѣятельности, трудно предположить, разумѣется, чтобы она выказала особенную силу въ административныхъ вопросахъ. А между тѣмъ здѣсь-то она и показала себя. Преслѣдованіе взятокъ и чиновныхъ злоупотребленій до сихъ поръ составляетъ главнѣйшій предметъ гордости нашихъ публицистовъ, беллетристовъ и даже поэтовъ. Какъ же это могло случиться? Откуда писатели наши взяли силы для возстанія противъ чиновниковъ и взятокъ? Да все оттуда же, изъ правительственныхъ распоряженій. Припомните, кто и когда былъ основателемъ юридической беллетристики, кто поднялъ въ литературѣ вопросы о злоупотребленіяхъ чиновниковъ. То былъ Щедринъ, котораго первые очерки появились *въ августѣ 1856 г.* Переберите правительственные акты 1855 и 1856 г., и вы

убѣдитесь, что это было уже очень, очень поздно. Еще въ отчетѣ министра внутреннихъ дѣлъ *за 1855 г.* мы читали слѣдующее: «что касается до служебной нравственности чиновниковъ, то хотя *она и не всегда соотвѣтствуетъ видамъ правительства*, но улучшеніе ея можетъ быть достигнуто не иначе, какъ посредствомъ улучшенія общей народной нравственности». Вмѣстѣ съ этимъ отчетомъ сдѣлался извѣстенъ циркуляръ министра, еще отъ 14 мая 1855 г., въ которомъ говорилось, что, при настоящемъ положеніи дѣлъ, «работа чиновниковъ производитъ результаты совершенно неудовлетворительные». Подобный же циркуляръ написанъ былъ въ январѣ 1856 г. министромъ государственныхъ имуществъ. Онъ говоритъ между прочимъ о томъ, что могъ иногда (хотя только въ рѣдкихъ случаяхъ) «ошибаться въ выборѣ должностныхъ лицъ и встрѣчать со стороны нѣкоторыхъ неисполнительность и даже нарушеніе обязанностей». Въ заключеніе министръ замѣчаетъ, что «въ обширномъ кругу предназначенныхъ для министерства обязанностей многое еще остается дѣлать». Та же благородная мысль выражалась неоднократно въ требованіяхъ правительства, чтобы при составленіи отчетовъ не скрывали недостатковъ управленія. При такихъ поощреніяхъ даже совѣстно было бы, кажется, литературѣ не подняться тотчасъ же на злоупотребленія; но она и тутъ еще ждала цѣлый годъ... А между тѣмъ, даже если бы ничего другого не было, ей могли бы придать смѣлости уже одни эти слова, знакомыя всей Россіи изъ манифеста 19 марта 1856 г. «Правда и милость да царствуютъ въ судахъ; каждый, подъ сѣнію законовъ, всѣмъ равно покровительствующихъ, для всѣхъ равно справедливыхъ, да наслаждается въ мирѣ плодомъ трудовъ невинныхъ». А литература и послѣ этого еще не вдругъ осмѣлилась возстать противъ неправды и беззаконія!..

«Но въ литературѣ не только взяточничество обличалось, а дѣлались, кромѣ того, указанія на недостатки настоящей организаціи судебныхъ и административныхъ учрежденій, на неудобства полицейскаго устройства, и пр. Тутъ уже литература подымалась выше своей обыкновенной роли, показывала болѣе самостоятельности, и за то справедливо можетъ гордиться своими заслугами». Нѣтъ, и здѣсь опять та же самая исторія: мысль о судебныхъ преобразованіяхъ пущена въ ходъ въ литературѣ потому только, что она давно созрѣла и приводится въ исполненіе въ законодательствѣ. Мы помнимъ, что первая или одна изъ первыхъ статей о полиціи, обратившихъ на себя общее вниманіе, начиналась ссылкою на «Le Nord», въ которомъ напечатано было извѣстіе о готовящемся у насъ преобразованіи полиціи. Да и кромѣ того, въ отчетѣ министра внутреннихъ дѣлъ за 1855 годъ, въ то время, когда въ литературѣ никто не смѣлъ заикнуться о полиціи, прямо выводилось слѣдующее заключеніе изъ фактовъ полицейскаго управленія за тотъ годъ. «Настоящая картина указываетъ на необходимость нѣкоторыхъ преобразованій въ полицейской части, тѣмъ

болѣе, что бываютъ случаи, когда полиція затрудняется въ своихъ дѣйствіяхъ по причинѣ невозможности примѣнить къ дѣйствительности нѣкоторыя предписываемыя ей правила. При огромномъ числѣ чиновниковъ, невозможно имѣть ихъ всѣхъ хорошихъ; существующее же число ихъ необходимо при настоящемъ направленіи всѣхъ вообще дѣлъ, въ особенности же полицейскихъ; ибо въ настоящее время господствуетъ вездѣ преобладаніе формъ и бумажнаго производства, нерѣдко въ ущербъ самому дѣлу. Упрощеніемъ обрядовъ дѣлопроизводства можно достигнуть уменьшенія числа должностныхъ лицъ, и тогда начальства будутъ имѣть болѣе возможности изъ среды многихъ соискателей избрать немногихъ, но достойныхъ людей». Послѣ этого тотчасъ же можно было бы, кажется, приняться писать и «Два слова о полиціи» и «О непродуктивности многописанія», и т. д. Но литература наша взялась за эти вопросы не ранѣе 1857 г.

Былъ еще общественный вопросъ, *поднятый* литературою въ прошломъ году, вопросъ объ откупахъ. О нихъ мы не будемъ распространяться, потому что въ «Современникѣ» прошлаго года объ откупахъ было довольно писано. Напомнимъ читателямъ между прочимъ статью г. Панкратьева объ откупной системѣ. Авторъ ея изумляется, съ какой стати вдругъ литература набросилась на откупа, которыхъ прежде не трогала, хотя зло отъ нихъ было не менѣе сильно; а дѣло объясняется просто: въ началѣ прошлаго года уже рѣшено было паденіе нынѣшней откупной системы, — вотъ литераторы и принялись за нее... А до этого объ откупахъ осмѣливался кричать только г. Кокоревъ...

Остается вопросъ, которымъ съ начала прошлаго года мгновенно наполнились не только всѣ журналы, но и вся земля русская, — вопросъ объ освобожденіи крестьянъ. Насколько участвовала литературы въ возбужденіи *этого* вопроса? Мы думаемъ, что *нисколько*. Конечно, намъ могутъ привести длинный рядъ выписокъ, изъ которыхъ будетъ видно, что въ литературѣ нашей постоянно высказывалось нерасположеніе къ крѣпостному праву, начиная по крайней мѣрѣ съ половины прошлаго столѣтія. Но мы вовсе и не возстаемъ противъ благонамѣренности нашихъ литературныхъ стремленій; мы хотимъ только показать, какъ они ничтожны. И чѣмъ болѣе будутъ намъ доказывать, что литература всегда имѣла благое стремленіе говорить противъ крѣпостного права, тѣмъ болѣе мы будемъ убѣждаться въ ея слабости и ничтожности. Что же она сдѣлала съ своими добрыми намѣреніями и желаніями? Пересмотрите наши журналы хоть за послѣднія десять лѣтъ: чѣмъ они наполнены? Въ цѣлый годъ едва ли два-три слабыхъ намека найдете вы на необходимость освобожденія крестьянъ. Нѣсколько яснѣе сдѣлались эти намеки съ 1856 года, да и то сначала держались все только въ сельско-хозяйственной сферѣ; и едва ли не первый заговорилъ прямо о крѣпостномъ правѣ—*г. Бланкъ*, помѣстившій въ «Трудахъ Экономическаго Общества» (№ 6, 1856 г.)

свой диѳирамбъ русскимъ помѣщикамъ. Скромнымъ возраженіемъ ему г. Безобразовъ пріобрѣлъ репутацію благороднаго и смѣлаго публициста. Возраженіе появилось въ августѣ 1856 г., а между тѣмъ отмѣненіе крѣпостного права рѣшено было правительственнымъ образомъ еще до конца восточной войны. Многія правительственныя дѣйствія уже указывали въ это время на то, что дѣло освобожденія приближается. Еще въ 1855 г. опредѣлено было въ имѣніяхъ государственныхъ имуществъ, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, переложеніе податей съ души на землю; послѣдовали указы объ улучшеніи быта крестьянъ, приписанныхъ къ Алтайскимъ горнымъ заводамъ, потомъ — относительно крѣпостныхъ въ Закавказскомъ краѣ, и пр. Въ іюлѣ 1856 года утверждено было новое положеніе о крестьянахъ Эстляндской губерніи... Наконецъ, 3-го января 1857 г., учрежденъ былъ Главный Комитетъ по крестьянскому дѣлу... А литература во все продолженіе 1857 г. ограничивалась слабыми намеками да кое-какими поучительными указаніями на другія страны... Только съ февраля прошлаго года, послѣ того, какъ уже шесть губерній изъявили свое желаніе объ улучшеніи быта крѣпостныхъ крестьянъ, литература дѣятельно принялась за крестьянскій вопросъ, да и то съ какими колебаніями!.. Но о колебаніяхъ мы будемъ говорить ниже...

Кажется, мы перебрали всѣ главнѣйшіе вопросы, *возбужденіемъ* которыхъ гордятся наши публицисты. Простое сопоставленіе фактовъ литературы съ фактами государственной дѣятельности могло убѣдить насъ, что публицисты гордятся напрасно. Каковы заслуги литературы нашей въ другихъ отношеніяхъ, мы пока не говоримъ. Но ясно одно: *она не имѣетъ ни малѣйшаго права приписывать себѣ иниціативы — ни въ одномъ изъ современныхъ общественныхъ вопросовъ*. Многимъ можетъ не понравиться такое заключеніе; но мы этого не боимся: факты наши слишкомъ ясны, чтобы изъ нихъ можно было вывести другое заключеніе, нежели то, какое мы видѣли. Мы желали бы только, чтобы нашихъ словъ не перетолковали ложнымъ образомъ, и потому хотимъ прибавить еще нѣсколько объясненій.

Насъ могутъ назвать противниками литературы и сказать, что мы совершенно напрасно обвиняемъ ее. Но это будетъ несправедливо. Мы очень хорошо понимаемъ, что быть противникомъ литературы — значитъ быть противникомъ просвѣщенія и прогресса. Мы даже и обвинять литературу вовсе не думаемъ: мы просто выставляемъ фактъ, несомнѣнный и ясный фактъ, никого не желая ни осуждать, ни восхвалять за него. Что же касается до заключенія, которое изъ него можно вывести, оно можетъ состоять развѣ въ томъ, что напрасно публицисты наши полагаютъ, будто *они поднимали* общественные вопросы...

Возраженій противъ насъ можетъ быть много, но мы заранѣе знаемъ ихъ содержаніе и считаемъ ихъ совершенно безвредными для сущности нашего мнѣнія. Намъ могутъ указать на множество

причинъ, которыя ставятъ литературу въ необходимость сдерживать свои благіе порывы; могутъ прибавить, что причины эти заключаются не во внутренней сущности литературной дѣятельности и не въ случайностяхъ литературныхъ дарованій и стремленій, а въ обстоятельствахъ чисто внѣшнихъ, зависящихъ отъ несовершенствъ самого общества нашего... Все это можетъ быть справедливо, и мы готовы, пожалуй, безъ всякихъ ограниченій принять подобное возраженіе. Но оно приведетъ насъ только къ болѣе рѣзкому выраженію нашего мнѣнія. Вмѣсто фактическаго указанія на то, что литература *не имѣла* у насъ иниціативы въ общественныхъ вопросахъ, мы, принявши приведенное возраженіе, должны будемъ сказать: литература у насъ *не можетъ имѣть* иниціативы, при современной организаціи и степени развитія русскаго общества...

«Но зачѣмъ же,—еще скажутъ намъ,—клепать на литературу, относя къ ней то, что относится совсѣмъ къ другимъ явленіямъ русской жизни? И зачѣмъ требовать отъ нея того, чего она не могла сдѣлать, *по независящимъ отъ нея обстоятельствамъ*»? какъ выражаются журналисты. На это опять тотъ же отвѣтъ: мы ничего не клеплемъ на литературу и не предъявляемъ никакихъ требованій. Мы твердимъ только одно: она ничего не сдѣлала и не имѣетъ права гордиться тѣмъ, что *поднимала* серьезные общественные вопросы. Намъ нѣтъ надобности знать, какіе великіе таланты и какія неодолимыя силы заключаются въ душахъ нашихъ публицистовъ; мы судимъ только *о дѣлахъ* ихъ и говоримъ, что дѣла эти до сихъ поръ ничтожны. Когда же вы намъ указываете на невозможность дѣйствій болѣе рѣшительныхъ и важныхъ, мы и тутъ на васъ не нападаемъ и тотчасъ же соглашаемся прибавить: «дѣйствія литературы *и не могутъ быть* не ничтожны при современномъ состояніи русскаго общества». Кажется, насъ нельзя упрекнуть въ излишней придирчивости?

Самое сильное, что противъ насъ могутъ сказать, можетъ состоять въ слѣдующемъ: «напрасно вы берете отдѣльныя явленія литературы,—скажутъ намъ,—и разсматриваете ихъ такъ отрывочно. Вникните въ самый духъ литературы послѣдняго времени, поймите общность ея стремленій, уловите эту незримую струю, которая чувствуется въ каждой журнальной повѣсти, въ каждомъ фельетонѣ, въ каждой газетной замѣткѣ, такъ же, какъ и въ спеціальныхъ ученыхъ изслѣдованіяхъ и въ серьезныхъ произведеніяхъ, отмѣченныхъ печатью сильнаго таланта. Во всемъ вы видите стремленіе впередъ, впередъ, слышите несмолкающую проповѣдь движенія, работы, публичности, прогресса. Не въ частности то или другое нововведеніе вызвано литературою; но—что гораздо важнѣе—духъ преобразованій, общее стремленіе къ дѣятельности постоянно ею возбуждалось и возбуждается». Возраженіе это имѣетъ видимую основательность, но только видимую. Въ немъ упущено изъ виду то, что не частныя явленія жизни и исторіи вытекаютъ изъ

какихъ-то общихъ началъ и отвлеченныхъ стремленій, а сами-то начала и стремленія слагаются изъ частныхъ фактовъ, опредѣляются частными нуждами и обстоятельствами. Поэтому, кто не можетъ указать ни на одинъ опредѣленный фактъ, имъ совершенный, тотъ не долженъ говорить и объ общемъ значеніи своей дѣятельности. Мы видѣли, что литература не возбудила общественной дѣятельности ни по одному изъ тѣхъ предметовъ, которыми занято теперь общее вниманіе; пусть же не говоритъ она и вообще, что возбуждала къ дѣятельности. Ежели она все кричала только: «впередъ!» да «пора за работу!» — такъ это значитъ, что она сильно ударилась во фразу и къ своей мелочности и слабости прибавила еще долю пошлости. Если же она придаетъ значеніе тѣмъ намекамъ, которые она нерѣдко дѣлала насчетъ необходимости различныхъ улучшеній, такъ она очень ошибается. Мы не отнимаемъ у этихъ намековъ нѣкотораго значенія въ томъ отношеніи, что они свидѣтельствовали о благонамѣренности и добромъ сердцѣ нашихъ писателей; мы ихъ высоко цѣнимъ и въ смыслѣ литературной смѣтливости. Доказательствомъ тому служитъ эпиграфъ настоящей статьи. Мы выбрали его именно за тѣмъ, чтобы показать, что *миганіе* литературы не укрылось отъ насъ... Но что же изъ этихъ миганій? Опять-таки сознаніе своего безсилія. Если бы ходъ былъ Ивана Петровича, а не Лукьяна Ѳедосѣича, то и мигать не нужно бы было: это первое. Второе то, что миганье Ивана Петровича легко было и не замѣтить или не понять: Лукьянъ Ѳедосѣичъ и дѣйствительно не замѣтилъ его. А третье, наконецъ, то, что если бы Лукьянъ Ѳедосѣичъ и замѣтилъ и козырнулъ, то еще Богъ вѣсть, взялъ ли бы валетъ пикъ у Ивана Петровича. Иванъ Петровичъ думаетъ, что взялъ бы, но Александръ Иванычъ увѣряетъ, что нѣтъ, потому что, говоритъ, «у Лукьяна Ѳедосѣича была семерка, и никоимъ образомъ нельзя было бы взять въ руку»... Такимъ образомъ, дѣло оказывается очень сложнымъ и разобрать его трудно...

Послѣ сдѣланныхъ объясненій, никто, мы надѣемся, не станетъ съ нами спорить о томъ, что литература, при всей своей благонамѣренности, ревности, разсудительности и прочихъ качествахъ, все-таки *не можетъ ни въ чемъ приписать себѣ инициативы*. А согласившись съ этимъ, читатели признаютъ справедливость и дальнѣйшихъ выводовъ нашихъ относительно общественнаго значенія нашей литературы. Если литература идетъ не впереди общественнаго сознанія, если она во всѣхъ своихъ разсужденіяхъ бредетъ уже по проложеннымъ тропинкамъ, говоритъ о фактѣ только послѣ его совершенія и едва рѣшается намекать даже на тѣ будущія явленія, которыхъ осуществленіе уже очень близко; если возбужденіе вопросовъ совершается не въ литературѣ, а въ обществѣ, и даже возбужденные въ обществѣ вопросы не непосредственно переходятъ въ литературу, а уже долго спустя послѣ ихъ проявленія въ административной дѣятельности; если

все это такъ, то напрасны увѣренія въ томъ, будто бы литература наша стала серьезнѣе и самостоятельнѣе. Нѣтъ; — время стало серьезнѣе, общество стало самостоятельнѣе, это можетъ быть (хотя и то еще требуетъ повѣрки очень строгой); а литература относительно общества осталась совершенно въ томъ же положеніи, какъ и прежде. Вѣдь во всѣ времена, даже по чисто-коммерческому расчету (не говоря о другихъ причинахъ), литература должна была говорить о томъ, что привлекаетъ публику. Былъ когда-то въ славѣ Дюма, — русскіе журналы украшались романами Дюма. Нравились одно время стишки къ дѣвамъ и лунѣ, — литература была запружена стишками. Вошла въ моду мооологія, — пошли литературные толки о классическихъ и славянскихъ божествахъ, пошли статейки о значеніи кочерги и исторіи ухвата. Поднялся восточный вопросъ и потомъ война, — въ литературѣ все оттѣснено было на задній планъ статьями о Турціи и разсказами о русскихъ подвигахъ въ битвахъ со врагами. Кончилась война, общество очнулось и потребовало измѣненій и улучшеній, измѣненія стали дѣлаться административнымъ порядкомъ, — и литература туда же, принялась говорить о прогрессѣ, о гласности, о взяткахъ, о крѣпостномъ правѣ, объ откупахъ, и пр. А окажись завтра, что въ нашемъ обществѣ стремленіе къ улучшеніямъ было только минутнымъ, легкомысленнымъ порывомъ, обратись общество опять къ Дюма-сыну, — и въ литературѣ воцарится Дюма-сынъ, совершенно какъ полный хозяинъ. Можно, конечно, надѣяться, что этого не будетъ; но не будетъ только потому, что нашему обществу трудно уже теперь своротить съ своей дороги. Что же касается до литературы, то она *непремѣнно* послѣдуетъ за обществомъ: мы въ этомъ твердо убѣждены, потому что прошедшіе факты уже доказали намъ, что литература у насъ не есть еще сила общественная, не есть жизненная потребность націи, а все-таки *потѣха*, какъ и прежде. Когда намъ указываютъ на новое направленіе литературы, на ея серьезность, на ея вліяніе въ обществѣ, мы всегда припоминаемъ стихи:

«Тѣшится новой игрушкой дитя»!..

Больно намъ при этомъ воспоминаніи; но что же дѣлать? Литература до сихъ поръ такъ мало выказала признаковъ мужества, что поневолѣ безнадежный стихъ припоминается при самыхъ пріятныхъ обнадеживающихъ случаяхъ...

Чтобы яснѣе показать, какъ еще мало серьезности пріобрѣла наша литература, мы хотимъ представить еще нѣсколько указаній на то, что ею сдѣлано по вопросамъ, *возбужденіемъ* которыхъ она гордится, и гордится, какъ мы видѣли, напрасно.

Преимущественное вниманіе всѣхъ газетъ и журналовъ было въ прошломъ году обращено на крестьянскій вопросъ. Какъ же онъ былъ веденъ въ литературѣ? Далеко не съ тѣмъ достоинствомъ, какого бы слѣдовало ожидать. Мы не говоримъ о тѣхъ отсталыхъ

людяхъ, которые проповѣдовали status quo въ этомъ вопросѣ, какъ, напр., гг. Григорій Бланкъ, князь Голицынъ, Николай Безобразовъ, и т. п. Противъ нихъ возставали наши же журналы и газеты: въ этомъ надобно отдать литературѣ полную справедливость. Не говоримъ и о той неровности, съ которою шла разработка вопроса въ литературѣ, то останавливаясь, то начинаясь сызнова, то опять затихая: все это могло быть слѣдствіемъ внѣшнихъ и случайныхъ причинъ. Нѣтъ, мы предлагаемъ человѣку, истинно любящему народъ нашъ, перебрать *все*, что было въ прошломъ году писано у насъ по крестьянскому вопросу и, положа руку на сердце, сказать: *такъ ли* и *о томъ ли* слѣдовало бы толковать литературѣ?... Вспомнимъ, что у насъ долгое время дѣло стояло на томъ, что свободный трудъ производительнѣе обязательнаго!... Да и этой простой истины не хотѣли понять многіе!... Затѣмъ, литература все мѣшалась на томъ: нужно ли выкупать *душу*, или ужъ такъ отпустить на покаяніе?... Да вѣдь это не въ статьяхъ Григорія Бланка, не въ «Печатной Правдѣ», а въ «Русскомъ Вѣстникѣ», напримѣръ!... Мы помнимъ, что тамъ было до десятка статей, разсматривавшихъ вопросъ съ той точки зрѣнія, что получить выкупъ за душу было бы *выгоднѣе для помѣщика*, нежели не получать!... На этомъ основаніи одинъ господинъ утверждалъ даже (въ 14 № Русск. Вѣстн., стр. 108), что въ промышленныхъ губерніяхъ не слѣдуетъ отчуждать даже усадьбы въ собственность крестьянъ, потому что крестьяне-промышленники разбредутся на промыслы, оставивъ въ усадьбахъ женъ своихъ, и «что же тогда ожидаетъ помѣщика? Продавъ въ собственность, съ выручкою въ опредѣленный срокъ, *положимъ*, *даже дорогою цѣною* (!), усадебную землю, онъ *лишится затѣмъ* всякаго дохода отъ имѣнія. Право собственности на имѣніе превратится для него въ право собственности на купчую крѣпость и планы, по которымъ усадьбы, рѣки и дороги, т. е. все производительное, отъ него отчуждено (то-то несчастный!). Могутъ возразить нѣкоторые, что, съ дозволеніемъ перехода крестьянъ, къ нему явятся другіе, не знающіе промышленности, и возьмутъ землю въ аренду для обработки. Если это и можетъ случиться, то не иначе, какъ только въ отдаленномъ потомствѣ; ибо земля въ промышленныхъ имѣніяхъ по большей части недоброкачественна», и пр... «Но если даже помѣщикъ и сумѣетъ найти средства обрабатывать свою землю, то все-таки выручка отъ этой обработки далеко не достигнетъ процентовъ на тотъ капиталъ, который онъ употребилъ на покупку имѣнія; ибо при покупкѣ онъ имѣлъ въ виду не столько хлѣбопашество, сколько промышленность, *за пользованіе которою крестьяне и платили помѣщику значительный оброкъ*». Такъ разсуждаетъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» г. *Дмоховскій*, и подобныхъ сужденій очень много найдется въ почтенномъ журналѣ, стяжавшемъ себѣ заслуженную репутацію прогрессивнаго и гуманнаго... Относительно выкупа личности въ немъ есть одно неподражаемое мѣсто, не лишенное, впро-

чемъ, нѣкотораго цинизма въ выраженіи; оно находится въ проектѣ г. *Власовскаго*, который предлагаетъ — прежде всего «*имѣность ревизской мужского пола души съ усадьбою и огородомъ* (ужъ лучше бы *огорода съ усадьбою и душою!*) опредѣлить по губерніямъ» («Русск. Вѣстн.» № 7, стр. 284). Но всѣхъ лучше разсуждаетъ о выкупѣ личности г. *А. Головачевъ*. Статья его (тоже въ 7 № «Русск. Вѣстн.») оканчивается такъ: «*нынѣ, не со страхомъ и отчаяніемъ должно смотрѣть на наше будущее, но съ твердымъ убѣжденіемъ, что намъ предстоитъ великая, блестящая перспектива*». И, какъ ручательство за славное будущее, г. Головачевъ представляетъ въ статьѣ своей такого рода разсужденія: «освобожденіе крестьянъ,—говоритъ,—*не можетъ основаться на духовно-нравственномъ чувствѣ*, а *должно имѣть основаніемъ право и законность*» (стр. 252). Какъ видите, *право и законность* противополагаются *духовно-нравственному чувству:* изъ этого уже понятно, какая блестящая перспектива ожидаетъ насъ! И дѣйствительно, вслѣдъ затѣмъ г. Головачевъ говоритъ, что по силѣ права (противнаго духовно-нравственному чувству) нуженъ непремѣнно выкупъ личности. Объ этомъ онъ разсуждаетъ очень пространно. Вотъ его слова:

«Мы разумѣемъ выкупъ не только поземельной собственности, но и пользованія трудомъ крестьянина. Намъ скажутъ, что личный трудъ не можетъ быть собственностью. Теоретически это неоспоримо, и законъ, не признающій того, есть самъ болѣе фактъ, нежели право. Но при консервативной реформѣ должно быть обращаемо вниманіе и на фактъ. Всѣмъ извѣстно, что трудъ крестьянина можно было помѣщику употреблять *такъ, какъ ему было угодно*; можно было даже продавать и покупать людей, *какъ вещи*, и при продажѣ и покупкѣ имѣлись въ виду *не только физическія, но и нравственныя достоинства* человѣка (что же изъ всего этого? читайте дальше!). Что же это, какъ не собственность? Несмотря на желаніе прикрыть благовидными словами горькую истину, она останется и въ законодательствѣ, и на практикѣ, до тѣхъ поръ, пока новый порядокъ не измѣнитъ существующихъ отношеній. Почему намъ не сознаться въ томъ, что есть несправедливаго въ нашихъ отношеніяхъ? Зло сознанное уже вполовину исправлено (что за просвѣщенные афоризмы!). *Вотъ почему* (т. е. почему же???), думаемъ мы, *не должно оставлять безъ вниманія вопросъ о выкупѣ пользованія трудомъ*, а напротивъ—посвятить и этой сторонѣ дѣла тщательное изученіе, въ надеждѣ уладить ее сколько возможно справедливѣе *безъ ущерба помѣщичьихъ интересовъ*». (Вотъ оно, послѣднее-то слово въ чемъ заключается!!) (стр. 256)...

Разсужденія г. Головачева вызвали возраженіе со стороны г. Ланге, который въ «Русскомъ же Вѣстникѣ» замѣтилъ защитнику помѣщичьихъ интересовъ, что «личность крестьянина, по *смыслу закона*, не есть помѣщичья собственность и не подлежитъ выкупу» (№ 14, стр. 140). На это г. Головачевъ отвѣчалъ, опять

въ «Русскомъ же Вѣстникѣ», что г. Ланге не понимаетъ *«точки зрѣнія законодательства»* (№ 19, стр. 124), — точь-въ-точь, какъ недавно было объявлено въ «Искрѣ». Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Головачевъ опирается на то, что и г. В. В., въ «Журналѣ Землевладѣльцевъ» (!) выразилъ сочувствіе къ его мнѣнію, — значитъ ужъ оно хорошо!... «Русскій Вѣстникъ» все это печаталъ, какъ печаталъ и статьи г. Иванова, въ которыхъ выкупъ личности проводился по началамъ политической экономіи; мало того,—онъ сочинилъ, по поводу ихъ, длинную *Замѣтку*, въ которой защищалъ и г. Иванова, и г. Головачева, объясняя, что хотя, конечно, за душу брать выкупа не слѣдуетъ, но *трудъ* крестьянина долженъ быть выкупленъ (см. «Р. В.» 1858 г. № 19, стр. 180 — 193). Въ *Замѣткѣ* этой редакція, между прочимъ, такъ выражается о статьѣ г. Головачева: «статья эта не могла бы вызвать сильнаго протеста, если бы въ ней не было случайно употреблено выраженіе: *«выкупъ личности»*. Скажите пожалуйста! Какъ будто во всѣхъ вопросахъ можно *протестовать противъ случайныхъ выраженій*, подобно тому, какъ сдѣлалъ это самъ «Русскій Вѣстникъ» противъ «Иллюстраціи»!... Тамъ можно было тѣшиться на случайныхъ выраженіяхъ; но вѣдь участь крестьянъ—не то, что грамотность или безграмотность Знакомаго Человѣка... Тутъ на фразахъ ужъ нельзя выѣзжать... Въ нашей выпискѣ изъ статьи г. Головачева нѣтъ выраженія: *выкупъ личности*; а развѣ она оттого менѣе возмутительна для всякаго читателя, не слишкомъ близко принимающаго къ сердцу *помѣщичьи интересы?*

Вообще, во многихъ печатныхъ разсужденіяхъ по поводу эмансипаціи мы видимъ, что разсуждающіе, при всемъ своемъ желаніи, не отрѣшились еще сами отъ точки зрѣнія крѣпостного права. Находилось много и такихъ, которые явно придавали крѣпостному состоянію значеніе рабства, и во всѣхъ своихъ положеніяхъ отправлялись отъ той мысли, что рабъ есть вещь... И вѣдь противъ этого никто почти не протестовалъ; крестьяне менѣе нашли себѣ защиты у передовыхъ людей нашихъ, нежели евреи. Не говоримъ ужъ о томъ, что писалось въ «Журналѣ Землевладѣльцевъ», на сочувствіе котораго постоянно опирались мнѣнія, подобныя мнѣніямъ г. Головачева. Но переберите другіе журналы: въ нихъ найдете то же самое. «Атеней» писалъ (въ № 8), что, для обезпеченія исправнаго платежа оброка освобождающимися крестьянами, необходимо предоставить помѣщику право наказывать крестьянъ самому; потому что если онъ станетъ жаловаться земской полиціи, то, «не говоря уже о недостаточной благонадежности полицейскихъ чиновниковъ, самое вмѣшательство посторонней власти должно непремѣнно произвести *нѣкоторое разстройство хозяйственныхъ отношеній»*, невыгодное для помѣщика (стр. 511). Авторъ, пользующійся почетной извѣстностью въ нашей литературѣ, не развилъ въ подробности своего мнѣнія, а то, можетъ быть, дѣло дошло бы и до того, чѣмъ впослѣдствіи такъ прославился князь

Черкасскій... Впрочемъ, права помѣщичьей власти вообще были сильно отстаиваемы нашей литературой. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» (№ 10) напечатана была статья полтавскаго помѣщика, который *сожалѣетъ о томъ, что законъ не позволяетъ продавать крестьянъ безъ земли* (стр. 85), и увѣряетъ, что крестьянамъ *послѣ освобожденія будетъ хуже.* Любопытны его доводы: «съ прекращеніемъ прямой, существовавшей доселѣ власти помѣщика надъ своими крестьянами,—говоритъ онъ, — у послѣднихъ можетъ родиться своеволіе и тѣ *пороки народа свободнаго (!)* [1]), *которымъ развиваться не допускала единственно власть помѣщика и строгій его надзоръ за поведеніемъ крестьянъ*» (стр. 91). Для устраненія безпорядковъ, полтавскій помѣщикъ желаетъ непремѣнно, чтобы власть надъ крестьянами осталась у помѣщика, и притомъ *только* у помѣщика, безъ раздѣленія ея съ обществомъ, съ выборными, съ сельскимъ начальствомъ. Въ противномъ случаѣ, говоритъ, — «право вотчинной полиціи, предоставленное помѣщику, будетъ *правомъ безправнымъ*»... Почему же? Потому что «какъ бы, напр., ни былъ дуренъ и безнравственъ крестьянинъ, котораго помѣщикъ найдетъ необходимымъ удалить изъ общества или отдать въ солдаты, — если только онъ обратится къ согласію общества, онъ встрѣтитъ оппозицію! Общество всегда защищаетъ своего негодяя, потому что *обществомъ крестьянъ руководятъ понятія совсѣмъ другія* (и слава Богу, можетъ быть,—прибавимъ мы отъ себя...): они видятъ часто похвальное удальство и завидное достоинство въ томъ, что на самомъ дѣлѣ порочно и вредно»... (стр. 92). Затѣмъ, г. полтавскій помѣщикъ утверждаетъ, что крестьяне несвободные рачительнѣе ведутъ свое хозяйство, чѣмъ свободные; что крестьянъ вообще надо *принуждать* къ дѣлу; что, получивъ свободу, они будутъ лѣнивѣе и безпечнѣе, и пр... И такая статья, по замѣчанію редакціи «Отечественныхъ Записокъ», выбрана ею, какъ *небезполезная*, изъ числа нѣсколькихъ статей, заключавшихъ «голословныя увѣренія въ томъ, что крестьяне у помѣщиковъ живутъ, какъ у Христа за пазушкой» (стр. 85). Хорошъ выборъ!...

Впрочемъ, дѣйствительно, — мысль о помѣщичьихъ правахъ и выгодахъ такъ сильна во всемъ пишущемъ классѣ, что какъ бы ни хотѣлъ человѣкъ, даже съ особенными натяжками, *перетянуть* на сторону крестьянъ,—а все *не дотянетъ*. Гуманнѣйшій и дѣльнѣйшій журналъ по крестьянскому вопросу есть, конечно, «Сельское Благоустройство». Но посмотрите, съ чѣмъ же оно выступило на свою работу. Въ 1 № его за прошлый годъ помѣщены были *вопросы* г. Кошелева, и между ними есть слѣдующій: «какъ составить урочныя положенія? *Съ согласія ли крестьянъ, или по усмотрѣнію помѣщиковъ?*» Какъ вы полагаете: вѣдь этотъ глубокомысленный вопросъ, представленный въ раздѣлительной формѣ,

[1]) Здѣсь сама редакція «Отеч. Зап.» поставила знакъ восклицанія въ скобкахъ.

(полагаетъ возможность и такого отвѣта: «конечно,—по усмотрѣнію помѣщиковъ, безъ согласія крестьянъ»... Правда, что онъ можетъ предполагать и отвѣтъ радикально противоположный... Неприличіе такого вопроса замѣчено было, сколько мы помнимъ, только «Экономическимъ Указателемъ», который такимъ образомъ оказался прогрессивнѣе «Сельскаго Благоустройства». Но и въ Экономическомъ Указателѣ» помѣщались статейки, при которыхъ вопросъ г. Кошелева могъ вовсе не показаться страннымъ. Напр., въ № 10 «Эк. Ук.» (стр. 245—246), г. Волковъ, доказывая ту истину, что крестьянинъ не имѣетъ права собственности и на усадьбу, говоритъ между прочимъ слѣдующее: «несмотря на раздѣльность, въ глазахъ помѣщика, крестьянъ съ ихъ усадьбами и огородами, крестьяне не имѣютъ права собственности и на дѣніе домомъ и огородомъ, т. е. тѣмъ, что нынѣ принято называть крестьянскою усадьбою. *Если бы все это было пріобрѣтено вольнымъ трудомъ крестьянина* (тогда бы, конечно, и толковать было не о чемъ!), тогда бы, *по закону десятильтней давности* безспорнаго владѣнія, крестьянинъ имѣлъ право требовать формальнаго акта на это владѣніе. При обязательномъ трудѣ подобнаго права быть не можетъ; помѣщикъ снабдилъ крестьянина картеріаломъ; онъ *же далъ ему время* для домашней работы и даже заставлялъ иногда поневолѣ обстраиваться (трудъ-то себѣ задавалъ какой!), исправлять строеніе, понуждалъ разводить картофель, дарилъ корову и лошадь, поддерживалъ въ разныхъ неудачахъ или несчастіяхъ, *выплачивалъ за крестьянина казенныя недоимости* и пр. *Мало того* — (что же еще больше? слушайте!) онъ... *переводилъ крестьянъ изъ одной деревни въ другую, выводилъ на пустоши* (и это благодѣяніе!), селилъ дворовыхъ на крестьянство, снабжая ихъ всѣмъ хозяйствомъ на свой счетъ *или* (хорошо «или») *бралъ во дворъ* людей, уничтожая ихъ усадебное пепелище»... И вѣдь все это,—вы понимаете,—говорится къ тому, чтобы доказать, что крестьяне были *въ полной волѣ* помѣщика и, *слѣдовательно* (?), по закону должны таковыми остаться на неопредѣленныя времена...

Въ такомъ родѣ цѣлый годъ подвизалась наша литература относительно вопросовъ объ освобожденіи крестьянъ. Говоримъ вообще «*литература*», потому что приведенные нами примѣры представляютъ—если не точную характеристику прошлогоднихъ разсужденій о крестьянскомъ дѣлѣ, то уже во всякомъ случаѣ и не исключенія... Мы не хотимъ подбирать болѣе фактовъ, потому что это очень непріятно; но ежели бы потребовалось, мы могли бы представить не десятки, а сотни указаній на статьи, въ которыхъ плантаторская точка зрѣнія, примѣненная къ понятію о *правѣ и законности*, находилась въ совершеннѣйшемъ разладѣ съ *духовно нравственнымъ чувствомъ*, противъ котораго вооружался г. Голвачевъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Теперь замѣтимъ только одно литература наша только съ нынѣшняго года занялась вопросо

о мѣрахъ къ выкупу земли; въ прошедшемъ году почти не тронутъ былъ этотъ вопросъ. Вопросъ же о предоставленіи крестьянамъ гражданскихъ правъ, прежде чѣмъ пойдетъ рѣчь объ экономическихъ сдѣлкахъ съ ними и по поводу ихъ, этотъ вопросъ до сихъ поръ еще не поставленъ въ нашей литературѣ. А исключивши эти два предмета, о чемъ и могла говорить литература, какъ не о нравственныхъ и хозяйственныхъ ущербахъ какіе могутъ потерпѣть помѣщики отъ освобожденія крестьянъ?..

Напрасно поэтому удивляться отсталости нѣкоторыхъ помѣщиковъ, какъ удивлялась, напр., въ декабрѣ прошлаго года «Библіотека для Чтенія», вообще мало принимавшая участія въ крестьянскомъ вопросѣ. Она изумилась свѣденіямъ изъ Ярославля, напечатаннымъ въ № 44 «Экономическаго Указателя» и гласившимъ слѣдующее:

«Первые Высочайшіе рескрипты по крестьянскому дѣлу застали дворянство Ярославской губерніи врасплохъ; оно нисколько не было приготовлено къ эманципаціи крестьянъ, не приготовлено потому, что не откуда ему было познакомиться *съ такими понятіями* (!): по-русски, кромѣ перевода старинаго сочиненія графа Стройновскаго, ничего не было написано объ этомъ предметѣ: иностранныя сочиненія большинству дворянъ *недоступны* (?), а извѣстное въ рукописи сочиненіе знаменитаго нашего юриста, К. Д. К., *по трудности копированія*, было доступно немногимъ. Оттого, *будучи поставлено* въ необходимость дѣйствовать, дворянство отличалось необыкновенной медлительностью. Такъ, когда дворяне нѣкоторыхъ губерній изъявили желаніе на составленіе комитетовъ по крестьянскому дѣлу еще въ концѣ прошедшаго года, дворянство здѣшней губерніи такое желаніе изъявило лишь въ апрѣлѣ текущаго года, въ числѣ послѣднихъ. Потомъ, когда въ первой половинѣ мая полученъ былъ Высочайшій рескриптъ по этому дѣлу, то предписанное имъ составленіе комитета отложили до половины августа. Далѣе, избравши депутатовъ въ половинѣ августа, вновь отложили открытіе комитета до 1-го октября. Выигранное такими отсрочками время, дворянство употребило на то, чтобы *привыкнуть къ новымъ понятіямъ и изучить ихъ*, для чего появилось *даже въ этомъ классѣ* (къ чему здѣсь *даже* относится?) нѣсколько рукописныхъ сочиненій *за* и *противъ* реформы. Однако *урокъ* (?) былъ такъ тяжелъ, что и доселѣ не только большинство сословія, но даже передовые люди въ немъ не ознакомились достаточно съ вопросомъ, что явствуетъ, съ одной стороны, изъ медленнаго исполненія Высочайшаго рескрипта, а съ другой— изъ того обстоятельства, что въ литературѣ не появилось ни одного сочиненія, написаннаго ярославскимъ помѣщикомъ».

«Библіотека для Чтенія» пришла въ ужасъ отъ столь печальнаго факта и воскликнула съ благороднымъ негодованіемъ: «въ 1858 г., *во время всеобщаго движенія впередъ* (въ настоящее время, когда... и пр.), являлся цѣлая масса людей, занимающихъ почет-

мѣсто въ обществѣ, но которые не приготовлены къ эманси-
ди только потому, что неоткуда было познакомиться съ такими
нятіями, какъ будто человѣчественныя идеи почерпаются только
ъ книгъ,—какъ будто практическій смыслъ помѣщика не могъ
казать ему, что онъ долженъ сдѣлать для своего крестьянина и
акъ сдѣлать. Фактъ замѣчательный, и мы только удивляемся, что на
фактъ вовсе не замѣчательный, и мы только удивляемся, что на
одно ярославское дворянство взвалили то, что обще всей Россіи
и что такъ ярко выразилось даже во всей литературѣ нашей. Еще
ярославское дворянство оказалось очень благоразумнымъ, если дѣй-
ствительно не хотѣло съѣзжаться прежде, чѣмъ привыкнетъ къ
новымъ понятіямъ и изучитъ ихъ. А другіе — такъ преспокойно
принимались разсуждать, даже печатно, не пріобрѣтши не только
привычки къ новымъ понятіямъ, но даже самыхъ первыхъ началъ
грамотности. Примѣръ подобной отваги недавно обнародовалъ
тульскій помѣщикъ *Мещериновъ*. Онъ прислалъ въ «Журналъ Зе-
млевладѣльцевъ», безграмотную статейку; ее поправили, сократили
и напечатали. Авторъ обратился съ жалобою въ «Московскія Вѣ-
домости», объявляя, что не признаетъ своею статью, напечатан-
ную въ «Журналѣ Землевладѣльцевъ», «потому что то же мнѣ-
ніе онъ имѣлъ честь представить на обсужденіе Тульскаго коми-
тета, и потому, что всякое *литературное произведеніе* есть зако-
ная собственность сочинителя, подлежащая цензурѣ, которая или
пропускаетъ изданіе или безъ приправокъ возвращаетъ по при-
надлежности» («Моск. Вѣдом.» № 5, 1859 г.). Тогда «Журналъ
Землевладѣльцевъ» (въ № 15) напечаталъ статью г. Мещеринова
въ ея первоначальномъ видѣ. Вотъ выдержка изъ нея, дающая
понятіе о ея направленіи и о слогѣ этого *литературнаго произ-
веденія*. «Новая Система отчиннаго управленія, разъединяетъ по-
мѣщика съ крестьяниномъ. Послѣдній съ преобретеніемъ покуп-
кою усадьбы, Дѣлается соучаствующимъ владѣльцемъ дачи, только
что размежеванной особнякомъ изъ черезполосности. — Дѣлается
невольно чуждымъ попеченія владѣльца, переходя подъ власть
распоряженія Общины и мирскихъ сходокъ, а потому дѣлается
чуждъ участія владѣльца, относительно, неисчислимыхъ пособій и
многихъ хозяйственныхъ преимуществъ на пользу крестьянина. При-
томъ обязательная продажа усадебъ, при безпорядочной жизни кре-
стьянина невольно оставляетъ его опаснымъ сосѣдомъ, поблизости по-
ложенія усадебъ. Разныя неуловимыя безпорядки и нарушеніе предо-
сторожностей отъ пожара. Грозятъ истребленіемъ и поставятъ вла-
дѣльца въ необходимость, *даже при сохраненіи правъ на полицей-
скія мѣры*, искать безъ пользы, посредничества мѣстной полиціи»
И повѣрьте, что г. Мещериновъ вовсе не послѣдній представи-
тель этой литературы, которая такъ гордо кричитъ о своихъ з
слугахъ для общества, о своихъ просвѣщенныхъ и гуманныхъ в
зрѣніяхъ на современные вопросы... И послѣ этого еще находя
люди, сокрушающіеся о томъ, что ни одного сочиненія по

стьянскому вопросу не написано ярославскими помѣщиками! Какъ будто великая честь попасть въ эту литературу, гдѣ подвизаются *сочинители*, подобные г. Мещеринову, гдѣ имѣютъ право гражданства *литературныя произведенія*, подобныя его мнѣнію!

Съ тяжелымъ чувствомъ оставляемъ мы прошлогоднюю литературу крестьянскаго вопроса и обращаемся къ другимъ, близкимъ ему предметамъ, занимавшимъ въ прошломъ году нашу журналистику. Эти предметы — общинное владѣніе, грамотность народа и тѣлесное наказаніе. Къ сожалѣнію, и здѣсь мало отраднаго.

Вопросъ объ общинѣ возбужденъ былъ и поддерживался постоянно въ «Современникѣ». Поэтому, мы не имѣемъ надобности распространяться о немъ. Но не можемъ не напомнить читателямъ, какой хаосъ всѣхъ понятій — философскихъ, историческихъ и экономическихъ — представлялся въ этомъ спорѣ. Сначала, когда г. Чернышевскій вызвалъ «Экономическій Указатель» на споръ объ общинѣ, то г. Вернадскій объявилъ, что рѣшается отвѣчать ему только ради самоувѣренности его тона, но что, впрочемъ, не считаетъ подобный споръ *ни важнымъ*, *ни современнымъ*. Прошелъ годъ, и всѣ журналы, всѣ газеты наши наполнились статьями объ общинѣ. Одна изъ статей (въ 44 № Атенея) начиналась уже такъ: «существованіе общиннаго владѣнія, какъ факта у насъ въ Россіи, и какъ теоріи, волнующей умы на Западѣ, *ставитъ его на очередь вопросовъ*, *почти всемірно-любопытныхъ*». Вотъ какъ перевернулось дѣло въ теченіе одного года! Но какъ разсуждали объ этомъ всемірно-любопытномъ вопросѣ? Удивительно разсуждали! Въ самомъ разгарѣ споровъ, вдругъ «Русскій Вѣстникъ» предъявилъ свое собственное убѣжденіе объ общинѣ. Онъ выразился очень категорически: «объ общинномъ владѣніи *не можетъ болѣе итти серьезной рѣчи*. Много, слишкомъ много было уже сказано противъ этой формы владѣнія, и говорить болѣе, значило бы гоняться съ обухомъ за мухой. *Отстаивать общинное владѣніе невозможно*; по крайней мѣрѣ, невозможно для людей, уважающихъ слово и не способныхъ жертвовать очевидностью истины упрямству самолюбія» (Р. В.» № 17, стр. 187). А чтобы показать, какіе это люди «способные жертвовать истиною», и пр., «Русскій Вѣстникъ» подробно изображаетъ ихъ. Онъ дѣлитъ защитниковъ общины на двѣ категоріи: одни почтенные люди, — только уже очень глупы, потому что стоятъ на одномъ: credo, quia absurdum est; другіе,— но о другихъ вотъ какъ отзывается «Русскій Вѣстникъ»:

«Кромѣ этихъ, впрочемъ, почтенныхъ и уважаемыхъ нами голосовъ, раздавались еще голоса иного свойства въ пользу общиннаго владѣнія. *Но эти были свободны отъ всякаго энтузіазма и не имѣли никакихъ убѣжденій.* Въ головѣ этихъ господъ сложился *нерастворимый осадокъ отъ верхогляднаго чтенія всякаго рода брошюрокъ*, которыхъ все достоинство въ ихъ глазахъ состояло только въ томъ, что онѣ были направлены противъ политической эко-

номіи и вообще *противъ всѣхъ началъ яснаго мышленія и знанія.* Въ нихъ *не замѣтно признаковъ собственной мысли*, и видно, что ни до какого результата не доходили они испытаніемъ собственнаго ума; но тѣмъ тверже засѣли въ нихъ *результаты всякихъ броженій чужой мысли.* Все встрѣчное и поперечное приравниваютъ они къ этимъ *осадкамъ, замѣняющимъ для нихъ собственный умъ*; въ чемъ замѣтятъ они какое-нибудь согласіе, какое-нибудь сродство съ словами ихъ авторитетовъ, то становится для нихъ предметомъ живѣйшихъ сочувствій, и они съ задорнымъ ожесточеніемъ защищаютъ свою святыню, оспаривая все встрѣчное и поперечное, что не подойдетъ подъ цвѣтъ и тонъ *жалкихъ суррогатовъ истины*, служащихъ обильнѣйшимъ источникомъ если не мысли, то *удалыхъ словъ и ухорскихъ фразъ.* Эти господа не обошли и русской общины. Ихъ плѣнило въ ней общинное владѣніе, потому что кто-то и когда-то сказалъ что-то въ похвалу общиннаго владѣнія, и *потому еще, что оно радикально противорѣчитъ всѣмъ законамъ политической экономіи.* Для всякаго другого такое противорѣчіе не было бы по крайней мѣрѣ предметомъ особенной радости; но для этихъ господъ именно это-то самое несогласіе съ наукою и служитъ сильнѣйшею причиной пристрастія къ общинному владѣнію. Не то чтобы они дорожили своимъ мнѣніемъ, вопреки наукѣ; этого мало: они потому только и начинаютъ считать какое-либо мнѣніе своимъ, *только потому* и цѣпляются за него, *только потому* и дорожатъ имъ, *что оно отвергается мыслію и противорѣчитъ наукѣ.* Къ сожалѣнію, эти *задорно-крикливые голоса, которыхъ наглость равняется только ихъ невѣжеству и безсмыслію*, слишкомъ часто и не безъ эффекта раздаются въ нашей литературѣ, увлекая за собою *ватагу праздныхъ головъ, въ которыхъ звенятъ только слова за отсутствіемъ мысли.* Для этихъ *крикуновъ* нѣтъ ничего завѣтнаго; мы слышали, съ какимъ *цинизмомъ* возставали они *противъ исторіи*, противъ *правъ личности, льготъ общественныхъ, науки, образованія*; все готовы были они нести на свой *мерзостный костеръ* изъ угожденія идоламъ, которымъ они *поработили* себя, хотя нѣтъ никакого сомнѣнія, что *стоило бы только этимъ идоламъ кивнуть пальцемъ въ другую сторону, и жрецы ихъ запѣли бы мгновенно иную пѣсню и разложили бы иной костеръ*».

Кажется,—достаточно сильно: видно, что съ убѣжденіемъ написано! И что же? Вслѣдъ затѣмъ начинается рѣчь въ такомъ родѣ: вы всѣ—глупцы и невѣжды; вы хвалите общину, да не ту; общину и нужно защищать, да только не ту, какая есть и какую вы знаете, а другую, какую мы вамъ покажемъ. И начинается показыванье новой общины. Затѣмъ немедленно въ литературѣ раздается смѣхъ. «Атеней» сообщаетъ публикѣ рецептъ, по которому составлена статья «Русскаго Вѣстника». «Возьми стараго, выдохшагося взгляда на происхожденіе права поземельной собственности, смѣшай съ двойнымъ количествомъ школьныхъ оши-

бокъ противъ исторіи, мелко-на-мелко истолки, и брось эту пыль въ глаза читающему люду, предваривъ напередъ, что всякій, кто назоветъ ее настоящимъ именемъ, — безсмысленный невѣжда, пустой болтунъ, враль, лишенный *даже* энтузіазма (а извѣстно, что въ наше время энтузіазмъ дешевле всего: онъ отпускается почти задаромъ, потому что мало требуется)» («Ат.» № 40, стр. 329). Потомъ «Сельское Благоустройство» отозвалось о статьѣ «Русскаго Вѣстника» почти тѣми же словами, какими самъ онъ говорилъ объ общинномъ владѣніи, т. е. что о статьѣ этой «странно говорить серьезно» («С. Б.» № XI, стр. 99). Естественно, что при такихъ взаимныхъ отношеніяхъ противниковъ запутанность вопроса увеличилась. Она увеличилась еще больше, когда въ споръ объ общинѣ вмѣшались разныя отвлеченныя соображенія изъ наукъ, такъ сказать, духовныхъ. Такъ, напр., въ 50 № «Атенея» г. Савичъ, въ статьѣ «Нѣсколько мыслей объ общинномъ владѣніи землею», внезапно заговорилъ, безъ всякой видимой побудительной причины, *«объ отношеніи идеала человѣческаго блаженства къ идеалу счастья собачьяго»!* Онъ высказалъ мысли весьма высокія. «Если,—говоритъ,—счастье есть удовлетвореніе потребностей, а въ натурѣ человѣка нельзя представить такихъ потребностей, для которыхъ нѣтъ удовлетворенія во всей вселенной, то, слѣдовательно, счастливъ тотъ, кто имѣетъ потребности и можетъ удовлетворять имъ? Какъ похоже оно (т. е. счастье, должно быть) на счастье собаки моей за овсянкой или голоднаго волка, разрывающаго добычу свою!... А мнѣ казалось, что идеалъ *нашею* счастья въ Богѣ, и къ нему стремится человѣкъ двумя путями: въ религіи — чувствомъ, въ наукѣ — умомъ; я думалъ, что чувство это ненасытимо, а умъ ограниченъ условіями матеріи; я думалъ поэтому, что истиннаго счастья нѣтъ на землѣ для человѣка, а есть только *довольство* да *наслажденіе*» (стр 444). Все это очень добродѣтельно, но какъ вяжется съ общиннымъ владѣніемъ — рѣшить трудно. И въ такихъ-то преніяхъ прошелъ цѣлый годъ! Къ концу года, г. Чернышевскій нашелся вынужденнымъ преподать своимъ противникамъ нѣсколько элементарныхъ свѣдѣній философскихъ и политико-экономическихъ. Читатели наши знаютъ, съ какимъ благодушіемъ и терпѣніемъ исполняетъ г. Чернышевскій свою задачу. Въ то же время г. Кавелинъ напечаталъ въ «Атенеѣ» весьма серьезную статью въ защиту общины. Опять, стало быть, вопреки «Русскому Вѣстнику», пошла *серьезная* рѣчь объ общинномъ владѣніи!...

За то вопросъ о грамотности сдѣлалъ въ теченіе прошлаго года истинно-замѣчательные успѣхи. *Почти* рѣшено, что грамота не ведетъ народъ къ погибели. Съ благородной прямотою и смѣлостью выразился одинъ изъ защитниковъ грамотности, что *«вреда отъ грамотности нельзя ждать большого!»* («Земл. Газ.» № 98, стр. 786). Вопросъ остановился уже на томъ, какія знанія нужны крестьянамъ и какихъ не требуется. Разумѣется, высказаны были

мнѣнія, что равенство образованія всѣхъ сословій въ государствѣ есть утопія; что для высшихъ знаній (какъ, напр., знаніе законовъ, исторіи, и т. п.) есть «нѣкоторое количество людей, занимающихъ въ организаціи государства извѣстное мѣсто и значеніе» («Земл. Газ.» №№ 15, 44, 45). Противъ этого мнѣнія говорили нѣкоторые довольно неопредѣленными фразами; но вообще съ нимъ соглашались. Затѣмъ, для крестьянъ опредѣлялось ученіе: читать, писать и законъ Божій; преимущественно же указывалось на *нравственное воспитаніе*, состоящее въ исполненіи своихъ обязанностей въ отношеніи къ властямъ. Впрочемъ, особенныхъ подробностей не было высказано: все еще упивалось повтореніемъ новой, съ такимъ трудомъ съ бою взятой истины, что отъ образованія крестьянъ нельзя ожидать большого вреда... И то хорошо!

Вопросъ о тѣлесномъ наказаніи тоже былъ на очереди; но рѣшился какъ-то странно. Нужно, впрочемъ, замѣтить предварительно, что если кто подумаетъ, будто дѣло шло въ литературѣ объ отмѣненіи розогъ, тотъ жестоко ошибается. Нѣтъ, до этого литература еще не договорилась. Дѣло шло ни больше ни меньше какъ о томъ, кому сѣчь, помѣщику ли или сельскому управленію. Ранѣе всѣхъ, кажется, поднялъ этотъ любопытный вопросъ нѣкто г. Петрово-Соловово, предложившій его въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» въ такой формѣ: «какимъ количествомъ ударовъ розгами владѣлецъ можетъ наказывать срочно-обязанныхъ крестьянъ *по своему желанію и усмотрѣнію?*» На вопросъ, конечно, явились отвѣты. Въ «Журналѣ Землевладѣльцевъ» г. Рощаковскій высказалъ гуманную мысль, что не слѣдуетъ отстаивать 40 ударовъ, а можно спуститься до 20. Князь Черкасскій, въ «Сельскомъ Благоустройствѣ», поступилъ еще гуманнѣе: онъ спустилъ еще десять процентовъ и согласился уменьшить число ударовъ, предоставленныхъ въ вѣдѣніе дворянства, до 18. Но тутъ-то (не знаемъ ужъ почему,—потому, должно быть, что въ послѣдовательныхъ уступкахъ увидѣли слабость противниковъ) и возстали благородные рыцари, совершенно разбившіе князя Черкасскаго. Кончилось тѣмъ, что онъ отказался и отъ 18 ударовъ въ пользу дворянства и уступилъ ихъ сельскому управленію. Но тутъ, разумѣется, рыцари ободрились еще болѣе и начали пускать грязью въ бѣгущаго съ поля битвы князя Черкасскаго и въ друзей его. Но бѣглецы скрылись, а рыцари оказались перепачканными въ грязи. Затѣмъ все стихло...

Не столь счастливо, какъ народъ, отдѣлались дѣти: о нихъ наши передовые люди все-еще *сомнѣвались* въ прошломъ году: сѣчь или не сѣчь, по своему желанію и усмотрѣнію. Впрочемъ, и то хорошо, что сомнѣвались: сомнѣніе есть путь къ истинѣ.

Такимъ образомъ, на поприщѣ грамоты и розогъ успѣхи наши въ прошломъ году несомнѣнны. Много уже сдѣлано; говоря словами одной современной пѣсенки:

«Мы обсуждали очень тонко,
(Хоть не рѣшили въ этотъ годъ),

Пороть ли розгами ребенка,
Учить ли грамотѣ народъ»?

Вообще, о народномъ просвѣщеніи у насъ сильно говорили въ прошедшемъ году. Особенно занимали всѣхъ вопросы о женскомъ образованіи и объ отношеніи гимназій къ университетамъ. Согласились единодушно, что дѣвочекъ учить *тоже нужно*; съ большою радостью привѣтствовали открытіе женскихъ школъ. Что касается до направленія и характера женскаго образованія, на этомъ поприщѣ подвизался преимущественно г. Аппельротъ, желавшій вообще проводить воспитаніе «отъ центра домашняго быта къ периферіи всемірной жизни». Впрочемъ, литература на этотъ предметъ какъ-то мало обратила вниманія. На за то учрежденію женскихъ школъ она ужасно радовалась!... Въ простотѣ души она не стыдилась хвалиться тѣмъ, что у насъ *наконецъ будутъ* женскія школы!... Изъ этого видно, что она считаетъ женскія школы въ нѣкоторомъ родѣ роскошью, безъ которой можно и обойтись, потому что нельзя же считать великимъ подвигомъ удовлетвореніе необходимѣйшихъ своихъ потребностей, нельзя серьезно восторгаться и хвалиться тѣмъ, что я ночью ложусь спать, поутру просыпаюсь и за обѣдомъ ѣмъ.

Объ университетахъ и гимназіяхъ тоже хорошо говорили. Одинъ профессоръ сказалъ, что въ университетѣ студенты ничему не выучиваются, потому что въ гимназіяхъ плохо бываютъ подготовлены къ слушанію ученыхъ лекцій профессоровъ («Атеней», № 38). А гимназіи оттого приготовляютъ плохо, утверждалъ тотъ же профессоръ, уже вмѣстѣ съ другимъ («Журн. для Восп.» № 2), что университету не предоставлено контроля надъ ними. Но профессорамъ съ разныхъ сторонъ дали сильный отпоръ. Они глумились надъ гимназистами, поступающими въ университетъ, и разсказывали уморительные анекдоты, случавшіеся съ молодыми людьми на пріемныхъ экзаменахъ; а имъ отвѣчали еще болѣе уморительными анекдотами о профессорскихъ лекціяхъ. Профессоръ говорилъ: «что дѣлать съ тупоумнымъ ученикомъ, который на экзаменѣ отвѣчаетъ слово въ слово по скверному учебнику?» А ему отвѣчали: «что же дѣлать ученику, ежели профессора и вообще знающіе люди презираютъ составленіе учебниковъ и предоставляютъ это дѣло какому-нибудь г. Зуеву?»—Профессоръ говорилъ: «если ученикъ не знаетъ географіи, то, читая, напр., исторію, не могу же я замѣчать ему, что Ліонъ находится во Франціи, а Тибръ течетъ въ Италіи»... А ему отвѣчали: «отчего же бы и нѣтъ? Это было бы и лучше и короче, чѣмъ читать, напр., цѣлый трактатъ о разныхъ породахъ голубей и объ ихъ воспитаніи, какъ дѣлалъ одинъ профессоръ по поводу слова, встрѣтившагося въ какомъ-то памятникѣ»... И анекдоты о профессорахъ были отличные! Словомъ — литература показала себя!

По этой же части еще былъ одинъ важный вопросъ, котораго, однако, такъ и не рѣшила литература. Дѣло было въ томъ: нужно ли учителямъ (особенно уѣзднымъ) внутренно возвыситься до того,

чтобы заслужить сначала уваженіе общества, а потомъ, за добродѣтель, хорошее жалованье; или же нужно учителямъ прибавить жалованье для того, чтобы они могли получше держать себя въ обществѣ. Въ «Журналѣ для Воспитанія» почти цѣлый годъ объ этомъ препиранія производились; «Атеней», въ лицѣ г. Некрасова, объявилъ себя за внутреннее возвеличеніе учителей; г. Гаяринъ, въ «Русскомъ Вѣстникѣ», объявилъ себя за прибавку жалованья. Но окончательнаго рѣшенія по столь многотрудному вопросу до сихъ поръ еще не произнесено... И, кажется, не литература произнесетъ его: прибавка жалованья учителямъ уже рѣшена, говорятъ, въ министерствѣ просвѣщенія.

Не пускаясь въ подробности, укажемъ еще въ общихъ чертахъ на два современнѣйшіе вопроса—о *взяткахъ* и *гласности*. Первый вопросъ, впрочемъ, въ прошедшемъ году потерялъ уже свою самостоятельность (въ этомъ, дѣйствительно, можно видѣть *прогрессъ литературы*) и примкнулъ къ вопросу о гласности, которая разсматривалась у насъ преимущественно въ примѣненіи къ судопроизводству. Разумѣется, тутъ цѣлая половина разсужденій заключалась въ опроверженіи сочиненнаго нашими же писателями мнѣнія о томъ, что гласность гибельна для блага государства. Сколько мы ни прислушивались къ общественному мнѣнію здѣсь, въ Петербургѣ, сколько ни разспрашивали людей, жившихъ въ послѣднее время въ провинціяхъ, — ни отъ кого мы не слыхали, чтобы гласность считалась гибельною въ нашемъ обществѣ, по крайней мѣрѣ въ томъ, которое читаетъ журналы. А между тѣмъ, журнальныя статейки безпрестанно сражались съ невидимыми, воображаемыми противниками гласности... Есть, конечно, противники: кто же станетъ отвергать это? Но вѣдь они стоятъ ниже общественнаго сознанія. Вѣдь уже самый фактъ нерасположенія къ гласности доказываетъ, что они—или изъ ума вышли, или не имѣютъ ни малѣйшей добросовѣстности? Зачѣмъ же литература такъ много о нихъ заботится, такъ много придаетъ имъ значенія? Стало быть, они имѣютъ для нея какую-то непостижимую важность!... Хороша же литература, для которой имѣютъ важность такіе господа, совершенно уже отрѣшенные отъ всякаго здраваго смысла!... И послѣ этого еще литература имѣетъ наивность воображать, что она въ состояніи руководить общество на пути прогресса!.., Неужели она не понимаетъ, что общество стоитъ уже выше подобныхъ внушеній и подобныхъ руководителей? Неужели литература не видитъ, что общество требуетъ пищи, а не разсужденій о томъ, что не ѣвши можно умереть съ голоду?.., Хорошъ былъ бы поваръ, который каждое утро являлся бы къ вамъ и посвящалъ по нѣскольку часовъ на объясненіе того, что человѣкъ долженъ ѣсть, что кушанье надобно варить непремѣнно съ солью, что безъ соли оно не будетъ имѣть вкуса, и т. п. Вѣроятно, вы скоро приказали бы ему замолчать или, наконецъ, совсѣмъ прогнали бы его...

Но кромѣ разсужденій о пользѣ гласности, были и дѣйстви-

тельныя ея примѣненія. Вы помните ихъ, читатель; а если не помните, то обратитесь къ «Свистку»: тамъ ихъ цѣлая коллекція... «Свистокъ» можетъ ими восхищаться, сколько ему угодно; но мы, признаемся, не видимъ спасенія Россіи въ подобномъ примѣненіи гласности.

Одинъ изъ видовъ гласности составляла обличительныя литература. Въ этой отрасли, кромѣ безыменности, обращаетъ на себя вниманіе еще мелкота страшная. По поводу разныхъ литературныхъ явленій прошлаго года, въ родѣ комедій г. Львова, стихотвореній г. Розенгейма, и т. п., мы не разъ уже разсуждали объ этомъ предметѣ. Теперь припомнимъ только общій характеръ обличительной литературы послѣдняго времени. Она вся погрузилась въ изобличеніе чиновниковъ низшихъ судебныхъ инстанцій. Писарямъ, становымъ, магистратскимъ секретарямъ, квартальнымъ надзирателямъ житья не было! Доставалось также и сотскимъ, и городовымъ, и т. п. Все это, конечно, хорошо въ своемъ родѣ: зачѣмъ же и городовому грубо обращаться съ дворниками? Нужно и его обличить... Но вслушайтесь въ тонъ этихъ обличеній. Вѣдь каждый авторъ говоритъ объ этомъ такъ, какъ будто бы все зло въ Россіи происходитъ только оттого, что становые нечестны и городовые грубы! Вѣдь до сихъ поръ многіе изъ обличителей не отрѣшились отъ достойно-осмѣянной точки зрѣнія Надимова, увѣряющаго, что для благоденствія Россіи нужно только на мелкія должности поступить богатымъ дворянамъ!... А пора бы ужъ понять всю недостаточность подобнаго воззрѣнія. Оно, конечно, справедливо въ томъ отношеніи, что господамъ, подобнымъ Надимову, все-таки полезнѣе занимать мелкія должности, чѣмъ важныя; при меньшемъ кругѣ дѣятельности они меньше и зла надѣлаютъ. Но нельзя же удовольствоваться такимъ отрицательнымъ заключеніемъ; надобно отъ него прійти къ чему-нибудь; а литература наша ни къ чему не пришла. И въ прошломъ году, какъ въ предыдущихъ, она громила преимущественно уѣздныя власти, о которыхъ—если правду сказать,—послѣ Гоголя и говорить-то бы не стоило... Если же задѣвались иногда губернскіе чины, то обличеніе большею частію слагалось по слѣдующему рецепту: выводился благороднѣйшій губернаторъ, благодѣтель губерніи, поборникъ законности и гласности; около него группировалось два-три благонамѣренныхъ чиновника, и они-то занимались караніемъ злоупотребленій. А иногда губернаторъ на сцену вовсе не являлся, а только предполагался за кулисами, какъ опора добродѣтели, въ родѣ фатума древнихъ. Остальныя губернскія власти затрогивались все рѣже и легче, по мѣрѣ приближенія своего къ губернатору... Кромѣ того, въ повѣстяхъ появлялось иногда еще *важное лицо*, *чиновная особа*, и т. п. Что это были за *лица* и *особы*, оставалось извѣстнымъ только автору. Значеніе ихъ невозможно было угадать, потому что обличенія наши постоянно отличались необыкновенной отрывочностью. Нигдѣ не указана была тѣсная и неразрывная связь, существую-

щая между различными инстанціями, нигдѣ не проведены были послѣдовательно и до конца взаимныя отношенія разныхъ чиновъ... Не даромъ поборники чистаго искусства обвиняли нашихъ обличителей въ маломъ знаніи своего предмета! Или, можетъ быть, они и знали, да не хотѣли или не могли представить дѣло, какъ слѣдуетъ? Такъ и за это собственно хвалить ихъ не слѣдуетъ: и тутъ заслуга не велика!...

Мы долго не кончили бы, если бы вздумали перечислять частныя ошибки и разбирать въ подробности разныя странности прошлогодней литературы. Мы сначала хотѣли посмѣшить читателей подборомъ множества забавныхъ анекдотовъ, совершившихся въ прошломъ году въ литературѣ. Мы хотѣли указать на нашихъ ученыхъ,—на то, какъ г. Вельтманъ считалъ Бориса Годунова *дядею* Ѳедора Ивановича; какъ г. Сухомлиновъ находилъ черты народности у Кирилла Туровскаго, потому что у него, какъ и въ народныхъ пѣсняхъ, говорится: *весна пришла красная*; какъ г. Бѣляевъ доказывалъ, что древнѣйшій способъ наслѣдства есть *наслѣдство по завѣщанію*; какъ г. Лешковъ утверждалъ, что въ древней Руси не обращались къ знахарямъ и ворожеямъ, а къ *врачу*, который пользовался особеннымъ почтеніемъ; какъ г. Соловьевъ (въ «Атенеѣ») уличалъ г. Устрялова въ томъ, что онъ вмѣсто *исторіи* Петра, сочинилъ *эпическую поэму*, даже съ участіемъ чудеснаго; какъ г. Вернадскій сочинилъ исторію политической экономіи по диксіонеру Коклена и Гильомена; какъ г. Пальховскій объявлялъ, что трудъ женщины, по законамъ природы, долженъ ограничиваться рожденіемъ дѣтей; какъ г. Куторга (натуралистъ) относилъ углеродъ къ числу газовъ; какъ г. Берви утверждалъ, что иногда часть бываетъ равна своему цѣлому, и пр., и пр. Хотѣли мы припомнить и нѣсколько *странностей* литературныхъ, какъ напр. то, что «Атеней» началъ свое изданіе, сказавши въ первомъ нумерѣ: «нечего жалѣть, что у славянъ австрійскій жандармъ является орудіемъ образованности», — а кончилъ въ послѣдней книжкѣ словомъ, что помѣхой нашему прогрессу служатъ раскольники, которыхъ за то и нужно преслѣдовать... Къ такимъ странностямъ хотѣли мы отнести, напр., и мысль о томъ, что главная причина разстройства помѣщичьихъ имѣній нашихъ заключается въ отсутствіи майората («Земл. Газ.»); и увѣреніе, будто главный недостатокъ романа «Тысяча душъ» заключается въ томъ, что герой романа воспитывался въ Московскомъ, а не въ другомъ университетѣ («Русск. Вѣстн.»); и опасенія, что въ скоромъ времени, когда нравы наши исправятся, сатирѣ нечего будетъ обличать («Библ. для Чтенія»); и статейку о судопроизводствѣ, увѣрявшую, что такое-то воззрѣніе неправильно, потому что въ Сводѣ Законовъ его не находится («Библ. для Чтенія»), и пр., и пр. Всѣхъ матеріаловъ, собранныхъ нами, стало бы на длинную забавную статью... Но размышленія наши приняли характеръ вовсе невеселый, и потому мы пройдемъ молчаніемъ и грубыя

ошибки, и дикія воззрѣнія, и нелѣпые стихи, и фантастическія повѣсти, въ родѣ «Игрока» г. Ахшарумова, и даже знаменитый «Литературный протестъ», эти геркулесовы столбы русской гласности, этотъ краснорѣчивѣйшій, несокрушимый памятникъ мелочности прошлогодней литературы... Эти мелочи уже слишкомъ мелки: оставимъ ихъ въ покоѣ и предоставимъ читателю самому опредѣлить ихъ настоящее мѣсто въ коллекціи другихъ литературныхъ мелочей...

Впрочемъ, не будемъ полагаться на читателей. Опытные люди говорятъ намъ, что читатели бываютъ недовольны, когда имъ что-нибудь не досказываютъ, а въ нашей статьѣ многое можетъ показаться недосказаннымъ. Вслѣдствіе этого мы находимся вынужденными сказать еще нѣсколько заключительныхъ словъ о крупныхъ и мелкихъ мелочахъ, указанныхъ нами. Заключеніе наше должно служить отвѣтомъ на вопросъ: зачѣмъ мы говоримъ о мелочахъ?

Мы еще въ первой статьѣ нашей объяснили, что литературу понимаемъ какъ выраженіе общества, а не какъ что-то отдѣльное и совершенно независимое. Эту точку зрѣнія просимъ приложить ко всему, что нами сказано въ настоящей статьѣ. Мы полагаемъ, что наше воззрѣніе и безъ особенныхъ оговорокъ должно быть совершенно ясно; но все-таки считаемъ нужнымъ оговориться еще разъ, чтобы не подать повода къ нелѣпому заключенію, будто мы возстаемъ противъ литературы и хотимъ ея гибели. Совершенно напротивъ: мы горячо любимъ литературу, мы радуемся всякому серьезному явленію въ ней, мы желаемъ ей бо̀льшаго и бо̀льшаго развитія, мы надѣемся, что ея дѣятели въ состояніи будутъ совершить что-нибудь дѣйствительно полезное и важное, какъ только явится къ тому первая возможность. Именно потому и осмѣлились мы такъ сурово говорить о недавно прошедшемъ нашей литературы, что мы еще хранимъ вѣру въ ея силы. Пусть не оскорбятся нашими словами литературные сподвижники настоящаго; пусть вспомнятъ, какъ они сами смѣялись надъ тѣми чиновниками, которые обижались журнальными обличеніями взятокъ, формальностей и проволочекъ суда, мелочности канцелярскихъ порядковъ, и пр. Литераторы, люди образованные и понимающіе свое положеніе, должны стоять выше подобной обидчивости. Они должны знать, что къ кому обращаются съ недовольствомъ за то, что онъ сдѣлалъ мало, отъ того, значитъ, ожидаютъ бо̀льшаго. Если бы мы думали что литература вообще ничего не можетъ значить въ народной жизни, то мы всякое писаніе считали бы безполезнымъ и, конечно, не стали бы сами писать того,

что пишемъ. Но мы убѣждены, что при извѣстной степени развитія народа, литература становится одною изъ силъ, движущихъ общество; и мы не отказываемся отъ надежды, что и у насъ въ Россіи литература когда-нибудь получитъ такое значеніе. До сихъ поръ нѣтъ этого, какъ нѣтъ теперь почти нигдѣ на материкѣ Европы, и напрасно было бы обманывать себя мечтами самообольщенія... Но мы хотимъ вѣрить, что это когда-нибудь будетъ.

Съ другой стороны—и публика, которая прочтетъ нашу статью, не должна, намъ кажется, вывести изъ нея слишкомъ дурного заключенія для литературы. Немного надо проницательности, чтобы понять, что все наше недовольство относится не столько къ литературѣ, сколько къ самому обществу. Мы рѣшительно не намѣрены противорѣчить, ежели кто нибудь изъ литераторовъ захочетъ предложить возраженія и ограниченія нашихъ мнѣній, напр., въ такомъ видѣ.

«Никто, конечно, не сочтетъ страннымъ, если мы скажемъ, что классъ писателей вообще принадлежитъ къ числу самыхъ образованныхъ, благородныхъ и дѣятельныхъ членовъ нашего общества. Они всегда на виду у всѣхъ съ своими идеями и стремленіями, и, слѣдовательно ихъ умственное и нравственное развитіе не можетъ оставаться тайною для читателей. Поэтому, мы можетъ съ гордостью сослаться на всю русскую публику, утверждая что никогда новая литература наша не была поборницею невѣжества, застоя, угнетенія, никогда не принимала характера раболѣпнаго и подлаго. Если встрѣчались личныя исключенія, то они тотчасъ же клеймились позоромъ въ самой же литературѣ. Конечно, мы очень хорошо понимаемъ, что такихъ отрицательныхъ добродѣтелей недостаточно для общественнаго дѣятеля. Да и ни одинъ порядочный человѣкъ не поставитъ въ заслугу, ни себѣ, ни другому — того, что онъ не воръ, не подлецъ и не пьяница. Нужны другія права на общественное уваженіе, и литература, — мы знаемъ, — постоянно стремилась пріобрѣсти ихъ. Но стремленія ея большею частію не пользовались совершенной удачей: кто же въ этомъ виноватъ, какъ не общество? Общество терпѣло взятки, самоуправство, неправосудіе: какъ же было литературѣ возстать на нихъ? Въ обществѣ не встрѣчали сильнаго отзыва просвѣщенныя, гуманныя стремленія: могла ли литература сильно ихъ высказать? Если бы общественное мнѣніе у насъ было сильно и твердо, оно на лету подхватывало бы всякое слово, всякій намекъ литературы и ободряло бы и вызывало на дальнѣйшіе словесные подвиги. Но этого не было; сонная вялость господствовала въ обществѣ: общественное мнѣніе отличалось страннымъ индифферентизмомъ къ общимъ вопросамъ; какъ тутъ было не измельчать литературѣ? Война нѣсколько расшевелила насъ, да и то очень мало; мы какъ будто стряхнули нѣсколько сонныхъ грезъ, но множество прежнихъ иллюзій еще осталось въ неприкосновенности. Вмѣстѣ съ тѣмъ и прежняя сонная инерція еще сильно держитъ насъ на

одномъ мѣстѣ, несмотря на всѣ наши толки о прогрессѣ. Мы еще все не можемъ привыкнуть къ мысли о томъ, что нужно самому о себѣ заботиться, нужно работать, нужно итти самимъ, а не ждать, чтобы пришли къ намъ благодѣтели, которые начнутъ переставлять намъ ноги. Насъ не оставило еще наше «авось»; мы все еще хотимъ, чтобы насъ понукали, чтобы за насъ дѣлали другіе. Иногда общество и томится какимъ-то смутнымъ желаніемъ, но оно никогда не шевельнетъ пальцемъ, чтобы привести его въ исполненіе. Въ обществѣ нѣтъ иниціативы; какъ же вы хотите, чтобы давала ее литература? Всякій писатель знаетъ, что если онъ заговоритъ о томъ, что нужно, но что еще не проявилось въ самой дѣятельности общества, то его назовутъ сумасбродомъ, утопистомъ, даже пожалуй — чего добраго! — врагомъ общественнаго спокойствія! Ну, когда такъ, то зачѣмъ же, въ самомъ дѣлѣ, мирному литератору нарушать общее спокойствіе? онъ и молчитъ. А тамъ, посмотришь, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, черезъ годъ, то же самое предположеніе уже осуществляется въ законодательствѣ или въ административныхъ распоряженіяхъ, и общество довольно и уже съ рукоплесканіями встрѣчаетъ того, кто заговоритъ о томъ же самомъ. А не осуществится предположеніе, — общество опять довольно и спокойно, и какъ будто вовсе не чувствуетъ ни малѣйшей надобности въ его осуществленіи. Что тутъ дѣлать литературѣ, когда ее не только не спрашиваютъ, а даже и слушать не хотятъ, пока сами событія не наведутъ на ту же мысль, какую она могла бы сообщить гораздо ранѣе!... Конечно, литературу могутъ обвинить въ томъ, что она не выражаетъ своихъ требованій съ жаромъ и настойчивостью, несмотря на всѣ неудачи. Но и на такое обвиненіе общество наше не имѣетъ права. Развѣ оно признало значеніе литературы? Развѣ оно поручило ей свое нравственное и умственное воспитаніе? Развѣ оно своей любовью и уваженіемъ ограждаетъ литературу отъ неразумныхъ нападеній обскурантовъ? Вѣдь нѣтъ; оно равнодушно къ литературѣ, оно не спрашиваетъ ея совѣтовъ; какое же право имѣетъ оно требовать, чтобы литература насильно вмѣшивалась въ его дѣла?

«И самая мелочность вопросовъ, занимающихъ литературу, служитъ не къ чести нашего общества. Если талантливый актеръ пускается въ фарсъ для пріобрѣтенія успѣха, это унижаетъ публику; если профессоръ астрономіи считаетъ нужнымъ объяснять своимъ слушателямъ таблицу умноженія,—это унижаетъ его аудиторію. Такъ и въ литературѣ. Скажите, каково нравственное развитіе того общества, въ которомъ еще приносятъ пользу и имѣютъ успѣхъ разсужденія о пользѣ гласности, о вредѣ безправія, о безчестности лихоимства, и т. п.? Тутъ все падаетъ на неразвитость общества; литература виновата лишь въ томъ, что явилась среди такой публики. Но что же дѣлать ей? Провинціальный актеръ поневолѣ играетъ для провинціальной публики, пока не найдетъ средствъ поступить на столичный театръ».

Справедливости *такихъ* возраженій мы не отвергнемъ. Дѣйствительно, литература сама по себѣ, безъ поддержки общества, безсильна, стало быть, напрасно и требовать что-нибудь отъ нея, пока общество не измѣнитъ своихъ отношеній къ ней. У ней во власти только теоретическая часть; практика вся въ рукахъ общества. Она забирается въ кружокъ взяточниковъ и негодяевъ и проповѣдуетъ имъ о честности, безкорыстіи; вы съ удовольствіемъ ее слушаете и апплодируете. Но вотъ, одинъ изъ вашихъ братьевъ попался въ руки къ этимъ взяточникамъ и негодямъ: они могутъ лишить его имущества, правъ, посадить въ тюрьму, сослать въ Сибирь, словомъ — сдѣлать съ нимъ, что имъ будетъ угодно. Что можетъ сдѣлать писатель, неприкосновенный къ дѣлу, для защиты вашего невиннаго брата? Онъ опять будетъ говорить о честности и правомъ судѣ; но можетъ ли это подѣйствовать на взяточника? Не жалко ли будетъ положеніе писателя, попусту тратящаго слова въ такомъ случаѣ, гдѣ нужно дѣло дѣлать? А вы, имѣя въ рукахъ документы, зная свидѣтелей въ пользу вашего брата, имѣя всѣ средства для уличенія неправаго судьи, будете спокойно смотрѣть на усилія литератора и, пожалуй, опять рукоплескать его благороднымъ разсужденіямъ! Скажите, кто болѣе жалокъ, кто производитъ болѣе непріятное чувство въ этомъ случаѣ, писатель ли, безплодно разсуждающій, или люди, восторгающіеся его краснорѣчіемъ? Трудно рѣшить.

Итакъ, мы повторимъ здѣсь еще разъ, что, указывая на мелочность литературы, мы не думали *обвинять* ее. Но вотъ въ чемъ мы ее обвиняемъ; она хвалится многими изъ своихъ мелочей, вмѣсто того, чтобы стыдиться ихъ. Говоря о правосудіи, когда неправедно судятъ невиннаго брата, она не сознаетъ ничтожности своей рѣчи для пользы дѣла, не говоритъ, что прибѣгаетъ къ этому средству только за неимѣніемъ другихъ, а напротивъ, — гордится своимъ краснорѣчіемъ, расчитываетъ на эффектъ, думаетъ передѣлать имъ натуру взяточника и иногда забывается даже до того, что благородную рѣчь свою считаетъ не средствомъ, а цѣлью, за которою дальше и нѣтъ ничего. А невинно-осужденный терпитъ между тѣмъ заключеніе, наказаніе, подвергается страданіямъ всякаго рода. И литература не хочетъ видѣть или не хочетъ сознаться, что ея дѣятельность слаба, что того, чѣмъ она можетъ располагать, мало, слишкомъ мало для спасенія невиннаго человѣка отъ осужденія корыстнаго судьи. Вотъ что возмутительно для людей, которые ищутъ дѣла, а не хотятъ остановиться на праздномъ словѣ! Вотъ что и вызвало нашу статью. Мы хотѣли напомнить литературѣ, что при настоящемъ положеніи общества она ничего не можетъ сдѣлать, и съ этой цѣлью мы перебрали факты, изъ которыхъ оказалось, что въ литературѣ нѣтъ иниціативы. Далѣе мы хотѣли сказать, что литература унижаетъ себя, если съ самодовольствомъ останавливается на интересахъ настоящей минуты, не смотря въ даль, не задавая себѣ высшихъ вопросовъ. Для этого

мы припомнили, какой ничтожностью и мелкотою отличались многія изъ патетическихъ разсужденій нашей литературы о вопросахъ, уже затронутыхъ въ административной дѣятельности и въ законодательствѣ. Литература всегда можетъ оправдать себя отъ упрека въ мелочности, сказавъ, что она дѣлаетъ, что можетъ, и что не отъ нея, а отъ общества зависитъ дѣлать больше или меньше. Но нѣтъ для нея никакого оправданія, ежели она самодовольно забудется въ своемъ положеніи, примирится съ своей мелочностью и будетъ толковать о своемъ серьезномъ значеніи, о великости своего вліянія, о прогрессѣ общества, которому она служитъ. Такое самодовольное забытье покажетъ намъ, что литература дѣйствительно не имѣетъ высшихъ стремленій, что она смиренно довольствуется всѣмъ, что ни сдѣлаетъ съ нею общество, ради временной надобности или даже просто ради потѣхи. При такой узости взглядовъ и стремленій, литература, дѣйствительно, можетъ показаться противною для всякаго свѣжаго человѣка, ищущаго дѣятельности... И съ нею можетъ тогда помирить только вопль отчаянія, въ которомъ будетъ и энергическій укоръ, и мрачное сожалѣніе, и громкій призывъ къ дѣятельности болѣе широкой. Призывъ этотъ будетъ относиться не къ одной литературѣ, а и къ цѣлому обществу. Его смыслъ будетъ въ томъ, что гнусно тратить время въ безплодныхъ разговорахъ, когда, по нашему же сознанію, возбуждено столько живыхъ вопросовъ. Не надо намъ слова гнилого и празднаго, погружающаго въ самодовольную дремоту и наполняющаго сердце пріятными мечтами; а нужно слово свѣжее и гордое, заставляющее сердце кипѣть отвагою гражданина, увлекающее къ дѣятельности широкой и самобытной...

Сочиненія А. Бѣшенцова въ прозѣ и стихахъ. Москва. 1858.

Господинъ Бѣшенцовъ — чистый художникъ; онъ только художествомъ и занимается. Вопросы общаго блага не занимаютъ поэтическихъ думъ его; онъ поетъ только о томъ, что вѣчно и неизмѣнно, — «о красотѣ и сердцѣ человѣческомъ». Одни названія его стихотвореній могутъ служить достаточнымъ доказательствомъ художественности его натуры. У него есть стихотворенія: «Поэзія», «Молитва», «На молитвѣ», «Воспоминаніе», «Признаніе», «Разочарованіе», «Прощаніе», «Сожалѣніе», «Раскаяніе», «Соловей», «Цвѣтокъ», «Букетъ», «Грузинкѣ». Возвышенныя чувства и любовь къ красотѣ безраздѣльно владычествуютъ надъ сердцемъ г. Бѣшенцова. Красавицамъ посвящаетъ онъ свою книжку, ихъ

выхваляетъ онъ на каждой страницѣ, имъ онъ готовъ отдать свою душу, свои труды, свой домъ, свою кровь, всѣ свои лучшіе надежды и порывы. Предъ ними смиряется даже *страсть къ жемчугу*, которою также одержимъ г. Бѣшенцовъ, какъ явствуетъ изъ слѣдующаго стихотворенія.

Экспромтъ.

Вы раковину мнѣ сегодня подарили;
Она пустехонька; *въ ней нѣту жемчуга,*
А пустяковъ, вы вѣрно позабыли,
Не любитъ вашъ покорнѣйшій слуга!
Но губку дуть зачѣмъ? Не нуженъ мнѣ жемчугъ,
Что украшаетъ бюстъ красавицы холодной,
Такъ что же нужно мнѣ? Бездѣлицы, мой другъ,
Пятокъ жемчужинъ чувствъ высокихъ и свободныхъ!

Ясно: поэтъ готовъ отказаться даже отъ жемчуга и всякихъ матеріальныхъ благъ для «*пятка жемчужинъ чувствъ высокихъ*». Онъ любитъ стремиться къ высокому и презираетъ свѣтъ за то, что онъ деньги любитъ. Въ началѣ своего *Посвященія* онъ говоритъ:

«Кому мнѣ посвятить мои стихотворенья?
Друзьямъ! — Друзей *у меня* нѣтъ».

А почему нѣтъ? Потому что, по мнѣнію г. Бѣшенцова, всѣ нынѣшніе друзья,—

«Какъ деньги есть, объютъ пороги,
А промотай — *покажутъ ноги*»...

На этомъ основаніи г. Бѣшенцовъ полагаетъ, что смѣшно и глупо

«Жать руку робко и смиренно,
Чтобъ популярность заслужить».

Почему онъ думаетъ, что популярность пріобрѣтается не иначе, какъ именно такимъ способомъ, — этого онъ не объясняетъ. Но за то ясно и положительно говоритъ онъ, что не дорожитъ мнѣніемъ свѣта.

«Пусть лучше говорятъ, что *скаредъ*,
Что *сребролюбецъ*, *эгоистъ;*
Хула невѣжды не умалитъ:
Хвала его — *машины свистъ*». (?)

Почему г. Бѣшенцовъ подозрѣваетъ, что его считаютъ *скаредомъ*, *сребролюбцемъ* и *эгоистомъ*—это опять его тайна, не открываемая имъ публикѣ. Но, вѣроятно, онъ имѣетъ на то достаточныя причины; иначе онъ не сталъ бы съ такимъ озлобленіемъ отзываться о цѣлой мужской половинѣ человѣческаго рода, изъ которой исключаетъ одного только какого-то *друга Геннадія*.

За то къ женскому полу г. Бѣшенцовъ изъявляетъ самую

нѣжную симпатію, и это тѣмъ похвальнѣе, что онъ, по собственному признанію — уже приближается къ старости. Онъ говоритъ, что ему

«Старость — *бурная стихія*
Преградой страшною грозитъ»,

и что онъ радъ, когда, прочитавъ его стихи, ему привѣтно улыбнутся и скажутъ:

«Жаль, что не молодъ поэтъ».

Въ посланіи *Я...у Н...у О...у* г. Бѣшенцовъ вспоминаетъ, что ужъ восемнадцать лѣтъ прошло со времени его «шалостей, проказъ, кипучей жизни молодецкой»; отсюда видно, что поэту уже далеко за сорокъ, если даже предположить, что онъ прекратилъ всѣ *шалости и проказы* не позже, какъ въ 25 лѣтъ.

Мы должны признаться, впрочемъ, что подобное предположеніе крайне неосновательно, если судить о поэтѣ по тому пылу страстей, какой обнаруживается имъ даже и въ настоящее время. Онъ себя именуетъ *исполиномъ орломъ* и *львиной душою* (соединеніе элементовъ весьма разнообразныхъ!), а о своихъ чувствахъ иначе и не выражается, какъ называя ихъ *волканомъ и пожаромъ*, и хотя въ одномъ мѣстѣ увѣряетъ, будто его теперь

«Не тѣшатъ, не манятъ соблазнъ и красота»,

—но вся книжечка его служитъ доказательствомъ, что такъ выразился онъ единственно для красоты слога. Во многихъ стихотвореніяхъ онъ признается, что *изъ-за дѣвъ* онъ готовъ затѣять какую угодно борьбу и даже нимало не сконфузится, если потерпитъ пораженіе. Чтобы, говоритъ, со мною ни случилось, мнѣ все ничего.

«Съ судьбою примирюсь
Я первымъ взглядомъ дѣвы милой,
Ея восторгами упьюсь
И, пособравшись съ новой силой,
Опять пойду, *какъ исполинъ*,
На битву жизни»...

Въ другомъ стихотвореніи г. Бѣшенцовъ признается, что ему нѣтъ отрады—ни въ разумѣ, ни въ благородствѣ, ни въ спокойствіи совѣсти, а нужна ему любовь того созданья,

«За счастье чье *не жаль всю кровь*
Пролить безъ жалобъ, безъ страданья».

Но сильныя страсти поэта не ограничиваются желаніемъ пострадать самому за дѣву; въ экстренныхъ случаяхъ онъ готовъ и самой дѣвѣ надѣлать порядочныхъ непріятностей, — особенно когда любовь къ красотѣ борется въ душѣ его съ любовью къ

«Не ручаюсь, убью
И тебя, и себя»...

И немудрено: г. Бѣшенцовъ даже къ цвѣтку обращается съ слѣдующими стихами:

«Хотѣлъ бы я *груди моей къ волкану*
Прижать тебя, цвѣтокъ, какъ чудо красоты»...

А про людей ужъ и говорить нечего; г. Бѣшенцовъ говоритъ, что никто не въ состояніи даже понять его чувствъ, если «*ревности волканъ въ своей груди не ощущалъ*»... Чего же стоитъ раздѣлять его чувства! Волканическая натура г. Бѣшенцова видна даже въ самыхъ простыхъ проявленіяхъ; онъ, напримѣръ, не можетъ довольствоваться простымъ поцѣлуемъ дѣвы, а непремѣнно требуетъ, чтобы она дала ему

«Лобзанье
Унести *съ груди своей*»...

Говоря о любви, г. Бѣшенцовъ постоянно упоминаетъ о какомъ-то таинственномъ *фіалѣ*, придающемъ его рѣчи особенную образность и силу. Въ посланіи Н. А. З., въ которомъ поэтъ желаетъ найти его на берегахъ Рейна —

«Съ швейцаркой молодой,
Въ объятьяхъ нѣги безмятежной»,—

въ этомъ посланіи онъ совѣтуетъ, между прочимъ, своему пріятелю:

«*Излей въ нее фіалъ любви*».

Въ другомъ стихотвореніи поэтъ употребляетъ слово *фіалъ*, уже говоря о своей собственной любви; но, къ удивленію нашему, онъ не *изливаетъ*, а самъ *пьетъ* этотъ фіалъ...

«*Фіалъ любви я пилъ*
Устами жадными изъ чаши наслажденья
И *память торжества* (?) въ душѣ я сохранилъ,
Какъ сна крылатаго блестящее видѣнье»...

Но еще болѣе удивились мы, встрѣтивъ у г. Бѣшенцова *фіалъ* совершенно въ особомъ значеніи, въ стихотвореніи «Экспромтъ» (не тотъ, который мы привели выше, а другой). Здѣсь поэтъ называетъ *фіаломъ* какую-то дѣву:

«Когда бы *ты, души моей фіалъ,*
Меня своимъ на вѣки назвала»...

Впрочемъ и это ничего: все-таки выходитъ одно и то же—любовь къ прекрасному полу.

Послѣ прекраснаго пола, г. Бѣшенцовъ любитъ во всемъ свѣтѣ—только родныхъ. Еще въ дѣтствѣ его баюкали, говоритъ онъ, слѣдующимъ *припѣвомъ ласки нѣжной*:

«Расти, дитя, расти!
И совершай путь жизни безмятежно,
Вѣрь въ Бога, честенъ будь *и уважай родныхъ*».

И поэтъ вѣренъ былъ наставленію, пока его не отдали въ «коллегіумъ нѣмецкій, гдѣ портить начали способности его, и гдѣ души природное богатство испытывать утраты начало». Тогда ему являлся какой-то духъ

«Въ блестящихъ видахъ обольщенья,
Внушая новыхъ тьму идей»...

Духъ этотъ былъ очень обольстителенъ: онъ

«Алтарь свободы украшалъ
Цвѣтами равенства и братства,
Онъ свѣтъ науки обѣщалъ
И ключъ народнаго богатства»!

Душа г. Бѣшенцова «наивно отдалась ему въ чаду тщеславія людского, и въ міръ фантазій унеслась»; но тутъ судьба сразила г. Бѣшенцова, «*какъ юнаго орла*», и онъ палъ.

«И много лѣтъ скитался я
Средь дикихъ горъ въ странѣ изгнанья.
Гордыня духа умерла;
Я къ Провидѣнью обратился!
Душа воскресла, ожила;
И я съ раскаяньемъ молился!
И снова взялся за перо».

Послѣднее совершенно напрасно, разумѣется; но тутъ выразилась нравственность волканической натуры поэта: хотя онъ и взялся за перо,

«*Но буйнаго рапула краски*
Ужъ не сливалися съ нею».

Поэтъ переродился: съ него «*свалилась пелена грѣхопаденья земныхъ страстей*», какъ выражается онъ самъ. Тутъ-то имъ овладѣла любовь къ роднымъ, соединившаяся въ немъ такимъ образомъ съ любовью къ прекрасному полу; говоря поэтически, онъ сталъ *фіалъ любви своей изливать* на своихъ родныхъ, презирая весь остальной свѣтъ и соблюдая симъ способомъ экономію сердечныхъ чувствъ.

Преобразившись послѣ своего разгула, г. Бѣшенцовъ вспомнилъ о кружкѣ родныхъ, и имъ овладѣла тоска по родинѣ.

«Скорѣй въ Москву хотѣлось мнѣ,
Гдѣ колыбель моя качалась,
И гдѣ еще по старинѣ
Хлѣбъ-соль радушьемъ отличалась,
Гдѣ мать, отецъ, кружокъ родныхъ,
Еще былъ тѣсенъ, — сердцу милый,
Не много было *между нихъ*
Крестовъ надъ свѣжею могилой»...

Затѣмъ г. Бѣшенцовъ говоритъ, что онъ живетъ нынѣ *въ смиреніи души*; представленныя нами мѣста изъ его стихотвореній не совсѣмъ подтверждаютъ это свѣдѣніе. Вообще г. Бѣшенцовъ слишкомъ скромничаетъ. Напримѣръ, одно стихотвореніе «Въ альбомъ» онъ заключаетъ слѣдующими стихами:

«И имя скромное мое
Припомните въ часы досуга».

Отчего же *скромное*? Мы вовсе не находимъ, чтобъ Бѣшенцовъ было *скромное* имя. Даже совершенно напротивъ. Напрасно г. Бѣшенцовъ скромничаетъ: стихи его достойны его имени, а имя — стиховъ.

Кромѣ стиховъ, г. Бѣшенцовъ пишетъ и прозой. Въ книжкѣ его помѣщена *драма-водевиль* «Жеребій». Жеребій этотъ совершенно чуждъ всѣхъ общественныхъ вопросовъ, но въ достоинствахъ литературныхъ не уступаетъ комедіи г. Пивоварова. Содержаніе его просто. Стрѣльскій влюбленъ въ Вѣру; но Вѣра выходитъ замужъ за графа. Стрѣльскій встрѣчаетъ Софью, сестру Вѣры, на желѣзной дорогѣ и на другой день является въ домъ къ Вѣрѣ. Она его еще любитъ, но крѣпится и оставляетъ его съ Софьей. Софья приглашаетъ его въ деревню къ сестрѣ, Стрѣльскій же уговариваетъ Софью остаться въ Москвѣ и не ѣздить съ сестрою въ деревню. Софья, по непостижимой для смертныхъ логикѣ, вдругъ объявляетъ слѣдующее:

«Постойте, постойте! я придумала прекрасное средство все уладить. Бросимъ жребій. Если выйдетъ мнѣ остаться въ Москвѣ, *то сестра отказать будетъ уже не въ правѣ;* если же вамъ ѣхать въ деревню, то вы не въ правѣ отказаться».

Стрѣльскій соглашается. По жеребью выходитъ ему ѣхать въ деревню; тамъ онъ влюбляется въ Софью и проситъ руки ея. Вѣра, слыша это, падаетъ въ обморокъ и потомъ, очнувшись, говоритъ къ партеру: «о, какъ же скоро онъ отмстилъ мнѣ!»

Затѣмъ она поетъ:

«Вотъ образецъ любви мужчины,
Всякъ на одинъ построенъ ладъ:
Онъ васъ полюбитъ безъ причины
И измѣнить вамъ очень радъ».

Стрѣльскій же поетъ въ заключеніе:

«И авторъ жребіемъ, конечно,
Утѣшенъ будетъ въ первый разъ,
Когда партеръ чистосердечно
«Пишите, скажетъ, въ добрый часъ»!

Такова комедія г. Бѣшенцова, поэта съ скромнымъ именемъ. Хотя поэтъ и надѣется на одобреніе партера, но мы убѣждены что партеръ не поощритъ его на дальнѣйшее писаніе, хотя бы даже всѣ мѣста въ креслахъ заняты были поклонниками чистой художественности. Нѣтъ, вѣрно и художественная теорія согласится съ нами, что лучше бы было, если бъ г. Бѣшенцовъ художествами не занимался и не прославлялъ бы своего скромнаго имени дѣяніями, не совсѣмъ одобрительными предъ судомъ безпристрастной критики, не только утилитарной, но и художественной. Приверженцы чистой художественности пожертвуютъ намъ стихи г. Бѣшенцова, какъ мы жертвуемъ имъ комедію г. Пивоварова. Съ этой стороны мы можемъ быть спокойны. Но опасность другого рода угрожаетъ литературѣ. Г. Бѣшенцовъ объявляетъ, что ему критика ничего не значитъ, что это—машины свистъ. Онъ говоритъ:

«Что мнѣ рецензіи, и брань, и похвала»?

Отвратить его отъ писанія могутъ опять только красавицы; если же онѣ его похвалятъ, то—слушайте, что будетъ:

«Я, вашимъ искреннимъ привѣтомъ оживленный,
Изъ рукъ не выпущу пера»!

Итакъ—вотъ гдѣ опасность! Бѣда, если дамы похвалятъ г. Бѣшенцова! Изъ рукъ пера не выпуститъ, вѣдь просто плакать придется тогда бѣдному рецензенту. О, жестокая и несправедливая судьба! Зачѣмъ ты не создала меня дамскимъ кавалеромъ, зачѣмъ не дала мнѣ въ воспитатели француза или полотёра, или вообще какого-нибудь танцмейстера! Тогда я зналъ бы тайны дамскаго сердца и умѣлъ бы такъ расписать г. Бѣшенцова, что всякая дама пришла бы въ невольный ужасъ. Но теперь—что могу я сдѣлать? Я могу только взывать къ нимъ въ непритворномъ лирическомъ порывѣ:

«О вы, души моей царицы! Оставьте въ покоѣ скромное имя г. Бѣшенцова! Пусть его предается любви къ роднымъ и радуется на свое родное жилище, гдѣ колыбель его, можетъ быть, и до сихъ поръ качается. Не поощряйте его къ писанію: вы сами видѣли, какъ онъ плохо пишетъ. Да притомъ же — онъ вѣдь и опасенъ: у него *львиная* натура, у него въ груди *волканъ*, онъ *фіалъ* изливаетъ»...

— Чортъ знаетъ, что такое наплелъ и все дѣло, кажется, испортилъ: найдутся, пожалуй, дамы, которымъ волканъ и фіалъ-то именно и нравятся. Ну, да ужъ ничего; по крайней мѣрѣ буду знать, кого винить, если г. Бѣшенцовъ еще что-нибудь напечатаетъ.

О русскомъ государственномъ цвѣтѣ. Составилъ *А. Языковъ*. Спб. 1858 г.

Брошюра весьма серьезная и по необыкновенной важности своего предмета заслуживающая особеннаго вниманія русской публики. Изданіемъ своего сочиненія, носящаго на себѣ признаки глубокой учености и многолѣтняго серьезнаго труда, г. А. Языковъ открываетъ русскому народу, такъ сказать, новый отдѣлъ вѣдѣнія, доселѣ бывшій ему недоступнымъ. Въ началѣ своей брошюры г. А. Языковъ объясняетъ значеніе своего предмета слѣдующимъ образомъ (стр. 4).

«Усвоивъ однажды, по распоряженію Правительства, собственный цвѣтъ, народъ придаетъ ему значеніе, составляющее символическій языкъ, главная мысль котораго — любовь и преданность къ своей родинѣ и своей династіи.

«*Къ сожалѣнію*, это значеніе, приписываемое почти всѣми народами ихъ національнымъ цвѣтамъ, у насъ въ Россіи *не только не получило еще никакого развитія, но даже самая мысль о томъ для насъ и до сихъ поръ нова*, хотя съ давнихъ временъ мы и употребляемъ *эти цвѣта безсознательно*».

Чтобы внушить русскому народу истинныя понятія о великой важности государственнаго цвѣта, г. А. Языковъ представляетъ въ началѣ своей брошюры краткія историческія свѣдѣнія объ установленіи государственныхъ цвѣтовъ у различныхъ древнихъ и новыхъ народовъ. Несмотря на свою краткость, замѣтки эти могутъ почесться образцомъ ученаго трудолюбія, что доказываютъ ученыя ссылки, находящіяся почти на каждой страницѣ. Изъ нихъ видно, что почтенному автору знакомъ и Тацитъ, и Conversations-Lexicon (томъ девятый), изданный въ Лейпцигѣ въ 1836 г., и Петръ Санкте, и Барантъ, и Сисмонди. Замѣтимъ только маленькую неисправность на стр. 7, введшую насъ въ недоумѣніе. На этой страницѣ три ученыхъ цитаты. Первую дѣлаетъ авторъ, говоря о томъ, что на турнирахъ рыцари украшали себя шарфомъ; въ подтвержденіе столь любопытнаго и малоизвѣстнаго факта ссылается онъ на Conversations-Lexicon, Band IX, § 174, Leipz. 1836. Ссылка несомнѣнная. Вторую ссылку дѣлаетъ авторъ на Тацита, говоря, что во времена рыцарства, «когда установились гербы и ихъ начали украшать разными цвѣтами, любимый цвѣтъ былъ всегда господствующимъ въ гербѣ». Здѣсь цитата изъ Тацита, по нашему убѣжденію, не совсѣмъ основательна. Такъ-называемое время рыцарства, сколько намъ извѣстно, началось въ Европѣ нѣсколько позже Тацита, и потому онъ, не будучи пророкомъ, не могъ писать о рыцаряхъ; но главное — въ указанномъ г. Языковымъ мѣстѣ Тацитъ упоминаетъ только у германцевъ «fucatas colore tabulas», и выводъ, сдѣланный г. А. Языковымъ изъ этихъ словъ, кажется намъ нѣсколько смѣлымъ. Третья ссылка относится къ слѣдующему

мѣсту: «въ средніе вѣка евреи нашивали себѣ на одежду кружокъ изъ желтаго сукна, какъ символъ націи». Цитата гласитъ: Петръ Санкте, стр. 25, de colorum usu in Judis circensibus. Такъ какъ дѣло идетъ о *евреяхъ*, то немудрено, что всякій читатель введенъ будетъ въ заблужденіе неправильной цитатой и подумаетъ, что въ самомъ дѣлѣ существовали Judi circenses. Считаемъ долгомъ благонамѣренной критики сообщить почтенному автору, что въ означенномъ мѣстѣ слѣдуетъ читать ludi, а не Judi circenses, т. е. *игры* въ циркѣ, а не *евреи*, принадлежащіе къ цирку. Прибавимъ при семъ, что евреи и не называются по-латыни Judi, а Judaei.

И вотъ все, что мы могли замѣтить относительно недостатковъ книжки г. А. Языкова. Недостатки ничтожные и обильно искупаемые ея несомнѣнными достоинствами! За изложеніемъ исторіи государственныхъ цвѣтовъ у другихъ народовъ, г. А. Языковъ переходитъ къ исторіи собственно русскаго государственнаго цвѣта. Онъ приступаетъ къ своему историческому обзору съ благородной энергіей, полною патріотическихъ чувствованій, и предпосылаетъ изслѣдованію слѣдующія краснорѣчивыя строки (стр. 16).

«Россійская Имперія, съ главнымъ зерномъ кореннаго, единоплеменнаго единовѣрнаго русскаго народа, окруженная широкою лентою своихъ земель, населенныхъ иными племенами, иной религіи, нравовъ и нарѣчій, но стремящихся къ этой сердцевинѣ, рано или поздно осѣнитъ милліоны своихъ поселенцевъ единымъ знаменемъ и выразитъ это единство свое наружнымъ символомъ — русскимъ государственнымъ цвѣтомъ.

«Обратить вниманіе на предметъ — какіе цвѣта у насъ, въ Россіи, могутъ быть названы національными,— *значитъ возбудить вопросъ новый*, для многихъ странный, для другихъ вовсе непонятный и *лишь для малаго числа доступный по своему значенію;* ибо до сего времени даже не было слышно самаго названія: *«русскій государственный цвѣтъ»*.

Строки эти обличаютъ уже всю громадность труда, предпринятаго г. А. Языковымъ; но слѣдующія страницы доказываютъ, что силы его достаточны для того, чтобы достойно совершить свое дѣло, и что онъ стоитъ совершенно въ уровень съ этимъ «новымъ вопросомъ, лишь для малаго числа доступнымъ по своему значенію». Съ непостижимымъ обиліемъ учености, открывающейся въ слишкомъ десяти цитатахъ изъ Лакіера, «Описанія монетъ» Шуберта, «Журнала Петра Великаго», «Книги Коммиссаріатскаго повытья 1762 г.», «Книги Числъ» и пр., г. А. Языковъ разсматриваетъ исторію русскаго государственнаго цвѣта съ древнѣйшихъ временъ до настоящей минуты. Изъ его добросовѣстныхъ изысканій оказывается съ несомнѣнною очевидностью, что хотя у насъ до сихъ поръ и не было точнаго опредѣленія государственныхъ цвѣтовъ, такъ что даже въ 1856 г. въ Парижѣ, при заключеніи мира, выставленъ былъ русскій флагъ цвѣтовъ *бѣлаго, синяго* и *краснаго* (стр. 17); но что правительство наше «никогда не отвергало существованія національныхъ цвѣтовъ, ибо 1) въ 1856 г. герольды въ Москвѣ имѣли черезъ плечо шарфы съ длинными концами изъ трехъ цвѣтовъ: *чернаго, оранжеваго* и *бѣлаго*, и 2) *въ новѣйшее*

время замѣчено, что дворцовый флагъ, изображавшій до того орла на бѣломъ полѣ, замѣненъ орломъ на желтомъ полѣ» (стр. 35).

Представивъ такіе результаты своихъ неусыпныхъ изслѣдованій, г. А. Языковъ такъ заключаетъ свою брошюру (стр. 36).

«Настоящія указанія на сей предметъ вообще имѣли цѣлію ознакомить нашъ народъ, сдѣлать для него доступнымъ и понятнымъ значеніе своего цвѣта. «Возбудить мысль никогда не поздно, и можно быть увѣреннымъ, что она *столь же быстро и прочно усвоится въ понятіяхъ, а потомъ и чувствахъ 60,000,000 нашего народа, какъ случилось то же съ національнымъ гимномъ:* долгое время полковая музыка наша встрѣчала Императоровъ заимствованнымъ въ Англіи народнымъ гимномъ: *God save the King;* Императоръ Николай I устранилъ эту несообразность, приказавъ составить русскій народный гимнъ, на вѣки усвоенный въ душѣ и рѣчи русскаго: «Боже, Царя храни!»

Не будемъ же чужды мысли, принятой всѣми народами, *и пожелаемъ, чтобъ наше Царство, сохранившее столь много особеннаго, удержало у себя и знаки, выражающіе отличительно нашу народность*, усвоимъ себѣ нашъ національный цвѣтъ: *черный, оранжевый (золотой), бѣлый (серебряный).* — Еще въ 4-й книгѣ Моисея, дѣтямъ Израиля повелѣвалось: «человѣкъ держайся по чину своему, по знаменіямъ, по домамъ отчествъ своихъ» (4 кн., 2, ст. 2).

Въ самомъ дѣлѣ, тяжкая грусть невольно овладѣваетъ патріотическимъ сердцемъ, когда подумаешь, какъ много есть прекрасныхъ, полныхъ глубокаго нравственнаго смысла знаковъ, которые нынѣ существуютъ для насъ только въ своей формѣ, безъ духа жизни. Напр., безпрестанно мы видимъ, что чиновники и офицеры, привѣтствуя другъ друга при встрѣчѣ, прикладываютъ руку къ кокардѣ; но многимъ ли приходило въ голову спросить себя: какой внутренній смыслъ заключаетъ въ себѣ это внѣшнее дѣйствіе? Къ счастію Россіи, въ ней появляются время отъ времени люди съ философскимъ складомъ ума, умѣющіе изыскивать коренныя причины явленій. Такимъ человѣкомъ является въ настоящее время г. Языковъ; вотъ какъ объясняетъ онъ указанное нами явленіе: «имѣя кокарду и, для привѣтствія при встрѣчѣ, указывая рукою на нея (на нее?), имѣютъ въ виду выразить принадлежность свою къ такой-то націи» (стр. 11).

Другой примѣръ: кому приходило на мысль спросить себя, что означаютъ бѣлый, черный и красный цвѣтъ на верстовыхъ столбахъ, будкахъ, шлагбаумахъ, и пр. До сихъ поръ, по словамъ г. А. Языкова, полагали, что «*какъ* главная цѣль шлагбаума есть задержаніе проѣзжаго, а цвѣта эти ярко отличаются, *то и необходимо*, чтобы они, также какъ и верстовые столбы, замѣтны были издали» (читатель долженъ простить автору не совсѣмъ логическое построеніе періода), «подобно тому, какъ тѣ же цвѣта для той же цѣли употребляются въ означеніи межевыхъ линій». Но такое мнѣніе, очевидно, недостаточно: г. Языковъ доказываетъ, что здѣсь выразился русскій государственный цвѣтъ, и въ подтвержденіе этого разсказываетъ слѣдующій случай (стр. 32).

«Замѣчателенъ случай, бывшій впослѣдствіи: однажды Императоръ Николай I, проѣзжая мимо одной будки, замѣтилъ Инженерному Департаменту,

что будка эта не окрашена всѣми русскими государственными цвѣтами, ибо тамъ значились только свѣжія краски бѣлая и черная, но красной полосы не успѣли еще провести. Здѣсь, можно сказать, въ первый разъ высказаны были Царствующимъ Лицомъ слова: *русскій государственный цвѣтъ*».

Вообще—какъ мало развито въ нашемъ народѣ понятіе о значеніи кокарды! Съ душевнымъ прискорбіемъ прочли мы въ книгѣ г. А. Языкова слѣдующія строки (стр. 34).

«Впослѣдствіи, когда въ царствованіе Императора Николая I приказано было кокарду имѣть офицерамъ на фуражкахъ, то не многимъ приходило даже на мысль, что жъ выражаетъ кокарда?

Скажемъ болѣе: нынѣ царствующій Государь Императоръ, Александръ Николаевичъ, приказалъ имѣть кокарду на форменныхъ фуражкахъ гражданскимъ чиновникамъ; до состоянія сего повелѣнія слышались въ публикѣ вопросы: какую дадутъ кокарду чиновникамъ, на Владимірской или Аннинской лентѣ? Такіе *общественные толки* могутъ свидѣтельствовать, что у насъ еще не установилось понятіе о значеніи кокарды и ея цвѣта, когда инымъ казалось, что въ одномъ и томъ же государствѣ, у одного и того же народа, можетъ быть двѣ кокарды; да и до сихъ поръ, когда и военные и гражданскіе имѣютъ форменныя кокарды, въ насъ нѣтъ еще сознанія: что онѣ выражаютъ? Для того же, кто знаетъ, какъ высоко цѣнится въ понятіи другихъ народовъ значеніе національной кокарды, прискорбно, что нашъ народъ не усвоиваетъ себѣ въ семъ смыслѣ народнаго о томъ значенія».

Будемъ надѣяться, что добросовѣстный и громадный (несмотря на малость брошюры) трудъ г. А. Языкова возвыситъ наконецъ наше народное сознаніе до степени пониманія своего государственнаго цвѣта. Желаемъ брошюркѣ г. А. Языкова быстро распространиться, подобно русскому народному гимну, между всѣми 60-ю милліонами русскаго народа и принести достойные плоды!!

Но чтобы результаты изслѣдованія г. А. Языкова были вполнѣ благодѣтельны, мы рѣшаемся напомнить ему, чтобъ онъ, въ будущихъ многочисленныхъ изданіяхъ своей брошюрки, исправилъ недосмотры, скромно замѣченные нами на ея седьмой страницѣ.

Исторія русской словесности. Лекціи Степана *Шевырева*, ординарнаго академика и профессора. Часть III. Столѣтія XIII, XIV и начало XV. Москва. 1858.

Дѣятельность г. Шевырева представляетъ какой-то вѣчный промахъ, чрезвычайно забавный, но въ то же время не лишенный прискорбнаго значенія. Какъ-таки ни разу не попасть въ цѣль, вѣчно дѣлать все мимо, и въ великомъ и въ маломъ! Мы помнимъ, что въ началѣ своей литературной карьеры г. Шевыревъ отличился статьею: «Словесность и торговля», — въ которой старался доказать, какъ позорно для писателя брать деньги за свои сочиненія:

атейка эта явилась именно въ то время, когда литературный
рудъ начиналъ у насъ получать право гражданства между дру-
ими категоріями труда.—Пустился г. Шевыревъ въ критику и—
произвелъ въ *поэты мысли* г. Бенедиктова, который тѣмъ именно
и отличается, что поэзія и мысль у него всегда въ разладѣ. —
Увлекся онъ библіографіей и сочинилъ, что стихи Пушкина —

«Бранной забавы
Любить нельзя» —

надобно читать: Бранной забавы
Любить не я...

Мистицизмомъ занялся онъ, и провозгласилъ однажды «чудное и знаменательное совпаденіе событій въ томъ, что Карамзинъ родился въ годъ смерти Ломоносова»: вдругъ оказалось, что Карамзинъ вовсе не родился въ годъ смерти Ломоносова! — Въ живописи сталъ искать себѣ отрады г. Шевыревъ, и пришелъ въ восторгъ отъ Рафаэлевыхъ картоновъ, найденныхъ имъ въ Москвѣ: но на повѣрку вышло, что Лухмановскіе картоны, приведшіе его въ восхищеніе, никакъ не могутъ быть приписаны Рафаэлю. — Фельетонистомъ однажды сдѣлался почтенный ученый и принялся разсказывать, какъ Москва *угошала брагой* защитниковъ Севастополя: въ дѣйствительности оказалось, что брагой ихъ никогда не угощали.—Захотѣлъ онъ въ одномъ изъ своихъ сочиненій представить портретъ Батюшкова; но въ то время, когда г. Шевыревъ принялся рисовать, Батюшковъ обернулся къ нему спиною, и въ книгѣ злополучнаго профессора оказался рисунокъ, изображающій Батюшкова — съ затылка!... Въ стихотворство пустился ординарный академикъ и профессоръ; но и тутъ дѣло кончилось неудачно: извѣстно, какъ промахнулся онъ недавно съ своимъ привѣтствіемъ Бѣлевской библіотекѣ, которое не могло появиться *въ самый день*, вслѣдствіе невеликодушія редактора «Московскихъ Вѣдомостей». Словомъ, что ни дѣлалъ г. Шевыревъ, производилъ ли слово *фиръ* отъ *сѣвера*, изъявлялъ ли желаніе взобраться на Александровскую колонну, толковалъ ли о великомъ значеніи Жуковскаго или объ отношеніи семейнаго воспитанія къ государственному, вступалъ ли въ русскую горячую бесѣду, — вездѣ его поражали тяжкіе удары, вездѣ его дѣятельность ознаменовывалась самыми несчастными промахами.

Такъ случилось и съ лекціями г. Шевырева о русской словесности. На первыхъ книжкахъ его курса было прибавлено: «*преимущественно древней*», — и это подало повод одному писателю справедливо замѣтить: т. е. *преимуществен того времени, когда ничего не писали*. Замѣчаніе это оправд г. Шевыревымъ вполнѣ, — какъ въ первыхъ двухъ книжкахъ
... такъ и въ третьей, нынѣ изданной. На каждой стран

очевидно, что почтенный профессоръ сильно промахнулся въ самомъ выборѣ предмета. Не менѣе ловкіе промахи умѣлъ онъ сдѣлать и въ обработкѣ его. Такъ, говоря о языкѣ русскомъ, онъ выразилъ вражду къ германской филологіи, по слѣдамъ которой считалъ постыднымъ *влачиться*; между тѣмъ именно съ этого времени германская филологія и принялась у насъ, благодаря преимущественно трудамъ г. Буслаева. Говоря о словесности, г. Шевыревъ старался во всемъ видѣть чудеса и въ своемъ мистическимосковскомъ патріотизмѣ старался превозносить древнюю Русь выше облака ходячаго: а именно въ это время, болѣе чѣмъ когда-нибудь прежде, пробуждалась наклонность къ безпристрастному и строгому пересмотру дѣяній древней Руси. Труды гг. Соловьева, Кавелина, Калачова, потомъ Буслаева, Забѣлина, Чичерина, Пыпина и др. указали намъ правильную историческую точку зрѣнія на нашъ до-петровскій періодъ и на его литературу. А г. Шевыревъ и теперь опять является съ тѣми же высокомѣрными возгласами о величіи русскаго смиренія, терпѣнія и пр., да еще при этомъ осмѣливается увѣрять, будто со времени изданія его книги (въ 1846 г.), «*по его слѣдамъ* (по слѣдамъ г. Степана Шевырева, ординарнаго академика и профессора!!) *вели науку далѣе* (далѣе?) *другіе ученые* (каково наивное признаніе въ собственной учености!) *и трудилось молодое поколѣніе*, которое скоро и представило отличныхъ дѣятелей по тому же предмету. Нѣкоторые *изъ нихъ* (изъ отличныхъ-то дѣятелей? полноте!) мнѣ лично выражали *признательность* свою *за то, что начали изучать* русскую словесность древняго періода по моей книгѣ. Желаю душевно, чтобы и вновь выходящая книга принесла *такой же плодъ, какой принесенъ былъ двумя первыми* (!!!) (стр. V, предисл.).

Такія безцеремонныя претензіи г. Шевырева опять составляютъ весьма жалкій промахъ въ наше время, когда забавное значеніе почтеннаго профессора такъ ясно уже для молодыхъ изслѣдователей. Не менѣе жалокъ намъ историкъ русской словесности и въ другомъ своемъ промахѣ, относящемся къ сужденію о немъ другихъ журналовъ. По его словамъ, всѣ петербургскіе журналы, при первомъ появленіи его книги въ 1846 г., осудили его потому, что онъ «поставилъ себя въ «Московскомъ Наблюдателѣ» и въ «Москвитянинѣ» во враждебное отношеніе къ тѣмъ журналамъ». Такое объясненіе можно отнести, конечно, опять къ той же, вѣчно преслѣдующей г. Шевырева, опрометчивости. Но, вообще говоря, подобныя объясненія наводятъ насъ на мысль о той степени нравственнаго униженія, на которой находился извѣстный герой, любившій разсказывать, какъ онъ «пострадалъ по службѣ за правду». Мы убѣждены, что сознательно заподозрить гласнымъ образомъ чужую честность, не представивъ никакихъ доказательствъ на свои подозрѣнія, — можетъ только человѣкъ, не имѣющій достаточно увѣренности въ своемъ собственномъ благородствѣ и добросовѣстности.

Къ сожалѣнью, новая книжка г. Шевырева представляетъ обильныя доказательства на то, что онъ еще доселѣ не умѣетъ возвыситься до пониманія того, что человѣкъ можетъ дѣйствовать по убѣжденію,—что мысль, сознаніе правды можетъ быть такимъ же двигателемъ человѣческихъ поступковъ, какъ и всякіе другіе самые практическіе расчеты. Напримѣръ, что можетъ быть проще того факта, что я спорю противъ мнѣнія, несогласнаго съ моимъ, что я осуждаю направленіе, которое считаю ложнымъ? Г. Шевыревъ этого не понимаетъ; по его мнѣнію, когда я не хочу согласиться съ нимъ, что черное — бѣло, то я непремѣнно имѣю тутъ какіе-нибудь особенные виды. Вслѣдствіе такихъ понятій, онъ начинаетъ меня убѣждать: для чего вамъ хочется доказать, что черное — черно? какая вамъ будетъ бѣда, ежели я успѣю кого-нибудь увѣрить, что оно не черно, а бѣло? Развѣ мало другихъ цвѣтовъ, опредѣленіемъ которыхъ вы можете заняться? и пр. Невѣроятно, чтобъ ученый профессоръ могъ имѣть такія понятія; но что же дѣлать?—онъ ихъ дѣйствительно имѣетъ... Вотъ его слова: «Поле нашей науки такъ обширно, что нуждается во множествѣ дѣятелей: если бы было ихъ вдесятеро болѣе противъ наличнаго числа, *на всѣхъ бы доставало работы. Изъ чего же мы споримъ? что мы дѣлимъ? изъ чего мѣшаемъ другъ другу?*» (пред., стр. X). Видите, какія соображенія: если Бѣлинскій критиковалъ г. Шевырева, если гг. Буслаевъ, Забѣлинъ и пр. возставали противъ его мнѣнія, такъ это дѣлали они *изъ боязни, чтобы онъ не отбилъ у нихъ работу, изъ торговой конкуренціи!!* И послѣ такихъ заявленій, г. Шевыревъ осмѣливается еще толковать въ томъ же предисловіи о безкорыстной любви къ наукѣ!!

Въ дополненіе представленныхъ уже данныхъ, относительно личнаго характера г. Шевырева, какъ писателя, укажемъ слѣдующіе факты. На стр. XXII предисловія, онъ приходитъ въ восхищеніе отъ «Исторіи русской цивилизаціи» г. Жеребцова, говоря, что она «*проливаетъ* новый *свѣтъ* предъ всѣмъ *просвѣщеннымъ* (каламбуръ ученаго!) Западомъ на прошедшія, настоящія и будущія судьбы нашего отечества»; а нѣсколько строкъ ниже говорится, что г. Жеребцовъ многое взялъ изъ «Исторіи Словесности» г. Шевырева, «а главное—*изъ нея заимствовалъ основное свое воззрѣніе* на христіанское просвѣщеніе древней Руси». Итакъ, свѣтъ г. Жеребцова—заимствованный, т. е., говоря метафорически, г. Жеребцовъ есть въ нѣкоторомъ родѣ *луна* просвѣщеннаго Запада, а *солнце*-то его есть г. Шевыревъ. Гм!...

На стр. XXIII предисловія, г. Шевыревъ считаетъ нужнымъ *оправдаться* предъ публикой — не въ томъ, что рѣшается снова выступить съ продолженіемъ своихъ лекцій (какъ слѣдовало бы ожидать), а въ томъ, что это продолженіе *такъ замедлилось*. Въ оправданіе онъ приводитъ разные труды свои «на пользу университета, младшихъ товарищей по наукѣ и студентовъ» и, кромѣ того, намекаетъ еще на какія-то «*душевныя скорби, борьбу съ судь-*

бою, великое и трудное дѣло жизни», въ которыхъ онъ долженъ отдать отчетъ только Богу. Наконецъ, въ извиненіе себѣ ставитъ авторъ и то, что «работаетъ *безъ предшественниковъ* въ этомъ дѣлѣ, которые могли бы облегчить ему построеніе цѣлаго и разработку подробностей». Между тѣмъ, по самымъ примѣчаніямъ къ книгѣ г. Шевырева видно, что онъ весьма много пользовался изслѣдованіями преосвященныхъ Макарія, Филарета, профессора Горскаго и др. Кромѣ того, нельзя не замѣтить, что бо̀льшая часть книжки г. Шевырева состоитъ изъ краснорѣчиваго пересказа житій святыхъ русскихъ; житія же эти давно уже обработаны не менѣе краснорѣчивымъ перомъ А. Н. Муравьева, того самого, который у г. Жеребцова отличенъ наименованіемъ *шамбеляна*. Соображая все это, необходимо приходишь къ мысли, что отзывъ г. Шевырева—просто неблагодарность къ его предшественникамъ.

Характеръ общихъ понятій г. Шевырева, неизлѣчимо-мистическій, виденъ также изъ примѣровъ, подобныхъ слѣдующимъ. Говоря о желѣзныхъ дорогахъ и телеграфахъ, онъ признаетъ ихъ пользу вотъ по какимъ основаніямъ: «въ этихъ явленіяхъ чувствуетъ и сознаетъ человѣкъ осязательнымъ образомъ свое духовное назначеніе и предвкушаетъ, *такъ сказать*, на землѣ то совершенное уничтоженіе времени и пространства, которое ожидаетъ его въ будущей жизни» (стр. XXVIII). Это, *такъ сказать*, ординарный академикъ и профессоръ поэтизируетъ...

Въ другомъ мѣстѣ (стр. XX) г. Шевыревъ доказываетъ, что знанія и промышленность процвѣтали въ древней Руси, ибо въ ней былъ «искусный и опытный кормщикъ, Антипъ Тимоѳеевъ». Серьезно... Вотъ слова ученаго мистика: «какъ же изъ древней Руси, при отсутствіи всякой промышленности, всякаго знанія, объяснить *искуснаго и опытнаго кормщика*, Антипа Тимоѳеева, которому мы, въ рогахъ Унской губы, обязаны спасеніемъ жизни Петра»? Какъ же это объяснить, въ самомъ дѣлѣ? Мы думаемъ, что матеріалъ для объясненія могутъ г. Шевыреву доставить въ этомъ случаѣ описанія путешествій къ различнымъ дикимъ островитянамъ.

Внося мистицизмъ во всѣ явленія дѣйствительной жизни, даже самыя уродливыя, г. Шевыревъ доходитъ до того, что не стыдится давать слѣдующее объясненіе *кликушамъ:*

«Мы всѣ знаемъ, съ какимъ благоговѣніемъ русскій человѣкъ преклоняетъ свою голову передъ налоемъ евангельскимъ и внемлетъ понятному громогласному слову благовѣстія; мы знаемъ, съ какимъ внутреннимъ трепетомъ онъ срѣтаетъ, во время литургіи, пѣснь ижехерувимскую, и какъ глубоко чувствуетъ свое недостоинство, когда священникъ, приступая къ св. причащенію, изъ алтаря возглашаетъ міру: святая святымъ! Въ эти три мгновенія божественной литургіи какимъ-то особеннымъ трепетомъ бьется сердце благочестиваго русскаго. *Здѣсь надобно искать перваго объясненія тому психологическому явленію, которое извѣстно въ нашемъ простомъ народѣ между женщинами подъ именемъ кликушъ!*» (стр. 108, прим. 6).

Признаемся,—если бъ этотъ пассажъ былъ написанъ не г. Ше-

зыревымъ, котораго благочестіе не подвержено сомнѣнію, а кѣмъ-либо другимъ, то мы приняли бы его за самую неприличную насмѣшку...

Впрочемъ, довольно объ общихъ понятіяхъ г. Шевырева; обратимся къ его лекціямъ объ исторіи русской словесности XIII, XIV и XV столѣтій

Прежде всего нужно предупредить читателей, что объ исторіи словесности почти вовсе нѣтъ рѣчи въ книжкѣ г. Шевырева. Вы найдете въ его пяти лекціяхъ (XI—XV) и подробный разсказъ о татарскомъ нашествіи, и біографіи благочестивыхъ и мужественныхъ князей, и житія русскихъ пастырей и отшельниковъ, и замѣтки о церковныхъ колоколахъ, живописи, архитектурѣ, мѣстоположеніи Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря, о чудесахъ, совершавшихся въ древней Россіи; но исторіи словесности не найдете. Да оно и естественно, разумѣется; потому что — какая же тогда была словесность? Только зачѣмъ г. Шевыревъ мистифируетъ читателей названіемъ своей книги? Писать можно, о чемъ и что угодно; но надо же, по крайней мѣрѣ, имѣть нѣкоторое понятіе хотя о томъ, къ какой области знаній относится предметъ, о которомъ пишешь. Не все, что было въ древней Руси, можно назвать исторіею древней русской словесности. Г. Аѳанасьевъ написалъ, напримѣръ, нѣсколько статей о зооморфическихъ божествахъ славянскихъ, г. Егуновъ — о торговлѣ древней Руси, г. Забѣлинъ — о металлическомъ производствѣ въ древней Россіи; — но не сказали же они, что ихъ труды составляютъ исторію словесности. Да не говоря уже о нихъ, самъ уважаемый г. Шевыревымъ и извѣстный пылкостью своего ученаго воображенія, г. Бѣляевъ, не назвалъ исторіею словесности свои игривыя изслѣдованія — хотя, напримѣръ, о Руси до Рюрика и о Руси въ первое столѣтіе послѣ Рюрика. Не слѣдовало и г. Шевыреву называть исторіею словесности своихъ извлеченій изъ «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина и изъ «Житій русскихъ святыхъ», изданныхъ г. шамбеляномъ Муравьевымъ.

Въ доказательство того, что мы вовсе не клевещемъ на г. Шевырева, приводимъ его собственную характеристику двухъ столѣтій, словесность которыхъ составляетъ предметъ его лекцій. О XIII вѣкѣ онъ говоритъ: «скудно число писателей, относящихся къ XIII вѣку; еще скуднѣе число памятниковъ, отъ нихъ оставшихся (стр. 30). Внезапное безплодіе, поражающее насъ въ XIII вѣкѣ, можно было бы сравнить съ впечатлѣніемъ пустыни, встрѣчавшей въ тѣ времена странниковъ нашихъ на ихъ пути изъ населенной Россіи къ полудню, къ татарскимъ кочевьямъ» (стр. 17). А между тѣмъ, тринадцатому столѣтію посвящено въ книгѣ г. Шевырева сто страницъ. Чѣмъ же онѣ наполнены? Да такъ, — коечѣмъ. Вслѣдъ за признаніемъ литературнаго безплодія XIII вѣка говорится, что безплодіе происходило отъ татарскаго нашествія, и разсказывается подробно о нашествіи Батыя, потомъ говорится

о доблестяхъ Александра Невскаго, Михаила Черниговскаго, Владиміра Волынскаго и другихъ *героевъ отечества*, въ родѣ Меркурія Смоленскаго, Романа Углицкаго, Петра и Февроніи и другихъ личностей, никогда и не думавшихъ попасть въ литературу. И описываются они не мимоходомъ, не вкратцѣ, а со всѣми возможными амплификаціями, какія только можетъ внушить искусство Квинтиліана. Вотъ, напримѣръ, *малая толика* изъ разсказа о Владимірѣ Волынскомъ, находящагося *въ Исторіи русской словесности.*

«Высокій ростъ, сильныя плечи, прекрасное лицо, русые кудрявые волосы, борода остриженная, стройныя руки и ноги, исподняя часть рта полная и голосъ громкій, — составляли признаки его наружности. Онъ былъ искусный ловецъ, храбръ, кротокъ, смиренъ, незлобивъ, и пр., и пр. (множество качествъ и дѣйствій, изъ которыхъ къ словесности относится только то, что онъ переписалъ своей рукою нѣсколько книгъ)... «За четыре года до смерти у него начала гнить исподняя часть рта, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе. Сначала эта болѣзнь не мѣшала ему ходить и ѣздить на конѣ; онъ раздавалъ все имѣніе свое нищимъ. Потомъ, на четвертый годъ, спало у него все мясо съ бороды, выгнили нижніе зубы, кость бородная перегнила, обнаружилась внутренность гортани: въ теченіе семи недѣль онъ не питался ничѣмъ, кромѣ воды, и то скудно,— и, наконецъ, скончался послѣ тяжкихъ страданій въ 1288 г., 10 декабря, въ городѣ Любомлѣ» (стр. 25—26).

Надобно прибавить только одно: что Владиміръ этотъ *ничего не писалъ* и не былъ предметомъ *никакого отдѣльнаго сказанія*,— и читатели вполнѣ оцѣнятъ умѣстность въ исторіи словесности любопытныхъ страданій этого князя...

Такимъ способомъ и наполняетъ почтенный профессоръ свою книжку. Во всей одиннадцатой его лекціи, излагающей на ста страницахъ исторію словесности XIII вѣка, къ словесности собственно относятся только немногія страницы о Симонѣ и Поликарпѣ, да о словахъ Серапіона. Но и эти страницы весьма поверхностны и состоятъ почти изъ одного только пересказа содержанія памятниковъ. Кромѣ того, г. Шевыревъ распространяется — объ Аврамiи Смоленскомъ, который тоже ничего не писалъ, но которому *можно приписать* «Слово о небесныхъ силахъ и исходѣ души», *потому что* Аврамій, по свидѣтельству житія его, написалъ двѣ иконы — страшнаго суда и воздушныхъ мытарствъ, и любилъ о томъ говорить!... (стр. 89). Распространяется г. Шевыревъ и о разныхъ Кириллахъ, изъ которыхъ одному можетъ быть приписано то самое «Слово», которое можетъ быть приписано и Аврамію; о другомъ предполагаютъ, что онъ писалъ что-нибудь; но предположенія эти, по сознанію самого г. Шевырева, требуютъ еще ученаго изслѣдованія; а третій, — если и ничего не писалъ, то замѣчателенъ тѣмъ, что *къ нему писалъ* Германъ, патріархъ Цареградскій, о непосвященіи рабовъ въ духовный санъ (стр. 30—33).

Такъ наполнено XIII столѣтіе. О XIV вѣкѣ ученый профессоръ говоритъ, что представителями его (въ русской словесности) являются — преподобный Сергій, митрополитъ Алексѣй и Кипріанъ и

ефанъ Пермскій, но что еще лучше, вѣкъ этотъ «можно на-
ать по преимуществу вѣкомъ св. Сергія» (стр. 106, 313). И
ѣдую 12-ю лекцію (60 страницъ) г. Шевыревъ говоритъ о Сергіи,
Алексѣѣ и Стефанѣ. Въ результатѣ лекціи оказывается, что Але-
ксѣй почти ничего не писалъ, а отъ Сергія и Стефана рѣшительно
ничего не осталось. Столь странный результатъ изумляетъ самого
г. Шевырева, какъ будто почувствовавшаго, что онъ совершенно
допусту сочиняетъ свою лекцію. «Страннымъ съ перваго раза по-
кажется,—говоритъ онъ,—что изъ двухъ первенствующихъ дѣятелей
въ духовной жизни нашей XIV вѣка (Сергій и Алексѣй) одинъ
не оставилъ ничего письменнаго, а другой мало по объему»
(стр. 138). Но впрочемъ ученый нашъ не смущается; онъ тотчасъ
нашелся въ своемъ затруднительномъ положеніи.—«Ясно,—говоритъ,
что оба дѣйствовали, по обычаю древнихъ русскихъ людей, изуст-
нымъ словомъ». Это, говоритъ, у насъ не рѣдко бывало. Такъ
напримѣръ... и начинаетъ распространяться о *книжномъ иногда*
Павлѣ Высокомъ. «А между тѣмъ отъ Павла Высокаго намъ,—го-
ворить,—ничего не осталось» (стр. 139). Стало быть, и отъ дру-
гихъ нечего требовать!...

Утѣшивъ себя примѣромъ Павла Высокаго, почтенный акаде-
микъ оканчиваетъ свою лекцію уже совершенно спокойно. Раз-
сказавши на 10 страницахъ о Стефанѣ Пермскомъ, онъ уже весьма
храбро и безъ обиняковъ спрашиваетъ и отвѣчаетъ: «осталось ли
намъ что-нибудь отъ словесно-духовной дѣятельности Стефана
Пермскаго на славянскомъ языкѣ? — Рѣшительно ничего. — До-
шли ли до насъ памятники зырянской письменности трудовъ Сте-
фана Пермскаго? — Ни одного» (стр. 149—150). Послѣ этого ста-
новятся уже совершенно ясны права Стефана на мѣсто въ исторіи
русской словесности.

Въ XIII-й лекціи,— самой коротенькой,— посвящено страницъ
15 митрополиту Кипріяну, и страницъ 20 — краснорѣчивому опи-
санію пустынножительскихъ обителей. Мистицизмъ ученаго про-
фессора находитъ себѣ здѣсь полный просторъ въ мечтаніяхъ о
томъ, какъ на берегахъ Шексны «склоны неба, простираясь кру-
гомъ, кажется, съ любовью захватываютъ всѣ дива благословен-
ной земли» (стр. 199). Впрочемъ, если мечтательнаго автора и можно
упрекнуть въ недостаткѣ научной точности и простоты, то нельзя
въ то же время и не похвалить его за теплоту чувства, съ кото-
рою разсказываетъ онъ о чудесахъ, бывшихъ въ обителяхъ. Вотъ,
напр., назидательный разсказъ о Кириллѣ Бѣлозерскомъ:

«Чудесно обнаружилось призваніе Кириллу. Разъ, по обычаю, читалъ он
ночью акаѳистъ Божіей Матери; мысль его остановилась на словахъ: «странн
рождество видѣвше, устранимся міра»,— и сильно загорѣлась въ немъ дав
молитва. Вдругъ слышитъ онъ голосъ: «иди на Бѣлоозеро! тамъ мѣсто тво
спасенія»,— и внезапно горній свѣтъ озарилъ его келью. Онъ отворилъ окн
свѣтъ изливался отъ странъ полуночныхъ, гдѣ открывалось Бѣлоозеро, а го
звалъ и манилъ его туда. Эта ночь была ему свѣтлѣе дня. Она исполнила
ла ему силу рѣшиться на подвигъ» (стр. 198).

Четырнадцатая и пятнадцатая лекціи болѣе касаются словесности, чѣмъ предыдущія; но и онѣ не обошлись безъ пространнаго изложенія предметовъ, которые могли бы вовсе не входить въ исторію словесности. Такъ, нѣсколько страницъ здѣсь занято сладкими разсужденіями о зодчествѣ, литейномъ искусствѣ, о дверяхъ и колоколахъ въ древней Руси; слишкомъ уже краснорѣчиво описана жизнь Фотія, много приводится лишнихъ подробностей о разныхъ событіяхъ, по поводу которыхъ написано было то или другое сочиненіе, и пр., двадцать страницъ посвящено *изложенію* безобразнаго «Сказанія о Мамаевомъ побоищѣ». Въ этомъ изложеніи попадаются между прочимъ такія мысли: «нельзя не пожалѣть, что этотъ зародышъ поэмы остался у насъ дичкомъ и не одушевилъ ни одного поэта въ художественномъ періодѣ новой Россіи. Древняя Русь, въ своемъ смиреніи, не тщеславилась своими подвигами, а все отдавала Богу. Новая Россія, *увлеченная другими стремленіями* (?), полюбила славу. Ея бы дѣло было воздать славою тѣмъ, которые не о славѣ, а о благѣ думали: *но не туда устремила она очи. Подождемъ далѣе*» (стр. 273). Подождите, г. Шевыревъ!...

Въ вознагражденіе за длинноту изложенія «Сказанія», г. Шевыревъ едва удѣляетъ нѣсколько страничекъ народнымъ пѣснямъ татарской эпохи. Не стоитъ говорить о его эксцентрическихъ тенденціяхъ и обо всемъ его поверхностномъ очеркѣ; но можно замѣтить еще одинъ забавный промахъ его. Алешу Поповича онъ принимаетъ за олицетвореніе русскаго христіанскаго героя въ борьбѣ съ татарскою бусурманскою силою Тугарина Змѣевича (стр. 298). Между тѣмъ Алеша во всѣхъ народныхъ пѣсняхъ является съ характеромъ плутовства, трусости и обмана; это просто—противопоставленіе тонкой хитрости грубой тѣлесной силѣ. Хорошаго же героя выбралъ г. Шевыревъ для борьбы съ нехристью!..

Въ заключеніи своей книги, г. Шевыревъ удивляется *единству и высотѣ* мысли, выработанной древнею Русью. *Единство* видитъ онъ въ томъ, что всѣ тогда сочиняли на одинъ ладъ, не пускаясь въ пагубное разнообразіе—не только мнѣній, но и самыхъ предметовъ. *Высота* же мысли древне-русской доказывается, по г. Шевыреву, тѣмъ, что и нынѣ писатели, слѣдующіе тѣмъ же путемъ, какъ древніе наши книжники, сходятся съ ними въ мысляхъ. Отсюда г. Шевыревъ заключаетъ, что истина древней Руси—вѣчна, а «для вѣчной истины нѣтъ различія между XIX и XV вѣкомъ; мѣняются формы ея выраженія, она же пребываетъ одна» (стр. 376). Все это прекрасно и нимало не удивило насъ; мы давно знали, что г. Шевыревъ проповѣдывалъ печатно что-то въ родѣ того, что философія Гегеля заимствована изъ «Поученія» Владиміра Мономаха. Но отчего же г. ординарный академикъ и профессоръ не хочетъ до сихъ поръ обратить свое просвѣщенное вниманіе на одно возраженіе, которое давно и нѣсколько разъ уже ему пред-

лагали, именно: что успокоеніе на *неизмѣнной истинѣ*, отысканной имъ въ древней Руси, ведетъ къ самому унылому застою и смерти?.. Вѣдь теперь уже всѣ видятъ и знаютъ, что *единая* и *высокая* истина г. Шевырева, вѣчно-присущая древней Руси, совершенно чужда всѣмъ жизненнымъ интересамъ новой Россіи и можетъ примириться съ ними только развѣ въ мистическихъ теоріяхъ опрометчиваго профессора. Въ жизни она можетъ повести теперь только къ жалкимъ самоистязаніямъ, въ родѣ тѣхъ, которыхъ жертвою сдѣлался Гоголь; въ литературѣ она губитъ самобытные таланты, какъ мы видѣли примѣръ на томъ же Гоголѣ,— и производитъ задхлыя, гнилыя, трупообразныя явленія, подобныя «Опыту исторіи русской цивилизаціи» и «Исторіи русской словесности, преимущественно древней».

Путешествіе по Сѣверо-Американскимъ Штатамъ, Канадѣ и острову Кубѣ. *Александра Лакіера.* Спб. 1859. Два тома.

«Американцы—народъ очень практическій; деньги для нихъ—все».

«Америка — страна купцовъ, страна матеріальныхъ удобствъ жизни».

«Америка имѣетъ демократическія учрежденія и предоставляетъ въ жизни полную свободу каждой личности, не исключая женщинъ».

«Въ Америкѣ есть важный жизненный вопросъ — о невольничествѣ».

Вотъ, кажется, весь обиходъ стереотипныхъ фразъ объ Америкѣ, обращающихся въ большинствѣ нашей публики. Нѣкоторые знаютъ побольше, нѣкоторые поменьше; но рѣдко кто имѣетъ основательныя и подробныя познанія относительно американскихъ нравовъ и учрежденій. Большею частію полагаютъ, что это та же Англія, только уже до крайности практическая и матеріальная. Вотъ и все. А между тѣмъ, мы и Англію-то знаемъ далеко не вполнѣ; и объ Англіи часто слышатся у насъ толки вкривь и вкось. Но англійскія учрежденія все-таки въ значительной степени разъяснены для нашей публики, благодаря «Русскому Вѣстнику»; нравы англичанъ также довольно извѣстны намъ—по множеству переведенныхъ у насъ нравоописательныхъ очерковъ и романовъ лучшихъ англійскихъ писателей. Относительно же Америки и этого нѣтъ. Были когда-то у насъ въ славѣ романы Купера, потомъ разсказы Герштекера; но и тѣ и другіе знакомили болѣе съ природою страны, нежели съ гражданскою жизнью ея обита-

телей. Въ недавнее время произведенія г-жи Бичеръ-Стоу раскрыли намъ одну изъ сторонъ быта Сѣверной Америки. А затѣмъ остается лишь нѣсколько короткихъ, отрывочныхъ замѣтокъ, время отъ времени помѣщавшихся въ нашихъ журналахъ. Вслѣдствіе такой бѣдности знаній, въ нашей литературѣ постоянно раздавались самыя разнорѣчивыя и часто очень забавныя сужденія объ Америкѣ. Одни, напр., уподобляли Сѣверо-Американскіе Штаты Россіи; другіе, напротивъ, утверждали, что въ нихъ господствуетъ гнусная анархія. Одни восхищались ихъ образованностью; другіе бранили ихъ за постыдное невѣжество во всѣхъ вопросахъ искусства, поэзіи и высшей философіи. Одни увѣряли, что женщины тамъ поставлены очень хорошо, веселятся и вполнѣ пользуются своими человѣческими правами; другіе изображали американокъ несчастными, сухими и безжизненными существами, подобными счетной машинѣ. Относительно частныхъ вопросовъ разногласіе было бы, конечно, еще рѣзче; но ихъ, къ сожалѣнію, почти никто и не касался.

При такомъ положеніи нашихъ знаній о Сѣверной Америкѣ, книга г. Лакіера составляетъ пріятное явленіе въ нашей литературѣ. Наши читатели, вѣроятно, знакомы уже съ характеромъ этой книги по двумъ большимъ отрывкамъ изъ нея, помѣщеннымъ въ «Современникѣ» прошлаго года. На этомъ основаніи мы не считаемъ нужнымъ слишкомъ распространяться о достоинствахъ и недостаткахъ путешествія г. Лакіера и ограничимся лишь нѣсколькими краткими замѣтками о его содержаніи. Въ коротенькомъ предисловіи, г. Лакіеръ говоритъ, что «главною его заботою было изучить учрежденія и познакомиться съ внутреннимъ бытомъ страны и общества». Сообщая плоды своего изученія читателямъ, г. Лакіеръ идетъ путемъ систематическихъ дѣловыхъ обозрѣній. Прежде всего онъ даетъ «Очеркъ исторіи колоній въ Новомъ Свѣтѣ», потомъ излагаетъ конституцію Соединенныхъ Штатовъ, затѣмъ уже изображаетъ Бостонъ, Нью-Йоркъ, Филадельфію, Балтиморъ и пр. Но и въ этихъ частныхъ описаніяхъ г. Лакіеръ не вдается въ бѣглыя путевыя замѣтки, а наполняетъ бо́льшую часть страницъ подробностями, заимствованными изъ офиціальныхъ источниковъ. Въ Бостонѣ, напр., его заняли школы, и онъ подробно передаетъ свѣдѣнія о томъ, на какіе доходы содержатся школы, какіе разряды ихъ существуютъ, какъ онѣ управляются, сколько въ нихъ дѣтей, какіе часы назначены для ученья, какіе именно предметы и въ какомъ размѣрѣ преподаются, какое жалованье получаютъ учителя, и т. д. Точно такъ же подробно, систематически разсматриваетъ г. Лакіеръ вопросы о судопроизводствѣ, о тюрьмахъ, о торговлѣ и пр. Этого, разумѣется, нельзя вмѣнить въ вину автору: способъ изложенія зависитъ отъ взгляда автора на задачу своего труда. Но можно опасаться, что форма замѣтокъ г. Лакіера покажется нѣсколько утомительною многимъ изъ его

читателей, которымъ нужны еще не подробности частныхъ фактовъ, а общій очеркъ учрежденій и быта страны. Въ предисловіи своемъ г. Лакіеръ признается, что придаетъ значеніе своему путешествію только какъ «*первому* у насъ описанію Америки». Въ этомъ смыслѣ его сочиненіе дѣйствительно заслуживаетъ вниманія, и его можно рекомендовать всякому русскому читателю, не имѣющему возможности познакомиться съ Америкой изъ иностранныхъ источниковъ. Но справедливость требуетъ сказать, что въ книгѣ г. Лакіера постоянно замѣчается весьма важный недостатокъ — отсутствіе личной наблюдательности автора. Все, что онъ говоритъ отъ себя, ограничивается тѣмъ, что онъ ѣхалъ оттуда, туда, по такому-то пути, останавливался тамъ-то. Къ этому нерѣдко прибавляются описанія пароходовъ, вагоновъ, улицъ, гостиницъ, замѣчательныхъ зданій или памятниковъ, и т. д. А чуть дѣло коснется жизни, быта, — авторъ немедленно сообщаетъ вамъ положительныя офиціальныя данныя. Вы хотите знать, какъ въ Америкѣ люди живутъ, торгуютъ, судятся, учатся, — г. Лакіеръ удовлетворяетъ ваше желаніе, сообщая вамъ перечень судебныхъ должностей, разныхъ школъ, цыфры привоза и вывоза товаровъ, число рѣшенныхъ дѣлъ, и т. п. Такимъ образомъ, живая сторона быта скрывается за формальными ея проявленіями, занесенными въ книжки, газеты, отчеты и пр. Именно вслѣдствіе этого качества книги, мы полагаемъ, что кто читалъ хоть только два сочиненія объ Америкѣ — Токвиля и Фрёбеля, тотъ немного потеряетъ, если не станетъ читать путешествія г. Лакіера. Скажемъ больше: изъ читающихъ по-французски, даже кто не захочетъ сидѣть надъ серьезными и дѣльными произведеніями, въ родѣ названныхъ нами, и тотъ можетъ обойтись безъ книги г. Лакіера, взявши для общаго знакомства съ Америкой какія-нибудь первыя попавшіяся французскія книжки, въ родѣ, напр., хоть Ксавье Эймà, Оскара Кометтана, и т. п. Въ нихъ, разумѣется, болѣе общихъ фразъ и игривыхъ анекдотовъ, ничего не доказывающихъ, нежели дѣловыхъ и офиціальныхъ замѣчаній. Но за то у нихъ болѣе легкости и живости, болѣе сноровки въ общихъ очеркахъ, болѣе умѣнья группировать свои замѣтки такъ, чтобы онѣ оставляли то общее впечатлѣніе, какое автору хотѣлось произвести, и въ то же время не были обременительны для читателя. Очевидно, что наша публика, читающая по-французски, обратится скорѣе къ этимъ легкимъ замѣткамъ, нежели къ дѣльной книгѣ г. Лакіера. Читая его путешествіе, надобно вникать въ цыфры, соображать частные факты, самому нужно выводить общіе результаты и составлять цѣльный очеркъ изъ матеріаловъ, излагаемыхъ въ его книгѣ. Не гораздо ли удобнѣе имѣть дѣло съ авторомъ, который, какъ говорится, все *въ ротъ кладетъ* своимъ читателямъ? Не легче ли пробѣжать французскій очеркъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ, набросанный, напр., въ такомъ родѣ:

«Съ одного конца до другого Соединенные Штаты прорѣзаны желѣзными дорогами; одно уже это не внушаетъ ли вамъ мысли о процвѣтаніи промышленности въ этой странѣ?

«Рѣки и озера Америки покрыты безчисленнымъ множествомъ пароходовъ; американскіе корабли въ огромномъ числѣ разгуливаютъ по всѣмъ морямъ земного шара; не показываетъ ли это, какъ значительна ихъ торговля?

«Дома американцевъ отлично устроены и убраны; не наводитъ ли это васъ на мысль о богатствѣ обитателей страны?

«Великолѣпіе общественныхъ учрежденій, составляющихъ гордость Союза и предметъ удивленія для иностранцевъ, — не доказываетъ ли общаго довѣрія къ прочности государственнаго устройства?

«Множество театровъ, бездна удовольствій всякаго рода, въ которыхъ кружится этотъ народъ, по наружности столь степенный, безпрерывно возрастающее количество журналовъ, охота (если не разумная любовь) къ искусствамъ, обнаруживаемая въ этой странѣ, процвѣтаніе литературныхъ обществъ, серьезное развитіе наукъ,— не свидѣтельствуютъ ли въ пользу американскихъ учрежденій, не доказываютъ ли, что подъ ихъ покровомъ все можетъ успѣвать, рости, процвѣтать,—пока и въ правительствѣ и въ народѣ сохраняется ясное сознаніе своихъ правъ и обязанностей въ отношеніи другъ къ другу?

«Да, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія; только нужно, чтобы въ обществѣ заключались тѣ основныя начала, которыя одни служатъ залогомъ жизненности учрежденій, подобныхъ тѣмъ, при какихъ процвѣтаетъ Американскій Союзъ.

«Первые колонисты, образовавшіе въ Америкѣ общество, принесли съ собою начала нравственности, религіи, разумности и упорной энергіи въ стремленіи къ достиженію своихъ цѣлей. Они проникнуты были презрѣніемъ къ заблужденіямъ стараго міра, который оставили, и мыслью о великой будущности, какую они должны были приготовить себѣ въ Новомъ Свѣтѣ. Съ такими идеями и средствами приступили они къ дѣлу своего общественнаго устройства и составили учрежденія, которыя, въ свою очередь, помогли дальнѣйшимъ успѣхамъ ихъ развитія.

«Въ настоящее время—образованіе разлито повсюду въ Соединенныхъ Штатахъ, и его первое благодѣяніе состоитъ въ томъ, что оно предохраняетъ отъ тѣхъ заблужденій, которыя такъ часты и легки при демократическомъ устройствѣ государства. Въ Сѣверной Америкѣ мудрено обольстить цѣлую массу народа какими-нибудь вздорными обѣщаніями и теоріями; мудрено обмануть общественное мнѣніе насчетъ государственной дѣятельности частныхъ лицъ. Каждый гражданинъ понимаетъ тамъ свои обязанности и свои права, каждый знаетъ свое значеніе въ общей массѣ народныхъ силъ. Въ то же время каждый очень хорошо понимаетъ, какъ вредятъ благоденствію общества всякіе безпорядки и

волненія, и потому всѣми силами старается устранять и предупреждать всякій поводъ къ нимъ.

«Въ Соединенныхъ Штатахъ дѣла не терпятъ медленности, рѣдко что-нибудь дѣлается тамъ вполовину, никакое предпріятіе не бросается неоконченнымъ. Дѣлая первый шагъ, американецъ знаетъ, къ какой именно цѣли приведетъ этотъ шагъ, и онъ не остановится на пути, пока не достигнетъ цѣли. И никто не захочетъ тамъ останавливать этого шествія: всякій самъ занятъ, и притомъ всякій сознаетъ, что каждый шагъ впередъ каждаго члена общества приноситъ общую пользу, а всякая частная обстановка дѣйствуетъ невыгодно и на общее благосостояніе.

«Если же въ этой странѣ является какая-нибудь великая, благотворная для общества мысль,—она мгновенно овладѣваетъ всѣми умами, съ необыкновенной быстротой пріобрѣтаетъ всеобщую симпатію; тысячи рукъ тотчасъ являются для ея осуществленія, но ни одна не подымется для того, чтобы помѣшать ея развитію. Явится ли она въ союзномъ конгрессѣ, или зародится въ головѣ самаго темнаго гражданина—все равно; она повсюду найдетъ себѣ равную поддержку, безъ различія лицъ и партій

«При такомъ теченіи общественныхъ и частныхъ дѣлъ, участь людей, даже поставленныхъ въ самыя неблагопріятныя обстоятельства, постоянно улучшается совершенно естественно и безъ всякихъ потрясеній. Здѣсь бѣднымъ не нужно стараться погубить богатыхъ для того, чтобы самимъ обогатиться. Насильственныя мѣры здѣсь не нужны, потому что люди, болѣе имѣющіе средствъ и выше поставленные, считаютъ своею обязанностію — не противодѣйствовать общему движенію, а напротивъ, сколько можно ему способствовать. Поэтому, на всемъ пространствѣ Соединенныхъ Штатовъ вы никогда не встрѣтите тайныхъ заговоровъ, имѣющихъ въ виду ниспроверженіе общественнаго порядка и безопасности частныхъ лицъ; напротивъ, во всѣхъ концахъ этой огромной страны вы находите могущественныя ассоціаціи, имѣющія цѣлію возвышеніе частной производительности и распространеніе началъ нравственности, порядка и любви къ труду. Всякій гражданинъ принимаетъ тамъ общее благо столько же близко къ своему сердцу, какъ и свое собственное. Отсюда происходитъ въ Соединенныхъ Штатахъ совершенная ненужность многихъ чиновничьихъ и полицейскихъ должностей, которыя кажутся необходимыми въ Европѣ. Такому ходу дѣлъ благопріятствуютъ многія условія, свойственныя исключительно Сѣверной Америкѣ.

«Начнемъ съ того, что здѣсь всякій здоровый, неглупый и нелѣнивый человѣкъ всегда находитъ себѣ множество средствъ и матеріаловъ, если только хочетъ приняться за работу. Притомъ же трудъ, каковъ бы онъ ни былъ, пользуется здѣсь общимъ уваженіемъ, и уже это одно предохраняетъ работника отъ увлеченія какой-нибудь другой карьерою. Смѣло, прямо и твердо можетъ онъ итти по дорогѣ труда, въ увѣренности, что она приведетъ его къ

достатку, а можетъ быть и къ богатству. Кромѣ того, при общественномъ устройствѣ Соединенныхъ Штатовъ, самый простой расчетъ заставляетъ людей быть честными и не посягать на нарушеніе общественнаго и частнаго спокойствія. Здѣсь общество настолько образовано, что умѣетъ цѣнить людей по ихъ настоящему достоинству и, вмѣстѣ съ тѣмъ, умѣетъ правильно понимать свое собственное благо. Поэтому популярность и авторитетъ въ американскомъ обществѣ могутъ доставаться только на долю тѣхъ, кто дѣйствительно желаетъ общаго блага и умѣетъ доказать благодѣтельность своихъ стремленій и дѣйствій. Уважая трудъ, ставя его выше всего, преклоняясь только предъ нимъ, американецъ презираетъ всѣ другія привилегіи, которыми такъ дорожатъ въ Европѣ. Громкія имена, почетныя титла, общественное положеніе не даютъ человѣку въ Америкѣ никакихъ личныхъ преимуществъ. Тамъ цѣнятъ человѣка только по тому, какъ онъ работаетъ и что умѣетъ пріобрѣсти своимъ трудомъ. Ясно, что при такихъ понятіяхъ общества, дѣятельность частныхъ лицъ должна быть направляема совершенно иначе и давать другіе результаты, нежели у насъ въ Европѣ.

«Нельзя, конечно, безусловно превозносить Америку, нельзя видѣть въ ней одни только совершенства. Напротивъ, въ ея устройствѣ и бытѣ можно находить свои недостатки, и даже весьма важные; но недостатки эти не могутъ помрачить тѣхъ прекрасныхъ качествъ, которыя составляютъ неотъемлемыя черты Сѣверо-Американскаго Союза и въ которыхъ заключается тайна его величія. Эти качества: разумное спокойствіе въ строгомъ соблюденіи правъ и обязанностей каждаго, практичность въ примѣненіи общихъ идей, стремленіе къ развитію матеріальнаго благосостоянія народа и благородный патріотизмъ, заставляющій каждаго гражданина забывать свой собственный интересъ въ виду интересовъ общественныхъ».

Мы не ставимъ высоко этого очерка, заимствованнаго нами изъ книги г. Эймà. Мы готовы признаться, что онъ весь состоитъ изъ общихъ мѣстъ, и, кромѣ того, онъ довольно односторонень... Но нельзя не согласиться въ одномъ, что его можно прочитать безъ утомленія. А между тѣмъ, онъ все-таки *вводитъ* васъ въ Америку и даетъ нѣкоторое, хотя поверхностное, понятіе объ ея общественномъ устройствѣ даже такому читателю, который знаетъ объ Америкѣ только то, что написано въ географіи Ободовскаго. Книга г. Лакіера, безъ всякаго сомнѣнія, будетъ полезнѣе такихъ легкихъ и поверхностныхъ замѣтокъ для тѣхъ читателей, которые захотятъ вникнуть въ цыфры и факты, въ ней излагаемые. Но, какъ мы уже сказали, мы именно того и боимся, что въ русской публикѣ немного найдется читателей столь трудолюбивыхъ. Мы думаемъ, что «Путешествіе» г. Лакіера имѣло бы болѣе успѣха, если бы онъ менѣе увлекался систематичностью изложенія, болѣе давалъ простора своимъ личнымъ впечатлѣніямъ и болѣе обра-

щалъ вниманія на живые и современные вопросы. Такъ, напримѣръ, изъ путешествія г. Лакіера видно, что онъ былъ въ Нью-Йоркѣ около осени 1857 года, въ самый разгаръ промышленнаго кризиса. Ходъ торговыхъ операцій неизбѣжно долженъ былъ отразиться на всей физіономіи общества въ этомъ городѣ, одномъ изъ главныхъ центровъ промышленнаго движенія въ Америкѣ. Наблюденіе надъ нравами жителей въ это время, изложеніе ихъ взгляда на дѣло—могли бы дать много интереснѣйшихъ страницъ для книги г. Лакіера; между тѣмъ, у него о кризисѣ находимъ всего двѣ страницы, да и въ нихъ о самомъ кризисѣ говорится только мимоходомъ, по поводу устройства банковъ въ Нью-Йорскомъ штатѣ. Точно такъ, говоря о кораблестроеніи въ Соединенныхъ Штатахъ, г. Лакіеръ перечисляетъ количество судовъ, построенныхъ въ Нью-Йоркѣ, вкратцѣ излагаетъ ходъ работъ при постройкѣ судовъ, но ни слова не говоритъ о той, полной драматизма борьбѣ, какую въ кораблестроительной дѣятельности сѣверо-американцы выдерживали и еще доселѣ выдерживаютъ съ англичанами. Даже вопросъ о невольничествѣ, самый важный и живой изъ всѣхъ вопросовъ не только Сѣверной Америки, но можетъ быть и всего образованнаго міра, изложенъ у г. Лакіера далеко не такъ полно и обстоятельно, какъ это было бы нужно для русскихъ читателей. Недостатокъ вниманія къ этому предмету тѣмъ менѣе извинителенъ нашему путешественнику, что въ самое время его пребыванія въ Америкѣ происходили тамъ горячія пренія о невольничествѣ по поводу Канзаса...

Указывая на эти примѣры, мы вовсе не хотимъ сказать, чтобы книга г. Лакіера лишена была интереса для русской публики. Напротивъ, мы убѣждены, что читатели найдутъ въ ней очень много новаго и любопытнаго. Мы хотѣли только замѣтить, что напрасно г. Лакіеръ, желая познакомить русскую публику съ Америкою, мало позаботился о внѣшней занимательности своего путешествія. Для людей серьезныхъ, слѣдящихъ за политической литературой, подробности, приводимыя нашимъ путешественникомъ, давно знакомы и не нужны. Безъ всякаго сомнѣнія, такихъ людей и не имѣлъ въ виду г. Лакіеръ, описывая свое путешествіе. Для обыкновенныхъ же читателей, ничего не знающихъ объ Америкѣ, всѣ эти частности фактовъ, цыфры и извлеченія изъ отчетовъ, во-первыхъ, скудны, а во-вторыхъ, ни къ чему не поведутъ, потому что они все-таки неполны и отрывочны. Впрочемъ, можетъ быть новость предмета и дѣльность книги г. Лакіера придадутъ ей въ глазахъ читателей занимательность, которую не вполнѣ даетъ ей авторское изложеніе. Мы, съ своей стороны, будемъ очень рады, если «Путешествіе по Америкѣ» встрѣтитъ сочувствіе публики.

Но пока еще сочиненіе г. Лакіера не разошлось въ публикѣ и не распространило въ большинствѣ читателей ясныхъ и здравыхъ понятій объ Америкѣ, мы считаемъ не лишнимъ представить здѣсь кстати небольшой очеркъ учрежденій и быта Сѣверной Аме-

рики. Мы оставимъ въ сторонѣ Кубу и Канаду, тѣмъ болѣе, что о нихъ немного говорится и въ путешествіи г. Лакіера, и обратимъ исключительное вниманіе на Сѣверо-Американскіе Штаты. Мы не будемъ подробно излагать ихъ исторію, не будемъ входить въ мелкія частности ихъ учрежденій, разбирать оттѣнки ихъ политическихъ партій, не будемъ прибѣгать къ цыфрамъ и выкладкамъ: все это можетъ войти въ особенныя статьи, спеціально посвященныя разсмотрѣнію того или другого вопроса изъ исторіи и быта Сѣверной Америки. Мы ограничимся только самымъ общимъ и самымъ легкимъ очеркомъ внутренняго устройства Сѣверо-Американскихъ Штатовъ, съ цѣлію показать вліяніе ихъ учрежденій на бытъ народа. Въ этомъ очеркѣ мы будемъ отчасти пользоваться книгою г. Лакіера, иногда же будемъ дополнять его свѣдѣніями изъ другихъ иностранныхъ источниковъ.

Демократическій характеръ учрежденій Сѣверной Америки не разъ былъ предметомъ жаркихъ преній въ Западной Европѣ. Еще недавно спорили объ этомъ въ самой Англіи; одни приписывали демократическому образу правленія въ Америкѣ небывалыя выгоды, другіе старались представить его гибельнымъ для страны и изображали его такими мрачными красками, что становилось страшно. Конечно, въ Англіи подобные споры объ Америкѣ могутъ имѣть свою практически-полезную сторону: несмотря на свое соперничество и видимую непріязнь, обѣ страны имѣютъ между собою много общаго и для обѣихъ очень возможны полезныя заимствованія другъ отъ друга. Но для насъ эти споры совершенно чужды. И отъ Соединенныхъ Штатовъ и отъ Англіи насъ отдѣляютъ обширныя пространства морей; наши нравы и обычаи, весь нашъ общественный бытъ, сложились совсѣмъ подъ другими условіями, наши интересы направлены совершенно инымъ образомъ, и конечно, для нашего общества даже вовсе не любопытно то, что составляетъ жизненный вопросъ по ту сторону океана. Поэтому мы не станемъ попусту тратить время на безплодныя и напрасныя разсужденія о выгодахъ и невыгодахъ демократіи и ограничимся спокойнымъ и безпристрастнымъ изложеніемъ того, какъ она выразилась въ учрежденіяхъ Соединенныхъ Штатовъ и что успѣла произвести въ этой странѣ.

Начала американской демократіи нужно искать въ историческихъ обстоятельствахъ, подъ вліяніемъ которыхъ сложились политическія убѣжденія первыхъ ея переселенцевъ; для этого нужно обратиться на минуту къ исторіи Стараго Свѣта.

Много разъ уже высказано было замѣчаніе, что весь ходъ исторіи представляетъ постепенное уясненіе правъ личности и освобожденіе людей отъ ложныхъ авторитетовъ, создаваемыхъ суевѣріемъ и невѣжествомъ. Исторія Европы въ средніе вѣка служитъ однимъ изъ самыхъ ясныхъ подтвержденій этой мысли. Постепен-

ное уничтоженіе авторитета папъ, паденіе феодальной системы, усиленіе городскихъ общинъ, возникновеніе парламентовъ, — всѣ эти явленія средне-вѣковой исторіи прямо вели къ ослабленію аристократическихъ принциповъ и расширенію человѣческихъ правъ личности. Въ эпоху реформаціи личность уже ясно заявила свои права: въ дѣлѣ религіи разумъ потребовалъ свободы въ объясненіи священнаго писанія, во взаимныхъ отношеніяхъ захотѣли болѣе прочныхъ гарантій, перестали довѣряться произволу отдѣльныхъ лицъ и требовали опредѣленныхъ законовъ для общественной и частной дѣятельности. Эти явленія, общія всей Европѣ XV и XVI вѣка, съ особенною силою развились въ Англіи, изъ которой и вышли первые поселенцы Сѣверной Америки. Политическое образованіе народа въ Англіи было уже и въ это время гораздо выше, чѣмъ въ другихъ странахъ Европы. Вѣковая борьба партій безпрерывно привлекала участіе значительнаго числа гражданъ въ политическихъ событіяхъ ихъ отечества, и при этомъ естественно уяснялись у нихъ понятія о правѣ и законности и развивалась потребность истинной свободы. Коммунальное устройство, глубоко уже проникшее въ нравы англичанъ, поддерживало въ народѣ сознаніе его силы; а религіозныя секты, вызывая общество на серьезное обсужденіе высшихъ духовныхъ вопросовъ, довершали его нравственное образованіе. Послѣдователи одной изъ самыхъ строгихъ и чистыхъ по нравственности сектъ въ началѣ XVII в. положили основаніе колоніямъ Новой Англіи [1]). Это были пуритане, удалившіеся изъ отечества вслѣдствіе религіозныхъ стѣсненій, которымъ они подвергались тамъ при Стюартахъ. При самомъ переселеніи, они сознательно опредѣлили свою цѣль и образъ дѣйствій, которымъ намѣрены были слѣдовать. Памятникомъ ихъ рѣшенія остался актъ, составленный ими немедленно по прибытіи на берега Америки и приводимый между прочимъ у г. Лакіера. Вотъ этотъ актъ.

«Мы, нижеподписавшіеся, предпринявъ для славы Божіей распространенія христіанства, чести нашего короля и отечества — путешествіе для того, чтобы основать первое поселеніе въ сѣверной части Виргиніи, торжественно, въ присутствіи Бога и другъ предъ другомъ, объявляемъ, что мы соединяемся въ политическое и гражданское тѣло для сохраненія между собою добраго порядка и достиженія предположенной цѣли. Вслѣдствіе настоящаго договора мы введемъ у себя такіе законы, такія установленія и учрежденія, такія должностныя лица, какія будутъ для насъ необходимы и полезны для блага цѣлой колоніи. Имъ мы обѣщаемъ полную

---

[1]) Подъ именемъ Новой Англіи разумѣются штаты Коннектикутъ, Родъ-Эйлэндъ, Массачусетсъ, Нью-Гэмпширъ, Вермонтъ и Мэнъ. Здѣсь первоначально опредѣлились главнѣйшія идеи, послужившія основаніемъ послѣдующихъ учрежденій Соединенныхъ Штатовъ.

покорность и совершенное повиновеніе. Отъ Р. Х. 1620 года, 11 ноября».

Въ дополненіе къ этому акту можно представить нѣсколько строкъ изъ книги Метера, излагающихъ причины переселенія пуританъ изъ Англіи.

«Страна, гдѣ мы живемъ (говорятъ переселенцы), кажется, тяготится своими обитателями; человѣкъ, благороднѣйшее изъ твореній, цѣнится здѣсь меньше, чѣмъ земля, которую онъ попираетъ ногами. На дѣтей, на сосѣдей, на друзей смотрятъ какъ на тяжкое бремя; отъ бѣдняка бѣгутъ; всѣ отвергаютъ то, что должно было бы приносить величайшее въ мірѣ наслажденіе, если бы естественный порядокъ вещей не былъ нарушенъ. Страсти наши дошли до того, что уже нѣтъ такого достатка, при которомъ бы человѣкъ въ состояніи былъ поддерживать свое достоинство въ кругу себѣ равныхъ; а между тѣмъ, кто не можетъ успѣть въ этомъ, тотъ подвергается презрѣнію, а отсюда происходитъ то, что во всѣхъ отрасляхъ дѣятельности люди стараются обогатиться непозволительными средствами, и честнымъ людямъ стало очень трудно жить въ довольствѣ и безъ позора. Школы, въ которыхъ обучаютъ наукамъ и религіи, такъ развращены, что большая часть дѣтей и нерѣдко самыя отличныя изъ нихъ, подававшія самыя лучшія надежды, оказываются совершенно испорченными отъ множества худыхъ примѣровъ и отъ распущенности нравовъ, среди которыхъ они живутъ. Между тѣмъ, вся земля не есть ли достояніе Господне? Не отдалъ ли ее Богъ потомкамъ Адама для воздѣлыванія? Зачѣмъ же намъ умирать съ голоду за недостаткомъ мѣста, между тѣмъ какъ обширныя страны, равно принадлежащія всякому человѣку, остаются необитаемыми и невоздѣланными».

Такимъ образомъ, мысль о переселеніи прямо вытекала у пуританъ изъ ихъ религіознаго чувства. Но, по самой сущности пуританства, религія не могла ихъ привести къ тому, къ чему приводилъ своихъ послѣдователей католицизмъ. Не преклоненіе предъ личнымъ авторитетомъ и не униженіе правъ разума, а свободное братство всѣхъ членовъ общества и широкій просторъ для развитія знаній были провозглашены первыми поселенцами Новой Англіи. Въ американскомъ кодексѣ 1650 года находится, между прочимъ, такой законъ: «Такъ какъ сатана, врагъ человѣческаго рода, находитъ для себя самое могущественное оружіе въ людскомъ невѣжествѣ; такъ какъ нужно, чтобы свѣтъ знаній, принесенный сюда нашими отцами, не исчезъ съ нимп въ гробахъ ихъ; такъ какъ воспитаніе дѣтей составляетъ одинъ изъ первыхъ интересовъ государства, то жителямъ каждой общины предписывается заводить и содержать у себя школы, подъ опасеніемъ большого штрафа.» Такимъ образомъ, изъ правильно развитого религіознаго чувства возникло требованіе всеобщаго народнаго образованія; изъ того же чувства у пуританъ произошло стремленіе къ гражданской

свободѣ. Вотъ какъ объясняли они свои понятія объ этомъ предметѣ.

«Не станемъ обманывать себя насчетъ того, что мы должны разумѣть подъ нашей независимостью. Есть одинъ родъ свободы неразумной, общей человѣку съ животными и состоящей въ томъ, чтобы дѣлать все, что вздумается; такая свобода — врагъ всякой власти; она не терпитъ никакихъ законовъ; ею мы унижаемъ себя; она — врагъ истины и мира, самъ Богъ противится ей. Но есть другая свобода, гражданская и нравственная, которая находитъ свою силу въ единеніи и которую всякая власть должна поддерживать. Это — свобода безбоязненно дѣлать все, что хорошо и справедливо. Эту святую свободу мы должны защищать при всякомъ случаѣ и, если нужно, жертвовать для нея своею жизнію.»

Ясно, что въ этомъ опредѣленіи свободы уничтожается слѣпой, неразумный произволъ и признаются права разумнаго убѣжденія. Человѣкъ долженъ дѣлать не все, что вздумается, а только то, что хорошо и справедливо. Этимъ требованіемъ предоставляется человѣку широкая свобода въ разсужденіяхъ о томъ, что справедливо и что ложно, что хорошо и что дурно, а черезъ это прямо уже уничтожается слѣпое подчиненіе чужому авторитету и узаконяется самостоятельность личности. При соединеніи отдѣльныхъ личностей въ общество, изъ этого же начала должны возникнуть — понятіе о братствѣ и о разныхъ правахъ всѣхъ его членовъ. Такъ именно и случилось съ обществами, образовавшимися въ Сѣверной Америкѣ: полная демократическая свобода составляетъ основаніе всѣхъ ихъ учрежденій.

Впрочемъ, развитію демократіи въ Новой Англіи способствовалъ не одинъ пуританскій образъ воззрѣнія первыхъ поселенцевъ. Внѣшнія обстоятельства не мало помогли этому. Во-первыхъ, между людьми, прибывшими на берега Сѣверной Америки, не было никакихъ притязаній на превосходство однихъ предъ другими. Если въ своемъ отечествѣ они и принадлежали къ различнымъ состояніямъ общества, то общія несчастія давно уже сравняли ихъ. Ступивши на новую почву, они всѣ очень хорошо сознавали, что здѣсь права всѣхъ совершенно одинаковы и что всѣ родовыя привилегіи, всѣ различія общественной іерархіи, оставшіяся по ту сторону океана, не могутъ имѣть здѣсь ни малѣйшаго смысла. Кромѣ того — въ Америкѣ нечѣмъ было питаться и поддерживаться аристократическимъ тенденціямъ. Извѣстно, что основаніемъ аристократіи всегда была поземельная собственность, наслѣдственно переходящая изъ рода въ родъ. На ней всегда покоилось высокое значеніе аристократовъ, на ней опирались ихъ права, безъ нея ничего не могли значить ихъ громкія титла и почетныя званія. Въ Америкѣ земля не была ни въ чьемъ исключительномъ владѣніи. По понятіямъ пуританскихъ поселенцевъ, это было достояніе Божіе, которымъ равно можетъ пользоваться всякій человѣкъ. И дѣйстви-

тельно, — всякій поселенецъ бралъ себѣ изъ огромныхъ пространствъ дѣвственной земли, растилавшихся передъ нимъ, столько, сколько могъ обработать. Сначала даже обработка земель, какъ въ Новой Англіи, такъ и въ Виргиніи, производилась поселенцами сообща. Откуда же тутъ было взяться поземельной аристократіи? Правда, являлись и въ Америку люди, гордые своимъ феодальнымъ значеніемъ, захватывали на свою долю большіе участки земли: въ этомъ никто имъ не препятствовалъ. Но здѣсь они не могли дождаться, чтобы кто-нибудь явился къ нимъ — поселиться на ихъ землѣ, съ вассальными обязательствами. Большіе участки не имѣли никакого значенія въ виду безграничныхъ пространствъ, которыя были открыты для всякаго новаго поселенца. Такимъ образомъ, поземельная аристократія съ перваго раза не удалась въ Сѣверной Америкѣ: она не пришлась ни къ почвѣ страны, ни къ нравамъ и убѣжденіямъ первыхъ ея поселенцевъ.

Въ Виргиніи очень скоро введено было невольничество, которое потомъ проникло и въ другіе штаты. Но и это учрежденіе не дало достаточной опоры для образованія аристократіи. Съ одной стороны, право владѣть невольниками не было ограничено только извѣстными лицами, а принадлежало одинаково всѣмъ гражданамъ; съ другой — невольники не признавались членами общества, а считались чѣмъ-то совершенно особеннымъ, существами низшей породы. Такимъ образомъ, владѣніе рабами не придавало никакого значенія человѣку въ кругу его согражданъ, и введеніе рабства нисколько не мѣшало демократическому развитію страны. Американцы очень хорошо понимали, что быть рабовладѣльцемъ не значитъ еще быть аристократомъ.

Можетъ быть, демократическія стремленія первыхъ поселенцевъ Новой Англіи и уступили бы наплыву новыхъ эмигрантовъ, между которыми стали появляться и люди съ аристократическими замашками, съ значеніемъ и богатствомъ. Но въ первое время такихъ людей было немного; большею частію убѣгали сюда тѣ, которые не хотѣли выносить въ Европѣ политическихъ и религіозныхъ преслѣдованій. А между тѣмъ, поселенцы успѣли уже составить гражданскія общества и начать самобытную политическую жизнь. Тогда уже поздно было старымъ европейскимъ началамъ вторгаться въ американское общество, тѣмъ болѣе, что политическое развитіе Сѣверной Америки пошло путемъ совершенно противоположнымъ европейскому. Въ Европѣ формальное образованіе государствъ совершилося раньше, нежели успѣло развиться въ народахъ политическое сознаніе. Отдѣльныя общины никогда не составляли здѣсь самобытнаго цѣлаго; начала государственной жизни развились прежде всего не въ нихъ, а въ высшихъ сословіяхъ, чуждыхъ народной жизни. Это обстоятельство имѣло вліяніе на все послѣдующее развитіе европейскихъ государствъ. Здѣсь все установлялось въ видахъ государства: законодательство соображалось съ высшими политическими интересами, администрація отдѣльныхъ частей выкраи-

залась по образцу цѣлаго, а между тѣмъ участіе въ государственной жизни очень рѣдко выпадало на долю народа. Въ Америкѣ вышло совсѣмъ другое: вліяніе государства, т. е. метрополіи, не могло быть велико, а въ нѣкоторыхъ колоніяхъ, и именно въ Новой Англіи, оно ограничивалось только пустою формою подданства. Англійское правительство предоставило эмигрантамъ право составить въ Новой Англіи гражданское общество и управляться самимъ собою, только подъ покровительствомъ Англіи. Такимъ образомъ, съ самаго начала своего существованія американскія общины получили свое самостоятельное политическое устройство. Извнѣ стояло надъ нпми англійское королевское правительство, но внутри онѣ развивались совершенно свободно и составляли для себя учрежденія въ демократическомъ духѣ. Изъ соединенія *общинъ* образовалось *графство*, по духу своихъ учрежденій совершенно подобное общинѣ; нѣсколько графствъ составили *штатъ*, и, наконецъ, Соединенные Штаты, избавившись отъ англійской зависимости, Соединили Сѣверо-Американскій *Союзъ*. Такимъ образомъ, здѣсь не было напротивъ, государство составилось изъ постепеннаго соединенія организаціи отдѣльныхъ частей подъ вліяніемъ государства, а, маленькихъ частей. Отсюда произошла та особенность Сѣверо-Американскихъ Штатовъ, что въ нихъ нѣтъ ни малѣйшей централизаціи административной, и каждая община въ своихъ домашнихъ дѣлахъ совершенно свободна отъ всякаго вмѣшательства властей графства и штата. При такомъ отношеніи частей государства другъ къ другу легко объясняется демократическая полноправность рода, развившаяся въ Сѣверной Америкѣ. Городскія и сельскія общины до сихъ поръ стоятъ на первомъ планѣ въ политическомъ устройствѣ Соединенныхъ Штатовъ. Въ нихъ совершается самая дѣятельная работа жизни, въ нихъ раждаются важнѣйшіе внутренніе вопросы, составляющіе потомъ предметъ разсужденій конгресса. Къ сожалѣнію, въ книгѣ г. Лакіера мы ничего не нашли о значеніи и устройствѣ отдѣльныхъ общинъ въ Сѣверной Америкѣ. А между тѣмъ, это предметъ весьма важный и любопытный, такъ какъ изъ него объясняется вся союзная конституція. Да и вообще организація высшихъ государственныхъ учрежденій далеко не представляетъ той важности, какъ устройство учрежденій, непосредственно соприкасающихся съ народомъ. Въ политической жизни народа учрежденія, прямо относящіяся къ устройству отдѣльныхъ общинъ, имѣютъ то же значеніе, какое элементарныя школы имѣютъ для народнаго образованія. Не въ устройствѣ университетов и академій можно узнать степень просвѣщенія народныхъ масс такъ точно не въ конгрессѣ и не въ министерствахъ познает степень благосостоянія народа. Самое лучшее и даже единствен надежное ручательство въ этомъ случаѣ представляютъ низшія у жденія, прямо касающіяся частныхъ лицъ и небольшихъ общ На этомъ основаніи мы намѣрены въ настоящей статьѣ пре вить нѣсколько подробностей о внутреннемъ устройствѣ об

въ Соединенныхъ Штатахъ, съ тѣмъ, чтобы потомъ уже вкратцѣ изложить учрежденія, относящіяся къ устройству отдѣльныхъ штатовъ и цѣлаго Союза. Чтобы дать понятіе объ устройствѣ общинъ въ штатахъ, мы беремъ изъ книги Токвиля описаніе общинъ Новой Англіи.

Община Новой Англіи, какъ городская, такъ и сельская, обыкновенно состоитъ изъ 2000 — 3000 жителей. Такое количество вполнѣ обезпечиваетъ возможность хорошей и однообразной администраціи. Потребности небольшого числа людей, живущихъ въ одномъ мѣстѣ и при одинаковыхъ условіяхъ, нетрудно согласить; гражданамъ весьма удобно совѣщаться между собою о своихъ дѣлахъ, и изъ числа ихъ всегда могутъ найтись люди, способные успѣшно вести общее дѣло, какое будетъ имъ поручено ихъ согражданами. Такимъ образомъ, въ общинѣ Новой Англіи вполнѣ можетъ проявляться господство народа, составляющее основу всего государственнаго устройства Соединенныхъ Штатовъ. И дѣйствительно, въ штатахъ Новой Англіи даже представительное начало допускается только въ общихъ дѣлахъ, касающихся цѣлаго штата, въ общинахъ же всѣ дѣла, требующія общаго сужденія, разрѣшаются въ общемъ собраніи всѣхъ гражданъ-избирателей; только въ очень большихъ общинахъ и при соединеніи въ одномъ мѣстѣ нѣсколькихъ общинъ, напр., въ значительныхъ городахъ, существуетъ меръ и при немъ городской совѣтъ.

Общинная администрація находится главнымъ образомъ въ рукахъ нѣсколькихъ чиновниковъ, избранныхъ всѣми обитателями общины и называемыхъ *выборными* (select-men). Они избираются каждый годъ, въ маленькихъ общинахъ по три, а въ самыхъ большихъ по девяти. Они имѣютъ опредѣленный кругъ обязанностей, ясно указанныхъ закономъ, и при исполненіи положительнаго закона дѣйствуютъ совершенно независимо, не спрашиваясь никакихъ разрѣшеній общины. Но если дѣло сколько-нибудь сомнительно, если является надобность въ измѣненіи положенныхъ правилъ, въ какомъ нибудь нововведеніи—тутъ уже выборные являются покорными служителями народной воли. Въ ихъ власти только—созвать общее собраніе гражданъ избирателей и предложить дѣло на ихъ сужденіе. Положимъ, напр., что въ городѣ нужно открыть школу; выборные тотчасъ собираютъ гражданъ и предъ собраніемъ ихъ излагаютъ, какая надобность предстоитъ въ учрежденіи новой школы, указываютъ на средства для осуществленія этого предпріятія, разсчитываютъ издержки, какія община должна понести по этому случаю, сообщаютъ свои предположенія относительно размѣровъ новой школы, мѣста для нея, и пр. Общее собраніе выслушиваетъ ихъ, признаетъ или не признаетъ справедливость ихъ соображеній и въ случаѣ согласія съ ихъ главной мыслью, т. е., что школа нужна, тутъ же разсматриваетъ подробности дѣла, опредѣляетъ расходы и назначаетъ налогъ, который долженъ падать на всѣхъ членовъ общины, для устройства и содержанія школы.

Затѣмъ — выборнымъ остается только исполнять волю общаго собранія.

Конечно, выборные могли бы и злоупотреблять своимъ правомъ, если бы общее собраніе гражданъ не могло составляться безъ ихъ вызова. Но дѣло въ томъ, что и право собирать гражданъ для сужденія о дѣлахъ не принадлежитъ имъ исключительно. Общинное собраніе можетъ составиться безъ всякаго желанія выборныхъ, просто по требованію десяти гражданъ; они могутъ предъявить свое желаніе выборнымъ, которые не имѣютъ права отказать имъ. Такимъ образомъ, управленіе дѣлами общины никогда не выходитъ изъ-подъ контроля народа и очень прочно ограждено отъ всякаго произвола выборныхъ чиновниковъ.

Кромѣ этихъ выборныхъ, на которыхъ лежитъ забота объ общемъ ходѣ администраціи, въ каждой общинѣ Новой Англіи есть еще до двадцати чиновниковъ, которымъ поручаются нѣкоторыя частныя отрасли общиннаго управленія; такъ, назначаются особенныя лица для раскладки податей, для сбора ихъ, для храненія общинной казны, для полицейскаго наблюденія за порядкомъ, для записыванія совѣщаній и рѣшеній, состоявшихся въ общемъ собраніи, и т. д. Чиновники эти избираются каждый годъ въ общемъ собраніи гражданъ: всякій гражданинъ можетъ быть избираемъ, и ни одинъ не можетъ отказаться отъ принятія должности, въ которую избранъ. Впрочемъ, отказываться и не для чего: общественное служеніе вознаграждается довольно хорошо, и члены общества, безъ всякаго ущерба для своихъ матеріальныхъ выгодъ, могутъ посвящать ему свой трудъ и время. Здѣсь нужно замѣтить еще одну особенность американскаго общественнаго устройства: большая часть американскихъ чиновниковъ не получаетъ опредѣленнаго жалованья, но каждое дѣло, совершаемое ими, даетъ имъ извѣстную плату, такъ что каждый получаетъ большее или меньшее содержаніе, по мѣрѣ того, сколько онъ трудится на общую пользу.

Въ числѣ должностей, существующихъ въ общинахъ, есть нѣсколько такихъ, которыя могутъ довольно странно поразить человѣка, привыкшаго смотрѣть на администрацію по-европейски. Въ общинахъ Новой Англіи назначается, напримѣръ, особый чиновникъ, который долженъ смотрѣть за исполненіемъ законовъ относительно бѣдныхъ; есть особыя лица, которымъ поручается наблюденіе за вѣсами и мѣрами, за сборомъ хлѣба съ полей, за дѣйствіями всѣхъ гражданъ въ случаѣ пожара, и т. п. Намъ это можетъ показаться стѣсненіемъ, противнымъ духу демократической свободы, которымъ отличаются всѣ общинныя учрежденія Сѣверной Америки; но американцами все дѣло администраціи понимается совершенно не такъ, какъ нами. Они видятъ въ ней простое раздѣленіе труда между членами общины, и лицо, выбранное общиною для одного рода дѣлъ, чрезъ это вовсе не пріобрѣтаетъ того оттѣнка власти, какой мы придаемъ обыкновенно всякому административному лицу. Въ американскихъ общинахъ нѣтъ.

напримѣръ, особой пожарной команды, но въ случаѣ пожара всѣ граждане должны содѣйствовать погашенію огня. Нужно, чтобы при этомъ кто-нибудь распоряжался ихъ дѣйствіями; но американецъ не хочетъ въ этомъ случаѣ подчинить себя волѣ тѣхъ чиновниковъ, на которыхъ возложена общая администрація: онъ хочетъ, чтобы власть и трудъ какъ можно больше были раздѣлены между членами общины, и выбираетъ для пожарныхъ случаевъ особаго человѣка, который при пожарѣ и распоряжается, но за то во всемъ остальномъ не имѣетъ уже ровно никакой власти. Такимъ образомъ, распредѣленіе частныхъ должностей между значительнымъ числомъ лицъ оказывается совершенно согласнымъ съ демократическимъ характеромъ страны.

Вообще, между членами общины Новой Англіи соблюдается совершенное равенство правъ. Тѣ, которые управляютъ, и тѣ, которые имъ подчиняются, не чувствуютъ ни малѣйшаго стѣсненія другъ передъ другомъ. Одни очень хорошо понимаютъ, что самая власть ихъ есть только особенный видъ служенія обществу и можетъ продолжаться только подъ тѣмъ условіемъ, если они будутъ ею пользоваться добросовѣстно. Другіе повинуются власти, но не потому, чтобы признавали ея превосходство надъ собою, а только потому, что находятъ свою собственную пользу въ этомъ раздѣленіи общественной службы. Получая въ свои руки какую-нибудь власть, чиновникъ американской общины знаетъ, что онъ обязанъ ею избранію своихъ согражданъ, и потому не можетъ рѣшиться смотрѣть на нихъ свысока, тѣмъ болѣе, что постоянно чувствуетъ свою зависимость отъ нихъ во все время отправленія своей должности. Въ свою очередь граждане, избирающіе чиновника для извѣстнаго рода дѣлъ, тѣмъ самымъ свидѣтельствуютъ о своемъ довѣріи къ его способностямъ и честности. Вслѣдствіе того, общинная администрація никого не обременяетъ и не стѣсняетъ; административныя лица не составляютъ особаго, привилегированнаго сословія, и, какъ отзываются путешественники по Америкѣ, со стороны даже не видно, кѣмъ и какъ управляется эта страна.

Но какимъ же образомъ сохраняется единство Союза? Какія обезпеченія существуютъ для того, чтобы каждая община, каждый городъ исполняли общіе законы союзной конституціи и не производили безпорядковъ въ управленіи? Эти вопросы разрѣшаются учрежденіемъ судовъ въ Сѣверной Америкѣ. Почти всѣ административныя затрудненія рѣшаются тамъ путемъ судебнымъ, и оттого судьи имѣютъ весьма важное значеніе даже въ политическомъ смыслѣ. Устройство и дѣятельность судебной части въ штатахъ Сѣверной Америки имѣетъ слѣдующій видъ.

По назначенію губернатора штата, а въ нѣкоторыхъ штатахъ по народному избранію, опредѣляется извѣстное количество судей; изъ числа ихъ трое составляютъ судебную палату—court of assizes. Судьи эти обязаны ѣздить по общинамъ и производить судъ и расправу, при помощи присяжныхъ и адвокатовъ. Дѣло судьи со-

стоитъ собственно въ томъ, чтобы примѣнить къ частному случаю законъ, существующій въ конституціи Союза. Сужденіе же о самомъ фактѣ предоставляется присяжнымъ, которыхъ выбираетъ сама община. Оттого, при назначеніи судей, смотрятъ всего болѣе на то, чтобы это были люди юридически образованные, не только знающіе букву закона, но умѣющіе понимать духъ законодательства и отношеніе частныхъ законовъ къ общимъ правиламъ конституціи. Судья можетъ даже постановить рѣшеніе, основанное не на частномъ законѣ, а на общихъ требованіяхъ конституціи; онъ имѣетъ право объявить, что такое-то постановленіе признаетъ противнымъ конституціи и не руководствуется имъ при рѣшеніи дѣла. Бываютъ даже такіе случаи: сенатъ или собраніе народныхъ представителей сдѣлаетъ постановленіе; народъ найдетъ его несогласнымъ съ конституціей; въ такомъ случаѣ судьѣ представляется жалоба на этотъ законъ. Судья разбираетъ дѣло, и если признаетъ жалобу справедливой, то законъ теряетъ обязательную силу и мало-по-малу выходитъ изъ употребленія. Отсюда видно, что значеніе судьи очень велико и что отъ него требуется высокая степень добросовѣстности, юридическаго образованія и независимости. Именно этого и стараются достигнуть въ Америкѣ назначеніемъ въ судьи не просто хорошихъ людей, любимыхъ народомъ, но юристовъ, людей опытныхъ, большею частію составившихъ себѣ предварительную извѣстность адвокатурою. Въ нѣкоторыхъ штатахъ и судейскія должности замѣщаются по избранію; но въ другихъ—назначеніе судей предоставляется губернатору штата и его совѣту. Злоупотребленіямъ, вреднымъ для демократіи, трудно вкрасться и при этомъ способѣ назначенія, потому что, во-первыхъ, губернаторъ и совѣтъ его избираются самимъ же народомъ, во-вторыхъ, губернаторъ не можетъ по произволу смѣнить назначеннаго имъ судью; должность судьи отправляется однимъ лицомъ много лѣтъ, а губернаторы выбираются ежегодно. Съ другой стороны — и отъ народа судья находится довольно въ независимомъ положеніи, потому что онъ обезпеченъ очень значительнымъ жалованіемъ; въ Массачусетсѣ судьи получаютъ жалованья болѣе 5000 руб. сер.

На разсмотрѣніе судей представляются обыкновенно и всѣ уклоненія отъ общихъ законовъ Союза, совершаемыя чиновниками общины или кѣмъ бы то ни было изъ ея членовъ. Случаи такихъ уклоненій не часты, потому что, какъ уже сказано, государство не вмѣшивается въ частныя дѣла общины и предоставляетъ ей полную свободу устроиться, какъ ей кажется лучшимъ Но есть общія требованія, которыя должна исполнить каждая община. Требованія эти разъ навсегда постановляются закономъ, и за исполненіемъ ихъ никто не смотритъ, кромѣ самихъ членовъ общины и судей. *Графство*, составляющееся изъ соединенія общинъ, не представляетъ никакой важности въ административномъ смыслѣ, а имѣетъ именно судебное значеніе. Въ каждомъ графствѣ есть судебная палата, шерифъ, какъ исполнитель приговоровъ суда, и тюрьма

для содержанія преступниковъ. Изъ административныхъ дѣлъ—въ графствѣ составляется только проектъ бюджета, который потомъ разсматривается въ законодательномъ собраніи цѣлаго штата, и затѣмъ, сообразно съ нимъ, распредѣляются подати на общины. Кромѣ того — забота объ устройствѣ и содержаніи дорогъ также относится къ обязанности court of assizes въ графствѣ. Община получаетъ обыкновенно только назначеніе того, сколько заплатить и что сдѣлать должна она вообще. Распредѣленіе повинностей между частными лицами, видоизмѣненія въ формѣ исполненія закона предоставляются совершенно на ея волю. Община непремѣнно должна, напримѣръ, содержать школу; иначе она подвергается большому штрафу «за поддержаніе невѣжества и безнравственности». Но какъ устроить школу, откуда взять на нее денегъ, какъ распредѣлить въ ней занятія, и пр.,—это уже община опредѣляетъ сама. Только ежели, по скупости членовъ общины, школа будетъ устроена дурно, или ежели кто-нибудь изъ людей, которымъ поручено будетъ наблюденіе за ней, станетъ небрежно исполнять свою обязанность, то каждый отецъ семейства можетъ обвинить эти лица и даже цѣлую общину передъ court of assizes. Тогда дѣло разсматривается судебнымъ порядкомъ, и если жалоба оказывается справедливою, община присуждается къ штрафу. Та же самая исторія повторяется во всѣхъ отрасляхъ управленія. Инстанцій нѣтъ никакихъ; низшій чиновникъ не получитъ отъ высшаго никакихъ предписаній, подтвержденій, запросовъ, и т. п.; но онъ всегда можетъ быть позванъ къ суду за неисполненіе своей обязанности. Есть, напримѣръ, особый чиновникъ для смотрѣнія за устройствомъ дорогъ; ему передаются отъ сборщика податей деньги, собранные на этотъ предметъ. Если дорога не въ порядкѣ, то всякій, у кого сломалось колесо въ какой-нибудь ямѣ или вообще случилось что-нибудь непріятное отъ дурной дороги, имѣетъ право позвать къ суду чиновника, наблюдающаго за путями сообщенія. Чиновникъ знаетъ это и поэтому самъ заботится, чтобы получить въ свои руки нужныя для расходовъ деньги. Если община не даетъ денегъ, онъ имѣетъ право самъ требовать ихъ, нарушая обычный порядокъ; въ противномъ случаѣ дѣло опять рѣшается судомъ.

Можно бы опасаться, что подобное право вмѣшательства въ общественныя дѣла, предоставленное всякому гражданину, поведетъ къ безпрерывнымъ кляузамъ и всякаго рода безпорядкамъ. Въ Америкѣ это могло бы произойти тѣмъ скорѣе, что во многихъ случаяхъ доноситель на противозаконные поступки пользуется частью штрафа, который взыскивается съ обвиненнаго. Но устройство судовъ,— словесныхъ, съ адвокатами, присяжными и съ полнѣйшею публичностью,— не слишкомъ благопріятствуетъ развитію кляузничества. Да притомъ же есть и еще обстоятельство, удерживающее американцевъ въ предѣлахъ благоразумія и справедливости,— распространеніе началъ образованія въ цѣломъ народѣ.

Всякаго рода вздорныя и несправедливыя притязанія являются въ обществахъ неразвитыхъ, не имѣющихъ правильныхъ понятій о предметахъ; съ развитіемъ образованія взаимныя отношенія опредѣляются легче, разумнѣе и дружелюбнѣе. Это очень хорошо поняли въ Америкѣ, и потому-то тамъ каждая община непремѣнно обязана содержать школы для первоначальнаго обученія. Образованіе дѣтей совершается на счетъ государства, и въ каждой общинѣ есть свой школьный капиталъ. Всѣ граждане должны жертвовать на школы часть своихъ доходовъ, потому что всѣ пользуются плодами общаго образованія: если у кого и нѣтъ своихъ дѣтей, то все-таки школы для него полезны, потому что только при образованности гражданъ возможно въ обществѣ поддержаніе порядка и благоденствія. Оттого человѣкъ, вовсе не бывшій въ школѣ, не принимается даже на фабрику; оттого для распространенія грамотности въ народѣ ничего не жалѣютъ въ Америкѣ, и всякая небрежность въ этомъ отношеніи строго преслѣдуется. Кромѣ денежной подати, въ пользу школъ выдѣляется всегда, при заведеніи общины, одна тридцать-шестая доля общинныхъ земель; земля эта продается, и деньги, вырученныя за нее, составляютъ школьный капиталъ, находящійся въ распоряженіи штата. Въ книгѣ г. Лакіера приведены цыфры изъ отчета за 1857 годъ провинціи Массачусетсъ. Изъ нихъ видно, что въ пользу школъ собирается въ годъ болѣе 2,300,000 долларовъ (до 3,000,000 руб. сер.), а школьный капиталъ простирается до 1,625 000 долл.; проценты съ него, до 50,000 долл., распредѣляются между школами отдѣльныхъ городовъ. Но право на полученіе этого вспоможенія имѣетъ только та община, которая сама собираетъ не менѣе $^1/_2$ доллара на каждаго ребенка отъ 5 до 15 лѣтъ. Въ отношеніи къ управленію, — и здѣсь находимъ совершенное отсутствіе всякой централизаціи. Каждая община управляетъ своими школами по собственному усмотрѣнію; даже если община, особенно городская, очень велика, то она раздѣляется на округи и участки (приходы). Такъ, въ Бостонѣ, по свидѣтельству г. Лакіера, «для бо̀льшаго удобства городъ раздѣленъ на округи, и въ каждомъ сами граждане избираютъ членовъ въ училищный комитетъ, числомъ шесть, и притомъ такъ, что двое изъ нихъ, по исполненіи своей обязанности въ теченіе трехъ лѣтъ, выбываютъ и замѣняются другими, буде на нихъ снова не падетъ выборъ. Эти шесть членовъ училищнаго комитета образуютъ для школъ своего участка особый комитетъ (ditsrict comittee), и затѣмъ для мѣстнаго завѣдыванія отдѣльными школами подраздѣляютъ между собою училища по своему усмотрѣнію; такъ что въ важнѣйшихъ только и опредѣленныхъ случаяхъ дѣла изъ мѣстныхъ комитетовъ доходятъ до участковаго, и еще рѣже до общаго городского». Нужно, впрочемъ, замѣтить, что не во всѣхъ штатахъ устройство школьнаго управленія таково, какъ въ Бостонѣ;

въ штатѣ Нью-Йоркѣ, напримѣръ, существуетъ нѣчто въ родѣ нашихъ учебныхъ округовъ, и мѣстныя школы подлежатъ начальственному наблюденію чиновниковъ штата.

Общая тенденція образованія въ Сѣверной Америкѣ — приготовленіе дѣтей къ гражданской дѣятельности, ожидающей ихъ за предѣлами школы. Оттого элементарныя школы считаются необходимыми для всѣхъ; затѣмъ, важнѣйшими считаются среднія школы общаго образованія, въ которыхъ на первомъ планѣ стоятъ: математика, новая географія, исторія Соединенныхъ Штатовъ и ихъ конституція. Затѣмъ — знанія классическія, богословскія, философскія и пр. предоставляются каждому ad libitum, и охотниковъ на нихъ является сравнительно не слишкомъ много. «Но объ этомъ американецъ и не сокрушается, — какъ замѣчаетъ г. Лакіеръ: — онъ хлопочетъ о гражданахъ, образованныхъ въ такой мѣрѣ, чтобы быть хорошими исполнителями народной воли, — а ученые для него роскошь»...

Вообще въ образованіи дѣтей и въ устройствѣ школъ въ Америкѣ выражается то же направленіе, какое и во всемъ другомъ отличаетъ эту страну: дѣлать какъ можно больше для народа и какъ можно менѣе потворствовать аристократическимъ тенденціямъ. Въ этомъ отношеніи любопытна для насъ замѣтка г. Лакіера, сопоставляющая воспитаніе американское съ англійскимъ. «Въ Англіи — говоритъ онъ — безграмотный вовсе не рѣдкость, тогда какъ высшій классъ едва ли гдѣ-нибудь можетъ сравняться въ классическомъ образованіи съ англійскою аристократіею. Но и до сихъ поръ тамъ воспитаніе сохранило средневѣковой, монастырскій характеръ, который оно имѣло въ Англіи цѣлыя столѣтія. Изученіе древнихъ языковъ, греческаго и латинскаго, занимаетъ большую часть времени въ англійскихъ, особенно высшихъ школахъ, и вытѣсняетъ языки живые и науки болѣе практическія. Очевидно, американцы не могли допустить ни такой ограниченности, ни односторонности воспитанія; свѣтъ наукъ долженъ былъ по возможности просвѣтить каждаго по мѣрѣ его способностей и стремленія къ образованію. Тѣмъ менѣе можетъ быть рѣчь о раздѣленіи воспитанниковъ разныхъ кастъ — не только по заведеніямъ, но въ одномъ и томъ же заведеніи по комнатамъ, костюмамъ и столамъ, какъ это дѣлается въ Англіи».

Таковы общія черты устройства и положенія отдѣльныхъ общинъ въ Сѣверной Америкѣ. Между ними и штатомъ составляютъ посредствующее звено графства, которыя впрочемъ не имѣютъ почти никакого значенія. Правительство штата заключается въ *сенатѣ* и въ *палатѣ представителей*. Оба учрежденія очень сходны между собою и вовсе не находятся въ тѣхъ отношеніяхъ, какъ двѣ палаты въ Англіи. Вся разница между ними состоитъ въ томъ, что сенатъ, кромѣ законодательной дѣятельности, иногда имѣетъ еще административную и судебную, а палата представителей занимается исключительно законодательствомъ, въ судебную же часть пус-

кается только обвиняя передъ сенатомъ чиновниковъ, не исполняющихъ своей обязанности. Кромѣ того, есть еще разница въ томъ, что въ сенатѣ членовъ меньше, и они избираются на болѣе продолжительное время, чѣмъ въ палатѣ представителей... Существенный же смыслъ учрежденія двухъ палатъ, вмѣсто одной, заключается въ желаніи раздѣлить законодательную власть между двумя политическими учрежденіями и чрезъ то доставить болѣе ручательствъ безпристрастію и обдуманности законовъ.

Исполнительную власть въ штатѣ представляетъ губернаторъ, избираемый на одинъ годъ. Онъ имѣетъ право остановить рѣшеніе сената, и въ такомъ случаѣ дѣло переходитъ на разсмотрѣніе конгресса. Но самъ собою губернаторъ не можетъ ни издавать законовъ, ни вмѣшиваться въ администрацію страны. Онъ можетъ только излагать предъ законодательнымъ собраніемъ нужды штата и указывать на средства, какія, по его мнѣнію, полезно употребить. Затѣмъ на его обязанности остается только исполненіе опредѣленій сената и палаты представителей. На всякій случай у него въ рукахъ и военная власть.

Федеральный конгрессъ Союза представляетъ то же, что правительство каждаго штата. Въ немъ тоже находимъ сенатъ и палату представителей; исполнительная власть — въ рукахъ президента, который, слѣдовательно, то же самое значитъ въ цѣломъ Союзѣ, что губернаторъ въ каждомъ отдѣльномъ штатѣ. Существованіе двухъ палатъ въ Союзѣ имѣетъ историческое основаніе. При первомъ предположеніи о конгрессѣ возникли двѣ партіи: одна хотѣла, чтобы Союзъ былъ просто международнымъ конгрессомъ, въ которомъ было бы по ровному числу представителей изъ каждаго штата; другая, напротивъ, желала болѣе тѣснаго національнаго соединенія, для котораго нужно было, чтобы представители являлись въ конгрессъ не по штатамъ, а по числу жителей. Примирить оба требованія было трудно, и потому рѣшили принять ихъ оба. Для сохраненія принципа совершенной независимости и равенства штатовъ учрежденъ сенатъ, въ который присылается по два представителя изъ каждаго штата; они обыкновенно назначаются на шесть лѣтъ, изъ числа сенаторовъ штата. Но чтобы населеніе штата не оставалось безъ вліянія на его представительство въ Союзѣ, въ палату представителей является отъ каждаго штата различное число депутатовъ, сообразно съ количествомъ его населенія. Такимъ образомъ, штатъ Нью-Іоркъ, напр., присылаетъ на конгрессъ 40 депутатовъ, а Делаваръ—только 1. Число народныхъ представителей нынѣ 233, такъ что, по разсчету населенія Соединенныхъ Штатовъ, приходится по одному депутату на 93,000 гражданъ.

Обсужденію союзнаго конгресса подлежатъ: дѣла иностранной политики, содержаніе войска и флота, займы необходимые для общихъ интересовъ Союза, принятіе въ Союзъ новыхъ штатовъ, законы о подданствѣ иностранцевъ, о банкротствѣ, о монетѣ и пр. Кромѣ

законодательной власти, союзный конгрессъ имѣетъ и судебную во всѣхъ дѣлахъ, выходящихъ изъ круга власти одного штата, напр., въ спорахъ между двумя штатами, между гражданами какого-нибудь штата и иностранцами, и т. п. Но, вообще говоря, конгрессъ нисколько не стѣсняетъ внутренней жизни штата, и потому Сѣверо-Американскій Союзъ не только не близится къ распаденію, какъ сначала ожидали нѣкоторые, а все болѣе укрѣпляется. Число штатовъ все возрастаетъ, и теперь ихъ уже 33, вмѣсто первоначальныхъ 13. Необходимыя условія для принятія новаго штата въ Союзъ составляютъ: признаніе имъ союзной конституціи и населеніе не менѣе 93,000 человѣкъ, потому что иначе онъ не могъ бы посылать отъ себя депутата на конгрессъ.

Президентъ Союза — совершенно то же, что губернаторъ въ отдѣльномъ штатѣ. Онъ представляетъ конгрессу о нуждахъ страны, указываетъ что и какъ можно сдѣлать, разсматриваетъ постановленія конгресса и можетъ остановить ихъ своимъ противорѣчіемъ. Въ этомъ случаѣ постановленіе опять переходитъ на разсмотрѣніе обѣихъ палатъ, и тутъ уже требуется, чтобы двѣ трети голосовъ не согласились съ президентомъ: только тогда первоначальное постановленіе можетъ остаться въ своей силѣ. Въ отношеніи къ внѣшней политикѣ президентъ можетъ, съ согласія конгресса, вести переговоры и заключать трактаты съ иностранными державами; онъ же имѣетъ начальство надъ союзной арміей въ случаѣ войны. За службу свою онъ получаетъ 25,000 долларовъ въ годъ.

Какъ ни поверхностенъ этотъ общій очеркъ учрежденій Соединенныхъ Штатовъ (назначенный для тѣхъ только, кто о нихъ ровно ничего не знаетъ), но и изъ него можно видѣть, что основаніемъ всего ихъ устройства служитъ народная воля и что если въ этой странѣ и есть нѣкоторые признаки *правительственной* централизаціи, то въ *административномъ* отношеніи господствуетъ децентрализація самая полная. Хорошо это или дурно, нельзя судить по одной теоріи, не зная жизненныхъ фактовъ, въ которыхъ выражается вліяніе политическихъ учрежденій страны. Поэтому мы намѣрены въ другой статьѣ коснуться нѣкоторыхъ чертъ *быта* и *нравовъ* Сѣверной Америки. Вообще говоря, конечно справедливѣе будетъ признать зависимость учрежденій отъ нравовъ народа. Но въ Америкѣ основныя положенія ея государственнаго устройства опредѣлились очень рано и, разъ сдѣлавшись необходимой принадлежностью политическаго существованія страны, не могли остаться безъ вліянія на самый бытъ народа. Поэтому намъ кажется, что для полной оцѣнки американскихъ учрежденій не мѣшаетъ прослѣдить, какъ они отражаются въ самой жизни американцевъ. Пользуясь наблюденіями нашего путешественника и другихъ писателей, мы и постараемся сдѣлать это въ слѣдующей статьѣ.

Очерки и разсказы *И. Т. Кокорева.* Москва. 1858 г. Три части.

Лѣтъ двадцать тому назадъ начали появляться въ «Москвитянинѣ» разсказы, подписанные фамиліею И. Кокорева. Несмотря на то, что «Москвитянинъ» не пользовался тогда хорошей репутаціей и мало читался, Кокоревъ скоро успѣлъ обратить на себя вниманіе публики. Его имя отдѣлилось отъ именъ обычныхъ вкладчиковъ «Москвитянина», вмѣстѣ съ именами Островскаго, Писемскаго, Потѣхина... Его разсказы, раскрывавшіе подробности жизни ремесленниковъ и мелкихъ промышленниковъ московскихъ, постоянно встрѣчали сочувствіе публики. Было время (въ 1852 г., послѣ напечатанія «Саввушки»), когда ожиданія отъ таланта Кокорева были очень велики; отъ него надѣялись серьезнаго, глубокозадуманнаго и строго выполненнаго произведенія изъ нашей городской народной жизни, которую онъ зналъ въ мельчайшихъ подробностяхъ и которой умѣлъ сочувствовать. Но черезъ два года потомъ (въ 1854 г.) Кокоревъ умеръ, ожиданія остались невыполненными; о смерти молодого писателя было нѣсколько строкъ въ томъ журналѣ, гдѣ онъ участвовалъ; редакція журнала обѣщала въ скоромъ времени издать его сочиненія; но потомъ, какъ водится, забыли и о Кокоревѣ, забыли и объ обѣщаніи редакціи (забытомъ ею самой), забыли и о самомъ журналѣ, который тоже скончался, недолго переживъ своего талантливаго сотрудника.

Теперь снова представляется случай вспомнить о Кокоревѣ: вышли его сочиненія, изданныя впрочемъ не редакціею «Москвитянина», а однимъ изъ товарищей покойнаго — В. А. Дементьевымъ. Эти три, бѣдно и сѣро изданные, томика наводятъ на мысли очень невеселыя. Въ нихъ человѣкъ, хотя нѣсколько знакомый съ закулисной жизнью журналистики, ясно читаетъ грустную исторію гибели таланта. Люди, находившіе въ Кокоревѣ зародыши сильнаго дарованія, цѣнившіе его горячую любовь къ работящимъ бѣднякамъ нашимъ, большею частію и не предполагали тѣхъ обстоятельствъ, которыя служили у него источникомъ этой любви, но вмѣстѣ съ тѣмъ и препятствовали свободному развитію его дарованія. Строгіе эстетическіе цѣнители хотѣли, чтобъ онъ дольше *вынашивалъ* въ душѣ свои произведенія, давалъ своимъ очеркамъ больше стройности, больше *объектировалъ* ихъ, лучше отдѣлывалъ со стороны внѣшняго изложенія... Но цѣнители не знали, въ какомъ отношеніи находились произведенія Кокорева къ его собственной жизни. Немногимъ было извѣстно, что эти очерки, изображающіе горькую бѣдность съ честнымъ трудомъ, а подчасъ и грязь, и забвеніе горя за чаркой, и невольное виляньe изъ стороны въ сторону, что все это—воспроизведеніе того, что со всѣхъ

сторонъ обхватывало и сжимало жизнь самого автора. Онъ не издали, не въ качествѣ дилетанта народности, не въ часы досуга, не для художественнаго наслажденія наблюдалъ и изображалъ жизнь бѣдняковъ, съ горемъ и часто съ грѣхомъ пополамъ добывающихъ кусокъ хлѣба. Онъ самъ жилъ среди нихъ, страдалъ съ ними, былъ съ ними связанъ кровно и неразрывно. Онъ недурно изображалъ мастеровыхъ, кухарокъ и извозчиковъ; немудрено: его трудами поддерживалось существованіе стараго, больного отца, ремесленника изъ вольноотпущенныхъ, давалась помощь его матери—кухаркѣ, его брату—извозчику!... Ему ли было отдѣляться отъ героевъ своихъ произведеній и стараться объективировать ихъ! Ему ли было заботиться о *вынашиваніи* въ душѣ своихъ образовъ, объ изящности ихъ отдѣлки! Будь какая угодно артистическая натура, но трудно усадить въ живописное положеніе больного отца, чтобы съ него нарисовать изящный портретъ нищаго старика; трудно томить его голодомъ, чтобы, смотря на его страданія, *выносить* въ душѣ образъ голодной бѣдности и потомъ съ эпическимъ спокойствіемъ выставить его на показъ міру... Нищета семейная, безотрадное, насущное, сосущее горе, въ какомъ проходила жизнь Кокорева, мало благопріятствуютъ ровному и спокойному теченію мыслей. Немудрено, что его разсказы и очерки выливались изъ души лирическимъ порывомъ, что о каждомъ бѣдномъ ванькѣ, о кулакѣ, о мастеровомъ—онъ разсказывалъ съ такимъ кроткимъ и теплымъ чувствомъ, какъ будто бы говорилъ о своемъ родномъ братѣ. Пускался онъ иногда и въ шуточки, старался смѣшить и смѣяться; но это какъ-то не шло къ его тону, не къ лицу ему было: губы его какъ будто складывались въ улыбку, а на глазахъ блестѣли слезы. И только этими невольными, кроткими слезами, да этой робкой, неудачной улыбкой—и сказался онъ міру. Ни отчаяннаго стона, ни могучаго проклятія, ни желчной, кроваво-оскорбляющей ироніи — ни разу не вылетѣло изъ этого нѣжнаго, терпѣливаго сердца. Онъ какъ будто забитъ, запуганъ былъ жизнью; онъ боялся поглубже заглянуть въ свое сердце, разбередить его раны, поднять со дна души вѣчные вопросы о правдѣ, о счастьи, о честномъ трудѣ и объ участи бѣдныхъ тружениковъ на этомъ свѣтѣ... Покорно склонился онъ передъ своей судьбой, и пеканіе лучшаго только и выразилось у него въ этой скорбной—иногда и фальшивой, но всегда берущей за сердце—пѣсни о жалкой бѣдности. Разсказы его—не протестъ противъ общественной неправды, не плодъ мстительнаго раздраженія; въ нихъ нѣтъ желанія отравить вамъ нѣсколько минутъ изображеніемъ житейской неправды и незаслуженныхъ страданій. Напротивъ, въ произведеніяхъ Кокорева есть даже какая-то попытка примиренія, въ нихъ слышится тонъ не допроса и суда, а скорѣе задушевной, грустной исповѣди за себя и за своихъ братьевъ. Но исповѣдь эта наводитъ на васъ тоскливыя думы, и ихъ не разсѣеваетъ даже оптимизмъ автора, нерѣдко выражаемый имъ въ лирическихъ строкахъ,

подобныхъ, напр., слѣдующему обращенію къ самовару (въ очеркѣ «Самоваръ»). «Не богаты мы съ тобой, часто стучится къ намъ въ дверь нужда: такъ и объ этомъ нечего тужить. Вонъ, черезъ улицу отъ насъ, яркими огнями горитъ огромный домъ, толпы кружатся въ великолѣпныхъ его залахъ: но искренно ли веселѣе насъ эти улыбающіяся лица и съ бо́льшимъ ли аппетитомъ кушаютъ они чай изъ серебрянаго самовара? Едва ли. А завтра, когда, утомленные добровольными муками, они только-что сомкнутъ глаза, мы будемъ съ тобою уже на ногахъ, и солнышко, не смѣя пробраться за шелковые занавѣсы, первыхъ насъ поздравитъ съ добрымъ утромъ»... Читая подобныя размышленія, вы соглашаетесь съ авторомъ относительно добровольныхъ мукъ; но вы не можете на этомъ успокоиться, потому что очень хорошо знаете, что *добровольныя* муки все-таки несравненно лучше *невольныхъ*... Не даромъ же въ императорскомъ Римѣ считалось большою милостью предоставленіе преступникамъ права избирать себѣ родъ смерти!...

Но отчего же такое горе, такая бѣдность постоянно терзали Кокорева? Вѣдь онъ писалъ, обнаруживалъ дарованіе, любилъ трудиться; неужели не было средства обезпечить его, дать ему возможность жить и развиваться спокойно? Неужели, наконецъ, онъ ничего не получалъ за свои труды? Мы знаемъ столько людей, которые живутъ литературою, и живутъ безбѣдно: а потребности Кокорева были, безъ сомнѣнія, очень скромны...

Что отвѣтить на эти вопросы? Мы не знали Кокорева, не знали его отношеній къ журналу, въ которомъ онъ участвовалъ, но вотъ выдержка изъ письма одного изъ его знакомыхъ, которое, вскорѣ послѣ его смерти было напечатано въ «Пантеонѣ» (1855 г. № 5). Читайте и судите.

«Кокоревъ не имѣлъ меценатовъ; ему никто не протягивалъ руки помощи. Въ потѣ лица покупалъ онъ хлѣбъ себѣ и семейству. Онъ работалъ чаще *по закону*, чѣмъ *по вдохновенію*, чтобы только обезпечить существованіе отца, матери, брата. Кого обвинять? Мы не посмѣемъ произносить никому урока: «дитя не плачетъ, мать не разумѣетъ». Его старались ввести въ кругъ людей *съ высомъ*, положеніе его, безъ всякаго сомнѣнія, улучшилось бы, но онъ держался мудраго правила: *pour vivre heureux, vivons caché*!

«Я не слыхалъ отъ него никогда ропота, жалобы на горькій жребій; казалось, онъ былъ доволенъ своей судьбой, принималъ видъ веселаго, беззаботнаго, а между тѣмъ преждевременно-согбенный станъ, быстрая отрывистая рѣчь, — доказывали въ высшей степени развившуюся дѣятельность нервной системы, результатъ внутренней борьбы, упорной, но сосредоточенной!..

«Пріѣхавъ въ Москву, я продолжалъ попрежнему трудиться для одного единственно московскаго журнала. Редакторъ объявилъ мнѣ, «что такимъ-то отдѣломъ завѣдываетъ Кокоревъ, поэтому и нѣкоторыя ваши статьи переданы ему. Хотите познакомиться съ нимъ, сходите сами; онъ живетъ на Самотекѣ въ *** переулкѣ, домъ вамъ укажетъ всякій».

«Я былъ душевно радъ познакомиться съ авторомъ «Саввушки», «Кухарки» и многихъ другихъ прекрасныхъ разсказовъ, и отправился.

«Ищу часъ, другой: никто не слыхалъ такой фамиліи. Боже, въ цѣломъ кварталѣ никто не знаетъ человѣка, имя котораго произноситъ съ уваженіемъ по крайней мѣрѣ цѣлая треть читающей Россіи!..

«Какъ ни далеко Дѣвичье Поле, я возвращаюсь туда къ редактору и пу-

скаюсь въ новый путь съ совѣтомъ *справиться въ кварталѣ*... Пройдя по обширному грязному двору, отыскиваю наконецъ самую уединенную избенку съ двумя окнами, обращенными къ забору, за конюшней, и отворяю двери: копоть и мракъ ужаснули меня... Нѣсколько минутъ я ничего не могъ разглядѣть, задыхаясь отъ плотно сгустившагося воздуха. Когда предметы мало-по-малу яснѣе начали обозначаться, я осмотрѣлся: въ углу, на голомъ деревянномъ канапе, отдыхалъ старикъ бѣлый, какъ лунь. Глухой кашель душилъ его. Приподнимаясь съ усиліемъ, онъ нѣсколько минутъ не могъ сказать ни слова. Я предупредилъ его, прося сохранить свое положеніе. Ясно,—я ошибся: я просилъ извиненія и прощаясь спросилъ: не можетъ ли онъ сказать мнѣ, гдѣ живетъ г. Кокоревъ? Въ это время въ двери сосѣдней комнаты высунулась голова какого-то молодого человѣка; онъ вопросительно посмотрѣлъ на меня.

«Я повторилъ мой вопросъ, прибавивъ: Кокорева—писателя, сотрудника «Москвитянина».

«—Въ такомъ случаѣ я къ вашимъ услугамъ; не угодно ли вамъ войти въ мою комнату»,—продолжалъ онъ, замѣтно смутившись. Я повиновался. Комната, въ которую я вошелъ, освѣщалась двумя окнами: стулъ, столикъ, заваленный бумагами, кроватка, изъ-подъ которой выглядывали книги и журналы; рядомъ съ чернилами—бутылка на столѣ, исправляющая должность отсутствующаго подсвѣчника,—вотъ все что я нашелъ въ мастерской художника, въ которой столько передумано, перечувствовано, художнически воспроизведено... Какъ много людей, безплодно обременяющихъ землю своимъ жалкимъ существованіемъ, располагаютъ богатыми средствами, не зная ни цѣны, ни прямого назначенія ихъ... а онъ, это благородное существо, возвысившееся надъ опытомъ, который взростилъ его, и силою крѣпкаго самостоятельнаго ума и прекрасными, хотя тревожными стремленіями сердца!.. Мать—кухарка, отецъ—слабый, больной старикъ, не покидающій постели (вольноотпущенный), братъ—извозчикъ... И не пасть, и самоотверженно, твердо вести крестъ свой, и гордо торжествовать въ борьбѣ съ подвигомъ жизни,—какое вѣское, многоцѣнное слово оставилъ онъ на память о себѣ быту, среди котораго выросъ! Авторъ «Саввушки» не скоро умретъ, принадлежа исторіи литературы.

«Онъ гордо отвергъ многія выгоды жизни, чтобы только сохраниться, и вся жизнь его представляетъ трогательное служеніе искусству, слѣдовательно и обществу.

«Одно меня непріятно поразило въ немъ: онъ стыдился своего положенія; онъ не былъ радъ посѣщенію незнакомца, рѣчь его была неискренна, онъ былъ въ большемъ смущеніи, и мнѣ было досадно за него.

«Я встрѣчался съ нимъ еще нѣсколько разъ. Не могу забыть одной изъ этихъ встрѣчъ. Редакторъ изданія, для котораго онъ постоянно трудился, уѣзжая за-границу, поручилъ ему завѣдываніе редакціей и далъ болѣе 50-ти руб. сер. Съ какой восторженной радостью летѣлъ онъ домой! Видно, давно, очень давно не видалъ онъ такой суммы!..

«Послѣдняя встрѣча испугала меня; пламя таланта, сосредоточенное безъисходное страданіе пожирали нѣжную организацію; онъ угасалъ замѣтно. Труды огромные истощали всѣ его силы, убивали здоровье—и за все его не вознаграждали даже какъ поденщика! Люди промышленные пользовались его страстію къ литературѣ и крайностью положенія.

«А между тѣмъ, мы знаемъ, мы читаемъ, что въ Москвѣ каждый талантъ, каждое предпріятіе, основанное на истинной пользѣ, найдутъ благородное сочувствіе, привѣтъ. Приведемъ по этому случаю слова одного изъ важнѣйшихъ московскихъ ученыхъ, г. Погодина. «Молодые люди, желающіе трудиться на поприщѣ науки! Сносите терпѣливо всѣ неудачи, не охлаждайтесь никакими отказами, не приходите въ отчаяніе отъ препятствій... А вы, отъ которыхъ зависитъ... Но лучше я обращусь къ себѣ, ибо я самъ занялъ подобное мѣсто... Я произношу здѣсь обѣтъ—содѣйствовать всѣми силами ученымъ предначертаніямъ, возбуждать ихъ къ общеполезной дѣятельности искренними совѣтами, ободрять ихъ ласковыми пріемами, оживлять пріятными надеждами въ началѣ, доставлять нужную помощь въ продолженіи, употреблять всѣ зависящія отъ меня средства предъ начальствомъ и публикою при окончаніи ихъ трудовъ,

чтобы дѣлались эти труды извѣстными, доставляя имъ честь и выгоду», и пр., и пр. («Москвитянинъ» № 4, за 1855 г., стр. 86). Вѣроятно, подобныя надежды и обѣщанія поддерживали и Кокорева.

«Вскорѣ онъ умеръ въ госпиталѣ, въ жестокой нервной горячкѣ».

Такъ вотъ въ какихъ отношеніяхъ находился Кокоревъ къ издателю журнала, въ которомъ былъ постояннымъ сотрудникомъ... Однако, что онъ дѣлалъ въ журналѣ? Стало быть, ни одни очерки и разсказы сочинялъ онъ; стало быть, издатель умѣлъ извлечь и другую пользу изъ его дарованія и трудолюбія? Конечно, умѣлъ: доказательство—въ изданныхъ нынѣ сочиненіяхъ Кокорева. Половина второй и почти половина третьей части ихъ заняты журнальными статьями, написанными очевидно по заказу, натянутыми, напряженными, отличающимися какой-то несвойственной Кокореву размашистостью, неловкимъ умничаньемъ и претензіями. Нѣсколько лѣтъ поставлялъ онъ для «Москвитянина» рецензіи глупыхъ книжонокъ для «Библіографіи» и мелкія статейки для «Смѣси». Теперь онѣ всѣ собраны и изданы усердіемъ г. Дементьева,—и Боже мой! чего тутъ нѣтъ, до чего была доведена эта свѣжая, поэтическая натура, на что растрачивался этотъ оригинальный талантъ!... Вотъ разборъ «Хиромантіи дѣвицы Ленорманъ», вотъ рецензія «Стряпухи» вотъ двѣ страницы о «Новомъ способѣ истребленія клоповъ и таракановъ», вотъ «Воззваніе къ крысоистребителямъ», вотъ статейка, критикующая слогъ объявленія тифлисскаго моднаго магазина, замѣтка «о мази отъ паденія волосъ», о поддѣлкѣ подъ вдову Клико, о новой мужикъ-полькѣ, и пр., и пр. Какой талантъ, какая поэзія можетъ сохраниться въ человѣкѣ, принужденномъ убиваться надъ такими предметами?... Никто изъ читавшихъ «Москвитянинъ» и любовавшихся разсказами Кокорева не предполагалъ, конечно, что этотъ же самый человѣкъ, тутъ же черезъ нѣсколько страницъ, смастерилъ какія-нибудь замѣтки о парикмахерскомъ объявленіи, о новомъ полнѣйшемъ оракулѣ, о шрифтѣ визитныхъ карточекъ, и т. п. Грустно перебирать эти замѣтки въ собраніи сочиненій Кокорева, грустно за него и горько на тѣхъ, кто его довелъ до такихъ занятій. Они не мало повредили развитію его таланта. Когда мы пересматривали «Рецензіи» и «Смѣсь» Кокорева, насъ все преслѣдовали слова одного дюжиннаго живописца, выведеннаго самимъ же Кокоревымъ въ разсказѣ «Сибирка». «Правду сказать, не хвастая,—если бы не городская работа, гдѣ пиши одно и то же, по извѣстной мѣркѣ, да клади побольше яркихъ красокъ, чтобы не даромъ платить деньги, какъ толкуютъ покупщики: если бы не это вѣчное малярство, да не нужда, которая часто заставляетъ работать на скорую руку, съ грѣхомъ пополамъ,—можно бы написать не хуже людей, хоть въ академію».

Можетъ быть, многіе изъ чернорабочихъ труженниковъ, ничего не имѣющихъ въ жизни, кромѣ своего труда, оказались бы *не хуже людей*, если бы нужда не заставляла ихъ работать на скорую руку. Но имъ некого винить, кромѣ судьбы, если трудъ ихъ

по крайней мѣрѣ оплачивается какъ слѣдуетъ, и если ихъ не вынуждаютъ къ работѣ, противной ихъ наклонностямъ. Кокореву не дано было и этихъ ничтожныхъ льготъ, и за него общество могло бы спросить отчета еще у кого-нибудь, кромѣ слѣпой и неразумной судьбы.,. Люди, эксплоатировавшіе его, загубили его талантъ и самую жизнь. Въ коротенькомъ предисловіи къ изданію его сочиненій, мы находимъ между прочимъ грустное извѣстіе, что «Кокоревъ умеръ въ молодыхъ годахъ жертвою неправильной жизни, къ которой привыкъ рано, вслѣдствіе несчастныхъ обстоятельствъ». Что это были за обстоятельства, мы вѣроятно узнаемъ подробнѣе изъ его біографіи, которую г. Дементьевъ обѣщаетъ издать въ скоромъ времени.

Жизнь Ваньки Каина, имъ самимъ разсказанная. Новое изданіе *Григорія Книжника*. Спб. 1859.

Въ прошломъ году одна газета увлеклась патріотическимъ негодованіемъ по поводу энтузіазма русской публики къ миссъ Юліи Пастранѣ. «Вотъ,—говоритъ,—поверхностные космополиты въ своемъ близорукомъ верхоглядствѣ полагаютъ, что такіе уроды, какъ Юлія Пастрана, не могутъ родиться въ Россіи, а непремѣнно должны привозиться изъ-за границы. Неправда,—говоритъ;—они полагаютъ такъ потому, что не знаютъ Россіи, не присматриваются къ ея явленіямъ... Да ужъ если на то пошло,— говоритъ, — такъ у насъ этакіе уроды вовсе не рѣдкость»... И въ доказательство своихъ словъ патріотически-задорная газета представила, рядомъ съ портретомъ миссъ Пастраны, портретъ какой-то русской женщины съ бородою...

Тотъ же самый патріотизмъ, только вывороченный совершенно наизнанку, мы встрѣтили недавно въ одномъ печатномъ сужденіи о Ванькѣ Каинѣ. На этотъ разъ патріотизмъ разыгрался по поводу заглавія книги о Каинѣ. Въ старинныхъ изданіяхъ она озаглавливается такимъ образомъ: «Жизнь и похожденія *россійскаго Картуша*, именуемаго Каина». Вотъ по этому-то случаю неизвѣстный патріотъ и разсуждаетъ: «къ сожалѣнію,—говоритъ,—французскій мошенникъ имѣлъ у насъ больше популярности, чѣмъ свой доморощенный и вотъ въ заглавіи книги, чтобы дать ей болѣе хода, выставили имя Картуша. Но въ сущности,—говоритъ,—сходства между ними мало: тотъ былъ,—говоритъ,—и образованный, и убійства дѣлалъ, и казненъ былъ; а нашъ едва грамотѣ зналъ, не убивалъ никого, и наказаніе его смягчено было... такъ что,—говоритъ—нашъ Каинъ совершенно самъ по себѣ, и только неосновательное и легкомысленное пристрастіе къ французамъ могло заставить приравн-

нять его къ Картушу». Порадовались мы такому развитію патріотизма въ нашемъ отечествѣ и чуть-чуть не пожалѣли: зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, Ванька Каинъ не совершилъ дѣяній, которыя бы пріобрѣли ему популярность еще бо́льшую, нежели какую стяжалъ себѣ Картушъ?...

Но отъ патріотическихъ радостей и сожалѣній должны были мы перейти къ разсмотрѣнію книжки, изданной Григоріемъ Книжникомъ. Въ книжкѣ этой не безъ огорченія усмотрѣли мы, что дѣйствительно Ванька Каинъ въ подметки не годится Картушу, и это убѣжденіе навело насъ на мысль, что, можетъ быть, прозваніе *россійскаго Картуша* придано ему даже вовсе не изъ легкомысленнаго подражанія французамъ, а просто для пущей важности, въ томъ родѣ, какъ если бы его назвали, напримѣръ, новѣйшимъ Соловьемъ-Разбойникомъ или вторымъ Стенькою Разинымъ... Дѣло въ томъ видите-ли, что Каинъ былъ плутъ весьма мелкой руки, и въ наши времена его мигомъ скрутила бы полиція. Да и тогда его ловили безпрестанно, и онъ спасался не хитрыми штуками или отчаянной храбростью, а просто тѣмъ, что выдавалъ своихъ товарищей и самъ напрашивался въ сыщики. Его схватили на воровствѣ, а онъ «*слово и дѣло*» закричалъ, вслѣдствіе чего отосланъ былъ въ тайную канцелярію, оговорилъ помѣщика своего и «въ скоромъ времени получилъ отъ оной тайной канцеляріи для житья вольное письмо» (стр. 9), съ которымъ опять принялся за воровство. Въ другой разъ попался онъ — и подьячему посулилъ взятку, вслѣдствіе чего опять былъ отпущенъ и получилъ паспортъ на два года (стр. 27). Въ третій разъ избавился онъ посредствомъ подкупа «стоящаго на караулѣ въ полиціи вахмистра» (стр. 32). Наконецъ, онъ сталъ уже мошенничать по Москвѣ полной рукой, послѣ того какъ въ сенатѣ объявилъ, что онъ «воръ и знаетъ другихъ воровъ и разбойниковъ—не только на Москвѣ, но и въ другихъ городахъ». Тогда онъ во всемъ прощенъ былъ «и притомъ приказано ему было, чтобъ старался такихъ людей воровъ впредь сыскивать, и для того сыску данъ ему былъ отъ сената указъ и опредѣлена была для вспоможенія команда» (стр. 48). Тутъ ужъ ему опасаться было нечего: знай себѣ мошенничай, сколько душа желаетъ... Въ то время еще полицейское управленіе было не развито. Въ настоящее время (когда поднято столько общественныхъ вопросовъ и когда о полиціи сказано столько теплыхъ словъ) не можетъ, конечно, повториться подобное явленіе, — ибо всѣ понимаютъ, что нельзя оправдать вора за то, что онъ обвинитъ другихъ воровъ; всѣ знаютъ, что вору и мошеннику не слѣдуетъ поручать преслѣдованія воровства и мошенничества; взятки въ настоящее время сдѣлались рѣдкимъ исключеніемъ, о которомъ, какъ о неслыханной диковинкѣ, публикуютъ въ газетахъ *для предостереженія*... Ясно, что живи Ванька Каинъ *въ настоящее время*, его первый будочникъ обратилъ бы на путь добродѣтели, лишивши всякой возможности мошенничать. А въ старину, извѣстное дѣло,

этакимъ мелкимъ плутишкамъ было сполагоря: гласности не было, не обличалъ ихъ никто... такъ чего же вы тутъ хотите?... А теперь... да теперь стоило бы только Ванькѣ Каину сходить въ Александринскій театръ да посмотрѣть на станового Фролова, добродѣтельно расшаркивающагося передъ генераломъ, или послушать, какъ комильфотный Надимовъ оретъ объ искорененіи зла съ корнями... Тутъ какой хочешь будь мошенникъ, а душа въ пятки уйдетъ, и отпадетъ всякая охота предлагать взятки мелкимъ чиновникамъ... Да, ужъ теперь не то, что было прежде: такіе мелкіе воришки, какъ Ванька Каинъ, успѣха имѣть ужъ не могутъ... Общество не такъ ужъ низко стоитъ: подымай выше.

Впрочемъ, что намъ до общественныхъ вопросовъ? Насъ ждутъ интересы гораздо болѣе важные. Исторія Ваньки Каина издана Григоріемъ Книжникомъ, слѣдовательно, въ ней нужно искать интереса библіографическаго. Незнакомые съ библіографіею, мы просили одного изъ друзей нашихъ, непризнаннаго, но страстнаго библіографа, разсмотрѣть изданіе Григорія Книжника съ библіографической и историко-литературной точки зрѣнія. Другъ нашъ объявилъ намъ, что «Жизнь Ваньки Каина» представляетъ чрезвычайно важное пособіе для исторіи литературы и особенно для объясненія сочиненій князя Антіоха Кантемира. Мы приведены были въ нѣкоторое изумленіе; но библіографическій другъ нашъ не замедлилъ представить доказательства.

Въ первой сатирѣ Кантемира, — началъ библіографъ, — говорится о Медорѣ, который полагаетъ, что (стихъ 112-й).

«Рексу, не Цицерону похвала достоитъ».

Кто такой *Рексъ*, въ исторіи литературы свѣдѣній доселѣ не было. Только въ изданіи Кантемира 1762 г. (которое нынѣ очень рѣдко; оно есть у меня) къ означенному стиху сдѣлано примѣчаніе: «Рексъ былъ славный портной въ Москвѣ, родомъ нѣмчинъ, а Маркъ Туллій Цицеронъ былъ сынъ римскаго дворянина, изъ поколѣнія Тита Тація, короля сабинскаго» [1]). Нынѣ примѣчаніе это подтверждено однимъ мѣстомъ въ «Жизни Ваньки Каина». Въ ней сказано: «пошли въ ту же Нѣмецкую Слободу, къ дворцовому закройщику Рексу» [2]). Изъ этого видно, что дѣйствительно Рексъ былъ портной и, по всей вѣроятности, нѣмецъ, ибо жилъ въ Нѣмецкой Слободѣ. Конечно, тамъ могъ жить и русскій человѣкъ; но, по свидѣтельству г. Устрялова [3]), въ Нѣмецкой Слободѣ издавна «поселены были иноземцы разныхъ вѣръ и націй», и во времена Кантемира населеніе было, конечно, по преимуществу иноземное. Кромѣ того,—въ «Жизни Ваньки Каина», на той же страницѣ есть еще черта, бросающая нѣкоторый свѣтъ на

---

[1]) Сат. и др. стих. сочиненія кн. Ант. Кантемира. Спб. 1762 г., стр. 9.
[2]) См. «Жизнь В. К.», стр. 11.
[3]) См. «Ист. Петра Вел.» Т. II, стр. 107.

жизнь и характеръ Рекса. «Какъ настала ночь,—говорится здѣсь,— то тотъ Рексъ и живущіе съ нимъ въ домѣ одержимы были сномъ» [1]). Отсюда ясно, 1) что Рексъ жилъ не одинъ въ домѣ, и 2) что онъ имѣлъ мирныя наклонности, ибо по ночамъ спалъ, а не кутилъ. Такимъ образомъ, предъ нами нѣсколько разъясняется лицо, имѣющее свою долю значенія въ исторіи русской литературы.

Далѣе: во второй сатирѣ Кантемира есть стихи [2]).

«Бьешь холопа до крови, что махнулъ рукою
Вмѣсто правой лѣвою (звѣрямъ лишь прилична
Жадность крови; плоть въ слугѣ твоей однолична»).

Въ «Жизни Ваньки Каина» разсказывается обстоятельство, подтверждающее слова Кантемира. Тамъ [3]) говорится, что однажды Каинъ съ товарищами не могли утащить всѣ покраденныя вещи, разбросали ихъ въ грязи, на Чернышевомъ дворѣ, и затѣмъ привезли одну знакомую бабу, какъ будто бы барыню, которая заставила ихъ эти вещи собирать и домой отвезти. Здѣсь между прочимъ замѣчено: «въ то же время, чтобы проѣзжающіе мимо насъ люди дознаться не могли, то рѣченная барыня бранила насъ и била по щекамъ, говоря притомъ: «что-де вамъ дома смотрѣть было не можно ли, все ли цѣло»? [4]). Что эта черта нравовъ не вымышлена, видно изъ того, что она подтверждается многими мѣстами изъ сочиненій нашихъ писателей прошлаго вѣка. Такъ, въ «Недорослѣ» Скотининъ спрашиваетъ: «да развѣ дворянинъ не воленъ поколотить слугу своего, когда захочетъ»? [5]). Такъ въ «Живописцѣ»...

Но на «Живописцѣ» мы прервали нашего библіографическаго друга, зная, что если ужъ онъ попадетъ на сатирическіе журналы прошлаго вѣка, то отъ него дня три не отдѣлаешься... Читатели впрочемъ не лишаются надежды увидѣть его изысканія: онъ обѣщалъ уже намъ сочинить библіографическій трактатъ, по поводу новаго изданія Григорія Книжника.

---

[1]) См. «Ж. В. К.», стр. 11—12.
[2]) См. стихъ 290, слѣд. въ изд. 1762 г., стр. 32.
[3]) Ж. В. К., стр. 15.
[4]) Ж. В. К., стр. 16.
[5]) Соч. Фонъ-Визина, изд. 1852 г., стр. 181.

СОЧИНЕНІЯ В. БѢЛИНСКАГО.

Въ литературѣ нашей не можетъ быть новости отраднѣе той, которая теперь только-что явилась къ намъ изъ Москвы. Наконецъ, сочиненія Бѣлинскаго издаются! Первый томъ уже напечатанъ и полученъ въ Петербургѣ; слѣдующіе, говорятъ, не замедлятъ. Наконецъ-то! Наконецъ-то!...

Что бы ни случилось съ русской литературой, какъ бы пышно ни развилась она, Бѣлинскій всегда будетъ ея гордостью, ея славой, ея украшеніемъ. До сихъ поръ его вліяніе ясно чувствуется на всемъ, что только появляется у насъ прекраснаго и благороднаго; до сихъ поръ каждый изъ лучшихъ нашихъ литературныхъ дѣятелей сознается, что значительной частью своего развитія обязанъ, непосредственно или посредственно, Бѣлинскому... Въ литературныхъ кружкахъ всѣхъ оттѣнковъ едва ли найдется пять-шесть грязныхъ и пошлыхъ личностей, которыя осмѣлятся безъ уваженія произнести его имя. Во всѣхъ концахъ Россіи есть люди, исполненные энтузіазма къ этому геніальному человѣку и, конечно, это лучшіе люди Россіи!...

Для нихъ навѣрно ни одна изъ нашихъ новостей не могла быть столь радостною, какъ изданіе сочиненій Бѣлинскаго. Давно мы ждали его, и наконецъ дождались! Сколько счастливыхъ чистыхъ минутъ снова напомнятъ намъ его статьи,—тѣхъ минутъ, когда мы полны были юношескихъ беззавѣтныхъ порывовъ, когда энергическія слова Бѣлинскаго открывали намъ совершенно новый міръ знанія, размышленія и дѣятельности! Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего окружающаго, мы мечтали объ иныхъ людяхъ, объ иной дѣятельности и искренно надѣялись встрѣтить когда-нибудь такихъ людей и восторженно обѣщали посвятить себя самихъ такой дѣятельности... Жизнь обманула насъ, какъ обманула и его; но для насъ до сихъ поръ дороги тѣ дни святого восторга, тотъ вдохновенный трепетъ, тѣ чистыя, безкорыстныя увлеченія и мечты,

которымъ, можетъ быть, никогда не суждено осуществиться, но съ которыми разстаться до сихъ поръ трудно и больно...

Россія еще мало знаетъ Бѣлинскаго. Онъ рѣдко подписывалъ подъ статьями свою фамилію и теперь, при изданіи его сочиненій, оказалось, что даже литераторы не могли навѣрное указать *всѣхъ* статей, имъ писанныхъ. Многіе изъ читателей узнали его имя болѣе по статьямъ, писаннымъ о немъ уже послѣ его смерти. Но теперь, когда сочиненія его собраны и издаются, всѣмъ читателямъ представляется возможность ближе узнать этого человѣка, съ его взглядами и стремленіями, съ его вліяніемъ на всю нашу литературу послѣднихъ двадцати-пяти лѣтъ. Узнавши его, всѣ читатели убѣдятся, что многое, чѣмъ они восхищались у другихъ, принадлежитъ ему, **вышло отъ** него; **многія изъ** истинъ, на которыхъ теперь опираются наши разсужденія, утверждены имъ, въ ожесточенной борьбѣ съ невѣжествомъ, ложью и злонамѣренностью своихъ противниковъ, при сонной апатіи равнодушнаго общества... Да, въ Бѣлинскомъ наши лучшіе идеалы, въ Бѣлинскомъ же исторія нашего общественнаго развитія, въ немъ же и тяжкій, горькій, неизгладимый упрекъ нашему обществу.

«Современникъ» перешелъ въ руки нынѣшней редакціи при участіи Бѣлинскаго, и до своей смерти онъ не оставлялъ «Современника». «Современникъ» первый заговорилъ о Бѣлинскомъ, послѣ долгаго молчанія, которое обусловливалось тогдашними обстоятельствами литературы. Идеи геніальнаго критика и самое имя его — были всегда святы для насъ, и мы считаемъ себя счастливыми, когда можемъ говорить о немъ. Поэтому, поспѣшивши сообщить читателямъ нашу радость объ изданіи его сочиненій, мы не отказываемся отъ права говорить о немъ подробнѣе, по поводу этого изданія, хотя многое уже высказано было о Бѣлинскомъ въ статьяхъ «О Гоголевскомъ періодѣ литературы», въ «Современникѣ» 1856 г.

Въ первомъ, вышедшемъ теперь, томѣ сочиненій Бѣлинскаго помѣщены критическія и библіографическія статьи, печатанныя имъ въ «Молвѣ» и «Телескопѣ» 1834 и 1835 гг. Изданіе, принадлежащее гг. Солдатенкову и Щепкину, очень опрятно, и цѣна назначена дешевая. Томъ въ 530 страницъ, въ обыкновенномъ форматѣ Щепкинскихъ изданій, стоитъ всего одинъ рубль; та же цѣна и за всѣ слѣдующіе томы. Нѣтъ сомнѣнія, что все изданіе разойдется быстро, хотя бы его было напечатано двадцать тысячъ экземпляровъ!

Впечатлѣніе Украйны и Севастополя. Спб. 1859 г.

Много дѣтскихъ воспоминаній пробудила во мнѣ эта книжка, довольно красиво, хотя и не совсѣмъ исправно, напечатанная «въ типографіи III отдѣленія собственной Е. И. В. канцеляріи». Было время, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, когда авторъ ея, извѣстный авторъ «Путешествія по святымъ мѣстамъ», А. Н. Муравьевъ, рисовался въ моемъ воображеніи, какъ недосягаемый образецъ чистѣйшихъ чувствованій, возвышеннѣйшихъ мыслей и изящнѣйшаго слога. Я довѣрчиво слушалъ и читалъ тогда восторженные отзывы его почитателей, и самъ робко преклонялся предъ необычайнымъ его краснорѣчіемъ и глубиною мыслей, украшающихъ всѣ его творенія. Нѣсколько лѣтъ потомъ лишенъ я былъ удовольствія читать краснорѣчивыя страницы А. Н. Муравьева и даже, за разными дѣлами, почти забылъ о немъ. Только въ прошломъ году опять напомнилъ мнѣ о его идеяхъ и слогѣ г. де-Жеребцовъ, справедливо назвавшій его за высоту чувствованій шамбеляномъ. Послѣ отзыва г. де-Жеребцова я съ удовольствіемъ сталъ ожидать новыхъ произведеній доблестнаго шамбеляна, и ожиданія мои были ненапрасны: въ началѣ нынѣшняго года появились «Впечатлѣнія Украйны и Севастополя».

Съ жадностью принялся я читать «Впечатлѣнія» г. Муравьева, надѣясь испытать то же умилительное чувство, какое производилось во мнѣ его краснорѣчіемъ въ годы моего дѣтства. Я хотѣлъ упиться нектаромъ его духовныхъ размышленій, насладиться эѳирною чистотою его чувствованій и благообразіемъ его слога... Но,— представьте себѣ мое горе! — прочиталъ новое произведеніе почтеннаго автора не только безъ восторга, а, напротивъ, даже съ чувствомъ досады и ироніи!... Мнѣ стало горько за себя: неужели я ужъ такъ измѣнился?... И, кажется, отчего бы?... Вѣдь и въ дѣтствѣ меня ничто особенно не связывало съ краснорѣчивымъ авторомъ «Путешествія по святымъ мѣстамъ», я не былъ подъ исключительнымъ господствомъ его идей, не принадлежалъ къ числу такихъ избранныхъ мальчиковъ, которые бы находились съ нимъ въ непосредственныхъ сношеніяхъ и употреблялись имъ—для вперенія его стремленій въ молодое поколѣніе... А между тѣмъ все-таки я имъ восхищался... Отчего же теперь мнѣ смѣшно и непріятно читать его? Не хочется думать, что я очерствѣлъ душею; но не хочется отказаться и отъ иллюзіи, созданной въ дѣтствѣ... Попробую, впрочемъ, собрать свои мысли, возбужденныя во мнѣ книгою г. Муравьева: тогда конечно, яснѣе будетъ, что вѣрнѣе,— прежнія ли мои впечатлѣнія, или теперешнія.

Первое, что меня непріятно поразило и въ чемъ я несомнѣнно убѣдился вторичнымъ просмотромъ книги г. Муравьева, это совершенное

отсутствіе въ его «Впечатлѣніяхъ» истиннаго чувства любви, гуманности, теплоты душевной, т. е. именно тѣхъ качествъ, которыя прежде старались, во что бы то ни стало, видѣть въ краснорѣчивомъ шамбелянѣ. Чувства его пробуждаются и разрѣшаются потокомъ краснорѣчія—отъ золоченаго купола, «сіяющаго подобно выспреннему вѣнцу на темени горъ», отъ извѣстія о человѣкѣ, который не ѣстъ мяса на масленицѣ, отъ посѣщенія подвижника «благороднаго происхожденія», отъ воспоминанія о «невѣдомомъ странникѣ въ тяжкихъ веригахъ», и т. п. Но ни одна страница не согрѣта теплотою любви къ человѣчеству, желаніемъ жизненнаго блага ближнему, искреннимъ сочувствіемъ къ его насущному, житейскому горю. Встрѣчаетъ ли онъ чумаковъ въ полѣ, — не мысль о трудѣ и скромной бѣдной долѣ этихъ скитальцевъ посѣщаетъ его, а историческая дума «о ихъ дѣдахъ, ходившихъ на ляховъ и крымцевъ». Выходитъ ли онъ въ степь, на засѣянное поле, на выгонъ, — никогда ни однимъ словомъ не выразитъ онъ участія къ работѣ поселянъ, къ ихъ мирной жизни, столь неразрывно связанной съ природою; онъ только погружается въ эмблематическія мечтанія, въ родѣ того, что «все это зеленѣло и расцвѣло предъ моими глазами, напоминая о скоротечности жизни» (стр. 21), или же красивымъ слогомъ описываетъ, какъ «Божья трава благоухаетъ по всей степи, какъ бы извлекая изъ земли ѳиміамъ кадильный, во славу Творца, за чудную красоту Божьяго міра»... Даже посѣщеніе Севастополя какъ-то дико, нечеловѣчески дѣйствуетъ на краснорѣчиваго автора. Патріотизмъ совершенно заслоняетъ въ немъ человѣческія чувства и доводитъ его до того, что онъ съ какою-то злою радостью восклицаетъ о непріятеляхъ: «устлали же они своими костями землю русскую, и не даромъ»! (стр. 37). И вслѣдъ за тѣмъ онъ прибавляетъ вотъ какое разсужденіе: «надъ входомъ одного изъ кладбищъ, гдѣ англійская позиція сближалась съ французскою, написано «Respect aux morts». *А сами они* развѣ уважали усопшихъ, *и еще какихъ именитыхъ*, даже во время перемирія? Кто святотатно коснулся гробницъ нашихъ славныхъ адмираловъ, посреди основанія начатаго храма? Это не сдѣлали бы и *самые* турки, болѣе уважающіе святость могилъ». Не правда ли,—любопытная логика!... Она напомнила намъ школьный анекдотъ. «Какъ ты смѣлъ тихонько утащить книгу у Петрова»? — спрашиваетъ учитель мальчика. — «Да помилуйте, — оправдывается воришка,—*онъ самъ* вчера у Иванова перо укралъ»...

Вообще сужденія почтеннаго автора-шамбеляна сильно отзываются наивностью счастливаго возраста человѣческой жизни. Подобно многимъ, мало-развитымъ дѣтямъ, онъ, не возставая противъ законности факта, часто возстаетъ противъ его существенныхъ свойствъ и неизбѣжныхъ послѣдствій. Дѣти ничего не имѣютъ противъ того, чтобы огонь сожигалъ предметы; но они хотятъ, чтобы онъ не обжигалъ имъ пальцевъ. Въ этомъ родѣ г. Муравьевъ разсуждаетъ, напр., о войнѣ. Онъ не говоритъ, чтобы

она была совершенно безсмысленна и гнусна въ своей сущности; напротивъ, — онъ съ любовью вспоминаетъ о набѣгахъ казаковъ на ляховъ и крымцевъ, съ восторгомъ говоритъ о доблести русскихъ воиновъ, жертвовавшихъ жизнью за вѣру, царя и отечество, восхищается ихъ воинскими лаврами. Но рядомъ съ этимъ онъ никакъ не можетъ понять, зачѣмъ люди, выходя на битву, стрѣляютъ другъ въ друга и вообще стараются нанести непріятелю какъ можно больше вреда. Это совершенно выходитъ изъ круга его пониманія, и потому онъ безпрестанно, наипростодушнѣйшимъ образомъ гнѣвается на англо-французовъ за то, что они не стояли подъ Севастополемъ склавши руки, а старались разорить его. Въ ихъ непріязненныхъ дѣйствіяхъ противъ насъ онъ находитъ несомнѣнныя доказательства *варварства*... Въ одномъ мѣстѣ онъ ядовито замѣчаетъ: «все здѣсь пробито ядрами и бомбами, какъ источаются червями плоть и кости; *едва ли обрѣтутся и въ могилѣ такіе упрызатели?*» (стр. 42). Въ другомъ мѣстѣ онъ обвиняетъ *лукавыхъ враговъ* въ мошенничествѣ за то, что они «взорвали зданіе адмиралтейства изнутри, сохранивъ его наружныя стѣны», и тѣмъ произвели «оптическій обманъ, вслѣдствіе котораго зданіе не поражаетъ издали своими развалинами» (стр. 47). Главнымъ образомъ безпокоится почтенный авторъ о томъ, что постройка зданія обошлась очень дорого: по его мнѣнію, англичане обязаны были принять это во вниманіе. «Сколько стоило милліоновъ, — говоритъ онъ,—чтобы срыть только одну гору, на которой, по манію царскому, предполагалось строить новое адмиралтейство? Оно долженствовало быть однимъ изъ самыхъ чудныхъ зданій въ мірѣ, и недовершенное пало! Исполинскій трудъ рукъ человѣческихъ, достойный древнихъ колоссовъ Египта и Рима, однимъ мгновеніемъ обратился въ ничто! А великолѣпные доки? Можно ли было *столь варварски* истребить ихъ, и для чего? Они уже не годились для новаго устройства кораблей, *но можно было пощадить ихъ ради изящества*» (стр. 48). Дѣйствительно, нельзя не пожалѣть, что англичане во время войны такъ мало заботились о нашихъ интересахъ... Кажется, отчего бы имъ не принять нашихъ выгодъ столь же близко къ сердцу, какъ принимаетъ ихъ г. Муравьевъ?... «*Но уже таковъ духъ надменныхъ островитянъ*,—удачно замѣчаетъ краснорѣчивый шамбелянъ,—*истреблять все, что только не ихъ*»... За то и клеймитъ же онъ ихъ: «одна только *неистовая вражда*,—говоритъ,—руководила здѣсь истребителей, которые на каждомъ шагу ознаменовали *свое варварство*» (стр. 70). Прочитавъ столь строгій приговоръ, пожалѣли мы, что надменные островитяне бросали въ насъ бомбы со враждою, а не съ нѣжностью; но еще болѣе пожалѣли о невѣдѣніи автора «Впечатлѣній», не умѣющаго взять въ толкъ, что *война* и *вражда* суть понятія болѣе однородныя, чѣмъ *любовь* и *война*...

Впрочемъ надобно и то сказать, что для краснорѣчиваго автора война и миръ, смерть и жизнь, радость и горе человѣчества—въ

сущности совершенный вздоръ. Они занимаютъ его не сами по себѣ, а по тѣмъ символамъ и примѣтамъ, которыя можно извлечь изъ нихъ. Symbola et emblemmata—вотъ настоящая спеціальность краснорѣчиваго нашего шамбеляна-писателя. Ручей, напр., интересуетъ его, *какъ подобіе слезъ участія.* «Неуловимыя стези,—говоритъ онъ, описывая Алупку,—подбѣгаютъ подъ гранитные утесы, которые будто готовы обрушиться на смѣлаго путника, довѣряющагося ихъ нависшей громадѣ; но его влечетъ туда живая струя, пробивающаяся *изъ сердца камня* (и у камня оказалось сердце, и даже, какъ увидите, очень чувствительное!), *какъ слезы участія, тамъ гдѣ ихъ не видишь*, и говоромъ усладительныхъ водъ обворожаетъ посѣтителя *сего нечаяннаго Нимфея*» (?) (стр. 81). Это символическая картина въ идиллическомъ вкусѣ; а вотъ нѣчто грандіозное. Авторъ говоритъ о бомбардировкѣ Севастополя: «не было ли это однимъ изъ предшествующихъ зрѣлищъ послѣдняго дня нашего міра, обреченнаго на сожженіе со всѣми его стихіями»! (стр 43). А то вотъ еще маланхолическій символъ, изъ котораго оказывается, что г. Муравьеву жаль Севастополя *потому именно, что въ Крыму много лавровъ, но еще болѣе кипарисовъ.* Мысль нѣсколько оригинальная, но не допускающая ни малѣйшаго сомнѣнія въ своей дѣйствительности: вотъ подлинныя слова г. Муравьева: «Лавры и кипарисы! *Ахъ*, не есть ли это выраженіе нынѣшняго грустнаго впечатлѣнія Крыма, послѣ страшнаго побоища севастопольскаго? Много тамъ было лавровъ, но еще болѣе кипарисовъ! *Вотъ почему* (вотъ почему!!) невольно сжимается сердце на самыхъ отрадныхъ, по красотѣ своей, мѣстахъ южнаго берега, при одномъ воспоминаніи о Севастополѣ! Все къ нему влечетъ, какъ бы теченіемъ береговымъ въ неизбѣжную пучину (!?), и его роднымъ пепломъ, далеко разносимымъ, *мысленно посыпано все поморіе*, какъ лавою и пепломъ Везувія засыпались окрестные города. (Какъ хорошо сравненіе Севастополя съ Везувіемъ!) *Не тотъ это уже* (благозвучіе-то какое!) *Крымъ*, которымъ восхищался я за десять лѣтъ *предъ симъ* (и риѳма есть, если хотите), отъ края и до края, отъ Керчи до Севастополя» (стр. 31).

Очевидно, что символическія страсти сильно обуреваютъ почтеннаго автора, такъ что онъ безпрерывно жертвуетъ имъ здравымъ смысломъ и даже лишается при этомъ свойственнаго ему изящества слога. Иногда онъ отъ меланхоліи и идилліи переходитъ къ философскому настроенію души и задаетъ самому себѣ глубокіе вопросы. На этомъ поприщѣ онъ, конечно, никакъ не уступаетъ извѣстному Кифѣ Мокіевичу; но symbola et emblemmata и тутъ его преслѣдуютъ. Оттого глубокомысліе его большею частію лишено реальной почвы и витаетъ преимущественно въ тѣхъ мѣстностяхъ,

«Гдѣ граничитъ съ мірозданьемъ
Безпредѣльность и хаосъ».

Такъ, напр., онъ задаетъ вопросъ: что произошло бы, «если бы внезапно поднялся герой нашъ Лазаревъ и увидѣлъ вокругъ себя разрушеніе всего того, что создалъ онъ съ такою любовію въ теченіе многихъ лѣтъ»? (стр. 41). Вопросъ, весьма серьезный и любопытный; но такъ какъ Лазаревъ умеръ еще въ началѣ 1851 года, то подниматься ему изъ гроба, чтобы посмотрѣть на разрушеніе Севастополя, было бы нѣсколько странно въ дѣйствительности... Но въ символическомъ мірѣ г. Муравьева это было бы, вѣроятно, отлично...

Въ другомъ мѣстѣ авторъ дѣлаетъ остроумныя соображенія о томъ, что произошло бы, «*если бы французамъ было позволено быть выбитыми горстію храбрыхъ изъ Малахова кургана*»! Опять важный вопросъ; но опять все не реальный, потому что — когда же и кому *дастся позволеніе быть выбитымъ* изъ позиціи? А между тѣмъ, г. Муравьевъ даже рѣшаетъ этотъ вопросъ положительно. «Французы,—говоритъ онъ,—захватили курганъ нечаянно и были бы выбиты опять горстію храбрыхъ, одушевленныхъ геройствомъ Хрулева, *если бы было только дозволено*» (стр. 49). Изъ этого видно, что г. Муравьевъ очень высоко ставитъ послушаніе французскихъ войскъ; но все-таки разсужденія его относятся къ области призраковъ.

Но самое лучшее соображеніе дѣлаетъ г. Муравьевъ по поводу англійскихъ бомбъ въ Севастополѣ. Тутъ замысловатый шамбелянъ-писатель становится уже просто Мартыномъ Задекою, и мы рекомендуемъ его разсужденія издателямъ «Новѣйшихъ и полнѣйшихъ оракуловъ и сонниковъ». Надѣемся, что въ рѣдкой изъ гадательныхъ книжекъ можно найти диковинки, подобныя слѣдующему разсказу (стр. 52).

«Спутникъ мнѣ говорилъ, что много еще валяется начиненныхъ бомбъ между развалинъ, и надобно быть съ ними очень осторожнымъ, потому что бывали несчастные случаи. Въ прошломъ году, двое пріѣзжихъ англичанъ вздумали пошутить надъ такою бомбою и заплатили жизнію за свою неумѣстную отвагу; бомбу разорвало и ихъ убило на мѣстѣ. (До сихъ поръ—здравый смыслъ.) Не есть ли это таинственное возмездіе *представителямъ сего непріязненнаго народа* за все то зло, которое нанесли ихъ соотечественники городу, уже беззащитному, во время перемирія, исказивъ самые его останки, поцаженные осадою? Надъ сими останками пришли еще поглумиться ихъ туристы, и тутъ же, въ самыхъ докахъ, разоренныхъ англичанами, обрѣли себѣ смерть! Мертвая, повидимому, бомба, *и вѣроятно начиненная англійскимъ порохомъ*, два года спустя послѣ всѣхъ сихъ ужасныхъ событій, *таила въ себѣ еще достаточно силы, чтобы поразить англичанина* (именно англичанина?). Право, нельзя всегда *приписывать случаю такія случайности*».

Совершенная правда! Но что бомба *таила въ себѣ достаточно силы* будто бы только для того, *чтобы поразить англичанина*, а не русскаго,—это уже опять мы позволяемъ себѣ отнести къ области символическихъ фантазій, которыми такъ богатъ просвѣщенный авторъ, столь характеристически названный шамбеляномъ.

На чемъ же основанъ успѣхъ произведеній г. Муравьева? спро-

сили мы сами себя, прочитавши «Впечатлѣнія Украйны и Севастополя».—«А на чемъ основанъ успѣхъ «Оракуловъ» и «Сонниковъ»?—явился у насъ другой вопросъ въ отвѣтъ на первый. Изъ сдѣланныхъ нами выписокъ читатели могли видѣть, въ какой степени понятія и стремленія г. Муравьева могутъ соотвѣтствовать современнымъ требованіямъ образованныхъ людей. Ясно, что не они интересуются краснорѣчіемъ и символистикой почтеннаго автора; ясно, что не для нихъ употребляетъ онъ высокій слогъ, который состоитъ у него въ безпрестанномъ употребленіи мѣстоименія *сей*, да словъ въ родѣ — *обрящетъ*, *маніе*, *останки* и пр. Очевидно, что его произведенія, хотя и печатаются довольно чисто, въ типографіи III отдѣленія собств. Е. И. В. канцеляріи, но принадлежатъ къ такъ-называемой *сѣробумажной* или *лубочной* литературѣ. «Бобелина, героиня греческая», «Козелъ-бунтовщикъ», «О нравственной стихіи въ поэзіи», г. Ореста Миллера, «Путь къ спасенію», Ѳедора Эмина, «Путешествія» и «Впечатлѣнія», А. Н. Муравьева, — все это принадлежитъ къ одному разряду литературныхъ произведеній и назначено для одного и того же сорта публики.

Руководство къ наглядному изученію административнаго порядка теченія бумагъ въ Россіи. Москва. 1858.

Книга эта издана еще въ прошломъ году, но мы лишь на-дняхъ случайно узнали о ней. Между тѣмъ, книгопродавцы говорятъ, что она разошлась очень быстро, и мы едва могли достать экземпляръ ея. Фактъ этотъ принадлежитъ къ числу тѣхъ отрадныхъ явленій, которыхъ такъ много произошло въ послѣднее время въ нашемъ обществѣ: значитъ, начинаетъ возникать чувство законности и стремленіе узнать, по какимъ законамъ и формамъ совершается дѣлопроизводство въ нашихъ присутственныхъ мѣстахъ. Въ предисловіи къ книжкѣ (составляющей не болѣе, какъ объясненіе *къ плану* теченія бумагъ, изящно сдѣланному) издатель говоритъ слѣдующее:

«Принимая въ соображеніе, съ одной стороны, что по неимѣнію достаточныхъ свѣдѣній въ практическомъ дѣлопроизводствѣ, многія частныя лица иногда встрѣчаютъ затрудненіе въ ходатайствѣ по прошеніямъ, какъ поданнымъ ими самими, такъ и ихъ довѣрителями, а съ другой стороны, что скорѣйшее изученіе дѣлопроизводства составляетъ потребность и отличіе всякаго молодого неопытнаго чиновника, вступающаго на поприще гражданской службы, мы надѣемся изданіемъ наглядnаго способа къ познанію теченія бумагъ, *столь упрощеннаго въ послѣднее время*, заслужить *всеобщее благосклонное вниманіе и справедливое одобреніе*».

Затѣмъ издатель объясняетъ, что административный порядокъ теченія бумагъ избранъ имъ потому, что онъ служитъ основаніемъ теченію бумагъ по всѣмъ прочимъ вѣдомствамъ (путемъ слѣдственнымъ и судебнымъ), «съ весьма немногими измѣненіями, *а иногда и дополненіями*».

Надежды автора на «всеобщее благосклонное вниманіе и справедливое одобреніе» не напрасны. Дѣйствительно, по его плану и книжкѣ можно изучить дѣлопроизводство наше, — хотя и не безъ труда, вопреки замѣчанію автора, что оно очень *упрощено*. Въ книжкѣ перебраны четыре инстанціи: земскій судъ, губернское правленіе, департаментъ министерства и совѣтъ министра. Въ этихъ четырехъ инстанціяхъ бумага должна сдѣлать, по исчисленію книжки, 159 оборотовъ; столько же нужно и на обратномъ пути—къ исполненію, и вдвое болѣе,—если министръ потребуетъ какихъ-нибудь справокъ и объясненій. Изучить всю эту процедуру не такъ легко, тѣмъ болѣе, что здѣсь нужно исключительно брать памятью, безъ всякаго пособія соображенія, опирающагося на естественной ассоціаціи идей и требованіяхъ логической необходимости. Для примѣра представимъ здѣсь изложеніе порядка, по которому идетъ бумага, поступившая изъ земскаго суда въ губернское правленіе.

1. Дежурный расписывается въ пріемѣ пакета, содержащаго бумагу, записываетъ его въ Дежурную книгу и отдаетъ
2. Главному Регистратору, который распечатываетъ пакетъ и представляетъ бумагу
3. Старшему Секретарю, который, прочитавъ бумагу, дѣлаетъ на ней помѣтку, указывающую, въ какое отдѣленіе ее передать, и возвращаетъ ее
4. Главному Регистратору; а этотъ, разсортировавъ всѣ поступившія въ тотъ день бумаги, раздаетъ ихъ подъ расписку въ Отдѣленія, изъ коихъ въ каждомъ имѣется свой
5. Младшій Регистраторъ, записывающій бумаги во Входящій реестръ и отдающій ее
6. Столоначальнику, который, расписавшись въ ея пріемѣ, передаетъ ее
7. Помощнику Столоначальника, обязанному записать ее въ Настольный реестръ и тотчасъ же возвратить
8. Столоначальнику, который подаетъ ее
9. Секретарю Отдѣленія, а этотъ представляетъ ее
10. Совѣтнику Отдѣленія, который пишетъ на ней краткую резолюцію: «къ докладу, къ свѣдѣнію, къ руководству», или «доложить, принять къ свѣдѣнію».
11. Столоначальникъ обратно беретъ бумагу и отдаетъ ее
12. Помощнику своему, который отмѣчаетъ резолюцію Совѣтника во Входящемъ реестрѣ и возвращаетъ бумагу
13. Столоначальнику.

    Здѣсь, по содержанію входящей бумаги, составляется, на основаніи справки съ законами, проектъ журнала, котораго теченіе изображено на планѣ чертою *синяго* цвѣта. Столоначальникъ представляетъ проектъ журнала
14. Секретарю Отдѣленія, который, повѣривъ законы и разсмотрѣвъ проектъ, подаетъ его
15. Совѣтнику Отдѣленія; этотъ пишетъ отъ своего лица мнѣніе и все это отдаетъ
16. Секретарю Отдѣленія для передачи
17. Столоначальнику и для переписки

18. Писарю.
    Здѣсь цвѣтъ черты на планѣ изъ синяго дѣлается *краснымъ*. Проектъ уже становится настоящимъ журналомъ, разрѣшающимъ входящую бумагу, и требуетъ слѣдующаго порядка:
19. Столоначальникъ его справляетъ,
20. Секретарь Отдѣленія его скрѣпляетъ,
21. Совѣтникъ Отдѣленія его подписываетъ, а за ними подписываютъ:
22—24. Два Совѣтника и Асессоръ. Отъ нихъ журналъ передается
25. Старшему Секретарю, который отсылаетъ его для подписи
26. Вице-Губернатору, а этотъ возвращаетъ его
27. Старшему Секретарю для доклада
28. Губернатору, который, подписавъ, возвращаетъ журналъ ему же,
29. Старшему Секретарю, который отдаетъ его
30. Главному Регистратору; а этотъ записываетъ его въ книгу Регистратуры, выставляетъ на немъ нумеръ и посылаетъ его
31. Письмоводителю Прокурора, расписывающемуся въ его полученіи и представляющему его
32. Прокурору, который его пропускаетъ, т. е. утверждаетъ своимъ подписомъ и отдаетъ обратно
33. Письмоводителю, для передачи съ распискою
34. Главному Регистратору, который, расписавшись въ полученіи журнала, отдаетъ его
35. Младшему Регистратору для представленія
36. Секретарю Отдѣленія, который передаетъ его для исполненія
37. Столоначальнику; а этотъ
38. Помощнику своему.
    Здѣсь начинается исполненіе журнала, т. е. составляется исходящая бумага, которой путь указываетъ *меловая* черта, идущая отъ Помощника Столоначальника къ
39. Столоначальнику, который просматриваетъ черновое исполненіе и подаетъ его
40. Секретарю Отдѣленія, который также просматриваетъ и подаетъ его
41. Совѣтнику Отдѣленія, который еще его просматриваетъ и возвращаетъ
42. Секретарю Отдѣленія; а этотъ уже сдаетъ его
43. Столоначальнику, который, въ свою очередь, передаетъ его
44. Писарю для переписки.
    Здѣсь черновое исполненіе становится бѣловымъ, которое
45. Столоначальникъ справляетъ,
46. Секретарь Отдѣленія скрѣпляетъ,
47. Совѣтникъ Отдѣленія подписываетъ и передаетъ
48. Секретарю Отдѣленія, который его отсылаетъ
49. Старшему Секретарю, а этотъ его докладываетъ
50. Губернатору, который его подписываетъ и передаетъ
51. Старшему Секретарю для отдачи
52. Главному Регистратору, имѣющему обязанность всѣ бумаги, подписанныя Губернаторомъ, сортировать по Отдѣленіямъ Губернскаго Правленія и отдавать ихъ подъ расписку
53. Младшему Регистратору, который записываетъ ее въ Исходящій реестръ и занумеровываетъ, и потомъ, запечатавъ въ пакетъ, отдаетъ
54. Дежурному, для записки въ Разносную книгу и для отдачи Разсыльному, который и относитъ бумаги по адресу.

Процедура, какъ видите, довольно сложная; но на планѣ, обозначенная чертами различнаго цвѣта и украшенная стрѣлками, для показанія направленія бумаги, она имѣетъ видъ довольно красивый.

ЧТО ТАКОЕ ОБЛОМОВЩИНА?

(**Обломовъ**, романъ *И. А. Гончарова* «Отеч. Записки» 1859 г. № I — IV.)

> Гдѣ же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской души умѣлъ бы сказать намъ это всемогущее слово «впередъ»? Вѣки проходятъ за вѣками, полмилліона сидней, увальней и болвановъ дремлетъ непробудно, и рѣдко рождается на Руси мужъ, умѣющій произнести его, это всемогущее слово...
>
> Гоголь.

Десять лѣтъ ждала наша публика романа Гончарова. Задолго до его появленія въ печати, о немъ говорили, какъ о произведеніи необыкновенномъ. Къ чтенію его приступили съ самыми обширными ожиданіями. Между тѣмъ первая часть романа, написанная еще въ 1849 г. и чуждая текущихъ интересовъ настоящей минуты, многимъ показалась скучною. Въ это же время появилось «Дворянское гнѣздо», и всѣ были увлечены поэтическимъ, въ высшей степени симпатичнымъ талантомъ его автора. «Обломовъ» остался для многихъ въ сторонѣ; многіе даже чувствовали утомленіе отъ необычайно-тонкаго и глубокаго психическаго анализа, проникающаго весь романъ г. Гончарова. Та публика, которая любитъ внѣшнюю занимательность дѣйствія, нашла утомительною первую часть романа потому, что до самаго конца ея герой все продолжаетъ лежать на томъ же диванѣ, на которомъ застаетъ его начало первой главы. Тѣ читатели, которымъ нравится обличительное направленіе, недовольны были тѣмъ, что въ романѣ оставалась совершенно нетронутою наша офиціально-общественная жизнь. Короче — первая часть романа произвела неблагопріятное впечатлѣніе на многихъ читателей.

Кажется, не мало было задатковъ на то, чтобы и весь романъ не имѣлъ успѣха, по крайней мѣрѣ въ нашей публикѣ, которая такъ привыкла считать всю поэтическую литературу забавой и

судить художественныя произведенія по первому впечатлѣнію. Но на этотъ разъ художественная правда скоро взяла свое. Послѣдующія части романа сгладили первое непріятное впечатлѣніе у всѣхъ, у кого оно было, и талантъ Гончарова покорилъ своему неотразимому вліянію даже людей, всего менѣе ему сочувствовавшихъ. Тайна такого успѣха заключается, намъ кажется, сколько непосредственно въ силѣ художественнаго таланта автора, столько же и въ необыкновенномъ богатствѣ содержанія романа.

Можетъ показаться страннымъ, что мы находимъ особенное богатство содержанія въ романѣ, въ которомъ, по самому характеру героя, почти вовсе нѣтъ дѣйствія. Но мы надѣемся объяснить свою мысль въ продолженіи статьи, главная цѣль которой и состоитъ въ томъ, чтобы высказать нѣсколько замѣчаній и выводовъ, на которые, по нашему мнѣнію, необходимо наводить, содержаніе романа Гончарова.

«Обломовъ» вызоветъ, безъ сомнѣнія, множество критикъ. Вѣроятно, будутъ между ними и корректурныя, которыя отыщутъ какія-нибудь погрѣшности въ языкѣ и слогѣ, и патетическія, въ которыхъ будетъ много восклицаній о прелести сценъ и характеровъ, и эстетично-аптекарскія, съ строгою повѣркою того, вездѣ ли точно, по эстетическому рецепту, отпущено дѣйствующимъ лицамъ надлежащее количество такихъ-то и такихъ-то свойствъ, и всегда ли эти лица употребляютъ ихъ такъ, какъ сказано въ рецептѣ. Мы не чувствуемъ ни малѣйшей охоты пускаться въ подобныя тонкости, да и читателямъ, вѣроятно, не будетъ особеннаго горя, если мы не станемъ убиваться надъ соображеніями о томъ, вполнѣ ли соотвѣтствуетъ такая-то фраза характеру героя и его положенію, или въ ней надобно было нѣсколько словъ переставить, и т. п. Поэтому намъ кажется нисколько непредосудительнымъ заняться болѣе общими соображеніями о содержаніи и значеніи романа Гончарова, хотя, конечно, *истые критики* и упрекнутъ насъ опять, что статья наша написана не объ Обломовѣ, а только *по поводу* Обломова.

Намъ кажется, что въ отношеніи къ Гончарову болѣе, чѣмъ въ отношеніи ко всякому другому автору, критика обязана изложить общіе результаты, выводимые изъ его произведеній. Есть авторы, которые сами на себя берутъ этотъ трудъ, объясняясь съ читателемъ относительно цѣли и смысла своихъ произведеній. Иные и не высказываютъ категорически своихъ намѣреній, но такъ ведутъ весь разсказъ, что онъ оказывается яснымъ и правильнымъ олицетвореніемъ ихъ мысли. У такихъ авторовъ каждая страница бьетъ на то, чтобы вразумить читателя, и много нужно недогадливости, чтобы не понять ихъ... За то плодомъ чтенія ихъ бываетъ болѣе или менѣе полное (смотря по степени таланта автора) *согласіе съ идеею*, положенною въ основаніе произведенія. Остальное все улетучивается черезъ два часа по прочтеніи книги. У Гончарова совсѣмъ не то. Онъ вамъ не даетъ, и повидимому

не хочетъ дать, никакихъ выводовъ. Жизнь, имъ изображаемая, служитъ для него не средствомъ къ отвлеченной философіи, а прямою цѣлью сама по себѣ. Ему нѣтъ дѣла до читателя и до выводовъ, какіе вы сдѣлаете изъ романа: это ужъ ваше дѣло. Ошибетесь — пеняйте на свою близорукость, а никакъ не на автора. Онъ представляетъ вамъ живое изображеніе и ручается только за его сходство съ дѣйствительностью; а тамъ ужъ ваше дѣло опредѣлить степень достоинства изображенныхъ предметовъ: онъ къ этому совершенно равнодушенъ. У него нѣтъ и той горячности чувства, которая инымъ талантамъ придаетъ наибольшую силу и прелесть. Тургеневъ, напримѣръ, разсказываетъ о своихъ герояхъ, какъ о людяхъ близкихъ ему, выхватываетъ изъ груди ихъ горячее чувство и съ нѣжнымъ участіемъ, съ болѣзненнымъ трепетомъ слѣдитъ за нимъ, самъ страдаетъ и радуется вмѣстѣ съ лицами, имъ созданными, самъ увлекается той поэтической обстановкой, которою любитъ всегда окружать ихъ... И его увлеченіе заразительно: оно неотразимо овладѣваетъ симпатіей читателя, съ первой страницы приковываетъ къ разсказу мысль его и чувство, заставляетъ и его переживать, перечувствовать тѣ моменты, въ которыхъ являются передъ нимъ тургеневскія лица. И пройдетъ много времени,—читатель можетъ забыть ходъ разсказа, потерять связь между подробностями происшествій, упустить изъ виду характеристику отдѣльныхъ лицъ и положеній, можетъ, наконецъ, позабыть все прочитанное; но ему все-таки будетъ памятно и дорого то живое, отрадное впечатлѣніе, которое онъ испытывалъ при чтеніи разсказа. У Гончарова нѣтъ ничего подобнаго. Талантъ его неподатливъ на впечатлѣнія. Онъ не запоетъ лирической пѣсни при взглядѣ на розу и соловья; онъ будетъ пораженъ ими, остановится, будетъ долго всматриваться и вслушиваться, задумается... Какой процессъ въ это время произойдетъ въ душѣ его, этого намъ не понять хорошенько... Но вотъ онъ начинаетъ чертить что-то... Вы холодно всматриваетесь въ неясныя еще черты... Вотъ онѣ отдѣляются яснѣе, яснѣе, прекраснѣе... и вдругъ, неизвѣстно какимъ чудомъ, изъ этихъ чертъ возстаетъ передъ вами и роза, и соловей, со всей своей прелестью и обаяньемъ. Вамъ рисуется не только ихъ образъ, вамъ чуется ароматъ розы, слышатся соловьиные звуки... Пойте лирическую пѣснь, если роза и соловей могутъ возбуждать ваши чувства; художникъ начертилъ ихъ и, довольный своимъ дѣломъ отходитъ въ сторону; болѣе онъ ничего не прибавитъ... «И напрасно было бы прибавлять,—думаетъ онъ:— если самъ образъ не говоритъ вашей душѣ, то что могутъ вамъ сказать слова».

Въ этомъ умѣньи охватить полный образъ предмета, отчеканить, изваять его—заключается сильнѣйшая сторона таланта Гончарова. И ею онъ превосходитъ всѣхъ современныхъ русскихъ писателей. Изъ нея легко объясняются всѣ остальныя свойства его таланта. У него есть изумительная способность — во всякій

данный моментъ остановить летучее явленіе жизни, во всей его полнотѣ и свѣжести, и держать его передъ собою до тѣхъ поръ, пока оно не сдѣлается полной принадлежностью художника. На всѣхъ насъ падаетъ свѣтлый лучъ жизни, но онъ у насъ тотчасъ же исчезаетъ, едва коснувшись нашего сознанія. И за нимъ идутъ другіе лучи, отъ другихъ предметовъ, и опять столь же быстро исчезаютъ, почти не оставляя слѣда. Такъ проходитъ вся жизнь, скользя по поверхности нашего сознанія. Не то у художника: онъ умѣетъ уловить въ каждомъ предметѣ что-нибудь близкое и родственное своей душѣ, умѣетъ остановиться на томъ моментѣ, который чѣмъ-нибудь особенно поразилъ его. Смотря по свойству поэтическаго таланта и по степени его выработанности, сфера доступная художнику можетъ суживаться или расширяться, впечатлѣнія могутъ быть живѣе или глубже; выраженіе ихъ—страстнѣе или спокойнѣе. Нерѣдко сочувствіе поэта привлекается какимъ-нибудь однимъ качествомъ предметовъ, и это качество онъ старается вызывать и отыскивать всюду, въ возможно-полномъ и живомъ его выраженіи поставляетъ свою главную задачу, на него по преимуществу тратитъ свою художническую силу. Такъ являются художники, сливающіе внутренній міръ души своей съ міромъ внѣшнихъ явленій и видящіе всю жизнь и природу подъ призмою господствующаго въ нихъ самихъ настроенія. Такъ у однихъ все подчиняется чувству пластической красоты, у другихъ по преимуществу рисуются нѣжныя и симпатичныя черты, у иныхъ во всякомъ образѣ, во всякомъ описаніи отражаются гуманныя и соціальныя стремленія, и т. д. Ни одна изъ такихъ сторонъ не выдается особенно у Гончарова. У него есть другое свойство; спокойствіе и полнота поэтическаго міросозерцанія. Онъ ничѣмъ не увлекается исключительно, или увлекается всѣмъ одинаково. Онъ не поражается одной стороною предмета, однимъ моментомъ событія, а вертитъ предметъ со всѣхъ сторонъ, выжидаетъ совершенія всѣхъ моментовъ явленія, и тогда уже приступаетъ къ ихъ художественной переработкѣ. Слѣдствіемъ этого является, конечно, въ художникѣ болѣе спокойное и безпристрастное отношеніе къ изображаемымъ предметамъ, большая отчетливость въ очертаніи даже мелочныхъ подробностей, и равная доля вниманія ко всѣмъ частностямъ разсказа.

Вотъ отчего нѣкоторымъ кажется романъ Гончарова растянутымъ. Онъ, если хотите, дѣйствительно растянутъ. Въ первой части Обломовъ лежитъ на диванѣ: во второй ѣздитъ къ Ильинскимъ и влюбляется въ Ольгу, а она въ него; въ третьей она видитъ, что ошиблась въ Обломовѣ, и они расходятся; въ четвертой она выходитъ замужъ за друга его Штольца, а онъ женится на хозяйкѣ того дома, гдѣ нанимаетъ квартиру. Вотъ и все. Никакихъ внѣшнихъ событій, никакихъ препятствій (кромѣ развѣ разведенія моста чрезъ Неву, прекратившаго свиданія Ольги съ Обломовымъ), никакихъ посторонніхъ обстоятельствъ не вмѣшивается въ романъ. Лѣнь и апатія Обломова—единственная пружина дѣйствій во всей

его исторіи. Какъ же это можно было растянуть на четыре части! Попадись эта тема другому автору, тотъ бы ее обдѣлалъ иначе: написалъ бы страничекъ пятьдесятъ, легкихъ, забавныхъ, сочинилъ бы милый фарсъ, осмѣялъ бы своего лѣнивца, восхитился бы Ольгой и Штольцемъ, да на томъ бы и покончилъ. Разсказъ никакъ бы не былъ скученъ, хотя и не имѣлъ бы особенно художественнаго значенія. Гончаровъ принялся за дѣло иначе. Онъ не хотѣлъ отстать отъ явленія, на которое однажды бросилъ свой взглядъ, не прослѣдивши его до конца, не отыскавши его причины, не понявши связи его со всѣми окружающими явленіями. Онъ хотѣлъ добиться того, чтобы случайный образъ, мелькнувшій передъ нимъ, возвести въ типъ, придать ему родовое и постоянное значеніе. Поэтому во всемъ, что касалось Обломова, не было для него вещей пустыхъ и ничтожныхъ. Всѣмъ занялся онъ съ любовью, все очертилъ подробно и отчетливо. Не только тѣ комнаты, въ которыхъ жилъ Обломовъ, но и тотъ домъ, въ какомъ онъ только мечталъ жить; не только халатъ его, но сѣрый сюртукъ и щетинистыя бакенбарды слуги его Захара; не только писаніе письма Обломовымъ, но и качество бумаги и чернилъ въ письмѣ старосты къ нему — все приведено и изображено съ полною отчетливостью и рельефностью. Авторъ не можетъ пройти мимоходомъ даже какого-нибудь барона фонъ-Лангвагена, не играющаго никакой роли въ романѣ; и о баронѣ напишетъ онъ цѣлую прекрасную страницу, и написалъ бы двѣ и четыре, если бы не успѣлъ исчерпать его на одной. Это, если хотите, вредитъ быстротѣ дѣйствія, утомляетъ безучастнаго читателя, требующаго, чтобъ его неудержимо завлекали сильными ощущеніями. Но тѣмъ не менѣе въ талантѣ Гончарова это—драгоцѣнное свойство, чрезвычайно много помогающее художественности его изображеній. Начиная читать его, находишь, что многія вещи какъ будто не оправдываются строгой необходимостью, какъ будто не соображены съ вѣчными требованіями искусства. Но вскорѣ начинаешь сживаться съ тѣмъ міромъ, который онъ изображаетъ, невольно признаешь законность и естественность всѣхъ выводимыхъ имъ явленій, самъ становишься въ положеніе дѣйствующихъ лицъ и какъ-то чувствуешь, что на ихъ мѣстѣ и въ ихъ положеніи иначе и нельзя, да какъ будто и не должно дѣйствовать. Мелкія подробности, безпрерывно вносимыя авторомъ и рисуемыя имъ съ любовью и съ необыкновеннымъ мастерствомъ, производятъ наконецъ какое-то обаяніе. Вы совершенно переноситесь въ тотъ міръ, въ который ведетъ васъ авторъ; вы находите въ немъ что-то родное, передъ вами открывается не только внѣшняя форма, но и самая внутренность, душа каждаго лица, каждаго предмета. И послѣ прочтенія всего романа вы чувствуете, что въ сферѣ вашей мысли прибавилось что-то новое, что къ вамъ въ душу глубоко запали новые образы, новые типы. Они васъ долго преслѣдуютъ, вамъ хочется думать надъ ними, хочется выяснить ихъ значеніе и отношеніе къ вашей собственной жизни, характеру, наклонно-

стямъ. Куда дѣнется ваша вялость и утомленіе; бодрость мысли и свѣжесть чувства пробуждаются въ васъ. Вы готовы снова перечитать многія страницы, думать надъ ними, спорить о нихъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, на насъ дѣйствовалъ Обломовъ: «Сонъ Обломова» и нѣкоторыя отдѣльныя сцены мы прочли по нѣскольку разъ; весь романъ почти сплошь прочитали мы два раза, и во второй разъ онъ намъ понравился едва ли не болѣе, чѣмъ въ первый. Такое обаятельное значеніе имѣютъ эти подробности, которыми авторъ обставляетъ ходъ дѣйствія и которыя, по мнѣнію нѣкоторыхъ, *растягиваютъ* романъ!

Такимъ образомъ Гончаровъ является передъ нами прежде всего художникомъ, умѣющимъ выразить полноту явленій жизни. Изображеніе ихъ составляетъ его призваніе, его наслажденіе; объективное творчество его не смущается никакими теоретическими предубѣжденіями и заданными идеями, не поддается никакимъ исключительнымъ симпатіямъ. Оно спокойно, трезво, безстрастно. Составляетъ ли это высшій идеалъ художнической дѣятельности или, можетъ быть, это даже недостатокъ, обнаруживающій въ художникѣ слабость воспріимчивости? Категорическій отвѣтъ затруднителенъ и во всякомъ случаѣ былъ бы несправедливъ, безъ ограниченій и поясненій. Многимъ не нравится спокойное отношеніе поэта къ дѣйствительности, и они готовы тотчасъ же произнести рѣзкій приговоръ о несимпатичности такого таланта. Мы понимаемъ естественность подобнаго приговора и, можетъ быть, сами не чужды желанія, чтобы авторъ побольше раздражалъ наши чувства, посильнѣе увлекалъ насъ. Но мы сознаемъ, что желаніе это— нѣсколько обломовское, происходящее отъ наклонности имѣть постоянно руководителей, — даже въ чувствахъ. Приписывать автору слабую степень воспріимчивости потому только, что впечатлѣнія не вызываютъ у него лирическихъ восторговъ, а молчаливо кроются въ его душевной глубинѣ—несправедливо. Напротивъ, чѣмъ скорѣе и стремительнѣе высказывается впечатлѣніе, тѣмъ чаще оно оказывается поверхностнымъ и мимолетнымъ. Примѣровъ мы видимъ множество на каждомъ шагу въ людяхъ, одаренныхъ неистощимымъ запасомъ словеснаго и мимическаго паѳоса. Если человѣкъ умѣетъ выдержать, взлелѣять въ душѣ своей образъ предмета и потомъ ярко и полно представить его, — это значитъ, что у него чуткая воспріимчивость соединяется съ глубиною чувства. Онъ до времени не высказывается, но для него ничто не пропадаетъ въ мірѣ. Все, что живетъ и движется вокругъ него, все, чѣмъ богата природа и людское общество, у него все это—

«Какъ то чудно
Живетъ въ душевной глубинѣ».

Въ немъ, какъ въ магическомъ зеркалѣ, отражается и по волѣ его останавливаются, застываютъ, отливаются въ твердыя недвижныя формы всѣ явленія жизни, во всякую данную минуту. Онъ мо-

жетъ, кажется, остановить саму жизнь, навсегда укрѣпить и поставить передъ нами самый неуловимый мигъ ея, чтобы мы вѣчно на него смотрѣли, поучаясь или наслаждаясь.

Такое могущество, въ высшемъ своемъ развитіи стóитъ, разумѣется, всего, что мы называемъ симпатичностью, прелестью, свѣжестью или энергіей таланта. Но и это могущество имѣетъ свои степени, и кромѣ того—оно можетъ быть обращено на предметы различнаго рода, что тоже очень важно. Здѣсь мы расходимся съ приверженцами такъ-называемаго *искусства для искусства*, которые полагаютъ, что превосходное изображеніе древеснаго листочка столь же важно, какъ, напримѣръ, превосходное изображеніе характера человѣка. Можетъ быть, субъективно это будетъ и справедливо: собственно сила таланта можетъ быть одинакова у двухъ художниковъ, и только сфера ихъ дѣятельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэтъ, тратящій свой талантъ на образцовыя описанія листочковъ и ручейковъ, могъ имѣть одинаковое значеніе съ тѣмъ, кто съ равною силою таланта умѣетъ воспроизводить, напримѣръ, явленія общественной жизни. Намъ кажется, что для критики, для литературы, для самого общества гораздо важнѣе вопросъ о томъ, на что употребляется, въ чемъ выражается талантъ художника, нежели то, какіе размѣры и свойства имѣетъ онъ въ самомъ себѣ, въ отвлеченіи, въ возможности.

Какъ же выразился, на что потратился талантъ Гончарова? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ долженъ служитъ разборъ содержанія романа.

Повидимому, не обширную сферу избралъ Гончаровъ для своихъ изображеній. Исторія о томъ, какъ лежитъ и спитъ добрякъ-лѣнивецъ Обломовъ, и какъ ни дружба, ни любовь не могутъ пробудить и поднять его,—не Богъ вѣсть какая важная исторія. Но въ ней отразилась русская жизнь, въ ней предстаетъ передъ нами живой, современный русскій типъ, отчеканенный съ безпощадною строгостью и правильностью; въ ней сказалось новое слово нашего общественнаго развитія, произнесенное ясно и твердо, безъ отчаянія и безъ ребяческихъ надеждъ, но съ полнымъ сознаніемъ истины. Слово это—*обломовщина*; оно служитъ ключемъ въ разгадкѣ многихъ явленій русской жизни, и оно придаетъ роману Гончарова гораздо болѣе общественнаго значенія, нежели сколько имѣютъ его всѣ наши обличительныя повѣсти. Въ типѣ Обломова и во всей этой обломовщинѣ мы видимъ нѣчто болѣе, нежели просто удачное созданіе сильнаго таланта; мы находимъ въ немъ произведеніе русской жизни, знаменіе времени.

Обломовъ есть лицо не совсѣмъ новое въ нашей литературѣ; но прежде оно не выставлялось предъ нами такъ просто и естественно, какъ въ романѣ Гончарова. Чтобы не заходить слишкомъ далеко въ старину, скажемъ, что родовыя черты обломовскаго типа мы находимъ еще въ Онѣгинѣ, и затѣмъ нѣсколько разъ встрѣчаемъ ихъ повтореніе въ лучшихъ нашихъ литературныхъ произ-

веденіяхъ. Дѣло въ томъ, что это коренной, народный нашъ типъ, отъ котораго не могъ отдѣлаться ни одинъ изъ нашихъ серьезныхъ художниковъ. Но съ теченіемъ времени, по мѣрѣ сознательнаго развитія общества, типъ этотъ измѣнялъ свои формы, становился въ другія отношенія къ жизни, получалъ новое значеніе. Подмѣтить эти новыя фазы его существованія, опредѣлить сущность его новаго смысла—это всегда составляло громадную задачу, и талантъ, умѣвшій сдѣлать это, всегда дѣлалъ существенный шагъ впередъ въ исторіи нашей литературы. Такой шагъ сдѣлалъ и Гончаровъ своимъ «Обломовымъ». Посмотримъ на главныя черты обломовского типа и потомъ попробуемъ провести маленькую параллель между нимъ и нѣкоторыми типами того же рода, въ разное время проявлявшимися въ нашей литературѣ.

Въ чемъ заключаются главныя черты обломовскаго характера? Въ совершенной инертности, происходящей отъ его апатіи ко всему, что дѣлается на свѣтѣ. Причина же апатіи заключается отчасти въ его внѣшнемъ положеніи, отчасти же въ образѣ его умственнаго и нравственнаго развитія. По внѣшнему своему положенію—онъ баринъ; «у него есть Захаръ и еще триста Захаровъ», по выраженію автора. Преимущество своего положенія Илья Ильичъ объясняетъ Захару такимъ образомъ.

«Развѣ я мечусь, развѣ работаю? мало ѣмъ, что ли? худощавъ или жалокъ на видъ? Развѣ недостаетъ мнѣ чего-нибудь? Кажется, подать, сдѣлать есть кому! Я ни разу не натянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу! Стану ли я безпокоиться? изъ чего мнѣ?.. И кому я это говорю? Не ты ли съ дѣтства ходилъ за мной? Ты все это знаешь, видѣлъ, что я воспитанъ нѣжно, что я ни холода, ни голода никогда не терпѣлъ, нужды не зналъ, хлѣба себѣ не заработовалъ и вообще чернымъ дѣломъ не занимался».

И Обломовъ говоритъ совершенную правду. Исторія его воспитанія вся служитъ подтвержденіемъ его словъ. Съ малыхъ лѣтъ онъ привыкаетъ быть байбакомъ, благодаря тому, что у него и подать и сдѣлать—есть кому; тутъ ужъ даже и противъ воли нерѣдко онъ бездѣльничаетъ и сибаритствуетъ. Ну, скажите, пожалуйста, чего же бы вы хотѣли отъ человѣка, выросшаго вотъ въ какихъ условіяхъ:

«Захаръ.—какъ, бывало, нянька,—натягиваетъ ему чулки, надѣваетъ башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилѣтній мальчикъ, только и знаетъ, что подставляетъ ему, лежа, то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не такъ, то онъ поддастъ Захаркѣ ногой въ носъ. Если недовольный Захарка вздумаетъ пожаловаться, то получитъ еще отъ старшихъ колотушку. Потомъ Захарка чешетъ ему голову, натягиваетъ куртку, осторожно продѣвая руки Ильи Ильича въ рукава, чтобъ не слишкомъ безпокоить его, и напоминаетъ Ильѣ Ильичу, что надо сдѣлать то, другое: вставши поутру—умыться, и т. п.

«Захочетъ ли чего нибудь Илья Ильичъ, ему стоитъ только мигнуть—ужъ трое-четверо слугъ кидаются исполнить его желаніе; уронитъ ли онъ что-нибудь, достать ли ему нужно вещь да не достанетъ, принести ли что, сбѣгать ли за чѣмъ,—ему иногда, какъ рѣзвому мальчику, такъ и хочется броситься и передѣлать все самому, а тутъ вдругъ отецъ и мать, да три тетки, въ пять голосовъ и закричатъ:

«— Зачѣмъ? куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька, Ванька, Захарка! Что вы смотрите, разини? Вотъ я васъ!...

«И не удается никакъ Ильѣ Ильичу сдѣлать что-нибудь самому для себя. Послѣ онъ нашелъ, что оно и покойнѣе гораздо, и выучился самъ покрикивать: Эй, Васька, Ванька! подай то, дай другое. Не хочу того, хочу этого! Сбѣгай, принеси!

«Подчасъ нѣжная заботливость родителей и надоѣдала ему. Побѣжитъ ли онъ съ лѣстницы или по двору, вдругъ вслѣдъ ему раздается десять отчаянныхъ голосовъ: «ахъ, ахъ! подержите, остановите! упадетъ, расшибется! Стой, стой»!... Задумаетъ ли онъ выскочить зимой въ сѣни или отворить форточку; — опять крики: «ай, куда? какъ можно? Не бѣгай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься»... И Ильюша съ печалью оставался дома, лелѣемый, какъ экзотическій цвѣтокъ въ теплицѣ, и такъ же, какъ послѣдній подъ стекломъ, онъ росъ медленно и вяло. Ищущія проявленія силы обращались внутрь и никли, увядая».

Такое воспитаніе вовсе не составляетъ чего-нибудь исключительнаго, страннаго въ нашемъ образованномъ обществѣ. Не вездѣ, конечно, Захарка натягиваетъ чулки барченку, и т. п. Но не нужно забывать, что подобная льгота дается Захаркѣ по особому снисхожденію или вслѣдствіе высшихъ педагогическихъ соображеній, и вовсе не находится въ гармоніи съ общимъ ходомъ домашнихъ дѣлъ. Барченокъ, пожалуй, и самъ одѣнется; но онъ знаетъ, что это для него въ родѣ милаго развлеченія, прихоти, а въ сущности онъ вовсе не обязанъ этого дѣлать самъ. Да и вообще, ему самому нѣтъ надобности что-нибудь дѣлать. Изъ чего ему биться? Некому, что ли, подать и сдѣлать для него все, что̀ ему нужно?... Поэтому онъ себя надъ работой убивать не станетъ, что бы ему ни толковали о необходимости и святости труда: онъ съ малыхъ лѣтъ видитъ въ своемъ домѣ, что всѣ домашнія работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся за дурное исполненіе. И вотъ у него уже готово первое понятіе,—что сидѣть сложа руки почетнѣе, нежели суетиться съ работою... Въ этомъ направленіи идетъ и все дальнѣйшее развитіе.

Понятно, какое дѣйствіе производится такимъ положеніемъ ребенка на все его нравственное и умственное образованіе. Внутреннія силы «никнутъ и увядаютъ» по необходимости. Если мальчикъ и пытаетъ ихъ иногда, то развѣ въ капризахъ и въ заносчивыхъ требованіяхъ исполненія другими его приказаній. А извѣстно, какъ удовлетворенные капризы развиваютъ безхарактерность и какъ заносчивость несовмѣстна съ умѣньемъ серьезно поддерживать свое достоинство. Привыкая предъявлять безтолковыя требованія, мальчикъ скоро теряетъ мѣру возможности и удобоисполнимости своихъ желаній, лишается всякаго умѣнья соображать средства съ цѣлями, и потому становится втупикъ при первомъ препятствіи, для отстраненія котораго нужно употребить собственное усиліе. Когда онъ выростаетъ, онъ дѣлается Обломовымъ, съ большей или меньшей долей его апатичности и безхарактерности, подъ болѣе или менѣе искусной маской, но всегда съ однимъ неизмѣннымъ

качествомъ—отвращеніемъ отъ серьезной и самобытной дѣятельности.

Много помогаетъ тутъ и умственное развитіе Обломовыхъ, тоже, разумѣется, направляемое ихъ внѣшнимъ положеніемъ. Какъ въ первый разъ они взглянутъ на жизнь навыворотъ, — такъ ужъ потомъ до конца дней своихъ и не могутъ достигнуть разумнаго пониманія своихъ отношеній къ міру и къ людямъ. Имъ потомъ и растолкуютъ многое, они и поймутъ кое-что; но съ дѣтства укоренившееся воззрѣніе все-таки удержится гдѣ нибудь въ уголку и безпрестанно выглядываетъ оттуда, мѣшая всѣмъ новымъ понятіямъ и не допуская ихъ уложиться на дно души... И дѣлается въ головѣ какой-то хаосъ: иной разъ человѣку и рѣшимость придетъ сдѣлать что-нибудь, да не знаетъ онъ, что ему начать, куда обратиться... И немудрено: нормальный человѣкъ всегда хочетъ только того, что можетъ сдѣлать; за то онъ немедленно и дѣлаетъ все, что захочетъ... А Обломовъ... онъ не привыкъ дѣлать что-нибудь, слѣдовательно, не можетъ хорошенько опредѣлить, что онъ можетъ сдѣлать и чего нѣтъ,—слѣдовательно не можетъ и серьозно, *дѣятельно* захотѣть чего-нибудь... Его желанія являются только въ формѣ: «а хорошо бы, если бы вотъ это сдѣлалось»; но какъ это можетъ сдѣлаться, онъ не знаетъ. Оттого онъ любитъ помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтанія придутъ въ соприкосновеніе съ дѣйствительностью. Тутъ онъ старается взвалить дѣло на кого-нибудь другого, а если нѣтъ никого, то на *авось*...

Всѣ эти черты превосходно подмѣчены и съ необыкновенной силой и истиной сосредоточены въ лицѣ Ильи Ильича Обломова. Не нужно представлять себѣ, чтобы Илья Ильичъ принадлежалъ къ какой-нибудь особенной породѣ, въ которой бы неподвижность составляла существенную, коренную черту. Несправедливо было бы думать, что онъ отъ природы лишенъ способности произвольнаго движенія. Вовсе нѣтъ: отъ природы онъ — человѣкъ, какъ и всѣ. Въ ребячествѣ ему хотѣлось побѣгать и поиграть въ снѣжки съ ребятишками, достать самому то или другое, и въ оврагъ сбѣгать, и въ ближайшій березнякъ пробраться черезъ каналъ, плетни и ямы. Пользуясь часомъ общаго въ Обломовкѣ послѣобѣденнаго сна, онъ разминался, бывало: «взбѣгалъ на галлерею (куда не позволялось ходить, потому что она каждую минуту готова была развалиться), обѣгалъ по скрипучимъ доскамъ кругомъ, лазилъ на голубятню, забирался въ глушь сада, слушалъ, какъ жужжитъ жукъ и далеко слѣдилъ глазами его полетъ въ воздухѣ». А то—«забирался въ каналъ, рылся, отыскивалъ какіе-то корешки, очищалъ отъ коры и ѣлъ всласть, предпочитая яблокамъ и варенью, которыя даетъ маменька». Все это могло служить задаткомъ характера кроткаго, спокойнаго, но не безсмысленно-лѣниваго. Притомъ и кротость, переходящая въ робость и подставленіе спины другимъ есть въ человѣкѣ явленіе вовсе не природное, а чисто благопріобрѣтенное, точно такъ же, какъ и нахальство и заносчивость

И между обоими этими качествами разстояніе вовсе не такъ велико, какъ обыкновенно думаютъ. Никто не умѣетъ такъ отлично вздергивать носа, какъ лакеи; никто такъ грубо не ведетъ себя съ подчиненными, какъ тѣ, которые подличаютъ передъ начальниками. Илья Ильичъ, при всей своей кротости, не боится поддать ногой въ рожу обувающему его Захару, и если онъ въ своей жизни не дѣлаетъ этого съ другими, такъ единственно потому, что надѣется встрѣтить противодѣйствіе, которое нужно будетъ преодолѣть. Поневолѣ онъ ограничиваетъ кругъ своей дѣятельности тремя-стами своихъ Захаровъ. А будь у него этихъ Захаровъ во сто, въ тысячу разъ больше—онъ бы не встрѣчалъ себѣ противодѣйствій и пріучился бы довольно смѣло поддавать въ зубы каждому, съ кѣмъ случится имѣть дѣло. И такое поведеніе вовсе не было бы у него признакомъ какого-нибудь звѣрства натуры; и ему самому, и всѣмъ окружающимъ оно казалось бы очень естественнымъ, необходимымъ... никому бы и въ голову не пришло, что можно и должно вести себя какъ-нибудь иначе. Но — къ несчастью иль къ счастью — Илья Ильичъ родился помѣщикомъ средней руки, получалъ дохода не болѣе десяти тысячъ рублей на ассигнаціи и вслѣдствіе того могъ распоряжаться судьбами міра только въ своихъ мечтаніяхъ. За то въ мечтахъ своихъ онъ и любилъ предаваться воинственнымъ и героическимъ стремленіямъ. «Онъ любилъ иногда вообразить себя какимъ нибудь непобѣдимымъ полководцемъ, предъ которымъ не только Наполеонъ, но и Еруслань Лазаревичъ ничего не значитъ; выдумаетъ войну и причину ея: у него хлынутъ, напр., народы изъ Африки въ Европу, или устроитъ онъ новые крестовые походы и воюетъ, рѣшаетъ участь народовъ, разоряетъ города, щадитъ, казнитъ, оказываетъ подвиги добра и великодушія». А то онъ вообразитъ, что онъ великій мыслитель или художникъ, что за нимъ гоняется толпа и всѣ поклоняются ему... Ясно, что Обломовъ не тупая апатическая натура, безъ стремленій и чувствъ, а человѣкъ, тоже чего-то ищущій въ своей жизни, о чемъ-то думающій. Но гнусная привычка получать удовлетвореніе своихъ желаній не отъ собственныхъ усилій, а отъ другихъ, развила въ немъ апатическую неподвижность и повергла его въ жалкое состояніе нравственнаго рабства. Рабство это такъ переплетается съ барствомъ Обломова, такъ они взаимно проникаютъ другъ друга и одно другимъ обусловливаются, что, кажется, нѣтъ ни малѣйшей возможности провести между ними какую-нибудь границу. Это нравственное рабство Обломова составляетъ едва ли не самую любопытную сторону его личности и всей его исторіи... Но какъ могъ дойти до рабства человѣкъ съ такимъ независимымъ положеніемъ, какъ Илья Ильичъ? Кажется, кому бы и наслаждаться свободой, какъ не ему? Не служитъ, не связанъ съ обществомъ, имѣетъ обезпеченное состояніе... Онъ самъ хвалится тѣмъ, что не чувствуетъ надобности кланяться, просить, унижаться, что онъ не подобенъ «другимъ», которые работаютъ

безъ устали, бѣгаютъ, суетятся, — а не поработаютъ, такъ и не поѣдятъ... Онъ внушаетъ къ себѣ благоговѣйную любовь доброй вдовѣ Пшеницыной именно тѣмъ, что онъ *баринъ*, что онъ сіяетъ и блещетъ, что онъ и ходитъ и говоритъ такъ вольно и независимо, что онъ «не пишетъ безпрестанно бумагъ, не трясется отъ страха, что опоздаетъ въ должность, не глядитъ на всякаго такъ, какъ будто проситъ осѣдлать его и поѣхать, а глядитъ на всѣхъ и на все такъ смѣло и свободно, какъ будто требуетъ покорности себѣ». И однако же вся жизнь этого барина убита тѣмъ, что онъ постоянно остается рабомъ чужой воли и никогда не возвышается до того, чтобы проявить какую-нибудь самобытность. Онъ рабъ каждой женщины, каждаго встрѣчнаго, рабъ каждаго мошенника, который захочетъ взять надъ нимъ волю. Онъ рабъ своего крѣпостного Захара, и трудно рѣшить, который изъ нихъ болѣе подчиняется власти другого. По крайней мѣрѣ — чего Захаръ не захочетъ, того Илья Ильичъ не можетъ заставить его сдѣлать; а чего захочетъ Захаръ, то сдѣлаетъ и противъ воли барина, и баринъ покорится... Оно такъ и слѣдуетъ: Захаръ все-таки умѣетъ сдѣлать хоть что-нибудь, а Обломовъ ровно ничего не можетъ и не умѣетъ. Нечего уже и говорить о Тарантьевѣ и Иванѣ Матвѣичѣ, которые дѣлаютъ съ Обломовымъ что хотятъ, несмотря на то, что сами и по умственному развитію, и по нравственнымъ качествамъ гораздо ниже его... Отчего же это? Да все оттого, что Обломовъ, какъ баринъ, не хочетъ и не умѣетъ работать и не понимаетъ настоящихъ отношеній своихъ ко всему окружающему. Онъ не прочь отъ дѣятельности—до тѣхъ поръ, пока она имѣетъ видъ призрака и далека отъ реальнаго осуществленія: такъ, онъ создаетъ планъ устройства имѣнія и очень усердно занимается имъ, — только «подробности, смѣты и цыфры» пугаютъ его и постоянно отбрасываются имъ въ сторону, потому что гдѣ же ему съ ними возиться!.. Онъ — баринъ, какъ объясняетъ самъ Ивану Матвѣичу: «кто я, что такое? спросите вы... Подите, спросите у Захара, и онъ скажетъ вамъ: «баринъ!» Да, я баринъ и дѣлать ничего не умѣю! Дѣлайте вы, если знаете, и помогите, если можете, а за трудъ возьмите себѣ, что хотите: — на то наука»! И вы думаете, что онъ этимъ хочетъ только отдѣлаться отъ работы, старается прикрыть незнаніемъ свою лѣнь? Нѣтъ, онъ дѣйствительно не знаетъ и не умѣетъ ничего, дѣйствительно не въ состояніи приняться ни за какое путное дѣло. Относительно своего имѣнія (для преобразованія котораго сочинилъ уже планъ) онъ такимъ образомъ признается въ своемъ невѣдѣніи Ивану Матвѣичу: «я не знаю, что такое барщина, что такое сельскій трудъ, что значитъ бѣдный мужикъ, что богатый; не знаю, что значитъ четверть ржи или овса, что она стоитъ, въ какомъ мѣсяцѣ и что сѣютъ и жнутъ, какъ и когда продаютъ; не знаю, богатъ ли я или бѣденъ, буду ли я черезъ годъ сытъ или буду нищій—я ничего не знаю!.. Слѣдовательно, говорите и совѣтуйте мнѣ, какъ

ребенку»... Иначе сказать: будьте надо мною господиномъ, распоряжайтесь моимъ добромъ, какъ вздумаете, удѣлите мнѣ изъ него, сколько найдете для себя удобнымъ... Такъ на дѣлѣ-то и вышло: Иванъ Матвѣичъ совсѣмъ-было прибралъ къ рукамъ имѣніе Обломова, да Штольцъ помѣшалъ, къ несчастью.

И вѣдь Обломовъ не только своихъ сельскихъ порядковъ не знаетъ, не только положенія своихъ дѣлъ не понимаетъ: это бы еще куда ни шло!.. Но вотъ въ чемъ главная бѣда: онъ и вообще жизни не умѣлъ осмыслить для себя. Въ Обломовкѣ никто не задавалъ себѣ вопроса: зачѣмъ жизнь, что она такое, какой ея смыслъ и назначеніе? Обломовцы очень просто понимали ее, «какъ идеалъ покоя и бездѣйствія, нарушаемаго по временамъ разными непріятными случайностями, какъ-то: болѣзнями, убытками, ссорами и, между прочимъ, трудомъ. Они сносили трудъ, какъ наказаніе, наложенное еще на праотцевъ нашихъ, но любить не могли, и гдѣ былъ случай, всегда отъ него избавлялись, находя это возможнымъ и должнымъ». Точно такъ относился къ жизни и Илья Ильичъ. Идеалъ счастья, нарисованный имъ Штольцу, заключался не въ чемъ другомъ, какъ въ сытной жизни, — съ оранжереями, парниками, поѣздками съ самоваромъ въ рощу, и т. п., — въ халатѣ, въ крѣпкомъ снѣ, да для промежуточнаго отдыха—въ идиллическихъ прогулкахъ съ кроткою, но дебелою женою, и въ созерцаніи того, какъ крестьяне работаютъ. Разсудокъ Обломова такъ успѣлъ съ дѣтства сложиться, что даже въ самомъ отвлеченномъ разсужденіи, въ самой утопической теоріи имѣлъ способность останавливаться на данномъ моментѣ и затѣмъ не выходить изъ этого statu quo, несмотря ни на какія убѣжденія. Рисуя идеалъ своего блаженства, Илья Ильичъ не думалъ спросить себя о внутреннемъ смыслѣ его, не думалъ утвердить его законность и правду, не задалъ себѣ вопроса: откуда будутъ браться эти оранжереи и парники, кто ихъ станетъ поддерживать и съ какой стати будетъ онъ ими пользоваться?.. Не задавая себѣ подобныхъ вопросовъ, не разъясняя своихъ отношеній къ міру и къ обществу, Обломовъ, разумѣется, не могъ осмыслить своей жизни и потому тяготился и скучалъ отъ всего, что ему приходилось дѣлать. Служилъ онъ— и не могъ понять, зачѣмъ эти бумаги пишутся; не понявши же, ничего лучше не нашелъ, какъ выйти въ отставку и ничего не писать. Учился онъ—и не зналъ, къ чему можетъ послужить ему наука; не узнавши этого, онъ рѣшился сложить книги въ уголъ и равнодушно смотрѣть, какъ ихъ покрываетъ пыль. Выѣзжалъ онъ въ общество—и не умѣлъ себѣ объяснить, зачѣмъ люди въ гости ходятъ; не объяснивши, онъ бросилъ всѣ свои знакомства и сталъ по цѣлымъ днямъ лежать у себя на диванѣ. Сходился онъ съ женщинами, но подумалъ: однако, чего же отъ нихъ ожидать и добиваться? подумавши же, не рѣшилъ вопроса и сталъ избѣгать женщинъ... Все ему наскучило и опостылѣло, и онъ лежалъ на

боку, съ полнымъ, сознательнымъ презрѣніемъ къ «муравьиной работѣ людей», убивающихся и суетящихся Богъ вѣсть изъ-за чего...

Дойдя до этой точки въ объясненіи характера Обломова, мы находимъ умѣстнымъ обратиться къ литературной параллели, о которой упомянули выше. Предыдущія соображенія привели насъ къ тому заключенію, что Обломовъ не есть существо, отъ природы совершенно лишенное способности произвольнаго движенія. Его лѣнь и апатія есть созданіе воспитанія и окружающихъ обстоятельствъ. Главное здѣсь не Обломовъ, а обломовщина. Онъ бы, можетъ быть, сталъ даже и работать, если бы нашелъ дѣло по себѣ; но для этого, конечно, ему надо было развиться нѣсколько подъ другими условіями, нежели подъ какими онъ развился. Въ настоящемъ же своемъ положеніи онъ не могъ нигдѣ найти себѣ дѣла по душѣ, потому что вообще не понималъ смысла жизни и не могъ дойти до разумнаго воззрѣнія на свои отношенія къ другимъ. Здѣсь-то онъ и подаетъ намъ поводъ къ сравненію съ прежними типами лучшихъ нашихъ писателей. Давно уже замѣчено, что всѣ герои замѣчательнѣйшихъ русскихъ повѣстей и романовъ страдаютъ оттого, что не видятъ цѣли въ жизни и не находятъ себѣ приличной дѣятельности. Вслѣдствіе того они чувствуютъ скуку и отвращеніе отъ всякаго дѣла, въ чемъ представляютъ разительное сходство съ Обломовымъ. Въ самомъ дѣлѣ,— раскройте, напр., «Онѣгина», «Героя нашего времени», «Кто виноватъ», «Рудина», или «Лишняго человѣка», или «Гамлета щигровскаго уѣзда»,—въ каждомъ изъ нихъ вы найдете черты, почти буквально сходныя съ чертами Обломова.

Онѣгинъ, какъ Обломовъ, оставляетъ общество, за тѣмъ, что его

«Измѣны утомить успѣли,
Друзья и дружба одолѣли».

И вотъ онъ занялся писаньемъ:

«Отступникъ бурныхъ наслажденій,
Онѣгинъ дома запершся,
Зѣвая за перо взялся,
Хотѣлъ писать; но трудъ упорный
Ему былъ тошенъ; ничего
Не вышло изъ пера его»...

На этомъ же поприщѣ подвизался и Рудинъ, который любилъ читать избраннымъ «первыя страницы предполагаемыхъ статей и сочиненій своихъ». Тентетниковъ тоже много лѣтъ занимался «колоссальнымъ сочиненіемъ, долженствовавшимъ обнять всю Россію со всѣхъ точекъ зрѣнія»; но и у него «предпріятіе больше ограничивалось однимъ обдумываньемъ: изгрызалось перо, являлись на бумагѣ рисунки, и потомъ все это отодвигалось въ сторону». Илья Ильичъ не отсталъ въ этомъ отъ своихъ собратій: онъ тоже писалъ и переводилъ,—Сэя даже переводилъ. «Гдѣ же твои работы,

твои переводы?» спрашиваетъ его потомъ Штольцъ. — «Не знаю, Захаръ куда-то дѣлъ; въ углу, должно быть, лежатъ», отвѣчаетъ Обломовъ. Выходитъ, что Илья Ильичъ даже больше, можетъ быть, сдѣлалъ, чѣмъ другіе, принимавшіеся за дѣло съ такой же твердой рѣшимостью, какъ и онъ... А принимались за это дѣло почти всѣ братцы обломовской семьи, несмотря на разницу своихъ положеній и умственнаго развитія. Печоринъ только свысока смотрѣлъ на «поставщиковъ повѣстей» и сочинителей мѣщанскихъ драмъ; впрочемъ и онъ писалъ свои записки. Что касается Бельтова, то онъ навѣрное сочинялъ что-нибудь, да еще кромѣ того артистомъ былъ, ходилъ въ Эрмитажъ и сидѣлъ за мольбертомъ, обдумывалъ большую картину встрѣчи Бирона, ѣдущаго изъ Сибири, съ Минихомъ, ѣдущимъ въ Сибирь... Что изъ всего этого вышло, извѣстно читателямъ... Во всей семьѣ та же обломовщина...

Относительно «присвоенія себѣ чужого ума», т. е. чтенія, Обломовъ тоже не много расходится съ своими братьями. Илья Ильичъ читалъ тоже кое-что, и читалъ не такъ, какъ покойный батюшка его: «давно,—говоритъ,—не читалъ книги»: «дай-ка почитаю книгу»,— да и возьметъ, какая подъ руку попадется... Нѣтъ, вѣяніе современнаго образованія коснулось и Обломова: онъ уже читалъ по выбору, сознательно: «услышитъ о какомъ нибудь замѣчательномъ произведеніи,—у него явится позывъ познакомиться съ нимъ; онъ ищетъ, проситъ книги, и если принесутъ скоро, онъ примется за нее, у него начнетъ формироваться идея о предметѣ; еще шагъ, и онъ овладѣлъ бы имъ, а посмотришь, онъ уже лежитъ, глядя апатически въ потолокъ, и книга лежитъ подлѣ него недочитанная, непонятая... Охлажденіе одолѣвало имъ еще быстрѣе, нежели увлеченіе: онъ уже никогда не возвращался къ покинутой книгѣ». Не то ли же самое было и съ другими? Онѣгинъ, думая себѣ присвоить умъ чужой, началъ съ того, что

«Отрядомъ книгъ уставилъ полку»,

и принялся читать. Но толку не вышло никакого: чтеніе скоро ему надоѣло, и —

«Какъ женщинъ, онъ оставилъ книги,
И полку, съ пыльной ихъ семьей,
Задернулъ траурной тафтой».

Тентетниковъ тоже такъ читалъ книги (благо, онъ привыкъ ихъ всегда имѣть подъ рукой),—большею частью во время обѣда: «съ супомъ, съ соусомъ, съ жаркимъ, и даже съ пирожнымъ»... Рудинъ тоже признается Лежневу, что накупилъ онъ себѣ какихъ-то агрономическихъ книгъ, но ни одной до конца не прочелъ; сдѣлался учителемъ, да нашелъ, что фактовъ зналъ маловато, и даже на одномъ памятникѣ XVI столѣтія былъ сбитъ учителемъ математики. И у него, какъ у Обломова, принимались легко только

общія идеи, а «подробности, смѣты и цыфры» постоянно оставались въ сторонѣ.

«Но вѣдь это еще не жизнь, — это только приготовленіе къ жизни», — думалъ Андрей Ивановичъ Тентетниковъ, проходившій, вмѣстѣ съ Обломовымъ и всей этой компаніей, тьму ненужныхъ наукъ и не умѣвшій ни іоты изъ нихъ примѣнить къ жизни. «Настоящая жизнь—это служба». И всѣ наши герои, кромѣ Онѣгина и Печорина, служатъ, и для всѣхъ ихъ служба — ненужное и неимѣющее смысла бремя; и всѣ они оканчиваютъ благородной и ранней отставкой. Бельтовъ четырнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ не дослужилъ до пряжки, потому что, погорячившись сначала, вскорѣ охладѣлъ къ канцелярскимъ занятіямъ, сталъ раздражителенъ и небреженъ... Тентетниковъ поговорилъ крупно съ начальникомъ, да при томъ же хотѣлъ принести пользу государству, лично занявшись устройствомъ своего имѣнія. Рудинъ поссорился съ директоромъ гимназіи, гдѣ былъ учителемъ. Обломову не понравилось, что съ начальникомъ всѣ говорятъ «не своимъ голосомъ, а какимъ-то другимъ, тоненькимъ и гадкимъ»; онъ не хотѣлъ этимъ голосомъ объясняться съ начальникомъ по тому поводу, что «отправилъ нужную бумагу вмѣсто Астрахани въ Архангельскъ», и подалъ въ отставку... Вездѣ все одна и та же обломовщина...

Въ домашней жизни обломовцы тоже очень похожи другъ на друга:

«Прогулки, чтенье, сонъ глубокій,
Лѣсная тѣнь, журчанье струй,
Порой бѣлянки черноокой
Младой и свѣжій поцѣлуй,
Уздѣ послушный конь ретивый,
Обѣдъ довольно прихотливый,
Бутылка свѣтлаго вина,
Уединенье, тишина,—
Вотъ жизнь Онѣгина святая»...

То же самое, слово въ слово, за исключеніемъ коня, рисуется у Ильи Ильича въ идеалѣ домашней жизни. Даже поцѣлуй черноокой бѣлянки не забытъ у Обломова. «Одна изъ крестьянокъ,— мечтаетъ Илья Ильичъ, — съ загорѣлой шеей, съ открытыми локтями, съ робко-опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется отъ барской ласки, а сама счастлива... тс... жена чтобъ не увидала. Боже сохрани!» (Обломовъ воображаетъ себя уже женатымъ)... И если бъ Ильѣ Ильичу не лѣнь было уѣхать изъ Петербурга въ деревню, онъ непремѣнно привелъ бы въ исполненіе задушевную свою идиллію. Вообще обломовцы склонны къ идиллическому, бездѣйственному счастью, которое ничего отъ нихъ не требуетъ: «наслаждайся, молъ, мною, да и только»... Ужъ на что, кажется, Печоринъ, а и тотъ полагаетъ, что счастье-то, можетъ быть, заключается въ покоѣ и сладкомъ отдыхѣ. Онъ въ одномъ мѣстѣ своихъ записокъ сравниваетъ себя

съ человѣкомъ, томимымъ голодомъ, который «въ изнеможеніи засыпаетъ и видитъ предъ собою роскошныя кушанья и шипучія вина; онъ пожираетъ съ восторгомъ воздушные дары воображенія, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта исчезаетъ, остается удвоенный голодъ и отчаяніе»... Въ другомъ мѣстѣ Печоринъ себя спрашиваетъ: «отчего я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?» Онъ самъ полагаетъ,—оттого, что «душа его сжилась съ бурями и жаждетъ кипучей дѣятельности»... Но вѣдь онъ вѣчно недоволенъ своей борьбой и самъ же безпрестанно высказываетъ, что всѣ свои дрянныя дебоширства затѣваетъ потому только, что ничего лучшаго не находитъ дѣлать... А ужъ коли не находитъ дѣла и вслѣдствіе того ничего не дѣлаетъ и ничѣмъ не удовлетворяется, такъ это значитъ, что къ бездѣлью болѣе наклоненъ, чѣмъ къ дѣлу... Та же обломовщина...

Отношенія къ людямъ и въ особенности къ женщинамъ тоже имѣютъ у всѣхъ обломовцевъ нѣкоторыя общія черты. Людей они вообще презираютъ, съ ихъ мелкимъ трудомъ, съ ихъ узкими понятіями и близорукими стремленіями. «Это все чернорабочіе», небрежно отзывается даже Бельтовъ, гуманнѣйшій между ними. Рудинъ наивно воображаетъ себя геніемъ, котораго никто не въ состояніи понять. Печоринъ, ужъ разумѣется, топчетъ всѣхъ ногами. Даже Онѣгинъ имѣетъ за собою два стиха, гласящіе, что

«Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей».

Тентетниковъ даже,—ужъ на что смирный,—и тотъ, пришедши въ департаментъ, почувствовалъ, что «какъ будто его за проступокъ перевели изъ верхняго класса въ нижній»; а пріѣхавши въ деревню, скоро постарался, подобно Онѣгину и Обломову, раззнакомиться со всѣми сосѣдями, которые поспѣшили съ нимъ познакомиться. И нашъ Илья Ильичъ не уступитъ никому въ презрѣніи къ людямъ: оно вѣдь такъ легко, для него даже усилій никакихъ не нужно. Онъ самодовольно проводитъ передъ Захаромъ параллель между собой и «другими»; онъ въ разговорахъ съ пріятелями выражаетъ наивное удивленіе, изъ-за чего это люди бьются, заставляя себя ходить въ должность, писать, слѣдить за газетами, посѣщать общество, и пр. Онъ даже весьма категорически выражаетъ Штольцу сознаніе своего превосходства надъ всѣми людьми. «Жизнь,—говоритъ,—въ обществѣ? Хороша жизнь! Чего тамъ искать? Интересовъ ума, сердца? Ты посмотри, гдѣ центръ, около котораго вращается все это; нѣтъ его, нѣтъ ничего глубокаго, задѣвающаго за живое. Все это мертвецы, спящіе люди, хуже меня, эти члены свѣта и общества»! И затѣмъ Илья Ильичъ очень пространно и краснорѣчиво говоритъ на эту тэму, такъ что хоть бы Рудину такъ поговорить.

Въ отношеніи къ женщинамъ всѣ обломовцы ведутъ себя оди-

наково постыднымъ образомъ. Они вовсе не умѣютъ любить и не знаютъ, чего искать въ любви, точно такъ же, какъ и вообще въ жизни Они не прочь пококетничать съ женщиной, пока видятъ въ ней куклу, двигающуюся на пружинахъ; не прочь они и поработить себѣ женскую душу... какъ же! этимъ бываетъ очень довольна ихъ барственная натура! Но только чуть дѣло дойдетъ до чего-нибудь серьезнаго, чуть они начнутъ подозрѣвать, что предъ ними дѣйствительно не игрушка, а женщина, которая можетъ и отъ нихъ потребовать уваженія къ своимъ правамъ,—они немедленно обращаются въ постыднѣйшее бѣгство. Трусость у всѣхъ этихъ господъ непомѣрная. Онѣгинъ, который такъ «рано умѣлъ тревожить сердца кокетокъ записныхъ», который женщинъ «искалъ безъ упоенья, а оставлялъ безъ сожалѣнья», — Онѣгинъ струсилъ предъ Татьяной, дважды струсилъ, — и въ то время, когда принималъ отъ нея урокъ, и тогда, какъ самъ ей давалъ его. Она ему, вѣдь, нравилась съ самаго начала, и если бы любила менѣе серьезно, онъ не подумалъ бы принять съ нею тонъ строгаго нравоучителя. А тутъ онъ увидѣлъ, что шутить опасно, и потому началъ толковать о своей отжитой жизни, о дурномъ характерѣ, о томъ, что она другого полюбитъ впослѣдствіи, и т. д. Впослѣдствіи онъ самъ объясняетъ свой поступокъ тѣмъ, что «замѣтя искру нѣжности въ Татьянѣ, онъ не хотѣлъ ей вѣрить», и что

«Свою постылую свободу
Онъ потерять не захотѣлъ».

А какими фразами-то прикрылъ себя, малодушный!

Бельтовъ съ Круциферской, какъ извѣстно, тоже не посмѣлъ итти до конца и убѣжалъ отъ нея, хотя и по совершенно другимъ соображеніямъ, если ему только вѣрить. Рудинъ—этотъ уже совершенно растерялся, когда Наталья хотѣла отъ него добиться чего-нибудь рѣшительнаго. Онъ ничего болѣе не сумѣлъ, какъ только посовѣтовать ей «покориться». На другой день онъ остроумно объяснилъ ей въ письмѣ, что ему «было не въ привычку» имѣть дѣло съ такими женщинами, какъ она. Такимъ же оказывается и Печоринъ, спеціалистъ по части женскаго сердца, признающійся, что кромѣ женщинъ онъ ничего на свѣтѣ не любилъ, что для нихъ онъ готовъ пожертвовать всѣмъ на свѣтѣ. И онъ признается, что, во-первыхъ, «не любитъ женщинъ съ характеромъ: ихъ ли это дѣло»! — во-вторыхъ, что онъ никогда не можетъ жениться. «Какъ бы страстно я ни любилъ женщину», говоритъ онъ, «но если она мнѣ дастъ только почувствовать, что я долженъ на ней жениться — прости любовь. Мое сердце превращается въ камень, и ничто не разогрѣетъ его снова. Я готовъ на всѣ жертвы, кромѣ этой; двадцать разъ жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы своей не продамъ. Отчего же я такъ дорожу ею? Что мнѣ въ ней? куда я себя готовлю? чего я жду отъ будущаго? Право, ровно ничего. Это какой-то врожден-

ный страхъ, неизъяснимое предчувствіе», и т. д. А въ сущности, это—больше ничего, какъ обломовщина.

А Илья Ильичъ развѣ вы думаете не имѣетъ въ себѣ, въ свою очередь, печоринскаго и рудинскаго элемента, не говоря объ онѣгинскомъ? Еще какъ имѣетъ-то! Онъ, напримѣръ, подобно Печорину, хочетъ непремѣнно *обладать* женщиной, хочетъ вынудить у нея всяческія жертвы въ доказательство любви. Онъ, видите ли, не надѣялся сначала, что Ольга пойдетъ за него замужъ, и съ робостью предложилъ ей быть его женой. Она ему сказала что-то въ родѣ того, что это давно бы ему слѣдовало сдѣлать. Онъ пришелъ въ смущеніе, ему стало не довольно согласія Ольги, и онъ—чтобы вы думали?... онъ началъ — пытать ее, столько ли она его любитъ, чтобы быть въ состояніи сдѣлаться его любовницей! И ему стало досадно, когда она сказала, что никогда не пойдетъ по этому пути; но затѣмъ ея объясненіе и страстная сцена успокоили его. А все-такй онъ струсилъ подъ конецъ до того, что даже на глаза Ольгѣ боялся показаться, прикидывался больнымъ, прикрывалъ себя разведеннымъ мостомъ, давалъ понять Ольгѣ, что она его можетъ компрометировать, и т. д. И все отчего?—оттого, что она отъ него потребовала рѣшимости, дѣла, того, что не входило въ его привычки. Женитьба сама по себѣ не страшила его такъ, какъ страшила Печорина и Рудина: у него болѣе патріархальныя были привычки. Но Ольга захотѣла, чтобъ онъ передъ женитьбой устроилъ дѣла по имѣнью; это ужъ была бы *жертва*, и онъ, конечно, этой жертвы не совершилъ, а явился настоящимъ Обломовымъ. А самъ, между тѣмъ, очень требователенъ. Онъ сдѣлалъ съ Ольгой такую штуку, какая и Печорину въ пору была бы. Ему вообразилось, что онъ не довольно хорошъ собою и вообще не довольно привлекателенъ для того, чтобы Ольга могла сильно полюбить его. Онъ начинаетъ страдать, не спитъ ночь, наконецъ вооружается энергіей и строчитъ къ Ольгѣ длинное рудинское посланіе, въ которомъ повторяетъ извѣстную, тертую и перетертую вещь, говоренную и Онѣгинымъ Татьянѣ, и Рудинымъ Натальѣ, и даже Печоринымъ княжнѣ Мери: «я, дескать, не такъ созданъ, чтобы вы могли быть со мною счастливы, придетъ время, вы полюбите другого, болѣе достойнаго».

«Смѣнитъ не разъ младая дѣва
Мечтами легкія мечты...
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякій васъ, какъ я, пойметъ...
Къ бѣдѣ неопытность ведетъ».

Всѣ обломовцы любятъ уничижать себя; но это они дѣлаютъ съ той цѣлью, чтобъ имѣть удовольствіе быть опровергнутыми и услышать себѣ похвалу отъ тѣхъ, предъ кѣмъ они себя ругаютъ. Они довольны своимъ самоуниженіемъ и всѣ похожи на Рудина, о которомъ Пигасовъ выражается: «начнетъ себя бранить, съ

грязью себя смѣшаетъ; —ну, думаешь, теперь на свѣтъ Божій глядѣть не станетъ. Какое! повеселѣетъ даже, словно горькой водкой себя попотчевалъ»! Такъ и Онѣгинъ послѣ ругательствъ на себя рисуется предъ Татьяной своимъ великодушіемъ. Такъ и Обломовъ, написавши къ Ольгѣ пасквиль на самого себя, чувствовалъ, «что ему ужъ не тяжело, что онъ почти счастливъ»... Письмо свое онъ заключаетъ тѣмъ же нравоученіемъ, какъ и Онѣгинъ свою рѣчь: «исторія со мною пусть,—говоритъ,—послужитъ вамъ руководствомъ въ будущей нормальной любви», и пр. Илья Ильичъ, разумѣется, не выдержалъ себя на высотѣ уничиженія передъ Ольгой: онъ бросился подсмотрѣть, какое впечатлѣніе произведетъ на нее письмо, увидѣлъ, что она плачетъ, удовлетворился и—не могъ удержаться, чтобы не предстать предъ ней въ сію критическую минуту. А она доказала ему, какимъ онъ пошлымъ и жалкимъ эгоистомъ явился въ этомъ письмѣ, написанномъ «изъ заботы объ ея счастьи». Тутъ ужъ онъ окончательно спасовалъ, какъ дѣлаютъ, впрочемъ, всѣ обломовцы, встрѣчая женщину, которая выше ихъ по характеру и по развитію.

«Однако же,—возопіютъ глубокомысленные люди, — въ вашей параллели, несмотря на подборъ видимо одинаковыхъ фактовъ, совсѣмъ нѣтъ смысла. При опредѣленіи характера не столько важны внѣшнія проявленія, сколько побужденія, вслѣдствіе которыхъ то или другое дѣлается человѣкомъ. А относительно побужденій, какъ же не видѣть неизмѣримой разницы между поведеніемъ Обломова и образомъ дѣйствій Печорина, Рудина и другихъ?... Этотъ все дѣлаетъ по инерціи, потому что ему лѣнь самому съ мѣста двинуться и лѣнь упереться на мѣстѣ, когда его тащатъ; вся его цѣль состоитъ въ томъ, чтобы лишній разъ пальцами не пошевелить. А тѣ снѣдаются жаждою дѣятельности, съ жаромъ за все принимаются, ими безпрестанно

«Овладѣваетъ безпокойство,
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ»

и другіе недуги, признаки сильной души. Если они и не дѣлаютъ ничего истинно-полезнаго, такъ это потому, что не находятъ дѣятельности, соотвѣтствующей своимъ силамъ. Они, по выраженію Печорина, подобны генію, прикованному къ чиновничьему столу и осужденному переписывать бумаги. Они выше окружающей ихъ дѣйствительности и потому имѣютъ право презирать жизнь и людей. Вся ихъ жизнь есть отрицаніе въ смыслѣ реакціи существующему порядку вещей; а его жизнь есть пассивное подчиненіе существующимъ уже вліяніямъ, консервативное отвращеніе отъ всякой перемѣны, совершенный недостатокъ внутренней реакціи въ натурѣ. Можно ли сравнивать этихъ людей? Рудина ставить на одну доску съ Обломовымъ!... Печорина осуждать на то же ничтожество, въ какомъ погрязаетъ Илья Ильичъ!... Это совершенное непониманіе, это нелѣпость, это—преступленіе»!...

Ахъ, Боже мой! Въ самомъ дѣлѣ, — мы вѣдь и позабыли, что съ глубокомысленными людьми надо держать ухо востро: какъ разъ выведутъ такія заключенія, о которыхъ вамъ даже и не снилось. Если вы собираетесь купаться, а глубокомысленный человѣкъ, стоя на берегу со связанными руками, хвастается тѣмъ, что онъ отлично плаваетъ и обѣщаетъ спасти васъ, когда вы станете тонуть, — бойтесь сказать: «да помилуй, любезный другъ, у тебя вѣдь руки связаны; позаботься прежде о томъ, чтобъ развязать себѣ руки». Бойтесь говорить это, потому что глубокомысленный человѣкъ сейчасъ же ударится въ амбицію и скажетъ: «а, такъ вы утверждаете, что я не умѣю плавать! Вы хвалите того, кто связалъ мнѣ руки! Вы не сочувствуете людямъ, которые спасаютъ утопающихъ»!... И такъ далѣе... глубокомысленные люди бываютъ очень краснорѣчивы и обильны на выводы самые неожиданные... Вотъ и теперь: сейчасъ выведутъ заключеніе, что мы Обломова хотѣли поставить выше Печорина и Рудина, что мы хотѣли оправдать его лежанье, что мы не умѣемъ видѣть внутренняго, коренного различія между нимъ и прежними героями, и т. д.... Поспѣшимъ же объясниться съ глубокомысленными людьми.

Во всемъ, что мы говорили, мы имѣли въ виду болѣе обломовщину, нежели личность Обломова и другихъ героевъ. Что касается до личности, то мы не могли не видѣть разницы темперамента, напр., у Печорина и Обломова, такъ же точно, какъ не можемъ не найти ее и у Печорина съ Онѣгинымъ, и у Рудина съ Бельтовымъ... Кто же станетъ спорить, что личная разница между людьми существуетъ (хотя, можетъ быть, и далеко не въ той степени и не съ тѣмъ значеніемъ, какъ обыкновенно предполагаютъ). Но дѣло въ томъ, что надъ всѣми этими лицами тяготѣетъ одна и та же обломовщина, которая кладетъ на нихъ неизгладимую печать бездѣльничества, дармоѣдства и совершенной ненужности на свѣтѣ. Весьма вѣроятно, что при другихъ условіяхъ жизни, въ другомъ обществѣ, Онѣгинъ былъ бы истинно-добрымъ малымъ, Печоринъ и Рудинъ дѣлали бы великіе подвиги, а Бельтовъ оказался бы дѣйствительно превосходнымъ человѣкомъ. Но при другихъ условіяхъ развитія можетъ быть и Обломовъ съ Тентетниковымъ не были бы такими байбаками, а нашли бы себѣ какое-нибудь полезное занятіе... Дѣло въ томъ, что теперь-то у нихъ всѣхъ одна общая черта—безплодное стремленіе къ дѣятельности, сознаніе, что изъ нихъ многое могло бы выйти, но не выйдетъ ничего... Въ этомъ они поразительно сходятся. «Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?... А, вѣрно, она существовала и, вѣрно, было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя. Но я не угадалъ этого назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ, какъ желѣзо, но утратилъ навѣки пылъ благородныхъ стремленій,—лучшій цвѣтъ

жизни». Это — Печоринъ... А вотъ какъ разсуждаетъ о себѣ Рудинъ. «Да, природа мнѣ много дала; но я умру, не сдѣлавъ ничего достойнаго силъ моихъ, не оставивъ за собою никакого благотворнаго слѣда. Все мое богатство пропадетъ даромъ: я не увижу плодовъ отъ сѣмянъ своихъ»... Илья Ильичъ тоже не отстаетъ отъ прочихъ: и онъ «болѣзненно чувствовалъ, что въ немъ зарыто, какъ въ могилѣ, какое-то хорошее свѣтлое начало, можетъ быть теперь уже умершее, или лежитъ оно, какъ золото въ нѣдрахъ горы, и давно пора бы этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело заваленъ кладъ дрянью, наноснымъ соромъ. Кто-то будто укралъ и закопалъ въ собственной его душѣ принесенныя ему въ даръ міромъ и жизнью сокровища». Видите— *сокровища* были зарыты въ его натурѣ, только раскрыть ихъ предъ міромъ онъ никогда не могъ. Другіе братья его, помоложе, по свѣту рыщутъ,

«Дѣла себѣ исполинскаго ищутъ,
Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ
Освободило отъ малыхъ трудовъ»...

Обломовъ тоже мечталъ въ молодости, «служить, пока станетъ силъ, потому что Россіи нужны руки и головы для разработыванія неистощимыхъ источниковъ»... Да и теперь онъ «не чуждъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей, ему доступны наслажденія высокихъ помысловъ», и хотя онъ не рыщетъ по свѣту за исполинскимъ дѣломъ, но все-таки мечтаетъ о всемірной дѣятельности, все-таки съ презрѣніемъ смотритъ на чернорабочихъ и съ жаромъ говоритъ:

«Нѣтъ, я души не растрачу моей
На муравьиной работѣ людей»...

А бездѣльничаетъ онъ ничуть не больше, чѣмъ всѣ остальные братья обломовцы; только онъ откровеннѣе, — не старается прикрыть своего бездѣлья даже разговорами въ обществахъ и гуляньемъ по Невскому проспекту,

Но отчего же такая разница впечатлѣній, производимыхъ на насъ Обломовымъ и героями, о которыхъ мы вспоминали выше? Тѣ представляются намъ въ разныхъ родахъ сильными натурами, задавленными неблагопріятной обстановкой, а этотъ — байбакомъ, который и при самыхъ лучшихъ обстоятельствахъ ничего не сдѣлаетъ. Но, во-первыхъ, у Обломова темпераментъ слишкомъ вялый, и потому естественно, что онъ для осуществленія своихъ замысловъ и для отпора враждебныхъ обстоятельствъ употребляетъ еще нѣсколько менѣе попытокъ, нежели сангвиническій Онѣгинъ или желчный Печоринъ. Въ сущности же они всѣ равно несостоятельны предъ силою враждебныхъ обстоятельствъ, всѣ равно погружаются въ ничтожество, когда имъ предстоитъ настоящая, серьезная дѣятельность. Въ чемъ обстоятельства Обломова откры-

вали ему благопріятное поле дѣятельности? У него было имѣнье, которое могъ онъ устроить; былъ другъ, вызывавшій его на практическую дѣятельность; была женщина, которая превосходила его энергіей характера и ясностью взгляда и которая нѣжно полюбила его... Да скажите, у кого же изъ обломовцевъ не было всего этого, и что всѣ они изъ этого сдѣлали? И Онѣгинъ, и Тентетниковъ хозяйничали въ своемъ имѣньи, и о Тентетниковѣ мужики даже говорили сначала: «экой востроногій»! Но скоро тѣ же мужики смекнули, что баринъ хоть и прытокъ на первыхъ порахъ, но ничего не смыслитъ и толку никакого не сдѣлаетъ... А дружба? Что они всѣ дѣлаютъ съ своими друзьями? Онѣгинъ убилъ Ленскаго; Печоринъ только все пикируется съ Вернеромъ; Рудинъ умѣлъ оттолкнуть отъ себя Лежнева и не воспользовался дружбой Покорскаго... Да и мало ли людей, подобныхъ Покорскому, встрѣчалось на пути каждаго изъ нихъ?.. Что же они? Соединились ли другъ съ другомъ для одного общаго дѣла, образовали ли тѣсный союзъ для обороны враждебныхъ обстоятельствъ? Ничего не было... Все разсыпалось прахомъ, все кончилось той же обломовщиной... О любви нечего и говорить. Каждый изъ обломовцевъ встрѣчалъ женщину выше себя (потому что Круциферская выше Бельтова и даже княжна Мери все-таки выше Печорина), и каждый постыдно бѣжалъ отъ ея любви или добивался того, чтобъ она сама прогнала его... Чѣмъ это объяснить, какъ не давленіемъ на нихъ гнусной обломовщины?

Кромѣ разницы темперамента, большое различіе находится въ самомъ возрастѣ Обломова и другихъ героевъ. Говоримъ не о лѣтахъ: они почти однолѣтки: Рудинъ даже двумя-тремя годами постарше Обломова; говоримъ о времени ихъ появленія. Обломовъ относится къ позднѣйшему времени, стало быть онъ уже для молодого поколѣнія, для современной жизни, долженъ казаться гораздо старше, чѣмъ казались прежніе обломовцы... Онъ въ университетѣ какихъ-нибудь 17 — 18-ти лѣтъ прочувствовалъ тѣ стремленія, проникся тѣми идеями, которыми одушевляется Рудинъ въ тридцать пять лѣтъ. За этимъ курсомъ для него было только двѣ дороги: или дѣятельность, настоящая дѣятельность,— не языкомъ, а головой, сердцемъ и руками вмѣстѣ, или уже просто лежанье сложа руки. Апатическая натура привела его къ послѣднему: скверно, но по крайней мѣрѣ тутъ нѣтъ лжи и обморочиванья. Если бъ онъ, подобно своимъ братцамъ, пустился толковать во всеуслышаніе о томъ, о чемъ теперь осмѣливается только мечтать, то онъ каждый день испытывалъ бы огорченія, подобныя тѣмъ, какія испыталъ по случаю полученія письма отъ старосты и приглашенія отъ хозяина дома—очистить квартиру. Прежде съ любовью, съ благоговѣніемъ слушали фразёровъ, толкующихъ о необходимости того и другого, о высшихъ стремленіяхъ, и т. п. Тогда, можетъ быть, и Обломовъ не прочь былъ бы поговорить... Но теперь всякаго фразёра и прожектёра встрѣчаютъ требованіемъ:

«а не угодно ли попробовать»? Этого ужъ обломовцы не въ силахъ снести...

Въ самомъ дѣлѣ,—какъ чувствуется вѣяніе новой жизни, когда по прочтеніи Обломова думаешь, что̀ вызвало въ литературѣ этотъ типъ. Нельзя приписать этого единственно личному таланту автора и широтѣ его воззрѣній. И силу таланта, и воззрѣнія самыя широкія и гуманныя находимъ мы у авторовъ, произведшихъ прежніе типы, приведенные нами выше. Но дѣло въ томъ, что отъ появленія перваго изъ нихъ, Онѣгина, до сихъ поръ прошло уже тридцать лѣтъ. То, что было тогда въ зародышѣ, что выражалось только въ неясномъ полусловѣ, произнесенномъ шепотомъ, то приняло уже теперь опредѣленную и твердую форму, высказалось открыто и громко. Фраза потеряла свое значеніе; явилась въ самомъ обществѣ потребность настоящаго дѣла. Бельтовъ и Рудинъ, люди, съ стремленіями дѣйствительно высокими и благородными, не только не могли проникнуться необходимостью, но даже не могли представить себѣ близкой возможности страшной, смертельной борьбы съ обстоятельствами, которыя ихъ давили. Они вступали въ дремучій невѣдомый лѣсъ, шли по топкому опасному болоту, видѣли подъ ногами разныхъ гадовъ и змѣй, и лѣзли на дерево,—отчасти, чтобъ посмотрѣть, не увидятъ ли гдѣ дороги, отчасти же для того, чтобъ отдохнуть и хоть на время избавиться отъ опасности увязнуть или быть ужаленными. Слѣдовавшіе за ними люди ждали, что они скажутъ, и смотрѣли на нихъ съ уваженіемъ, какъ на людей шедшихъ впереди. Но эти передовые люди ничего не увидѣли съ высоты, на которую взобрались: лѣсъ былъ очень обширенъ и густъ. Между тѣмъ, взлѣзая на дерево, они исцарапали себѣ лицо, переранили себѣ ноги, испортили руки... Они страдаютъ, они утомлены, они должны отдохнуть, примостившись какънибудь поудобнѣе на деревѣ. Правда, они ничего не дѣлаютъ для общей пользы, они ничего не разглядѣли и не сказали; стоящіе внизу сами, безъ ихъ помощи, должны прорубать и расчищать себѣ дорогу по лѣсу. Но кто же рѣшится бросить камень въ этихъ несчастныхъ, чтобы заставить ихъ упасть съ высоты, на которую они взмостились съ такими трудами, имѣя въ виду общую пользу? Имъ сострадаютъ, отъ нихъ даже не требуютъ пока, чтобы они принимали участіе въ расчисткѣ лѣса; на ихъ долю выпало другое дѣло, и они его сдѣлали. Если толку не вышло, — не ихъ вина. Съ этой точки зрѣнія каждый изъ авторовъ могъ прежде смотрѣть на своего обломовскаго героя, и былъ правъ. Къ этому присоединялось еще и то, что надежда увидѣть гдѣ-нибудь выходъ изъ лѣсу на дорогу долго держалась во всей ватагѣ путниковъ, равно какъ долго не терялась и увѣренность въ дальнозоркости передовыхъ людей, взобравшихся на дерево. Но вотъ, мало-по-малу, дѣло прояснилось и приняло другой оборотъ: передовымъ людямъ понравилось на деревѣ; они разсуждаютъ очень краснорѣчиво о разныхъ путяхъ и средствахъ выбраться изъ болота и изъ лѣсу;

они нашли даже на деревѣ кой-какіе плоды и наслаждаются ими, бросая чешуйку внизъ; они зовутъ къ себѣ еще кой-кого, избранныхъ изъ толпы, и тѣ идутъ и остаются на деревѣ, уже и не высматривая дороги, а только пожирая плоды. Это уже Обломовы въ собственномъ смыслѣ... А бѣдные путники, стоящіе внизу, вязнутъ въ болотѣ, ихъ жалятъ змѣи, пугаютъ гады, хлещутъ по лицу сучья... Наконецъ толпа рѣшается приняться за дѣло и хочетъ воротить тѣхъ, которые позже полѣзли на дерево; но Обломовы молчатъ и обжираются плодами. Тогда толпа обращается и къ прежнимъ своимъ передовымъ людямъ, прося ихъ спуститься и помочь общей работѣ. Но передовые люди опять повторяютъ прежнія фразы о томъ, что надо высматривать дорогу, а надъ расчисткой трудиться нечего. — Тогда бѣдные путники видятъ свою ошибку и, махнувъ рукой, говорятъ: «э, да вы всѣ Обломовы!» И затѣмъ начинается дѣятельная, неутомимая работа: рубятъ деревья, дѣлаютъ изъ нихъ мостъ на болотѣ, образуютъ тропинку, бьютъ змѣй и гадовъ, попавшихся на ней, не заботясь болѣе объ этихъ умникахъ, объ этихъ сильныхъ натурахъ, Печоринхъ и Рудиныхъ, на которыхъ прежде надѣялись, которыми восхищались. Обломовцы сначала спокойно смотрятъ на общее движеніе, но потомъ, по своему обыкновенію, трусятъ и начинаютъ кричать... «Ай, ай, — не дѣлайте этого, оставьте, — кричатъ они, видя, что подсѣкается дерево, на которомъ они сидятъ, — помилуйте, вѣдь мы можемъ убиться и вмѣстѣ съ нами погибнутъ тѣ прекрасныя идеи, тѣ высокія чувства, тѣ гуманныя стремленія, то краснорѣчіе, тотъ паѳосъ, любовь ко всему прекрасному и благородному, которые въ насъ всегда жили... Оставьте, оставьте! Что вы дѣлаете»?.. Но путники уже слыхали тысячу разъ всѣ эти прекрасныя фразы и, не обращая на нихъ вниманія, продолжаютъ работу. Обломовцамъ еще есть средство спасти себя и свою репутацію: слѣзть съ дерева и приняться за работу вмѣстѣ съ другими. Но они, по обыкновенію, растерялись и не знаютъ, что имъ дѣлать... «Какъ же это такъ вдругъ?» повторяютъ они въ отчаяніи и продолжаютъ посылать безплодныя проклятія глупой толпѣ, потерявшей къ нимъ уваженіе.

А вѣдь толпа права! Если ужъ она сознала необходимость настоящаго дѣла, такъ для нея совершенно все равно, — Печоринъ ли передъ ней или Обломовъ. Мы не говоримъ опять, чтобы Печоринъ въ данныхъ обстоятельствахъ сталъ дѣйствовать именно такъ, какъ Обломовъ; онъ могъ самими этими обстоятельствами развиться въ другую сторону. Но типы, созданные сильнымъ талантомъ, долговѣчны: и нынѣ живутъ люди, представляющіе какъ будто сколокъ съ Онѣгина, Печорина, Рудина, и пр., и не въ томъ видѣ, какъ они могли бы развиться при другихъ обстоятельствахъ, а именно въ томъ, въ какомъ они представлены Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Тургеневымъ. Только въ общественномъ сознаніи всѣ они болѣе и болѣе превращаются въ Обломова. Нельзя сказать,

чтобъ превращеніе это уже совершилось: нѣтъ, еще и теперь тысячи людей проводятъ время въ разговорахъ, и тысячи другихъ людей готовы принять разговоры за дѣла. Но что превращеніе это начинается—доказываетъ типъ Обломова, созданный Гончаровымъ. Появленіе это было бы невозможно, если бы хотя въ нѣкоторой части общества не созрѣло сознаніе о томъ, какъ ничтожны всѣ эти quasi-талантливыя натуры, которыми прежде восхищались. Прежде онѣ прикрывались разными мантіями, украшали себя разными прическами, привлекали къ себѣ разными талантами. Но теперь Обломовъ является предъ нами разоблаченный, какъ онъ есть, молчаливый, сведенный съ краснаго пьедестала на мягкій диванъ, прикрытый вмѣсто мантіи только просторнымъ халатомъ. Вопросъ: *что онъ дѣлаетъ? въ чемъ смыслъ и цѣль его жизни?*— поставленъ прямо и ясно, не забитъ никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало, или настаетъ неотлогательно время работы общественной... И вотъ почему мы сказали въ началѣ статьи, что видимъ въ романѣ Гончарова *знаменіе времени.*

Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, какъ измѣнилась точка зрѣнія на образованныхъ и хорошо разсуждающихъ лежебоковъ, которыхъ прежде принимали за настоящихъ общественныхъ дѣятелей.

Вотъ передъ вами молодой человѣкъ, очень красивый, ловкій, образованный. Онъ выѣзжаетъ въ большой свѣтъ и имѣетъ тамъ успѣхъ; онъ ѣздитъ въ театры, балы и маскарады; онъ отлично одѣвается и обѣдаетъ; читаетъ книжки и пишетъ очень грамотно... Сердце его волнуется только ежедневностью свѣтской жизни, но онъ имѣетъ понятіе и о высшихъ вопросахъ. Онъ любитъ потолковать о страстяхъ,

«О предразсудкахъ вѣковыхъ,
И гроба тайнахъ роковыхъ»...

Онъ имѣетъ нѣкоторыя честныя правила: способенъ

«Яремъ онъ барщины старинной
Оброкомъ легкимъ замѣнить»;

способенъ иногда не воспользоваться неопытностью дѣвушки, которую не любитъ; способенъ не придавать особенной цѣны своимъ свѣтскимъ успѣхамъ. Онъ выше окружающаго его свѣтскаго общества настолько, что дошелъ до сознанія его пустоты; онъ можетъ даже оставить свѣтъ и переѣхать въ деревню; но только и тамъ скучаетъ, не зная, какое найти себѣ дѣло... Отъ нечего дѣлать онъ ссорится съ другомъ своимъ и по легкомыслію убиваетъ его на дуэли... Черезъ нѣсколько лѣтъ опять возвращается въ свѣтъ и влюбляется въ женщину, любовь которой самъ прежде отвергъ, потому что для нея нужно было бы ему отказаться отъ своей бродяжнической свободы... Вы узнаете въ этомъ человѣкѣ Онѣгина. Но всмотритесь хорошенько; это — Обломовъ...

Передъ вами другой человѣкъ, съ болѣе страстной душой, съ болѣе широкимъ самолюбіемъ. Этотъ имѣетъ въ себѣ какъ будто отъ природы все то, что для Онѣгина составляетъ предметъ заботъ. Онъ не хлопочетъ о туалетѣ и нарядѣ: онъ свѣтскій человѣкъ и безъ этого. Ему не нужно подбирать слова и блистать мишурнымъ знаніемъ: и безъ этого языкъ у него какъ бритва. Онъ дѣйствительно презираетъ людей, хорошо понимая ихъ слабости; онъ дѣйствительно умѣетъ овладѣть сердцемъ женщины, не на краткое мгновенье, а надолго, нерѣдко навсегда. Все, что встрѣчается ему на его дорогѣ, онъ умѣетъ отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: онъ не знаетъ, куда итти. Сердце его пусто и холодно ко всему. Онъ все испыталъ, и ему еще въ юности опротивѣли всѣ удовольствія, которыя можно достать за деньги; любовь свѣтскихъ красавицъ тоже опротивѣла ему, потому что ничего не давала сердцу; науки тоже надоѣли, потому что онъ увидѣлъ, что отъ нихъ не зависитъ ни слава, ни счастье; самые счастливые люди—невѣжды, а слава—удача; военныя опасности тоже ему скоро наскучили, потому что онъ не видѣлъ въ нихъ смысла и скоро привыкъ къ нимъ. Наконецъ, даже простосердечная, чистая любовь дикой дѣвушки, которая ему самому нравится, тоже надоѣдаетъ ему: онъ и въ ней не находитъ удовлетворенія своихъ порывовъ. Но что же это за порывы? куда влекутъ они? отчего онъ не отдается имъ всей силой души своей? Оттого, что онъ самъ ихъ не понимаетъ и не даетъ себѣ труда подумать о томъ, куда дѣвать свою душевную силу; и вотъ онъ проводитъ свою жизнь въ томъ, что остритъ надъ глупцами, тревожитъ сердце неопытныхъ барышень, мѣшается въ чужія сердечныя дѣла, напрашивается на ссоры, выказываетъ отвагу въ пустякахъ, дерется безъ надобности... Вы припоминаете, что это исторія Печорина, что отчасти почти такими словами самъ онъ объясняетъ свой характеръ Максиму Максимычу... Всмотритесь, пожалуйста, получше: вы и тутъ увидите того же Обломова...

Но вотъ еще человѣкъ, болѣе сознательно идущій по своей дорогѣ. Онъ не только понимаетъ, что ему дано много силъ, но знаетъ и то, что у него есть великая цѣль... Подозрѣваетъ, кажется, даже и то, какая это цѣль и гдѣ она находится. Онъ благороденъ, честенъ (хотя часто и не платитъ долговъ); съ жаромъ разсуждаетъ не о пустякахъ, а о высшихъ вопросахъ; увѣряетъ, что готовъ пожертвовать собою для блага человѣчества. Въ головѣ его рѣшены всѣ вопросы, все приведено въ живую, стройную связь; онъ увлекаетъ своимъ могучимъ словомъ неопытныхъ юношей, такъ что, послушавъ его, и они чувствуютъ, что призваны къ чему-то великому... Но въ чемъ проходитъ его жизнь? Въ томъ, что онъ все начинаетъ и не оканчиваетъ, разбрасывается во всѣ стороны, всему отдается съ жадностью и—не можетъ отдаться... Онъ влюбляется въ дѣвушку, которая наконецъ говоритъ ему, что несмотря на запрещеніе матери она готова принадлежать ему; а онъ отвѣ-

чаетъ: «Боже! такъ ваша маменька не согласна! какой внезапный ударъ! Боже! какъ скоро... Дѣлать нечего, — надо покориться»... И въ этомъ точный образецъ всей его жизни... Вы уже знаете, что это Рудинъ... Нѣтъ, теперь ужъ и это Обломовъ. Когда вы хорошенько всмотритесь въ эту личность и поставите ее лицомъ къ лицу съ требованіями современной жизни, — вы сами въ этомъ убѣдитесь.

Общее у всѣхъ этихъ людей, то, что въ жизни нѣтъ имъ дѣла, которое бы для нихъ было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религіей, которое бы органически срослось съ ними, такъ что отнять его у нихъ, значило бы лишить ихъ жизни. Все у нихъ внѣшнее, ничто не имѣетъ корня въ ихъ натурѣ. Они, пожалуй, и дѣлаютъ что-то такое, когда принуждаетъ внѣшняя необходимость, такъ какъ Обломовъ ѣздилъ въ гости, куда тащилъ его Штольцъ, покупалъ ноты и книги для Ольги, читалъ то, что она заставляла его читать. Но душа ихъ не лежитъ къ тому дѣлу, которое положено на нихъ случаемъ. Если бы каждому изъ нихъ даромъ предложили всѣ внѣшнія выгоды, какія имъ доставляются ихъ работой, они бы съ радостью отказались отъ своего дѣла. Въ силу обломовщины, обломовскій чиновникъ не станетъ ходить въ должность, если ему и безъ того сохранятъ его жалованье и будутъ производить въ чины. Воинъ дастъ клятву не прикасаться къ оружію, если ему предложатъ тѣ же условія, да еще сохранятъ его красивую форму, очень полезную въ извѣстныхъ случаяхъ. Профессоръ перестанетъ читать лекціи, студентъ перестанетъ учиться, писатель броситъ авторство, актеръ не покажется на сцену, артистъ изломаетъ рѣзецъ и палитру, говоря высокимъ слогомъ, если найдетъ возможность даромъ получить все, чего теперь добивается трудомъ. Они только говорятъ о высшихъ стремленіяхъ, о сознаніи нравственнаго долга, о проникновеніи общими интересами, а на повѣрку выходитъ, что все это—слова и слова. Самое искреннее, задушевное ихъ стремленіе есть стремленіе къ покою, къ халату, и самая дѣятельность ихъ есть не что иное какъ *почетный халатъ* (по выраженію, не намъ принадлежащему), которымъ прикрываютъ они свою пустоту и апатію. Даже наиболѣе образованные люди, притомъ люди съ живою натурою, съ теплымъ сердцемъ, чрезвычайно легко отступаются въ практической жизни отъ своихъ идей и плановъ, чрезвычайно скоро мирятся съ окружающей дѣйствительностью, которую, однако, на словахъ не перестаютъ считать пошлою и гадкою. Это значитъ, что все, о чемъ они говорятъ и мечтаютъ, — у нихъ чужое, наносное; въ глубинѣ же души ихъ коренится одна мечта, одинъ идеалъ — возможно-невозмутимый покой, квіетизмъ, обломовщина. Многіе доходятъ даже до того, что не могутъ представить себѣ, чтобъ человѣкъ могъ работать по охотѣ, по увлеченію. Прочтите-ка въ «Экономическомъ Указателѣ» разсужденія о томъ, какъ всѣ умрутъ голодною смертью отъ бездѣлья, ежели равномѣрное распредѣленіе богатства отни-

метъ у частныхъ людей побужденіе стремиться къ наживанію себѣ капиталовъ...

Да, всѣ эти обломовцы никогда не переработывали въ плоть и кровь свою тѣхъ началъ, которыя имъ внушили, никогда не проводили ихъ до послѣднихъ выводовъ, не доходили до той грани, гдѣ слово становится дѣломъ, гдѣ принципъ сливается съ внутренней потребностью души, исчезаетъ въ ней и дѣлается единственною силою, двигающею человѣкомъ. Потому-то эти люди и лгутъ безпрестанно, потому-то они и являются такъ несостоятельными въ частныхъ фактахъ своей дѣятельности. Потому-то и дороже для нихъ отвлеченныя воззрѣнія, чѣмъ живые факты, важнѣе общіе принципы, чѣмъ простая жизненная правда. Они читаютъ полезныя книги для того, чтобы знать, что пишется; пишутъ благородныя статьи за тѣмъ, чтобы любоваться логическимъ построеніемъ своей рѣчи; говорятъ смѣлыя вещи, чтобы прислушиваться къ благозвучію своихъ фразъ и возбуждать ими похвалы слушателей. Но что далѣе, какая цѣль всего этого читанья, писанья, говоренья,—они или вовсе не хотятъ знать, или не слишкомъ объ этомъ безпокоятся. Они постоянно говорятъ вамъ: вотъ что мы знаемъ, вотъ что мы думаемъ, а впрочемъ какъ тамъ хотятъ, наше дѣло — сторона... Пока не было работы въ виду, можно было еще надувать этимъ публику, можно было тщеславиться тѣмъ, что мы вотъ, дескать, все-таки хлопочемъ, ходимъ, говоримъ, разсказываемъ. На этомъ и основанъ былъ въ обществѣ успѣхъ людей, подобныхъ Рудину. Даже больше — можно было заняться кутежомъ, интрижками каламбурами, театральствомъ, — и увѣрять, что это мы пустились, молъ, оттого, что нѣтъ простора для болѣе широкой дѣятельности. Тогда и Печоринъ, и даже Онѣгинъ, долженъ былъ казаться натурою съ необъятными силами души. Но теперь ужъ всѣ эти герои отодвинулись на второй планъ, потеряли прежнее значеніе, перестали сбивать насъ съ толку своей загадочностью и таинственнымъ разладомъ между ними и обществомъ, между великими ихъ силами и ничтожностью дѣлъ ихъ.

«Теперь загадка разъяснилась,
Теперь имъ слово найдено».

Слово это — *обломовщина.*

Если я вижу теперь помѣщика, толкующаго о правахъ человѣчества и о необходимости развитія личности, — я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ.

Если встрѣчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дѣлопроизводства, онъ — Обломовъ.

Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность парадовъ и смѣлыя разсужденія о безполезности *тихаго шага*, и т. п., я не сомнѣваюсь, что онъ Обломовъ.

Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что наконецъ сдѣлано то, чего

мы давно надѣялись и желали,—я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки.

Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человѣчества и въ теченіе многихъ лѣтъ съ неуменьшающимся жаромъ разсказывающихъ все тѣ же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода, — я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку...

Остановите этихъ людей въ ихъ шумномъ разглагольствованіи и скажите: «вы говорите, что нехорошо то и то; что же нужно дѣлать»? Они не знаютъ... Предложите имъ самое простое средство,—они скажутъ: «да какъ же это такъ вдругъ»? Непремѣнно скажутъ, потому что Обломовы иначе отвѣчать не могутъ... Продолжайте разговоръ съ ними и спросите: что же вы намѣрены дѣлать!—Они вамъ отвѣтятъ тѣмъ, чѣмъ Рудинъ отвѣтилъ Натальѣ: «что дѣлать? Разумѣется, покориться судьбѣ. Что же дѣлать! Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами»... и пр. (См. Тург. Пов., ч. III, стр. 249.) Больше отъ нихъ вы ничего не дождетесь, потому что на всѣхъ ихъ лежитъ печать обломовщины.

Кто же, наконецъ, сдвинетъ ихъ съ мѣста этимъ всемогущимъ словомъ: «впередъ!», о которомъ такъ мечталъ Гоголь и котораго такъ давно и томительно ожидаетъ Русь? До сихъ поръ нѣтъ отвѣта на этотъ вопросъ ни въ обществѣ, ни въ литературѣ. Гончаровъ, умѣвшій понять и показать намъ нашу обломовщину, не могъ, однако, не заплатить дани общему заблужденію, до сихъ поръ столь сильному въ нашемъ обществѣ: онъ рѣшился похоронить обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой вѣкъ», говоритъ онъ устами Штольца, и говоритъ неправду. Вся Россія, которая прочитала или прочитаетъ Обломова, не согласится съ этимъ. Нѣтъ, Обломовка есть наша прямая родина, ея владѣльцы—наши воспитатели, ея триста Захаровъ всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное слово. Не за что говорить объ насъ съ Ильею Ильичемъ слѣдующія строки:

«Въ немъ было то, что дороже всякаго ума: честное, вѣрное сердце! Это его природное золото; онъ невредимо пронесъ его сквозь жизнь. Онъ падалъ отъ толчковъ, охлаждался, заснулъ, наконецъ, убитый, разочарованный, потерявъ силу жить, но не потерялъ честности и вѣрности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало къ нему грязи. Не обольститъ его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечетъ на фальшивый путь; пусть волнуется около него цѣлый океанъ дряни, зла; пусть весь міръ отравится ядомъ и пойдетъ навыворотъ,—никогда Обломовъ не поклонится идолу лжи; въ душѣ его всегда будетъ чисто, свѣтло, честно.... Это хрустальная, прозрачная душа; такихъ людей мало; это перлы въ толпѣ! Его сердца не подкупишь ничѣмъ, на него всюду и вездѣ можно положиться.

Распространяться объ этомъ пассажѣ мы не станемъ; но каж-

дый изъ читателей замѣтитъ, что въ немъ заключена большая неправда. Одно въ Обломовѣ хорошо, дѣйствительно: то, что онъ не усиливался надувать другихъ, а ужъ такъ и являлся въ натурѣ—лежебокомъ. Но, помилуйте, въ чемъ же на него *можно положиться*? Развѣ въ томъ, гдѣ ничего дѣлать не нужно? Тутъ онъ, дѣйствительно, отличится такъ, какъ никто. Но ничего-то не дѣлать и безъ него можно. Онъ не поклонится идолу зла! Да вѣдь почему это? Потому что ему лѣнь встать съ дивана. А стащите его, поставьте на колѣни передъ этимъ идоломъ: онъ не въ силахъ будетъ встать. Не подкупишь его ничѣмъ. Да на что его подкупать-то? На то, чтобы съ мѣста сдвинулся? Ну, это дѣйствительно трудно. Грязь къ нему не пристанетъ! Да, пока лежитъ одинъ, такъ еще ничего; а какъ придетъ Тарантьевъ, Затертый, Иванъ Матвѣичъ—брр! какая отвратительная гадость начинается около Обломова. Его объѣдаютъ, опиваютъ, спаиваютъ, берутъ съ него фальшивый вексель (отъ котораго Штольцъ нѣсколько безцеремонно, по русскимъ обычаямъ, безъ суда и слѣдствія избавляетъ его), разоряютъ его именемъ мужиковъ, деруть съ него немилосердныя деньги ни за что, ни про что. Онъ все это терпитъ безмолвно и потому, разумѣется, не издаетъ ни одного фальшиваго звука.

Нѣтъ, нельзя такъ льстить живымъ, а мы еще живы, мы еще попрежнему Обломовы. Обломовщина никогда не оставляла насъ и не оставила даже теперь,—*въ настоящее время, когда*, и пр. Кто изъ нашихъ литераторовъ, публицистовъ, людей образованныхъ, общественныхъ дѣятелей, кто не согласится, что, должно быть, его-то именно и имѣлъ въ виду Гончаровъ, когда писалъ объ Ильѣ Ильичѣ слѣдующія строки:

«Ему доступны были наслажденія высокихъ помысловъ; онъ не чуждъ былъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей. Онъ горько, въ глубинѣ души, плакалъ въ иную пору надъ бѣдствіями человѣчества, испытывалъ безвѣстныя, безыменныя страданія, и тоску, и стремленія куда-то вдаль, туда, вѣроятно, въ тотъ міръ, куда увлекалъ его, бывало, Штольцъ. Сладкія слезы потекутъ по щекамъ его. Случается и то, что онъ исполнится презрѣнія къ людскому пороку, ко лжи, къ клеветѣ, къ разлитому въ мірѣ злу, и разгорится желаніемъ указать человѣку на его язвы; и вдругъ загораются въ немъ мысли, ходятъ и гуляютъ въ головѣ, какъ волны въ морѣ, потомъ выростаютъ въ намѣренія, зажгутъ всю кровь въ немъ; задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намѣренія преображаются въ стремленія: онъ, движимый нравственною силою, въ одну минуту быстро измѣнитъ двѣ-три позы, съ блистающими глазами привстанетъ до половины на постели, протянетъ руку и вдохновенно озирается кругомъ.... Вотъ, вотъ стремленіе осуществится, обратится въ подвигъ.... и тогда, Господи! какихъ чудесъ, какихъ благихъ послѣдствій могли бы ожидать отъ такого высокаго усилія! Но, смотришь, промелькнетъ утро, день ужъ клонится къ вечеру, а съ нимъ клонятся къ покою и утомленныя силы Обломова: бури и волненія смиряются въ душѣ, голова отрезвляется отъ думъ, кровь медленнѣе пробирается по жиламъ. Обломовъ тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремивъ печальный взглядъ въ окно къ небу, съ грустью провожаетъ солнце, великолѣпно садящееся за чей-то четырехъ-этажный домъ. И сколько, сколько разъ онъ провожалъ такъ солнечный закатъ»!

Не правда ли, образованный и благородно-мыслящій читатель,— вѣдь тутъ вѣрное изображеніе вашихъ благихъ стремленій и вашей полезной дѣятельности? Разница можетъ быть только въ томъ, до какого момента вы доходите въ вашемъ развитіи. Илья Ильичъ доходилъ до того, что привставалъ съ постели, протягивалъ руку и озирался вокругъ. Иные такъ далеко не заходятъ; у нихъ только мысли гуляютъ въ головѣ, какъ волны въ морѣ (такихъ бо́льшая часть); у другихъ мысли выростаютъ въ намѣренія, но не доходятъ до степени стремленій (такихъ меньше); у третьихъ даже стремленія являются (этихъ ужъ совсѣмъ мало)...

Итакъ, слѣдуя направленію настоящаго времени, когда вся литература, по выраженію г. Бенедиктова, представляетъ

«....нашей плоти истязанье,
Вериги въ прозѣ и стихахъ»,—

мы смиренно сознаемся, что какъ ни лестны для нашего самолюбія похвалы г. Гончарова Обломову, но мы не можемъ признать ихъ справедливыми. Обломовъ менѣе раздражаетъ свѣжаго, молодого, дѣятельнаго человѣка, нежели Печоринъ и Рудинъ, но все-таки онъ противенъ въ своей ничтожности.

Отдавая дань своему времени, г. Гончаровъ вывелъ и противоядіе Обломову—Штольца. Но по поводу этого лица мы должны еще разъ повторить наше постоянное мнѣніе, — что литература не можетъ забѣгать слишкомъ далеко впередъ жизни. Штольцевъ, людей съ цѣльнымъ, дѣятельнымъ характеромъ, при которомъ всякая мысль тотчасъ же является стремленіемъ и переходитъ въ дѣло, еще нѣтъ въ жизни нашего общества (разумѣемъ образованное общество, которому доступны высшія стремленія; въ массѣ, гдѣ идеи и стремленія ограничены очень близкими и немногими предметами, такіе люди безпрестанно попадаются). Самъ авторъ сознавалъ это, говоря о нашемъ обществѣ: «вотъ, глаза очнулись отъ дремоты, послышались бойкіе широкіе шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ должно явиться подъ русскими именами»! Должно явиться ихъ много, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; но теперь пока для нихъ нѣтъ почвы. Оттого-то изъ романа Гончарова мы и видимъ только, что Штольцъ—человѣкъ дѣятельный, все о чемъ-то хлопочетъ, бѣгаетъ, пріобрѣтаетъ, говоритъ, что жить — значитъ трудиться, и пр. Но что онъ дѣлаетъ и какъ онъ ухитряется дѣлать что-нибудь порядочное тамъ, гдѣ другіе ничего не могутъ сдѣлать,—это для насъ остается тайной. Онъ мигомъ устроилъ Обломовку для Ильи Ильича;—какъ? этого мы не знаемъ. Онъ мигомъ уничтожилъ фальшивый вексель Ильи Ильича: — какъ? это мы знаемъ. Поѣхалъ къ начальнику Ивана Матвѣича, которому Обломовъ далъ вексель, поговорилъ съ нимъ дружески, — Ивана Матвѣича призвали въ присутствіе и не только что вексель велѣли возвратить, но даже и изъ службы выходить приказали. И по дѣломъ ему, разумѣется; но, судя по этому случаю, Штольцъ не до-

росъ еще до идеала общественнаго русскаго дѣятеля. Да и нельзя еще: рано. Теперь еще,—хотя будь семи пядей во лбу, а въ замѣтной общественной дѣятельности можешь, пожалуй, быть *добродѣтельнымъ откупщикомъ* Муразовымъ, дѣлающимъ добрыя дѣла изъ десяти милліоновъ своего состоянія, или благороднымъ помѣщикомъ Костанжогло, — но далѣе не пойдешь... И мы не понимаемъ, какъ могъ Штольцъ въ своей дѣятельности успокоиться отъ всѣхъ стремленій и потребностей, которыя одолѣвали даже Обломова, какъ могъ онъ удовлетвориться своимъ положеніемъ, успокоиться на своемъ одинокомъ, отдѣльномъ, исключительномъ счастьи... Не надо забывать, что подъ нимъ болото, что вблизи находится старая Обломовка, что нужно еще расчищать лѣсъ, чтобы выйти на большую дорогу и убѣжать отъ обломовщины. Дѣлалъ ли что-нибудь для этого Штольцъ, что именно дѣлалъ и какъ дѣлалъ,—мы не знаемъ. А безъ этого мы не можемъ удовлетвориться его личностью... Можемъ сказать только то, что не онъ тотъ человѣкъ, который «сумѣетъ, на языкѣ понятномъ для русской души, сказать намъ это всемогущее слово: «впередъ»!

Можетъ быть, Ольга Ильинская способнѣе, нежели Штольцъ, къ этому подвигу, ближе его стоитъ къ нашей молодой жизни. Мы ничего не говорили о женщинахъ, созданныхъ Гончаровымъ: ни объ Агафьѣ Матвѣевнѣ Пшеницыной (ни даже объ Анисьѣ и Акулинѣ, которыя тоже отличаются своимъ особымъ характеромъ), потому что сознавали свое совершеннѣйшее безсиліе—что-нибудь сносное сказать о нихъ. Разбирать женскіе типы, созданные Гончаровымъ, значитъ предъявлять претензію быть великимъ знатокомъ женскаго сердца. Не имѣя же этого качества, женщинами Гончарова можно только восхищаться. Дамы говорятъ, что вѣрность и тонкость психологическаго анализа у Гончарова изумительна, и дамамъ въ этомъ случаѣ нельзя не повѣрить... Прибавить же что-нибудь къ ихъ отзыву мы не осмѣливаемся, потому что боимся пускаться въ эту совершенно невѣдомую для насъ страну. Но мы беремъ на себя смѣлость, въ заключеніе статьи, сказать нѣсколько словъ объ Ольгѣ и объ отношеніяхъ ея къ обломовщинѣ.

Ольга, по своему развитію, представляетъ высшій идеалъ, какой только можетъ теперь русскій художникъ вызвать изъ теперешней русской жизни. Оттого она, необыкновенной ясностью и простотой своей логики и изумительной гармоніей своего сердца и воли, поражаетъ насъ до того, что мы готовы усомниться въ ея даже поэтической правдѣ и сказать: «такихъ дѣвушекъ не бываетъ». Но слѣдя за нею во все продолженіе романа, мы находимъ, что она постоянно вѣрна себѣ и своему развитію, что она представляетъ не сентенцію автора, а живое лицо, только такое, какихъ мы еще не встрѣчали. Въ ней-то болѣе, нежели въ Штольцѣ, можно видѣть намекъ на новую русскую жизнь; отъ нея можно ожидать слова, которое сожжетъ и развѣетъ обломовщину... Она начинаетъ съ любви къ Обломову, съ вѣры въ него, въ его нравственное

преобразованіе... Долго и упорно, съ любовью и нѣжною заботливостью трудится она надъ тѣмъ, чтобы возбудить жизнь, вызвать дѣятельность въ этомъ человѣкѣ. Она не хочетъ вѣрить, чтобы онъ былъ такъ безсиленъ на добро; любя въ немъ свою надежду, свое будущее созданіе, она дѣлаетъ для него все: пренебрегаетъ даже условными приличіями, ѣдетъ къ нему одна, никому не сказавшись, и не боится, подобно ему, потери своей репутаціи. Но она съ удивительнымъ тактомъ замѣчаетъ тотчасъ же всякую фальшь, проявлявшуюся въ его натурѣ, и чрезвычайно просто объясняетъ ему, какъ и почему это ложь, а не правда, Онъ, напримѣръ, пишетъ ей письмо, о которомъ мы говорили выше, и потомъ увѣряетъ ее, что писалъ это единственно изъ заботы о ней, совершенно забывши себя, жертвуя собою, и т. д.—«Нѣтъ,—отвѣчаетъ она,—неправда: если бъ вы думали только о моемъ счастіи и считали необходимою для него разлуку съ вами, то вы бы просто уѣхали, не посылая мнѣ предварительно никакихъ писемъ». Онъ говоритъ, что боится ея несчастія, если она современемъ пойметъ, что ошиблась въ немъ, разлюбитъ его и полюбитъ другого. Она спрашиваетъ въ отвѣтъ на это: «гдѣ же вы тутъ видите несчастье мое? Теперь я васъ люблю, и мнѣ хорошо; а послѣ я полюблю другого и, значитъ, мнѣ съ другимъ будетъ хорошо. Напрасно вы обо мнѣ безпокоитесь». Эта простота и ясность мышленія заключаютъ въ себѣ задатки новой жизни, не той, въ условіяхъ которой выросло современное общество... Потомъ, — какъ воля Ольги послушна ея сердцу! Она продолжаетъ свои отношенія и любовь къ Обломову, несмотря на всѣ постороннія непріятности, насмѣшки, и т. п., до тѣхъ поръ, пока не убѣждается въ его рѣшительной дрянности. Тогда она прямо объявляетъ ему, что ошиблась въ немъ, и ужъ не можетъ рѣшиться соединить съ нимъ свою судьбу. Она еще хвалитъ и ласкаетъ его и при этомъ отказѣ, и даже послѣ; но своимъ поступкомъ она уничтожаетъ его, какъ ни одинъ изъ обломовцевъ не былъ уничтожаемъ женщиной. Татьяна говоритъ Онѣгину, въ заключеніе романа:

«Я васъ люблю (къ чему лукавить?)
Но я другому отдана
И буду вѣкъ ему вѣрна»....

Итакъ, только внѣшній нравственный долгъ спасаетъ ее отъ этого пустого фата; будь она свободна, она бы бросилась ему на шею. Наталья оставляетъ Рудина только потому, что онъ самъ уперся на первыхъ же порахъ, да и проводивъ его, она убѣждается только въ томъ, что онъ ее не любитъ, и ужасно горюетъ объ этомъ. Нечего и говорить о Печоринѣ, который успѣлъ заслужить только *ненависть* княжны Мери. Нѣтъ, Ольга не такъ поступила съ Обломовымъ. Она просто и кротко сказала ему: «я узнала недавно только, что я любила въ тебѣ то, что я хотѣла, чтобъ было въ тебѣ, что указалъ мнѣ Штольцъ, что мы выдумали съ нимъ.

Я любила будущаго Обломова! Ты кротокъ, честенъ, Илья; ты нѣженъ... какъ голубь; ты спрячешь голову подъ крыло—и ничего не хочешь больше; ты готовъ всю жизнь проворковать подъ кровлей... да я не такая: мнѣ мало этого, мнѣ нужно чего-то еще, а чего—не знаю!» И она оставляетъ Обломова, и она стремится къ своему *чему-то*, хотя еще и не знаетъ его хорошенько. Наконецъ она находитъ его въ Штольцѣ, соединяется съ нимъ, счастлива: но и тутъ не останавливается, не замираетъ. Какіе-то туманные вопросы и сомнѣнія тревожатъ ее, она чего-то допытывается. Авторъ не раскрылъ предъ нами ея волненій во всей ихъ полнотѣ, и мы можемъ ошибиться въ предположеніи насчетъ ихъ свойства. Но намъ кажется, что это въ ея сердцѣ и головѣ вѣяніе новой жизни, къ которой она несравненно ближе Штольца. Думаемъ такъ потому, что находимъ нѣсколько намековъ въ слѣдующемъ разговорѣ:

«— Что же дѣлать? поддаться и тосковать?—спросила она.

«— Ничего,—сказалъ онъ:—вооружиться твердостью и спокойствіемъ. Мы не титаны съ тобой,—продолжалъ онъ, обнимая ее:—мы не пойдемъ, съ Манфредами и Фаустами, на дерзкую борьбу съ мятежными вопросами, не примемъ ихъ вызова, склонимъ головы и смиренно переживемъ трудную минуту, и опять потомъ улыбнется жизнь, счастье и....

«— А если они никогда не отстанутъ: грусть будетъ тревожить все больше, больше?... спрашивала она.

«— Что жъ? примемъ ее, какъ новую стихію жизни.... Да нѣтъ, этого не бываетъ, не можетъ быть у насъ! Это не твоя грусть; это общій недугъ человѣчества. На тебя брызнула одна капля.... Все это страшно, когда человѣкъ отрывается отъ жизни,—когда нѣтъ опоры. А у насъ»....

Онъ не договорилъ, что *у насъ*... Но ясно: что это *онъ* не хочетъ «итти на борьбу съ мятежными вопросами», *онъ* рѣшается «смиренно склонить голову»... А она готова на эту борьбу, тоскуетъ по ней и постоянно страшится, чтобъ ея тихое счастье съ Штольцемъ не превратилось во что-то, подходящее къ обломовской апатіи. Ясно, что она не хочетъ склонять голову и смиренно переживать трудныя минуты, въ надеждѣ, что потомъ опять улыбнется жизнь. Она бросила Обломова, когда перестала въ него вѣрить; она оставитъ и Штольца, ежели перестанетъ вѣрить въ него. А это случится, ежели вопросы и сомнѣнія не перестанутъ мучить ее, а онъ будетъ продолжать ей совѣты—принять ихъ, какъ новую стихію жизни и склонить голову. Обломовщина хорошо ей знакома, она сумѣетъ различить ее во всѣхъ видахъ, подъ всѣми масками, и всегда найдетъ въ себѣ столько силъ, чтобъ произнести надъ нею судъ безпощадный...

НОВЫЙ КОДЕКСЪ

РУССКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ МУДРОСТИ.

(Наука жизни, или какъ молодому человѣку жить на свѣтѣ. *Ефима Дымана.* Спб. 1859.)

Время отъ времени являются у насъ мудрецы, желающіе быть руководителями молодыхъ людей на жизненномъ поприщѣ. Большею частію это бываютъ люди, искушенные долгимъ опытомъ жизни и оттого смотрящіе на все нѣсколько мрачно. Иные доходятъ даже до того, что вмѣсто всякихъ совѣтовъ предписываютъ только угрозы и побои. Таковъ, напр., долженствующій быть знаменитымъ, г. Миллеръ-Красовскій (о которомъ мы говоримъ въ этой книжкѣ), полагающій всю надежду воспитанія въ *пощечинахъ*. Но не таковъ г. Ефимъ Дымманъ, составившій «Науку жизни». Его направленіе очень мягко и благодушно. О дѣтяхъ, напр., онъ говоритъ слѣдующее:

«Тѣлесно дѣтей никогда не наказывать, въ *отвращеніе грубыхъ чувствъ упрямства и ожесточенія*. Какова бы ни была вина дѣтей, не дѣлать изъ того ни шума, ни криминала, никогда на нихъ *не кричать*, и *вразумлять* ихъ всегда съ ласкою, *толкуя имъ* тихо и ясно, какъ поступокъ ихъ вреденъ, и какія изъ того могутъ выйти дурныя послѣдствія» (стр. 326).

Вы уже чувствуете расположеніе къ автору за такую гуманность, и думаете, что г. Дымманъ далеко ушелъ отъ теорій г. Миллеръ-Красовскаго. Съ точки зрѣнія г. Миллеръ-Красовскаго, подобныя мысли должны представляться безумными и отчаянно либеральными. Какъ! Не бить дѣтей! Не кричать на нихъ!! Вразумлять ихъ!! Толковать имъ о вредныхъ послѣдствіяхъ, какія можетъ имѣть ихъ поступокъ!!! Что можетъ быть ужаснѣе для вѣрнаго *рыцаря трехъ пощечинъ?* Какое преступленіе можетъ болѣе этого возмутить его? Навѣрно, г. Миллеръ-Красовскій скажетъ о г. Дымманѣ, что онъ «не заглядывалъ въ жизнь и силенъ однѣми кабинетскими теоріями»; навѣрное сочтетъ его послѣдователемъ «Руссовскихъ плевелъ филантропизма».

Но формы, въ которыхъ проявляется житейская философія, могутъ быть очень разнообразны, нисколько не измѣняя тѣмъ ея существеннаго характера. Прочитавъ «Науку жизни», мы увидимъ, что г. Ефимъ Дымманъ въ сущности не менѣе кого другого уважаетъ молчалинскую теорію умѣренности и аккуратности; безусловное повиновеніе онъ любитъ не менѣе, чѣмъ самъ рыцарь *трехъ пощечинъ*. Но складъ ума г. Ефима Дыммана болѣе дипломатическій, и оттого правила, предписываемыя имъ, никогда не имѣютъ такого жестокаго характера и даже въ грамматическомъ отношеніи не столь ужасны, какъ «Основные законы воспитанія» г. Миллеръ-Красовскаго, восхищающагося своими *тремя пощечинами*. Г. Ефимъ Дымманъ отличается чрезвычайнымъ житейскимъ благоразуміемъ и такою гибкостью ума и совѣсти, какой можетъ позавидовать любой дипломатъ. Вотъ отчего и происходитъ видимое различіе его совѣтовъ отъ предписаній мудрецовъ, подобныхъ г. Миллеръ-Красовскому. Но по самой ловкости изложенія «Наука жизни» заслуживаетъ того, чтобы на нее обратить серьезное вниманіе. Въ ней возведено въ систему то, что у насъ обыкновенно дѣлается безсознательно; она представляетъ кодексъ принятой нынѣ житейской нравственности. Съ этой точки зрѣнія она очень любопытна, и мы считаемъ не лишнимъ разсмотрѣть ее съ нѣкоторой подробностью.

Авторъ «Науки жизни», какъ открывается изъ разныхъ мѣстъ книги, служилъ прежде въ военной службѣ; дошелъ до степеней извѣстныхъ, содѣлался старцемъ, былъ женатъ, но теперь живетъ одиноко, имѣя въ домѣ четырехъ человѣкъ: пожилую женщину, въ родѣ ключницы, кучера, повара и лакея, которые безпрестанно между собою ссорятся и *просятъ разсчета* у автора (стр. 242). Но г. Ефимъ Дымманъ и съ этими безпокойными людьми умѣетъ ладить такъ же хорошо, какъ онъ ладитъ со всѣми на свѣтѣ, и въ этомъ-то умѣньи со всѣми ладить заключается его искусство общежитія, которое хочетъ онъ передать молодымъ людямъ.

«Наука жизни» заключаетъ въ себѣ именно правила о томъ, какъ ужиться съ людьми, пріобрѣсть общее уваженіе и нажить состояніе. По благожелательности и по добротѣ своего сердца, авторъ заботится о мирѣ, тишинѣ и общемъ благополучіи; но опытъ жизни, содѣлавъ его Талейраномъ, научилъ его не предаваться движеніямъ своего сердца. «Прежде всего,—совѣтуетъ онъ юношѣ,—сдѣлай себѣ всегдашнимъ правиломъ никогда не предаваться своему первому движенію, какъ въ отношеніи людей, такъ и во всѣхъ твоихъ дѣлахъ» (стр. 235). Вы знаете, что и Талейранъ говорилъ то же самое, прибавляя только резонъ: *потому* что первое движеніе всегда хорошо». Кажется, что и г. Ефимъ Дымманъ имѣетъ ту же тайную мысль; но онъ не такъ простъ, чтобы высказать ее прямо: опытъ жизни научилъ его быть осторожнѣе и хитрѣе Талейрана. Вслѣдствіе того, онъ и не говоритъ иначе, какъ языкомъ дипломатическимъ. Юноши, которые будутъ читать «Науку жизни»,

непремѣнно должны имѣть это въ виду. Для того, чтобы лучше понять ее, они могутъ даже составить небольшой объяснительный словарь употребительнѣйшихъ въ ней словъ. Напр., *лицемѣріе* въ наукѣ жизни изображается постоянно подъ видомъ *вѣжливости*, *подлость* — подъ именами *угожденія* и *искательства*, *мошенничество* — называется *ловкостью*, *подозрительность* и *малодушіе* — *осторожностью*, *кража* всѣхъ видовъ—*пользованіемъ обстоятельствами*, *шарлатанство—сноровкою*, и пр. И все это пересыпается, само собою разумѣется, безпрестанными громкими воззваніями о честности, добросовѣстности, братолюбіи, помощи несчастнымъ, и т. п. Словомъ, вся книжка составлена чрезвычайно дипломатически. Разсмотримъ же сущность ея содержанія, имѣя въ виду сдѣланную нами оговорку относительно фразеологіи автора.

Цѣлью жизни поставляетъ г. Дымманъ пріобрѣтеніе житейскаго благополучія, т. е. общаго почета, обезпеченнаго состоянія и долговѣчности. Средства для этой цѣли предписываются самыя практическія, и притомъ такого свойства, что, по мнѣнію самого автора, «для человѣка слабаго духомъ могутъ показаться трудными». «Но,— продолжаетъ онъ,—за то они вѣрны и дѣйствительны, и мы съ ними совершимъ дѣло чудное: пріобрѣтемъ любовь людей, повелителей міра; *честнымъ образомъ* обезпечимъ себя состояніемъ и будемъ здоровы, счастливы и долговѣчны. А изъ благодарности ко Всевышнему, даровавшему намъ эти средства, будемъ помогать неимущимъ и слабымъ, защищать праваго и невиннаго и стяжаемъ имя людей добрыхъ, честныхъ и благоразумныхъ» (стр. 344). Этими словами оканчиваетъ авторъ свою книгу, и вы видите, что онъ хлопочетъ о добрѣ и честности. Слушайтесь его, и вы будете долговѣчны, богаты и всѣми уважаемы, оставаясь честнымъ человѣкомъ. Авторъ увѣренъ въ этомъ, и, какъ намъ кажется, не напрасно. Съ полнымъ и горячимъ убѣжденіемъ (хотя нѣсколько и витіевато) говоритъ онъ въ началѣ книги: «Прежде приступа къ нашему дѣлу, весьма серьезному и очень далекому отъ всякаго пустословія и отъ всякаго сцѣпленія забавныхъ, скуки ради, приключеній, скажу я тебѣ, юноша, что *ни въ чемъ такъ свято и положительно не увѣренъ я, какъ въ пользѣ и добрѣ, приносимыхъ мною въ даръ прекрасному нашему юношеству этою книгою*: что ни надъ чѣмъ не трудился я съ такимъ душевнымъ посвященіемъ, какъ надъ нею, и что ничего въ жизни пламеннѣе не желаю я, какъ того, чтобы юное наше поколѣніе вполнѣ ею воспользовалось» (стр. 13). Мы не станемъ до времени выражать нашего мнѣнія о томъ, желательно ли, чтобы въ самомъ дѣлѣ кто-нибудь воспользовался правилами г. Ефима Дыммана. Но мы смѣло можемъ сказать, что *кто принимаетъ конечную цѣль автора*—всеобщее уваженіе и обезпеченное состояніе,—тотъ найдетъ въ его книгѣ много практически полезныхъ совѣтовъ, очень ловко примѣненныхъ къ духу современнаго нашего общества. Представимъ нѣкоторые изъ нихъ нашимъ читателямъ и потомъ посмотримъ, какое значеніе могутъ имѣть

они въ русской жизни, между русскими людьми, поставленными такъ, какъ они поставлены при современномъ нашемъ общественномъ устройствѣ.

Прежде всего замѣтимъ, что г. Дымманъ имѣетъ въ виду людей не обезпеченныхъ и независимыхъ, а такихъ, которые должны чего-нибудь добиться въ жизни. Поэтому онъ очень сильно напираетъ на необходимость людямъ трудиться, сберегать свои силы, не пьянствовать, не возставать противъ начальства, не вѣрить ворожеямъ и сновидѣньямъ, не буйствовать, не предаваться неумѣренно ласкамъ женщинъ, и пр. Нельзя не согласиться, что всѣ подобные совѣты очень благоразумны, съ какой хотите точки зрѣнія. Выражаетъ ихъ авторъ очень сильно и подтверждаетъ примѣрами еще болѣе сильными. Напр., вотъ что говоритъ онъ о ласкахъ женщинъ:

«*Я былъ очевидцемъ,* какъ одинъ здоровый молодой человѣкъ, предавшись неумѣренно ласкамъ женщинъ (чему былъ очевидцемъ г. Ефимъ Дымманъ!!!), безъ малѣйшаго страданья вдругъ почувствовалъ безсиліе и ослабленіе памяти, возраставшія *всякую минуту,* въ такой степени, что *на другой день* онъ не могъ даже припомнить словъ къ разговору, *а на третій* уже его не было въ живыхъ» (стр. 340).

Видите,—какъ скоро!.. Есть нравоучительная книжка: «Сорокъ лѣтъ пьяной жизни»; такъ въ той вредъ пьянства доказывается тѣмъ, что человѣкъ, пьянствовавшій *сорокъ лѣтъ*,—наконецъ сгорѣлъ... А у г. Ефима Дыммана — какъ только человѣкъ предался неумѣренно ласкамъ женщинъ, такъ на другой же день память потерялъ, а на третій ужъ и Богу душу отдалъ... Примѣръ, въ самомъ дѣлѣ, поразительный!..

Но кромѣ отрицательныхъ совѣтовъ, г. Дымманъ даетъ юношѣ и положительныя правила. Сущность ихъ заключается, какъ онъ самъ говоритъ, «въ трехъ главнѣйшихъ откровеніяхъ,—*угожденіи, умѣренности* и *трудѣ*» (стр. 287). Всѣ три должны быть тѣсно связаны въ жизни и одно другому помогать. Трудиться долженъ человѣкъ, *угождая* другимъ, чтобы достигнуть цѣли своихъ стремленій; но въ стремленіяхъ всегда долженъ быть *умѣренъ*. Міръ и жизнь, по мнѣнію автора, превосходны. «Какова участь, каковъ удѣлъ человѣка на землѣ! — восклицаетъ онъ. — Цѣлый міръ, вся планета, вся земля дана ему на его пользу, для его наслажденія, для его счастья. Наша жизнь есть радостнѣйшая, прелестнѣйшая жизнь, и цѣлый міръ даровалъ намъ Господь на услажденіе ея» (стр. 132). Надобно только не искать невозможнаго, довольствоваться тѣмъ, что есть, и не итти противъ людей, нашихъ братьевъ, обладателей міра. «Не слушай неблагоразумныхъ, — совѣтуетъ г. Дымманъ,—которые корчатъ молодца противъ начальства, противъ существующаго порядка. Каковъ бы ни былъ этотъ порядокъ, но какъ установленіе людское, онъ совершеннымъ быть не можетъ никогда; равнымъ образомъ — съ постепеннымъ просвѣщеніемъ и устройствомъ самаго гражданскаго общества, и онъ не можетъ не

улучшаться» (стр. 112). Не правда ли, что совѣтъ г. Дыммана очень практиченъ и вполнѣ согласенъ съ теоріею угожденія и и умѣренности?

Съ тою же послѣдовательностью своимъ началамъ г. Дымманъ разсуждаетъ и о трудѣ. Онъ признаетъ трудъ полезнымъ для здоровья, и кромѣ того велитъ заботиться объ исполненіи всякой, даже самой ничтожной обязанности, *потому* что «нѣтъ такой маловажной должности, въ которой неутомимою, всегдашнею дѣятельностью нельзя было бы обратить на себя вниманія и милостей начальства, а за труды не получить награды и повышенія» (стр. 118). Впрочемъ, убиваться надъ работой, заботясь о пользѣ самого дѣла, г. Дымманъ не заставляетъ. Напротивъ, онъ даетъ такіе совѣты: «дѣла исполняй всегда открыто, *торжественно*, сохраняя всѣ временемъ принятые обряды; это *налагаетъ на исполнителей* (что?) и удерживаетъ ихъ въ строгомъ порядкѣ. *Держись крѣпко формальности*,—она часто наводитъ на важныя обстоятельства и указываетъ ходъ дѣлу. *Ничего не дѣлай на словахъ*, а всѣ дѣла должны быть ясно *изложены на бумагѣ* и облечены въ законную форму, крайне необходимую для справокъ» (стр. 273).

Вообще, какъ во всѣхъ своихъ разсужденіяхъ, такъ и въ самыхъ совѣтахъ относительно труда, г. Дымманъ является, такъ сказать, квіетистомъ. Онъ сознаетъ, напримѣръ, что правда почтенна, что добро дѣлать слѣдуетъ, что трудиться надобно честно, и т. п. Но, поставивъ себѣ цѣлью искусное общежитіе, онъ признаетъ благоразумнымъ и необходимымъ дѣлать уступки принятымъ въ обществѣ требованіямъ, плыть по теченію, не покушаться ни на какія перемѣны. «Правда есть свѣтъ яснѣе солнца, совершенство, свойство Божества! Сладка жертва, приносимая правдѣ, и сладко отстоять ее!» восклицаетъ г. Ефимъ Дымманъ,—и тутъ же прибавляетъ: «но съ правдой, какъ съ бритвой, надобно обходиться осторожно; въ противномъ случаѣ она зарѣжетъ». По мнѣнію г. Дыммана, человѣкъ, какъ существо разумное, долженъ стремиться къ правдѣ; но какъ существо ограниченное, слабое, долженъ къ ней стремиться только тогда, когда это *у мѣста* и *кстати*; «во многихъ же случаяхъ надобно укротить свой крикъ противъ неправды и держать языкъ за зубами» (стр. 156—157).

Какъ видите, у г. Дыммана всѣ добрыя стремленія признаются, но только въ той мѣрѣ, въ какой они могутъ достигаться безъ малѣйшаго разстройства заведеннаго порядка. Какъ скоро моя правда или честность могутъ кого-нибудь задѣть или мнѣ самому послужить помѣхою въ моихъ дѣлишкахъ, я воленъ отказаться отъ своей правды, и не только воленъ, но даже долженъ, если хочу показаться г. Дымману неглупымъ человѣкомъ. По его соображеніямъ, очень логическимъ, ясно выходитъ, что умнымъ человѣкомъ нужно считать только того, кто умѣетъ нажить состояніе. Вотъ слова г. Дыммана (стр. 177).

«Можно ли удивляться, когда люди, провѣдавъ, что у кого-нибудь есть много средствъ къ жизни (денегъ), хотя бы безъ всякой надежды получить изъ нихъ и самомалѣйшую частицу, низко тому кланяются и оказываютъ величайшее уваженіе? Не только невозможно, но *по самой строгой справедливости нельзя не уважать* того, у кого много средствъ къ жизни, потому что если онъ пріобрѣлъ эти средства, или лучше сказать, этихъ *свидѣтелей ума* самъ, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ *человѣкъ умный, а умныхъ людей должно уважать*. Если же эти средства къ жизни онъ не самъ пріобрѣлъ, а получилъ ихъ по наслѣдству, то *изъ уваженія, какъ къ его умному дѣду и прадѣду*, ихъ пріобрѣтшимъ, такъ равно и къ *самымъ этимъ, въ его распоряженіи находящимся, средствамъ нельзя не уважать его*.

«Чрезвычайно много есть людей, пользующихся въ свѣтѣ репутаціею умныхъ, которые, пройдя поприще своей жизни, живутъ въ большой бѣдности, то есть безъ средствъ къ жизни. Въ великость ума этихъ людей *я вѣрить не могу*, какъ потому, что *истинно умный человѣкъ долженъ скорѣе и ловче найтиться къ пріобрѣтенію средствъ къ жизни*, какъ самой необходимѣйшей потребности къ существованію, чѣмъ глупый; такъ и оттого, что гораздо *легче прослыть въ свѣтѣ глупому — умнымъ, чѣмъ честнымъ образомъ* (!) *нажить состояніе:* только ловко пусти людямъ пыль въ глаза, то они тебя и запишутъ въ умницы, ибо это имъ ничего не стоитъ; но чтобы отъ нихъ получить средства къ жизни, то надобно по крайней мѣрѣ пустить имъ пыль въ глаза золотую. *Я самъ не богатъ именно оттого только, что во время моей дѣятельной жизни недовольно былъ счастливъ*».

Авторъ «Науки жизни» хлопочетъ однакоже о томъ, чтобы нажить состояніе не иначе, какъ *честнымъ образомъ*. Взяточничество, казнокрадство, грабежъ, дѣланіе фальшивой монеты—онъ признаетъ дѣяніями преступными и низкими. Но что же онъ разумѣетъ подъ *честнымъ* наживаніемъ состоянія? Опять ту же угодливость, умѣренность и аккуратность. Онъ говоритъ, что «хитрое поле житейское мы должны пройти въ полной и непосредственной зависимости отъ людей, нашихъ непостижимыхъ братьевъ, и *непремѣнно* по ихъ кодексу, называемому общежитіемъ... Это хитрое общежитіе, базисъ нашей жизни, есть *тончайшее*, какое только могъ придумать людской умъ, *поведеніе человѣка* въ отношеніяхъ его къ людямъ всѣхъ сословій и состояній» (стр. 189). Понимаете ли дипломатику науки жизни, по г. Ефиму Дымману: грабежъ и взятки — довольно грубыя средства обогащенія, и потому они не приняты въ общежитіи, которое состоитъ въ *тончайшемъ поведеніи*. Именно этому *тончайшему* поведенію тончайшимъ образомъ и учитъ г. Дымманъ. Вотъ нѣкоторыя черты его.

При первой встрѣчѣ съ незнакомымъ человѣкомъ всегда нужно смотрѣть, не переодѣтый ли это разбойникъ или неблагонамѣренный фискалъ. Это правило выражено у г. Дыммана на 235 стр. слѣдующимъ образомъ:

«Вмѣни себѣ въ неизмѣнный законъ, при первомъ знакомствѣ съ какимъ бы то ни было человѣкомъ, тотчасъ спросить себя самого и слѣдить внимательно о томъ, точно ли тотъ, кѣмъ онъ называется и кого собою представляетъ: можетъ быть, это переодѣтый мошенникъ, плутъ, разбойникъ, неблагонамѣренный фискалъ, который хочетъ отъ тебя что-нибудь вывѣдать и вовлечь тебя въ худое дѣло, обыграть, или обворовать, или инымъ какимъ-нибудь образомъ сдѣлать тебѣ несчастіе».

И не только съ незнакомыми, но и вообще съ людьми надобно быть крайне осторожнымъ:

«Будь всегда какъ можно болѣе осторожнымъ съ людьми и во всѣхъ дѣлахъ. Но болѣе всего надобно осторожности въ словахъ: никогда ни съ кѣмъ не говори о политикѣ и не разсуждай о Правительствѣ; это самый опасный разговоръ; въ немъ могутъ представить твои слова совсѣмъ въ другомъ видѣ и оклеветать тебя, и чрезъ то однимъ разомъ можешь ты безвинно потерять все и даже самую жизнь» (стр. 239).

Въ служебной дѣятельности г. Дымманъ предписываетъ — въ одну сторону покорность, въ другую — строгость.

«Въ отправленіи своей обязанности безпрестанно помни, и всегда надъ ними трудись, два главныхъ обстоятельства: 1) *безусловно угождать своему начальнику*, и 2) *держать всѣхъ подчиненныхъ въ порядкѣ и повиновеніи*.

«Для этого первымъ твоимъ долгомъ будетъ узнать въ точности и подробнѣйшимъ образомъ все свое начальство, *порознь каждаго*: ихъ методу по службѣ, характеръ, правила, *образъ мыслей, ихъ слабости, семейную жизнь и связи*. Потомъ, *каково бы ни было твое начальство, хорошо или худо*, долженъ ты, соображаясь съ обстоятельствами, дѣйствовать такъ, чтобы *всенепремѣнно снискать его доброе къ себѣ расположеніе*, потому что если начальство тебя не жалуетъ, или имѣетъ о тебѣ дурное мнѣніе, то твоя служба пропала, хотя бы ты былъ геніемъ своего дѣла и исполнялъ его наилучшимъ образомъ. Болѣе всего въ этомъ случаѣ надобно ладить съ окружающими твоихъ начальниковъ, потому что, хотя и можно временно пріобрѣсти милостивое расположеніе начальника безъ ихъ пособія, но при малѣйшемъ ихъ къ тебѣ неблагопріятствѣ, какъ бы начальникъ твой ни былъ совершенъ, правдивъ и строгъ, они непремѣнно найдутъ случай его противъ тебя вооружить».

Съ подчиненными г. Дымманъ совѣтуетъ обходиться ласково и справедливо, но только не позволять имъ непокорности. «Если въ комъ-нибудь изъ твоихъ подчиненныхъ замѣтишь ты *хотя малѣйшую тѣнь непокорности, неблагонамѣренія или невниманія къ твоей власти*, то слѣди за всѣми его дѣйствіями, особенно и неупустительно всякую минуту». Если онъ тотчасъ раскается, то на первый разъ можно простить его, и только продолжать слѣдить за нимъ. Но «несмотря ни на какую личину преданности, если ты замѣтишь за твоимъ подчиненнымъ *самомалѣйшее недоброжелательство или непокорность* въ другой разъ, то представь объ немъ начальству, какъ *о человѣкѣ неблагонамѣренномъ и для службы вредномъ*» (стр. 268).

Заботливость г. Дыммана о юношѣ не ограничивается общественной его дѣятельностью, а проникаетъ и въ жизнь семейную: онъ даетъ наставленія относительно женитьбы. Нельзя не поблагодарить его за тѣ золотыя правила, которыя предписываетъ онъ молодымъ людямъ. «Женись,—говоритъ,—никакъ не ранѣе 35 лѣтъ, *потому* что женившись моложе (напр. 34-хъ лѣтъ), могъ бы ты имѣть *пятнадцать и болѣе* дѣтей, что составило бы тебѣ тяжкое обремененіе» (стр. 306). «Выбирая жену, совѣтуйся съ людьми почтенными. Если ты бѣденъ то не женись на дѣвушкѣ безъ приданаго: это есть злодѣйство хуже разбоя, криминалъ, непроститель-

ное малодушіе» (стр. 301). Но всего драгоцѣннѣе въ этомъ отношеніи глава подъ названіемъ: «Спасайся»! Въ ней заключается слѣдующее мудрое правило: случится съ тобою, молодой читатель, что какая-нибудь дѣвица прельститъ тебя, при первой твоей съ нею встрѣчѣ, или что та, къ которой ты былъ сначала равнодушенъ, начнетъ нечувствительнымъ образомъ тебѣ нравиться, случится непремѣнно, и не одинъ разъ». Что же дѣлать въ такомъ случаѣ? — «Спасайся»! восклицаетъ г. Дымманъ. «Отъ дѣвицы, начинающей тебѣ нравиться, на которой ты по благоразумію жениться не можешь (а по г. Дымману, ранѣе 35 лѣтъ всякому *неблагоразумно* жениться, значитъ, совѣтъ относится *ко всѣмъ* случаямъ подобнаго рода бывающимъ *со всѣми* молодыми людьми), нѣтъ другого способа спастись, какъ только отъ нея бѣжать и никогда съ нею не встрѣчаться». «Спасайся, спасайся», повторяетъ авторъ: «уйди изъ того дома и никогда въ него болѣе ни ногой» (стр. 304—305). Истинно-благодѣтельныя наставленія! Совѣтую вамъ, читатель, принять ихъ безусловно. По крайней мѣрѣ, что касается до меня, то я до 35 лѣтъ намѣренъ ими постоянно руководствоваться. Я буду спасаться и спасаться отъ дѣвицъ, которыя мнѣ станутъ нравиться. Иначе— шутка ли!—я могу пожалуй имѣть къ 35 годамъ «пятнадцать или болѣе дѣтей», что дѣйствительно составитъ для меня немалое обремененіе!

Но всего лучше въ книгѣ г. Ефима Дыммана тѣ мѣста, гдѣ онъ говоритъ *объ искательствѣ и угожденіи*. Тутъ онъ возвышается до самаго восторженнаго паѳоса.

«Угожденіе, угожденіе! (такъ восклицаетъ г. Ефимъ Дымманъ). Божественный даръ, небесный отводъ всѣхъ неудачъ и препятствій, нектаръ отъ жажды, небесная манна отъ голода, всесильное оружіе, равно побѣждающее и сильнаго и слабаго, и добраго и злого, для котораго нѣтъ ни врага, ни мстителя!

«Вотъ въ чемъ, юноша, заключается средство самое вѣрнѣйшее изъ всѣхъ, ключъ, свѣтъ, истинный генералъ-басъ науки жизни. Крѣпко и долго подумай надъ нимъ; и если ты будешь въ состояніи *вполнѣ* его постигнуть и *вполнѣ* имъ воспользоваться, то въ преуспѣяніи твоемъ я тебѣ порукою» (стр. 214).

И вслѣдъ за тѣмъ авторъ начинаетъ излагать извѣстную мораль изъ «Горя отъ ума»:

«Во первыхъ угождай всѣмъ людямъ безъ изъятья», и пр.

Въ переложеніи г. Дыммана она представляетъ такой видъ:

«Угождать надобно начальнику и подчиненному, сильному и слабому, умному и глупому, тому, съ кѣмъ дѣлаешь дѣла, и съ кѣмъ, можетъ быть, болѣе не встрѣтишься: своему слугѣ, мужику, всѣмъ и каждому, — *въ томъ святомъ убѣжденіи, что въ каждомъ человѣкѣ, каковъ бы онъ ни былъ, лучше припасти для себя доброе расположеніе*, чѣмъ ненависть. Врагамъ своимъ нужно угождать вдвое, чтобы ихъ превратить въ своихъ друзей.

«Ты будешь въ отношеніяхъ, а можетъ быть и въ зависимости у *гордеца, обнаруживающаго къ тебѣ, въ присутствіи всѣхъ, явное презрѣніе; у недоброжелателя*, надрывающагося на твою пагубу; у *завистливаго*, который, будетъ сохнуть отъ твоихъ удачъ; у *чудака*, упорствующаго въ самыхъ без-

умныхъ и вреднѣйшихъ сужденіяхъ и поступкахъ; однимъ словомъ, у людей, переполненныхъ такими *чудовищными, уродливыми* и даже иногда *злодѣйскими* влеченіями (къ счастію, такіе люди довольно рѣдки), что они тебя сначала поразятъ и отнимутъ у тебя къ угожденію имъ всякую надежду; но ты бодрости духа не теряй, и къ принятію отъ такихъ людей *всевозможныхъ непріятностей* приготовь и предрасположи себя заблаговременно и рѣшительно, на тотъ конецъ, чтобы никакое зло, какъ уже предвидѣнное, не могло тебя поразить. Потомъ дай съ твердостью самому себѣ такой обѣтъ: «чѣмъ злѣе человѣкъ и его дѣйствіе, тѣмъ болѣе я долженъ изыскать мѣръ и приложить старанія къ тому, чтобы *заслужить его къ себѣ доброе расположеніе непремѣнно, и тѣмъ отвратить отъ себя всякій, могущій произойти отъ его злости вредъ*». Наконецъ, вмѣни своему самолюбію въ торжество и славу *снискать расположеніе* къ себѣ именно того, кому наитруднѣе угодить» (стр. 215).

Вы скажете, что такое угожденіе людямъ негоднымъ, даже *злодѣямъ*, необходимо должно переходить въ подличанье, должно соединяться съ полнымъ отсутствіемъ въ человѣкѣ совѣсти и чести. Вы готовы осудить г. Дыммана, какъ проповѣдника безнравственности... Но не будьте слишкомъ торопливы: г. Дымманъ спѣшитъ предупредить васъ. Онъ самъ не менѣе васъ ненавидитъ обманъ и подлость, и вслѣдствіе того вотъ какъ объясняется съ юношею относительно правилъ общежитія:

«Боюсь я, чтобы ты, юноша, будучи, можетъ быть, очень юнымъ, этого всѣми принятаго общежитія не понялъ превратно и не подумалъ, что надобно сдѣлаться обманщикомъ или коварнымъ лицемѣромъ. Нѣтъ, это двѣ вещи совершенно разныя. Для лучшаго твоего уразумѣнія привожу тебѣ примѣръ: встрѣчаешь ты, положимъ, *отъявленнаго недоброжелателя и во всемъ дурного* человѣка; но вмѣстѣ съ тѣмъ, *по его отношеніямъ и степени*, на которой онъ стоитъ, человѣка *сильнаго;* то вмѣсто того, чтобы обнаружить къ нему явную ненависть и отвернуться отъ него, ты *долженъ, не показывая къ нему ни малѣйшаго нерасположенія, обойтись съ нимъ учтиво и вѣжливо. Это есть общежитіе.* Безстыдные же и безчестные обманъ и коварство суть слишкомъ извѣстные пороки, чтобы имъ приводить примѣры» (стр. 190).

Ясно ли? Отъ васъ требуется только *общежитіе*; а безчестныхъ поступковъ вамъ вовсе не предписываютъ. И отчего же не признать благоразумными и добродѣтельными, напр., слѣдующихъ поступковъ, предписываемыхъ юношамъ г. Ефимомъ Дымманомъ:

«Для вѣрнѣйшаго пользованія обворожительнымъ вниманіемъ, совѣтую тебѣ, юноша, завести, *непремѣнно завести* книгу, въ которую долженъ ты вписывать, по алфавитному порядку, имена и отчества всѣхъ твоихъ начальниковъ, товарищей и знакомыхъ, на тотъ конецъ, чтобы, *перечитывая отъ времени до времени*, могъ ты каждаго *называть по имени и отчеству*, что съ твоей стороны будетъ очень учтиво и внимательно, а для тѣхъ, которыхъ ты будешь такъ величать, *чрезвычайно пріятно*. Сверхъ того, знаніе именъ и отчествъ будетъ тебя часто выводить изъ затрудненія при надобности писать письма къ старымъ своимъ знакомымъ, которыхъ долго не видалъ.

Примѣръ. Обѣдаешь ли ты у знатнаго лица, и за столомъ, въ общемъ разговорѣ, какой нибудь *значительный человѣкъ*, съ которымъ ты никогда не имѣлъ и не имѣешь прямыхъ сношеній и самъ не знаешь его имени и отчества, *вдругъ, при всѣхъ называетъ тебя, человѣка малозначащаго, по имени и отчеству. Вообрази себѣ это живо, и ты поймешь, какъ было бы оно лестно и пріятно для твоего благороднаго самолюбія*».

Въ сношеніяхъ съ людьми нужными и даже ненужными, г. Дымманъ совѣтуетъ постоянно похваливать ихъ, такъ какъ похвала никогда ничего не испортитъ, и такъ какъ нѣтъ человѣка, у котораго не было бы чего-нибудь, стоящаго похвалы. «Не опасайся, чтобы кто-нибудь могъ тѣмъ обидѣться, и будь увѣренъ, что какъ бы кто твои похвалы ни принималъ, но послѣдствія всегда выйдутъ одни и тѣ же, т. е. что онъ къ тебѣ будетъ расположенъ наилучшимъ образомъ. Къ этому еще надобно добавить, что если бы ты въ бесѣдѣ съ кѣмъ-нибудь не находилъ предмета къ разговору, то начинай смѣло хвалить его самого, или его одежду, экипажи, лошадей, домъ и все, что у него знаешь хорошаго. Разговоръ, начатый такимъ образомъ, всякій станетъ продолжать охотно, и всегда за него будетъ къ тебѣ признателенъ. Такова человѣческая природа»! (стр. 254).

Кромѣ похвалы, г. Дымманъ совѣтуетъ пускать въ дѣло и *корысть*, т. е. невиннымъ образомъ подкупать значительныхъ людей.

«Въ знакомствахъ и отношеніяхъ съ людьми значительными можно съ умомъ и ловкостію употреблять самую ничтожную корысть съ успѣхомъ, напримѣръ: приноровить кстати пріятный сюрпризъ ихъ дѣтямъ, поднести имъ какую нибудь бездѣлку новаго изобрѣтенія, проиграть самыя незначительныя деньги въ коммерческую игру, и другими подобными угожденіями можно снискать расположеніе самаго безкорыстнаго человѣка» (стр. 252).

Такое практическое правило выведено г. Дымманомъ изъ того наблюденія, что «*къ несчастію*, теперь корысть сдѣлалась сильнѣйшимъ двигателемъ всего человѣческаго рода» (стр. 252).

То же самое замѣчаетъ г. Ефимъ Дымманъ и относительно гордости. Порокъ этотъ онъ считаетъ «до того *безумнымъ*, *отвратительнымъ* и *неприличнымъ человѣку*, что такъ и хочется сказать гордецу: надменный, надутый гордецъ! къ чему ты гордишься? вразумись, заблудшій»... и пр. (стр. 247). Однако же юношѣ г. Дымманъ не совѣтуетъ такъ отдѣлывать гордецовъ, а даетъ такое правило: «а гордецами смѣло повелѣвай *однимъ угожденіемъ*; имъ же угождать не трудно: знай *передъ ними разсыпай* пустую похвалу, и сдѣлаешь изъ нихъ, что тебѣ угодно» (стр. 248).

Но довольно, кажется. Вы познакомились, читатель, съ «Наукою жизни», и конечно исполнились уже благороднаго негодованія къ ея правиламъ. Вы находите, что они безнравственны, что іезуитство и маккіавелизмъ ихъ — возмутительны для честнаго человѣка, для котораго дороги убѣжденія, — что житейская дипломатія «Науки жизни» въ сущности есть не что иное, какъ послѣдняя степень нравственнаго и умственнаго растлѣнія.... Воспламеняясь благородными чувствами, вы начинаете смотрѣть на автора «Науки жизни» какъ на что-то исключительное, чудовищное, долженствующее пугать людей, вы полагаете, что теоріи его такъ дики, что никого не заразятъ; вы даже свысока удивляетесь, зачѣмъ мы такъ долго останавливаемъ ваше вниманіе на такой ничтожной брошюрѣ безвѣстнаго автора, не имѣющаго ничего

общаго съ современными стремленіями нашего общества... Но успокойтесь, читатель, вникните, въ дѣло хладнокровно и примите пожалуйста во вниманіе нѣсколько *обстоятельствъ*, которыя мы вамъ сейчасъ изложимъ.

Мы сами съ перваго раза возмутились было безцеремонными совѣтами г. Дыммана и готовы были счесть его человѣкомъ отсталымъ, явленіемъ исключительнымъ въ нашемъ обществѣ, которое такъ быстро идетъ по пути прогресса. Но послѣ нѣкотораго размышленія мы рѣшительно перемѣнили свой взглядъ. Дѣйствительно, говоря отвлеченно, нельзя не признать вполнѣ справедливымъ то негодованіе, которое человѣкъ, смотрящій со стороны, долженъ почувствовать къ теоріямъ г. Дыммана. Но въ томъ-то и дѣло,— имѣемъ ли мы право поставить себя совершенно въ сторонѣ отъ этихъ теорій. Что касается до насъ, то мы готовы признаться (какъ это ни горько), что въ дѣлѣ нравственности общественной мы не рѣшаемся считать себя совершенно чистыми отъ послѣдованія совѣтамъ г. Ефима Дыммана. Такое признаніе конечно вызоветъ у васъ презрительную улыбку. Но не торопитесь: мы въ своихъ недостаткахъ признаемся такъ смѣло потому вѣдь только, что увѣрены и въ васъ найти тѣ же самые... Да, читатель, кто бы вы ни были, но ежели только вы живете и дѣйствуете среди современнаго русскаго общества, то я смѣло говорю, что вы не можете стоять слишкомъ высоко надъ «Наукою жизни» г. Ефима Дыммана. Скажите, что васъ возмущаетъ въ ней? То, что человѣкъ, повидимому понимающій и уважающій правду и добро, сознательно приноситъ ихъ въ жертву житейскимъ выгодамъ? Да кто же изъ насъ этого не дѣлаетъ? Кто же изъ насъ беззавѣтно и всецѣло отдается своимъ чистымъ стремленіямъ, не оглядываясь назадъ, не увлекаясь соблазнами міра, не боясь ни гоненій, ни пытки, ни смерти? Гдѣ этотъ рыцарь безъ страха и упрека, гдѣ этотъ человѣкъ не отъ міра сего?

«Гдѣ ты? Откликнись! Нѣтъ отвѣта»...

Всѣ мы, проходя разныя науки, набрались, болѣе или менѣе, разныхъ идей о правдѣ и добрѣ, всѣ мы болѣе или менѣе проникнуты святыми и высокими стремленіями, сочувствуемъ общественнымъ интересамъ. Но вѣдь все то же самое есть и въ г. Дымманѣ; и онъ говоритъ о правдѣ и честности, и онъ совѣтуетъ заботиться о своихъ ближнихъ, даже о подчиненныхъ и слугахъ. «Дѣлай добро всегда, когда это не составитъ для тебя никакого неудобства; будь честенъ и правдивъ постоянно, когда это нисколько не нарушаетъ твоего комфорта»,—это правило проникаетъ собою всю книгу г. Дыммана, и... оно же постоянно выражается въ жизни каждаго изъ насъ. Мы только не имѣемъ добросовѣстности признаться въ этомъ, — ни другимъ, ни даже себѣ самимъ. А развѣ, напр., я, или вы, читатель, не соблюдаемъ той *осторожности въ словахъ*, о которой говоритъ г. Дымманъ на стр. 239

(см. выше)? Развѣ мы не встрѣчаемъ безпрестанно въ обществѣ людей, которыхъ признаемъ дурными и вредными, и развѣ мы съ ними не обходимся *вѣжливо*, вмѣсто изъявленія имъ прямо своего нерасположенія? Развѣ не оказываемъ уваженія деньгамъ, оправдывая на практикѣ умозрѣнія г. Дыммана? Развѣ не смѣемся, вмѣстѣ съ нимъ, надъ *«какой-то дѣвственной совѣстливостью или лучше малодушіемъ»* тѣхъ людей, которые ничего и ни въ комъ не умѣютъ *снискать* себѣ?... Развѣ мы не ищемъ расположенія начальства, не радуемся вниманію значительнаго лица, не бѣжимъ отъ женитьбы на бѣдной дѣвушкѣ, не желаемъ пріобрѣсти капиталецъ? Не называемъ ли мы утопистами, мечтателями, сумасбродами тѣхъ, кто толкуетъ о счастіи въ хижинѣ, о верховной силѣ истины въ мірѣ, всеобщемъ братствѣ, объ уничтоженіи всѣхъ искусственныхъ преградъ, всѣхъ давящихъ и озлобляющихъ отношеній между людьми? Будемъ же послѣдовательны, сдѣлаемъ простой силлогизмъ изъ слѣдующихъ положеній, неизбѣжно представляющихся нашему вниманію.

Человѣку нужно счастье, онъ имѣетъ право на него, долженъ добиваться его, во что бы то ни стало.

Счастье,—въ чемъ бы оно ни состояло примѣнительно къ каждому человѣку порознь,—возможно только при удовлетвореніи первыхъ матеріальныхъ потребностей человѣка, при обезпеченности его нынѣшняго положенія.

При современномъ устройствѣ и направленіи общества, не можетъ достигнуть обезпеченности, не можетъ и думать о достиженіи счастья тотъ, кто будетъ во всемъ, постоянно и неуклонно, слѣдовать своимъ высокимъ стремленіямъ, ни разу не уступитъ обычаю и силѣ, не затаитъ своей правды. Извѣстно, что такого человѣка не терпятъ въ обществѣ и не даютъ ему ходу, какъ безпокойному и опасному вольнодумцу.

Согласны вы принять эти три положенія? Или, можетъ быть, вы скажете, что наше современное общество уже даетъ полный просторъ честнымъ людямъ, — что у нихъ уже не можетъ теперь оставаться за душой невысказанной мысли, не можетъ встрѣтить помѣхи задуманное предпріятіе? Неужели вы рѣшитесь сказать это? Въ такомъ случаѣ не много же имѣете вы за душою честныхъ убѣжденій!...

Итакъ, я полагаю, что вы принимаете всѣ три положенія, указанныя выше. Что же изъ нихъ слѣдуетъ? По моему мнѣнію, выводъ не труденъ для человѣка, дѣйствительно уважающаго правду и въ самомъ дѣлѣ желающаго общаго блага. Если настоящія общественныя отношенія не согласны съ требованіями высшей справедливости и не удовлетворяютъ стремленіямъ къ счастью, сознаваемымъ вами, то, кажется, ясно, что требуется коренное измѣненіе этихъ отношеній. Сомнѣнія тутъ никакого не можетъ быть. Вы должны стать выше этого общества, признать его явленіемъ ненормальнымъ, болѣзненнымъ, уродливымъ, и не подражать его

уродству, а напротивъ громко и прямо говорить о немъ, проповѣдывать необходимость радикальнаго лѣченія, серьезной операціи. Почувствуете только, какъ слѣдуетъ, права вашей собственной личности на правду и на счастье, и вы самымъ непримѣтнымъ и естественнымъ образомъ придете къ кровной враждѣ съ общественной неправдой... Тогда-то, и только тогда, можете вы съ полнымъ правомъ считать себя честнымъ человѣкомъ, и вамъ уже возможно будетъ отвергать темныя сдѣлки съ ложью и неправою силою...

Но вы не чувствуете въ себѣ довольно силъ для того, чтобы возстать противъ цѣлаго общества? Вѣдь вы одни, а этихъ людей, съ которыми нужно бороться, такъ много и они такъ сильны!... Страшно даже вообразить себя въ открытой борьбѣ съ ними! И что тутъ сдѣлаешь? «Одинъ въ полѣ не воинъ; историческій прогрессъ, торжество правды и свѣта совершается трудно и медленно»... — Если такъ, то нечего намъ говорить съ вами: идите за «Наукою жизни» г. Ефима Дымана. Вѣдь и въ ней толкуется (вы это видѣли), что не нужно возставать противъ заведенныхъ порядковъ: современемъ они сами собою улучшатся, а до тѣхъ поръ надобно пользоваться тѣмъ, что есть. Вѣдь и г. Дымманъ пришелъ къ своей практической мудрости именно вслѣдствіе той основной мысли, что «свѣта намъ не передѣлать, а съ волками жить, такъ надо по-волчьи и выть». Ступайте же за г. Дымманомъ, признайте его своимъ учителемъ и вождемъ; мы не бросимъ въ васъ камня, какъ и въ него не бросаемъ. Но только будьте добросовѣстны: идя за своимъ наставникомъ, не прикидывайтесь людьми непоколебимыхъ убѣжденій, не щеголяйте презрѣніемъ къ практической мудрости, излагаемой въ «Наукѣ жизни». Вы можете кричать противъ взятокъ, противъ угнетенія, противъ обмана, тѣлеснаго наказанія, и пр., и пр. Всѣмъ этимъ вы недалеко уйдете отъ г. Дымана: и у него есть совѣты: не брать взятокъ, не драться, не отдавать денегъ въ ростъ, не дѣлать грубостей подчиненнымъ, и т. п. И все это не мѣшаетъ ему проповѣдывать *умѣренность* и *угодливость*. Вы можете считать это безнравственнымъ и безчестнымъ, сколько вамъ угодно; но всмотритесь пристальнѣе въ собственное поведеніе, и вы увидите, что на практикѣ вы безпрестанно дѣлаете именно то, что совѣтуетъ «Наука жизни». Не что иное, какъ молчалинская *умѣренность* вызываетъ у васъ эти восторженныя похвалы и неистовые клики радости при каждой вашей общественной поправкѣ изъ кулька въ рогожку. Не что иное, какъ *угодливость*, заставляетъ васъ цѣлые годы и десятки лѣтъ сидѣть, сложа руки, и грустнымъ взоромъ смотрѣть на зло и неправду въ обществѣ. Можетъ быть, вы при этомъ и не стремитесь упрочить себѣ состояніе, какъ совѣтуетъ г. Дымманъ; но во всякомъ случаѣ вы любите миръ, тишину и комфортъ... Добро и правда существуютъ у васъ только въ умозрѣніи, да и то гдѣ-то далеко на второмъ планѣ... Вы можете смѣло итти

рука объ руку съ г. Дымманомъ... Сдѣлайте надъ собой маленькое усиліе и признайтесь, что въ «Наукѣ жизни» возведенъ въ систему только нашъ постоянный образъ дѣйствій.

Но вамъ все еще совѣстно признаться въ этомъ? Вамъ хочется оправдать свой образъ дѣйствій общею человѣческой слабостью, и вы хотите поставить между собой и г. Дымманомъ то различіе, что онъ одобряетъ *искательство*, *угожденіе* и ложь всякаго рода для житейской выгоды, а вы гнушаетесь ими, и только по слабости и вслѣдствіе крайней нужды впадаете въ нихъ сами по временамъ. Но ежели такъ, ежели вы въ самомъ дѣлѣ гнушаетесь тѣмъ поведеніемъ, которое считаетъ похвальнымъ г. Дымманъ, то вашъ долгъ, какъ честнаго человѣка, не потакать себѣ, а принять совершенно противоположный образъ дѣйствій. Пока вы будете съ обществомъ связаны тѣми же отношеніями и интересами, какъ теперь, до тѣхъ поръ вамъ невозможно пріобрѣсти полнаго простора для вашихъ честныхъ, правдивыхъ стремленій; вы необходимо должны будете продолжать свои уступки въ пользу существующаго и укоренившагося зла. Значитъ, первымъ признакомъ того, что вы дѣйствительно гнушаетесь сдѣлками, предлагаемыми въ «Наукѣ жизни», должна служить опять-таки ваша рѣшимость — предпринять коренное измѣненіе ложныхъ отношеній, господствующихъ надъ нами и стѣсняющихъ нашу дѣятельность. И не нужно пугаться того, будто вы одни должны будете бороться съ неправдою цѣлаго міра. Такого геройства вовсе не потребуется. Правда, свѣтъ и счастье нужны всѣмъ; всякій къ нимъ стремится и всякій остается безъ удовлетворенія въ современномъ обществѣ. Вслѣдствіе этого, всякій радъ былъ бы отъ нея избавиться. Разумѣется, каждый отдѣльно боится приниматься за большое дѣло; но потому-то и надо стараться, чтобы это дѣло изъ сознанія частныхъ лицъ все болѣе и болѣе переходило въ общее сознаніе. Этой цѣли могутъ способствовать и творенія, подобныя книгѣ г. Ефима Дыммана: серьезно и добродушно, въ систематическомъ порядкѣ, съ убѣжденіемъ и даже паѳосомъ, излагаютъ они кодексъ отвратительной морали, при которой одной только и возможенъ житейскій успѣхъ въ современномъ обществѣ. Всѣ пользуются болѣе или менѣе этой моралью, но никто не хочетъ возводить ее въ правило, обязательное для себя. Прочитавъ книжку г. Дыммана, всякій, у кого сохранился въ натурѣ остатокъ честности, долженъ прійти въ состояніе человѣка, который долгое время по слабости характера позволялъ марать себѣ лицо женой пробкой, поить себя уксусомъ вмѣсто вина, и всячески надъ собой издѣваться извѣстному богачу, и который вдругъ прочиталъ о себѣ бумагу, что онъ находится въ кабалѣ у этого богача и необходимо долженъ выносить отъ него всякія оскорбленія. Естественно, что первая мысль, первое движеніе несчастнаго, при всей слабости его характера, будетъ — употребить отчаянное усиліе, чтобы избавиться отъ этой кабалы. Таково же должно быть

и впечатлѣніе *откровеній* г. Дыммана на всякаго человѣка, который въ душѣ предпочитаетъ правду лжи, свѣтъ — мраку и общее счастье — страданіямъ огромнаго большинства, претерпѣваемымъ въ угоду многихъ тунеядцевъ. И вотъ почему мы такъ долго останавливались на разборѣ этой книги. Мы сочли не безполезнымъ для людей, слишкомъ заботящихся о сохраненіи нынѣшняго statu quo, представить безпристрастное, систематическое изложеніе ихъ нравственности, почерпнутое изъ книги опытнаго старца, Ефима Дыммана. Пусть полюбуются на себя и пусть знаютъ, что истинное достоинство ихъ поступковъ не укрывается отъ людей, вступающихъ въ жизнь съ энергическими надеждами и желающихъ серьезнаго, истинно честнаго дѣла...

Исторія Австріи. Сочиненіе графа *Майлата*. Перев. съ нѣмецкаго. Москва. 1859.

Графъ Майлатъ — венгерецъ знатнаго рода, отличившійся вѣрной службою Австріи въ довольно важныхъ должностяхъ, ораторствовавшій въ пользу австрійскаго правительства въ 1848 г., поклонникъ Габсбургскаго дома и іезуитовъ. Столь почтенный мужъ, пользующійся въ Венгріи репутаціей ренегата, сочинилъ очень обширную и ученую исторію Австріи. Трудъ его такъ понравился австрійскому правительству, что оно поручило автору составить изъ него сокращеніе, для введенія въ руководство въ австрійскихъ школахъ. Это самое сокращеніе предлагается теперь русской публикѣ въ очень сноснымъ переводѣ, довольно слѣпо напечатанное на сѣроватой бумагѣ.

Кажется, этимъ уже все сказано о книгѣ графа Майлата; послѣ сообщенныхъ нами свѣдѣній, мы считаемъ разборъ ея совершенно ненужнымъ. Насъ гораздо болѣе занимаетъ вопросъ: зачѣмъ неизвѣстный переводчикъ потратилъ свой трудъ на такую книгу, которая систематически, сознательно и злонамѣренно лжетъ съ начала до конца?

Вопросъ этотъ задавалъ себѣ и самъ переводчикъ, очень хорошо знавшій, какъ оказывается изъ предисловія къ переводу, блестящія качества книги Майлата. Переводчикъ замѣчаетъ, что сокращеніе Майлата значительно искажено даже сравнительно съ тѣмъ самымъ сочиненіемъ, изъ котораго извлечено. Напр., изъ обширной исторіи Австріи, написанной Майлатомъ, можно видѣть, что Австрія — государство новое, случайное, не имѣющее корней ни въ какой народности; въ сокращеніи это очень тщательно скрыто, и Австрія изображается государствомъ, искони существующимъ, имѣвшимъ

свою отличительную, установившуюся народность еще въ XV в. Богемія и Венгрія съ самыхъ древнихъ временъ представляются какъ-то входящими въ составъ Австрійской имперіи, и народныя войны ихъ постоянно называются возмущеніями..: Милосердое и просвѣщенное правительство, мудрое внутреннее устройство, побѣдоносная армія, и т. п., рисуются, конечно, яркими чертами. Переводчикъ самъ указываетъ въ предисловіи на нѣкоторые факты, искаженные или утаенные Майлатомъ въ «Сокращенной исторіи Австріи», и сознается, что русскому переводчику нужно бы было оговорить ихъ въ примѣчаніяхъ. «Но, — прибавляетъ онъ, — пропуски многочисленны, и *пришлось бы всю книгу испестрить примѣчаніями*». Какъ вамъ это нравится? Книга такъ плоха, что и поправить ее трудно: нужно всю перемарать и передѣлать. Таковъ вѣдь, кажется, смыслъ словъ переводчика? Хорошая же рекомендація для читателя! Но переводчикъ идетъ еще дальше: онъ считаетъ нужнымъ *предостеречь* читателя отъ переведенной имъ книги и считаетъ для очистки своей совѣсти совершенно *достаточнымъ* слѣдующее замѣчаніе:

«Можетъ быть, для *предостереженія* читателя достаточно будетъ и одного слѣдующаго извѣстія: издаваемая нами книга введена, по распоряженію австрійскаго правительства, въ австрійскія учебныя заведенія. Нужно ли что прибавлять? (Пред. стр. III).

Наше изумленіе все увеличивается. «Такъ зачѣмъ, наконецъ, переведена и издана эта книга»? спрашиваемъ мы еще разъ. Предисловіе отвѣчаетъ: «не безъ причины». Какая же причина? — Ихъ двѣ: одна та, что исторію Австріи знать намъ нужно, а на русскомъ языкѣ нѣтъ никакой исторіи. Эта причина, по нашему мнѣнію, совершенно неосновательна: во-первыхъ, для перевода можно было выбрать что-нибудь не столь нелѣпое; а во-вторыхъ, лучше совсѣмъ не знать предмета, нежели имѣть о немъ совершенно превратное понятіе. Незнаніе хочетъ учиться, а ложное знаніе стремится къ ошибочнымъ выводамъ. Изъ «Исторіи Австріи» Майлата мы ничего не узнаемъ объ Австріи, кромѣ внѣшней послѣдовательности событій, извѣстныхъ намъ и изъ курса всеобщей исторіи. Къ чему же было и трудиться надъ ея переводомъ? Неужели для узнанія исторіи народа необходимо нуженъ ея учебникъ, официально введенный въ школахъ? Неужто нѣмцу, желающему узнать исторію Россіи, необходимо перевести учебникъ Устрялова?

Другая причина, приводимая переводчикомъ, еще страннѣе. Вотъ какъ она выражена въ предисловіи.

«Эти мнѣнія (приводимыя въ исторіи Майлата), кажется, безвредны для русскихъ читателей, послѣ опытовъ послѣдняго десятилѣтія. Пусть, напримѣръ, на русскомъ языкѣ читаются похвалы умѣренности и милосердію Австріи. Газеты, сообщающія о разстрѣливаніи итальянцевъ, не хотѣвшихъ стрѣлять въ хорватовъ, печатаются, слава Богу, также на русскомъ языкѣ. Да и память о венграхъ, отдавшихся въ плѣнъ русскимъ и убитыхъ австрійцами, и личное знакомство русской арміи съ *побѣдоносною* австрійскою, — убѣдительнѣе всѣхъ

книгъ. Безъ примѣчаній переводчика вспомнитъ читатель — и о избіеніи галицкаго дворянства, и о подвигахъ князя Виндишгреца въ Прагѣ, и о венгерскихъ дамахъ, которыхъ баронъ Гайнау счелъ нужнымъ наказывать розгами» (пред. IV).

И это опять-таки не резонъ. Если слѣдовать логикѣ переводчика, то можно врать все, что придетъ въ голову, оправдываясь тѣмъ, что «вѣдь вы можете узнать правду изъ другихъ источниковъ». Положимъ, что и такъ, положимъ, что моя ложь и не будетъ вредна; но все-таки зачѣмъ же лгать? Неужели для русской публики нуженъ на что-нибудь переводъ, напр., всеобщей исторіи, употребляющейся въ іезуитскихъ школахъ и признающій реформацію дѣломъ діавола. Филиппа II — образцомъ всѣхъ добродѣтелей, смерть Генриха IV — Божескимъ наказаніемъ за нетвердость въ католицизмѣ, и пр.

Къ мнѣнію о томъ, что для русскихъ безвредны ложныя книги объ Австріи, переводчикъ прибавляетъ, что знать ихъ даже полезно намъ, потому что изъ книгъ этихъ, и именно изъ Малайта, многія понятія и воззрѣнія перешли въ умы многихъ славянъ, венгерцевъ и нѣмцевъ, съ которыми намъ придется имѣть умственное общеніе. «Намъ не безполезно узнать ихъ прежде, чѣмъ мы вступимъ въ прямую бесѣду съ людьми, воспитавшимися въ австрійскихъ школахъ, подъ исключительнымъ вліяніемъ іезуитовъ и австрійскихъ учебныхъ чиновниковъ». Но тутъ неизвѣстный переводчикъ вдвойнѣ ошибается: напрасно полагаетъ онъ, что мнѣнія, излагаемыя Майлатомъ, могутъ быть только у людей, «воспитавшихся подъ исключительнымъ вліяніемъ іезуитовъ и австрійскихъ судебныхъ чиновниковъ»; напрасно также онъ думаетъ, что для насъ подобныя мнѣнія совершенно безвредны и никѣмъ у насъ не могутъ быть раздѣляемы. Мы беремся доказать ему противное, и случай намъ въ этомъ очень благопріятствуетъ: у насъ въ эту минуту находится подъ руками книга, изданная уже восемь лѣтъ тому назадъ, но недавно, по поводу политическихъ событій, вновь публикованная авторомъ: «Графъ Радецкій и его походы въ Италіи въ 1848 и 1849 гг.» Авторъ этой книги, г. П. Лебедевъ, генеральнаго штаба подполковникъ, императорской военной академіи профессоръ и «Русскаго Инвалида» редакторъ, — лицо, стало быть, компетентное. Раскройте же его книгу и посмотрите: какая разница въ его понятіяхъ объ Австріи отъ понятій графа Майлата? Развѣ только та, что у Майлата образъ выраженій умѣреннѣе, а у г. Лебедева гораздо болѣе военнаго краснорѣчія. А впрочемъ— они совершенно другъ съ другомъ сходятся. Возьмемъ для сравненія хоть то мѣсто изъ Майлата, гдѣ говорится объ Итальянской войнѣ 1848—1849 г. Кстати же теперь это предметъ современный.

«Въ Миланѣ поднялась буря, какъ скоро туда достигла вѣсть о вѣнскихъ событіяхъ. Борьба продолжалась уже два дня, когда фельдмаршалъ Радецкій получилъ извѣстіе, что сардинскій король, Карлъ Альбертъ, съ сильнымъ войскомъ перешелъ черезъ границу, *хотя еще не задолго предъ тѣмъ увѣрялъ въ*

своемъ миролюбіи. Радецкій тотчасъ же выступилъ и занялъ крѣпкое положеніе близъ Вероны.

«Между тѣмъ, въ тылу у Радецкаго поднялась Венеціанская область, и въ самой Венеціи была провозглашена республика. *Все спасеніе Австрійской монархіи* зависѣло отъ войска Радецкаго. *Карлъ Альбертъ напалъ на него при Санта-Лучіи и былъ разбитъ.* Радецкій пошелъ на Виченцу и въ одинъ день взялъ ее. Резервная армія, подъ предводительствомъ Нугента, покорила всю Венеціанскую область и приготовила путь для Радецкаго. *Послѣ трехдневныхъ блестящихъ сраженій произошла битва при Кустоци,* и сардинцы были вполнѣ разбиты. Они бѣжали изъ Ломбардіи и заключили перемиріе» (стр. 398).

Вотъ вамъ и вся кампанія 1848 г. Кто хоть немного знаетъ исторію похода Радецкаго въ 1848 г., тотъ, конечно, не въ силахъ будетъ удержаться отъ смѣха, читая такое изложеніе. Это вѣдь все равно, какъ разсказать, напр., войну 1812 г. такимъ образомъ:

«Наполеонъ пошелъ на Россію съ огромнымъ войскомъ. Вся надежда Россіи была возложена на ея храбрыхъ полководцевъ и вѣрную армію. Войска наши тотчасъ выступили и заняли сильную позицію у Смоленска. Наполеонъ напалъ на нихъ при Бородинѣ и былъ разбитъ. Вскорѣ онъ принужденъ былъ постыдно бѣжать изъ Москвы и, потерпѣвъ ужасныя пораженія при Тарутинѣ, Малоярославцѣ и Березинѣ, сдалъ русскимъ Парижъ и отрекся отъ французской короны».

Если хотите, почти все это даже и правда (разумѣется, съ нѣкоторыми натяжками); но можно ли такъ писать исторію?

А между тѣмъ въ такомъ именно смыслѣ пишетъ исторію г. П. Лебедевъ, несмотря на то, что онъ не находился, конечно «подъ исключительнымъ вліяніемъ іезуитовъ и австрійскихъ учебныхъ чиновниковъ». Вотъ его общія выводы о кампаніи 1848 г. въ Италіи:

«Такъ кончилась четырехмѣсячная *борьба безначалія съ порядкомъ и законностью* (т. е. Карла-Альберта съ Радецкимъ!). Начавъ ее при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, Радецкій умѣлъ сначала собрать и устроить свою армію, испыталъ ее въ дѣлѣ противъ непріятеля при Санта-Лучіи и, разгадавъ своего противника, усмиривъ край, находившійся въ тылу арміи, *перешелъ къ рѣшительному наступленію и въ двѣ недѣли* успѣлъ разбить и *окончательно разстроить* непріятельскую армію; взялъ городъ, бывшій началомъ и средоточіемъ *возстанія,* и водрузилъ побѣдныя знамена императорскія на берегахъ Тессино. Результаты удивительные, если принять во вниманіе смутное положеніе дѣлъ Австріи и незначительность силъ, которыя фельдмаршалъ имѣлъ подъ рукою!» (стр. 225).

Сравните этотъ отрывокъ съ выписаннымъ выше отрывкомъ изъ Майлата, и вы увидите, что сущность воззрѣній у обоихъ авторовъ одинакова, только что русскій превосходитъ австрійскаго краснорѣчіемъ и ненавистью къ Италіи. Австрійскій авторъ не говоритъ прямо, что итальянцы *бунтовали* противъ Австріи; русскій, напротивъ, ясно выражаетъ это и во многихъ мѣстахъ книги развиваетъ съ особенною любовью. Не говоримъ о томъ, что г. Лебедевъ вездѣ клеймитъ итальянскихъ воиновъ мятежниками, из-

мѣнниками, крамольниками и пр.; замѣтимъ одно, — что самую мысль объ итальянской народности онъ считаетъ преступною химерою, злонамѣренною фразою. Вотъ, напр., одно мѣсто изъ его книги:

«*Крамола* дѣйствовала тайно, *подрывая самыя главнѣйшія основанія законной власти;* свободное книгопечатаніе помогало распространенію идей о *мнимой* народности и необходимости національнаго единства, а между тѣмъ, для этого мнимаго единства ни одно мелкое владѣніе не хотѣло пожертвовать частію своей личной независимости; «единство Италіи» было гремучею фразою, которую повторяли два корифея новѣйшей итальянской литературы, *Джоберти* и Ацельо; *праздная молодежь* съ жадностью ловила эти фразы; національная гвардія, учрежденная въ Римѣ и Тосканскомъ герцогствѣ, была готовымъ орудіемъ для тѣхъ, которые, *съ преступной, ребяческой необдуманностью,* готовы были пожертвовать благосостояніемъ и спокойствіемъ милліоновъ — осуществленію своихъ *мечтательныхъ и неисполнимыхъ цѣлей*» (стр. 6).

Такой исключительности нѣтъ даже у австрійскаго автора, который вообще гораздо искуснѣе скрываетъ свои заднія мысли. Дѣло итальянской независимости онъ тоже готовъ признать бунтомъ, заговоромъ; но онъ не осмѣлился высказать это съ тѣмъ безсовѣстнымъ цинизмомъ, на который даетъ право только совершенное отсутствіе живой мысли и добросовѣстнаго знанія. Поэтому-то и въ упрекъ Карлу Альберту у Майлата замѣчено только, что онъ «еще незадолго передъ войной увѣрялъ въ своемъ миролюбіи». У нашего историка дѣло представлено гораздо съ большею рѣзкостью. Въ одномъ мѣстѣ, описавъ сраженіе австрійцевъ съ сардинцами, г. Лебедевъ говоритъ: «таково было сраженіе, окончательно рѣшившее торжество *праваго дѣла и порядка надъ измѣною и безначаліемъ*» (стр. 206). Очевидно, что Карлъ Альбертъ признается у г. Лебедева орудіемъ измѣны и не считается даже *начальникомъ* войны: иначе какое могло бы быть *безначаліе* въ предпріятіи, которое имъ было руководимо? И дѣйствительно, г. Лебедевъ очень безцеремонно объявляетъ, что «Карлъ Альбертъ пожертвовалъ спокойствіемъ своего государства, престоломъ и цѣлою арміею *для поддержанія дѣла нѣсколькихъ ломбардскихъ либераловъ*» (стр. 198). Итакъ, онъ стремился, самъ не зная куда, изъ угожденія *нѣсколькимъ* либераламъ и крамольникамъ (къ которымъ г. Лебедевъ причисляетъ даже ультра-католика и монархиста аббата Джіоберти),— и для нихъ-то жертвовалъ *арміею и престоломъ!* «Какая непостижимая глупость можетъ иногда обуять человѣка»,—невольно подумаешь, прочитавъ такое объясненіе поступковъ Карла Альберта!

И вѣдь приведенный отзывъ вовсе не составляетъ какой-нибудь обмолвки, фразы, сказанной для красоты слога. Нѣтъ, г. Лебедевъ серьезно увѣряетъ, что «*большинство жителей Ломбардіи было истинно предано австрійскому правительству и цѣнило его заботливость о благосостояніи края;* единство же Италіи было потребностью людей, которые прикрывали этимъ словомъ свои *личные, большею частію своекорыстные расчеты*» (стр. 84). Вслѣдствіе такого убѣжденія, г. Лебедевъ упрекаетъ австрійцевъ «*за*

излишнее довѣріе къ туземцамъ въ Италіи» (стр. 79). По его мнѣнію, послѣдствіемъ довѣрчивости австрійцевъ «*была почти общая измѣна*».

Вотъ какія мнѣнія печатаются у насъ объ Австріи учеными спеціалистами, а переводчикъ исторіи Майлата считаетъ *безвредными* его мнѣнія для нашей публики! У насъ, говоритъ, печатаются въ газетахъ «извѣстія о разстрѣливаніи итальянцевъ, не хотѣвшихъ стрѣлять въ хорватовъ». Такъ что же изъ этого? Спросите г. Лебедева, какъ онъ на это смотритъ; онъ вамъ скажетъ: «разумѣется, какъ на справедливую казнь измѣнниковъ». Вотъ что, напр., говоритъ онъ, восхваляя «*превосходный духъ офицеровъ*» австрійской арміи: «полкъ, армія—составляютъ отечество для австрійскихъ офицеровъ; будь онъ австріецъ, богемецъ, венгерецъ, кроатъ, полякъ или итальянецъ, онъ *прежде всего—солдатъ* и вѣрный слуга своего государства, а потомъ строгая добросовѣстность въ исполненіи обязанностей составляетъ отличительное его качество. *Часто случается*, что офицеръ, унтеръ-офицеръ, фельдфебель и вахмистръ—*не знаютъ языка своихъ подчиненныхъ;* но между ними устанавливается свой условный языкъ, *а главное*, простая нѣмецкая команда *заставляетъ каждаго дѣлать свое дѣло все въ порядкѣ*» (стр. 13). А если такъ, то почему же и не разстрѣливать другъ друга? Сдѣлаютъ *простую нѣмецкую команду*, каждый сдѣлаетъ *свое дѣло*, и порядокъ нимало не будетъ нарушенъ!...

По всей вѣроятности, переводчикъ Майлата не предполагалъ, что между русскими учеными спеціалистами еще существуютъ подобныя мнѣнія: иначе онъ, конечно, не рѣшился бы давать имъ новую поддержку въ авторитетѣ Майлата. Точно также онъ не зналъ вѣроятно и того, до какой степени искажаются историческіе факты и въ нашихъ доморощенныхъ исторіяхъ: иначе не сталъ бы онъ *таскать дрова въ лѣсъ*. Просмотрите, напр., книгу г. П. Лебедева хоть съ точки зрѣнія фактической вѣрности: вамъ больно и совѣстно сдѣлается. Точно такъ, какъ у австрійскаго историка,—чуть не пройдены молчаніемъ успѣхи сардинцевъ въ первый періодъ войны; битва при Санта-Лучіи расписана такъ, какъ будто она была для итальянцевъ чѣмъ-то въ родѣ березинской переправы Наполеона. Мало этого: говорится, что послѣ битвы при С.-Лучіи у австрійцевъ «успѣхъ слѣдуетъ за успѣхомъ, и вскорѣ истощенная и обезсиленная сардинская армія должна уже была сражаться не за побѣду, а за жизнь» (стр. 78). Сравните съ этимъ выписанное выше мѣсто, гдѣ говорится, что Радецкій *въ двѣ недѣли* отъ начала наступательныхъ дѣйствій разстроилъ сардинскую армію; выходитъ, что или Радецкій разстроилъ сардинцевъ въ двѣ недѣли послѣ битвы при С.-Лучіи, т. е. къ 20 мая, или что онъ потомъ *разстроилъ уже разстроенную* армію... И то и другое хорошо. Г. Лебедевъ, восхищаясь австрійскими успѣхами, забываетъ даже о томъ, что черезъ мѣсяцъ послѣ С.-Лучіи была битва при Гойто и взята была сардинцами Пескьера... Впрочемъ, онъ дѣло при Гойто

считаетъ *нерѣшительнымъ*, а Пескьеру—ничтожной крѣпостцой! За то вступленіе австрійцевъ въ Миланъ, 6-го августа, разсказано съ энтузіазмомъ, и доблести воиновъ Радецкаго отдана вполнѣ дань удивленія и восторга.

Не стали бы мы говорить о книгѣ г. Лебедева, но заблужденіе переводчика Майлата, будто бы у насъ въ публикѣ не вредны австрійскія нелѣпости, показалось намъ отчасти опаснымъ; для опроверженія же его мы не могли найти ничего лучше сочиненія г. Лебедева. Кстати же недавно о немъ была публикація у разныхъ книгопродавцевъ, какъ будто о новой книгѣ...

Основные законы воспитанія. Вкратцѣ изложилъ для семейства и школы *Н. А. Миллеръ-Красовскій*, кандидатъ С.-петербургскаго университета по факультету историко-филологическихъ наукъ, классный надзиратель при Гатчинскомъ Николаевскомъ сиротскомъ институтѣ. Изданіе автора. Спб. 1859 г.

Обращаемъ на эту книжку вниманіе тѣхъ благородныхъ оптимистовъ, которые слишкомъ много мечтаютъ о благотворности нашего университетскаго образованія. Они полагаютъ, что университетскій курсъ самъ по себѣ уже способенъ сдѣлать человѣка гуманнымъ и благороднымъ, придать его мысли ясность, твердость и послѣдовательность, освободить его отъ нелѣпыхъ заблужденій, невѣжественно передаваемыхъ дѣтямъ глупыми нянъками и пр., и пр. Пусть же они, эти благородные мечтатели познакомятся съ воззрѣніями и логикой г. Миллеръ-Красовскаго и увидятъ до какихъ позорныхъ нелѣпостей могутъ у насъ доходить люди, съ успѣхомъ кончившіе курсъ въ университетѣ.

Да, книжка г. Миллеръ-Красовскаго дѣлаетъ такой позоръ высшему нашему образованію, болѣе котораго трудно сдѣлать. Авторъ самъ себя на заглавномъ листѣ своей книги титуловалъ *кандидатомъ* университета; значитъ, онъ былъ въ своемъ курсѣ однимъ изъ лучшихъ студентовъ. Онъ поступилъ въ классные надзиратели Гатчинскаго института и 12 лѣтъ, какъ видно изъ книги, занимался дѣломъ воспитанія; слѣдовательно онъ не отвратился отъ науки и просвѣщенія для житейскихъ цѣлей, какъ дѣлаютъ многіе другіе, учащіеся въ университетѣ только *для правъ*, т. е. для чина. Мало того, онъ и свою воспитательную обязанность исполнялъ не машинально, не изъ-за того только, чтобы имѣть средства жить какъ-нибудь; нѣтъ—онъ размышлялъ о своемъ дѣлѣ, хотѣлъ осмыслить свое назначеніе, доходилъ до общихъ опредѣ-

леній, наконецъ даже написалъ и издалъ сочиненіе объ основныхъ законахъ воспитанія. Можно бы, кажется, ожидать чего-нибудь хорошаго. Рѣшительно, онъ могъ и долженъ былъ принадлежать къ числу лучшихъ студентовъ университета во время своего курса.

А между тѣмъ посмотрите, что говоритъ онъ о предметѣ, которому посвятилъ себя спеціально, — о воспитаніи. Въ прошломъ году мы представляли читателямъ образецъ обскурантскихъ, молчалинскихъ понятій изъ диссертаціи другого г. Миллера, Ореста. Но диссертація г. Ореста Миллера, несмотря на свою пошлую бездарность, была по крайней мѣрѣ написана довольно грамотно и не рѣшалась пускаться въ практическую сферу, довольствуясь восхваленіемъ молчалинскихъ добродѣтелей только въ теоріи. Г. Миллеръ-Красовскій, основываясь на собственной *двѣнадцатилѣтней* практикѣ, прямо преподаетъ воспитателямъ и юношамъ правила практической дѣятельности, увѣряя, что онъ основывается «на св. вѣрѣ и на самой жизни» (стр. 69). Даже въ газетной публикаціи о своей книгѣ, онъ прибавляетъ, что *педагогія краткая эта весьма важна и полезна, потому что изложена по опытности изъ русской жизни*» (см. «Спб. Вѣд.» № 188). Но, несмотря на такую авторскую рекомендацію, какое дикое смѣшеніе самыхъ разнообразныхъ понятій представляется въ его книгѣ! *Жизни* въ ней нѣтъ вовсе, и видно, что авторъ о жизни вовсе не заботился, сочиняя свои правила: такъ все въ нихъ мертво и формально. О *св. вѣрѣ* часто упоминаетъ г. Миллеръ-Красовскій; но и ея внушеніями онъ не пользуется такъ, какъ бы слѣдовало. У него встрѣчаются правила, имъ самимъ придуманныя и отличающіяся чрезвычайно мрачнымъ характеромъ. Мы, конечно, если бы и хотѣли, то никакъ не могли бы упрекнуть автора за нѣкоторыя мѣста, напр., за его общее понятіе о нѣмецкой и русской исторіи, выраженное имъ на стр. 5—6.

«Воспитаніе по цѣли и по содержанію можетъ служить зеркаломъ исторіи каждаго народа. Нѣмцы, напр., воспитывали человѣка, развивая его индивидуальныя силы *не для государства*, а для всего человѣчества. Такое слишкомъ отвлеченное стремленіе теперь оказывается непрактическимъ какъ въ единичномъ человѣкѣ, такъ и въ цѣлой Германіи, гдѣ, при всѣхъ ея достоинствахъ, недостаетъ единства и сосредоточенности силъ. Совсѣмъ другое мы видимъ въ Россіи. Богатая исторія русскаго народа постоянно развивалась изъ двухъ началъ, краснорѣчиво и сильно выражавшихся въ минуты отечественной невзгоды. Это именно нашъ народный девизъ: «за Вѣру и Царя».

Такія разсужденія должно признавать вполнѣ благонамѣренными, и мы нарочно ихъ выписали, чтобы съ самаго начала дать читателямъ понять, что г. Миллеръ-Красовскій, по своимъ основнымъ убѣжденіямъ, не принадлежитъ къ числу людей *неблагонамѣренныхъ*. То же самое должны мы сказать и о слѣдующемъ мѣстѣ, разсуждающемъ, хотя довольно безграмотно, о храненіи старинныхъ обычаевъ.

«Школьное знаніе отечественной исторіи всегда останется въ молодомъ

человѣкѣ мертвымъ, оно не перейдетъ въ его кровь, если семейная дисциплина не заставила его благоговѣть предъ обычаями, нравами и дѣлами, — какъ семейныхъ, такъ и народныхъ предковъ. Тутъ мы понимаемъ *не однихъ гербовъ, не громкихъ торговыхъ фирмъ;* нѣтъ, — и въ крестьянской избѣ отцы и дѣды должны служить *путеводительными точками* для молодого поколѣнія. Отъ стариковъ оно должно учиться вѣрно служить Богу и Царю. Эта мысль — основа воспитанія» (стр. 21).

Благочестіе и кроткая благонамѣренность автора выражается и въ слѣдующемъ мѣстѣ, возставать противъ котораго мы также не смѣемъ.

«И мы говоримъ: воспитывайте естественно, да только въ той мѣрѣ, какъ оно согласно съ законами Св. Церкви и отечества. Дисциплина налагается на насъ свыше, и потому уже вѣрующій человѣкъ не разсуждаетъ, почему оно такъ и не иначе. А если онъ сумѣетъ заглянуть въ человѣческое сердце, такъ онъ дѣйствительно тамъ найдетъ много такого вреднаго и лишняго, что искоренимо одною строгою дисциплиною» (стр. 26).

Чувство патріотизма, котораго нельзя порицать, и смиренія, которому нельзя не удивляться, видно и въ слѣдующей замѣткѣ автора о наградахъ ученикамъ.

«Во Франціи, педагогія громкими щедрыми наградами развиваетъ самолюбіе до тщеславія; у насъ награда дѣйствительная, потому что освящена *смиренностію*, какъ Св. Церковь и требуетъ этого: она большею частію раздается благословляющею рукою духовной особы» (стр. 41).

Нельзя также не отдать справедливости чувству благочестія, которое согрѣваетъ г. Миллера-Красовскаго, приводя его къ слѣдующимъ положеніямъ, напечатаннымъ въ его книгѣ нарочито-крупнымъ шрифтомъ.

1) Каждое крещенное дитя принадлежитъ Св. Церкви и потому занимаетъ законное мѣсто между міромъ.

2) Каждое крещенное дитя ростетъ подъ священнымъ дѣйствіемъ Святыхъ Таинствъ Крещенія, слѣдовательно оно имѣетъ полное право и на уваженіе міра (стр. 43).

Если строки эти показались вамъ слишкомъ крупны,—вина не наша: такимъ шрифтомъ почтены онѣ у самого автора.

Объясняя свои крупныя положенія шрифтомъ болѣе мелкимъ, г. Миллеръ-Красовскій прибавляетъ:

«Дитя есть Божіе достояніе: отказывать ему въ уваженіи христіанское благочестіе запрещаетъ. Родители разумнѣйшимъ образомъ возбуждаютъ и развиваютъ это чувство, — если, напр., день ангела, день рожденія дитяти празднуются благодарственнымъ молебствіемъ, если дитя получаетъ подарокъ и другія маленькія преимущества. Подъ такимъ направленіемъ дитя пойметъ, что оно также имѣетъ значеніе, также принадлежитъ Церкви и любимо Богомъ» (стр. 43).

Дѣлая честь благочестію автора, эти мысли совершенно согласны и съ общими его воззрѣніями, выражаемыми, напр., въ слѣдующихъ строкахъ:

«Законъ природы ужъ таковъ, что свѣту противорѣчитъ мракъ, теплотѣ — стужа, оазамъ — песчаныя, знойныя степи. Но Творецъ мудро устроилъ все. Поставивъ человѣческій разумъ для уравновѣшиванія и поборенія враждебныхъ физическихъ силъ, Онъ и человѣку также далъ возможность развить разумъ. Человѣкъ отъ Бога получилъ законъ, Его откровеніе, и съ тѣмъ вѣрнѣйшее средство побороть собственные зародыши нравственнаго мрака, зноя и холода. Всемірная исторія ясно доказываетъ намъ, что тамъ, гдѣ человѣкъ отступалъ отъ закона, Господь и каралъ его въ той мѣрѣ, въ какой истина нарушалась» (стр. 44).

Но, проводя въ своей книгѣ общія идеи, заимствованныя, по выраженію автора, «изъ русской жизни и вѣры», г. Миллеръ-Красовскій доходитъ до крайностей столь нелѣпыхъ, что трудно повѣрить, чтобы дошелъ до нихъ человѣкъ, съ успѣхомъ кончившій курсъ наукъ въ университетѣ. Онъ постоянно вооружается *на нѣмцевъ* (г. *Миллеръ*-Красовскій!), говоря, что они *омрачены Русскими плевелами* (стр. 44) и филантропическими тенденціями и, вслѣдствіе того, толкуютъ учащимся *про ихъ права*. Это вмѣняется имъ въ большое преступленіе г. Миллеромъ-Красовскимъ, который свои собственныя воззрѣнія развиваетъ вотъ въ какой послѣдовательности.

«*Но если же* воспитатель долженъ довести питомца, — будущаго гражданина, — до сознанія, что права человѣка преимущественно измѣряются исполненіемъ гражданскихъ обязанностей; и если *всякая гражданская обязанность есть не что иное, какъ безусловное подчиненіе* нашей индивидуальной воли правительству и отечественнымъ законамъ; то само собою разумѣется, послушаніе, требуемое воспитателемъ отъ питомца, будетъ основою и гражданскаго послушанія. Самоограниченіе и самоотверженіе — главнѣйшіе дѣйствователи въ воспитаніи: они вырабатываютъ въ молодой душѣ способность подчиняться *общенароднымъ цѣлямъ*. Этимъ же подчиненіемъ подъ общее мы и въ свою очередь пользуемся общими нравственными, умственными силами и общимъ покровительствомъ, т. е. благостію церкви и государства» (стр. 8).

Сколько можно понять изъ неграмотнаго изложенія, авторъ хочетъ сказать, что человѣка нужно воспитывать единственно для государства. Иначе сказать — нужно подавлять въ немъ личную волю, съ малолѣтства заглушать всякое сознаніе своихъ правъ (кромѣ только приведенныхъ выше празднованій дня ангела, рожденія, и пр.) и цѣлью всего воспитанія поставить дисциплину и субординацію. Такъ именно и полагаетъ г. Миллеръ-Красовскій. Въ концѣ книги, сводя къ одному результату всѣ свои положенія, онъ ставитъ четвертымъ основнымъ положеніемъ слѣдующее:

«*Воспитаніе и образованіе, по формѣ и содержанію, не что другое, какъ одно повиновеніе*» (стр. 27).

Даже родительской и дѣтской любви онъ не оставляетъ мѣста въ воспитаніи, безъ дисциплины. Съ циничесой грубостью, съ самымъ варварскимъ неуваженіемъ къ лучшимъ чувствамъ человѣческой природы, г. Миллеръ-Красовскій говоритъ (стр. 27).

«Мы не станемъ болѣе доказывать, что *одна дисциплина* прочитъ родителямъ дѣтскую любовь; смыслъ ея лучше всего выраженъ непреложною педагогическою истиною:

Повинуясь, дѣти учатся любить» (*но не наоборотъ*).

Мало этого, г. Миллеръ-Красовскій считаетъ вреднымъ даже то, когда дѣтямъ объясняютъ, почему они должны сдѣлать то или другое. **Не разсуждай, а исполняй!** огромными буквами напечатано на 33 стр. его книги. И этому страшному изреченію предшествуетъ слѣдующее разсужденіе:

«Мы часто замѣчаемъ, что родители облегчаютъ дѣтямъ повиновеніе, убѣждая ихъ въ воспитательской какой-либо необходимости причинами и доводами. *Это, въ сущности, то же самое, что освобожденіе отъ всякаго повиновенія;* потому что убѣжденное дитя ужъ болѣе *не слушается родителей, а причинъ, резоновъ* и такимъ образомъ только привыкаетъ резонировать... Слабая мать, слабый воспитатель, поясняющіе дѣтямъ свои требованія резонами и причинами, только снисходятъ на степень покорныхъ слугъ предъ дѣтьми; за то послѣднія нерѣдко и дѣлаются маленькими деспотами. Нельзя вообще допускать, ни подъ какимъ видомъ, идею равенства между воспитывающимъ и воспитанникомъ; оно не согласно съ заповѣдью. Мы однако сами часто доводимъ ребенка до грѣха именно тѣмъ, что возбуждаемъ нашими вѣчными резонами въ немъ охоту возражать. Дитя, привыкшее къ возраженіямъ, мало-по-малу усвоиваетъ себѣ право переговоровъ. *А что же возраженія, переговоры, какъ не идея равенства!*

«Положимъ, убѣжденное дитя дѣйствительно и покорилось необходимости, такъ оно сдѣлало это ужъ *не повинуясь высшей волѣ, — оно покорилось собственной, самоугодной силѣ сознанія*» (какъ это печально!). При такомъ направленіи дѣти не только легко лишаются необходимаго, благоговѣйнаго чувства къ воспитателю; они и всю жизнь страдаютъ... Если мы признаемъ истину, что привычка много значитъ и что человѣкъ всегда и постепенно доходитъ отъ малаго до великаго, то здравое воспитаніе и *не допуститъ резоновъ у дѣтей.* Оно непремѣнно установитъ *для всѣхъ воспитываемыхъ, безъ разбора возраста и сословія,* — разумное правило:

Не разсуждай, а исполняй».

Какъ видите, г. Миллеръ-Красовскій вовсе не хочетъ, чтобы дѣти слушались *резоновъ.* Нѣтъ, пусть ихъ слушаются чужихъ приказовъ, не смѣя и подумать о томъ, разумны или нѣтъ эти приказы. Повиновеніе, дисциплина — вотъ основа и цѣль воспитанія. А добиться повиновенія можно не пріученіемъ дѣтей къ разумному согласію съ волею воспитателя, къ внутреннему одобренію его требованій, а просто наградами и наказаніями. Награды (т. е. внѣшнее одобреніе, знаки отличія, и т. п.) г. Миллеръ-Красовскій признаетъ необходимымъ и единственнымъ стимуломъ всякой дѣятельности человѣческой. Онъ говоритъ.

«Карамзины, Пушкины, всѣ, кто только *не* (т. е. *ни*) занисанъ *въ* (т. е. *на*) золотыхъ скрижаляхъ исторіи, навѣрно не возвеличили бы своими дарами человѣческаго достоинства, если бы имъ съ молодости твердили: ты работай, трудися, — но награды не жди! (Какой же награды? Понятіе автора объ этомъ отчасти объясняется слѣдующимъ, тутъ же приводимымъ у него примѣромъ). И геніальный Суворовъ, послѣ безсмертныхъ подвиговъ русскаго оружія въ Италіи, писалъ еще изъ Италіи нашему посланнику при лондонскомъ дворѣ: «пришлите мнѣ подвязокъ» (стр. 38).

Страсть получать знаки отличія и всякія награды очень по-

хвальна съ точки зрѣнія г. Миллеръ-Красовскаго, который высочайшую степень достоинства человѣка поставляетъ *въ смиренности*. Къ пріобрѣтенію *смиренности* долженъ, по его мнѣнію, каждый человѣкъ стремиться, какъ къ идеалу человѣческаго совершенства. Съ одушевленіемъ говоритъ онъ на этотъ счетъ: «легко можетъ быть, что иной яркій лучъ, иной прекрасный цвѣтокъ въ нашей литературѣ рано померкъ, рано увялъ отъ горделивой воли, отъ недостатка въ благочестивой смиренности. Такъ, напримѣръ, въ произведеніяхъ Лермонтова, любимомъ поэтѣ молодежи, мы находимъ естественную силу и красоту, отголоски величественной кавказской природы: но за то весьма рѣдко встрѣчаемъ въ нихъ нравственную силу—смиренность» (стр. 16). Безъ *смиренности* же человѣкъ погибъ, по мнѣнію г. Миллеръ-Красовскаго: отъ недостатка смиренности и вслѣдствіе «плевелъ филантропизма», германскій народъ много бѣдствовалъ, и «мудрено ли послѣ этого, если Наполеонъ двумя ударами, при Іенѣ и Ауерштедтѣ, покорилъ Пруссію»? (стр. 23). Опасаясь, какъ видно, чтобы и Россію не постигла столь же печальная участь, г. Миллеръ-Красовскій очень подробно толкуетъ о разныхъ наказаніяхъ, посредствомъ которыхъ можно произвести въ дѣтяхъ смиренность и отучить ихъ отъ всякой претензіи на какія-нибудь права. Какъ и слѣдовало ожидать, г. Миллеръ-Красовскій очень одобряетъ розгу; но въ ней онъ видитъ и нѣкоторыя неудобства, состоящія въ томъ, что процессъ сѣченія беретъ много времени. Противъ карцера г. Миллеръ-Красовскій возстаетъ рѣшительно, находя, что онъ не убьетъ, а скорѣе «укрѣпитъ молодую грѣшную волю».

«Въ школѣ еще карцеръ играетъ важную роль: онъ, по мнѣнію многихъ педагоговъ, потому полезенъ, что молодой грѣшникъ можетъ на досугѣ удобно обдумать свою вину. Мы же держимся совсѣмъ другого мнѣнія: наша *двѣнадцатилѣтняя практика говоритъ намъ*, что продолжительное наказаніе большею частію не только безполезно, оно даже способствуетъ зачерствѣнію и озлобленію молодой натуры. *Быстрое, моментное дѣйствіе же воспитателя всегда болѣе потрясетъ*, чѣмъ систематически задуманные пріемы и способы. *Наша главная* задача единственно состоитъ въ томъ, чтобы *предавать смерти молодую грѣшную волю*, а не давать ей на досугѣ, во время длящагося наказанія, укрѣпляться. Это, какъ уже сказано, достигается одною быстротою, основательнымъ, *сильнымъ моментнымъ потрясеніемъ*» (стр. 50).

Что же разумѣетъ авторъ подъ *сильнымъ моментнымъ дѣйствіемъ*, пользу котораго доказала ему *двѣнадцатилѣтняя практика?* Не розгу, читатель, не розгу: она кажется все еще не довольно сильнымъ и быстрымъ средствомъ. Двѣнадцатилѣтняя практика убѣдила г. Миллеръ-Красовскаго въ пользѣ другого, болѣе дѣйствительнаго способа наказанія, именно—*пощечины!* Въ доказательство благотворности пощечины, или, точнѣе, *трехъ пощечинъ*, г. Миллеръ-Красовскій разсказываетъ даже *быль*, которую мы представляемъ читателямъ во всей ея первобытной красотѣ, не омрачая ее ни однимъ замѣчаніемъ... По нашему мнѣнію, всякая прибавка, всякій знакъ вопроса много бы отнялъ у этого непо-

дражаемаго разсказа, способнаго возмутить самаго невзыскательнаго человѣка, даже выросшаго въ строгихъ правилахъ старинной бурсы или бывшаго кантонистскаго положенія. Вотъ разсказъ г. Миллеръ-Красовскаго, въ томъ видѣ, какъ онъ напечатанъ въ его книжкѣ, на стр. 53—55.

БЫЛЬ.

Въ семьѣ отецъ и мать часто давали дѣтямъ своею неладицею соблазнительные примѣры. Не то, чтобы старики вѣчно ссорились; этого не было. Но отецъ, бывало, придетъ домой изъ должности и начнетъ ворчать на дѣтей и на жену; то не хорошо, третье, десятое. Дѣти, разумѣется, привыкли бояться вѣчно недовольнаго отца и мало-по-малу потеряли любовь къ нему, ласкали одну свою нѣжную, добрую мать. Рѣдкій день не проходилъ безъ отцовскаго наказанія; а дѣти какъ были лѣнивыя, задорныя, такъ и оставались. Когда отецъ умеръ, для матери ужъ трудно было мудро и твердо править своимъ царствомъ. Одинъ изъ мальчиковъ въ особенности много озабочивалъ ее: два года въ классѣ сидѣлъ и все не зналъ таблицы умноженія. Тутъ надобно было препоручить его опытному человѣку, что и сдѣлали. Учитель слегка началъ свое дѣло, приходилъ въ домъ только на два часа, былъ добръ, мягокъ, ласковъ, какъ слѣдуетъ; потому мальчикъ скоро привыкъ къ порядку, хорошо занимался. Но увы! черезъ мѣсяцъ старинное упрямство опять появилось: сынокъ попрежнему не слушается матери, спитъ сколько угодно, на каждое замѣчаніе возражаетъ матери, просто, не боится. Эта комедія продолжалась недѣлю; мать не хотѣла жаловаться учителю, надѣясь, что ея наставленія вразумятъ упрямца. *Однажды учитель приходитъ на урокъ въ 10 часовъ утра и застаетъ все семейство еще за кофеемъ, кромѣ Пети. Мать посылаетъ за Петей, — Петя не идетъ, не хочетъ кофея. Учитель самъ наконецъ требуетъ чрезъ меньшаго брата Петю къ столу, ему приносятъ отвѣтъ, что Петя не идетъ, и баста. Все замолкло, — мать и дѣти покраснѣли, — учителю также не ловко стало. Какъ тутъ быть? — Случай необычайный, а между тѣмъ и для другихъ дурной примѣръ. Учитель хотя и нехотя отправляется въ комнату Пети, все надѣясь еще, что грѣшникъ сконфузится, покорится ему. Не тутъ-то было. «Зачѣмъ ты къ кофею не явился?» — «Я, я не хочу!!» — «Какъ ты не хочешь?? — вотъ тебѣ!» — Петя съ такою быстротою получилъ три пощечины, что совсѣмъ растерялся, заплакалъ, и давай просить у матери прощенья. Нужно замѣтить, что онъ прежде не умѣлъ каяться. Покоренный вытязь весь день плакалъ, хныкалъ; но дѣло было кончено. Петя позналъ, что вдаваться въ новую борьбу съ ласковымъ наставникомъ ему не по силамъ и пошелъ себѣ хорошо, сталъ любезнымъ, прилежнымъ воспитанникомъ, нѣжно-любящимъ сыномъ. Если бы же употребляли розгу, что беретъ больше времени, чѣмъ скорая, осторожная пощечина, то мальчикъ 12 лѣтъ имѣлъ бы время собраться съ духомъ, вынесъ бы казнь и остался бы упрямымъ.* Прежніе частые отцовскіе побои вбили въ Петю упрямство; *благоразумный, безпристрастный наставникъ же основательно вылечилъ Петю тремя пощечинами.* Кто усомнится или упрекнетъ насъ, что этотъ разсказъ не быль, а выдумка, тотъ навѣрно не заглядывалъ въ жизнь, тотъ силенъ однѣми кабинетскими теоріями. Мы повторямъ: личность воспитателя много значитъ; она-то и рѣшаетъ самыя трудныя проблемы педагогіи.

Прочитавъ эту быль, припомните, что авторъ самъ—классный надзиратель въ одномъ изъ нашихъ учебныхъ заведеній, припомните его слова, что убѣжденіе относительно моментнаго дѣйствія «сложилось въ немъ такъ твердо и непоколебимо вслѣдствіе *двѣнадцатилѣтней практики*», припомните, что онъ принимаетъ правило: «*не разсуждай, а исполняй*», и требуетъ безусловнаго нови-

новенія своей волѣ, признавая, что успѣхъ воспитанія зависитъ отъ личности воспитателя, употребляющаго сильныя моментныя дѣйствія,—припомните все это и пожалѣйте, вмѣстѣ съ нами, объ участи несчастныхъ дѣтей, которыхъ злая судьба бросаетъ въ руки такого воспитателя. Что можетъ быть жалче и безотраднѣе ихъ положенія? Отъ нихъ требуютъ повиновенія; но повиноваться воспитателю по любви къ нему — г. Миллеръ-Красовскій считаетъ вреднымъ, повиноваться по убѣжденію въ разумности приказанія— тоже считается опаснымъ; представлять возраженія, обнаруживать самостоятельность воли,—это ужъ такое преступленіе, за которое г. Миллеръ-Красовскій караетъ дѣтей «сильнымъ моментнымъ дѣйствіемъ». Бѣдныя, жалкія дѣти! Что-то выйдетъ изъ васъ, когда къ вамъ прилагается постоянно такая система воспитанія!

А между тѣмъ г. Миллеръ-Красовскій — кандидатъ университета по факультету историко-филологическихъ наукъ; свой образъ дѣйствій употребляетъ онъ сознательно и обдуманно; въ «двѣнадцатилѣтней практикѣ по моментнымъ, потрясающимъ дѣйствіямъ» онъ не боится признаться печатно и даже попрекаетъ *кабинетскими теоріями* людей, которые не захотятъ согласиться съ нимъ въ благотворности пощечины или *трехъ пощечинъ!* Что же послѣ этого дѣлается въ тѣхъ темныхъ уголкахъ тѣми темными личностями, которыя о себѣ не печатаютъ?!

Мысли свѣтскаго человѣка о книгѣ «Описаніе сельскаго духовенства». Спб. 1859.

«Что это за книга «Описаніе сельскаго духовенства»? спроситъ читатель. И почему указываемъ мы на «*Мысли*» объ этой книгѣ, а не говоримъ ничего о ней самой? Не гораздо ли полезнѣе было бы разобрать самое сочиненіе, имѣющее своимъ предметомъ столь важный и любопытный вопросъ, какъ положеніе сельскаго духовенства, — нежели заниматься «Мыслями свѣтскаго человѣка» о такомъ сочиненіи, которое еще неизвѣстно для публики и котораго никто изъ читателей нашихъ, вѣроятно, даже не видалъ»?

Мы признаемъ законность этихъ вопросовъ и недоумѣній читателя и спѣшимъ разрѣшить ихъ, насколько сами знаемъ дѣло, о которомъ должны теперь говорить. Дѣло въ томъ, что книги «Описаніе сельскаго духовенства» мы сами не читали и не видали, а получили понятіе о ней только изъ брошюрки, заглавіе которой выписали выше. Изъ брошюрки этой оказывается, что «Описаніе сельскаго духовенства» напечатано на русскомъ языкѣ за-границей и, какъ неблагонамѣренное и содержащее въ себѣ многія хулы на духовенство, не допущено къ свободной продажѣ въ Россіи, а

подверглось цензурному запрещенію. Само собою разумѣется, что мы запрещенныхъ книгъ не читаемъ, такъ же, какъ вѣроятно и вы, читатель. Поэтому мы съ вами не можемъ судить, справедливы или нѣтъ мысли Свѣтскаго человѣка о книгѣ «Описаніе сельскаго духовенства». Одно только можемъ замѣтить съ своей стороны: мысли эти намъ кажутся совершенно излишними и даже производятъ на насъ впечатлѣніе неблагопріятное. Изданіе ихъ доказываетъ, что авторъ придавалъ значеніе книгѣ, вышедшей заграницею о сельскомъ духовенствѣ, и считалъ нужнымъ опровергать ее. А между тѣмъ, въ самомъ разборѣ неоднократно повторено, что книга не стоитъ опроверженія!... Да если бы и стоила, то для кого писать опроверженіе? Неужели авторъ думаетъ, что у насъ можетъ разойтись и имѣть вредное вліяніе такая книга, которая не допущена въ продажу? Это значитъ слишкомъ мало имѣть довѣрія къ благонамѣренности и честности русской публики. У насъ мало читаютъ (а если и читаютъ, такъ не слушаютъ) и то, что печатается въ Россіи и продается во всѣхъ книжныхъ лавкахъ: станутъ ли читать то, что напечатано за-границей; станутъ ли вѣрить тому, что не скрѣплено цензурнымъ разрѣшеніемъ? Рѣшительно напрасно трудился Свѣтскій человѣкъ,—тѣмъ болѣе напрасно, что о значеніи его собственной брошюрки нельзя составить себѣ никакого опредѣленнаго мнѣнія, не имѣя подъ руками самого «Описанія сельскаго духовенства».

Но между тѣмъ, Свѣтскій человѣкъ возбуждаетъ наше любопытство насчетъ «Описанія сельскаго духовенства». Онъ говоритъ, что «*книга сія уже переведена на французскій и нѣмецкій языки*» (стр. 4), что она «*принята и читаема высшимъ обществомъ*» (стр. 7), что «*на нее даже указываютъ въ наставленіе архипастырямъ*» (стр. 6). Чѣмъ она заслужила такое исключительное вниманіе общества, даже *высшаго?* Можетъ быть, въ ней есть новыя свѣдѣнія, яркія картины, интересные факты, свѣтлыя соображенія,—несмотря на желчность или даже фальшивость общаго направленія? Можетъ быть, она способна возбудить въ обществѣ участіе къ печальному положенію нашего сельскаго духовенства? Можетъ быть, она содержитъ новые планы полезныхъ преобразованій? Ничего этого мы не видимъ изъ «Мыслей». Авторъ «Мыслей» возстаетъ только противъ тона книги и приводитъ отрывочныя выписки въ двѣ или три строчки,—что изъ нихъ можно понять? Напр., Свѣтскій человѣкъ говоритъ (стр. 6).

«Распространяясь о томъ, на что тратятъ духовныя власти свои доходы, заносчивый писатель доходитъ даже до неприличія, позволяя себѣ такіе намеки, которые нигдѣ не могутъ быть терпимы. Совѣстно повторять и то, что говоритъ онъ объ обращеніи архіереевъ со священниками, называя ихъ *сатрапами* въ рясахъ и возводя на ихъ голову всѣ возможныя нелѣпости; будто они смотрятъ на іереевъ какъ на собакъ нечистыхъ, и пр. Послѣ такихъ выраженій, неужели еще можно вѣрить автору, будто архіереи внушаютъ мірянамъ: «мы уже почти совсѣмъ растоптали поповъ, топчите кстати и вы: все ослы и большаго не заслуживаютъ», и къ этому присовокупляетъ: «на это способны только

смиренные архипастыри Православной Руси». Какое хульное кощунство надъ всею православною Русью! Книга падаетъ изъ рукъ».

Все это можетъ быть вполнѣ справедливо; но можетъ быть и то, что всѣ фразы, приводимыя Свѣтскимъ человѣкомъ, имѣютъ въ книгѣ и не совсѣмъ тотъ смыслъ, какой имъ придается въ «Мысляхъ». Не знавши самой книги, трудно судить рѣшительно. Одно только можно сказать: должно быть, «Описаніе сельскаго духовенства» говоритъ о духовенствѣ слишкомъ дурныя вещи, если оно не допущено въ продажѣ въ Россіи.

Впрочемъ, и съ самыми замѣчаніями Свѣтскаго человѣка не всегда можно согласиться. Напр., онъ возстаетъ противъ желанія автора книги о сельскомъ духовенствѣ, чтобы священникъ былъ вмѣстѣ и медикомъ. Кому неизвѣстно, какъ страдаютъ наши простолюдины отъ недостатка знающихъ врачей въ селеніяхъ, какимъ обманамъ, убыткамъ и существенному вреду для здоровья подвергаются они отъ шарлатанства знахарей, ворожей и т. п.? Кто не знаетъ, что во многихъ мѣстахъ крестьяне еще выказываютъ недовѣріе ко всякому совѣту врача, считая его навожденіемъ нечистой силы? Самымъ лучшимъ средствомъ для устраненія всего этого могло бы быть дѣйствительно соединеніе въ лицѣ священника духовнаго авторитета съ знаніями медицинскими. Но Свѣтскій человѣкъ, знающій, какъ видно, отчасти букву Писанія, но не углублявшійся въ духъ его, считаетъ медицинскія занятія неприличными священнику. Въ этомъ странномъ мнѣніи онъ опирается, во-первыхъ, на то, что «Господь исцѣлялъ больныхъ не медицинскими пособіями, что Апостолы, по Его Божественному распоряженію, какъ сами *мазаху масломъ многи недужныя и исцѣляваху*, такъ и пастырямъ церкви заповѣдали врачевать больныхъ не медицинскими пособіями, а таинствомъ Елеосвященія» (стр. 13). Неужели по здравому разуму Писанія, приведенныя Свѣтскимъ человѣкомъ слова могутъ свидѣтельствовать противъ употребленія медицинскихъ пособій?

Второе основаніе, принимаемое Свѣтскимъ человѣкомъ противъ медицины, состоитъ въ томъ, что «какъ же священникъ приступитъ къ совершенію Святыхъ Таинъ послѣ ухода за больными, особенно въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ многіе заражены *ужаснымъ недугомъ, заносимымъ изъ столицы*»? (стр. 15). Но, какъ бы ни былъ нечистъ недугъ, неужели онъ оскверняетъ врача, прикасающагося къ больному? Свѣтскій человѣкъ забылъ притчу о благодѣтельномъ самарянинѣ, забылъ заповѣдь Христову о посѣщеніи больныхъ, забылъ, что достоинство священнослужителя, по духу вѣры христіанской, состоитъ не во внѣшней опрятности, а въ чистотѣ сердца, въ любви къ ближнему, въ правдѣ и самоотверженіи. Въ замѣчаніи, что уходъ за больными (хотя бы и злокачественною болѣзнію) можетъ препятствовать священнику въ совершеніи послѣ того Святыхъ Таинъ, слишкомъ рѣзко обнаруживается свѣтскій

человѣкъ, понимающій только внѣшнюю сторону обрядовъ, но не вникающій въ существенный смыслъ и духъ Христова ученія.

Послѣ этого странно намъ кажется, что Свѣтскій человѣкъ, столь чуждый, какъ видно, духовнымъ занятіямъ, *первый* и *одинъ* принялъ на себя обязанность опровергать автора, который не только не можетъ защищаться, но даже не можетъ быть безпристрастно судимъ читателями «Мыслей», потому что онъ и его книга никому у насъ неизвѣстны. Еще страннѣе показался намъ тонъ, принятый Свѣтскимъ человѣкомъ. Каждая страница брошюры переполнена бранью. Свѣтскій человѣкъ говоритъ: «завистливый писатель», «хульное кощунство автора», «завистливый характеръ автора» (стр. 6); «всѣ возможныя ругательства, разсыпанныя въ книгѣ», «авторъ кощунствуетъ», «выражается неприличнымъ образомъ» (стр. 7); «дикая сія картина могла осуществиться только въ разгоряченномъ воображеніи автора», «все это преувеличено и написано съ вѣтра» (стр. 11), и пр. И все это безъ всякихъ доказательствъ, безъ всякой заботы о подтвержденіи фактами своихъ собственныхъ мнѣній и подробными выписками — своихъ строгихъ осужденій книгѣ неизвѣстнаго автора. Въ заключеніе Свѣтскій человѣкъ говоритъ: «тяжкая падаетъ отвѣтственность за эти хулы предъ Богомъ и людьми на дерзнувшаго поднять столь святотатно руку свою *на Святую Церковь*»! (стр. 16). Мы были поражены такимъ заключеніемъ и еще разъ перечитали всѣ выписки, приводимыя въ брошюрѣ Свѣтскаго человѣка изъ «Описанія сельскаго духовенства»; *ни одна* изъ этихъ выписокъ (даже въ томъ отрывочномъ видѣ, какъ представлена Свѣтскимъ человѣкомъ) *не заключаетъ въ себѣ ни малѣйшей хулы на Св. Церковь*. Самое сильное мѣсто, отмѣченное въ брошюрѣ съ особымъ негодованіемъ, состоитъ въ слѣдующемъ: «кощунствуетъ (говоритъ Свѣтскій человѣкъ) не только о своихъ пастыряхъ, но и о самой литургіи, говоря, что сельскому священнику невыносимый трудъ служить литургію въ праздникъ; лучше бы онъ обмолотилъ два овина, чѣмъ отслужилъ обѣдню» (стр. 7). Признаемся, изъ этой отрывочной цитаты, приведенной безъ всякой связи и смысла, мы ничего не можемъ заключить: можетъ быть, она и содержитъ въ себѣ нѣчто непристойное, а можетъ быть, въ общей связи рѣчи она и совершенно невинна.

Мы говоримъ все это не съ тѣмъ, чтобы оправдывать книгу, которой мы не знаемъ и о которой, слѣдовательно, судить не можемъ; мы хотимъ показать только одно: какой дурной оборотъ для самого дѣла можетъ произойти отъ того, когда его начинаетъ защищать человѣкъ малосвѣдущій и не проникнутый началами дѣйствительнаго добра и истины. Благое намѣреніе можетъ осуществиться не вполнѣ хорошо, если силы человѣка слабы для его выполненія; но оно можетъ получить совершенно превратный смыслъ и характеръ, когда при выполненіи его человѣкъ водится личной раздражительностью, поверхностнымъ пониманіемъ дѣла и разными

исключительными пристрастіями. Послѣднее совершилось и съ «Мыслями свѣтскаго человѣка». Въ чемъ могло состоять намѣреніе автора, начавшаго опровергать «Описаніе сельскаго духовенства»? Въ томъ, конечно, чтобы возстановить истинныя понятія о бытѣ и свойствахъ русскаго духовенства, искаженныя извѣстнымъ авторомъ «Описанія сельскаго духовенства». Но чѣмъ руководился Свѣтскій человѣкъ въ своей брошюрѣ? Чувствомъ раздраженія, которое онъ ничѣмъ не умѣлъ оправдать. Въ началѣ своей брошюры онъ показалъ даже такое настроеніе, которое вообще неизвинительно для образованнаго человѣка современнаго общества. Свѣтскій человѣкъ начинаетъ свои «Мысли» филиппикою *противъ гласности!* Онъ говоритъ: «къ *сожалѣнію*, свобода языка, внезапно разрѣшившагося, *называемая теперь гласностью*, *большею частію* увлекаетъ оглашающихъ такъ далеко, что они забѣгаютъ за предѣлы истины и почти всегда представляютъ дѣло въ превратномъ видѣ и, такимъ образомъ, пишутъ, вмѣсто портретовъ, каррикатуры и, разумѣется, не достигаютъ своей цѣли». Намъ кажется, что нашу гласность можно упрекать скорѣе въ скрытности, робости и уменьшеніи многаго, ею заявляемаго, нежели въ преувеличеніяхъ. Говорить, что наша гласность почти всегда представляетъ дѣло въ превратномъ видѣ, значитъ—*лгать*, и мы смѣло объявляемъ эти слова Свѣтскаго человѣка *ложью*. Мы вызываемъ его доказать ихъ фактами; но совершенно убѣждены въ томъ, что онъ не въ состояніи этого сдѣлать.

«Мысли Свѣтскаго человѣка» представляютъ, кажется, первый опытъ русскаго опроверженія на русскую книгу, напечатанную заграницей. Множество русскихъ книгъ, доселѣ изданныхъ, какъ говорятъ, за-границей, не встрѣчало пока никакого печатнаго отзыва въ Россіи. Жаль, что этотъ первый опытъ оказался такъ мало удовлетворительнымъ. Но мы надѣемся, что дѣло на этомъ не остановится. Пусть не свѣтскіе люди, а сами духовные, пусть, если возможно, сами сельскіе священнослужители произнесутъ свой судъ надъ «Описаніемъ сельскаго духовенства», съ подобающею имъ кротостью и безпристрастіемъ, а не съ раздражительностью и бранью Свѣтскаго человѣка. Вопросъ о положеніи и значеніи духовенства въ Россіи слишкомъ важенъ, и его никакъ нельзя оставлять безъ вниманія.

Описаніе болѣзни г-жи Артамоновой, которая получила исцѣленіе предъ чудотворною иконою Святителя Христова Николая, въ селѣ Колпинѣ, 26-го сент. 1858. Составилъ *Иванъ Рклицкій*, Императорской С.-Петербургской Медико-хирургической Академіи заслуженный профессоръ и академикъ, докторъ медицины и хирургіи, дѣйствительный статскій совѣтникъ. Издано въ пользу Колпинскаго храма. Спб. 1859.

Наше время и нашу столицу въ особенности упрекаютъ въ невѣріи; говорятъ, что нынѣ не совершается чудесъ или что мы не признаемъ ихъ. Особенно нападаютъ на медиковъ и натуралистовъ, какъ на людей потерявшихъ вѣру въ чудесное. Въ примѣненіи къ нѣкоторымъ частнымъ лицамъ и случаямъ, упреки эти могутъ быть справедливы; но, говоря вообще, они совершенно неосновательны. «Описаніе болѣзни г-жи Артамоновой, которая получила исцѣленіе предъ чудотворной иконою Святителя Христова Николая, въ селѣ Колпинѣ, 26 сент. 1858 г., составленное докторомъ и академикомъ Рклицкимъ», служитъ очевиднымъ доказательствомъ, какъ того, что наше время не лишено чудесныхъ знаменій Божіихъ, такъ и того, что вѣра въ нихъ и нынѣ распространена — не только въ простомъ народѣ (всегда отличающемся своей религіозностью), но и въ людяхъ образованныхъ и посвященныхъ наукою въ таинства природы. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи особенно замѣчательно то, что событіе, совершившееся съ г-жею Артамоновою, подтверждено *пятью* учеными врачами, которыхъ имена приведены на послѣдней страницѣ «Описанія». Вотъ эти имена (стр. 22):

Высочайшаго Двора лейбъ-хирургъ, дѣйств. ст. совѣтникъ *П. Нароновичъ*;

Дѣйств. ст. совѣтникъ, академикъ и заслуженный профессоръ *И. Рклицкій*;

Врачъ училища ордена св. Екатерины, коллежскій асессоръ *Алабушевъ*;

Лейбъ-медикъ, тайный совѣтникъ *Н. Арендтъ*;

Профессоръ *В. Экка*.

Два послѣднія имени особенно замѣчательны: имена эти обнаруживаютъ неправославное происхожденіе, а извѣстно, что въ лютеранской церкви ни ходатайство святыхъ предъ Господомъ за грѣшниковъ, ни самыя чудотворныя иконы — не признаются; тѣмъ болѣе силы должно имѣть для насъ свидѣтельство такихъ лицъ о чудѣ, совершившемся предъ православною чудотворною иконою, и притомъ въ столь недавнее время, на такомъ близкомъ разстояніи отъ столицы.

Сущность событія, разсказаннаго г. академикомъ и заслуженнымъ профессоромъ Рклицкимъ, состоитъ въ томъ, что г-жа Артамонова, молодая женщина купеческаго званія, съ дѣтства часто страдавшая нервными болѣзнями, подверглась наконецъ ужаснѣйшимъ припадкамъ, отъ которыхъ ничто не могло ее избавить. Ей давали хлороформъ, кодеинъ, по одному и болѣе грану въ ночь; мускусъ, отъ 5 до 30 грановъ въ одинъ пріемъ; но всѣ эти средства не помогли, а напротивъ того усилили нервное разстройство и довели умственное состояніе больной до того, что она рѣшилась обратиться къ животному магнетизму. Ее магнетизировали гг. Бергъ и князь Долгоруковъ и, разумѣется, напрасно. Припадки стали возобновляться съ больною по 16 разъ въ сутки, сопровождаясь судорогами, столбнякомъ и корчами, такъ что четыре человѣка не могли удерживать больную въ спокойномъ положеніи. 6-го декабря 1857 г., принявъ, послѣ самаго отчаяннаго припадка, одинъ гранъ кодеина, больная во время обѣдни заснула и видѣла свое первое видѣніе: св. Николай Чудотворецъ явился ей въ видѣ старца, въ одеждѣ послушника, и велѣлъ сдѣлать разныя приношенія или жертвы Николаю Угоднику и Успенію Божіей Матери—пелену, Варварѣ Великомученицѣ—ленту, Ангелу Хранителю—свѣчи, и всѣ эти иконы поднять къ себѣ въ домъ и отслужить молебенъ съ водосвятіемъ (стр. 9). Кромѣ того, старецъ сказалъ, что она «будетъ лежать въ большомъ разслабленіи, но не должна роптать на Бога» (стр. 10). Дѣйствительно, съ этого времени, больная впала въ совершенное изнеможеніе и не могла принимать ни пищи, ни даже лѣкарства, кромѣ миндальнаго молока, и то въ маломъ количествѣ. Въ отчаяніи, видя, что всѣ усилія медиковъ тщетны, больная рѣшилась-было, по совѣту родныхъ, оставить ихъ и принять простолюдина лѣкаря. Но тутъ (28 дек.) она опять видѣла видѣніе, о которомъ слѣдующимъ образомъ разсказала доктору Рклицкому (стр. 11).

«Сегодня ночью я видѣла прежняго старца, какъ-бы обиженнаго тѣмъ, что *я*, потерявъ всякое терпѣніе, рѣшилась, оставивъ *опытныхъ и образованныхъ докторовъ*, прибѣгнуть къ помощи простолюдина. Старецъ подошелъ ко мнѣ съ правой стороны кровати и сказалъ: что ты дѣлаешь? Хочешь лѣчиться отъ неупотребленія пищи; неужели твои врачи хуже понимаютъ твою болѣзнь, нежели какой-нибудь простой мужичекъ? Они тебѣ ничего не даютъ и ничего не дѣлаютъ потому, что ты не въ состояніи ничего принимать, и вѣрно такъ угодно Богу; а ты идешь противъ воли Божіей и хочешь быть больше самого Бога. Ты насильно требуешь, чтобы могла употреблять пищу; но развѣ кто ѣстъ, тотъ не умираетъ? А тебя питаетъ Господь Богъ, и ты всегда сыта. Скажи мнѣ правду, что ты просила только о прекращеніи твоихъ припадковъ и что ничего не желала получить отъ Бога. Ты теперь пьешь миндальное молоко, но послѣ не только его, но даже воды не будешь брать въ ротъ болѣе сутокъ и, какъ было тебѣ сказано, будешь лежать въ большомъ разслабленіи, и тогда ожидай особой перемѣны. Послѣ этого старецъ сказалъ: мнѣ пора итти къ заутренѣ. Я просила его помолиться за меня Богу и дала ему на свѣчи; оставляя меня, онъ велѣлъ не лѣчиться у мужика».

Послѣ этого больная, по свидѣтельству пользовавшаго ее док-

тора Рклицкаго, отвергла врача простолюдина и продолжала лѣчиться «у опытныхъ и образованныхъ докторовъ», о которыхъ говорилось въ видѣніи. Но облегченія ей не было, и съ половины января началась у больной сильная рвота, доводившая ее до обморока. Это продолжалось двѣ недѣли, а 29 января больная разсказала г. Рклицкому о слѣдующемъ видѣніи (стр. 12—13).

«Сегодня я видѣла во снѣ двухъ священниковъ съ діакономъ въ полномъ облаченіи, которые служили молебенъ Тремъ Святителямъ, Николаю Угоднику и Ангелу Хранителю; одинъ изъ священниковъ подошелъ ко мнѣ съ правой стороны кровати, со крестомъ, и сказалъ мнѣ: ты будешь избавлена отъ рвоты молитвами Николая Угодника, Трехъ Святителей и Ангела Хранителя, и я благословляю тебя пищею — *ухою, которую должно приготовить изъ пяти ершей большихъ, или десяти малыхъ, и второго куска отъ хвоста сига, въ одной глубокой столовой тарелкѣ воды;* уху эту долженъ сварить непремѣнно мужчина, и ты раздѣли ее на три дня — на обѣдъ и ужинъ; завтра утромъ пошли, кто около тебя ходитъ, къ обѣднѣ отслужить молебенъ упомянутымъ святымъ, и когда придетъ изъ церкви, начинай ѣсть антидоръ съ святою богоявленскою водою, а для обѣда употребляй одну шестую часть тарелки ухи и такимъ образомъ продолжай три дня. Все это должно храниться въ строгой и величайшей тайнѣ между двумя, или не болѣе, какъ тремя лицами и докторомъ (т. е. мною, замѣчаетъ г. Рклицкій), который послѣ трехъ дней назначитъ тебѣ, по своему усмотрѣнію, другую пищу: но мясного или скоромнаго отнюдь не употребляй. Потомъ онъ благословилъ меня и скрылся; я проснулась».

Предписанія, данныя въ видѣніи, больная исполняла весьма точно около двухъ мѣсяцевъ; но облегченія все не чувствовала. Въ началѣ апрѣля сдѣлали ей кровопусканіе, отчего начали продолжаться прежніе припадки и продолжались до августа, когда больная имѣла новое, четвертое видѣніе, въ которомъ обѣщано было ей исцѣленіе предъ иконою св. Николая въ Колпинѣ. И дѣйствительно, около этого времени, по свидѣтельству г. заслуженнаго профессора Рклицкаго, ей стало легче. 14-го августа еще разъ было ей видѣніе, въ которомъ повелѣно было отправиться въ Колпино для поклоненія чудотворной иконѣ. Несмотря на свою слабость, еще не позволявшую больной ходить безъ костылей, она 25-го сентября рѣшилась отправиться въ Колпино. Пріѣхавъ туда, она была до того слаба, что въ церковь внесли ее на рукахъ; во время обѣдни съ ней сдѣлался припадокъ и, очнувшись, она должна была сѣсть въ кресло. Но во время херувимской пѣсни «больная вдругъ почувствовала въ ногахъ силу и крѣпость, сама встала и, сдѣлавъ три земныхъ поклона, стояла на ногахъ до конца обѣдни, не чувствуя въ нихъ ни малѣйшей боли, — даже въ правой, къ которой легкое прикосновеніе прежде производило сильные припадки. Все это страшное и чудесное событіе, — прибавляетъ почтенный академикъ Рклицкій — совершилось надъ больной при большомъ стеченіи народа въ храмѣ, по случаю праздника Іоанна Богослова, и *произвело невыразимое зрѣлище* на молящихся, которые съ умиленіемъ и молитвами обращали взоры и сердца свои къ Святому Угоднику Николаю, какъ виновнику,

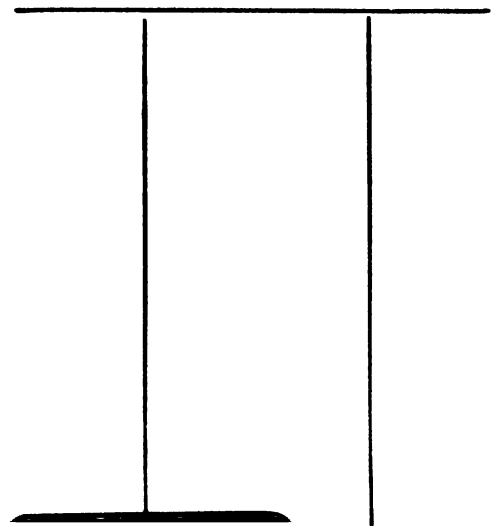
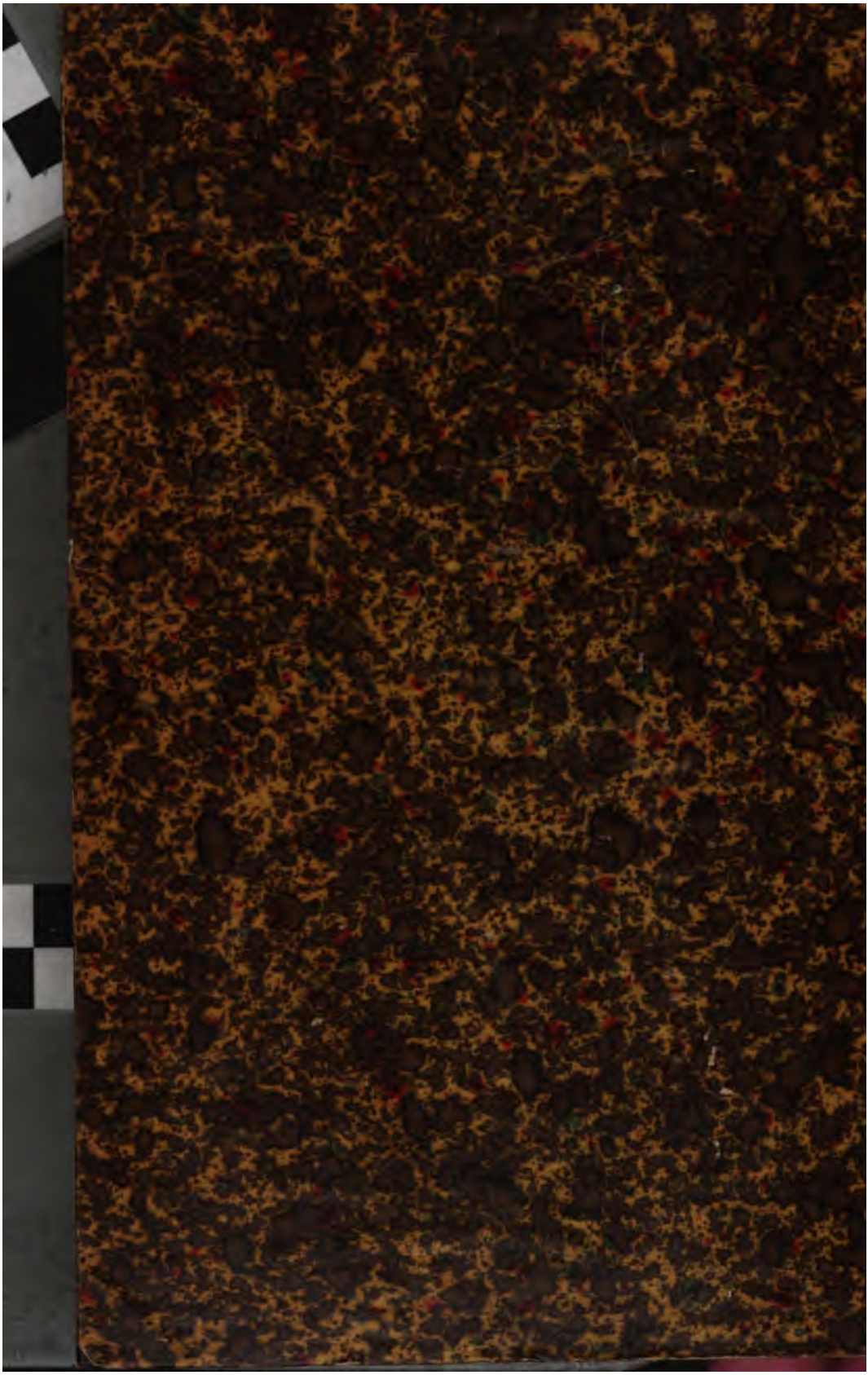
совершившему предъ ними чудо и удостоившему ихъ быть свидѣтелями такого достопамятнаго событія» (стр. 21).

Дѣйствительно, это событіе весьма замѣчательно въ нашъ вѣкъ, обуянный духомъ сомнѣнія. Но для вѣрующаго христіанина отрадно не только самое чудо, но и то радостное явленіе, что оно описано и засвидѣтельствовано людьми столь образованными и почтенными. Десница Божія всегда одинаково проявлялась въ жизни: но не всегда одинаково судили люди объ этихъ проявленіяхъ. И случай съ г-жею Артамоновой многіе, конечно, захотѣли бы объяснить какими-нибудь естественными причинами; но такіе авторитеты, какъ доктора Нарановичъ, Рклицкій, Алабушевъ и особенно Аренд'ъ и Экк'ъ, — должны заградить уста всякому невѣрующему!...

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ТОМА.

Stanford University Libraries
3 6105 124 447 348

PG
2933
D6
1885
v. 2

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.